

БОЛЬШОЙ РУССКИЙ РОМАН

Lena Swann

Распечатки

прослушек интимных переговоров
и перлюстрации личной переписки

Том №1



Книга, которую из-за цензуры
побоялись издавать в России

 FOLIO

Annotation

Роман-Фуга. Роман-бегство. Рим, Венеция, Лазурный Берег Франции, Москва, Тель-Авив – это лишь в спешке перебираемые ноты лада. Ее знаменитый любовник ревнив до такой степени, что установил прослушку в ее квартиру. Но узнает ли он правду, своровав внешнюю «реальность»? Есть нечто, что поможет ей спастись бегством быстрее, чем частный джет-сет. В ее украденной рукописи – вся история бархатной революции 1988—1991-го. Аресты, обыски, подпольное движение сопротивления, протестные уличные акции, жестоко разгоняемые милицией, любовь, отчаянный поиск Бога. Личная история – как история эпохи, звучащая эхом к сегодняшней революции достоинства в Украине и борьбе за свободу в России.

- [Lena Swann](#)
 -
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
-

Lena Swann

Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки в двух томах. Том 1

И кроме всего прочего, я подзадолбалась встречаться с тобою в отелях, любимый! Нет, это не причина, почему я вот сейчас вот не отвечаю тебе на эти вот твои звонки! Даже не мечтай. И – нет! – это даже не ответ на эти твои вчерашние му-му-му! Это я так просто – к слову пришлось, перед тем как пойти пописать. Тем не менее: под-за-дол-ба-лась!

А этот твой неисправимо провинциальный выбор гостиниц: по принципу, чтобы обязательно до тебя это место уже кто-нибудь из celebs засидел!

А этот промозглый Hotel des Vains на Лидо! Где ты заставил меня выживать сутки до твоего звонка! Причем с твоей стороны это ведь явно был крайний эстетский изыск! Ты же ведь явно рассчитывал страшно меня впечатлить, признайся, любезный? Вау-вау. Ну как же: мелкий бес когда-то сплавил сюда продукт собственной бездарной жизнедеятельности – немецкого писателя-мещанина-педрилу – на некрасивую педофильскую кинематографическую смерть (фуу-у, крашенный ус подтек). Действительно! Чего б тут ради этого не посидеть не помокнуть? Чего б тут, ради этого заодно, за компанию, не подохнуть от холода и влажности? Ради тебя, безукоризненного литературного и климатического дальтоника. Усипусик ты мой. Кстати, шел дождь, и лупило так, что уже непонятно было, с какой стороны: пустой пьяджо превратился в сияющую опрокинутую и отражающуюся самой же в себе лужу, в центре которой резвились и дурачились два шоколадных полуголых боксера: оба, едва завидев меня, подбежали поздороваться, радостно облизав мне колени и руки (нет, не спортсмены – собаки. Не ревнуй. Мало мне было мокрого), а от меня наперегонки рванули к морю, при этом летящие их глицириновые слюни сверкали полуметровыми завитыми леденцами

слева и справа по диагонали, а как только жилистые их голени достигли первой волны, дождь уже зримо полетел в обратный путь, к небу, а боксеры, сцепившись, и симметрично пытаются сорвать зубами друг с друга эластичные насквозь мокрые, и наверняка неприятно ощущавшиеся на коже, красно-синие комбинезоны, как будто утирали мордами о подмышки друг друга брызги пота на ринге, пока их близорукая и явно еще и с какими-то осязательными расстройствами заводчица, судя по возрасту – эмигрантка минус первого заезда, все пыталась дрожащими ручками настроить против ливня свою белую старческую парасольку, и все крутилась и метила, стараясь поймать волну ветра и взнуздать его, но тот дурачился тоже, не позволял на себе прокатиться, и посекундно менял все планы, и взбрыкивал, от чего парасоль вспархивала, и в самый разгар борьбы старушка, чисто случайно целившаяся в тот момент ровно в меня, вдруг не выдержала – и спустила тетиву, так что я едва увернулась от несшейся мне прямехонько в лицо распахнутой здоровенной стрелы с кокетливым мокрушным белым опереньем, а стрелявшая, ничуть не смутившись, и моментально забыв про улетевший зонт, вертелась дальше как волчок, размещивая песок лакированными, тонущими и мокро скрипящими, как чайная ложка в сахаре, белоснежными кубическими каблучками, и забористо кричала с милейшим старомосковским прононсом своим псам – единственным живым существам на целом пляже, которые понимали, о чем она: «Давайте пойдём покупать!», – и залиристо хохотала.

Хорошо еще, что ей в руки не попались более крупные особи – солнечные зонты, которые нахохлено стояли, у запертых купальных кабинок, со связанными крыльями. Пришлось, от греха подальше, перебраться на соседний пляж – для паралитиков. Где смиренные обитатели реабилитационного центра под садистским надзором плоскогрудых медсестер в синих накрахмаленных формах послушно делали стационарные дыхательные упражнения на крытой веранде, а редкие бунтари, чтобы избежать экзекуции, тихо окапывались по линии моря под черными безразмерными гулками от капель вороньими зонтами на своих двухколесых танках, в засадах на песке, или, кто пошустрее, на карачках делал вид, что срочно ищет у воды что-то крайне важное, забытое (безвозвратно утерянное) перед дождем. Нет, в фартуках были медсестры – а не инвалиды, догнал? В

коротеньких таких, форменных передничках, и блузочках, с оборочками: словом, всё, как ты любишь, как буфетчицы. Сюсипусик ты мой. Ага. Что слышал. Шучу. На самом деле, они все, как на подбор, наоборот, были в длинных, консервативных льняных колоколах-юбищах, и бесформенных синих топах, а оборки вообще состригли, для строгости, чтоб тебя позлить. Короче. Понял? Любезный? Приём-приём? Мне надоело ждать твоих звонков где ни попадя, высиживать мобилу как дурное яйцо, пока ты, наконец, проклюнешься, и неправдоподобно бабским соскальзывающим из трубки в мое ухо голоском, каким-то ядовитым, обмазывающим изнутри ушное отверстие тембриком (ты ведь замечал, милый, катастрофическую разницу настроек: когда ты вполне удачно изображаешь крут'як на публике – или когда ты сюсюкаешь со мной по телефону, бездарно и безухо пытаясь войти в любовный раппорт?) продиктуешь мне новый номер, на новую, присланную мне туда за несколько минут до этого с очередным твоим посыльным хмырем туземскую симкарту, пока они, эти сим-карты, обе еще «свежи», по твоей же корявой метонимии, потом экстренно упаковывать себя в аэропорт или автомобиль – и переезжать из одного отеля в другой, «доверенный», или в следующий, еще не слишком загаженный свиданиями город – или, доверяясь кому ни попадя, то есть хмырьку номер два и хмырюге номер три, названным мне тобой по телефону поименно (но, без сомнения, лживо), отправляться на снятую только что виллу или квартиру: «освежеванный свежачок» – как ты добавляешь сразу же после встречи, считая, что каламбуришь, потирая ручки, как муха, если все удалось. Подзадолбалась. Мне надоели эти передаточные звенья, которыми уже испохаблены полкарты Европы! Заманалась вставать на крыло по звонку: «эволюция позвоночных» – ох уж мне все эти твои поминутные смехухочки да прибауточки! Острословчик ты мой.

Как будто в издевку, когда я вернулась с пляжа на Лидо в гостиничный парк, единственной породой пса, который в тот день не кинулся мне навстречу, стал злющий бетонный дог, отлитый в натуральную величину с вкраплением подручного, вернее подножного, здесь же найденного (гравий-гипс-грязь), материала, и, видимо, с натуральной душой прототипа: с истеричными глазами энтузиаста, готового стерпеть и одобрить все уродства заводчика – включая удар

ботинком в поддых – с отбитыми ушами и вечнозеленой слезой под правым глазом: зверь чем-то напомнил мне твою жену. Слепок пороков хозяина, в бетоне.

Я даже не решилась пройти рядом с мемориальной псятиной по дорожке. С морды дога трагично стекала лава дождя. А огибая его круголями, прохаживаясь по пухлой и пружинистой от палых игл пахучей подложке земли, я наткнулась между соснами на мертвого пестрого скворца кричащей красоты – иссиня черного в прямом смысле материала: пропитанного чернильной переливающейся морской ночной чернотой (видимо, чтобы зримо контрастировать даже с цветом жирного, тепло дышащего, только что завезенного с материка чернозема на пашне клумбы неподалеку) – он расставил крылья, как будто напряженно силился прикрыть под собою что-то, а сверкающим от дождя золотым мертвым клювом уперся, зацепился за землю, и не давал мне уйти – всеми этими роскошными, сливочными крапинками на спине и на капюшоне (гамма горностая в негативе), и каким-то загадочным, заставлявшим выть от восторга, фиолетовым подтекстом на воротнике с боков, как будто намекавшим, что под черным он одет в яркую пурпурную мантию. Мне стало неловко, что я так бесстыдно его, мертвого, рассматриваю. Но живая его красота завораживала. Он лежал как сокровище. Валялся. Невозможно было поверить, что я последнее на земле существо, которое видит его совершенство. Казалось, что поскольку его так обильно поливают дождем, завтра он должен прорасти вот прямо вот здесь, в сердце парка, и распуститься сияющими неземными цветами. Но на завтра его просто убрал садовник – юный, непонятно каким фокусом загорелый при такой погоде (может – по наследству?) сорванец со вздутыми бицепсами, выпиравшими как нарост из-под обрызганных, со сталактитами ниток, модно обрезанных в минус (похоже, ножом) рукавов белой футболки, удравший с Мурано, не желая быть стеклодувом в двадцать первом поколении, – при мне аккуратно подобрал дохлого скворца лопаткой и увез куда-то на одноколесой, голубой, шепотом перебиравшей гравий тачке вместе с сорванными вчерашним ливнем еще свежими листьями и переломанными сажевыми ветками крыльями.

Скажи мне: и вот неужели, по твоим расчетам, все эти мои муки стоили того, чтобы потом по звонку укатить на дизельной бздюшке-

вапоретто на Санту Лючию – а там перевалить на катер рекомендованного тобой по телефону и даже не рассмотренного мною как следует (из-за тумана, гари и вони Un Grande Gabinetto – как перевозчик тут же поспешил презабавным контральто перефразировать и трактовать название и аромат Canal Grande), кажется, специально подобранного тобой блеклого, со стертым лицом, безопасного шесса (ты всегда боишься от конкуренции наверняка), чтобы через несколько минут меня сгрузили в пошлейший, снятый тобой на подставное имя, палевый палаццо в подтёках, где пестрый волнистый шелковый в лиловых тонах плед как бы случайно сползал с колоннады балкона прямо в мусорную воду канала, анонсируя очередной закат от Missoni? (Спец-эффект, подстроенный тобой по мотивам гляцевых журналов, которые попрыгунчик-пилот регулярно подсовывает тебе вместе с флакончиками модного блевотного парфюма в сортир в джет-сэте: бессовестная скрытая реклама, рассчитанная на твои запоры.)

Да, да, чуть было не забыла! Чуть было не забыла тебе припомнить (ты не возражаешь, если я так выразусь, любимый?). Так вот: отдельный счет тебе будет, без сомнения, выставлен в ходе Giudizio Finale за кошмарную парочку крошёных серых гипсовых львов по бокам балкона, прирученных и выдрессированных на местной, венецианской, керамической фабрике до оскорбительных почти карманных, сумочных, ливреточных, содержаночьих размеров – которых ты распорядился рассадить по углам балкона – для пущей убедительности! Штампованные уродцы. Которые визуально терзали и мучили меня пуще, чем некогда их крупные прародители клыками новообращенную братву в Колизее.

И все это для того, чтобы чуть позже, ночью, сидя напротив меня на жесткой и колкой персидской подушке в гондоле (древняя скрипка моря, залакированная до смуглого скрипа дек, с неуклюжим смычком и разодетым попсовым негодяем, смычком гребущим) без маски, ты вдруг начал ревниво цопать меня за запястье шуйцы, взбесившись, когда смазливый жиголо-гондольер, покончив с традиционными шепотками ти-амо, томно пообещал мне, что как только мы заплывем под мост, он сразу же покажет мне джибиджано! «А теперь джентльмен всем своим весом налево – ну же! – а то не пройдем! а сеньорита... – уу-упс...» И честно говоря, мой милый: лучше, чем

джибижано, которое он мне там под мостом тайком показал, – пока свингующая гондола царапала кованым носом звучно капающий кирпичный испод с испариной, – у тебя вряд ли когда-либо найдется мне что-нибудь предъявить. Хоть вот ты сейчас поперхнись там от зависти этим итальянским словарем, который ты наверняка уже взвизгнул секретарю, чтобы тебе – не-ми-и-е-длинно! – принесли.

А отель Luna Convento в Амальфи?! Меня сразу же должен был насторожить титул «конвенто»! Совсем уже докатился. Свидания в женском монастыре – в четыре звезды. Хорошо, пять, пять, не ной вот только сейчас снова! Кто и когда выгнал под зад коленом в мир, на внешний сквозняк, последних обитательниц? Сто лет назад? Двести? Нет, не то чтобы тебе уж так уж приспичило переспать в келье! Было бы странно подумать, что ты просто решил распугать души монашек. Чисто для конспирации, ага, конечно, так я тебе и поверила! Дорогой мой: тебя же считать – как два пальца об асфальт! Все твои нехитрые мотивировочки! Достаточно было увидеть выражение твоего личика, когда ты, несмотря на мои отчаянные протесты, умудрился втиснуть свой автограф прямо перед росписью Муссолини в книге почетных гостей отеля – пока я отвлекала внимание (а что уже было делать? Не попадаться же вместе с тобой!) ночного портье, гордого гражданина Первой Республики Маринада и Лимонада, дарившего мне байки о том, как сам вдохновенный фиганат Франческо Бернардоне из Ассизи прискакал сюда к амальфитанам босиком, на своем капризном брате-осле, благословлять сестричек свить обитель в тысячу двести – каком? простите, по сарито – я не расслышала – додичи? – едючи? На ночь глядучи? Венти? Лятор? Дует? Вы не могли бы поконкретнее? А не пальцы обгорелые загигать и выпрастывать дуплетом на уно-дуэ-дуэ-дуэ – как будто компьютерный код какой-то только из двоек и единиц. Каком-каком?! – да убери же ты поскорее эту несчастную книгу с фашистскими росписями на место! И сгинь сам, пока тебя не засекали. Я еще удивляюсь, как ты не затребовал у служки – молчаливого южанина с каменистым засушливым неплодородным лицом – продать тебе простыню и наволочку «от Дуче», а удовлетворился лишь тем, что снял для нас на ночь смотровую башню, где «развлекался и Бенито» (ох уж мне эти твои подзаборные побасенки, налипающие на слух, как помет в эфире!), и с разбегу плюхнулся прямо в твоих этих идиотских духоподъемных ботинках с

пятисантиметровыми замаскированными каблучками на «ту самую! Представляешь! Ту самую же!» кровать. Несчастный ты мой инвалидик техник отражения и халявной эксплуатации чужих брендов. Ты уже настолько не уверен в собственном вкусе, любимый, уже настолько изломал его своей безграничной гибкостью, локацией и подстраиванием под тех, кто тебе может быть выгоден по бизнесу (а кто ж его знает? кто завтра будет выгоден? Надо ж на всякий случай подмахивать под всякого-каждого! Пока не убьешь), что теперь уж ты, кажется, и вообще не убежден, а есть ли он у тебя, этот вкус? Жарко-холодно? Блевотно-вкусно? Вонь-Аромат? Главное, никогда и ничего не ругать – и ни к чему прямо не высказывать отношения – правда ведь? – потому что вдруг потенциально полезному человеку как раз этот душок и нравится, ага? И главное: ни к чему горячо – ко всему чуть тепленько. Гладенько. Ну, разве что за исключением редких ценимых вещей, типа меня, которые, ты боишься, у тебя вот щаз вот кто-то отнимет. Тут уж хватательный рефлекс отомрет у тебя последним. Даже в случае полного паралика. А так – нейтральненько. Аккуратненько. «А мне все нравится». И все не нравится. И все никак. И все славненько. От одного черпнул – от второго черпнул – третьему перелил. Чтоб никого из твоих дружков не оскорбить ничем выдающимся. Шрам гениальной усредненности. Шрам, милоч, – а тебе что послышалось? Я тебе давно говорила, что твоя страсть к статистике и зазубриванию наизусть среднестатистических данных – чтобы блеснуть цифрами перед идиотами – до добра тебя не доведет. Тебе все кажется, все теплится еще где-то в сощурившемся дверном глазке твоего уже начавшего тайком лысеть затылка мечта, что это ж не навечно же, что это ж ты ж в это играешь, притворяешься, ну так, типа, для эффективности, а как только можно будет – так сразу же заживешь наконец по-настоящему – но в реале ты уже почти неизлечим. Впрочем, тьфу на тебя. Чего это я опять разошлась-то, а?! И пожалуй даже не буду вот сейчас вот припоминать тебе того изжаренного морского караса, которого тебе принесли в номер в этой раскаленной амальфитанской albergo на золотом продолговатом помятом подносе с игривой белой бумажной гвоздичкой в страдальчески разорванном рту, перед самым закатом, в тот самый момент, когда задернутые твоей рукой легкие шелковые занавески окрасили мелованные стены кельи в гранат.

из-под жухлой пальмы и увядшего светофора вылупляется поперек трафика из саркофага лимузина лягушатник-шофер с шоколадной лысиной, которому ты дал идиотский, собственного твоего изобретения, пароль, с пошлым расчетом на то, что вокруг меня будут одни иностранцы – и громко выговаривает по бумажке (о мой позор! Ты бы видел, как сдулись ее губки!) на чистом русском языке, но почему-то с неприличным кавказским акцентом:

– Нью штё? Нйо-сик припюдриль?

Безапелляционно откупоривает передо мной дверцу машины. Закатывает меня туда, как в консерв. И увозит меня на одну из тех скучнейших вилл, которые как прыщи облепили загорелую щеку мыса. Чтобы оттуда, повинувшись твоей идиотской концепции безопасности («эффекту внезапности», территориальных блиц-кригов, бессмысленных зигзагов и судорожной смене планов, болезненно запутывающей только тебя самого), короче, в пузе уродливого затемненного минивэна цвета суксившегося аллигатора переехать в аэропорт и потом неудачно и тряско приземлиться в недешевом кукурузнике на соседний островок, чтобы уже оттуда добираться на эту пошляцкую... Надоело! Подзадолбалась!

Милый: доброта и снисходительность – это мой грех.

Я прощала тебе все это – до вчерашнего дня. Я на все это смотрела сквозь полуприкрытые ресницы. Даже на номер в гостинице «Националь», в Москве, снятый тобой с особым цинизмом, то есть с видом на Кремль. И с... (честно сказать, для меня это уже был перебор) с бледными полупрозрачными цветочными витражами ар деко в самом центре дверей, условно, чисто условно отделявшими наш ассиметричный не-сиамский силуэт от коридора. Мне, боюсь, еще долго будут сниться эти кошмарные двери люкса, оказавшиеся не только звуко, но и взоро-проницаемыми. Слишком даже проницаемыми. В честь чего ты их внезапно и ловко пнул, и предложил упавшему биллбою повесить снаружи на ручку принесенные (и теперь эффектно разлитые) чай, кофе, а заодно глаза и уши, и остальной грубо поименованный тобой его личный инвентарь. Но «Зато!» (ох уж мне твое это любимое, калькуляционное, словечко «Зато!») – «Представляешь! Ведь в точно ведь таком же ведь номере этажом выше жил и вот так же работал В. И. Ленин!», – как ты, ликуя, подытожил с эротическим блеском в глазах. У этого упырька Лукича,

видать, были одинаковые с тобой представления о методах борьбы за народное счастье. Вот мне любопытно, любимый: вот если кто-нибудь тебя обзовет, скажем, «подонком» – двух дней ведь не проживет, ага? – ты ведь совсем расстроишься, правда ведь? Ты ведь обозлишься на него, ты ведь расценишь это как оскорбление, правда? А если тебя обзовут «архиподонком» – то ты ведь наоборот сочтешь это за исторический комплимент, за лестные параллели, и за аванс, до которого тебе еще расти и расти? Правда ведь? А? Любимый? Вот загадка, а! Приём-приём? Только вот не надо вот сейчас опять обижаться, раньше времени, договорились, ага? Это я ни к чему-то. Просто так, à propos. В смысле: перед тем, как пойти пописать. И не пиликай мне тут больше на моем мобильном, хотя бы пока я до туалета добегу. Догнал?

The Voice Document has been recorded
from 17:24 till 18:07 on 18th of April 2014.

В сортире, хотя бы, надеюсь, ты меня не прослушиваешь?! Ась? Что-что? Вижу, вижу уже твои бархатные изумленные глазки, любимый! Что слышал, любимый: надеюсь, говорю, что твои пацаны мне хотя бы в сортир жучков не напихали! «Откуда она знает?!» – ты сейчас наверняка подумал. А потому что не надо было рассказывать мне, шкодливо хихикая, как ты подловил своего кореша, послав спецов протереть амальгаму зеркала напротив его кровати и вставить в зеркало микро-камеру. А уж когда, после отвратительной бессонной ночи, проведенной мною в античной (гнилые смуглые сосновые балки вместо потолка) конспиративной двухэтажной квартире на абрикосовой Via Urbana в Риме (нет, не совсем абрикосовой – некоторые дома как урюк, а другие как курага – словом, абрикосы разной степени жухлости, сушёности и шершавости) – куда ты смог приехать только под утро – и, внезапно выдав себя (ох уж эти твои мозговые перегрузочки!), пошутил над неким моим, почти молитвенным, жестом, который я случайно воспроизвела в квартире этой перед (чудовищной безвкусыности – вот не надо ныть мне сейчас опять, про то, какого оно века, и сколько ты за этот век заплатил!) овальным бронзовым зеркалом – жест воспроизвела без тебя, еще до твоего приезда – милый, ну надо уж совесть знать – ты как-нибудь уж мозги в катушку собери! У тебя, похоже, вся жизнь уже в башке

представляется – как компьютерная игра – здесь прокрутить назад, здесь чуть-чуть смонтировать – и О'к! Нет, не О'к, любимый!

Ох уж эта мне твоя патологическая ревность, ох уж мне эта твоя больная паранойя! И – главное – дебиловатая эта твоя уверенность, что подслушав, подследив, узнав, когда человек ходит в сортир, когда и с кем встречается – выведав всю внешнюю (в общем-то, не важную! Поверь мне!) жизнедеятельность – ты можешь человека понять. Кретин.

Нет, милый, не пугайся – здесь, в Москве, жучков твоих я у себя в квартире еще не нашла. Вернее – нет, нашла вчера, одного – в классическом шпионском месте – на потолке, возле люстры – и чуть не прибила (из-за тебя, любимый!) невиннейшего шустрого короеда.

Но даже не за это, любимый! Не фантазируй – и не играй с собой в поддавки: даже не за это!

Та-а-ак! Опять загундел! I once had a girl ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла! Хорошо я еще сообразила специальный ринг-тон поставить для твоих звонков с твоего секретного мобильного – чтоб лишний раз с дивана не вставать! Or should I say – ла-ла-ла-ла! Фиг тут с тобой пописаешь сходишь даже. Слишком бизи-бизи, из-за брани. Это ж надо ж – а?! – так завести меня опять! Тьфу. Вот не буду подходить к телефону! Сгинь! Вот лежи там и пиликай на ковре. Зареклась ж ведь уже сегодня под утро! Никаких с тобой переговоров! Да-да, буквально как с террористом – и не отвечать тебе больше ни на какие эти твои идиотские вопросы. Ни по смс, ни по телефону! А то – ишь ты! Ишь ты?! «Му-му-му?». Совсем оборзел: сначала сделает – а потом начинаются «за что?» да «му-му-му?». Нет, конечно, не за то, что в том гнилом (ах, прости, – обозналась веком! – «стильном»! Уж не знаешь, как выворочно, двойным глухим просчетом, потрафить моему вкусу!) венецианском палаццо, ты заставил меня жарить тебе бекон на завтрак! Нашел, тоже мне, прелестный способ наладить спозаранку интим со мной, веганкой, кретин. Ах, подумайте! Он так устал – он так захотел почувствовать себя «простым, нормальным»! Ай-яй-яй-яй-яй! Ишь ты!? «Хочу быть хоть на часик как все! – Бекон на завтрак! Баба, жар, дым, кухня». А ты и есть как все. Тебе и притворяться не надо. Нормал Нормалович Нормалютин. И бекон, корчащийся ради тебя на заскоружлой сковороде. На нездорово чистой, надраенной и нагламуренной угольной плите – какого? Какого века? Как эта

закопченнная цифра сбоку на табличке читается? Seduci? Стоючи? Или Судичи? Ага. Sedicesimo. Трупожор. Но – нет, даже и не мечтай – не за это! И даже (я подчеркиваю: даже!) не за то, что когда оскорбительный для меня, веганки, запах жареной плоти разнесся по коридору, ты моментально спрыгнул с постели, сиганул как школьник по перилам на сатиновом заду в микки-маусах на первый этаж, всунул голову в кухню и радостно сюсюкнул:

– Солнышко мое! А ты ведь напрасно притворялась, что не умеешь готовить! Аромат-то какой! Можешь же ведь – когда захочешь! Из любви к ближнему: то бишь ко мне!

Козел. Недалекий.

И если б не та толстопузая ящерица, что по ошибке забежав в оживший ярус, проутюжила по подоконнику и всунула острую морду меж створок кухонного окна – а, увидев меня, в ужасе обморочно закатила глаза, отвесила челюсть и задышала с театральным испугом, – а после, через паузу, с очаровательной натужной сценической задержкой, с раскачкой, пустилась, бросилась, брызнула, дернула наутек, неуклюже унося свое противопожарное тельце куда-то вниз, к воде, к плесневой и трухлявой лодочной коновязи и утробным щелям здания, расточительно тратя драгоценное время бегства на ортопедические зигзаги и виражи, вырезая килем на облупленной как луковица стене крутые пузеля – так вот если бы не эта опереточная тварь – я бы сбегала в ту же секунду – даже бросив тебе как хвост мой бедный лэптоп, нагло захваченный тобой в заложники и запертый в верхнем выдвижном ящике спального комода – старинного заводика по производству трухи, которая у меня, верней, у него, до сих пор свербит в пазухах клавиатуры.

Да, милый. Извини. Именно мимика этого полуодомашненного дракона, к счастью, улизнувшего с подоконника за вздох до того, как ты вскользнул в кухню, дала тебе повод приписать (впрочем, как всегда) мою улыбку твоему юморку:

– Над чем ты смеешься, солнце мое? Смешные у меня мышатки, да?

Обхохочешься, любезный.

А все эти твои штучки и экспромтики-заготовочки?! Все эти твои потуги потрафить моему вкусу (увы, в твоей же интерпретации), типа, в порядке компенсации за все мои (а)моральные увечья – как в тот раз,

уже перед самым отъездом из Венеции: притаранить меня на островок Святой Елены и попросить с зажмуренными глазами (ты, вероятно, ожидал, что я буду визжать от счастья уже от одного этого предложения – на диком контрасте с твоими обычными мещанскими офертами) пробежаться рядом с тобой насквозь – к порту, туда, где квакали подсказки-чайки, комментируя скоропостижное похолодание, и мнились уже мачты за задернутыми белыми кулисами.

– А здесь, внимание, вниз, ступеньки-пеньки-пень-ки-пень-ки-пеньки!

Носом в лживый свежестырированный околевший парус (панталоны снимите с лица, пожалуйста) – чтобы вдруг, разом выбравшись из сырых коммунально-семейных пут бечевы и лесок для белья в чьем-то заднем дворе, услышать твое идиотское самодовольно-сырное: «Сюрпри-и-и-з!» – и прозреть перед стеной текстуры жухлых цукатов.

– Ты на указатель-то позырь! Это ж улица твоего дня рождения! Как это читается? Во-во! Я и говорю! Венти... Как это читается?!

Не канает, милый.

Не канает, даже несмотря на то, что на полпути в аэропорт, на катере, тщетно пытаюсь зачерпнуть хоть пригоршню солнечного света из-под вконец сквасившихся и провисших как белье с той же веревки и уже даже начинающих в строгом соответствии с образом подкапывать венецианских небес, пока соленые брызги из-под киля прожигали дыры в ладонях на сверлящем ветру, я вдруг почувствовала, что та стена – скорее, текстуры моих цыпок в детстве. Аллергия на холод и ветер, с рождения. Но лучше умру, чем соглашусь мазать руки гусиным жиром – «для защиты» – как мне на днях прописал мой швейцарский аллерголог доктор Цвиллингер! Только вот не надо вот сейчас, любимый, опять делать недобрую стойку и спрашивать меня с интонацией, как будто ты никогда прежде об этом не заикался, и как будто ты никак не можешь припомнить его фамилию:

– А какие у тебя все-таки отношения с этим Цугцвангером? А? Солнце мое? Ты что-то от меня скрываешь? Я хочу, чтобы ты была со мной кристально честна!

И не надо вот шмыгать опять своими мышатками в башке по кругу: «Что я не так сделал? Может, в отеле все-таки лучше?» – или «В чем прокол?» – или, по второму заезду: «Может, в отеле лучше?» Уйми мышат. Нет, в отеле не лучше. Особенно под этот твой неизбывно

уездный, голодранский карамельный вздох: «Ах, знаешь, я так люблю быть в гостиницах за границей: можно бросить полотенце где хочешь, хоть на пол! И сразу уехать и больше никогда сюда не возвращаться!» Сколько еще лет зоологической роскоши тебе потребуется – чтобы ты излечился наконец от плебейских ухваток? Вытереть отработанным жестом ботинки о занавески перед отъездом. И визгливо запретить мне споласкивать за собой чашку в номере («Им деньги за это платят! Пусть отрабатывают!»)

И к тому же – мне уже искренне надоело показывать тебе в темноте в отеле на ночь Гедеоновы фокусы (ага, дорогой: горшки с огнем раскалывать в крошечной ночи в стане опупевшего от внезапного света врага), выдергивая ящик из тумбочки на спор: «Угадай, что я сейчас оттуда достану?» – и видеть каждый раз твое неподдельное суеверное изумление и испуг: «А откуда ты знала, что *эта книга* там лежит?»

Ага, милый. Телепатия. Прямо как у той притырошной в Ницце, с рулеткой. Я тебя давно предупреждала: конспирологические супертехники тебя до добра не доведут. У тебя давно уже клиповое сознание. И часто смаргивающая оперативная память. Забываешь, что было в предыдущей серии. «Чтобы не грузиться, и часто избавляться от балласта» – кажется, так ты мне это объяснял, да? Короче, чтоб самому не замечать, кому-то соврал, и чтоб быстро забывать ошибки – правда, любимый? Чтобы все было безопасненько. И короткометражненько. Как и все твои анализы (анализы ситуации, я имею в виду, а не те, которые брал у тебя очередной московский модный доктор, подбирая тебе диету: белки-жиры-углеводороды – чтоб катастрофически не росло пузо от чрезмерности числа в день архиважных архибизнесовых ужинов: какой город мира еще не выеден тобой насквозь?). Как и все твои политические прогнозики. Шустренькие. Но никогда не выскакивающие из фрейминга мелкого клипа. Как бы ты ни тянулся встать на цыпочки или на лживые закамouflированные каблучки. Один клипик у тебя в голове судорожно клеится к другому. Жизнь, как цепь роликов. Клипса. Нарезка. И ты никогда не увидишь смысл фильма целиком. Просто потому, что наличие смысла в мире ты отрицаешь. Если, конечно, не считать (заигранной тобой напрокат у кого-то из дружков по бизнесу) безмозглой, но лихой фразочки об «энтропии», «экспансии, как смысле

жизни» и «самоорганизации системы» – словечках, удобно вмещающих все твои жизненные перепонки без остатка – просто потому, что под системой ты всегда подразумеваешь свою.

Так, любимый: вот скажи сейчас быстро и как на духу: что вот там опять сейчас шуркнуло у тебя в мозгу? А? В какую лузу забился шарик от твоего очередного молниеносного заезда мышинных бегов? А? Что я тебе, типа, готовлюсь, объявить, что есть «другой»? А? Мужчины! Разумеется! Еще опции? Любимый? Женщины? Ну, конечно! Без сомнения! Твои ведь тропинки бегства и брызг мышек мыслей отслеживаются на раз. Размер их имеет, увы, значение и соответствует их шустренькой скорости. В какой привычный тупичок рванули и занесли тебя твои мышата?

Нет, а мне, думаешь, приятно больше месяца уже врать тебе, что у меня – сильнейшая аллергия, и встретиться с тобой я ну никак не могу – из-за внешнего вида?! И не надо вот сейчас опять ревниво острить, обзывая моего швейцарского аллерголога Цугундером! А уж после твоей наглой клеветы – что ты, мол, «по своим каналам» (ох уж мне эти твои каналцы!) якобы разузнал, что Цвиллингер переехал в Швейцарию только из-за того, что его лишили практики в Нью-Йорке – за харассмент восьмидесятилетней жены твоего знакомого миллиардера – ни на какие твои больше вопросы про мои с ним отношения я вообще отвечать не намерена. Аллерголог как аллерголог. Цвиллингер мне тут сказал, кстати, в начале недели, по телефону (мониторит мое состояние, любезный, а не свидание назначает – перестань делать этот злобный ревнивый кварцевый свёрк в глазах): «Не надо, – говорит, – стесняться своей аллергии. В каком-то смысле, – говорит, – если перевести термин «аллергия» на простой язык – аллергия ведь попросту значит: «Мне очень противно!»» «Бог, – говорит, – в каком-то смысле ведь – Великий Аллергик. Всю историю цивилизации, – говорит, – Бог только и делал, что пытался – и почти безуспешно – привить избранным людям здоровую брезгливость и аллергию».

Пошловат, но не глуп, этот мой аллерголог. А? Как ты считаешь, любимый? Впрочем – плевать мне на твои счета. Надеюсь, что здесь, в сортире, ты меня хотя бы только прослушиваешь – а не просматриваешь.

Я вот даже не желаю тебе сейчас объяснять всех рефлексий и реминисценций, но в любом сортире, особенно в таком малогабаритном, пещерном почти, как мой (терпимый налог на удовольствие жизни в старинном незагламуренном доме в центре Москвы), всегда почему-то – вот каждый раз! – вспоминаю о царе Давиде – в том возрасте, пока он еще не был царем. Не смей мышат только. Не делай ревнивую стойку сейчас вот опять, будь любезен! Тем более, что уродливому мощному языческому микеланджеловскому Давиду (предмет твоей вечной зависти – стати которого пристали скорее дебелимому антигерою Голиафу) я всегда предпочитала Веррокиевского, мелкого, низенького, чуть женственного, кудрявого, плюгавенького. Ханырик с рогаткой. Вовремя предавшийся синергии. И победивший не своей силой. Но... Другое. Совсем другое видится мне каждый раз в сортире. Царь Саул – мелкий убийца, завистник («пригвозжу как я Давида копьем к стене – а то он что-то чересчур хорошо поет и играет – а это меня, бездарного царя, раздражает как-то»), параноик и предатель – зашедший, по большой нужде, в пещеру, где, с ветхозаветным юмором, прячется преследуемый им Давид. Давид, из благородства щадящий беззащитного какающего царственного убийцу, и потихоньку, в доказательство своей честности, отсекающий лишь крайнюю ткань у подола одежд Саула. И потом (когда Саул уже оправился – и вымелся вон из пещеры) – пляшущий сорванец Давид, мащущий лоскутком отрезанной ткани, щеголяющий, на расстоянии, своей милостивостью. Береги, мол, подол. Мой сакын в тумане светит.

Ты смотри-ка! А? Стемнело уже! По крайней мере, в моем лэптопе! Сколько я тут с тобой уже проваландалась-то, а! И пять неприятых звонков. И главное – вечное мое дурацкое желание подстраховаться из-за больной этой твоей ревности! Как же ты достал-то меня, а! Со своими му-му-му! Что я с тобой миндальничаю-то опять, а? Вместо того чтобы плюнуть и немедленно, уже просто срочно, сбегать в туалет, пописать – и взяться, наконец, за работу. Мне уже днем текст книги надо было отправить на правку. А этот твой вечный ревнивый гугнёж: «ну-что-ты-там-пишешь-ну-дай-почитать»?! Мне иногда кажется, любимый, что к лэптопу ты меня, на самом-то деле, ревнуешь больше всего – нет, чесслово, мне иногда просто

страшно, что ты его у меня как-нибудь выкрадешь! Любознательный ты мой.

Нет, это ж надо меня так разозлить опять, а?! Зареклась же ведь... Разозлилась так, что даже ни в какой туалет, ни для какого «пописать», совсем не хочется – с дивана вон, даже, и не вставала!

А этот твой гугнёж, чтобы я нашла себе квартиру «поприличнее» и переехала куда-нибудь из «разваливающегося», на твой взгляд, дома (то есть из не перестроенного, под твой вкус, под евро-азиатский гламур), с замызганными бесконечными коридорами! А эти твои вороватые визиты сюда («Нет, солнышко, ты не права, все-таки за границей встречаться спокойнее!») – краткие, как латинская гласная перед гласной! А эти твои охранники, ошивающиеся во время визитов твоих на лестничной клетке снаружи перед дверью, стремящая соседок, и доходчиво изображающие, что воруют окурки из-под линолеума! Задол-ба-лась!

Та-а-ак! Еще мне не хватало! Skype трезвонит теперь – ох уж эта мне твоя ловкость, ох уж это мне твое шустренькое радостное двурушничество, когда прямо под носом у этой твоей несчастной, в утиной юбке, с выпученными глазами, – ты на бешеной скорости успеваешь скидывать мне эсэмэски – колотя буквы с нечеловеческой вертлявостью, – так, чтобы эта твоя, несчастная, не могла, из-за плеча, подсмотреть. Но звонки в Skype – среди бела дня – вернее, среди черного вечера, это что-то новенькое! У тебя что – перерыв в диете званого ужина? Белки-жиры-углеводороды? Со смартфона из тубзика, небось, звонишь? Отойдя от сладострастия жратвы архиважных партнеров? Вот не буду отвечать – хоть ты оборись там!

А... Извини, извини, в первый раз за сегодняшний день – я не права: это не ты. Но отвечать все равно не буду. Что ты там, любимый, в последний раз мне трундил: что Skype, де, прослушивать и считать труднее, чем ICQ? Надеюсь, что ты не соврал, как всегда, по своей привычке. Надеюсь, что ты хотя бы мой трёп с подружками не перлюстрируешь, а? Любимый?

The Voice Document has been recorded
from 18:08 till 19:20 on 18th of April 2014.

LENA SWANN – LADY GREY's —
SKYPE chat session, started at 19:21 on 18th of April 2014.

LADY GREY: Ленк, ну может хватит уже?! Сколько ты со мной уже не разговариваешь? Два месяца уже скоро. Что за глупость! Включи видео!

LENA SWANN: Нет, вот ты мне объясни, ну и чем тебе мешал этот индюк?! Красными соплями?! Развесистыми? Чем он тебе мешал, несчастный?! Зачем ты его убила?

LADY GREY: Мы ж его не сами убили, клянусь! Мы его подарили священнику, – а батюшка уже зарезал его и приготовил его, и нас в гости на ужин на индюшатину позвал – и мы его съели. Ну, это естественный баланс сил в природе, в конце концов!

LENA SWANN: Никогда больше не приеду к тебе в гости.

LADY GREY: Ну, знаешь, Ленка, это тоже лицемерие. Ну хорошо, ты не жрешь мяса. Но ведь если б я индюшатину для себя в супермаркете купила и поджарила – то, значит, ты бы ко мне и дальше спокойно приезжала?!

LENA SWANN: Да он же к тебе в гости домой приходил! На веранду, пообщаться! Ручной! Такой красивый, с тесненной кожей. Зачем ты его тогда заводила, приручала, дружила с ним – если знала, что этим все кончится? Специально? Извращенка! А тот ручной поросенок, которого ты сначала называла «Бэйбом», потом «Васей», пускала домой, играла с ним, а потом отдала крестьянам убить?! Да еще пригласила друзей на холодец, чтобы всех помазать кровью! Хорошо – хочешь жрать трупы – купи в магазине. У нас что – голод? Крайняя нужда? Тебе что, есть нечего было – кроме этого индюка?! Кроме ручного? Кроме своего? С именем? Посмотрите на них: голодающие Рублёвки! А коня ты своего не хочешь, случайно, на колбасу пустить?

LADY GREY: Нет, друзей я не ем.

LENA SWANN: А может, ты еще – своих собак, как корейцы, жарить начнешь? Может, еще приторговывать ими начнешь? Или – ресторан откроешь? Собачьих отбивных? Какая разница – ручной, почти говорящий индюк – или собака?

LADY GREY: Ну, нашла что сравнивать – собаки все-таки умные, а индюки не очень.

LENA SWANN: Идиотов, значит, убивать и есть – не жалко. Хорошенькая фашистская логика.

LADY GREY: Слушай, в конце концов – так Боженька мир сотворил.

LENA SWANN: Боженька?! Ты утверждаешь, что это Боженька живодерни придумал?! Это Боженька, оказывается, ежедневный холокост животных придумал?! Это не более умно, извини, чем заявить, что и Гитлера тоже «Боженька» «придумал» и благословил, как «санитара леса» – чтобы очистить человечество от «неполноценных»! Еще скажи, что и Холокост был от Бога! А когда то же самое происходит с животными, с Божьими существами, наделенными умом, умеющими любить – причем гораздо более верно и бескорыстно, чем люди, – у тебя, почему-то, поднимается язык говорить, что это, оказывается, Боженька придумал их уничтожение! Причем жесточайшее!

LADY GREY: А кто же это все придумал, если не Боженька? Я просто имела в виду, что все, что мы видим вокруг в природе – все естественно, с этим надо смириться.

LENA SWANN: Нет уж, знаешь ли, «Боженька» никогда ни с чем «естественным» «смириться» не призывал. «Боженька» всегда наоборот призывает побеждать «естественное» сверхъестественным!

LADY GREY: Ну как же?! Бог дал в пищу людям животных. Так ведь в Библии сказано? Сказал: убивайте и поедайте. Так ведь?

LENA SWANN: Нет уж, давай разберемся с этим враньем, раз и навсегда – с этим гнусным поклепом на «Боженьку»! Вот не поленюсь: встану вот даже с дивана – возьму Библию. Вот прямо сейчас открываю – сотворение неба и земли, первую часть Библии: вот, тебе, пожалуйста: что при сотворении земного мира установлено в пищу людям?! И зверям – тоже, кстати, заметь! «Трава и все семена ее, и всякий плод дерева». «И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; вам *sic* будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, в которых душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу». Заметь: даже у диких, недоразвитых древних бродячих кочевых людей не повернулся язык в Торе сказать, что Бог, изначально, создавая мир, придумал и благословил убийства животных и пожирание их трупов! И только уже гораздо позже, уже после гнусного грехопадения, после изгнания из рая, после того, как земля уже проклята за грех людей и весь видимый земной мир

катастрофически изменился, и смерть, как сатанинский атрибут, вошла в земной мир из-за грехопадения человека, – уже после того, как люди уже и друг друга-то начали убивать – сказано, что Бог «попустил» людям есть мясо. Но нигде – «благословил»! Ты не видишь критическую разницу между «попустил» и «благословил»?! Какой еще коровий СПИД, и куриный триппер, и свиной грипп надо придумать, чтобы люди поняли намек?! Какой еще рыбий рак нужно изобрести, чтобы люди перестали, наконец, устраивать всем животным вокруг ежедневный Освенцим?! А?! Это ведь уже только после грехопадения, проклятия и изгнания из Эдема, когда вся земля оказалась изуродованной и мутировавшей из-за злого выбора людей, и люди начали убивать и жрать животных, Богу пришлось, сквозь зубы, давать советы диетолога: что с чем есть – чтоб несчастные богоизбранные грешники хотя бы не траванились там трупами животных, и не подошли все до одного, на этой дикой жаре. Я вообще считаю, что все проблемы у богоизбранного народа начались, когда Бог им в пустыне скатерть-самобранку раскатывал и кормил вегетарианской манной досыта, а они начали воротить нос и орать: «Мяса! Хотим мяса! Дай нам мяса!»

LADY GREY: Да? И почему же Боженька тогда всего этого не прекращает, раз, по-твоему, на земле все так неправильно устроено?

LENA SWANN: А что бы ты делала на месте Бога? Ну представь себе на секундочку, что ты – суперпользователь, с супердоступом! Что бы ты делала?! Похерила бы все напалмом? Расфигачила бы всех раскаленной лавой? Со скринсейвером в воздухе «Game over»? И длинными гудками в воздухе: «Абонент безвременно недоступен»? Видимо, Бог ждет каждого, чью душу можно спасти – из каждого века. Видимо, Бог не хочет людям ничего объяснять человеческим – то есть падшим – языком – с помощью насилия. И не хочет унижать людей отъятием у людей права на свободный выбор.

LADY GREY: Кстати, Христос тоже рыбку ел.

LENA SWANN: А ты замечала, кстати, что среди учеников, которых избрал Себе Христос, есть много рыбаков – но нет ни одного мясника?

LADY GREY: Да Христос наверняка и мясо ел! Христос ведь иудеем был – на Пасху-то иудейскую уж точно Христос барана вместе со всеми иудеями ел!

LENA SWANN: А что ты хотела? Чтобы Спаситель к убийцам и блудодеям сразу пришел с проповедью вегетарианства? Ты не находишь, что это было бы по меньшей мере так же странно, как начать уговаривать убийц, чтобы они «хотя бы» не прелюбодействовали? А блудодеям говорить, чтобы они «хотя бы» прекратили быть трупоедами? О каком вегетарианстве, о какой милости к незащитным животным можно было говорить с чокнутыми людьми, которые Спасителя упрекали в том, что Он не моет руки перед обедом?! Христос ел то, что было. То, что они Ему предлагали. Просто чтобы показать, что не в этом суть. И чтобы сразу говорить с людьми о главном. Христос, как ты помнишь, вообще мог сорок дней ничего не есть. Не в этом проблема. Не сомневаюсь – если уровень развития собеседников был бы выше, Христос бы сказал: пойдете в поле нарвем цветов в знак Пасхи! Или – еще лучше – посадим цветов. Лилий! А не барана заколем. Просто-напросто: Христос пришел спасать цивилизацию моральных уродов и людоедов. Люди были дикие, бессовестные, аморальные – жили по законам хуже животных. А ты хочешь, чтобы Христос этим недоразвитым дикарям милость к животным сразу проповедовал?! А соседние с евреями народы не только зверей – детей! – в жертву в то время приносили! И это было ежедневной узаконенной традицией! Это тоже, по-твоему, «Боженька благословил»?! Но сейчас-то же уже две тысячи лет прошло! Хотя бы минимальный прогресс в уровне людей должен быть?! Сейчас уж точно никто не может больше себя оправдывать тем, что без убийства животных «не выжить»! Уж сейчас-то еды вегетарианской – завались, не как в пустыне, и не как в древней Иудее! Сейчас-то все преспокойно могли бы без убийства животных пузо забить! А уж тем более – ручных, прирученных, доверяющих тебе животных! Как ты могла?! Извращенка! Я не могу до сих пор поверить, что ты его сожрала и не поперхнулась – и еще мне звонила хвастаться, жуя, по телефону!

LADY GREY: Хорошо, тогда приезжай – обсудим это с батюшкой. Может, хотя бы он тебе мозги вправит.

LENA SWANN: А пошли бы вы вместе с вашим батюшкой-живодером. Подельнички. Я бы вот не пошла к нему на исповедь – зная, что он этой самой рукой недавно зарезал ручного, живого,

любящего тебя индюка. Вы, что, с голоду умирали?! Нет, вам просто позарез убить кого-нибудь беззащитного не терпелось! Извращенцы.

User LENA SWANN went offline at 19:51 on 18th of April 2014.

А-ай ванц хэд а гёл... А вот это уже ты, любимый! Ла-ла-ла-ла... А я вот сейчас не поленюсь – даже встану с дивана – вот так вот тебя! – мыском туфли пас в левый угол, по ковролину, моим бедным телефоном! С твоими непринятными звонками! Чтоб не сверкал тут и не вибрировал и не подмигивал. А-ай ванц хэд а гёл, ор шуд ай сэй...

Так я и думала: эсэмэсами теперь бомбить начал... Ла-ла-ла-ла... Нет, отчего ж, эсэмэску я прочитаю – мне даже интересно – как ты там изворачиваться сейчас начнешь! Нет, даже вот встану, не поленюсь и прочитаю. Если телефон, конечно, еще об стенку не разбился.

О-о-о! Любимый! Первая эсэмэска, как всегда, нагло-нетривиальна: «Ti gde?» Узнаю по почерку! Ох уж мне эта аутентичная, неподражаемая, блатная косноязыкая интонация, которую твоим посланиям придает латиница: Ти, типа, в натура, гиде?

А главное – как будто ты мне этого вопроса за последние сутки ни разу в эсэмэсках не задавал. Зудит у тебя. Я здесь же, у себя дома, где и обещала тебе ждать твоего звонка. Но я же не обещала тебя на него отвечать, а, любимый?!

Надо же – вторая эсэмэска предлинная: видимо, ты и вправду запаниковал: как же – как же – сейчас и впрямь ускользнет адресат! Ну-ка, что ты тут насочинял, с перепугу?! «А chto ty vchera delal, moi dorogoi? А ya tebe vchera zvonil! Ya tebe vchera tzvetochki posylal! А kuryer skazal nikoto ne otkryl dver'! А ty potchemu dverku ne otkryl, заука?» Ух уж отрыгнутся тебе на страшном суде отдельной приговорной статьей эти твои излюбленненькие уменьшительно-сюсюкающие, эти твои ласкательно-всё-оплевывающие словечки! Ох, припомнят тебе ангелы этих твоих «заек»! А эта еще твоя гундосая манерка в мужском родике меня называть! Ссыкун. Ага. Чтоб, если твоя эта несчастная, с выпученными глазами, в утиной юбке, через локоть случайно все-таки в смартфон прошпионит – или обрывок твоего разговора с мобилы подслушает – так чтоб алиби было. Действительно, чего б с мужиком-другом не посюсюкать? Ага. Лучше прослыть перед ней латентным гомиком – чем очередной скандал, правда ведь? А эта твоя маниакальная привычка переписываться со мной по ICQ, с несчастной этой рядом в кровати лёжачи (судя по

времени ночи – уже который раз замечала!) – и набивая тексты записок мне с феноменальной подоночьей быстротой – и с такой же феноменальной быстротой их стирая: включив функцию «never save history» (Ну, конечно – главное же – ничего по большому счету не помнить! Или быстро забывать – правда, любимый?) на случай если эта несчастная с другой стороны пододеяльника все-таки подглядеть в экран твоего лэптопа извернется – над чем ты там, не жалея себя, ночь в глаза, работаешь.

А эта твоя чудовищная симуляция чудовищной травмы чудовищного же коленного мениска – когда на этом идиотском швейцарском горнолыжном склоне тебе надо было от жены (прости, конечно, за столь прямолинейное и старомодное в твоих глазах ее определение!), фальшиво от боли воя, сдригнуться, чтобы потом, после визита и ложного диагноза подкупленного врача, сослать ее кататься – а самому, заперев дом и бодро выскочив на верхнюю веранду, телефонировать мне со своей секретной мобилы в Москву – на выгодном фоне гор вместо мобильных ретрансляторов – просто потому что тебе приспичило мне немедленно хвастануть виражами! Ну ненавижу я горные лыжи, холод, снег, снежные окатыши под манжетами дутой куртки! Не-на-ви-жу! И не шалею от шале! Снег – это белая смерть! Не сахар, не соль, как внушает тебе очередной диетолог для похудения – а снег! И лучше сдохнуть было – чем согласиться на отвратительное твое предложение поселить меня в шале в стиле хай-тек на соседней горе (вау-вау – модное место со стеклянной срезанной стеной в три этажа – я простээй тащусь, любимый, правдй, правдй – а главное – сколько ты хозяину современного домишки через своих парней бабла отвалил, чтобы его оттуда со склона ветром сдуло на недельку!) – чтоб ты туда-сюда, со склона на склон, от жены катался! Ага. Чудесные лыжи.

Ты сейчас заноешь, конечно: «Какие лыжи, какие такие лыжи, когда это было, припомнила, уж сколько месяцев прошло!» Нет, любимый – я не злопамятная – просто у меня, в отличие от тебя, память великолепная. Delete history не нажимается!

Нет, что ты в меня вцепился, чесслово, как клоп, а?! Что бы тебе не подобрать какую-нибудь, из этих, с силиконовой надутой куриной гузкой вместо губ – из тех, что оптом вывозит твой дальний знакомец на горнолыжные курорты на продажу или временный съем? Куда

адекватней было б! Мне минутами кажется, что в твоём за меня цеплянии есть прям что-то фетишистское – с того момента, как ты, со своим вечным, посконным, почти бабским языческим суеверием (протез, вырастающий в том месте, где ампутирована вера) – заявил мне (польстить явно хотел – признайся!), что я для тебя «лучший талисман», и что с моим появлением в твоей жизни тебе «попёрло по бизнесу» – а в моменты, когда я пытаюсь от тебя уйти, «пруха пропадает». Как же меня угораздило влипнуть, а?! Да еще так надолго?! Ох уж мне все эти твои фальшиво-жалобные мне комплиментики, что я, мол, – слишком высокая, и что, мол, с высоты моего роста, мол, как раз невыгодно видны ранние твои проплешины, и что вокруг меня, мол, – вон, высокие красивые мужики, мол, вьются – а ты, мол, всегда такой маленький-замученный-невыспавшийся-уставший, зачем, мол, ты мне такой нужен! А все эти твои расчетливо-жалкенькие, мелкой шрапнелью на жалость подло бьющие подвывания: мол, неужели ты, такой убогенький, мне и впредь, даже когда лысина зальет берега, всегда будешь интересен? Ох уж мне эти твои паскудненькие техники навязывания себя, в пожизненные кандалы! Вместе со всем бесплатным довеском в виде этой твоей, несчастной, в утиной юбке с разрезом! И вместе со всей этой твоей, извини за выражение, жизнью! А все эти твои лживо-правдолюбские: «Я люблю, когда ты меня ругаешь! Ругай меня – мне полезно, когда ты меня критикуешь!» – с циничнейшим расчетом (оправдывавшимся, увы, оправдывавшимся!) вызвать у меня почти-таки миссионерские мысли и комплексы жалости: «Ну да, действительно – кто ж тебе, иначе, как не я – всю правду про твою жизнь в лицо скажет – не эта ж твоя, несчастная, чесслово – с выпученными глазами! Действительно...»

А это твое самозабвенное циничное паразитирование! Все эти твои (с наивными глазами) вопросы: «А что ты, мой золотой, думаешь о NN? Какой он, по-твоему, человек?» И – вдохновенное (или, вернее – со вздохом облегчения – когда я отвечаю, что NN – продажный беспринципный подонок) твое вечное: «Ты – моя рефлексия! Ты так хорошо людей чувствуешь!» И – на следующий день радостно отправляешь доверенных людей покупать NN – раз продажный, так почему еще на полке, почему еще не куплен!

А эта твоя прилежная симуляция интереса к моему кругу чтения! Как же – как же! Надо ж потом мимоходом блеснуть перед тупаками! Здесь черпнул – туда перелил – и главное не задерживаясь ни на чем чересчур ни мозгами – ни, извини за выражение, душой, наличие которой в тельце своем ты отрицаешь. Но как же ты любишь (из какого-то извращенного чувства тщеславия) поддерживать – среди тех всех кормящихся вокруг тебя именитых интеллектуалов (а на самом деле средненьких невзыскательных образованцев) – ни на чем внутреннем не основанный флёр, слух, бред, поверие – что ты, мол, человек, не лишенный того-то, и не далекий от того-то... Эта страстишка у тебя, пожалуй, посильнее многих других твоих оригинальнейших качеств!

А эта твоя клептоманская жажда выведать, что-таки я пишу в своем несчастном ноутбуке, запертом от тебя всегда на passcode из фразы на неизвестном тебе языке! Я даже подозреваю иногда (когда ты хищно и с ненавистью на этот запертый ящик пандоры поглядываешь), что как-нибудь ты, подослав очередных своих «доверенных», не просто выкрадешь его у меня – а, после того, как твои спецы не сумеют его взломать, – еще и в ярости растопчешь его – как символ твоей неспособности залезть в мои мысли – несмотря на прослушку квартиры.

Но – не за это, любимый! Не рассчитывай! Даже – не за это!

Фу, как безобразно ты разозлил меня опять – это ж надо ж, а! Казалось бы чего проще: мстительно назвать тебя по телефону «зайкой» и пропеть: good buy! Фу... Чаю, чаю, безусловно чаю! Хлебнуть холодного, бергамотового, вон, в бокале на столе осталось – чтоб перевести дух – и за работу, правку доделывать пора – а я тут с этими ну абсолютно не нужными мне разборками!

Что ж – судя по тому, что в эсэмэске ты навязчиво по-прежнему интересуешься «где я» – можно заключить, что ты или блефуешь, желая доказать мне, что никакой прослушки нет – и что ты меня и вправду, типа, потерял. Или – что прослушку тебе все-таки приносят с запозданием, и что ты и вправду занервничал. Судя по тому, что ты все еще не приперся ко мне сюда – и, наплевав на соседей и на конспирацию, не колошматишь в дверь – в городе тебя нет – улетел, с осинной скоростью, на какое-нибудь очередное срочное очное дельце в первую попавшуюся страну.

Нет, чаю, пожалуй, не буду – ну еще! Раскипячусь на тебя еще больше! Это ж надо ж! А! Цветочки он мне присылал! Отчета требует: что я делала! Что-то! Скажу! Только пеняй потом на себя, когда тебе распечатки принесут! Короче: вчера с самого утра Славика в гости ждала! Ну?! Что?! Съел?! Думаешь, я не припомню сейчас тебе моего любимого фиолетового пизанского бокальчика от Leonardo, в который я так любила сок апельсиновый себе жать – и который ты вот тут вот, с почерневшими от ревности и злости глазами, в прошлый раз раскрошил, сжав, в кулаке, когда я тебе описывала, какой Славик у меня красавец! Короче – договорились со Славиком, еще с вечера, что утром он приедет ко мне. Ну, утро у нас со Славиком у обоих – понятие весьма относительное и растяжимое. Короче, проснулась я в полдень – Славик, разумеется, еще и ни сном ни духом, не звонил – ну, я пока проснулась, пока о том – о сем подумала – время бежит, чувствую: есть уже жутко хочется, а мы со Славиком позавтракать сходить вместе договорились. А тут уже – смотрю – какой позавтракать – обеда-то и то время давно прошло. И тут звонит мне, наоборот, Вова – и говорит: «Я сейчас как раз свободен – могу к вам заехать, я тут на Страстном, недалеко, у другого клиента». Я говорю: «Отлично, Вова, жду вас!» Короче, милый, когда твой тайный посыльный, с цветочками, в домофон звонил, а потом (подкупив, видать, какую-то доверчивую соседку, когда я в домофон не ответила) еще и в дверь мне пять минут копытом стучал – я ну никак не могла открыть. Потому что уж Вовик в этот момент – вот сейчас вот следи вот за собой, пожалуйста, держи себя в руках, будь любезен, любимый! – Д – Е – Л – А – Л – М – Н – Е – М – А – С – С – А – Ж! Уф. Выдохнула! Вот препарируй теперь информацию, как тебе вздумается – ненормальный. А то ишь ты! – эсэмэсить мне: «Pridyot chelovek ot menya, otkroi dver' – budet surpriz! Parol': «Mosgaz» – ага, вот оно! – зачитываю дословно, твое, вчерашнее! Я уже просто как только получила этот текст, уже сразу представила себе эти кошмарные дохлые гигантские позорные веники-икебанища с каким-то мезозойским укропом по краям и белыми шариками – как будто с кладбища обобрали! – которые от тебя обычно привозят! Я ведь сто раз тебя предупреждала: я ненавижу мертвые цветы! В смысле, срезанные. И эта жатая бумага экзотических желчных красок с кошмарным кокетливым абажурным загибом – в точности как эта,

твоя, несчастная, юбки носит. Короче: дверь мы с Вовиком не-от-кры-ли.

А Вован, кстати, параноик, почище тебя оказался: едва увидел мои локти и предплечья, ка-а-ак заорет:

– Это что за синяки, Лена?! Вы мне – что – изменяли?!

В смысле, что я к другому массажисту ходила.

А я ему и объясняю – (как и тебе, в точности, больной!):

– Вова, – говорю, – уймитесь! Я вам сто раз говорила, что у меня суперчувствительная кожа! А это ко мне Мила, домработница, приходила окна мыть. В смысле окно, потому что, как видите, Вова, – говорю, – оно у меня одно, но огромное. И я ей помогала. Вам еще, – говорю, – Вова, сильно сэкономило нервную систему, что вы меня не видите, когда я на сёрфинге катаюсь! Знаете, когда падаешь в воду, а потом снова на доску забираешься: колени, бедра, локти – короче я после этого, – говорю, – вообще как леопард!

И тут Вова мне уже таким тихим совсем, безнадежным голосом:

– Что вы мне, Лена, про сёрфинг-то все заливаете? Синяки, говорю, откуда? Под задницей-то у вас, вон, тоже синяки! Вы чем, интересно, окно мыли? Небось, к этому мелкому чекотило на массаж ходили в салон красоты на другой стороне Тверской? Признавайтесь.

Я в ответ ему уже почти кричу, потому что достали вы меня оба уже:

– Ми-ла! Ми-ла! Окно-о мы-ла! А она у меня низенькая. Ну и пришлось мне ей помогать... На раму локтями опиралась! Ну и потом пришлось на раму сесть и вылезти наружу, на карниз – чтобы верхние секции окна с внешней стороны отмыть! Ясно, да?!

А Вова, такой, ревниво на окно оборачивается – проверяет, типа, не наврала ли я ему – и ехидничает:

– Что-то чистоты-то особой не видно!

– А вы бы, – говорю, – еще попозже заявили! Мила в прошлое воскресенье была – а сейчас у нас что? Четверг! Конечно – сквозь стекло уже вообще еле видно. Грязюка же здесь на улице в воздухе! Лет десять как будто его не мыли!

Еле удержалась, любимый, чесслово, чтоб глупо про кенозис не сострить.

Ну, Вова тут, вроде, слегка успокоился. И тут уже, чтобы нокаутировать этого Вована с его допросами, я строго ему так:

– Только, Вова, не вздумайте меня опять мазать этим кошмарным фито-маслом, как в прошлый раз – я два дня потом из-за запаха этого чихала!

Вова сразу, такой, притих как зайчик:

– Лена, ну что вы, что вы – я с вами работаю теперь только по сухому. Понял-понял.

А я знаю его эти «по сухому»! Как шваркнет – полбедрища снесет! Превосходно его знаю! Лежу и думаю себе: ну, точно, сейчас шваркать начнет, с досады.

Я и говорю:

– Вова... Умоляю: сосредоточьтесь и не шваркайте! Вы всегда вот вначале такой позитивный – а потом как заболтаетесь – и швварк! Вы ж с меня кожу сдираете!

Ну, и Вова уже, так, примирительно:

– Ага? Не шваркать?! Меня так учили между прочим! Что вы на меня наезжаете, Лена? Хотите к чекотило из салона с другой стороны Тверской – с его маленькими ручонками, которыми он только щипаться может да синяки ставить – пожалуйста! Идите!

Любимый. Короче, ты понял: мне надо было крайне сосредоточиться и следить за руками Вована. Мне не до твоей этой пошлячкой оранжерейщины было. С ним ведь только расслабься – и кожи нет! Ручищи – как экскаваторы! А тут еще – букеты от тебя принимай! Да, милый, ты правильно догадался: это тот самый Вовик, который при Центробанке ошивался сначала – а потом пошел по рукам. В хорошем, я имею в виду, смысле. Его ни с кем не спутаешь – выглядит как медведь, но с очень аккуратной прической – как с рекламы туалетной бумаги.

А у него еще такой ритуал специальный, перед массажем: обязательно пойдет руки мыть горячей водой. Долго моет. С мылом! И почти кипятком! И как-то там растирает их специально. Чего-то там приговаривает, напевает. Ну и тут он, слышу, кричит мне из ванной:

– А нормального, человеческого мыла у вас, Лена, нет?! Куска хозяйственного или дегтярного? Что это тут за дрянь стоит на раковине в бутылочке?

А Вова у меня здесь, любимый, для твоего сведения, первый раз вчера был. Обычно я к нему ездила, в кабинет, туда, на Маяковку. Но мне, честно говоря, надоело возиться к нему ездить – выгружать,

оборачивать, заворачивать, мыть, сушить загрузать. Парковаться. Да и эта его кошмарная тарантаска на колесиках, на которой он массаж делает, честно говоря, достала уже: хотя он и уверяет, что это профессиональная массажная лежанка – но как-то уж шибко на тележку из морга смахивает, и скрипит отвратно, когда он на тело нажимает. Да и вообще: два шага здесь Вова до меня пешком пройти.

Короче, я Вовику отвечаю:

– В бутылочке, действительно, дрянь стоит. Это вы правильно выразились. Причем выяснилось, что это дрянь, совсем недавно! Это миндальное, Пальмолив. А тут, на днях, представляете, мне рассказали, что они проводят опыты на животных. Мне показали на сайте «ПЕТА» кошмарные материалы. Ну, знаете, там, кролики, у которых всю их жизнь голова зажата скобками, они зафиксированы в определенном положении, в крошечном пространстве, и им в глаза заливают мыло и другую дрянь, и наносят им раны – и заносят туда мыло и прочую блевотину, которую хотят продать нам, – всё это я, не вставая с дивана, разумеется, Вовику сообщила.

Вова даже воду, слышу, сразу выключил:

– Тьфу, Лена, что вы мне пакости про кроликов? Хозяйственное мыло есть или нет? Говорите по-простому! Вы чем стираете? Я смотрю, у вас стиральной машины нет!

– Я не стираю Вова. У меня аллергия на все эти штуки. У меня всё в прачечную забирают. Воң, если хотите, возьмите со стола: мне один молодой человек подарил – мыло с солями Мертвого моря. Я все равно его выбрасывать собиралась. Знаете ли, сомнительное удовольствие – купаться в концентрированных испарениях предсмертного пота жителей Содома и Гоморры.

Тут уж Вова совсем расстроился, и с причитанием: «Ааай, дда нну вас!» – рванул обратно из ванны.

Вышел, стоит с полотенцем, руки растирает. Похлопывает ладонью о ладонь. Пританцовывает. Пум-пурумкает там опять. Прямым языческий обряд какой-то, чесслово!

Я ему говорю:

– Вова. Перестаньте меня заставлять себя чувствовать, как на приеме у зубного! Начинайте уже! И не шваркайте. Сфокусируйтесь. И не болтайте. Пожалуйста.

А про Вову давно уже всем известно: как массажист он – гений. Но его словесный дрифт – прям беда! Нет, ну, то есть, как начнет массаж – так параллельно навешивает тебе все свои кошмарные медицинские фильмы ужасов из жизни. На него уже все клиенты жалуются – что заткнуть его невозможно, с его этими вечными разговорчиками. Так что, знаешь, с кроликами и Ям а’Мелах – это ему была маленькая месть. Но никто, заметь, не уходит от него! Наоборот борются за то, чтобы по блату попасть в его клиентуру! Он уже, кстати, даже и список клиентов закрыл, новых не берет. Времени, говорит, нет. Потому что в Москве, реально, он – лучший.

И что ты думаешь? Продержался Вова ровно минуту, после моего предупреждения.

И начал:

– Нет, Лен, ну этого я просто не могу вам не рассказать! Представляете, на прошлой неделе, была у меня одна моя постоянная клиентка – фамилию я вам не называю: знаете ли, профессиональная этика! Я ей бочкí делаю, целлюлит сгоняю, ну а она вся такая из себя, подружка этого, как его? Ну вы знаете?! Пегий такой? Из правительства.

Я ему, ласково так:

– Заткнитесь, Вова, пожалуйста, а? Меня тошнит от этих пегих, из правительства. Дайте мне спокойно полежать подумать. Меня не интересуют эти истории.

А сама лежу и покряхтываю, потому что в этот момент Вовик как раз мои бедные плечи доламывает.

Тут Вова мне, поднажав на хребет, возмущенно:

– Да не-е-е! Лен! Вы меня не так по-(хряк!) – ня-(хряк) – ли! (Хряк-хряк!) Это ж я не про кто с кем! (Шварк!) Да плевать мне на него! (Шшвварк!) И забыть!

Я ему:

– Вова, перестаньте немедленно шваркать! Держите себя в руках! Достаточно того, что вы хрякаете!

– Вы за кого меня, Лена, принимаете?! (Шварк!) Я, что, вам – сплетник какой-нибудь?! (Шварк!) Я ж про нее! Лежит она, короче, там, у меня на лежанке, которую вы, Лена, (хряк-хряк!) почему-то (хряа-а-а-ак!) все время критикуете (Хррряяк!)? А я только-только

работать (Швааарк!) с ней начал, весь уже в мыле (Шварк – Шварк!), потому что ляжки у нее действительно не приведи...

Тут я его уже грубо перебиваю и говорю:

– Так, Вова, всё, замолчите. И не смейте мне по спине больше шваркать. У меня целлюлита нет. Еще раз шваркнете – я вас выгоню. И заткнитесь, сделайте милость. Я не желаю этих подробностей.

Вова замолк, но ровно на секунду, а потом затараторил:

– Ладно-ладно, Лен, тогда без подробностей: короче, слушайте, лежит она, я работаю...

В этот момент, Вова, явно желая показать мне, как именно он над ней работал – обхватил мои предплечья своими ручищами, как наручниками из наждака, и давай их растирать по кругу! Больно жутко! Тебе когда-нибудь «крапивку» в детстве делали, любимый? Во-во! Ощущение ровно такое же! Как будто он огонь собирается высекать из этих моих несчастных ручек! Я пойкиваю, а этот бессовестный гад, пользуясь моим положением, невозмутимо продолжает:

– ...И тут у нее, – говорит, – представляете, звонит мобила. А мобила на подоконнике валялась. Я ее спрашиваю: дать телефон? Она такая: «Да, да, обязательно! Я жду звонка». Я пошел ей за этой мобилой – смотрю, телефончик такой маленький, уродливенький, скучненький, я его взял – и чуть на ногу себе не уронил! Не представляете: та-а-акой (хряк-хряк-хряк!) тяжеленный, как молоток! Думаю: это кто ж такую дрянь-то сделал? Из чего это он? Наши, что ли, русские, что ли, думаю, мобилы стали делать? По конверсии, на каком-нибудь военном заводе? Взглянул, для интереса, что за фирма: ну, фирма какая-то неизвестная, у меня в мобильном салоне рядом с домом такой и нету даже, что-то типа verti, что ли, или что-то в этом роде. «Верти». Не знаете такую?

Я говорю:

– Вова. Вы долго еще будете мое терпение испытывать?

– Не-не! – говорит. – Не долго! Еще буквально секундочку! Короче, выхватывает она у меня этот свой страшненький телефончик, и пицтит в него: «Алё! Да-да, выезжаю!» Я думаю: «Ну, это уже совсем хамство! Как это «выезжаю»?! Мы только что работать начали! А как же ляжки с целлюлитом?! И тут она вскакивает, и говорит: «Вовочка, извините, мне надо бежать: нос подвезли!»

Мне бы, любимый, вот тут бы надо было и прихлопнуть всю эту Вовину болтовню! Вот ровно вот в эту секунду! Я же ведь, любимый, уже не могла не догадываться, что ничего аппетитного в хэппи-энде этой истории не будет!

Так нет, я, сдуру, возьми да и спроси:

– Что за нос?

Поймалась, короче!

И тут этот подонок, уже ликующе:

– Ха! Неужели вы не понимаете, Лена! Это ж у нее оказался нос не настоящий, а после пластической операции! Ну, там ей форму носа почему-то хотелось другую! А эти хрящики, ну, донорские, которые туда вставляют, имеют обыкновение рассасываться! Раз – и растворился! И теперь, как она мне сказала, ей каждые полгода приходится новый хрящик вставлять – от свежего мертвяка! А иначе нос провалится, как у Майкла Джексона! Ну и вот ей как раз из клиники позвонили, что свежего мертвеца подвезли, с подходящим носом!

Да, милый. А ты тут со своими цветами! Нет, я не стала даже ему никакого скандала закатывать. Уже поздно! Невозможно Вовику обратно в рот нафаршировать то, что уже из него изрыгнуто.

Вова торжествовал:

– А что вы думаете! Конечно! Так вот идешь по улице и не знаешь, какие мимо тебя носы, скулы и прочие части тела проходят! Прихожу я как-то к девушке на свидание, а у нее силиконовая долина (хряк!) вместо бюста оказалась! Нафига ей олимпийских статей захотелось – убей меня (хряк-хряк-хряк!), не пойму! Мало того (Ххрякк!) – они еще и съезжали все время, эти силиконовые вставки! Четыре вымени получилось! Как на свиноферме! И честно вам скажу: я сбежа-а-а-ал!

Причем на этом «сбежа-а-а-ал» он ка-а-ак хватанет мне опять по всей спине, как наждаком!

Этой похабели я уже не выдержала:

– Всёе, Вова, – говорю. – Или вы сейчас же затыкаетесь – или мы с вами больше не работаем. Никогда. Разлагающиеся имплантаты станут вашим последним словом в нашем с вами общении. Если еще раз шваркнете – результат будет таким же. Давайте послушаем тишину.

Вова заткнулся – ровно на минуту. Не шваркает даже. Массаж – просто лайт-версия!

Потом обиженно, и как бы не мне, а как бы в воздух, запричитал:
– Послушаем мы, Лен, скоро не тишину, а как ваши косточки друг о дружку стучат. Вы что это вот, специально что ли не жрете ничего? У меня бизнес отнимаете? А? Жрать-то все-таки что-то вам надо иногда! Тощая уже! Прямо противно. Над чем тут с вами работать-то? Я костями не занимаюсь. Я же не мясник вам какой-нибудь в советском магазине!

The Voice Document has been recorded
from 19:59 till 20:30 on 18th of April 2014.

Короче, сволочь этот Вовик та еще. Но в единственной детали Вовик оказался прямо пророком: либо быстрый обморок – либо срочно съесть надо было что-нибудь. Эту нехитрую альтернативу я сразу же осознала после его ухода. Славик, едрёныть, всё не звонит – не едет. Набрала ему: мобила вообще вырублена.

Ну, и я экстренно отбила эсэмэс водителю: «Герцогиня Кёркольдская будет к чаю через полчаса!» (Это пароль у нас такой!) Думаю: чего там водителю без дела ошиваться – пусть, думаю, сумки мне донести поможет, прошвырнется.

Думаю: ну успею же я до Славика за жратвой сходить! Точно! Будет чем его угостить! Славик мой мастер опаздывать еще почище меня.

Ну, и Андрюша, водитель, зашел как раз в тот момент, когда я руки коулд-кримом запечатывала, с пчелиным воском – бескровная альтернатива гусиному жиру: доктор Цвиллингер смилостивился, капитулировал – говорит: «Ладно, – говорит, коулд-крим сойдет». Короче, задраиваю поры как в субмарине: герметизация полная.

Едва мы с Андрюшей из двери вышли – подплыла ко мне в коридоре одна дама – местная старая жилка, с верхних этажей – ловко так подплыла, с минимальным звуком перебирая лапками по липкому линолеуму в ярко алых новеньких, еще не стоптанных плюшевых тапках с помпончиками. И – вижу – подает мне грозные знаки глазами (с дрожащей в такт сигнализации обвисшей синей куриной кожицей вокруг глаз) – а когда я ее тайную азбуку дешифровать не смогла, то

она вдруг прильнула ко мне всем телом, и засвиристела в ухо сквозь дырки между зубов:

– Вы свыфйте меня? Нисего не отвечайте просто девжите себе на уме информацию. Свыфйте? Я здесь со сталинских лет зыву. Здесь все за всеми следят. Я их всех знаю. Например, эта, Сссс... (тут свист перешел в имя соседки с одного из верхних этажей) – она еще при Брежневе подъездной донофчицей работала. Раньше по пять-шесть человек из жильцов на подъезд минимум было, которые регулярно донофили. Вы, что, не знаете? Так ведь по всей Москве в советское время было! Да-а-а! Обязательн-а-а-а! А как же? Мно-о-огие померли. Но многие и зывы. При Ельтфине-то они без работы фидели. А теперь давно уже снова на флувбе – и имеют пятьсот рублей в месяц, за то, что рассказывают, кто к кому приходит, а кто когда с кем уходит. Ну, там, и про иностранцев тоже – рассказывают, приглядывают, про вижиторов.

– Пятьсот рублей? – изумилась я. – Какая-то неправдоподобная сумма. Маловато как-то. Я вам не верю.

Старушка мелко затрясла головой и всезнающе засмеялась:

– Дие-вушка-а! Свуфайте меня! Кризис зе! Раньше все вообще получали по двести – и то фсястливы были! До пятиста это только старшим по подъезду повысили! Да и то лутфим! Фифтему возобновили. Свыфйте меня? В каждом подъезде! Свыфйте меня! В каждом! Хоть один-два человекка – да есть. Ну не всем, конечно, так роскошно платят. Обыфным, рядовым выдают всего по двести – триста рупь. Старикам же ведь много не надо: сидишь на пенсии, никому не нувен! А тут вдруг – внимание, разговоры! Ну и фювствуешь себя при деле. Поди плохо. И на на фигаретки денюфку подрафывают! Впрочем, и молодые идут. Родила ребенофка, например – фидишь на декрете, пофобия маленькие – как зарабатывать? Фейчас денефку прибавили – ефьо больфе подфянулись. Фидишь консьержем – или прогуливаешься по подъезду, с людьми разговариваешь – а заодно и... На фигаретки. Да, офобенно ховошо одиноким маферям, или пенсионеркам – подработка на дому. Так что свуфайте меня: дорогая диевушка! Я за вами давно наблюдаю – вы себя ведете неосторофжно. Примите информацию. Профто к сведению. И тут не это фамое!

– Что «не это самое»? – уточнила я на всякий случай.

– Ну тут не это! Я к вам с добром! Вы имейте в виду!

Похоже, почувствовав, что иначе от моих наводящих вопросов ей не увильнуть, доброжелательница приложила удивительно моложавый, крошечный, указательный пальчик к трагически покрашенным губам и со зримым активным участием языка повторила звук «Ссс!» – который я лично смогла расшифровать только как «Silentium!», – после чего она предпочла красиво (в смысле молча) удалиться, чуть звучно влача за собой по бурому линолеуму прилипающими подошвами театральную ноту напряжения.

Расфокусированно следя за ее уплывающей фигурой – ее мужиковатой спиной в претенциозном, китайском черном халате, расписанном огромными едкими лиловыми водяными лилиями, которые кой-как удалось стянуть широким поясом в кубический лакированный букет на талии, но зато ниже они сразу мстили за несвободу, и на тазу уже вели себя как шторы в переполненном двустворчатом комоде, причем под бешеным двоящимся увеличительным стеклом, – и все это шло на бледных, голых, тончайших, непонятно как держащих конструкцию, но зато невероятно шустро, гладко ходких ножках (так что зрительно получалось, что громоздкую мебель плавно переносят по коридору какие-то маленькие, меланхоличные изящные чахоточные чернорабочие), которые торчали из-под подола по голень – как будто привинченные с обеих сторон к краям халата под резким, критическим углом внутрь, и как будто никакого продолжения над ними и не было, – я вдруг еще раз запнулась взглядом о ее яркие тапочки – алые – нет, скорее даже малиновые, на которых престарелая затейница выделяла свои вычурные кренделя прочь от меня, отскакивая от стен и легко перебегая то на одну, то на другую сторону коридора (зигзагами – видимо, для конспирации), изображая, что сильно интересуется состоянием кожи чужих дверей по пути, и заодно слегка подпнывая батманом тандю-жете соседские половички на ходу, так, для порядку. Своими шикарными плюшевыми тапочками. С закрытой пяточкой. Новенькими. Нарочито яркими, как будто специально активированными на фоне блекло бурого линолеума. Как текст, выделенный малиновым маркером в компьютере. Тапочками, под кокетливым кантиком которых (у нее на левой ноге, с внутренней стороны, прямо под косточкой) я вдруг ясно увидела аккуратно заткнутую пятисотрублевую купюру.

Сложенную вдвое. Честное слово: я удивилась.

Чего, карманов в халате не нашлось?

На улице Андрюша мне, эдак, с материнской нежностью:

– Зря вы, Лена, головной убор-то опять не надели!

Сам-то Андрюша в вязаном пирожке ходит. Низко надвинутым на лоб. Грубым выглядеть пытается. Этот пирожок он, как только выходит на улицу, двумя руками на уши натягивает каждый раз – таким яростным движением, в котором участвует вся шея и вообще все тело, – как водолаз костюм, как будто ныряет туда, в эту шапку, так глубоко, что потом у него пару минут и глаз-то почти не видно, пока она опять не сползет вверх. И тут он начинает чесать свой большущий лоб указательным пальцем, согнутым в баранку – потому что шерсть лоб натерла. Костолом такой с виду, амбал, два метра, в хрестоматийной кожанке, нос булыжник.

А вот едем мы с ним как-то раз по Садовому кольцу, разговорились о чем-то мистическом, и тут он после финальной паузы выдает мне:

– Вы знаете, Лена, я вот честно вам признаюсь: мне иногда кажется, что что-то где-то все-таки есть!

И это в этом ужасе серой слякоти, каменных брызг, грязищи и вечно библикающих неврастеников в пробках Садового сказано!

Но это он только со мной такой чувствительный. Подъехали, вон, давеча, припарковываемся на Новом Арбате, ну там, в Артиколи сходить крем мне гипоаллергенный купить, ну и к машине подбегают моментально кривоногий и нагло криволицый в черной короткой дубленке штырь и колотит со всей силы по лобовому стеклу красным кулаком, вышибая либо пропуск либо взятку.

Тут сентиментальный Андрюша мой, спокойным движением, открывает окно, поворачивает голову и изрыгает туда страшные нечеловеческие матюги, вперемежку с названием государственных аббревиатур – так что мнимый контролер отваливается и больше никогда не появляется на нашем горизонте; а Андрюша – бззыымм – закрывает окно – быстро-быстро, видать, чтобы его матюги не успели обратно ко мне по воздуху в машину влететь – и вмиг поворачивается ко мне со своей обычной мягкой улыбкой, и даже какой-то детской растерянностью на губах, как будто его застукали на невинной шалости:

– Вы простите, Лена, что так далеко от входа припарковаться удалось, – идти немножко далековато, а холодно опять на улице...

Вот и вчера – холодно – не то слово! Просто уже температура против Цельса, по моим ощущениям. Или как его там звали? Брррр. Околоть можно.

Территория, патологически, насквозь, зараженная холодом.

Снаружи, за решеткой входной двери, за стеклом – загадочное, завалившееся углом за деревянную перемычку, большое объявление: «Нотариус – воскрес.».

Андрюша говорит:

– Лена, вас продует! Ветер-то штормовой прям. Зря вы так легко...

Иду, думаю: действительно. Свирепейшие муссаки и пассаты дуют в моем переулке – ну или как их, свирепые, которые веют обычно между скал? Нет, мусаки – кажется, это что-то съедобное. А пассаты – это, кажется, машины. Ну не важно. А как их? На самом деле? Которые между скал? Патиссоны? Что-то, думаю, какая-то мне гастрономия в голову лезет вместо географии. Вперед, вперед – срочно! За едой!

Подходим к арке – а там – гондольеры! Всё водой залито, и гондольеры гребут! Стая солнечных диких зайцев в салочки играет, всё сияет, ручьи бурлят, прилив, зайцы с солнцем в пинг-понг режутся – от воды на внутренней подложке арки – рисуют дрожащие борозды нёба на ее зеве и на всех живых плоскостях вокруг! И вот, один гондольер из-за угла с Тверской сюда к нам выгребает, а другой из переулка ему навстречу плывет. На их спец-одежде тоже солнечные блики балуются – волнистые сеточки выделывают: многократно повторяющийся в разные стороны знак «приблизительно равно». Я зажмуриваюсь от сияния и уже буквально слышу, как гондольер, который выгребает сюда к нам с Тверской, кричит из-за поворота (как и положено истому венецианцу) тому гондольеру, который здесь, в переулке, чтоб не столкнулись гондолы:

– Оой! Гондой!

А тот ему отвечает... Нет, я тебе даже лучше и не буду передавать, что он ему ответил, этот другой гондольер! Который, стоя на деревянном помостке, увы, прочищал веслом прорванную на углу с Тверской канализацию.

Заткнутый нос. Капюшон. Все люки задраены. Маршрут броска – Елисеевский. Оббежали весенний арык стороной. По узкой сухой кромке, с правого боку под аркой. Ноги строго ставить только одна за другой по линеечке. Как муравьиный мост. Андрюша даже предлагал использовать машину как волнорез.

Подземный переход. Нырнули-вынырнули, уже с той стороны Тверской. И тут я сразу опознала по вишневой заднице пальто свою знакомую бомжиху: массивная, с сильной проседью, ровно подстриженные волосы по плечи, с тележечкой. Я обрадовалась жутко! Я ж ее уже с месяц или больше не видала! Мало ли что с ней могло произойти!

– Инна Григорьевна! – кричу. – Здравствуйте, дорогая! Как ваша грыжа?

А она аккуратненькая такая – не как другие бомжи, которые демонстрируют свою нищету – и, главное, не пахнет. Говорит, что куда-то на вокзале раз в неделю бегают мыться в платный душ. Зубную щетку с собой всегда носит. В тележечке такой специальной, где все ее вещи.

– Инна Григорьева! – кричу, и уже догоняю ее, уже рукой до правого плеча ее дотрагиваюсь: – Подождите! Я вас еле догнала! Как ваша грыжа?

И тут Инна Григорьевна оборачивается ко мне – и оказывается хорошо одетой гнусной бабой, идущей в Елисеевский. С тележечкой. А никакой не Инной Григорьевной. Тьфу ты.

И самое изумительное ведь, Инна Григорьевна никогда ничего не просит! Не попрошайничает, в смысле, на улицах. Как она живет – загадка. Иногда суешь ей денег, а она триста раз переспросит:

– А ты уверена? А ты-то сама как проживешь?

Впрочем, однажды – попросила в магазин «Москва» зайти и книжку ей купить. Она смешная, эта Инна Григорьевна. Библиотеку целую возит в этой своей тележечке. Обменивается книжками с весьма не тверёзыми поэтами, которые под утро с безобразно интеллектуальных пьянок расходятся. Цитирует Бунина и Горького времен Капри. Бомжует уже лет пятнадцать. Говорит, что родная сестра ее с квартирой обманула, когда их мать умерла. А один раз – последний раз, когда мы виделись – вдруг впервые пожаловалась: задрала свой фиолетовый свитер и показала – вон, смотри, ужас,

грыжа – говорит: «в больницу надо, но кто меня такую возьмет». С правого боку на животе у нее оказалась выпадающая из подола общей скульптуры гроздь нездорового сизого гипертрофированного винограда. Сколько ж я ее уже знаю, эту Инну Григорьевну? Ты бы видел, как мы с ней познакомились! Я как сейчас помню: как-то выбежала ночью к вагончику «Крошки-Картошки», туда вон, напротив, в начало Тверского бульвара, где Пушкин стоял, пока Сталин не перекинул его на противоположную сторону. А на мне эти старые джинсы госс бароссо, яркие, разрисованные, абсолютно ассиметричные, с мордами и с вкраплениями и стразами на пятой точке. Смотрю, какая-то женщина стоит под козырьком, у киоска, красивая, лет шестидесяти, с какими-то вольготно расположенными крупными чертами лица, с длинным аккуратным каре, с проседью, и с тележечкой – и аккуратненько ест картошку с сыром за столиком – чикает пластиковыми ножом и вилкой, перебрасывается с девчонками-киоскершами про погоду: тоже весна тогда была, только вот ночь теплая, парило прямо – и хитро на меня так посматривает.

Дождалась, пока я себе тоже картошку купила (мне без сыра и без масла, пожалуйста).

И вдруг говорит мне – без всякого предисловия:

– Интересные у тебя джинсы: на левой штанине – все твоё прошлое, на правой штанине – вон, будущее!

Я аж поперхнулась. И так в общем, ну, надо тебе признаться, не без опаски покашиваюсь что на правую ногу, что на левую – ноги оттопыриваю. А она сделала паузу, пока я горячий кусок картошки проглотила.

И предлагает:

– Хочешь, я тебе еще лучше джинсы сошью? Пойдем со мной в выходные. Я тебе на блошиных рынках таких материалов накуплю, таких аппликаций сделаем! Эти, небось, из бутика какого-нибудь. Дорогие небось? А я тебя научу, как лучше сделать – и за бесценок – таких ни у кого в мире не будет, кроме тебя! Уникальные. Мне ничего за это не надо – я тебе хочу подарок сделать.

Мне интересно стало. Я вместо того, чтобы схватить свою картошку и дуть домой, по пути сожрав все без остатка, даже до квартиры не дождавшись, как обычно – я вместо этого пристроилась

там рядом с ней, на соседнем столике, выедаю свою картошку из фольги. Выпиливаю горячие кусочки и жду.

А бомжиха на меня никакого внимания не обращает. Но я чувствую, что она про меня что-то думает. И как бы боковым зрением мы друг на друга смотрим. Знакомимся.

Потом – доела она. Губы салфеточкой обтерла. Девочек-продавиц поблагодарила. Взялась за тележечку. И ну – туда, вниз по ступенькам в глубь Тверского бульвара, в сырую и теплую темноту. И уже перед тем, как шагнуть вниз, затормозила. Обернулась. Хитречки на меня опять глянула.

И как выдаст:

– Я тебе вот что скажу про тебя. Ты обыкновенных-то не люби. Люби необыкновенных. А то...

И не договорив, развернулась, бодро пошла по ступенькам, махнув мне рукой, и бумцая за собой колесами своей клеенчатой сумки-бомжевозки.

Слыхал, любимый?

Вот зря я сейчас, кстати, эту картошку вспомнила – прям вот запах почувствовала: они мне еще туда маринованных огурцов подложили тогда, кстати. А вчера – так прямо уж желудок свело, как вспомнила об этом. Короче. Рванула в Елисейский.

Высматривала, высматривала бомжиху перед входом в магазин – нигде нету. И это ж надо же мне было какую-то расфуфыренную дуру со спины за нее принять. Фу как обидно. Смотрела – смотрела: нет нигде Инны Григорьевны, пропала куда-то. И главное, жалко: зиму-то она кой-как пережила – а теперь куда-то провалилась. Только две артосоносные старушки грустно брели из Елисейского мне навстречу с архаичными плетеными авоськами, сеточками веревочными, с душистыми круглыми хрупкими караваями-паляницами внутри, которые хотелось понюхать прямо через этот портативный гамак. А так – толпа, толпа.

Ну, в Елисейском, ты знаешь, разумеется, к какому я отделу сразу полетела? Андрюша уже тоже, меня даже не спрашивая, прямиком к фруктовым прилавкам впереди меня идет.

А там, во фруктовой секции, я уже, разумеется, замечталась! Стою, думаю: может, купить вот этих вот киви-gold? Которые на срезе как гибрид неграненого сердолика с хризолитом? Или, может,

черимойю? У которой косточки выглядят, как будто их кто-то уже пожевал и выплюнул, пока они еще были незастывшими, в мягком пластике, в протомодели, в супер-компьютере супер-дизайнера? Где тут у них черимойя? Нет у них здесь черимойи в Елисеевском, любимый, ты представляешь? Позор.

И тут шальная мысль пришла мне в голову. Думаю: эх, разврат так разврат! И бросилась в секцию вегетарианских средиземноморских блюд. И одно уже единственное слово горело во мне: Схуг! Что мне мешает, думаю, в конце концов, купить и поесть схуга?! Вот прямо вот сейчас! Немедленно! Наплевав на доктора Цвиллингера! А? И в ту же секунду уже вот во всех деталях представила себе, знаешь – сэндвич: слой хумуса, слой схуга, оливки, помидоры, корнишоны – и все это на квадратном куске грубого, грубейшего хлеба. Разрезанного по диагонали и сложенного вдвое. Или можно питу. Ага, и макать сначала в хумус, или тхину – а после в схуг! И еще раз в схуг! В красный схуг! Ну, или хотя бы, на худой конец, в зеленый – хотя – зеленый и не такой ядреный! Зеленый, думаю, конечно хуже – но уж какой у них сегодня здесь, в Елисеевском, будет!

Ну, или можно, рассуждаю, вообще пуститься во все тяжкие: закупить фалафеля – и макать в схуг! Но – тогда уж исключительно в красный! Иду, и начинаю уже волноваться: размечталась, думаю, ан сейчас у них ни красного, ни зеленого не будет! Уже чувствую, что почти бегу. Подхожу к прилавку со всякой ерундой, которая в Иерусалиме продается как дешевый уличный фастфуд, а у нас здесь в Москве почему-то – как деликатесы. И смотрю: схуг! И красный! И зеленый! Глазам не верю! Ох, возлюбленная термоядерная медитеранская аджига! Доктор Цвиллингер мне запретил все красное. Говорит: «В природе же все мудро раскрашено. По крайней мере, пока у вас приступ аллергии – держитесь подальше от всего красного. Делайте акцент на зеленое». А я думаю: а я красненького сейчас схугу хватану – а потом зеленым схугом догнаться! Чтобы аннигилировать ущерб для организма! А Цвиллингеру ничего вообще не скажу, когда он звонить мониторить меня будет, по дурной своей привычке. Может, думаю, схуг, вообще, мою аллергию вылечит? Ну, знаешь же ведь, известный же факт – когда жрешь что-то запредельно острое, организм получает сигнал, что его сейчас укокошат – и моментально мобилизует все свои ресурсы! Точно, думаю: буду лечить аллергию схугом! И в

Швейцарию тогда к доктору Цвиллингеру больше лететь не понадобится!

И я уже эдак любовно облокотилась на прилавок и уже буквально пропела, раздумчиво так, продавщице:

– Мне, пожалуйста-а-а...

И тут – ай-яй-яй – звонит подруга на мобилу. Какая, какая подруга?! – ты сейчас как всегда заноешь! Не твое дело! Короче, я слюну сглотнула, чуть от прилавка отошла – и не выдержала: говорю в мобилу, подруге, так нежно: «Слушай, – говорю, – а вот как ты думаешь – можно мне красненького схугу, а? В лечебных целях? Чтобы аллергию вылечить?»

А эта гадина мне:

– Меньше, чем холеру я бы тебе схугом, подруга, лечить не посоветовала.

Еврейская стерва. Вечно она со своими разумными советами, а! Под руку. Ровно в ту секунду, когда мучительно уже хочется чего-нибудь сожрать! Ага. Я ее Мобильной Премудростью обзываю. Знает кучу всяких полезных бытовых деталей. Знаешь, из тех людей, кто на улицу в незнакомом городе без карты не выйдет – и сначала два часа сидеть будет изучать маршрут – вместо того чтобы все эти два часа гулять и наслаждаться. Ее даже вместо спутниковой навигации использовать можно!

Я ей как-то раз звоню из Вены после деловой встречи – времени в запасе только час перед отлетом, и говорю: «Как мне пройти к Бельведеру?» А она мне, нагло так: «Это зависит от того, подруга, где конкретно ты сейчас находишься, ты так не считаешь?» Язва и стерва. Я ж говорю. А я ей: «Ну где-где? Откуда же я знаю?! Это ж ты, – говорю, – Вену знаешь, а не я! На площади вот! Меня, – говорю, – хоть на коленях проси – я карту в руки не возьму. Для меня это все равно, что читать словарь – сразу хочется читать во всех направлениях!» «Ладно, – говорит, – опиши мне тогда, – говорит, – в деталях, что там вокруг тебя?» «Что-что! – говорю. – Ну, вот какая-то тетка толстая на постаменте!» «А! – говорит. – Мария Терезия! Ну так я тебе диктую единственный способ, которым ты, подруга, в состоянии добраться до Бельведера. Записывай, – говорит. – Выходишь, – говорит, – на проезжую часть – вышла? Выставляешь вперед правую ручку –

выставила? Машешь ею, излавливаешь такси – и говоришь: «Бельведер!» Запомнила?!»

Короче: еврейская стерва.

Знает всякие умопомрачительные технические детали про то, где проложен трансатлантический телефонный кабель по дну океана – по которому, типа, сигнал меньше чем за секунду долетает из Европы в Америку, прикинь! Я ей как-то говорю: «А рыбы там этот кабель не перегрызут? Этот кабель же, – говорю, – там, на дне океана никто не охраняет!» А она мне, умным голосом таким: «Да, – говорит. – Есть такая возможность. Но там, – говорит, – на дне, их, этих рыб, так сильно плющит, что уже не до перекусывания. Диверсантов, боюсь, постигнет та же участь. Им там на дне не до пикников, не до еды».

Короче, – стою я вчера, в расстоянии полбедра от прилавка, веду я заочный диспут с моей благоразумной подругой – и продолжаю ее уламывать – говорю ей: «А если я не красный схуг возьму? А хотя бы зеленый? Ну совсем немножко? А?»

А слюни уже буквально подступают вновь.

Короче, ответа я ее уже не дослушала.

Потому что на противоположной стороне стойки начался какой-то галдёж и оживляж.

Андрюша аж занервничал – говорит: «Что там такое-то не пойму?»

И мне бы сразу, дуре, отвернуться и сказать: нет, всё, уходим отсюда. Потому что ж ежу понятно: там, где оживляж толпы, ничего хорошего быть не может. Туда, где массовке весело – лучше не суваться.

Так нет – сунулась. Вслед за Андрюшей. Думаю, что за скандал там? Обхожу прилавки. По пути слышу, как поджарая кикимора в мехах жеманничает с бужениной в мясницком халате:

– Мне, грамм триста, – просит, – постненькой ветчинки взвесьте, будьте любезны! Нет-нет, вот лучше вот этот кусочек, попостнее! Нет-нет, вот эту, слева, постненькую!

Иду, и мельком про себя думаю: страна, где ветчинку называют «постной», обречена, по-моему, на мучительное вымирание. Как ты считаешь? А? Любимый? Это приговор, по-моему? А?

Пошла дальше: что ж там за гвалт и нехороший смех?

И когда я увидела – то даже постнейшая ветчинка уже могла, по сравнению с этим, райским садом показаться!

Нет, милый, мне вот даже описывать тебе не хочется, что там происходило! Дебилы. Недоразвитые дебилы сгрудились вокруг судка с живыми – полуживыми, еле живыми, уже почтидохлыми, искалеченными, но еще движущимися крабами, друг по другу карабкающимися в склизкой грязи судка, как в братской могиле, во рву – и потешались над ними! У одного краба не было не только клешни, а, собственно, и всей передней ноги – и его агонизирующие движения и попытки выбраться из-под подыхающих собратьев вызывали живейший гогот людской (ну, только условно – по номинальному зоологическому прозвищу) компаши. Милый, один из весельчаков, кстати, был страшно похож на тебя. Ага, только посмазливей, и без проплешины, можешь поревновать и позавидовать. Хохотал с иродовым мещанским любопытством.

Короче, ничего уже было не надо мне. Ни схуга. Ни фига. Уже просто не глядя ни на что, чудовищной силой воли борясь с тошнотой, на механических ногах вернулась в овощи-фрукты, похватила как кегли, не глядя, без разбора, без формы и без вида чего под руку попало. И вон оттуда.

И иду, уже на улице, и чувствую: еще несколько секунд – и Андрюше придется собирать меня как хворост с мостовой, и тащить домой как дровосеку. Что-то мне поплохело совсем, из-за этих крабов, и асфальт просто уже угрожающе в глаза кидается.

Я говорю:

– Андрюша, давайте-ка мы с вами на секундочку вот сюда вот еще, в галерею «Актер» забежим, ладно?

А уж какой там «забежим» – доползти бы! Думаю: сейчас там хотя бы нюхну духов каких-нибудь, чтоб в обморок не хлопнуться, виски смажу.

Ну, Андрюша, такой:

– Без проблем.

Но, видимо, Андрей взглянул на меня в этот момент. И видимо, с колористикой у меня на лице было в тот момент не очень. Я только боковым зрением увидела, как у него пирожок со лба вверх пополз. Но промолчал. Только пакеты у меня сразу выхватил:

– Отдайте, Лена. Не украду, не беспокойтесь. Охота была – красть! Мне там все равно и пожить было бы нечем.

Входим. Ненавижу я эту «галерею», между прочим. Мещанский магазин, а не галерея. И купол, кстати, снаружи твоим любимым Негреско отдает.

Но я уж чувствую: всё, имёджентси искейп, не до разборчивости. Цугом с Андрюшей по эскалатору, на второй этаж. В парфюмерный. К счастью – смотрю – на полке с краю – мои любимые, самые старомодные, изобретения прошлого, двадцатого века. Нюхнула. Ага. Вместо нашатыря. С запахом 3D, со многими гранями, сильно разнесенными во времени, каких сейчас уже не делают. Объемные. С мутным подтекстом ладана на доньшке третьей ноты. Прыснула сразу в нос. И потом еще на виски, и сбрызнула на обе ладони – на дорожку. Чтоб до дому добрести. Короче – чувствую: сработало. Шоковая терапия. Единственное, что подпортило чудесный эффект – вспомнила сразу этот твой гнусный обонятельный конфуз, всю эту твою жалкую конспирацию. Я же ведь ни на секунду тебе не поверила, когда ты завирал: «Зря ты вот духами пользуешься! Все равно я запахов почти не чувствую. Ну абсолютно нет у меня обоняния, почти совсем, ну совершенно! Честное слово! Не знаю почему – может от перенапряжения, работаю, наверное, слишком много, зайка!»

Ага. Перенапрягся, любимый. Особенно когда смекнул, что духами я не для тебя, а для себя пользуюсь. И уж скорей расстанусь с тобой, чем с этим обонятельным щитом.

И тогда уж ты трусливо сдался:

– От тебя ж пахнет прям как от парфюмерной фабрики! У меня ж все костюмы после этого неделями твоими духами пахнут! Даже после химчистки!

Да, милый. Умели делать духи в прошлом, двадцатом веке. Разили. Наповал.

А эта твоя, несчастная, в утиной юбке, поди, скандал закатила?

Короче, едва выбралась я из галереи «Актер» на свежий воздух. Холодный, вернее. А не свежий. Свежий здесь только в кислородных масках у японцев-велосипедистов дают. Ну да, иду, и всё ладони нюхаю. Сложила их шорами – и бреду. Пошатываюсь – но уже только слегка. Думаю: это ладно, я-то просто таки super iron lady в сравнении с моим бедным Славиком. Славик, вон, на прошлой неделе, прикинь,

когда мы с ним заехали ночью на Лубянку, в этот бывший гэбэшный 40-й гастроном, где сейчас круглосуточный Седьмой Континент, – так Славик вообще от впечатлительности чуть не окочурился! Вот не вздумай мне только вот сейчас загундеть: «Зачем это вы со Славиком ночью в супермаркет ездили?!» За зеленью, любимый, за зеленью. За салатиком. Зеленым. Ага. Изобрази мне еще – давай, попробуй, поблей мне еще! – бе-е-е-е! – подразнись! – как в прошлый раз! Рискни! Стоим мы, короче, со Славиком уже у самой кассы – очереди почти никого – если, конечно, не считать тоскливую телку в убогом клеймённом луивитончике на ушлом (ушедшем, в смысле, куда-то) мужеобразном безбёдром узеньком заду: она подъехала уже к кассе с тележкой (размером, примерно, как трактор) – и давай продукты выгружать – наворачивает и наворачивает на лоток кассирше. Наворачивает и наворачивает: и ветчинку, и сырую коровью ляжку, и склизкие сардельки в синюге.

И тут, смотрю – Славик мой, красавец, с лица взбледнул, а со мной так только присутственно беседу поддерживает – а сам вперил взгляд в ее тележку, иногда только слегка тикая своими дивными черными кавказскими глазами то на ее маникюр, то на заваленный лоток перед кассиршей, где все прибывает и прибывает мертвой плоти, то на тоскливую личинку телки.

Ну а она все наворачивает и наворачивает: и бекон, и гордон блю в заморозке, три штуки, и...

Тут Славик ко мне склонился и шепчет:

– Ты посмотри на это чудовище! Сама ж ведь она ничего из этого наверняка не жрет! Анорексия! Явно ведь, что она или модель, или просто содержанка. Явно жесткими диетами себя морит – ты взгляни на ее фигуру! Тощак модельный! Явно, что свою худобу она рассматривает как главный источник наживы. Значит ведь, все эти кабаньи килограммы жратвы – это она всё ему! Типа, на выходные, ужраться! Тому, кто ее содержит или с ней живет!

– Славик, – говорю, – милый! Ты отвлекись на что-нибудь – это ж вредно для здоровья в микроскоп их всех рассматривать.

Но Славик – уже как зачарованный, просто глаз уже оторвать не может от деталей и масштабов растущей на кассе горы:

– Ты представляешь, – говорит, – себе этого ее борова?!

И через секунду – уже так тихо-тихо, уже каким-то суеверным шепотком:

– А ты на ее-то самой лицо посмотри! – шепчет. – Ка-а-шма-а-ар! Трупак! Трупное, пустое, прям как у силиконовых кукол Рона Мюка! Вот ужас-то.

Я смотрю, а Славик-то мой и сам уже зелененький весь! Ох, нехорошей зеленцой лицо его пошло. Цвета переваренного шпината.

А она все наворачивает и наворачивает на кассу: телячью кровавую печень в белом неприятно шваркающем по ушам пенопластовом судке, запечатанном, для наглядности, прозрачной, но уже черноватой от кровавой пены, слюдой, две штуки.

Тут Славик мне как махнет своей изящной ручкой:

– Ой, нет, Лен, все! Не могу больше, все, извини...

И ломанул через кассу к двери.

К счастью, его быстро стошнило. Да-да. Блевонул в урну. Донес. В серебряную урну, от которой всегда за версту несет мокрыми окурками. Да-да. Прям вот слева от входа в гастроном. А ведь он ведь даже и не вегетарианец, мой Славик! По крайней мере, большую часть года.

Когда я за ним выскочила, молниеносное извержение Эйфьядлайёкюдль уже иссякло. Улыбнулся мне. Своей фирменной, чеширской, всеобъемлющей, до ушей, без завязочек и без страховок. Просиял. И пошли с ним дальше. К машине, где Андрей ждал. Зеленя я на кассе, разумеется, побросала. Как балласт с проколотого цепеллина.

– Ох, – Славик говорит, – извини, – говорит (это он уже в машине, по дороге ко мне домой), – что-то мне совсем дурно стало: я как представил, как она этому борову готовит, откармливает, а потом он ее... А она, тем временем, не жрет, худеет, чтоб ему приятней было... Ох, не могу, сейчас меня опять стошнит! Как черви. Слепые глисты какие-то! Жрать и сношаться. Невыносимо! Какой-то тошнотный круговорот! Еще странно, что они друг друга еще все не едят! А только имеют.

Короче, он мне всю дорогу до Пушкинской, пока мы по бульварам крутили, про людей-сарделек стонал. Я уж как могла его отвлечь пыталась – а он все про одно!

– Может, – говорит, – там еще и аура такая на Лубянке... удушливая... Может, – говорит, – я поэтому еще... – оправдывается. – Здание-то, – говорит, – какое – не дай Бог! Гастрономчик... Нашли место, где магазин держать... Скажи мне, кто твой сосед, называется! Седьмой континент гулажьего архипелага!

А я думаю: ладно, пусть уж если его стошнит еще раз – так пусть уж лучше сейчас стошнит: или на улице – ну или на худой конец прямо здесь, в машине – а не у меня в квартире. И не смей мне только вот гугнить опять, зачем это ко мне Славик в квартиру по ночам заваливается!

Короче, очухавшись вчера на холодном, хотя и не свежем, воздухе от своей собственной, вовремя проваленной, репетиции обморока, и подбадривая себя примером Славика (который, кстати, в тот-то раз, неделю назад, доехал тогда до моего дома чин-чинарем, без рвоты, представь!), я уже чуть крепче зашагала от галереи «Актер» по Тверской – уже буквально три или четыре шага сделала. Потому что дальше шагать было некуда. Все. Лестница вниз, в переход. Глянула – а там, внизу, толпа кишмя кишит. Живые тела возятся, лезут друг на друга. Да еще и лестница. Я вообще, в самом крепком-то своем состоянии вниз по лестницам ходить ненавижу. Вверх – нормально, как-то инстинктивно чувствуешь опору. А вниз – совсем занудство. Ну не умею я концентрироваться на ступеньках, когда иду по лестнице вниз! Скучно! Точно так же, как не умею ни посуду мыть – ни машину водить. Одно, по-моему, ничем не лучше другого! Тупая занудная механическая работа: что баранку крутить – что тарелки мыть. И что самое противное: и первое, и второе, и третье требует звериного серьезы и сфокусированности на оскорбительно материальных вещах – нельзя ни задуматься о чем-то серьезном, ни глазеть по сторонам, куда хочешь. А зачем тогда всё? Короче, именно поэтому я ни машины никогда в жизни водить не буду. Ни без моей уборщицы, Милы, даже и недели не выживу. Ни по ступенькам вниз ходить никогда не научусь – без моего специального фирменного спасительного заклинания: «Лесни-ца-ле-сни-ца!» – которое я себе все время повторяю по слогам на каждой ступеньке, делая ударения каблуками, чтобы хоть как-то хитростью наяву прищипить свое внимание к этому скучнейшему сооружению.

И не надо мне, дорогой, вот сейчас нить твое обычное завистливое:

«Каблукибылучшеснялаитакслишкомдлиннаязачемтебеещекаблуки?»

Не надо. Ни при чем здесь каблуки! Вверх-то я по лестницам на каблуках распрекрасно хожу! Каблуки – это вообще чудесная портативная возможность всегда чувствовать себя немножко на холме, вне зависимости от гнуса обступающего пейзажа. А без каблуков ходить – вообще унижение женского достоинства. В отличие от мужского. Ага. Что слышал.

Короче! Когда мы с Андрюшей дошли до ступенек, я чувствовала себя весьма крепкой. По крайней мере, по контрасту со прошлонедельным Славиком. Не говорю уж: с несчастными захваченными в заложники, изувеченными и приговоренными к смерти крабами.

Но на всякий случай, я все-таки еще раз нюхнула ладони. Перед тем как туда, вниз, шагнуть. Думаю: а вот не буду-ка я рук от лица отнимать. Как противогаз. Ну, разумеется, «ле-сни-ца-ле-сни-ца» говорить про себя буду, и шаги отмерять. А ладони так и оставлю на всякий случай, у носа шалашом.

Андрюша на меня с опаской посмотрел и говорит:

– Лен, руку дать?

– Да нее, ну что вы в самом деле, – говорю, – всё в полном порядке!

А на правом манжете куртки у меня вдруг запасная начка духов обнаружилась – это я туда спрэйнула случайно, когда правой же рукой нажала, впопыхах, флакончик. Я думаю: как удачно! Нюхнула поглубже. Шагнула вниз. Пустилась по лестнице. И тут, видно, третья, матово-ладанная, нота духов докатилась. И – понеслось. Спуская ступени запредельно узких улиц скользящей лентой из-под мысков, тренированных аттракционами школьных лестниц, не отпуская сцепления каблуков. Посланцем страны наездников стылых луж. Не очень-то повыпендриваешься на каблуках в городе, где почти все улицы, начиная от Яффских ворот – собственно, и есть сплошная лестница. Где камни ступеней выскальзывают из-под каблуков, как отполированные черепа. Городе, состоящем из узких лестниц, завешанных уродливыми пеструхами кафтанами шестидесятих размеров – где чувствуешь себя как на гонке по полкам в платяном

шкафу, то и дело утыкаясь в ядовитый нафталин. Городе, где скользят вниз по улицам, закатываешься всегда в одну и ту же лузу, с пугающим комфортом. Фристайлом по харассменту сопливых говорливых булыганов, норовящих подробнее взглянуть мне в лицо. И хватающих щелями грязных пальцев полы моего черного платья ниже пола и наспех замотанный иерусалимским твистом бордовый тихэл, а также прочие элементы нацепленной для входа в город противопехотной маскировки хасидских жен.

– Велькам! Велькам, май фриендэ! Вери найсе бизнесэ! Люкэ! Люкэ! Зисэ вей! Зисэ вей! Вери найсе бизнесэ! Юре андестэндэ? Ай гив ю зисэ! Зисэ... Энд зисэ! Вэйтэ! Вэйтэ! Донтэ го! Донтэ го! Энд зисэ ольсо! Энд оль май бизнесэ! Ви го ту йорэ хотель! Ван найтэ! Энд ю тэкэ оль зисэ! Вери найсе бизнесэ!

Сильно жалея, что не захватила с собой заодно еще и жезла золотого, разящего. Электрошоком. Массового поражения.

Ладоней от лица все еще не отнимаю. Вдыхаю. И выдыхаю. Раздувая и сдувая ладони, как бронхи. Спасибо Андрюша всю поклажу нес. Как я спустилась – и как завернула потом по переходу, мимо киосков – честно тебе скажу: не знаю. Не заметила. Одно знаю точно: не упала. Упасть было невозможно – поэтому и не упала. Либо толпа понесла, либо Андрюша – это факт. Нюхаю ладони. И плыву по запаху. Шалея от воплощенной обонятельной катастрофы бхара, бахура, кузбара, керфе, фэл-фэла, зохурата, заафрона, мерамиа, иссопа, мирра, испарений и тел. Перебор – по всем измерениям. Даже без золотой измерительной трости геометра-клаустрофоба. Которую приходится заменять локтями. Иммунитет взломан и почти сведен с ума.

Обонятельные стражи разверстых ноздрей, не выдерживая града камней и стрел, сами бросаются в ров со стен, чтоб не сдаваться живыми. Падая в мягкие россыпи палевых пепельных горчичных пыльных бежевых гранатовых фуксиевых перечных пороховых айвори белых алых горючих гремучих смесей с их дремучими вонючими продавцами.

– Велькам! Велькам! Май фриендэ!

Неба я не увижу – даже если вскину глаза. Долу. Слепая вязь наколки булыжников. Если все-таки вскину – вместо неба только планетарий зеркалец муслимских кипп-ушанок, дрожащих сквозняком

животного танца на распятых плечиках света под удушливым шелковым потолком.

– Донт фол, донт фол, май фриендэ!

Распихивая пол руками. Причем, со всех сторон.

Третья нота духов.

Пока не уткнулась в живот обожравшемуся голиафу на перекрестке, орущему:

– Бубликк! Карашо!

И собрав всю силу – отклеить, выцедить себя из толпы в подворотню, переулок, дверь, шкаф, гроб – все равно куда.

Почти упав. Почти. Почти. Зависнув носом над развалом, прилавком, биваком. Где – уже запретное оружие – нос добивают из всех орудий греческим огнем (рецепт давно утерян). Где флакон? Что это? Как они это делают? И, тут посреди гор специй – решительно сорочьим взглядом выцепив – обалдев от десертной красоты – горний хрусталь, синий и карий, и нежно фисташковый, припорошенный томной пудрой – в который – выбрала небесно голубой – тут же впилась, вгрызлась зубами, приняв за кристаллизованный подкрашенный сахар. Вызволив зубами, добыв, активизировав, распечатав – почти невыносимый по интенсивности блаженства запах, оказавшийся в тайном союзе с абсолютно запредельной несъедобностью! Канифоль? Крашенная смола? Что это?! Я иду дальше – и уже можно идти по невозможным улицам – и занюхиваю свои же ладони – перебивая внешний агрессивный поток – втягивая запах-вкус-цвет своего кристального трофея и все, что с ним вместе кристаллизуется из воздуха – втягивая и вмещая в себя все это – до одури в висках. Позже долго отчищала зубы, как кадило.

И тут навстречу – какой-то арабский худосочный, виляющий, как сухопутная водоросль, юродивый. Как приклеился ко мне! Я прошла его – не глядя и не отвечая – так нет! – он развернулся, и припустил за мной трусцой. Скачет за мной, догнать не смеет, но и не отстает, и подвывает:

– Эй! Э-эй...

Я круто разворачиваюсь. И иду в противоположную сторону. Хотя мне и не туда. Хотя я и сама уже не знаю, куда мне. Юродивый опять за мной! Разворачиваюсь еще раз. Вокруг своей оси. Кручусь. Делаю

шаг. Куда? Туда! И случайно наступаю ему на ногу. Этому юродивому! Каблуком. Ёлки! Ну сам напросился!

Он отскакивает. Визжит. Картинно, наглец. Я же знаю, что ему не больно. Так, пококетничать решил. И вдруг оказывается никаким не арабским юродивым, а крошечным поэтом Лёвой Рубинштейном в круглых очках. В переходе под Тверской.

И визжит на меня:

– Девушка! Вы что себе позволяете?! Вы кто такая! Я вас не знаю! Как вы смеете!

Я отнимаю руки от лица – и говорю:

– Лёва! Как я рада вас видеть!

– Да?! И отдавить мне ногу?! Вы кто такая?! Вы что о себе думаете?!

Прекраснейше заорал! Вскидывая руки, растопырив драматично пальцы!

Потом говорит мне, без всяких уже попреков:

– Это – что! Подумаешь – нога! Вы не представляете, какое я сейчас только что страшное объявление на стене прочитал! «Избавлю от живота. Надежно. Дешево. Навсегда!» И телефон! На отрывных листках! Ужас! Русские люди старославянского языка, похоже, никогда не знавали!

А я ему в ответ:

– Лёва, а вы не представляете, где я только что была! То есть, откуда вы меня только что выудили своим визгом! У меня было полное ощущение, что я бегу по Дэвид стрит в Старом городе, в самый первый свой приезд в Иерусалим. Вы уж извините, – говорю. – Я людей вообще почти не замечаю, когда в толпе. Какой-то защитный рефлекс срабатывает. Хожу как в шлеме VR 3D.

Лёва мне, сделав важную мину:

– Ну уж, тогда, так и быть: наступайте на здоровье. Когда вам вздумается. К вашим услугам.

А я ему:

– Самое смешное, – говорю, – что вы у меня в моей виртуальной реальности полностью совпали с арабским юродивым. Он теперь каждый раз, в каждый мой приезд в Иерусалим, откуда ни возьмись выскакивает из какого-то проулка, умудряется вспомнить меня – и

бегают за мной, изображая, как я ладони нюхала, и дразнится мне вслед: «Where is the incense? Where is the incense?» Позорище!

Ну и мы расстались с Лёвой. Он пошел дальше, в глубь перехода. Гном. Бородатый.

Андрей всю эту сцену с интересом пронаблюдал с приличного отдаления. Что, в общем-то, было с его стороны благородно: если б Андрей, с его габаритами, подошел вдруг к нам и встал рядом с Лёвой, Лёва бы вообще себе показался Алисой после первого гриба!

Вынырнули – там уже у нас, у арки, аварийка стояла со специальным рифленным сытым хоботом. Ручьев уже не было. Гондольеров тоже. Малые жертвы мелиорации.

The Voice Document has been recorded
from 20:45 till 21:17 on 18th of April 2014.

Короче – то-о-лько дошла до квартиры – после этого-то непростого, согласись, марш-броска – то-о-олько с Андрюшей распрощалась – эсэмэс кликнуло! Я уже мычу от злости, думаю: от тебя опять! Ан нет! «Will be there in 5 min! David». Думаю: ёлки! Как же я могла забыть! Фотосессия же! Еще ж неделю назад назначена! Сейчас же уже этот француз, то ли немец, фотограф припрется! Фоткать для интервью, которое я на прошлой неделе ужасно интеллигентному и ужасно занудному немцу для какого-то ужасно интеллектуального их журнала давала. Фотограф этот крайне туманно мне все про французо-немецкость свою объяснил в и-мэйле, ох туманно. Просил, умолял встретиться засветло – говорит: «Я не люблю искусственного освещения». Ага, думаю: сейчас он у меня получит – все безыскусственное – и освещение, и бардак в квартире, и вот эти вот пакеты с мусором у двери, блин, ну конечно опять забыла взять вынести – и в урну на Тверской незаметненько бросить, когда мы на улицу с Андрюшей шли! А в мусоропровод – вот ни за что! – не пойду: удивительнейшее сочетание запаха, отсутствия света – тактильных увечий от грязной ручки мусоропровода – и сквозняка из выбитой форточки. Стою, одной рукой ресницы сажей мажу, другой – провиант вытряхиваю в холодильник. А сама думаю: может, хурму хотя бы, думаю, успею сожрать, пока он не пришел? Как же, думаю, жрать-то хочется! А?! А вместо этого сама этим мерзким, дихлофосом пахнущим лаком хайр перед зеркалом засэйвливаю – ну так, чисто из

солидарности к фотографу. Губы, думаю, красить не буду – обойдется. Потому что с губной помадой я почему-то всегда выгляжу как девушка легкого поведения с Тверской, ага, из Найт-флайта. Думаю... Впрочем, ничего уже больше подумать не успела – слышу: скребется уже там кто-то под дверью, звонок нашаривает – умудрился как-то впереться в подъезд хвостом за кем-то, даже не позвонив мне в домофон!

Прицелилась в глазок: оба-на! Думаю: Это что ж у меня – такой коэффициент искажения в рыбьем глазе, что ли?! Это ж рельса какая-то, а не фотограф!

Открываю дверь – и правда! Фокус чуть сзиповался, но все-таки задел башкой за притолоку, прозудел «шайсэ» вместо «добрый день рад вас видеть» – и заходит до неприличия долговязый лыбящийся во все зубы лохматый оболтус. Не вмещающийся по вертикали в кадр дверного проема.

Голова где-то там на антресолях гостит. Во, думаю! Идеальный формат для моей квартиры с четырехметровыми дореволюционными потолками – обживать неосвоенные вертикальные пространства.

Длиннее водителя Андрея даже! Лохматый, короче, смазливый олух. Двух с лишком метров и двадцати с крошечным хвостиком лет. Крайне, крайне худенький при этом. Джинсы как на скелете болтаются. Ага, ревнуй, любимый. Пока ты там борешься с очередными переменами блюд и жопочасами в ресторанах и нарастающим курдючком.

Я смотрю на него – и думаю... Нет, совсем не то, что ты подумал, милый. Думаю: если через четверть часа он не уйдет и не оставит меня наедине с фруктами – все, кирдык.

Говорю ему прямо в прихожей: «Вы скоро вообще отвалите?» Нет, ну этого я ему не сказала, разумеется – только про себя так произнесла. Ты ж меня знаешь – я ж страшно вежливая.

– Вы, – говорю, – вообще, кто – француз, все-таки – или немец? Я так и не поняла, – говорю, – в вашем лиричном и-мэйле.

А он опять завел свое:

– Вообще-то я немец. Но одновременно и француз. Но мама немка. Но мама с отцом давно развелась, так что можно считать, что я немец.

Я говорю:

– А почему «Давид» тогда?

А он говорит:

– А я вообще Сарой рисковал стать! Если б девочкой родился! Мама из послевоенного поколения. Она меня так назвала в знак покаяния перед евреями.

Я ему говорю:

– Ну ладно тогда. Проходите.

Думаю: ладно, сейчас он пару раз меня сфоткает – и привет вам, радости плоти! Гастрономические, я имею в виду, успокойся.

Смотрю: он как-то подозрительно уже и монументально шатры у меня там свои разбивает у окна – со штативами и золотыми отражателями.

Я – еще строже – говорю:

– И вообще, – говорю, – я друга в гости жду – как только он позвонит – мы с вами расстаемся.

А сама телефончик из кармана достаю и демонстративно так Славику названиваю: нет, опять абонент недоступен. Думаю: где ж эта шалава Славик-то шляется?

А Давид мне от окна кричит:

– Ладно-ладно! Не волнуйся, не волнуйся – я все моментально подготовлю!

Я смотрю на него: вроде, когда не улыбается – миленький такой шатенистый вихрастый француз – с неопределенно-тинэйджерской нежной бесформенной миловидностью и небесно голубыми глазами, не замутненными раздумьями. Как только осклабится во все сверкающе-белые, чересчур правильные зубы – немец.

– Нашел! – кричит. – Вот прекрасное место для съемок! У тебя такой широкий и огромный подоконник – как диван! Здесь светлее всего! Можно, – говорит, – я туда вот этих подушек пестрых с твоей кровати для фона накидаю? А жалюзи узелком свяжу?

Так, думаю, началось... Нет, это не на пятнадцать минут... Но уж пошла, по-деловому так, со строгой такой, как секундомер, миной – к окну. Сажусь в правый угол подоконника. А подоконник у меня здесь – ты помнишь, с две сёрфинговые доски шириной. А длиной – с полторы. Этот лохматый охломон долговязый то бумажками какими-то в нос мне тычет – свет измеряет, а то попросту свет пригоршнями зачерпывает и пробует. И тут говорит:

– Нет-нет-нет. Так не пойдет. Ты слишком официально выглядишь! Для журнала нужно, – говорит, – что-то домашнее... Ты залезай, – говорит, – с ногами на подоконник, садись вот в подушки поудобнее – а я пробные снимки начну делать. Расслабься, – говорит, – и забудь, что я тебя фотографирую.

Я злюсь уже сию. Думаю: расслаблюсь я – когда ты провалишь отсюда! И дашь мне спокойно позавтракать наконец. В пять-то часов вечера!

И – чтоб поиздеваться над ним – говорю:

– А я вот, – говорю, – фотографию как-то недолюбиваю. Самый примитивный, – говорю, – способ запечатлеть реальность. Всё на поверхности, – говорю. – Мудро, – говорю, – придумано, что все важнейшие для человечества события произошли в ту эпоху, когда фотографически задокументировать люди еще ничего не могли.

Давид говорит:

– Какие это события ты имеешь в виду?

Я говорю:

– Угадай.

Давид заржал, ослабив все свои супер-белые и супер-правильные. И вьется вокруг меня опять с громадной своей камерой с чудовищно массивным насадным объективом.

– Можно, – говорит, – я вот этот столик тоже отодвину, чтобы мне удобней тут ходить было? А сюда, – говорит, – вот этот вот золотой отражатель поставлю? Не думай, – говорит, – вообще о том, что я тебя фотографирую. Думай, – говорит, – о чем хочешь.

– Спасибо, – говорю, – что разрешил. А то бы я...

Этот лохматый обалдуй ржет и вьется то с одного края подоконника, то с другого.

Потом говорит:

– Нет, так не пойдет: вот, вот отсюда, наверное... Можно, – говорит, – я на твой диван лягу – и оттуда фотографировать буду?

Не успела я ахнуть – как эта рельсина, два-двадцать пять (это как минимум! На глазок!), рухнула на мой диван. Ну, диванчик у меня, как ты помнишь, супер-кинг-сайз, конечно – но не таких же все-таки габаритов! У него ноги по голень не вмещаются – ну, Давид ноги в цветных носках поджал, поворочался-поворочался, подложил себе под голову все оставшиеся подушки, перелег по диагонали – и –

довольнейший такой, камеру отложил, расслабленно-блаженно потягивается, уже буквально нежится там, на моем бедном диванчике, и говорит:

– Я только сегодня, – говорит, – ведь в Москву прилетел рано утром! А завтра утром улетать! Спать хочется ужасно!

Я думаю... Нет, даже выговорить тебе не могу, что я думаю...

– Давид, – говорю, – давайте сосредоточимся – у меня еще полно дел. И друг сейчас придет.

Давид говорит:

– Да-да, – говорит. – Отличный ракурс отсюда! – ну и принялся щелкать цифровиком.

Я – что делать уже! – уселась поудобнее, сижу, смотрю с подоконника на свою комнату и думаю: как странно – ведь всего этого – всех этих маленьких живых игрушек, которые в этой огромной, удивительной (которую ты так всегда жлобски критикуешь, идиот!) комнате в различное время дня появляются, сфотографировать невозможно – если бы даже этот юный оболтус остался здесь на целые сутки и караулил с камерой! Радужных гусениц, например, которые в солнечный день выползают из среза зеркала белого платяного шкафа. Или – ну не сфотографировать же заводных гуркающих звуков, когда рано-рано утром на карниз ко мне прилетают голуби и знатно, кружась по жестянке и топая, отплясывают, как Донна Рид с Джеймсом Стюартом, чарльзтон. И через секунду – вспугнутые чьим-то резко распахнутым окном – вспархивают – и на задвинутых жалюзи, как на экране (если успеть вовремя разожмурить глаза со сна!), является живая анимированная солнечная лепнина. А летом, если ведро – надо немедленно (не поленившись – во сколько бы ни легла) встать и жалюзи раздернуть – потому что в этот момент расплавленный пятак солнца начинает – медленнейшим жарким метрономом – плавное дугообразное путешествие из левого угла окна в правый – и можно, нет, даже нужно, опять закрыть глаза – и по жару на лице (транзитом с левой щеки через нос на правую) чувствовать время, как раз чтобы доспать – до двенадцати – когда жар исчезает за правой щекой и кирпичной кулисой дома. А по воскресеньям утром безумный мой дом, изогнутый полуколомцем, улавливает колокольный звон – как колпак нищего – серебро, и мне всегда кажется, что это звуки двух не

выживших, крошечных церквей, разрушенных при советах, по правую и по левую сторону, в ближайших рядах домов.

Ну или как сфотографируешь две эти безумные, дребезжащие раздвижные верандные двери посередине комнаты – с десятками деревянных, белых, неровно и густо покрашенных перемычек и маленькими верандными стеклянными окошками, во всю ширину комнаты? Двери, к левой из которых Давид сейчас сутуло притулился с дивана спиной. Вернее – нет, двери-то сфотографировать можно – но все неуловимое, что из них, из этих дверей, мгновенно, в секундном взгляде, выпрыгивает, – как сфоткаешь: все удивительнейшие, живые, щемящие аллюзии, из дверей этих материализующиеся в воздухе со скоростью сотворения мира? Двери, в высоких белых мачтовых перемычках которых сейчас, когда освещение на улице чуть меркнет, мне мерещатся мачты яхт в бухте, не доходя нового порта Тель-Авива – самая последняя светлая точка Средиземного моря: когда солнце в Москве закатывается, невольно рыскаешь мыслями по миру в поисках света. Мачты, если тут же сесть и свесить ноги с причала яхтклуба – открывают сквозь белоснежные жерди свой ослепительный ракурс взгляда на небоскребы набережной: верхние стекла которых, как курсором, активирует беглое, жаркое, живое, заходящее солнце. Весну, знаешь ли, милый, гораздо надежнее приближать в территориальном преломлении – десантом, за три моря – раз в календарном всё никак не нагрывает. Бегство. Даже ценой твоих истеричных звонков и эсэмэсов. Бегство в ту самую точку мира, куда ты за мной не сунешься.

На закат нужно срочно поспеть, взмешивая босыми ногами горячую мокрую горчицу песка по самой кромке моря – добежать в идеальный зрительный зал: на дикий мол – из крупнейших необделанных булыганов размером с быка, на одном из которых всегда натыкаюсь пяткой на окаменелости чьих-то ребер. Нокаутировав телефон с твоими непринятыми звонками, с твоими вопросами: «Gde tí?», – ем на море взглядом беспроводное блюдо семи часов: фруктовое многоцветное слоеное желе, в которое превращается небо, как только светило зависает в пальце от моря. Бумажная бирочка от пакетика чая (высокий штормящий прозрачный капуччиновый бокал, который успела, пробегая, стрелкнуть в ближайшем кафе) бьется на ветру, взлетая, как крыло парaplана – и вот-вот вытащит из воды чудовищно тяжелое, красящее горячую воду со скоростью закатного солнца,

чайное грузило. Не хватало еще, чтоб упало в море. Я за последствия не отвечаю.

Зрители в сборе. Завсегдатаи вокруг, на камнях. Растафари в красной бандане, жонглирующий огненными факелами. Хиппанские парочки. Четверо музыкантов, с неопознаваемыми экзотическими инструментами, взбирающиеся на мол с разных сторон. И много аутистов, задумчиво обнимающих собственные колени.

Когда жженое громадное солнце, наконец, касается моря, и море вскипает вишневым и апельсиновым, одинокий хиппан-барабанщик в самом дальнем, в море вдающемся конце мола не выдерживает молчания красоты и начинает дробно и сбивчиво гнать озвучку.

Красота закатного неба, как будто бы запечатлевшая на себе взгляд Бога. В сравнении со здешними небесами – закаты на Гоа и Мальдивах – лишь дешевая светомузыка пьески Боба Уилсона.

Если бы я составляла апокриф, то сказала бы: не может быть, чтобы Господь, исходивший всю Иудею, Галилею и окрестности вдоль и поперек, проделывавший пешком сумасшедшие расстояния – не дошел до Яффы. Красота здесь пропитана Его взглядом, Его Гением.

И так мучительно хочется поскорее собрать, из прохожих, вот здесь, на набережной, на пути к Яффе, как сборный конструктор, все эти носы с Божьим акцентом, все эти губы, как резкий взмах горличьих крыл, все эти удивительные, для неба вручную созданные глаза – родных Господу по крови и плоти – чтобы представить, увидеть, оживить вот тех вот безумцев-храбрецов, первых учеников Христа из евреев, пошедших за Мессией, отвергаемым мещанской массовой и коррумпированными священниками.

В Яффе, на самой горке, в кофейне с деревянными верандными окнами во всю стену – и с другим, особым окном в обрыв, в ночь, в море – с противоположной стороны, на верхнем этаже (никогда не устану изумляться, как резко – сразу же после заката, весь город накрывают черным клобуком), – владелец заведения, ливанский выкрест Морис (смуглое маленькое лицо, облитое лоском), забыв про клиентов, режется в шеш-беш с мощным, мелко-пружинно-бородым отцом Дамаскином в рясе (из монастыря, прилепленного к горе, со стороны моря, как гнездо в вертикальном лабиринте каменных лесенок шириной с локоток): Морис играет вяловато – священник же хрястает

фишками по сверкающему инкрустацией лакированному дощатому игровому полю с азартом – и судя по всему выигрывает.

Мимо распахнутого в полморя западного окна (единственный объект притяжения – не за едой же и питьем сюда заходить – хотя где-то ведь здесь же, едва ли не в этой же точке, апостол Кефа когда-то, на плоской крыше чужого дома, видел выразительные прозорливые гастрономические видения, с голодухи), мешая взгляду, заставляя резко вдергивать голову, шарахаться – шныряют мускулистые летучие мыши – где-то за ближайшим каменным углом устраивающие блевотно крикливые и драчливые случки – подтверждая неприятнейшую, в темноте, догадку, что не всё ангел, что с крыльями.

Давид говорит:

– А теперь close-up! Close-up! Еще close-up!

Я от видений очнулась, – смотрю: а этот оболтус-то не просто уже от сонливости на диванчике моем отлежался – не просто к моему подоконнику подошел, – а уж просто нагло надо мной барражирует – и все приближается, и приближается, с каждым кадром!

– Ближе! – говорит. – Еще ближе! Еще ближе! – и уже буквально навис надо мной – в расстоянии хурмовой шкурки.

Я говорю:

– Давид, – говорю, – ну вот почему, скажите мне, все западные фотографы так обожают разыгрывать из себя Хеммингса из «Blow up»? «Работай, детка, работай».

– Ай, шайсэ! – говорит, – и, гогоча, ничуть не смутившись, но слегка расстроившись, отстранился сразу. – Неужели, – говорит, – ты тоже этот фильм смотрела? Крутой, да? Неужели я не один такой? Шайсэ! – и гогочет. Вихры смахнул – и глазеет на меня. – А я надеялся, – говорит, – что фильм такой старый, что никто кроме меня его не видел.

Я говорю:

– Долго еще?

Давид опять на диван с размаху – палюх! И переспрашивает:

– А что, ты куда-то разве торопишься?

В общем, любимый, когда ты меня ровно в этот момент эсэмэсками бомбить начал, «где я» – да «где я» – мне уже не до того было. Мне бы уже – ну вот без всяких шуток – мальчика этого спровадить поскорее – и съесть наконец хоть чего-нибудь! Кроме того

– чувствую, что то ли с голодухи, то ли из-за этого дурацкого высиживания под Давидовой фотокамерой, Москва вообще начинает катастрофически ускользать у меня между пальцев. И как-то уже начинаю маниакально обшаривать в воображении весь земной шарик, как собственный холодильник, в поисках хоть какого-нибудь подходящего съестного. Хумусу у Мориса на горке в Яффе? Или чуть спуститься (мимо старой башни с застрявшими часами, возле которой южные голуби сонно кричат: «Ку-да пошла? Ку-да пошла?») – и дальше – забежать в... ох, нет, даже название не могу спокойно произнести – потому что даже от названия умопомрачительно разит горячим свежее испеченным при мне же в печах хлебом: в А-бу-ла-фью... Где, кстати, – в соседней грязненькой забегаловке можно, вполне можно было бы сейчас прихватить еще и свежей тахинной халвы – нанизанной гигантской головой, как бескровная веганская шаурма, на вертящемся вертикальном метровом шампуре. А ты мне: «Где?! Где?!» Уверяю тебя: вот разве что мизерная, меньшая часть меня (которой можно в общем-то пренебречь) сидела в тот момент жопой на этом подоконнике! И как мне тебе было описать, не соврав в чувствах (даже если бы я не зареклась с тобой разговаривать и не объявила бы эмбарго на эсэмэски!) – «где я»?! Кроме того, любезный: ну не верю я в пошлый человеческий миф о территориальности! Город должен прорасти в тебе, чтобы ты смог в этот город войти. Это единственный способ войти в город. Что, впрочем, не исключает такого прекрасного (но тоже абсолютно отдельного, абсолютно ни с какой лживой идейкой о территориальности не связанного) жанра, как путешествие: ох, как же я люблю этот блаженный миг, когда прильнув в самолете к иллюминатору, вырываешься сквозь московскую скарлатину облаков, вослед всё более и более внятно – а вот уже и ослепительно – светящему фонарику ухогорлоноса! Выключив всё: привычное, наладонное, милое. И только этой ценой вырвавшись. Оторвавшись от магнита. И не дождавшись пледа. Околевая около круглолицего, веснушчатого лица иллюминатора. Зато дальше – целых четыре часа десерта. Ломаные плитки шоколада: черный, горький, и обычный, молочный. В фальшивом скомканном золотце речушек. И дальше – отроги чуть подстывшего капучино с капюшоном крошеной корицы. И дальше – неприлично густой кипящий какао. С комьями пенки. Сахарная вата, с правдоподобными проталинами. Ноздреватый

молочный сахар. Подтаявшая помадка – фруктовая ли, губная ли – ядреная. Рядом – томлёное масло. И – глазурь кулича, с просвечивающим снизу, с испода, подгоревшим изюмом Измира. А потом – просто чаю. Огибая аэрозольную приторную пенку над Кипром. Лишь мимолетом взглянув в невнятное битое бутылочное зеркало лужицы. Взяв чуть выше, по сахарно-ватной тропе.

И – вот уже! наконец! – как в приближающейся с бешеной скоростью лупе: картинка под легчайшей, почти невидимой калькой облака, под дымчатой самокруткой бумаги. Сдуваемой бризом. Уже еле сдерживая хлынувшие от близости земли слёзы на накрённом, ламинирующем картинку иллюминаторе. Сдернув последнюю муаровую облачную фату, крепившую в один ослепительный пучок бесконечно зацикленную на себе тригонометричную радугу голограммы морзянки золотом простроченных волн парусников и ладей – и неудержимо, ближе, еще ближе, к картинке, уже неправдоподобно быстрых, недопустимо близких, уже ручных рыб, навзрыд и навывлет вышивающих морскую слюду обезумевшей телеграфно-швейной машинкой. Напоследок заархивировав чью-то перистую текстологию взмаха, как роспись. И потом уже – прямо на бордаж Шератона. Нет, выше. Чуть выше. Промахнули. И слёз на иллюминаторе уже не сдержать. Потому что солнце слепит. Потому что ослепило иллюминатор невообразимой красотой. Потому что высотные башни на набережной – как сверкающие зубы с разноцветными брекетами. Со стоматологической скобой волнорезов, чрез которые все равно набегают весной бешеная средиземная слюна. Потому что соленые дёсны – под Средиземным морем – что сморщенные подушечки пальцев ребенка. И небоскребы видны, что рослые кедры, не только из Дамаска, и Бейрута, и Тегерана, но и из гиблого виртуального Вавилона, увы, в баллистический прицел откровений. И каждый раз до слёз хочется увидеть все это еще хоть на секунду – успеть, пока прицелы пророчеств не сработали.

Давид говорит (вальжно так, с дивана опять):

– А какое же кино тебе тогда нравится?!

– Никакое, – говорю, – не нравится. Это ж не великий немой, а великий слепой! Ничего за видимым миром не видит! Несмотря на всю, вроде бы, «зрелищность», на миллионные бюджеты, шикарные декорации и антуражи. Удивительно, – говорю, – бесплодный жанр

получился. За весь прошлый век существования кинематографа, фильмы, которые действительно можно было бы назвать высоким искусством, можно сосчитать по пальцам на левой руке покойного первого президента России. А уж в этом веке – и смотреть-то стыдно. Упражняются, каким бы еще изощренным, неотыгранным конкурентами способом, героя убить – и как бы еще поизвращеннее в дорогих антуражах кого отыметь. Мега-дорогая дешевка. Унылая ярко-безмозглая жвачка для животных.

– Тебе, – говорит, – наверное, артхаус кино нравится?

– Ненавижу, – говорю. – Фальшиво дергающаяся фальшиво бытовая камера с плеча, уныло снимающая про серую безвыходную бытовуху. Главная идея от первого и до последнего кадра: смотрите-ка, мы снимаем арт-хаусовское кино! Глубже социальной чернухи, эмоций и чувственности никто не копает. Такая же продажная штукавина, как и мэйнстрим – только подлаживаются под более узкий и вполне определенный круг зрителей: левачествующих прыщавых молодых людей в нестиранных свитерах и их лесбийствующих подруг. Дальше откровений типа: «ё-моё: на свете есть бедные, убогие, несчастные и ужасные люди!» – никто из них не идет.

– А Heineken, Heineken, – говорит. – Разве тебе не нравится Heineken?!

– А Хайнеке я бы вообще, – говорю, – все лампочки бы поотрывала!

– Что-что бы ты, – говорит, – ему оторвала?

– Ничего, – говорю, – просто такая русская идиома, прости, если я неудачно ее перевела. Человек, который способен в своем фильме заснять, как петуху отрубает голову, по-моему, вообще должен быть сразу лишен права на профессию. За попытку компенсировать собственную бездарность чужой кровью. У меня такое впечатление вообще, что человечество зарезало петуха – чтобы не слышать больше его кукареканья под утро и не мучаться комплексами вины.

И тут Давид аж встрял из лежачего положения на диване в сидячее, и с загоревшимися глазами мне говорит:

– Я тебе сейчас расскажу что-то, чего никому не рассказывал. Я... Был вегетарианцем, представляешь?

– Не может быть, – говорю.

– Может! – говорит. – Будешь надо мной смеяться за это? Презирать меня за излишнюю чувствительность будешь?

Я говорю:

– Конечно буду. Учитывая, особенно, что я не просто вегетарианка – а веганка.

Давид говорит:

– Не может быть! А как ты думаешь: душа у животных есть?

– У меня, – говорю, – есть один друг азербайджанец, удивительно честный, порядочный, чувствительный человек – знаешь, такая думающая, пиущая старо-приезжая московская интеллигенция. Он мне рассказал, как в детстве у него был ручной барашек – он его растил из ягненка, имя ему дал – ну то есть как с собакой домашней дружил с ним. А потом родители ему говорят: мы доверяем тебе большую честь – зарезать этого барана, потому что ты уже стал юношей.

– Какой ужас... – Давид говорит. – Неужели он зарезал?!

– Да, – говорю. – Но это еще не все – он мне в красках рассказал (потому что чувствительный все-таки), что у этого его ручного друга-барашка, когда он его резать приготовился, из глаз слезы потекли! Можешь себе представить?! И он все-таки зарезал. А резюмируя всю эту историю этот мой, вроде бы, друг-интеллектуал мне убежденно так сказал: «После того, как я его зарезал, мне, – говорит, – старшие объяснили, что у животных нет души. А плакал барашек просто от рефлекса». Я этого своего друга спрашиваю: если ты считаешь, что у животных нет души – как же животные могут тебя любить? А он говорит: «Ну, это не душа... Это... Не могу тебе объяснить, что... Но это не душа. Мне так объяснили. Нет у них души!»

– Ужас... – Давид говорит. – Но как же он...? Зачем же он...?

– А просто, – говорю, – никогда не надо слушать родителей и старших, если они собираются кого-то убить или тебя просят это сделать. Хоть раз надругаешься вот так вот над своей душой – и всё – душа уже в рабстве на всю жизнь. Душа человека ведь очень быстро коррумпируется в этом падшем мире, поработается им – и коррумпированные миром, более старшие люди, ветераны этого падшего мира – быстро учат чистую душу, как надругаться над своей инстинктивной, еще не запачканной, богозданной чистотой и добротой. Ведь у всех детей есть вначале врожденное богозданное

инстинктивное отторжение и отвращение от убийства животных. Не говоря уж – от убийства людей. Ну кроме извращенцев, одержимых сатаной.

Давид даже с дивана соскочил – стул от моего компьютерного стола взял, и напротив меня уселся:

– Ну а ты, ты сама как считаешь? – говорит. – Есть у животных бессмертная душа – или нет?

Я говорю:

– А чего тут считать: ты бы, если бы был благим Богом, разве бы позволил душе хоть одного живого существа безвинно сгинуть? Богу отвратительна смерть живых существ, Богу отвратительны убийства. Убийства и смерть – это полностью сатанинское изобретение. Сказано же: «Бог не творил смерти и не радуется гибели живущих». Убийства – это сатанинское хобби падших людей. А Богу это глубоко противно – Бог уже еле-еле все это терпит, заткнув с омерзением нос и отвернувшись. Но в какой-то момент Бог все это терпеть перестанет – как и предупреждал. Вон, – говорю, – возьми там у меня на книжном стеллаже книжку – Фомы Лондры, современный канонизированный недавно святой – там на английском – никогда не читал?

– Нет, – говорит. И даже с места за книжкой не тронулся – сидит: на перевернутую вперед спинку стула руки крестом сложил – вылупился на меня небесно голубыми своими глазами. – А что это за святой такой? Никогда не слышал!

– Фома Лондра! – говорю. – Неужели даже имя не слышал никогда, в своей Германии? Позор, – говорю. – Он коптской и армянской церковью канонизирован – он у коптов в Египте стадо дромадеров, молитвой, от чумы вылечил, двух женщин-американок от рака вылечил – ну и еще несколько явных чудес сотворил. Мальчонка такой молоденький был, исцелял людей и животных молитвой и именем Господним. Нищий бездомный проповедник странствующий. Недавно без вести пропал в Египте – после этого его канонизировали.

Давид, смотрю, разулыбался – и говорит:

– И, что, этот Фома Лондра считает, что души животных бессмертны?

Я говорю:

– Ну возьми да почитай! – говорю. – На немецкий книжка, по моему, еще не переведена – так же как и на русский. Но по-английски-

то ты, говорю, поймешь прекрасно!

А Давид говорит:

– Ой, не люблю я читать! Ну скажи: да – или нет?! Бессмертны?!

Я говорю:

– Ну во-первых, – говорю, – еще апостол Павел, по дарованному ему Богом откровению, ясно сказал, что вся тварь, по вине падшего человека мучающаяся и стенающая от уязвимости и смертности, будет освобождена из рабства тлению в свободу нетленной славы детей Божиих. Эту цитату, – говорю, – Фома Лондра даже эпитетом к своей книжке взял!

– Это значит: бессмертны? – Давид аж со стула вскочил – во весь свой гигантский рост.

– А во-вторых, – говорю, – Фома Лондра там пересказывает известное довольно среди православных видение одного старинного старца, который был весьма встревожен этим вопросом – вот ровно тем, который ты мне задаешь – и непрерывно вопрошал об этом Бога. И в конце концов, из-за своей неотступности, был удостоен видения: был вознесен на несколько мгновений на седьмое небо, где увидел в прекрасном саду гуляющих изумительных неземных существ – полупрозрачных, но одновременно окрашенных в дивные переливающиеся нежные цвета, и воспроизводящих какие-то изумительно красивые музыкальные звуки. Старец сам в себе подумал: «Господи, что это?!» И тут же появился святой ангел и говорит ему: «А это души животных – так, как они на самом деле выглядят в раю». Старец говорит: «Так значит, они бессмертны?!» А ангел ему: «Вы бы, лучше, несчастные, о своей душе переживали! Животных-то беззащитных, которых вы там мучаете, Бог защитит, и все их муки с вас взыщет». Фома Лондра, – говорю, – никогда мяса не ел – как настоящий православный монах. И вообще почти как монах жил, как странствующий монах.

– Ух ты! – Давид говорит. И опять на диван со всего размаха, счастливо уже, лежа во весь рост, на спину, плюхнулся. Пестрые носки опять торчат, не вмещающиеся.

– А сам, – говорю, – Фома Лондра от себя добавляет: «Подумайте, – говорит, – скольких отчаявшихся одиноких людей животные, любящие их, спасли своей любовью от самоубийств. Ни один человек стольких спасти не в состоянии. Так что многие

животные служат Богу даже в миллион раз лучше, эффективнее и бескорыстнее, чем человек».

Тут Давид, схватив с дивана камеру, неожиданно вскакивает и кричит:

– Вот! Вот теперь я должен тебя сфотографировать! Не меняй выражения лица!

И давай камерой щелкать.

Вижу – его распирает просто – чем-то щегольнуть передо мной хочет – и давится. Потом – решился – и, не прекращая туда-сюда со своей камерой бегать и фоткать, говорит мне:

– А я...! А я, знаешь, с настоящими аутистами работал! Вместо армии! – и забегает со стороны компьютерного стола, фоткает: – Ну, знаешь, альтернативная служба! У меня один подопечный был – я не мог его ни на минуту оставить: я не мог его даже в машине запереть и оставить одного – он бы все вдребезги разнес и поранился, пытаюсь немедленно из этой машины выбраться. Я за ним ухаживал, как за маленьким! А еще он любил, чтобы я ему шнурки на ботинках завязывал очень-очень туго: тогда он был спокоен, что все в порядке, что ничего не случится. Пожалуйста! Вот сиди так, не двигайся! Пожалуйста, ну потерпи меня немножко еще! Еще несколько снимков! Твой друг же еще не звонит! Не прогоняй меня! На меня только-только вдохновение нашло! Я его в коляске инвалидной возил, представляешь!

Я говорю... Нет, я молчу.

Я иду по Та́элету, в унисон с ветром и морем, а направлении Яффы. Я выгуливаю старика Паркинсона, соседа по отелю – скорчившегося – гигантским зародышем, реэкспортом из Америки, в инвалидной коляске. Камушки тротуара ядрёны – похожи на засахаренные преувеличенные тахинные семечки – и в ноль удельывают шпильки моих каблуков. Я вожу его по набережной мимо пальм, вцепившихся на ветру в ярости пальцами себе же в волосы, – в детской складной коляске вундеркинда с обвисшим сиденьем из парусины – какое собачили к падучим раскладным советским козеножкам-табуреткам, носимым предусмотрительными старухами к заутрене, длящейся всю ночь. Он не смог бы управлять даже мото-истребителем, на которых здесь носятся инвалиды, с азартом сбивая здоровых прохожих и раздавая им затрещины. Он не умеет

пользоваться даже здешней волшебной игрушкой: шабат-элевэйтором – для ортодоксальных гостей – лифтом, который по субботам и пятницам останавливается, без спросу, на каждом этаже отеля, чтобы не осквернить ни мизинца электрической кнопкой.

Я устала: довольно тяжелая эта прогулка – толкать впереди себя живую недвижимость. Я торможу и, как цапля, стою то на правой, то на левой ноге – давая то одной, то другой отдохнуть – с мороком отворачиваясь от аутентичных носов, посекундно любезно предлагающих себя в попутчики. Парализованный старик и чеснок – натошак – единственный щит от вас. Да и то – как выясняется – без гарантий. Я балансирую, как цапля. Хасидá на променаде. Я прикрылась от тебя жидом-паралитиком. Этим мирским отстрелянным телом складного кузнечика; по абрису, так обманчиво, до безумия похожим на римского Джона-Пола-Второго в старости, с головой вместо обратного слэша, из правого нижнего в левый верхний – на прогулке по набережной из своего сидячего катафалка на колесиках могущего подглядывать на меня и дисплей моего телефона лишь по диагонали. Когда я делаю остановки его колесницы и читаю в телефоне твои вопли.

«Gde ti? Napishi mne shto-nibud'!» Щазз. Я раздавила твой sms. С писком. Впредь я буду убивать их, прежде чем они вылупятся, не читая.

Сначала я думала, что это из-за моего скверного английского, потом поняла, что он просто давно уже сбрендил:

– Мир меняется. И глобализация процессов такова, что главное – это зубы.

Которых у него нет. Он никогда не доучит иврит, а на родном американском он может уже только плевать.

Никогда никто не узнает, откуда он здесь, в моем отеле. Но все подозревают, что навсегда. Он произносит еврейское «нет» скорее как английское «низко», чем как американский «закон», лучшим знатоком и практиком которого, говорит, он, задолго до моего рождения, слыл – на первой-второй-третьей рассчитайсь родине. Весь книжный магазин Steimatzku с Дизенгофа скоро перекочет в его номер. Он живет старческой причудью, что мир можно изменить прямо здесь и сейчас, в кафе гостиницы. И желательно на деньги правительства. Тиран

гостиничных завтраков, заставляющий каждое яйцо чокаться с каждым скорпионом.

– Хай! Элиана! – (у меня ушло пару минут, чтобы понять, что когда он из-за своего столика на завтраке кричит: «Элиана!» – смотря куда-то в неопределенное пространство – это он зовет меня.) – Хочу познакомить тебя с американским волонтером из Флориды, фиксирующим здесь танки в базе Sar-El!

Зачем, интересно? Чтобы мы начистили друг другу гусеницы? Долго не могла смекнуть, что «Вовован» в его исполнении – это Первая Мировая.

Он уморит меня небылицами о Великой депрессии:

– Я не помню, что я ел вчера. Но в Нью-Йорке они воровали сиденья из старых чужих автомобилей – и спали в них как в креслах. И это был их дом. Моя мать и отец! И они были свободными как вечность! И это было великое время! Великий взрыв! Вызов! Можно было даже купить огромный дом за несколько долларов – который сейчас стоит миллионы! Но у них не было даже на булку. А потом – мой отец вдруг сказочно разбогател! Угадай как?! И никаких забастовок в Чикаго: гангстеры держали профсоюзы в узде! Порядок!

Он все путает. Старый идиот. Хронический парахронизм.

– Но потом он разорился опять – так же быстро, как разбогател!

Он до жути завидует моей гипотетической возможности грешить. А я – его гарантированному физическому безгрешию.

Мать старика Паркинсона из местечка в Польше под Краковом.

– Знаешь – штэтлз? Такие – штэтлз! Нахóн?

Похоже, у них там, в Польше – штамповочный завод по сворачиванию старикам голов набекрень. В рассрочку. На восемьдесят лет.

Говорит, что отец его был русским, но вовремя дернул в Штаты контрабандой на сухогрузе. В трюме где-то между двумя революциями.

– Знаешь, была одна женщина в Штатах. Лет уж пятьдесят назад, наверное. Кто был тогда я – блестящий юрист, красавец, а кто была она? Просто сумасшедшая художница, любившая меня до безумия. Она очень страдала из-за моих измен. А я – не то чтобы я не понимал: я все чувствовал... Но просто я жил, отрицая необходимость выбора: думал, что вот сейчас нагуляюсь, еще годик, два, пять – а потом уж

вернусь к ней, одной, единственной, любимой, любящей, только моей. А через год со мной случилось... Вот это. И... я был слишком горд, чтобы хоть когда-нибудь после еще показаться ей на глаза в таком виде. Я спрятался. А потом и вовсе перебрался через океан. Уполз. Зарылся. Закопался в песок. Ты видишь. Мы никогда больше не виделись.

Такое впечатление, что этот урод сидел и ждал меня здесь, в фойе отеля, всю жизнь, чтобы хоть кому-то вплюнуть все это чернилами каракатицы в ухо.левой парализованной клешней, вернувшейся в эмбриональное состояние, он не смог бы записать – не то что своей истории: даже своего имени – даже если был бы левшой. Моя первая учительница была бы довольна.

Гостиничная кухарка Нина – дородная коротко бритая седоватая казашка родом из Советского Союза, в матроске-безрукавке, с большой головой, черными щеками и говяжьими предплечьями (уверяющая, зачем-то, что она – еврей) – нутряно ненавидит инвалида: за то, что он нищ, гол как сокол, за то, что проживание его в отеле финансирует правительство, из пособия, за то, что отель ему, на ее завистливый взгляд, достался слишком роскошный – у моря, за то, наконец, что заказывает он себе, в неположенное время, плюс к завтраку, сидя в общем зале, за деньги, еще и тель-авивский, мельчайшей порубки, салат из огурцов, помидоров и лука. Поднеся ему блюдо, обслужив его, шипит затем кухарка непрерывно с ненавистью, выглядывая из-за угла, тихо, на-русском: «Он слишком многого хочет! Хочет жить как человек, как гость! А его место – в бейт-авод! А не в отеле!»

Я вскакиваю с подоконника, и говорю:

– Давид, кроме шуток – давайте заканчивать уже. Если честно – я просто уже сейчас умру от голода.

А Давид говорит, так заинтригованно:

– А что у тебя есть поесть?!

The Voice Document has been recorded
from 21:22 till 22:02 on 18th of April 2014.

Я, уже на Давида не глядя, рванула к холодильнику. Давид – за мной. Уселся за мой прекраснейший древний рассохшийся круглый обеденный стол с качающимися ножками, накрытой ярко-золотой глянцево-клеенчатой скатертью – и в восторге мне говорит:

– Вау... – говорит. – Это же у тебя почти как мой золотой отражатель! Даже гораздо больше в диаметре! Если бы, – говорит, – я отражатель забыл – я бы мог эту сверкающую клеенку использовать!

Я говорю (решив использовать для выкуривания его из квартиры надежное оружие):

– Давид, я бы, конечно, угостила вас... Мне не жалко. Но я собираюсь делать салат. А в салат я кладу очень много чеснока. Так что...

А Давид мне:

– Прекрасно, – говорит. – Я очень люблю чеснок!

И с места не двигается.

Ну, я уж плюнула на приличия, достала листовый салат, побежала его мыть. А салат оаклиф ведь даже не мыть – стирать надо! Я стою, выкручиваю, выжимаю его, как стиранные полотенца для рук – и смотрю на пристывший над раковиной к кафелине архиоптерикс петрушки, как изразец – и думаю: «Хорошо, что этот мальчишка детали быта фотографировать не умеет. А то бы пропозорилась на весь интеллектуальный журнал!»

Давид мне, такой задумчивый, локтями на золото стола оперевшись, говорит:

– Я никогда, – говорит, – ни о чем таком ни с кем до этого в жизни не говорил... Как странно...

Ну, я, не слушая, гигантскую пятилитровую прозрачную салатницу на стол, и давай на доске (в виде банджо) уже все подряд кромсать: и помидоры – очень много помидор! – и оаклиф, и очень горький бордовый салат Radicchio, и пожар в дождевых лесах Амазонии Lollo Rosso, и легкий морской бриз Frisée, и простенький круглый салат Lamb, и плотный, как сырой шпинат, салат Romano – и чеснок, чеснок, чеснок – две головки (потому что на двоих же!). Хлестнула маслинного масла. Щепотку sal sapientiae.

А Давид уже облизывается сидит:

– Можно, – говорит, – я уже вот себе на тарелку... – и, не дожидаясь ответа, пока я еще зазевалась, салат размешиваю, кинул себе деревянными ложками ну вот буквально гору на тарелку – и в секунду! в секунду! – съел.

– Можно мне, – говорит, – еще?

Я думаю: «Тааак, – думаю, – не поесть мне сегодня!» Но, все-таки успела – на объедки – перед тем как Давид себе третью порцию, подскребя все по сусекам из салатницы, положил.

– Нет, – я говорю, – мне не жалко – на здоровье, я очень рада, что тебе понравилось! – а сама кошусь уже на холодильник. – У меня говорю, в крайнем случае, еще и фрукты есть. Мне будет чем наесться...

А Давид, воодушевленно так:

– А какие у тебя фрукты есть?! Я, вообще-то, – говорит, – фрукты не люблю, я просто так спрашиваю, из любопытства.

Я думаю: «Как удачно! Значит, можно доставать фрукты, не опасаясь. Хоть этим наемся!»

И, в общем, излишне расслабленно, надо сказать, достаю из холодильника хурму.

– Фрукты, – говорю, – просто надо уметь грамотно считать! Вот хурму, например, нужно разрезать строго поперек – видишь?! – говорю, – сразу открывается послание: почтовый мальтийский знак. Эдакий выразительный sms от Господа!

Давид у меня хурму взрезанную из рук – хватать! И съел.

– Надо же! – говорит, – я никогда раньше не замечал. Даже вкусно, надо же!

Я смотрю: Давид как-то уже разнежился, поплыл, своими небесно-голубыми глазами играет, волосы свои лохматые застенчиво ворошит, и уходить никуда не собирается...

«Ох, – думаю, – не надо его было кормить... Ох, не надо... Кулинарный путь к сердцу мужчины и так далее... И вообще, – думаю, – не хорошо как-то получилось: охмурила случайно бедного мальчика запредельными разговорами, а мальчишки ведь интеллектуально и духовно гораздо позже девушек взрослеют – поэтому его двадцать лет с хвостиком – это же эквивалент девичьим восемнадцати, не больше... Ребенок! Жуткая безответственность с моей стороны. Надо, думаю, его выставить за дверь поскорее!»

Взглянула на мобилу: одиннадцать вечера!

Я говорю:

– Давид, я закажу тебе такси.

Иду звонить к окну, где у меня сигнал мобильного лучше. Этот оболтус идет за мной и телефонную трубку выхватывает у меня, чтобы

я позвонить не могла. И с жалобным взглядом говорит:

– Ты уверена?

Я говорю:

– Совершенно уверена. В каком районе твой отель?

Короче, вышла его провожать к такси.

Вышла – смотрю – слева от подъезда курильщик топтунского вида торчит: я надеюсь, не тобой подосланный, милый? Но если даже тобой – тем лучше: значит он видел исключительно дружеский мой прощальный поцелуй в Давидову щеку (склонился, каланча).

Короче, как только такси отъехало – я на два шага отошла, пытаюсь хоть глоток свежего воздуха найти; вверх смотрю в расщелину неба между домами – чувствую голова уже от голода кружится; я думаю: «Где же Славик-то? Ё-моё!» – а вместо свежего воздуха жуткий ветер – и сигаретный дым.

Я сижу на цветущем диване, в насквозь продуваемом, вытянутом, до краев полном солнца фойе отеля, справа от чисто декоративного маленького гладкого пианино, на котором никто никогда не играет. В левой дальней (в кафе плавно переходящей) части фойе, где одиноко (тщетно пытаясь прикормить крошками, выпадающими изо рта, высоко вспархивающих с шелестом из плохо действующей правой пятерни одна за другой чумазных птиц Naaretz) у кубического столика доедает свой второй завтрак инвалид в коляске, белые занавески на застекленной, расстекленной, распахнутой стене (превратившейся в турникеты для ветра), играют в паруса. Вай-фай, с милым, местечковым раздолбайством, не пробивает на мой пятый этаж – и приходится каждый раз за интернетом спускаться сюда. Портье Charlie (его стойка рецепции в фойе напротив), низенький еврей, сбежавший (еще в прошлый заезд диктатур) из Египта, вместе с табачной трубкой, от скуки и хлещущей через край общительности подгуливает ко мне и, дружелюбно куря мне в рот, наклоняется над моим лэптопом:

– Эли! Ведь тебя же здесь продует! Руах працим!

Забавней всего в этом моем почти домашнем уже отеле – метаморфозы, которые, в зависимости от слуха, национальности и настроения каждого, проделывает, за какие-нибудь несколько минут, мое имя.

– Эли, что ты пишешь здесь все время в своем компьютере?!

– Фугу. Фугу пишу, Чарли. Вали-ка обратно к своей рецепции, со своей трубкой.

– Смеешься надо мной! Какая же это фуга?! Я же ведь знаю русские буквы! Вон – си, би, дельта, игрек, икс! Это же буквы – а не музыкальные знаки!

– Слушай, Чарли, сегодня у моря, по пляжу какой-то лунатик в наушниках ходит со щупом миноискателя вокруг кафе и клюет песок. Что, на пляже теперь тоже взрывные устройства закладывают?

– Ты слишком хорошо о нас думаешь! Это не миноискатель. Он монеты ищет, а не бомбы. И золотые кольца, которые купающиеся все время в песке теряют! Это – отличный бизнес! Иди на пляж! Не бойся! А то тебя здесь продует! Руах працим! Только ничего не теряй!

Я жмурю глаза. Нет, голова все-таки слегка кружится. Чарли с вонючей трубкой – и разлившийся по фойе флакон благовоний средиземной весны.

Я звоню Славiku: выключено. Да что ж такое? – думаю. И уже волноваться начала. Думаю: Славик, конечно, у меня мастак опаздывать – единственный человек в мире, к которому я на встречу, с чудовищными моими опозданиями, имею шанс прийти более-менее вовремя. Бывало, бывало, что опаздывал Славик на час, на два – и приезжал на тусовку, уже когда я давным-давно оттуда сбежала, – но не на целый день же? А в последнее время у Славика моего еще и не только со временем, а и с местом проблемы начались: Славик, с его раздолбайством, забывает, где мы договорились с ним встретиться – в каком кафе или ресторане. А Славик же по городу ходит – это видеть надо: замечтается, забудется, увлечется побочным каким-нибудь переулком, мыслью, звонком, – и приходит в какой-нибудь жлобский Pierre Gagnaire, вместо того, чтобы доехать, скажем, в счастливо-безлюдную забегаловку – как мы договорились – и потом капризно начинает мне названивать, и вопрошать, почему я еще не там, и жаловаться мне на меню. Поэтому единственная верная возможность все-таки встретиться – это назначать встречу у меня дома, чтоб Славик, помноженный на свои опоздания и расслабленность мыслей – все-таки до меня добрался.

Короче: уже волнуюсь не на шутку! Пошла к себе в квартиру, а в квартире же у меня прием мобилы жуть какой плохой – дом же как крепость! – полуметровые вековые кирпичные стены никаким

спутником не прошибешь (надеюсь, твои жучки-шпионы тоже все время глючат!). Ну и я через минуту опять Славику начинаю названивать. Взлезаю на подоконник, чтобы поймать сигнал – высовываюсь (вместе с мобилой) по пояс в окно – и вижу, что на белоснежной стене моего отеля (стене вида какушек местного мягкого сыра cottage), рядом с окном моего номера – не сотни, а тысячи Божьих Коровок! Праздник бьется в стекло. День воздушно-десантных сил летающих мухоморов. Улыбчивых. Красных, в черную крапинку. Парад эскадры рабэну Моисея (коровами коего евреи, как похвастал мне вчера Чарли, местечково кличут эту Божью движимую, лётную собственность). Смайликов-бомбардировщиков. Интересно – кто вообще назвал их коровами? И главное – где и когда. И если на аэродроме стены – улыбчивый праздник – то в воздухе – и на суше и над морем – тем временем катастрофа. Москиты и мошки отменяют пыльное, темно-коричневое, местами почти угольное дневное небо как жанр. Дышать через дуршлаг насекомых могут только еще более мелкие насекомые. Сцеживать как домашний сыр.

Наружу только жигой. Выдвижная флюорография легких. Наполнитель сангинной пыли так густ, что делает зримой даже лепнину дальнего контура воздуха берегового османского века. Тайное становится явным, от напыления. Каждый слой небесной температуры: 30–35—40 – тонирован точным личным оттенком темнеющей температуры. Current music: Avishai Cohen. Leh-lah. Чуть не хватает воздуха флейте. Ждем света, и вот тьма. Халильщик подвсхлипывает в среднем стереоухе, чтоб поднабрать. Осязаем, как слепые, стену, и, как незрячие, ходим ощупью. Правый и левый аудио-порты надежно заткнуты наушниками, чтоб не влетел кто ни попадя. День же паки в ночь преложийся. Божия дойная коровка – одна из миллиона – видит угрозу в пальце, предлагающем подвезти, и от страха тиснит мне пахучим трамвайным золотом парчовую белую рубаху. Выдавила весь оборонный тубик. Теперь хотя бы понятно, кто спёр всю краску из базового резервуара золота в небе, который отныне какого угодно – и черного, и белого, и горелого – но только не желтого. Главное не прихлопнуть дисплеем лэптопа, чтобы не проинспектировать всю палитру каравая изнутри. Иначе споткнемся в полдень, как ночью, между живыми – как мертвые.

Я кричу в телефон:

– Славик! Ты жив?! Где ты? Я волнуюсь уже! Куда ты пропал?! Ты же утром обещал прийти!

– Ой, Лена, какое счастье, – говорит (грозным каким-то, не своим голосом) Славик, – что ты так вовремя прозвонилась! Я в плену! Меня захватили по пути к тебе! Я в ментуре... Звони скорее в мою службу безопасности! Зови журналистов! Бандиты! Я в том же отделении, что и в прошлый раз... А то они мою мобилу сейчас...

И – телефон вырубается.

А уж какая там у Славика моего бедного «служба безопасности» – в его-то рафинированном академичном литературоведческом журнальчике?! Глупый блеф. Сейчас, думаю, они еще хуже ему за это наваляют.

Я выбегаю на улицу, борюсь с ветром, в ужасе думаю: «Кому звонить?». А тут ты, любимый, – со своими звонками! И с этими твоими му-му-му на моем автоответчике, когда я на звонок второй раз не ответила! И без того, – думаю, – на душе погано весь день, да еще Славик в смертельной опасности – а тут ты со своими му-му-му!

Короче, вышла на Тверскую – и тут понимаю, что куда бежать Славика-то спасать – я не знаю! В каком отделении он был захвачен в прошлый раз – я не знаю – а брякнул Славик это явно тоже, чтобы произвести на захватчиков впечатление. Думаю, ё-моё, дёрнуло же Славика уродиться идеальной мишенью для ментов: с черными кавказскими волоокими очами, кудряв, резкие ассирийские скулы – короче – преступление налицо. Бедный – причем самое-то смешное, что и мать у него русская, а отец вообще белорус, и только у какой-то там прабабушки – вовсе даже не кавказские, а наоборот киприотские корни были. А скулы ассирийскими получились. А Славик еще и (при своей вечной транжирской нищете) до жути дизайнерскую одежду любит: одна рубашка на пол-зарплаты – но зато дизайнерская – которую Славик полгода потом таскает, а с другой зарплаты джинсы моднейшей косоватости и куцоватости – так что менты просто, разумеется, Славика мимо пропустить не могут – считая, что Славик как раз идеальный донор для взяток. Уже который раз в центре в ментуру в заложники брали!

Короче – мечусь по Тверской, как дура, народ спрашиваю: не знаете ли вы где тут ближайшее, мол, отделение? Народ хохочет – считает, что это диджейский розыгрыш какой-то или флэш моб. Уже не

знаю, что делать – поворачиваю к метро – и тут – вижу – Славик плывет: счастливый, яростный, широченная улыбка, бедрами играет, худоба и судорожная изломанность подростка Эгона Шиле.

– Как, – говорит, – ты вовремя позвонила! Как только я взятку давать наотрез отказался – говорю: вы вообще незаконно меня задержали – я вам, что, меценат, что ли?! Каждую неделю меня ловить! – так они мне начали уже прямо угрожать, что сейчас мне наркоты в карман подложат! «Мы, – говорит, – искать умеем! Сядешь! Давай лучше по-хорошему». А как только я про службу безопасности тебе в телефон сказал – они сразу ушли в какую-то другую комнату, пришел их начальник, извинился за поведение подчиненных и соврал, что я на какого-то особо опасного преступника похож. И выпустил!

– Они, что, – говорю, – у тебя телефон отняли?! Почему ты вырубился?

– Да нет, – говорит, – у меня зарядка просто села! Давно уже причем! Я уж просто от отчаяния, когда они меня шантажировать начали – нажал в кармане незаметно кнопку – и телефон включился – на последнем каком-то издыхании! И в эту секунду ты позвонила! Все, – говорит, – нет сил, ща умру, пойдём пожрем куда-нибудь скорее! В «Пушкин», что ли? Ужасно, но зато близко!

Короче, пришли в «Пушкин».

Официант (этот, рыжий, в своем дурацком передничке) мне говорит:

– Вам, – говорит, – как всегда? Две двойных порции вегетарианских грибных пельменей?

Я говорю:

– А можно, – говорю, – вас прежде попросить уточнить все-таки у повара, добавляет ли он в тесто яйца? А то вы мне в прошлый раз так и не ответили.

Официант злобно на меня глянул, юной челюстью бритой кляцнул – но пошел, виляя обтянутым задом, к повару.

Я говорю:

– Может быть, не нужно было спрашивать... Может быть, – говорю, – надо было воспользоваться рецептом апостола Павла: не выяснять ингредиенты купленного на торжище – для спокойствия совести...

– Нет-нет, – говорит Славик, – правильно сделала. – А сам в руках меню «Пушкина» вертит. – Эх... – говорит. – Ничего что-то из их меню не хочется... Всё перепробовано!

А тут официант вернулся:

– Я, – мстительно так говорит, – вам, конечно, не должен был бы этого говорить – потому что тогда вы блюдо не закажете. Но... Ваши опасения оправдались.

Я говорю:

– Славик, ты будешь что-нибудь заказывать?

– Нет-нет, – говорит. – В другое место пошли тогда!

Я говорю:

– Куда ж мы пойдём? Может, в «Китайский летчик» – попростому, гречневой кашки с грибами съедим?

– Ой! – Славик руками на меня замахал. – Не дай Бог! Там такой грохот – концерт наверняка какой-нибудь, и орут все!

Короче, вышли мы с ним на крыльцо, в раздумьях. Вдруг Славик говорит:

– В «Шинок» поедём, придумал!

Я говорю:

– Ни за что! Чтоб мы там кого-нибудь из этих, прости Господи, встретили?!

– Да ну что ты! – уговаривает меня. – Никого там сейчас нет!

– Не охота, – говорю, – далеко так тащиться. Водителя, – говорю, – мне в такой час вызывать неудобно. Может, в Елисеевский, – говорю, – зайдём чего-нибудь купим – и у меня поедим? А то у меня гость один был – все сожрал!

– Нет, – Славик говорит, – уж раз мы с тобой договорились пойти куда-нибудь позавтракать вместе сегодня – так давай хотя бы сходим поужинаем! Поехали! У тебя, – говорит, – есть деньги на такси? А то у меня, – говорит, – ни копейки наличных не осталось!

Короче, словили таксиста.

Я говорю:

– Славик, – говорю, – тебя, что, – говорю, – целый день в ментуре продержали?!

– Да нет, – говорит, – всего полчаса.

Я говорю:

– А где ж ты шлялся целый день?!

Славик мне (уже в машине) говорит:

– Ой, даже вот не хотел тебе рассказывать... Ужас! Ужас! Все наперекосяк с самого утра! Мне такой ужасный сон приснился! Меня за ногу во сне какой-то урод схватил – и не отпускает! И больно так! Я чувствую: всё, сейчас просто кожу уже обдерет – жгучая боль! Я пытаюсь от него отбиться – и не получается! Впивается в ногу мне всё больнее и больнее! Я в ужасе просыпаюсь – и вижу, что это к моей лодыжке, оказывается, к волосам на ноге, жвачка прилипла – а моя кошка залезла ко мне под одеяло и всеми когтями эту жвачку отдирает! Ну я вроде очнулся – кошку прогнал, жвачку пошел в душ выбривать – а настроение все равно самое гнусное после этого сна! Депрессуха прям настоящая началась. Вышел на улицу – и как-то всё, чувствую, ужасно в мире!

Я говорю:

– Беденький, что ж ты сразу не позвонил и про свой сон не рассказал?

– Ой, ну что ты, – говорит, – я наоборот сразу понял, что тебе я, в таком своем депрессушном состоянии, портить настроения не хочу! Ну я и поехал к одному своему редактору, которому мне кое-что заказать надо было – которого я ненавижу! Думаю: вот кому мне не жалко портить настроение – так это ему! Ну и проваландался с ним, выхожу, чувствую: жрать уже охота – невыносимо. Зашел, с отчаяния, в макдональдс на Новокузнецкой – все равно, думаю: хуже уже не будет. Народу полно. И вдруг я замечаю – в углу там женщина сидит, бомжиха – не ест ничего, *не* на что, видно, – но у нее такое блаженное выражение лица – что я понял, что ей, видимо, в жизни уже так хреново – что вот даже погреться посидеть для нее уже небесное блаженство. Ну, я ничего жрать там вообще не смог – выгреб из карманов всю наличку, какая была, всунул ей в руку, и выбежал оттуда...

Короче, любимый: Славик сидит мне душу изливает, бедный.

А тут в лобовое стекло нашего такси ка-а-к бросится что-то! Наш таксист ка-а-к мотанет руль в сторону! Затормозил резко, на обочину съехал. Смотрю – водитель аж трясется от ужаса. Оказалось – грязный целлофановый пакет просто. А водитель этим своим маневром ухитрился колесо пробить. Говорит: «Простите, вам другую машину ловить придется».

Поймали. Едем. Я смотрю в окно – и тут вижу – эти гнусные грязные целлофановые пакеты-то, ледяным ветром надутые, всюду летают – вихрь мусорный какой-то – и атакуют машины! Скверная ночь. Ветер противный, крайне даже противный. Еле доехали. Смотрю – уже почти полночь. И меньше всего в жлобень «Шинка» входить хочется. Ну, думаю, ладно, раз доехали...

Входим – и действительно – Славик прав оказался: одни во всем ресторане. Ну, официант нас уныло ведет к окну, за которым – живой паноптикум псевдо-деревенского псевдо-дворика: садимся – а прямо перед нами, за стеклом – индюк. Живой. И крепостная, под-новорусская, несчастная старуха. Живая. Кверху задом выбирает каких-то блох из апатичной козы.

Я говорю:

– Сла-а-ави-и-ик...

Славик говорит:

– Знаю-знаю... Сейчас мы быстро съедим чего-нибудь и уедем. Здесь же наверняка чего-нибудь постное есть!

Короче, подошел заспанный официант – невместительно толстый, в роль вжившийся, парубок, с расшито-расписной шириной, на руке висящей. Славик ему, со всей строгостью, подробно, с расшифровкой, со скидкой на под-новорусскую тупость:

– Молодой человек, – говорит, – у вас есть что-то без мяса, без рыбы, без молока, – и без яиц?

– Картоха! – расплывшись в улыбке, отвечает ему официант, – и машет шириной. Полотенцем, в смысле.

– Во! – Славик говорит. – Несите! Две порции! Только без сливочного масла, пожалуйста! С постным маслом!

А сам тем временем, когда парубок отвалил, грустно говорит мне:

– Я вот знаешь, о чем сейчас подумал: какая зияющая пропасть лежит между понятиями «пост», «диета», «голод», «голодание» и «голодовка»! Вроде – суть одна и та же: не жрать ничего! А ведь содержание абсолютно разное! Диета, например, – прямо противоположна по сути посту! Пост ведь – это отказ от плоти в пользу духа. А диета для похудения – когда бабы-модели и мужики-модели, например, голодают – это же наоборот примат плоти – они от этого, наоборот, еще гораздо более законченными самками и самцами становятся!

Я говорю:

– Единственное, на что я, пожалуй, была бы ради поста не готова – это жрать саранчу, как Иоанн Креститель.

Славик говорит:

– Как?! Акриды это разве саранча?!

– Ну, – говорю, – я предпочитаю верить, что нет. Жуткая же ведь там путаница с адекватным переводом библейской флоры и фауны. Плезиозавра левиафаном называют – а эволюционисты его, от испуга за крах своей теории, вообще чуть ли не гиппопотамом, вымышленно, постановили считать. Змей как «ехидны» перевели. А про акриды, в принципе, наиболее аппетитная версия, что никакая это не саранча – а плоды рожкового дерева. Помнишь, блудный сын ведь тоже в Евангелии мечтает забить пузо хотя бы «рожками», которые едят свиньи. Я думаю, как раз эти рожковые плоды и ел в пустыне Креститель.

– А это тогда даже очень вкусно получается! – Славик завопил, с загоревшимися, уже совсем голодными глазами. – Рожковые плоды и дикий мед! Это же тогда как орешки в меду получаются!

В этот самый момент парубок нам еду притащил: мы оба, просто уже не веря счастью, за вилки хватаяемся.

И тут я замечаю, что сверху картошка чем-то очень подозрительным посыпана.

Я шепчу Славику через стол:

– Славик! Спроси у него, пожалуйста: что это такое! Ты ведь умеешь с ними разговаривать!

Славик, опять, со всей взыскательностью:

– Молодой человек! Это что это?! – и вилочкой подозрительный предмет подцепил.

А жирный парубок, накрутив ширинку на локоть, с достоинством:

– Шкварки!

The Voice Document has been recorded
from 22:03 till 22:33 on 18th of April 2014.

Короче, любимый: уехали мы из «Шинка» со Славиком немедля же – вот ни маковой росинки! Проговорили у меня дома всю ночь. Уже ни спать, ни есть не хочется. На душе все более тяжко. Хотела заснуть, когда Славик под утро, стрельнув у меня на такси, уехал – ан не

может. Только я закрыла на секундочку глаза: звонит на мобилу портье Чарли.

– Эли! Ты еще спишь? Вставай скорее и спускайся сюда, на кабалу!

– Какую кабалу... Чарли... Что ты бредишь... Который час?! Как ты смеешь будить меня в...

– В час дня. Не ищи, не ищи часы, красотка. Искать ветра в море. Ты просила позвонить разбудить тебя по мобильному, если ты не спустишься к завтраку. Тебя горничная не может добудиться. Ты, что, городской телефон опять из стены выдернула? Спускайся, говорю, сюда на кабалу, на рецепцию – я покажу тебе этого подлюгу. Ты во сколько вчера легла?

– Ни во сколько я не легла, ни вчера ни сегодня, я вообще не спала, только что компьютер выключила. Что тебе от меня нужно?

– Занавески задернуты были?

– Не помню.

– Ну открой глаза да посмотри! Задернуты?

– Да.

– Понятно. Ничего не видела. Спускайся.

– Куда спускаться? Отвали, Чарли. Чего тебе от меня нужно?

– Спускайся на кабалу. Говорят тебе. Балаган! Спускайся на рецепцию! Я тебе покажу этого подлюгу! Каждый раз одно и то же! Каждый раз – перед Песахом – и здесь в отеле, и у меня дома – моя жена все моет, убирает – я сам вчера три ведра помоев из дома вынес – а потом приходит этот подлюга и все засирает!

Полу-спросони – полу-с-недосыпа, спускаюсь в лифте в фойе – поняв, в бессонной какой-то логике, что иначе от Чарли не отделаться.

– Я же тебе говорю! – с раздраженным ликованием заводит Чарли опять ту же невнятную песню, как только я подхожу к рецепции. – Этот подлюга появился ночью! Я выглянул ночью дома в окно – а луна красная совсем! И с огромной физиономией! Я этого подлюгу как увидел ночью – балаган! – сразу жену будить бросился: задраивай все двери! И окна!

– Охолони, Чарли, и объясни, будь любезен, какого хрена ты просил меня прийти? И прекрати мне тыкать в нос своей курительной трубкой.

– Забудь ты про мое курево! Тебе сейчас мой табак цветочками покажется! Ты еще не видела в каком мире проснулась! Сейчас я тебе покажу, чем ты теперь дышать будешь! Тебе моя табачная трубка респиратором противогоза покажется! Вот! Полюбуйся! Иди-иди! На этом серванте за кабалой теперь пальцем рисовать можно! Это у меня узкая щелочка окна, в мизинец, открыта ночью здесь оставалась! Не заметил кто-то, когда уходил! Пару часов – и готово! Пыль – в сантиметр толщиной! Смотри! Смотри! Пришел подлюга ночью и все засрал!

– Какой подлюга к тебе приходил? Старший менеджер? Прекрати же наконец бредить, объясни в чем дело?

– А ты попробуй рассыпь свою пудру... Плевать, что ее у тебя нет... Вот здесь, под софитом на стойке, рассыпать пудру – и дунуть! И увидишь, как это происходит! Вот так – ффу! Смотри! Смотри! Тут какой-то престарелый педераст вчера пудру забыл. Смотри-смотри: рассыпаю – и дую – пффу!!! Видишь?! Видишь?! Желтый свет софита сразу становится красным! Так и с луной! И так каждый раз! Каждый раз! Каждый Песах! Балаган! Каждый раз! А всё откуда?! Из Саудовской Аравии! Счастье еще, что у нас он хотя бы двенадцать, тринадцать, максимум пятнадцать дней будет! ХамЭш эсрЭ! А не пятьдесят – хамишИм, как у них. И на том вам спасибо, дорогие! Люди убирались, старались к празднику – а теперь этот подлюга пришел и везде срёт, срёт, срёт! Расстиляет пыль как ковер – и вытряхивает его на город! Срач, срач, срач! Сегодня начал – значит, еще три дня из отеля носа можешь не высовывать. Три дня гадит воздух – потом день на отдых – потом опять гадит – потом опять передых. Моя жена только все опять в доме вымоет – а подлюга придет и заново все засрет... Нам срочно нужна ваша Сибирь, как фильтр, для этой поганой сигареты, чтобы затушить ее! Чтоб остудить этого подлюгу и очистить воздух! И москиты рождаются из жары как цыплята. Балаган...

– Хорошо, Чарли. Больше не буди меня по пустякам.

– Эли, я просто не хотел сразу расстраивать тебя... Дело в том, что они выгнали из отеля нашего старика-инвалида – увезли его в дом престарелых в Бней-Брак. Я ничего не смог сделать. Говорят: уродам здесь не место, пусть едет в бейт-авод. Думаю, он сразу умрет, если не сможет посидеть со всеми здесь в кафе.

И луна – в кровь.

Я открываю в ужасе глаза – и вижу вертикальные ребра жалюзи в моей московской квартире – разлетающиеся, сорвавшиеся от ветра с нижних петель, и взлетающие, как разгулявшиеся ленты мёбиуса. За окном темно. И холодно – околеть можно. Забыла закрыть окно. А вставать – с гирями бессонницы на ногах – невозможно. Я полу-лежу, полусижу, на диване, оперев подушку на дребезжащую при каждом моем движении верандную раздвижную дверь. На коленях включенный лэптоп. Надо срочно доделывать правку текста. Не понятно, как, каким чудовищным усилием воли удержать картинку моей квартиры в бессонном фокусе – это все сложнее и сложнее – но одно очевидно: все переговоры с тобой надо прекращать немедленно, да-да, как с террористом. И гулять только в тексте, только по клавиатуре. Но лучше бы до этой клавиатуры не дотрагиваться даже кончиками пальцев. Ибо клавиатура – как микросхема города. Где «1-2-3-4-5-6-7» – Ибн-Гвирол, где в «Кофе-Бине» мой компьютер подцепил вирус, выйдя в беспроводной эфир, при первой же чашке чая (в прозрачном высоком капуччиновом стакане, с волнующейся янтарной медузой внутри – портативным ручным джибиджано, которое всегда со мной: путешествующим спутешествуй). Где «Цукенгшц» – Дизенгоф – где вечером можно ошалеть от запаха жженных каштанов и зелени фикусовых деревьев в темноте. Где «Фывапродж» – улица имени сумасшедшего реинкарнатора Божьего языка, замолодо уморившего свою жену лингвистическим карцером, не разрешая ей даже дома говорить ни на одном другом (где компьютерщик Гил, марокканский еврей, вылечил мой компьютер – ужас! – больно было смотреть! – пришлось его прооперировать: лэптопу вскрывали полости, вынимали временно жесткий диск, вживляли в другую машину – и вдули новый Windows – конечно же на иврите – так что теперь я не понимаю, что говорит мне мой собственный компьютер). Где «Я, ч, с, м, и, т, ь, б, ю» – местечковой высоты высотки на набережной (забавно, как волна изгнания, омыв целый мир, вернулась обратно – намыв, в миниатюре, в этот новый-старый город виданное во всех народах, даже за океаном). Где в ярком соседстве с «Escаре» – парк Яркон, с небывало цветущей шкедиёй. Где левый Shift – безумное ракушечное задание в стиле Гауди. Где ближе к крошечной круглой ластиковой мыши компьютера – Opera tower (где парикмахер наотрез отказался вчера стричь мне волосы: два раза

картинно ронял на пол ножницы, подлец). Где пробел – море – закрывшееся (спустя сутки после того, как хамсин кончился так же внезапно, как и начался) вертикальным непроницаемым матовым экраном – белесой плотной стеной, надышанной волнами. Я сбежала от тебя аккордом на Ctrl-Alt – к порту и яхтенной бухте – и, втайне, прицеливаюсь к направлению Delete. На пляже, на песке, у самого моря, по самой кромке белого экрана тумана, через каждый метр (завешиваемые друг от друга темнотой – выявляемые только всполохами фонарей прибрежных кафе) сидят в одинаковых позах влюбленные – и жаркий вечер похож на тот жаркий день, когда брачуются насекомые, вылетая и выползая, как по команде, из всех щелей. Я хожу, курсором по пляжу, взмешивая мокрую горчицу песка сандалями, потому что забыла, в каком именно кафе, вырастающем по мере моих шагов из песка, два часа назад оставила заряжаться свой лэптоп (когда свиное рыльце в кафе радуется? Когда оно электрическое, а у меня на излете зарядка. Стопроцентное попадание. Вилкой в розетку в кафе у раздвинутого деревянного окна в полморя – найти бы теперь только, в каком) – вот в этом? – где пахнет кислым вишневым кальяном и играет, отвратно громко, музыка техно? Нет, тоже не в этом. Может быть – на пляже Мецицим? Где закрытые белые гигантские парусиновые зонты, торчащие перед морем в песке – похожи на Моисея и Аарона (вид со спины), наглухо, с головой, завернувшись в накидку с капюшоном, в пустыне. И где в углу кафе так, вероятно, до сих пор и блюет – кротко, беззвучно – двадцатилетняя вегетарианка-официантка Зои (гречанка, приехавшая подработать на учебу), до сегодняшнего дня страстно любившая сыр, – которой я вечером без всякого умысла честно рассказала, что сычуг, добавляемый в сыр, делают из желудочного сока убитых новорожденных телят и ягнят. Я давлю твои эсэмэсы как клопов, я немею от гнева – когда приходится нажимать Reject call – не понимая, отказываясь понимать, как ты смеешь мне до сих пор звонить. Я пытаюсь придумать идеальную, благословенно-математическую формулу, алгоритм избавления от тебя, музыкальную фразу бегства: как бы стереть тебя из моей жизни, вместе с этой твоей, несчастной, с выпученными глазами, в утиной юбке. Не возжелай... Кого там? Как жаль, что все старомодные формулы антивирусов адресованы в основном мужскому роду (так их и не освоившему). Не возжелай...

Ёлки! Нигде в Декалоге не написано «мужа чужого». Ничего, что-нибудь сейчас подберу, подходящее к тебе. Вот, вспомнила! Идеально! «Не возжелай козла чужого, и никакого скота чужого!» Вот, вот, это идеально к тебе подойдет. Буду руководствоваться впредь по отношению к тебе этим. Reject call, без всякой пощады. Неучастие – так неучастие. The Games must be stopped! В самом всеобъемлющем смысле. Ультиматум и тебе, и, заодно, всему миру. Я иду, чуть шатаюсь от шаткости рыхлого песка, вдоль матового экрана моря – и гигантское – даже не тень – а пестрое мое марсианско-апельсиновое отражение (от высоченных светящихся пирамид-софитов очередного, настигнутого, кафе на песке, на которое я чуть было не наступила, чуть не раздавила его своим отражением) – шатко пляшет на непробиваемо-плотном вертикальном экране тумана рядом со мной. Мой ярко раскрашенный сфероидный mp3-плэйер с диктофоном, как мажентовое фаберже, болтается на шее. Я заткнула (от тебя – и от мира) уши наушниками: в которых звучит мой разговор с чудом выжившим на олимпийских играх крохотным евреем, чемпионом, греко-римским борцом, по небесному наитию сбежавшим из заложников – и вместо олимпиады выигравшим целую долгую жизнь. Коротенький еврей-йеменец с шоколадным лбом, чрезвычайно широким носом, чрезвычайно мощной шеей и удивительнейшей, неспортивной младенческой улыбкой. Я слушаю все заново – и не могу оторваться: как его отец-раввин выходил на улицу в четыре часа ночи и орал на всю округу, громко бранясь (чуть ли не так же громко, как я сейчас ругаюсь с тобой), делая вид, что ругается с женой. Зачем? – ты спросишь. Не твое дело. Я заново слышу в наушниках блаженное, волшебное слово за словом: «дунам» – а потом «виноградник», «Ашдоде»: «Снял землю в Ашдоде под виноградник и посадил шесть дунам винограда. Разбил два каравана» – и будто заново сижу у него в гостях, и заново чувствую запах крепкого красного самодельного вина – Мерло и Каберне Совиньон – которое этот чудом выживший греко-римский борец гонит здесь, неподалеку от Яффы, вкушая от виноградного плода, из своего виноградника в Ашдоде – и пытается уговорить меня попробовать вкус вина. Ни за что. Аллергия. Аллергия уже на всё. Хотя запах сразу напомнил церковь – греко-русскую. Я вслушиваюсь в запись разговора с ним по второму кругу – и снова вижу, как доверчиво еду с ним куда-то ночью,

в простеньком его джипе – и снова вижу высокие темные окна синагоги, выстроенной его раввином-отцом, через которые сбежавший от террористов олимпиец воровато пытается показать мне заповедные драгоценные свитки. И снова и снова, откручивая плэйер, слушаю: как он сбежал! Как мне сбежать от тебя? Какое еще волшебное действие совершить, чтобы ты исчез, чтобы тебя как будто и не было?

Море молчит – и дышит. Яркую, крупную, над морем низко зависшую (как будто ни в чем не бывало, наплевав на земной туман) небесную сверкающую солевую граненую недвижимую уже почти невозможно отличить от небесной же движимости – сверкающий рейсовый самолет, сам с минуту назад казавшийся астрономической штучкой, идет на таран звезды – в последний миг разминувшись лишь в миллиметре. Море за занавесом тихо пережевывает камушки во рту, как актер, тренирующий дикцию – чтобы потом в шторм выплюнуть их таки в ярости зрителям в лицо. Я круто разворачиваюсь в заедающем песке – и иду в противоположную сторону, к Мецициму. В пустом кафе надрывается Cure: «I will always love you!» – интересно, как они умудряются даже в святые, вроде бы, слова вложить гнусной падшей интонацией и музоном какой-то двусмысленный подтекст?

Зои уже оклемалась, но лэптопа моего здесь тоже нет.

– Хочешь, я тебе принесу отварных broad beans? – мирно предлагает мне Зои – сидящая, пока нет гостей, с ногами в проваливающихся восточных диван-сараевых креслах. – С чесноком и крупной морской солью?

Не надо. Ничего уже не надо. Ничего из того, что люди могут предложить – не надо. Кажется, что никогда не дойти отсюда на гору, до Яффы – эффект перевернутого телескопа – а когда стоишь там, вверху, на горке, в Яффе – и смотришь вниз на город – наоборот кажется – что город далекий, недостижимый. Хотя и то и другое уместается на правой и левой ладони. И дойти-то быстрым шагом – в минуты. Если, конечно, ни о чем по пути не задумываться. Какая-то странная закрутка времени, притворяющегося пространством. На полпути, на опустевшем уже, уже ночном совсем пляже, выдергиваю звонящий телефон из кармана – занеся уже палец, готовясь уже казнить очередной твой входящий звонок – и тут вижу: номер итальянский. Не мог же ты додуматься, – думаю, – вытребовать срочно у дружков итальянскую симку, чтобы прорвать карантин? Нет, думаю.

Точно не ты. Думаю: ладно, рискну, отвечу. Вынула наушники плэйера из ушей.

– Алло, алло, мне ваш телефон доктор Цвиллингер дал! – очень густой, мясистый, кашляющей густоты, чрезвычайно громкий, не стесняющийся себя голос. – Мы с ним большие друзья – мы как-то раз отдыхали вместе на озере Комо! Я живу – от него с другой стороны гор – я из Милана!

Я говорю:

– Я крайне занята сейчас. Не могу говорить.

– Алло! Алло! Это чрезвычайно важно! Меня зовут Калман, но вообще-то можете меня называть Шломо. Мне необходимо с вами срочно встретиться! Я кинопродюсер, делаю проекты для Голливуда. Доктор Цвиллингер порекомендовал мне вас – мне нужно, чтобы вы мне срочно написали гениальный сценарий!

Я говорю:

– Я ненавижу кино. Я не пишу сценариев. Спасибо, извините, до свидания.

– Алло! Алло! – кричит. – Это чрезвычайно срочно и важно! Подождите... Где вы находитесь? Доктор Цвиллингер сказал мне, что вы сейчас на отдыхе. В какой вы стране?

Я думаю: ну это уже слишком. Думаю: какой же гад этот Цвиллингер, а? Ни словом вот больше с этим подлым предателем-аллергологом не перемолвлюсь.

Говорю:

– В Австралии. Всего доброго.

И тут слышу – какой-то наистраннейший эффект стерео в мобиле от прокатившего по Та́лету, с жутким грохотом, красного открытого кабриолета ягуара – услаждающего окрестности восточно-попсовой мызыкой на запредельной громкости. Заткнула левое ухо пальцем – слышу: точно, из мобилы раздается та же самая чудовищная музыка – с тем же самым коэффициентом удаления. Я молчу – несколько изумленно – и с некоторым уже внутренним смехом чувствую, что звонящий мне, в эту самую секунду слышит, думает и понимает то же самое, что и я. Единственный сорт встреч, на которые я никогда не опаздываю, – это случайные.

Я говорю:

– Ладно, через три минуты, у пирамид на пляже.

И слышу опять какой-то ужасный, крайне не-музыкальный шум. Вытаскиваю опять из кармана телефон – смотрю на дисплей – нет, это конечно же не телефон! Проверяю наушники – нет, сняты, диктофон выключен. Никаких машин больше на набережной. Что же это галдит так оглушительно в темноте? Открываю глаза, оглядываюсь, ощупываюсь – вскакиваю с дивана, чуть не уронив на пол лэптоп – и вдруг понимаю, что орет это источник бесперебойного питания от моего большого компьютера, валяющийся в углу у окна. Подбегаю к окну – выглядываю: ну точно! Все окна соседские черные. Опять электричество вырубилось во всем доме! Элитарный аттракцион – не знаю ни одного другого дома в центре Москвы, где бы замшелые старинные пробки вышибало с такой регулярностью! Я подхожу к дверному глазку: рыбий глаз – щучье ухо – и вижу – в чернейшей черноте – череду разнокалиберных (и разноприродных) огней, рекой переливающуюся по длиннющему коридору. Распахиваю дверь – не чтобы река залилась – а из любопытства, чтоб рассмотреть: лиц в деталях не видно – зато видно, что у кого-то – здоровенные стеариновые свечи – а кто-то вместо свечи благоговейно несет мобильный телефон, чикая подсветку.

Мне – вот честно скажу тебе – становится завидно: не поучаствовать в этом шествии! Свечей у меня нет. Мобила – смотрю – уже сдохнет сейчас – думаю, если я сейчас возожгу дисплей – хватит ровно на минуту – и никто уже тогда прозвониться не сможет – а мне правку книги уже просто немедленно надо доделывать и отправлять – сейчас эта стерва уже звонить, думаю, будет, требовать текст. Источника бесперебойного питания хватит компу только минут на пять. А нужно, чтоб хоть что-то из всего этого ручного, наушного, наладонного, наколенного, настольного, милого дожило в темноте до утра.

Что, думаю, делать?! Думаю: единственный выход – делать то, чего никогда в жизни не делала! Ни я, ни кто-либо из друзей ни в этом веке, ни в веке прошлом. Никто вообще из живых людей, кого я знаю лично. Делать то, что мне хотелось, на самом-то деле, делать всю жизнь. Я подбегаю к выгородке рядом с обеденным столом – тяну уже руку к стоящей на выгородке главной драгоценности в квартире... – потом думаю: нет, сначала – фитиль, – выдираю из шкафа хлопковую... кажется, ямамото... была... но, кажется, натуральную,

маечку, выдираю из нее клочок, раздираю на мельчайшие полоски, скручиваю одну – мечусь уже – боюсь опоздать наружу, пройтись в коридоре неизвестно куда, – бросаюсь в кухню: масла, масла, только главное рафинированного, не перепутать бы – а! – вот оно! Несколько капель чистейших оливковых слёз на фитиль! И – вот, вот чудо, о котором можно было только мечтать: заливаю оливкового масла в драгоценнейшую драгоценность: крошечную глиняную Иерусалимскую наладонную масляную лампу – античный фонарик, изящно и неброско (но так, что от этих номеров бросает в дрожь – и не смеешь использовать лампу утилитарно) датированный годами «0—50». Никогда, никогда на такое бы раньше не решилась. Как приладить этот фитиль? – как странно думать, что для кого-то это было таким простым ежевечерним действием! Фитиль ныряет через дульку, я поджигаю краешек – от газовой плиты – не может быть! Горит! Горит у меня на ладони этот вечный фонарик, который зажигали последний раз чуть меньше двух тысяч лет назад! Раскрываю дверь – и оказываюсь – ну разумеется! – ни в каком не в коридоре с соседками – а в тесном темноватом безумном уюте заваленной антикварным хламом лавки в еврейском квартале Старого города, у самого Кардо – среди профилей кесаря с безобразно расплюснутыми носами и губами на никчемных монетах, микроскопических осколков, с которых знатоки-антиквары умудряются считывать больше информации, чем есть во всем современном интернете – и прочего мусора, который лучший антиквар – время – по большому еврейскому блату сделало драгоценностью. Давид Бар Левав, давно мертвый владелец этой давно разоренной, распроданной после его смерти, закрытой, уничтоженной, не существующей больше в материальном измерении антикварной лавки, маленький забавный рукастый человечек с тыквообразной лысеющей головой, путеводительствуя меж пыльных полок с обломками, учит меня отличать подделки от подлинников:

– Забудь про форму. Забудь про то, что тебе говорят академичные специалисты. Забудь про все эти схемы с годами и контурами. Форму можно подделать. Трещины тоже. Я покажу тебе единственный верный способ идентифицировать оригинал! – (Давид выхватывает глиняный осколок кувшина и хорошенько, крепко и обильно плюет на него.) – Видишь! Видишь! – (сияя, как начищенное старинное блюдо, вопит мне Давид – и растирает плюновение по глине.) – Видишь! –

(подносит обломок к носу – и вдыхает с таким наслаждением, как будто бы это тончайшие духи.) – Это ни с чем невозможно спутать! Запах пещеры! Это невозможно подделать! Великолепнейший запах в мире! Запах испода земли и глины, отфильтровавшей время. Имеющей сказать. Драгоценнейшая восточная пряность.

Давид в восторге и изнеможении – от сомнительных обонятельных блаженств – садиться в кресло за письменный стол в глубине лавки. И через минуту немного изумляется тому, как слёзы как-то сами собой брызнули у меня из глаз, когда – выцепленная мною в свалке драгоценных обломков – эта Иерусалимская масляная лампа с феноменальной точностью идеально легла мне в ладонь.

Давид Бар Левав, наладив незаконные, полумафиозные каналы поставки древностей, лично знавал того бедуина, который, гоняясь по пустыне за кривою своею козой (на финише гонки метко запрыгнувшей в нужную Богу пещеру), обнаружил случайно Кумранские свитки – пергамент в запечатанных кувшинах – и собирался пустить кожу этих пергаментов на починку бедуинских сандалей. В принципе – довольно созвучное всему сегодняшнему миру бизнес-решение. Пойдите, посоперничайте с этой козой, приземленные недоумки, в том, как быть угодными Богу!

Давид говорит мне, что буквально «намыл» первую коллекцию драгоценных монет и осколков – из местной, Иерусалимской канализации – как на прииске: дал шекель пархатому чистильщику древней вонючей сточной канавы города – за целое ведро грязи и глины, выгребенное из засоренного фильтра.

Давид больше трепетя – чем продает, – и торгует, кажется, себе в убыток – а половину вообще раздаривает:

– Взгляни, у дальнего окна – там есть ранние каменные нательные кресты христиан, четвертый, пятый век, я хочу, чтобы ты что-нибудь выбрала себе в подарок.

Невозможно, невозможно до этих крестов даже дотронуться. Несгораемый остаток. За каждым – живая душа.

Не понятно, какой подонок сказал Давиду, что ширпотребно-кошерный кубиковый бульон в одноразовых стаканчиках, продающийся здесь же, в разлив, у еврейской молодежи, через две лавки – который Давид хлещет залпом, горячим, жадно сжимая стаканчик, раздолбайски бросив незапертую лавку древностей ради

прогулки по еще более древней улице (лавка древностей внутри этого города – это какое-то уже масло масляное), расплескивая и засеивая бульон под ноги (авось, прорастет) в западни слишком неровно состарившихся камней квартала – это лучшее лекарство от убившего-таки его рака.

– Да нет, ну что вы? Зачем же целую луковицу?! Я кладу в кастрюлю только шуршащие коричневые луковые очистки! Все окрасится лучше, чем краской! – восклицает соседка со знатной фабричной свечой (кому-то невидимому, рядом с ней в коридоре) – и вдруг очумело вперивается в удивительно яркий луч света, бьющий из правой моей ладони. Горячо. Немного горячо. Но вы-но-си-мо. Несу. Запах. Запах. Я никогда так и не спросила своего старого друга Давида Бар Левава, зажигал ли он хоть одну масляную лампу. При жизни. Все плывут, с огнями, к лестнице. Оттуда, завернув направо, река переходит в узенький водопад – вниз сплавляются в темноте уже не все – только отчаянные герои – по одному, по крутым отрогам ступеней длинных лестниц, на утлых лодочках лампочек айфонов, айподов, просто мобильных.

Шломо чудовищно водит машину. Я глазею по сторонам, и, в темноте, в рассредоточенном взгляде, вспыхивающие, шарахающиеся от нас и едва уворачивающиеся от столкновения огни встречных автомобилей похожи на смазанный скоростью цветной отсверк свечек, которые какие-то ошалевшие бегуны на бешеной скорости проносят, пробегая мимо нас, навстречу нам, в противоположном нам направлении. Немного щемящее чувство в солнечном сплетении: то ли от того, что Шломо все никак не вывернет на правильную дорогу – а южный рукав Тель-Авива, указующий нам путь, так мучительно похож (особенно в темноте) на тоскливые разодранные коробки из-под палёной тайваньской техники, – то ли вот просто вновь включился во мне странный, магнитный какой-то рефлекс, включающийся всегда, при этой поездке: тревога, чувство, что (как всегда) не готова к этой поездке, на самом-то деле – а теперь еще и крайнее недовольство тем, что поехала не одна, не на такси – а согласилась, уломалась, поехать в компании буйного Шломы. Шломо болтлив как дрозд. И удивительно похож на Карузо времен американских грамзаписей. Шляпа – единственное, чего не хватает. Большой, китообразный человек, в рыжих плюшевых джинсах и идеальном пиджаке от вечернего

костюма, с торчковой порослью на мягком лице, прилежно впитавший в себя все итальянское – в том числе не одну тонну макарон за пятидесятилетнюю жизнь. И если для того, чтобы я начала аврально самовыражаться – должно произойти нечто ну крайне чрезвычайное, – то для Шломы (как выяснилось, увы, уже только в машине) – норма жизни – фонтанировать – и не давать ни секунды мне покою. Я удивляюсь – когда же он думает – если каждую секунду говорит.

– А знаешь, – восторженно интересуется Шломо, заглядывая мне в глаза, забыв про руль – и едва-едва потом выворачивая взятый напрокат беленький ниссан из-под грузовика, – знаешь, почему в Израиле рисуют выставленную ладошку, вместо автодорожного знака: «Stop»? Ах, опять пропустил нужный поворот!

Сижу – и не могу понять, как я могла на эту поездку подписаться?!

– А потому что... – разворачивается опять всем своим нехилым упитанным корпусом ко мне Шломо со своего водительского места (делая, пытаясь делать одновременно еще одну попытку выехать на верную часть шоссе). – ...А потому что в иврите же справа налево все читают! И когда в Израиле стали устанавливать знаки «Stop», все евреи читали это наоборот: как «Pots». Ах, вот она, где развилка, которую я проскочил в прошлый раз! Ну – теперь уже мы на верном пути!

Ни на секунду, ни на секунду не умолкает. Как будто ему скучно одному в его мозгах.

Про сценарий, впрочем, заглох быстро – так что я сильно подозреваю (не знаю уж, что наговорил ему там обо мне Цвиллингер!), что Шломе просто не терпелось со мной встретиться потрепаться. Затараторил мне, как только мы встретились на пляже:

– Я нашел гениального ученого, который считает, что Моисей и Тутанхамон – это одно лицо! Но он, к сожалению, не может из этого сделать сценарий! Придумайте мне гениальный сценарий! Я хочу бестселлер! Сюжет! Чтобы был гениальный сюжет!

А как только все мое нутряное, смачно ему в лицо выплюнутое, брезгливое отношение к «сюжетности» услышал – быстро сменил тон, и в довесок, откашлявшись и шаркнув, как в старых кино, сообщил, что учился в Кембридже, что в совершенстве говорит на пяти языках (его английский минутами действительно устарело-блестящ), что,

начиная с четвертого языка, учить иностранный уже совсем несложно, что сейчас учит шестой – иврит, что тараторит без умолку и без толку (нет, это уже ремарка от меня, это выяснилось, повторяю, увы, чуть позже – когда я оказалась в засаде снятой им напрокат, в аэропорту машины, на переднем сидении.)

А когда я, танцуя на одной ноге, подхватив сандалии в руку, неуклюже мыла, с брызгами, мыски от песка под колонкой на пляже, Шломо, будто в подтверждение языковой раскованности, выпалил английскую банальность:

– You are rainfully beautiful! – и страшно после этого побледнел.

В общем – все противопоказания налицо. Мне бы сказать: «Спасибо, мило было познакомиться, всего вам наилучшего, Шломо, – привет засранцу-предателю Цвиллингеру». Тем более, когда Шломо немедленно, чинно шаркая большими своими ногами, попросил меня быть гостем его матери сегодня вечером – в Иерусалиме. Но когда Шломо добавил, как будто стесняясь, что мать его – одна из выживших в Освенциме, и несколько лет назад, когда ей перевалило за восемьдесят, все бросив в Милане (родных, насиженную обеспеченную жизнь) уехала – одна – жить в Иерусалим, я вдруг почувствовала (как чувствовала уже неоднократно в жизни), будто путеводный ангел мягко берет меня за руку и просит: «Иди и смотри. Иди и слушай». И я шагнула в направлении этой белой безудержно разговорчивой тюрюги – в которую теперь превратился его автомобиль.

– Они здесь должны были бы не указатель с названием города привесить – а надпись: «Ла’алот!» Восхождение! – острит Шломо, кашляет, смеется сам с собой – выпустив опять руль из рук – и дорогу из внимания.

Зрительно подъем не заметен – но здесь я сразу узнаю эту точку, где мы начинаем набирать высоту – по заложенным ушам, почти как в самолете. И эта всегдашняя, извечная на этом пути, тревога (смешанная с недовольством очень громкими – диссонантно натужно веселыми – никак с дорогой этой не резонирующими словесными извержениями попутчика), в солнечном сплетении производящая бунт, – сменяется немотой радости.

Я говорю про себя: «Халва». И чувствую сладость. Халва по обе стороны от дороги. Взрезанная крайне неровно, рвано – высокая, слоеная, темная, подсолнечная, а не тахинная из Яффы.

Шломо недоволен, что я молчу, и требует немедленных ответов:

– А кто твой бой-фрэнд? Кто он по профессии? Нет, а почему я, собственно, не могу у тебя спросить, есть ли у тебя бой-фрэнд? Что в этом такого?!

Немного бравурной пытки – и вот уже – тот самый вид, от которого умолкает (ровно на три секунды) даже Шломо: улитка, сверкающая в черной мягкой ночи огнями, закручивающаяся спиралью по разноуровневым холмам. Улитка на сизой запотевшей от ночного холода масличной ветке.

– Ты не против, если мы сначала, прямо сейчас затормозим ненадолго в Старом городе и погуляем? – жизнерадостно и вежливо-галантно (с тем сортом вежливости, который не только не предполагает отказа – но и надеется встретить восторг согласия) интересуется Шломо. – Я кучу всего хочу тебе в городе показать!

Я против. Нет, я категорически против, я не шучу. Шломо готов разреветься. Мы договаривались, – говорю (с некоторой злостью), – что едем только в Новый город к твоей матери. Нет, нет, Шломо, в Старом городе я гуляю только одна. Хуже ночного кошмара выдумать невозможно – войти туда с бурливым словоохотливым Шломой, все окружающее тут же на автомате переплавляющим в трёп, – невозможно!

Шломо скусил большое свое лицо и обижен насмерть. Я стою на обороне насмерть тож. Ни за что. Сколько раз я видела в своей жизни эту странную ревность и зависть в глазах мужчин – в ту секунду, когда они понимают, что для меня этот город важнее. В растерзанных чувствах оба голодным взглядом наблюдаем за провозимой городской стеной (болезненно далекая-близкая декорация – когда туда нельзя войти) – которая в темноте похожа на горелую рифленую мацу – с чуть дрожащими на ветру, кивающими малиновыми маками в расщелинах живых камней – и уезжаем на соседний холм.

Ночью, уже почти под утро, я стою у узенького окна – и слышу – через балкон, – как Шломо в соседней комнате кряхтит и кашляет. Можно, если встать на цыпочки, увидеть почти весь город. Я не зажигаю свет в этой судорожно узенькой комнатке с маленькой кроваткой, которую мне отвела мать Шломы – я надеюсь дождаться рассвета. Холодно, безумно холодно ночью в этом городе – из растворенного окна обдает ледяным почти дуновением – и я

кончиками пальцев вспоминаю изморось, оледень, ледяной пот, появляющийся на камнях домов в Старом городе ночью – иногда даже после нестерпимо жаркого дня. И можно теперь, будучи одной, еще раз рассматривать в свежей памяти лицо матери Шломы – еврейки из Будапешта, иссохшей (беззащитно смотрящейся в огромной современной Иерусалимской квартире в новом высотном доме – в огромных, квадратом расставленных в центре гостиной диванах), деловой, надававшей Шломе тумачков и взыскательно спросившей его, почему это его клиент-режиссер самостоятельно, минуя Шлому, общается с кинокомпанией; выговаривающей, как это Шломо допустил. Шломо поджимает уши и пятки – и виновато оправдывается.

– Когда она вышла из Освенцима, она ничего не ела. Или ела очень-очень мало. Все же были как скелеты. Те, кто начинал сразу после освобождения есть – сразу умирали. Они не умели больше есть. Но она выдержала – ела совсем-совсем мало, даже когда появилось *что* – и выжила», – шепчет мне Шломо, усевшись немедленно за компьютер в кабинете и маниакально читая (по личной подписке) все завтрашние израильские, американские, итальянские, английские газеты – и, кликая курсором, успевая мне комментировать, какая из них какого взгляда придерживается на интересующие его (а интересуют его все!) проблемы.

– Мой отец партизанил – ему удалось избежать отправки в лагерь – он сбежал воевать к партизанам. А когда моя мама вернулась из лагеря, и они поженились – в Будапеште уже была красная диктатура. И его посадили в тюрьму – уже красные.

– За какую-то антисоветчину? Или потому что был еврей?

– Нет, ни за то, и ни за другое: а за контрабанду и незаконную торговлю.

– Чем же он торговал?

– А буквально всем, что было, тем и торговал – ничего же не было ни из еды, ни из простейших вещей. И он так на еду для матери зарабатывал.

– И сколько же он просидел?

– Очень недолго. Мать умудрилась всунуть взятку часовому, чтобы его отпускали по ночам на свидания к ней. И часовой его отпускал. А в одну из ночей он в тюрьму не вернулся: сбежали из Будапешта в Австрию! Договорились, за взятку, конечно, тоже, с

паромщиком, который перевозил коров на пароме по Дунаю, чтобы им сбежать из страны. И их спрятали под покров досок, в пол этого парома – и так они, под коровами, незаконно пересекли границу – и оказались в свободной Австрии – а оттуда уже, через всю Европу, обходными путями, добрались до Италии. Мать до сих пор переживает, что того часового, который отца за взятку выпускал на ночь из тюрьмы, наверное, самого в тюрьму после их бегства посадили!

Его мать, сидящая буквой цади в гостиной, на мой вопрос, погибает тонкие пальцы, считая, на скольких языках она говорит свободно (йидиш, венгерский, польский, немецкий – плюс наречия всех солагерниц, плюс мовы всех стран и мест, из которых были беженцы, с которыми вместе кочевали после войны, пока не осели в Милане – да, итальянский тоже) – и пальцев на руках не хватает. Растерянной она выглядит, только когда я спрашиваю, какой язык она чувствует как родной:

– Не знаю... Наверное... Нет, не знаю...

Я в ужасе замолкаю – я не могу себе представить этого внутреннего состояния – когда ни один язык тебе не родной! Наверное, даже бездомным в мире быть легче.

Рассветает – и, если опять чуть привстать на мысках, можно увидеть, как с одного бока города ночная сизость известняка домов чуть смягчает, теплеет – и – по мере медлительного восхода солнца – розовеет. Вот уже начинает орать кто ни попадя. И тихо вступает карийон. И можно, зависнув, думать о том, как утром, распрощавшись со Шломой, я войду все-таки в Старый город, уже по-настоящему. И можно, не слушая криков в воздухе, думать о том, что город этот, как ни один другой в мире, призрачен – и как ни один другой в мире реален; что тот, небесный, обетованный двойник, которого-то, подсознательно, всегда в этом городе ищешь (и который пытаешься всеми созвучными силами души расчувствовать, прочувствовать) – в прямом смысле «как небо от земли» (до внезапной оторопи отворачивания от земной подделки), отличается от видимого, переходящего, нынешнего, падшего, материального двойника. Что нет более страшной (на самом-то деле) карикатуры на обещанный Небесный Иерусалим – чем вот этот вот «реальный» Старый город из камней – жадный, бессмысленный, кичливо-кричливый; не знающий,

что чем прикрыть: алчность – похотью или похоть алчностью – или то и другое гордыней и жестокостью. И можно думать о до предела реальном, никогда не покидающем интуитивном ощущении, что город этот – по сути – Детонатор, чека взрывного устройства, к которому привязан весь земной видимый мир – и что «когда начнется конец» – то начнется именно здесь. И что все недоразвитые мужчины в мире почему-то с какой-то одержимой суицидальной страстью тянут к этому Детонатору ручки, чтобы поскорее взорвать шарик. И что недаром на одних из ворот Старого города написана формула: «Просите мира Детонатору!»

И о том, что, тем не менее, внешний, падший, страшный этот город так ощутимо (для всех чувств, когда находишься внутри) зудит и звенит от жажды разродиться небесным, внутренним своим городом – как, собственно, и всё в этом падшем мире – как каждый падший человек в этом падшем мире всю свою жизнь, собственно, силится избавиться от человека внешнего (всегда страшного, всегда чужого и чуждого самому же себе) и разродиться человеком внутренним – и что в этом только и есть смысл жизни.

Можно мерзнуть у окна – ожидая гораздо более близкого по времени превращения – краски апельсина на камнях Иерусалимских домов – и думать обо всем этом. Невозможно оказалось сделать только одну единственную, казалось бы, такую элементарную вещь: надеть чистенькую, выглаженную, нежную розовенькую байковую ночную рубашку – мать Шломы отжертвовала мне свою! положила мне, разгладив ручкой, поверх одеяла на кровать – невозможно: после того, как, в гостиной, я увидела, как из-под закатанного рукава ее платья на левой руке мелькнул татуированный номер.

The Voice Document has been recorded
from 22:37 till 23:07 on 18th of April 2014.

Incoming call from 00790399XXXXX
at 23:45 on 18th of April 2014

– Ну ты доделала текст, наконец, подруга? Когда ты мне текст готовый пришьешь? Ты обещала прислать сегодня. Я завтра улетаю в командировку. У меня должен быть твой текст к утру в компьютере.

– Я помню, Анюта. Дело в том, что... Мне как-то... Чудовищно неуютно во внешнем романе.

– А! Ты, оказывается, для собственного уюта книгу пишешь?! Я не знала!

– Не в этом дело. Просто... Ну вот не могу тебе объяснить: вся эта движуха в интонации, вся эта агрессия и витальность – в тот момент, когда, наоборот, на самом-то деле хочется из всего этого сбежать.

– Ты мне мозги-то не заговаривай. Сколько тебе, конкретно, осталось страниц правки доделать?

– Аня! Ты что, не слышишь меня?! Что за счетоводчество! Ничего в жизни цифрами не измеряется! Это все равно как если бы ты меня спросила: «Сколько тебе осталось дожить»!

– Хватит рефлексировать, подруга, и шли мне немедленно, вот сейчас прямо, текст, как обещала.

– Анюта... У меня, знаешь, вообще всё больше, по мере работы, возникает подозрение, что все лучшие книги, написанные человечеством, никогда не были опубликованы.

– Мне не нравится направление твоих мыслей, подруга. Ты к чему клонишь, а?!

– Просто вот задумалась о том, что лучшие авторы и лучшие люди за всю историю человечества наверняка просто были достаточно скромны и неамбициозны – и их книги так навсегда и остались в крепко запрятанной где-нибудь, никем из людей не найденной, рукописи.

– Еще скажи, что лучшие книги это ненаписанные книги!

– Наверняка так и есть – и самые лучшие из них мы наверняка будем читать в Царствии Небесном, на Небесах, в эдакой сияющей небесной библиотеке ненаписанных книг молчаливых скромняг-праведников! Самой лучшей библиотеке во Вселенной! Эдакой, знаешь, мультимедийной, интерактивной воздушной библиотеке. Которая ничего общего не имеет со всей этой земной ярмаркой тщеславий.

– Так, подруга: я тебе не дам уничтожить твою книгу в крематории имени Николай Василича Гоголя. Пришли мне текст по и-мэйлу немедленно. В том виде, в котором есть.

– Аня... Честное слово – мне катастрофически не нравится внешний роман. Знаешь: это чудовищно – чувствовать, что слова отражают не изгибы твоей души, а камни и стрелы, которыми только и

можно сотворить прореху в глухоте других. Я думаю: может, внешний роман вообще выбросить?

– Нет уж, подруга, ты знаешь – я педант. Уж будь любезна доделать всё так, как ты задумала. Мало ли, что тебе там чувствуется. Всё! Хватит рефлексировать! Присылай текст немедленно.

– Хорошо, внутренний роман я тебе скину сейчас по и-мэйлу. А внешний... Внешний роман, видимо, буду менять.

The e-mail attachment has been sent
from lenaswann@hotmail.com to mobile.wisdom@outlook.com
at 00.15 on 19th of April 2014

Глава 1

I

– Жи-ррр-аааф! Жи-и-ррра-а-аф!

Темнота кликалась и дразнилась где-то далеко, в самой глубине подвала, грассируя и жеманничая, размешивая себя сахарным и певучим картавым мужским голоском:

– Жиррраф-жиррраф-жиррррра-аф!

Надо было бы повернуть назад, потому что она и так уже прошла насквозь, вглубь, три комнаты: в первой ей показалось слишком близко к дворику, где между неряшливыми только что зацветшими ясенями еще прочно застрял оранжевый ясный апрельский вечер, а две строгие, явно режимные («системные», как они презрительно называли таких между собой с подругой в школе) старушки, одна в дорогой мышинового цвета шали с кистями, другая в малиновом кэппи с пумпоном и шерстяном бордовом костюме с юбкой по колена, до обморока укачивали своих неприятно энергичных и до ужаса похожих друг на друга толстых белобрысых внучков, – одного на качелях (этот остервенело дергал железные поручни, как клетку, и сучил ногами, норовя на обратном излете побольнее садануть сандалем бабку), а другого в сидячей коляске, из которой тот уже как только ни выкручивался, пытаюсь всеми конечностями вытечь на песок то с одного, то с другого бока из-под садистски прочно пристегнутых помочей, отчего казалось, что рук и ног у него как минимум в два раза больше, чем у первого, корчившего ему рожи с качелей, чье место он явно метил занять; но качели были только одни; и иезуитская старая дама в кэппи приподдавала коляску, зачерпывала мальчика как лопатой и слегка подбрасывала вверх, как будто в издевку ровно в том самом ритме, что и ее товарка орудовала с качелями; отчего ее пассажир злился, краснел, набухал и выёживался, однако почему-то еще не ревел, – обе внуконадзирательницы недовольно проследили, как девочка в возмутительно сиреневой куртке и вызывающе белых джинсах направилась к железному навесу, отогнула ржавый лист-

нарост (железная труха посыпалась под сиреневый рукав и на правое белое колено), наполовину заслонявший сверху дверь в подвал, нагнулась и шагнула внутрь. Во второй комнате – оказавшейся довольно длинным сумеречным коридором, она все еще продолжала слышать скрип качелей: вторая бабка, видимо, уже унялась, потому что рёва все так и не последовало; ей показалось, что песок на бетонном полу под ногами пошел под уклон, и ноги как-то сами собой покатили дальше. Свернув в ответвлениице направо, она промахнула через мелкий предбанник, повернула налево, попала еще в один, совсем уже темный коридор, подалась в первое же ответвление налево, выбила случайно мыском деревянный колышек из-под тяжелой синей клеенчатой двери с грязной ватной грыжей, дверь тут же за ней захлопнулась, поддав ускорения; она влетела в следующее помещение, чуть не упала со ступенек, прыгнула, чтоб не считать, наугад, и приземлилась на корточки уже совсем в глухой темноте.

Теперь остались только эти раздражающие, как в бреду, приливом докатывающие откуда-то с изнанки подвала, и, как ей показалось, снизу, картавые распевы:

– Жи-ррр-аф-жи-ррр-аф-жи-ррр-аф! – как могли подзывать только разве что ручного зверька. – Жи-и-и-ы... – прокатилось – и все застыло.

Темнота, казалось, специально гипнотизировала: уже до зуда не терпелось услышать разрешение аккорда. Как если бы она держала у уха морскую раковину, в которой вдруг трансляцию на полпути поставили на паузу, и удержку никакого не было, как хотелось все немедленно взболтать и добыть-таки с донца застрявшие там звуки – или разодрать ухо, прочистить от воды мизинцем или уголком любимого белого махрового банного полотенца. Попрыгать? Вытрясти? Но больше никто никого не звал.

Полотенца, впрочем, тоже под рукой никакого не было. Был только в меру затхлый, предположительно грязный, предположительно страшный подвал. Но видно все равно ничего не было.

Она встала, сделала шаг вперед, еще один, еще два, целых еще пять шагов вперед, развернулась, прошагала без счета в ширину – или в длину? – и еще через секунду с легким ёканьем в солнечном сплетении поняла, что была бы рада, если бы под рукой вообще хоть что-нибудь оказалось. Теперь она не уверена была даже насчет того, с

какой стороны остались ступеньки, с которых она сюда сиганула. Может, лучше было остаться во второй комнате нудевших качелей? – теперь и эта звуковая ниточка, по которой запросто можно было выйти обратно, оказалась обрезана ватной дверью.

Кошачьим чутьем направление чесалось где-то под правой лопаткой.

«Ничего страшного, – утешала себя она, хотя, впрочем, испугана совсем не была, – в крайнем же случае можно же выйти даже и на ощупь...»

Она набралась смелости, выставила перед собой руки – и сотворила в темноте стену.

Руки, впрочем, тут же и отдернула – почувствовав неласковую родственность текстуры стены своим собственным кошмарным цыпкам: неизбежным весенним кровянящим цыпкам, которые мать чем только ей ни лечила: постным маслом, сметаной, синтомициновой эмульсией; говорили, что нужно намазать маслом коровьим и обмотать калькой – но бутербродом быть она отказалась; говорили даже, что надо на них пописать; но платный врач сказал, что все равно само пройдет – что это – весеннее; что это – переходный возраст. И что у нее вообще слишком нежная, чувствительная кожа – и что это на всю жизнь. И что московский климат – эти оттепели и заморозки – кто ж и перенесет; но, что, скорее всего, это – вообще, нервное. Врач вывалил, словом, на выбор, сколько хочешь утешительных версий. А тылы ладоней и запястья так по-прежнему и остались – как наждачной бумагой растерты и раздрызганы.

Потерла наждачной стороной ладони о щеку. И ощупала перед собой, еще раз, зыркающую темноту, не доводя рук до рифа стены, – темнота отражала, казалось, удвоенно, собственное ее тепло, и даже ее намерение двинуться, пошевелить перед собой пальцами грозила запечатлеть: казалось, можно даже надышать – и увидеть на вале темноты заиндевевшие капельки. С левой щеки дул, легкой флейтовой струйкой, холодок. «Там, наверное, еще один проход?» – подумала она и развернулась.

Забыв о сугубо прикладной цели визита, вытянула вперед ладони – растопыря пальцы и любясь фиолетоватыми кругами и полукружьями, которые, как плеск в воде, зримо расходились в

черноте от палечных дикобразов и, упираясь в темное тело темноты, упруго его от себя отодвигали.

Вдруг темнота неожиданно тронулась, засопела, запыхтела, напряглась, чиркнула и лопнула. Разрешившись мальчиком лет пяти, с выпученными сонными глазищами – на которых эхом пламени спички была залита жаркая лессировка.

– Жиррраф, да это ты спички спёррр?!

– Па... А здесь какая-то тетя писает!

«Ничего я не пйсала, – молча и рассеянно рассматривая мальчика, – подумала она. – Просто на корточки присела...» Но оправдываться было не видно перед кем.

Мальчик от испуга дунул на спичку. И темнота задернула полог. Не будучи вполне уверена, добросовестно ли соблюдены светозвуковые последовательности грома и молнии, она все-таки успела противозаконно-молниеносно обернуться назад, через правое плечо, чуть не упав, раскрутившись юлой, оперевшись на противнейший, холодный, песком припорошенный пол кулаком – и на задуваемой вспышке увидеть вверху спуск: как спуск в бассейн – в продолговатый растянутый зал с не шпатлеванными бетонными стенами с выбоинами и рытвинами, в котором она находилась – и слева, по стенке, узкую бетонную лестницу без перил (ух, хорошо, что не полезла, не посмотрев! А высоко-то как! Как же я спрыгнула и ногу не сломала?!) – а уж и вовсе на неправдоподобной, емкой выдержке взглянув в глубину, за мальчика, на скорый глазомер разложив подвальную перспективу сквозь удивительно низкий, вырезанный в стене как будто как раз под его габариты лаз, выхватила взглядом очень короткий коридор, распирающийся еще одним, соседним помещением, задние стенки которого уже не требовали никакой перспективной вырисовки: совсем утопали во впуклой овальной черноте.

Не дожидаясь, пока сопящие шумные шаги, трясущие спичечным коробком, как кастаньетами, добегут до того, кто ловче с этими спичками справится – она как можно тише, но очень-очень быстро (отчего шаги получались какими-то затянутыми вверх марсианскими прыжками – и все равно приземлявшимися с отвратительным шорохом кроссовок) побежала к высмотренной лестнице, навернулась о первую же ступеньку – зато тут же уверилась: ага, вот, тут она, и, заодно,

ощупала страхующе выпавшей рукой сразу ступеньку пятую? седьмую? – и уже без счета, для верности только чиркая левой ладонью по стене, чтоб не навернуться уже через край с верхотуры, вынеслась ввысь – уткнулась в бетонный предел, пошла вправо, как мнимый слепой попрошайка, нашарила дверь, и, в результате склочных, быстрых, отчаянных косноязыких переговоров с зажевавшей и все никак не могшей сплунуть клеенку и вату ручкой, раскоцала, наконец, темноту, на два полюса, в середине дав проклюнуться казавшейся чуть ли не рассветом угольной полутьме следующей комнаты, – и уже кошачьей трусцой раскручивая обратную память до самого ржавого... уя, поцарапалась все-таки... – листа, вынеслась на улицу.

Старух куда-то как ветром... Коляска опрокинутой на бок валялась рядом с качелями. Оба несимпатичных внука – и тот, который восседал прежде на качающемся троне, и тот, кто метил его свергнуть – молча ползали теперь на животах в пыли – в ямке под все ходившим, скрипя, взад-вперед чудовищным молотом широкого, со всей тяжестью детской решетчатой арматуры, сидения качелей.

Не известно было – удалось ли все-таки второму побывать наверху – но, судя по тому, с какой хладнокровной мстительностью первый лупасил его по голове красной лопаткой для песочницы – двух мнений на этот счет быть не могло. «Только, ведь, сердечное, желудочное, почечно-печеночное, любимейшее дело жизни могло отвлечь этих бабцов от сладкой страсти внукомучительства... – заключила она. – Стучать побежали, сучары старые...» – и не дожидаясь управдома или участкового, ускорив шаг, перебежала пыльную ясеневую пустошь, вывернула из двора, и, нагнав, детскими прыжками-коняжками, между тесных домов еще три заасфальтированных, но, судя по гигантским глубоким трещинам – крайне сейсмически беспокойных, смежных дворовых пролета, выбежала уже на Забелина.

Радуюсь, что и сам рельеф здесь подсказывает ногам, куда бежать – и поэтому заблудиться уже никакого шанса, – хотя до сих пор чувствовала безграничайший восторг благодаря именно этой восхитительной возможности, вероятности, шансу заблудиться одной в родном городе, – уже шагом, хотя до ужаса то и дело хотелось подпрыгнуть, – отправилась под гору к метро.

«Как же рано здесь, на хребте Москвы, все стаяло и профенилось! Даже звук кроссовок какой-то звонко-сухой – у нас-то еще крошево черного льда под локтями у улиц, на Соколе – а здесь пригрелись домики, как на спине у кита, взломавшего лед и вынесшего их раньше всех к солнцу!», – подумала она, и уже было хотела свернуть и забежать купить себе на Солянке в «Продуктах» – да хоть что угодно! – что будет – хоть спички! (потому что даже в этом акте мнилось сегодня тоже что-то блаженно незаконное: никто не знает, где она – и что делает – а делает что в голову взбредет!) но тут вспомнила, что в кармане куртки – только пятак на обратную дорогу, на метро.

Спустившись у буро-кирпичной, мертвой, церкви, аккуратно пронырнув толкотню подземного коридора и войдя в вестибюль метрополитена – не потому, что и вправду собиралась немедленно отправляться восвояси – а хотела как-то лихо, по-собственнически, удостовериться: вот, пойду пошляюсь наверх, совершенно одна, куда хочу, и сколько хочу – а потом сюда вот приду, – к изумлению своему, она сразу же увидела, что и Мистер Склеп, и вся их крошечная стайка – носатая художница Лада из десятого, и Лиза из девятого с прической то ли под Лорелею, то ли под Аманду Лир, и круглолицый, с очень жирным носом и низким скошенным назад лбом (казавшимся еще меньше из-за мелкого вихра), узкоглазый, приземистый, как бы к земле крепко и квадратно прибитый, чем-то похожий на тунгуса (народа, никогда ею не виданного, но представлявшегося ей именно так) отличник Валя Хомяков (ее уже одноклассник), – еще здесь – никуда не уехали; а стоят они теперь у турникетов, окруженные улыбочивыми какими-то, напористыми, на вид чуть диковатыми, из-за не снимаемых улыбок, молодыми ребятами.

Мистер Склеп тем временем, нисколько не замечая ее к ним приближения (да и вообще ничего, кажется, не замечая), прошествовал к крайнему турникету, держа сумку на отлёте, и, как только приземлил ее, углом, принялся, не вытаскивая магнитофон из сумки, опять мухлевать с кнопочками и извлекать варварские звуки.

«Нееееет... Неужели опять сейчас это безобразие начнется?!» – не без восторга подумала она и чуть притормозила.

Кожаный пиджак Мистера Склепа (чересчур длинный, чтобы называться курткой, и чересчур короткий, чтоб закосить под пальто) своей приталенностью, распахнутостью, всей этой висящей системой

категорически не подходившей к нему белой рубашки с толстым, грубым, глубоко расстегнутым воротом (ниже рубашка как-то душераздирающе ходила волнами на его запредельно худой и запредельно же длинной фигуре – и раздолбайски вывешивала расстегнутые манжеты из-под потертого канта кожаных рукавов), и неожиданно возникавшими, подо всем этим, зауженными, отставшими от моды, легкими советскими темно-коричневыми брюками (тоже, как будто взятыми из чужого гардероба, под совсем другой наряд) – а, по большей части, каким-то невыразимым, всей этой сложной, двух с лишком метровой, композиции свойственным, осанистым небрежным шиком, с каковым Склеп его, этот пиджак, да и вообще всю эту бутафорию на себе нес, – вызывал у нее немедленно в памяти такие щекочущие зубы слова, как жюстокор и камзол. Левый, на треть оторванный в плече рукав (о, да даже и больше – наполовину, – висящий уже, как попросту сказали бы в школе: «на соплях»), при этом не только не снижал, но и усугублял впечатление, что волшебство это достигается не конкретными мелочами одежды, а каким-то бесплотным, как будто в воздухе висящим рядом с ним, ненамеренным даже, присущим лично Склепу запредельным же, не признаваемым даже, наплевательским щегольством, облекающим его в одежды невидимые, и уж конечно никак не связанные ни с материей, ни с отдельными ее (а уж тем более – отделившимися) кусками.

Когда, окуклившись в одеяло, ночью, не закрывая даже глаза в привычной, ручной, выдрессированной, одомашненной темноте своей комнаты, Елена заново рассматривала все эти живые картинки дня, именно этот сорванный с петель рукав потребовал постановки просмотра кино на паузу, был увеличен, подвешен, взвешен, рассмотрен, и стал ликующей, кодирующей как бы весь этот отрывок дня нотой, иероглифом, по которому, – как она была уверена, – Мистера Склепа из любой темноты теперь выудить можно – и можно, не рискуя никого и ничего растерять, сомкнуть теперь веки.

Склеп появился чуть меньше месяца назад, и сразу же вызвал у всей школы блаженную температуру скандала. Скандала, которым, собственно, был он сам, этот непомерно высокий, худой, угловатый, с роскошными вороньими волосами, плескавшимися ниже плеч, говорящий отрывисто и странно, и всегда исключительно про волшебство, а не про какие-то гнусные мещанские блевотные ботву и

гнилые корнеплоды штампованных мозгов, как все учителя, да и вообще как все другие вокруг, – молодой, неприлично молодой человек; не вмещающийся – даже зримо – в габариты школы, ни в какие прочие убогие габариты – он в первый же день доверительно сообщил ее классу, что прежде преподавал на журфаке в полиграфическом институте и, сказал он («Это уже по секрету»), создал там со студентами-журналистами тайное общество.

– За это меня и выгнали. Именно! – добросовестно и доброжелательно доложил Склеп – причем припечатавшее в конце фразу, как сургуч, «Именно!» звучало скорей как «Аминь!», как торжественное заклятие, как тайное имя – но только не как нищая частичка русской речи.

И тут же предложил секретное общество создать новое.

И теперь каждый день казался Елене чудом – что его еще не вытурили и отсюда.

Склеп начал с того, что притащил в школу баллончик, баллон, баллонище, чудовищно раскрашенный, нес его навтыжку, выставив перед собой, с пальцем на изголове, с самого порога – и до четвертого этажа.

«Дихлофос, клопов-учителей выводить», – с наслаждением подумала Елена, следя за этим сосредоточенным шествием.

Урок у него был сначала с 9-м, увы, со старшим, классом – не у них. Так что назначение, природа и содержание баллона должны были остаться сладчайшей загадкой еще как минимум целый час.

Грозивший обрушить барабанные перепонки и стены звонок, в секунду вынесший в коридор весь ее класс из каморы пыток стервы-алгебраички (даже показалось, что зубодробильный звон – на самом деле, не причина, а результат бешеного движения масс, и его просто вклеили при монтаже по ошибке чуть раньше, чем нужно), не распечатал, однако, дверей класса, за которыми заперся с девятиклассниками Склеп. Прикладывали к дверям кто ухо, кто рыло, скреблись, стучались, тьякали – ни-че-гошеньки. Ни-гу-гу. Захар, толстовый коренастый модник, с модными же малиновыми пубертатными прыщами во всю рожу, коротко выбритый сзади у воротника, а на маковке, на затылке и темечке все время стягивавший, жамкавший, мацавший и перекидывавший то туда, то сюда, с томным выражением глаз, плюху рыжеватых, чуть высветленных перекисью

водорода, прямых волос, предлагал даже достать ключ из замочной скважины методом Филиаса Фогга – подсунуть листок бумаги с этой стороны под дверь и аккуратно пропихнуть ключ (вставленный изнутри) заточенным карандашом, и сразу же рвануть этот поднос на себя, выдернуть ключ из щели под дверью, и быстро вскрыть дверь. Ни звука из класса по-прежнему не было. Так протянулась переменка. Половине любопытствующих ждать надоело, и они влились в орущий, лягающийся, волтузящий, пинающийся, с матерным бризом и с брызгами пены слюны, океан коридора. И только когда прорезался уже звонок на второй урок, дверь с подергиванием отперлась, и оттуда девятиклассные обормоты, знаменитые на весь район своей буйностью, не вывалились, как ожидалось, и даже не вышли, а стали выплывать, по одному, тихие, будто загипнотизированные, задумчивые – какими их, наверное, мать родная никогда не видывала. Не отвечали они ни на единый вопрос, и вообще ни слова на паркет не обронили, и только кудрявая разбитная Настя сделала глаза размером с сушку с маком и молча махнула головой назад: мол, сами ща увидите.

В классе царил полумрак. Зеленоватые шторы (грязные настолько, что могли бы сойти уже и за коричневые) оказались задернутыми. Верхний свет был выключен. Пахло парафиновыми свечами и еще чем-то фиолетово-пряно-цветочным, разобрать происхождение чего было вот так вот с ходу невозможно. Огарки толстых свечей, как кальциевые сталагмиты, выросли и на желобе для мела под классной доской, и на передних партах – альтамيره матерных скальных царапин. Мистер Склеп преспокойненько сидел за столом, рывками записывал что-то в блокноте и явно не замечал вваливающихся новобранцев.

– Именно. У нас был сейчас Достоевский, – произнес он, обратив, наконец, внимание, что класс уже полон – скорее так, как будто доканчивал какую-то недоговоренную мысль – чем здоровался с совершенно незнакомыми ему еще тридцатью оболтусами; и, резко встав и обогнув учительский стол, решительными шагами направился к первому же окну и чуть не сорвал с крокодилых прищепок на кольцах шторы – но напустил-таки свету.

– Будьте любезны! Атмосфера... – гаркнул он, как какая-то гигантская птица приподнявшись на мысках и обращаясь к неведомым абонентам по правому борту класса, указывая направление своей

просьбы разве что крупным, великолепным носом; но те, к кому просьба относилась, как-то невероятным образом догадались – и раздернули остальные окна.

– Именно! – удовлетворенно подытожил Мистер Склеп. – А у нас с вами атмосфера совсем иная: Ханс. Именно. Кюхель. Гартен! – отрывисто, гортанно, кратко, как будто разделяя все слова (а длинные слова – так еще и посередине) точками, проговорил он – и, для пущей наглядности, обернулся к доске и крупными буквами записал: Г, О, Г – кроша мел так, что, казалось, сверху, над доской, происходит какой-то катастрофический оползень, возможно, даже начинается землетрясение – на этом чистописание ему надоело, да и тема урока – тоже: он бросил мел, с вызовом на лице развернулся, и в каких-то невероятно личных деталях, на одном дыхании живописал трагедию своего друга – молодого нищего безвестного писателя, приехавшего из провинции в столицу, только что опубликовавшего в литературном журнале свою первую повесть, и получившего такой разнос в критике, такую издевательскую, насмешливую, уничижительную реакцию не только маститых авторов, но и немногочисленных благожелательных друзей, после которой навек надо забыть о том, как мараить бумагу.

– И, что, вы думаете, он должен сделать? Что вы ему посоветуете? Вы – психологи или его друзья. Говорите! Советуйте! Это вопрос жизни и смерти. Я должен идти к нему вечером и дать совет. Мой друг честолюбив. И раним.

Имя друга Мистер Склеп припасал на десерт.

– На самом деле, это уже произошло. Вчера. Он уже сделал свой выбор. Каков его выбор? Как вы думаете? Что он делает в этой ситуации? Версии? Я вам скажу, что он делает в этой ситуации. Кончает с собой.

Класс замер.

Склеп подошел к доске и гневно, размашисто, аннигилируя мел, вывел еще одно, очень большое, О.

– Кончает с собой. И ненаписанными тогда остались бы бессмертные «Мертвые души», – на этих слова он дорисовал финальную Л и мягкий знак.

Собственно, Склепом его прозвали сразу и безоткатно: по какой-то музыкально клейкой аллитерации фамилии. Склеп жонглировал эпохами и временем с той же победоносной легкостью, что и кусками

стилей в своей одежде – словно, одеваясь в каком-то небесном средневековом закулисье для своей экстренной миссии (материализации в школе), прихватив наспех у костюмера первое, что подвернулось, прошагав через примерочную и гримерную, даже не посмотрев в зеркало, он могучей рукой отстранил проверяющего ангела перед выходом на подмости: «Времени нет». Времени действительно было в обрез. И поэтому жонглировал Мистер Склеп заодно еще и горшком из-под цветка, вышвырнув предварительно, одним рывком, землю с донца в соседний судок бальзамина на подоконнике.

– Вот! Вы видите, вот здесь, на самом краю горшка... – тыкал он своим очень длинным худым пальцем в кромку, – ...здесь, как по треку, скользит Манилов! Еле балансирует на краю! – Мистер Склеп переводил пальцы, наклоня темный грязный горшок, обращая его внутренности, вместе с карабкающимися героями «Мертвых душ», взорам класса, и комментировал драматичнейшее и быстрое передвижение перстов: – Вот! Чичиков спускается по спирали еще ниже – вот сюда, еще на сантиметр глубже в эту преисподнюю: тут, на среднем уровне ползает по кругу Собакевич. А там, там, на самом доньшке! – Мистер Склеп уже и вовсе крутил глиняным инструментарием во все стороны, переворачивая к онемевшему классу то дном, то раструбом. – Вот! Видите! Видите?! Здесь – дырка! И на самом краешке дырки еле зацепилась Коробочка! На самом-самом дне! И мы с вами уже даже не можем разглядеть, понять – что это – человек – или насекомое! Вот! Видите?! Видите?! Вот она! Еле цепляется уже! Почти проваливается уже в дырку! Уже почти провалилась! И сейчас ее смоем потоком жизни! – угрожающе тянулся уже к пупырчатой валкой пластмассовой синей лейке с водой на подоконнике Мистер Склеп.

И Елена истошно, до обморочного восторга, завидовала его дару за секунду творить Вселенную из подручного материала – и, немея от зависти, вперившись в него, сжирала глазами – боясь пропустить даже какое-то дрожание воздуха вокруг него, боясь хоть песчинку из этого роскошнейшего землетрясения не заметить – из этого армагеддона, на ее глазах устроенного Склепом всей доселе виданной педагогике; и, по каким-то невидимым, неслышимым – но всем существом чувствуемым, ликующими рецепторами распознаваемым резонансам,

сразу же поняла, что Склеп – гонец, присланный из той державы, к которой она сама принадлежит.

На следующий же его урок, по чьему-то доносу, заявила директриса, Лаура Владимировна – женщина лет пятидесяти, с вечно лоснящимся малым малороссийским носиком и трогательными, яркочатеново крашенными жиденскими волосиками, уложенными на макушке даже не в халу, а в крупный бублик, на который крепился еще один бублик – поменьше, затем еще один, совсем маленький – с какой-то трогательной системой шпилек (почему-то ощутимо приятных), так что в результате конструкция головы походила на каштановой краской выкрашенную ракушку улитки – логично дополнявшуюся всегда доверчиво махавшими, сыпуче покрашенными ресницами и наивным взглядом, – женщина, в общем-то, беззлобная и даже чем-то умилительная (рассказывала про себя, например, как, когда ее выпустили с официозной поездкой в ГДР, она на все выданные деньги закупила искусственных цветов: «Ну не дура ли я? – прибавляла директриса с добродушным вздохом. – Теперь, вон, у меня дома стоят! Все гости, когда впервые приходят, думают, что они живые!»), но крайне безвольная, и от безвольности послушно отдавшая власть в школе на откуп старым, запыленным, заплесневелым идейным стервам из парткома.

– Игорь... Простите, все никак не могу запомнить, как вас по батюшке... – осторожно протиснула свой тонкий голосок директриса, продираясь к Склепу сквозь толпу окружающих любопытствующих балбесов.

Склеп сидел за учительским столом, вычерчивал какие-то загадочные многомерные фигуры (длина, глубина – и щедрая высота, неожиданно скругляющаяся на пике в буквицу-загогулину) в своем блокноте, и на нее не обратил ровно никакого внимания.

– Игорь... Игорёк... Можно я вас так... Ласково... По-матерински? А? Вы не против, я надеюсь? Я вот все хожу за вами, вижу вас на переменах, и думаю себе такую думку... – осторожно заудела она, уже над самым его ухом (удобно задрапированным, впрочем, длиннющей прической: на прямой пробор раскинутыми и свисающими с обеих сторон двумя ровными крыльями), как только подобралась, наконец, к нему полу-сбоку, полу-сзади.

Склеп чуть привскинул голову, отчего показалось, что его жесткие, прямые волосы достают аж ниже лопаток, ровно на миг оглянулся на нее – и вернулся опять к своим мудреным геометрическим упражнениям.

Директриса набралась смелости и елейным голоском закончила свою «думку»:

– А почему бы вам, дорогой Игорь, не отдать эту вашу кожаную курточку девочкам? У вас здесь порвано немножко... Насквозь можно руку... А? Зашить на уроке труда? А? Они вам быстренько всё зашьют! Я распоряжусь! Почему бы вам не... Почему бы вам не... – подплясывала уже директриса, наступая тупыми каблучками на ноги ученикам и пытаясь хоть как-нибудь исхитриться въелозиться в поле зрения (а, паче всякой мечты – еще и внимания) собеседника.

– Есть потому что в жизни, наверное, о чем подумать кроме этого! – вдруг обернулся и оборвал ее рулады Склеп, взглянув на нее в упор – с таким быстрым взрывом гнева в глазах (которые, впрочем, тут же, ровно через секунду невозмутимо опять перевел на свои фигуры в блокноте), что директриса съежилась, занервничала, задержалась, как будто и впрямь почувствовав вдруг, рядом с чем оказалась; не могла выговорить ни звука (что, впрочем, в окружающем гвалте было мало заметно); а потом испуганно, стараясь поскорее задрапировать, закамуфлировать полученный от него ответ обычным мещанским поносом, затараторила:

– Ой, ну что вы... Вы обиделись? Не обижайтесь! – и суетливо, давя каблучками ноги резвящегося кордебалета (уже в обратном направлении), ретировалась к дальнему ряду, и весь урок просидела на задней парте молча.

Склеп, впрочем, никаких интересных коленец при надзирательнице не выкидывал – как птица, не поющая в клетке.

И только на следующем уже уроке, взбадривая пригорюнившуюся было публику, чуть не произвел ядерный взрыв.

– Кто-нибудь скажет мне, что это такое? – торжествующе вытягивал Склеп перед собой в кулаке, размашисто разгуливая перед доской (эффектно поскрипывая расстегнутыми полами бессъемного кожаного камзола) самую обыкновенную советскую пластмассовую ручку, скрученную из белого носа и фиолетового задника. – Вы полагаете, наверное, что это ручка? Обычная шариковая ручка. Да.

Замаскировано и впрямь очень профессионально. Выглядит действительно безобидно. Я вам скажу, что это на самом деле: внутри – капсула, которую мне дали на сегодня, исключительно на один день, напрокат. Мой друг работает в Курчатовском институте атомной энергии, он ее вынес незаконно из лаборатории. Я обещал вернуть завтра. А если я ее сейчас разломлю пополам, вот здесь, перед вами, эту капсулу – то произойдет взрыв мощнейшей силы, и школа будет снесена с лица земли. Мы все можем через секунду погибнуть.

– Врете! – не выдержал апатичным тушканом сидевший до этого на первой парте Хомяков – ботан, безбожно равнодушный к литературе, зато патологически одержимый физикой, да еще и, по совместительству, сладенький тихий любимчик-подлиза ненавидимой всеми алгебраички. Рта Хомяков никогда как следует не закрывал (верхняя губа не натягивалась), и красовался двумя чуть выпиравшими верхними передними зубами, так что казалось, что на лице его всегда полуулыбочка. – В смысле... Неправду говорите! – испугался сам же своих слов Хомяков и с мнимой полуулыбкой добавил: – Обманываете! Разыгрываете нас!

Однако при этом раскосые глаза Хомякова, – пожалуй, единственного из всего класса, догнавшего, что, судя и по габаритам, и по названному источнику взрывного элемента (как раз оттуда, где в тиши кабинетов ученые сочиняют всем смерть), в случае какой-то невероятной вероятности, слова Склепа вполне могут оказаться правдой, – засветились настоящим страхом.

Склеп развернулся к нему, спокойно встал, чуть расставив, как будто для пущего упора, свои коричневые остроносые туфли, и приготовился разломить ручку пополам.

Хомяков вскочил из-за парты и шустро вылез из баррикады стульев:

– Дайте-ка я посмотрю! Я в этом немножко... Не надо ломать только! – и уже совсем сорвавшимся, гнусавым, вечно аденоидным, голоском, видя, что Склеп изготавился все же довести взрывной эксперимент до конца, почти уже крикнул: – Не трогайте ничего!

– Хорошо. Я на минуту доверяю ручку вам. Берите! – молниеносно и виртуозно сменил игру Склеп, сделав резкий шаг к отличничку и, пока тот не успел опомниться, всучил ему ручку и быстро отошел от него на порядочное расстояние. – Вам делать выбор.

Ломайте сами. Два варианта: если вы правы – и там нет заряда – мы все спасены. Если заряд есть – мы всем погибнем. Ломайте.

От такого поворота застыл, туповато впившись взглядом в Хомякова, даже прыщавый покрасневший Захар, изысканно, наотмашь, стоя, лупцевавший, пользуясь своим бычьим превосходством, металлическим грязным совком сверху, по голове, компактного, согбенного, белобрысого, коротко стриженного Зайцева, только что с грохотом нечаянно (из-за изъяна щеколды) выпавшего из низенького узкого отделения для карт заднего стенного шкафа, куда его заперли за какие-то прегрешения (или просто так, для красоты) на предыдущей переменке.

– Нет, ну зачем же ломать... – Хомяков мялся, неестественно хихикая, давя слова носом, а ручку аккуратно держа в свято-горизонтальном положении и с опаской разглядывая ее со всех сторон.

Склеп, невозмутимо и безмолвно скрестив руки, стоял в сторонке.

– Гений, гений... – восхищалась Елена на следующей переменке – в туалете, следя одновременно за тем, как Аня Ганина своими продолговатыми выпуклыми красивыми ноготками, по миллиметру, с разных сторон, с благоговением разворачивает фольгу с бутербродом. Аня при этом безостановочно курлыкала и приговаривала:

– Интересно, что муля мне тут сегодня положила? Интересно...

Мать Елены, еще полгода назад, заглянув в школу, чтобы передать ей ключи, спросив у одноклассниц, где ее дочь, и услышав легкое, само собой разумеющееся: «А она в туалете сейчас, на четвертом, с Аней Ганиной завтракает», – чуть не упала в обморок от ужаса: «Как? Девочки! В спецшколе! Кушают! В туалете?!» «Конечно, мы всегда там проводим время на переменах! – охотно, хором подтвердили одноклассницы. – Мы же не там, где унитазы, стоим, а там, где раковины! В первом отделении!» Во втором отделении этого школьного балета мать устроила страшный скандал директорше, используя малознакомые той термины, как эстетическое чутье, и – уже гораздо более знакомые – «пожалуюсь в Роно» (таинственнейшее, никем никогда не виданное заведение, в котором Елене заочно всегда чудилось нечто мифологическое: «Золотое Роно»).

Добрые традиции, впрочем, уничтожить никому не удалось: женский сортир на четвертом этаже оставался единственным местом, куда не сували носы учителя – и хотя бы переменки провести без их

рож в этом элитарном закрытом клубе с расколотым белым кафелем и по-больничному грубо на нижнюю половину замазанным белой краской окном (напротив, через пролет здания, был тубзик мальчиков), хотелось без исключения всем.

– Гений, – с наслаждением еще раз повторила Елена, и вынуждена была приняться за уже развязанный, собственный, целлофановый пакет с завтраком, из которого шел непереносимый (в моральном смысле) запах черного хлеба и яблока – коктейль, от которого слюни выделялись уже просто сами собой.

– Ну, скажем так: весьма и весьма необычный молодой человек... – зажевала пафос половинкой бутерброда с маслом и шпротным паштетом Аня. – Спорим, его выпрут скоро. Не жилец.

И когда на следующий день Мистер Склеп, явочным порядком щедро зачислив весь класс в только что созданное новое тайное общество (с неведомыми, но явно прекрасными целями), пригласил всех после уроков прогуляться с ним «в гости к интересным людям» – не уточнив к кому, – а Аня, сделав лицо сковородой, на свой любимый манер заявила Елене, что никуда с ней не пойдет, потому что у нее дома, якобы, дела (вечная, вечная Анина ширма!), Елена вышла за порог школы, едва удерживая в себе ядерную смесь из двух почти равновеликих эмоций: во-первых, из ярости в адрес любимой подруги; а во вторых из свербящего предчувствия какого-то несказанного, неслыханного чуда.

II

На тротуарах душераздирающе несло растаявшими окурками. Разледеневшая, едва-едва, на лысых клумбах земля пахла рыхло и гниловато. «Как та подплесневелая землица из цветочного горшка, которым Склеп перебрасывался из руки в руку, как земным шаром», – механически подумала Елена, когда, засмотревшись на отражение коричневого, пеночного на вид, но легкого, не страшного, в трех местах насквозь дырявого – так что спокойно можно бы вдеть пальцы – продолговатого облака, медленно, наступая кроссовками прямо в воду, старясь не рябить изображение, параллельно с облаком, ускользавшим из-под ног со скоростью ее шагов, так что не понятно

было – кто кого подгоняет, пересекала огромную, как небо, гладкую сине-ртутную лужу посреди ухабистого асфальта.

Жалко было уже чуть обрызганных на щиколотках белых джинсов – летних, легчайших, из жатого хлопка, на миллионе прекрасных застежек хромовыми воротцами и двойных перехлестов хлястиков, – мать бы, разумеется, не обошлась без ахов, если б видела, во что она сразу после школы переделалась, – но так хотелось поторопить весну! Лучше было замерзнуть до жути – чем встретить желанную гостью весну в боязливом, недолжном наряде. И до слез жаль было угрюмых прохожих, как волы, впрягшихся в возы зимних шуб и пальто. И жаль было всего этого невнятно мечущегося под ногами голубого – до смешного голубого ведь! – неба, как будто, вот-вот, всё пытающегося проклюнуться – и опять через сотую долю секунды запаковывающегося, опять запахивающегося кем-то в уродливые грузные зимние грязно-облачные одежды. И щемящая, почти непереносимая жалость – не понятно к кому – к себе, к миру, от этой режущей чувства какой-то безумной канители – и сверху, и под подошвами – до глупого спазма аукалась в солнечном сплетении – и через несколько шагов мнилось уже почему-то, что ее во всем в этом есть какая-то вина – в том, что по-настоящему-то весна так долго не наступает; в том, что после оттепели опять подморозило – и вот только сейчас отпускает зима скрюченный прокуренный кулак; и чувствовалось, как будто нужно поторапливаться; легкая паника – иначе не успеешь; и как будто все это какой-то вызов – и эти лужи, и этот талый запах, и эти синие, выстиранные в луже до голубизны, быстрые беззащитные клочки неба – и что на вызов этот надо как-то срочно отвечать – а как – неизвестно!

И чуть обидно было еще и за бордовые от ветра и влажности запястья и кисти, которые добросовестно залила, выбегая из дому, чудовищным, малиновым, пудрой и кефиром пахнущим кремом «Утро», дарёным матерью, – снадобьем в крайне неудобной, точно негодной для крема стеклянной бутылочке с издевательски узким горлышком (приходилось, в буквальном смысле, выбивать по капле: опрокидывать и бить флаконом по ладони, с такой силой, что там на несколько минут потом оставались маленькие круги, как следы от прививки), но от этого дефицитного зелья кожа не только не стала выносливей, а чувствовала себя вдесятерне беззащитной на ветру, и

уже приготовилась покрыться (вместо чересчур замедливших, зазевавшихся, метаморфоз почек на придорожных деревьях) свежими цыпочными трещинами.

У метро Сокол, щадя разбудораженные чувства, лежала, ползала в окопах привычная законсервированная зима. Вернее – грязное безвременье. Огрызки снега огрызались дурными черными зубами из своих бермудских заповедников на обочинах. Неживые, как будто мародерами обобранные, придорожные липы по пояс были обданы веществом обидного коричневого цвета, так что даже коры было не видеть – как будто в центре Ленинградки пробурили скважину, и теперь началось веерное распределение нефти по окрестностям; одним коричнево-черным мазком сплошняком были выкрашены на газоне в гарь и валуны нерастаявшего снега, и, также, бугры прошлогодней гнилой травы у бордюра на глинистых проталинах – будто со всего этого газона кто-то готовился снять посмертную маску. У союзпечати, на асфальте, в центре бензиново-черной пятиметровой слякоти, валялось мороженое эскимо, почти растаявшее, разошедшееся кругами и полукружьями жирных белил, кем-то не удержанное на хорде палочки – и не известно вообще даже и надкусанное ли.

Словом – здесь все выглядело ровно так, как могло выглядеть и в холодном октябре, и в теплом декабре, и в сбрендившем феврале.

И только трамвай вовсю дребезжал весной.

Полоумная в желтом легком платочке аккуратно переводила через рельсы белую козу, с подвязанным вокруг ее шеи на голубой ленточке бубенчиком – звеневшим громче, чем только что отъехавший в центр трамвай.

У входа в метро, к изумлению Елены, маячил Хомяков. Она, было, подумала, что это – ошибка, совпадение – и что ждет он не Мистера Склепа, а, из какого-нибудь рыбного магазина, собственную мать с баулами. Но Хомяков шагнул ей навстречу и вежливо выцедил, хмыкая через слово:

– Здравствуй... Ну, что... Мы одни с тобой, похоже... Что ж, подождем... Поглядим, кто еще придет...

Через минуту виляющей походкой подвалила хрупкая Лада, соседка Елены – которой она успела, выбегая, звякнуть в дверь (звонок отзывался модным, ни у кого из друзей неслыханным, электрическим соловьем) и заинтриговать тайной экспедицией со Склепом. Лада

собиралась поступать в Строгановку, но рисовать, кажется, от всей души ненавидела: битый год все никак не могла домалевать марким пестрым маслом свой же собственный автопортрет, безвременно выставленный на огромном мольберте в центре жлобски-сияющей, с идеально залакированными, начищенными паркетными и музейными зеркалами в витой бронзе, богатой квартиры, – не могла, и слава Богу, потому что тайною тайн оставалось: как, с какого бодунищи, из-под кисти очаровательной семнадцатилетней девушки могла выпрыгнуть на грунт столетняя кривая перекрученная страхолудина, сидящая, однако, в широком, сугубо реалистично выписанном с натуры (в собственной гостиной) антикварном кресле. Большескулая, худая, с крупным носом и воробьиными нахохлившимися щечками, и нахохлившейся же прической, всегда улыбающаяся как-то рвано, разодранно, как урловый паренёк – во весь рот, бесстыдно высоко обнажая верхние десны, – одновременно, какой-то тонкостью и плавностью движений рук, какими-то удивительными теребящими обоняние духами и беззащитным взглядом, реальная Лада моментально распространяла вокруг себя шарм, какового не могла добиться ни одна из записных, расписных, размалеванных красоток в школе. Всегда игравшая на диссонансе, беспечно, быстро и неизящно вилявшая при ходьбе узенькими бедрами, – да, собственно, и не ходившая, а всегда передвигавшаяся полубегом, полуподскоками, – намеренно грузившая речь свою даже не матерщиной (в прямом, эмоциональном, ругательном смысле), а грубыми мужицкими словцами, по-житейски описывавшими окружающую реальность и примитивность отношений между героями школьных сплетен (которые она азартно, по ролям, воспроизводила) – всем этим, Лада, кажется, силилась слегка сбить пафос, заодно, и будущей профессии, навязанной таинственными богачами-родителями со своеобразными, мануфактурно-художественными представлениями о престиже (хотели, чтобы дочь стала дизайнером) – и обезоруживающих, бесконечно женственных одежд, которые Лада то покупала за бешеные деньги с рук у фарцовщиков (при этом, в обратной пропорции: чем меньше материи уходило на маечку, тем больше она стоила месячных зарплат); а то – шила себе шмотки сама – да так, что при полном отсутствии сносной индивидуальной одежды в магазинах, неизменно (как и в этот момент, у метро) мела тротуары ренессансными юбками,

кроила их за десять минут, вместе с каким-нибудь кимоно для после-душа-дома и игривой жилеткой – из отходов того же отреза. Взрослые же феерические романы, приключавшиеся в Ладиной юной жизни, – нюансами которых та без спросу охотно делилась при встречах, – до того потрясли воображение самыми неподходящими местами действия, и антуражем, и скоростью, и дерзостью, и фантазмагорическим отсутствием духовного общения скотов-героев – что Елена предпочитала целомудренно полагать, что всё это – Ладины художественные фантазмы и враки от одиночества.

Лада, похоже, слегка стеснявшаяся, что оказалась в компании четырнадцатилеток, тарасилась на квадратурного Хомякова (имевшего, впрочем, только что пробившиеся микроскопические усики над толстой вздернутой губой), издевательски-томно с ним заговаривала на «вы», а как только он смущенно отвернулся, немедленно иронически подмигнула в его сторону Елене, и тут же с шутливым восторгом закатила к небу глаза: де, «Гляди, какой кавалер нам достался по благу! Перепал! Везука! Даже форму школьную не сменил, ботан!»

Следующей – вброд, не глядя себе под ноги, подгробла через лужу Лиза из девятого, вляпавшись черным дерматинным сапожком-гармошкой в мороженое; про Лизу не было известно ровно ничего, и внешняя сигнальная система ее сводилась к распущенным, лорелеисто-аманделиристым, высветленным, с вертикальной химией власам до крестца (в школе то и дело паскудистыми окриками учителя заставляли красу собирать в пучок или косу); и к очень зажатым движениям; и к напряженному молчанию.

И когда, сразу после нее, но с другой, восточной, стороны, ко входу к метро подошел Склеп, и Лиза, не говоря ни слова, вскинула лютиковые ресницы, стало очевидно, что к ее характеристике можно весомо прибавить еще и то, что влюблена она в Склепа по уши.

Лада, кокетливо косясь на Склепа, с притворной немощью и жалобным полустоном всем своим щуплым тельцем налегла на, впрочем, и вправду тугую огромную, сталинскую, дверь, ведущую в метро, с тяжелыми стеклами и дубовыми горизонтальными перемычками. А вот – Лада неприлично округлила глаза, видя, как Мистер Склеп, дождавшись, пока она отожмет дверь, невозмутимо прошествовал мимо нее в отверзшееся пространство. А вот – Лада,

оторопев от изъяна джентльменства, тут же с нагльским, сварливым заигрыванием, срываясь в конце фразы на писклю, задает Склепу вдогонку вопрос: «А ждут ли нас, вообще, в тех гостях, куда вы нас ведете-то, а? Вы нас куда, вообще, ведете-то?» Сценка была поставлена на паузу и с наслаждением пересмотрена еще с десятков раз, по кадрам – в обратном направлении – и форвард – как медленным кинетоскопом. Дверь проворачивает миксером массы. Лада снова и снова на нее напирает – и снова и снова отпадает в осадок – глядя на абсолютно к любым способам кокетства слепого Склепа: тот же, целенаправленно, вперив глаза куда-то вперед и вверх, мощно мчится, рассекая толпу – своей гигантской тощей фигурой, длинными своими воронными локонами, как боевым штандартом, указывая дорогу и не оставляя ни одного шанса потерять его из виду в окружающем душном животном месиве.

Разряжая темноту своей комнаты объемными, проявлявшимися без всяких усилий с ее стороны, прозрачно бесплотными, но абсолютно реальными, тактильно доступными дневными картинками – пестрыми, движущимися, местами строящими глазки, местами небритыми и гундосыми, местами нервно подгибающимися и поддергивающими рукава синей мужской школьной формы под противно шваркающую болоньевую куртку цвета мокрой пыли, а где-то – наоборот – даже кисловатыми духами пахнувшими (так, что когда Елена на миг выходила из зрительского забытья, вдруг обнаруживалось, что Лада, например, витала в тот момент не в опасных, чавкающих массах, створках дверей метро, а где-то приблизительно в четверти пути между левым, лунно отблескивающим из-за щели в шторах, и правым – совсем уже лишенным подсветки – черным, как голые ветки липы, – бронзовым канделябром маленького старинного дамского махагонового пианино Duysen с чуть треснувшей декой – стоявшего у дальней стены в комнате Елены), проглядев, прощупав, жадно вкусив опять каждую молекулу картинки, перед ее глазами в воздухе заново разыгрывавшейся (причем, так, будто вся съемка этой сцены у метро велась не совсем ее глазами, а откуда-то сверху – примерно оттуда, куда направлялся взгляд Склепа – так, что себя саму она легко могла увидеть как будто тоже чуть со стороны, но, одновременно всегда в любую секунду могла опять с наслаждением войти в свое тело – в той,

живой, живущей картинке – главное было сгруппироваться, когда это делаешь, чтоб не расплющили в вестибюле метро сограждане) – чуть построже присмотревшись к себе со стороны (на что ни времени, ни желания не было в момент дневного участия в действии – уж слишком действие захватывало дух – и все силы уходили на впитывание мелодичного узора из красок, звуков и собственных разбудораженных чувств), Елена вдруг подумала, что и она ведь, пожалуй, как и Лиза, да-да, и как Лада – если уж вот смотреть отсюда, здраво, с легкого отдаления – выглядела явно слегка, ну слегка, ну слегонца в Склепа втюрившейся. Хотя в действительности, вдевшись опять в себя, дневную, примерив опять себя ту-секундошнюю, и произведя соответствующие замеры эмоций, она обнаружила, что единственное, ликующее всепоглощающее чувство, которое в ту минуту Склепом в ней зажигалось, в словах выражалось коротко: с этим загадочным проводником она, конечно же, не спрашивая, пойдет куда угодно, в любые званые или незваные гости.

Склеп, с непреступно торжественной выправкой, не останавливаясь и не размениваясь на мелочи (такие, как, например, заплатить за проезд в метро), молниеносно прошествовал в зазор между турникетами, и с досадливым недоумением обернулся уже только тогда, когда турникет кляцнул черной челюстью – позади него; рывком засунул правую руку в карман кожаного сюртука – черпнул там, выудил оттуда сверкающий, как будто только что отчеканенный, пятак, повертел его с секунду перед глазами (казалось, тоже с некоторым изумлением – как будто впервые в жизни видел деньги) – не сходя с места, гигантским журавлиным жестом перегнулся обратно через турникет – засунул никому уже не нужный пятак в металлическую лузу. Внушительно произнес: «Именно!» И с тем же торжественным выражением лица зашагал дальше.

И опять – уже на платформе – какой-то дорогой, роскошный механизм внутри Склепа на секунду заело: с невозмутимо-удивленным видом пронаблюдав за разверзшимися дверями поезда, Склеп замер – как будто вспоминал какие-то давно позабытые навыки – недоверчиво смерил взглядом высоту дверей – а потом ринулся и смело вдел каланчу башки в вагон. Покачался между двумя невольно расступившимися, едва до пояса ему достававшими сгорбленными бабками и как костыль оказавшимся у него под мышкой до ужаса

грязным, как будто его целый день в глине валяли, стройбатовцем – и, через несколько секунд, счел за лучшее, аккуратно себя сложив втрое, усадить себя на единственное свободное место.

Идиотски вышколенный болванчик Хомяков, застывший у дверей и, чуть наклоняя голову, пропускающий девочек (родительская дрессура) вперед, в потную толкучку вагона, а затем грубо уминающий себя сам; Лада, игриво повисшая на одном локотке на верхней держалке над Склепом и с вызовом, на ноте ля, сетующая, что ее ща совсем тут раздавят; Лиза, мельком слюнящая палец и, покраснев, прижимающая на колене зацепку прозрачных капроновых колготок (жертва атаки жирной дамы со шваброй справа) – все эти мелочи бокового зрения, урывками сохранившиеся, и только сейчас, ночью, по большому-то счету, рассмотренные, замеченные, принятые во внимание – и тут же опять из этого внимания выброшенные – как шелуха, отходы зрительного производства, – меркли перед загадочной сосредоточенностью Склепа: сидел он прямо, смотрел куда-то скорее внутрь, небрежно придерживал снятую с плеча черную школярскую сумку на молнии, и был абсолютно равнодушен к активнейшим взаимным физкультурным и психоневропатическим упражнениям двух с лишком сотен сограждан, закатанных вместе с ним в одну и ту же передвижную консервную банку.

В изнеможении от волшебства этого только что кончившегося, вот-вот, еще теплого, недопитого дня, не желая терять ни кусочка из заново рассматриваемых в темноте картинок, и одновременно осознав, что личный кинематограф уже сожрал все-таки кучу энергии, и что на голодный желудок ей этот поезд до нужной станции метро не довезти, Елена выскочила из-под одеяла и побрела, пошла, припустила, опрометью бросилась на кухню.

В дверцу низкорослого, пузатого холодильника беспризорной породы, как она еще с вечера заметила, мать зарядила две банки дефицитного зеленого горошка из пред-первомайского «заказа» с работы – и самым раздражающим в этом «заказе» было то, что никто ничего не выбирал и не заказывал – а опять всучили шайбу отрыжечных шпрот, и еще мерзкий, из каких-то измельченных отходов сделанный, грузинский чай, и шматок соленого масла, и завернутые в грубую бумагу малоинтересные, но сильно пахнущие рыбы останки зеленоватого цвета, под названием «тушки минтая» (во дворе

острословы, не дочитывая последней гласной, смачно называли их не иначе как «тушки мента») – однако мать, зная страсть Елены к пожарению горошка, «заказ» все-таки купила, надеясь приберечь деликатес до дня рождения Елены – до конца мая; но воспоминание об этих двух гороховых баночках, мельком увиденных, теперь, конечно же, все равно не дало бы спать.

Жадно вспоров банку, вышвырнув горох на сковородку и торопливо залив его гороховым же соком из жестяных недр, она включила газ на полную мощность и, ожидая кипения, вновь уплыла взглядом туда, где Мистер Склеп, после неожиданно удачно проведенной пересадки, довез их до Площади Ногина, и, услышав откуда-то с потолка нечеловечьим электрическим голосом прокваканное название станции, припечатал его:

– Именно! – и той же легкой уверенной поступью, не оборачиваясь на спутников (они и без того шли за ним клином вопреки давке), вывел их, наконец, из подземелья.

И если бы Елена доверяла прогнозам погоды, если бы не знала по многолетнему опыту наверняка, что все будет ровно вопреки предсказанному по телевизору, – она бы, пожалуй, подумала, что, вынырнув из метро, они ошиблись городом.

Солнце больше не ютилось по проталинам между облаками, а властвовало безраздельно, и пыльно-абрикосовый оттенок воздушной взвеси на улице, по которой они, едва поспевая за могуче движущейся вперед над толпой колокольной Склепа, бежали в горку, был такой хорошо настоящей весенней крепости, каковая достигнута ни за час, ни за два быть не может – и возбуждал серьезное подозрение, что здесь какие-то свои «заказы» погоды.

И слепые окна парикмахерской справа, со слоем грязи в палец поверх старомодных смазливых голов, убого сфотографированных, как на паспорт, и чей-то осиротевший костыль, валявшийся у обочины слева, и, чуть дальше – чья-та поломанная бордовая пластмассовая гребенка для волос на разбитом асфальте – ранили и теребили душу тем больше, чем очевидней была ликующая истома весеннего дня.

Резко, даже не пробежав, а перемахнув в два шага через дорогу, Склеп свернул налево, на Архипова. И тут уже блаженство весны перехлестнуло через край – эта новая улица (по которой Елена никогда еще прежде в жизни не хаживала) оказалась сухой и абсолютно пустой

– ни души кроме них: звуки были доброкачественно шершавыми, с гастрономически приятной звонкой зернистостью асфальта, и почему-то соседство с теннисными кортами, чудесным, гористым амфитеатром рельефа нависающими по правому боку накренившейся улочки (хотя никто на этих кортах сейчас и не играл, да и теннисистов-то она живых видела только по телевизору – симпатного веснушчатого Бориса Беккера), шершавость эту, как и блаженно чувствительную тёркость подошв, своими не существующими, но возможными, обещаемыми звуками мяча, ракетки и сухого суетливого шарканья, еще более ощутимо дополняло и как бы весомо утверждало.

Склеп внушительно остановился напротив большого здания с колоннами и классицистической крышей, смахивавшего на типовой дом культуры; и, сколь отрывисто, столь и загадочно произнес:

– Путешествие духа. Именно. Колыбель. Именно. Интересно, где начиналось. Надо знать.

И шагнул уже было вверх по ступенькам ко входу. Но тут вдруг в волшебном механизме что-то опять на секунду заело, Склеп заступорился, оглянулся, оглядел всех спутников, как будто уловив какое-то несоответствие; судорожно сунул обе руки в карманы куртки и, с точно таким же, слегка удивленным выражением лица, как давеча, в метро, с пятаком («что это у меня тут в кармане? впервые вижу!») извлек за уголок огромный, белый, носовой платок (свежевыглаженный и нетронутый), тут же развернул и натянул перед собой как полотнище – изобретая, как бы замеченное им несоответствие устранить.

– Нужно прикрыть голову. В знак почтения к обычаям.

– Это ж синагога! Правильно? – Лада дурачки тоненько захихикала, обнажая розовые десны. – Нас же туда не пустят! Мы же не евреи!

Склеп, ничего не отвечая, взглядом пересчитал всех по головам. И не успел никто из них и ахнуть, как он с оглушительным треском разодрал носовой платок – сначала пополам, а потом еще и каждую половинку на четвертушки. И первой из них решительно прикрыл собственный затылок.

– У меня свой есть! Не надо мне вашего, – возмутился Хомяков, когда Склеп уже уложил девочкам хлопчатые кусочки на головы, и, повернувшись было к Хомякову, обнаружил нехватку материала.

Однако, поколебавшись с секунду, Склеп снял с головы и разодрал еще и свой, последний оставшийся кусок, и отжертвовал Хомякову прямоугольную половинку.

Лиза, ровно ничего не понимая из происходящего, отчаянно строила Склепу глазки и покорно придерживала феню на голове двумя руками, растянув со стороны правого и левого уха за уголки и нахлобучив на кумпол ромбиком, как диковинную шляпку.

Лада едва успела шепнуть Елене, что «что-то, кажется, не так», да и сама Елена, смутно припоминая какие-то слышанные подробности, была не вполне уверена насчет чужих традиций – тем не менее, когда Склеп прикрыл ее маковку четвертушкой платка, доверчиво это приняла, и с головы не сняла.

Стайка испуганных светловолосых курносых мальчиков, совсем не похожих (по представлению Елены) на евреев, а похожих на обычных оболтусов-старшекласников, уже высыпала из центрального входа здания и собралась под портиком – и с благоговейным ужасом следила за представлением – явно пытаясь угадать, стоит ли от визитеров ожидать угрозы.

На третьей минуте закипела уже не только подливка (уж давно вспенившаяся по краям), но и сами горошины стали, точно как на каком-нибудь диковинном эксперименте с горелкой на уроке химии, живо взлетать и подпрыгивать в жидкости, крутиться и наглядно, пластично демонстрировать кипение.

Не кипящая сердцевина сковороды вытянулась вдруг ромбиком, обрамленным по краям пеной – ромбиком, растянутым крест-накрест ровно посередине – точно как самодельная шляпка Лизы на кумполе.

И, входя в синагогу вслед за Склепом, Елена услышала истерический, захлебывающийся, скороговорочный хохот-шепот Лады:

– Склеп что-то перепутал! Женщинам, же, кажется, не надо...

Но Елена уже не дослушала – и, стараясь изо всех сил выглядеть как можно естественней, улыбалась направо и налево обступившим их, не без опаски, хоббитам из синагоги – чтобы те не чувствовали себя диковинными музейными экспонатами, на которые пришли позерить, и над которыми поржать.

На маковке каждого из них действительно красовалась забавная, как у желудя, штучка – вовсе не квадратненькая, как куски Склепова

платка у них у самих на головах, а кругленькая.

Ровно в такую, желудевую, фигуру вытянулась сердцевина гороховой сковороды на пятой минуте кипения.

Никому и ни за что Елена не позволила бы жарить для себя горох. Церемония была священна, и весь смысл ее был не только в жестком соблюдении технологии, но и в том, чтобы непрерывно осуществлять замеры, снимать с гороха пробу: горох первой минуты, горох пятой минуты – и так далее. Редко, когда после этих, чисто научных замеров, готового, пожаренного, гороха потом хватало хотя бы на четверть блюдечка. Впрочем, термин «готовый» приобретал в этой процедуре вполне расплывчатое, крайне гибкое, инвариантное значение: потому как, на ее вкус, вполне готовым и по-своему прекрасным был и горошек первой минуты, и горох минуты третьей – да даже и изначальный, сырой, горошек, который можно было есть вилкой прямо из банки, был по-своему великолепен. Но все-таки этому соблазну – выжрать пошло весь горох вот прям вот из жестянки, не готовя, она никогда не поддавалась – и четко знала, к чему ведет весь процесс.

А сейчас, увлекшись вновь картинкой приятного оживления в коридорчике, в который они попали – и из которого вели двери в заманчивейшие таинственные полутемные просторные полости синагоги, она и вовсе не попробовала ни горошины.

Больше всего ее потрясло объяснение русоволосого круглолицего юноши, что мужчинам и женщинам не положено молиться в одном и том же зале.

А сообщение о том, что во время молитв женщин ссылают куда-то на второй этаж – так и вовсе заставило неприлично громко хмыкнуть Хомякова.

«Ну вот, сейчас-то нас и разоблачат, с нашими экстравагантными головными уборами!» – с ужасом приготовилась Елена.

Однако никто из пяти молодых ребят, все время крутившихся вокруг них, ни слова про их внешний вид не сказал, – хотя к хлопковым, белоснежным, носовым макушкам гостей опасливые взгляды их перекатывались, посекундно, неудержимо, как ваньки-встаньки.

Потрясло Елену также и то, что как только тот юноша, который сообщил им о сегрегации еврейской популяции на женщин и мужчин, ушел куда-то в подсобное помещение, друг его, худенький невысокий

блондинистый молодой человек с чуть оттопыренным левым ухом, быстро предложил девочкам, если они хотят, пройти в главный молитвенный зал, всё посмотреть:

– Пока нет никого – можно!

После пятой минуты, когда соус уже просто на глазах выкипал, по правилам, нужно было срочно добавить подсолнечного масла из прозрачного пластикового пингвина с отстриженным дулькой-клювом – а она этот важный момент, замечтавшись, пропустила, и сковорода по кромке успела уже слегка подгореть, приобретя неприятный, камышового цвета, налет. Елена резко сдавила опрокинутую пластиковую бутылочку и с жару бултыхнула в раскаленную сковороду озеро масла. Горох начал стрелять.

И закрученные узористым ухом края деревянных скамеек с шестиконечной звездой, и какие-то большие книги, ковровая скатерть, золоченые кисточки, круглые колонны, полутьма, сладковато-прогорклый запах старины – все это проходило всполохами уже на фоне борьбы с пригорающим гороховым жарким.

Из синагоги вывалили уже полуживыми от неловкости. И один только Склеп был невозмутим:

– Именно. Мы с вами – журналисты. Ознакомительная прогулка. Нас ждут дальше. Пойдемте скорее! Вперед!

Выйдя с улицы Архипова на хрюкающий автомобилями Солянский проезд, Елена уже поверить не могла, что это – вот та же улица, ведущая к метро, по которой они сюда поднялись всего полчаса назад – казалось, мир вдруг весь перевернулся; и взглянув на резко свернувшего налево и зашагавшего в гору Склепа, на его жюстокор вразлет, на его длиннющие черные волосы, – несмотря на все его чудачества – а вернее, именно благодаря им, немислимым ни для одного занюханного учителя в их школе – она еще острее почувствовала дрожь свершающегося чуда.

Каланча Склепа маячила впереди, на фоне белой квадратной колокольни на верхушке горы, и казалось, что вводит он их и вовсе уже в совершенно новый, незнакомый, город. Забравшись на самую горку, Мистер Склеп свернул направо в переулочек, шел быстро, но, оказываясь на новых развилках, на секунду замирал, и, как будто по какому-то внутреннему компасу, будто былинный герой, делал выбор между рукавами переулочков.

И только после того, как совсем закружив голову поворотами, прошагав по незнакомой улице еще с пару сотен метров, Склеп застыл перед входом в двухэтажное, старое желтоватое здание, которое вполне могло оказаться каким-нибудь бюрократическим учреждением (у входа прибита была официального вида табличка, прочитать которую, однако, никто из них не успел), Хомяков сначала, а потом и все, по цепочке, вспомнили, что Склеповы нахлобучки-то так и покоятся у них на головах – тут же их сдернули и, почему-то, рассували в собственные карманы, вместо того, чтобы вернуть Склепу (не говоря уж – предложить ему опять кусманы сшить). Склеп, последним, с достоинством, снял то, что осталось от его носового платка.

– Здесь тоже поклоняются Богу. Но по-другому. Именно. Вы должны видеть всё. У вас должен быть свободный. Именно. Выбор! – внушительно отчеканил Склеп и вошел внутрь.

В большом светлом зале, распахнутом вверх балконными надстройками второго этажа, пахло свежей краской (гипс, фанера и дерево, старательно раскрашенные маслом под мрамор) и капустными щами. Свет лился через огромные окна с яруса.

В самом центральном, дальнем, сизоватом витражном окне большими буквами было вырисовано удивительно простое уравнение: словесная формула Бога.

Зал был битком. Внизу, на деревянных банкетках не видно было даже и свободных мест. Спины стояли, сидели, бурно разговаривали между собой и, казалось, ждали начала какого-то выступления. На вошедших, протискивающихся, оглядывались и почему-то приветливо кивали каждому, как доброму знакомому.

– Поднимемся наверх. Чтоб не мешать, – Склеп уже пробирался к правой скругленной лестнице, ведущей на балкон.

Зал внизу тем временем замер в выжидательной тишине.

С грохотом раздвинув деревянные стулья, расположившись на первом ряду верхнего яруса, у самой балконной перекладки (так, чтобы всем им было прекрасно видно темную высокую трибунку первого этажа), Склеп положил себе на колени сумку:

– Именно. Один ученик мне одолжил магнитофон на сегодня. Не забывайте: мы журналисты... – и звизднул отдергиваемой молнией сумки так, что звук разнесся на весь затихший зал.

Склеп и вправду невозмутимо извлек из сумки громоздкий прямоугольный черный рундук – магнитофон «Электроника».

– Кто-нибудь знает, как с этим обращаться? – спросил он грозно, впрочем, чисто риторически, потому что, когда все замешкались с ответом, а внизу, тем временем, началось молитвенное собрание баптистов, Склеп, не долго думая, вдавил своим длинным указательным пальцем первую под него попавшуюся, красную кнопку, и стал записывать распеваемые всеми внизу гимны.

Украдкой взглянув на бледноватое лицо Склепа, чуть скрытое сейчас ниспадавшими на него сбоку двумя широкими локонами, на вольготные крылья его точеного, вытянутого, словно на какой средневековой картине, носа, на его чуть подрагивавшие напряженные тонкие губы, на этот просторный лоб, Елена вдруг поняла, что за все время пребывания его в школе ни разу не увидела на безусловно чем-то бесконечно привлекательном – потому что загадочном – лице этом улыбки: не было лицо его ни угрюмым, ни скорбным, ни печальным – а, скорее, всегда осознанно-целеустремленно сосредоточенным на какой-то ему одному ведомой задаче, ради которой он как будто отметал, стирал из поля зрения всё побочное.

Елена сделала огонь чуть потише.

Пели удивительно слаженно – звучно подтягивал каждый пассажир первого этажа – а сзади, на их, верхнем, уровне явочным аккордом обнаружился вдруг орган и хор.

Ритмы были веселенькие. Рифмы примитивненькие. Говорили в промежутках между песенками: на трибуне сначала выступил солидный мужчина в костюме и при галстукке, с длинной грушевидной лысиной посредине, потом – тоже лысый, но с лысиной покруглее, сдвинутой на затылок, как еврейская шапочка, – при парадном костюме тоже; потом высказался мужчина помоложе, с волосами. Говорили громко и разборчиво, в темпе и настырно. Но ни слова, почему-то (то ли от волнения, то ли от того, что Склеп, и его манипуляции с магнитофоном занимали все имеющиеся мощности внимания) понять и ухватить было невозможно – ни одно единственное словцо до сознания не доходило. Рассуждали собравшиеся о чем-то явно очевидном для них для всех – и именно из-за этой очевидной для них очевидности уцепить это подразумевающееся очевидное было никак нельзя, никоим образом.

Кратчайшая формула на витраже, куда Елена посматривала, как только Склеп на секундочку замирал и переставал священнодействовать с «Электроникой», понравилась ей, впрочем, чрезвычайно, была принята и внутренне распробована на все лады и интонации.

Склеп прекрасно освоил уже кнопки «запись» и «стоп». Неплохо справлялся он уже и с перемоткой в обратную сторону, когда, опаздывая с записью к началу очередной песни, или, наоборот, нажимая «стоп» слишком рано, желал ее затереть следующей, и откручивал назад пленку.

Присидевшийся, пообвыкшийся и слегка обнаглевший Хомяков начал хмыкать и хихикать, тихенько передразнивая, фальшиво, как гудошник, простецкий припевчик очередного гимна.

Тут-то и началось безобразие: Склеп заступорил запись и принялся откручивать назад забракованную песню, а, перекрутив, собирался уже включить запись начисто. Но – промахнулся пальцем, замешкался – пение тем временем кончилось, собрание на несколько секунд притихло – и тут Склеп вместо записи въелозил перст на воспроизведение звука. Магнитофон врубился на полную громкость. Звуки ретранслировались на всю баптистскую ширь и высь, со всеми помехами и техническими прелестями советской электроники, да еще и с фальшивым припевчиком Хомякова, перебиваемым ненароком записавшимся тихим неразборчивым междусобойчиком Лады и Елены.

Склеп, в панике, тыкал пальцами уже во все кнопки подряд, метался по клавишам уже обеими руками, раздризганные манжеты его летали в воздухе – так что на секунду создалось впечатление, что это он на взбесившейся гармонике играет музыку – и в конце концов с жалобной миной отстранил, чуть не отбросил от себя магнитофон – как какой-то одушевленный враждебный взбунтовавшийся субъект. Общими усилиями ящик уняли.

Зазевавшись опять немножко (давно уже надо было бы переворачивать горошек на сковороде вилкой), Елена, затаив дыхание, заново прокручивала и позорное бегство с балкона (от стыда решили не дожидаться конца собрания – чтобы не смотреть в глаза оскорбленным баптистам), и прогулку до метро (Склеп, взвалив сумку на плечо и не глядя, куда идет, все силился выдрессировать

магнитофон и извлечь членораздельные звуки, но звучал как шарлатан-шарманщик); и свою собственную неожиданную, невесть откуда вдруг нахлынувшую, изобретательность (домой ехать со всеми вместе отказалась, сказав, что ей срочно нужно в туалет, пописать); и этот завораживающий, картавящий, жирафа какого-то зовущий подвал, куда ну вот Chesслово зашла вовсе не пописать, а так, просто забралась из какой-то шалости; и явление мальчика в темноте со спичкой – и то, как неслась обратно опрометью с горки вниз к метро – от испуга и от восторга вдруг объявшей ее свободы.

Горошек двенадцатой минуты, сколь соблазнительным бы он ни казался (скукожившийся чуть-чуть, уже не такой глупо-круглый, впитавший уже весь соус и чуть-чуть обжарившийся в масле), был столь же и опасен. Опасность первая была проста – сожрать все немедленно же, не дожидаясь больше уже ничего. Потому как двенадцатиминутный горох, вот положила руку на сердце, был уже очень хорош. И аромат – кричащ. А голод разыгрывался к этой минуте настолько, что нужно уже было быть просто титаном воли, чтобы удержаться. Хотя бы три горошины попробовал – и всё – кранты. Не будет уже горошка ни пятнадцатой минуты, ни... Опасность вторая состояла в том, что начиная с этой минуты в горошек уже просто безостановочно надо было подливать микроскопическими дозами масло и перемешивать все тектонические слои на сковороде. Жаркбе следовало в нескольких местах слегка раздавить вилкой – и примешать размягченное пюре как приправу к горошку целому. И переворачивать уже вот просто беспрерывно – по мере появления приятной корочки на горошинках.

И если соблюсти все технологические требования, то уже через несколько минут горошек был готов – то есть, по вкусу начинал напоминать жареные грибы. Грибов всегда почему-то с голодухи хотелось больше всего. И уже на девятнадцатой минуте, вспоминая, как после ее воссоединения со Склеповой экспедицией у метро, нагнавшие их молоденькие ребята-баптисты улыбались им как чайные блюдца, и хвастались, как же им повезло в жизни, и звали приходить еще, и... и Елена вдруг почему-то явственно отчетливо почувствовала запах подгоревшей керосинки, на которой покойная бабушка Глафира, дошкольную вечность назад, жарила ей на даче белые грибы с подосиновиками и лисичками. А уже на двадцать первой минуте... На

двадцать первой минуте в кухню ворвалась мать: сначала отжав скверно закрывавшуюся дверь полненькой ручкой со смешным розовым фонариком на плече ночной рубашки, а затем прямой наводкой скакнув к окну.

– Фу, Ленка! Сожгла опять в угольки?! Дым же коромыслом!

Узкая створка окна напустила в кухню холодной ночи. Дым живописно закружился, не желая никуда вытекать. И Елена, очнувшись, поймала себя на том, что все последние минуты, вместо того, чтобы перемешивать, как следует, сковороду, в рассеянности, безуспешно, вилкой, пыталась выхлебать из криво вскрытой жестянки уцелевший там на доньшке сладко-соленый гороховый рассол.

Мать, пожалуй, даже еще в большей степени, чем она, была подвержена всю жизнь приступам эйдетической памяти.

«Ну и вот: вхожу я к ним в комнату – а там Славка Осокин! Синие глаза, темные кудри! Красавчик! Мне было двенадцать, а ему шестнадцать! Ну и я конечно сразу влюбилась без памяти! А по радио еще, как сейчас помню, в ту самую секунду, как я вошла, громко так, играют глупую песенку какую-то: «Я схожу с холма, я схожу с ума, может это не березка, а ты сама!» Ну вот, и представляешь: вон там стол, Славка возле стола стоит, вот здесь дверь, а здесь печка, жарко натоплено, радио во всю мочь – и я распахиваю дверь, и влюбляюсь с первого взгляда! – повествовала Анастасия Савельевна; и глазами, руками, и всей своей богатой актерской жестикуляцией и мимикой, показывая, разыгрывая, не оставляя Елене шансов воочию не увидеть, где именно и с каким выражением лица стоял сердцеед, а где была она, и где дверь, и даже где именно была печка, – и становилась при этом сказительница, поочередно, на доли секунды, то Славкой, то самой собой о двенадцати лет, а то – печкой.

«Ну вот: и представляешь, – повествовала мать в другой раз, – во время войны, когда мы были в эвакуации, в Вурнарах, мама моя, в смысле твоя бабушка Глафира, работала железнодорожной стрелочницей. Мне было годика четыре тогда... Да нет, еще и четырех не было. Мы жили в бане, у милиционера по имени Иванов: когда началась эвакуация из Москвы, его заставили поделиться жильем с беженцами. И вот, я помню: темно, ночь, мама моя ушла на ночную смену. А я просыпаюсь – мне страшно становится. И я отодвигаю... такое маленькое деревянное раздвижное оконце там было (и

Анастасия Савельевна рукой показывала габариты оконца, почти как форточки, и тяжело двигала его рукой слева направо), и вылезая наружу, во двор, через это оконце – я же крошечная была! И бегу опротясь сквозь заросли – дорожку-то я знала! – до железнодорожной будки! И маме моей, бедненькой, ничего не оставалось, как меня укладывать прямо там, на пол, в этой крошечной будке – тряпок на пол постелет, и меня укладывает. А сама наружу скорей-скорей бежит, флажками махать. Как сейчас помню: я выгляну из двери, а мама в телогрейке рваненькой, но красивая такая, на прямой пробор, со своей косой вокруг головы, как тогда носили, – сигнализирует своими флажками – и паровоз идет! Ух! Как я боялась! Как сейчас помню! А паровоз – знаешь, как он выглядит! Ух! Колеса такие огромные, и к колесам идут с двух сторон такие металлические тяги! И вот, подходит паровоз: пых-пых-пых, и гудеть начинает, и во все стороны идет пар! Как же я боялась жутко!»

«А потом Юрка, старший брат, гулять, шляться куда-то ушел, и заслонку топящейся печки слишком рано задвинул. Ушел – а я угорела. И Вовка, который меня всего-то на три годика старше был, зубами меня за рубашонку на улицу, на снег вытащил, спас. Он-то сам тоже угорел, но еще в состоянии двигаться был – а сил меня тащить не было – и вот он зубами, из последних силенок. И когда он меня на снег вытащил, я видела небо. Как сейчас помню – лежу на снегу – и вижу: надо мной звездное небо!»

«А потом маму весной в госпиталь увезли – у нее ноги страшно распухли от голода: еды-то не было ну вот буквально никакой – суп из крапивы варили, да жмых жевали, который скоту давали. А тут мама с голодухи поела зеленого луку с огорода – и у нее началась страшная опухоль ног, умирала прямо. Ноги как чурбаны стали. И вот, я помню, как мы с Вовкой, маленькие, бежим за машиной, которая ее в больницу увозит, и плачем!»

«А потом, когда мама уже выздоровела, Вовка с голодухи украл у милиционера с огорода репку. И мама, на полном серьезе, завязала ему узелок с вещами, вывела его из дому, и начала прогонять его – сказала: «Уходи на все четыре стороны. Сын вор мне не нужен». А Вовка – русоголовый такой, немного кудрявый, ангелочек такой, стоит ревя ревет, клянется, что больше никогда ничего чужого не возьмет. И я реву, прошу: “Мам, ну не прогоняй его!”»

«А потом, уже после госпиталя, маму из жалости к трем детям перевели работать в офицерскую столовую – картошку чистить – и разрешали очистки детям домой уносить. И какое же это, Ленка, было лакомство для нас! Я помню этот чугунок! Вода-то все равно черноватая, грязноватая оставалась. Варили в чугунке очистки от картошки, вылавливали и ели! Наша единственная еда была, в течение как минимум двух лет. Я же ведь до сих пор из-за этого, всю жизнь, всегда мою тщательно картошку перед тем, как ее варить – инстинктивно, по привычке».

«А потом маму все время просили петь солдаты, уходившие на фронт: стояла машина грузовая у станции, и, вот, маму подсаживали на этот грузовик. И, вот, она там вставала, красавица такая, на прямой пробор, коса вокруг головы уложена, голос прекрасный, низкий, меццо-сопрано. И пела на морозе! Ух, как она пела! Ямщика – степь да степь кругом. А рядом – вагоны, вагоны. Отправляли эшелоны на фронт».

«А потом маме удалось посадить и вырастить огурцы. И, вот, она послала Вовку на железнодорожную станцию, к эшелонам с солдатами, продавать эти огурцы или выменивать на любую еду для нас, для детей. А Вовке вместо денег солдаты дали куклу – сверху разорванная купюра, а внутри и вообще бумажки вместо денег. Он же маленький, не понимал ничего. Трагедия была».

То ли из-за войны, то ли просто из-за штучной ручной выделки души, Анастасия Савельевна помнила себя рано, чуть ли не с младенчества.

И уж если рассказывала ей, Елене, как в мае 1945-го старший брат матери, Юрий, убежавший на фронт шестнадцатилетним, приехал забирать ее, пятилетнюю, и восьмилетнего брата Владимира, и бабушку Глафиру из эвакуации в Вурнарах, – то уж видела Елена яснее всего: и как «пыхал» паровоз-товарняк, и как они все жались к вагону («Никакой платформы не было – просто утоптанная полоса на краю насыпи, а внизу канавка. Как сейчас помню: трава зеленая между железнодорожными путями уже – весна! А товарняк высокий такой – дверь такая огромная раздвигается, в полстены, и чтоб залезть туда, с земли, обязательно нужно, чтоб кто-то подсаживал!»), и как старший брат стал договариваться с проводницей; и как она их отказалась взять; и как Юрий, огрубевший на войне, в ярости, заорал на нее во всю

хрипатую глотку: «Сука меделянская!» «Представляешь, – конфузясь, поясняла Анастасия Савельевна эту красочную подробность, – я ведь всю жизнь потом, до самого недавнего времени, была убеждена, что «сука меделянская» – это такое страшное матерное ругательство. Считала, что страшнее этого ругательства вообще нет! А тут, в программе «В мире животных» я совсем недавно увидела, что это просто порода собак такая! Ничего неприличного, оказывается, в этом нет! Просто – сука меделянской породы!»

«А потом мы в Унгены, в Молдавию, на несколько месяцев приехали – брат Юрий там доканчивал служить. И в Молдавии цвели абрикосы! Везде! Как же это было прекрасно! Унгены были на границе с Румынией – и за рекой Прут, на том берегу, были румыны – их было видно: в белых штанах и в белых вышитых рубахах. Мама ходила доить коров, а у коров правый бок соединялся с левым – такие худые они были. И вот эти страшно худые, страшно голодные коровы вытягивали шеи и обдирали старую гнилую солому с навеса, под которым они стояли. Но везде цвели абрикосы! А когда поспели абрикосы, мама из них варила, прямо в саду, варенье – на сложенной из камней печке – какой запах стоял!»

«А один раз я выбежала ночью в Унгенах из барака посикать, а потом в потемках не в ту дверь назад забежала – я помню: дверь наша была красная со стеклом – ну, и я смотрю: красная дверь, со стеклом, забежала – а оказалось не туда! Я смотрю – совсем чужие люди спят. Я как зареву! А мама через стенку из соседней двери услышала, и прибежала меня забрала».

«А еще я с козой Милкой танцевала – я ее научила класть мне передние ноги на плечи и мы с ней танцевали вальс. Все сбегались посмотреть. Это считалось верхом дрессуры».

А уж немецкая овчарка Найда, слепая, но удивительно умная, которая была лучшим другом Анастасии Савельевны (когда та была еще «Настенькой» и училась в первом классе школы) уже в Москве, после возвращения из эвакуации, – а также серая, с хулиганской улыбкой, кошка Мурка, которая каждый день бегом провожала Настеньку из дома до самой школы (а чуть убедившись, что та в безопасности – опростетью скакала обратно домой – уже по заборам) – и вовсе были для Елены с самого детства вместо сказок. «Ма-а, ну расскажи еще про Мурку и про Найду!» – выпрашивала она обычно

перед сном, когда была маленькая. «Ну вот, Найду привели в дом. А я была в школе и не знала. И вот, захожу, а она сидит в большой комнате – она была необыкновенная! – я ее сразу обняла! Мы с ней сразу подружились! И тут вбегает моя мама: «Ой, я тебя предупредить не успела, чтоб ты сюда не входила!» – повествовала Анастасия Савельевна, лежа на краешке кровати, и через минуту, уже засыпая, с сомнамбулической точностью, отвечала попутно на все пытливые вопросы о деталях окраса овчарки (каряя красавица с широкой черной полосой вдоль всего хребта и на хвосте), – пока не выключалась от усталости, и уже никакими слезными просьбами, ни хныканьем, ни даже толчками в бок не удавалось переключить этот материн молодецкий храп опять на волшебные рассказы.

Или, в зимний день, возвращаясь с улицы и прикладывая к пунцовым щекам ладони, мать вдруг, до ужаса зябко, вспоминала, как жили после войны в бараке: «Просыпаюсь ночью, а стенка у моей кровати – вот прям вот здесь! – вся изморозью покрыта!»

Или, готовя Елене свое любимое лакомство – ломтик белого хлеба со сливочным маслом, посыпанный сахаром, Анастасия Савельевна вдруг с улыбкой вспоминала: «А я ведь лет до пятнадцати вообще не представляла себе, что такое белый хлеб! А сахар нам после войны по талонам выдавали – по полтора кусочка на человека в день. Как сейчас помню, в Никольском, в первом классе, я стою у стола, а у нас такая сахарница металлическая была – и вот я стою, и пишу на маленьких бумажках: маме, Юрию, Владимиру – и раскладываю по полтора кусочка сахара».

«А однажды нам на первое сентября в школе конфеты-подушечки дали – каждому по две конфетки. Чтоб подкормить нас, наверное, хоть немножко, чтоб мы в голодный обморок на уроках не падали. А конфетки, знаешь, какие – маленькие – как ноготь были. И вот я побежала сразу домой, чтобы подарить эти конфетки маме. Бежала, зажав их в кулачке. Прибежала домой, сразу маме кулачок сую, раскрываю ладошку – а они растаяли!»

Для Анастасии Савельевны, с ее артистизмом и экспрессией, было как-то естественно переплавлять эти свои воспоминания для Елены в былины. Да иногда и не только для Елены. Однажды, на чьих-то (совсем некстати) похоронах, встретив (после тридцати, что ли, с лишним, лет разлуки) свою первую любовь – того самого,

легендарного Славку Осокина, Анастасия Савельевна, со своей непосредственностью, тут же ему выпалила: «Славка! Как же я в тебя была влюблена, когда мне было двенадцать лет!» – «А Славка мне говорит: «Я знаю!»» – А я ему говорю: «Какой же ты был тогда красивый! А сейчас ты такой старый и страшный стал!»

«А в нашей крохотной комнате, вот здесь стояла печь, а вот здесь – здоровенный сундук деревянный, весь обитый железными такими реечками, как сеткой... Мы сундук этот с мамой, когда был пожар у соседей, с перепугу, одним махом вдвоем на улицу вытащили. А потом, когда пожар потушили – мы с ней даже и поднять-то сундук не могли, не то что нести! Пришлось пожарным его к нам обратно заносить! Да, вот здесь – сундук, а вот здесь – маленький коридор, а сюда выходишь – здесь стена, утепленная войлоком – а за ней куры, козы», – мысленно путешествовала Анастасия Савельевна по ледяному, насквозь продуваемому бараку, которого уже лет тридцать, как не существовало в материальном мире, да и самого места-то, в котором он произрастал – села Никольское, куда ее семью после войны приютили, не было больше на карте – а превратилось оно в район Москвы, недалеко от Сокола, и заросло престижными высотками. «А обходишь барак – вот с этой стороны – и там – колонка с водой: у нас-то внутри-то барака никакого водопровода не было! И вот меня, маленькую, затемно еще, в пять часов утра, мама просит сбегать воды набрать: только не набирай, говорит, полное ведро – надорвешься! Добегаю до колонки, а чтоб набрать воду, надо было ручку колонки вот так вот вжих-вжих, то в одну сторону, то в другую – и вода начинает шипеть! Вода вырывается кипящая, как кипятки, а на самом деле – ледяная, руку обожжешь морозом, если притронешься. И под колонкой ледяной нарост. И вот я как сейчас вижу свои красные варежки, из грубой шерсти мамой связанные, и мокрые уже валенки на ногах. А больше всего мне нравилось на обратном пути, на морозе, что луна за мной бежит – круглая, огромная, золотая, на черном небе, – я смотрю вверх: я иду – а она за мной бежит! – я дальше иду – и она за мной бежит!»

Собственно, «воспоминаниями» эти Анастасии-Савельевнины картинки назвать было бы грешно: ни в одном из них не было прошедшего времени – все было в настоящем: живым, – Анастасия Савельевна просто-запросто входила в картинку – в тот момент, о

котором рассказывала; и без всяких усилий могла не только видеть и слышать, но и, всё так же остро, как и в тот момент, чувствовать температуру, запахи, заново ощущать, ощупывать, разглядывать и чуть не взвешивать заново все предметы, в этой картинке имеющиеся. Еще и рапортуя о результатах исследований по просьбе слушателей.

И в лицах разыгрывать все эти свои путешествия, обращать их в дрожащую в воздухе зримость для внешних слушателей, было для Анастасии Савельевны чем-то вполне естественным, естественной ежедневной средой жизни.

Елена же, будучи в этом полной противоположностью Анастасии Савельевне, все свои дневные диковинки, не менее ярко внутри запечатляемые, держала при себе – инстинктивно боясь, что ли, их яркость расплескать. И поэтому когда Анастасия Савельевна спросила ее на днях, что нового в школе, Елена, давась словами, подбирая их, как кубики, и прекрасно видя уже заранее, что ни один кубик к желаемой конструкции не подходит, с трудом выстроила сообщение, что появился «новый, очень интересный учитель литературы». Формула, которая, конечно же, никак не отражала бури, происходившей у нее сейчас внутри.

– Чего ты опять колобродишь среди ночи? Заснуть не можешь? – Анастасия Савельевна, развернувшись к ней от окна, всё еще сонно щурилась от света и позевывала, и пыталась хоть чуть-чуть разогнать оконной створкой дым. – А ты, вон, свари себе кофейку, хватани чашечку – сразу уснешь!

Никакие силы в мире не могли переубедить Анастасию Савельевну, что кофе – это не снотворное. И что обычно люди пьют его с ровно противоположными целями. «Ну что поделаешь? А я вот такой вот человек!» – добродушно посмеивалась всегда на это Анастасия Савельевна.

– Не говори мне только опять сейчас ничего про жареные грибы, – Анастасия Савельевна стояла уже у двери, и заглядывала в холодильник, проверяя, уцелела ли вторая баночка. – Нечего оправдываться. Просто ты любишь, Ленка, подгорелый горох. Вот и всё.

– Ну и чего такого важного ты там дома вчера делала?! А? Веником махала? Или белье в прачечную относила? – Елена заводилась всё больше.

Анюта только что предложила ей поиграть в точки (особая, азартная игра, с окружениями, аннексиями и контрибуциями) на любовно вырванном из сердца тетради по алгебре клетчатом развороте, пока Хомяков, под громадным иконостасом троицы Ленин-Маркс-Энгельс, доказывал у доску гундосую теорему, то и дело с лизоблюдской улыбочкой влюбленно глядя на алгебраичку Ленор Виссарионовну – распущенную полковничью женушку лет шестидесяти, даму с длинным белокурым шиньоном, хитро подколотым на затылке булавками в романтичный, ниспадающий, с чуть завитыми локонами хвост. Фланировала Ленор Виссарионовна по школе преимущественно в небесно-голубых или канареечно-лимонных костюмах (или, вот, в жамканно-фуксиевом, с приталенным жакетом, как сейчас) с юбкой-колоколом по колено, и в туфлях на высоких, чуть кривоного стоптанных, шпильках. «И в шерстяных черных рейтузах со штрипками», – неизменно язвительно подчеркивала Анюта. Широкополые, мушкетерского формата, шляпы в ядовитый тон очередного костюма – некоторые даже с перьями неизвестных ободранных птиц – к счастью, на уроках алгебраичка все-таки снимала и клала в учительский шкаф. При сволочнейшем характере и почтеннейшем возрасте, по иронии природы, являлась она еще и самой заядлой в школе кокеткой, не пытавшейся заигрывать разве что со стулом. Но единственным, многолетним, воздыхателем был только физрук – громадный мужлан, сложения орангутанга, как будто сбежавший из учебника зоологии: с огромной головой, огромными губами, с зарослями бровей и гипертрофированным носом (с зарослями в ноздрях тоже), с руками-ковшами, болтавшимися чуть не ниже колен, с пегой гривой, добрейший, но иногда поколачивавший мальчиков кем-то оброненным кедом по заду и в припадке гнева бегавший за ними по физкультурному залу (а иногда и по всей школе) с палкой, передвигаясь при этом ужасающими, гигантскими мифологическими скачками; заглядывал он к Ленор обычно на перемене – и почему-то страшно смущался. Словом, персонажем Ленор Виссарионовна была вполне трагикомическим, но нервы всем портила ежедневно изрядно. И как анекдот уже давно по всей школе

разгуливала ее излюбленная фразочка, ровно на каждом уроке в адрес очередной, произвольно выбранной жертвы («вертелся», «разговаривал», «оправдывался», «спорил с учителем») особым, довольно высоким, но сплюснутым каким-то, лакированно-стервозным голоском выкрикиваемая: «Тэээээк! Встал! Пошел вон! Два – в журнале!» И если в этот день Ленор Виссарионовна фразу эту еще не пропиликала, и ни на кого еще не наорала, никого не извела сволочными одергиваниями, никого не оскорбила, то вертелась и поёрзывала она на своем стуле как-то недовольно, считая, что время прошло зря, и явно начинала сомневаться в своих женских чарах. И в такие минуты верноподданническую приторную мину Хомякова ценила рядом с собой особенно высоко.

– Нет, мне просто интересно: что, вот что конкретно, что ты вчера делала, вместо того чтобы пойти вместе со мной, со Склепом?! – шепотом (дотягивая этот шепот до драмы академического театра) допытывалась у Ани Елена.

– Чего тебе нужно? Отвали, подруга. Чего ты ко мне пристала. Говорят тебе: дела были. Я родителям обещала кое в чем помочь, – Аня сделала уже физиономию даже не сковородой, а ведром, и принялась, по-деловому, всеми десятью пальцами сразу со всех сторон, подправлять заколку-автомат, все время некстати отстреливавшую на затылке, еле-еле стягивавшуюся на Аниных тускловатых прямых темных волосах, которых она никогда не распускала.

– Нет, вот ответ мне прямо, по-человечески: неужели ты правда думаешь, что выносить помойку дома или пыль с телевизора смахивать – важнее этого? Знаешь, где мы были вчера, между прочим?

Анюта, закончив манипуляции с волосами, не глядя в ее сторону, чуть отбычив нижнюю губу, холодно, боком, выслушала звуковые блики, словесные отблески были про Склепов марш-бросок, и мстительно-ледяным голосом то ли осуждающе, то ли издевательски, но демонстративно прилично, резюмировала:

– Замечательно...

Надулась. Потом – аккуратно цопнула ноготками за ушко листочек с парты, поняв, что игры сегодня не будет, и вложила его ровно в то место, откуда минуту назад его выдрала.

На первой же, впрочем, переменке, они уже помирились, и стоя в туалетном клубе, задами оперевшись о подоконник (служивший попеременно то банкеткой, на которую надо было чуть подпрыгивать – а то столиком для завтрака), с хохотом рассказывали друг другу свои сны: Анечке той ночью приснилась Ленор Виссарионовна, прыгающая по всей школе в розовом пеньюаре, в балетном порыве, и с перьями, торчащими в самых неподходящих местах; а Елене снилось, как она жарит зеленый горох.

Некоторые тектонические подрагивания школы чувствоваться начали только уже на большой перемене.

Перед третьим уроком зоологичка (заводчица богатой коллекции заспиртованных скорпионов, тарантулов и сколопендр, дама возраста неопределимого, внешне являвшаяся полной противоположностью алгебраички: низкорослая, сутулая, без талии, с широким тазом, без всяких ужимок, и вообще без всяких женских поведенческих признаков, одевавшаяся с революционной убогостью, мешком, в блеклые выцветшие невзрачные цвета, в стиле Крупской, да и чем-то на саму Крупскую, судя по каноническим фотопортретам, сильно смахивавшая – как будто всю жизнь себя с нее списывала: с небрежным пучком, с одутловатыми, обрюзгшими, базедовыми чертами лица, с распухшими орбитами под недобрыми озабоченными глазами, глядящими с постоянным злым вызовом, вся как-то скукоженная, в три погибели; коротенькие каблучки, – на которых она очень любила во время уроков разминаться с пятки на мысок, прохаживаясь у доски, со здоровенной деревянной дубиной указки с выжженным паяльником змеевидным рисунком, – этой фигуры не только не исправляли, а наоборот, окончательно превращали ее в короткий вопросительный знак) выскочила из кабинета и, быстро, встав на мыски и разыскав в галдящей толпе глазами Елену, прямым, чуть спотыкающейся походкой, ковыльнула к ней и грубо схватила ее за руку:

– Это правда, что этот... (бледно-коричневые, криво покрашенные губы зоологички дрожали от ярости, и почему-то – то ли из ненависти, то ли из благоговейного ужаса, не могли выговорить Склепова имени) ...это что, правда, что он водил вас вчера в цер... – тут злобный, слюнями брызгающий, шепот перешел в какое-то невнятное шипение и цоканье.

«Понятно. Уже кто-то донести успел», – молнией пронеслось у Елены. И, чуть отстранив ухо от фонтана слюнявой злобы, она судорожно начала соображать: следует ли открыто продекларировать вчерашний поход – не принесет ли это Склепу дополнительных проблем, – или надо обхамить биологичку сразу и сказать, что, раз та получила донос, чтоб пошла и спросила самого Склепа, в лицо.

Делая вид, что не расслышала, – и беря себе еще несколько секунд на размышление, Елена сделала в толпе резкий шаг в сторону, заодно еще и мягко пытаюсь изъять себя из неприятной, чуть потной – но почему-то загробно ледяной – трясущейся от ярости ручки учительницы, сжавшей ее запястье.

– Что вы сказали? Здесь так шумно, что ни слова не разобрать! Вы не могли бы погромче?

Зоологичка, грозно вытаращив глаза, сжав руку Елены еще настырнее, тем не менее, во всеуслышание произнести свои обвинения в окружающей толпе почему-то не пожелала: вместо этого все более и более напирала, бонобовы складки на лице ее морщились и дергались еще яростнее, и шептала зоологичка, все более уходя и вправду в еле различимые ультразвуки:

– Этот... этот... он что, правда ведет среди вас религиозную агитацию?! Он что, правда верит в... – и здесь зоологический шепот ненароком заполз в вечность.

Елена уже без всяких приличий выдернула руку из трясущегося от злобы зоологического капкана и резко отстранилась от нее:

– Я не понимаю, Агрипина Арефьевна: вы что, забыли, что сейчас не тридцать седьмой год, а восемьдесят восьмой? – поинтересовалась она как можно громче.

Зоологичка, ненавидяще на нее глянув, сжалась в кулак, и не говоря больше ни слова, крутанувшись на низеньких квадратных каблуках, убралась восвояси в кабинет. Тем более, что к двери кабинета с глуповатой улыбкой уже пробрался сквозь толпу давний поклонник ее – лысый физик (окромя Агрипины страстно любивший еще одного человека в школе: Хомякова).

– А-а, смотри-т-ка, Бильярдный шар опять подвалил, – цинично прокомментировала Аня вполголоса.

А Елена со скукой вспомнила, как с год, что ли, назад зоологичка, вытянувшись перед классом у доски по стойке смирно, зачем-то, «с

позиции физики», принялась обличать «попов, мошенничающих со святой водой»: «Это ж известный фокус! Они кладут в емкость с водой серебряный крест – и обогащают воду ионами серебра! От этого вода приобретает ценные целебные свойства! А попы потом заявляют, что исцеления людей происходят по чуду!» Что такое «святая вода» никто, особо, в классе не знал, да и про попов тоже слышали только от Пушкина. Так что Агрипинову яростную тогдашнюю политинформацию все как-то спустили мимо ушей.

Куда более тревожной была сейчас молевидная тень, призрак, летучий голландец, замелькавший по коридору рядом с тем классом, где вел урок с десятиклассниками Склеп – безобразно худая и вся словно паутиной и пылью подернутая, с тихими впалыми глазами скелета и черными кругами под глазами, седокудрая завучиха по истории, надзиравшая, заодно, и за идеологией, абсолютно молча крутилась в толпе, с серой папкой под мышкой, ко всем присматривалась и прислушивалась, и что-то вынюхивала.

Вкрадчивый тихий стиль этой блеклой валькирии из парткома – никогда ни пол-звука на орущих тонах, никогда ни вопроса прилюдно, да и вообще говорила-то она всегда так, словно у нее сел голос, и теперь она его сэкономила (и если уж беседовала с кем-то, этим неизменным придушенно-глухо-сипато-пыльным тембриком, то старалась всегда придать взгляду своих и без того страшных бесцветных глаз измученное, усталое, умудренное жизнью выражение – так что собеседник невольно начинал себя чувствовать неловко) – уж точно не сулил добра.

До самых майских ни одного урока у Склепа с их классом не предвиделось.

И, приканчивая вторую банку горошка (только чудом избежав нового пожара), Елена всё силилась вообразить, что же за волшебные путешествия скрываются за Склеповым обещанием: «Именно. Нас ждут дальше. Продолжим скоро. Именно».

Весна крепилась-крепилась и вдруг как будто расхохоталась; и от хохота этого в единую ночь были взломаны крошечные ларцы, раскинувшие непрочные крышки и выбросившие наружу сахарно-сливочное приданое: и звонко-белые крылышки цветущей вишни замелькали, легкой фатой зависнув в воздухе, будто воры ночью впопыхах слишком нежную ткань, расшитую кружевными

мотыльками, быстро и неаккуратно пронесли тайком над деревьями, и она зацепилась, застряла, да так и осталась всполохами на ветках, – и, когда возобновились уроки, всей душой чувствовалось несоответствие, неуместность нежной вишневой этой красоты в школьном дворе – этом елейном предбаннике ежедневных пыток, слева от свежавыкрашенных, серых, масляной краской невыносимо воняющих колонн под серым же карнизом с кругломордым гипсовым ленинским барельефом. Входя в пятиэтажное буро-серого кирпича, с кроваво-красным цоколем, здание – орущее и уже жалящее паскудно громким звонком на первый урок, Елена оглянулась на молоденькие вишневые деревца, безвкусно взятые под арест деревянными рейками вокруг, меж канонических, в рост четвертого этажа, толстых школьных берез, медленно разматывающих дежурные свои небогатые украшения – и невольно с выворачивающей солнечное сплетение тоской и омерзением подумала: «А зачем весна-то вообще тогда – если все равно сейчас придется все те же рожи в этом зоопарке видеть? А до Склепова урока еще ждать два дня!»

Впрочем, ждать вестей от Склепа долго не пришлось. На большой перемене, когда Елена и Аня мирно прогуливались под руку по коридору четвертого этажа (поверх болтовни Елена с умилением разглядывала Анютину сменку: патютишные, детские, очень-очень-светло-бежевые сандалики, до безобразия стоптанные со стороны пятки наружу, и буквально разваливающиеся по частям; из детсадовских же этих сандаликов выпирали фарфоровые, худенькие, выглядевшие стеклянно хрупкими – особенно при общей упитанности Анюты – точеные лодыжки), вдруг, пихаясь, разбрасывая всех со своего яростного пути, пробилась к ним сквозь визжащий кордебалет зоологичка, с абсолютно зелеными от злости щеками и лбом, и, ужасно выпучив красно-белковые глаза, заорала:

– Кто?! Кто это сделал?! Кто выломал мой вишневый сад?!

Елена, не успев справиться с эмоциями, расхохоталась – за секунду сообразив, что зоологичка едва ли тянет на роль Раневской.

– Смеяться?! Смеяться надо мной?! Я спрашиваю: кто сломал мой вишневый сад?! Вы?! – посиневшие губы невероятно шли к зеленому лику.

Видя, что буйная Агрипина Арефьевна через миг набросится с кулаками, Елена с Анютой, кой-как справляясь с неудержимым,

желудочным приступом хохота – от сюрса реплик, – поклялись, что сада не ломали.

Запинаясь на каждом шагу тупыми носками о паркет, зоологичка помчалась куда-то в направлении учительской, на ходу приговаривая загадочные проклятия:

– Мозжечком! Мозжечком! Чую, что это он! Мозжечком чую – он! Ну я ему устрою!

На четверть часа позже звонка на перемену (Склеп был единственный, после уроков которого не только не спешили убежать, но и напротив, любыми исхищрениями старались задержаться, повисеть где-нибудь рядом с его волшебным драным пиджаком) из кабинета литературы хлынул наружу замороженный народ.

Лиза, загадочно-счастливая, вся светящаяся, выплыла из класса последней. И, увидев Елену, попросила «по секрету» передать «всем», что Склеп уже сегодня вновь собирает тайное общество в три часа дня, у Сокола.

Заглянув в дверной проем, Елена обомлела: весь класс цвел, скучная доска, тинистые грязные шторы, скошенные и связанные в снопы по краям подоконников, – всё было задрапировано живым садом, всё кругом было в цветущей вишне – живые нежные веточки висели везде – и необъяснимым образом свешивались даже с трещащего, пыльного светильника дневного освещения, – и всё тот же странный, не-вишневый, цветочно-матовый аромат (тот самый, что царил в кабинете с первого же урока Склепа в их школе) чувствовался даже еще интенсивнее. Когда и как Склеп и возможные поделельники исхитрились наломать вишни во дворе, перед самым школьным крыльцом, незамеченными – было загадкой.

– Именно! – довольно пояснил Склеп, увидев ее блаженную оторопь. – У нас был Чехов. Именно, Антон, «Вишневый сад», Павлович.

И Елена с благоговейным ужасом поскорее захлопнула дверь снаружи и приперла ее спиной – как какую-то рассохшуюся крышку ящика пандоры – все еще надеясь, что туда не всунет нос разъяренная зоологичка.

«Ну уж так уж и выломал! – усмехнулась она, выбежав на следующей же переменке во двор – позырить на освященные

Склеповым искусством кустики вишни. – Так, чуток подстриг к весне, можно считать!».

И уж когда Аня, после уроков, на ее просьбу хотя бы на этот раз пойти со Склепом вместе, опять затянула: «Не могу, у меня дела сегодня дома» – Елена твердо решила, что на этот уж раз точно никогда не будет больше с Аней общаться.

Изумительным было то, что не только Анюта (которая, как давно уже догадывалась Елена, любой новой ситуации – а уж тем более новых ярких людей – в жизни побаивалась, ни одной подруги, кроме Елены, не имела, и чувствовала себя комфортно исключительно в обществе безопасных интеллигентных старых родственников на тихих семейных вечеринках), но и никто из тех нескольких десятков зевак, липших в школе к Склепу, как осы на варенье (после первого, феерического похода в синагогу и к баптистам, Елена не сомневалась, что сейчас, из-за скорости школьного телеграфа, увидит на месте встречи просто аншлаг), – не пришел. Под неработающими, с разможенным вдребезги циферблатом, часами на Соколе к крошечной компании прибавилась одна лишь Руслана – девушка-пышка, девушка с щечками-пончиками, девушки с косой в руку толщиной и с челкой завитушками, с пышными ляжками и в мини-юбке, словом, рослая полнотелая русская красавица, которой не повезло только с одним: родиться в семье полковника, бывшего ее и за плохие отметки, и за собственные неудачи по службе, и за мини-юбку – впрочем, менее жизнерадостной, свободолюбивой и симпатичной это ее не делало.

На этот раз десант высадился на Кировской: тихим ходом, круголями и зигзагами, путаясь в направлениях, газонах и проулках, и возвращаясь к азимуту опять, заглядываясь на высокие литые ворота и дореволюционные домики-замки с песочными эркерами и башенками с не-песочными часами, спотыкаясь об урны, застывая на малопонятные комментарии Склепа, медленно побрели вниз по взрывающемуся филигранно гофрированной листвой бульвару.

Свернув в конце на узенькую улицу с труднопроизносимым названием: именем деятеля (неизвестно что наделавшего – может бы и к счастью, что неизвестно) рабочего движения, – Склеп повел их по запыленной, с незрячими, ничего не отражающими, кроме жирных бликов, из-за грязи, окнами, дороге, составленной из старых зданий и огромной паровой трубы, вынутой из-под асфальта, выгнутой дугой,

работающей теперь вот так – на весу, загипсованным инвалидом, – но все-равно радостной какой-то (с отскакивающим сухим эхом из солнечного проулка, где две девочки, вырвавшись от няни, желтым мелом, звонко цокая, рисовали на потрескавшемся бордовом цоколе себе дома по вкусу), принявшей весну дороге.

Здание, к которому подвел их Склеп, стояло к улице почему-то торцом – и с первого взгляда напоминало маленький старомодный кинотеатр.

– Именно! – отрекомендовал Склеп, когда они обошли, вслед за ним, заборчик кругом, и взглянули, наконец, зданию в лицо: портик под треугольным тимпаном, засвеченным солнцем; шесть колонн.

– Это что, опять синагога? – испуганно шепнула Лада Елене.

Склеп царственной поступью проиграл вверх октаву ступенек. И страшно просто ввел их, гуськом, в католический храм.

К удивлению, никаких коленцев, как с платком в синагоге и с магнитофоном в баптистском собрании, здесь Склеп не выкинул. Вступив в храм, он решительно шагнул к колонне с крошечной мраморной чашечкой, на дне которой блестела водица, на секунду нырнул туда кончиками пальцев, как в реку кролем, и затем спокойно и ловко сотворил в воздухе Север, Юг, Восток, Запад – громко, гулко и разборчиво выговорив:

– In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti! Amen!

– Ого! Языками владеет! Откуда это он, интересно... – тихо подхмыкнул сзади Хомяков.

Склеп, тут же, обернувшись к застывшим на пороге храма спутникам, возвестил:

– Dominus vobiscum! – и постоял так, лицом к ним, с секунду, как будто чего-то ждал – но, не дождавшись, разумеется, никакого ответа, вдвинулся между колонн в глубь храма, как будто органично вписываясь всем своим великолепным высоченным длинноволосым абрисом внутрь картины костела, где самым ярким источником света в это время суток и века было дребезжание воды, с поверхности которой Склеп только что вынырнул перстами. И там, застыв возле последней скамьи лицом к алтарю, уже спокойно и тихо зашептал что-то своему главному Респонденту. И такой яркой была беседа, что видно было всё: свет, надвинувшуюся ушную раковину – не дождавшись продолжения, все пулей вылетели под солнце.

Жаркий май. Размаянная дорога назад, на бульвар. Прощание с Хомяковым, промямлившим, что ему срочно надо ехать домой. Хихикающая Руслана. Желание тел упасть на лавки и замереть на солнце навсегда. Мистер Склеп, заметивший замешательство девушек (грязные лавки – цвета аллигатора – не присесть) – и молниеносно достающий из сумки волшебный баллон с пульверизатором:

– Грязь. Именно. Сейчас с этим мы справимся! – и мощнейшая струя, направленная из пульверизатора начисто смыла слой размоченной пыли и копоты.

– Что это?! Что это?! Покажите!

Дезодорант под названием «Интимный». Вот что это было такое. Только что выпущенный на каком-то советском заводе (похоже, военном) по конверсии, первый, после семидесяти лет зловонных подмышек, советский дезодорант. Дезодорант «Интимный». В баллонах такого размера и грубости – что казалось, что завод этот раньше приторговывал бутылками для молотов-коктейля. Ангел-костюмер, снаряжавший Склепа в дорогу, явно позабыл объяснить, для чего этот аксессуар нужен – и Склеп, по привычке, использовал баллончик со вселенской универсальностью. И Елена, наконец, поняла, что за цветочный запах источал кабинет литературы, с самого первого дня прихода Мистера Склепа в школу.

Хихикающая Лада. Хихикающая Лиза.

Мистер Склеп, со взглядом, устремленным в Вечность, в воздух, идеально прямо сидящий с ними на длинной лавке, на самом правом ее краешке. Мистер Склеп, молчащий о Вечности так напряженно, что, казалось Елене, легко считывались его внутренние слова, струящиеся в окружающем весеннем оранжевом мареве.

Когда через неисчислимые, незаметно и бурно пролетевшие месяцы, сидя вот здесь же вот, на этой самой скамейке вместе с Крутаковым (который, между делом, кокетливо наматывал собственный длиннющий черный локон на указательный палец, как на бигуди), Елена рассказывала ему историю появления и исчезновения мистера Склепа, Крутаков возмущался:

– Какой там институт! О чем ты?! Слава Богу, если его в психушку после этого не упекли!

С Аней Елена, на следующий день после костела, по загадочной причине, не разругалась. Да и приятно было, подладив вычитанную на

здании костела и переведенную Склепом латиницу под каламбур, поддразнить Анюту:

– Anna Domine!

– Замечательно... – чуть осклабясь, для приличия, бесстрастно произнесла Аня на все рассказы, – с интонацией «отвянь».

А на другой день на урок литературы в класс, вместо Склепа, заявила директриса и, краснея, сообщила, что учитель литературы уволился по собственному желанию, и, что пока замены не будет, урок можно прогулять.

– Слушайте меня сюда внимательно. Не шумите только. Пойдите, вон, на двор тихонько погуляйте. На солнышко. Под березки. Погода, вон, хорошая какая. По перилам не кататься только. И осторожно: решетку только вчера покрасили.

– Это же неправда, что он сам уволился?! Это, что, вы его уволили за эти дурацкие вишни?! Да вон же они, живехоньки, стоят! Это что, зоологичка добилась? Это – за церковь? – Елена успела преградить директрисе путь, когда та, огласив приговор, уже пыталась улизнуть до всяких расспросов.

Директриса с застенчивой грустью виновато отвела красивые кроличьи глаза, выразительно скосив их по направлению к учительской, и вышла из класса.

«Тройной аккорд. Как будто знал. Вышибли, гады. Вместо того, чтобы попросить на бис, на поклоны», – яростно выдыхала Елена, чувствуя, что к горлу подступает комок, и несясь по пустому коридору к учительской – логову гадов.

Учительская оказалась пуста. Завучиха по идеологии, густотой серой шёрстки в ушах, пыльным цветом всего облика и притушенным, протухшим голосом похожая, как сейчас казалось, зараз и на муху, и на крысу и на паука, заседала в дальнем, смежном кабинете, размерами сопоставимом с директрисиним, и была изумлена, что к ней кто-то вломился – вздрогнула, напряглась, но тут же оправилась и нанесла из-за своего заваленного бумажками стола упреждающий удар:

– Лена, я догадываюсь, о чем ты со мной хочешь поговорить... – тоскливым, обыденным тоном выдавила она, но чуть нервно двинулись серые ушки.

– Это – за то, что он верует в Бога? Это за то, что он водил нас по церквям? Скажите прямо! Что ж вы так трусите и придумываете

какие-то увольнения по собственному желанию? Уволили по доносу – так скажите прямо!

Завучиха вымученно-снисходительно усмехнулась:

– Ну зачем ты так, Лена. Ты ведь всего не знаешь. Сейчас я тебе расскажу...

– Чего я не знаю? Что это первый одаренный педагог в школе, за все время, которое я здесь учусь? Этого я не знаю?

– Лена... Дело в том, что уволить Игоря... как его? (завучиха картинно заглянула в какую-то бумажку у себя под левым локтем)...ах, да... так вот, уволить его потребовали твои же товарищи, твои же соученики... – скучающим голосом проскулила завучиха, и чуть усмехнулась одними глазами из своих глубоко запавших (так что было не достать) глазниц.

– Это – ложь. Никто из нас не мог требовать его увольнения!

И тут завучиха, с вкрадчивой улыбкой искусителя, указывающего на твой же собственный грех, как на причину несчастья, поведала:

– Нет, это не ложь, Лена. Я тебе сейчас все расскажу – мы же друзья, правда? Ко мне приходили мамы Вали Хомякова и Ольги Лаугард. И потребовали, чтобы я немедленно уволила, потому что он преподает не по программе. Я же не могу игнорировать волю народа. Правда?

Рыдая, размазывая кулаками сопли по морде, по пути домой из школы, сбежав, наплевав уже на остальные уроки, Елена почувствовала себя еще более беспомощной, чем когда-то в первом классе, когда фашистка – первая учительница – с волосатыми ногами и черными усиками над мясистой губой, изводила левшу Бережного, сидевшего с Еленой за одной партой, – страшными, извращенческими, нечеловеческими криками: «Бережной! Какой рукой пишешь?!» – причем, подбиралась, подползала к нему, извращенка-учительница специально сзади, неожиданно, незаметно – чтобы получить максимум садистского удовольствия: взять истерическим криком врасплох, – и после этого окрика следовал оглушительный удар учительской линейкой по столу рядом с его рукой – так, что к третьей четверти Бережной начал еще и заикаться. А Анастасия Савельевна, узнав про пытку, помчавшись к директорисе, устроила школе землетрясение, с гневным рефреном: «Она – эсэсовка! Вы держите на работе эсэсовку!

Я дойду до Роно! Я не позволю издеваться над моим ребенком – и издеваться над чужими детьми в присутствии моей дочери – тоже не позволю!» – однако единственное, чего сумела добиться – это того, что Елену перевели от ээсовки в другой класс, к тишайшей, добрейшей, почти ископаемой старой кроткой горбатой еврейке Ривке Марковне, дочери репрессированного.

И опять – так же как тогда, как в первом классе – самым ужасным, самым болезненным, самым невыносимым было то, что невозможно защитить того, кого уничтожают на твоих глазах.

С той только разницей, что Бережного прозревшие родители вскоре забрали из школы прочь. И Елена даже встретила его потом, через несколько лет, случайно в автобусе, на Соколе – подростком, вытянувшимся, молчаливым красавцем.

А Склеп просто пропал. У директрисы, когда Елена из учительской бегом к ней спустилась на первый этаж – в светёлку, запрятанную в самый угол, да так, что для того, чтобы добраться до нее, пришлось продираться мимо всегда катастрофой пахшего кабинета зубного врача и приемной медсестры с голосом клизмы, – в журнале подозрительным образом не оказалось ни его телефона, ни адреса. Склеп дематериализовался. Вместе со своим разорванным кожаным жюстокором. Так, как будто его и не было. Как будто не было у него на земле ни телефона, ни дома, в который бы этот телефон провести.

Вечером на лестничной клетке, у мусоропровода, встретила бледноногая Лада в летних желтых шортах, с желтым пластмассовым мусорным ведерцем, уже опустошенным, которым она, шлепая шлепанцами по ступенькам, размахивала словно лукошком с цветами, словно столкнулись они случайно в весенней рожице, а не у вонючей мусорной трубы – с неделю уже никем не чищенной и до отказа забитой на первых трех этажах: так, что Ладе, зря пытавшей счастья у туго выпадавших ржавых железных челюстей (везде шла наружу густая мусорная отрыжка) и на втором, у себя, и на третьем – пришлось подниматься аж к ним, на четвертый. Щеря десны, и всё живя впечатлениями вчерашнего дня, Лада в восторге лепетала одну и ту же, дурацкую, пришедшую на ум на активном досуге, мысль, с таким напором, как будто это что-то могло объяснить:

– Знаешь, что я поняла?! Склеп – девственник! Ему ведь уже года двадцать четыре-двадцать пять? А он – девственник!
Тараторила. Пока не узнала новость.

Глава 2

I

– Поддавки получаются. Все идиоты и гады у тебя с самого начала выглядят идиотами и гадами. А все симпатичные – симпатягами... И с самого начала яснее ясного, кто наступит... – лениво цедил Крутаков, переворачиваясь в симметричном от нее краю широченного дивана, – как всегда, с цикличностью блина, потому что опять отлежал себе руку, манерно свешенную с дивана вбок, с распахнутой, как павлиний хвост, книгой в кулаке, – и, тут же перехватив книгу другой рукой, и не отрывая глаз от строчки, уже вытягивался за дымящейся (но пока, к счастью, не протекающей) на метровой стопке книг слева от дивана глиняной чашкой чаю, раскоцанной во весь бок фигуристой молниевидной трещиной, – обожая делать десять дел сразу, – и она уже просто бесилась от этой его, в который уже раз в их болтовне медлительным сварливым контрапунктом запиликавшей, ленивой критики.

– Да что ж я могу поделаться-то, если это правда! Они и в жизни-то не очень скрываются – гады-то! Что ты ко мне вообще привязался?! Знаешь, что?! Не буду больше тогда вообще ничего рассказывать, раз ты тут еще со своими претензиями!

Когда крикливой, скоморошествовающей, рыже-розовой осенью (столь дождливой и хлесткой, что, казалось, согнув пополам стан, Москва яростно, беспрестанно, день и ночь моет над лужами волосы, пытаюсь вывести аляпистую – хватанула лишку! – краску, – да только еще больше, с мокрым хлестким шумом, разметывает во все стороны не гаснущие в дожде яркие искры волос), Елена вдруг объявила матери, что поступать через два года будет тоооолько на журфак, в МГУ, и больше ни-ку-да, – мать едва ли как-то связала это с исчезнувшим, растерзанным, победившим Склепом.

Тем более, что рассказывать матери подробности всех их крестовых походов оказалось вдруг как-то не с руки. Не то чтобы Елене не хотелось снижать его образ поломанной вишней. Нет – с этим

бы у нее не залежалось. Анастасия Савельевна, хоть и изумилась бы чуток, но вдосталь нахохоталась бы вместе с ней над недоброй сизогубой, низкозaday крупскообразной Агрипиной. Нет, внутренняя заминка была в чем-то другом. И Елена никак не могла это что-то, почему-то тревожащее ее (по большей части, как раз своей неопределимостью), это мистическое стеснение для себя сформулировать. Склеп как-то разом заключал в себя всё – и гигантский, малиновый, быстрый росчерк чьего-то пера в предзакатном небе (не острия, а перистой его части) ровно над той скамейкой, на которой они сидели в последний раз на Сретенском бульваре, – росчерк, таявший быстрее, чем по-вечернему рассыпчатая, прочерченная, чуть ниже под ним (криво и неудачно, – и гораздо менее доходчиво, чем перо) вполне видимым лайнером розовая линейка, еще через секунду выглядевшая уже как чей-то окаменелый распадающийся на глазах хребет, а еще через секунду – уже как ярко золотая цепочка (в честь вышедшего – где-то вне поля зрения – на краткие прощальные поклоны из-за фиолетовых кулис светила) с продолговатыми звеньями, а еще через секунду – уже как мелкие, редкие олени следы: сиреневого оленя, проскакавшего галопом – всё это принадлежало Склепу безраздельно, и высказано вслух, всуе, быть, по ее ощущениям, никак не могло. Некоторым образом к Склепу относилась теперь даже и Руслана, у которой, когда та нервничала (а нервничала она всегда), катастрофически пахло из подмышек, да она еще и имела привычку в знак восторга всплескивать всем своим обширным телом в воздухе от эмоций, – и страсть как хотелось там, на бульваре, попросить Склепа использовать его баллончик с дезодорантом один-единственный раз по земному, прикладному, назначению. И теперь, когда Елена видела Руслану на уроках (а видела она ее довольно редко, поскольку та безудержно прогуливала: Руслана была тайно и несчастно влюблена в коротконового модника Захара – его пубертатные прыщи действовали на всех девушек в классе почему-то неотразимо, – Захар же откровенно над Русланой издевался, считая ее сентиментальной толстухой; и по этому поводу Руслана, заговаривая сердечное горе, пускалась во все тяжкие с какими-то хахалями «с дачи», из другой школы), у Елены возникало странное, почти необъяснимое щемящее чувство благодарности – что вот эта вот, случайная, в общем-то, спутница, – несносная, шумная, хотя и

провинциально добрая, – большая, со всегда штормящим телом, – с которой Елена никогда не дружила, да и вряд ли до этого за восемь лет учебы перемолвилась серьезно хоть парой фраз – щеголяющая теперь, на уроках, невообразимым, огромным голубым бантом в косе, засаленными до блеска, кое-где распоровшимися от распора стати, швами школьного платья и запретным дискотечным блеском серебристой подводки для глаз – а всё-таки почему-то ведь тоже откликнулась на Склеповы байки – и участвовала в том дрожащем нежностью последнем кадре перед его исчезновением. В каком-то смысле, в загадочных, неотторжимых, сюзеренно-вассальных отношениях со Склепом оказался теперь, в воспоминаниях Елены, даже и тот, чем-то до сих пор неудержимо обвораживавший ее, мелодично разговаривавший, черный подвал, из которого, впрочем, в реальном-то времени, выскочила она вихрем.

Вычленишь, расчленишь, сократишь и телеграфировать Склепа кусками – без всего вот этого щедрого, явно к нему относившегося, явно из него же буйным, цветным взрывом распустившегося, явно специально ради него громогласно и ликующе сотканного природой антуража – казалось сколь невозможным, столь и лишенным всякого смысла: никакого удовольствия подобная телеграмма ей (как отправителю) не доставила бы. Склеп, как и всё вокруг него, всё то, что он затронул (хоть не глядя, хоть обиняком), и даже все, чего он не заметил – всё, всё это ощущалось несократимой сложностью, – и потерять хоть частичку – значило вдруг грубо расколоть невесомую, защитную, сияющую, хрустальную, с радужными голограммами на гранях, скорлупу, заключавшую в себя всю эту живую жизнь, и выпустить воздух из всего этого совершенного, воздушного, не ей сооруженного сооружения.

Да, да, и еще, пожалуй, странной, особенной ловушкой на языке застревал тот говорящий подвал. Но с этим-то затыком всё было понятно: мать бы еще год охала и причитала, что нельзя никуда ее одну отпускать, – заикнись она ей об этом аттракционе хоть словом. И поэтому поохать матери довелось только кратко – над совсем уж протокольным сообщением: что эти скоты в школе сожрали еще одного.

И уж конечно, никоим образом, никакого рыцаря в разодранной кожанке мать, разумеется, и не подумала обвинять, когда,

договорившись ехать с ней на дачу и уже усевшись в электричку на Белорусском (удача: заняли два места, напротив друг друга, – мать, по благу, уступила ей сиденье «по ходу», чтобы вперед лицом, и зачарованно, обожая путешествия, крест-накрест сложив руки на сумке, ждала толчка поезда), Елена, до этого тосковавшая и рассредоточенным взглядом изучавшая сотни три сигаретных окурков, из которых ни один не был похож на другой, каждый был смят и приглашен поразному (стоптанные ноги мелких доисторических животных, хранившиеся в могильнике между ребрами дощатой скамейки и окном) – вдруг взвилась, вспрыгнула (как вспрыгнул бы естествоиспытатель от гениальной идеи), с каким-то оскорбленным видом быстро огляделась вокруг, заявила, что у нее в городе срочные дела, про которые она напрочь забыла, и что ей срочно надо бежать. И, прежде чем мать успела поверить, что Елена не шутит, та уже пробралась в потной толпе к тамбуру.

– Постой, постой – возьми хоть денег! Куда? Ключ!

– Есть, есть, всё есть, – крикнула Елена, уже выбегая (за миг до того, как клацнул черный кадр «снято») из автоматических дверей поезда на платформу. – Ничего не надо!

Покрутившись, впрочем, на жаркой Белорусской площади (небо над которой по тону, как всегда, дотошно отражало интонацию самой площади: оплёвки кожуры подсолнечных семечек, просто плевки, пыльная поволока, бензиновый дух), едва отбившись от двух мерзопакостных азербайджанских торгашей (грязных до жути, но с золотыми квадратными перстнями, с зубами – как вставная золотая кукуруза, и бронебойными пузами), и уже намереваясь войти в метро – обнаружила, что нет даже и пятака – и поехала домой на троллейбусе, зайцем. Да и в ежедневной жизни, как ей казалось, каталась она уже давно зайцем. Лишь слегка, микроскопически, – настолько мизерной частью своего сознания, что ею вполне можно было пренебречь и не брать в расчет, – участвуя в клеточной, завтрачно-ужинной, урочно-подружечной, внешней жизни, – все внутренние силы растрчивала она на вчувствование в загадочно, неразборчиво, но всё же абсолютно неоспоримо звучащее в ней приглашение. Куда? С кем? Зачем? Никаких ответов не было – но чувство это заполняло ее всю, и было реальней, чем что бы то ни было из знакомого, внешнего мира.

Празднуя лето, она тем сильнее маялась каждый день от не дававшей спокойно дышать тревожной уверенности, которую ни зажевать ни заговорить: что ей и на самом деле назначено какое-то свидание, – причем (и это осложняло дело) свидание это не зависело ни от какого конкретного места, и, уж тем более, не носило ничьего образа, ни имени, – а цветные эпитафии Склепа (картинки, на внутреннюю ощупь, ближе всех, по высоте звука, звенящие к чуду) использовало лишь как чудесный верстовой столб, изумительный указатель, – и, тем волнительнее было это ощущение, что чудо искать и ждать нужно было везде, быть начеку каждую минуту, чтобы не пропустить; а все-таки, загадочным образом, это, искомое, обещанное чудо всегда в ней каким-то авансом, залогом уже звучало и присутствовало – и это требовало напрягать все чувства еще более невыносимее, вслушиваясь, ловя резонансы – надо было быть настороже и внутренним эхом прощупывать во внешнем мире те, самые неожиданные, до изумления простые, самые отчаянно проходные, на первый взгляд, явления, в которых вдруг оказывался закодирован намек, отзвук. Ждущий ее, ведущий ее куда-то. Иногда, в крайней степени взведенных чувств, ей казалось, что зовущий звук внутренний этот настолько оглушительен, настолько ощутим, что и весь мир, все люди вокруг нее, его слышат. А с изумлением убедившись, по реакциям окружающих, что те либо глухи, либо слепы, либо глупы, – в нарциссическом, почти обморочном прозрении, заподозрив, что частота этого загадочного звона настроена специально под нее, – она, наоборот, иногда теперь даже боялась, что кто-то подслушает. Но – вокруг все было спокойно, как на кладбище. Покойнички бодро и послушно, строго по распорядку, отправляли свои ежедневные гугнивые дела. Загадочный отзвук, похоже, улавливало только ее внутреннее ухо. Никто никуда не вскакивал, никто никуда не выбегал. Все люди вели себя вокруг, как сговорившись, размеренно, в соответствии с собственными зоологическими видами, подвидами и семьями. Хищно рыскали в поисках малолеток, за десятку, по Белорусской площади азеры. Какая-то женщина с цыганским интригующим голосом, похоже, потерявшая свою собаку, с левого угла площади истерично подзывала: «Роза, Роза, Роза, Роза!». Аня была сослана в пионерский лагерь: покорно собрала вещички, постриглась – как по линейке подровняв волосы, напялила мужскую зеленую

бейсболку и поколдыбала к групповому автобусу. Эмма Эрдман, в чернейшей меланхолии, тщила дни в заточении на даче в Переделкино, и то и дело ухитрялась звонить Елене из какой-то сторожки, тоном ослика Иа-Иа признаваясь, что завидует ей, что она в городе, и умоляя приехать. А мать Елены все выкрутасы дочери кротко приписывала переходному возрасту.

Чувство, с которым Елена теперь каждый день пробуждалась, жадно всматривалась в мир, а вечером засыпала и сновидствовала, было и впрямь сродни влюбленности. Только с неясным объектом, рассредоточенным, являющимся в различных невидимых и видимых вещах, между собой перекликающихся, и таинственно связанных, которые тем не менее, звучали не сами по себе, а создавали лишь незримую, звонко натянутую, тут и там, нить, как поводырь для слепых – зазвенело: ага – мне туда, мне, несомненно, туда – и здесь, и вот здесь, и вот здесь опять что-то есть, – и стягивались, влеклись в неизвестном ей пока направлении. И игра со звенящими стрёлками – а, главное – требовавший всех усилий души поиск этого направления, куда они все оглушительно, но неясно указывали, – ежесекундный поиск этот, выпихнувший ее вдруг из вагона (сделав вдруг до невыносимости отвратительной мысль о предстоящем часовом заключении в электричке, забитой никак не относящимся к ее внутренней жизни зоологическим отрядом тупорылых теток с военным запасом жратвы в курдюках) – и было тем делом, наличием которого она отбоярилась от матери, – и, с недавних пор, собственно, главным делом ее великовозрастной, пятнадцатилетней жизни. Тоска – смертельная тоска, когда отзвуки и отсветы вдруг затухали (и эта внезапная мягкая глухота тоже звучала, но совсем по-другому – резким, едва выносимым, как будто ножом по струне, визгом, воплем «мне сюда не надо»), – каждый раз своим непрошенным появлением заставлявшая ее судорожно, до смерти испуганно, пытаться понять, на каком перекрестке она неправильно свернула, где она в последний раз явственно слышала таинственную музыку, видела подсказки, знак, отсвет – и надо было спешно вернуться и начать на ощупь поиск заново – и в эти отчаянные минуты она могла сделать всё что угодно: закричать, нахамить матери, обидеть ее, – чудовищная тоска эта была, собственно, расплатой за напряженное счастье всех прочих минут.

Доехав до Сокола, расседлав троллейбус, она, не веря своим глазам от счастья (несколько другого, земного рода), обнаружила, что в киоске (куда, в честь привоза в город дефицитной жары, выстроилось уже человек шестьдесят паломников) продают, впервые за последний год, ее любимейшее, редчайшее, фруктовое мороженое, в низеньком бумажном стаканчике.

Добыть деньги в отсутствие матери можно было единственным, проверенным способом. Она на радостях – не чуя под собой ног – бросилась домой, уже предвкушая скорую кисло-сладкую ягодную ледяную бомбу. Способ был прост, как веник. Собственно, веник и был способом. Мельком поздоровавшись на ступеньках перед парадным с Максом – флегматичным молодым человеком, блошисто трящим головой и почесывавшимся, и увалисто переминавшимся с ноги на ногу, точно как валандавшаяся с ним рядом, без ненужного поводка, флегматичная черная слюнявая водолазиха Зана (враки, что собаки подражают хозяевам – это люди, наоборот, с годами подстраиваются – вон, у него уже сейчас слюни потекут, того и гляди), Елена, не читая даже заглавных ступенек, меряя лестницу гигантскими аккордами, и зависая на заворотах на поручне, чтобы одним рывком подтянуться ввысь – как будто подпрыгивая с шестом, – взлетела к себе на четвертый этаж, ворвалась в квартиру (хоть ключ не забыла!) и совершила действие, видя которое, мать наверняка бы хлопнулась в обморок от умиления: пробежала в материну комнату, достала из-за книжного стеллажа веник, не слишком-то в их с матерью двухкомнатной квартирке востребованный – и с остервенелым энтузиазмом взялась выметать квартиру. В комнате Анастасии Савельевны, между лилией в гигантской кадке и декабристом (не цветущим ни в декабре, ни в мае, ни сейчас, в июле, а живущим просто так – на личном маленьком столике), под круглым пестрым ковриком тут же звонко обнаружилась двушка. Чуть левее, прослышав о срочной мобилизации паркетных сибаритов, к ней суетливо подбежала еще одна, ржавая, копейка. Из-под малинового трюмо (на котором, вместо диктуемой жанром косметики, под тройным раздвижным зеркалом, они с матерью частенько, против всех этикетов, ужинали, или расставляли угощение, когда в гости заваливалась орда Анастасии-Савельевниных студентов, – любя этот угол, видимо, из-за того, что благодаря отражению, еды казалось в три раза больше), вместе с

колбаской пыли, удалось выбить аж пятнашку: бледную, незаметную, маскировавшуюся под никому не интересную и не нужную пыль, которая, кабы не жажда редкого мороженого, так бы и валялась там до конца света. Узкая щель под собранным диваном Анастасии Савельевны была самой многообещающей – и пришлось сесть на корточки и выуживать уже вслепую. Шарить там пришлось долго. Ни через полминуты, ни через минуту, к чудовищному ее разочарованию, улова не было вовсе. И, фыркнув, Елена распрямилась и побежала в ванну умываться ледяной (отключили!) водой от пыли. В кухне было побогаче: под крошечным, раскладным красным квадратным «обеденным» столом (который, продолжая добрую традицию мебельного маскарада, Анастасия Савельевна, наоборот, использовала чаще вовсе не для еды, а для временного приюта любимых, ручных книг – и сейчас там в обнимку голодали синий Блок и серый Чехов), прямо на видном месте, на квадратном, как для игры в классики, паркете, лежал себе пятак – хоть и не без зеленцы на бронзе. В столик с посудой, который они с Анастасией Савельевной между собой почему-то называли «рабочим столиком», – с выдвигным (хотя и с трудом) ящичком, где, среди ржавого хлама, была обычная нэчка их мелочи, – Елена сейчас даже и не полезла, зная, что в прошлую среду, в голодные дни перед материнскими отпускными, они и так уже выгребли оттуда с Анастасией Савельевной всё подчистую. Под дверцей холодильника обнаружилась еще копейка. За голубым старинным буфетом (собственноручно аккуратнейше выкрашенным Анастасией Савельевной в небесный) – было пусто. Зато в зеркальном ущелье за круглой некрашеной высокой деревянной этажеркой для туфель (смастыренной для Анастасии Савельевны ее бывшим студентом Платоном – вечно лохматым, кудлобладым, добродушным, одиноким, с огромными ручищами парнем – с младенческим, но тоже огромным, чуть низколобым, лицом, – тем самым Платоном, который сколотил и особый, удобнейший, хотя и примитивно простой, идеально отполированный, пахучий, большой прямоугольный светлый липовый стол, без ящичков – планировавшийся под обеда – но который Елена забрала себе, как письменный), ждали ее еще два пятака и пятнашка. И, наконец, самая крупная и самая внезапная, совсем уж невероятная добыча: железный рубль выбит был веником из-под медных педалей смуглодекого Дуйсена, в ее уже собственной комнате.

Закутана монета был в шаль пыли и пуха *populus moskoviensis* (как констатировала бы идиотка Агрипина). Рубль оказался чернобыльского года разлива – восемьдесят шестого, и даже, на удивление, без морды Лукича – а, наоборот, со взлетающей, вырвавшись из чьих-то неприятных лап, голубкой.

Не тратя времени на выбрасывание отслужившей пыли, вымыв только руки и процедив в горсточке под ледяной струей воды монетки, как на прииске, и решив, что теперь, без матери, она сможет питаться одним мороженым хоть целую неделю – только бы в киоске у метро еще хоть что-нибудь осталось – Елена, захлопнув поскорее за собой дверь (после веника сверкающие пылинки металась в воздухе, как озверевшие сверхновые), и очень-очень осторожно, пережевывая моржово-мороженную, на до-мажор, скороговорку, притормаживая, как на таможне, на каждой бежевой меже – главное, чтоб не как бомж – об блок лбом (почему-то, всегда было безумно легко лезть вверх по лестнице: ноги как-то сами находили опору; а вот вниз – ужасно трудно! – невозможно было сосредоточиться на скучнящих ступеньках: странно было брать под арест мысли в лестничную клетку: сразу сбегали! – и не раз уже пропахивала мысли коленками; поэтому приходилось любыми, даже языколомными, исхищрениями, пригвазживать внимание ритмом к каждой ступеньке) – перелистнула лестницу – и помчалась к метро.

Нет, пуха на улице уже не было – а жаль. Те короткие полторы – две недели, когда над городом какие-то невидимые, но явно симпатичные дети швыряются друг в друга подушками и, хохоча, потрошат их, – она, втайне, очень любила. И вообще, любила, когда город заваливало – пухом ли, снегом, не важно. Зимой, когда из-за снегопада все ступорилось, миллионы закоренелых остолопов в одночасье становились беспомощными, и хоть на секунду переставали верить в свой распорядок и в то, что всё от них зависит. Или, вот еще когда вдруг во всей «белой башне» (как называли все в округе дом, в котором они с матерью жили – хотя и была-то эта «башня» всего лишь обычной блочной девятиэтажкой, без лифта. И «белой» назвать ее можно было лишь весьма относительно, с большой натяжкой, и по преимуществу вечером) на минутку вырубалось электричество, или, еще лучше – когда вырубалось минут на пять на всей улице. Стихийные безобидные шалости – когда от растерянности даже самые

безнадежные зомби хоть на секундочку перестают быть зомби – она втайне с восторгом приветствовала: как какие-то вынужденные меры по приведению самоуверенных идиотов в чувство. Но пух, конечно, был красивей и эффективней всего: когда слепцам, на всю жизнь зажмурившимся и напялившим себе, вместо черных очков, на глаза, свое гутнивое, оксюморонное «очевидное», – и глухарям, залепившим себе мозг и уши сырым мякишем батона за тринадцать копеек, – вдруг, против всех правил и обычаев, проводили принудительный засев невероятного через нос. А высокие травы на диких газонах валяли белые валенки.

Сейчас, по мотивам андерсеновского огнива, дорогу до метро даже чудак-инопланетянин, умеющий смотреть только себе под ноги, мог бы без труда найти по липким метинам: отклеившимся, из-за извержения мыльно-алкогольной пены, этикеткам (усеивавшим тротуар, увы, вместо пуха), и по буйкам крышечек и пробок – и винных, и пивных (в детстве мальчишки во дворе, с восхитительной грязью под синюшными ногтями, как-то раз похвастались перед ней новой игрой – игрой самой, пожалуй, дебильной из всех, что она знала – собирать под окнами и в палисадниках пластиковые крышки от винных бутылок: самыми расхожими и низко ценимыми, дававшими всего сто очков, были белые крышки, и назывались они почему-то «Прапорами»; дальше шли крышки красные – «Генералы», дававшие двести очков; и верхом мечтаний соседских пацанов было найти винную крышечку желтую: «Адмирала», дававшего сразу триста очков. Набирали все игроки к концу дня по несколько тысяч очков. И теперь Елена почему-то то и дело замечала под ногами этих желтых адмиралов – и пинала их в кювет); дорогу можно было легко опознать и по любителям оных отечественных напитков, не дошедшим, не добредшим, не доползшим (либо от метро, либо к), осевшим на газон, или стоящим, вон, в обнимку с электрическим столбом, как те двое, мрачно-сосредоточенно изображающие добропорядочных граждан; или – как вон тот, в (грязными ногами избитом) пиджачке, на автобусной остановке, бессмысленно улыбающийся собственным клетчатым рваным домашним тапочкам; а то и по тем, попросту тихо, мертвянно спящим на земле, как тот вон тридцатипятилетний старик с черным от солнца морщинистым лицом под кустом ирги, заботливо удобренным со всех сторон разноцветным битым стеклом.

Киоск мороженого был пуст. В смысле – пуст на ее вкус. Осталось блевотно-жирное «Бородино» (она никогда не могла отделаться от неприязненного отношения к людям, которые сорт этот любили и покупали – казалось весь жир, и весь фальшивый, жиденький, непристойного, бежево-мутного, обжористо-среднячкового цвета шоколад, пристают к их зрачкам и становятся жирным, невыразительным, талым, фальшивым цветом их глаз) и глупейшее эскимо за сорок восемь (контингент его потребителей, как ей казалось, был еще хуже: приходят домой, садятся ввосьмером за стол, не снимая спецовок, валят эскимо с матюгами в супную тарелку и рубают столовыми ложками; или, наоборот, уж полная тошнота: на генеральской даче, холодным летом, раскладывают специальным круглым железным дозатором, как скальпелем, ждут, пока растает, и пичкают потёкшим приторным молоком тупых белобрысых жирных внучков, из квадратных креманок). Громадный горланистый седой мороженщик (казавшийся ей как раз третьим подвидом потребителей эскимо за сорок восемь) неожиданно, вместо матюгов (подошла спросить без очереди), любезно изрыгнул информацию, что фруктовое сегодня завезли и в киоск на другой стороне шоссе, у рыбного – и что если она поспешит, у нее есть шанс успеть.

Блюющий алколоид в подземном переходе под Ленинградкой явственно и внятно, при каждом рыге и приступе рвоты, по слогам, последовательно и громко произносил слова: «Бо-ро-ди-но!», а потом: «Крем-брю-ле!» Блевал, впрочем, аккуратно – не посредине серого пыльного бетонного коридора – а мог бы! – а с боку – в прикрытую ржавой железной решеткой канавку.

В другом конце перехода грузный ветеран с культишками вместо ног, путешествующий на плоской деревянной доске с убудочными пианинными колесиками, перебирая пол деревянными чурбаками, чтобы не изранить руки, и позвякивая, при каждом рывке, медалями на пиджаке, осилил, корячась, только что бетонный скат для детских колясок, и теперь, еле-еле затормозив, и бросив чурбачки, достал из нагрудного кармана пачку беломора, вложил в безжизненный искривленный рот папиросу, даже не зажег ее, чуть прислонил себя спиной к пупырчатой стене, и застыл – и выглядел как прижизненный курящий надгробный памятник-бюст самому же себе.

Алколоид, помоложе первого, – вида тростника в ветреную погоду, еще не блюющий, но явно желающий догнаться, дежуривший в том конце тоннеля, – подвалил к инвалиду с каким-то заискивающим предложением.

Весь этот темный узкий подземный коридор, обычно казавшийся бесконечным, сейчас, вместе с полуживыми подземными экспонатами, промелькнул на бешеной скорости – потому что уже стучало в висках и барабанило в грудной клетке от забранного дыхания: сам тоннель был, конечно, уже не фиалка, в смысле запаха – но вот эти вот ступеньки, с северной стороны, служили уже просто узаконенным массовым писсуаром, и разжать сейчас нос – было бы самоубийством. И, из последних сил, на нечеловеческой уже выдержке сдерживая выдох (ошалевший в легких воздух, заранее набранный еще с южной стороны), Елена взнеслась вверх по ступенькам и, вынырнув, наконец, на залитый солнцем асфальт, выдохнула – и вздохнула чистойшей, привычной бензиновой гари.

Мороженое чувствовалось как награда. Народу у киоска практически не было: в очереди толклось всего-то человек пятнадцать, и купив сразу пять порций фруктового в крайне низеньких стаканчиках, составив их этажеркой, и, задумчиво и плавно, отходя от киоска (потому что сразу принялась за верхний этаж сальто-мортале), Елена решила, что лучше уж донесет свой передвижной ресторан до дальнего светофора – но больше под землю – ни-ни. Ну зачем, зачем они безнадежно портят все остальные сорта, добавляя в них жирнящего молока?! Самое дешевое и самое вкусное – без всякого молока. В нем ничего, кажется, больше нет, кроме кисловатой фруктово-малиновой кашицы и сахара. И щепотки стирального порошка «Лоск», как добавляет язва Аня Ганина. Доедая уже третий малиновый рассвет (совпавший с рассветом светофора) длинной прямоугольной, прессованной, сладкой (когда погрызть) фанерной палочкой, по кругу, начиная с краев, где чуть-чуть подтаивало, и цвет становился интенсивно сиреневым, – уже на пути к дому она вдруг почувствовала какое-то странное, необычное покалывание на небе – как от стекловаты. Сорвав со следующего мороженого круглую этикеточку, прикрывавшую малиновую твердь, она разглядела, что застывшее фруктовое море и вправду обсыпано какими-то мельчайшими блестящими острыми штуквинками. Попробовала:

действительно, колется и на языке не тает. Не лед – точно. Стекловата и есть стекловата.

«Погибну, как Герда, сожравшая Кайеву порцию ледяного стекла», – с ужасом подумала она – и накормила четвертым мороженым урну. На пятом мороженом, вроде, никаких стеклышек не наблюдалось – и глупо было бы выбрасывать. Горло, тем временем, колело все больше. И чувство некоторой атавистической неловкости перед матерью (вернется – а я тут от сожранного стекла окочурилась) заставило ее сесть в автобус и поехать в поликлинику. Детскую. Потому что во взрослую перевестись еще не успела.

В новеньком, смешно игравшем посредине салона на черной гармошке, пахнущем резиной, ярком венгерском Икарусе (который все еще чувствовался как диковинка – в сравнении с желтым, кургузым, коротким, похожим на катафалк из жестянки, советским автобусом) – на моднейших, раздвижных и складывающихся дверях красовалось (огромными печатными белыми буквами) краткое, драматичнейшее объявление: «СТОРОЖ РЫГАЕТ ВНУТРЬ!»

Работа была чистая – без единой дорисовки: невинная, но набившая, видать, кому-то оскомину фраза «ОСТОРОЖНО, ОТКРЫВАЕТСЯ ВНУТРЬ!» была изящно откорректирована исключительно путем сокращений – неведомой бритвой или острым ножом народного редактора. Не без таланта.

И в другое время она бы этой лингвистической находке порадовалась. Сейчас же в бедах сторожа ей почудилась какая-то неприятная рифма с ее личным дурацким мороженым происшествием.

Поликлиника запрятана была далеко – аж у самой реки – вернее у Строгинского канала, рядом с щукинской Лысой горой. Войдя в вестибюль, и вмиг унюхав, услышав, узнав до боли знакомые визги, запах микстур, спирта и хлорки, и, в ужасе, машинально разыскав взглядом на верхней полке стекляшки аптечного киоска, рядом с регистратурой, кашечные батончики гематогена в блёклой бумажке, почувствовала бурный приступ тошноты, хуже, чем у алколоида на Соколе: этим приторно сладким, с каким-то нездорово жирно-пришибающим густым привкусом рифленным батонком (с выдавленными желобками для разлома на громадные поперечные дольки), за недостатком в магазинах какого-либо другого лакомства,

сразу же потчевали чад (чтобы выменять на это хотя бы минуту тишины) без исключения все входящие в поликлинику мамы; ровно с этой целью приторная вязкая затычка на входе и продавалась – как подачка собачкам; Елена и сама легко вытряхивала из памяти ряд кадров, где, трехлетней, четырехлетней, пятилетней, сидя с матерью на липкой клеенчатой банкетке в белом коридоре со смаргивающим, угрожающе жужжащим освещением, в мучительной двухчасовой очереди к врачу, с голодухи и скуки, жевала щедро закупленный матерью хоть и гадкий, но сладкий гематоген – и не один! – и теперь Елена видеть его без тошноты не могла – потому как, с год, что ли, назад, медсестра раскрыла ей страшную тайну – что гематоген это никакая не сладость и не угощение – а бычья кровь с сахаром. Ничего более блевотного, чем веселое прикармливание ничего не подозревающих детей с детства бычьей кровью, придумать было невозможно.

От этого милого воспоминания и «Бородино», и эскимо за сорок восемь, вмиг оказались реабилитированы: «Ладно, блажь, вкусовщина – «Бородино» хоть и не очень приятное, хоть и не нравится мне лично, но все-таки это мороженое – человеческая еда, а не нечеловеческая – не батончики кровожадных людоедов, подсаживающих на кровавые яства с детства своих отпрысков».

Елена наверняка бы сбежала тут же из кошмарного здания – наплевав на колкие сигналы в небе, и на только что, после воспоминаний о гематогене, начавшийся коловрат в желудке, и вообще на всё уже наплевав от омерзения, – если бы не вспомнила вдруг кое-что другое, теплое: чего не знали большинство несчастных визитеров. В одном из недосыгаемом для простых смертных, всегда запертом отсеке здания находился бассейн – хоть и маленький, но на удивление чистый; и когда Елену в девятилетнем возрасте сбила по дороге из школы машина (сознание аккуратно выключили и столь же аккуратно включили через четыре минуты – так что сам момент удара и мнимой смерти вырезали из памяти какие-то заботливые ангелы), после месяца – с марта до апреля – абсолютной неподвижности дома (мать забрала ее из больницы сразу, подписав все эти страшные бумаги, что в случае смерти дочери, она будет сама за это отвечать: вовремя сообразив, что от знаменитых прелестей совковой больницы сверхчувствительная дочь загнется просто еще быстрее и со стопроцентной гарантией),

наступил для Елены рай: вместо мучительной школы – полугодовое домашнее обучение, вместо мерзких ранних пробуждений – здоровый сон до состояния полного подрумянивания, и ленивые благодатные поездки два раза в неделю сюда, вот в этот вот, практически персональный бассейн. Мать, которая в обычной внешней жизни была все-таки человеком довольно застенчивым, никогда за свои собственные права постоять не могла, тут, когда жизнь дочери была в опасности, – пошла на государство в смертельную атаку, как танк: и пробила – казалось бы, непробиваемые – стены – выговорив для нее невероятные свободы, – и жизнь действительно была райская. В том, счастливейшем, апреле, учась заново ходить, надевая ярко-гранатовую жакетку крупного вельвета в мельчайшую черную крапинку с распахнутым воротом (сшитую материнной подругой – мать шить ненавидела, считая это таким же делом скучным, нудным и бесполезным, и даже оскорбительным для женского достоинства, как уборка дома: только время тратить, лучше книжку почитать) и повязывая, по просьбе матери («Холодно ведь еще, надень хоть это!»), на шею шелковый темно-фиолетовый платок – с безнадежно объединенными, увы, самой Еленой в детстве, краями, – которые Елена, взбив, запрятывала, франтовски, в бант, – еще неуверенными шагами, и с какой-то неуверенной поступью самой души: неужели жива? неужели мне можно наслаждаться весенними этими запахами – этим расцветшим утром? вот этой свежей, новенькой, только что сделанной зеленью, залитой апельсиновыми брызгами солнца?! – она медленно, плавно, стараясь не показывать матери, с замиранием сердца следившей за ней в окно («Ну мам-м-м, ну не ходи ты со мной, как с маленькой!»), что каждый шаг левой ногой до сих пор причиняет ей боль, обходила один почетный, выставочный, круг вокруг башни, – и ехала в камерный бассейн. Вода была блаженно теплой – как в ванне. Из-за того, что бассейном практически никто не пользовался, даже хлорки туда сыпали не так-то уж много – по крайней мере, не теми, традиционными, слоновьими дозами, из-за которых Елена никогда не могла ходить в обычные публичные бассейны. Теоретически, сдобная, пергидролем крашенная, вся очень белая, очень пышная медсестра обязана была сидеть все время на стуле у кромки бассейна – и следить за ее плесканием. Но, по обоюдному дружескому сговору, Елена охотно отпускала ее в соседний кабинет – где та, заперевшись, с

наслаждением трепалась по телефону с товарками. И именно тогда, без нее, уже начинались все запретные дельфиньи нырки, и даже плавание на спине (то и дело, правда, кончавшееся тем, что с разгона стучалась головой о кафельный край бассейна – для крыл все-таки размаха не хватало).

Теперь всё это казалось уже вполне мифом – хотя тепло воды, распаренность воздуха над бассейном и вот эти вот идиотские утыкания башкой в белый плиточный бордюр – в секунду заново ощутились телом. Сквозь месиво ожесточенно вопящих друг на друга больших, маленьких, и очень маленьких тёлеч она решила сделать несколько шагов вглубь. В регистратуре, сквозь окошко, прорезанное в стекле (прорезанное криво – казалось, воровским стеклорезом), мелькнули испуганно-злые очки пожилой врачихи с ярко-баклажановыми, кое-как стриженными волосами; услышав подхохатывающие объяснения Елены, она выскочила из-за запертой витринки (оказавшись вдруг совсем-совсем крошечной – Елене почти по пояс; и кривобокой) и, тряся баклажановой паклей, сердито, так, как будто Елена в чем-то провинилась, отконвоировала ее в отделение неотложки.

В кабинете сидел незнакомый ей молодой врач, явно только что после института: с веселыми глазами.

И вместо того, чтобы задавать ей логичные вопросы, типа: «Ну скажите на милость, откуда же в мороженом могло взяться стекло?!» – стесняясь, почему-то, смотреть ей в глаза, а игриво заглядываясь вместо этого на висевший на стене слева, расчлененный и пестрый (как живопись освежёванной говядины в гастрономе) человеческий портрет, с жилами, артериями, венами и пищеводом, – проговорил:

– Ну... Что ж я вам могу сказать? Вы либо умрете – либо не умрете. Давайте подождем до завтра.

Выйдя на вольный жаркий воздух и испытывая некоторую грусть от описанного им возможного варианта «а», Елена, по привычке, привитой ей матерью: баловать себя в критических ситуациях, – спросила себя, что бы она больше всего на свете хотела успеть сделать, если и вправду завтра умрет. И тут же, ускорив шаг, даже не спустившись к реке, припустила в обратную сторону: мимо унылых блочных гробов, чуть скрашенных несчастенькими недорослями-

рябинками, отчаянно жестикулирующими ей изумрудными мизинцами от малейших дуновений ветерка, – бегом, почти бегом, к метро.

Минут через сорок, выскочив из метро на «Площади Ногина», дико удивляясь сама же себе, почему же она не добежала или, даже, скорей, зайцем на троллейбусе не доскакала сюда сразу же, утром, с вокзала – настолько само собой разумеющимся показался теперь ей маршрут – она, запыхавшись, взбиралась на ту самую, крутую горку, над Солянкой, куда водил их Склеп. Продефилировав до этого по Архипова – стараясь выглядеть так, словно быстрым шагом идет мимо по делам, – а, в момент, когда поравнялась с синагогой, как будто совершенно случайно быстро взглянув на колонны (под портиком, впрочем, никого не оказалось) – войти туда, памятуя безобразие с носовым платком, и интриги с отдельной женско-мужской молитвой, одна не решилась.

Цвета на небе уже подтаивали, оплывали, мягчали, готовясь к вечерним эскизам, кое-где, на кромке палитры, экспериментируя: смешивая абсолютно несмешиваемое – разжиженный газовой голубой и золотисто-салатовый, с желточным и фруктово-ягодным, за семь копеек. Вот она – глухая бурая длинная стена слева, вот она – белая колокольня вверху, вот она – развилка, где Склеп ловко путеводил своим жюстокором вразлёт.

Входа в страшный подвал она, как ни крутилась по окрестностям, не нашла. Зато, после всего-то два раза перепутанных поворотов, обнаружила баптистскую церковь – и, вспомнив, что даже после магнитофонного закидона баптистские ребятишки в метро улыбаются им как родным и умоляли приходить – заглянула внутрь. Распевы гимнов были в самом разгаре. Полный, опять полный зал. Мечтая не усугублять без того подпорченной репутации – изо всех сил стараясь не скрипеть рассохшимися деревянными ступеньками (казалось, как раз специально изготовленными и высушенными – для того чтобы ими как можно громче скрипеть), взобралась на знакомые места на верхнем ярусе.

Рифмы гимнов по-прежнему казались милейшей наивной шуткой. Знакомый запах капустных щей не давал покоя – и тоже вызывал улыбку, как забавнейший местный юмор. Зато, то и дело, неудержимо притягивала взгляд кратчайшая формула Бога – лиловыми, как будто зацветшими, буквами записанная на заднем

витражном стекле за трибункой – и вызывала улыбку уже совсем другого рода: воздушную роспись согласия с жарким, лиловым смыслом букв.

Речи, произносимые в перерывах между гимнами, понять было, почему-то, по-прежнему абсолютно невозможно. Вроде бы, все слова говорились по-русски и выговаривались ораторами разборчиво... Как ни тужилась она, смысл выступлений не доходил до сознания вовсе – хотя, вроде, все слова были понятны по отдельности. Как будто какая-то пелена удерживала от того, чтобы схватить общий смысл.

Зато, выхваченный из чьего-то выступления, приятный, рельефный эпитет «Нагорная» она сразу с радостью (мысленно поприветствовав, как родной) тут же приладила ко всей этой волшебной частичке Москвы, озаренной для нее Склепом. «Москва Нагорная» – повторяла она, улыбаясь, уже через полчаса, крутясь, вверх и вниз, по кривым переулкам, – с этим, хоть и не богатым, но всюю звеневшим счастьем словесным трофеем – как нельзя более кстати дополнявшим и загадочные, не весть куда ведущие, вязанные крючком калитки в резных арочках, и старые кудрявые литые козырьки парадных, – всю эту низкорослую поросль дореволюционных домишек, – а, заодно, и хоть как-то латавшим внезапный срам: отвратный бордовый кафель, уделавший цоколь какого-то старенького, беззащитного зданьица.

Воздух из знойного сделался чуть с прохладцей – как будто где-то открыли форточку: проветрить. Покровский бульвар, куда она, побежав под уклон вместе с улочкой, как в какую-то канавку, скатилась, – показался выпретенне-задрипанным и скучным. Оглянувшись на шило сталинской высотки, решила все-таки крутануть против течения бульварного циферблата – вверх. И опять началось запыхавшееся восхождение: шла с такой скоростью, словно боялась, что кто-то догонит. Не задумываясь, куда выйдет, перемахнула через узкий, запруженный машинами (сражающимися с трамваем за рельсы) перешеек, поражающий истошным выражением трех десятков подряд распахнутых изжаренных крошечных форточек двухэтажного кривоватого осевшего старинного барака, – на уже гораздо более веселый Чистопрудный: олени с витыми коромыслами вместо рогов; коронованные утки-переростки, с закрученными клювами, выше деревьев; крылатые тянитолкаи, сросшиеся задами; антилопа,

изумленно оборачивающаяся, чтобы рассмотреть, почему это у нее вместо хвоста вырос пятиконечный листочек; и просто уже обычные, повседневные козероги, резвящиеся среди преувеличенных марсианских цветов. И дальше, аккуратно перенеся взгляд, как в горсти, с выпуклого объема старой стены прямо в зеленое болотце пруда – махровое по краям от отражений крон лип, и зорко патрулируемое алколоидами (достоверно отражающимися друг в друге) уже просто на каждом шагу. Выясняя у подернутого гарью, но заметно порозовевшего неба, скоро ли закат, чуть не угодила под трамвай: взбесившаяся зебра с бульвара почему-то вела напрямиком на рельсы. И вдруг, когда уже уткнулась носом в уродливо-прямой, казарменный, сталинский параллелепипед вестибюля метро Кировская – колосса на дистрофичных колонках – поняла, что она ведь уже где-то в двух шагах от костела: третьей ноты, звонко взятой Склепом.

Жадно разгуливая взглядом по горчичным эклерным эркерам замороживших ее опять домов с башенками, она добирала то, что никоим образом во время их последней прогулки со Склепом (да и вообще – при знакомых людях) произведено быть не могло – а именно: застыв и затаив дыханье, как бы переносилась на поверхность башенок, на крышу, вплотную ко всем этим архитектурным фортелям, – фокус с размерами щелкал как-то сам собой, без всяких ее усилий – и через секунду здание оказывалось уже ручным: доверенной ей маленькой игрушкой, а она сама – наоборот, как будто чуть вырастала, вытягивалась вверх и могла без напряжения дотронуться до кровель, – а то складывалась вновь и чувствовала себя свободной подлетать к многоэтажному домишке, чтобы спокойно по нему шастать, и рассматривать крышу, откуда-то сверху, из воздуха, – и мягко щупала ладонью на крыше шершавые башенки, мизинцем подкручивала и заводила неработающие на башне часы, безмянным пальцем проводила по лучным теремковым дужкам – выгнутым, в точности как если большие и указательные пальцы правой и левой руки симметрично соединить между собой и чуть пружинить ими – что она тотчас и проделала: соединила, спружинила и меряла пальцами равные формы на крыше; лазила, по зачем-то оставленной на башенке приставной лестнице, в чердачные полости. Выверяла, заново рисовала кончиком указательного фальшивые колонки последнего этажа и их завитые уши. Терла ладонью фасад – пробуя его

на ощупь. (Руст второго этажа она вообще сразу же стерла из здания – как досадную оплошность архитектора.) И потом, бегло проводя подушечками подряд по всем ритмическим единицам: башне, зубцам, оконным эркерам, – как будто проигрывая их музыкальные знаки – слушала их мелодию, – и вновь отправлялась разгуливать по неровностям – гостя на каждом балкончике, заставляя звучать каждую струнку тонкой кованой изгородки, проверяя и ее музыку; как-то запросто втягиваясь через стены, заглядывала изнутри в тройные фонари окон – и звонко чувствовала, каково это – стоять здесь в оконной нише на рассвете – когда только что родившийся свет у тебя и справа, и слева, и прямо перед лицом.

Из соображений гигиенических, она, впрочем, старалась не почувствоваться в то, какого сорта жильцы в этой крепости живут – и ставила жесткую заслонку воображению, играя с домиками как с существующими в воздухе, вне времени.

Дойдя по вставшему посередке на дыбы бульвару до Склепова переулка, и свернув в него – она, однако, костела не нашла. Вернулась – прошла вглубь еще, внимательно вглядываясь в лица и спины домов по правую руку – ничегошеньки похожего! Неужели перепутала улицу?

Вскинув глаза вверх – как будто ища каких-то дополнительных ориентиров, – никакие розыски она уже продолжать не смогла: войско пепельно-сизых закатных облаков, на огненно-хурмовой подкладке, властно и легко повело ее за собой, на следующий бульвар. Облачка были мелкие, только что створоженные, и разрывы между ними ярко подсвечивались – но все они, очень собранно, в строгой форме, и как будто сотканые между собой льняной нитью, двигались одним станом, гигантским крылом, стягиваясь на запад. Там, на пламенеющем апельсиновом небе, во всем буйстве открывшемся ей уже только с половины Рождественского, с горки, закручена была гигантская, тысячецветная воронка – гнездо солнца, из свитых, выложенных чуть вогнутыми, мягкими кругами, сиреневых, медовых, корольковых, фиолетово-вишневых, сизо-золотых, рельефных лепных облаков – организованных так, чтобы огонь, хлещущий из жерла, с умопомрачительной быстротой менял их оттенки – и разносился ежесекундно во все концы неба с новыми, нарастающими огненно-цветовыми аккордами, – затягивая в себя взгляд: который, казалось,

тоже вливался в бурлящую цветами и музыкой купель и становился частью громогласного закатного представления.

Газово-синяя взвесь, тем временем, каким-то сверхъестественным образом не затрагиваемая метаморфозами гаммы, царившая как бы за кадром, в глубине, за представлением, как бы ничего не подозревая, – придавала всей этой гигантской лепной конструкции поражающий глаз, нереальный, высекающий слезы, объем. И пуховую легкость.

И пока в небе было чему догорать, она не посмела ни отвести взгляд, ни уйти с бульвара, не досмотрев.

– Ну и где ты шлялась, интересно мне знать? Какие-то дела в полдвенадцатого вечера? Счастье, что жива хоть! Я уже в милицию собиралась звонить. Прихожу – на полу веник валяется, пыль ключьями раскидана – думаю, не обворовали ли нас... – Анастасия Савельевна, вопреки надеждам, прискакавшая, не вытерпев, домой с дачи – увы, раньше той минуты, когда Елена осторожно, как какой-то драгоценный сосуд, чтобы не расплескать, внесла себя в квартиру, – теперь, так некстати, ждала от нее какой-то реакции. – Где ты была-то?

Елена старалась хоть на секунду еще растянуть молчание – единственную, казалось, родственную среду, в которой могли выжить переполнявшие ее чувства – которые вместить способно было только небо, эту безмерную, переливающуюся, саму в себе обитавшую, полноту и породившее.

– Что-нибудь случилось? – Анастасия Савельевна, чуть испуганная отсутствием ответа, вглядывалась в нее с виноватым уже (за свои напористые расспросы) выражением.

И в эту секунду полнота счастья, казалось, уже выхлестнула через край – и хотелось уже вопить, танцевать, плакать, смеяться, обнимать мать, носиться по квартире, распахивать окна: «Случилось, случилось, случилось!»

Этот вечер она так ярко, за секунду, вспомнила теперь, цветастым сентябрьским днем, когда в окна хлестал дождь, а мать, делая вид, что ее не расслышала, допивала в кухне кофе, присев, бочком, к столу и накручивая кому-то по телефону.

Вмиг вспомнилось и другое, смешное летнее приключение: один из материнских учеников, увидевший Елену на августовской студенческой вечеринке (проходившей, разумеется, опять, как всегда, в их многострадальной двухкомнатной малогабаритке – при полном и

абсолютнейшем счастье Анастасии Савельевны, которой всех всегда хотелось удочерить и усыновить: «Ну им же хочется спокойно без родителей где-то посидеть!»), попытался потом за Еленой «ухаживать», как старомодно выражалась мать: звонил ей, умоляя «не говорить Анастасии Савельевне», и, с настойчивостью дятла, пытался выманить ее на свидание. Настырность доходила до того, что поклонник (живший где-то в Выхино) – без спросу приехал как-то раз к Соколу, и, звоня из телефонной будки, шантажировал ее тем, что уже проделал такой путь – и неужели она даже не выйдет на секундочку, «просто поговорить». Аргументировал свои притязания студент и еще более наглым и безвкусным, блевотным доводом: «Зачем же такой красоте пропадать – дома сидеть?»

Ощущая себя заложницей собственного чувства такта (неловко, вроде, грубо отшить все-таки – материн ученик), Елена, с мстительной веселостью решила: «Ах так?! Хорошо же, будет у нас день открытых дверей! Пеняй на себя».

И, встретившись с соломенноголовым (как по волосам, так и по начинке) студентом, легко и непринужденно повезла его «гулять» к баптистам – с внутренним хохотом ожидая, что-то он на это все скажет. И особенно комической деталью врезались в ее память катастрофически не вписывавшиеся ни в какие антуражи оттянутые коленки его псевдоадидасовских, кооперативных, треников – когда он, храня гробовое молчание, мелким шагом, провожал ее на обратном пути до метро, – и его вытянувшаяся, напрягшаяся физиономия выглядела очень-очень по-философски. Отвял тут же – как она и ожидала, – и навсегда.

– Мам? Ты слышишь меня? Я поехала, – улыбнувшись дурацкому воспоминанию, повторила Елена еще раз, с полусадистским наслаждением глядя, как у Анастасии Савельевны, кладущей ни с кем не соединившуюся трубку, встающей, и отставляющей на подоконник недопитую чашечку кофе (понявшей, наконец, что насчет журфака дочь не шутит и – даже – вот уже едет в университет, узнавать про подготовительные курсы), – изображается некая паника на лице.

Дочь, танцевавшая в узко-зеркальной прихожей танго с собственной курткой, пытаясь перехитрить вешалку и выменять у нее хоть немного пространства (вдевалась в рукава, не снимая куртку с плечиков), явно вызывала у Анастасии Савельевны какое-то

умиленное раздражение (точнее не скажешь). Справившись с лицом и приняв снисходительную мину, мать вышла из кухни, спокойно пристроила полную ручку, чуть согнутую в локте, вытянув ее вверх, на раму зеркала в коридорчике, другой рукой подбоченилась, и застыла в позе ироничной кариатиды:

– Ты что, не знаешь, чьи дети туда поступают? Без взятки и блата кто ж тебя туда примет! Наивная ты у меня!

Елена, уже выходявшая за порог, аккуратно рассчитав размах, хлопнула дверью так, чтобы у матери не осталось никаких неясностей в интонации ответа.

II

То, что рождают слова, натягивать тетиву фраз, преломлять жизнь в книги – это единственное достойное предназначение человека (по крайней мере, того человека, которого она вот уже пятнадцать лет знала – и которого всюду таскала с собой) – в этом у Елены не было никогда ни малейшего сомнения. Она просто знала это – и всё – так же, как по какой-то внутренней, невидимой, но стопроцентно-осязаемой неоспоримости знала прекрасно, что за видимой реальностью скрывается куда более важная (и собственно, единственно реальная) – реальность невидимая, – чувство резонанса которой так остро проснулось в ней с момента молниеносно-кратких гастролей в ее жизни Склепа. Но так же, как этому своему мистическому предчувствию она не могла пока найти никакого воплощения, так же и словесная жизнь была крайне затруднена той катастрофической разницей, которая годами накапливалась между безбрежными внутренними просторами и навязанной узиной традиционных, человеческих, разговоров. И когда сочиняла что-то, то, скорее, жила в этом внутреннем тексте, чем старалась его записать или с кем-то им поделиться.

Высказанные вслух слова, как казалось ей, были наглыми оборванцами – а иногда и даже грязными ворами – по сравнению с царями воображения и внутреннего смысла. И даже тот (нет, не даже – а особенно тот) ликующий летний вечер, когда она, гуляя одна по бульварам, так близко, бронхами, легкими, почувствовала присутствие

Вечности (а Анастасия Савельевна тщетно умоляла ее потом, два дня, объяснить, что с ней стряслось), нереализуемо трудно было перелить в словесный иероглиф, произносимый, без боли потери бойцов.

Дневников Елена никогда не вела – считая этот жанр самым лживым и похабным: писать с жантильной ужимкой, как бы для себя, но в расчете на то, что кто-нибудь когда-нибудь прочтет. И как перевести внутренние слова во внешнюю реальность – эта загадка мучала ее не меньше, чем напряженный поиск источника резонирующих внутри таинственных мистических отзвуков – и, казалось, была с этим поиском как-то органично связана.

Но, так же, как из черного подвала, в котором – так неожиданно – в апреле, во время прогулки со Склепом, очутилась, – столь же внезапно нашелся выход, – так же – верила она – найдутся, рано или поздно, и разгадки. В любом случае – без уверенности в этом, со снедающей ее ежесекундной жаждой немедленных ответов, заставлявшей ее как будто трясти мир вокруг, вытрясая из него подсказки, – двигаться вперед было бы просто невозможно.

Брошюра «вузы Москвы», отпечатанная на туалетной бумаге (правда, чуть-чуть из-за чего-то зеленовато-синеватой), и купленная за копейку в союзпечати на Соколе, у киоскерши, указательный и средний пальцы которой были в черных от газет, резиновых напальчниках, а ноготь большого почему-то был замотан, видимо, от рождения черной изолентой (самой большой поклонницей этой киоскерши была Аня Ганина, как-то раз, с пять минут безуспешно пытавшаяся вымолить у нее «Досуг в Москве». Киоскерша обижалась и клялась, что такую газету с роду не видывала. Аня не сдавалась, уверяла, что газета самая обычная, и что всегда во всех киосках бывает. «А! Дбсух! – поправила, наконец, ее, после всех мольб, смилостивившаяся киоскерша. – Дбсух есть! И сказали бы так сразу, а то – выражаться...»), нещадно выброшена была в помойку после первых же двух страниц. Соблазнительный эпитет «литературный» (на второй странице), эффектно пристегнутый к официозному слову «институт», ничего, кроме спецстоловок союза писателей, распределитовки хавки и жиденских, обобществленных дарованьиц в ассоциациях не вызывал. Бедную Эмму Эрдман, в соседнем доме живущую, родители, исключительно из соображений престижа, мечтали пропихнуть, по знакомству, в литературный – хотя Эмма не

могла написать ни одного сочинения в школе без мук и ломки отворачивания, и страстно мечтала стать врачом на скорой помощи – но родители пеняли ей, что «дедушка – литератор» – считая, что это достаточный повод сломать ей жизнь. Впрочем, формула «литературный институт» вызвала в памяти еще и наглого, нездорово амбициозного, безразмерно толстого, чернявого мальчика, почитавшегося знаменитостью в местном литературном кружке – употреблявшего чрезвычайно часто (и всегда не к месту) слово «однако», и прочие модные в тот сезон словечки, и искренне считавшего, что сальные шутки и болезненный, павианий, серийный интерес к женскому полу – это главное и единственное наследие Пушкина, – и во всем старавшегося кумиру подражать; а седая, малоподвижная, с глазами совы преподавательница, в свою очередь, предлагала всем подражать лубочной лирике шестнадцатилетнего дебелого самородка – и тот охотно, лупясь на девочек, зачитывал вслух очередные вирши; и от омерзения Елена туда больше никогда не пошла. Ассоциацию группового литературного тренинга эффектно замыкал именитый советский поэт – гордость литературного института, лауреат семи или восьми сталинских – и пары ленинских, на десерт, премий, в стихах ритмично и навзрыд призывавший военных вдов быть верными, не сдаваться и ждать любимых – даже если те объявлены погибшими или пропавшими без вести. Анастасия Савельевна, у которой всегда слезой загорались глаза от военной тематики, обожала в юности его стихи и часто декламировала. Декламировала – до тех пор, пока однажды, в институтской еще жизни, вдруг случайно не встретила этого советского певца вечной верности на улице, у ресторана «Прага», с двумя проститутками: слава родной поэзии звонил кому-то из автомата и пьяно орал в трубку: «Я двух девок снял! Сейчас приедем! Жди!»

«Фига с два! Им я горошек жарить точно никогда не доверю! Никаких лит. проституттов!» – яростно и с отвращением подумала Елена и, разодрав, отправила брошюру вузов в ведро.

Журналистика же, как предлог видеть мир (вернее, как Склепова удобная отмазка для дебилов, на их возможные: «А чё это вы на нас зырите-то?!»), как ей казалось, вполне временно подходила.

Журналисткой, впрочем, быть ни в одной из имеющихся в киоске на Соколе газет ей категорически не хотелось. С полгода как уже она

каждую среду, перебарывая нечеловеческими усилиями жажду поспать лишние пятнадцать минут, вместо завтрака, под материны причитания, неслась, перед школой к киоску – урвать дефицитные «Московские новости» (привозили всего три штуки). И читала, в основном, исторические подвалы и развороты – с «сенсационными» (не прошло и полвека) материалами о сталинских преступлениях. Настоящей журналистики, от которой бы у нее захватило дух, собственно, не было – а самой актуальной «журналистикой» была архивная история: когда журналисты, по сути, писали сейчас на страницах газеты то, что их отцы или деды должны были бы сказать и написать сорок пять, пятьдесят лет назад – но не написали и не сказали: не важно, из-за трусости или из-за подлости. Да и эти, сегодняшние, откровения напрямую зависели от того, признал режим уже те или иные просроченные преступления, или нет.

От актуальных же материалов даже этой, несомненно лучшей из всех советских газет, шел такой душок умеренности и аккуратности, настолько явно журналисты осторожничали и колебались вместе с линией партии (и, с деланной безудержностью, расходясь исключительно в рамках разрешенных тем, ни в коем случае не критиковали ни сам корень людоедской системы, ни того, кто нынче эту умеренную, ограниченную «гласность» в рамках системы – вместо свободы – «разрешил») – что ее мечты о вольной карьере увядали быстрее, чем расцвели.

Не соблазняла и моднейшая, под личным покровительством генсека и «перестройщиков» из ЦК находившаяся, лучшая, образцово-показательная молодежная программа (музыкальные клипы с вкраплением актуальных политических тем) на телевидении. Главный ведущий – молодой человек с черепаховой архитектурой тяжелой головы (про которого на всю страну было известно, что с советскими карательными органами у него связь практически на кровавом, клеточном уровне: отец был советским шпионом, а дед НКВД-шником), – казался Елене какой-то повзрослевшей реинкарнацией того болезненно тщеславного мальчика из литкружка, – но плюс ко всему, теле-плейбой еще и как будто был зримо очерчен этим контролирующим покровительством цековских наседок: резким и развязным был только вот в тех-то и тех-то темах – а тему эту вот – не тронь. Вот здесь можно рыть носом – а вот здесь нельзя, шаг в сторону

– расстрел. И с овечьим энтузиазмом и вдохновеннейшим нарциссизмом и ведущий, и гости послушно паслись, доходчиво изображая развязность, с пафосом отжирая зелень на жестко ограниченной грубым забором крошечной лужайке.

И эта вся какая-то приниженность и системность, всё это согласие молодых, вроде бы, людей, играть внутри системы и по правилам системы, вызывали у Елены просто физическую неприязнь и брезгливость: казалось, даже абсолютное, очевидное пропагандистское советское вранье лучше вот этой вот остороженькой, в рамках лужайки, трусливенькой полуправды.

Все же разговоры о свободе в стране исчерпывались и измерялись для нее лично простой мерой: какая свобода – если, вон, Склепа сожрали и не поперхнулись!

Еще в прошлом году Анастасия Савельевна сразу же повела ее в кино на абуладзево «Покаяние» – Анастасия Савельевна ревела весь фильм (сама Елена мужественно держалась), а на следующий день «сняла с уроков» (по собственному, материнскому, дипломатичному выражению) еще и Эмму Эрдман – то есть предложила ей прогулять школу с Еленой вместе – и повела их на скандальный фильм еще раз – то ли боясь, что «Покаяние» опять снимут с проката, то ли волнуясь: всё ли поняла и прочувствовала дочь. На самых кошмарных, невыносимых сценах Елена, зная, что сейчас произойдет, надолго отводила от экрана взгляд – а Эмма Эрдман сразу умудрялась, почти как страус, особенным, ей одной присущим эквилибристским приемом, нырнуть и зарыть голову, зажмурив глаза и удобно заткнув уши с обеих сторон собственными коленками в полушерстяных колосющихся колготках, сверху засыпав композицию копной своих ярко-рыжих волос.

Однако до сих пор, даже дома, даже на кухне, когда Елена произносила что-нибудь вроде того, что Ленин был вурдалаком и убийцей похлеще Сталина, – мать в ужасе шептала:

– Тише ты! Что ты несешь?! – и почему-то озиралась на закопчённые стены в розовый мелкий цветочек.

И этот ее шепоток Елена ненавидела еще больше, чем как-то исподволь зазудевшие материны разговорчики, что хорошо бы ей поступить в «нормальный» институт, поближе к дому, как, вон, многие

в школе делают, получить «крепкую» профессию инженера, как все, вон, делают...

Разговоры эти были тем более ненавистными (и тем более буйные взрывы ярости у Елены вызывали), что Елена прекрасно знала личную, материну, всю жизнь затаенную где-то на доньшке сердца, ни на день никуда не исчезающую боль. Когда-то, весной далекого (настолько далекого, что уже почти мифического) тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, шестнадцатилетняя Анастасия Савельевна (на фотографиях того времени – легчайшая, с вьющимися длинными локонами – «черными, как вороново крыло», как говорили все вокруг, – с дюймовой талией, красавица, – яркой красоте которой могла позавидовать даже юная Джина Лоллобриджида, удивительно на Анастасию Савельевну похожая – точеные черты лица, чуть раскосые смеющиеся темно-карие глаза и филигранная фигура – на приобретшей чайный оттенок старой открытке, невесть откуда, хранившейся у матери в трюмо, под бигудями, рядом с собственной фотографией) была звездой университетского студенческого театра на Моховой, знаменитой чтицей Блока в студии художественного слова Александра Борисовича Оленина – старого актера и режиссера (настолько старого, что родом был еще из девятнадцатого века, то есть, из совсем другой страны – из настоящей России; корешился в юности с имажинистами и пописывал лирику). Вот уже несколько лет до этого – все старшие классы – Анастасия Савельевна каждый день ездила заниматься на Моховую из своего стылого, дикого Никольского («С одной стороны от нас в бараке жила проститутка, и с другой – тоже. Чуть подальше – парень молодой жил, фронтовик, который ежедневно напивался и, с поленом, гонялся по двору за своей беременной женой, которая выскакивала иногда среди ночи на мороз в одной ночной рубашке. Чуть подальше – еще офицеры молодые буянили, дрались. Возвращаться вечером всегда было так страшно!»).

Как-то раз она с аншлагом давала сольные концерты в главном университетском здании, в большом зале – и Александр Борисович Оленин потом, по-стариковски, сентиментально, снял со стены и аккуратно свернул объявлениице: «Возьмите – эта ваша первая афиша». На ее репетиции (блоковский цикл «Кармен») в студию частенько тайком приходил послушать ее, с заднего ряда, друг Оленина, будущий знаменитый актер Валентин Никулин, тогда еще

совсем молоденький («страшный был – зубы торчком!») – и, после репетиции, всегда, вгоняя ее в краску, громогласно восхищался в разговоре с Александром Борисовичем: «Ну откуда в этой девочке такая внутренняя сила! Такая мощь в голосе! Такая выразительность! Такая внутренняя осмысленность, выстраданность каждого слова!»

А как-то раз, в озверевшее, нищее Никольское прислали за ней огромный черный персональный ЗИМ: директор одного из именитых московских заводов, случайно побывавший на ее концерте, умолял приехать прочитать стихи на празднике восьмого марта, – и Анастасии Савельевне рукоплескал, стоя, весь зал, весь рабочий люд.

Было, впрочем, у Анастасии Савельевны в голосе что-то, что пугало Оленина: какой-то пробивавшийся иногда, как бы из-под полы, как бы не ей принадлежавший, зычный, почти левитановский, патетический раскат (что не было странным, если учесть, что и дома, и у соседей, и у всех друзей – всё время на полную громкость орало советское радио). И старомодный Александр Борисович («знаешь, больше всего меня удивляло, что, при том, что он был довольно импозантным мужчиной, он, не стесняясь, носил в холодную погоду под брюками кальсончики, – и матерчатые завязочки от них, белые такие, когда он садился, всегда у него из-под штанин брюк торчали! Но это его почему-то абсолютно не смущало!») вытравливал из любимой ученицы зычную патетику, как только мог: «Лирику вам надо читать! Только лирику! Не злоупотребляйте вашим прекрасным бархатным голосом!» И она читала любовную лирику – да так, что и у Никулина, и у самого Оленина слезы выступали на глазах. Подготовив вместе с ней лирический репертуар ко вступительным в театральное, Оленин был уверен, что такая жемчужина украсит любой театр Москвы.

На вступительных в театральное ее, однако, неожиданно и откровенно несправедливо завалили. Нарвалась на какую-то злобную престарелую завистливую суку. Назидательно посоветовавшую на следующий год приготовить более патриотический репертуар. Анастасия Савельевна не сдавалась: занималась у Оленина с удесятенным рвением; устроилась, временно, на год, работать по соседству от студенческого театра, в университетскую библиотеку на Моховой. А где-то ближе к весне мать Анастасии Савельевны (бабушка Елены, Глафира) вдруг ни с того ни с сего бухнулась перед ней на колени и зарыдала, и заголосила: «Я через голод с вами в войну

прошла! Мне так тяжело было вас в войну и после войны на ноги поднять, выкормить! Я так мечтала, чтобы у тебя была настоящая, крепкая профессия – инженера, чтобы у тебя всегда был надежный кусок хлеба! На коленях прошу тебя – не ходи ты в это театральное! А что будет, если тебя опять зарежут на экзаменах?! Поступи ты в нормальный институт, поближе к дому!»

И Анастасия Савельевна, с идиотизмом русалочки, из-за этого истеричного рёва матери, сломалась. Ткнула пальцем в первый попавшийся институт на Ленинградском проспекте – и обрекла себя на многолетний инженер-экономический советский ад, вымощенный материнскими мольбами, – преисподнюю, где кто-то ее куда-то переводил и направлял, где кто-то ее за что-то поощрял и назначал, перераспределял и повышал. Страшные, непроизносимые аббревиатуры, госком-фиго-маго-учеты, статьи, счета, проходили мимо нее с навязчивостью дурного сна – еще с десятков лет после окончания института – где, конечно ж – куда там подумать о душе и о творческой самореализации: выжить бы! Не задохнуться бы! Рожи, окружавшие ее, эти тупые, счастливо вжившиеся в систему тетки (кто-то – уши с длинными серьгами от стены закрытого «почтового ящика», кто-то – ноздри канцелярского стула, а кто-то – рука со скрепками), – в которых Анастасия Савельевна, по широте и наивности сердца, искренне пыталась выискать хоть что-то человеческое, и с которыми даже пыталась дружить, – были из рода той серой, всем всегда довольной, но на всех всегда готовой донести, униженной нежити, которую, по хорошему-то, Анастасия Савельевна и на бутафорский пушечный выстрел к себе не должна была подпускать. Адский кошмар квартальных отчетов – о предмете, в общем, не существующем, чисто мифологическом: советской экономике – забивал уже и вовсе все поры, и все силы уходили на то, чтобы не увязнуть в этой гнусной топи навечно.

Шизофреничной, сполна шизофреничной жизнью жила в те годы Анастасия Савельевна: жила жизнью театральной, вечерней, наизусть знала все лучшие пьесы, и в каких-то умопомрачительных деталях – биографии всех лучших актеров Москвы, вечерами ехала в «Современник» – невероятными усилиями раздобыв билеты. А утром – снова шла отдавать непонятно кому гражданский долг в ненавистную, шушукающуюся за спиной, вяжущую свитерки,

дерущуюся из-за продуктовых «заказов» контору, убивавшую в ней и ее обычную жизнерадостность, и веру в людей, и веру в возможность каких-либо перемен.

Жизнь драматически изменилась с рождением Елены. Была Елена незаконно рождена, и отчество Анастасия Савельевна ей дала фиктивное – почему-то в честь погибшего в 1919-м в гражданской войне, почти безвестного, двоюродного деда – Георгия. Биологического отца ребенка Анастасия Савельевна даже и по имени-то никогда не упоминала, и сквозь зубы цедила только, что была это история «случайная», что был он брюнетом-иностранцем, большим подлецом и человеком опасным, но что Анастасия Савельевна вовремя это про него поняла и сразу же от него ушла (и Елена каждый раз, когда мать обмалвливалась об этом, даже зримо себе представляла Анастасии-Савельевнину фирменную, покачивающую бедрами, уверенную походку на туфлях с высокими платформами, когда она «уходила»). Известно было также и то, что неприятного и опасного человека этого уже давно нет в живых («Слава Богу!» – как с непосредственной экспрессией прибавляла Анастасия Савельевна), и что умер он не своей, насильственной смертью, «и вообще, не будем об этом!»

Кой-как профилонив декрет, Анастасия Савельевна решилась-таки, наконец, крепко плюнуть и на мнимый долг перед матерью (заклучавшийся, как будто, в том, чтобы уродовать свою судьбу и душу), и на очередную трудночитабельную государственную аббревиатуру в трудовой книжке – и уволилась – в никуда. И следующее место карьеры было подобрано по принципу: чтобы не было никакой карьеры – чтобы просто не умереть с голоду, чтобы работать как можно реже и меньше, и как можно ближе к дому – чтобы всегда суметь прибежать к дочери, с которой нянчилась Глафира. Местом таким стал интернат-пятидневка, куда какие-то моральные уроды-родители, наоборот, старались сбегать своих детей, чтоб практически никогда их не видеть. Бухгалтерский кабинет Анастасии Савельевны располагался на очень-очень низком первом этаже, на высоте настолько ерундовой, что когда Елена научилась самостоятельно ходить, Глафира приводила ее под окошко после прогулки и аккуратно подсаживала своими скрюченными от артрита смуглыми старческими ручками (левый мысок надо было ставить в

удобнейшее вентиляционное, кирпичеобразное окошко – а правый – опа! – уже на подоконнике!).

Кабинет выходил окнами на солнечную, всю в трещинах, асфальтовую дорожку и газон за железным забором – и никто не возражал, когда Анастасия Савельевна, никуда не уходя с рабочего места, в погожие деньки краем глаза пасла разгуливающую на воле дочь.

Идиллия, впрочем, быстро закончилась. Во-первых, Анастасия Савельевна, сколь мало бы она на своей «полставке» ни работала, и сколь изолирована от внутренней жизни интерната (со своими вечными «жировками») ни была, однако, очень скоро начала знакомиться с детьми («заключенными», как Анастасия Савельевна их, в шутку, с сочувствием называла – поскольку уходить за территорию интерната, домой, в течение пяти дней они не имели права), а также становилась невольной свидетельницей того, как на них – и без того-то обездоленных и брошенных – орали, нечеловечески, учителя и воспитатели. Неспособная защитить саму себя Анастасия Савельевна, тут, когда при ней обижали кого-то, кто слабее нее, становилась просто фурией – и бросалась в бой – быстро, разумеется, испортив себе отношения со всеми неврастеничками-училками, срывавшими на детях собственные комплексы. Как вскоре выяснилось, макарениковская педагогика была не единственной прелестной деталью в заведении. Зайдя как-то раз в неурочный час в столовую, Анастасия Савельевна с удивлением обнаружила, что повариха в подсобке, с наглейшим отсутствующим взором, укладывает только что привезенное на грузовике для детей мясо – себе в сумку, и рассовывает по еще нескольким заранее заготовленным чьим-то сумкам. В громадный холодильник же, для будущих детских щей, повариха вместо этого закладывала заведомо принесенные кости с мелкими клочьями обгнившего мяса (словом, именно то, что обычно только и продавалось в магазинах, да и то только по праздникам) – в точности соответствующие, очевидно, по весу. Анастасия Савельевна закатила скандал. Повариха, не моргнув глазом, тотчас же предложила взять и ее в долю, дав понять, что ничего тут особенного нет, и что они тут всегда так делали, делают, и делать будут – и что начальство, мол, в курсе. Анастасия Савельевна, едва веря своим глазам и ушам, пошла и закатила скандал директору, завучу – всем, кому могла, потребовав

вернуть детям то, что у них воруют. Однако, по какой-то ползучей, зыбучей, болотной реакции, похоже было, что повариха не соврала: кровью свежего мяска помазаны были многие, если не большинство, взрослого, надзирательского, начальского населения интерната. Мясо, воруемое годами, отдавать страх как не хотелось. По субботам (когда многих учащихся смилостивившиеся родители все-таки забирали по домам) поделнички в интернате специально ставили в детское меню в столовке дефицитные банки тушенки и сгущенки – а поскольку ртов оставалось заведомо меньше – преспокойно воровали половину неоткрытых даже банок и уносили домой. «Один раз иду, смотрю: завхозиха из подвала идет, где склад был, и огромный пучок морковки себе домой тащит – с наглой мордой, как будто ничего не происходит – даже и не прячется. Я ей: «Мария Александровна, – говорю, – вы прямо так непринужденно ворованное несете, как будто это ваше! Не совестно – у детей-то?» А она мне в ответ: «Анастасия Савельевна! Вы постыдились бы! Вот я в детском доме до этого работала – вот там воруют так воруют – детям жрать нечего! А вы меня пучком морковки попрекнули! Да нате вам ваш пучок морковки – подавитесь им вместе с детками!» А в коридоре, когда Анастасия Савельевна проходила, то и дело из-за угла раздавалось: «От, твою мать! Опять эта бухгалтерша идет! Тащи курицу назад!» «Все ведь они, причем, членами партии были! – с детским изумлением, потешалась, рассказывая потом об этом Анастасия Савельевна. – Все без исключения, начиная с директрисы! И кичились этим!»

«Да что я в этом гадюшнике делаю-то?», – в один действительно прекрасный весенний день спросила себя Анастасия Савельевна, поняв, что в одиночку ей славных традиций не переломить, – и, взяла и уволилась уже и оттуда.

И именно в этот, счастливейший день Анастасия Савельевна почувствовала свое второе, после актерского, но не менее подлинное, призвание – преподавать: просто кожей почувствовала, что есть в этом мире кто-то, кому еще более несладко в жизни, чем ей – дети, подростки – те, кто еще не заматерел во всеобщем вранье.

И – неожиданно – Анастасия Савельевна нашла свою сцену. Несусветная галиматья лекций по советской экономике, которые ей приходилось бросать в пасть чудищу государства (единственной съедобной историей – на вкус Елены, приходившей, несколько раз, из

любопытства, к Анастасии Савельевне, послушать, с задней парты, лекции, – был вдохновенный, душераздирающий рассказ про тоталитарный способ патентования цветастого стекла на древнем венецианском острове Мурано: чтобы мастера-стеклодувы не рассказали миру секретов производства, их просто-напросто никогда в жизни никуда не выпускали с острова – малая родина, она же тюрьма, сковала их железной рукой, в объятьях, высвободиться из которых можно было, только умерев), была, по меркам матери, более чем приемлемой жертвой за то, чтобы уж в неурочное время, в роли классный руководительницы, брать студентов под крыло, решать всевозможные домашние, сердечные и учебные проблемы, возить их на свежие выставки, на пикники за город, читать им взахлеб стихи, трясти и растрясывать, отогревать и сдвигать с места их души, да еще и постоянно из своей нищенской зарплаты ухитряться давать им деньги взаймы, и, наконец – отжертвовать даже под студенческие сабантуи свою собственную и без того крошечную квартирку – и даже крошечный балкончик, на котором Анастасия Савельевна с нескрываемым удовольствием и сама вместе со студентками покуривала.

Более того, нередко, возвращаясь, скажем, из гостей, от Эммы Эрдман, поздно вечером домой, Елена обнаруживала даже и в своей-то собственной комнате, на своем-то собственном узком диванчике, чью-то спящую девичью кудрявую лохматую башку – а подоспевшая из кухни Анастасия Савельевна осторожно прикрывала дверь:

– Тсс! Там Варя спит. У нее дома проблемы – мать пьет. Я уж оставила ее на сегодня у нас!

Или, в другой раз:

– Там – Аля, влюбилась, дуреха, в козла какого-то – ох, дура-то! Отравиться на прошлой неделе пыталась – еле откачали. Пусть у нас пару дней поживет, ладно? Ей сейчас так тошно всех своих домашних видеть – ты только представь!

Или, попросту:

– Не шуми, там – Светка, ей в Долгопрудный, домой тащиться – так далеко! – а темно же ведь уже на улице, страшно ее отпускать-то!

И Елене приходилось, вздохнув, идти разламывать на три аккуратных части сначала раскладушку – а потом спину – между кадкой с лилией, хромым ломберным столиком с декабристом и

батареей центрального отопления в комнате Анастасии Савельевны, – заранее затыкая симметрично мизинцами уши против родного, соседствующего, богатырского, храпа, который непременно, непременно грянет – ровно через четверть минуты после того, как мать приземлится на свой диван и сомкнет очи.

Сегодняшняя, сорокадевятилетняя Анастасия Савельевна была женщиной полненькой, фигуристой, с пухлыми плечами – и полнота эта ее (в сравнении с ее юношескими фотографиями) казалась Елене какой-то защитной броней, нарощенной Анастасией Савельевной инстинктивно, – скафандром, без которого та хрупкая, душа-нараспашку, девочка, неожиданно-низким сильным тембром читающая стихи, попросту бы не выжила, не выдержала бы всего ужаса мира – не выдюжила бы пройти вот всю эту вот короткую дорожку, от Сокола и до Сокола – от ледяного продуваемого звериного барака – до их всегда жаркой (из-за вечных внесезонных фокусов центрального отопления) двухкомнатной малогабаритки – с остановками на все свои беды, отчаяния и разочарования.

Вьющиеся локоны Анастасии Савельевны, как и прежде, были «черны, как вороново крыло» – и Елена лет до десяти искренне думала, что все люди вокруг красят голову, что так принято – так же, как мазать башмаки гуталином. И только чуть позже узнала, что у Анастасии Савельевны, никогда не умевшей закрываться от чужой боли, никогда не умевшей и не желавшей ставить эмоциональных заслонок, плевать на чужую беду и «переключаться на позитив» – как подленько делают большинство людей вокруг, – уже к тридцати трем годам, к моменту рождения Елены, почти полголовы были седыми. И портретное сходство с самой собой достигать Анастасии Савельевне приходилось басмой и лондаколором.

Сурьмить Анастасии Савельевне никогда не приходилось только черные, царские, высокой дугой изогнутые, всегда как будто чуть удивленные, или над чем-то подтрунивающие, брови. Которые взлетали еще выше, когда она, фигуристо избоченясь и выставив вперед пухленькое плечико, вытянув перед собой как-то по-особому вверх, в воздух, золотистый аистиный хрустальный бокал с шампанским, на вечеринке у старых друзей, бархатистым голосом читала про черную розу в бокале – и все аплодировали, а Елена,

мучительно стесняясь, забивалась в самый дальний угол, слыша почему-то в Блоке только стыдную кабацкую цыганщину.

Одевалась Анастасия Савельевна тоже с каким-то внятным, женственным привкусом цыганщины: длинные бархатные юбки вразмёт, нежно-лиловых тонов тонкие батистовые женские рубашки с простроченным, круглым воротничком и фонариками на плечах, бархатные жилетки, всегда – высокие каблуки или танкетка. И обожала украшения – пальцы правой руки унизаны были яркими перстеньками, доставшимися ей, по наследству, от ее бабки – полячки Матильды. А на груди всегда ярко красовались какие-нибудь очередные, очень крупные и яркие бусы или фальшивые жемчужные ожерелья. Елена иногда думала: дай Анастасии Савельевне волю, так, кажется, бряцала бы и откровенно цыганскими монистами.

Анастасия Савельевна умела рыдать навзрыд – а если уж хохотала, то тембром Джельсомино – так, что когда она бывала в гостях, от хохота этого кругом ходуном ходили фужерчики, бокальчики, стопочки – и дребезжали, даже, казалось, все стекла в хрустальных сервантах и окнах. И единственное, чего Анастасия Савельевна никогда не умела – это быть хладнокровной. С хрустальной слезой, звенящей в голосе, Анастасия Савельевна, как будто первый раз (хотя на самом деле – уже тысячный, как минимум) пересказывала дочери присказку, которую давно уже сделала своим жизненным кредо: «Не бойся врагов – в крайнем случае они могут тебя только убить, не бойся друзей – в крайнем случае они могут тебя просто предать, а бойся равнодушных – потому что именно с их молчаливого согласия в мире каждую минуту совершаются все предательства и убийства!»

Как-то раз, весной, года три, что ли, назад, придя из школы домой, Елена увидела, что мать, почему-то с виноватым видом, сидит в кухне на табурете и что-то бережно держит перед собой в пригоршне – и то и дело на ладони дышит. Оказалось, что по пути в институт она подобрала скворчонка – спасла его, вытащила буквально из клюва у атакующей его отвратной вороны – и, разумеется, тут же вернулась домой: уже позвонила, отменила уроки, взяла отгул с работы.

– Выпал из гнезда, дурачок, – пояснила Анастасия Савельевна, как будто уже получила от скворчонка объяснительную записку.

И на месяц и три недели началась птичья жизнь. Первый день скворец ничего не ел – и Анастасия Савельевна плясала вокруг него, соблазняла вареным желтком, прижимала феникса к груди, умоляла, рыдала, боясь, что он окочурится с голоду – но скворец, с убийственно-грустным выражением нежных желтых губ по краям клюва, ни в какую не соглашался признавать в ней ни кормящую мать, ни даже родственницу. Функции спасательниц разделились: Елена (разумеется, тоже не пошедшая назавтра в школу: «Записку напишем. О-эр-зэ. Как всегда», – нервно согласилась Анастасия Савельевна), обзванивала по справочнику орнитологические станции, ну ровно ничего в птенцах скворца, а уж тем более в драгоценности их жизней, не понимавшие – и единогласно предложившие немедленно птенца выбросить туда, где нашли и забыть про него «потому что шансов выходить все равно мало». А потом, сгоняв в три ближайšie библиотеки, экстремальными рывками зачитывала громким срывающимся голосом справочник по птицам, – а Анастасия Савельевна, рыдая еще больше, но аккуратно, ровно по спешно пересказанным Еленой инструкциям, чтоб не сломать мальцу челюсть – за верхнюю, только за верхнюю часть («Мама, сказано же: за верхнюю! Зачем ты ему ногти сбоку в рот суешь!») разевала чужой клюв, и запихивала, закладывала, и умоляла съесть катышки желтка.

Ларчик, впрочем, открывался просто: малец просто недолюбливал яйца. Не желал, видать, с детства стать каннибалом. Как только же Анастасия Савельевна его вниманию предложила жеванные дефицитные молочные сосиски, оставшиеся от майского заказа, он вдруг запомнил про свою ностальгию по гнезду – и уже к следующему вечеру скакал за матерью по полу, неумело, кособоко взлетал, садился на руки, доверчиво разевал рот и ждал жратвы.

Утром, часов в шесть, Елена просыпалась от того, что кто-то крылатый сидел и раскачивался у нее на голове – и не сразу вспомнив, спросони, кто бы это мог быть, вскакивала – скворец спархивал, отчаянно треща и скрежеща, мать прибежала, уже с жеванной сосиской в руке, и ругалась на Елену, что та неаккуратно обращается с ребенком.

Кормить надо было каждый час – в противном случае, как было написано в обеих раздобытых энциклопедиях – скворец моментально бы подох. И очень кстати начались через неделю летние каникулы.

Мать бегала по району, зря разыскивая в пустых магазинах хоть запах сосисок. И – спасибо сердобольной соседке, слава сорочьему телеграфу – вовремя, в обеденный перерыв, узнала, что на Таганке (где соседка работала), в гастрономе у метро сосиски «выбросили» – рванула туда, и, отстояв в очереди три с четвертью часа, привезла в клюве добычу. Толкла в ступе, как добрая баба-яга, кальций и витамины. Свежую воду доплескивала в фаянсовую салатницу, в которой скворец с азартом, весело (и крайне неаккуратно) трижды в день принимал душ. Натащила ему со двора громадных ветвей (едва не брёвен), накрыла травой и листьями, устроила в углу целый шалаш – и от каждой новой игрушки пациент был в восторге.

Откормленный, довольный жизнью и уже, прямо сказать, нагловатый скворец, начал авиапарады – и, разогнавшись, вмазывался со всей силы в стену башкой. Жалобно вякал, скрежестел – и падал, еще долго мелодично жалуясь.

– Он уже все книжки твои перечитал! – с умилением рапортовала мать, когда Елена входила в квартиру.

Любимым же видом изобразительного искусства скворца было повсюду, куда можно добраться, расставлять внятные точки над ё.

Скворец жрал уже самостоятельно из блюдечка – и бился, взлетая, обо все вертикали. И становился катастрофически ручным, игривым и разговорчивым, очеловечиваясь в повадках до неприличия. И надо было выпускать, срочно.

Мать снова плакала – сердце опять разрывалось:

– Ну, давай пойдем тогда, прямо сейчас, выпустим его в Покровское-Стрешнево! Там так красиво! Ему там будет хорошо... Только пойдем побыстрее, раз уж решили...

Елена же, обложившись орнитологическими справочниками, изучала стратегию.

– Нет, выпускать сразу нельзя. Написано, что он должен прибиться к своим – единственный шанс, что он выживет в природе. Как ни смешно, здесь уверяют, что он – стайный! – авторитетно охоложивала она жертвенный материн настрой. – Сверчков придется показать ему, как ловить...

И пять недель, каждый день выносили скворца на пленэр – в разоренный княжеский Покровско-Стрешневский парк с прудами. Парк был со сногшибательным талантом загажен; служил раем для

пьянчуг и парковых маньяков; последние, впрочем, в будние дни, к счастью, редко появлялись на тропинках – за недостатком благодарных зрителей. И в той части, где усадьба была более разорена, чем загажена – а именно в чаще лиственного леса, царстве бурелома и жухлой, с гнильцой, прошлогодней листвы – иногда даже можно было на прогалинах ранней весной обнаружить матовые светильнички подснежников, на блестящих глянцевых свежесалатовых стеблях – и в детстве Елены Анастасия Савельевна перво-наперво вела сюда Елену гулять, как только теплело, каждой весной, ревниво обследуя по ходу на деревьях почки: не дай Бог, кто-нибудь увидит свежие липкие листики, или сережки, или еще пуще – цветок – раньше, чем ее дочь. Раньше всех выпускавший буйные украшения американский клен, который все без исключения знакомые москвичи, по ботанической наивности, называли с какого-то бодуна «ясенем», а биологичка Агрипина в школе предлагала уважительно кликать «*Asar pegundo*», – Анастасия Савельевна, не утруждая память наукообразными названиями, выразительно окрестила вовсе «Размахайками»; а проростки ирисов, да и всех похожих на них ранних гостей, проклевывающихся зеленым клювом на газонах, Анастасия Савельевна, умиленно округляя и вытягивая губы, звала попросту «Пикульками». Между верхним и нижним прудом был водопад – оскорбительно закованный зачем-то в подземную трубу и ржавую решетку – и если запустить особую, заметную палочку, в круговорот, сквозь решетку, – а потом быстро-быстро перебежать по перешейку к нижнему пруду, можно было на секундочку увидеть «свою» весточку в водопаде с другой стороны – вспенивавшемся, как будто туда налили шампуню. На солнцепеке же, на высоком длинном бугре перед железной дорогой – которая отделяла замороженный парк от сумасшедшего города – весной нет-нет да и попадались богатства: то ручные светила мать-и-мачехи, распускавшиеся здесь раньше, чем где бы то ни было во вселенной – а то – художник, расставивший на телескопической козеножке мольберт, и удивительно некрасиво копировавший пруды и белый ромбик бумажного змея, запущенный над ними, и золотые, в солнечном лаке, еще не распустившиеся – но готовые выстрелить завтра – ивы над водой; художник стоял, почему-то, неизменно спиной к другой, невесть как уцелевшей, диковинке усадьбы – пристанционной крашеной деревянной галерейке – чуду

модернистского узорочья – неумолимо разрушающейся, но в детстве казавшейся Елене, по контрасту с совковой архитектурой, дворцом.

Сюда-то, в глухую разрушенную Стрешневскую роскошь парка, теперь, летом, свою главную драгоценность – скворчонка – гулять и приносили. Дозу разлуки скворцу увеличивали с каждым разом – держа на ладони все ту же жеванную сосиску и выискивая места, где резвятся слетки-скворчата. В парк приносили его в огромной картонной коробке, из-под вина, сворованной за ближайшим гастрономом – Елена ножницами провертела там вентиляционные слуховые окошки – и несла коробку осторожно, обеими руками, прямо перед собой, – но скворчонок каждый раз всё равно в дороге изнывал, свирищал, скандалил – и жалобно высовывал в дырки нос, так что однажды накрепко застрял. Поначалу, на открытом – до очумения – воздухе, он боялся всего – и сидел только на руках (или – «в гнезде» – на голове), вцепляясь когтями так, что казалось, останутся дырки в коже, и наотрез отказываясь даже погулять по земле, и только с ужасом прислушивался к аборигенному птичьему весеннему визгу вокруг. Но уже на следующей прогулке скворец важно разгуливал по окрестностям и смешно резко раздвигал как циркуль клюв, сбивая и поднимая таким образом носом листики – и заглядывал под каждый, каждый, каждый листочек, и даже под сигаретные пачки, и даже под винные этикетки, и даже под бумажки от мороженого, и как сумасшедший охотился на каких-то травяных блох – каждый раз, впрочем, минут через пятнадцать веселья на воле, возвращался – и уже отказывался с руки уходить. Отучать его от себя было до слёз больно. Но когда под конец этой же недели он стал играть в лапту с другими слетками в стайке и базарить с ними о чем-то на своем наречье – и сорок минут не обращал на застывших в зачарованном любовании людей никакого внимания – в этом была какая-то отрада. Под конец пятой недели, подождав скворца с обычных игрищ лишние три часа, и не дождавшись, и все еще слыша его голос в белиберде остальных скворечьих голосов, оставив все запасы жеванных сосисок на изрядно вытопанной за все это время полянке рядом с поваленным дубом – они ушли домой.

Нет, положительно, ничего странного не было в том, что Анастасия Савельевна, с ее горячим сердцем, безудержной артистичностью в бурном союзе с детской искренней

эмоциональностью, яркой красотой и щедрым каким-то размахом души – за всю жизнь так и не смогла найти себе ровню, равного себе по знаку небесного качества мужчину. Компромиссов Анастасия Савельевна в человеческих отношениях не терпела. К мужчинам была куда более строга и требовательна, чем к скворчатам. И «снисходить» до какого-то ничтожества считала крайним унижением. А никого, кто был бы достоин ее, так за всю жизнь и не встретила.

При этом, то ли из-за пышных, почти скандально откровенных форм Анастасии Савельевны (которые она еще и невольно подчеркивала невероятно женственными, вольными, размашистыми, круглявыми нарядами), то ли из-за ее природной искрометной всепобеждающей веселости и из-за того, что Анастасия Савельевна в любой компании была самой хохочуще-живой, обожала танцевать (иногда даже и на столе – если тот был из материала покрепче) – короче, от поклонников она в буквальном смысле не знала отбою.

И, порой, сиреневым летним вечером, когда после очередной вечеринки у старых материных друзей, Анастасия Савельевна, напевая что-то, шла по светлому теплему асфальту своей неподражаемой походкой, чуть покачивая бедрами, взметая волны бордового бархата босоножками на высоченных пробковых каблуках – как будто специально созданных, чтобы подчеркнуть ее красивый, уверенный подъем ноги в голени (а Елена, мучительно сжавшись, шла рядом – этой шумной, яркой, чуть пьяненькой матери болезненно стесняясь) – бывало и вовсе трудно отбиться от желающих с бархатной цыганской красоткой познакомиться.

Однако свое одиночество Анастасия Савельевна несла с какой-то звонко-задиристой гордостью, и от предлагавшегося ей (раз двадцать, только на памяти Елены) замужества, да и от любых адюльтеров весело и мастерски увиливала. Вообще, кажется, была Анастасия Савельевна абсолютно счастлива – если б не тоска по несбывшемуся чуду, по недовершенному дару.

Сердцем Елена прекрасно чувствовала, что если уж кто из виданных ею взрослых людей и прожил – достойно и высоко – сломанную, изувеченную жизнь, – так это мать. Но все-таки, в последнее время, мать из-за своих осторожных разговорчиков – казалась ей хранительницей всего того застойно-соглашательского,

покорно-примиренческого, что капканом виснет не только на любой душе, а, вон, на целой стране!

«Да как она смеет?! Как у нее язык поворачивается говорить про «инженерство» и про «нормальный» институт?! Хочет меня отправить в ту же яму, в которую и сама, из-за бабушкиной невежественной дури и забитости свалилась! Вот же настоящее убийство – а не что-то другое! Да лучше умру, чем на это соглашусь! – яростно говорила Елена себе под нос. – Да как они все смеют?! – выругиваясь уже на какую-то абстрактную массовку сограждан, продолжала гневный она залп. – Это же твоя уникальная, единственная жизнь! Твоя единственная во всем мире, неповторимая душа! А они все тянут лапы, сволочи!»

Только в эту секунду Елена вдруг внятно ощутила свое тело – тело было катастрофически мокрым, начиная с головы – и прошептало уже, оказывается, полпути к метро – до самого угла с Ленинградкой. Забыла зонт. Домой возвращаться – ни за что! Надвинув капюшон, она, дрожа от негодования, зашагала дальше к метро – силясь вызвать в себе бесчувствие к потокам живого угрюмого озабоченного фарша, маршировавшего вокруг сразу во всех направлениях, и стараясь не глядеть на мокрые шкурки неповоротливых немых сталинских домов – которым нечем было прикрыться.

III

Дождь уже давно выключили, но с низких карнизов еще звучало гулкое послесловие. Влага, царившая в воздухе, облизывавшая все доступные плоскости, была уже скорее не дождевого, а банного свойства – испарина, а не осадки. «Завтра потеплеет», – подумала она, чуть отступая от невысокого замандражированного желто-пурпурного деревца боярышника, с которого брызнул косо аккорд капель.

Больше всего ее изумляло то, что верхние не догадывались (или брезговали) спрыгнуть на мостовую вниз за ягодами, которые они же сбивали. Блаженно раззябив рот, и наклоня голову на девяносто градусов, они закрывали глаза от предвкушения яств (и в этом легком подрагивании серебристых век было эхо и звучных капель, и

сумерками расплавленного в тумане серебристого молока, которым были залиты улицы) – и промахивались: ягода оказывалась сорванной, но мимо рта – и летела на влажную глинистую землю палисадника – или – отскоком – на черный мокрый асфальт.

Нижние же не испытывали ни малейшего комплекса и шестерили вовсю между женскими каблуками, солдатскими сапогами, стилижными штиблетами – движущимся многоногим кривошипно-шатунном механизмом переулка – воспринимавшимся ими, видимо, просто как навязчивые и небезопасные титры захватывающего дух кино о еде. Многие бордовые боярышники были уже подавлены – и особенно выделялся один наглец-добытчик, с роскошной белой восковицей: бросался под ноги, как только об асфальт стучала очередная ягода, разевал клюв, давился и долбил, пока не склевывал все до остатка, – рискуя, что им самим тем временем вымостят мокрую мостовую. Два инвалида (у одного не было пальцев на правой ноге, второй ковылял культями, связанный черными нитками), вместе с ним внизу орудовавшие, довольствовались растоптанными плюхами, выпустившими желтоватую мякоть и косточки из лопнувшей жесткой бордовой кожуры.

Верхние, между тем, осторожно перебирая пальцами мокрые ветки – чтобы не наколоться на шип – совершали сонные путешествия на край кроны, к новым бордовым созвездиям. Один из них – самый откормленный – наконец, разозлился, выбрал самую крупную и самую крепкую ягодину и (похоже – уже просто от раздражения, без всякой уже утилитарной мечты) долбил ее как боксерскую грушу; отчего деревце тихонько лихорадило.

Елена с трудом заставила себя оторвать взгляд от густонаселенного сизарями боярышника («стемнело ведь почти уже – они как слепухи сейчас спать клюкнутся»), вышла из закоулка палисадника в переулок и, с чувством, что идет на каторгу, через три минуты вывернула уже на Арбат.

Журналист (и, по-видимому, матерый), мальчик неопределенного возраста, с иссохшими длинными сплюснутыми губами и отвратительно шустрым, скорым, хамелеоньим, языком (тик, вернее – тик-так: хоп-хоп языком вправо-влево – как будто быстро слизывает мушек из уголков губ – и – молниеносно – обратно в рот. А потом – меньше чем через минуту – всё по новой. И так без остановки. С

антрактами на самодовольные фразы), попавшийся ей под руку на журфаке, прямо на лестнице, вконец испоганил ей настроение:

– Я, – заявил он, чуть напрягая и топорща хамелеоний же отвисший мешок под подбородком (как будто уже полный сожранных мух), – являюсь преподавателем интересующего тебя шюжа, и по дружбе тебе могу посоветовать: иди набирай эксклюзив о неформалах, иначе в шюж не поступишь. По дружбе говорю: Арбат-неформальный – самая вероятная тема шюжевского вступительного сочинения.

И хамелеонья эта мимика, и трудновыговариваемая, шипящая, пресмыкающаяся (но хотя бы не жалящая, не ядовитая) аббревиатура курсов при журфаке, и молодой человек, с порога ей «тыкающий» и ни с того ни с сего фальшиво рядящийся ей в друзья – все это моментально напомнило ей все тот же тоскливый школьный террариум.

Посмотрев (издали) на трех унылых озябших портретистов, бомбящих, на Арбате, скорее, зазывалами, наперсточниками, гипнотизерами – чем творцами (за десятку никто себя уродовать позволять не желал; а сейчас за то, чтоб позировать им полчаса на мокром парусиновом поджопнике раскладного стульчика, любой вменяемый прохожий еще и приплатить потребовал бы – да и то, подумав, все-таки прошел бы мимо – как все призрачные, туманные, прохожие, собственно, и делали, – и один из промышленяющих кистью, для заманки решив пуститься во все тяжкие – тайком вытащил и прикрепил кнопками на мольберт, с наружной, выставочной стороны, портрет генсека – у которого то ли от влажности воздуха, то ли от гиперболического старания художника, на лбу расплывалось огромное, гораздо больше, чем даже в природе, родовое пятно, подозрительно похожее на карту Чернобыльского района), Елена повернула в противоположную сторону. Тем более, что все белила (если таковые в палитре у кустарей имелись) уже явно утекли в воздух.

С внезапностью редкого тика незнакомца зажглись фонари: взял врасплох первый вспых. Туман, художник тем более даровитый, что никогда не лабал за деньги, запросто растворил и облагородил собой все цвета и звуки – так, что марганцовочный привкус круглых фонарных плафонов переплавился в нежно-лиловый; желтушный, только что грубо подкрашенный дом – в мягко-капельно-палевый, а синяк соседнего здания – в небезынтересную масляную сиреневость;

шаги же, каблучный приступ и башмачное шарканье – всё сделалось как будто гулко капающим, как будто заключенным в округлый коридор, с обтекаемым эхом, – заковав улицу, дома, прохожих в единый законченный, хотя и расплывающийся по движущимся контурам фигур, по влажному воздуху нарисованный, фиолетовато-млечный шедевр.

Двое накачанных коротко стриженных придурков в трениках одиноко танцевали у обочины на куртках то ли гопака, то ли нижний брэйк; двое других накачанных коротко стриженных придурков в трениках с натужным любопытством не без зависти на них смотрели.

Из избушечного киоска с лубочной надписью: «Русь» (откровенно пустого – что явственно следовало из отсутствия очереди), скучая, высунулся огромный детина в белом фартуке с бычьей головой: подпер ее бычьими же ручищами и замер, как будто рекламируя несуществующий товар – либо просто харю проветривая.

«Кто, кто, кто, какой идиот припрётся сюда тусоваться?! – в ярости бормотала она себе под нос, фигурной елочкой переступая по фальшивой, формованной аккуратными бетонными шмоточками брусчатке. – Какой там «неформальный»? Ах, как чудно. Ах, как мы гордимся. Ах, глядите-ка! За семь десятков лет головорезов у власти режим набрал силенок доказать: де, и в этом сером громадном концлагере могут быть цветные фонари и пестрые недоразрушенные дореволюционные дома! При этом сил хватило только на одну-единственную образцово-показательную улицу в стране. Изысканная месть коммунистов самим же себе: их самих же неудержимо тянет теперь смастырить имитацию – типа, вот поднапружились и сделали улочку примерно, ну очень приблизительно, ну с очень большой, гигантской, космической натяжкой – так, как было до переворота. Зачем расфигачивать тогда, спрашивается, всю страну было?»

Радужный пар изо рта, зрительно накладываясь на фонарную сырую световую взвесь, дарил жизнь особым полупрозрачным октябрьским стрекозам – вспархивавшим, долепльавшим свой стан и слюдяные крылья уже на лету, в воздухе, и фигурно, танцуя, фиолетово улетавшим, медленно, не спеша – из уст к близкому небу.

Раздраженно и резко, она села на бесспинную скамью и достала блокнот и принялась грызть перьевую ручку. Неформалов в туманном пруду не наблюдалось. Асфальтово сизый волглый шелк неба с

фонарными молочно чернильными кляксами от влажности провисал уже аж до самой скамьи.

Она открыла блокнот и вывела: «Капéль каблуков», – поставила синюю точку, обвела ее тройным туманистым ореолом. И со злостью представила, как мать будет сочувственно торжествовать, когда она завалит вступительное сочинение даже на подготовительные курсы.

В ту же секунду из чернильности тумана по правую руку вынырнул коротенький веселый оболтус с крошечными иссиня-черными усиками, в чересчур длинном для него черном пальто (как будто только что спёртом у кого-то) и в крайне хулигански выглядящей (потому, что крайне приличной) заломленной фетровой черной же широкополой шляпе, – а за ним еще двое – державшихся, правда, на почтительном (стократно скомпрессованном туманом) расстоянии, поэтому в боковом зрении Елены выглядевших почти привидениями.

– Что это вы тут пишете? – коротенький оболтус вертелся вокруг нее, стараясь заглянуть в блокнот и шляпой отбрасывая на лист бумаги сизую, смешную, качающуюся, алюминиево-фонарного покроя полутень. Говорил он, несмотря на свои крошечные габариты, раскатистым баритоном – и когда Елена блокнот у него перед коротеньким кукольным носом захлопнула, он с очаровательной непосредственностью без приглашения плюхнулся на скамью рядом. – Нет, ну как же – «ничего»?! Мы же только что видели: вы только что что-то записали! Идем – смотрим: девушка под фонарем на скамейке сидит пишет что-то!

– Ага. Записала. Вы правы. Записала: «Три кретина, – записала, – какие-то подвалили из тумана: сосредоточиться сейчас мешать мне будут».

Шляпа взлетела, обтанцевала уже раза три вокруг ее скамейки, гуттаперчево подпрыгнула, провернулась на высоких каблучках черных, лаковых штиблет с заостренными носками, и – не унималась:

– Нет, мы положительно не можем вас одну тут оставить! Вы что, девушка, Арбат любите, что ли? А? Вот! То-то! Видите? Мы тоже – ненавидим! Так пойдем срочно отсюда!

– Честное слово: мы и сами-то забрели сюда только на секундочку – специально чтобы вас встретить! – стеснительно ввернул, сделав вежливый шаг вперед, второй призрак – молодой человек, темно-русые

волосы которого были аккуратнейше зачесаны назад модным гладким сплошным крылом.

– Цапель, ну скажи ты хоть слово – что ты стоишь молчишь? Скажи что-нибудь! А то видишь же, что девушка нас, и правда, пошлет сейчас куда подальше! – весело пробаритонил маленький оболтус в шляпе, привставая на мысках и обращаясь уже к третьему спутнику – застывшему от лавки дальше всех, в трех туманных гамбургских милях, – и Елена невольно подняла взгляд: посмотреть, что ж за авторитет-то там, к которому взывают, – и обомлела: призрак наделен был чем-то, что приписать она могла только исключительно зрительным искажениям и игре фиолетового света в туманной изменчивой плотности – а именно здоровенным, как будто только что от нечего делать с горя надрисованным кустарями-портретистами, высоченным гребнем на голове, раскрашенным во все цвета радуги. Призрак промолчал и остался стоять в сторонке, лишь чуть-чуть снисходительно улыбаясь резвости приятелей.

«Хорошо, про все цвета радуги – это мне явно показалось. Но даже если одного цвета – такого все равно не может быть», – твердо сказала про себя Елена. И когда маленький балагур в шляпе наглейше и весело подхватил ее под локоть, деловито баритоня: «Уходим, уходим отсюда!» – она абсолютно неожиданно для себя вдруг встала и, до конца не веря тому, что действительно это совершает, сделала вместе со странной компанией вперед по мостовой несколько шагов.

– Видите – мы совсем не страшные! Хотя мы и панки! – балагур в шляпе (казавшийся ей если не младше ее, то уж наверняка не более чем ровесником) уже бежал впереди нее, счастливо оглядываясь и стараясь громко продекларировать свое счастье на весь Арбат. – Майкл, развлеки девушку беседой! Ты же у нас умный!

Елена с подозрением взглянула на смутившегося, кажется, еще больше, чем она сама (и поэтому только улыбающегося, искоса на нее на ходу пугливо поглядывающего и молчащего), юношу, которого маленький гуттаперчевый попрыгунчик назвал «Майклом»: ничего панковского в его аккуратной, с иголки, как у пай-мальчика, одежде не было – ни уж тем более в поведении.

Через несколько секунд и третий их приятель – так заинтриговавший своими удивительными очертаниями Елену в тумане, с отстраненным видом догнал их: льняного цвета гребень,

десятисантиметровый, торчком стоявший – оказался, к оторопи Елены, не миражом – и от этих тупейных художеств она потупила взгляд, и разговаривала в следующие минуты уже исключительно смущенно наблюдая мостовую под ногами – разглядывать чудовищную прическу было так же неловко, как чьи-нибудь физические уродства. Тем не менее, было в лице его, стройной фигуре, в его на сто процентов правильно, плёво, небрежно чуть подвернутых обтрепанных джинсах, в том, как он держал себя, в его мягких, с демонстративным достоинством, чуть надменных движениях, в его великолепной мягкой куртке, плёво в ручную сикось-накось расписанной какой-то уродливой краской во всю спину – неизвестным ей английским выражением из коротких слов («Вот уж точно любой встречный благонадежный прохожий мужского пола должен иззавидоваться!»), – быстро подумала она), и в том, как из-за шиворота куртки плёво торчал капюшон свитера – что-то такое было во всем этом, из-за чего Елена, хоть и не глядя на него впрямую, не могла удержаться и все время как будто исследовала, ощупывала его боковым зрением.

– Так вы журналистка... Хотите, мы вас тогда сленгу научим? Это – ирокез, – снисходительно объяснял молодой человек. – Да нет, не «рокец», а и-ро-кез. Как у индейцев! – смеялся он, терпеливо повторяя, с некоторой, впрочем, иронией, для нее все слова, видя, как Елена, с азартом, вытащила припрятанный было в карман блокнот и уже начала составлять этнографический панковский словарь.

И тут же – легко, как будто так и положено, ирокезonoсец оттеснил Майкла и, как само собой разумеющееся, пошел почему-то рядом с ней.

– И не такие уж мы кретины! А вот мы с девушкой идем! – оборачивался и низким голосом провещал изумленным прохожим гуттаперчево подпрыгивавший шляпный малец.

А Елена из последних сил старалась не глядеть на шагающего рядом румяного стройного юношу с ирокезом – ровно на ирокез ее выше. И с мукой думала: «Ну конечно – такой взрослый мальчик... Такому взрослому мальчику со мной не интересно разговаривать. Да я еще и стесняюсь слово молвить... И ничего не знаю ни про панков, ни про его крутую жизнь. Он душой меня, наверное, считает».

Кликуху «Цапелъ» выговорить ей было невыносимо ни по соображениям вкуса, ни по соображениям поднимавшейся в ней

безнадежной нежности. И поэтому она еще безнадежней замолчала, напряженно думая: «Сколько ему? Лет двадцать? Катастрофа...»

И дико изумилась, когда уже после того, как прошли верстовую тёрку театра Вахтангова, Цапелъ, сохранявший до тех пор непроницаемый вид, тайком от друзей, вдруг наклонился к ней и жарко шепнул ей на ухо какой-то неразборчивый, явно с вкраплением иноязычного сленга, вопрос, – и от волнения, и от сленгового невежества Елена ни словушка не поняла – а, пытаясь угадать отдаленные словесные очертания – с какой-то наивной надеждой заключила, что спрашивал он ее о том, «есть ли у нее “Битлз”».

С радостью, что хоть что-то может понять в этой панковской викторине, она тут же, с невиннейшей улыбкой, воскликнула:

– Конечно есть! Разумеется!

Ирокезоносец почему-то обиделся, напрягся, чуть отвернулся от нее, и всю оставшуюся половину Арбата шел с уязвленным, независимым видом.

– Ну, какой он был, этот Цапелъ? Опиши его мне так, чтобы я его увидел, – лениво цедил себе под нос Крутаков, одновременно перевернув своими наманикюренными пальцами сразу две страницы книги, и случайно оставив на уголках листа двойную треугольную бумажную заминку.

– Ну... Он был очень красив, этот Цапелъ. Очень, очень красив...

– А именно? Что за штампы! Опиши так, чтоб видно было, – требуя визуальности, Крутаков, однако, тем временем на секунду и вовсе отвернулся, взяв со своей недопитой чашкой чая, которая таки дала, наконец, течь и рисковала залить диван, пизанскую пирамиду книг – и всё, всё вокруг: пристроил чашку вниз, на обшарпанный паркет, перевернулся опять и принялся разбираться с загнутыми страничками.

– Ну, знаешь... Красив такой невероятно правильной, эллинской красотой, эпохи высокой классики, подлинник которой только в Пушкинском музее сыскать. Но только не каменный, и не бронзовый, не холодный, а очень, очень нежный, с таким мягким очертанием лица... пухлые нежные красивые губы, правильный ровный нос. И одновременно – с щепоткой красоты эдакого деревенского юноши: румянец, чистое лицо. Если бы не этот ужасный ирокез, я бы,

наверное, сказала, что никогда до этого такого идеально красивого мальчика не встречала.

– Эллинских подлинников, голубушка, в Пушкинском, к твоему сведению, никаких нет. Там только копии. Точнее: даже копии с копий. Слепки с копий, – лениво отповедовал Крутаков, позёывая, мизинцем распрямляя заминку листа и перелистывая одну страницу назад, а затем чуть приподнявшись и присев на диване повыше, не глядя, левой рукой подбивая под собой поудобнее огромную расшитую сиреневую подушицу с цветами, бубенцами и колокольцами по краям – предел мечтаний Елены – за эту подушку она всегда с ним боролась – но в этот раз упустила из рук – не в первый, не в первый раз, потому как Крутаков в этой битве был крайне быстр, ловок и нагл.

Споткнувшись о выбитый шматок брусчатки, и поняв, что сморозила какую-то жутчайшую, непоправимую глупость – или хуже – оскорбление, Елена с ужасающей ясностью представила себе, как сейчас, когда они дойдут до конца Арбата, она сразу же гордо скажет панкам, что ей пора домой – и уйдет к метро – и больше не увидит этого невероятного, дух-захватывающе-взрослого мальчика с чудовищной кличкой и ирокезом – никогда в жизни. Слова «никогда в жизни» почему-то добавили еще больше внутренней трагедии и нежности. «Катастрофа. Катастрофа. Я даже никогда в жизни не узнаю, о чем он меня спросил!» – мучилась она (будучи, впрочем, на сто процентов уверена, что ничем своих душераздирающих страданий внешне не выдает).

– Да что ж вы такая грустная? Чем мы вас расстроили? – тут же разбил вдребезги ее иллюзии о ее безмерном самообладании вежливый гладко причесанный Майкл – взявший некоторый позиционный реванш, пока Цапель, заслышав, что она со всеми прощается, с отстраненным видом отошел от нее и разглядывал увлекательный грязный карниз закрытого магазина.

– Нет, домой мы вас в такой поздний час ни за что одну не отпустим. За кого вы нас принимаете? Мы что вам, панки, что ли?! – веселился баритоном маленький оболтус, хватая ее за руку и ведя к метро. – Я учитель – мне можно доверять! – с клоунски-важной гримасой на кукольном, под огромной шляпой, личике баритонил он вырвавшей руку Елене. – Вернее, буду учителем года через четыре. Говорите, куда вам ехать?

И на эскалаторе было дивно хорошо: сначала шляпа, потом Майкл, а потом и Цапелъ – расселись по ступенькам эскалатора как на жердочках. И Елена улыбнулась – и уселась тоже, на ступеньку повыше, вдруг в первый раз в жизни весело поняв, что именно этим трюком можно за секунду исправить гнусный вид, каждый, каждый раз угнетавший ее – конвейер тупой плоти, тётки с гнилым мясом на роже и во взгляде, угрюмцы в поношенных костюмах с тухлыми свиными портфелями – все они становились здесь, при входе в подземелье, как по какому-то злобному заговору, даже еще угрюмее, чем на улицах, еще менее людьми, чем всегда – и каждый, каждый раз здесь почему-то сразу вспоминались материнские байки ужаса (особый, леденящий, сплетнями вместо свободной прессы питаемый, московский жанр) о том, как несколько лет назад в Москве переполненный людом эскалатор провалился – и конвейер вмиг, словно того и ждал, превратился в чудовищную мясорубку, люди проваливались вниз, и их пожирали шестерёнки; и, каждый раз, слушая с нескрываемым скрипом ползущие ступеньки, Елена отсчитывала фонари, скобки, полоски-трещины между псевдо-деревянными коричневыми пластиковыми панелями – и невольно примерялась: выдержит ли эта панель в бордюриках между эскалаторами, если лечь на нее плашмя, и можно ли там спастись, – а потом, забыв про ужасы, каждый раз сбегала взглядом наверх и воображала, что бежит по потолку, или едет по нему на лыжах – по этому длинному-длинному, бесконечно-закопченно-белому-водоимульсионно-масляному-трубочистами-маранному коридору в нору.

Вся эта паскудная лента, да и нора – оказались сейчас в секунду перевернуты вверх тормашками.

– Как вам не стыдно?! – облила их ненавистью протискивающаяся мимо толстогузая матрона, щеки которой висели так, что пуфами от кресла казались даже отсюда, снизу, не говоря уж о бутузках-голенях под плафоном ящерично-серой юбки с люрексом и финским плащом – голеньях, за которые ее даже никто и не схватил – не понятно чего возмущалась, – и, как снимаемая с потолка безвкусная люстра, грозно трепыхалась надо всем этим сверкающая налаченная объемно-мочалистая тумба на ее голове.

– Встаньте! А ну-ка! Сейчас же! Как вы смеее сидеть в общественном месте! Мы сейчас милицию позовем! – дофрякивала ее еще более неуместимая в габариты прохода товарка, в норковой шубке (распахнутой – не то слово! – не съезжающей на пузе – но зато с золотой брошью: рябиновая гроздь на фильдеперсовой обтягивающе-морщинащей острой выемке ярко-зеленого платья, зря обнажившей траншею меж подержанных арбузовых грудей), шедшая сзади с матерчатой сумкой, до отказа забитой консервными банками чатки, которые ни с чем не спутаешь (ну точно, продавщицы из Смоленского! Шофер, что ль, напился?). – Сейчас, вон дежурным внизу доложим! Вас тут же заберут! Безобразие!

И только медитирующий доходяга-алколоид, позади них, сочувственно улыбнулся:

– Устали, ребятки? – и, в знак поддержки, попытался приземлить и свой, страшно худой, как у заезженной клячи, зад на рифленую ступеньку, но вестибулярный аппарат был явно с верхом залит тормозной жидкостью, он чуть не пал, шатаясь, выпрямился и, с умильной улыбкой, ухватился за воздух – но, не рассчитав космической точки опоры, залег всем животом на черную грязную ленту поручня, полоща руками пластиковые пластины, и едва пропуская торчки светильников, да так и ехал, сушащимся жалким бельем, до самого конца.

В поезде расположились на полу тоже. Но поскольку у Елены с непривычки устали коленки – перенеслись все-таки из партера в бельэтаж: провожатые встали вокруг нее карточным домиком, покарточному двоившимся и искажавшимся в дверных отражениях: и стеснительный Майкл вдруг обернулся студентом-первокурсником, обожающим театр и неплохо знающим труды Станиславского; а сорванец в шляпе оказался студентом тоже – не соврал – да еще и биологом, да у него еще и обнаружилась в мирной жизни парадоксальная для панка тихая, мирная фамилия. Увидев, что Елена опять онемела от застенчивости, Майкл, невыразимо стесняясь тоже, то и дело зачесывая всей пятерней волосы назад и часто-часто моргая ажуром ресниц, от живого сопереживания принялся страстно объяснять ей, как, по Станиславскому, нужно, в общении, представить себе, что одной рукой, рывком, разом, поднимаешь и подбрасываешь в воздух венский деревянный стул, держа его только за одну ножку;

а маленький обаятельный баритонящий прохиндей в шляпе – вдруг шляпу снял, а из-под нее вдруг выпростался совсем седой чуб, доходящий до кончика носа, дико контрастирующий с черными его глянцевыми, густыми, ступеньками постриженными на затылке волосами – а на невольный «ах» Елены он как-то просто, без пафоса, рассказал, как служил в армии, и как спасал друга из взорвавшейся шахты с топливом, и, как вытянув его, наконец, за руки из объятый пламенем воронки, увидел, что от друга, еще живого, еще двигающегося (на какие-то последние доли секунды) осталась только верхняя половина – и как друг умер, а он в одну ночь после этого поседел. И только Цапелю почему-то ничего не рассказывал. И когда Елена, уже на выходе из метро на Соколе, вежливо, чтобы поддержать беседу, спросила у Цапеля, «а что это у вас на спине написано по-английски?», Цапелю замялся и переводить отказался. Тихонько наведя справки о том же самом предмете у маленького разговорчивого студента-биолога из педагогического института, вновь франтовски надвинувшего фетровую шляпу, Елена услышала ответ, заставивший искренне ее порадоваться исключительно одному: что от этого простецкого перевода упасены уши хотя бы Анастасии Савельевны.

Мать ждала (и, похоже, уже очень давно) на темном балкончике: Елена сразу же издали засекала ее по светящемуся маленькому бордовому огоньку сигареты «Ту» на фоне абсолютно черных окон, – и с каким-то невероятным молодым проворством, вмиг осилив четыре двойных мотка лестницы, Анастасия Савельевна, в безудержном, неприличном порыве любопытства, выскочила в домашнем халате из парадного.

– Нет, мне прямо-таки интересно было: что за трех хмырей ты с собой притащила? – оправдывалась потом Анастасия Савельевна на кухне. – Откуда ты их выкопала-та? Нет, ну надо же! И главное, он мне: «Здрассссьте!» Этот-то маленький нахалюга, а! Ты подумай-ка! А? «Здрассссте!», говорит! Все-то остальные-то хоть стоят стесняются, примолкли, а этот, обаяшка со шляпой, кланяется, как кот в сапогах: «Здрассссте!» Где ты их нашла-то?

Как раз коту-то в сапогах со шляпой Елена свой домашний телефон и доверила: еще у метро – на вырванной из блокнота страничке, как билетик счастья, исключительно в научных, панковедческих, разумеется, целях; и, скованно прощаясь с ним (он,

картинно, по-пажески, что-то галантное опять баритоня, расшаркался, поцеловал ей руку – а она всё это время как будто видела впотьмах под шляпой его седой клочок, и – в пылающей воронке – ополовиненного умирающего друга), и со стеснительным вежливым Майклом (над которым в темноте как будто завис, как зонтик, легко поднятый им же в воздух за ножку атрибут системы Станиславского), и, в самую-самую последнюю очередь – с хладнокровно отводившим от нее глаза Цапелем, переминавшимся с ноги на ногу, как будто ему не терпелось скорее уйти, – прощаясь перед подъездом уже – как назло, при матери, под бдительным ее взглядом, – шла Елена домой с горькой уверенностью, что красавца с ирокезом никогда ей больше не видать.

IV

Утром действительно грянула теплынь. Да такая, что Анастасия Савельевна, высовываясь в распахнутую узенькую дольку кухонного окна – для замеров – и изо всех сил протестуя против того, чтобы Елена форсила и надевала в школу летнюю, сиреневую, холодную, куртку, – все не верила градуснику собственного носа, ушей, щек, рук – приписывая весь этот оранжевый расплавленный янтарный жар то собственной сигарете, то – чаду от скверной вытяжки над плитой, с фильтром, зависшим рваными грозowymi облаками, весь дым, и гарь, и запахи завтрака всегда аккуратно аккумулировавшими и потом щедро распространявшими по кухне, даже когда на плите уже ничего не жарилось.

То ли из-за веселых препирательств с матерью («Ну не может же быть восемнадцать градусов в октябре!» – «Восемнадцать не может – а двадцать – запросто!» – «Ленка, не бредь! Надень свитер хотя бы тогда под куртку!» – «Мам, ну ты же знаешь, что я его сниму за первым же поворотом – к чему это ханжество?»), то ли из-за истомы внезапно вернувшегося – распрощавшегося уже, казалось, навеки – лета, то ли из-за легкой грустной нежности, оставшейся со вчерашнего вечера, и заставлявшей ее медленней, чем обычно, плыть по улице в своих ощущениях – но факт тот, что в союзпечать на Соколе Елена в этот день опоздала – «Московских новостей» ей не досталось, а киоскерша с черным перстом (которая еще в прошлую среду пообещала, что будет

газету для нее откладывать) со злорадством предложила ей «побегать поискать по району».

– Сейчас, побежала! – весело отгрызнулась Елена в ответ и, вспомнив, что первый и второй урок у нее – у стервозины Ленор Виссарионовны, не спеша («опоздаю – так не пойду вообще!») – пешком, шляющимся, блаженным шагом, направилась к школе. По дороге, впрочем, вспомнила о другом киоске – в пяти минутах ходьбы от школы, на оживленном перекрестке, где всегда кого-нибудь насмерть сбивали машины – и всегда воскладывали кому-то цветы – но жертвы и объекты поклонения никогда, почему-то, не совпадали – а венки цветов волокни, по разнарядке, от партийных и комсомольских ячеек к здоровенному бетонному кубу – идолоприношения каким-то героям – никто не знал в точности, каким, и кого укукошившим.

В небольшой толпе к киоску она однако, к своему негодованию, явственно услышала:

– Последние, молодой человек... Новости – последние. И больше не будет. Кто за новостями – не стойте!

Пытаясь разглядеть, кто же тот счастливец, урвавший у нее из-под носа привычное, еженедельное чтиво, которым так приятно было развлекаться особенно на уроках алгебры – она удивленно узнала в серовато-синей большой болониевой спине, секунду назад сторбившейся над окошком киоска, – а теперь, со всем воображимым тщеславием счастливого добытчика расправившей лопатки – своего одноклассника, Дьюрьку Григорьева.

– Дьюрька... Гад! – изумленно засмеялась она, пытаясь выдрать у него из смешных, девчачьих, длинных, чуть пухлявых музыкальных пальцев газету.

Дьюрька довольнейше расхохотался, щурясь своими большими, сильно вытянутыми в ширину, с острыми разрезами, устричными серо-зелено-голубыми глазами:

– А я не знал, что ты тоже эту газету покупаешь! Надо же! Ничего, я тебе дам почитать после второго урока, как только сам пробежусь, – он на ходу уже раскрывал рубрику «трех авторов». – Не волнуйся, я очень-очень быстро читаю!

С Дьюрькой они никогда не дружили. Да и трудно было себе, в здравом уме, представить дружбу с активистом, в начальных классах обожавшим по вырезкам из газет проводить перед всем классом

«политинформацию» о международном и внутреннем положении, кознях израильской военщины, ядерном заговоре штатов и прочих зверушках – по заданию классной руководительницы, в свою очередь, инструктируемой парткомом; Дьюрька раньше всех вступил в комсомол – а совсем недавно, плюс ко всем грехам, еще и стал секретарем всей комсомольской организации школы.

Зацепился за Дьюрьку, впрочем, и какой-то смутно припоминаемый Еленой ареол, чуть смягчавший всю эту омерзительную карьерную поступь – а именно: его детская дружба с ее лучшей подругой Аней Ганиной. Дружили, кажется, не совсем Аня с Дьюрькой – а, скорее, их родители (как теперь вспоминала Елена, шагая с ним рядом по периметру «немецких» домов, сконструированных и построенных пленными немцами после войны, и теперь населенных, в основном, семьями привилегированных военных и гэбэшников). Да и то: не совсем дружили, а просто две еврейские семьи, с энтузиасткой подачи Дьюрькиной матери, увидевшей, когда записывала сына в школу, «интеллигентных» родителей будущей одноклассницы (так, кажется, рассказывала Аня), – с местечковой простотой полу-в-шутку – полу-всерьез договорились сосватать своих детей – (договорились, в том возрасте, когда и Аня, и Дьюрька еще едва читать научились) – и изо всех сил пичкали их общением друг с другом (Дьюрьку, например, обязывали «ухаживать» за Аней, нося ее портфель из школы домой; Аня же вменялось в долг приглашать Дьюрьку «играть» домой): допичкались до того, что теперь ни Дьюрька Аню видеть не желал, ни Аня Дьюрьку на дух не переносила – отвечали, словом, друг другу полной взаимностью.

Одно из милейших проявлений этой насильственной дружбы почему-то всплыло сейчас в памяти Елены ярче всего: в третьем, что ли, классе, Дьюрька (тогда еще гораздо ниже Ани ростом) задирает ее, дергая в коридоре, на перемене, за хвост (на голове); Ане же, долго (видать, из почтения к родителям) все это терпевшей, в конце концов мелкие задиранья надоели, она всем своим крепким телом приперла Дьюрьку в угол, и зверски издубасила его заведомо занятым у Елены на минутку (вечный, вечный Анечкин педантизм) чудовищным орудием пыток: доставшимся Елене от матери, послевоенным, огромным прозрачным угольником из тяжелого плексиглаза, с особым, садистским, чуть сколотым, ударным углом – которым Аня со всей

силы и клевала в углу Дьюрьку в темечко. Дьюрька же, зажатый в угол, скалился железным ртом (носил «машинку» для исправления прикуса) и свирепо в буквальном смысле слова скрежетал зубами, крича на весь этаж, с наслаждением смакуя слоги: «Ганина! Еврейская котлета!»

С тех пор Дьюрька (в детстве бывший, скорее, маленьким толстячком), правда, как-то вытянулся – а за это лето так и вообще вдруг резко выстрелил в длину: и теперь был одного роста с Еленой – то есть самым высоким мальчиком в классе, статным, но при этом все так же по-детски слегка пухлявым: явно выучившим лучше всех завет матери «главное – это чтобы ребенок кушал хорошенько».

Еще одно качество Дьюрьки сейчас же (как только они, по везению, без рева тормозов перешли смертельный перекресток) зазвенело у Елены в ушах: Дьюрька оказался чрезвычайно, по-девчачьи, болтлив, причем говорил так быстро, сбиваясь и перебивая сам себя, как будто боялся, что у него отнимут дар речи, что ли. За следующие буквально три-четыре минуты, до школьного забора, Дьюрька умудрился не только рассказать ей, что родной его дед, известный большевик Беленков-Переверзенко (партийный псевдоним), после служивший конструктором на московском авиадетальном заводе, был репрессирован в самом что ни на есть хрестоматийном, в «Московских новостях» живописуемом, тридцать седьмом, в тридцать семь же лет от роду («Дед никого не предал! Ни на кого не подписал! Крепкий оказался! Хотя из него выбивали ложные показания! Его застрелили прямо в кабинете следователя на Лубянке – без суда: следователь подсунул ему под руку документы с фальшивыми бредовыми показаниями против его сослуживцев, – что они, типа, все занимались вредительством, портили детали – участвуя в заговоре против товарища Сталина: «Подписывай, если жить хочешь». А дед как разорется: «Ты, сволочь, смеешь мне это предлагать?! Я – верный большевик!» – и в ярости схватил тяжелую мраморную пепельницу со стола – и запустил ей со всей силы в голову следователю. И тот застрелил его. Может быть, и счастье, что дед так сделал – по крайней мере, избежал дальнейших пыток – а то, может быть, он бы не выдержал и сломался», – горячо подытожил Дьюрька), но и, злясь, доложил, что мать с бабкой, из жуткого, в крови сидящего, патологического страха, никогда ему этого раньше не рассказывали – до совсем, вот, недавних пор; а также (уже у самого черного

решётчатого школьного тына с пиками, пока не вошли в ворота) с феноменальной быстротой, самоуверенностью и газетной словесной шустростью изложил всю свою общественно-политическую доктрину: Дьюрька пылко верил в перестройку, Дьюрька вступил в комсомол, желая участвовать в преобразованиях – и перестроить эту организацию изнутри, Дьюрька ненавидел сталинизм, Дьюрька как дитя радовался начавшейся реабилитации почиканных Сталиным большевиков раннего помёта, и слышать не хотел о том, что до этого они и сами убили тысячи людей. Дьюрька верил в чушь о добреньком травоядном Ленине, оставившем чудное ангельское завещание в письме партии против тов. Кобы с вонючими носками. Словом, доктрина Дьюрьки, к досаде Елены, как брат-близнец походила на горбачевскую. Искренность и пылкость, однако, с которыми Дьюрька говорил, не оставляли сомнения (по всем как-то сердцем Еленой почувствованным индикаторам) – что Дьюрька – что угодно – но только не циничная гнида-карьерист без принципов.

Самым забавным было то, что когда говорил Дьюрька о деде и о сталинских преступлениях – он так экспрессивно, с гневом, гримасничал, так активно елозил вправо-влево оскаленной челюстью – в красках передавая дедовский гнев, – как будто на ней, на этой челюсти, все еще была та, детская, исправительная пластинка – и как будто он яростно пытался от нее избавиться. И тут же – раззудись плечо – демонстрировал, как дед швыряет в следователя пепельницу.

Шагал он, широко размахивая руками, иногда подплёвывался в нее – оборачиваясь к ней, на особо страстных пассажирах, – о внешности своей явно не думал, и уж ни о каком кокетстве и подавно, шел в стоптанных пыльных туфлях, мысли свои излагал с детской непосредственностью и доверчивостью – и явно радовался, что ему, впервые за последние пару лет, нашлось в школе с кем всерьез поспорить про политику.

– Ой, а я тоже хочу на журналистику! Зыкинско! – немедленно встрепенулся Дьюрька, как только она упомянула, что поступать будет на журфак. – Возьми меня с собой – когда там в шюж вступительные? Что там? Сочинение? Да раз плюнуть! – Дьюрька говорил чуть погрубевшим за последнее лето, надломившимся голосом, но еще явно не успел к новой настройке тембра привыкнуть и регулярно срывался на конце фраз чуть ли не девчачий фальцет.

Уже входя в черные, грубо, с наростами пузырей, крашенные ворота, Елена, тем временем, вспомнила нечто восхитительное и невесомое – прямо как переливавшаяся вокруг всеми красками и ароматами жаркая погода: а именно – что у матери сегодня в институте – две ранние пары, – и чудесная идея как-то сама собой, без ее, Елены, непосредственного участия, вылилась вдруг в конкретнейший, счастливейший план:

– Знаешь что, Дьюрька, – весело сообщила она, резко затормозив в железных мрачных воротах. – Я только что вспомнила, что у меня очень важное дело! Мне срочно надо домой сбегать. Когда, ты говоришь, ты «Московские новости» читать закончишь – к большой переменке? Ну, я тогда к этому времени и приду.

– Ну... – замялся Дьюрька, на всякий случай чуть снижая рекорд хвалёного скоротечения. – Скажем, после большой переменки... Идёт?

Радостная, что теперь не придется вставать раньше по средам и нестись за газетой в киоск – Дьюрька все равно купит, – Елена, сразу резко убыстрив темп (прочь от школы почему-то всегда неслась как на праздник – да сейчас еще и не хотела, чтобы ее кто-нибудь заметил ускользящей с занятий), полупривскоком понеслась по темненько-сияющей узкой улице, с обеих сторон тротуара заваленной цветастыми, чуть сырыми еще варежками и перчатками лип и кленов – таким толстым слоем, что казалось, здесь только что дурачился полк комедиантов, все эти аксессуары и обронивших, – причем, каждый из комедиантов явно надушил до этого перчатки разнообразнейшими по яркому тону, но одинаково эксцентричными (чуть-чуть даже извращенно-прелыми) изысканнейшими духами, от которых уже кружилась голова – а остановиться и не впускать в себя это безумие аромата было невозможно.

И только уже перемахнув отвратительный, длинный, на несколько минут отбивающий и обоняние, и слух, гудящий и смердящий автомобилями мост с низким бордюром – над непонятно куда ведшими, запасными какими-то, не то грузовыми – словом, мало используемыми железнодорожными путями, – и подойдя к дому, и позвякав ключами – звук, выпрыгнувший из кармана в высокое угарно-синее небо, – она вкусила чудесное, солнечное (с легким бензиновым послевкусием) слово «прогуливаю!».

В кухне на красном столике валялся «Идиот» – брошенный здесь матерью еще со вчерашнего вечера – раскрытый уже где-то ближе к концу, и Елена, прямо как была, в куртке, случайно наклонившись над книгой, автоматически, не задумываясь, прочитала несколько строк – изумленно мугукнула, присела, на табуретку, подогнула под себя ногу – прочитала несколько страниц вперед, потом – уже судорожно-нетерпеливо – несколько страниц назад, потом перелистнула растрепанный переплет на начало – всплыла в текст как-то разом, без предупреждения, – и под захлестнувшей волной потеряла время – и через неопределенное количество лет или минут шрифта – смиренный игумен Пафнутий руку приложил – вздрогнула, оказавшись вдруг на здешней кухне разбуженной абсолютно нереальным электрическим телефоном.

Вскочив, подойдя к горбатившемуся у окна холодильнику, – она, однако, отдернула потянувшуюся уже было к трубке руку: кто-то же наверняка матери звонит! А потом сдуру скажут ей: «Мы вам звонили утром, а ваша дочь к телефону подошла – она, что, болеет? Ме-ме-ме-ме-ме!» – но потом, мельком поглядев на маленькие красные ходики на подоконнике – рассмеялась над собой: опасность давно, давно уже миновала – давно было за полночь.

– Алё?

Трубку сразу повесили – или что-то разъединилось. И Елена со смехом вспомнила еще одну страшилку из жанра материнских баек: о том, что так звонят днем по квартирам воры – и проверяют: есть ли кто-нибудь дома. «Воооот! Прямая выгода от прогула! Все должны мне спасибо сказать! Страж! Чего у нас, хотя, грабить-то? Эту белую сутулую пингвиниху-холодильник умыкнуть разве что – с пустым пузом?» – и опустилась опять на табуретку – разыскивая упущенное с кончиков пальцев место в перелистнувшейся, захлопнутой случайно – от шока неуместного звонка – книге.

Только уселась – телефон потребовал внимания опять – и уже как-то улетело чтецкое настроение.

– Алё? Алё? – она неудобно опиралась локтем на холодильник, зажимая трубку ухом, а другой рукой пыталась одолеть тугую всегда заедавшую защелку и открыть окно.

– Здравствуйте, можно Лену? – мужской голос в трубке был совершенно взрослым – и Елена моментально поняла, что опять

звонят кавалеры музыкантше-джазистке, ее тезке, с верхнего этажа (номер различался всего на одну последнюю цифру), та Лена была на четыре года ее старше – и редкая кокетка – хотя иногда и приходила простосердечно учить Елену фортепьянным фокусам (кажется, из удовольствия посидеть за резным махагоновым Дуйсеном).

– Я – Лена. Но вы, вероятно...

– А, привет, это Миша, – такой поворот беседы был еще хуже – потому что Мишей звали как раз того чудовищного навязчивого ухажера из материнских студентов, – и хотя голос был категорически на того хмыря непохожим – а скорее очень, очень приятным – Елена несколько напряглась.

– Какой именно Миша? – осторожно переспросила Елена – и только уже выговорив это, поняла, что придала своей реплике нечто анекдотическое.

– Ну, Миша, Цапель. Мы вчера на Арбате... Прости – я тебе даже имени своего не сказал вчера, – и тут у Елены чуть закружилась голова – сильнее, гораздо сильнее, чем давеча на улице от запаха листьев – а перед глазами как будто бы эти самые цветные листья и закружились – и забралось дыхание – так что ни слова в ответ она произнести бы все равно не сумела. Но телефон – отключился еще раз.

Дрожащими руками пытаюсь изобразить для себя же самой, что она всё еще ищет страничку в книге, она присела за столик, потом опять вскочила, чувствуя, как тело то вдруг становится невесомым – то вдруг наоборот покрывается какими-то ватно-войлочными мурашками.

И если бы в третий раз телефон зазвонил хоть на минуту позже – у нее бы, наверное, разорвалось сердце.

– Двушки не было – прости. Гвоздиком пытался... Ты вчера сказала, что хочешь сленг изучить? Мы тут как раз сейчас в центре гуляем. Приедешь? Мы тебе панковскую Москву покажем. Встречаемся под тем же фонарем, где мы тебя вчера увидели!

И когда шла на ватных ногах до метро, и в вагоне, и переплывая водоворот пересадки, и выходя из Арбатской – Елена все еще не могла отделаться от мысли, что это какая-то ошибка, что, может быть, все-таки кто-то звонил куда-то не туда, не ей: «Неужели, неужели это правда?! И неужели Цапель, оказавшийся наделенным таким чудным, мягким, нежным именем Миша, взял у шляпного сорванца телефон, и сам, сам позвонил – а значит...»

«А что если все не так, – обрывала она себя вдруг. – Что если он не понимает, до какой постыднейшей степени я в него с первого... нет, со второго же взгляда влюбилась – и искренне собирается меня учить панковскому сленгу? Я же умру тогда просто!»

У нее мутилось уже все перед глазами, когда она представляла себе, что сейчас придется как-то очень независимо себя вести, как ни в чем не бывало – словно ее и впрямь интересует только сленг, и задавать вопросы, и записывать бред в прихваченный блокнотик – и отводить от него глаза, и...

Цапель, поразительно красивый, с гордо поднятой головой, с чудным абрисом эллинских пухлых нежных губ и чудным, высокой классики, лбом, и мягким горделивым выражением глаз – дивный, прекрасный рыцарь, которого даже кошмарный ирокез не в силах был испортить, и на которого ей даже страшно было смотреть от нежности, – стоял рядом с совершенно незнакомым (в сравнении со вчерашними яркими случайными знакомцами) пацаном – толстеньким, плохо выбритым, с круглым личиком, в смятой назад беретке, с хлюпающим носом, с кожаной сумкой, широкий ремень которой был перетянут поверх куртки по диагонали, с правого плеча под левую подмышку, как португепя, – словом, приятель Цапеля составлял как будто специально подобранный контраст его собственному великолепию.

Натянутая вежливость, с которой Цапель ее встретил, больно чувствовалась Еленой как оскорбление.

Явно сбывались ее самые кошмарные опасения: Цапель держался слегка отстраненно, – сполна отражая, впрочем, ее собственную молчаливую неловкую испуганную натянутость, – куда-то ее целенаправленно вел: на Арбатскую, в подземный переход, на Суворовский бульвар, – изредка перекидываясь ироничными репликами с портупейным спутником, никакого особого внимания на нее не обращал и как будто уже даже и слегка тяготился взятой на себя функцией что-то объяснять школьнице.

Тягостно побрели по оранжево-алому бульвару. Если на Соколе влажные листья были лишь чуть-чуть сбрызнуты истошными духами – то здесь, на бульваре, явно разом взорвались все припасенные у осени в солнечном рукаве тончайшие душистые флаконы: у обочин, и под стопами деревьев, и под ее собственными ногами, и под кроссовками

Цапеля, всюду, на разбитых лавках, и в овалах решетки – подсушенная жарким солнцем, ставшая вдруг рельефной, вздыбившейся, как фонари в рукавах костюмов времен Гамлета, листва раскидана была с избыточеством театральной бутафории; просохшие лоскуты, банты, отрезки ткани, из которых, казалось, можно и правда запросто прямо сейчас сшить хоть тысячу костюмов – всё это пестрое закулисье на каждом шагу источало аромат бесконечно разный: вот здесь – коричнево-шершаво-прогорклый – а дальше ржаво-ало-сладкий, с кислинкой – а тут уже – лимонно-палевый – какие-там флаконы с духами? – трубы! грохочущие золотистые трубы запахов – и это ликование красок и ароматов заставляло Елену еще больше страдать от неразделенной внутренней нежности.

Услышав, что она упорно его называет на «вы» – Цапель и сам к ней стал обращаться на «вы» – причем с откровенной язвительностью в мягком прекрасном голосе – тем более ее ранившей, чем менее она понимала этой язвительности причину. Елена вконец сникла, брела, глядя под ноги, на изысканно разбросанное безумство, – и думая, что, вот дойдут до ближайшего метро – и она – хоть и умрет, вероятно, потом из-за этого от горя – но гордо скажет, что у нее дела, совсем в другой части города, про которые она совсем забыла, и, что, нет, проводить ее туда никак нельзя.

– Миша, а почему вас называют «Цапелем»? – набралась она, наконец, смелости, как приговоренный к смерти – на последнее слово, – когда они уже свернули с бульвара на Герцена.

– Не знаю – длинный, наверное, потому что. Слушай, прекрати меня на «вы» – а то мне всё время оглянуться хочется – кто еще у меня за спиной стоит.

– Ну не очень-то вы и длинный, – успокоила его она, не подумав. – Всего-то чуть выше меня.

Цапель отвернулся.

Елена уже чуть не плакала от того, что не знала, как себя вести. Чудовищная зажатость, вдруг охватившая ее (как будто она была связана по рукам и ногам редкими вежливо-насмешливыми взглядами, которыми Цапель ее искоса окидывал) – не давала ни естественно двигаться, ни даже дышать как следует.

Встречные прохожие, тем временем, как на каком-то подиуме, как в каком-то смешном спектакле, синхронно, один за другим

раздевались: какие-то идиоты утром ушли на работу чуть ли не в зимней одежде, прихватив, причем, для пущей клоунады, зонты, – и сейчас один мужчина стягивал с себя дутую куртку, следом за ним дама – распахивала и спускала с плеча пальто, следующий мужчина – державший в руках куртку, стягивал уже свитер, а следом – двое молодых ребят, перекинув свитера на локтях, разногишались уже до белых хлопчатобумажных футболок – так что, если не смотреть на головы, казалось, что это всё один и тот же мультяшный, мультиплицированный, персонаж последовательно раздевается.

На другой стороне улицы младенец в коляске у сберкассы извивался и орал от жары – а молодая мать его осоловело, почему-то не догадываясь снять дождевик и свитер, обмахивала себя ладонью.

Елена, изнывая уже от жары, затормозила, расстегнула куртку – и вдруг увидела как мягко расстегнуло куртку ее светлое отражение на асфальте, смещенное, почему-то чуть дрожащее – отдвоившееся от тени и перелетевшее перекрестно: тёпло-сиреневая полутень была как будто зимней шубкой другой, второй – движущейся, медовой, чуть вибрирующей, блестящей – и главное – летучей, прозрачной, перепорхнувшей на другой бок, – Елена быстро с восторгом обернулась через плечо – ища взглядом, где же отражатель: оказалось, у ателье, снаружи, девушка в шлепанцах на босу ногу, приставив стульчик и держа на бедре эмалированный таз, мыла большие, выше человеческого роста, светом и водой через край переливающиеся стекла витрины, – и солнечные волны вибрировали так, словно люди по глупости – или по храбрости – пытались удержать целый солнечный океан в мелкой лохани, – и Елена неприятно подивилась себе: как это она, из-за этого кошмарного, парализующего напряжения и стеснения, сперва не заметила – в другое бы время бы уже давно застыла рядом и разглядывала солнечное чудо.

Цапелъ хотя и шел с ней рядом – заставив маленького спутника семенить по разбитой обочине – но казалось, идет и живет в каком-то совсем другом кино.

– Ну вот, например, иногда панки ходят стремать иностранцев – к гостинице «Россия», или, например... – произнес, осторожно озираясь при каждом слове на Цапелю, портупейный паренек.

– А что это значит «стремать»?

Оба экскурсовода засмеялись – а она обиженно достала блокнот.

Плюс ко всем трагедиям внутри – еще и невероятно жали снаружи сдуру нацепленные с джинсами черные мокасины на маленьком каблукке – особенно ломило левый мысок: так, что когда дошли до журфака (на здание которого она специально не оглянулась), ужасно уже хотелось приземлиться хоть куда-нибудь. И если б не смущавшая ее компания, она давно бы, перебежав через проспект к Александровскому саду, залезла бы вон там вон, на солнышке, на скамейку. Признаться в этом конечно не было никакой возможности. «Всё, еще пять минут – и дезертирую», – дала она себе очередную последнюю отсрочку.

Как будто прочитав ее мысли, Цапел, с чуть насмешливым видом, потащил ее, патрулируя за рукав, как мешок какой-то, через проспект.

Перебравшись к Александровскому саду и побродив еще пять мучительных минут с гидами, с какой-то по одним им известным канонам ранжированной привередливостью выбиравшими насест (обычные скамейки явно были ниже панковского достоинства) – она, хоть и с внутренним ужасом, но согласилась вместе с ними сесть на невообразимо пыльный парапёт неподалеку от Кутафьей – пришлось чуть подпрыгивать, зато потом удобно было болтать ногами.

Цапел выжидательно как-то на нее поглядывал – как будто специально выжимал из тубика ее заготовленных натураведческих вопросов все до капли – давая ей в волю нажурналиститься.

– А вот шузы у Цапеля, как сказали бы хиппаны, олдовые, – несмело продолжил образовательную программу молодой человек с портупеей, все больше казавшийся каким-то оруженосцем Цапеля.

– Простите, олдовые – это в смысле старые? Я не очень в английском. У нас немецкая спецшкола. Я английский только немножко по текстам «Битлз» знаю...

Опять раздался дружный хохот гидов.

– Ну как можно слушать «Битлз»? – смешно изображая лицом заезженную пластинку, простонал Цапел, обращаясь как бы не к ней, а к приятелю.

Ровно напротив них, в десяти шагах от их насеста, худая старушка в коричневом протертом пальтеце с одной гладкой, выпуклой как каштан, темно-перламутровой пуговицей – кажется, не только нищая, но и слегка рехнувшаяся, оглянувшись, никто ли за ней не идет,

быстрым движением залезла, по подмышку, в мусорную урну и достала оттуда... – Елена все не могла разглядеть, что: старушка повертела в синих пальцах добытый трофей, поднесла его под нос – и потом бросила к себе в бордовую абсолютно пустую плетеную веревочную авоську и быстренько пошла дальше, работая рукой как поршнем. Булка, вернее огрызок, недоеденная кем-то четвертушка от булочки за одну копейку, опознанная, наконец, Еленой, по вмятой пекарской засечке – разумеется тут же сквозь дырку в авоське выпрыгнула на асфальт – и глазастый голубой голубь с феноменальной грацией совершил простенький трюк с заходом на снижение: внезапный острый угол крыл, балансирование, дисбалансировка наклоненного киля, заворот, вмиг эффектно выставленные (кургузо собранные до этого) красненькие шасси – и уже у корочки.

До слез идеально очерченное лицо Цапеля, обращенное к ней в профиль, на солнце обретало по контуру совсем уж бронзовый оттенок – так, что даже странно становилось, когда эти бронзовые пухлые губы, нежно дрогнув, начинали вдруг что-то говорить – как бы в воздух, как бы никому, – у нее уже не было даже сил слушать, что.

«Невозможно больше выносить этот позор», – сказала себе Елена и приготовилась тут же спрыгнуть с парапета и выдать текст про забытые дела.

Цапель вдруг подтолкнул локтем сначала приятеля, а потом наклонился к ней:

– Смотри-смотри!

Слева, чуть поодаль, там, куда только что ушла старушка, началось в прогретом до пыльной истомы воздухе заметное, медленное, но неуклонное роение ментов – видимо, из-за его ирокеза. И это его «смотри-смотри» – почему-то впервые за всю прогулку было сказано тем самым тоном, которого, она, пожалуй, от него ждала – и почему-то у нее опять закружилась голова от внятного ощущения близости его губ к ее щеке.

Цапель как-то странно ей улыбался – с таким видом, как будто все время до этого ее дурачил – а сейчас, наконец, с облегчением решил отказаться от розыгрыша, – и, нежно разглядывая ее, произнес тем же самым, до мурашек проникавшим в нее мягким голосом:

– Ну что, будем стремать ментов?

– Как именно? – заинтригованно, с широко раскрытыми глазами, шепотом поинтересовалась Елена.

И через секунду Цапель уже страстно целовал ее – своими эллинскими, высокой классики, губами, – так, что через пять минут столь близкого жаркого безостановочного изучения античных форм ей сделалось дурно, но вместе с тем так сладко, что остановиться было невозможно.

– Ну вот примерно так... – шепнул Цапель, когда почувствовал, что она опадает из его рук в полуобморок. – Ну пойдем гулять теперь нормально? – спрыгнул с парапета и подхватил ее.

Нормальной прогулку можно было назвать, впрочем, только чрезвычайно относительно – через каждые два метра их снова бросало друг к другу: жаркий воздух, раз намагниченный их страстными поцелуями и сливающимися объятиями – уже не давал им ни на секунду разойтись, не продолжая при этом, даже на расстоянии, чувствовать друг друга всей кожей, и всей же кожей желать новых магнитных разрядов, – и это странное, ими же самими, казалось бы, и произведенное электричество в воздухе, с каждым сумасшедшим порывом друг к другу, с каждым новым затяжным поцелуем, с каждым новым прикосновением, не давая им насытиться – а, наоборот, все больше, с каждым шагом увеличивая жажду, заставляло их буквально падать на каждую лавку – без чересчур амбициозных планов прожить без поцелуев хотя бы пять шагов. Менты шли за ними уже густой вереницей. Хотя и на осторожном отдалении. Но, через еще две такие экстренные посадки, Елена уже просто перестала замечать что-либо вокруг. И только и мечтала: не упасть бы и правда в обморок, когда Цапель снова усадит ее к себе на колени.

Портупейный соглядатай, с глазами навывкате и с кирпично-бордовыми щеками, что-то еле слышно мямля, кося глазом как заяц, покорно переходил за ними с лавки на лавку, садился боком в дальнем конце, и как мог изображал, что смотрит не на них, а совсем в другую сторону – на Кремль – и жалко хлюпал носом.

– Придется его прогнать, – оторвавшись на секундочку от ее губ, бесцеремонно громко предложил Цапель. – Я ведь, если честно, специально его с собой взял: я боялся, что ты не приедешь, если я скажу, что я один буду. Боялся, что ты откажешься, если я тебе свидание попытаюсь назначить. Или, что ты уйдешь сразу,

испугаешься, если увидишь, что я один тебя жду. Теперь прогнать его придется. А то ему завидно.

– Ты что, с ума сошел, зачем ты его, бедного, так... Не смей его прогонять... – шепотом просила Елена – хотя прекрасно понимала, судя по лицу портупейного оруженосца, что милосердней было бы несчастного пристрелить тут же.

– Ну, если ты так хочешь... – и губы высокой классики еще на бессчетное количество световых минут слились с ее губами с такой страстью, что вместо солнечного позднего послеполудня наступило солнечное затмение в глазах.

– Я не могу больше... – взмолилась она. – Миш... Я сейчас умру, если мы еще хоть раз...

И раз. И еще раз, и еще раз. Еще раз. И еще так много раз, что...

Никакие лавки уже не отбраковывались, даже с засевшими на них изумленными, обескураженными, оскорбленными – и в конце концов вскакивающими и уходящими – тенями. Иногда спасательные плоты скамей оказывались в момент любовного тайфуна заняты сплошняком – и тогда начинался посреди дорожки и вовсе нецензурный экстрим.

Так, отмечая весь периметр кремлевской стены любовными многоточиями на лавках и не менее страстными восклицательными знаками просто в воздухе, они обошли Александровский сад – собрав позади себя уже пару взводов в штатском и ментовском – и еле-еле добрались до метро.

Тут сдался уже Цапель.

– Я сейчас тоже умру – если немедленно не съем чего-нибудь... ты голодная? Поехали, мы тебя покормим.

В вестибюле метро – прежде, чем Елена успела сообразить, что он делает – Цапель прижался к ней сзади вплотную (чтобы не засекали индикаторы турникета) – и, не платя пятак, на скорости втемяшил ее в пассажирку, которая только что опустила монетку – и молниеносно повел через открывшийся лаз между турникетами, но Елена запорола весь фокус – врезавшись в спину этой сутулой, ни о чем не подозревавшей женщины, извинилась перед ней, заступорилась – турникет успел засечь преступный просвет между ними, черная волчья сука лязгнула прямо по ее джинсам, – Цапель, не дав ей очухаться, все-таки втолкнул ее вперед через окончательно захлопнувшийся уже

перед ним турникет, следом перепрыгнул через него сам и быстро-быстро повел ее, обняв, вперед, скрываясь за массовой толпой.

Сзади уже визжали билетерши.

– Миш, стой-стой, давай просто вернемся и заплатим им!

– С ума сошла? – еще крепче обнял ее он за плечи. – Не оборачивайся! Ни в коем случае не оборачивайся. Иди вперед. С ума сошла: в метро еще платить!

В вагоне, расположившись с ней в самом дальнем углу и отгородив ее собой, казалось, от целого мира, Цапелю ни на секунду не выпускал ее из сводивших их обоих с ума объятий. Бедный, позабытый, но почему-то верно таскающийся за Цапелем мальчик с португеей, с несчастной миной, сняв, наконец беретку, и обреченно скомкав ее в кулаке, и вытирая рукавом пот с красного лица, присел между двумя злобно глядящими дядьками на изрезанное сидение.

– А что ты у меня спрашивал вчера на Арбате? Если перевести со сленга на русский? – удержаться и не потребовать разгадки свербевающей у нее уже со вчерашнего дня шарады Елена уже просто не могла.

– Спрашивал, есть ли у тебя парень. Ты мне почему-то ответила, что «да, конечно», и я расстроился. У тебя, что, правда кто-то есть? – тут же переспросил Цапелю с изумительно искренне сыгранным жарким подозрением в глазах – и через секунду никакого словесного ответа уже не требовалось, да и произнесено быть ею не могло.

V

На Баррикадной, в тошниловке-пельменной, куда они ее привели, идеальное сочетание размытого цвета пластиком облицованных панелей из пвх, алюминиевых плитусов, засиженных мухами, и загаженных (не-мухами уже, а более крупными животными) круглых стояков-столов – уже заранее выворачивало какие-то нервные узлы в солнечном сплетении – и когда Елена услышала вопрос, с чем она будет пельмени – с уксусом или со сметаной (вернее – жижей из коричневатой лужи в общей лохани, из которой надо было зачерпывать) – она как-то с порога поняла, что здесь придется изо всех

сил крепиться, чтобы с буквальной точностью не оправдать звание этого заведения.

– Спасибо, я правда совсем не...

Завсегдатаи вокруг кишели и выдавливались из заведения как мясная начинка из дешевого пельменя.

Цапель, впрочем, и здесь умудрился разместиться с удобством, и даже с неким подобием уюта – каким-то наглейшим фортелем исхитрился занять, без всякой очереди, высоченную оконную нишу, в самом конце зала – высокие стоячие столики были как раз под стать – так что, запрыгнув на этот чудовищно высокий подоконник, они оказались единственными сидящими – причем сидящими как будто в своей собственной панковской театральной ложе; и беззастенчиво отправил оруженосца, вместо себя, отстаивать получасовую очередь за пельменями, велел ему «свистнуть», когда будет у кассы.

– А знаешь анекдот про кабанчика? – довольно поинтересовался Цапель – увидев, что она в ужасе смотрит на окружающие жрущие рожи. – Друзья приходят к приятелю – видят – а у него по двору ручной поросенок бегаёт на трех протезах вместо ног, и всего одна нога настоящая поросёночка осталась. Они думают: смотри-ка, какой заботливый – поросенок в аварию, наверное, какую-то попал, или болел – а он его вылечил. Спрашивают приятеля, что случилось. А он им говорит: «Что же мне – ради какого-то паршивого холодца каждый раз любимого друга убивать, что ли?!»

Оруженосец, немного оправившийся от потрясений (ввиду предстоящей жратвы), – улыбаясь, с размякшим лицом, притащил поднос с пельменями. Ел он грязно и неаккуратно.

Запах уксуса едва-едва перебивал аромат гнусных вареных мясных отходов, покрытых серой пенкой.

– А знаешь анекдот про крысиные хвостики?

– Не знаю и знать не хочу.

Цапель с каким-то органичным изяществом, демонстративно утрируя зверский голод, набросился на еду.

А Елена, любясь его мальчишеским артистизмом, весело ходящими желваками на лице, одновременно подумала, что есть что-то все-таки глубоко противоестественное в общественной еде. Сразу ей вспомнилась почему-то столовка где-то недалеко от Пушкинской, куда в раннем детстве зашла с матерью: Анастасия Савельевна взяла ей

салат из огурцов под сметаной. Под сметаной огурцы оказались абсолютно тухлыми – Елена, прожевав, и почувствовав привкус гнильцы – немедленно же всё выплюнула в салатницу обратно. Мать подцепила с краешку, из той же салатницы, вилкой, нетронутые огурцы – пожевала – и с гадливостью выплюнула туда же – и тут же понесла салатницу к администратору: «Да вы что же делаете? У вас дети кушают – вы же отравить их можете!» Администраторша – от напора матери и от ее требований немедленно выдать ей книгу жалоб, – неожиданно испугалась и, чтобы доказать, что это дорогим клиентам просто померещилось, и что огурчики хорошие, и что ни в какую жалобную книжечку писать ничего не нужненько, потому что у нас столовая образцового содержания – с готовностью взяла из рук у матери салатницу, и покладисто, с видимым аппетитом, принялась поджевывать выплунутый ими обеими, пережеванный, перемешанный со сметанкой, салат.

– Ты чего смеешься? – уминая пельмени за обе щеки удивленно поинтересовался Цапель.

– Да нет, ничего... Кое-что вспомнила просто.

И тут же всплыла другая, куда более отвратная сценка: в детском саду, куда мать, с опаской, попробовала ее в детстве отдать, Елена в первый же день, по-детски страстно оскорбленная тем, что кто-то ей смеет указывать, что делать, и – особенно – что кто-то (после вкусной материнной еды) смеет ее заставлять есть какую-то дрянь – сразу же наотрез отказалась есть за завтраком мерзопакостную, склизкую манную кашу на воде. Пример ее оказался заразительным – и до той минуты послушно и уныло давившиеся пакостной кашей одноклассники, начали один за другим подхватывать бузу.

Мстительная Валентина Валентиновна, воспитательница, за полдником (сразу после которого мать обещала ее забрать домой) решила взять реванш и «воспитать» Елену: поставила перед ней, при всех, ту самую нетронутую, с завтрака злобно сохраненную, тарелку с ледяной застывшей кашей, и громко заявила ей: «Пока не съешь всю кашу – домой не пойдешь».

И четко – четче не бывает – запомнила Елена звенящий момент, когда в свои четыре с половиной года с необыкновенной ясностью решила: лучше умру – но ни за что не подчинюсь, и ни за что эту гнусную склизкую кашу есть не буду. Не притронусь даже. Пусть хоть

убьют меня. И только немножко было жаль мать, которая, в таком случае, на выходе из детского сада ее никогда не дождется: потому что несмотря на то, что Елена очень рано начала себя помнить – и, видимо, благодаря матери, как-то по-взрослому многие вещи очень рано стала воспринимать, – однако угрозу: «Тогда не пойдешь домой никогда!» с младенческой наивностью воспринимала – буквально. И сейчас, когда вспомнила об этом, сразу так явственно ощутила она на губах соленый вкус слез, текших в тот момент, за низеньким детсадовским столиком, без ее воли, без остановки – из-за жалости к ничему не подозревавшей матери, ждавшей ее снаружи. Мать, через четверть часа пытки, ворвалась в столовую, разнесла детский сад в пух и прах, Валентине Валентиновне вмазала в рожу той самой ледяной манной кашей с тарелки – и тут же Елену оттуда со скандалом, и жалобами в Росо, забрала. И раз и навсегда решила – что даже ценой потери собственной карьеры никогда не позволит государству наложить лапу на воспитание ее ребенка: воспитывалась Елена, вместо ясель и детского сада, дома, до самой школы, с бабушкой Глафирой, да с матерью – которая, поначалу, чтобы весь день проводить с дочерью, пристроилась преподавателем экономики в вечерний институт повышения квалификации, для рабочей молодежи – откуда дико страшно (как гораздо позже Анастасия Савельевна ей признавалась) было потом, почти ночью, возвращаться – и однажды даже встретила в темном переулке знаменитого в ту пору на всю Москву полу-маньяка – полу-разбойника, скакавшего верхом на метле, – который в приказной форме предложил за десятку подвезти ее на метле до дому – к счастью, из ближайшего подъезда вывалили ровно в этот момент два пьяных молодых бугая – и робин гуд на метле со скоростью света ускакал от страха. В следующем детском саду – когда Елене было уже лет шесть лет, и мать решила, что, может быть, стоит все-таки «подготовить ее к школе» – Елена прогастролировала ровно один день: ее одноклассница, по недогляду воспитательницы, залезла на крышу беседки, скатилась оттуда колбасой, и отшибла легкие – и мать решила не дожидаться, пока бомба попадет и в ее воронку, забрала дочь сразу. Третий – опробованный с той же целью «подготовки к школе» детский сад (гастроли там составили два месяца – и каждый вечер Елена, когда мать ее забирала, рыдала, рассказывая, как воспитательницы орали на очередную жертву – не на нее), блеснул тем, что когда мать, провожая

ее в сад, положила Елене в левый кармашек вельветового платяца конфетки «Холодок», для удобства упаковав их в пустой алюминиевый круглый тюбик из-под валидола (всегда старалась отдать Елене с собой что-то, что напоминает о доме – чтобы хоть как-то помочь ей переплыть ужасный день – и «справиться» с чудовищной тоской и отвращением к свинскому визжащему коллективному садомазохизму вокруг), воспитательница заветную на́чку обнаружила, с какой-то хамской ликующей радостью подняла хай и поручила кучерявому мальчику с кокетливой мушкой над губкой «следить» за Еленой все время и доносить, нет ли у нее еще «таблеток» – и мальчик с азартом шпионил. В раздевалке юный доносчик щеголял почему-то большими, видать, от его папаши перепавшими кожаными перчатками, надевая их зачем-то на обе босые ноги, и бегал за ней, шлепая кожаными перепонками по линолеуму – за что Елена обозвала его крокодилком. Разъяренная и оскорбленная Анастасия Савельевна, разумеется, забрала ее и оттуда – и больше попыток привить ей любовь к коллективу не делала. Когда-нибудь напишу научный труд на тему: детский сад – как подготовительная группа стукачей и спецслужб, – подумала Елена, чуть придвигаясь плечом к Цапелю.

– Ты чего загрузила? – встревожился Цапель, резко отодвинул тарелку – молниеносно опустошенную, – и крепко Елену обнял. Потом, чтобы развеселить ее, аккуратно взял и заложил ее левую джинсовую коленку на свою правую джинсовую ногу – как будто они были четвероногим существом, сложившим ногу на ногу.

– Да нет, ничего... – так же аккуратно коленку сняла, спрыгнула с подоконника.

И подумала, что, пожалуй, в сочетании «мясная еда – поцелуи» есть тоже что-то противоестественное. И на всякий случай поскорей первая вышла на улицу.

За высоткой на площади Восстания солнце уже расплавилось в широкую полосу жженого сахара, и пока они, переулками, а потом Калининским, дошли до Арбатской, уже совсем стемнело.

В начале Гоголевского, – уютно, по-свойски, названного Цапелем «Гоголя́» – куда он на секундочку зашел повидаться с приятелем хиппаном, высоким, с длинным вороним хвостом, крайне расслабленным и крайне добродушно на Елену вороним глазом поглядывавшим мэном, – пока происходило братание, Елена,

стеснительно отойдя в сторонку, рассматривала улыбчиво-флегматичный, пестрый пипл с длинным хайром, тусовавшийся вокруг гениального, с умеренно-длинным же хайром, Николай Васильича (на спине которого было выгравировано: «с благодарностью от советского правительства, что родился не в наше время: пули сэкономили»): все вокруг плавно кружились в удивительном теплом темно-фиолетовом море; и листья, у которых за жаркий день появился голос, шепот – придавали полную иллюзию легкого ночного плеска морских волн – и только буйки фонарей, от которых приходилось щуриться, сбивали с курса.

Цапелъ же, закадровым мягким голосом обсуждая с фрэндом какую-то неведомую ей проблему, обогатил ее словарь загадочными выражениями «вписáться» и «найтовáть», употребленными в непонятном ей, вовсе уже загадочном, контексте, но Елена, памятуя прежние конфузы, предпочла о переводе не спрашивать.

– Всё, теперь идем на тварь – мы тебе систему покажем, – довольно обнял ее Цапелъ, распрощавшись с хиппаном.

Ни слова не поняв – Елена, однако, весело перебежала вместе с ним через Калининский – и каким же блаженством было снова, лихо перемахнув вдвоем через решетку (в шаге от законного пролома), идти по тому же Суворовскому, что и днем – и чувствовать, что весь мир вокруг с тех пор изменился. Цапелъ, попрекая ее, – из какой-то ребяческой мести (то ли себе, то ли ей) за мучение той чудовищной дневной прогулки, – останавливал ее в полутьме бульвара на каждом шагу и, взапой целуя ее, будто возмещая те дневные сорок минут мучительных взаимных сомнений, так крепко притягивал ее к себе, так ревниво старался убедиться, что нет даже ни миллиметрового зазора между ее и его станом – словно все еще опасался какого-то индикатора несуществующего турникета, способного их разъединить.

Звезд на небе было только две – расположенных рядком; третья – тускленькая – неуверенно маячившая на периферии – была не в счет; луна куда-то и вовсе запропастилась, и, пытаясь найти ее, Елена выгнулась назад из его объятий – так, что увидела огни домов на бульваре вниз головой.

– Что ты ищешь? – невозмутимо переспросил Цапелъ.

Елене казалось, что всех других людей как будто стряхнуло с планеты, – что они совсем одни; и что даже пролетающие машины –

лишь блуждающие галактики; и окна домов – лишь созвездия необитаемых планет.

А еще через шаг заплетающимися ногами, вдруг испугавшись чего-то, испугавшись почему-то идти вперед, ахнув и бросившись снова в его объятия – Елена наоборот, с головокружением почувствовала, будто прыгнула в пропасть – оказавшуюся на поверку блаженной космической невесомостью, и теперь вот есть во всей вселенной единственная реальность, единственная точка опоры – его руки, неотступно, настойчиво, крепко обнимающие ее, – и единственная сила притяжения – его губы, его как будто сливающееся с ней тело, которое чувствовалось до жути под стать этому ее полету в невесомости, как будто ровно для нее и было вылеплено – как будто он весь создан специально для нее.

Несчастный оруженосец убрел куда-то вперед. В глаза брызнул нежеланно яркий электрический свет площади, – и хотя ей больше всего хотелось навсегда остаться с Цапелем в мягких бульварных сумерках, и тревожила необходимость видеть каких-то людей, кроме него – но струсить, отказаться и не пойти на хваленую «систему» было уже как-то запахло.

– Кстати, панки своих девушек жабами называют, – покровительственно сообщил Цапель, когда они уже стояли на перекрестке. – Можешь записать в свой словарь.

– А, спасибо большое, что предупредил, ну я домой пошла! – засмеялась Елена, и сделала шаг в сторону.

– Не будь идиоткой. Ты же не панкуха... – Цапель крепче обнял ее за плечи, словно беря под арест.

Кусочек залатанной-перелатанной дороги был только что залит асфальтом – и перебежали бульвар они по смолянскому коврику с аккуратнейше впечатанным в него ярко палевым узором из кленовых ладошек.

Сказка вдруг разом оборвалась: за церковью, в сквере, на круглых загравках скамей, сидели по периметру плаца, как на каком-то совковом смотре песни и строя, штук сто особей обоего пола, болезненно зацикленных на собственных канонически изодранных кожаных прикидах и на прикидах окружающих, – изъяснялись те, кому Цапель ее представил, малопонятными звукоподражаниями, – и зорко,

натужно следили за собой: как бы ненароком не сказать ни слова попростому, – как бы не сбиться на человеческие слова.

Тварью, как было Елене объяснено, называли какое-то кафе «Тверь» неподалеку, да заодно и весь одноименный бульвар.

Усадив Елену на спинку скамьи, с краешку, Цапелю отошел от нее всего-то на несколько минут – здороваясь по лавкам с корешами – и совершил тем самым страшную ошибку – потому что какая-то юная миловидная жаба с переклепанным – видать, панком-Иваном Царевичем – ухом (в мирной жизни – несчастная угреватая пэтэушница) – тем временем подвалила и добродушно спросила Елену, с кем она пришла, да тут же принялась в диалектных, слишком даже человеческих, деталях выуживать, в каких (конкретно) она с Цапелем отношениях. Это уже было чересчур. И когда Цапелю, вернувшись, и увидев, что Елена отвернулась в сторону с застывшим лицом – попытался при всех поцеловать ее – она сказала, что теперь уж ей и правда пора домой.

Анастасия Савельевна в этот раз на балконе не караулила – после того, как накануне дочь устроила ей за это скандал – но и явно не спала: Елена сразу и безошибочно поняла это, войдя в квартиру – по отсутствию ее обычного уютного храпа. Мать об этом верном методе разоблачения ее притворства не знала, да и вообще считала все разговоры о своем храпе клеветой – и Елена решила об этом тайном способе не говорить – чтобы не терять своего позиционного преимущества – а зашла на кухню и, с диким голодом, как будто дня два уже не ела, жадно накинулась на оставленную матерью для нее на столике в салатнице, накрытую опрокинутой тарелкой, вареную картошку.

Минут через пять Анастасия Савельевна все-таки не выдержала и появилась на пороге кухни в своей розовой с финтифлюшечками фланелевой ночной рубашке:

– Нет, что это за манера: «Буду очень поздно. Не жди»? Что, поподробней записку не могла написать? Я все-таки твоя мама – так, между прочим!

– Знаешь, мам, анекдот? Приходит наркоман среди ночи домой, звонит в дверь, а мать его через дверь спрашивает: «Кто там?» Он ей так жалобно отвечает: «Мама, это я!» А она ему из-за двери: «Не-е-е-е-е-е-т! Мама – это я!»

Анастасия Савельевна, что и требовалось, расхохоталась. Елена уже давно изобрела безотказный способ – когда по какой-то прикладной причине (спать невыносимо хотелось) очень нужно было избежать разборок – надо было просто мать насмешить – и она моментально сбивалась с темы. Приколисткой и хулиганкой Анастасия Савельевна была той еще. Как-то раз первого апреля они с матерью договорились, что кто бы ни позвонил, Анастасия Савельевна будет невозмутимо отвечать в трубку совершенно неузнаваемым голосом: первой, на свою беду, позвонила старушка-соседка, тетя Сима. «А-алоо... Фефя Фима?» невозмутимо ответила мать, мастерски заложив язык под нижнюю губу. Тетя Сима, в ужасе, через секунду примчалась и позвонила им в дверь: «Вы знаете, у меня, похоже, начались галлюцинации!» В другой раз материно первоапрельское веселье вышло еще более панковским. Сдача стеклянных бутылок была большим местом всех мещански-озабоченных друзей и соседей – причем, все выискивали, где бы повыгодней сдать (не за 15 копеек, а за 20 за бутылку) – и иногда выстаивали рядом с гастрономом многочасовую очередь с несколькими сумками стеклянного мусора; безалаберная Анастасия Савельевна над этой чертой приятелей откровенно потешалась; первого апреля, прямо с утра, она позвонила наиболее алчной и скряжистой знакомой из ближнего дома – болезненно бережливой (несмотря на то, что муж был известным и довольно богатым тренером и ездил за границу), которая даже пробки от бутылок и те норовила продать – и сообщила, что рядом с их башней, за углом (так, что той из окна не видать) только что остановился грузовик с пустыми ящиками – будут принимать бутылки по двадцать копеек – и очереди пока – ну буквально никого! Устроив провокацию – Анастасия Савельевна тут же выбежала на балкончик – наслаждаться зрелищем. Каков же был ее ужас, когда ровно через семь минут навьюченная до верблюжьего состояния соседка, на полусогнутых, пронеслась мимо окон не одна, а еще и с мужем-спортсменом, растянувшим, как выяснилось, накануне сухожилие на разминке, и, с перевязанной ногой, азартно колдыбавшим – размахивая и позвякивая, наперевес, молниеносно собранными десятью сумками пустой тары.

Так что сейчас анекдот про наркомана, – рассказанный Цапелем, когда Елена, позабыв шок косноязыкой обобществленной панковской

тусовки, снова в космической невесомости целовалась с ним под козырьком подъезда (фонарь был кем-то предусмотрительно выбит до них) – поминутно, едва набрав дыхания, предупреждая, что сейчас мать может выйти, – пригодился как раз кстати.

По некоторым признакам, Цапелю даже должен был бы Анастасии Савельевне и понравиться. И Елена даже ярко, как в кошмарном сне, представила себе, как если она пригласит Цапеля домой – представить матери – Анастасия Савельевна, будет стараться, прямо как Русь, ассимилировать монголо-татарское нашествие – и открыто, по-приятельски общаться с ним, как общается со всеми своими студентами. И Елена даже уже явственно почувствовала запах борщечка, который Анастасия Савельевна непременно, немедленно для гостя сварит – и увидела белила густой, специально по такому поводу купленной, рыночной сметанки – и явственно услышала энергичное шварканье ножа по деревянной дощечке – когда Анастасия Савельевна будет кромать (с рук у метро купленный) укропчик и бросать его в тарелку смущенного, обезоруженного заботой гостя.

«Ни-за-что!», – в ужасе от этой непрошенной пошлейшей картинки сказала Елена себе – и ушла спать. Ни слова матери не рассказав.

Утром, правда, за завтраком, все-таки про свидание раскололась. Не входя в излишние сердечные детали.

– Панки? А кто такие панки? – настороженно расспрашивала Анастасия Савельевна.

– Ну это примерно как ты, мам.

– Что ты ищешь здесь? – с такой же настороженностью спросила мать, когда Елена спешно, выбегая уже почти, вдруг вернулась и стала перерыскивать материнские стеллажи с книжками в комнате Анастасии Савельевны.

– Мам, да вчера там книжечка в кухне лежала... Идиот...

– А! Да у меня ее Аля вчера вечером почитать выпросила – она дуреха, не читала еще, оказывается.

– А я? А о собственной дочери ты не подумала?! Я, между прочим, – тоже еще не читала – только-только читать вчера начала! – хлопнув, по обыкновению, дверью, Елена выбежала из дома. По загадочной причине, все последние месяцы, если к вечеру вялотекущий скандал между ними затихал – по причине усталости, –

то с утра каждый день начинал набирать обороты по новой – причем, если одна из них была настроена мирно – то вторая обязательно начинала задираться.

В школе, на физике, Елена осторожно заикнулась было любимой Ане Ганиной, с которой на всех уроках сидела за одной партой, что познакомилась с очень интересным молодым человеком.

– Где? – тут же напряженно выдала Аня, будто по какому-то учебнику заученный вопрос, не смотря на Елену.

– Что – где?

– Где ты с ним познакомилась?

– Я не понимаю... Какая разница? Ну на улице, допустим.

– Ну ты совсем уже докатилась, подруга – на улице знакомиться, – надулась Аня.

Разозлившись, ни слова больше Аню услышать про Цапеля Елена не удостоила.

На обществоведении на парту прямо перед ними неожиданно подсел Дьюрька и протянул Елене вчерашнюю газету:

– Ну чего ты вчера не пришла?

– А-а-а! Какие у меня ручки красивые пожаловал! – язвительно передразнила его Аня Ганина, всегда поминавшая ему нарциссическую историю: как-то в школу приехали немцы из ГДР, и поскольку в нищей Москве даже красивые канцелярские принадлежности были невидалой диковинкой – начали раздаривать все свои вещи: Дьюрьке подарили набор фломастеров и две автоматические шариковые ручки, и сидя на следующем уроке перед Аней (так что ей видна была только его спина, и она не могла понять, что он там разглядывает), Дьюрька громко, с наслаждением, разговаривая сам с собой, приговаривал: «Ой, какие у меня ручки красивые!»

Ручки, впрочем, у Ани и Дьюрьки были до смешного похожи – беленькие, чуть пухленькие, с тончайшими синеватыми жилками, с прекрасной кожей, с длинными, вытянутыми, хотя и пухленькими, пальцами («иконные» – как говорила про Аню Анастасия Савельевна) – а не с сосисками, или молотками – с дивными, продольно удлинёнными, аккуратно выделанными по бокам перламутрового отлива ноготками – и со смешными детскими морщинками на сгибах фаланг – так, что если бы совершенно незнакомому человеку показать из-за какого-нибудь занавеса только их

руки – то тот наверняка бы подумал, что Дьюрька и Аня родные брат и сестра. Во всем остальном однако более несхожих существ трудно было изобрести.

Анюта, милая, любимейшая Анюта, во всём обладавшая какой-то исконной, непререкаемой порядочностью и упорядоченностью – так, что даже если б ее никто, с гарантией, не видел, она никогда, ни за какие калачи ничего дурного бы не совершила, и даже бумажку от мороженого бросить на улице себе под ноги считала страшным грехом – Анюта, обладавшая тяжеловатым, циничным, мужским юморком (как-то раз Дьюрька, в детстве, классе во третьем, когда просёк, что его уж очень привечают Анины родители, и что каждый раз, когда он к ним в дом приходит, Анина мать с охотой кормит его обедом, – начал после школы напрашиваться к Ане в гости. Аня никаких намеков понимать не желала. Дьюрька, донесший ей портфель до подъезда, изворачиваясь уже и так и эдак, жевал в этот момент советскую кофейную жвачку – и тут, наконец, радостно придумал предлог: «Ой, я жвачку проглотил! Аня! Можно мне к тебе домой зайти на секундочку! Твоя мама наверняка придумает, что нужно делать! Ань, ну я правда жвачку проглотил! Что же теперь будет?!» – «Чего будет? Ничего особенного не будет: кишки слипнутся – и всё», – цинично парировала Аня, развернулась и ушла домой), – эта же самая Анюта была до ужаса застенчивой и робкой.

И за эту-то, пожалуй, застенчивость Елена ее и любила – потому что на донце застенчивости этой Елене мнилась тихая, ничем не подделываемая, всего мира стойкая мечтательность.

Когда весь их класс, чуть больше года назад, летом согнали на принудительные работы в «трудовой лагерь» в Новом Иерусалиме, под Москвой (дохлый колхоз, где орда москвичей в течение месяца с запредельной бессмысленностью и ненавистью уничтожала тляками и без того чахлые, безнадежно затоптанные в сырой глине побеги коллективной свеклы, – а прыщавый Захар так и вовсе убил тлячкой лягушку, вскрыл череп, достал глаз и подарил Ларисе Резаковой), поселили их всех в фанерном грязном насквозь продуваемом бараке; Елена с Аней и Эммой Эрдман, учившейся в параллельном классе, втроем, с омерзением, ютились в убогой холодной палате; и как-то вечером, сидя с ногами на своей панцирной кровати с книжкой, Елена абсолютно случайно (и такая случайность стоила многого) подглядела,

как Аня, кротко лежа на своей койке, отвернувшись носом к стенке – стенке густо и грязно покрашенной прямо поверх комков пыли и грязи зеленым («успокаивающим», как говорили советские педагоги) колером масляной краски, – и, не догадываясь, что Елена за ней наблюдает, обводила, на стене, горы, луга и холмы своим иконным указательным пальчиком, что-то про себя одними губами проговаривая, и рисуя на полотне стенки одной ей ведомые и видимые воображаемые картины.

И по этому движению пальцев Елена как будто воочию увидела узор, который рисует Аня – холмы, горы, деревья – и с улыбкой поняла, что и сама вот так же бы вот, если б была одна, рисовала бы – только не на стене, а в воздухе – невидимые картины – в миллион раз более весомые, чем все видимое.

Никогда не говоря подруге, что ненароком подглядела ее мечты – Елена, однако, теперь всегда знала, что за напускной Аниной бесчувственностью и чопорностью все-таки течет волшебная живая жизнь души. Единственно важная – всё остальное для Елены не стоило ничего.

Все движения (открывание замшевого, с жестким хрящом, пукающего кнопкой очешника, облачение носика в ярмо очков, извлечение ручки из гэдээровского пенала, бросание хлама в школьную сумку) Аня производила с ужасающей дотошной заторможенной педантичностью, как в замедленной съемке, – и вечная порывистость Елены вызывала у Анюты (в зависимости от настроения) то увлеченное раздражение (в мрачные минуты, особенно после математики или физики), а то умиленную снисходительность (в чудные мгновения синхронно ускоренного завтрака).

Глаза у Ани всегда были как будто немножко заспанными, нежно-расслабленно-подслеповатыми – и это почему-то придавало ей сходство с героинями старых картин. «Мадонна! Прямо Мадонна!», – любила всегда повторять про Анино лицо Анастасия Савельевна, когда Анюта бывала у них в гостях – хотя что такое «Мадонна» и Елена, и Аня представляли себе весьма смутно – и, судя по альбомам, считали, что это просто эпитет к «очень красивой девушке». Анастасия Савельевна, хотя в классификации живописи особенно и не разбиралась (а вкусы ее были настолько эклектичны, что умилялась и Рафаэлем, и восхищалась Коровиным – а вот тут вот намеренно и вовсе

заявила что влюбилась в соц-арт – после того, как какой-то очередной неудачливый поклонник в компании, молодой художник-любитель, грузин с белыми курчавыми волосами и ярко-голубыми глазами, завел ее на гостеприимный чердак-мастерскую Эрика Булатова, – и, на фоне его картин, грузинский художник-любитель тут же был отправлен в отставку), однако любила хорошие картины действительно страстно – как будто какое-то символическое продолжение театра, – и как только подворачивался случай, приобретала с рук альбомы по искусству – приобретала хаотично – с наивнейшим, но всегда единственно безошибочным и искренним: нравится – не нравится – чувствую сердцем – или не моё. А уж альбомы по античной скульптуре у Елены с детства были вместо журнала «Пионер».

По анекдотическому совпадению, разглядывая как-то дома альбом по итальянскому Возрождению, Елена наткнулась на портрет какой-то девочки – ну копия Аня! Редковатые и очень резко шедшие вверх брови над чуть припухшими верхними веками. Всегда чуть-чуть надутое выражение нижней части лица. Вспухшие холмики вокруг губ. Чуть отпяченная нижняя губка. Умные, чуть печальные, внимательно-настороженные глаза. И всегда (даже эта деталь на картине была соблюдена четко) чуть красненький почему-то кончик маленького аккуратного носика.

– Анята! Я нашла твой портрет! Девочка пятнадцатого века! Ты когда-нибудь видела такого художника – Пинтуриккио? – восторженно ей сообщила Елена тут же по телефону.

Аня так и прыснула:

– Ты будешь смеяться – но мне уже родные только вот недавно тоже об этом сходстве сказали! У нас есть альбом Дрезденской галереи – мне в этом альбоме картину показали. Только это не девочка, а мальчик.

– Да быть не может!

– Уверяю тебя. Посмотри, что написано на репродукции. Мы тоже сначала думали: девочка. Потом смотрим: русским языком написано: «Портрет мальчика».

Сама же Аня обожала Брейгеля Старшего – который, как казалось Елене, пробавлялся зарисовками из жизни деревни олигофренов, да так писал (даже снег!), как будто каждый раз, перед тем как сделать мазок, макал кисть не в краски, а в землю.

Впрочем, к счастью, художественные пристрастия (в силу того, что в западных музеях никто никогда не был, и подлинников никогда в глаза не видел) напрямую зависели от новых альбомов по искусству, которые удавалось раздобыть – и были величиной довольно быстро текущей и условной.

Своей собственной красоты Аня явно не сознавала, всегда как-то очень зажималась – и внешне с первого взгляда даже могла показаться слегка неповоротливой (не от природного строения, а, кажется, из-за того, что оторопь и омерзение от тупо визжащего вокруг резвятника в школе делали невыносимой для нее самой мысль выглядеть хоть на миг столь же разбитной, как окружающие) – так, что иногда чудилось, что Аня ходит в невидимой шубе даже летом – причем в шубе с глухим высоко поднятым накрепко железными крючками застегнутым меховым воротником – который мешает ей не только поворачивать голову и шею – но и чувствовать все вокруг как следует.

Все свои шутки Аня произносила с торжественно-печальным, чуть напыженным видом. Ни разу в жизни, вопреки стойкой школьной традиции, никого Аня уменьшительным именем не назвала (мать дома внушила ей, что это «неинтеллигентно»); и даже к ней, к Елене, никогда не обратилась «Ленка» – а всегда называла: «Лена», или «Подруга». А Дьюрку – смешное, венгерское имя которого казалось ей уж как-то чересчур разбитным уже само по себе – Аня, с академической серьезностью, иногда облагороженно называла: «Дью».

Зная Аню со второго класса (обе год учились в спасительном, почти не существовавшем, ускользавшем из цепких лап учителей, как соловей – или, лучше сказать, неуловимом, как неожиданная контрамарка на откидное место в переполненном театральном зале на премьере, – классе «В» – у добрейшей горбатой еврейки Ривки Марковны – куда мать со скандалом эвакуировала Елену от эсэсовки-первой учительницы), Елена только единственный раз в жизни видела Аню плачущей – когда той со всей силы вмазали на физкультуре мячом в щеку: слезы из глаз Ани лились по бордовому лицу ручьем – но одновременно Аня ледяным, полным спокойствия голосом комментировала: «Мне просто очень больно».

Култ почитания родителей был доведен у Ани чуть ли не до идолопоклонства: и когда ей очень хотелось, например, остаться у Елены в гостях еще лишние полчаса, или лишние часок погулять с

ней после школы, она перезванивала своей матери и произносила дрожащим голосом текст, от которого у Елены просто сердце сжималась от жалости: «Муля, ты позволишь мне остаться еще немножечко...?» – вместо того чтобы попросту сообщить: «Мне тут нужно то-то и то-то», либо просто: «Я задержусь», – как сделала бы Елена – а то и просто бы опоздать на полчаса – никто бы не умер. Домостроевский оборот «ты мне позволишь?» просто-таки ранил душу наждаком. Такой иерархии в доме Анастасия Савельевна никогда не вводила, а всегда, напротив, на вес бриллиантов ценила дружеское, на равных, доверие дочери и ее свободу.

А как-то недавно у Елены и вовсе глаза на лоб полезли, когда Анюта проговорила, что родители «платят ей зарплату» за хорошие оценки: пятнадцать копеек за пятерки, десять за четверки, а пятак – за тройки по «плохим» предметам – типа физики – в которой Аня, как и большинство класса, не рубила вообще ничего – так как лысый физик, возможно, и являвшийся фанатом своего предмета – был как-то катастрофически далек от малейшего дара преподавания, и уроки проводил на фоне абсолютно параллельной, недоброжелательно-боязливо-равнодушной пустыни класса – возбужденно дискутируя у доски с одним только Хомяковым.

Знала Елена, впрочем, и то, что родители Ани были людьми достойными – и оба, хотя и никакими диссидентами не были, а были тишайшими институтскими преподавателями, однако, в самые махровые времена пару раз твердо отказались, несмотря на настоятельные требования, вступить в КПСС – хотя от этого впрямую в тот момент зависела их карьера, – точно так же, как и мать Елены, когда ей предлагали в институте возглавить кафедру при условии вступления в партию – отказалась наотрез, а это и вправду в то время был маленький подвиг.

Ссорились Елена с Аней не прекращая: и главным образом из-за того, что Елене как-то все время казалось, что Анюта себя принижает: «мы, мол, люди маленькие, от нас ничего не зависит».

Давая всем учителям едкие прозвища и меткие определения – Анюта, тем не менее, никогда не решилась бы высказать вслух протест против даже самой вопиющей несправедливости, живя по принципам «воспринимай мир таким, какой он есть» и «ну что ж поделаешь – на то они и есть, чтоб нас мучать; а мы на то и есть, чтоб нам мучиться».

И все-таки – с кем, как не с аналитичной Аней, с таким буйным наслаждением можно было вдвоем, все занудные уроки напролет, сидеть и азартно разгадывать загадки по лингвистике из сборника для университета – и легко высчитывать какое-нибудь простенькое число «капхига» на никому не известном аборигенском наречии – или перекраивать русские слова на зулусский лад! А как-то, в далеком, доисторическом, детстве, года четыре, что ли, назад, когда их класс повели на экскурсию в Пушкинский музей (тыкать пальцами в фальшивые мумии и всякую прочую египетскую мертвячину), Аня вместе с Еленой отбилась от стаи – забрели в гораздо более интересный зал – и вдвоем минут сорок, застыв, замороженно простояли напротив дивных импрессионистических туманов и расплавленных, мокрых, ярко-малиновых огней и живых отражений – на благоуханном цветущем углу дождливого парижского бульвара – то отдаляясь от картины, а то приближаясь, щурясь – и, наоборот, расфокусируя глаза, заходя с разных боков; а тем временем, злющая, беременная учительница по литературе (подрабатывавшая зачем-то, прямо перед родами, классной руководительницей) – вместо того, чтобы дожидаться их в фойе, или попросить кого-нибудь их разыскать – в приказном порядке вывела весь класс под ледяной дождь и заставила мокнуть и ждать двух громко прокливаемых ею отщепенков во дворе Пушкинского, – специально, чтобы когда Елена с Аней вышли с крыльца, на них набросилась с руганью вся тридцатиголовая свора. Сама-то училка, гадина, сразу преспокойненько раскрыла над собой зонт.

Забавнейшим, очень ярко характеризовавшим Аню казусом, было то, что умная – с организованным холодноватым умом Аня, щелкавшая на раз, развлечения ради, вместе с Еленой институтские задачки по «занимательной математике», однако кротко приписывала свои тройбаны по школьной математике почему-то не стервозности бездарной крикливой скотины-учительницы, отбивавшей вкус от предмета – а собственной убогости.

И – очередной парадокс – любовь, с какой Аня рассматривала ветки вербы весной, и удивительная, художественная тонкость, с какой она выбирала всегда для Елены подарки на дни рождения: по удвоенно сложному принципу (не так, как выбирала Елена: «Что бы мне самой хотелось получить? С чем бы мне было всего жалче расстаться – то и

подарю!» – а по невероятному, почти магически угадывающему: «Что бы ей хотелось получить?»). Душа, да еще какая, в Ане, несомненно, была – хотя душа настолько робкая, что Елена просто в ярость приходила, видя, в какой почти непроглядываемый кокон Аня эту драгоценнейшую душу поглубже утрамбовывала – как бы никого своим и без того кротчайшим существованием на свете не стеснить.

Дома Аня несла какое-то гигантское количество оброков и барщины – и, помимо уборки квартиры, исполняла какие-то невероятные, бесчисленные ритуальные походы в прачечные, ателье, чистки одежды, сберкассы и прочие увлекательнейшие заведения – по жесточайшему расписанию, отменить которое приравнивалось бы к преступлению (в то время, как Анастасия Савельевна с Еленой подобные мелкие дела делали исключительно по вдохновению – и вдохновения на уборку, например, дома, не бывало, обычно, никогда) – так что, времени на то чтобы вздохнуть свободно и подумать чего же она, уникальная Аня, действительно хочет в жизни – у нее как-то и не оставалась – а она всё гнала и гнала себя покорно (и даже с каким-то умильным оправданием подобных порядков) по этому замкнутому кругу.

Как-то раз, Аня в гостях у Елены ела борщ – фирменный, великолепнейший борщ Анастасии Савельевны, с белилами рыночной сметанки и с накропанной зеленью; Елена, ненавидевшая есть гуцу, разумеется, быстренько вылебала у себя из тарелки всё самое вкусное – и, отложив в сторону бурые водоросли отварной свеклы – попросила у матери добавку; Аня же, педантично съев все, включая буряк, после обеда тихонько (как будто только и ждала повода к продолжению экзистенциального спора) Елену попрекнула:

– Вот так ты во всем, подруга, – ты ешь только то, что тебе хочется. А то, что не хочется – в сторонку откладываешь. Но существуют же все-таки обязательства в жизни! А я вот специально сначала ем то, что мне меньше нравится – а потом уже...

Елена разоралась на нее так, что – счастье еще, что Анастасия Савельевна вышла уже в этот момент к соседке:

– Аня, что за бред! Вот и ты так во всем! Вот у тебя есть – сколько? – семьдесят, восемьдесят – или даже, может статься, гораздо меньше – лет жизни, за которые ты должна максимально себя, понимаешь – себя, а не кого-то другого, себя – вот себя – реализовать –

делать именно то, что ты действительно любишь, то, для чего создана твоя душа – а ты вместо этого будешь только сидеть и жевать бурую гущу из какого-то превратно понятого чувства долга!

Был, впрочем, предел и Аниному смирению: ее родители, так же, как и мать Елены, никогда не соглашались платить поборы за тошнотные школьные завтраки (единственным сомнительным развлечением в буфете было смотреть, как угристый Захар в очередной раз незаметно и молниеносно подсунул развернутый творожный сырок под приземляющиеся на стул формы Русланы – через секунду, когда Руслана с визгом вскакивала – сырок превращался в архитектурно раздавленный слепок зада с отчеканенным рельефом хлопчатых колготок). На завтрачной перемене Елена с Аней оставались в блаженном затишье, одни – из всего класса, со своими трепетно упакованными домашними бутербродами и яблоками – в привилегированном «первом отделении» сортирного клуба благородных девиц.

Дьюрька, развалившийся сейчас на их парте обоими локтями, перекутившись с переднего ряда, был, наоборот, абсолютно всеяден – веселой трусцой бегал каждый день со всем табуном в столовку, где буфетчицы тетя Груня и тетя Кася, не прячась, играли в футбол выпавшими из бидона тефтелями, вылавливали их с полу из-под нависающего прилавка мыском туфли или ручкой поварешки и ловко пристраивали очередному страдальцу на тарелку, – но, не в пример Ане, явно был избалован дома донельзя – в карман за словом не лез и, уж когда заводился, – как сейчас (дался ему этот XX съезд!) – то орал на весь класс.

– Дьюрька, а вот посмотри, какая у меня есть милая бумажка! – Елена извлекла из олдowego пластикового пакета (с которым уже давно вместо портфеля ходила в школу) текст Декларации прав человека, который она, хоть и впопыхах, кривовато, лепестками, но успела-таки сегодня, за завтраком выкоцать маникюрными ножницами из «Литературки». – Вот, Дьюрька: достаточно, по-моему, только разок прочитать – и становится как-то сразу по контрасту понятно, что никаких «недочетов» и «перегибов» не было – сам принцип коммунизма преступен – коммунисты изначально строили государство на совершенно противоположных, анти-человеческих принципах – поэтому и декларацию эту они никогда соблюдать не будут.

– Ну не скажи... Ленин все-таки был прогрессивный лидер и добивался позитивных целей... – занудил было Дьюрька своими газетными безлично-обобщенными оборотцами, казавшимися ему, почему-то, высшим экстрактом мозговой деятельности человечества – и вдруг разглядел заголовок, захапал моментально бумажку и улегся пузом на их парту. – Ух ты! Я такую же штучку хочу! Подари мне, а! А я тебе за это каждый раз «Московские новости» почитать давать буду!

– Ты мне их и так каждый раз читать давать будешь, – смеясь, выдрала у него из рук листик Елена. – Нетушки, декларацию я вставлю в обложку дневника – и буду учителям почитать давать.

Выяснилось тут же, что Дьюрька, как и она, оказывается, коллекционирует хулиганские фотографии, которые появляются в передовицах «Известий» каждый раз, когда Горби ездит по стране или встречается с «трудовыми коллективами». Разухабистый фотограф «Известий» – благодаря неуёмной, буйной Горбачевской жестикуляции на публике, – то и дело подхватывал момент, где, из-за плоскости фотографии, казалось, что Горби в толпе то вставляет кому-то палец в ноздрю, то подталкивает поощрительно кого-то указательным под подбородок, то щипается, то делает уж совершенно неприличный знак, то танцует с кем-то Святого Витта.

– А у тебя есть та, где Горби за ухо какую-то женщину хватает? – переспрашивал, от хохота красный уже весь Дьюрька.

– Разумеется! А та, где он сливку за нос какому-то мальчику делает?

– Если вы будете орать и безобразничать, твари, я от вас отсижу, – деловито предупредила Аня, раскрыв ширмочкой учебник перед собой, так, чтобы со стороны учительского стола не было заметно, что она спокойно делает домашнее задание по немецкому.

Учительница по истории и обществоведению – Любовь Васильевна, пожилая дама с белой халой, с лицом довольно симпатичного сфинкса, но слегка перемороженного в холодильнике – желтоватого, – сидела с абсолютно бесстрастным видом – и, хотя, в силу смешного расстояния, просто не могла не слышать (прекраснейше!) все тут же последовавшие Дьюрькины реплики про Сталина – ни на какие провокации не поддавалась и, пережидая гул класса (где каждый занимался своим, абсолютно не относившимся к

уроку, делом) – продолжала, ровным, умеренно-уверенным тоном, читать по учебнику лекцию.

– Указиву из райкома еще не спустили, вот она и чешет по писанному... – жарким шепотом, со знанием дела, как опытный секретарь комсомольской ячейки, комментировал раззадоренный Дьюрька. – Любовь Васильевна! Любовь Васильевна! А вот вчера в газете был опубликован материал как раз на эту тему! – заорал он вдруг прямо с места. – Вот я вам сейчас процитирую...

Аня молча, отпятив нижнюю губу, не говоря больше ни слова, собрала манатки и пересела от них на заднюю парту. И тут же грянул омерзительно продолжительный, растянутый, дребезжащий и смазанный, как будто ему кто-то подставил в конце подножку, звонок.

В среднем ряду началось оживление: буйный коренасный Захар вскочил и, под шумок, что-то передавал по классу – и по мере продвижения предмета повсюду взрывался истерический хохот. Когда Захар, наконец, перегнулся к Елене, через проход – похвастаться – сакральный предмет оказался контрольной работой, сданной им на прошлом уроке. Захар, с размазанной от смеха прыщавой миной, ткнув толстым пальцем-молотком в развернутый листик, указал несколько строк – в самом центре контрольной работы, его мелким, с вертлявым наклоном, но довольно все-таки разборчивым почерком, выведен был следующий текст: «1924 год В. И. Ленин что читаешь все равно не поймешь ничего дура старая Съезд РКП(б) не старайся ничего не разберешь в моем почерке 1925 год».

– Буббённить! – кратко прокомментировал Захар, трясаясь и довольнейше расплываясь как красная клякса.

Захар получил этот листочек от учительницы назад в начале урока – вместе со всеми, кто сдавал ей неделей раньше контрольные. В самом верху стояла оценка: четыре с минусом. Комментарий, выведенный Любовью Васильевной рядом с оценкой (красной ручкой, ее красивым, чуть вспрыгивающим на согласных, почерком) гласил: «Мало конкретики. Плохой почерк. Надо больше дат».

Цапелъ жил где-то за городом – звонить Елене мог только из автоматов, – и эта вечная ерунда с двушками, гвоздиками, пилочками, тумачками, пендалями, и прочими методами, которыми он вытрясал из общественных телефонов ее голос, – только добавляла звонкого натяжения и без того на пределе уже дрожащим между ними нежным стрункам. Чаще всего звонил он уже из Москвы, – и когда Елена слышала от него, что перезванивал он уже несколько раз – не застав ее дома (когда в школе было шесть уроков), – она чуть не плакала – как будто что-то безвозвратно упустила – хотя вот же, его чудесный мягкий голос был тут как тут, в трубке, разом заполняя ее сердце до краев, – и тут же неслась к нему. Встречались они всегда на углу Герцена, – и через неделю, когда она поступила на журналистские курсы, и начались по вечерам занятия, Цапелъ, к этим занятиям ее как будто слегка ревновавший (дважды в неделю свидания обрывались совсем рано – ее виноватым: «Ну мне пора»), при встрече так долго, и так страстно, и так бесстыже целовал ее на глазах у всех мрачным фронтом прущих заморенных сограждан, – а потом сразу еще раз – прямо напротив ворот журфака, – словно спешил запечатлеть у всех на виду: она моя.

Знала она от него, что найтовáл он в Москве иногда у каких-то друзей – и случалось это каждый раз, если он задерживался из-за нее в городе допоздна, – потому что домой ему ехать приходилось на каких-то строптивых, рано ложившихся спать электричках. Вроде бы, краем уха (до глухоты увлеченная в тот момент совсем иными подробностями) слышала в первый вечер на Арбате от кого-то из его знакомцев, что он, как бы, бросил один институт в Москве – и, как бы, раздумывает, поступать ли в другой. Да больше, собственно, практически ничего про его внешнюю жизнь и не знала. И, по странной доверчивости, которая являлась естественным продолжением ее нежности, Елена никогда не задавала ему ни одного вопроса ни про его семью, ни про то, чем он сам занимается, – как будто бы любопытство оскорбило бы ее собственное чувство. Тем более, что нежность ее к нему ни от каких внешних обстоятельств не зависела и уж точно не изменила бы своего качества – окажись он вдруг принцем датским – или бомжом.

– Куда тебя тянет... Девушке заниматься политической журналистикой впадлу, по-моему. В Кремле имбецилы одни сидят, –

забавнейше ворчал на нее Цапель, когда она делилась своими фантазмагорическими планами.

– Ну так вот мне и хочется, чтобы имбецилы там больше не сидели, – со смехом подхватывала она. – Хочется как-то повлиять на ситуацию.

– Что за наивняк?! – злился на нее Цапель. – Имбецилы сидят в любом правительстве в любой стране мира. В правительство, во власть, вообще только имбецилы стремиться попасть могут! Умственно отсталые люди, которые больше себя ни в чем проявить не могут. Зачем тебе в этом говне копать?

– Ну во-первых мы с тобой не знаем – про то, как в любой стране мира. Мы этого не видели. И увидеть не можем при всем желании. И вот для начала мне мечталось бы заставить имбецилов отменить крепостное право – чтобы каждый мог беспрепятственно выезжать из страны... Ну и свободные выборы, свободные газеты, телевидение, книги без цензуры. Это же не политика, Мишенька – это же просто качество воздуха вокруг! Дышать же иначе невозможно! А во-вторых, во-вторых... – перебивала саму себя она, торопясь, не зная как подобрать слова для столь очевидных, как ей казалось, вещей – и, в поиске слов, теребя все подряд хлястики на куртке Цапеля, – ...во-вторых, ведь если всё отдавать на откуп имбецилам – как это здесь было с самого семнадцатого года, – ну мы ведь видим, что из этого получается! А потом – Миш, ну имбецилы же – это же не безобидные грызуны какие-то, отдельно от нас живущие, – имбецилы же, увы, жизнь людям увечат: у меня вот в школе был учитель...

– Ой, только не надо мне про школу... – красиво закатывал глаза к небу Цапель и заканчивал проигранный спор победоносным поцелуем. И, кажется, до сих пор не вполне верил, что ей и правда только пятнадцать.

В начале прогулки, обняв ее, он каким-то, боевым, целенаправленным шагом, обходя кругом университетский квартал – свернув на грязный Калининский, вынырнув в забаррикадированную черными волгами Грановского – и вынырнув вновь – на ободранной улице Герцена – как будто пунктиром своих вызывающих шагов обводя здание, куда вечером она от него уйдет, – как будто стараясь это здание, по пунктиру, из пейзажа выдрать и аннигилировать.

В переулках домишки поплотнее, пообтёртее, с сокрушенными фасадами чудно бежали за ними, как шелудивые беспризорные псы, с криво поднятыми хвостами водосточных труб. Были и другие дома – побогаче, которые медленно, как липкие жирные гусеницы, ползли рядом, заискивающе всматриваясь в глаза и ища сочувствия – и сочувствия не находили – потому что и свет из слишком рано зажигающихся плафонов в парадных, который гусеницы эти на анализ предлагали, и солдафонские занавесочки в окнах, и выходящие из парадных жильцы с жиличками источали вонь, которую ни с чем не спутаешь – вонь плебейской номенклатуры.

– Ты поедешь со мной в Питер? – теребил ее Цапелъ. – В Питере есть флэт у друзей. Махнем хотя бы на пару дней! На собаках. Поедешь со мной или нет?

– Не знаю, может быть. На каких собаках?

– «Может быть – может быть»! Решайся! Когда ты решишь?

Эти быстрые, как боевые рейды, шляния по улицам, и его требовательные нетерпеливые объятия, – и не дававшие ей по ночам засыпать взведенные чувства – выматывали ее до крайности.

По какой-то неостроумной усмешке случая, занятия в шипящем шюже у нее в группе вел ровно тот хамелеонообразный студент с мешком для ловли мух под подбородком и отвратительно быстрой мимикой языка, будто то и дело слизывающего из углов рта мошек (да еще и с органичным цветом лица, эффектно менявшимся, в зависимости от настроения, от землистого до защитно-зеленого) – который прежде, будучи случайно встреченным на факультете, настоятельно рекомендовал ей «изучать неформалов», – нестерпимый зануда и системный до мозга хамелеоньих костей, вел занятия он так, что можно было заснуть со скуки, акцент, вместо журналистики, делал, по какому-то идиотству, зачем-то на русскую фонетику и транскрипцию – давным-давно уже расщелканные в школе под орех. А все-таки, в возможности сидеть вечерами и заниматься в университетских стенах – путь даже и легчайшей чепухой, – чудилась Елене какая-то магия.

Сидя перед материным трюмо, в джинсах уже и в любимом сиреновом легчайшем пуссере с глубоким круглым вырезом – только что вернувшись из школы и уже жарко условившись с Цапелем встретиться через полтора часа, перед занятиями в университете, –

пристроив босые ступни на самый краешек топлено-малиновой овальной полированной поверхности с материнскими кремами, рассыпанными земляными орехами в скорлупе между круглявой блёсткой материнской бижутерией, бумажными коробочками с тушью, башенками помады (так, что согнутые большие пальцы ног казались матросами, в погожий денек взлезавшими на чужой корабль – и, взявшись за борт, осматривающимися: ё-моё, что ж здесь такое?), Елена, неудобно откинувшись в материнском потешном розовом поролоновом кресле, спешно распускала свою старомодную косу (которой, в сравнении с Цапелевым рококо, втайне немного стеснялась – и, когда успевала, сразу же после школы подвергала зверской завивке электрическими щипцами – мать еще более старомодно называла их почему-то плойкой) – и, пока щипцы, с внятным уютным запахом, нагревались, одной рукой вертела перед собой черновик вступительного сочинения в шюж – умыкнутого, и теперь, спустя всего-то пару недель сумасшедшей жизни, казавшегося уже историей – и раздумывала, как бы сделать из него рассказ. Сочинение, собственно, получилось игровое, – и, пока жизнерадостный хохотливый Дьюрька, увязавшийся-таки с ней на вступительные, весело, и без малейшей рефлексии, строчил, на парте рядом, тоном передовиц и образцовым крупным разборчивым девичьим почерком, что-то про перестройку, – она, с загадочной внутренней ломкой и неуместным противоречивым вчувствованием, выдумала лирическую героиню – девушку-хиппи с Гоголём, со старомодной же косой (иначе, не будь она хиппи, косу некуда было бы пристроить в тексте): героиня влюбляется в панка и, чтобы проникнуть в панковскую тусовку (стричь волосы и ставить гуталином ирокез героине по неведомой причине было тоже, все-таки, почему-то малёкс жалко), одалживает у его друга черную фетровую шляпу и, под нее подобрав весь хайр, нацепив драную косуху, ровно на вечер, закашивает из гирлы под жабу, чтобы встретиться с любимым. В общем, вроде Монтекки и Капулетти. Места, пароли и явки, разумеется, были у нее в сочинении изменены – чтоб ненароком не накликать на реальные тусовки панков и хиппи ментов, если добровольные помощники таковых среди журналистов-преподавателей обнаружатся.

Накрутив на плойку передний локон, Елена с неудовольствием рассматривала себя в зеркале (худая, так сильно похудевшая за

последнее время; бледная, с темными кругами от усталости и от взволнованного недосыпу под глазами, высокая дылда, с угловатыми худыми плечами) – и думала: «Как же странно мы, наверное, с Цапелем смотримся, когда Цапель так крепко обнимает меня и, не отступая ни на миллиметр, идет со мной рядом по улице!» Особенно неуместно старомодным казался ей мягкий овальный очерк собственного лица; раскосые темно-карие, от Анастасии Савельевны доставшиеся, глаза были еще куда ни шло – но вот Анастасии же Савельевныны же, перепавшие по наследству, густые, дугой изогнутые брови (совсем не похожие на выщипанные стрелки модниц) – казались совсем уже старомоднейшим перебором. Мать говорила, что резким рисунком губ и мягкой линией скул и подбородка – да и вообще овалом лица Елена больше всего похожа на прабабку – легендарную обрусевшую полячку Матильду (принявшую имя Матрёны) из древнего княжеского рода – дочь ссыльных поляков, родившуюся, еще в восьмидесятых годах девятнадцатого века, в Сибири – долгожительницу, разминувшуюся на этом свете с Еленой всего-то на несколько месяцев. На чудом уцелевшем, огромном, в два альбомных листа в высоту, монохромном портрете (тем более невероятным это чудо сохранности казалось, что и сама-то Матильда в революцию уцелела лишь чудом), стоявшем сейчас справа на самой верхней полке материных самопальных, все тем же Анастасии-Савельевниным самородком-студентом Платоном вытесанных книжных стеллажей – была Матильда совсем юной – лет восемнадцати, что ли, и, несомненно, красавицей: воротничок-стойка, муар накинутого кашне, строгое, с плотно подстеганными вертикальными сборками однотонное платье – и при внешней строгости красивого овального лица с высоким лбом и царскими бровями – мягкое, чуть заметное лучение уголков губ и глаз – внутренняя какая-то улыбка. Фотография была выполнена на очень плотном, спрессованном, тяжелом картоне, и, увы, правый нижний уголок, при одном из драматичных Матильдиных переездов, надломился – и Анастасия Савельевна благоговейно подклеивала его изолянтной с внутренней стороны – хотя, кроме дымчатых фотографических муаров, ничего на этом уголке и не было. И так странно было верить Анастасии Савельевне на слово – когда Анастасия Савельевна, сняв Матильдин портрет с полки и для наглядности вертя его и так и эдак, а то поднося к окну, для дневного

света, твердила: «Да что ж ты, не видишь, что ли? Вылитая ты! Нет, ну надо же, как гены выстрелили – через два поколения!»

Завлекалочка по краям чуть распущенной, на кромках щек, Матильдинной прически, собранной сзади в косу, Елена на раз признавала своими – а вот сравнить свое собственное живое отражение в зеркале с мягким монохромом на стеллаже было почему-то невероятно трудно.

Елена наклонила голову, перебросила вперед распущенные, завитые кое-как локоны, взбила их рукой на затылке и сбрызнула лаком (ацетоном пахнущим) с сомнительным названием «Прелесть» (братом-близнецом Склепова дезодоранта «Интимного» – рожденным, в муках, явно на том же военном заводе, по конверсии, в такой же громадной таре из-под молотова-коктейля – с чудовищным железным швом на боку – аэрозоля).

Кругов под глазами у Матильды на фотографии не наблюдалось – да и отвратительно бледной, как Елена сейчас, Матильда, даже на черно-белой фотографии, тоже там у себя на полке явно не выглядела. Наскучив фантазиями о счастливом будущем вымышленной хиппанки с панком, Елена разорвала черновик сочинения на мелкие клочки, выбросила на материно трюмо, с сухим треском раздавила скорлупу и съела земляной орех, поперхнулась – и ощутила, что если на минуточку, немедленно, не приклонит голову к подушке, – просто упадет с ног от усталости на улице. Дав себе слово не засыпать – а просто на секундочку сомкнуть веки – она рухнула на собранный диван Анастасии Савельевны. И пройдя через муаровый озябший мягко пронесенный перед ее лицом полупрозрачный полог, и в этом пологе случайно запутавшись, перейдя в схожие по тону загадочные местности за пологом, да так в них и оставшись – проснулась уже от рыданий рядом.

Анастасия Савельевна, успевшая вернуться с работы, сидела в том самом кресле, где (как Елене казалось – всего-то минуту назад) она сидела сама, – была мать в черном бархатном жакете с широкой юбкой до щиколотки, в которых ходила в институт, и тихо ревя редела.

– Мамочка, что ты? – Елена подскочила к ней – и тут только заметила, что на трюмо перед матерью, на расчищенном от косметики, бижутерии и орехов месте, лежит аккуратно сложенный – ровно по

разнокалиберным стычкам разодранных клочков (скомканных ею, но бережно расправленных матерью) – текст ее сочинения.

– Я не хочу, чтобы мою дочь жабой называли... – всхлипывала Анастасия Савельевна, не обращая внимания на то, что тушь с длинных, богато покрашенных нижних ресниц, добавляя какого-то киношного комизма, уже потекла.

– Никто меня жабой не называет! Что за бред? – испуг Елены, сперва подумавшей что у матери что-то случилось, потихоньку сменялся яростью. – Как ты смеешь вообще читать мои записи? Я тебе, что, давала этот листочек? Как ты смеешь? Я не буду вообще с тобой разговаривать, пока ты не извинишься! Что за шпионство?! Ты бы еще в мусорном ведре покопалась и вытащила разорванную бумажку! Как ты смеешь?

– Мне интересно было... Я не хотела тебя будить, – в слезах бубнила Анастасия Савельевна. – Я-то думала, что тут что-то хорошее, красивое, а тут... Я не для того тебя растила, чтоб тебя жабой называли!

– Я не намерена с тобой больше ни слова обсуждать. Эта девушка в сочинении – вымышленный образ. Жабы там для колорита. А ты совсем с ума уже тронулась, – на этом сообщении, произнесенным уже ледяным голосом, Елена вышла из комнаты и, не расправляя смятых локонов, подцепив на мизинец в прихожей летнюю куртку, в самом смурном, то ли не проснувшемся, то ли не выспавшемся расположении духа, вышла из квартиры и побежала к метро.

Цапель, нежный Цапель, с такими горячими объятьями на нее накинувшийся в их неизменном месте встречи, на смешно скругленном уголке крайнего здания улицы Герцена, между благоразумными до тошноты прохожими, – и так страстно спрашивающий, почему она опоздала, и почему так расстроена, даже и догадаться не мог про домашние драмы.

– Ты решила? Ты поедешь со мной в Питер? Сегодня ночью мои друзья едут на красной стреле. Мы можем с ними вписаться. Махнем? Решайся!

– Миш, я подозреваю, что моя мама будет против...

– Мама-мама... А ты не говори ничего маме заранее – поедем вечером на вокзал, позвонишь ей прямо с вокзала, перед самым поездом, и скажешь, что сейчас уезжаешь. Скажешь, что ты со мной! –

горделиво вскинув голову, добавил Цапелю, явно предполагая, что на Анастасию Савельевну это сообщение должно произвести неотразимое впечатление.

Ярчайше, в лицах, представив предлагаемый звонок с вокзала – как ни была Елена на мать раздражена, но как-то почувствовала, что это бегство в Питер Анастасию Савельевну добьет.

– Мишенька... Ну не сердись... Нет.

Обнявшись с ним, блаженно наматывая на себя тепло из всех проулков – как пряжу из распустившихся оброненных кем-то случайно клубков, Елена с мучением думала, что это невероятное тепло ведь – не «уже» – а «еще», – и что вот-вот начнется отложенная было полугодовая пытка холодом. Закатное небо, даже если прищуриться, даже если зажмуриться – даже если греть руки под курткой Цапеля – за летнее уже никак не могло сойти, – и пропуская через себя каждый оттенок, замеряя цветовую температуру темнеющей гаммы – от слишком разбавленного лилового, еще теплого, до остуженного липового и кисло лимонного – вдруг вздрагивала, обжегшись о холод бледного ультрамарина – и прятала голову на плечо Цапеля.

– Тебе хорошо со мной? – Цапелю притягивал ее к себе за талию с такой силой, словно еще один ньютон объятий сможет заставить ее изменить решение. – Почему ты тогда не едешь со мной в Питер? Мы сегодня же ночью будем с тобой одни, в поезде...

И когда Цапелю завернул с ней в первый же попавшийся, отделенный от глаз прохожих деревьями пустой палисадник, Елена, шалея от его настойчивых, безудержных ласк, со странной грустью подумала вдруг о том, что, вот, летает за ним по переулкам как сверхчувственное облако, взвивающееся от малейших его касаний, и что ничего вокруг почти не замечает, кроме него, что весь город как будто у нее из чувств из-за этого подворывается, и что даже тот таинственный внутренний звон, отзвук, по которому, как по ниточке, она, как ей казалось, все время до этого шла, и источник которого с такой настойчивостью искала – даже этот внутренний звук слышит она в последнее время как через стену, глухо. Впрочем вкус у этой грусти был настолько сладок, что Цапелю сорвавшимся с катушек объятиями нетрудно было объяснить ей, почему грустить не надо.

Цапелю провожал ее в этот день до самых дверей журфака, и все не верил, что «нет» – значит «нет», и что ни в какой Питер она не

поедет, и, целуясь с ней уже прямо под носом у Ломоносова, в университетском дворике, всё дразнил ее анекдотами про то, как некий его дружбан-панк никогда не ходит к зубному и чинит себе зубы специально припасенным ржавым гвоздиком, – и всё никак не хотел отпускать ее от себя. И так смешно было себе представить, что произойдет сейчас с пухлявым доверчивым детским лицом Дьюрьки Григорьева, бежавшего в это же время в шюж, после сытного домашнего обеда, на занятия, если он увидит ее в руках двадцатилетнего, чудовищно взрослого и до мурашек красивого Цапеля.

Холод отвоевал назад переулки столь же внезапно, как до этого сдал позиции. На следующий день, стуча зубами, ругая себя мерзлячкой, Елена, уже выбежав было из дома на свидание, вернулась с полпути и через голову напялила на себя под куртку самую теплую, отвратительно синего цвета, кошмарно не шедшую ей, как ей казалось, откровенно детскую, кофту, – и через час, когда Цапель, обнимал ее, пытаясь согреть ее околевшие красные руки, дыша на них, как дышал бы на свои – она вдруг, смеясь, призналась ему, что мучительно стесняется, что одета как-то немножко слишком по-домашнему, как-то слишком аккуратно, что ли, – а не с лихой крутостью, как он.

– Да посмотри на себя! Ты одета как мажорка! А я как нищий панк! – перебил ее Цапель неожиданно серьезным и, почему-то даже, как ей послышалось, обиженным тоном.

Кошмарное, идиотское, ничему не соответствующее, пустейшее противопоставление – озвученное им на таком серьезе – почему-то корябало душу. Анастасия Савельевна, крайне во всех практических вещах безалаберная и по двадцать лет таскавшая на себе одни и те же (весьма, впрочем, шедшие ей) шмотки, – любые походы по магазинам (тем более пустым – а уж тем более заваленным оскорбительным крысиным уродством) ненавидела до дрожи. Оборотистости, чтобы покупать вещи на черном рынке, как делали другие, ей тоже не хватало – и однажды в Гуме, в толкотне, в пролёте между этажами, где Анастасия Савельевна с рук рискнула попробовать купить у спекулянтки пеструю юбку (соблазнившись любимой цыганщиной размаха подола), ее с классической элементарностью надули: как только Анастасия Савельевна уже отдала деньги, тут же, какая-то стоявшая якобы «на стрёме» гнуснейшая баба вдруг крикнула: «Ой,

милиция, милиция – прячьте!» – и торговка-спекулянтша немедленно спрятала юбку обратно в пакет и прибрала, к пузу, в сумку: в руках у нее тем временем было еще несколько сумок с пакетами. Анастасия Савельевна, как в дурном сне, припомнив моментально все рассказы друзей о подобных мошенничествах – онемела, и просто не верила своим глазам, что все это действительно происходит с ней. Тут, по иронии судьбы, с верхнего этажа действительно вывернула милиционерская фуражка, и торгашка – во избежание скандала – быстро сунула Анастасии Савельевне в руку пакет (пакет другой, как Анастасия Савельевна поняла, уже выйдя на улицу – но и явно не тот, которым планировалось как куклой прикрыть кражу) – в пакете оказалась шелковая кофточка с запахивающимся, как шарфом, воротом. «Краденую» кофточку эту (велика была) Анастасия Савельевна запросто щедро подарила кому-то из подруг.

Вполне смиряясь с тем, что сама одевается с раздолбайской несерьезностью, Анастасия Савельевна, однако, жадно следила за тем, чтобы у дочери было все самое модное, что только можно в Москве, при ее нищенской преподавательской зарплате, достать: едва прослышав, что на Рижском рынке продают кооперативные варёнки, рванула туда немедленно и купила Елене, за ползарплаты, джинсы – и потом только переживала, а не чересчур ли они «взрослые». А месяц назад, вон, сдуру, без примерки, едва заслышав от своих студенток, что где-то на Тульской «выбросили» модные туфли, и что они туда сейчас едут, тут же выдала им денег, назвала им размер дочери – и получила в результате болгарские, бессовестно жавшие (кажется, левый и вправду был чуть короче правого!) мокасины. Искусить Анастасию Савельевна шмотками для дочери было весьма просто: она не торгуясь сразу отдавала все последние деньги, как только этот дурацкий эпитет «модное» от кого-то на работе или в компании слышала. «Я в этом ничего не понимаю – но моя дочь должна быть современной. Хватит уже того, что я все детство и юность после войны в обносках ходила. А я лучше кефир с куском хлеба на обед съем. Мне худеть надо», – с каким-то гордым вызовом говорила Анастасия Савельевна всем подругам, попрекавшим ее за сумасбродство и – совсем не по средствам – транжирство. И по странной, небесной справедливости (как будто в благодарность за щедрость души, за непрактичность, и за то, что вещиизмом она никогда не болела) вещи на Анастасию

Савельевну падали иногда буквально как с неба: вон, весной еще, одна из соседок, у которой племянник плавал в загранку, подарила ей почти за бесценок для Елены неопишуемой красоты белые, умопомрачительно взрослые, «родные» итальянские летние джинсы из невообразимого, явно неземного происхождения, жатого, чуть гофрированного хлопка с восхитительной сложнейшей системой многоуровневых кармашков, заклёпок, хлястиков, хромированных застежек и молний (соседке не налезли на толстый зад). Баловала, баловала, конечно Анастасия Савельевна ее баловала – преподнося все дары поздней, долгожданной дочери. И тем более обидно Елене было, что Анастасия Савельевна – так старавшаяся всю жизнь до этого «всё понимать», так старавшаяся быть Елене другом, – теперь вдруг – и из-за своего осторожничания в острых (внутренне важных почему-то до последнего предела) политических вопросах, и из-за дурости с мольбами о «нормальном» институте – а теперь вот и вовсе из-за букв – из-за бумажнейшего сочинения – все больше становилась как будто чужой.

И – в то же самое время – с яснейшей ясностью знала Елена, что если б Анастасия Савельевна хоть краешком уха услышала надломанную Цапелеву фразу о мажорстве и нищем панке, то вмиг не только бы забыла всё свое к нему недоверие – а еще бы и жить у себя оставила, и моментально отдала бы ему, если надо, последнюю копейку.

Взорваться – и вдруг начать говорить с Цапелем о том, что ее интересуется, ранит, привлекает, волнует – словом, обо всех своих внутренних драмах – казалось Елене невыносимым; как это делать – чтобы говорить с другим напрямую о том, что у тебя в душе – она не знала; более того – сомневалась, возможно ли вообще; а любые эрзацы чувствовались как поверхность и ранили ее нестерпимо, да и вообще говорить с ним стеснялась, стеснялась себя, своего возраста, – стеснялась, наконец, той странной власти, которую Цапель над ней, над всеми ее чувствами приобретал, как только до нее дотрагивался – стеснялась того, как глупо и растерянно себя ведет, буйно сходя с ума от его касаний; и – замыкая круг стеснений ровно в той точке, откуда буря началась – стеснялась самой этой неспособности себя выразить ему в словах, – да он, кажется, и не очень понимал, до какой определяющей степени для нее это важно, – и от все более и более

часто случающихся немых затычек в разговорах она зажималась всё больше – а Цапелъ всё меньше понимал, что с ней происходит, и чего ей не хватает для полного счастья (явно, по себе судючи, подозревая, что не хватает еще более сумасшедших ласк – и наедине), и вдруг посреди улицы в некотором испуге спрашивал, почему она выглядит такой несчастной – и страстно латал отсутствие духовных касаний любовными.

И губы у обоих уже к ночи были обветрены и растрескались от бесконечных поцелуев.

Анастасия Савельевна, тем временем, расстроившись из-за яркого жизнеописания панков в сочинении дочери, спятила еще в большей мере, чем Елена предполагала. Не зная, чем отвлечь дочь от опасных, как ей представлялось, знакомств, каким клином выбить клин, Анастасия Савельевна пустилась во все тяжкие: седьмого ноября согласилась идти от института со всеми студентами на демонстрацию – колонной по Горького и мимо Кремля – чего прежде никогда ни за какие шиши делать не соглашалась. Да еще и на голубом глазу, словно у нее от испуга и правда мозги переклинило, стала упрашивать Елену:

– Ну пойдём с нами! Весело же будет! Все мои ребята пойдут! А потом у нас в институте дискотека будет!

– Мама, тебе не стыдно даже произносить это?!

– Ну мы же не в поддержку кого-то или чего-то пойдём на демонстрацию!

– Да? А я-то думала!

– Нет, ну что ты всё преувеличиваешь: мы же просто прогуляться! Радостное настроение! Все вместе! Праздник!

– Какой праздник, мама?! Очнись! На косточках миллионов людей плясать?

Омерзение от материнской выходки уже просто перехлестывало всякую меру. И если бы Елена не знала прекраснейше – по материной судорожной веселенькой оторопи, – что единственная причина – истерический страх за дочь, – то вообще бы немедленно из-за этого просто сбежала из дома – с Цапелем или не с Цапелем, не важно.

Вскоре мать (видя, что свидания Елены продолжаются) уж и совсем исподличалась: в один из дней позвонила ей по телефону и лживо-беззащитным растерянным голоском попросила срочно привезти ей в институт «забытую», и срочно понадобившуюся,

амбарную тетрадь с лекциями. И когда Елена, уже договорившаяся с Цапелем о свидании, не имея ровно никакой возможности перезвонить ему и сказать, что задержится, волнуясь, страшно опаздывая, тетрадь матери все-таки по дороге завезла (как в плохом водевиле, столкнулась при входе в институт со студентом-ухажёром, мозолившим ей глаза летом: торчал возле самых дверей, как будто караулил ее – Елена даже заподозрила не подговорила ли его Анастасия Савельевна; пришлось здороваться и говорить, что очень, очень спешит) и, запыхавшись, поднялась к Анастасии Савельевне на третий этаж чудовищного, тоскливого стекло-бетон здания института – Анастасия Савельевна, с фальшивой благодарностью, нервно провожая ее обратно, вниз, из кабинета, обманным путем заманила ее («Зайдем поздороваться на секундочку!») в кабинет к замдиректорше по воспитательной работе: большая, очень коротко стриженная, пергидролевыми перьями расцвеченная, циничная, уверенная в себе, с выхоленным двойным тяжелым подбородком и увесистыми бульдожьими брылями по бокам, и с бесцветными пустыми глазами, в густо надушенном Клима свитере из ангоры, с каким-то боевым языческим бубном из янтаря на груди с хвостиками из оленьего ворса по краям, нахрапистая женщина-казак – с которой мать никогда не дружила (но у которой, как Елена тут же поняла – как только мать трусливо и малодушно с несчастным лицом вышла из кабинета, Анастасия Савельевна имела дурость спросить что-то про панков), – уже явно визита Елены ждала. И, когда Анастасия Савельевна выскользнула за дверь, пергидролевая казачиха (здоровенные черные финские сапоги по колено на квадратном каблуке, с заправленными в них клетчатými шерстяными брюками были тоже в тему), с задумчивенькой нотцей в голосе (сразу выдававшей тот особый сорт идеологов – не просто покорных режиму дур, а наоборот циничных, ни во что не верящих бессовестных карьеристок, нагло повторяющих партийную зомбирующую чушь – потому что как же иначе французские духи урвешь), которую Елена ненавидела в учителях еще больше, чем откровенный наезд, – пригласила ее присесть на минуточку, уселась сама за стол напротив и, ритмично поигрывая правым копытом, подчеркнуто по-молодежному лихо закинутым на левую ногу, принялась за промывку мозгов:

– Я хотела бы кое на что раскрыть тебе глаза. Ты так юна, ты многого не понимаешь. Но есть такие страшные организации, такие

молодежные течения – скрыто контролируемые и спонсируемые антиобщественными силами – которые стремятся...

Елена с тоской подумала было, что встать и хлопнуть дверью уже вполне уместно, и даже вежливо – учитывая, что Цапелю давно ее уже ждет на свидание. Но по странно вдруг включившемуся задору, решила все-таки принять вызов.

– ...разрушить наши традиции! Так вот, такие молодежные организации, как хиппи, панки, например – это же все равно что фашисты! Ты же всего не знаешь – ты не знаешь кто за ними стоит! А стоят за ними мощные организации! – и, чуть понизив голос добавила: – Заграничные организации!

Елена выжидательно молчала. Казачиха, судя по оживившимся подтягивающимся самодовольным брылям, вдохновлялась в своем пропагандистском завире все больше.

– Так вот стоят за всеми ними силы, у которых одна цель: разрушить наш государственный строй!

– Ну что ж, чем больше я вас слушаю, тем больше мне кажется, что такой государственный строй стоит того, чтобы быть разрушенным, – добродушно улыбнулась Елена. – Тюрьму, по-моему, все-таки лучше разрушить, чем перестраивать!

Казачиха вдруг, на этих словах, по непонятной причине, начала озираться на стены, увешанные гематологически-красными треугольными бархатными вымпелами; занервничала и – не говорила больше ни слова, и даже каблуком перестала трясти – и замерла.

И когда Елена в дверь распрощалась («Спасибо за интереснейшую беседу!») – та даже побоялась ей кивнуть в ответ.

Такое предательство со стороны матери простить было уже трудно. Елена зареклась что-либо ей рассказывать о своей жизни вообще.

Цапелю тем временем, ничего не зная о позиционных боях, которые Елене приходится из-за него выдерживать, решил форсировать события на любовном фронте по-своему:

– У моего друга здесь, в Москве, недалеко есть флэт. Я с ним договорился. Он оставит для нас ключи у соседей – его сейчас не будет дома. Ты поедешь со мной? Прямо сейчас! – уламывал он ее между поцелуями. – Почему, почему нет! Тебе разве плохо со мной?

«Да что ж они все, в самом деле?! Сговорились все мне нервы трепать, что ли?!» – с мукой думала Елена.

– Если я тебе нравлюсь – ты сейчас же поедешь со мной на флэт! Решайся! – вымогая из нее решение, Цапелю вместо обычной растворяющейся нежности вызывал в ней только беспомощную оторопь и желание разреветься.

И в этом силовом ультиматуме ей слышалось что-то глубоко нечестное.

– Миша, ты прекрасно знаешь, как я к тебе отношусь. Но прямо сейчас я пойду на занятия в университет.

А в другой день, когда Елена вернулась из школы, то застучала Анастасию Савельевну за каким-то странным телефонным разговором: куря, закрывшись в кухне, мать истерично шантажировала кого-то по телефону ее, Елены, несовершеннолетним возрастом. Елена, похолодев от гнева (сообразив, что Анастасия Савельевна умудрилась подловить звонок Цапеля), ворвалась в кухню и вырвала штепсель из телефонной розетки.

– Женат! И живет в Подмоскovie! Поздравляю! – не своим, истерически-ликующим голосом вскричала мать, кидая на холодильник трубку. – Нашла себе достойного жениха!

Реплику «женат» Елена, разумеется, сразу же отмела как гнуснейшую клевету, придуманную матерью в истерике. А вот фразочка про Подмоскovie тем гнуснее из уст Анастасии Савельевны звучала, что она с детства приучала Елену, что нет ничего более позорного, чем характеризовать человека не по его душе и уму, а по его социальному или материальному положению.

– Я против того, чтобы ты с ним встречалась! Если ты пойдешь с ним еще раз на свидание – можешь домой не возвращаться! – кричала мать, пробегая в свою комнату.

И когда Елена поправила штепсель в розетке, и Цапелю через минуту перезвонил, – Елена, разумеется, быстро сказала:

– Да, привет, через час встречаемся, там же.

Было солнечно. Из-за грязи (за последние дни несколько раз то оттаивало, то подмораживало) морщинистые перемёты инея на мостовых в центре были скорее даже не ледового, а плесневого цвета. Цапелю ни слова почему-то о разговоре с матерью ей не говорил – а как обычно травил анекдоты и целовал ее на каждом шагу. Было так

скверно на душе из-за материной истерики – что и ей самой как-то хотелось обо всем забыть – забыть о материном «домой можешь не возвращаться», да и о том, что возвращаться домой после этих гнусных материних предательств и омерзительных материних бестактных выходов не хочется вовсе.

И забыть обо всей этой жалкой обидной ерунде было рядом с Цапелем совсем, совсем нетрудно. И после первого же затяжного поцелуя она вновь полностью растворилась в его жарких объятиях.

– Знаешь, Мишенька, – сказала она, вжикая (звучно, до зуда в собственных зубах) ногтем указательного по молнии на воротнике его куртки, – ты, пожалуй, завтра мне не звони: у меня некоторый напряг дома. Давай сразу просто условимся: завтра встречаемся здесь же в четыре.

Когда до университетских занятий оставалось минут пятнадцать (время с отвратительной неотвратимостью и внезапностью вываливалось на них из государственных, уродливых квадратных резервуаров оно – со столбов: наручников часов Елена принципиально никогда не носила), и она застыла, прощаясь с Цапелем, подойдя к заветной подворотне с Грановского (подсмотренной Еленой у старшекурсников тайной муравьиной тропе, которой сзади, через двор, огибая здание, можно было выйди ко входу в университет), Цапель вдруг объявил ей:

– Всё, ты не пойдешь сегодня ни на какие занятия. Мы сейчас же поедem на флэт к моему другу.

Елена, целуя его, шепнула:

– Нет, Мишенька, я как раз пойду на занятия. Пожалуйста, не требуй от меня того, что я...

– Нет, ты никуда не пойдешь, ты едешь со мной, – и схватил ее в охапку, как будто силой желая удержать.

Она с изумленным смехом вырвалась из его рук.

– Да что ты делаешь?

– Тебе хорошо со мной? Я тебе нравлюсь? Если ты уйдешь – значит я не нравлюсь тебе.

Вместо смеха Елена уже опять чуть не плакала – из-за этого его пыла. Ответить на который могла только очередными поцелуями. Мимо – как раз в момент очередного взаимного любовного затмения – хмуро прочапал, хищно выгнув шею параллельно земле, и облизывая

губы, зеленолицый мальчик-хамелеон, со сморщенным школярским портфелем через плечо, на занятия.

– Пожалуйста, Мишенька... Ну это же не честно... Что за вымогательство? Ты не можешь вот так вот вымогать из меня решение... Ты же и так знаешь, что я к тебе чувствую... Отпусти меня. Или, хочешь, пойдем лучше со мной вместе на фонетику?

Цапелъ, вместо дальнейших переговоров, перехватив ее еще крепче за талию, повел к ближайшему жилому дому.

– Куда ты меня... – смеялась Елена. – Куда ты меня ведешь? Сумасшедший... У меня осталось всего четверть часа до фонетики...

Первый подъезд, темно-бордовую дверь которого Цапелъ рванул на себя, оказался заперт.

– А я вот сейчас нагоню на тебя такой крэйзы, что ты поедешь со мной, – страстно целовал ее опять, притянув к себе, Цапелъ.

– А что такое крэйза? – смеясь, вырывалась она из-под его рук.

Влетев с размаху вместе с ней в другое парадное (какого-то паскудного, с виду – маршальского, дома) и захлопнув за собой дверь, Цапелъ прижал ее к следующим, уже запертым, внутренним дверям с такой страстью – что от безумных поцелуев и ласк в этом абсолютно темном тесном предбаннике ей показалось, что еще секунда – и его щедро вылепленные великолепные поликлетовы стати, впечатавшиеся в ее тело, сейчас с грохотом выбьют, вместе с ней, дверь.

– Поедешь со мной? – с каким-то безумием шептал Цапелъ в темноте, прижимая ее к задней двери еще сильнее, поднимая ее за бедра, вскидывая ее на воздух, сажая ее верхом к себе на бедра, и снова отпускающая. – Поедешь? – хотя не то что куда-либо ехать, а уже держаться на ногах да и дышать она едва могла от этого его любовного шквала. И если бы он так тесно не прижимал ее, то из-за головокружения давно грохнулась бы на пол.

– Ты поедешь со мной? Поедешь? – поминутно снова и снова переспрашивал Цапелъ, и снова целовал ее и, лаская ее, еще теснее впечатывал ее во внутреннюю дверь. Дверь – к ее ужасу и стыду – и отворившуюся, в самый неподходящий момент. Вышла оттуда пожилая, на сухожилиях державшаяся пара – старушка в шляпке и дрожащий крючковатый короткий скелет с тростью. Цапелъ чуть отступил. Елена, в полуобмороке, механически сделала шаг за ними на

улицу из темного парадного и вдохнула морозного воздуха. Свет резал глаза. И голова неприличнейше кружилась.

– Мишенька, я побежала на фонетику, – улыбнулась она, стуча зубами, ёжась и тщетно пытаюсь унять дрожь и стряхнуть любовные мурашки, бежавшие по телу.

– Фонетикой могут заниматься только фригиды, по-моему, – злясь, сказал выходя из подъезда Цапель.

И провожать ее не пошел.

Не заходя вечером к себе, на четвертый этаж, Елена, на втором, позвонила в дверь к Ладе – дверь, как всегда нелепейше запела соловьем. Отперла ей мать Лады, рыхлая высокая пожилая флегматичная женщина со всегда беспорядочно взбитыми, недлинными, аккуратно крашенными в шампанское волосами и от природы скорбно опущенными уголками губ – в правой мясистой руке она держала серебряный столовый нож, отблескивавший от безразмерной, развесистой, бальной хрустальной люстры с миллионом трепещущих ромбических висючек (занимавшей ровно половину ужимистой прихожей), и на ходу жирно намазывала сметану на огромный, по диагонали откромсанный, кусок белого хлеба – несомый в левой. Бронзовая ручка двери внутри была тоже перемазана в сметане – открывала, видать, не прерывая гастрономический действ.

– Леночка, как хорошо, что ты зашла! – скорбно издужив губы сказала она. – Ужинать с нами будешь? Бутерброд тебе сделать?

От одной мысли о еде почему-то нестерпимо тошнило.

– Спасибо, нет, нет, ничего не надо... А Лада...?

– А Ладочка у себя в комнате – занимается... – на этих словах Ладина мать с аппетитом уже засунула бутерброд в рот и отхватила кусман хлеба. И начала крупно, детально жевать мочалистыми скорбными губами. – Проходи, проходи к ней, не стесняйся, – со сметаной в голосе добавила она.

Из Ладиной, дальней комнаты неслись громкие, нанайские ритмичные музыкальные спазмы. Пройдя узенький коридор, крупным, сверкающим музейным паркетом вылощенный, и на долю секунды задержавшись у огромного зеркала до потолка от пят, в бронзовой витой оправе, коридор венчавшего, Елена мельком взглянула на свое узкое, вытянувшееся, худое лицо, с эффектными синеватыми изморенными кругами под глазами, и на совсем распустившиеся,

никакой завивки не державшие, и висевшие теперь прямыми, тоже как будто уставшими, локонами волосы – и буркнула: «Вот глупости... Ни на какую полячку Матильду я не похожа» – и толкнула Ладину дверь.

– Пелемен! Требуют наши сердца! – надрывался с нанайской ритмичностью Цой из убогого, как ухо циклопа, единственного, моно, динамика валявшейся на полу «Электроники» (впрочем элитного выпуска – бронзовой краской сбрызнутого корпуса). Лада, по странной любви к контрастам, из-за вылизанной кичевой квартиры и невежественно-вычурных ужимок богатых мещан-родителей (загадочных советских пародийных недомиллионеров, никому не известно где работающих – и тащащих из антикварных в квартиру всякую дрянь; каким образом они загадочный капитал сколотили, известно никому не было; зато на весь дом было прекрасно известно, что у них у единственных квартира «на сигнализации» – боялись воров; и каждый раз, когда Лада, возвращалась домой и забывала нажать секретный рычажок, сигнализация верещала на весь квартал – и немедленно у подъезда, по ложному, автоматическому, вызову появлялась машина милиции), наоборот, испытывала необоримую слабость к самой плебейской примитивнейшей подзаборной попсовой музыке, – сидела в позе лотоса на ковре, с ассирийской параноидальной подробностью расшитом мельчайшими цветными лабиринтами, и, выставив вперед по-цоевски челюсть, доходчиво, с наслаждением, изображала дефекты голодной дикции певца:

– Пе-ле-мееен! Мы ждем пелемеэн!

Перед Ладой на ковре лежал кусок ватмана, и она тщетно пыталась срисовать с учебника по заранее нанесенным засечкам элементы античного фасада – для Строгановки.

– Ой, валюты в объеме никак не получают, – томно принялась жаловаться Лада. – А стереобат с угла – это вообще беда!

Мучимый ватман всё норовил скататься в белое бревно.

– А ты возьми да нарисуй стереобат как реактивную летучую мышь. Или летучую мышь в стерео наушниках!

Лада ослабилась, высоко обнажив бледно-розовые десны, нагнулась, прибавила звука в «Электронике», и принялась, без спросу, без расписки о согласии слушателя на эту пытку, докладывать неудобные, жесткие подробности своего очередного сквозного романа

у продвинутого сокурсника в мастерской – где из мебели оказался один только стол с эскизами.

И Елена с тошнотой уже было подумала: «Нафига я приперлась...» – хотя пришла-то, на самом деле, как раз из-за определенного, специфического, опыта Лады.

– Слушай, Лад, а ты не знаешь, случайно, что такое «фригида»? – как бы между прочим спросила, наконец, Елена.

– Не-а. Но по-моему, что-то ужасно неприличное! – выговорила, не без удовольствия, предвкушая какой-то скабресный оборот, Лада. – А кто это тебе это слово сказал?

– Да так, в книге одной прочитала.

– Постой-постой! Мы, кажется, в институте в самом начале года про римлян что-то с фригидами проходили... Это что-то из архитектуры... Сейчас... Сейчас... – Лада перегнулась и поползла по ковру к окну, где на подоконнике сгрудились институтские тетрадки. – Вот, смотри: точно! «Фригидарии» – римские ванны с холодной водой в термах... Хм... Но по-моему это все-таки что-то неприличное! По-моему – ругательство какое-то! – хохотнула опять Лада, не удовлетворившись античным ответом. Встала и, ойкая, жалуясь на старость, кокетливо разминая бока, вильнула к столу. – Сейчас мы в словаре посмотрим!

Елена тем временем, эффектно растушевав подушечкой собственного указательного пальца фон ионических колонок, подрисовывала к архитраву бублики.

– Это в какой это ты, интересно, такой книжке это слово прочитала, а?! – Лада, сощерив десны, истошнейше хохотала, раскрыв словарь и найдя значение слова.

Взглянув собственными глазами на словарную статью, Елена на Цапеля обиделась смертельно – не понятно за кого больше – за себя или за фонетику, и решила, что больше на свидания с ним не пойдет ни за что.

VII

Выбежав из подъезда и быстро свернув за угол башни, чтоб Анастасия Савельевна не заметила из окна или с балкона, Елена

добрела между домами до Песчаных переулков, до промерзшего, голого сквера – напротив непопулярного, никем не чтимого – особенно в такой час – маленького уродливого кирпичного кубика кинотеатра, – деревья казались громадными мётлами, колом воткнутыми какими-то озверевшими дворниками в ледяную землю: парадными рядами. Усевшись было на лавку – Елена тут же с нее и соскочила, побоявшись примерзнуть – и забралась, по-панковски, с ногами, на спинку. Холодно было действительно до жути. Стукнуло как-то к ночи по полной. Возвращаться домой однако никакой возможности не просматривалось: «Раз мать сказала в злобени «можешь домой не возвращаться», – значит, теперь пусть отвечает за свои слова». Кроме того, вернуться – означало бы как бы де-факто выдать матери индульгенцию за ее отвратительный бестактный базар – а значит, и как бы сказать ей, что и в будущем она себя смеет вести так же.

Руки и нос уже кололо от холода.

Живые в памяти байки Анастасии Савельевны, что раньше на месте этого маленького неприятного парка было кладбище – при советской власти разоренное, – тоже мало добавляли уюту. Упорядоченной Анюте в такой час позвонить было равносильно самоубийству – да и жила Аня на самой последней станции соседней ветки метро. Эмма Эрдман, наоборот, гнездовала в слишком непосредственной, опасной близости – в соседнем доме, да и родители ее наверняка бы сразу телефонировали Анастасии Савельевне, останься Елена у них в гостях на ночь. Остаться на ночлег у Лады, в своем же подъезде – было бы еще смешнее.

«А как же вот обходятся совсем-совсем бездомные люди? Кому совсем-совсем некуда идти? Где они спят? Как они выдерживают этот холод? Как они устраиваются?» – дыша в ладони, с естествоиспытательским интересом подумала Елена – и в ту же секунду почувствовала тем не менее какой-то заполошный (морозный воздух разом претворился в наркотик) восторг свободы: ушла из дома! Одна! Принадлежу сама себе! Делаю что хочу!

Ёжась, и решая, что лучше – прогулять всю ночь по городу – или хоть немножко покататься на троллейбусе, пока не высадят – Елена, однако, быстро увидела вокруг себя какие-то сгущающиеся, из лысой чащи материализующиеся, человекообразные тени, соскочила и припустила к Соколу.

«Или – никак не устраиваются? Просто умирают – и всё...» – мрачно, на бегу, покончила она с естествоиспытательскими прожеками.

Стрельнув двушку у метро у какого-то смиренного пьянчужки и заскочив в чуть согревавшую, но нестерпимо окурками и перегаром вонявшую будку, Елена задубевшими уже пальцами набрала, крутя отвратно соскальзывающе-ледяной тонкий железный диск, на память, не будучи уверена, что правильно комбинирует смороженные цифры (но еще больше боясь, что вся эта грязь сейчас от дыхания растает), номер старой одинокой Ривки Марковны.

Ривка, явно проснувшаяся от звонка, не сознаваясь однако в этом ни в какую, осоловевшим голосом, но радостно тем не менее, закурлыкала, и спросила, когда ж Елена, наконец, зайдет в гости ее навестить.

– А можно я сейчас зайду? – решила Елена, – видя наперед уже панику и бурную деятельность по уборке захламленной квартирki, которую Ривка, вскочив с постели, разовьет сейчас к ее приходу.

Идти до Ривки было совсем близко – а на морозном двигателе так обнаружили и вовсе рекордные скорости: через Ленинградку, заткнув под землей нос, потом наискосок, не добежав до метро Аэропорт, и там в знакомый переулок.

В ужасно подрагивавшем, скрипящем всеми плоскостями деревянном шкафу лифта, едва-едва ползшем вверх по дрожащей, кляцающей шахте, составленной как будто из сеток панцирной кровати, Елена снова ощутила какую-то блаженную нереальность происходящего: одиннадцать вечера, я внутри какой-то движущейся мебели – и не намерена возвращаться домой.

На четвертом этаже лифт (как это всегда в Ривкином подъезде случалось) застрял – и, вызвав неприятный перелив уровнемера в солнечном сплетении – ухнул на четверть этажа вниз.

– Бегу, бегу! – вскрикнула откуда-то из колеблющейся панцирной выси совсем молоденьким тонким голоском Ривка, уже давно наизусть знавшая капризы лифта: едва слышала движение в подъезде, сразу же выбегала к шахте – дежурить, ловить, спасать. – Бегу!

И засуетилась, где-то уже совсем над ухом, панически шаркая слетающими тапочками по ступенькам.

Выручить из засады можно было только на четвертом, снаружи, дождавшись, пока в лифте (с замеревшей пассажиркой) погаснет свет, и нажав еще раз на вызов; выше лифт не шел – хоть ты его пинай; так что еще на один этаж вверх Елене пришлось подниматься пешком, очень медленно, пропуская на лестнице думавшую что бежит, Ривку вперед, всё так же зачем-то суетящуюся, как будто отстает от какого-то умозрительного, ею же самой придуманного этикета и плана торжественной встречи долгожданных гостей. Свет горел только сверху, на Ривкином этаже, превращая шахту и тросы лифта в какую-то фантасмагорическую фортецию. А Ривка, от суетливой паники этой, в полутьме шаркала, расходуя всю энергию как будто не в длину, а вширь, широко разбрасывая мыски, так что снизу чудилось, как будто осилить ступеньки она пытается не в тапочках, а на каких-то коротеньких, страшно неудобных лыжах.

Перед квартирой Ривка экономно щелкнула выключателем.

Свет на этаже погас.

В темной прихожей (еще более тесной конуре, чем у Елены дома) Ривка вдруг исчезла.

– Ривка Марковна? – осторожно спросила черный, застоявшийся воздух Елена. Но, пока не нащупала слева на стене веревочку выключателя и не дернула за нее – выжав тускленький свет, так и не поняла, откуда же раздается тихое Ривкино кряхтенье.

Ривка, согнувшись мешком над тумбочкой в углу прихожей, от грузности и от неудобного положения головы, не могла произнести ни слова, и, распахнув дверцу, что-то целеустремленно и быстро там искала, сосредоточенно сопя и побряхтывая.

– Вот, возьми! Как раз? – распрямилась Ривка наконец и выдала ей мужские платяные тапочки в розовую клеточку, примерно пятьдесят восьмого размера – доставшиеся, судя по ветхости, не меньше чем от прадедушки: левый был до мешочной дырки протерт на косточке, а правый и вовсе всю просил горошка всей кругленькой протертой мордочкой.

– Отлично! Как раз. Мой размер! – со смехом влезла Елена в эти тапочные лыжи, так что вся нога умещалась примерно на уровне мыска. – Да я и босиком могу впрочем! – выскочила она тут же носками на липкий линолеум.

– Холодно! Куда ты! Застудишь ноги!

Но Елена уже добежала до кухни и открывала дверь – брызнул яркий свет, озаряя потертые потроха прихожей – потом, вернувшись, распахнула дверь в Ривкину комнатку (безразмерная разобранная кровать, впопыхах, сикось-накось, накрыта была «парадным», только по праздникам вытаскиваемым Ривкой из шкапа покрывалом с тигром).

Ривка сэкономила свет до такой истеричной степени, что, кажется, боялась, что он выльется из одной комнаты в другую: и когда была одна, герметично закупоривала все двери, как в подводной лодке. И тут только заспанная, с отеками веками, горбатая Ривка приникла к ней с объятиями:

– Девочка моя! Как я счастлива, что ты забежала! Ты одна меня не забываешь!

Это «не забываешь» было неправдой – забегала Елена редко. И только Ривкино всепрощающее сердце могло визиты раз в полгода счесть частыми. И Елену всегда нестерпимо раздражали эти Ривкины растроганные разговорчики, с оттенком лести. Тем более сейчас – когда цель визита была крайне эгоистичной.

– Ривка Марковна... – не выдержала Елена и решила с порога оглушить ее проблемой. – Вы пустите меня сегодня к себе переночевать?

Вполне понимая, что вывали она на Ривку, хоть словом, хоть намеком, историю с Цапелем – и Ривка бы тут же, в дверях, просто бы окочурилась от ужаса, – Елена мялась, готовясь к долгим, неловким и неправдоподобным выдумкам.

Но Ривка, с секунду помолчав, вдруг кротко спросила:

– С мамой поругалась?

И эта вдруг элементарная простота объяснения вызвала в Елене какой-то буйный восторг:

– Да, да! Немножко. Вы не возражаете...?

– Ну ты же знаешь, как я тебе всегда рада! Как я рада! Я с ума схожу, когда я так долго одна – проходи, конечно! Комната-то свободная стоит... Я ведь с тех пор, как Зяма умер... – и Ривка, грузно, все так же перпендикулярно собственному направлению двигаясь, уже вела ее в кухню.

Кухня, и вовсе микроскопическая, еще вдвое меньше по размеру, чем даже у них с матерью, напоминала вырезанный и аккуратнo

перенесенный в Москву фрагмент джунглей: на широком подоконнике раскидывался гигантский, столетний, казалось, куст алоэ, с листьями до того толстыми, пыльными и колючими, что могли сойти за хвосты ископаемых ящеров; с припотолочных полочек свисали яркие живые зелено-белые гирлянды; везде – на холодильнике (еще более горбатым, чем сама Ривка) и на крошечных приставленных к подоконнику табуреточках торчали из кадочек заросли каких-то растений до того сомнительного, дикого вида, что вполне могли сойти за буйный сорняк.

Ривкины волосы – совсем белые, уложенные ровной, очень густой, до плеч подстриженной гривой, делали ее полноправным джунглей обитателем.

– Ничего. Помиритесь, – грузно усаживаясь на скрипящий табурет при входе, из-за тесноты двумя ножками стоявший в коридорчике (гостевой трон – расшатанный стул со спинкой – накрытый тканым протертым полотном – отдав Елене), Ривка уже вошла в свой привычный уютный, миротворческий, успокоительный настрой. – Три к носу – все пройдет. Ну, рассказывай! Как ты живешь?

Елена вдруг, услышав это «помиритесь», с невыносимой грустью подумала: «А с Цапелем-то мы, наверное, уже не помиримся никогда. Какой ужас. «Никогда» – какое ужасное слово. Как бы сделать сказанное несказанным? Но ведь сказал-то он это не просто так – это, как-то, наверное, часть его мира, который я совсем, совсем не знаю... Как же он мог...» Чудовищная необоримая нежность к нему, помимо ее воли летевшая из сердца волной, наталкивалась, где-то в воздухе, на столь же чудовищный, грубый, железобетонный волнорез, им же воздвигнутый.

– Ну? Расскажи как у тебя дела? Как в школе? Как отметки?

Ривка явно считала ее еще ребенком, чуть ли не первоклассницей, по старой памяти.

– Ривка Марковна, а как вы думаете, можно ржавым гвоздиком починить зубы? – выдала Елена, сглотив подступившие вдруг слезы, и заставив себя спрятать невольный всхлип за нервным смешком.

– Не знаю, девочка, – с той же ровной бездумной кротостью ответила Ривка. – Я проблему с зубами решила пару лет назад радикально и навсегда. А что, у тебя зубы болят, девочка?

– Да, что-то разболелись... – ухватилась за идиотский предлог Елена, чувствуя, что еще секунда в этом сострадательном тепле этой идиотски-расслабляюще действующей заросше-пыльной кухни – и разревётся.

– То-то я смотрю, ты вся сама не своя! – вскочила, от испуга за нее срываясь на визг, Ривка. – Анальгину? Там вверху, на полке...

– Не поможет, спасибо... Может, это от холода... Да, да, наверняка от холода... Уже лучше... Почти прошло... – всхлипывала Елена, закрыв лицо ладонями.

– Чаю, чаю... вот – я заварила крепкий, как вы с мамой любите, – Ривка, с панической быстротой совершив несколько смелых рокировок чашечек, блюдец и розеточек на крошечной доске столика, поставила внезапный мат заварочному чайнику, и принялась, стоя, плескать ей чай в крохотную же, неудобную (зато тоже парадную – не расколотую) татарскую какую-то белую пиалу. – Дай-ка мне лимон из морозильника!

– Из моро...?! Ривка Марковна, да кто ж лимон в моро... – открыв, не вставая из-за стола, морозилку, Елена обомлела: забито все было, как на случай ядерной войны: смороженный батон хлеба за тринадцать копеек; сплюснутые кишки в целлофановом пакете из чрева венгерской курицы; накромянные куски печенки; сморщенная, в скомканной бумажке четвертушка дрожжей – и это только крайний, почти вываливающийся из морозилки, слой. – Да что это у вас тут, Ривка Марковна?!

– Ну что ты надо мной смеешься... А если со мной что-нибудь случится? А если я на улицу несколько дней выйти не смогу?

– Но вы же можете мне в любой момент позвонить!

– А если телефон работать не будет? А потом – ты же знаешь, я не люблю никого обременять...

Елена прекрасно знала, что из родных Ривки Марковны, двоюродных, троюродных, четвероюродных, десяти-киселе-юродных, некогда многочисленных, именованных в ее рассказах по ярким, небывалым, запоминающимся именам, в Москве не осталось никого: кто сумел сбежать за границу, а кто – и на тот свет, бросив Ривку на этом свете, как ненужную старую мебель, которую, из-за грузности, трудно было бы перевезти в любом из упомянутых направлений. И, со смерти мужа, Ривка, бездетная, до жути одинокая, пребывала в какой-

то обреченной кроткой меланхолии – оживляясь, только когда приходил кто-то из прежних учеников.

В школе ей доверяли вести только продлёнку и первые классы – и им-то Ривка и дарила всю свою любовь – и за не рожденных, из-за наследственной болезни, детей, и за не выращенных внуков: аккумулировав, казалось, всю любовь мира, сторицей компенсируя им неизбежно поджидающее их за углом моральное уродство всех остальных школьных гримз.

Добираться до работы, с ее горбом и отекающими ногами, становилось все тяжелее. А всё равно – в школе она была единственным без оговорок добрым ископаемым существом, хоть и беспомощным, и, даже те, кто учился у нее двадцать лет назад, то и дело, зайдя в школу, бежали к ней погреться под крылышко на второй этаж – даже и не подозревая, наверняка, однако, о ее панических залежах в морозильнике.

– А на верхней полке... Да нет, в холодильнике – посмотри, там, в глубине, за маслом – кое-что, что ты любишь... – счастливо курлыкала Ривка.

И Елена уже даже и не глядя знала, на что сейчас наткнется ее рука: домашней, ручной, Ривкиной выделки яблочная пастила – или «яблочный сыр» как его называла сама Ривка – из спрессованных, мраморным плотным слоем скатанных яблочных ожимок с сахаром.

Раскрутить Ривку на рассказы о себе было невероятно трудно.

– Да что рассказывать... – отмахивалась она обычно, явно считая себя каким-то таким недостойным, потерянным, напрасным, предметом, о коем и говорить не стоит.

Знала Елена только то, что в звериные сталинские годы, когда так удобно было оправдывать собственные животные инстинкты и алчность интересами государства, Ривкиного отца, работавшего главным инженером завода, подсел секретарь парткома – мечтавший завладеть его большой хорошей квартирой на Чистых прудах – а заодно и красавицей-женой. Расправа провернута была до смешного просто: настрочил донос, отца Ривки бросили в тюрьму по обвинению в антисоветском заговоре и с феноменальной скоростью послали в лагерь куда-то на Север; Ривкина мать, верная мужу, в то же самое время, послала домогавшегося секретаря парткома на три буквы; и тогда ее с дочерью вышвырнули из квартиры и выслали из Москвы,

за сотый километр, в Калинин. А секретарь парткома уже через пару месяцев одиноко вселился в вожделенную жилплощадь.

Всю эту историю робкая Ривка решила рассказать Елене только совсем недавно, с год, что ли, назад. И московское своё, чистопрудное детство она вспоминать не любила.

Но сейчас, из-за «зубной боли» Елены, и из-за этого полуночного, экстренно предоставленного ей убежища, из-за сбитого – сдвинувшегося с обычных орбит – бытия, высвободившего простор застращенной душе, Ривка с какой-то испуганной готовностью переквалифицировалась в еврейскую Арину Родионовну:

– Мы играли там на ступеньках кинотеатра «Колизей», это я хорошо помню. А еще, помню, у меня была няня. Няня ходила в церковь – там же, на Чистых прудах, совсем близко от «Колизея», – и с собой меня на прогулке каждый раз в церковь брала. Я возвращалась домой, а дома вся семья вечером становилась на еврейскую молитву – а я вставала на колени, и молилась! Как в церкви. Как же надо мной вся семья смеялась! Я маленькая еще была, лет семь – ничего не понимала – почему они надо мной смеются... Дай-ка мне чайник с плиты, пожалуйста... Я разбавлю себе... Я такой крепкий не могу...

– Ривка Марковна, а вы помните хоть какие-нибудь молитвы на иврите? – зажглась от внезапно зазвучавшей в Ривкиной судьбе диковинки Елена, передавая чайник – не вставая, сидя – потому что в кухне и одному-то человеку было тесно, а сейчас повернуться уже не было и вовсе никакого шанса – а в битве за место под солнцем с завсегдатаем кухни алоэ она бы явно пала смертью храбрых.

– Нет, девочка, ни слова не помню. Хотя родители знали молитвы прекрасно и каждый день читали. А я и сейчас в этом ничего не понимаю, как и тогда в детстве. Только, помню, когда что-нибудь разбивалось, мама всегда говорила: «Капора!»

– Капора... Смешно... А что это значит?

– Не знаю, девочка. Но я всегда так говорю. Маму вспоминаю. Я же у нее поздним и единственным ребенком была. Я была... Не смейся надо мной только... Я была вымоленным ребенком. И из-за меня мама и не уехала в Палестину... Отщипни-ка мяты там вон, справа за алоэ... Да нет, вот там, в самом уголке – там мята растет... Видишь? Кинь себе в чай пару листочков – зубы пройдут.

– Что значит – из-за вас не уехали? – Елена уже ни за какой мятой не потянулась, а замороженно слушала.

– Да так вот... Сначала была первая мировая, потом все эти волнения, потом революция – вся огромная семья уже почти уехала: было как-то понятно, что здесь им не выжить. А мама из-за всех этих событий вокруг очень нервничала... И никак не могла забеременеть. И они с отцом очень сильно молились о ребенке. А все было готово к отъезду. И вдруг оказалось, что мама беременна. И мама отказалась ехать – именно из-за того, что это был вымоленный ребенок: мама побоялась пускаться в путешествие, побоялась что потеряет ребенка – это было бы для нее страшное богохульство. И мамины родители уже уехали в Палестину, с тем, что мама, как только родит ребенка, вместе с ребенком и мужем отправится за ними. И родилась я. А уехать из страны уже так и не смогли.

И тут Елена с изумлением услышала внутри себя внятное, золотистострунное «брымм», – и свободно запела та загадочная струнка, которая, как ей казалось, совсем уже было расстроилась из-за всех переживаний с Цапелем. И она осторожно, чтобы не спугнуть чуда, расспрашивала дальше:

– И ваша мама с ее родителями так и не встретились больше?

– Нет, никогда. Мои бабушка и дедушка остались в Иерусалиме. Только изредка весточки доходили. И мои родители здесь очень за многими чужими стариками всю жизнь ухаживали: верили, что тогда и за их стариками в Иерусалиме кто-нибудь присмотрит.

– А фотографии! Фотографии есть у вас их? – вдруг с какой-то жадностью вспыхнула Елена.

– Да что там показывать... – Ривка как-то недоверчиво, как будто сомневаясь, правда ли кому-то это интересно, улыбнулась – но все-таки, неповоротливо высвободившись из кухонного табуретного плена, тяжело, многопудово, встала и с трудом чуть разогнув спину зашаркала к комнате по кривому, дважды загибавшемуся коридорчику.

Елена, схватив пиалу с чаем, от которого, заслушавшись, даже и не отхлебнула, шла за Ривкиной движущейся горбатой горой с едва видным из-за холма воротника халата седым кустом.

В комнате, где неповоротливо конкурировали за место огромная кровать, узенький гардероб (втиснувшийся боком в узину между кроватью и подоконником – так что закрывал собой четверть окна),

тумбочка (невероятно ужав себя, втемяшившаяся тоже в изножье кровати, с другого угла) и еще одна вытянутая тумбочка – занимавшая всю длину ковровой дорожки (которая иначе имела бы хоть и призрачные, но шансы, стать проходником между кроватью и стенкой – в результате, отсутствующим) – сесть – да даже и пройти было ровным счетом негде. Каждый из упомянутых предметов, не исключая кровать и подоконник, приютили, в довесок к общему бедламу, на себе еще и опаснейшей высоты сооружения из коробочки побольше, на ней коробочки поменьше, на ней – еще коробочки, еще чуть меньше – и так чуть не до потолка. Впритык к кровати жалась на трех ножках (одну, видимо, подобрал из-за толчеи) маленькая треугольная табуретка, на которой, вместо прикроватного столика, царствовал старинный, черный допотопный телефон (с буквицами под цифрами), со своей свитой (уже вповалку): флакончик корвалола, флакончик валокордина, облатки димедрола, коричневая очень растрепанная записная книжка, крышечка от неизвестного криво вскрытого консерва, синяя объединенная пластмассовая цифра 5 из восковой шкурки сыра и несколько черных промышленных резинок. Ривка медленно переложила всё с табуретки на кровать – пододвинула табуретку Елене, и грузно, измученно вращая глазами под опухшими веками, уселась на кровать сама.

– Достань пожалуйста... Там, из-под тумбочки! Не могу уже наклониться. Да-да, вот это!

Елена изумленно извлекла из-под ножек тумбы пыльной бородой поросшую картонную разваливающуюся коробку из-под обуви. Ривка бережно отерла пыль собственным рукавом и взгромоздила коробку рядом с собой на кровать. Из ветхой внешней оболочки была извлечена довольно чистенькая, на удивление, коробочка поменьше – плоская, оклеенная розовой бумагой в цветочек.

– Ну вот, – Ривка распахнула крышечку – и почему-то отвернулась.

– Какая красавица! Это ваша мама в юности? – вертела Елена в руках фотографический портрет, во весь рост, невероятной яркости тончайшей девушки, с огромными глазами, и косой до пояса, перекинутой через плечо. – Ваша мама на вас похожа была немножко... – и мельком взглянув на Ривку, добавила: – Глазами...

– Нет, девочка. Это я.

– Не может быть... – сорвалось у Елены. – Какая красавица! Ну, я в смысле имела в виду... – проклиная себя за бестактность, Елена давилась словами. – Вы и сейчас у меня самая красивая в мире!

– Да-да, конечно, – от души рассмеялась Ривка.

Елена, впрочем, подумала, что сказанное ею – чистейшая правда: попроси кто-нибудь ее в школе провести конкурс красоты – и Ривка взяла бы первый приз – потому что ее Елена всегда видела сердцем, как-то изнутри души – и поэтому ни грамма уродливого, ни в ее горбе, ни в отеком лице, с обвисшими, как у раскормленного младенца, фиолетовыми щеками, ни в заплывших верхних веках – не было. А выхоленная школьная дива с подтянутым кожедублием лица – полковничиха Ленор Виссарионовна на шпильках была бы наоборот выгнана с конкурса поганой метлой, как уродина и ведьма – потому что именно такой, несмотря на свой шиньон и несмотря на все свои косметические ухищрения, – алгебраичка Ленор, из-за своей злобени, для Елены во внутренней картинке всегда и была.

Ривка, поначалу отводящая от коробки взор, словно боясь ослепнуть от какого-то горя, потихоньку повернула голову, и с напряжением ждала, пока Елена достанет следующую фотографию.

– Ну вот, а это они, мои родители.

Лица Ривкиных родителей показались Елене невероятно русскими – причем, как-то по-простонародному русскими: у него был нос картофелиной, и большой подбородок, и забавнейшая, чуть влажмоченная деревенская шевелюра; мать красива была тоже как-то пронзительно по-русски, курносой большеглазой высокоскулой красотой – и только во взгляде обоих была как будто одна на двоих общая строгость и сосредоточенность. Он – в аккуратном костюме, она – в очень длинном, до пола, платье, с узкими рукавами, взрывающимися в фуфоны под плечом.

И несмотря на простоту этих лиц, у Елены захватило дыхание: вот же они, живые, то есть, давно уже мертвые, но здесь-то, на фотографии живые – и Ривка тому гарантией, что неподдельные – люди, которые молились каждый день, читали дома вслух молитвы, даже в самое страшное, сталинское время! Чудо. И это – в семье моей Ривки, с которой я говорила миллион раз о ерундовойшей ерунде! Чудо!

– Когда отца выпустили, ему разрешили к нам в Калинин приехать жить. Ты бы видела, как он изможден был! Кожа да кости. Хотя кожи тоже, можно считать, здоровой не осталось. В Москву нам въезжать не позволяли – за сто километров нельзя было приближаться к Москве. А тут война началась. В сорок первом немцы к Калинин подступили. Из города всё военное начальство, вся милиция, все энкавэдэшники – все в одну ночь сбежали – и город никто не защищал. Жители, поняв, что город сдали, что сейчас войдут фашисты, – начали уходить из города: кто как, собрав пожитки, а кто и вообще с голыми руками. Когда немцы входили в город – мы тоже ушли, еле успели. Иначе бы, конечно, нас убили сразу, мы же евреи... А у отца были талес и тфилин...

– А это что такое?

– Девочка, я не смогу тебе объяснить как следует. Я толком сама не знаю. Это наше, еврейское, для молитвы. Так вот, отец испугался, что если немцы поймут его, и найдут талес и тфилин – то сразу поймут что мы евреи, и расстреляют всю нашу семью. И спрятал все это где-то в доме. Да так спрятал, что потом, после эвакуации, найти не смог. Но он – представляешь – был таких строгих правил, что даже в эвакуации, где голодно было, а мама где-то муку доставала и пекла сама хлеб, так он на Пасху отказывался от хлеба, не ел ничего квасного, на картошке сидел.

Ривка, которая в третьем классе (когда Елену сбила машина, и она на полгода оказалась избавлена от ужаса школы) приходила к ней домой учить умножению в столбик – теперь, кропотливо восстанавливая в памяти душераздирающе ненужные подробности, учила ее элементарнейшему сложению:

– Вот считай сама: в эвакуации нас было в одной комнате... Мы трое, и еще двое из Орши, и еще трое из Калинина, и еще из Ленинграда... Ой, девочка, не могу вспомнить, сколько же их из Ленинграда было... А! Ну конечно – четверо! И все в одной комнате на полу спали...

Следующая фотография дышала радостью – Ривка, все та же худощавая большеглазая девочка, под руку с простоватым пареньком – в чуть складывающемся гармошкой костюме.

– Это Зяма...

– Ривка Марковна, а кем был ваш муж?

– Кем-кем... Простым рабочим. А счастлива я с ним была так, как никто из моих знакомых, которые повыскакивали замуж за образованных, да за богатых, с карьерой. Как я из эвакуации в Калинин вернулась, я в пединститут поступила. Закончила там институт. А после войны Зяма – он же у меня фронтовик был, герой – случайно, по каким-то делам от завода из Москвы в Калинин на полдня приехал. Нам-то в столицу всё еще не разрешали ездить. А Зяма влюбился, ну и я тоже! Зяма сделал мне предложение, и меня в Москву перевез к себе. Любили мы с ним друг друга всю жизнь, так, что – вот веришь ли? – ни на один день с ним не расставались! До самой его смерти я так счастлива с ним была...

На карточке, следовавшей дальше, была какая-то полнолицая, совсем ни на кого из доселе виданных героев фотографий непохожая, женщина средних лет, – и Елена, чтобы опять не ляпнуть чего-нибудь, даже не спросила – а просто повернула фотографию к Ривке.

– А это я... Тоже я... Уже замужем – лет тридцать пять мне тут, что ли....

– А как же вы так...

– Располнела, ты хочешь сказать?

– Да нет, я...

– Да я же в молодости после войны танцевала как сумасшедшая! – рассмеялась Ривка. – Каждый вечер! Да и есть особо нечего было... А потом... Потом жизнь как-то суровая пошла – не до танцев было. Хлеб да картошку наворачивали – чем мы после войны отъедались-то! И то счастье, что это было! Ладно, девочка. Что об этом говорить. Прошло – и нету этого. Тебе же завтра в школу вставать! – Ривка, явно стесняясь, что вдруг расчувствовалась, прибрала коробку, и попыталась, в раскачку, встать с промятой ее тяжестью кровати.

– Ну нет, ну пожалуйста, ну расскажите еще!

– Нечего больше рассказывать. Никому это не интересно. На работу меня в Москве долго никто не брал. С моей биографией. А потом позволили вести младшие классы в школе. Спасибо, что позволили. Там я и проработала всю жизнь.

– Что значит «позволили»?! Ну что значит «позволили»?! – не выдержала вдруг Елена. – Ривка Марковна! Ну вы же прекрасно понимаете, что вашего отца посадили незаконно, ни за что! Вы же понимаете, что это было преступление!

– Эй, девочка... Кто ж теперь докажет... Спасибо, что живыми остались...

– Да что значит «спасибо»? Ривка Марковна?! Это же ведь... Это же ведь...

Ривка кротко усмехнулась.

Елена с какой-то закипающей внутри яростью подумала: «Вот так же и Аня моя, когда кто-нибудь изуродует ей жизнь – Анюта ведь и слова поперек не скажет! А в старости будет вот так же, как Ривка, кротко улыбаться. И благодарить, что позволили выжить!»

– Ладно, девочка... Утро вечера мудренее. Поставь-ка коробку вон туда, сверху, на тумбочку. Пойдем, я тебе постелю.

Ривка, рывками, в несколько приемов встала-таки с постели и не распрямляясь, растирая себе поясницу, вышла в прихожую и принялась по каким-то шкафчикам, вешалочкам и коробочкам искать ключ от двери в гостиную – двери, которая никогда, без чрезвычайных причин, не отпиралась.

– Ну вот... Здесь, наверное, пыльно, – ворочая, наконец, ключом в замочной скважине, простонала Ривка. И тихо растворив дверь в гостинный мрак, как-то вдруг провалившимся, оборвавшимся голоском, не оборачиваясь к Елене, выпела: – Я не могу сюда заходить, когда я одна... Я сразу вспоминаю, как мы с Зямой жили, как гостей принимали... Зямыны однополчане со всей страны съезжались... Шумно было, народ всегда в доме...

Пыльной гостиная оказалась – не то слово. И, как останки разрушенной, затерянной цивилизации, сквозь пылевые отложения просвечивали стеклянные крашенные рюмочки, стопочки, фужерчики в низкорослом серванте: роскошь нищеты.

– Ривка Марковна, давайте я мокрой тряпочкой сейчас...

– Нет, нет, ни-в-коем-случае! – испугалась, взвизгнув почти, Ривка. – А вдруг разобьется что-нибудь! Я уж потом, сама как-нибудь...

И через десять минут Елена, приняв душ и растянувшись на кошмарно узком диване в гостиной (Ривка просила диван не разбирать – «Девочка, я уж лет десять его не раскладывала – боюсь, что мы его ломаем, тогда тебе спать не на чем будет»), замотавшись в слишком короткое Ривкино одеяло, чувствовала себя какой-то мумией – посреди раскопок затерянного мира, – и, при свете маленького пыльного

зеленоватого матерчатого торшерчика на полу рядом, изумлялась разнообразию бессчетных солонки и перечниц – пузатые, маленькие, большие, косые, в форме помидора и перца, в фигуре хохла и хохлушки – которыми, если их собрать вместе, спокойно можно было бы играть в шахматы, – запрятавшихся позади фужерчиков, в серванте, на всех трех стеклянных полочках.

Звонить своей матери Елена Ривке строго-настрого запретила, однако, как только потушила свет, услышала вороватое пошаркивание Ривки, тащившей на кухню телефон с длиннющим проводом, тяжело волочившимся вслед за ней по липкому линолеуму всеми чудовищными многолетними узлами, петлями и путами – и в предсонной шахте, по которой взлетали куда-то наверх обрывки дневного, земного воображения Елены, гигантский телефонный провод этот совместился у нее с черными тросами в шахте лифта в Ривкином подъезде – лифт, в котором Елена теперь находилась, улетал вверх – и снизу уже едва-едва доносились квартирные звуки и тут же лениво облекавшие их (как плоть – кости) образы: вот Ривка, добравшись до кухни, включила на кухне воду погромче – и вернулась к кухонной двери: телефонный хвост не давал закрыть дверь плотно, и старуха долго, побряхтывая (видимо, в наклон), с ним возилась, в конце концов, резко шнур дернув, и с силой прихлопнув дверь, начала телефонировать:

– Ало? Ало? Анастасия Савельевна? Вы не спите еще? Я знаю, что вы поздно обычно... Вы уж извините... Да, да... Нет, все в порядке, спасибо. Я звоню... Да нет, хорошо себя чувствую... Я звоню... Ко мне Лена вечером зашла – помочь кое-что по хозяйству... Занавески повесить... Я ее попросила. Да. А сейчас уж поздно совсем – я ее спать уложила. Вы не возражаете?

Лифт, уносивший Елену, на секундочку затормозил, и спустился – почему-то уже с той стороны, где кухонное окно, и она явственно увидела на кривом деревянном стуле со спинкой, накрытом попоной (гостевом, на котором сама вечером сидела) сгорбленную над телефоном, прячущуюся, казалось, саму же от себя, и трубку обеими ладонями, как огонь на ветру, прикрывающую Ривку. Невольно улыбнувшись Ривкиной чуткости, Елена накрепко закрыла уже и внутренние глаза, и, чувствуя, что от усталости больше не будет в состоянии нажать в уносившемся опять вверх с бешеной скоростью

сонном лифте уже ни «стоп», ни «вызов», ни произвольно выбрать этаж, вдруг, на последней земной задержке вспомнила материну присказку:

– На новом месте – приснись жених невесте... – и, вздрогнув, взлетая, почувствовав уже полную невесомость, и не зависящую от нее скорость полета, вовсе отпуская вожжи лифтовых, телефонных, земных проводов, успела подумать: «Увижу ли я во сне Цапеля?»

Цапель ей не приснился. А приснилась яблочная пастила в холодильнике. И от голода Елена немедленно, среди ночи, проснулась – и, вытаращив в темноте глаза, не сразу поняв, где она, и только по этой пастиле из сна мигом достроив всю картинку реальности, вспомнила, что пастилу-то она так даже и не попробовала – да и вообще за весь день почти ничего не съела. В квартире было тихо, тикали ходики у Ривки в комнате, а сама Ривка, в такт им, тихонько посапывала за стенкой. Елена вскочила, и накинув на себя одеяло, босиком, пронеслась в темноте в кухню. Вскрытая дверь холодильника загадочным маяком осветила кухню. Отхватив ножом квадратик от большого пласта пастилы, моментально перемазав пальцы в сладкой вязкой замазке, и чуть не уронив римской тогой свитое одеяло, целиком пастилу заглотив, поколебавшись с миг, отхватив еще один приторно-кислый квадратик, потом еще один, зажав их с такой же скоростью, схватив с холодильника кусочек туалетной бумажки (которую у Ривки использовала вместо салфеток) и закрыв холодильник пасть – Елена, в темноте (казавшейся, после этой краткой гастрономической вспышки, гораздо темнее, гораздо слепее), мягко (буфером одеяла) врезаясь в углы, добежала обратно в гостиную и рухнула на диван.

Но заснуть – от полетевшего вдруг заново перед глазами безумного, еле пережитого ей дня – уже так и не смогла до рассвета.

VIII

Когда всего-то через несколько месяцев (спустя время, казавшееся ей потом бесконечностью – даже не по количеству пёстрых перемен, забивавших каждый ее день до отказа, а по качеству изумительной, таинственной внутренней силы, действие которой она в себе и в своей

жизни почувствовала) началась у них с Крутаковым эта восхитительная, захватывавшая ее, как азартнейшая страсть, но в то же время и страшно раздражавшая ее – потому что этот жухало Крутаков то и дело как бы невзначай всё завышал и завышал художественные требования, – игра в рассказы, – то, поскольку ни одной любовной детали про Цапеля она Крутакову, разумеется, не упомянула (так, что выходило, что даже по улицам шлялись они как будто как-то так ни разу даже и не обнявшись), из-за этой рассказочной бесплотности, получилось, что глупая невесомая ссора между ней и Цапелем стряслась по какому-то, скорее, чисто филологическому, сленговому, что ли, расхождению – тоже, впрочем, никак не уточненному, не конкретизированному и словарем не подкрепленному. И в этих туманных, обиняками рассказанных Крутакову историях, Цапель, вместе со своим льянным ирокезом, приобрел законченный мифологический блеск и мифологическую же непогрешимость. Что, впрочем, правилами игры в рассказы и не возбранялось – а никакая исповедальная детальность – если на весы клалась детальность образная – Крутаковым и не требовалась. И Елена только растерянно, и чуть с грустью, думала: а куда же девать реальные, живые, плоть жизни составляющие, яркие, всем существом чувствуемые молекулярные частички, которые, при этих ее варварских актах самоцензуры, в рассказах как сквозь дуршлаг куда-то проваливались – но которые – вот они! – в ней-то жили, и никуда изнутри не исчезали.

Хоть и страшно не хотелось, из школы в тот день, после ночевки у Ривки, она сразу же побежала домой: караулить телефон. «Раз я не приду на свидание – Цапель же наверняка перезвонит – еще не хватало, чтобы мать опять схватила трубку!» – сказала себе она. Что ответить Цапелю, когда услышит всякую волю размягчающий дивный его голос в телефоне – она терялась в прожектах. Что сказать матери – когда войдет в квартиру – тоже не знала. А когда вошла домой, Анастасии Савельевны там и не оказалось. На зеркале висела, уголком зацепленная, на клетчатом, из школьной тетради выдранном листочке накаляканная записка: «Буду поздно. Меня не жди. А может и вообще не приду ночевать. Борщ в холодильнике».

«Совершеннолетнюю из себя изображает», – рассмеялась Елена.

Цапель не перезвонил.

Мать ночевать и вправду не пришла.

А на следующий день, несмотря на то, что смороженные лужи под каблуками кряцали как яичная скорлупа, в школе не то чтобы потеплело, но как будто дрогнули и сдвинулись с места какие-то заматерелые глыбы грязи и льда. Желтолицый подмороженный сфинкс, Любовь Васильевна, в грязно-салатовом антураже класса все последние уроки доходчиво изображавшая глухонемую на любые Дьюрькины упоминания о Сталине, тут, на сдвоенной паре истории и обществоведения, вдруг – как будто с уст замок упал – как разошлась, да как понесла поименно всех сталинских подельников:

– Жертв уже нет! Мы никогда даже с точностью не узнаем, сколько их! Им жизнь никто не вернет. Они мертвы! Убиты! А Ка-Га-Но-Вич! – скандируя, стучала Любовь Васильевна своим сухеньким желтеньким кулачком по древесно-стружечному учительскому столу. – Ка-Га-Но-Вич – жив до сих пор! Жи-вёт! – стучала она опять в такт кулаком по столешнице. – И трясется от радости!

– Любовь Васильевна! Любовь Васильевна! – встрял с места Дьюрька, восседавший на парте один (не удивительно, потому что все место вокруг было занято любовно разложенной им прессой, которой он, кажется, уже мог приторговывать, как в ларьке союзпечати – и которую он, грязными, перепачканными уже в свинцовом шрифте жадными пальцами, вращал и перелистывал безостановочно). – А посмотрите, что еще пишут в газетах...

Но Любовь Васильевна не слушала, что пишут:

– Ка-Га-Но-Вич! Живёт, и трясется от радости!

Дьюрька ликовал:

– Я же говорил! Говорил тебе! – вертелся он всем своим пухлявым торсом посекундно из-за своей парты назад, к Елене (от которой Аня отсела в этот раз сразу, в начале урока, с миролюбивой присказкой: «Знаю вас, твари, как вы тихо себя вести будете...»). – Ее в райкоме только что нашпиговали, что дальше уже отпираться нельзя после всех публикаций – что придется в школьной программе репрессии признавать!

– Нет, Дьюрька, это только половина объяснения – ты посмотри на этот вулкан! Ты можешь себе представить, как долго она себя сдерживала, и какой сжиженный запал в ней был – если она теперь так взорвалась!

– Слушай, а я и предположить не мог, что Каганович и вправду жив еще! Это ведь последний живой из главных сталинских палачей! Вот бы увидеть его!

– Ага! Интервью у него взять. Только я не представляю, как можно у такой мрази, у такой нелюди интервью брать.

– А мы представимся, как будто мы журналисты, а сами – придем к нему домой и... – Дьюрька сжал кулаки, затряс ими и зверски оскалился, как мальчишка-детсадовец, изображающий пирата.

– Что «и», Дьюрька?! – хохотала Елена. – Что мы сделаем?

– Дадим ему чем-нибудь по башке! За моего деда! – скрежетал зубами Дьюрька, впрочем, сам тут же начиная хохотать над собой тоже, так что щелки в устрицах его глаз становились совсем узкими.

– Нет, дорогой, – Елена с таким ожесточением тыкала его стержнем ручки, чтобы он убрал свои развалившиеся локти с ее парты – будто Дьюрька и впрямь уже шел прикупать топор. – Нельзя опускаться до их методов. Их всех должны судить – без срока давности за преступления. А не монтекристо Дьюрька Григорьев из-за угла приколошивать!

Шуточки про интервью, впрочем, тут же переросли как-то сами собой в конкретнейший план: договорились, что вечером, дома, Елена посмотрит в большом советском энциклопедическом словаре биографию Кагановича – и выяснит его место рождения: потому как (уверял Дьюрька) без места рождения в Мосгорсправке адрес палача никак не дадут. И в пятницу, сразу после уроков, они вывалили из метро проспект Маркса, зубря – сбиваясь, хохоча – загадочное заклинание:

– Каганович – Кабаны. Кабанович – Каганы! Каба... Тьфу ты!

Взбесившаяся, вставшая на дыбы колкая позёмка шла в наступление не единым фронтом, а наподобие армии персональных белесых торнадо, пыталась повязать по рукам и ногам и сбить с толку каждого в отдельности, упаковывая шаткие фигурки с лихвой взвивавшимся вокруг каждого крупнистым бантом – и колкие выпады в лицо, заставлявшие задыхаться, казались уже просто какой-то глупой шуткой. На небе было еще хуже, такой кошмар, что лучше было туда и не смотреть.

Дьюрька посекундно закусывал удила хлястика собственной простенькой бурой ватной ушанки: правое ухо шапки (которое он

зачем-то пытался приладить наверх) то и дело падало вниз, и хлястик объединен был до состояния кисточки. И эта его лопоухая ушанка, и его беззаветная розовощекость, и выражавшие порыв и непреклонность узкие, как будто нарочно неимоверно растянутые в ширину, сощуренные серо-голубые глазищи, от непогоды тускло отблескивавшие рыбьей сталью, и щекастое, овальное личико с крупным носом (с едва наметившимся намеком на хищность – тут же смягчавшимся, впрочем, широким хрящом), и девчачий излом хохочущих губ, и круглявый подбородок, подпиравший отложной воротничок коротенького коричневого полупальтишка в клеточку, и стоптанные башмаки – делали Дьюрьку, который, отплеываясь от бросков снежной крупы, яростно пробивался к киоску Мосгорсправки напротив гостиницы «Москва» сквозь ураган позёмки, похожим на героя какого-то дурацкого советского кинематографа.

Елена держала фасон – шапку из кармана зимней куртки не доставала, и лишь прикладывала околевшие малиновые ладони к завывающим от холода ушам.

Шел Дьюрька то как на шарнирах – мелко-мелко и бегло-бегло перебирая наледь ступнями, то вдруг (когда, видимо, вспоминал о каких-то собственных внутренних представлениях о солидности) начинал размерять смороженный асфальт размашистым директорским шагом, вскинув голову. Впрочем, уже через несколько секунд о солидности он забывал – и припускал в толпе вновь со всех ног. Обе походки сменяли друг друга так часто – Дьюрька-директор так часто спотыкался о собственного своего внутреннего нетерпеливого двойника, да еще и через шаг вдруг обнаруживал, что Елена его обогнала – и опять переходил на шарнирный – как будто тайком от себя – и будто никто этого вокруг не видит – так охота было добежать первым – и быстрее-быстрее догонял, обгонял, пихался – что к Мосгорсправке они подвалили уже куча-малой.

– Кабанович! – рявкнул Дьюрька, задохнувшись, первым в окошко и массивно приземлился на рамку обоими локтями, столбя территорию. – Ой, извините... Ка-га... Родом из деревни Кабаны! Лазарь. Моисеевич. Телефончик дайте пожалуйста!

– А кем он вам приходится? – переспросила будочница подозрительно – но подозрение относилось скорее к Дьюрькиному возрасту: тетка с редкими зеленоватыми бровями, не менее редкими

фиолетовыми волосами и едким голоском заморена было до такого параллельного состояния, что ни о каких расстрелах простая русская фамилия Каганович ей воспоминаний не навеяла. – Кто вы ему?

– Я – родственник! Трюродный внучатый племянник! – благодушно соврал Дьюрка, резко натянув передний отворот ушанки пониже, и густо покраснел.

– Да-да, он только что из Кабанов – буквально прямо с вокзала! Ночевать в Москве негде – вот он и решил к доброму дедуле податься... – тихо подначила его сбоку Елена.

Дьюрка истерично всхлипнул, покраснел еще гуще, пурпурнее, но чудом не разоржался.

Будочница через узкую свою оконную щель смерила их еще одним подозрительным взглядом – зацапала щучьей ручкой деньги, – и велела зайти через час.

И всего-то через час сражений с метелью (перемежавшихся еще более драматичными и непростыми, буреобразными, шквалистыми околачиваниями в вестибюле метрополитена – вестибюле слякотном, болотистом, где их то и дело сносило с ног главным делом народа – сносить с ног) они оказались обладателями картонной прямоугольной карточки, с домашним адресом именитого убийцы на Фрунзенской набережной и его домашним телефоном: карточка казалась ключом к миру, ключом к истории, которые, – если ее правильно использовать (вот только придумать как!) – можно изменить и исправить немедленно.

Добежав до первого же телефонного автомата у Интуриста, чуть не подравшись из-за того, кто будет звонить, наперебой засовывая в автомат собственные двушки и, пихаясь, начав уже, было, в четыре руки набирать номер, вдруг обнаружили: а чего сказать-то, если легендарный упырь и правда сейчас подойдет к телефону – они не знают.

– Давай ты будешь говорить – ты все-таки девушка, – сдался вдруг неожиданно Дьюрка. – Скажешь, что ты комсомолка: хочешь с ним встретиться, чтобы он поделился партийным опытом. – А потом мы его хрясть...

– Дьюрка, перестань молоть чепуху... Ну и будешь ты точно такой же, как он тогда!

Елена набрала номер. Готовясь к какой-то чудовищной импровизации – по наитию – как только подойдет чудовище. Но неожиданно ответил женский голос.

– Здравствуйте, с Лазарем Моисеевичем можно поговорить? – произнесла Елена, вдруг почувствовав на языке и в висках омерзение от самого факта, что произносит это имя – да еще и с подобием вежливости в голосе.

– А Лазаря Моисеевича сейчас нет. А кто его спрашивает?

– Я... журналист...

– А откуда? Из какой газеты? Как вас представить? Что ему передать? – женщина на том конце как-то заметно оживилась.

– Я потом перезвоню... – быстро скомкала Елена разговор и бросила трубку на рычаг. – Нет, Дьюрька, я не могу! – отшатнулась она от телефона. – Омерзительно! Я вдруг почувствовала: ну о чем мы будем с ним говорить? «Скажите, вы жалеете, что вы такой подонки и преступник? Ах, нет, не жалеете? Ай-яй-яй...»

– Что за чувствительность! – бодрился Дьюрька – хотя самого трясло от волнения еще больше. – Это же исторический шанс!

– Ох, Дьюрька – им суд заниматься должен. Или врач психиатр.

– Согласен! Суд! Нюрнберг нужен над всеми сталинскими этими сволочами! Но пока новый Нюрнберг возможен станет – эта сволочь подохнуть успеет! А я хочу увидеть, как у него сейчас рожу перекосит, когда я ему скажу, что по его вине моего дела убили!

– Да что у него перекосит?! Это же не человек! Если б он способен был перекашиваться из-за стыда – он бы не санкционировал убийства стольких людей! Это все бесполезно, Дьюрька! Он не такой, как ты – не такой, как люди. Это больные маньяки, которых нужно судить, изолировать от общества – а не разговоры с ними вести – тем более не интервью брать – давая им возможность еще и гнусь свою пропагандировать на людях. Эта идеология должна быть запрещена как преступная – и каждый, кто смеет ее воспевать, должен сидеть в тюрьме. Сейчас он тебе расскажет – что такое время было, что все вокруг подонками и убийцами были, и что быть подонками и убийцами это доблесть – так и нужно служить родине. Да еще и скажет, что твой дед и вправду врагом народа был.

– А я ему по голове тогда!

– Гнусный трясущийся гнилой старикашка – ты представь себе! С гнилой душонкой внутри! Противно! Ему даже по голове дать противно! Мараться.

– Мало ли что противно: историческая правда должна свершиться! Он должен увидеть мое лицо – а я его! Меня могло не быть на свете из-за этой падлы!

В задыхающихся препирательствах не заметили, как добежали до Пушкинской. Вылазки позёмки подкрепились уже регулярной армией метели: серый одутловатый мешок свесился-таки с неба до кромок домов, и колкая крупа летела теперь, с отвратительной непредсказуемостью и резкостью траекторий, еще и сверху. У киоска «Московских новостей», впрочем, несмотря на это, жил, мигрировал, бурлил, особый народ – в первой же группке, застывшей у выхода из подземного перехода, белокурый длинновласый красавец довольно громко, с резкими выстрелами белорусского акцента, рассказывал восьмерым, с дрожащим почтением живым щитом его обступившим, обывателям, как участвовал в митинге в Куропатах – в память о репрессированных – и как его избили, и как внутренние войска избили еще сотни людей на его глазах, как волокли и избивали женщин, и как все несколько тысяч людей, поминающие сталинских жертв, были жесточайше, с применением слезоточивого газа и дубинок, разогнаны. У обочины с иголки одетый джинсовый студентик с синим рюкзачком, с горделивым смехом для конспирации завернув разворот самиздатской крамолы – «Экспресс-Хронику» – в «Правду», давал читать (с руки, чтоб не увели) трем корешам, довольно рассказывая, как только что, полчаса назад, на его глазах возле Арбата свинтили и увезли распространителей «Экспресс-Хроники», а ему все-таки удалось до этого урвать последний номерок – в котором как раз, вон, все рассказано про аресты распространителей прошлого номера.

Чуть подальше худощавый низенький опрятно одетый сутулый старичок с аккуратнейшей, все подчистившей лысиной, тихим голосом, но все больше заводясь, говорил, что надеется на горбачёвский пакет выборного законодательства, который тот выносит на Верховный Совет, – многочисленный молодняк же, обступивший оптимиста, громко перечил, что никаких честных выборов Горбач всё равно не допустит – соберут доярок и кухарок. Подойдя чуть поближе, в профиль Елена с удивлением узнала в старичке деда рыжей Эммы

Эрдман – человека с коричневыми добрыми глазами, бледными изжеванными губами и шнобелем в многокрасочных старческих пятнах – героя-фронтовика, входящего в редколлегию московского литературного журнала. От неожиданности Елена застыла и раздумывала, подойти ли поздороваться – и нужно ли в таком случае будет ему представить ошивавшегося рядом глазастого Дьюрьку в его дурацкой ушанке – но сомнения внезапно разрешила появившаяся квадрига ментов, как растопыренными граблями чесавшая толпу, вместе с шагавшим рядом с ними невзрачным отребьем: не просто в штатском, а в нарочито убогом штатском – для маскировки – несколькими серыми ублюдками в облёванных каких-то грязных куртках и с пустыми изгаженными коричневыми нейлоновыми авоськами в руках, с удивительным наглым откровением внедрявшимися в толпу. Дискутировавший народ так же органично – как до этого органично на лету решал государственные проблемы – единым порывом, на едином дыхании и с единым мягким непринужденным поворотом плеча, развернулся от полицейского наряда прочь и поплыл ко входу в подземный переход, а потом вниз по ступенькам. Елена, по-деловому взяв под руку не заметившего шухера Дьюрьку (увлеченно читавшего, уткнувшись носом, в этот момент какую-то свежую, еще на жидком клею, зеленцой просвечивающую мокрую листовку, которую кто-то умудрился судорожно ляпнуть на стену здания), повлеклась вниз, в переход, за этим тихим интеллектуальным народным гулянием – которое почти неотличимо было от запрудившей переход массы – с массой, однако не сливалось, и вскоре живо, по фракциям, вылилось вновь из перехода на поверхность – уже на противоположной стороне Пушкинской, в сквере напротив «Наташи». Мягко диффузируя с метелью, гражданственная тусовка вновь кристаллизовалась меж случайными прохожими – прежними созвездиями по интересам: меж которыми, впрочем, то и дело возникали некоторые взаимные перебежки. Так, счастливый обладатель незаконной «Экспресс-Хроники» (уже размокшей от снежного крошева и любовно убранной им в рюкзак), мажористый паренек в теплой джинсовке на кнопках, подстриженный под темно-русого пуделька, заслышав вдруг, что поодаль заговорили о шансах прибалтов на реальную независимость, отпочковался от кружка с избирательно-правовыми дискуссиями (к которому он было по пути, в

переходе, примкнул) и, откровенно щеголяя сведениями, почерпнутыми из урванного самиздата, счастливо и гордо, жуя слова, бубнил что-то про героических грузинских студентов, ставя их в пример московской ленивой тягомотине. Имя боевой героической республики, борющейся за независимость, уютно и, как будто уменьшительно-ласкательно, произносил он как: «Грузия». Рассматривая удивительные, как-то с метелью рифмовавшиеся, мельчайшие сливочно-белые пигментные крапинки, аккуратным полукругом рассыпанные на коже под глазами у студента (как будто его рисовал Поль Синьяк или даже Жорж Сёра), Елена повлеклась было в эту сторону, но тут слышала – откуда-то со спины, – как Дьюрька, который был, похоже, крайне недоволен, что ему не дали дочитать листовку у «Московских новостей» – не выдержал больше молчания, и вступил с невидимым Елене из-за толпы оппонентом в полемику – и теперь громко разорялся:

– К ответственности! Причем к конкретной, уголовной! Хорошо, Каганович старикашка – всем известен, ему спрятаться и замаскироваться не удастся. А сколько еще менее известных сталинских палачей и стукачей! И, ведь, небось, персональные пенсионеры! С госдачами! С квартирами где-нибудь тут, на Горького или на Кутузовском! Нужен Нюрнберг! Хорошо, так и быть – расстреливать их не будем – как они расстреливали тысячи невинных людей! Но уголовный приговор всем этим убийцам и стукачам должен быть вынесен! Необходимо к ответственности всех убийц – иначе ведь в любой момент может снова то же самое произойти... Безнаказанность – это ведь главное, что...

– Молодой человек, лиха вы не нюхали... – с насмешкой, громогласно перебил его собеседник. – Фантазер! Это нас вот с вами здесь в любой момент могут «к ответственности» за такие-то слова...

Елена, подозревая, что Дьюрька сейчас разорётся – развернулась и поскорее поспешила его разыскать в толпе; но Дьюрька неожиданно затих, и когда Елена подошла к нему, увидела, что тот моментально увлекся спором с новым, тихим собеседником: маленьким, довольно пожилым и бесцветным, выцветшим каким-то мужчиной, с притушенными, карими, улыбчивыми глазами в глубоких впадинах, – человеком с интеллигентными тихими манерами, с высохшим, даже каким-то всохшимся лицом, со всохшимися внутрь щеками.

Казавшийся по сравнению с ним громадным Дьюрька, снизив тон, уважительно к высохшему мужчине чуть наклонился и обеими руками отчаянно оттягивал в стороны уши своей ушанки – разевая ворота для дорогих гостей-слов, – и теперь они говорили явно на одной волне – даже то и дело вместе оглядывались на кипевшую рядом группку, куда, видимо, отошел от Дьюрьки скептик, грозивший ответственностью за неосторожные слова, и всласть посмеивались.

К тому моменту, когда Елена подошла к Дьюрьке вплотную, консенсус между ним и маленьким выцветшим человеком, видимо, достиг крайней ноты доверительности – потому что Дьюрькин собеседник, снизив и без того неброский глуховатый голос, вдруг тихо предложил:

– Вы знаете, у нас здесь недалеко неформальный клуб собирается. Вот пойдёмте, если хотите...

– Это где? – громко переспросил Дьюрька. – В каком-то учреждении?

Елена, пхнув Дьюрьку локтем, чтоб замолчал про учреждения, тут же ввернула:

– Конечно хотим!

– Ну вот замечательно. Вообще то, мы там собираемся по воскресеньям... Но сегодня – что у нас? Пятница? Там тоже наверняка кто-то будет. Это совсем рядом здесь – у одного человека на квартире. Такой как бы неофициальный...

Дьюрька густо покраснел, отошел и пользуясь гомоном и флуктуациями в толпе, на миг оттащил Елену в сторону за рукав и громко шепнул:

– Ну это уже слишком! На квартиру к кому-то идти! Какие-то подпольные сборища! И ты не ходи никуда! Слышишь?! – а, увидев насмешку в ее глазах, беззвучно крикнул одними только губами, яростно выгибая их и выпучивая: – Не вздумай!

Но как только Дьюрька вновь поравнялся с маленьким высохшим человеком, тот, прекрасно заметив Дьюрькино замешательство, живо улыбнулся:

– Вы не опасайтесь. Я даже фамилию вам могу свою сказать, чтоб вы были уверены. Чтоб вы не волновались, куда идете, – и с такой же живой улыбкой чуть поклонился: – Моя фамилия – Благодин.

Александр Александрович. Так что пойдёмте, если хотите. Милости просим. Я как раз сейчас туда иду.

Дьюрька побордовел – явно потеряв после этой бездоказательной бессмыслицы с фамилией всякие остатки доверия к визави.

Елена же, наоборот, крайне умилилась – что абсолютно незнакомый и безвестный человек вот так вот, с непосредственностью, оперирует своей хотя и благозвучной, но тоже абсолютно безвестной фамилией как лучшим документом. Хотя, впрочем, и фамилию мог спокойно выдумать, и историю про клуб, да и самого себя, заодно.

Не колеблясь ни секунды, как только маленький человек развернулся, и принялся торить себе путь в толпе, Елена шагнула за ним.

Дьюрька крепко схватил ее за рукав:

– Да ты что, вообще, соображаешь, что ты делаешь? А вдруг... А занятия в шюже?! Уже ведь пора идти! Ты что, не пойдешь?!

– Какие занятия... Дьюрька, ну не будь занудой! – в раздражении стряхнула она с локтя его руку. – Трус несчастный, – выпалила она уже отвернувшись от него. И понеслась догонять неожиданно необычайно быстро уходящего в толпе человечка, в ярости думая: «Вот так вот с комсомольскими секретарями связываться – хорохорится-хорохорится, храбрится-храбрится, а чуть что – сразу в кусты!»

Благодин быстро спустился в переход и вынырнул на противоположной стороне.

– Я не быстро иду? Успеваете? – переспросил он Елену, на полном серьезе, чуть притормозив на полсекунды и вежливо обернувшись – хотя выглядел он раза в два меньше нее, и раза в три коротконогее.

Она, смеясь, кивнула: быстровато – но успеваю. И Благодин понесся, еще быстрее, в сторону Маяковки.

По Горького Елена с Анастасией Савельевной гуляла в детстве тысячу раз, но сейчас даже на глазок знакомые старинные дома, и сталинский серяк напротив, и даже бетонный урод – «Минск», и разъезжие повороты в переулки, и грустноватые серые арки на другой стороне улицы приобретали особую загадочность – когда неслась она на полном ходу за маячившей впереди на расстоянии метров пяти низенькой макушкой таинственного (а может быть и мнимого) Благодина, с очень черными, очень редкими, зачесанными одной

высокой грядкой назад волосами, на которую сверху приземлялась редкая крупная белая крупа.

В одну из арок, направо, перед самой Маяковской Благодина резко свернул, – они оказались в заднем дворе, грязном (впрочем, слегка, для виду, припорошенном быстро кончившейся бутафорией метели), пахнущем общепитовской кухней, с невообразимо загаженными фюзеляжами учрежденческих вентиляторов на нескольких нижних окнах – и хребтами на вынос лифтов. Благодина подал налево: шум улицы Горького иссяк – и заметная тишина заднего двора позволяла слышать даже тихие шаги этого, вообще бесшумного какого-то, человека; быстро прошагал до упора, до самого конца заднего двора, и, под железным ржавым козырьком, перед входом в подъезд, чуть затормозил – потыкав код в замке, приоткрыл дверь – и вопросительно замер, как будто в последний раз переспрашивая: «Ну что, идете?»

У обеих створок парадной двери были чудовищные цыпки. Крашены они были (вероятно в вишневый – но только по догадкам) лет сто двадцать назад. Стены и потолок в подъезде изъедены были желто-черной проказой. Запах... Нет, о запахе даже не думать – Елена задержала поглубже воздух – и мечтала только, чтобы квартира оказалась где-нибудь поблизости. Благодина бодро поднялся по ступенькам и свернул направо, в подъездную утробную полутьму. Что-то тяжело щелкнуло – и загорелся красный огонек, и в выси что-то заскрежетало и задвигалось. Лифт окружен оказался ржавой панцирной шахтой – наподобие той, что была в парадном у Ривки – но только еще гораздо старее. Даже дверцы лифта не открывались автоматически – а раскладывать их надо было как две лакированные двустворчатые раскладушки – поддевая за ручки: медянистые морские ракушки, левая из которых была изувечена и сорвана чуть не до гвоздей – словно кто-то зря искал в створках лифта жемчужин, а не найдя, в ярости порвал пасть моллюску. И только когда они вошли в лифт – и Благодина размашисто захлопнул задрезжавшую решетчатую внешнюю дверцу лифта и уверенным движением закрыл обе створки, – и нажал на пятый этаж – Елена вдруг испугалась.

Неловко и шумно выдохнув сжижившийся внутри воздух – и громко набрав воздуха вновь, она взглянула на Благодина – тот, хотя и обращен был к ней, но стоял, низко склонив голову, и разглядывал собственные ботинки – на правом была вмятая голубая голубиная

метка – а, как будто почувствовав ее взгляд, поднял глаза и, сложив из морщин букву «т», чуть кивнул ей головой.

«Нет, на маньяка все-таки не похож... – пронеслось у нее. – И, вообще – он же Дьюрьку сначала приглашал, не меня...»

Лифт, подпрыгивая и подергиваясь, тянулся вверх дико медленно – но, наконец замер, щелкнув и тяжело провиснув вниз.

Благодин, развернувшись, обыденным жестом несколько раз, все сильнее и сильнее, с каким-то подвывертом, нажал железную ручку, извлекая себя и Елену из ярко освещенного шкафа.

В темном левом углу лестничной клетки, перед бурой, в нескольких местах рваной дерматиновой дверью Елене вдруг снова стало на миг не по себе. Но Благодин выжал звонко жужжащий звонок, и им тут же отперли: две хохочущие, обсуждающие какие-то «очепятки» очень молодые женщины в ужасно похожих темно-синих расклешенных юбках и уныло-каштановых свитерах под горло, распахнув дверь, увидев Благодина, даже не спросив ничего у Елены, тут же ушли куда-то в глубь квартиры, громко громяхая каблуками сапожек по некрашеному крупному паркету.

Тут же в прихожей появился высокий худой кудрявый мужчина (черные пружинки с проседью) лет сорока с лишним, в тапочках без задника, домашних растрепанных штанах и бордовой водолазке – и не обращая никакого внимания на Елену стал обсуждать с Благодиным какую-то «резолюцию» – при этом многочисленные непонятные аббревиатуры из трех (а иногда и больше) букв, которыми он то и дело сыпал (а Благодин, делая акцент и выправляя интонацию, – то одну, то другую аббревиатуру то в отрицательном, то в утвердительном, а то и в негодующе-восклицательном смысле за ним повторял), – в устах двух взрослых, пристойно выглядящих людей на слух звучали не меньшей руганью, чем отборнейшая матерщина. Не снимая пальто, Благодин пошел было за мужчиной в тапочках по аппендиксу прихожей, начисто забыв про присутствие Елены – но потом вдруг на секундочку спохватился:

– Да, Вадим, подождите, я вот тут привел... Вот, познакомьтесь – это... – произнес он с подвешенной интонацией, оставляя многоточие для того чтобы она сама вписала в воздух свое имя.

Елена представилась.

– Вадим Дябелев, – каким-то виноватым голосом, словно в том, чтобы быть Вадимом Дябелевым содержался какой-то криминал, ответил высокий кудрявый мужчина в тапочках, быстро подошел и невесомо, за пальцы, пожал ей руку. – Можете куртку вот туда, нет-нет, на стул прямо! – махнул он руками куда-то в противоположную от прихожей глухую обшарпанную стену, где никакого стула не наблюдалось. – Да нет, нет, обувь снимать совсем не обязательно. Проходите, проходите, вон туда в гостиную... – и почему-то прямёхонько указал ей на входную дверь, откуда Елена с Благодиним только что пришли. – Располагайтесь, будьте как дома, – и тут же исчез вместе с Благодиним куда-то за угол коридора.

Квартира была крайне скудна мебелью – так что даже дикостью казалось, что кто-то может здесь жить. В прихожей, справа, сбоку от узкого продолговатого куска зеркала, висевшего на желтых ободранных обоях, без всякой оправы, обнаружен был Еленой названный Дябелевым коричневый деревянный стул, с очень длинной, изогнутой, на игрушечную арфу похожей спинкой и резным кругляком сидения, вспучившимся по краям и рельефно, фанерно, выпиравшим. Крючковатая вешалка, прибитая сбоку у самой двери напоминала скорей забитый до верху склад комиссионки – никем не раскупленный, который приготовили на выброс. И о том, чтобы навьючить этот чудовищный, не известно как еще не падающий курточношляпный горб – еще хоть одной пушинкой – и мыслей не могло возникнуть.

В громадной комнате, опрометчиво названной Дябелевым гостиной, привычной, человеческой мебели не оказалось вовсе, если не считать стола, как-то неожиданно, подсобной пристройкой к подоконнику (заваленному газетами и книгами) выставшему в самом дальнем от двери конце, справа от двух узких высоких окон. Весь же гигантский, опустошенный периметр комнаты занимали бесчисленные стулья, абсолютно разных, мягких, твердых, благородных и дворовых, и даже инвалидных пород, ровненько расставленные у стен лицом в центр. Занавески были только на одном, левом окне, и такой раскраски и нестиранности, как могли бы быть только в нищем вневедомственном доме для сирот – а тюль – лучше б его не было вовсе. В центре трехметрового потолка горела (и предельно ярко) вполне человеческая, старинная, как будто бы от

прежних хозяев доставшаяся, медная люстра с раскидистым восьмериком. Без плафонов.

Две молодые женщины, которых она уже видела в прихожей, хихикали над какими-то страничками, которые держали между собой, симметрично сложив ноги на ноги, сидя как отражения друг друга, у противоположной стенки, в центре. Поближе, к окну, неподалеку от стола, сидели, сбив парадную линейку стульев, сдвинув их решительным треугольником и низко нагнувшись друг к другу, трое мужчин, лет по тридцати пяти, в костюмах, при галстуках, и приглушенно, напряженно, надрывно о чем-то спорили. Один из них – худой, с черной бородкой, окаймлявшей острый, выпирающий тетраэдром подбородок, тревожно поднял глаза на Елену, как только она вошла в комнату, но, видимо, никакой опасности в ней не усмотрев, продолжил фразу:

– Так вот: я и говорю – если не разрешат провести из-за радикалов – будет плохо, а если разрешат на условиях, что мы радикалов в жопу засунем – будет еще хуже...

Наискосок от них, на противоположной от них стороне, сидел у окна круглолицый какой-то дурачок в русской косоворотке и глупо улыбался, глядя в окно.

Елена аккуратно присела на стульчик с мягкой обивкой у самой двери – потом подумала – и пересела на тот, что был слева, без всякой обивки, но зато и без пятен не известно как давно застывшей зеленой краски.

– Нет, да вы поймите: все переговоры проведены – ну не получится так! Прихлопнут и всё! – доносилось из угла, где секретничала троица.

Сильно пахло отсыревшим паркетом, старыми, нежилыми, непроветриваемыми потрохами квартиры и тленом гнилых, желтых, как зубы курильщиков, газет. Елена заскучала, подумала: «Зря я на Дьюрьку ругалась. Ничего здесь интересного и нету», – встала и пошла на розыски Благодина, чтобы попроситься.

Миновав прихожую, добредя по полутемным кривым завихряющимся закоулкам сначала до захлавленной кладовки, потом до туалета с ванной – она вдруг услышала, что в дальнем конце коридора происходит какой-то жуткий скандал – и оставшуюся, самую кривую и темную часть, осторожно наступая на то здесь, то там

выпадающие какой-то подлейшей катапультной паркетины, шла уже по звуку: в кухне, к закрытой двери которой, со стеклянным прозрачным окошком, она вышла (темная, закопченнная старомосковская кухня, заставленная какими-то дряхлыми высокими тумбами с ящиками, показалась ей гигантской по сравнению с их с Анастасией Савельевной закутком – что вширь, что ввысь), за столом, где она сразу заметила раззадорившегося с чего-то вдруг, с разгоревшимся лицом и сверкающими в полутьме глазами Благодина (который все еще не разделся и так и парился в пальто и шарфе), и вскочившего во весь рост Дябелева во главе стола, с нервозностью пытавшегося изобразить невозмутимую гримасу на дергавшемся лице, – сидели (почему-то не включая электричества и довольствуясь замызганным растворчиком света, сжеживающимся сквозь зачем-то наглухо задвинутые занавески – еще отвратнее, чем те, что висели на левом окне в гостиной – так что когда настоль свет достигал цветной клеенки, застилавшей стол, то становился ровно таких расслоенных бурых оттенков, как плесневый «гриб», который иные московские хозяйки выращивали на кухнях в банках – для брожения сомнительного напитка) еще человек семь – и базарили, кроя друг друга все той же загадочной нецензурщиной:

– Нет, вы подождите тянуть одеяло на себя!

– За основу, да только же за основу! Не тревожьтесь же вы так!

– А я хочу подложить гарантию, что потом не будет сюрпризов!

– Ах вы сюрпризов не хотите – а тогда и вообще ничего не будет!

– Да-да, дострахуетесь до того, что не встанем и не ляжем! Как вон с МГДСДО и ЦДПФЛ получилось!

– Ну это вы, положим, не встанете и не ляжете – а мы тогда, отдельно, своими силами, соберем своих членов и покажем вам кукиш!

Елена сочла за лучшее к двери вплотную не подходить, тихо развернуться и уйти восвояси.

В прихожей она уже намеревалась надеть куртку – и выйти не попрощавшись, как вдруг наткнулась слева на еще одну дверь – которая до этого, видимо, была заперта, и которую прежде, из-за потемок, она даже и не заметила: теперь дверь была приоткрыта – и, как оказалось – когда Елена невольно тут же с любопытством туда всунула нос – вела в светлую маленькую узкую комнатку. На застеленной сине-белым, в крупный цветочек, льняным покрывалом панцирной кровати слева сидела давешняя смешливая молоденькая

женщина в нелепо-серийной блёклой каштановой кофте, и чрезвычайно быстрыми движениями, как будто надеялась высечь искру, расчесывала пластмассовой расческой, наклонив голову набок, свои красные стриженные волосы – а подружка ее у тумбочки между изножьем кровати и окном, стоя, разбирала (ловко внедряя боевое острие красных, как будто бы под цвет прически первой женщины выкрашенных, длинных лакированных ногтей как скальпель между бумагами) эстакаду каких-то печатных работ. Больше в комнатке ничего не помещалось – узенький проходик справа был заложен кипами бумаг.

– Заходите, заходите! – заметила ее женщина, сидевшая на кровати – и тут же, накренив лоб, принялась яростно зачесывать и так уже стоявшие дыбом от электричества волосы себе на лицо, отдувая залетевшие ворсинки с бордовых, покрашенных губ. – Садитесь! Вообще-то это комната Вадима, но – заходите! – он нам разрешает!

– Вот последний номер – читали? – каким-то светлым белым квадратным пятном помахала ей вторая женщина от окна.

Елена мотнула головой и цопнула в руки свеженькие бумажки, что ей протягивала женщина. Стопка, страниц в пятьдесят, скреплена была только большой гнутой канцелярской скрепкой, и имела комичный по претенциозности титул, грязновато отпечатанный заглавными буквами на машинке в центре шапочной страницы: «Вольная мысль».

– Только домой не уносите, ладно? А то у нас две машинистки в роддоме – тираж совсем маленьким получился... – как сквозь сон услышала Елена, уже на весу разглядывая листики, с удовольствием взвешивая их на ладони – и борясь с желанием их понюхать – как нюхала все свежие книги и альбомы по искусству, обожая запах кристально-чистой целлюлозы – в данном, впрочем, случае уже предчувствуя наоборот жуткую обонятельную засаду. – А вы на машинке, случайно, не...?

Мотнув вновь головой, дойдя до дальней, свободной половинки кровати и приземлившись на провисшую под ней гамаком, раздризганную кровать, Елена осторожно вытащила скрепку. Первым печаталось бездарнейшее эссе, звенящее пустыми аллитерациями и фантичными пестрыми перекастистыми ритмами вместо смысла – собственного, видать, автора – про какие-то аллюзии и конклюзии. Зато дальше шла перепечатка блаженнейшего, гениальнейшего старья

– аж четырнадцатилетней давности: Солженицынская «Образованщина». Сидеть с коленками вверх до ушей и пятой точкой, провисающей, наоборот, почти до паркета стало вдруг как-то крайне неудобно; стянув кроссовки, Елена забралась на кровать с ногами – и тут только заметила, что обе ее соседки по комнате куда-то растворились – дверь была снова закрыта и сидела она в комнате одна. Смеясь точности и нещадности Исаевских определений и радуясь как ребенок анекдотической узнаваемости образов («Вот бы матери почитать! И Ане! И Эмме Эрдман! И Дьюрьке! Да и вообще бы в школе всем скотам вместо стенгазеты раздавать!»), – Елена всё терялась в догадках, что за такой таинственный мэн с уморной, пораженческой фамилией «Померан», которого то и дело заочно желчно лягает Солженицын. И расстраивалась Елена теперь уже только от того, что эстакада бумажек на тумбочке застила ей свет из окна.

Впрочем, когда она в очередной раз оторвалась от слепой страницы и оглянулась – то обнаружила что застить уже нечего, что сидит она в крошечной темноте и непонятно как уже, по геометрической интуиции, разбирает буквы.

Дверь внезапно открылась, Благодин, все так же в пальто, не замечая ее, ступил в комнату, прикрыл за собой дверь и стал быстро, воровато, так, словно в темноте тягает картошку с соседского участка, набирать с верхушки одной из стопок в проходе между кроватью и стенкой копирку – свернул рулончиком, обернул тремя чистыми листами бумаги, замотал с обоих концов обертку как хлопушку, сунул во внутренний карман пальто – быстро вытер о пальто руки – и вздрогнул, когда Елена, прицеливавшаяся разом в оба кроссовка, и в оба промазав, спустила мыски на пол.

– Вы здесь! – страшно громко, от неожиданности, заговорил Благодин, и принялся с феноменальной скоростью крутить в темноте вторую самокрутку копирки. – Как хорошо! – чрезвычайно ловко закрутил он уши хлопушки как-то сразу с обеих сторон. – А я думал – неловко как получилось... – второй копирочный штрудель молниеносно последовал за первым, в карман. – Думал, вы ушли! Да, не очень для вас сегодня интересно было – не так много народу... – и Благодин тем же отработанным жестом быстро вытер обе руки о пальто. – Вы уж обязательно приходите в воскресенье!

– А к которому часу? – без всякого энтузиазма, представляя себе, что *того же самого* народа в воскресенье здесь станет просто математически больше, – но надеясь в воскресенье все-таки дочитать самиздатовский журнал, на всякий случай переспросила Елена, все так же неудобно сидя на кровати, спустив ноги в носках на пол и мусоля в руках скрепку, никак не желавшую вновь осилить полсотни впопыхах неровно собранных страниц.

– Да к какому угодно, – усмехнулся Благодин, распахивая дверь и выходя из комнаты в ярко освещенную прихожую. – Я забыл вам, кстати, код замка на подъезде сказать – так вот, запишите себе куда-нибудь...

IX

Ночью выпал снег – настоящий, без дураков. Елена сразу почувствовала это – по вдруг накрывшему всё теплу: батареи, обычно до одури палившие здесь у них, в башне, даже в жарком апреле, сейчас, в ноябре, вдруг умерли – и еще до полуночи – нет, даже до полпервого – спастись, переждать колотун можно было лишь в пещере под одеялом, свернувшись эмбрионом с книжкой, уповая на фантастических, неземных слесарей, водопроводчиков, сварщиков, спелеологов, повивальных бабок. Босиком, в пижамных штанах и свитере, быстро-быстро, чтоб не спугнуть чудо, подбежала и вместо того, чтобы раздернуть разом как занавес сказочного спектакля обе шторы – тихо под штору внырнула: ну конечно! Легче и жарче тополиного пуха! Везде! Она быстро открыла узкую створку окна и высунулась по пояс наружу – тишина оглушала. Взбитый отвесно валившим снегом воздух был дистиллировано чист – и волгл. Боковые узловатые пальчики тополя, норовившие, как всегда зимой, тыкнуться поближе к окнам, сейчас красовались беленькими, из хлопьев зимнего пуха наспех вывязанными, во в многих местах драными митенками. Куст бузины под соседскими окнами, в нерабочее, неядовитое время года заваленный целлофановыми пакетами, огрызками, бумагой, сейчас был прибран белым легчайшим полотном. Помойка (два вывозных железных остроносых контейнера, видных из окна наискосок у соседнего дома) буксовала, как два застрявших в снегу

военных кургузых автомобиля. Елена приложила руку к ровненькому, с одним угловатым выступом, отвесу легкого влажного снега на карнизе, впечатлевшему форму наружной рамы открытой внутрь створки окна: ну конечно, снегом заткнуло все дыры, все щели – от этого так блаженно тепло! – да и ветер как будто сразу пристыдился. Не шелохнется. Через двор, направо, под густыми испарениями прорванной трубы центрального отопления чернó чернела круглая дышащая полянка – и земля жадно, как теплые лошадиные губы, ловила снег.

Тепло, было до смешного тепло.

В субботу утром через весь двор уже тянулись крест-накрест первые ленивые серые дорожки-однопутки. Анастасия Савельевна, с которой Елена уже два дня не разговаривала – но и, для разнообразия, хотя бы не ругалась – уехала куда-то еще до завтрака, тяжко хлопнув дверью (знакомый, десятки раз ею самой набис производимый звук разбудил Елену – и жажда смотреть сверху первый эскиз зимнего двора вытащила из постели, да так и не дала больше заснуть – хотя, порадовавшись отсутствию Анастасии Савельевны, Елена твердо решила школу прогулять и выспаться). Вернулась Анастасия Савельевна в полдень загадочно сияющая, свежая, раскрасневшаяся, в высокой своей искусственной шапке под соболя с игривым дугообразным вырезом на лбу, высвобождавшим простор для взлета царских бровей, и в псевдо-плюшевом своем, замечательно приталенным, с едва заметным персидским ботаническим узором, мягком, легком, от завышенного пояса длинными вольными сборками ниспадающем темно-шоколадном пальто – и с каким-то прямоугольным пакетом, на котором радостно поигрывала аккуратненькими, кожаными, черными, плотно обтягивающими пальчики перчатками.

– Ладно, предположим, что я была не совсем права, – весело сказала мать, дождавшись, пока Елена вылезет из своей берлоги на кухню за чаем. – Тебе же, в конце концов, с ним на свидания ходить, а не мне. Тебе выбирать. Мир? Не сердись на меня. Извини меня за все, пожалуйста. Я просто совсем иначе себе представляла прекрасного принца, который влюбит в себя мою дочь...

– Мам, ну не начинай опять! Извинилась – так не начинай по новому кругу!

– Гляди, что я тебе достала! – не слушая ее уже, с абсолютно младенческим счастьем на лице вытаскивала мать из обувной коробки, воцарившейся в центре кухонного стола, дивной легкости и красоты ярко-красные кеды из непромокающего скрипящего синтетического чуда сшитые, и с белоснежными высокими подошвами, и с жеманной окантовкой, высокие, по щиколотку, небывалые.

– На ВДНХ продают! Ты можешь себе представить! В павильоне... Как его...? Никогда не догадаешься!

– Космонавтика? Пчеловодство?

– Тьфу ты, Ленка, я вспомнить пытаюсь, а ты меня с панталыки сбиваешь. Не поверишь: советские! Экспериментальные! По какой-то там итальянской лицензии. А дешевые какие! Какой же это павильон...

– Свиноводство?

Мать расхохоталась и восторженно наблюдала, как Елена, позабыв про обиды, ловко влезала в ярко-красненькие кеды – подошедшие – как влитые! – будто на нее по заказу.

– Только умоляю: не сегодня! Пока снег – ты их не надеваешь! Договорились?

На следующее же утро в ярко-красненьких легчайших кедах, снегири на снегу, Елена уже бежала по белому – мокро оседающему под свежими, белоснежными резиновыми подошвами – чуть подтаявшему, обновленному за ночь, настилу к метро: к Дябелеву на политические посиделки на Горького теперь попасть хотелось почему-то гораздо больше, чем давече.

Без особых потерь преодолев на Пушкинской, на взлете из перехода, развозню ступенек – жиденькую гречневую кашницу с солью (надо было просто держаться строго в центре – все нисходящие и восходящие мрачные фигурки жалась с боков к перилам: вдруг, как один, из-за снега, сделавшиеся неуклюжими и боязливыми), она в два счета домчалась по узкой, расчищенной не совсем в сердцевине тротуара, а чуть сбитой на левый край, в одну железную звонко дребезжащую дворничью лопату, кривоватой (по мелким виляниям линий прекрасно видно было, как и где лопата натыкалась на превратности асфальта) дорожке (кремовые горы снега царили тем временем в центре – и влажно-ледянисто голубели у цоколей, – желтовато-серо, монументально грудились ближе к бордюру, и уж

совсем как высоченный, отвесный спиленный колесами и корпусами машин черный гранитный мрачный памятник-волнорез на дыбы вставляли на мостовой у обочины) до секретной арки. И уже только у подъезда вспомнила, что забыла Благодиным доверенный код – который, разумеется, и не подумала никуда записывать. Покрутившись под узеньким карнизцем, на палево-бурой штукатурке справа увидела нарочито большими, полуметровыми ребристыми буквами, красным (кажется, кирпичным огрызком) выведенное: 137. Нажав цифры, и без всякой надежды дернув замок, с удивлением увидела, что дверь поддалась.

Дверь в квартиру Дябелева оказалась и вовсе наполовину распахнута. На лестничной площадке курили: давешняя молодка с длинными красными остро заточенными ногтями (что в пятницу расфасовывала бумаги в Дябелевской комнате), в затяжку с сигаретой, отпятив зад в прямой юбке, и слегка им повиливая, и сгорбясь при этом зачем-то, с шутливым кокетством в округленных глазах бодуче приближалась к неинтересному, вялому, бородатому, седому, страшно худому лысоватому дядьке, периодически как будто сплевывая сигарету в красный пинцет пальцев, и за что-то его на чем свет отчитывала. Тот, затягиваясь сигаретой урывками, и испуганно отругиваясь в ответ, от нее все время синхронно пятился задом – так что через пару взаимных па должен был врезаться спиной в соседскую дверь. Самым забавным было то, что если бы смотреть на обоих, зажав уши, можно было бы сказать, что они кричат: но кричали они друг на друга шепотом.

В прихожей, коридоре, на кухне – и даже в Дябелевской потайной светёлке – галдели все разом, уже громко, в голос – Елена едва протискивалась, народу было столько, что она растерялась и не знала даже, где же спокойно (без риска сразу вклиниться в сплоченно оравшие друг на друга дружеские кружки) остановиться. С боков от зеркала, да еще и на противоположной стороне прихожей, теперь уже стояли (едва-едва не опрокидываясь) целых четыре заваленных до безобразия стула – как будто бы в той же комиссионке устроили годовую распродажу.

«Не почитать сегодня мне», – напряженно и хмуро думала она, судорожно вдыхая знакомый уже, абсолютной нежилой запах бумажной гнильцы, размокшего паркета и какой-то межобойной

плесени, который так остро чувствовался и шокировал сразу при входе в Дябелевскую квартиру, однако как-то обнашивался и переставал свербить в носу уже через минут пять – так что как ни напрягай ноздри – невозможно было его потом уловить. Ходя между вопящей гуманоидной фауной, то и дело раздраженно увиливала от мужских особей, которые, на секунду вопить переставая, накидывались на нее с отвратительно-однотипной резвостью дикарей:

– Ой, девочка? Откуда это вы здесь?

– Дитя? Что это вы тут делаете? Вы чей ребенок?

Не доверив ни одному из комиссионных стульев – заглянула еще раз в Дябелевскую комнатку и, молча протискиваясь между громкими телами, повесила куртку на железное изголовье кровати.

Наконец, наткнулась на тихо и деловито направлявшегося к кухне маленького, морщинистого сухолицего Благодина с какой-то амбарной тетрадкой в руке: из-за своего усохшегося роста и боковых габаритов он, казалось, пробирался в толпе гладко, на каких-то скидочных началах.

– Да вы проходите лучше в гостиную, не бойтесь! – на бегу кивнул он ей и улыбнулся своими тихими коричневыми глазами. – Занимайте место! Сейчас дебаты начнутся.

Сжавшись от кошмарного дебиловатого слова «дебаты», в гостиную тем не менее, от растерянности, зашла. Яркий свет медной люстры, лишённой плафонов, взрывал мутный полдень – и щедрой медной ложкой добавлял в варево воздуха знобящего неуют. Под картечью взглядов разом человек тридцати, а то и больше, с каким-то жадным ожиданием пулявших глазами в каждого входящего в комнату, ей сделалось еще больше не по себе. Стулья были по большей части уже разобраны – кто-то посадил на стул свой портфель, а кто и самого себя, – в центре же гостиной, без всяких мест и удержу шел тот же самый стоячий галдёж, что и в прочих широтах квартиры. Робея, оглохнув от окружающего ора, вжав плечи – и чувствуя, как постыдно застенчиво сутулится, стесняясь своей худобы и рослости, стесняясь всей себя, вот в этих вот в своих неуместных ярко-красных кедах, и в неуместно щегольски чуть подвернутых (чтоб не скрывать кричащей красы кедров) светленьких варёных джинсах, и с этой своей неуместной детской косой, и в неуместном раздолбайском сиреневом пуссере, – она с чудовищными внутренними муками перешла бродячий центр

бедлама и, судорожно ища глазами пустое место, наткнулась вдруг взглядом – во втором ряду стульев – на вороногрового молодого человека, чем-то (а именно блестящими, лоснящимися, тяжелыми волосами ниже плеч) невероятно, до внезапного ёканья в солнечном сплетении, напомнившего ей Склепа. Молодой человек был удивительнейше, абсолютно абстрагирован от нечеловеческого многоголосого ора вокруг, спокойненько, даже с каким-то вызовом, восседал на ободранном сером венском стуле, сложа джинсовую ногу на ногу, удобно пристроив себе на колено книгу, левой рукой (вернее длинными холеными ногтями) ходко перевертывал страницу, а правой держал у самых губ дымящуюся кружку, – и волшебным образом не относился ни к чему вокруг – словно сидит он не в подпольном политическом клубе, а в своей крохотной уютной квартирке: и словно ни души вокруг, и словно вокруг та самая тишина, тон которой сама Елена ночью вкусила, высунувшись под снег в окно.

– А я-то думала: одна я во всем мире так уродливо чашки держу! – засмеялась Елена, сразу как-то доверчиво хлопнувшись на свободный стул, по правую руку от абстрагированного молодого человека, лица которого, склоненного к книге, было почти не видно из-за свесившихся черных локонов.

– Как это «уррродливо»?! – возмущенно вскинулся на нее, раскатисто картавя, молодой человек.

Нет, во всем остальном (кроме патлатой длины вороных волос) был он вовсе другого, не Склепова покроя: рисованное, красивое, даже чересчур «смазливое» (как не удержалась бы и добавила бы Анастасия Савельевна, если б его сейчас видела), с хохлячкой, что ли, интонацией, живое лицо. Густо-вишневые, огромные глазищи, опушённые возмутительными, нецензурно длиннющими, смазливо хлопающими иссиня-черными ресницами. Веселый, самоуверенный нос с аккуратной смазливой бульбочкой на конце и с широко расставленными тонкими самоуверенными воскрилиями. Аккуратные, узкие, с изысканно-резким рисунком губы: нижняя – в центре как будто бы с жеманно-надутой подковкой, а во впадинке между взмывающими вверх алыми излишествами узора еще более жеманной верхней – вполне комфортно уместилась бы подушечка мизинца. И изящнейше, мастерски, круто подкрученный маленький подбородок с двухдневной вороной небритостью, чуть разделенный посередине

мягкой кокетливой вертикальной впадинкой. Все эти наглые нюансы доводили и вовсе до крайнего крещендо физиогномику, за которую Анастасия Савельевна любого незнакомца сразу назвала бы смазливый проходимцем.

Да и локоны у него были скорее ухоженными, холеными, – а совсем не Склеповым диким хайром: волосы молодого человека казались вот только сегодня ровно подстриженными, беззастенчиво лоснились, фиолетовым блеском отсверкивали и даже жеманно чуть завивались на концах, чуть ниже плеч.

– Как это – уррродливо?! – повторил молодой человек, уже со смехом в вишневых пушистых глазах, уставившись на нее. Было ему, как ей показалось, лет тридцать, но этот дурашливый огонек в глазах как-то ни на секунду не дал ей даже и заподозрить, что нужно чиниться с ним, не как с ровесником.

– Да вот так! Вы же мизинец отклячиваете! – немедленно поймала его за жеманный мизинец с поличным Елена. – Меня мама за это всегда дразнит! Вот же! Вот!

Молодой человек от неожиданности дёрнулся, тщетно пытаясь припрятать откляченный мизинец с длинным маникюром, и плеснул себе горячий чай на джинсы.

– Осторррожной, осторррожной, девушка! Вы же меня обваррили! – уже откровенно потешался он над ней, кокетливо зырякая вишневой смеющейся темнотой глаз. – Вы же меня сейчас самого главного чуть не лишили!

– Это значит, что у вас неправильное распределение приоритетов в теле. Я ж вам не на голову чай пролила! – обиженно парировала она и отвернулась.

– Наааахаалка... – с наслаждением процедил молодой человек – и вновь преспокойненько отхлебнул чай. – Ну ладно, шучу. Как вас зовут?

Краем глаза насмешливо разглядывая его наманикюренный мизинец с длиннющим манерным ногтем – не накрашенным, разумеется, – но явно знававшим, и не раз, и не два за недавние дни, аккуратнейшую пилочку, – Елена, однако, делала вид, что потеряла к беседе абсолютно всякий интерес, хотя, внутренне, еле сдерживала смех – и с удовольствием обкатывала в свежей звуковой памяти его сахарное какое-то, приятное, манерное, удивительное, чем-то

невероятно обаятельно цепляющее ее грассирование: букв «р» получалось у него не одна, а целых три – на первую он насккакивал резким гакающим галопом, вторую как бы вольно вздымал в воздух и отпускал лететь – а третью уже жеманно и сознательно, произвольно и, как казалось, с жеманной самоиронией, тянул, и растягивал – награждая звуки всего слова какой-то безграничной рельефностью. Дивной цветовой рельефностью, угловатой пестротой наделен был и его свитер – резким пятном красовавшийся на фоне всей комнаты, туго вывязанный, в червлёно-лазурных тонах, – чем-то невероятно притягательный – невероятно выпендрёжный, франтовски-неправильный, франтовски-коротенький: ровно по пояс.

И когда Елена уже собралась было отвесить ему очередное хамство – на этот раз уже про его маникюр, – в дверях вырос Дябелев и, вытянувшись, с излишним выгибом куда-то назад – так, что не толстый совсем живот на его худом теле вдруг брюхато выпер под эффектным покровом бордовой водолазки (той же самой, в которой Елена видела его в пятницу), – прочистив горло, энергично объявил:

– Начинаем! Товарищи, садитесь!

Сесть, впрочем, удалось не всем – столбами застряли в дверях: маленький, курносый, светловолосый, с коком, подвижный мужчина в куцем костюмчике и огромных ботинках, пришедший вместе с Дябелевым, но за ним, в модный угол, не пошедший; и второй – на прямой пробор (размываемый поймой лысины не на макушке, а как-то сразу начиная от лба), загадочно-распутинского разлива пожилой тип с красными гипнотизирующими глазами, вызывающе скрестивший руки на груди, и казавшийся то ли разозленным дворником, то ли недопившим сторожем.

Дябелев, едва усевшись неподалеку от ошпаренного чаем соседа Елены (и спиной впритык к стене с коричневыми обоями – не столь уж и старыми, но продранными такими яростными двумя колями, как будто их вспахивали трактором, но забыли засеять), словно пометив свое место – тут же вскочил и, вытянувшись опять, браво выпятив вперед живот, вдруг прорезавшимся зычным голосом, с официозом в скукоженных оборотцах, стал действительно, от имени какой-то аббревиатуры из трех букв, призывать всеми силами поддержать инициативы Горбачева и подставить ему для всех его нужд широчайшее народное поле, чтоб его не скинули в канаву истории

злые силы. Все недочеты генсеку-перестройщику Дябелев предлагал простить – потому что «бывало ведь и хуже – и совсем недавно, на нашей еще, товарищи, с вами памяти». Именем все тех же трех букв, Дябелев ратовал за социалистический выбор, за коммунизм с человеческим лицом – и грозил, что если этого выбора народ не поддержит добровольно и громко – то коммунисты без человеческих лиц пожрут вообще всех, не исключая выскочку Горби.

На этом месте маленький курносый светловолосый мужчина в непомерно больших ботинках, застывший в проеме двери, аж притопнул от радости, и язвительно и громко заметил на всю комнату, что другая аббревиатура (тоже запряженная тремя буквами – но еще с одной пристяжной, как бы в скобках) к этому воззванию, «в ходе многодневных дискуссий, и обсуждений в низах» – не присоединилась, так что пусть, мол, Вадим Дябелев говорит сам за себя.

Дябелев виновато поник – и сел; где-то в воздушном зазоре между экстренным приземлением на стуле, впрочем, успев предложить остальным представителям политических движений и беспартийным гражданам («Товарищи, только сразу называйте свое имя!») строго по очереди высказываться по всем интересующим вопросам.

Первым слово предоставили ближайшему от Дябелева стулу, заполненному невнятным, растекающимся бритым потным господином, усомнившимся в праве Дябелева вообще навязывать свою повестку и посылы.

– Хватит уже – натерпелись от этих, там! – возмущенно припер он Дябелева к стене взглядом. – Так еще здесь терпеть! Я против всего этого!

– Да я же не... Я к информации, исключительно! – обреченно подстанывал Дябелев от своей стенки, подвскакивая со стула на каждом слове и всхлипывая обеими руками.

– А! Тогда лады, – поднялся бритый выступающий, кругообразно отирая ладонью пот с маковки. – Тогда меня зовут Алексей. Но я вообще против привилегий и считаю, что борьба с привилегиями должна идти в стране полным ходом. Без обиняков. Точка! – раскланялся бритый каплеобразный джентльмен и снова, сильно колыхаясь, перелился из воздуха на стул.

Второй выступила на вид сильно гулящая, аккуратно раскрашенная девица с залакированной прической «Аврора» и тяжелым, кобылистым, приветливо ослабленным зубным механизмом (активную речевую работу которого Елена рассматривала в профиль и снизу, отчего зрелище делалось еще чудовищнее) – и активистским говорком начала скандировать:

– Я направлена из клуба поддержки перестройки! И я хочу выразить всемерную поддержку конструктивной ответственной позиции Дябелева Вадима Вадимовича! – тылдынила она как по писаному, вроде бы, формально соблюдая все смысловые стычки, но так, что Елена с внутренним смехом думала: «Вот сбить ее сейчас со слова – и ей ведь придется начинать всё заново, с самой первой буквы – текст явно заучен одним куском». – Нам с вами, товарищи, да и никому другому в стране, не нужно пытаться сменить власть, не нужно бороться за власть, не нужно пытаться стать властью – вместо этого нужно влиять на имеющуюся власть! И реформы, проводимые Михаилом Сергеевичем Горбачевым, дают для этого народного влияния все основы и почвы! – гундела она на одной задорной ноте зубрилы-отличницы. – А для этого нам нужно всем миром влиться в единую, независимую, свою, народную организацию, которая будет далека от политики, и в которой мы будем услышаны, и о которой мы с вами все сможем сказать: «Это – наша организация!», и которая безусловно поддержит Михаила Сергеевича Горбачева во всех его начинаниях!

Длинноволосый молодой человек, ошпаренный Еленой, все это время с наслаждением хлебавший чай, невозмутимо поглядывая в свою книгу, как раз в этот момент допил все до доньшка – опрокинув кружку, заглянул в нее, как в телескоп, и вдруг совершенно неожиданно встал и, легко и изящно уваливая от стульев, непринужденнейше (так, что никто кроме Елены – у которой просто глаза на лоб полезли от такой прекраснейшей самоуверенной наглости – на него, кажется, даже и не взглянул) направился, обиженно заглядывая на ходу в кружку, из комнаты вон.

– Пожалуйста! Вам слово! – зычно продолжал Дябелев – и Елена не сразу (только по ожидающим, обернувшимся на нее с первого ряда любопытствующим лицам) догадалась, что слово, без спросу, предоставили ей.

Онемев на несколько секунд, и даже не в силах будучи набрать толком воздуха и чувствуя неприятные мурашки ниже локтя, будучи абсолютно не готова к такому повороту: вдруг стать участником – а не наблюдателем, – именно от неподготовленности, даже не вставая со своего места, через крупный вздох она выдала вдруг именно то, что вертелось на языке:

– Мне кажется... Что это вообще всё враки про коммунизм с человеческим лицом... Бессовестное вранье... – тут еще на секунду замаявшись и не без удовольствия заметив бессловесные муки Дябелева у стены, замеревшего и как будто сглатывавшего какие-то крупные болты, Елена подумала: «Жаль все-таки, что Дьюрьки рядом нет». Вздохнула поглубже, приосанилась и даже приготовилась было встать – но вдруг с ужасом подумала: «А не выгляжу ли я так же, как все предыдущие идиоты?» – и, оставшись сидеть, стараясь говорить как можно более обыденным голосом, как будто болтает на кухне, продолжила: – Человеческое лицо ведь нужно приклеивать только каким-нибудь вурдалакам... людоедам... Человеку человеческое лицо не нужно приклеивать – оно и так у него есть, правда ведь? Лучшее, что Горбачев мог бы сделать – если предположить, что он действительно хочет добра – это ликвидировать партию и КГБ. Все остальное – это, по-моему, просто жалкие уловки, чтобы людоедская партия и людоедские спецслужбы, прикрывшись человеческой маской, остались за столом и продолжили свой людоедский пир. Ни на какое сотрудничество с этими преступниками в этом нечестном деле, мне кажется, никакие честные люди идти не должны.

– Верно, долой шестую статью – а дальше мы уж сами разберемся! – выкрикнул, вскочив от левого окна (резко всколыхнув единственную в гостиной, и так уже грубо сбитую набок занавеску – цвета любительской колбасы), какой-то красивый, резко очерченный высокий парень с орлиным носом, броским ярким взглядом, темными ровными волосами, бархоткой забранными сзади в пучок, и мученически сжимающимися растрескавшимися губами – и тут же сел снова, нервно играя желваками и пережевывая щеки изнутри.

– Товарищи! – отчаянно кашлянул из своего угла Дябелев. – Ну нельзя же так! Умоляю вас! Представляйтесь! – с мукой в голосе выдавил из себя он, хотя сказать ему хотелось, кажется, совсем не это. – Разборчиво называйте фамилии! Не все присутствующие вас

знают, и не все... не все знают, откуда, какое движение представляете. Или никакое – тоже так и говорите.

– А зачем вот вам, например, моя фамилия? – вдруг, с ехидцей, сочно, низким трубным голосом, не вставая с места вымолвил хитроглазый широконосый старец в роскошном темно-синем вельветовом костюме и белой рубашке – словом, вырядившийся как на последний парад, и, с достоинством, прямо, горделиво держа осанку, сидевший по центру у противоположной стены, ноги крепко расставив, как будто играл на баяне. – И вообще: кто гарантирует, что тут нас не прослушивают и не записывают? А? А потом не отправляют куда следует?!

Медная лампа в центре потолка подозрительно моргнула.

– Ну, не представляйтесь, если не хотите! – миролюбиво заныл от своей стенки Дябелев. – Товарищи! Нужен порядок и полная демократия! Все по порядку – и не больше пяти минут. Так, кто там следующий...?

Следующим вскочил пятничный лыбящийся дурачок в русской косоворотке – и почему-то стал пропагандировать – как ориентир и как место жизни – Шамбалу.

– Так, попрошу: свои пять минут вы уже выбрали, – слукавил Дябелев. – Следующий, пожалуйста. И по теме, пожалуйста.

Молодой бородач с тетраэдэрным подбородком, которого Елена уже тоже видела в пятницу, от лица еще более непонятной (и еще менее благозвучной) аббревиатуры, чем Дябелевская, провозгласил, что «кому-то на компромисс с официальными органами идти все-таки придется» – «иначе передают как букашек».

– Я, впрочем, совсем не убежден, что не передают как букашек даже и в том случае, если на компромисс мы пойдём... И тогда будет еще обиднее... – тут же самокритично добавил он, звучно и энергично поскребя бороду сразу всеми костлявыми пальцами правой.

– Вот-вот товарищи! – встрял неожиданно Дябелев, вытянувшись опять, напряженно выпятив несуществующее пузо и обведя всех умоляющим взглядом. – Извините что злоупотребляю функциями: мы видели, как это уже бывает... – говорил он, махая головой куда-то в прихожую. – ...Горбачева могут скинуть в любой момент! Раз – и переворот! А всех, кто засветился в народных движениях – в тюрьмы и психбольницы! – плаксиво указывал он головой уже куда-то в дальний,

межоконный пролет комнаты. – И введут в одночасье чрезвычайное положение! Повод могут использовать любой. Например – беспорядки в национальных республиках, а беспорядки такие спровоцировать, как мы знаем, им ничего не стоит... – тут Дябелев сглотнул и нервно пригладил ладонью свои спиралеобразные седоватые вихры, да так и оставил руку на лбу, как будто прикрываясь от яркого света. – ...И вот во избежание таких сценариев, – продолжил он, потупившись, – во избежание надо, наступив себе на горло, наступив, в смысле, на глотку собственной песни, единым фронтом выразить Горбачеву единогласную персональную поддержку...

– И, простите за прямоту – просто не дадут, без компромисса, помещений... – прозаически добил его мысль бородач – и сел на место, крепко закусив верхние короткие волосики бородки.

В дебатах был объявлен краткий перекур.

– На лестницу, на лестницу, товарищи! Не курите в квартире, умоляю! – громко упрашивал массы Дябелев. – У меня маляри... То есть – аллергия!

Ожидая, пока прилежные сидуны первых стульев встанут, и отвалят куда-нибудь с прохода, Елена со скукой глядела направо, поверх голов, по очереди в каждое окно, чуть прищурившись, рассредоточив взгляд и расщепляя взглядом свет: сырой, талый свет. Ох, не развезло бы все на улице...

– Девушка, вот вы серьезно, что ли, всё это? – услышала она вдруг справа над ухом. – Вы серьезно, что ли, все это говорили? Э-эх, девушка-девушка... Да плюньте вы на эту всю ерунду: поедем с нами лучше на охоту... Не хотите на охоту?! Тогда на рыбалку... – продолжал, подсаживаясь к ней, незнакомый румяный юноша с самой что ни на есть задушевной интонацией и с лицом камбалы, у которой профиль почему-то случайно поставили анфас.

– С кем это «с вами»? – переспросила Елена, с тяжелой гадливостью рассматривая бройлерные губы и мясной, большой, животный расплющенный лоб охотолоба.

– А я здесь представляю партию зеленых. Знаете...? Природу мы любим! И от всяких глупостей людей спасаем. Махнем с нами, а? В следующие выходные! Машина есть, коттеджи там – готовые, зимние, есть! На Истру...

Увидев освободившийся проходик между стульями, Елена встала.

– Зачем вы тут с ними свою юность гробите – поедemте! – привстал юноша вместе с ней. – У нас там с местными милиционерами договоренность, – знойно шепча, принялся хватать он ее за правый локоть, – они нам разрешают даже с динамитом рыбачить! Милиционеры там – хорошие, крепкие, надежные ребята. Вы карпа когда-нибудь копченого ели? – услышала она уже спиной тихие зазывания кругломордой сирены.

С омерзением Елена выскочила из комнаты, продираясь против течения уже ввалившейся с лестничной клетки обратно, разившей куревом толпы, и мысленно ругая себя, с противоречивой одновременностью, и за то, что выступила недостаточно круто, слишком по-детски, без упоминания фактов («А надо было врезать, чтоб никто не смел вякать ни про человекообразный социализм – ни про надежных ментов с динамитом!») – и еще больше за то, что вообще в этой безмозглой свальной непотребщине приняла участие.

Благодин в гостинном безобразии задействован не был – да и вообще куда-то как будто в воздухе растворился – нигде теперь его сухонькой низенькой фигурки видно не было. «Ага, затащил меня сюда – а сам свалил! «Дебаты, дебаты, занимайте место»... Гадость какая!» – злорадно твердила себе под нос на ходу Елена.

– Ну что – продолжаем?! Рассаживайтесь, рассаживайтесь... – раздавались у нее за спиной звенящие энтузиазмом призывы Дябелева.

В светленькой спальне Дябелева, – куда она молниеносно, готовясь немедленно же убежать домой, заглянула за курткой, – обнаружился черноволосый молодой человек, давеча ошпаренный ею. Стоял он у окна, боком, всё с той же кружкой в правой руке, и недовольно морщась, на свет просматривал какой-то отпечатанный лист, левой рукой поднося его к лицу, словно выискивая там тайные письмена, и (судя по неудовольствию) видел там лишь какое-то возмутительное непотребство. Яркий свитер его, явно ручной вязки, с красно-синим угловатым узором (чуть неровно вывязанный внизу и задиравшийся сзади, на спине, так что из-под него торчал фонарь кремовой рубахи), и вьющиеся на концах, откиннутые назад длиннющие чернейшие локоны с лоском, наполняли всю комнату какой-то веселой, насмешливой искрой, вмиг отменившей тугоумную трусливую верноподданническую чушь, только что услышанную ею в комнате по соседству.

– Ну что, устами младенца! Хорррошо все сказала, даррром что кррриворррукая малолетка! – неожиданно запел он своими певучими картавыми руладами: хотя она уверена была, что он на нее и глазом не повел – так увлечен был бумажкой.

– Какая я вам малолетка! – застыв на пороге комнаты, Елена в раздражении, не глядя, оципывала синтепоновые комочки с манжета куртки, схваченной наперевес – и в оба глаза разглядывала забавного, манерно грассирующего наглеца. – Так вы всё слышали?! А вы-то куда сам сбежали, раз такой умный?

– А я за чаем прррросто-напррросто на кухню ходил! Пррра-а-амерррз на улице пока сюда добирррался – жуть! – он тут же, будто в доказательство, жеманно прихлебнул, придерживая кружку как-то сразу всей ладонью, плашмя пропустив под ободок ручки средний и безымянный, и остальной ладонной плоскостью обхватив кружку с боков – как будто и впрямь грея руку, жадно вбирая жар сразу всеми доступными плоскостями кожи – и только мизинец, даже в этой фигуре, умудрялся откляченно торчать. Голос его звучал настолько жеманно-иронично, и в тот же момент так безыскусно и по-человечески, что глядя в его смеющиеся, зыркающие теперь на нее в упор темнящие глаза, она даже и не могла понять – искренне он эту жеманную белиберду про кухню несет – или издевается над ней. – Га-аррряченного чаю жутко захотелось подбавить! – невозмутимо и певуче продолжал он, не отрывая от нее глаз, и как-то изумительно жеманно вздабривая и растягивая гласные и превращая каждую фразу в мелодически идеальную. Сладко, сведя лопатки, потянулся, умудрившись ни капли не пролить чая. И тут же, опрокинув страничку, которую читал, вверх дном, аккуратно пилотируя ее двумя пальцами по воздуху, как крыло парашюта, приземлил сверху на дальнюю бумажную сопку. – Тем более что вы, девушка, – тут же добавил он с непроницаемым лицом, отвернувшись от нее и бегло взглянув в окно, – самую горррячую часть чая из моей чашки безда-арррно рррасплескали!

– А вы – мерзляк еще хуже меня, похоже. Меня мама всегда мерзлячкой обзывает! – надменно, и даже чуть покровительственно выдала Елена, думая, как удачно, плёво и по-взрослому у нее получилась эта фраза – и тут же закусила губу: опять упомянула мать – как маминькина дочка.

Молодой человек, впрочем, коротко улыбнулся и, с какой-то сосредоточенностью, – на ходу прихлебывая – пошел ко входной двери:

– Пойдем-ка выйдем на секундочку – я вам кое-что хочу почитать дать. Рраз вы и впррряь не малолетка.

Натягивая уже куртку, и не слишком веря, что молодой человек поразит ее сенсационным чтивом (а про недочитанный, увы, с пятницы журнал уже и слышать не желая в этом полит-содоме), – как только вышли на полутемную лестничную клетку, Елена вдруг увидела в его руке замелькавшую стопку ярких, супер-миниатюрных, красивых листовок – форматом с сигаретную коробку. Машинально тут же схватив маленькую пеструю листовку и подивившись, на какой же дивно-тоненькой – папирсной, в буквальном смысле – бумаге она напечатана, – с любопытством прочла впотьмах мельчайшим шрифтом набранные первые строки, потом быстро по диагонали пробежала микроскопически сжатый красивый типографский текст – и, не веря своим глазам, в полном эстетском кайфе от прочитанного, удивленно перевела взгляд на обладателя этого богатства.

– Только не очень сорррите здесь этим... Я удачно выррразился? – переспросил он с очаровательным, самоироничным, самолюбованием на роже.

Круче антисоветчины, чем содержалась в листовке, и мечтать было трудно напечатать. Никогда, ни в одной совковой газете, ни в одном разговоре ни с одним человеком, Елена не слышала столь абсолютного, полного, наотмашь, выражения того, что и сама по этому поводу думала. Коммунистический режим объявлялся незаконным, бандитским и захватническим. Сжато и четко, и неожиданно весьма сносным литературным языком, в нескольких всего фразах, напоминалась история прихода бандитов к власти в 1917-м и неопровержимо излагались главные факты злодеяний правящей партии и спецслужб против собственного народа – начиная с 1917-го – и не кончая никогда. Российские граждане призывались к актам гражданского неповиновения и созданию параллельных структур управления страной. По диагонали, через всю листовку, как на гербовой бумаге шли три нежные, словно водяные знаки – белая, синяя и красная – полосы, а в центре золотел стилизованный трезубец.

– А как... Как вас зовут? – быстро, с жадным восторгом, шершавя пальцами тончайший пестрый листик, переспросила Елена, боясь, что собеседник сейчас куда-нибудь исчезнет – вместе с листовками – или что кто-нибудь сейчас выйдет на лестничную клетку – и спугнёт разговор.

– Вот видите, как пррросто оказалось заставить девушку самой хотеть с тобой познакомиться! – рассмеялся он. – Зовут Евгением... – и, заметив, что она опять обиделась, раскатисто добавил: – Да перрррестаньте вы, наконец, ррреагирррровать так на мои шутки! Подождите меня – мне нужно здесь кое-что доделать. Может быть час... Не больше. А потом вместе пойдем к метррро – поговорррим заодно по дорррроге.

Просьба его подождать показалась ей жутким хамством. Но наличие в его карманах благословеннейших, правдивейших и смелейших листовок – и тот факт, что он как-то несомненно был к ним духовно причастен – как-то застраховали его от того, чтобы она немедленно же развернулась и ушла, не сказав ему больше ни слова.

– Не-а, я, пожалуй, пойду. Что-то мне здесь как-то... Как-нибудь в другой раз. Можно я это с собой возьму?

– Ну а имя-то мне свое скажете на пррра-ащание – или так и нет?

Не придумав, как съязвить в ответ, она промолчала и как-то зачарованно пошла вниз по ступенькам, решив не нагнетать драматизма ожиданиями ползучего лифта.

X

Едва Елена вышла из подъезда, к ней, отслоившись от мокрой буро-палевой стены (она потом так и не могла с точностью восстановить показатели бокового зрения, как будто попала под гипноз цыганок-воровок), подошел сбоку карамазый («загорелый» – сказала бы она – если б это не звучало абсурдно в ноябре) кареглазый паренек, на пару-тройку лет ее старше, со стриженной большой головой и эффектными чертами лица неумного, но прытко-жадного и циничного увальня (Крутаков потом насмешливо разнес в пух и прах все эти «прямолинейные» определения – но ничего другого на лице хмыря, и вправду, написано не было) – в импортной куртке из вывороченной

замши и крепких левисовских джинсах в обтяжку, дорогую красоту которых сильно портили вопиюще толстые его ляжки.

– Ну как? Интересно тебе было? Понравилось? – спросил паренек с разболтанной приятельской ноткой в голосе, шагая с левого боку, подстраиваясь, с ней в такт, и по-собачьи заглядывая ей в глаза.

– Что именно? – настороженно переспросила она.

– Да ладно тебе, брось – ты что не заметила: я напротив тебя сидел?

Елена поклясться была готова, что этого человека у Дябелева в квартире не было – и хоть она и не взялась бы свинтить по деталькам, из памяти, каждого из присутствующих, но этого холуйски-богато одетого, явно системного, хмыря с вызывающей мордой точно бы заметила. Тем не менее, как в какой-то загипнотизированности – от неловкости ситуации («Ну как же ему прямо дать понять, что он врет? Мне ведь неловко за него, что он так нагло врет!») не зная, как стряхнуть со своего пути это существо, Елена продолжала идти с ним рядом.

– Слушай, а ты куда поступать собираешься? – панибратски заглянул он опять ей в глаза.

Елена как в дурном сне, как заколдованная, сжав зубы, выговорила:

– На журналистику.

– Отлично! Отлично! – он выдержал подозрительную паузу, и тут же, выкатив глаза на нее, слащаво, в приглушенных тонах, нехорошо наклонив голову, переспросил: – Извини за личный вопрос – а язык у тебя – какой?

«Маньяк», – твердо решила про себя она – опасно держа язык за зубами.

– Я имею в виду... Иностраный язык у тебя – какой? – лениво как-то вывалял фразу непрошенный спутник.

Елена не ответила, судорожно думая куда здесь, в этом грязном заднем дворе с запертыми подъездами, от него бежать, если что – и чем вообще все это грозит.

– А ты английский выучить, случайно, не хочешь? – конфиденциально, таким тоном, как будто рублем дарит, переспросил парень. – За границу ездить, причем часто, реально, есть перспективы. Я в Мгимо учусь – английский уже как родной. Ты знаешь... только

между нами – хорошо? Я тебе вот что скажу: главное, это сразу попасть в хорошую компанию! – (на этих словах он выразительно с силой прихлопнул себя по ляжке правой ладонью.) – Вот я попал в хорошую компанию, – (прихлопнул еще раз – еще сильнее.) – Мне повезло, и теперь хорошие люди мне помогают, продвигают меня, я два раза в Штатах уже был! А там, на этой квартире, где мы с тобой сейчас время прожигали... Там же ведь есть между ними люди опасные... – (он скривил губы – как будто ему пытались подсунуть ядовитый гриб). – ...Не все, конечно – но есть. Опасные! Ты, может быть, этого не понимаешь... Опасные – и безнадежные... – (продолжал он, уже изображая на губах презрение – как будто ядовитый гриб с тарелки он выбрасывал вилкой прямо в помойку.) — ...Без всяких перспектив! – (слово перспектива он по официальной традиции произнес с лишним «е» после «р».) – Обсосы! – оборвал он сам себя уже без всяких политесов. – Всю жизнь маргиналами будут! Тебе это нужно? А? Ты достойна лучшего, по-моему. Ты, с твоей внешностью, можешь...

Что такое маргиналы Елена не знала, да и спрашивать не слишком хотелось. И в памяти моментально прокрутилась история годовой давности, с бесшумной белесой женщиной, пришедшей к ним в спецшколу вербовать на «подготовительные курсы» в высшую школу КГБ: «работа с языком, поездки за границу, перспективы, продвижение в любой профессии» – посулы совпадали до комичности буквально. Чтобы наладить неформальный контакт, та женщина даже доверительно зашла в женский сортир на четвертом, где все девицы прыгали в резиночку на переменке. И двое (дугоногая, с вечной недовольной гримасой на губах Лариса Резакова – и еще кто-то – Елена теперь почему-то никак не могла вспомнить, кто второй) откликнулись и, с благословения завучихи по идеологии, вместо уроков, поехали с женщиной куда-то «на собеседование». И из всего класса только любимая, робкая Аня Ганина – знавшая немецкий лучше всех, – едва завидев вербовщицу, жестко сказала Елене: «Ни в коем случае даже не подходи к ней и не разговаривай. Во всяком случае я к этой организации никогда и никакого отношения иметь не буду. Мне мама дома все про них объяснила: с ними никогда нельзя иметь дела». Резакова же потом, на любознательные вопросы товарок, браво отвечала, что «не прошла» экзамен, завалив психологический тест.

– Тебе надо просто сделать пралльный выбор, – вальяжно, сглатывая гласные, продолжал замшевый паренек, вышагивая с левого бока от Елены уже так крепко, как будто всегда ходил в друзьях, и уже заворачивая с ней вместе направо, в арку. – Подумай сама: зачем тебе с самого начала ломать себе жизнь, а? Слушай, дай мне свой номер – пойдем куда-нить вечерком? – вдруг резко смягчил он тембр и, добавив во взгляд медвяности, матово вылупился на нее – но, не найдя желанной реакции, оскорбленно добавил: – Да я в политике лучше них разбираюсь! Ты что думаешь?! Да они же не знают ничего – серые, убогие люди! Чего ты от них узнать надеешься?! Я и в Европе уже был – в ФРГ, изучал партийные структуры, газеты! Я в «Интурист» могу провести – посидим, выпьем там, обсудим! Это же другая жизнь! Меня Гена зовут, кстати, а тебя?

– А я кое-что забыла... – с замиранием сердца вдруг отрезала Елена, и развернувшись, быстро пошла обратно к подъезду.

Судорожно нажав заветный код – который теперь, из-за паники, почему-то сразу, без всякой паузы, как три огненные цифры загорелся у нее в памяти, – рванув в подъезд и захлопнув за собой дверь, она пулей, срываясь мысками кроссовок с краев ступенек, взлетела обратно, на пятый, по узкой лестнице, не дожидаясь лифта.

Дверь в квартиру была прикрыта, но не заперта. В прихожей было пусто. В гостиной в полном разгаре шла новая серия короткометражных дебатов. Елена, задыхаясь от бега вверх, распахнула дверь Дябелевской светлицы.

– Верррнулаась? – обыденным тоном, как будто не было ее странного ухода, и как будто и вправду не было в ее возвращении ничего экстраординарного, произнес Евгений, восседавший на кровати с кипой бумажек на коленке: ровно на том же месте, где сама она в пятницу сидела, и даже почти в такой же позе – но только еще наглее – выставив джинсовые коленки вверх домиком, и не снимая своих белых кроссовок, а задрав покрывало, и уперев пятки в железную раму кровати, да еще заложив себе под спину вытащенную из-под покрывала спальную Дябелевскую подушку в жутко измятой, условно-белой наволочке.

Раз только вишнево взглянув на нее поверх чтива – Евгений тут же нырнул взглядом опять в волны печатной странички:

– Ну вот и харрра-а-ашо. Заходите, садитесь вот сюда, рррядышком. Да не та-арррчите вы там, пррраво слово, на па-аррроге, а то холоду напустите – и людей каких-нибудь дурррных.

Не двигаясь с места, только закрыв за собой дверь, Елена, едва отдышавшись, испуганно выложила ему всё о приключении.

– На-арррмально. Чего вы перррепугались? Пррравильно сделали, что обррратно пррришли. Я же вам гова-а-аррил... – смешно, сахарно, как будто сказки читает, растянул он слово. – ...подождите, пойдем вместе, – невозмутимо продолжал читать Евгений.

Проторчав еще с минутку, для порядку, столбом, Елена быстро быстро расшнуровала и стащила с себя красненькие кеды и приземлилась в противоположном от Евгения, изголовном, краю, на безобразно просевшую теперь кровать.

– Не прррыгайте только так больше с ррраазмаху – а то на полу окажемся, – волшебнo-музыкально-картаво предупредил Евгений и, покрепче прижав листы к левой коленке, посадил желтым огрызком кохиноровского карандашика здоровенную, с уверенным размахом крыльев, галку прямо в самую гущу машинописного текста, и что-то рядом на полях мельчайшим бисерком дописал, как будто кроша хлеб для галки. – Кррра-а-авать здесь изрррядно дррряхлая, – добавил он с уморительной строгостью, все так же не глядя на Елену и не отрываясь от текста. – Сомневаюсь, что кто-нибудь когда-нибудь здесь спит. Иначе форррма позвоночника была бы у него как панцирррь у черррепахи... – крикнул от неудовольствия, с мучительным полустоном-полувздохом глянул еще раз на всю страницу, аккуратно, овальными линиями обвел текст, и размашистым крестом похерил весь лист. Галка оказалась под арестом.

Забавнейше играя огрызком карандашика в длинных тонких пальцах (как будто заново вытачивает его грани подушечками большого, среднего и указательного), Евгений лихо вживлял в текст все новую и новую загадочнейшую фауну – о многих скачущих ногах, огромных глазах и крыльях – доверяя наиболее пернатым из тварей нести красивый груз мельчайшего своего почерка – который, впрочем, явно все меньше и меньше уживался с дремучим лесом текста неизвестного автора: так, что Евгений то и дело выжимал из себя тоскливые стоны и рисовал бесчисленный частокол на полях, словно стараясь хоть как-то расползание явно ненавистного ему текста

ограничить. На Елену он не взглянул ни разу, но зато без умолку с ней болтал: как будто болтают они лицом к лицу, как все нормальные люди – причем так, словно это никоим образом не мешает его правке. Из этого диковинного по форме разговора Елена неожиданно выяснила, что Дябелевых в квартире не один, а аж два: и светленький низкорослый курносый мэн в больших ботинках, дерзивший Дябелеву от двери, был тоже Дябелев. Но не двойник – а брат.

– Не может такого быть! Они же по масти, и по размеру, и вообще по экстерьеру различаются едва ли не больше, чем эрдельтерьер с фокстерьером!

– Это вы Демьяна фокстеррьешкой кличете?! – расхохотался Евгений, вычеркивая сразу две фразы подряд и ставя в конце тексту красивый препон. – Ну, знаете ли, никто ведь на самом деле не знает, в чем фокус. Показания свидетелей ррасходятся: инфорррмация пррротиворрричева – одни говорят, что они сводные бррратья от ррразных отцов, ддрругие – что они тррроюррродные, а тррретьи утверрррждают, что они вообще либо однофамильцы, заключившие между собой политический союз и содерррржащие политический салон – либо вообще не имеют к ддрруг ддрругу ну ррровно никакого отношения! – с наслаждением вытянул фразу Евгений и обломал карандаш об очередную редакторскую фигулю. Не прерывая чтения, легко отбросил карандаш на кровать и не глядя, на ощупь, стащил с верхотуры бумажной эстакады по левую руку от себя второй, еще более обгрызанный – но зато с живым грифелем, – и, победоносно вычеркивая (решив, видимо, не мелочиться и не тратиться на галки) еще и следующий абзац, распевно, таким голосом, как будто ребенку дочитывает сказку, договорил: – А прррямо спрррашивать никому и не удобно!

Маленький Демьян Дябелев, судя по словам Евгения, разительно контрастировал со своим – названным ли или самозванным – братом в политических взглядах: и во всех дебатах, как будто спешил доказать семейный плюрализм, моментально позиционировал себя как антипод крупного подвида Дябелева – и если Вадим сползал влево и марался красным – Демьян тут же кричал, что он-то сам демократ западно-либерального толка; а чуть только Вадим миндальничал, либеральничал и западничал – Демьян немедленно же сгущал свои взгляды чуть ли не в ультра-национал-монархические.

Вторая новость, которой Евгений, невозмутимым тоном (продолжая безжалостно препарировать карандашиком все новые и новые страницы) потряс Елену, было то, что сам он «в некотороррром ррроде» редактирует «так, забавы для» вместе с Демьяном Дябелевым самиздатовский журнал «Вольная мысль», уже читанный ею.

– Вы бы уж лучше тогда «Невольной мыслью» журнал окрестили! Так остроумней бы получилось! – едва скрывая свое восхищение, выпалила Елена. И тут же про себя подумала: «Хорошо бы распустить косу, пока он не смотрит. Я с распущенными волосами как-то все-таки взрослее выгляжу, серьезнее». И, стараясь говорить максимально солидным голосом, эдак с расстановкой, без ажиотации, важно попросила: – А можно мне тот журнал с Солженицыным домой взять? Я вам обязательно же верну потом.

– Вот нельзя! За наглуую подррррростковую ирррронию над золотым фондом совррременного самиздата! – рассмеялся Евгений. – Шучу. Сб́лжа прррросто впррравду увели уже всего. Точнее ррраспррродали.

– Как это «распродали»?! – подпрыгнула Елена на кровати. – Самиздат ведь бесплатный должен быть!

Евгений довольно хумкнул себе в губы:

– А вот вы Дябелеву об этом скажите! А Дябелев рррешил – за трррояк номеррр! Он главный ррредакторрр, в конце концов, ему и рррешать. Ррработу машинисток оплачивает. Я ему так, помогаю немножко прррросто, ррради споррртивного интереса.

Глядя на его безотрывно недовольно рыскающий по листу карандаш, и несколько неуютно себя чувствуя: как будто навязывается и мешает ему работать, Елена решила было встать и взять что-нибудь почитать, для приличия – вон, со стопки напротив – качнулась было – но мигом почувствовала, как сильно, почти до пола, разом просела с ним вместе в этом общем дурацком панцирном ходуном ходящим гамаке.

– Ха-а-аррршо, ха-а-арррашо! – зыркнул со смехом на нее Евгений. – Я вам до следующего воскррресенья дам попозже почитать дррругой номеррр, даже еще не перррепечатанный, не ррразмноженный, с милейшей статьей о Ленине. Сидите не егите только. Но если вы журррнал понесете в школу, прррросто голову оторрррву.

– А кто такой Померан? Это что, известный человек какой-то? С ним Солженицын заочно спорит – а я не поняла, кто это? – решила она, наконец, на взрослую беседу, стараясь при этом сидеть не шелохнувшись.

– Чего-чего? – расхохотался Евгений, рисуя огромную дулю в тексте.

– Ну там, в «Образованщине» было! – обиделась она, и от обиды, хлопнув обеими ладонями по покрывалу, еще больше разболтала гамак. – Честное слово! Вы думаете, я сама, что ли, выдумала?

– Ааа... Да это же Померрранц! – довольно расхохотался Евгений, подкладывая правленный лист на джинсовое колено под стопку, и агрессивно принимаясь за следующий. – Сидите, говорррю, спокойно, не елозьте. Светкина машинка с буквой «ц» пррросто не в ладах. У каждой же машинки есть свой гова-а-арррок! – прокартавил он, яростно вымарывая первый же абзац. – Моя печатная машинка, напррример, говорррит ррровно на моем языке – букву «рррр» не пррра-а-апечатаывает!

Кто такой Померан с буквой «ц» на конце Елена, впрочем, тоже не знала (а как говорит в обыденной жизни упомянутая «Светка» – не произнося букву «ц» – даже и представить себе боялась), но решила не оглушивать сразу-то уж взрослого серьезного человека своей безграмотностью.

– Ну что, пойдём, чего здесь ошиваться-то еще? – спросил вдруг Евгений, с остервенением отбросив стопочку правленных бумаг – таким тоном, как будто это Елена его все время задерживала.

Тут-то и произошло невероятное, – что при грядущем рассмотрении в быстрой, медленной, какой угодно прокрутке памяти Еленой виделось уже как самая что ни на есть закономернейшая закономерность, – но в ту минуту надолго лишило ее дара речи: за дверь послышались женские и мужские голоса вновь прибывшей публики, через еще минуту – или даже меньше (где уж было там сосчитать после шока) дверь в комнату открылась и на пороге появился серьезный, надувший губы мальчик, лет пяти, с огромными вишневыми глазищами, и с непомерно большими ресницами и черными вихрами, выбивающимися из-под цветной шерстяной шапочки с завязками под подбородком.

– Жиррраф! А ты что сюда пррриперррся?! Где твоя мама? – Евгений, спрыгнув с кровати, принялся развязывать на нем шапку. – Нефиг тебе тут делать! Маррруся! Нафига ты Жирррафа пррриташила?! – картаво кричал он уже кому-то в шумном опять, бурном коридоре, осторожно ведя мальчика перед собой.

И от этого «Жиррраф!» – как от сверкнувшей в темноте спички, к жизни была в миг вызвана, казалось бы, сданная в архив дней картинка, – но тут вдруг оказалось – живейшая, живо скакнувшая из памяти наружу, вместе с какими-то совсем нежными, совсем сокровенными, теперь казавшимися непереводаимо детскими, воспоминаниями, вместе со всеми тончайшими, запредельно высокими нотками, вместе со всеми недосягаемо чисто звенящими незримыми струнками, вместе с нежным апрельским оранжевым вечером, когда Склеп впервые водил их в Москву Нагорную, в синагогу и баптистский молельный дом – и вместе с жутким черным подвалом – и Елена в секунду ощутила себя так, будто в нее влупила огромная шаровая молния, случайно влетевшая в квартиру с Дябелевской лестничной клетки, миновавшая всех толпящихся в прихожей, и, долетев до нее, шебанувшая, что есть сил – но удивительным образом оставившая ее в живых.

На бегу, вприпрыжку умудряясь завязывать кеды, падая на частокол стоящих и в прихожей и на лестничной клетке людей, Елена пыталась разыскать в толпе Евгения – хотя ровным счетом не знала, как ему об этом чуде сказать – когда найдет.

Тайна, разгадку которой, она была уверена, не узнает до конца жизни – вдруг на ее глазах разгадала саму себя со сверхъестественной простотой – этим пятилетним мальчиком – и этим смешным картавым человеком – картавнЮ которого сличить с тем картавым подвалом, без явления самого мальчика, было бы невозможным. И теперь, когда она, истошно распиხивая локтями не понятно откуда взявшихся в коридоре отвратительных юных бугаев, продиралась вперед в поисках Евгения, ей даже не казалось случайным, что она в квартиру Дябелева, после происшествия во дворе, вернулась: «Ах какое чудо! Так не бывает! Таких совпадений не может быть. Чудо... Чудо... Не может быть...» – шептала она себе под нос, судорожно сопоставляя и монтируя в памяти все мелкие осколки незначительных совпадений, которые теперь смотрелись идеально соединенными камушками сияющей

тропинки, которая ее сюда, в эту квартиру, вообще привела – и, пытаясь не позволять встречным согражданам топтать свои кеды – в особенности потому что правый, белоснежный шнурок так и остался не завязанным и угрожающе-беззащитно волочился обоими кончиками по паркету – прыгала то на одной, то на другой, вышибая паркетины (устойчивыми казавшиеся только тогда, если на другой половине стояли как гиря, как противовес, еще как минимум две-три анонимные ноги) – все ближе и ближе мигрировала в галдящем хаосе к кухне.

На кухне, наконец, наткнулась на Евгения: стоя спиной к гигантской ржавой газовой колонке, висевшей в дальнем углу у окна, он сдавал мальчика с рук на руки как раз тем двум женщинам-хохотушкам, которых Елена прежде, в пятницу, увидела здесь, в этой квартире первыми, – чтобы они его понянчили. Электрический свет из засиженного мухами желтого круглого плафона делал явными и сигаретные прожоги на и так не блиставшей чистотой старой пестрой клеенке с пионами, и летающую над бойлером черную замусоренную паутину, одна сторона которой оторвалась и парила в воздухе, и которую пауку давно уже пора было бы сдать в утиль.

– Главное, смотрррите, чтобы пррри нем не курррили! И не орррали! – по-деловому отдавал распоряжения Евгений, жеманно держа тремя пальцами высоко в воздухе, за кисточку, как какую-то сорванную ягоду, снятый с мальчика розовый вязаный чепчик, а другой рукой стягивая с него синюю куртку, и длинный вязаный полосатый радужный шарфик, и теплую, с ажуром, вязаную розовую кофту на крупных девичьих пуговицах. – Жиррраф, ты понял? – присел Евгений уже на корточки и развернул к себе лицом неповоротливого, увалисто, как кукла (из-за разоблачения многослойных одежд) двигавшегося мальчика. – Если пррри тебе тёти начнут куррррить – тут же говоррришь им: пошли все вон отсюда!... Что вы на меня так смотрррите? – распрямился Евгений, заметив вдруг немо застывшую на пороге Елену и медленно окинул ее с головы до ног ироничным, с явной издевкой, взглядом. – Что снова случилось?

Густые, чрезвычайно прыгучие антрацитовые брови Евгения, как-то смешно, весьма абстрактно, в натянутой временнóй перспективе будущего, рифмовались в реденьких светлых насупленных бровцах Жирафа – но уж махровой густоты ресницы и завораживающей вишневости глаза узнавались на раз.

Елена, замерев, переводила взгляд то на него, то на Жирафа – все не веря, как это они вдруг стали причастны ее внутреннему, звенящему, самому дорогому чуду. И все еще не в состоянии была высвободить из себя ни звука от потрясения.

– Мы?! Курить?! – игриво помахивала ладошкой у личика, будто разгоняя дым, и морщила носик, возмущаясь словам Евгения как раз та самая молодка, с красным маникюром – которую утром Елена видала на лестнице с сигаретой взапой: торчала она теперь перед столом и, отпятив зад, на стол беззастенчиво присаживалась.

– Сейчас, сейчас пойдём уже... – не глядя сваливал Евгений стянутые с мальчика зимние одёжи, кучей, на нейлоновые колени – в мини – второй, красноволосой, женщины, сидевшей у стола на табуретке. – Мне еще нужно два слова Дябелеву... Жиррраф, ты понял, как себя вести?... Выпейте пока здесь чаю, что ли, – резко обернулся он на Елену – Не убегайте, ка-аррроче, без меня, – распорядился он и танцующей какой-то, чуть ли не по-балетному легкой поступью, весело крутанувшись на одной ноге на повороте перед дверью, но потом чуть не врезавшись в Елену, выскочил из кухни.

Елена, замороженно-послушно подойдя к столику между газовой колонкой и раковиной на розыски чашки, все оглядывалась на Жирафа. Ни жирным, как звук, ни длинным, как жираф, он не был. И никакими внешними обстоятельствами прозвище не оправдывалось.

Коротко стриженная красноволосая женщина, которая в пятницу рьяно вычесывалась на Дябелевской кровати, едва выбравшись из-под сваленного на нее сугроба одёжек, скинув пеструю грудку тряпья на подоконник, хихикая и явно радуясь Жирафу как собственному сыну, усадила его рядом с собой за стол на слишком высокий для него стул. Мальчик обиженно, без единой улыбки, принялся болтать под клеенчатой скатертью ногами в бурых зимних сапожках. Красноволосая предложила мальцу написать буквы, которые он уже знает – на обороте чьей-то печатной рукописи. Тот, хмурясь и дуя губы, вырисовал неправильную, вывернутую на другой бок, большую – во весь лист, – дрожащую букву «Я» – но в ее зеркальном отражении: ставшую теперь латинской «R».

Кружки, чашки, пиалы обнаруженные Еленой на столике и в мойке, поражали своей мшистой, многолетней уделанностью. Ни о

каком питье чая в этом доме не могло быть и речи. Приложиться губами к этим заросшим изнутри чайными отложениями лоханям, а по каемкам имевшим живописные отпечатки чьей-то помады, нельзя было даже под страхом расстрела. Как включать чудовищное произведение несовременного искусства – газовую колонку, чтобы помыть чашку, она не знала. Сода нигде тоже не наблюдалась. Уж что-то – а даже при вдохновенном бардаке дома, когда книжки могли валяться в кухне, а ужинать студенческие банды приглашались за спальное трюмо, а под пианино мог найтись в пыли рубль, – но уж кухонное оружие, и щиты тарелок, и чаны чашек – Анастасия Савельевна всегда держала в идеальной стерильности и боеготовности, параноидально, по многу раз перемывала всю посуду содой, и ошпаривала кипятком – и с детства приучила Елену к здоровой брезгливости. Ненавидя педантов – и будучи даже свято убеждена, что аккуратизм крайне вреден для мозгов и психики (и приводя даже не лишнюю доказательств систему – с обширными примерами из жизни: тупыми домохозяйками – женами военных с отвратными надраенными полами; ответственными работниками – с чистюлями-домработницами; и вообще людьми, чей аккуратизм был обратно пропорционален духовным достоинствам и интеллекту – и, соответственно, микроскопическому интересу, который эти аккуратные млекопитающие у Анастасии Савельевны вызывали), на кухне Анастасия Савельевна, все же, любила чистоту. Дома, когда студенты не слышали, Анастасия Савельевна это остроумно называла «тонкой гранью между бардаком и срачем». Здесь же, на Дябелевской кухне, срач торжествовал. И притронуться к чашкам было гадко.

– Вы чай ищете? – добродушно подскочила к ней женщина с агрессивным маникюром. – Чай вот там, на нижней полке, в алюминиевой кастрюльке! – затыкала она своими папуасьими ярко-красными боевыми пиками. – А сахар – на верхней, в кружке – да нет, нет, вон там, подальше – мы специально прячем, чтобы все кому не лень туда не...

– Да нет, спасибо, я как-то вовсе не...

Закончился, видать, очередной ринг дебатов: кухню вмиг затопило народом – настойчиво тянувшим руки как раз к запретной полке. Елена, в ужасе, метнулась, разом потеряв из виду уже и Жирафа, и обеих женщин, еле-еле выбралась из кухни, против течения, и

обнаружила Евгения сидящим на подоконнике в светёлке и весело спорящим с младшим Дябелевым. Низенький Дябелев, стоящий перед ним с хитрыми глазками, нервно зачесывал пальцами блондинистый кок волос себе на макушку.

– Да выбррросить вообще всю эту статью нужно! Я зррря вррремя тррратил, пррраво слово! Даже если я этот его поганенький стилёк подпрравлю – смысла-то это всё равно его тексту не добавит! – мигом развернувшись на подоконнике, боком, Евгений, в два счета, открутил ржавый крантик щеколды большой квадратной форточки, распахнул ее и сделал вид, что и вправду вышвыривает туда мятую рукопись.

– Обожди-обожди! – аж всем телом дернулся Дябелев – и, на своих больших ботинках, рывком потянулся вверх, в воздух, тщетно стараясь выхватить у Евгения листики. – Ты спятил! Это же эксклюзив! Он же специально для нас написал! Ты хочешь, чтоб менты с Горького прибежали?! Не смей, Евгений! Закрой фортку!

– А я тебе гова-арррю: не надо позоррриться! Если уж тебе место нечем забить – напечатай стишков Ка-аррржавина! Вон, хотя бы «Памяти Герррцена», – с довольной рожей дразнил его, как цирковую собачку приманкой, подвешенной рукописью Евгений. – Или, если уж говорррить о поэзии – то легко можно найти га-а-раззздо более достойные тексты, чем у Наума Моисеевича. Но если уж ты хочешь непррременно политического подтекста...

– Обожди, Евгений, какие стишки... – всё так же тщетно танцевал на своих безразмерных кожаных лаптях и ловил в воздухе стопку листочков Дябелев. – У нас же нет рубрики поэзии!

– Так давай создадим – ррраз нету! – смеялся Евгений, невозмутимо поигрывая висящей в его пальцах уже с той стороны грязного стекла рукописью. – Вместо всей этой политической грррафомании! – и тут вдруг, завидев в дверях Елену, быстро вдернул бумажки, разом как будто потерявшие для него всякое игровое напряжение, и всучил их ошалевшему от танцев Дябелеву, спрыгивая с подоконника: – Всё, Демьян, я побежал. Выборрр твой – тебе позоррриться с этой пустышкой. Я свое имя, как ррредактора, под журррналом, если ты это напечатаешь, больше ставить не намерррен.

Едва выйдя из комнаты, он, впрочем, тут же опять увяз в гуще знакомых:

– Ну дай мне Кизиий! – стал он что-то выклянчивать (и, видимо, уже не с первого захода) у какой-то маленькой женщины, его примерно возраста – с кругленьким личиком, длинными волосами цвета подгорелой дубовой коры, набок сдутой завитой челкой и чуть хищными зубками. – Ну дай мне Кизиий! – выпрашивал Евгений, с изумительным, очень-очень протяжным ударением на последний слог. – Ну пожааалуйста! Ррровно на неделю – я чесслово не заигрраю! Я тебе верррну в следующее же воскррресенье!

– Знаю я, как ты вернешь, Крутаков! Из тебя же потом сто лет не выбьешь! Ничего ты не получишь! – парировала та, хищненько улыбнувшись, вполоборота – и тут же отвернулась опять, ловко, по диагонали опершись своим маленьким станом-рюмочкой в морковном свитере и короткой коричневой юбке на косяк двери, так, что стала вдруг на секунду похожа на сумасшедшие, перекрученные вокруг косяка песочные часы Дали, – и продолжила кокетливую беседу с бородачом, обладателем тетраэдрного подбородка, страстно излагавшим ей свою мутную теорию о плюсах и минусах компромиссов.

Бородач же, между делом, был атакован с другого бока низеньким, карликовой породы, со злыми черными глазами, крепким юношей – носатым, с вывернутыми пухлыми алыми губами и крупным черепом, бритым налысо (что, впрочем, не скрывало, а только подчеркивало преждевременный бледный океан плечи, с двух сторон омывающий бритую синеву куцега мыса южной Патагонии посреди его глобуса): юный карла судорожно сжимал омерзительно шустрыми, белыми, беспокойными, щупальцевыми пальчиками концы слишком длинных ему рукавов черного пиджака – и, нахрапом снизу, кварцево отswerкивая из галдящей толпы глазками, атаковал бородача энергичными идеями.

– Ну уж это – извольте! – с гневом отнекивался бородач, заслышав сбоку совсем неразличимый для Елены в гражданственном оре шепоток активничающего брито-плешивого малыша. – Это – ни за что! Это – извольте! – возражал бородач, явно имея в виду слово «увольте».

Евгений, сделав страшные глаза, махнул рукой и смешно, как иноходец, помотав башкой и взбив воронные волосы, начал пробираться к выходу.

Идя за ним, Елена всё пыталась вообразить – для чего же Евгению понадобился кизил? Для варенья? И почему он выпрашивал его только на неделю? А как он его собирает, возвращать в воскресенье?! Остатки? – и тут же представляла себе очень-очень кислый вкус очень маленьких карминных ягод – да так и вышла, наскоро одевшись, с этой очередной загадкой – в желтые клубы сигаретного дыма на лестничную клетку, где кто-то с кем-то прощался, а кто-то здоровался – пока Евгений, мастерски выдернув из центральной арбы с одеждой коротенькую черную кожаную курточку, и влезая в рукава, одновременно пытаясь поддержать сзади яркий свой червлёно-лазурный свитер, из-под которого фонарем торчала кремовая рубашка, музыкально причитал на ходу:

– Ну что за дурррацкий свитеррр? А? Ну кто так вяжет? Зачем он сзади кааа-ррроче чем сперрреди!

– Меня зовут Елена, кстати, – рассмеялась она, когда они вдвоем вышли из подъезда во двор.

XI

– Вот за-а-аррраза, а! – даже не смеялся Крутаков, а едва сдерживал смех, смеялся одними ноздрями, чуть слышно выдувая воздух – когда они уже вошли с ним в арку, под отсыревшие, жадно впитывавшие голос, и не отдававшие его двойника, своды (расплавлявшие звук волгло, сплюсненным кубом, вверху, на исподней поверхности, и там его и удерживавшие). – А нам потом с Жирррафом пррришлось с жандаррромом из-за вас ррразбирраться!

– С каким еще жандармом?! – обижалась Елена, тщетно пытаясь по лицу Евгения разгадать, потрясен ли он этой историей с подвалом – так же, как четверть часа назад потрясена была она, – и еще через миг и сама уже готова была расхохотаться от его музыкальных картавых рулад, и от живой мимики прыгучих его густых бровей, и от смешных, живо взлетающих, вслед за резкими взмахами его головы, вороных, вьющихся на концах локонов. И еле попевала, вприпрыжку, за быстрым легким Крутаковским шагом.

– Да тётки какие-то участкового же пррритащили! – мелодично, все время взмывая мелодией ввысь и выделявая горку, картавил, уже

откровенно хохоча, Евгений, встряхивая башкой. – И я даже в чем-то их понимаю: одно дело мы с Жирррафом, мирррные и непррриметные... – насмешливо фыркнул он и играющим, сожалеющим взглядом обозрел оба свои рукава и выпирающий из-под расстегнутой куртки ярким пятном свитер. – А ддрругое дело – еще и девица какая-то...

И вдруг – уже перед самым выходом на Горького, – развернулся и в упор вперился в нее хохочущими густо-вишневыми глазами:

– А вы-то что, интеррресно, в этом подвале делали? Что вас туда занесло?! По маленькому пррриспичило, что ли?

– Да что вы себе позволяете?! Да ничего подобного! Я просто... А вы-то что там делали?! Нет, это я вас хочу спросить, зачем это вы там... ошивались?

Удивительно, но на улице он вдруг сразу показался ей страшно хрупким: и хотя был уж точно не низеньким, ростом с ней вровень, эта его легкая, танцующая походочка, с игривыми заворотцами и фуэтэ, и взлетающие, невесомые шажки, и его узкие плечики, выглядящие в кожаной курточке какими-то совсем худенькими – всё это заставило ее вдруг почувствовать себя огромной, ватной, зимней – в синтепоновой своей канареечно-желтой, громоздкой дутой теплой куртке: которую, правда, для форсу, разумеется, не застегнула тоже.

Спереди, слева, по фасаду здания на Горького – хлестало талой водой – из какой-то, видимо, сорванной, скособоченной, прорванной водосточной трубы: живой, бьющий, мутновато сиреневый стеклярус занавешивал четверть выхода из арки.

– Ну?! Где тут ваш гэбэшный соблазнитель? – резко вывернув на Горького, едва увернувшись от брызг водопада, опережая Елену, Евгений вытанцевал смешной легчайший круговой пируэт – и быстро, весело, но крайне пристально огляделся по сторонам.

Даже не спрашивая, куда Елене нужно идти, он тут же рванул к Маяковке.

Растаяло – не то слово.

От снежных гор в сердцевине тротуара остались лишь ноздреватые, как морская пемза, мелкие чуть подтопленные острова разнообразнейших перловых оттенков – и асфальтово-перламутровое море плескалось между ними. И именно расчищенная утром неширокая дорожка и оказалась самой главной засадой – залита была

водой по щиколотку. Сугробы же у придорожных отрогов и прицокольных хребтов уцелели целехоньки, как ни в чем не бывало – и удерживали весь этот аквариум в волнующемся, непроходимом состоянии. Так что прыгать приходилось у цоколя по успевшим спрессоваться (и упрямо и систематично сверлившимся сверху, с карнизов, голубой водой) глыбинкам – которые на поверку оказывались либо еще более хрупкими чем смотрелись – либо такими скользкими, что...

– Ка-а-аррра-а-бок а-а-бррра-а-нил! – как будто не замечая ее вопросов, – жеманно вспоминал, танцуя по рассыпающимся под его ногами снежным холмикам (вслед за голосом, танцующим на сахарно рассыпающейся букве «р»), избегая прямых попаданий в кювет, Крутаков, забегая все время чуть-чуть вперед нее, хохоча, и, на ходу, вытягивая вперед правую ладонь, развернув ее кверху, так, как будто бы на ней вправду до сих пор удобненько лежала спичечная коробочка. – А дети же – как са-а-аррроки, пррра-а-аво слово! – (на этой фразе Крутаков умудрился язвительно зыркнуть на нее через плечо в этом быстром танце по льдинкам.) – Я ж в коррридоррре уже видел, что Жиррраф всё к корррробочку пррримерррривается! – (Крутаков как ни в чем не бывало, как будто он давно уже отличнейше изучил ледяной карьер, скакнул, не глядя под ноги, сразу через три глыбинки – и – к жуткой зависти Елены – приземлился чин чинарем, на следующий небольшой холм в центре лужи, даже не поскользнувшись, ловко балансируя – и все так же непринужденно вытянув вперед руку с мнимым коробком и с наслаждением жеманничая с собственными воспоминаниями.) – Я жгу спички – фонаррика не взял – а этот хитррра-а-ван за мной! – (Евгений совсем уже не смотрел под ноги – а резкие его взгляды по сторонам однозначно и бесповоротно стирали улицу Горького из зрения и вызывали из небытия подвальные стены.) —...Показываю ему лабирринт... А там поворрот есть один каверррзный – вы с Солянки туда залезли – или откуда? – (Крутаков вертел головой и руками так убедительно, что Елене и вправду уже виделась вокруг только топография, вызываемая к жизни его рассказами.) – Там же несколько входов в подвал в ррразных местах! – (Крутаков ткнул рукой в трех разных направлениях.) – Знать только надо, где... Коррроче, я споткнулся, выррронил корррробок – рррыскаю там в темноте, как

дурррак – оррру... – (Крутаков округлил свои чёрно-вишневые глазищи с наигранным негодованием.) —...Думаю: ну ладно, ррребенок в прррятки захотел поигрррат, прррисел, наверррное, думаю, тут, за поворрротом... И тут – глазам поверррит не могу! Метррров за сто от меня, черррез целые два пррролета коррридоррра, совсем в дррругой комнате: Жиррраф спичками чиррркает! – с хохотом возмущался Евгений, играючи перескакивая с колдыбины на колдыбину, – и вдруг разом посерьезнев, обернулся к ней ровно на миг, и спросил: – Вы что, прррава не знаете, что в этих Солянских подвалах рррастррреливали? Там же несколько этажей вглубь, под землю уходит. Вы что, не знаете, что там, рррядом, на горррке, в бывшем Ивановском монастырре вообще концлагерррь НКВД был?

Елена застыла, не в состоянии сделать больше ни шага.

– Пойдем, чего вы застррряли... Я пррросто Жирррафу хотел показать... Жалко, что маленький еще, не понимает, ррразумеется, ничего... Но прррросто у меня такое пррредчувствие, что они входы в эти подвалы сейчас очень скоррро заколотят... – Там же в глубине, во многих комнатах следы от пуль на стенах. Кто знает, что там будет, когда Жиррраф вырастет, да вообще, кто знает, что со мной будет к тому врремени, смогу ли я ему эти подвалы показать... Чего вы нахохлились? Ррраскажите, как вы к Дябелеву-то попали?

Стараясь не подавать виду, что рассказываемое как-то слишком лично (как отзвук далекого, весеннего, Склепова чуда) ею чувствуется, изо всех сил тужась выглядеть как можно взрослее, но всё равно запинаясь и смущаясь, и именно от смущения чуть-чуть-чуть героизируя историю, отрывисто рассказала про звонок Кагановичу, – и тут же, почувствовав, что лопнет от любопытства, если не спросит совсем о другом – выпалила:

– А где же мама Жирафа? Где ваша жена? И вообще – почему вы его так странно называ...

– Как где?! – удивленно перебил ее Евгений, – вы же ее видели сейчас – в прррихожей! – проговорил он таким тоном, так, как будто и впрямь устроил там для нее чуть ли не церемониал знакомств и как будто Елена всех в Дябелевской галдящей ободранной прихожей обязана узнавать. – Я же пррри вас у нее книжку почитать пррросил!

– Какую книжку? – глупейше переспросила Елена – потому что ни о какой книжке не слышала.

– Ну как – Кена Кизиини, – пропел опять Евгений имя с идиотским ударением на второе «и». – Ну что вы остолбенели опять? – пойдём, пойдём, а то здесь совсем моррре ррразливанное что-то, не останавливайтесь там на этом полуострррrove – там скользко. Прррыгайте, прррыгайте вперрред скорррее! Что вы на меня так смотрррите? Аккуррратней, говорррю же ведь: скользко же ведь, – успел подхватил он её под локоть, когда она приготовилась было растянуться – но чудом протанцевала на мысках по узкой спрессованной снежной бровке у цоколя.

– Забавные у вас отношения с женой, – растерянно передразнила его Елена, чуть оправившись от невольных балетных упражнений, и застыв уже на следующем островке. – «Дай мне, дорогая, книжку на недельку!» Ой, дайте мне руку, пожалуйста!

– А мы с Марррусей же ррразбежались давно уже! – благодушно и весело, запросто разъяснил Евгений, стаскивая её, как Мазай зайца, с очередной затопленной, рушащейся под ней, горы. – ...Как-то мы с ней давно поняли, что когда мы не вместе – нам лучше... – добавил Евгений уже почти серьёзным голосом, заметив, как вытянулось у Елены лицо от легкой, спринтерской какой-то терминологии, кодировавшей развод. – Зато теперррь у меня ррродительские дни с Жирррафом! – довольно выграссировал он, когда они – впервые с момента выхода на Горького – оказались оба на устойчивой, хоть и мокрой, асфальтовой суше – размером с две журнальных страницы.

На Маяковской, вместо того, чтобы спуститься в метро, Евгений, не спрашивая у неё ни слова, куда ей ехать, перебежал вместе с ней, с трагикомичными маневрами, площадь (ох, уж этот комбайн, ох уж эта снегоуборочная сеялка, плюющаяся жижей и комками цвета какао на три метра в сторону – вместо того чтобы угробить сугробы!), промахнув неприлично растянутые, длинные, пустые, задрапированные витрины ресторана «София», свернул направо, и только уже припустив по Оружейному, как само собой разумеющееся, даже не оборачиваясь, бегло обронил:

– Мне тут недалеко – я к подррруге иду... У Цветного. Вы пррра-аводите меня? Поболтаем по доррроге...

Аж онемев опять от такой наглости, подумав: «Чудо-чудом – а хамла такого свет не видывал», Елена, из последних сил крепясь, чтобы не обхамить его в ответ, памятуя про обещанный журнал,

стараясь не подавать виду, что давно уже почувствовала отвратительнейшую течь сразу в обоих кедах (по всем швам – хвалёной, непромокаемой аленькой ткани), поскакала по тающим – буквально под подошвами! – так что как будто голыми пятками в ледяной воде уже купалась – снежным кочкам за ним.

Чудовищной, дорога была просто чудовищной. Казалось, что это никогда не кончится: разливы, затоны, заводи, мутные наводнения в перекрестных улицах, приобочинные глетчеры из решеток забитых стоков, и чужие ноги, ноги, ноги, ноги – и главное – ложные сугробы – перекидывавшиеся тут же, как заманят, как ступишь – отвратительной стылой полыньей. Мучительным, самым выматывающим (как всегда в поганую погоду) была эта унижительная привязанность зрения к грязным катастрофическим событиям под подошвами – и то, что по сторонам глазеть было нельзя – то есть, можно было – но чересчур уж неокупной ценой:

– Да что ж вы, пррраво слово! – орал, ловя ее опять на эффектнейшем полушпагате Крутаков. – Как ррребенок, пррраво же слово! Смотрррите под ноги, говорррю же вам! Ну, а кррроме фонетики вам, что, ничего там вообще не пррреподают?

Ей уже просто не верилось, что это и вправду с ней происходит – почему, почему было не поехать на метро, почему было не поговорить в метро?! Пересадка? Да плевать! Но не взбивать же мысками и пятками – ухайдакивая... Хотя, мать и так, наверняка, все равно уже заметила, что я их надела. Крутаков же своими невозмутимыми руладами всё расспрашивал и расспрашивал ее – да всё почему-то про самое скучное – про школу, да про журналистские курсы.

Наконец, застыли перед перпендикулярно текущим проспектом.

Впереди, в шаге, под ногами была голубая створожившаяся ряженка – на небе тоже, верхняя ряженка казалась отражением нижней. Судя по изумленным матюжкам камикадзе, рванувших напролом – на проезжей части под ногами было выше щиколотки. На небе – никто не мерил. Вброд было идти сумасшествием. Подгорелые, аутентичного колера, ряженнично-карие снежные пеночные архипелаги, плававшие на поверхности – никого уже обмануть не могли.

– Ха-а-арррошенькие у вас кеды! – весело, с издевкой прокартавил застывший перед морем, слева от нее, Евгений. – Но, на

мой скррромный взгляд – не для зимы. Если вы повыпендрррриваться хотели – то соверррршенно зррря! – деловито продолжал он, чуть наклонив патлатую свою, с черно-фиолетоватым лоском, башку и с наглой издевкой разглядывая ярко-красненькие, еще ярче разгоревшиеся от воды, абсолютно мокрые бахилы на ее ногах. – Ваших ямочек на щеках вполне бы хватило! – зыркнул он на нее с наигранной, издевательской романтикой на роже. – Вы уже и так можете записать меня в свои поклонники!

И, не успела Елена даже съязвить в ответ, как Евгений, с его мнимыми щупленькими плечами, на этих словах, легчайше, без всякого видимого усилия, подхватил ее на руки, да еще и подкинул на лету, как какой-то неудобный строптивый груз, покрепче перехватив под коленками, – перенес и неаккуратно поставил на ноги на противоположной стороне, – в ту же секунду язвительно оборвав издевательски-кокетливые картавые рулады:

– Но в ддрругой ррраз не будьте идиоткой, и надевайте все-таки что-нибудь по погоде! Не могу ж я вас все врремя на рруках таскать. Всё, я побежал. Деррржите... литеррратуррру, – игриво смягчил он опять пафос словца в веселой картавнѐ – и принялся расфаршировывать внутренние карманы тоненькой своей кожаной курточки.

Не успев опомниться от перелета и наглости перевозчика, Елена ахнула, увидев, что оба внутренних кармана его куртки и впрямь битком забиты бумагами, свернутыми в трубочку: как, каким образом – ведь все время вертелся в Дябелевской квартире перед уходом у нее на виду! – когда он успел все это зарядить – да вон еще и две книжки какие-то торчат! – и каким фокусом он достигает того, что этих внутренних бумажных патронташей не видно на ходу?!

– Запоминайте пррравила пользования... библиотекой, – иронично выговорил Крутаков. – Вот это... – быстро сунул он ей какой-то сложенный крест-накрест, поперек обложки, типографским способом отпечатанный журнал в правый нижний карман куртки. – Вот этого в метррро, будьте добррры – не читать! Карррман застегиваете... – наглейше, с пумпкающим звуком, прихлопнул Крутаков длинным худым наманикюренным своим указательным пальцем кнопку на ее желтом карманном кантике. – И накрррепко забываете пррро этот карррман – до самого дома. Сейчас некогда объяснять почему – в

следующий раз. А поскольку я знаю, что вы меня не послушаетесь и в школу «Вольную мысль» непременно потащите...

Елена попыталась что-то возмущенно возразить, но тут же почувствовала, что возражает неискренне – и что завтра же потащить журнал (если получит) в школу и похвастаться перед Дьюрькой, уже, конечно же, про себя, давно решила, – но Евгений всё равно уже не слушал ее:

– Так вот: поскольку я прекрасно знаю, как работает подростковый комплекс рефлексорного противоречия...

Елена уже готова была тут же, немедленно же, наплевав на все запретные печатные плоды, развернуться и уйти, и больше никогда не видеть этого небывалого хама – и рыпнулась уже даже было – но Крутаков бесцеремоннейше придержал ее двумя пальцами уже за левый карман куртки – так, что со стороны, наверняка, выглядел, как мелкий карманник, норовящий выкрасть у нее перчатки.

– Так вот: предлагаю разумный дружеский компромисс... – невозмутимо продолжил он с отвратительнейшей насмешкой в черно-вишневых глазницах, когда она опять развернулась к нему. – ...«Вольную мысль» я вам даю – и в школу нести разрешаю. Ну, в крайнем случае – из школы вас за это вышибут, но больше вам ничего за это не будет. А вот журнал, который у вас в правом кармане, вы читаете только дома – и никому этого не светите. Даете мне честное слово? Я могу вам доверять? Вы достаточно взрослая для того, чтобы сдерживать слово? Ну вот и ха-а-аррошо. Всё, мне, правда, пора уже, – вскинулся Крутаков вдруг на часы на столбе справа (циферблат которых выпал из разбитой стклянки квадратной рамы и еле заметно болтался от ветра, как мятник, на единственном каком-то шнурке). – Подруга меня ждет. «Вольную мысль» не вздумайте заигрывать – я вам свой личный, сигнальный экземпляр отдаю. Чтоб в следующее воскресенье принесли и вернули, понятно? И не муррыжьте журнал слишком. Знаете, как отсюда добраться до метро?

– А то нет! – гордо, с вызовом, соврала Елена, засовывая лихо свернутую перископом «Вольную мысль» в левый карман.

– И кроме того, – обернулся Евгений, уже отправившись было наискосок перебежать дорогу, рассекая прибрежную жижу, – раз уж я вас все равно уже на руках носил – то я считаю, мы вполне можем

перррейти на «ты». Все, мне поррра, я побежал. Меня поррруга ждет, я обещал...

Ночь оказалась слишком краткой, чтоб справиться со всеми нагрянувшими переворотами во вселенной. В полседьмого утра, не сомкнув глаз ни на секунду, чувствуя, что то ли от недосыпа, то ли от волшебного-сумасшедших фривольных прогулок с Крутаковым по Садовому – подзнабливает всерьез – и жалея уже, что не послушалась мать, и не пропарила сразу пятки, как в детстве, с горчицей – Елена подошла к окну, раздвинула штору – и увидела только мышиную темноту. Она боялась оборачиваться – чтобы не спугнуть чуда, которое теперь было не где-то вовне – а вот здесь, за спиной, рядом с подушкой, у нее на кровати – боялась, чтобы чудо вдруг не стало сном – и чтобы она не проснулась, опрокинув всё непрочное выстроившееся, перевернувшееся, наконец, вдруг с головы на ноги мироздание; зажмурилась – с дрожью обернулась: на кровати лежал помятый крест-накрест от сладчайшей, запретной езды в кармане, великолепнейшей, до слез профессионально сделанный эмигрантский журнал, изданный в Западной Германии, на русском – да еще и на каком! На том языкастом языке, какого советским публицистам в их самых жутких блатных снах не снилось! Не может быть, неужели же все это действительно живо, существует где-то в мире, – и сейчас, как чудесная залетевшая звезда, около моей подушки, лежит этому осязаемое подтверждение – с электрическим бликом (пол-лимона, ближе к центру) и баррикадообразной (с железной раскладушкой-ножкой) тенью от крошечного фиолетового стенного ночника по правому краю обложки!

Елена вернулась к дивану и, чувствуя, как занемели большие пальцы ног, упаковав себя, как в спальный мешок, в одеяло, со стучащими уже от озноба зубами, еще раз взяла журнал в руки. Через всю обложку журнала – хотя и русскими буквами – но, на, увы, плебейском интернациональном языке агрессивных недоразвитых гнид, напечатана была цитата: «“Террор – это средство убеждения”. В. И. Ленин». Под этим на всю обложку была фотография: четыре трупа – две женщины и двое мужчин, обезображенные, страшные, голые, изуродованные, лежат на земле. Крестьяне-заложники, расстрелянные по приказу Ленина чрезвычайной комиссией в 1919 году. Архив. Тела, уже почти сданные было этой гадиной в архив. Вместе с другими

сотнями тысяч убитых. Но вот – чудо – вновь видны миру, через семьдесят лет, на обложке. И тут Елена уже тихо завывала – и от боли – от невозможности это видеть без рыданий – и от того, что опрометчиво поклялась Крутакову не носить этого в школу.

В тумане, пошатываясь от бессонной ночи, чувствуя, как неумолимо, с ртутной старательностью, ползет вокруг по стенам, и по рукам вверх температура, с омерзением зажевав вместо завтрака два аспирина и запив их чаем (к ужасу Анастасии Савельевны, носившейся вокруг нее с градусником и не верившей, что дочь действительно пойдет в школу), уложив в школьный пакет единственный предмет – скрепленные скрепкой полсотни страниц «Вольной мысли» (честно, как и пообещала Крутакову, оставив западногерманский журнал дома – засунув его – подальше от глаз Анастасии Савельевны – за верхний ряд книг в своем книжном шкафу), и вытребовав у матери ее дачные ярко-желтые резиновые сапоги-говностопы, она тихо вышла из дома, рассчитывая как раз добрести ко второму уроку: истории. Готовясь к бою, уселась, сразу, не с Аней, а на первой парте, встык с учительским столом (малопрестижной – по причине крайнего неудобства списывания перед учительским носом) – и – странное дело: то ли аспирин так быстро встряхнул, то ли задор – и ожидание предстоящего шоу – но как только в класс вошел с треугольным стуком каблуков своей деревянной прямой походкой, аккуратно и высоко неся налаченную свою высветленную халу (так, что вопреки всяким законам золотого сечения, голова вместе с прической занимала как минимум треть всей фигуры), маленький желтый сфинкс в старомодном кримпленовом изумрудном платье – Любовь Васильевна, прижимая сухой ручкой к сердцу здоровенный темно-бордовый клеенчатый журнал класса, – а вслед за ней – в момент страшного дребезжания звонка – прямо по пятам – гримасничая сам себе, влетел красный, весь какой-то раздризганный, непричесанный, с выпроставшейся спереди одним углом рубашкой, Дьюрька в неглаженной школьной форме, с разодранным поросычье-розовым грязным портфелем под мышкой (оторвался и живо болтался хлястик наплечного ремня) – Елена почувствовала, что от ночного горячечной жара – ни следа, и что простуда, видя себя в нежеланных гостях, как-то просто передумала – и что день выдастся великолепный.

– Чего ты на первый урок-то не пришла?! – Дьюрька жарко хлопнулся позади нее и сразу же достал из портфеля, как игрок в карты, с пяток газет и принялся с ними на парте мухлевать. – Я уж думал: тебя там убили, в этом подпольном клубе!

Сфинкс Любовь Васильевна, присев в крайне неудобной позе (навытяжку на краешек стула), с некоторым даже оживлением, с искренним энтузиазмом заглянув в какую-то двойную, зеленоватую, из вторсырья сделанную бумажку, высоким, чуть дрожащим голосом сообщила, что затеянная генеральным секретарем перестройка жидется на преодолении тяжелого наследия сталинизма и возвращении к ленинским принципам социализма.

– Уя! Оборзел совсем?! В ухо-то зачем?! – жалобно возопил вдруг, не понижая голоса со второй парты центрального ряда коротко стриженный, с серыми какими-то волосами Зайцев, плаксиво вычищая что-то из левого уха, гибко вертясь и оборачиваясь – на четвертую парту – откуда раздавалось характерное харканье: небрезгливый Захар готовил следующую «бомбочку» – отвратительный снаряд из жеванной промокашки, которым метко плевался через прозрачный ствол биговской ручки, выкрутив из него стержень – как конандойловы туземцы отравленными стрелами через трубочку.

Выискивая новую жертву, и уже зарядив трубочку новой слюнявой пулькой, Захар, красуясь толстыми красными складками на массивной, низкопосаженной бычьей шее, перевел взгляд на треугольный оазис тихонь в правом, ближайшем к двери ряду (Гюрджян, Добровольскую и Рукову): группа экзотически выигрывала как мишень для сафари – на фоне змеящейся сверху, ровно над ними, очень мясистой зеленой хойи (горшок которой был криво забит в железную балду на пупырчатой салатовой стене, как в баскетбольную лузу). Ближняя мишень – Гюрджян, долговязая, крупноносая, вся сделанная как будто из острых углов (хотя, при этом, и вполне упитанная), армянская девица, похожа была, скорее, на вечно грустного, унылого юношу, вечно флегматично клюющего носом под аккомпанемент долговязых ресниц – ничем живо не интересовалась, и ничего (если судить по меланхолическим реакциям) толком из происходящего вокруг не понимала, училась на пятерки, всегда – с самого первого класса – стриглась абсолютно одинаково: ни коротко – ни длинно, с челкой над бледным грустным челом, ни в кого никогда

не влюблялась, и вообще была странноватых пристрастий: во время шахматных турниров болела, например, не за храброго обаяшку Каспарова – как все девочки в классе – а за странного, бледного, тщедушного, противноватого, с обескровленным лицом оголодавшего вампира, пискливого его соперника. Да и то – болела-то как-то уныло. Бледные длинные угловатые пальцы Гюрджян с длинными чистыми овальными ногтями, сложенные сейчас в идеальную фигуру покорности и ничего-не-понимания (руки на острых локтях – а пальцы – напротив узких грустных губ, переплетены между собой как скелет перепелки) чуть колыхались и вспархивали – и, похоже, навели охотника Захара на ассоциации с дичью – он напрягся, всю набывчив шею и щеки, и приготовился изо всех сил дунуть в трубку.

Резвая Лаугард (шумным шепотом обсуждавшая какие-то задачки с квадратурным губастым Хомяковым, с вечной улыбочкой развернувшись к ней с первой парты), зачем-то (карандашная точилка, кажется) ровно на секунду обернулась к Гюрджян и Руковой, заиграла зеленоватыми глазами.

Прицелившийся уже было (в треугольную скулу Гюрджян) Захар, по неизвестным соображениям, сощурился и почесав толстую розовую щеку с мелкой рыжеватой юношеской щетиной (едва заметной, но создававшей всегда ощущение грубой неопрятности – которая, впрочем, иной раз неотразимо действовала, по загадочной причине, даже на девушек из старших классов), глаз отвел и трубочку отложил.

На птеродактиля похожий, в три четверти перегоревший, громадный, ребристый, ячеистый продолговатый металлический плафон ужасного, жальщего, нереального света (который учителя с некоего бодуна называли «дневным» и «полезным для глаз»), висевший ровно над Захаром, угрожающе жужжал, напрягался, прищурился – как будто сейчас плюнет тоже.

Елена оглянулась на Аню: та раздражающе медленными, как в заторможенной съемке, движениями, чудовищно выверенными, аккуратно педантичными мутноватыми пассажами переставляла все вещички на парте – раскрывала очарник, пленяла носик свой монструозными очками для чтения – такой формы и расцветки (серо-розово-коричневой бурды), что, казалось, сделал их не только человек тоже очень сильно близорукий, но еще и с какими-то дальтоническими

отклонениями. Красавица, закабаленная кандалами очков. Елена с щемящей нежностью досмотрела, как Аня, ничегошеньки вокруг не замечая, строжась сама с собой, насупившись, аккуратно сгибается вправо и опасно, без всякого видимого удовольствия, чешет (боком развернув свой светлый стоптанный сандалик: только что из детсадовской песочницы), худенькую фарфоровую лодыжку в абсолютно прозрачных – так что кажется что у нее голые ноги – чулках, плавно возвращается в строго вертикальное положение, плавно раскладывает перед собой учебник (кажется, опять немецкий), с некоторым кротко-близоруким удивлением в него смотрит, открывает болотно-шершавую тетрадь и плавно, как будто ватными руками, нажимает серебристо-синюю кнопочку автоматической ручки, – и отвернулась.

И весело сказала себе: «Ну что ж. Сейчас, через секунду, школьная жизнь изменится навсегда»

– Простите, Любовь Васильевна, вы какие именно ленинские принципы имеете в виду? – поинтересовалась она, заложив заранее высмотренную страничку самиздатовской «Вольной мысли» – статья про Ленина в которой (Крутаков не обманул) тоже, действительно, оказалась «милейшей». А следом шла еще и опубликованная встык подборка цитат. – Вот эти, например? «Диктатура есть власть, ничем не ограниченная, никакими законами не связанная, никакими абсолютно правилами не стесненная, непосредственно на насилие опирающаяся власть»? Или вот этот: «Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты»?

– ...К ленинским принципам гуманности, законности и интернационализма... – как зомби гундела, косясь куда-то налево, на входную дверь, Любовь Васильевна.

– А под интернационализмом вы это, вероятно, понимаете? «Насчет иностранцев советую не спешить высылкой. Не лучше ли в концлагерь, чтобы потом обменять»? – зачитывала Елена прямиком со страницы «Вольной мысли», чуть поддегивая скрепку, чтоб не загоразживал заворот уголка, и, одновременно, недобрым словом поминая Крутаковскую просьбу журнал не слишком «мурррыжить». – Это телеграмма Ленина Сталину, между прочим. Вот – подлинное Ленинское завещание.

– Советская республика переживала трудное время, – высоко дернув крупной изумрудной грудью, как будто положив ее на полку, и по-ученически сложив руки одна на другую перед собой на столе, как бы упаковав себя таким образом в квадрат, пошла повторять Любовь Васильевна (за десятки лет бубнения даже уже к зубам приклеившиеся и отделяться от зубов не желавшие) вставные фразочки. – И террор, как временное, исторически необходимое явление... явление... Был голод, контрреволюция...

– А вы знаете, что голод был сознательно инспирирован Лениным? Вы в курсе, что Ленин выставлял заград-отряды на пути к Москве и Питеру? Чтобы не допустить подвоза продовольствия. Вы знаете, что это была сознательная масштабная продовольственная война ленинской банды против России, народ которой в большинстве был против большевиков?

– Эй, Заяц, Заяц, слыш-слыш?! Здесь вождей обсирают! – тихо прыснул прыщавый Захар и тут же подлеише залепил в развернувшуюся к нему с любопытством рожу Зайцева новую тошнотную жеванную бомбочку со слюнями.

– Блин, в глаз-то зачем?! – верещал тот, согнувшись в три погибели над своей партией и закрывая ненадежно расставленными пальцами обеих рук рот, нос и белесую шею, в которую уже неслись новые промокашечьи плевки (Захар перезаряжал неимоверно быстро – видимо, зажевав припасы за щеку).

Любовь Васильевна, чуть раскачиваясь – делала вид, что ничего не расслышала – точно так же, как месяц назад замирала и впадала в испуганный анабиоз от любых Дьюрькиных реплик о Сталинских преступлениях.

– Что это у тебя такое интересненькое? – полез к Елене пухлявыми ручками Дьюрька, пытаясь вырвать журнал. И не получив в руки текста, не задумываясь, перенес свои тела за ее парту. – Ну пожалуйста, ну я же быстро прочитаю, ну на секундочку... – Дьюрька уселся слева, принялся мастерски пихаться, и в тот момент, когда Елена перелистывала страницу, умудрился-таки выхватить два первых листа (на втором было оглавление), чуть не рассыпав всю стопку из-под скрепки – и страшно листы помяв. – Что это?! Самиздат?! – Дьюрька побордовел – и, кажется, на секундочку струсил – но через секунду любопытство взяло верх.

Как только Дьюрька уткнулся носом в оглавление, Елена расслабилась, решив, что сейчас у него отобьет всякую охоту читать дальше: главной статьей значилась перепечатка вполне-таки прежде системного и невообразимо доселе скучного советского писателя-почвенника (и сама она чуть было журнал ночью не бросила, именно из-за этого). Но на комсомольского секретаря Дьюрьку известная, советская, то есть узаконенная, нестрашная, фамилия автора – вопреки вкусам Елены, произвела-таки наоборот действие безотказной наживки.

– О! Солоухин! Я его знаю... – завопил Дьюрька. – Дай-ка мне почитать! Ну дай, ну чего ты, жалко что ли? Ну ты же чего-то другое уже читаешь – я прочитаю очень быстро... Ну на секундочку! – и, как бесстыжий подзаборный драчун оттесняя ее к краю парты локтями, Дьюрька принялся вырывать у нее, по одной из-под скрепки, страницы – и, как крот, прилежно и быстро прорывать взглядом текст.

– Возглавивший перестройку Михаил Сергеевич Горбачев признает необходимость всячески искоренять последствия перекосов, возникших во время так называемого культа личности Сталина, – ляпала опять по заученному училка, покашиваясь в брошюрку и снабжая каждое слово мягкими упористыми толчками сжатых желтых кулачков в ребро столешнице. – Мы должны вернуться к чистым основам коммунизма, таким, какими их заложил основатель нашего государства Владимир Ильич Ленин.

– А вы в курсе, Любовь Васильевна, что первый концентрационный лагерь создал не Сталин, а именно Ленин? В 1918 году, первый лагерь концентрационный был создан по декрету Ленина. О каких еще основах вы говорите? И именно Ленин ввел античеловеческую практику: заложничество – когда в заложники брали совершенно случайных ни в чем не повинных мирных людей – и расстреливали их, если селение оказывало сопротивление большевикам. А поскольку большевикам оказывали сопротивление практически все селения – то эти бандиты, чтобы захватить страну, уничтожали всех подряд.

Разодрали журнал пополам. Дьюрьке отжертвована была (во спасение бумажки – чтоб окончательно не измял, гад, Крутаковский журнал) первая часть – с Солоухинской статьей «Читая Ленина» – Елена же работала с публикацией во второй половине журнала –

выдержками из Ленина – без комментариев, а только с источником и датами – снабжая увядающие с каждой секундой, красные уже, уши Любви Васильевны благодатной росой личных, прямых высказываний обожаемого ей классика коммунизма.

– А как вам вот это? «Повесить (неприменно повесить, чтобы народ видел) не меньше 100...» Как вам это, Любовь Васильевна? Как вам нравится это «не меньше 100»? А? Как вам это ленинское, мясницкое, с убийством людей на развес, а? «Отнять у них весь хлеб». «Назначить заложников». Назначить! Он так и пишет, не скрываясь: «Я предлагаю «заложников» не взять, а назначить поименно по волостям». Как вам это слово «назначить» нравится, Любовь Васильевна? Как дежурных по классу назначить – только не тряпками вонючими в классе доску протирать – а на расстрел! «Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал... Телеграфируйте исполнение!» А? Каково вам это? Это вменяемый человек пишет, вы считаете? Или вот это! «Немедленно арестовать нескольких членов исполкомов и комитетов бедноты в тех местностях, где расчистка снега производится не вполне удовлетворительно. В тех же местностях взять заложников из крестьян с тем, что, если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны. Доклад об исполнении со сведениями о количестве арестованных назначить через неделю».

Дьюрьяка, не говоря ни слова, все тем же, кротовым методом, изучал тем временем статью – в дискуссии участия не принимая – и вообще еле дыша, не подавая никаких признаков жизни (и только язык свой от напряжения и любопытства чуть выставив и эквилибристски поставив его боком, на ребро – так что была видна подъязычная синева – и замерев) – и Елена гадала, какова-то будет его реакция. Пододвинув к себе, на всякий случай – на случай новых агрессий – оставшиеся в живых от Дьюрьяки мятые листочки, Елена уже подряд, без разбору, громко зачитывала вслух, на весь класс, цитаты поганого людоеда:

– Или вот это: «В. И. Ленин – Отделу топлива Московского Совета Депутатов трудящихся: “Если не будут приняты героические меры, я лично буду проводить в Совете Обороны и в Цека не только аресты всех ответственных лиц, но и расстрелы...”»

– Перестройка, начатая Михаилом Сергеевичем Горбачевым, при поддержке широких партийных масс, опирается на возврат к принципам... к принципам гуманного ленинского социализма, – как

зомби, повторяла Любовь Васильевна по десятому разу, кажется, надеясь этим шаманством, этим бессмысленным звукоподражанием, выбить у себя из мозгов только что через уши влетевшую туда информацию, и как в бубен стуча согнутой в фалангах сухонькой ручкой по столешнице.

Вдруг Дьюрька, как-то резко подняв лицо от рассыпавшихся страниц («Дочитал» – сразу поняла Елена), шебанул обоими кулаками по парте и что есть сил заорал на весь класс:

– Да ваш Ленин – сволочь вообще! Что вы тут нам несёте! Смотрите! Читайте! Он – убийца! Ленин – сволочь! – и, оскалившись, грозно двигая челюстью, еще раз припечатал эту ценную мысль.

Елена невольно, с любопытством, быстро оглянулась на Аню: сняв очки, и потирая правыми большим и указательным переносицу, Аня расфокусированно-снисходительно глядела на Дьюрьку, с мизерной, разве что, толикой удивления – как будто он только что во всеуслышание заявил, что, из своей полу-профессорской семьи, хочет пойти работать слесарем, что ли.

Любовь Васильевна – у которой (явно в первый раз в жизни) кровь зримо прилила к лицу – вскочила и, не дыша, скособоченными шажками подбитой египетской лисицы, забыв про осанку и надлежащее строго вертикальное несение белой халы, да и вообще про всю сфинксю выдержку, выбежала из класса.

XII

Сидя на грязновато освещенной кухне Дябелева в воскресенье (пыльный сиропчик света еще больше наштриховывал серых оттенков – и в углу, над газовой колонкой – где в прошлый раз летала – сметенная теперь, наконец, кем-то или просто ветерком из форточки сдутая – паутина, – а теперь зависла еще более темная рисованная паутинная тень; и между холодильником и раковиной – где тень была настолько черна, что, казалось, стоит там скошенное, отвесное, треугольное, углем недорисованное, мусорное ведро с распахнутой крышкой; а овально-продолговатые грязно сажевые эскизы на клеенке и занавесках – хотелось бы приписать игре теней и метаморфозам плафона – но, увы, при всей фантазии, не удавалось) и с удивлением

наблюдая, как неуместно здесь яркий в своем вязаном свитере Крутаков (от которого только что получила нагоняй за раздраконенный Дьюрькой экземпляр «Вольной мысли») хозяйничает с чайником, Елена чувствовала себя героиней: и особого ликования добавляли воспоминания о том, как, на следующий же день после вердикта «Ленин – сволочь» из Дьюрькиных целомудренных уст, Дьюрькина тетка, Роза Семеновна, взлохмаченная, плотная, с мощными круглыми плечами, низкорослая сутулая женщина с плаксивым лицом (работающая учительницей немецкого у них же в классе, но только, к счастью, в другой группе; по-немецки говорила с чудовищной шепелявостью: вместо «ихь» ляпаля «ищь», вместо «дихь» – «дищь», вместо «тэнхен» – «тэнцен»). «Ляйпцигское просторечие», – чванно отпичивая губки, говорила Аня Ганина, которую мать, профессиональная лингвистка, муштровала дома исключительно на чистейшем хановерском хох-дойче. – Это Роза в ГДР диалект подхватила, пока за тряпками по магазинам моталась», – добавляла Аня снисходительно. Роза-то Семеновна и стала, по особому провидению судьбы, свидетельницей того, как историчка Любовь Васильевна, трясясь, внеслась в учительскую жаловаться на ниспровергание вождей), провела с племянничком ультимативную воспитательную беседу. «Тетя Роза мне строго-настрого запретила с тобой водиться: с Леной, сказала, не общайся ни в коем случае. Держись от нее подальше. Она – опасная – девочка», – резвясь и хохоча, доложил Елене сам Дьюрька, быстро, накрененными ногами нарезая резкие зигзаги возле подоконника в коридоре, а рукой тем не менее держась за подоконник, как за седло – прибежав на переменке немедленно же после промывки мозгов.

– Ну ты жевала журррнал что ли, пррраво слово, а... – все не унимался Крутаков и музыкально ворчал на нее, развернувшись к ней спиной, ловко споласкивая железный неэмалированный, некрашенный чайник и со звуком взрыва поджигая огонь на плите. – Ну пррредупррреждал же: берррежней с маккулатурррой... Вот так с детьми связываться. А что за имя чуднбе такое – Дьюрррька?

– Говорит, родители в честь какого-то венгерского коммуниста назвали.

– А-а, значит, пррродители здорррово пррросчитались с ним, похоже... Ну, и каковы твои прррогнозы – будет он с тобой общаться

Елена опустилась на стул у стены и почувствовала, как от его жеманно растягивающей гласные картавни вдруг сладко кольнуло под ложечкой – вспомнилось, как в детстве, самом раннем, сладком, блаженнейшем, певучем, косноязыком детстве, любила по утрам на даче в Ужарово, чуть проснувшись, орать матери: «Ма-а-а-а! Чаю с хахалем!» – валяла дурака, даже когда все буквы выговаривать уже прекраснейше научилась. «Ма-а-а-а!... Чаю с хахалем!» – выставив только нос из-под одеяла, Елена прекрасно знала, что орать нужно что есть сил, так, чтобы доораться до фруктового сада. А иногда – ори – не ори, на крик виновато прибегала, с низенькой белой кружкой крепкого чая в искореженных артритом смуглых руках – совсем не Анастасия Савельевна, а бабушка Глафира – если Анастасия Савельевна спозаранку уехала в Москву за продуктами, или на работу. «На вот, смородинки, – протягивала Елене Глафира крупных, разномастных, матовых иссиня-черных ягод, среди которых не было даже двух одинакового размера – одна как вишня, вторая с горох, а третья с бисерину! – выпрыгивающих, разбегающихся, набитых в морщинистой скрюченной горсточке. – Растолки в чайкѐ!» И Елена, злясь (как это так: мать вечером только что была здесь, под рукой – а сейчас усвистала куда-то, без спросу), крайне сердито принимала подношение – еще и потому, что ладошки у Глафиры были всегда смертельно прокурены беломором. Дачей назвать этот гниловатый столетний бревенчатый дом в глухой деревне под Москвой было, впрочем, трудно – разве что в честь женскими руками – по планочке, по реечке – пристроенных террасок и веранд, выкрашенных в цвета самые немыслимые, благодаря которым подслеповатый холодноватый хромоватый дом распахивался радужной фата-морганой навстречу сразу ко всем сторонам света, подставляя максимум маленьких верандных клавиш солнцу, на которых играть в каждое произвольно избранное время дня, когда солнцу только взбрендится – так что переходить для чаепития, вслед за движением и капризами солнца, можно было – по часовой стрелке – то в террасу Анастасии-Савельевнину – выкрашенную в нежно сливочно-вишневый, а то – в бабушкину, Глафирину – аккуратно выбеленную безукоризненно белым, – а то на Матильдину (о Матильде и бабушка Глафира, и Анастасия Савельевна всегда говорили таким само собой понимающимся веселым тоном, как будто она и не думала умирать, за

несколько месяцев до рождения Елены, а до сих пор жива – так что для Елены этот незамысловатый мистический аттракцион звучал примерно как запросто сходить попить чайку к покойной прабабке, которую она никогда в жизни и не видала, в гости), лазоревую; или – на закатную, просторную, продолговатую, оранжевую, открывающуюся с двух сторон веранду, которую Анастасия Савельевна в шутку называла читальным залом, и в которой, если неаккуратно распахнуть верандную раму на заросли бордовых пионов, в стекла туго стукались крепенькие, еще не готовые распуститься бутоны – а в грозу так хорошо шумели здесь мокрые столетние липы и сирень. Возле Глафириной, белой, терраски буйствовала гигантская, ярко-фиолетовая Недотрога (позднее распознанная в ботаническом атласе как *Nolitangere*), ростом вымахивавшая за два метра – ботаническое существо мощное и загадочное – загадка заключалась, в основном, в названии, вопреки которому эта Глафирина любимица, которую никто никогда не сеял и не лелеял, кроме солнца, не только не казалась ни хрупкой, ни уязвимой – а еще и умела отстреливаться. Фиолетовые, в фасоне рококо, висячие цветы-напёрстки, – в которых наперебой гащивали бело-черно-оранжевые летучие сенбернары – шмели, – источали острый, стручково-настурциевый, чуть со слащавинкой, запах – который щёлкал изнутри по носу так же, как лопнувший, стрельнувший коробочек Недотроги, вызревший, перезревший, взорвавшийся в конце августа. Причем, на случай, если бело-черно-оранжевая шмелиная задница загостится и застрянет, и обратный ход, от пережору, будет невозможен, фиолетовые напёрстковые горницы с амброзией снабжены были специально пристроенным хитрым запасным пожарным выходом, с маленькой мягкой лиловой горкой, откуда шмели кубарем скатывались, как пожарники по сигналу тревоги. Кубического окна в крошечной избяной комнатке Глафиры было за зарослями бамбукостволых Недотрог уже почти не видно – но солнце до ее крестообразно разделенных медвяных стекол все равно, как шмель за нектаром, регулярно какими-то хитрыми секретными тропами пробиралось; а шмели жили и жужжали буквально здесь же, в удобной близости к раздаче гостинцев – в стене бабушкиной комнаты: между бревенчатой кладкой и внешней деревянной тонкой стенкой, утепленной мхом и паклей. И если, находясь у бабушки в комнате, выбрать в стене верное место и слегка постучать кулачками – и быстро

приложить ухо – то можно было услышать, как весь ленивый обожравшийся рой встревоженно отвечает тебе из стены, как в телефонную мембрану: «Чего надо?», и бабушка Глафира чудовищно расстраивалась и ругалась – будто у нее со шмелями был заключен договор о мирном сосуществовании – а теперь вот их «пугают». Такой же договор был у Глафиры заключен и с чьей-то приبلудной деревенской злющей старой черной сукой, раз оценившейся у нее под высоким косым крыльцом – все (и собака, и восемь бутузов-кутят) моментально оказались перенесенными в Глафирину комнатку за печку (чтобы деревенские не нашли щенят и, по славной русской народной традиции, воспетой деревенскими поэтами – не утопили бы); и – под угрозой чудовищных скандалов – Глафира не разрешала никому (даже Елене) кутят тискать: «Ленка, убери немедленно руки – мать их бросит и кормить не будет. Придется из пипеток выкармливать». А чуть подросших, лоснящихся кутят раздавали готовым их усыновить, съехавшимся из Москвы гостям, на дне рождения Анастасии Савельевны, – и в саду под яблоней выставляли круглый деревянный разошедшийся стол под клеенкой в яблоках, который, путем всегда загадочных для Елены манипуляций (круг внезапно раздвигался, и снизу что-то раскрывалось, как здоровенная деревянная книга), наращивали до овальности – и которого, как и стульев, все равно на всех гостей не хватало – и сидели кто на траве в солнечных пятнах под деревьями, кто на косоногих садовых табуретках, а кто в гамаке между белой сливой и ранеткой, и Глафира приносила в ковшичке, из нежилой («Холодной», как ее все называли) огромной комнаты, винно-благоухающую, фруктовую, собственноручного изготовления, бражку (стояла в «Холодной» комнате, на полу, в двух пятидесятилитровых прозрачных бутылках, замотанных холстом поверх пробки – среди ржавых разобранных панцирных кроватей и прочего хлама; и когда Елена, прячась от жары, в Холодную комнату забежала, на поверхности загадочных бутылей можно было рисовать мизинцем – от пыли), и Глафира пела грудным, глубоким, с чуть дрожащими в диафрагме нотками, меццо-сопрано – старинные романсы, а Анастасия Савельевна, уступая Глафире абсолютное первенство в вокале, читала стихи – и обе, разлив гостям бражку, браво чокалась гранеными фужерчиками и браво же опрокидывали их.

Были здесь в саду, помимо за версту сладко разящей, идеально-кислейшей (такой кислой, что даже казалась на донце сладкой) антоновки, сладкой перечной анисовки, горькой крошечной ранетки, и других знаменитостей, какие-то особые, безымянные, огромные – и как будто чуть приплюснутые сверху – шершавые на ощупь, выкрашенные грубоватой смесью бордово-розово-зеленого, самые замечательные яблоки, с бело-желтой сочной мякотью, и с чуть заметными алыми прожилками – так что когда Елена надкусывала их, никогда не бывала уверена: не прикусила ли губу – как будто бы губа оставляла кровавящие метки. Впрочем, нередко бывало, что прикусывала и вправду: уж очень хорош был кисло-сладкий сочный аромат.

За гнилым покосившимся сараем (где Глафира хранила кривые грабли с занозами, канистры с керосином – для волшебной лампы на случай грозы и смерти электричества – и для яств на маленькой конфорке, на которой всё и готовила – так что даже жаркое из лисичек, подосиновиков и белых грибов аппетитно тянуло горелым керосином) прямо на участке царил густой, непролазный дикий малинник – и Анастасия Савельевна частенько, заставив Елену натянуть сапоги и плащ («Где малина – там и крапива!» – с уморительным выражением лица предупреждала она каждый раз перед отважным входом в малинный лес) и, подвязав к поясам обеих на бечевках «битончики» (большие бидоны назывались у нее, почему-то с буквой «д» в сердцевинке, а маленькие – с мягкой буквой «т»), играла с ней в Большую и Маленькую Медведицу, и Медведица Маленькая, потонувшая в малиннике с головой, идущая по колкой, кусающейся малиновой тропе за спиной Медведицы Большой, никогда, никогда не дотягивала до того, чтобы накрыть малиной хотя бы доньшко алюминиевого битончика (которое Анастасия Савельевна зачем-то выкладывала газеткой) – выжирала всё, жадно, всмятку, руками, во время опасного путешествия – а потом еще и бесстыдно участвовала в дележе добычи Медведицы Большой: из битона Анастасии Савельевны малина высыпалась в большую эмалированную желтую миску, обмывалась, засыпалась сахаром – Елене выдавалась ложка – но это уже было не то, совсем не то.

На задворках был собственный прудик с мокрой замшей тины – два на два метра: Анастасия Савельевна резкими щелчками большого

и указательного пальцев умела смешно передразнивать судорожную мимику скользящих по глади водомерок. А за ним, на задах, уже за забором росли громадные дикие груши, поспевавшие... да нет, никогда толком не поспевавшие – так всегда и остававшиеся синеватыми, с горчинкой, деревянными, в которые нужно было вгрызаться – не без риска оставить в груше всю челюсть – но бесконечно вкусными. Ни сорвать, ни сбить ничем груши было при этом невозможно – ни на какой поклон к человекам дикие груши, пользуясь своим дичайшим, заборным статусом, не шли – вымахали ростом с пятиэтажку – и только сам-себе-кум решали, когда одарить кого, по лбу, падающим плодом. Ах, эти груши... Весной, когда они зацветали, Анастасия Савельевна, считая страшным грехом пропустить такой спектакль, с такими норовистыми актерами и со столь богатыми декорациями, – с легкостью школьницы «сняла» Елену с занятий (то есть, на пару-тройку дней прогуливала с ней вместе школу, готовясь после этого, как обычно, написать учителям извинительную записку про внезапное ОРЗ дочери) и везла в деревню Ужарово, глазеть на безумные меренговые, манжетные, фонтанжевые, глазурно-белоснежно-гуашево-грушевые кружева. Земля в деревне была в эти дни еще сырой, скользкой, голой, дом – казался ледяным, не протопленным, накопившим в себе всю зимнюю грусть и отчаянную деревенскую бесприютность – и идти в него – даже чтобы попить чаю – не хотелось; шли греться и ночевать к соседке – деревенской бабе Дарье Кирьяновне, очень черное (от работ на солнце), очень большое, поцыгански скуластое сморщенное лицо которой было как вывороченный наизнанку куриный желудок. Родители Дарьи Кирьяновны до революции в том же самом доме держали трактир, да и она пыталась подзаработать, устроив, тайком, подпольный постоялый двор – и иной раз во дворе у Кирьяновны застать могло посчастливиться даже настоящую подводу с настоящей, живой гнедой лошастью, без всякого предупреждения пускавшей густую, настоявшуюся, желто-коричневатую, мощную пивную струю.

«Кирьяновна, Бог в помощь!», – кричала мать, едва завидев огромный опрокинутый красный фланелевый зад Дарьи Кирьяновны, копошившейся на огороде. И Кирьяновна, отирая руки о всегда повязанный, почему-то, поверх платья, темно-бордовый передник, и поправляя коричневый грубый шерстяной платок на шее поверх рвано-

дубленого, по пояс, полушубка и ярко-зеленой вязанки, уже бежала, шибко кланяясь на ходу, заискивающе улыбаясь и счастливо причитая на всю деревню (считала почему-то лестным «дружить» с городскими) – ставила чайник на неизмеримо жарко истопленную печь в своей настоящей, высокой, теплой избе. «Пейте, пейте, ешьте сколько хошьте – третьего дня пенязя была», – приговаривала Кирьяновна, пододвигая к ним граненые прозрачные стаканы, до краев налитые обжигающим кипятком (так что страшно было даже, что стекло лопнет), чуть подкрашенным прозрачной же желтой бурдой, неизвестно, как много дней назад заваренной, и отрезав щедрые влажные шмотки сероватого хлеба. «Да сыпай, сыпай, не стесняйся, – округло горланила Кирьяновна, с грохотом подкатывая к Елене по столу поближе такой же граненый стакан с обвалившимися сахарными окаменелостями, где, судя по коричневым и черным отметинам и разводам, кто-то уже недавно проводил археологические работы – и выдавала ей для сахара огромную белую гнутую суповую алюминиевую ложку. И Анастасия Савельевна никогда бы, под страхом смерти, не решилась бы вымолвить Кирьяновне цель визита – «любоваться цветением груш» – а только смущенно кивала, когда Кирьяновна догадывалась: «Ага, ну да, присмотреть за домом!» «Ну да езжайте теперь, с Богом, за домом я присмотрю, не волнуйтесь слишком-то. Ага. Чего ему сдеится-то. Ага...» – напутствовала их, картинно кланяясь им до пояса, с большущей красивой челобитной амплитудой руки Кирьяновна – чем вгоняла в краску Анастасию Савельевну, не знавшую, как прекратить это Кирьяновнино вечное крепостное, наследственное раболепство. Кирьяновна была по-скотски жестока к животным. И могла (как говорили по деревне) отдать знакомым браконьерам убить свою собаку – за то, что та была слишком доброй и не лаяла на чужих. По отношению к собакам в ней вообще чувствовалась какая-то звериная конкуренция за жратву. Но Кирьяновна помнила бабушку Глафиру. И этим для Анастасии Савельевны (закрывавшей, из последних сил, уши на все сплетни) Кирьяновна становилась ценней, чем все ее возможные и невозможные достоинства на земле. В памяти старухи Кирьяновны каждое лето соседский, дачный, дом, с непростительно заросшим, по деревенским меркам, буйно-диким садом, разделенный с ней

покосившимся заборчиком, все еще был заселен и Матильдой, и Глафирой.

Восемь лет прошло с тех пор, как в проклятое олимпийское лето, ровно перед тем, как Елене идти в первый класс, умерла Глафира. Восемь лет прошло с начала школьной пытки – когда в жизнь Елены вторглись чужие, неумные, наглые, пустые, стадные, скандальные бесталанные люди, пытавшиеся насильно плодить из доставшегося им биологического материала класса себе подобных.

Назло дуре-зоологичке Агрипине, твердившей с идиотским энтузиазмом на уроках, что смерть и разложение – это «естественный процесс жизни», вот она – живая бабушка Глафира с живо подколотыми на затылок, и живо из-под спилек распадающимся, длинными седыми локонами, сидела сейчас, на крутом крыльце, прямо на верхней ступеньке, как ни в чем не бывало, в своей старой цыгейке поверх халата, и раскуривала, зажав в морщинистых, артритом перекрученных пальцах, беломорину. И между крыжовником и обвалившимся в этом месте гнилым, серым, всегда сырым деревянном забором, над осокой в предсумеречной дымке дергалась отогнанная куревом комариная кисея.

– Чего ты улыбаешься? – чернó зыркнул на нее, мельком обернувшись опять Крутаков.

– Да так, ничего... – отвернулась она к синему, надышанному чайным чадом окну – живой запотевший лунный камень, пробившийся в мизерную прореху не до конца задернутой грязной шторы.

– Нет, что значит ничего? – Крутаков быстро дунул на жижу в заемной, зеленой чашке, отхлебнул – одного воздуха – но и им обжегся, поставил чашку обратно, и, то ли правда обидевшись – то ли ловко прикидываясь обиженным смешно забарабанил дурацким своим маникюром по приготовленной для Елены дымящейся уже кружке: – Нет, мне прррямо-таки любопытно – что такого веселого я умудррилсЯ сказать, сам того не заметив?

Елена, с ощущением абсолютнейшего, ледящего все тело, мурашками ниже локтей бегущего, безумия этого поступка – как будто из собственного живого жаркого сна чуть ли не в ночной рубашке вдруг выходит на холодную улицу – и произносит чужому совершенно не знакомому прохожему нелепые (для него) слова, кодирующие реальность ее сна, – с одинаковым лунатическим риском, что он либо

примет ее за сумасшедшую – либо схватится за это слово и вдруг угадает, подсмотрит ее сон, – но все-таки, давась, в смертельном ужасе от себя и собственных слов, медленно выговорила:

– Ну... Просто... Я когда маленькой была, всегда просила у мамы по утрам чаю с хахалем... Так выговаривала. Как только просыпалась...

Крутаков встретил это каким-то особым тихим смешком, который она уже от него раз слыхала – не смеялся вслух – а как будто старался сдерживать смех, тихо выдувал воздух через ноздри, смеялся одними ноздрями, – и тут же, явно заметив ее смущение, быстро переспросил:

– Ты что, действительно... – Крутаков сделал паузу и добавил с каким-то издевательским подозрением: —...чай с сахарром любишь?

– Ненавижу. Ничем невозможно так изгадить вкус крепкого чая, как сахаром, по-моему.

– Уф, ну хоть это ха-а-арра-ашо.

Почему это хорошо – Елена так и не узнала – Евгений, прихватив чай, ушел говорить с заглянувшим на кухню автором (рослым красивым молодым человеком с тревожными губами, которые он все время жевал, и с карими волосами, забранными сзади бархоткой – тем самым, что поддержал ее в предыдущее воскресенье во время дебатов: теперь он притащил для публикации лично проведенный экспресс опрос москвичей за отмену шестой статьи) в Дябелевскую комнату, а она побрела по коридору к гостиной, чувствуя в обжигающихся ладонях вдруг возникшую забавнейшую магию: Крутаковская кружка как будто окружала ее лучащимся полем неприкосновенности – во-первых, с ней она чувствовала себя почему-то гораздо увереннее, во-вторых, опершись на правый косяк двери при входе в гостиную, и, наблюдая многоголосый бедлам – и при этом прихлебывая, она как бы была при деле – важнейшем, причем, деле: чай пила, – и вполне могла позволить себе не заходить внутрь. «Вот он – Крутаковский фокус», – с удовольствием подумала она – и, заметив, как Вадим Дябелев делает ей со своего стула у ближней стены зазывающие знаки быстро взмывающими бровями и сливочными морщинами, поднимавшими его кучеряво-терьерью прическу как парик – с наслаждением указала ему на кружку, как на алиби. «И вообще – раз уж я сумела спровоцировать комсомольского секретаря нести антисоветчину на уроке истории, – со смехом подумала она, – то уж и с этими-то несчастными апологетами

приклеивания коммунистам человекообразных масок на рожи – вполне могу ни в какие дебаты не вступать – а наблюдать только как зоопарк».

Мирное наблюдение, впрочем, немедленно кончилось – при обсуждении причин голода в стране и абсолютного отсутствия жратвы даже в московских магазинах, и возможных экстренных экономических мер по преодолению голода, из дальнего – по левую руку, у окна – угла, который она не вполне могла обзирать из-за деки раскрытой двери, лысоватый гипнотический мужик, смахивающий на пьяного Распутина, начал вдруг зачитывать матерщину из какого-то (самиздатовского тоже, кажется) журнальчика:

– Не продадимся... – встав, и со смаком, неожиданным фальцетиком, скандировал мужик, – ...сионистским ублюдкам за миску чечевичной похлебки!

Возник хай. Дябелев объявил голосование за то, чтобы лишить скандалиста слова. Другие голоса требовали отказать ему от дома – раз он носит черносотенские журнальчики. Третьи требовали объявить перерыв по случаю никотинового голодания. Чтобы не быть затоптанной, Елена немедленно, забыв про всю наблюдательскую чайпитничающую томность, ретировалась на кухню.

– Дурдом, правда? – неожиданно вменяемым тоном переспросил ее, изящно вплывая в кухню и присаживаясь рядом с ней на табурет, смазливый, миленький русоволосый дурачок в косоворотке, которого она тоже пару раз у Дябелева уже видала. – Всё не о том они все говорят... – и, подвесив фразу в воздухе, явно ожидал ее реакции. И когда реакции (кроме заинтригованного прихлебывания из почти остывшей Крутаковской кружки) не последовало, визитер вдруг понес абсолютно невменяемые вещи – абсолютно вменяемым тембром – периодически останавливаясь, и явно здоровыми и, как ей даже показалось – холодноватыми, рассудочными волоокими очами внимательно следя за ее реакцией. Диссонанс показался загадочным, и Елена как будто даже было обнаружила себя втянутой в разговор, порой с простосердечием переспрашивая:

– Какой-какой Сучандра?

Или:

– Я не поняла: какие, вы говорите, шрамы есть высоко в тибетских горах?

– Милый дrrрруг, иль ты не видишь? – иронично проговорил Крутаков, – который, уже, по всей видимости, какое-то время, стоял и наблюдал за их беседой, незамеченным, в балетной позитуре, в проеме кухонной двери, уже одетый, в куртке.

– Вижу-вижу! – рассмеялась она, едва веря ушам, радуясь смешным картавым позывным.

И как только Крутаков мотнул головой, она, не спрашивая ни слова, выскочила за ним из квартиры, схватив свою куртку – увидев, как в прихожей он чернó зыркнул в глаза собственному отражению в захламленном чужой тусклой одеждой и телами зеркале.

Когда они вышли во двор, на небе уже репетировала грядущие морозные перехваты ночь. Обжигающе полупрозрачные ледяные синие тени на пепельном стылом огарке луны гладко, проскальзывая без всякого зазора, носились с гадкой, неприятной галлюциногенной скоростью – с каждой секундой подмораживало все злее, и, по мере обратного – в морозной, отрицательной, опрокинутой минус-вечности – бесчинства ртути, видения на небе всё больше напоминали бред человека, у которого подскакивает гриппозный жар. Желания гулять на этом неприятном, неясном, мрачном, морозце, не было ни малейшего – и Елена внутренне уже костерила себя на чем свет за то, что заявила сегодня к Дябелеву так поздно, под вечер (желая продемонстрировать Крутакову, что у нее тоже есть полно, кроме него, дел).

– Ну, знаешь ли, голубушка: «сволочь» – это твой Дьюрррька еще мягко его пррриложил, – тихо, стоя с ней рядом в темном дворе, возле козырька подъезда, хохотал Крутаков, – когда Елена быстрой скороговоркой, чтобы успеть, пока они сейчас расстанутся, впопыхах дорассказала ему цимес диверсии с «Вольной мыслью» в школе – а именно – довесила тех прямых цитат из Дьюрьки, которых, по какому-то инстинктивному загадочному внутреннему запрету, не стала произносить в стенах Дябелевской квартиры. – Уверрряю тебя... – раскатывался Крутаков, – ...сволочь и убийца – это еще очень мягко и интеллигентно! Нобелевский лауррреат Иван Алексеевич Бунин – так тот иначе, как косым лысым сифилитиком Лукича и не кликал!

Елена на секунду опешила, не понимая, шутит он или всерьез – и тщетно пытаясь приладить указанные цитаты к известным ей, публиковавшимся в Союзе, рассказам. И, застыв возле подъезда, и подгибая изнутри озябшими пальцами вытянутые рукава своей куртки

вместо варезек, не знала, как растянуть минутки разговора, неумолимо сжираемые зашкаливающим холодом.

– Да ты еще, кажется, классику не читала? – рассмеялся Крутаков. Поежился, сведя плечи. И запросто предложил: – Ну что, поедем ко мне в гости, что ли? Холодно здесь торррчать.

XIII

Тот сорт остановок метро, вернее – ту запредельную степень отверженности жилья от метро, ту неисследованную никем и никогда до конца, и неисповедимую, тайгу новостроек, в которую вез ее Крутаков, Анастасия Савельевна, обыкновенно (когда случалось метаться в такие гости), между собой, учтиво перефразируя народное наречие, лирично называла: Лыково-Перекукуево.

Впрочем, Крутаковская станция метро была всего-то в двадцати минутах езды от Пушкинской – не такая даже и окраина, но уж там нужный автобус не пришел, а ненужный – завез их куда-то не туда, и шли они уже минут двадцать пять, а все не было конца и края смерзшимся газонам с полынными обрубками и кленовыми остовами торчком во льду под ногами, и пустынным озверевшим заледеневшим детским площадкам (где страшно было и представить, как притронуться к режущим, наверняка, от мороза, отблескивавшим от фонаря как клинок, железным обезьяньим дугам), и страшным, неосвещенным изнутри бойлерным с двухслойными бронебойными мутно-бутылочными стеклами в полстены, мимо которых по диагонали они шествовали, и очень высокоэтажным, очень блочным, и очень смороженным на вид домам с морозными огоньками, мерцавшими, как из снежной избы – так что казались все эти здания Елене уже одним и тем же навязчивым домом, – который, как оборотень, вырастал все снова и снова у них на пути, – просто, подворачиваясь разным углом и ракурсом, – и казалось немыслимым, что дома все такие одинаковые, из таких одинаковых кубиков сделанные – и, что – нельзя, что ли, из всего этого конструктора скомбинировать скорее уже нужный дом и подъезд?! И казалось, что замерзнут они сейчас посреди этих без всякой системы промозгло неверно светящихся многоэтажных чужих кухонь и яростно

блистающих шестнадцатизэтажных шахт мусоропроводов – как ямщик в степи.

– Я, знаешь, честно говоррря, тоже удивлялся всегда даже не тому, почему люди старррших поколений не сверрргали советскую власть с голодухи или от несвободы – а тому, почему они не поднимали бунт пррротив этой вот всей визуальной диктатуррры, пррротив депррресухи в арррхитектуррре, против хрррущев и вот этой вот всей многоэтажной дррребедении, – рассмеялся Крутаков, когда Елена, стуча зубами, спросила его, наконец, уверен ли он сам, что знает, куда между этими одинаковыми домами идти.

Многоэтажный дом, к которому Крутаков ее, наконец, наискосок через палисадник между двумя другими домами – и, дальше, обогнув угол – привел, оказался еще и изящно облицован кафелем, как неизвестное общественное заведение.

Потолкавшись с Крутаковым в тесненьком автоматическом лифте (в доме, судя по лифту, было очень много собак) – доехали на запредельный этаж. Домашние полотняные половички, минутное смущение от необходимости снимать под взглядом Крутакова дурацкие, кооперативные, с Рижского рынка, черные дерматиновые, кукольные, на высоком каблуке, полусапожки (казавшиеся ей сейчас еще более неуместно детскими и кукольными, когда она присела на какую-то завалинку в столь же узенькой, как у них с матерью, прихожей, – из-за дерматиновых отворотцев, а так же из-за того, что завязаны они были, под отворотцами, желтыми, отдельно купленными, круглыми шнурочками, бантиком), – темный коридор, ведущий куда-то, где, под закрытой дверью, вместе с узкой полоской уютного, коврового, света теплились чьи-то голоса, – неожиданное чистое домашнее тепло, – быстрый маневр Крутакова из прихожей в дверцу налево, – пинг-понговый звук дерни-за-веревочку-верхнего-света – и они уже оказалась в очень маленькой – точно такой же как ее собственная – ярко освещенной комнатке – с той только разницей, что Крутаковская комнатка не частично (в отличие от ее собственной), а абсолютно вся заросла, с низу и до потолка, книжными полками. Свободное от книг место оставалось только для узенького темно-коричневого письменного стола, боком приставленного у окна (заваленного, впрочем, книгами тоже) – и – на противоположной стороне – узенького желтенького диванчика с низенькими,

поставленными в ряд, параллелограммами диванных подушек вдоль стены. И даже над диваном чересчур низко (как быстро убедилась Елена, резко туда усевшись – и пребольно стукнувшись башкой) нависала скала книжной полки: нижней – в простирающемся и здесь, до потолка, книжном стеллаже.

– Нет, ну не все, конечно, там прррям вот подрряд гэбэшники, – Крутаков, усевшись у письменного стола, развернув вертящееся кресло в ее сторону и как-то взбрыкивая то и дело жаккардовыми шерстяными плечиками, стяхивая остатки холода, музыкальными руладами продолжал прерванный на улице разговор. – Есть, прразумеется, и пррросто сумасшедшие – но, уверряю тебя: этот юрродивый с шамбалой – самый что ни на есть циничный пррройдоха. Ходит прррисматривается к людям, пррррслушивается к пррразговоррам, пррроверряет людей – под такой вот трронутый, полоумной маской.

– А зачем же ты туда ходишь?! – оторопела Елена.

– Ну, это в некоторрром прроде моя пррбота. Или хобби – как хочешь называй. А как бы я иначе людей оттуда вылавливал? Вот, тебя встррретил, напримеррр – ненарроком... – рассмеялся он. – И, крррме того, то что я прррошу тебя быть крррайне осторррожной, если ты туда еще прраз когда-нибудь пойдешь, соверрршенно не значит, что...

– Да никогда я туда больше не пойду после того, что ты рассказал! – отплевывалась Елена.

– Так вот, то что я тебе прррассказал, – смеялся Крутаков, – соверрршенно ведь не значит, что туда не пррриходят хорррошие люди. Вот, ты же видела – сегодня парррень пррриходил – замечательный честный технарррь, инженеррр, у которррого внезапно совесть пррроснулась. Ну, что тебе дать с собой почитать? – сменил он вдруг резко тему. – Выбиррай! – крутанулся он на кресле обратно к столу и покотился по кругу, гордо оглядывая свою библиотеку. – Всё сам, между прррочим, собирал, по книжечке. Аста-а-арррожной же, гава-а-арррю же тебе... – жеманно запричитал Крутаков, когда Елена, рванув резко, в восторге от предложения выбрать книги, за секунду спрыгнув с дивана, втемяшилась опять головой, с отвратительным стуком, в низенько нависающую над диваном книжную полку. – Башку пррразобьешь – это твои прррроблемы, – но ты ведь мне еще и книжки

ррразвалишь! Да, что я тебе обещал? Бунина? – Крутаков поднялся и метким движением разом выискал и цопнул книжку на противоположном стеллаже. В руках у Елены – к ее буйному восторгу – оказались сильно потрепанные, с потертой шершавой обложкой с загнутыми уголками, мелкоформатные, багровые Бунинские «Окаянные дни» – изданные за рубежом. А через секунду – еще и голубенькая тетрабочка «Петербургских дневников» Гиппиус, опубликованных так же за границей. – Ну, на неделю тебе хватит, я надеюсь? – переспросил Крутаков – и тут же взглянув на ее (видимо, чересчур красноречиво выразившее обиженный ответ) лицо – расхохотался: – Ха-а-арррошо, ха-а-арррошо, ищи, выбирай что хочешь. Только чуррр книжки не заигрррывать. Верррнешь через неделю. У меня полно людей, которррым почитать надо.

Уже через минут пять блуждания по его стеллажам, Елена поняла систему: изданные в совке книжки (любовно, впрочем, по крохам, по поэтическим крупинкам, подобранные) туго, по-солдатски подпирали друг друга плечами – а весь «тамиздат» покоился, как на облаках, горизонтально – а то и был заложен советским изданиям за шиворот – причем Евгений явно наизусть прекрасно знал, где что именно лежит, так, что, то и дело выдвинув вперед пару-тройку торчащих в строю книжек, как будто нажав какие-то гигантские потайные кнопки, ловко вытаскивал из-за них новый перл, который Елена тут же жадно захапывала.

Крутаков, тем временем, ходя с ней рядом по периметру книжных копей, как будто сказки рассказывал – сказки, которые она, наслаждаясь его смешной картавней, тем не менее, из-за оглушенности избытком книг, почти пропускала мимо ушей. Выяснилось – как-то между томов – что отец его был репрессирован – был в лагерях, но выжил. Елена ошарашенно развернулась к Крутакову (с тремя книжками, жадно зажатыми в руке и еще дюжиной в обеих подмышках) и хотела было задать чудовищный вопрос – «за что?» – но тут же вовремя одернула себя. Так же, как Ривкина семья, мать Евгения, когда мужа отправили в лагеря, должна была уехать из столицы; Евгений, после освобождения его отца, родился на Урале и жил там до окончания школы – а в Москву вернуться семья смогла только когда ему надо было поступать в институт. Когда Евгений упомянул, что, в Москве он учился в полиграфическом институте, на

журналистике – Елена, моментально вспомнив Склепа, улыбнулась, подумав: «Что у них, там, в полиграфическом – маленький заводик по производству изысканных воронокудрых отщепенцев?!»

– Ты чего смеешься?

– Да нет, ничего.

– Ты опять за свое: что значит «ничего»? Смех без пррричины – знаешь пррризнак чего? Дурррачина!

– Ну, просто у меня учитель литературы один был... – растеряно, вполне осознавая, что ее слова, собственно, никоим образом никакой яркой живой реальности, за ними стоящей, не передают, все-таки попыталась объяснить Елена. – Его выгнали... Из полиграфического его, кажется, тоже выперли, когда он там преподавал... На журналистике... Он там, кажется, тоже и учился...

Крутаков довольнейше рассмеялся:

– А, ну так это понятное дело – поступить же без блата и без идеологии ни в универрр, ни в какое ддрругое место на гуманитарррный нельзя было, крррме полигрррафа! Не в пед же идти – пррраво слово, прррости за выррражение! – весело добавил Крутаков и перешел к стеллажу, ближайшему к двери (которую сразу же, как они вошли в комнату, плотно за собой закрыл).

Не переставая балагурить, Крутаков явно все больше увлекался амбициозным, и немножко издевательским, азартным поиском для нее тех авторов, которых она не просто не читала, а о которых даже и не слышала.

– А потом – пррредставляешь! – даже немножко поррработал фальцовщиком!

– Работал фарцовщиком? – рассредоточенно, вертя в руках американскую книжечку стихов Ходасевича, переспросила Елена. – И, что ж – хороша работа?

– Фа-альцовщиком! Говорррят тебе. Дурррында. Ты что, не знаешь, что это такое? В типогрррафии, фальцовщиком.

Тут взгляд Елены упал на его письменный стол, где, за стопками книг, с правого боку, у самого окна, лежал... Как будто бы большой темно-синий плосковатый ящик – с каким-то интересным рисунком на боках. Не слишком ловко себя чувствуя – как будто подглядывает что-то запретное, – но и не в силах уже почему-то оторвать боковой взгляд от этого предмета, – она (делая вид, что рассматривает уже

прикарманенные книги) – как бы за кулисами их непрерывной беседы, гуляючи подошла к окну с хлопковыми занавесками в подсолнухах – и вперилась в ящичек, почему-то как будто загипнотизировавший ее. Ящичек оказался перевязан, поперек, чистенькой светло-розовой матерчатой бечевочкой, бантиком, смотревшимся прямо как желтые шнурки на ее оставленных в прихожей сапожках. Чувствуя, как краска подступает к щекам от стыда – а тем не менее, остановиться будучи уже не в силах – улучив момент, когда Евгений (с картавой присказкой: «Как?! Марррченко ты тоже не читала?») вытаскивал для нее что-то с верхней полки у двери, Елена (страшно ловко, как ей показалось, молниеносно перехватив нахапанные книги под левую руку) с обморочным любопытством быстро дотронулась до ящичка – и – легонько сдвинула пальцем темно-синюю толстую, прессованного картона, крышку – к ее шоку, оказавшуюся верхней обложкой гигантской книжки. Не спрашивая ничего у Евгения – а наоборот, стараясь действовать плавно и быстро, пока он не заметил, с непонятным зудящим чувством, она развязала книгу и молниеносно откинула крышку. Под кобальтовой тяжелой обложкой (из-под которой выпрастывались перистый марсианский синий мрамор с ярко-алыми прожилками и позолота срезов – как подпушек под крылом жар-птицы), на титульном листе удивительным шрифтом было написано: «Остромирово Евангелие. 1056—57 года. изданное А. Востоковым. Санктпетербургъ. В типографии Императорской Академии Наукъ. 1843». Из-под ребра жар-птицы выбивался ярко-синий матерчатый переплет, будто кручеными нитками обметывали вручную. И если всего лишь минуту назад путешествие, посредством книг, в чудом уцелевшее, выжившее где-то в недосыгаемом заповедье, в запретном зарубежье, свободное русское слово казалось волшебством, – то путешествие в прошлое – да еще и такое глубокое – дрожащей, манящей, зовущей дверцей в которое казалась теперь эта фиолетовая обложка – хотя ни слово Евангелие, ни эпитет Остромирово, ей ничего не говорили, – по ее ощущением, стобяло даже того, чтобы выбросить, как балласт с взлетающего через миг цепелина, все бесценные, набранные до сих пор книги, и выпросить у Крутакова, взамен, только эту. Она была готова поклясться, что вся незаконная церемония высвобождения и разглядывания связанной книги заняла не более

и жарко дышал, по-собачьи, ему в лицо сверху, из небесной высотной будки свешивавшийся гривастый, как будто обруч для приличия в волосы надевший, лев.

– Искони бе Слово... – каким-то хитрым макарон разобрал Крутаков старославянские буквицы в начале. – Крррасота! – чуть отстранился он опять от здоровенного тома и поглядел на него издали.

– Можно... Можно мне это домой? Пожалуйста! Я честное слово через неделю верну тебе! – с неприличной завистью выпалила Елена, уже чуть не подстанывая от жалости, что набрала столько книг – а самую красивую, самую захватывающую дух заметила только теперь.

– Ты же не поймешь ничего, – все еще не отрывал глаз от книги Крутаков.

Елена на это его замечание до жути обиделась, быстро отошла, хлопнулась на диван, отбросив в сторону все набранные до этого и под мышкой придерживавшиеся книги – чувствуя, как от обиды отвратительно пунцовеют щеки.

– Да я не в этом же смысле! – расхохотался Крутаков и быстро присел перед ней на корточки, так что его смоляная башка от верхнего света разом изумительно блеснула всеми длинноволосыми волнистыми переливами. – Ну что ты, пррраво слово, обижаешься на меня все врремя! Я же говорррю, что ты шррифта, вязи не ррразберррешь! Безумно же читать тррудно, даже мне, хотя я старрославянский учил немножко...

Так же быстро встав и взбрыкнув головой, откинув назад волнистую шевелюру (на миг от этого брыка показалось, что жесткие волосы с легким завитком на ровно стриженных концах достают аж ниже лопаток) и подойдя к стеллажу у окна, на книжной полке вровень со столом Евгений принялся что-то выкапывать:

– Может, тебе вместо этого бррррюссельской капусты?

Упоминания о какой-то бррюссельской капусте она восприняла уж и вовсе как глупую мещанскую насмешку – и собралась уже было потребовать, чтобы он немедленно проводил ее до метро – но Евгений вдруг достал маленькую книжицу в пластиковой обложке:

– Если хочешь Евангелие почитать – возьми лучше вот это, бррррюссельское. ХарррЭ обижаться! Ну если хочешь, конечно, беррри Остррромирррово. Я тебе авоську какую-нибудь найду, чтоб до дома дотащить!

В дверь комнаты кто-то боязливо постучался.

Крутаков вышел в темную прихожую и у него под ногами молчаливо и радостно замелькало восьмерками какое-то крошечное существо – а откуда-то слева послышался женский голос. Крутаков, как будто стесняясь, быстро притворил за собой дверь, и Елена только приглушенно слышала как он строго вычитывает:

– Мама, ну мы же договаррривались, что ты никогда не стучишь, если у меня гости и закрррыта дверь! Что случилось? Чапа, перрррестань немедленно...

Сбивчивых тихих извинений женским голосом она уже не расслышала, только переливчатый приятный тембр.

На коврике справа от Елены, ближе к окну, лежал, как домашний пес, четырехтомник – в досягаемости вытянутой руки от узенького изголовья дивана – явно чтобы можно было, лежа, в любой момент дотянуться и погладить. Елена встала и, чуть прищурившись, прочитала название: Толковый словарь живаго великорусскаго языка Владимира Даля. «Ах, вот что Крутаков читает на ночь», – улыбнулась она про себя. Взяла лежавший сверху том – тоже старинное, дореволюционное, издание – совсем, совсем ветхие коричневатые странички – рассыпала ворох, пролистнула осторожно, открыла наугад и с изумлением (без всякого труда – не в пример Остромировым заковыкам – разобравшись с ятями и ерами) прочитала первую попавшуюся статью – «Человек – каждый из людей; высшее из земных созданий, одаренное разумом, свободной волей и словесною речью. Как животное отличается от растенья осмысленною побудкою и образует особое царство, так и человек отличается от животного разумом и волей, нравственными понятиями и совестью и образует не род и не вид животного, а царство человека. Посему нередко человек значит существо, достойное этого имени. Человек плотский, мертвый едва отличается от животного, в нем пригнетенный дух под спудом; человек чувственный, природный признает лишь вещественное и закон гражданский, о вечности не помышляет, в искус падает; человек духовный, по вере своей, в добре и истине; цель его – вечность, закон – совесть, в искус побеждает; человек благодатный постигает, по любви своей, веру и истину; цель его – царство Божие, закон – духовное чутье, искушенья он презирает. Это степени человечества,

достигаемые всяким по воле его. | Служитель, прислуга, лакей или комнатный. Эй, человек, подай, трубку!»

– Пошли, одевайся, собаку пррридется выгуливать, – изнемогающим тоном заграссировал, засунув в дверь голову, Крутаков. – Говоррил же им сто ррраз... Невозможно с ними... Лови авоську – складывай избррраную макулатуррру – я тебя до автобуса пррровожу, поздно уже, тебя мать, небось, ждет.

И Елена чуть не расплакалась у подъезда (некстати, совсем некстати на звенящем морозе), видя, как Крутаков, стесняясь себя, аккуратно переставляет, подхватив под пузо, через колкий крутой сугроб в инкрустированный окурочьими фильтрами, заглазированный хрустким снегом палисадник старую дрожащую маленькую суку черного карликового пинчера с ранимыми лапами и чайными бровями.

Глава 3

I

Последний поезд метро почему-то всегда можно было безошибочно распознать по звуку – и это каждую ночь было для Елены загадкой: ведь до этой минуты к глухой барабанно-контрабасной фуге метро, где-то под домом, высвобождавшейся из-под все более рудиментарного, а затем и вовсе отмиравшего аккомпанемента городского дня (за беззвучной ширмой шелеста страниц – а еще чуть глубже – звуках читаемого), она даже не прислушивалась. И никогда не могла бы сказать, к примеру: «ага, вот эта электричка – предпоследняя». Или – «скоро – час ночи». Однако последнюю, медленную, чуть завывающую на ночь подземельную ноту сразу выхватывала из тишины – и каждый раз настороженно думала: «а может – не ходить завтра в школу? Сколько времени сразу высвободится! Можно будет сейчас немножко поспать – а завтра дочитать». Размышления на тему преимуществ прогула занимали (подспудно, не мешая, впрочем безостановочному чтению) еще с полчаса. Потом эта тема (под наплывом гораздо более интересных текстов) забывалась.

И только уже часа в два, когда веки смыкались и нужно уже было выбирать сразу и между жаждой успеть дочитать за ночь очередные две-три книги (Крутаков всегда был безжалостен в сроках «сдачи макулатуры»), и малодушным мягким земным притяжением подушки (едва только на секундочку позволишь себе из полулежащего, эмбрионального положения выпасть в горизонт), уже нашептывающей туманные сновидения, нагло плывущие, не стесняясь, прямо поверх текста, – а главное страшным, почему-то пробуждавшимся именно в этот час голодом, и – наконец, самой что ни на есть неостроумной (и всегда, к счастью, побеждавшей) идеей сбегать пописать в туалет – начиналась настоящая борьба. Лезть в холодильник на поиски съестного – значило неминуемо разбудить Анастасию Савельевну – а на очередные разбирательства тратить силы сейчас уж точно никак не

хотелось. Забежав на секундочку в туалет, и, на обратном пути голодно взглянув на темную кухню, она возвращалась, подбивала обоими кулаками подушку покруче – и, чувствуя, что между веками можно уже спички вертикально ставить – все равно глаза закроются, – с каким-то спартанским остервенением хваталась за книжку.

Часам к пол четвертого сон (казалось бы, готовый сражаться с ней за кусок жизни, не на жизнь, а на смерть) отступал – четвертый вал борьбы бывал пройден, и дальше – вплоть уже до самой первой электрички метро – в узко приплюсненном жарком желтом кружке ночника, в луче которого летал сверкающий планетарий пылинок, читалось уже легко, и никакие земные, материальные детали от безграничных космических пространств читаемого не отвлекали.

Больше всего ее удивляло то, как странно в этом сжиженном персональном космосе работает время: если будильник на письменном столе напротив ее узкой выдвижной кровати с высоким ассиметричным дугообразным пестрым шелковым стеганым изголовьем, в закрома которой днем можно было складывать одеяло (и которую Анастасия Савельевна почему-то, с разгулявшейся артистической фантазией, называла оттоманкой), профукивал время ночи до оскорбительности скоро, то внутренние, космические часы разом откручивались на семьдесят лет назад, и какую-то необычайную, сиюминутную, сегодняшнюю, актуальнейшую, свежайшую, вселенскую важность приобретала вдруг, например, простецкая фамилия следователя: Соколов – наливалась всей звездной, небесной осмысленностью и справедливостью – и так невероятно важно было вместе с ним, вместе с его героическим, гениальным расследованием, следить за всем сюжетом интриг вокруг захваченной царской семьи – и, всё казалось Елене, что происходит это несказанное злодеяние вот сейчас, что бандиты все еще перевозят Ники и Алекс с детьми с места на место, что еще возможен побег, что еще можно их всех спасти, что все еще можно изменить – как будто финал не известен, – и до таких судорог омерзения потрясала человекообразная личина нелюдя-палача Юровского, под видом доктора осматривающего больного Наследника Алексея и с сатанинской любезностью дающего Царю советы по лечению сына – за несколько дней до того, как всех их убить, – и так до слез трогала смелость доктора Боткина, верного до смерти своим царственным пациентам, –

и так невероятно больно оказалось вдруг, среди ночи, здешними, земными ушами услышать жуткий крик добываемой штыком безнадежно нежной великой княжны.

И почему-то до дрожи потрясала звериная безграмотность одного из убийц, накалякавшего в Ипатьевском доме имя орудия убийства: «леворъвер».

Удивительней всего было чувствовать натянутую до предела, но как будто специально рукой провидения на паузу поставленную, тетиву времени катастрофы – в аккуратно выбранном месте – Екатеринбурге – пауза, запруда, устроенная надисторическим провидением против всяких законов земной, человеческой, звериной, истории, на год – специально для того, чтобы буквально через несколько дней после этого страшного убийства город успели взять Колчаковские войска, и Соколов успел провести свое расследование – ровно час в час до того, как город вновь отвоюет сволочь.

И такую неземную ясность приобретала картинка маленького захудалого французского городка Сальбри, с узкой рекой и серым собором, где, в своем саду, между секвойей и кедром, умер, а скорее всего был убит (успевший вывезти за границу и скопировать бесценные документы следствия – но не доживший до их публикации) сорокадвухлетний Соколов – и ужас охватывал от мысли, какая еще вечность должна пройти – чтоб вскрылись, как страшный нарыв – имена еще и его убийц.

И – одновременно – после чтения с феноменальной точностью выясненных Соколовым детальных подробностей убийства царской семьи – дух захватывало от звенящей уверенности: ни одно скрытое злодеяние, ни одно преступление – даже убийство, совершаемое по заданию захвативших власть бандитов – казалось бы могущих (и по аморальности, и по физическим возможностям, и по запредельной лживости) спрятать следы злодейства – не останется тайным, – рано или поздно – семьдесят лет пройдет или больше – провидение пошлет нового Соколова – и накроет его на достаточное для исполнения труда время защищающей ладонью, и разверзнет завесу над самыми страшными тайнами.

Когда Елена, пребывая в прошлом, вдруг охватывала взглядом отделяющее ее от этого прошлого внешнее временное пространство – все семьдесят лет советского режима виделись глубоким зияющим

черным рвом – временем, вырезанным, вырванным из истории, – причем рвом, до верху наполненным трупами. И как-то сердцем она чувствовала, что жить начинать надо не отсюда, не с этого края рва, не из сегодняшнего дня – а вернувшись в ту точку, где страна все еще была человеческой – и где человеческой быть перестала. Но просто переступить через трупы, через миллионы трупов жертв преступного режима, было невозможно – и, чтобы жить честно дальше, требовалось, увы, неимоверно страшное – в этот ров заглянуть – и дальше как бы жить две жизни: за себя, и за убитых – наверстать, сотворить жизнь вместо смерти. Чтобы уже по сю сторону чудовищного рва жизнь выпустила бы свежие живые побеги.

Всю эту чрезвычайно эмоционально изматывающую работу надо было втиснуть в узкие рамки между последней и первой электричками метро – которые, точно как верхнее и нижнее веко, смагивали время века страшно быстро, успевая, тем не менее, вместить в стекленеющий под утро от бессонницы зрачок оттиск текста; и утренняя, первая электричка, как изумленные, легкие верхние ресницы, отсчитывала уже время до подъема в страшно холодный, и страшно нереальный, колющий, режущий, солнечное сплетение с солнцем вместе выворачивающий, чужой мир.

– Ну что, ты, действительно, хочешь, чтоб тебя из школы поперрри?! – возмущался Крутаков, когда они встретились на следующий день (на секундочку – для перемены книг) на Пушкинский, и Елена, запыхавшись от морозного воздуха, рассказала, как, своровав у матери со времен Глафиры оставшееся (Анастасия Савельевна-то любое домоводство нутряно ненавидела) мулине, вышила на черных капроновых колготках, чуть выше правой щиколотки (ровно в том месте, где у пегаса растут крылья), маленький бело-сине-красный флаг – и отправилась так в школу – и ее выгнали с уроков. – Дуррра, – разорялся Крутаков. – Ну что тебе нейметя? Подожди, навоюешься еще. Школу закончить хотя бы надо.

– Сам дурак. У меня впервые в жизни законный повод прогулять появился! Мне классная руководительница дословно сказала: «иди, Леночка, отдохни домой, я тебя от уроков освобождаю».

Счастью Елены действительно не было предела: Анна Павловна, классная руководительница, преподававшая у них в группе немецкий, маленькая, горланистая, гибкая, под мальчика стриженная женщина

лет сорока, с хорошей фигуркой, и, на удивление, довольно приличная (никогда не участвовала, например, в свальных кровопролитных драках всех прочих учительниц за финские сапоги, которые раз в год завозились в профком, по распределению, в трагическом количестве: 1 пара на школу, – и презрительно за глаза называла визжавших друг на друга из-за обуви алчных коллежанок помоечными крысами; что, впрочем, возможно объяснялось просто: Анна Павловна нет-нет да и ездила в квази-заграницу – ГДР, и одевалась всегда с некоторой сдержанной, но несовковой грацией – длинные светло-серые шерстяные юбки, высокие сапожки без каблучков с двойной прострочкой на широком канте, облегающий молочно-серый свитер из ангоры с широким отворотом) перепугавшись до смерти, почему-то, художеств Елены с вышивкой, тихо подошла к ней на перемене и нудящим голосом настоятельно потребовала пойти домой переодеться. «А что, у меня что-то с одеждой не в порядке?» – елебно переспросила Елена. «Колготки!» – взмолились Анна Павловна. «А что такое – порвались?» – Елена тянула выдержку обеих на разрыв, как капроновую нитку – чья лопнет первой. «У тебя там справа... Вышивка... Иди домой и переодень колготки». «А в чем проблема, Анна Павловна – у меня там порвалось – зацепилось, знаете – вот я и заштопала. Других колготок у меня нет – вы же знаете какой это дефицит». Анна Павловна, со второго класса учившая их немецкому приблизительно как глухонемых – смешными жестами и мучительной мимикой (когда научала длинному «и», например, – в слове spielen – то, подсказывая фонетику отвечавшим урок неучам, указательным пальцем с мучкой на лице выразительно, горизонтально, перепиливала себе жилистое, напряженное горло и кошмарно широко, каучуково растягивала в неестественной натужной улыбке губы: тяни, мол, «шпиииилен!» – а когда учила подпрыгивающему звуку «ng» – подпрыгивала всей ладонь по столу или в воздухе, демонстрируя батут в слове «шпрингэн» – явно физически страдая, когда какой-нибудь дундон дул не в лыку строку), настолько натренировала этой мимикой за много лет упражнений жилистую свою длинную шею да и все лицо, ходившее, вслед законам немецкой фонетики, желваками – что в этот момент Анна Павловна стояла рядом с Еленой возле своего, сорок второго, кабинета на четвертом, с такой страдальческой жилисто-закушенной миной, как будто разом произносила и шпииииилен и

шпрингэн и еще целое море незнакомых Елене немецких слов – и вдруг, неожиданно, не захотев больше играть идиотку, Анна Павловна еще тише попросила: «Лена, я понимаю, что у тебя есть свои убеждения. Но... Пожалуйста! Ради меня. Иди, Леночка, домой, отдохни. Я тебя на сегодня освобождаю от занятий! Завтра можешь прийти в школу хоть не форме, в чем хочешь – хоть в джинсах, скажешь, что я тебе разрешила. Но не в этих колготках. Ради меня...» – добавила Анна Павловна с мукой на превосходно разработанном лице.

– Дуррра, – хладнокровно повторил опять Крутаков. – Перррестань, говорррю же тебе, выпендррриваться в школе. Пррриберрреги пррррыть для чего-нибудь серрррезного. Тебе аттестат нужен. Как ты в универрр свой поступать иначе собиrrраешься? – сжав губы и со злостью выдохнув через ноздри воздух, так, что в окружающем его морозном ареоле аж закружилась пар, Крутаков зыркнул на нее с отвратительным, чуть ли не учительским выражением в глазах, мотнул чернявой башкой, развернулся и пошел прочь по Тверскому бульвару.

– Какой ты зануда, оказывается, Крутаков, а... – Елена недовольно шла за его быстрой, легкой, как будто танцующей фигурой по иссиня-ясному, на яркой снежной эмали тончайшей кистью, чернилью рисованному, до боли в глазах блестящему бульвару, даже не спрашивая куда он направляется – но ни в коем случае не желая расстаться на этой неприятной, скандальной ноте – и крайне тревожась за будущность своего читального билета в его разъездной, карманной, библиотеке.

Все последние разы встречались они, хоть и часто (ритм диктовался ее читательской жадностью, и звонила она ему выклянчить читива через каждые пару дней), да мельком – Крутаков куда-то все время бежал, было ему все время некогда, все время не до нее, и – приняв у нее книги – как пустые бутылки в пункте приема опорожненной стеклопосуды – выдавал ей взамен новые – и уносился по каким-то своим загадочным делам. А сейчас вот, и вовсе, казалось, судя по его злобному виду, готов был прервать с ней знакомство.

– Я вообще не понимаю, зачем я до сих пор туда хожу... Какое они вообще имеют право?! Десять лет жизни отнимают у людей! И чему они учат?! – в отчаянии говорила Елена Крутакову в спину, уже почти на бегу, потому что Крутаков, не оборачиваясь на нее и

продолжая отвратительнейше ругаться, все ускорял и ускорял шаг. – Учителя – это просто недоразвитые закомплексованные несостоявшиеся в профессии уроды, всю жизнь идеологически обслуживающие преступный режим – которые на учениках срывают собственные комплексы... За редчайшими исключениями, которые только подтверждают правило! Чему, чему они могут научить? Только тому, чтобы подчиняться системе, встраиваться в систему, никогда не сметь стать личностью! Ты посмотрел бы на наших отличничков! Отморозки покорные! Дрессированные люди! А звонок! Звонок один чего стоит!

Крутаков, чуть удивленно, еле заметно, зыркнул на нее через плечо.

– Я говорю – звонок! Звонок в школе! Как в казарме! – уже почти кричала она, разозлившись на его ругань уже и сама. – Это же оскорбительно! Что за человеконенавистнический звонок! Как в тюрьме! Зачем нужно оглоушивать этим отвратным блевотным звонком в школе – дрессировать людей, как собак Павлова, а? С урока – на урок! По звонку! Да еще и громкому, как будто бьются тысячи блюдец! Мне просто вот физически неприятен и оскорбителен этот звонок! Что, неужели нельзя просто по ходикам конец урока замечать?!

Крутаков рассмеялся и, наконец, чуть замедлил ход:

– Ну ладно... Дурррында. По ходикам! По пррравде говоррря, я и сам не знаю в жизни ни одного пррриличного человека, которрого бы из школы в свое врремя не выгоняли. Я имею в виду – «выгоняли» как пррроцесс – или как пррезультат, все прравно.

– А тебя? – с надеждой переспросила Елена – вприпрыжку забегая вперед Крутакова и убеждаясь, что Крутаковское (чисто выбритое сегодня) лицо не сверкает больше на нее злющими вишневыми глазами – как всего минуту назад.

– Меня выгоняли как пррроцесс как прраз... За поведение тоже, прразумеется... – рассмеялся он. – По чистой случайности недовыгнали. Ладно. Вали отсюда. Мне бежать по делам надо. Завтррра позвони прррасскажи, что в школе было. Не смей больше трриколорром всуе махать.

Несмотря на отвратительно наглую, на взгляд Елены, манеру Крутакова, обнаружилась у него вскоре одна крайне любопытная черта – наглая же телепатия, что ли – Елена затруднялась определить это про

себя точно: по двум-трем абсолютно случайным фразам или вопросам, брошенным ею во время их коротких встреч, он умудрялся как-то необычайно ловко выискать для нее – и приволочь на следующую встречу каких-то точных, отвечавших ей – или как-то рифмовавшихся с вектором ее довольно капризного сиюминутного, менявшегося день ото дня, интереса, книг – причем (и это она особенно в его интуиции ценила) не всегда согласовавшихся с ее мнением, с ее духом – а чаще даже, наоборот, абсолютно противоположных, цеплявших, раздражавших – и заставлявших делать какой-то шаг с преодолениями препятствий. Эти книги Крутаков приносил как бы случайно – в нагрузку к заказываемым, запрашиваемым, выбиваемым ею эмигрантским романам, стихам и запретной истории.

Так, когда Елена однажды жаловалась, что ума не может приложить, как их учительница биологии, всю жизнь изучая чудеса фантазмагорически сложного устройства растений и животных (и в частности – с таким извечным вдохновением рассказывая про удивительную, совершеннейшую, хлорофилловую фабрику фотосинтеза у зеленых растений – с какой-то стати как бы случайно практически из ничего – из таких, казалось бы, призрачных вещей, как свет, вода и углекислый газ – мастерящую как раз необходимый для жизни человека кислород – то есть, как-то совсем случайно – именно то, без чего мы бы все моментально умерли), как эта же самая Агрипина Арефьевна может быть настолько тупа, что считает, что это все появилось во вселенной само собой – или – еще хлеще: что возникли все эти чудеса по заданию коммунистической партии и с благословения человекообразных идеологов материализма («Может, у этой несчастной прррросто микррроскоп плохой, а? Или что-нибудь в глаза попало? Прррросто-напрррросто эта бедняга, когда глазеет в микррроскоп на прррростейшую инфузорррию-туфельку – не замечает вмятый след сандаля с пррравой ноги Ррробинзона, оставленный на песке специально для одичавших аборрригенов-пятниц с дикого необитаемого острррова советской науки! Она, небось, и биологии-то еще по этому долболобу Лысенко училась!» – иронично отповедал Крутаков), притащил ей в следующий раз советскую пропагандистскую книжку про одного из видных основателей материализма и атеизма – с говорящей (даже громко и мокро хрюкающей под дубом и парнокопытно папахивающей – специально

для уха и носа русскоязычных насмешниц конца двадцатого века) фамилией Кабанис. «Далекий предок Кабановича из деревни Кабаны», – заключила Елена.

С семантическими проговорками фамилий были у нее вообще в эти дни (и даже, вернее, ночи, с недосыпу) странные откровения: обнаружилось, например, что из всех захваченных в плен и заготовленных на убой ленинскими бандитами друзей и приближенных царской семьи, человек по фамилии Трупп – оказался убит вместе с царской семьей, а человек с фамилией, наоборот, Жилляр – выжил, причем по чистой случайности.

Когда же она, исключительно по большой любви и доверию, предложила на уроке физики, в школе, вниманию Ани Ганиной жесткое эссе Бунина о ленинском ма(нь)яке Маяковском, Анюта (снисходительные представления которой о интеллигентности людей сводились к тому, чтобы люди не матерились и не говорили при ней ни о чем грубом и неприятном), насупившись, сердито сказала, что «восторгов по поводу текста не разделяет»:

– Это же кошмар! Ужас! Бунин так грубо пишет! Как он мог! Мне так нравилась его «Митина любовь» – там он такой нежный...

– Анюта! О какой нежности ты можешь говорить?! Бунин присутствовал при захвате и уничтожении страны убийцами – был специально организованный большевиками голод, где-то даже трупы жрали! Бунин был очевидцем физического уничтожения всей русской культуры и ее носителей – и замены их на проплаченных коммунистами фигляров-пропагандистов с плакатным стилем, которых предписывалось считать поэтами! Какая уж тут нежность! Если бы Бунин писал в своем обычном румянном стиле – он бы просто соврал! Это – честное свидетельство! Которому мы обязаны верить уж гораздо больше, чем пропаганде, которая нас в школе убеждает, что платные соловьи коммунизма якобы были не подонками и не соучастниками – а поэтами!

– Ну, Бунин не совсем прав... Мне некоторые ранние стихи Маяковского нравятся...

– Аня! Геббельс, возможно, тоже в юности милые стишки писал! Единственная разница только в том, что там, в Германии преступники и их идеологи и пропагандисты названы преступниками, и преступная идеология запрещена – а у нас – нет! Мы не должны любоваться этим

Бунинским свидетельством – тут речь не про любование и не про стиль – мы должны просто принять его, как горькую пилюлю, как противоядие против пропаганды.

– Но я все равно не понимаю: вот как Бунин может быть таким разным – таким нежным в художественной прозе – и таким ужасным, грубым здесь...

– Анюта, я вот, лично – совсем не поклонница слащавой прозы Бунина.

– А мне вот как раз он очень нравился! До сегодняшнего дня! – с несвойственной ей жесткостью настаивала Аня. – Пока я не прочитала эту гадость!

– Может быть, именно то, что, как ты говоришь, ты любишь его «нежные» рассказы – это резон прислушаться и к тому, что он говорит в моменты ярости? Абсолютно оправданной. Бунин писал о них, как о распоясавшейся бандитской швали – и большего они не были достойны.

– Ну... Все равно... Я бы на месте Бунина такой грубости не написала... Или, если бы написала – то потом бы сожгла и никому бы не показала, – набычилась Аня.

– Аня! Давай все-таки разберемся – в чем зло? – совершать преступления – или честно, в жестких выражениях, разоблачать преступников?

Но Анюта от дальнейших обсуждений воздержалась.

А на следующий день, встречаясь с Крутаковым у вестибюля метро Пушкинская со стороны «Известий», Елена, едва веря такому чудовищному совпадению, едва веря вообще своим глазам, с мистическим содроганием прочитала в витрине на огромном плакате более чем откровенную, саморазоблачительную цитату Маяковского (под его традиционным красным сжатым кулаком и угловатой челюстью): «товарищ Ленин, работа адова будет сделана и делается уже».

Разбираясь во всех этих жуть наводящих темных делах – семьдесят лет выдававшихся за светлые (назвать которые своими именами стало вдруг вновь вопросом жизни и смерти), засыпать Елене удавалось уже все реже и реже – только на полчаса-час, под утро – и, если на первые сутки недосыпа появлялся легкий коловрат в солнечном сплетении и тяжелое отвращение от тухлых системных рож

в школе, то на вторые сутки (если продержаться день без сна – заснуть в следующую ночь было просто нереально – и появлялся какой-то адреналин) мозг становился стеклянным – и сама мысль о сне казалась какой-то уже атавистической, не достойной человеческого существования.

Утром, после волшебной-ясной бессонницы с Крутаковскими книгами, она возвращалась из таких далей, что ей дико было представить, что она – именно тот человек, которому нужно сейчас вставать и идти в школу, видеть ухоженное рыло алгебраички Ленор Виссарионовны, и слышать ее истерические крики («Дьюрька, разговаривать на уроке?! Встал, пошел вон, два в журнале!» – «Ну Ленор Виссарионовна... Я не...» – «Что?! Спорить с учителем?! Встал, пошел вон, два в журнале!»), – и, частенько, этим человеком быть Елена отказывалась, из-за экзистенциального ужаса. Способ теплых прогулов заключался в том, чтобы пересидеть в маленьком кинотеатре, в фойе, неподалеку от дома – а поскольку Анастасия Савельевна обычно любила перед работой, сделав круголя, прогуляться по дороге к метро мимо занесенного снегом парка (того самого, разбитого на месте кладбища, где Елена чуть было не заночевала, разругавшись с матерью из-за Цапеля – в день последнего с ним свидания – каким все это теперь казалось ей далеким прошлым!) – то, выглянув из окошка, можно было всегда определить, когда шухер миновал и можно возвращаться домой, к чтению.

Остромирово Евангелие, выклянченное ей у Крутакова в бессрочное пользование (братъ его с собой никуда невозможно было – из-за габаритов сундука) наделало ей хлопот. И свет въ тьме светиться. И тьма его не обять. Бысть чловек послан от БА. Имя емоу... – Елена разбирала загадочно вырисованные старославянские букочки, с частыми пропусками для гласных, разгадывая письма примерно таким же смешным логическим методом, как за несколько месяцев до этого вместе с Аней разгадывала тексты туземцев или вымерших народов из задачника по лингвистике. Н и И иногда менялись ролями. Ю замещалось – как в немецкой транскрипции – буквой «у» и странной жужелицей. Ч выглядело как У. В конце фраз был крестик и завитушка, похожая на знак бесконечности. Над словами были скобочки вместо части букв – и ничего с этим поделать было

невозможно – пока она не нашла (расположенную в самом конце книги, почему-то) таблицу ключей.

Апракос, апракос, апракос... Куда бы пристроить это дивное непонятное слово?

Книга пахла прогорклостью старины. Прочитав очередную строчку, Елена, в некоем замороженном эстетическом восторге отходила от стола, распахивала узкую створку окна и высовывалась по пояс – вдохнуть мороза, запить прогорклость – чтобы вновь с остротой эту горечь почувствовать, когда приблизится к чайного цвета странице: точно так же, как Анастасия Савельевна любила запивать кофе холодной водой – чтобы вновь чувствовать аромат.

Елико же ихъ приять и дасть имъ область чадомъ Бжием быти вероующемъ въ Имя Его. Иже ни отъ крови ни отъ похоти плътскыя ни отъ похоти мужскы но от БА родишася. Теперь оставалось дело за малым – понять что же эти, дразняще похожие на русский язык слова все значат. Промаявшись с два дня, она позвонила Крутакову, и заявила, что его предложение Брюссельской Капусты принимается. В Брюссельском Евангелии первым шел совсем не Иоанн, а совсем другой текст – это немножко озадачило Елену – но зато по-русски текст читался в захлеб. А все-таки, как будто обжигаясь, Елена пила текст маленькими залпами, дуя, и отставляя на несколько дней в сторону всегда горячую чашку, то есть книжку – наслаждаясь волшебным, ни на минуту не прекращавшимся, послевкусием диковинных слов, как будто растворявшим, а часто и затмевавшим, все другие ее дневные дела. И – странное дело – хотелось не прочесть поскорее – а читать как будто вглубь, по много раз возвращаясь, и читать вновь и вновь одни и те же дивные слова, которые так удивительно подходили к душе, что, как от прекрасной музыки, было не оторваться.

По субботам, после катастрофического недосыпа за неделю, Елена, строго и ультимативно сообщив заранее Анастасии Савельевне, что в этот день у нее «неважные» уроки («И поэтому прошу меня не будить») могла проспать десять, двенадцать, шестнадцать часов подряд.

А в один из дней, спустя дутый краткий выдувной сизый утренний сон, посеребранный инеем, длившийся примерно минут двадцать семь, она в хрустально звенящем состоянии вышла из дому,

собрал все силы, решив все-таки до школы дойти; висело, ни на чем, облако, по краям пылало, а в середине было глыбой; синяя тень самолета, отделившаяся от невесомо и невидимо летящего объекта, неровно, взлетая то вверх то вниз, сквозила и мерцала где-то в глубине взбитой, чуть просвечивающей, облачной кучи; а когда облако выпустило, наконец, самолет – вслед за ним вылетело с такой же скоростью солнце; и пришлось отвести глаза, на которые от яркости навернулись слезы. Дойдя до пустынного двора, потрогав свежзамороженную железную ручку школы, и убедившись, что школа заперта, она с приятным удивлением и ощущением нежданного праздника (школу заперли навсегда), подумала, что спит. И только дойдя до дому высчитала, что сегодня воскресенье.

Анастасия Савельевна, квохча по поводу эффектных синих кругов под глазами дочери, ее худобы – не зная, ходит ли Елена до сих пор на свидания с Цапелем – а спрашивать опасаясь, памятуя недавние скандалы, обхаживала ее, подкармливала, и все сужала и сужала вокруг дочери опасливые круги ужасающегося любопытства: как вокруг совершенно инородного, инопланетного пугающего предмета, залетевшего к ней в квартиру через форточку.

– Знаешь, я, вот, в газете вчера прочитала... – осторожно затянула мать, – когда Елена, во вторник, собираясь на встречу с Крутаковым, стоя перед зеркалом и быстро распустив косу и чуть завив волосы плойкой, наклонила голову вперед и сбрызгивала локоны лаком. – Я прочитала, что есть такие токсикоманы, которые брызгают лаком в целлофановый пакет, засовывают туда голову и нюхают. Я вот думаю: ты у меня такая бледненькая... Ты осторожней с лаком-то...

– Ты совсем идиотка, что ли? – слабым голосом поинтересовалась Елена, хлопнула дверью – и ночевать вечером пошла к Ривке Марковне.

II

Ривка скверно заваривала чай («евреи, не жалейте заварки»), и, видимо от длительного одиночества, имела странную привычку разговаривать с едой.

– Курочка, курочка, – курлыкала Ривка, колдуя над сковородкой, пока Елена забившись в угол между пыльным олеандром и космического размера кустом сорняка-алоэ, с парижской книжечкой Ремизова в руках, пыталась не концентрироваться на чудовищном горелом запахе – щедрейшей самоотверженной жертвы Ривки (из военных, тысячелетних, ледниковых, запасов в морозилке) – синюшной плохообщипанной птицы.

– Я не голодна, Ривка Марковна!

– Мята, мята... Положи себе в чай мятки... – медленно, как в невесомости вертела к ней кудлатой белой головой Ривка. – Сорви вон там! – и тяжело поводила отекавшими, монструозными карими глазами.

С мятой жиденский чай действительно становился терпимее.

Не сомкнув (со свежим чтивом), разумеется, за ночь глаз ни на секунду, на следующее утро Елена решилась на невероятную авантюру: сказала Ривке, что плохо себя чувствует, и попросила разрешения остаться выпасться – пока та пойдет на работу – в ее же школу. Ривка, до смерти счастливая, что живая душа будет ждать ее в квартире, когда она вернется с работы – мигом вручила ей вторые ключи. Выспавшись (проспав аж целых четыре часа подряд), проснувшись за полдень в отличнейшем настроении, и зная что Ривка еще долго не вернется с продлёнки, Елена решила залезть в душ: ванна была чистенькая, с кофейным кафелем, отдраивала ее Ривка с такой же маниакальной тщательностью, как и Анастасия Савельевна – свою. Снаружи, в кривеньком темном коридоре, на деревянной антресошке хранились десятилетние дефицитные запасы стирального порошка «Лоск» (если хоть что-то в магазинах появлялось, Ривка, отстояв гигантскую многочасовую очередь, и боясь внезапно слечь, закупала сразу запас на вечность), а сбоку, в конце коридора, набросаны были старые дырявые половики (которые, конечно же никак нельзя было вышвырнуть, потому что они были дороги Ривке как память) и какой-то пыльный хлам – так что ванная казалась самым чистым местом в квартире. Зато вот душ висел крайне неудобно: низенько, под стать Ривке, но не Елене. Стащив душ со шпенделя и с блаженством обливая горячей водой макушку, чуть наклонив голову и отдуваясь от побежавшей по лицу водяной занавеси, Елена вдруг с улыбкой вспомнила, как в детстве бабушка Глафира, купая ее в ванной (у себя дома, в Замоскворечье), зачерпнув воды своей смуглой ладонью с

искривленными артритом пальцами, поливала Елене на голову, весело приговаривая всегда одну и ту же присказку: «С гуся вода – с Лены худоба!», – с залихватским певуньим заходом на гу-у-у! – как будто сама голосом со звонкой водяной горки скатывается. И только теперь, дожив до пятнадцати с половиной лет, прожив без бабушки полжизни, Елена вдруг начала догадываться, что сгоняя с нее «худобу» Глафира вовсе не имела в виду сделать ее толстой. В детстве же Елена как-то ассоциировала эту игру с гусиной кожей, которой покрывались мокрые руки, если становилось холодно – и тут же, заслышав Глафирину присказку, радостно начинала играть в гуся: хохотала, принималась брызгаться бьющими по воде крылами, и вся ванная – стены, пол – в два счета оказывалась мокрой, и абсолютно мокрым моментально оказывался бабушкин пестрый халат с малиновыми ягодами. «С гууууся вода – с Лены худоба!», – весело, с удивительной морщинистой улыбкой, в которой принимало участие абсолютно всё ее лицо – и высокий благородный лоб, и густые брови, изогнутые полной дугой, и глаза, глаза – удивительные, темные, смеющиеся, любящие глаза, – и лучащиеся улыбчивыми морщинами щеки (каждый кусочек ее лица мгновенно оказывался как бы расплавленным улыбкой), нараспев приговаривала Глафира – еще и еще раз, – закатав чуть повыше рукава байкового своего халата, и обливая маковку Елены вновь из пригоршни водой.

Елену немножко удивляло, что, несмотря на то, что считала она бабушку Глафиру вполне ответственной за сломанную судьбу Анастасии Савельевны (отговорила поступать в театральное, с этими своими идиотскими трусливыми советами о крепкой инженерной профессии и надежном куске хлеба), – всё последнее время она тем не менее почему-то все чаще и чаще вспоминала Глафиру – с такой яркостью и осязаемой теплотой картинки – какой, пожалуй, не достаивалась даже серятина школы, мозолящая глаза ежедневно. И в этих настойчиво всплывавших, как будто то и дело самовольно стучащихся к ней в дверь, картинках чувствовала Елена какую-то загадку, какую-то притягивающую тайну. И все чаще и чаще в этих воспоминаниях прогуливалась, изучала их – что за ласковый свет, что за шарада там запрятана. Вот и сейчас, обливая себя из горячего душа, она так явственно увидела, как Глафира, вспомнив про выкипающую на плите картошку, оставив Елену на минутку в ванне, бежит на

кухню, – и, с мокрым проворством как бы вновь вселившись в свое пятилетнее тело, Елена, с хулиганской улыбкой выскочила из ванной, хватанула огромное махровое полотенце, завернулась наскоро, так что и впереди и позади волочился великолепный королевский шлейф, выглянула, не идет ли Глафира обратно – и – оставляя мокрые, темно каштановые следы на некрашеном крупном паркете, рванула в гостиную. Глафирина гостиная была чудесная, очень светлая: с тремя окнами, одно из которых было угловым. Слева тянулись во всю стену темные книжные стеллажи (которые на срезах полок, между книгами украшены были резным мелким темно-коричневым орнаментом – как будто сделанным из шишек), и на полках – перед корешками книг – гуляли слоны, танцевали балерины, плавали лебеди – бабушка почему-то обожала статуэтки. Справа в углу стоял большой круглый стол с изогнутыми, как будто танцующими в припляс коричневыми ножками, накрытый тускло-лиловой толстой тканной хлопковой скатертью с кистями, достававшими аж до пола – и на столе сейчас (в самом центре) стояло что-то крайне интересное – какое-то чудесное лакомство, высокий холм, накрытый белой большой льняной салфеткой – Елена все никак не могла разглядеть отсюда, со своего теперешнего расстояния (из Ривкиной квартиры) – что же там именно? – безе, сложенные высокой пирамидкой? высокий пирог с глазурью? – и только по ощущениям пальцев вспомнила, что молниеносно привспрыгнув на цыпочках, едва дотянувшись, чуть не сдернув на пол скатерть, поддергивая ее к себе, приподняв салфетку, и засунув под нее руку, выдирает из какой-то интересной, едва застывшей белой сладкой сахарной массы приятно рельефную на ощупь, очищенную половинку грецкого ореха – и уже засовывает орех было в рот – но тут резко меняет планы, и, зажав орех в кулаке, несется к балконной двери. О, тут уже надо было действовать очень быстро – потому что даже за слоем кухонных звуков Глафира неминуемо расслышала бы крик тугого балконного шпингалета, – надо было проделать все в феноменальном стремительнейшем полете, и главное, не запутавшись, не запнувшись о волочившееся полотенце: на балконе, справа, в старой белой кухонной двухэтажной навесной полке, с приглашающе приоткрытой дверцей, давно уже снятой и поставленной сюда «на выброс», у Глафиры жила... даже не то чтобы жила – а квартировалась одна и та же супружеская чета голубей,

каждый год весной доверчиво прилетавшая к ней выводить птенцов. А так как с голубями, так же как и со шмелями, так же как и с любой приبلудной щенной сукой, так же как и с каждой живой тварью, заключался у Глафиры какой-то особый договор – то любые поползновения голубят «погладить» строжайше запрещались – и сейчашняя шпионская вылазка на балкон грозила в любую секунду обернуться скандалом. Именно поэтому успеть накормить голубят орехом надо было до того, как скандал разразится. Елена выскользнула на балкон, присела и приоткрыла шкафчик: внутри было теплое тихое шевыряние. Боясь распахивать дверцу шире, боясь спугнуть, Елена, тихо перемещаясь на корточках (между прочей балконной рухлядью), чтобы заглянуть под правильным углом, наконец, уже на коленках, всунула-таки нос в дверцу: что-то шолохнулось, шарахнулось, ухнуло – и Елена, обмерев от восторга, увидела в гнезде из тряпичек и веток, выстланных пухом, двух фиолетовых крошечных беспёрых лысых с ярко-желтым, желтковым, пухом длинношеих уродцев – которые тянулись вверх, пытались держать головы, но не могли, и роняли себя на доньшко в гнездо. Зрительно сопоставляя размер их клювов – и орех – Елена быстро раскрошила его в пальцах – и просунула руку в щель – и тут – откуда-то сбоку, из-за дверцы, справа, быстро-быстро, со страшной силой, и чудовищной меткостью, как будто прививку делая (сначала пирке-пирке-пирке! а потом – манту-манту-манту!) забарабанил по ее руке рассерженный нос голубихи – всего несколькими секундами раньше, чем Глафира появилась на балконе и, ахнув, подхватила Елену на руки.

Улыбнувшись, Елена села в ванну, решив, что в Ривкиных минималистических габаритах удобнее все-таки наполнить ванну, чем принимать душ – размотала на звездной решетке стока смешную, цепную пробковую пробочку, запруженная труба недовольно что-то пробурчала – и тут вдруг – точно как в детстве, с хулиганским планом, Елена выскочила из воды, и, оставив душ дельфиньим методом наполнять акваторию, ринулась в Ривкину гостиную за припрятанными под подушкой книжкой и свежим западногерманским журналом, а потом – уже на полпути обратно – застыв на миг, развернулась, забежала в Ривкину комнату, схватила ее черный допотопный телефон с длиннющим проводом (с блаженством теперь уже настоящего, вдохновеннейшего, сибаритнейшего прогула),

примерила его к беленькой, обструганной, пахучей (явно, специально для прогулов) деревянной банной полочке – и, дождавшись, пока наберется ванна, выключив душ, в горячую воду ухнула, удобнее положив полочку с телефоном и чтивом поперек ванны, перед собой, как журнальный столик.

Набирая Крутаковский домашний номер (сразу почему-то выучила его наизусть: по какой-то остроумно закрученной рифме между первыми тремя и последними двумя цифрами), краем уха слушая, как с кромки целлофановой занавески гулко скапывают в наполненную ванну капли воды от осевшего горячего пара, от рифмы этих звуков Елена на секунду уплыла взглядом в Ужарово – и вновь увидела Глафиру – теперь уже сквозь верандное стекло, в уголки частых мелких деревянных перекрестий рам которого изнутри бились плененные комары: начиналась гроза, и Глафира, в которой от предгрозовой фиолетовости неба и прѳгрохов грома всегда тут же как будто тоже включался какой-то заведенный грозовой механизм, – начинала буйно действовать, жестикулировать, с жестяно-стеклянным звоном носиться вокруг дома с крыночками, канистрочками, баночками, мисочками, подсовывая их под водостоки – с таким буйством и скоростью, будто и в ней самой было какое-то тайное с грозой родство. В ход шло всё: стеклянные, консервные, шпротные, килечные (уже было прилаженные под окурки); и одно никелированное корытце в форме скрипичного альта, в котором только порося купать. И вот сейчас с крыш уже вовсю лило, по всем драным дырявым перемышкам кровли, по всем углам, и в центре, и через каждые пять-десять сантиметров, из всех жестяных прорех – которых было на кровлях веранд не счесть, со всех сторон – и Глафира, всем этим своим колдовством с виртуозно расставленной перкуссией, звенящей, звонко отражающей капли и струны струй, стократ усиливала грозовую музыку в такт раскатам грома. Грозы Глафира боялась панически. Но еще больше боялась упустить живительную влагу, которую через день, в момент знойной засухи (ровно с тем же выражением лица, как дарила Елене гостинцы) жаловала кустам смородины, пахучей вымахавшей рассаде помидоров с осьминогом темно-зеленого абажура вокруг крошечного кирпично-незрелого плода, – и еще более невероятно пахучим, если пригнуться и потереть колкий лист, скрюченным огурчиком, колючим и сахарным, – и

фасонистым летающим тарелками патиссонов; ни водопровода, ни даже артезианской колонки не было, глинистый прудик, когда грозы долго не было, от жары часто пересыхал, за водой ходить приходилось с ведрами (а наследством Матильды – коромыслом – никто пользоваться не умел) на другой край деревни.

Иногда случалось счастье: редкое, тоже запретное. Пока Глафира, наскоро повязав косынку цвета спелой айвы, поверх заплетенных в косички и баранками уложенных седых, девчачьих волос, и накинув черный дождевик, бегала, как безумная, виртуозно налаживая музыкальные грозовые инструменты по периметру всего многоугольного, фатаморганного дома, а Елена ждала жареных грибов на пропахшей керосинкой Глафириной терраске при свете закопчённой алладиновой волшебной лампы (опять где-то на станции выбило пробки, или ураганом сорвало высоковольтный провод), сквозь растворенную дверь под козырьком над высоким крыльцом, сбегая от дождя и ветра, в этой общей грозовой суете на еще не темном небе, изредка случайной прямой стрелой запархивала птица – воробей, синица, трясогузка, пеночка – а раз – невероятно повезло – снегирь! – и почему-то всегда прятались они, метнувшись, у окна, где у Глафиры на узком белом подоконничке заставлено все было напрочь баночками с вареньем – и, если вовремя не накрыть ладонями, начинали с убийственной силой биться в стекло. Обычно Глафира подспевала первой. Но тройку раз Елене все-таки удавалось улучшить момент и спасти птицу самой – и, замерев со снегирем в руках, рассматривала его невероятной тонкой выделки веки. А Глафира, вбегая в дверь, умоляла: «Дай я только сама выпущу ее!» – а потом, уже выпустив благополучно (вскинув в воздух с крыльца), почему-то рыдала и испуганно просила: «Никогда не бери больше птиц в руки – позови меня, я сама, я умею, я знаю как надо...»; и Анастасия Савельевна объяснила как-то раз потихоньку Елене, что когда птица влетает в дом – в деревне все говорят: дурная примета, к смерти, – и что если кто возьмет залетевшую птицу в руки – и выпустит, тот скоро умрет. В средоточии этих идиотских, деревенских, Ужаровских суеверий, Глафирина самоотверженность и вправду была подвигом. А вот прожила же все-таки, как-то, плюнув на суеверия, при Елене семь бесконечно долгих (как сейчас оказалось) лет, ухитрившись рассувать ей таких ярких гостинцев по всем закромам, авансом на всю жизнь –

без нее. И сейчас Елена видела себя опять в ванной, в Глафириной квартире – Глафира, отогрев ее от балконной вылазки в горячей воде, и завернув в полотенце, артритными своими ладонями, вскинув ее, держала ее перед собой на весу – даже уже не ругалась, а опять сияла всеми морщинками: Елена вытянула правую руку, дотронулась до ее морщинистой щеки, потом развернула к себе свою ладонь, посмотрела на старушачье-сморщенные от долгой горячей ванны подушечки собственных розовых пальцев – сравнила с кожей Глафириной морщинистой щеки, притронулась пальцами к Глафириной щеке еще раз – и рассмеялась сходству, – и, втянувшись в такую до мистической оторопи живую картинку сейчас сначала зрением, потом ощущением пальцев – а потом и всем существом, – как только бабушка спустила ее на пол, она из чистого баловства уже решила все-таки разузнать, что же за угощения там выставлены на столе: вбежала – в гостиную (двенадцать телескопически уменьшающихся слоников один за другим слева на книжном стеллаже) – остановилась посреди комнаты, подумала: «или лучше воспользоваться сейчас этой несказанной свободой полупризрака и забежать все-таки опять на балкон полюбоваться голубятами?» – нет, надо все-таки заглянуть под белую салфетку на столе – почему же я не могу рассмотреть никак, что за лакомство там? еще секунда напряжения внимания, особого, чуть прищуренного внимания памяти – и... вот я тяну на себя блекло-лиловую скатерть с кистями, вот тянусь рукой к центру стола, к любопытному холму под льняной салфеткой... Крутаковский голос, жеманный (и чуть заспанный, как ей показалось), моментально вдернул ее, всю, без остатка, в сегодня.

– Клёвывали ли тебя, Крутаков, как клёвывали меня?

– Чего-чего? – хохотнул Крутаков на том конце трубки.

– А я между прочем живу сейчас у...

Но она не успела договорить. У Крутакова были «скверррные», как он тот час же раскатисто доложил, перебив ее, новости:

– У парррря одного знакомого в Питеррре обыск был – эти козлы пррриперррлись, прррикинй, в семь утррра, с орррдеррром на «изъятие клеветнической литеррратуры». А потом его на допрррос в ГБ увезли. Кажется, по 70-й статье его сажать собиррраются. Опять говно пошло по трррубам, коррроче.

– Крутаков, а ты уверен что тебя какой-нить товарищ майор не прослушивает?

– Майоррр... – язвительно передразнил Крутаков. – Да у меня уже не майоррра, а целого товаррища генерррала наверррняка в трррубку втиснули. – Да плевать на них. Чего я – буду по кустам, что ли, теперь хорррониться? По крррайней меррре они для себя ничего нового пррро этот обыск от меня не услышат – они и так всё пррро это прррекрррасно знают. Коррроче: пррришли, козлы, и... Тебя что-то слышно сегодня, как в тазу, дорррогуша, – с подозрением переспросил Крутаков.

Елена краем глаза взглянула на французское издание Ремизова и свежий номер «Посева», с гордостью прикидывая, высшего ли это сорта антисоветчина – или могло быть еще круче? – и думая, как изумится бедная Ривка, если завтра в семь утра придут с обыском.

– Нет, и главное – козлы – телевизоррр даже у него увезли! – злился Крутаков. – Видак укрррали, все видео-кассеты. Обобрррали, коррроче говоррря, как липку. Самое смешное – что гэбульники заявили ему, что его факс – это – «шпионское устррройство западного пррроизводства»! Вот кррретины!

Пока Крутаков рассказывал, как питерского парня возили на допрос в КГБ, вода в ванной стала остывать, и Елена, с обидой, все больше чувствовала себя в ванной как в вывернутой наизнанку лодке – лодке, в которой вода внутри, а не снаружи. Она осторожно, зажав цепочку большим пальцем левой ноги, вытащила пробку – выпустила из лодки немножко воды, потом аккуратно, зажав трубку ухом и передвигая вперед перед собой банную полочку, добралась рукой до горячего крана, выудила из-под воды душ, и тихонько, чтоб не задубеть, его включила.

– А главный прррикол, – продолжал Крутаков, – угадай, какую литеррратуррру они у него изъяли и арррестовали как «клеветническую»? Никогда не догадаешься! Старрринный «Арррхипелаг Гулаг» и журррнал «Грррани»! Даррраагуша, это мне кажется, или у тебя там что-то шипит, как душ?

– Не «как» душ, а именно душ и шипит. Ну у тебя и слух, Крутаков, – резвилась Елена, радуясь, что наконец может похвастаться тем, с каким шиком с ним болтает. – Извини, холодно очень в ванной стало что-то.

– Ты что, со мной, пррринимая ванну ррразговаррриваешь?! – поперхнувшись переспросил Крутаков.

– Ага.

– На-а-ахалка... – выговорил Крутаков. – Ка-а-ароче, выплывай на сушу – и пррриезжай сейчас на Пушки. К четырррем успеешь? Мне с тобой парррой слов перррекинуться надо. Смотррри телефон не утопи.

Солнце было томным припудренным мандарином – и, несмотря на то, что на небе царило это пастельное лицемерие неги, внизу корчились от судорог мороза пешеходы, лопались водопроводные трубы, ломались автомобили, трескали лужи, взрывались бутылки с недопитым можайским молоком.

– Ррресницы у тебя как у снегурррочки, – сказал Крутаков (опять обросший, с небритой мордой) своим обычным издевательски-коклетливым тоном, как только они встретились. Взяв ее за плечи и легонько поворачивая из стороны в сторону, он с наглейшим издевательским любопытством, как какую-то и вправду новогоднюю игрушку, ее рассматривал. – Белые все от дыхания. И пррредлинные! И брррови, увы, тоже... – добавил он, издевательски на нее еще раз зыркнув.

– На себя-то посмотри, – обиделась Елена и вырвалась.

– Каааррроче, Елена Прррекрррасная, прррогулок в связи с морррозом не получится. Поедем на Цветной, к моей подррруге, тут недалеко – я все ррравно к ней успеть заехать должен – она в Питерррр на сэйшэн как ррраз сегодня сматывает, мне перрредать с ней кое-что нужно.

В метро Крутаков вел себя безобразно, дразнился, читал ей нараспев полудетские стишки, рассказывал, как голодал Хармс и заедал голод стихами, спрашивал обо всякой ерунде, говорил, что у нее должна быть маленькая книжечка, как у девиц девятнадцатого века, для записи в нее поклонников – и она все не могла понять, зачем же он ее срочно вызвал, – ни о чем важном не говорил Крутаков и когда вполдыхания перемахнули, выйдя из метро, сахарный Цветной бульвар с околевшими тополями – и только уже когда отошли от бульвара порядком, и начали подыматься в горку – в круто взмывавший на хребет рельефа переулочек, Крутаков, оглянувшись, и убедившись, что никто за ними не идет, на отвратительном серьезе занудил вновь про осторожность, про то, что нельзя рисковать ради ерунды, о том, что

если уж рисковать – то по-серьезному, о том, *что* надо говорить, если кто-нибудь когда-нибудь у нее про него спросит, а также про то, что он хотя бы отдает себе отчет в том, что он делает, а она нет, про какую-то диссидентскую организацию, которая мерзко использовала молоденького юношу-школьника как жертвенного агнца, про какие-то мерзкие статьи совкового уголовного кодекса, про то, что Аденауэра в совке, увы, не будет, потому что не будет Нюрнберга – из этого всего Елена ровно половину не понимала, и только судорожно пыталась запомнить незнакомые бельма имен и понятий – чтобы потом осведомиться а что же это все-таки такое.

Чем больше дыхания требовалось на восхождение в причудливо прилаженный к горке переулочек, чем более смешно зависал в звеняще-голубом воздухе белоснежный пар изо рта, с чем более смешным свиристом проскальзывали по льду белые кроссовки сердившегося на нее («Ну что ты веррртишься, глазеешь вокррруг – ты слушаешь, вообще, что я тебе говорррю?!») Крутакова, чернющая щетина вокруг губ которого покрывалась нежной глазурью морозца, тем больше Елена чувствовала, как (точно так же как и летом, когда гуляла одна в центре) подпадает под неотразимый веселый гипноз старых обшарпанных домиков, в разгул плясавших по горке и слева и справа – и чем ободраннее, чем трагичнее, чем беззащитнее выглядел дом – тем более щемящим было чувство, что внутри сохранилась какая-то настоящая, старомосковская, дореволюционная жизнь – тем более манили проходные маленькие арки по обе стороны.

– Нам сюда, – открыл внезапно Крутаков перед ней коричневую узкую левую дольку деревянной двери в буро-палевый, со следами черных подтеков по облупившемуся фасаду, старинный пятиэтажный дом слева.

Лифта не оказалось. А витые тонкие чугунные балясины перил (с каким-то вьюном, цветами и листьями), некогда явно белые, а сейчас выглядевшие так, будто в белила густо замешали золы, – резко взвивавшиеся, под карими крутыми деревянными перилами, на заворотах, вверх, – набрасывали на рвано и ярко, сполохами, в полэтажа, освещенной лестнице – и на стенке справа – таких густых фантазмагорических ботанических теней, что когда Крутаков, чуть отстранив ее, легко взбегал вверх по узким ступенькам впереди нее,

казалось, что его гигантская гипертрофированная тень торит ей в этих экзотических зарослях дорогу.

Добежав до последнего этажа, Крутаков вдруг неожиданно вытащил из кармана ключ, и отпер большую, двустворчатую, с резными излишествами, тускло-малиновую дверь.

– Юлá! – закричал Крутаков с порога. – Я тут пррребенка с собой пррритащил чаем напоить, ты не пррротив?

В просторную прихожую выскочила худенькая молодая чернявая женщина, с двумя косичками до пупа, завивающимися на концах бараном, и с радужным хиппанским тонким хайратником на лбу, – в руках, вернее даже чуть ли не под мышкой, у нее был завернутый в шерстяную кофту, спелёнатый младенец – молча спавший, с феноменально крошечным лицом новорожденного ежа. Взглянув на них приветливо и без всякого удивления – как на каких-то привычных домочадцев, выходявших на секундочку за хлебом, хозяйка квартиры, явно зависшая в середине каких-то важных домашних розысков, кивнула головой в сторону кухни – а сама рванулась в полутемную большую комнату, весь пол в которой зарос, как в какой-то руинной античности, колоннами из книг, некоторые из которых доходили ей аж до бедра, – на ходу живо взбрасывая левой рукой на стульях густым валом накиданные на спинках одежды.

– Юлá, у тебя во сколько поезд? Тебя надо пррровождать? – поинтересовался Крутаков, уже уютно потягиваясь, со смехом вытирая растаявшую наледь с черной небритой щетины, и расстегивая куртку.

Женщина – выйдя к ним еще раз – молча, болезненно сквасила личико – и снова вынеслась прочь.

Высоченные потолки с пыльной виноградно-абрикосовой лепниной, широкие паркетины – темные, крестообразными дорожками наискосок выложенные, – невообразимый беспорядок в прихожей – и эти колоннады книг на полу в просматривающейся апельсиновым овалом, ночником освещенной комнате, – по которой в ярости рыскала хозяйка – все это как-то сразу отметало всякий смысл гостевой застенчивости – и Елена, медленно, впитывая в себя новый антураж, прошла за Крутаковым на кухню, начинавшуюся как-то прямо напротив прихожей, и уютным прямоугольником вытянутую.

Где-то в глубине квартиры раздался грохот и тихие, женские, матюжки.

Через минуту хозяйка, впрочем, в дверях кухни появилась – счастливая, забыв где-то по дороге ребенка, зато натянув на себя коротенький тулупчик-кацавейку.

– Юля! – сияюще протянула она Елене руку. – Не поверишь! Полдня искала! Все перерыла! – сообщала она (уже Крутакову), на радостях хватаясь сразу за чайник и зажигая со страшным автоматным грохотом электрической зажигалкой оранжевый, круглый, ручной огонь – казавшийся каким-то естественным дополнением, хиппанской фенечкой, к ее оранжевому же джемперу, чуть ниже бедер, напяленному под тулупом поверх черных леггинсов на страшно худых и кривоватых в коленках ногах.

– Почему же – охотно поверррю! – с издевкой расхохотался Крутаков, усаживая одновременно Елену, взяв ее за плечи, в глубокое, продавленное старое кресло – по правому борту стола, накрытое подозрительной попоной. – Юлá, ты билет купила? Или к прррроводнику вписываться будешь?

Найдено было, вероятно, еще не все – так как Юля, без всякого ответа, вынеслась опять прочь.

Было ей, как и Крутакову, вероятно, лет тридцать – но из-за невыразимо детских болтающихся косичек, и удивительной худобы, выглядела она лет на десять младше.

Еще через секунду Юля внеслась в кухню уже в валенках – и – изображая народные танцы, вприсядку одной ногой – сделала отмашку валенком в сторону – хвастаясь.

– Юлá, ну пррриземлись, мне с тобой поговорррить нужно... – рассмеялся Крутаков, с размаху падая на две гигантские, уложенные одна на другую, прямо перед окном ярко-малиновые подушки от (не существующего, видимо, уже) дивана.

Новости из Питера об обысках и допросах Юлú, впрочем, как-то не вполне заинтересовали – и долго удержать привязанной к стулу не смогли. Через пару минут ее опять сдуло с места – на этот раз вернулась она уже заматывая вокруг шеи длиннющий, резинкой вывязанный, оранжевый шарф, крутясь, для верности, еще и вокруг собственной оси, и став на секундочку изумительно похожей на прозвище, которым ее Крутаков обзывал.

Так, наматывая на себя, как на шпульку, на всякий случай, все найденные приглянувшиеся вещи, а заодно и собственные

закручивавшиеся на бегу вокруг нее косички, Юля металась между кухней и комнатой – а потом, швырнув на пол возле себя порожнюю желтую спортивную сумку, хлопнулась напротив Елены на стул (жарко, видимо, стало) и принялась с такой же ажиотацией все с себя сматывать и скидывать в сумку.

Заслышав свист чайника, Крутаков нехотя с подушек слез и, невежливо отстраняя подскочившую Юлю, взялся было выуживать из раковины с грязной посудой заварочный чайник – а потом с нехорошим подозрением глянул на Елену.

– Юл^а, у тебя сода или какая-нибудь пемоксоль есть? – сказал он погодя.

– А хрен его знает, – радостно призналась Юля, которая уже тем временем успела притащить из комнаты два пестрых шерстяных вязаных младенческих чепчика (судя по размеру – явно на вырост) – с сомнением покрутила их на кулаках – и один из них нацепила себе на голову.

– Ха-а-ррра-ашо, гони мыло тогда.

– А мыло кончилось! – ликовала Юля, туго-туго завязывая две шелковые голубые ленточки чепчика себе под подбородком, и стягивая все личико: ее тонкие выщипанные черные брови трагически опустились как у клоуна, а острый подбородок сложился в двойной.

– А шампунь у тебя есть?

Юля скинула чепчик и, размахивая им как пропеллером, унеслась без единого слова по коридору.

Через минуту Крутаков, еще раз покосившись неодобрительно на Елену, вымыл проворно притащенным Юлой пузырьчатым шампунем чайник и пару пиал, наскоро ошпарил все это кипятком, засыпал в чайник индийский чай, хлестнул кипятку, прикрыл крышкой, взболтал – и только после минутной выдержки залил заварочный чайник целиком кипящей водой.

– А между прочим, Елизавету Владимировну опять надули! – со скорбью на очень бледном личике с наморщенным итальянским веснушчатым носом сообщила Крутакову Юля, взглянув на запотевшее, черно-кобальтовое уже от ранних сумерек, окно, мигом вскочив, щелкнув выключателем, прикончив верхнюю лампу без абажура, запалив крошечную свечу на холодильнике – и впившись опять в свою пиалу с чаем.

– Я говорррил не иметь с ними никогда дела – но вы же с ней как всегда... – прихлебывая, спокойно заметил Крутаков, восседавший на своих подушках, высоко подняв пиалу и скрестив ноги, как турецкий паша.

Юля быстро-быстро с презрением заговорила о каких-то «лианозовских» – причем в этом же контексте засверкали выражения: «наглый ворюга» и «спекулянт» – так что Елена быстро заключила, что речь идет о какой-нибудь лианозовской преступной группировке, охмурившей какими-то хитрыми методами какую-то Юлину подругу, наплевавшую на предостережения Крутакова.

Хоть и не понимая ни слова, но быстро разнежившись от жара чая, Елена потихоньку влезла в кресло с ногами – потому что иначе в провисавшем кресле стол оказывался примерно на уровне глаз.

– Картины он ей после скандала вернул, но ты представь, что эта вся история для нее значила, с ее нервами, – блестя глазами, ловя зрачками играющий отблеск свечи в цветистом мраке кухни, приставив острый локоть на край стола, гневно говорила Юля, подергивая головой, так что обе косички казались двумя длинными восклицательными знаками, – с ее чувствительностью, наконец! Не хотела бы я в восемьдесят лет оказаться в ее положении!

«Какие честные ворюги, – чувствуя, что засыпает от тепла, расслабленно подумала Елена, – ...вернули какой-то милой чувствительной старой женщине награбленные у нее картины...» – и поставив пиалу на стол, поджав под себя ноги, свернулась поудобнее в уголку кресла.

Проснувшись она от плача ребенка. Крутаков, накрывая ее какой-то хлопковой вязаной белой накидкой, иронично улыбаясь, говорил:

– Спи, я съезжу Юлу пррровожу на вокзал, а потом верррнусь и тебя до дома добрррошу. Посиди пока здесь, в тепле. Мы тебя будить не хотели – ты так крррасиво заснула прррямо с пиалой в ррруке!

– Что ты врешь, Крутаков, я помню, что я пиалу на стол... – рассеянно, все еще не просыпаясь по-настоящему, и видя всё как сквозь туман, мягко мямлила Елена.

Юля, в полной панике, металась по кухне, закладывая грязное постельное белье в детскую коляску, а младенца в стиральную машину, потом истерически производила выемку обоих и перемену мест слагаемых.

– Крутаков, ты помоешь за мной посуду, а? Я не хочу больше пенициллина в раковине. Если эта крыса Роза Семеновна будет звонить в дверь – не отпирай просто и всё! – в панике отдавала Юлѣ последние распоряжения, – видясь Елене сквозь смыкающиеся веки все мягче, все приглушеннее.

И когда Елена в следующий раз открыла глаза, Крутаков, преспокойно прихлебывая чай, сидел на Юлином месте, на стуле, в противоположном торце вытянутого, узкого прямоугольного кухонного стола, и увлеченно читал какую-то газету, очень близко придвинув ее к глазам – из-за полутемноты кухни: апельсиновый свет докатывался только из Юлиной комнаты – никаких звуков в которой не было.

– А где Юля? – сонно оглядываясь, вспыхнула Елена. – Не хочешь же ты сказать что она... что вы уже... Который сейчас час?

Крутаков, весело перелистнув газету, заметил:

– Не пррросто с опечаткой стихи напечатали, но и вырррезали последних несколько стрррок! Ррразумеется, как я и пррредсказывал.

Не понимая по-прежнему ничего в загадочно и нежно сместившемся вокруг времени, Елена, распутывая смешное хлопковое Юлино вязаное длинное покрывало-накидку, приподнялась на коленках и потянулась через весь стол за газетой:

– Чьи стихи?

– Мои, увы. Я же говорррил ей: обязательно какая-нибудь ерррунда с публикацией получился. Как многотиррражка потому что газета их. Пррри всем моем уважении к геррроическому содеррржанию.

Елена, осторожно вытянув у него из рук газету, не опускаясь с колен и разложив листы на столе, стала ее бегло просматривать. Газета была невиданной красоты – издавалась в Америке, но похожа была и правда на многотиражку, или на стенгазету.

– А где... где... – нетерпеливо спрашивала она, но тут наткнулась взглядом на его фамилию над удивительным, широким, со стрелами вылетающих строк, со ступеньками, столбцом.

Крутаков подошел и склонился с ней рядом над газетой, так что его жесткие вороньи волосы коснулись ее волос.

– Что значит: строки выпустили? Как это может быть?! Это, что, по политическим каким-то соображениям? – недоуменно вскинулась на него Елена. – Какие строки?

– Я так подозреваю, что просто места у них примитивно не хватило – вот они и решили сократить... Они по-моему к поэзии так же как к политическим текстам относятся... – искренне хохотал Крутаков, явно воспринимая эту историю как превосходный анекдот. И тут же, не смеющимся уже больше голосом, тихо закончил фразу, вырезанную каким-то дураком-верстальщиком: —...Сказав о сне, забыв сказать о главном, услышав смерть как невозможность говорить.

И эта фраза каким-то загадочным образом чудесно вкатилась из внешнего мира в еще неостывший сон. Стихи были удивительными – с запрятанными в сердцевине строк внутренними рифмами, с причудливым, лившимся как речь, ритмом, с неожиданными всплесками смысловых отражений, с пронесенной от первой до последней строки, пропитавшей все строки собой, какой-то за кадровой тайной, которую явно зримо видел перед собой человек, это писавший – и которую-то и хотелось пуще всего увидеть и разгадать, – и читать их хотелось не с начала, а откуда-то из центра – где явно был комок напряжения: «Ох, как хорошо – это раз десять перечитать надо – из центра в стороны – расходящимися лучами, – и тогда, может быть, только понятно будет», – с наслаждением прекрасной загадкой думала Елена, – но Крутаков, как нарочно, читать ей мешал, балагурил уже по поводу какой-то дурацкой статьи на смежной странице.

– Ну Жень, ну пожалуйста, ну не мешай мне... – возжалобилась она, хотя сказать хотелось попросту: «Заткнись и не мешай мне читать твои стихи» – так, как будто не он их придумал, и как будто не ему они принадлежат.

– Всё, пошли, ерундовое это занятие – стихи в газетах публиковать. Только, вон, юных девушек, разве что, очаровывать, – насмешливо зыркнул на нее Крутаков, и газетку свернул. – Звякни матери, чтоб она не волновалась, скажи, что через час будешь. На метро уже не успеем, я тебя на тачке подброшу.

– Как не успеем? Который же сейчас час? – сквозь остатки сна вздрогнула вдруг Елена – как будто из-за сна оказалась вдруг на какой-то незнакомой планете, а дороги обратно – нет. – Сколько же я проспала здесь? Зачем вы с Юлей меня не разбудили?

– В Юлиной комнате телефон, на подоконнике, – смеясь, как-то умиленно зыркал на нее Крутаков. – Иди звони матеррри.

– А я не у матери сегодня ночую, – гордо возразила Елена, медленно вставая с кресла и растирая правую отлежанную во время сна щеку.

– А где ж ты сегодня ночуешь? – опешил Крутаков, с каким-то комическим шутливо-ревнивым выражением на роже.

– Ну, одна учительница старенькая есть, моя подруга... – медленно, боком обходя вокруг него, объясняла Елена, пытаясь как можно незаметнее на ходу пригладить взбитый во сне колотун распущенных волос – и сразу же, в прихожей – как только Крутаков подобрал оброненное ею возле кресла вязаное белое покрывало и щелкнул верхним светом – с ужасом натолкнулась в зеркале на абсолютно розовую со сна физиономию с растрепанной, дыбом стоящей прической, объем которой во сне увеличился как минимум впятеро (ох эти Ривкины восковые бигуди!). – На Аэропорте живет, – задумчиво и сонно силилась она унять взбунтовавшиеся волосы и, с неприятным со сна, режущим уши звуком и сюрреалистически колким для подбородка осязательным спазмом застегивала высоко, под горло, молнию найденной (почему-то в уголке на полу, на куче Юлиного тряпья) собственной желтой дутой зимней куртки. – Только я звонить ей уже не буду – у меня ключи есть, она спит, наверное, уже.

На лестничной площадке обнаружилось, что не только витает она теперь, не до конца проснувшись, в новой вселенной – но и что предстоит проделать ей в этой вселенной головокружительный, кошмарный аттракцион: на узкой лестнице, во всю пятиэтажную глубину, не было света, – и как только Крутаков – еще не поняв этого, с размаху захлопнул за собой дверь, как будто разом выпихнув и себя и ее из теплой квартиры в темноту стыллой лестницы, – Елена, предвидя, ужасы (и без того дававшегося ей всегда отвратительными скороговорочными муками) спуска в крошечной темноте вниз, охнула.

– Тут всегда кава-а-арррдак с электррричеством на лестнице, – смачно прокомментировал Крутаков, достал спокойно из кармана кожаной куртки коробок со спичками, и принялся быстро спускаться впереди нее, звучно чиркая.

Никаких Крутаковских виршей, которые так старалась запомнить, в голове уже не осталось – все выдуло в одно мгновение: в ужасе,

подозрительно присматриваясь к ступенькам, как к засаде неприятеля, Елена осторожно, по нотам, снимала ноги с одной, почти невидимой, опоры – и обваливалась вниз – с абсолютным чувством абсурда происходящего, с какой-то стати доверяя кратким оранжевым сполохам от Крутаковских светляков – и материализуя ступнёй серединку нижней ступени (этими сполохами весьма бегло, намеками, вырисованную) – и ужасаясь гигантским выскакивающим слева, в нижних пролетах, искаженным теням балясинных ветвистых сорняков, бежавших от спички, словно эскалатор кошмаров, в противоположную сторону, вверх, в оставляемый за спиной мрак. Во втором же пролете, как только у Крутакова погасла спичка, и он, опять в темноте, не завернув еще на этаж, звучно открыл коробок, чтобы взять новую, Елена, не досчитавшись ступенек, влетела в него, выбив из рук коробок, и Крутаков, шатнувшись, едва удержал ее, быстро развернувшись к ней, взяв за локти (так что у нее на секунду захватило дыхание от этой темноты, от близости его лица, от его волос, плескавшихся так близко от ее щек) и свел осторожно по ступенькам на лестничную площадку; тут же цопнув откуда-то из темноты коробок. Быстро сообразив, что надо вернуться к своей извечной, отработанной, ни разу не подводившей технике скороговорок – стараясь как можно дальше улететь в мыслях от этой мерзкой, унижительной длиннющей лестницы – но, тем не менее, тишайшим шепотом опечатывая строчками лестницу, чтобы не споткнуться, как бы записывая скороговорочные звуки на каждую ступеньку, Елена опасно двинулась дальше за Крутаковским очень северным сиянием. Азимут – это такой зипун, чтоб не зябнуть – птиц отпускаешь взглядом – накрепко прикрепляешь к крыльям свой воздушный редут – на то время, пока они будут праздновать лето там – а мы зимы тут.

– Извини, мне это показалось, или ты боррррмочешь все время что-то пррро себя на лестнице? – издевательски поинтересовался Крутаков, распахивая перед ней дверь на улицу.

На сбивчивые смущенные объяснения Елены Крутаков заметил коротко:

– Вот уррродина... – и, уже переступив через порог подъезда, переспросил: – Чего, ты каждый ррраз скоррроговорррки для ступенек, когда идешь вниз, пррридумаваешь?

– Нет. Иногда получается просто бесконечно говорить: «ле-сни-ца-ле-сни-ца-ле-сни-тся».

– Уррродина... – с нежным смешком протянул вновь тихо Крутаков, в сахарную вату взбивая дыханием черный ледяной воздух перед губами.

Быстро взглянув на небо и ужаснувшись холодной игре калейдоскопа (фиолетовый застывший океан хрусткой мути ненадежных облаков с желтковой проталиной луны), – живя как бы еще по законам не вполне сдавшего свои позиции прекрасно отапливаемого сна, где выговорить вслух можно все, Елена через несколько шагов призналась:

– Знаешь, иногда мне кажется, что и лед – это одна сплошная скользкая лестница, – особенно когда сверху вот этот неприятный заледеневший океан, и если смотреть вверх, как будто бежишь по небу, можно поскользнуться и опрокинуться в лунную полынью. Когда гуляешь по небу, тоже, наверное, надо всегда приговаривать: «ле-сни-ца-ле-сни-ца». Ты дашь мне почитать своих стихов, Женьк? Ле-сни-тся.

– Ну ты, Бонавентуррра ррррехнутая! – едва успел удержать ее за шиворот куртки Крутаков, когда она, поскользнувшись на раскатанной кем-то за вечер до черна булыжной луже, летела уже на каблуках со всей скорости вниз под уклон горки, с которой разом ахал вниз переулоч. – Дерррржись под ррруку, а то и впрррямь улетишь! – схватил ее крепче в охалку Крутаков и перетацил на засыпанный солянóй, океанической, сверху, из полыньи явно напáдавшей, крупной тротуар.

Взяв его под руку, Елена чуть погодя, на всякой случай, все-таки осведомилась:

– А кто такая бонавентура?

III

Жизнь Крутаков вел, по представлениям Елены, довольно разгульную. В следующую же встречу на Пушкинской, когда на его жеманно-грубиянское «Беррри маккулатуррру и пррра-а-аваливай, мне бежать надо», Елена вдруг, ужасаясь собственной смелости и

бестактности, попросила: «Женьк, а можно мне с тобой?», Крутаков, кажется, слегка удивившись, сахарно растягивая слова, сообщил:

– Ну ха-а-арррашо, только ждть тебе в подъезде пррридется. Я тут к одной подррруге на Арррбате забежать должен. Абсолютно незначем тебе со мной светиться.

А еще через одну прогулку еще одна загадочная, незримая, подруга обнаружилась у него на Кузнецком мосту; а потом еще и в высотке на Котельнической.

Смутно себе представляя, в каких же Крутаков со всеми этими подругами может быть отношениях, и из-за чего боится ее «светить» – тем не менее, отказаться от легкого, летящего наслаждения прогулки с Крутаковым по городу Елена все-таки не могла.

Ходил Крутаков так быстро (а не спадающие морозы еще и прибавляли оборотов), что казалось ей, что не идут они, а катят на чем-то. А при паническом, родившемся в ней вот уже несколько месяцев назад и день ото дня (по мере наблюдений за зверушками окрест) крепшем, смертельном страхе влипнуть в жижу жизни, в капкан мещанских обыкновений, – ритмы сумасшедше быстрых этих прогулок как раз чувствовались спасительными.

– А знаешь, как Пушкинская площадь прррежде называлась? А вот здесь, на разоррренном, но еще не снесенном тогда Стрррастном монастырре, как мне ррродичи рррассказывали – когда-то была огррромная перрретяжка: «Посадим СССРРР на автомобиль».

– Не может быть! Врешь ты все, Женька! – смеялась Елена. – Это же почти антисоветчина, это же ругательство!

– Зррря воврремя ускорррения только этому автомобилю под зад коленом не пррридали, – парировал Крутаков. – А во-о-он в том доме на крррыше соляррий был, между прррочим, – мельком сообщал Евгений, когда неслись они уже по Тверскому бульвару – и кивал вороной башкой влево.

– Ух ты, – замороженно говорила Елена, вперившись взглядом в указанный старый дом. А чуть погода доверчиво добавляла: – А что такое соляррий?

Или, в другой раз, проносясь мимо Моссовета, на ходу произносил:

– А ты в курррсе, что здесь вместо Долгой Ррруки генерррал Скобелев напррротив генерррал-губерррнаторского дома на коне

скакал, до восемнадцатого года?

Или, в бериевской высотке на Котельнической, разбираясь с не хотевшей их впускать в парадное старой, гнусавой, в коричневом чехле, консьержкой, Крутаков вдруг быстро мельком тыкал в воздух маникюром, указывая под высоченный потолок, на ужасающе игривый монументальный портрет Сталина – в окружении мавзолейной, неживой, холодной мраморной роскоши подъезда.

Но наслаждением самым большим было когда Крутаков вдруг, из ниоткуда, из морозного розоватого воздуха, созидал в этом же воздухе совсем уж небывалые, незнакомые, фантастическими казавшиеся здания – и названия, – какую-то, возле самого Кремля, Моисеевскую площадь – казавшуюся почему-то, по звуку, финифтью покрытой, – и какие-то порушенные танков ради воротца, – а то, когда встречались на Колхозной, и вовсе за секунду зиждал что-то огромное, ни в какую фантазию не вмещавшееся – башню, востроносую, с часами, картавого «петррровского баррроко».

– Таррраканище! – с презрением комментировал Крутаков. – Черррный мелкий усатый таррраканище! Хуже чем пожаррр по Москве прррокатылся! – и на бегу, у площади Ногина, мельком запросто возводил для Елены в воздухе еще одну, несуществующую, башню, еще одни снесенные ворота, еще одну – невероятной крепости – городскую стену. – Это же надо, а... – приговаривал, пролетая мимо миражей (которых ему самому же тут же явно становилось жаль) Крутаков, – ...мелкий, закомплексованный бездарррный уголовник – а столько ррразрррушений от него!

А раз, у Кропоткинской, Крутаков и вовсе потряс ее воображение: указывая на клубистые хлорные горячие испарения над бассейном «Москва», заявил:

– А местные тут, между прррочим, шутят, что голуби до сих поррр пррррямо в воздухе садятся на ауррру купола, стрррого по контуррру.

– Какого купола? – без особого интереса переспросила Елена, миглом вспомнив, как однажды с Анастасией Савельевной в этот странный бассейн под открытым воздухом зимой ходила, и как в душевой две голые бабы с висящими животами подрались за шайку; и так жутко страшно почему-то было из тепловатой неглубокой воды расположенного на выходе из душевой бассейнового предбанника подныривать (чтобы вынырнуть уже в бассейне) под гигантскую,

черную, грубую, навешенную зачем-то с потолка – и утопавшую в воде – резину – всё казалось – ничего под ней нет – нырнешь и никогда не вынырнешь – ничего за этим черным кадром не будет; а потом у Елены три недели была ужасная дыхательная аллергия от хлора.

– Вот бестолочь невежественная, – изнывал Крутаков, и в жутких деталях рассказывал ей, как разрушили, ровно на месте бассейна, храм – и как хотели вместо креста водрузить в небе Ленина, спроектировав вавилонскую башню Дворца Советов – да война оборвала планы. – А еще до этого, между прочим, Хрррам Хррриста Спасителя был отквррроленно оскврррнен тем самым меррррзопакостным обновленческим лже-соборрром, где иеррррархи церрррки пррредали патррриарха Тихона, низложили его, лишили сана и трррусливо легли под большевиков! – легкими пируэтами перебегая дорогу к Гоголевскому, и все оборачиваясь – не рассядутся ли при них по контуру ауры голуби, – говорил Крутаков.

– А кто такой патриарх Тихон? – успевала вворачивать Елена, ярко вспомнив, тем временем, почему-то, режимных, цековских, старушек в выпуклых, с фальшивыми цветами, шапочках для купания и совместных купальниках на жгутах-бретельках, то и дело застывающих на несколько секунд слева, на запретных дорожках для спортсменов, в подозрительных позах, и, с подозрительно напряженными рожками, отгребаяющих из-под себя лапками водичку, и нарочито громко беседующих о мертвяках-утоплениках, вылавливаемых-де иногда после плавательных сессий в этом бассейне.

– Вот безгрррамотная, а... – зыркал Крутаков на нее на ходу, легко вытанцовывая на утоптанном снегу уже перед аркой, между лазами в метро, круговой пируэт и еще раз оборачиваясь на пустой кусок неба с густой белесой хлорной испариной, над ельничком, по периметру бассейна «Москва». Взмахивал вороной башкой и неожиданно, вместо того, чтобы зайти в метро, ныривал в арку, в пролом между толпой, и пускался, почти бегом, наперегонки с морозом, по Гоголевскому, картаво продолжая ликбез.

И Елена уже ничего не переспрашивала, а только со злостью старалась запомнить, о чем у Крутакова выклянчить в следующую ходку книг.

Впрочем, особо выклянчивать и не приходилось. И – в досталь высмеяв ее невежественность, Крутаков, следуя уже подмеченной ею

удивительнейшей телепатии, закидывал ее книжками – дозируя, разнося во времени и, кажется, терпеливо ожидая, пока она все переварит.

В этих странных, стремительнейших, казавшихся ей (из-за незримости таинственных, секретных целей) броуновыми, похождениях по старой Москве, – забивались они в лузу то одного, то другого дома, то одной, то другой станции метро, Крутаков что-то у кого-то брал, что-то кому-то отвозил, с кем-то (никогда не известно для Елены с кем) «перррребрррасывался парррой слов» – и она добросовестно, пристыв к какой-нибудь батарееке в парадном, ждала его внизу – пять, десять, пятнадцать минут, а то и полчаса – чтобы тут же продолжить с ним прогулку, пробежку, полет – в мнимой пролётке.

Кое-что, в материальном преломлении, между тем, перепало от этих прогулок и ей: так, в одном из Кропоткинских переулков, в домике с аркой, львиными маскаронами и завитками чугунных решеток на балконах и манжетах козырька подъезда, была взята им, у очередной невидимой подруги, и тут же отжертвована Елене, жутко замухренная, машинописная, на простых листах отпечатанная рукопись отрывочного подпольного перевода Честертоновского «Вечного Человека».

– Беррри! Рррраррритет! Вррряд ли это когда-нибудь по-рррусски в совке опубликовано будет... – смеялся Крутаков.

Был, среди бесчисленных таинственных адресатов Крутакова, один совсем уж загадочный – живший где-то на Кировской: к нему Крутаков Елене даже и в подъезд-то не позволял зайти – да что там в подъезд! – даже и к дому-то его запрещено было ей приблизиться, и не знала даже, в каком переулке этот загадочный персонаж живет – а ждать Крутаков попросил в вестибюле метро. Наплевав, разумеется, на договоренность, наскучив – через полчаса – торчать между кишмя кишашими, друг друга давящими индивидами, Елена (благо была полудневная оттепель) вышла из метро, перешла на Сретенский бульвар и с нежным изумлением вспомнила то самое место, где летом шлялась одна, – и застыла вновь напротив сказочного многоэтажного горчичного домика-фортеции с башенками и распахнутыми витыми воротами, очерком напоминающими на всем скоку несущуюся карету – а на верхних украшениях замка как будто остались с того, летнего, дня следы ее ладоней, а стрельчатые перемычки на крыше до сих пор

мерялись прыжком между ее большим и указательным – и когда Крутаков внезапно окликнул ее, смеясь, из-за спины, Елена смутилась – и, чувствуя как краснеет, ни слова не могла вымолвить.

– Да что с тобой случилось? – допытывался Крутаков, быстро переходя вместе с ней бульвар и ловко уминая какие-то бумаги в левом внутреннем кармане куртки. – Ты что обиделась, что меня так долго не было? Ну извини, мне кое-что важное обсудить нужно было... Все в порррядке? Ничего не случилось?

Но Елена чувствовала какую-то оторопь – и самое смешное, боялась даже смотреть в направлении дома, по которому только что – так же как и летом – как будто взлетая, или вырастая до роста кровель здания, тактильно разгуливала. А Крутаков, как назло, не просто не отставал с расспросами, а с каждым ее отнекиванием приставал все больше, по совершенно непонятной для нее причине вдруг ужасно встревожившись:

– Нет, что значит «ничего»?! Что за дурррацкая манеррра? Я пррросто не понимаю, чего ты скуксилась. Ррразве так сложно сказать?

И когда Елена наконец, решив, что ее репутация и без того уже безнадежно подпорчена историей с лестницами, косноязыко пытаюсь обрисовать непроизносимую внутреннюю игру в верхогульные прогулки на ощупь по домам, призналась, что чуть не свалилась только что с часовой башенки на крыше от внезапности его оклика, – Крутаков, даже не съязвив, выдохнул с невероятным облегчением:

– Сла-а-ава Богу.... А я уж было подумал, что кто-то тебя тут напугал без меня... – и тут же резко свернул в переулок: – Пойдем я тебе кое-что в этом домике покажу. Смотррри – монстррры какие живут здесь!

И Елена было уже подумала, что имеет он в виду гуманоидов – но тут Крутаков и взаправду принялся, обходя фортецию кругом, отлавливать для нее чудищ, одного за другим, в секретных пазухах и складках здания: жилистых летучих мышей, извивающуюся саламандру.

– Фу, Крутаков, мне уже не только гулять по этому зданию не хочется после этого, но и видеть его противно... – отворачивалась Елена.

– Вот тебе прррекrrрасная наука – не всему, что издали заманчиво выглядит, стоит доверррять! – тихо хохотал Крутаков, вытаскивая из правого кармана куртки принесенный для нее, в Лондоне изданный энциклопедический словарь русской литературы с 1917-го года Вольфганга Казака – свеженький, пухленький, мелкоформатный, с очень голубой Анной Ахматовой с изломанными ключицами на обложке. – Это же уже имитация! Пrrриода рrrраспада и рrrразложения классической арррхитектуры! – тыкал Крутаков пальцами в башенки здания.

Была, впрочем, кроме потери репутации, в признании о тактильном разгуливании по фасадам и крышам (настолько реальном, что на улице отвлекались иногда на это все силы, все внимание) и некоторая польза: теперь не приходилось как раньше хотя бы лишней раз краснеть, когда Крутаков, гуляючи с ней в старинных переулках, улавливал ее за шкирцы в полсекунде до того, как носом пропахала бы мостовую, и тихо, будничным веселым тоном, добавлял, точно как той морозной ночью перед Юлиным домом:

– Уrrродина... Опять вместо борrrрдюров по пилястрrrрам шлялась?

Выведав про нее все страшные тайны, сам про себя Крутаков тем временем рассказывал оскорбительно мало. Некое русское эмигрантское антисоветское содружество, с которым Крутаков сотрудничал, находилось за границей, и, как он популярно Елене несколько раз втолковывал, «пррри желании» упечь за решетку за это его могли в любой момент, поскольку (занудно разъяснял Крутаков) даже в новом, слегка смягченном перестроечном совковом уголовном кодексе, мастырящемся по заданию Горби, и переданном на обсуждение в Академию наук, любые связи с иностранцами, а уж тем более политические связи, могут трактоваться как уголовное преступление (именно поэтому относительно безобидный местный самиздат в школу таскать Крутаков ей разрешал – а западные журналы и книги – нет). И с какой-то невообразимой поэтикой рассказывал Крутаков, вполголоса, о «молекулярном» устройстве загадочной звездообразной, на разрозненные снежинки в воображении Елены похожей, «закрытой», заснеженной, засекреченной части этого содружества – где никто не знает кристалликов соседних снежинок – а

между собой теми крохами интеллектуальной и духовной литературы, которую только и можно через образовавшиеся в советской границе щели добыть.

Сам-то Крутаков, тем временем, не ведая ни ложного стыда, ни ложного такта, каждую прогулку весело и безостановочно выспрашивал у Елены всё – и про школу, и про друзей – и она ступорилась от застенчивости на каждом слове, вполне сознавая, какой мелочью и глупостью звучат все ее школьные новости на фоне его дивной, опасной и тайной жизни.

– Ну как ты не понимаешь – мне же безумно интересно, это же для меня – закрытая книга, даже твоя школа, которую ты ненавидишь! Я же ничего не могу видеть твоими глазами! Всё, что ты можешь рассказать – уникально, потому что именно ты это видишь! – рассыпался Крутаков в попытках раскрутить ее на рассказы.

Как-то вечером оказались с ним в букинистическом на Качалова – и Елена задержалась на секунду у входа, яркой картинкой вспомнив, как (совсем недавно ведь! а одновременно – так давно!) ровно вот здесь, слева, прямо у входной двери, в нише, целовалась с Цапелем – и вдруг нахлынуло счастливое ощущение, что весь город и мир вновь с тех пор, как и до панковской драмы с Цапелем, стали многомерными какими-то что ли, что всё поет снова вокруг, что снова зовут все время какие-то играющие потайной музыкой, где-то в воздухе зашифрованные загадочные музыкальные инструменты, невидимые – иногда, кажется, угадываемые по какому-то внутреннему резонансу (так что каждая книга даже, казалось, на ощупь звенит поразному) – а иногда дразняще исчезающие и зовущие опять.

Крутаков, стоя у прилавка (за которым почему-то не было продавца), облокотившись локтями, зарился на потрепанный восьмидесятидвухтомный энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, сложенный за прилавком на стульях четырьмя неровными столбцами.

– Невероятно дорого... – улыбался он, раскрывая верхний том, – но хоть в руках приятно подержать...

– А у одной моей подружки, представляешь, Брокгауз есть, целиком... – сказала Елена, сразу вспомнив шкаф в тесной прихожей Эммы Эрдман, где томики Брокгауза, по наследству доставшиеся, красуются как предмет кичевой престижной мебели – и так наглухо

втиснуты в рамки полок, что нет никакой физической возможности их достать и почитать, – и подумала: «Удивительно, какая пропасть между вот этой внешней кичухой в околотитературной, вроде бы, семье Эрдманов – и какой-то набожной, дрожащей жадностью Крутакова к слову».

Встав рядом с ним, Елена перегнулась через прилавок тоже и высмотрела, в горке, томик с буквой Е («Евреиновы – Жилон») – придержала пальцем, чтобы пирамида не рухнула, выдернула, втянула на стекло и быстро раскрыла кое-что, что давно уже хотела проверить.

– С ума сойти... Есть, действительно есть... То есть была такая... Енисейская губерния! – протянула она себе под нос с наслаждением совершающегося чуда обнаружив, что материнские побасенки про Матильдину малую родину – место ссылки Матильдиных польских родителей – имеют хоть какое-то именное, географическое подтверждение – в советских учебниках отсутствующее. – Енисейская губерния! Как красиво звучит... Что-то такое лазоревое в названии чудится.

– Звучит крррасиво – только очень холодно там наверррное, – со знанием дела возразил Крутаков, не отрывая глаз от страницы – и только чуть-чуть прервался и слегка потеснился, толкнув Елену под руку, чтобы позволить пробиться к прилавку молодому человеку с гоголевской стрижкой, костистым носом и маленькой бородкой кольшком, бросившему на Елену сквозь запотевшие круглые стекла очков весьма дружелюбный взгляд (и почему-то ей полупоклонившемуся, как знакомой), который, затем, по-птичьи повертев головой, сдернув очки, протерев их носовым платком и водрузив на нос опять, и высмотрев что-то на деревянной полочке справа, ликующе ухватил худенькую потрепанную книжицу в сизовой бумажной обложке (кажется, на французском), и, неуклюже дав обратный ход, бормоча себе под нос что-то вроде «вените эт видите», толкнул их обоих и радостно им обоим улыбнулся, задрав верхнюю губу, кривоzubой улыбкой квазимодо. – А зачем тебе губерния эта сдалась? – переспросил Крутаков, опять удобно расположившись на своей половине прилавка в прежней позе.

– Ну... Понимаешь, моя прабабушка... Матильда... Матрёна... Она русская – но дочь поляков...

– Как это может быть русская дочь поляков, что ты несешь? – переспрашивал, в пол-уха явно ее слушая и нежно перелистывая тонким пальцем коричневатые страницы, Крутаков.

– Ну ссыльные, княжеского древнего польского рода... Они умерли, то ли от гриппа, то ли от сибирской язвы, когда Матильда еще совсем маленькая была. Ее тетка троюродная растила. Мама все время говорит, что я на эту Матильду как две капли воды похожа внешне...

Крутаков захлопнул книгу и зыркнул на нее с любопытством:

– А после какого восстания выслали-то их туда? 1863-го?

– Ох, если бы я знала, Женечка... Знаешь, мать так боится до сих пор панически всех этих историй о дворянском происхождении... Я только помню по детству, когда я маленькая была, мать мне на ночь как сказки это рассказывала. И про собственный огромный дворянский каменный дом прямо на берегу Енисея, который у Матильды там был, и про кондитерскую фабрику с коврижками и сливочными тянучками – в революцию все это у нее отняли, и ей с дочерью бежать пришлось.

– А в каком городе эта твоя Матильда жила? Город-то как назывался знаешь?

– В Минусинске – но после революции они сначала в Крым бежали, потом в Москве оказались...

– Ну, Минусинск-то до сих пор есть, что ты мне голову моррррочишь! Подожди-ка, давай посмотрим у Брррокгауза... – Крутаков перегнулся опять через прилавок и выудил том «Мацевский – Молочная кислота». – Ухум, так... Четыррре церррки, тысяча двадцать пять домов, из коих каменных не более десятка... – скороговоркой стал зачитывать вслух Крутаков, быстро обнаружив Минусинск где-то между Минукианом и Минутом.

– Вот! Да, да! И один из них, каменный, как раз дом наш! – перебила его Елена. – Двухэтажный! Белоснежный! С колоннами у входа! Окна прямо на Енисей выходят! С несколькими флигелями, с пристройками, ну и там, знаешь со всякими службами во дворе, с настоящей конюшней, с каретным двором – ну, знаешь такая настоящая собственная городская усадьба!

– Подожди рррадоваться, подррруга – это на 1896-й год данные! – тихо хохотал Крутаков. – Может, он не уцелел еще, дом этот!

– Еще как уцелел! – возмущенно выпалила Елена, как будто Крутаков что-то попытался у нее украсть. – Есть точные шпионские

данные! Целехонек! Так и стоит прямо на набережной Енисейской протоки! Только там никакой этой уже Матильдиной городской усадьбы вокруг дома не уцелело... Один дом стоит. И колонн тоже нет почему-то... В какой-то дурацкий цвет его причем покрасили. Но все равно Матильдин дом очень красивый. Там школа сейчас, в этом Матильдином доме, представляешь – целая школа поместилась! – и потом чуть смутившись добавила: – Так материны друзья говорят – мы там с матерью никогда не были... Мать боится почему-то...

– Вообще – неплохо ссыльные жили пррри царре-батюшке! – веселился, читая дальше, и вновь в одно ухо слушая ее, Крутаков. – Дом дворрянский, фабррика... Они же государрррственными прррреступниками считались – ее ррродичи: восстали, независимости Польши тррребовали – а им тут, вместо Гулага, вместо того, чтобы вррагами нарррода объявить – шикарррные условия жизни! Холодно там только...

– Ну, знаешь ли! Не очень-то они шикарно и жили! – обиделась Елена, припоминая опять рассказы Анастасии Савельевны. – Фабрика – это в общем-то громко сказано. Матильда же сама все своими руками, вместе с дочкой, делала! И тесто замешивала, и тянучки в формы отливала, и коврижки пекла! Просто у них в нижнем этаже стояли специальные ручные прессы, ну и там всякие чаны, – домашняя такая фабрика, – и они на эти деньги жили. В своей кондитерской всё это продавали. Знаешь, я не помню точно – но что-то мать говорила, что Матильдина семья была выслана из Польши как-то без поражения в имущественных правах, а еще, что Матильдиных родителей принудительно, как бы заочно, что ли, заставили продать их польские поместья и дом в Варшаве – и на все деньги, которые им за это дали, они этот дом построили в Енисейской губернии и фабрику создали – чтобы хоть как-то в ссылке и после ссылки выжить.

Крутаков, со счастливым видом, как будто в снегу нашел пачку денег, довольную для покупки Брокгауза, развернулся к ней и с легкой иронией разглядывал ее, чуть накренившись влево, и барабанил маникюром по расщепившемуся деревянному канту прилавка.

А Елена, злясь уже на себя саму, отчаянно завидовала сейчас Анастасии Савельевне, с ее простецким артистизмом, и беззастенчивым самовыражением, и настойчивой экспрессией, – и с обидой видела перед собой все те картинки, которые сейчас, при ее

рассказе Крутакову ускользнули, и которые так зримо рисовались когда-то при рассказах Анастасии Савельевны ей: «Эх, Ленка, картина маслом: дом с колоннами на набережной! Глафирушка наша с маленьким серебряным ведерком, в красных сапожках, еще затемно бежит к Енисею, на помостки деревянные, воды для теста набрать, коврижки печь. А холодно там иногда в апреле, на Матильдин день рождения еще – ночью заморозки, представляешь, минус семнадцать бывали – ледок еще на реке – и вот Глафира, гимназистка, в полушубке, с косичками своими, остороженько ведерко на веревке с помостков, в полынью бросает... А Матильда ей кричит со двора: «Не набирай только полное! Надорвешься!»

– И знаешь, знаешь! – вспыхнула было, с какой-то безумной надеждой догнать ускользавшее между слов очарование детской сказки про дореволюционный Енисей, Елена. – Еще шаньги Матильда с дочерью какие-то делали! И торты с черемухой и со сметаной! Шаньги! Слово-то какое! Ты когда-нибудь пробовал, Крутаков, шаньги?!

– А что с ними потом пррроизошло? – переспросил Крутаков уже пробираясь к выходу из книжного.

– Рецепт потеряли. Память дырявая! Так я никогда и не пробовала! Мать говорит, что бабушка Глафира ей рассказывала, да она позабыла. С черемухой как-то тоже! И со сметаной!

– Да не с шаньгами, я спрррашиваю, дурррында. А с Матильдой с твоей после ррреволюции что стало?

– О-о-о! Женечка! Это отдельная история! – Елена, запинаясь (уже от торопливости), тараторила, забегая вперед Крутакова и сильно стараясь помочь рассказу взмахами рук. – Дело в том, что... У этой Матильды было два мужа!

– Так, только вот не надо перрремывать бедной прррабабке косточки за аморрральность... – подсмеивался на ходу Крутаков, выбираясь из дверей между пожилой входящей парой – очень похожими друг на друга монголоидным очерком лиц, и стрижкой «олимпийской», мужем и женой.

– Да я же не про то... – обижалась Елена, и все-таки спешила (уже на улице, бегом, по правую руку от несшегося вперед, мимо вспыхивающих, казалось – в такт его шагам – окон домов, Крутакова) выпалить всю историю до конца, пока Крутаков перебьет ее опять

своими смешками. – У нее был муж поляк – который умер рано. Ее законный муж, тоже потомок польских дворян ссыльных. У него было малокровие... То ли белокровие... Ну в общем какая-то болезнь крови, я не помню уже. Мать то так, то так пересказывала... А его тем не менее забрали воевать на фронт в первую мировую. И вот он то ли погиб, то ли пропал без вести! Матильда ждала – ждала, искала – искала... Похоронок не было, и нигде она ничего о нем разузнать так и не смогла. Матильда ждала – ждала, искала – искала... А потом появился некий Севастьян. Хлыщ, пропойца, гуляй рванина... Матильда поехала за сахаром... То ли в Абакан, то ли в Маньчжурию... Я, Женечка, уже, честно говоря и сама не знаю куда – потому что мать рассказывала то так, то так. На названия и на всякие необязательные факты у нее вообще память дырявая. Она, знаешь, картинками все запоминает! И там к ней, к Матильде – на обратном пути прибился этот Севастьян... Чернющий! Он всегда про себя говорил, что он крымский цыган – но никакой он был не цыган, а просто русский пьяница, красавец такой, Севастьян Лебедев такой... Короче... Ну и вот! – (обижалась уже Елена сама на себя и – заочно – на мать – что так невнятно ей все рассказывала, как испорченный граммофон. Но Крутаков, на ее удивление, не перебивал, а с блаженнейшим удовольствием на роже, уставившись на нее, ждал продолжения и быстро шагал вперед.) – И этот Севастьян... А с ним Матильда даже пожениться официально не могла сначала – потому что не вышел там какой-то срок, положенный ждать, когда муж пропадает без вести. А Матильдина дочь, Глафира, так и осталась записана на первого, польского Матильдиного мужа. И у Глафиры даже на одной ранней фотографии, на обороте, польская фамилия написана! А Матильда как бы незаконно с Севастьяном, секретно, проживала. И при этом Севастьян этот был тот еще шнырь, со страшными комплексами, такой, знаешь, гордец – и закатывал ей регулярно истерики: «А, ты, – говорит, – такая растакая княжна-белоручка, а я русский мужик при тебе на побегушках!» А Матильда уж ему и гильдейскую грамоту купила, купцом сделала – и все что могла для него, и в общество своих друзей ввела – только чтобы у него этих всех комплексов не было. А Севастьян все равно в кабаке все прокучивал – как был бездельником и пропойцей – так и остался, и к фабрике вообще никогда пальцем не притрагивался, ничего ей не помогал.

Короче говоря, когда красные в город вошли – как-то по второму разу – я уже точно не помню – у них там какой-то год бы, когда красные вошли, но их вышибли – а когда они захватили город по второму разу, Матильды в городе не было, она вместе с дочкой за сахаром уехала. А пропойца этот Севастьян, когда бандиты в дом ворвались – был уже вдупеля пьян, надрался там по случаю отъезда Матильды. И когда бандиты в дом ворвались, он не только не пристрелил их, не только не сопротивлялся, а тут же немедленно радостно пригласил их с ним выпить. Представляешь, гад! Сумасшедший! Да еще и принялся им душу изливать, что его тоже, мол, эта дворянка достала, – ходил по дому и орал, и даже потайные кладовцы открывал: берите всё – вот ее фамильное серебро, берите всё! Мало того, Женечка, – он им тут же, усевшись за стол, дарственную на дом и на всю усадьбу отписал, подмахнул! Хотя разумеется никакого права на это по закону, конечно не имел, все это не его, а Матильдино было! А когда Матильда через несколько дней с дочерью возвращалась – они на подводе подъезжали – и она увидела зарево над городом и дым – и подумала, что пожар. Но уже все последние месяцы так беспокойно в губернии было, повсюду шайки бандитов рыскали – и у Матильды как-то сердце ёкнуло, что-то ей подсказало не въезжать в город. И она заехала, у знакомых на хуторе лошадь с подводой оставила и дочь в безопасности – ну и там ей рассказали уже, что в городе неладно, что ей с дочерью в город входить нельзя, что там убийцы и мародеры рыщут везде – любые драгоценности, одежду отбирают, убивают, чтобы отобрать деньги, никого не щадят. А Матильда – ты представляешь, Женьк! – не струсилась, взяла переделась в какое-то рваньё, взяла палку кривую, котомку какую-то драную, и под видом нищенки скрюченной вошла вечером в город. Матильда расспросила, где Севастьян – по пути у нескольких друзей. Ушам своим не поверила – потому как этот пьяница и бездельник к тому времени уже успел протрезветь – прийти в ужас от того, что он сделал – напиться снова – и рассказать уже всем кому ни попадя эту историю. И нашла его Матильда – думаешь где? Валялся под лавкой в трактире у Порфирия Кукарева! И только орал, когда Матильда вошла: «Порфюня, держи, держи ее, Мотька меня убьет сейчас!» Короче, Матильда плюнула на пол, и только сказала Севастьяну: «Да Язьви жь тебя в корень!» Ругательство у Матильды такое было! Развернулась, и ушла на хутор, забрала дочку и уехала.

Только перед этим, накинув поглубже, как нищенка, платок, прошла мимо своего дома по Набережной – взглянуть на прощание на свой дом, где шваль веселилась – зажирая наливку ее сливочными тянучками. И с Севастьяном больше никогда не виделась. В Крым ей как-то удалось с дочкой добраться. Экспресс какой-то, кажется, поезд был... А потом кое-как на перекладных... Я точно не знаю как... Мать ничего же не...

– Да-а-а... Довольно стыдно мне пррред горррдою полячкой! – рассмеялся Крутаков. – Пойдем в булочную что ли на Смоленке зайдем?! Жрррать охота после твоих рррасказов пррро кондитерррскую! Может хоть батончик хлеба перррепадет... – весело прибавил шагу Крутаков. А потом тихо и серьезно, когда они вышли на отвратительно шумное, захлебывающееся автомобильной руганью Садовое, переспросил: – Но ты, конечно же понимаешь, что если бы этот Севастьян не был счастливым пррропоицей-бессеррребррреником – то твою Матильду бы вместе с Глафирррой убили бы немедленно? – зыркнул он на нее как-то странно. – И вообще – ты же понимаешь ведь, что им бы не выжить, если бы не эта счастливая случайность, что их не было в эти дни в горрроде?

Вот эти-то древние Матильдины байки только и были, чем перед Крутаковым похвастаться. Не рассчитывать же было впечатлить его невинными школьными шалостями, как то, изобретение игрушки «Их разыскивает милиция» из портативных (А 5) портретов членов политбюро (фамилии которых читались как рифмованный, слегка садистский, анекдот в одно слово: «Зайков-Слюньков-Воротников-Чебриков-Лигачев-и-другие-ответственные-лица»), гляцевый набор которых Елена за дешевку прикупила в подвальном военторге на Соколе и удобненько, по линейке, разрешила ответственные лица на горизонтальные дольки – на манер милицейских фотороботов – так что теперь получился отличнейший конструктор: можно было, без особого ущерба для индивидуальностей, верхнюю часть лица одного робота сложить с носом второго, с губами третьего и подбородком четвертого (наибольшим спросом пользовалась гарная донецкая взбитая шевелюра Рыжкова, с которой Горбачев вдруг резко претерпевал неожиданные волосатые метаморфозы – а как интересно менялись тем временем выражения лиц остальных членов политбюро с горбачевским пятном на лбу!); и их с Аней обеих выгнали

за хохот с урока труда (сухенькая, старая, с белыми кудрявыми волосами маленькая трудовичка, контуженная фронтовичка, то и дело визжавшая на учеников: «Не стой у меня за спиной!», и вынужденная – в голодной стране – целую четверть преподавать теорию бутербродов открытых и закрытых – секретные, многостраничные, сугубо теоретические данные о конструировании которых обязывала каждого записывать в огромную клеенчатую амбарную тетрадь; а как-то, в порыве откровения, трогательно сказала, что в обожаемой ей «Вечёрке» был описан страшный случай: «Колхозница в Воронежской области пришла с вечерней смены домой, села за стол рубать картоху – и такая, она, видать, ребята, голодная была, что не заметила, как съела вместе с картошкой алюминиевую вилку. На рентгене только через неделю обнаружили. Выжила, представляете!»)

Мистер Склеп еще весной заменен был боевитой молодой белобрысой сильно подслеповатой училкой в тонких очках, начинавшей урок стоймя стоя по центру перед доской, неизменно вытянув перед собой, вертикально, строгий указательный палец и дикторским голосом, как на параде, вопившей: «Товарищи! Товарищи!» – и всю попавшуюся под руку литературу приканчивала она прямо здесь же, торчком стоя, с таким-же комрадским нахрапом – и при этом почему-то всегда, прямо как Вадим Дябелев, сильно выпячивала живот в сером шерстяном комбинезончике. Довыпячивалась до того, что в начале нового учебного года свалила в декрет.

Сегодняшняя же, сменившая ее, новая экспериментальная модель была и вовсе ходячей шуткой: слабограмотная молодая жена офицера, недавно распределенного в Москву из провинции, большие, тарелковые глаза которой наливались красным от ярости, что не может удержать внимание класса, пыталась, по глупости, применять мелкие расправы; а когда какой-нибудь из бунтарей, которого она «наказывала», заставляла стоять весь урок возле парты, вдруг не долго думая спокойно садился на стул, – учительница литературы баловала классных скалозубов очаровательными словоформами: «Я тебя не садила!» Живот, впрочем, уже и у этой рос с подозрительной быстротой.

Дьюрька, который, вопреки предсказаниям Елены, после проработки тети Розы, не только не чурался ее общества, но и с

азартом спешил как можно больше запятнать собственную комсомольскую честь антисоветчиной, как-то раз на буднях предложил вместо уроков авантюру:

– Слушай, будь другом, сходи со мной в райком комсомола! Мне так неохота одному! Меня как секретаря комсомола школы вызвали на инструктаж – какие-то ролевые игры: «Что вы должны отвечать иностранцам, если их вдруг встретите, и если они вам скажут, что в СССР нет демократии». Пойдем – вот смеху будет!

Смеха, впрочем, не получилось. В большом кабинете за маленьким журнальным столом сидела инструктор райкома по имени Таня – с грузной, как у пупса, головой, тщательно и ярко раскрашенная, с очень подвижными большими гримасничающими губами, с аккуратной романтической стрижкой, ледяными серыми глазами и чуть-чуть сплюсненным носом; и быстрым движением холеной руки прятала под газетку «Правда» зеркальце и роскошный трехэтажный раскладной ларчик ланкомовской косметики.

– Вот представьте: вы гуляете... хорошая погодка... солнышко светит ясное... или едете по делам, – грозно-игриво начала инструктаж Таня, как только подтянулись еще трое невнятных секретарей школьных ячеек, – и вдруг, в центре Москвы к вам подходит, вежливенький такой... – Таня гримасничала, интересно вытягивая губы и с удовольствием рассматривая мельком маленькие свои шустрые, растопыренные в сантиметре от поверхности стола, играющие пальцы – как будто светло-розовый лак на тупых недлинных ногтях еще не успел просохнуть, – ...иностранец. И невзначай заводит разговор о том, что в СССР нет свободных выборов, монополия одной партии, нет свободных газет и телеканалов, и что выехать за рубеж граждане СССР не могут. Вот представьте себе, что я – этот иностранец. Что вы ему на это скажете?

– Как что?! Скажу что все правильно, что всё так и есть, как он говорит! – не выдержал Дьюрька.

– Ну, а дальше что вы скажете? – заинтересовалась Таня, сощуриив серые глаза, явно ожидая, что за Дьюрькиным предложением кроется какой-то изящный идеологический ход опытного молодого комсомольского пропагандиста.

– А чего еще дальше-то говорить? – сломал Дьюрька весь кайф. – Скажу, что абсолютно всё, по пунктам, чистая правда – всё, как он

сказал!

«Короче, аттракцион кончился не успев начаться – Дьюрьку выпихали оттуда через секунду с криками, и я даже повеселиться не успела», – жаловалась Елена на следующий день Крутакову на Пушкинской, сдавая ему, досрочно, неинтересный, дуболомно-прямолинейный оруэлловский «Скотский хутор» западно-германского издания.

А потом Аня Ганина, прыская от смеха, рассказала ей, что на алгебре Ленор Виссарионовна хватилась: «Где же это у нас Елена и Дьюрька? А? Голубки! Я их на первой перемене в коридоре видела!» – «А они в райком поехали! В райком! Это у нас так теперь называется!» – не задумываясь, выдал, издевательски корячась, грубый прыщавый Захар, явно уверенный, что на самом-то деле у Елены с Дьюрькой – роман. (Этой, впрочем, части истории, Елена Крутакову пересказать не решилась.)

А затея с Кагановичем так как-то и развеялась сама собой: веснушчатая Фрося Жмых, одноклассница их, детство проведшая в советской дип-резервации в одной из азиатских стран, и кичащаяся какими-то (кажется выдуманными) номенклатурными связями родителей, дразня Дьюрьку, слышав как-то после физики (благо Дьюрька, обсуждая любимившиеся идеи, не просто не стеснялся и не прятался, а орал на весь класс) о его прожектах, насмешливо выцедила:

– Подумаешь! Видала я этого Кагановича сто раз! Видала, как он собаку свою выгуливает – московскую сторожевую. У него огромный пёс такой.

– Врешь! – возмутился Дьюрька, подскочив к ней. – Где это ты его видела?!

– А на Фрунзенской набережной! – небрежно бросила Фрося Жмых, высоко заложив ногу на ногу в красном замшевом мокасине и мелко-мелко часто-часто трясая икрой. – Он там собаку свою выгуливает. Ньюфаундленда.

– Бреешь ты все! – разорался Дьюрька, стоя между партами в проходе и мощно размахивая в кулаке своей дерматиновой сумкой (опять хлястик от заплечного ремня сорвался), с такой амплитудой, как будто собирался наподдать собеседнице со всей силы. – Ты же только что сказала «московскую сторожевую», а не ньюфаундленда!

Тем не менее, видение трясущегося старикашки на Фрунзенской набережной, нераскаившегося экс-палача, прячущегося на прогулках за пса, – да и сама Жмых, через губу обыденно об этом рассказывающая, – внесли во всю эту историю какой-то дополнительной невыносимой пошлости – и после этого даже и сам Дьюрька к идее навестить сталинского преступника поостыл.

Словом, блеснуть перед Крутаковым было почти нечем.

И поэтому, когда, уже перед самыми зимними каникулами, Елене вдруг позвонил мальчик-хамелеон из университетской школы юного журналиста (которого, с его занудной бессменной фонетикой, Елена уже почти было позабросила – ввиду гораздо более экзотических развлечений), и сказал, что университет направляет их на стажировку в советские газеты, да еще и добавил, что ей, по какому-то комическому жребию, досталось направление в популярное издание со звонким комсомольским названием, Елена, предвидя скандальное приключение, тут же согласилась, думая про себя: «Наконец-то будет чем щегольнуть перед Крутаковым, чтобы этот наглец прекратил считать меня ребенком!»

IV

По асфальту неба скрѐб алюминиевый. Собирай осколки звезд, не отлынивай. «Набросали сверху нам рухлядь жалкую!» – дворник смело погрозил небу палкою. Так не хочется входить в мир взьерошенный, но сквозь шторы первый луч – гость непрощенный. Осмелел, стучит в окно все решительней, и лимонным соком в глаз – возмутительно... Рифмуя с зажмуренными глазами утренний рѐв вгрызающейся в расколотые пласты льда железной лопаты дворника, боясь вылезти из-под одеяла в холод, Елена и сама удивлялась тому, как – с наступлением каникул, и с временным прекращением обязательных (хоть и вполне отменяемых прогулами) школы – стало вдруг не то чтобы легче вставать по утрам – это бы было извращением – но как-то жаль стало просыпать свет, которого и так давали по случаю зимы не много, совсем не много. Отпраздновала с Анастасией Савельевной новый год: сказав, что пойдет спать, смотрела с четвертого этажа, как в два часа ночи Анастасия Савельевна в

любимом своем шоколадном приталенном пальтишке, скроенном специально для нее подругой детства из бывшего Никольского, валялась в сугробе вместе с одиннадцатью девчонками-студентками – в засаде, через двор отстреливаясь снежками от всего двух уцелевших в группе тщедушных мальчуганов. А потом, выйдя на кухню (не осталось ли чего съестного?), Елена обнаружила там одиноко и молчаливо танцующую на месте (ветвисто извиваясь к потолку руками) абсолютно бухую, как-то случайно затесавшуюся откуда-то вместе с оравой студентов преподавательницу мат. анализа, которая спьяну приняв Елену за студентку с другого курса, сообщила ей, что как-то раз в отходняке после учительской попойки на седьмое ноября вышла в астрал и летала между звездами (потом, через несколько минут полета, все-таки обнаружилось, что это у нее сердце с перепою просто прихватило), – а затем принялась наставлять, что если Елена захочет когда-нибудь охмурить мальчиков, то надо танцуя «активно двигать бедрами». «Работает безотказно. Проверяла!» – пьяно играя чуть припухшими глазами твердила случайная гостья.

А на следующий день Елена тихо собрала спортивную сумку и переехала жить на все каникулы к Ривке – которая не без страха отбыла в подмосковный санаторий (старый ученик, кооператор, подарил путевку), с радостью оставив Елене ключи – присматривать за квартирой.

Анастасия Савельевна, хоть к Ривке дочь и подревновывала, но, кажется, понимала, что иначе ежедневных скандалов не избежать.

Через пару дней после нового года потеплело, разморозило, развезло. Трюк сам по себе, в общем-то не новый, но каждый раз вызывавший сдержанное недоумение – примерно как летом скверный протекший холодильник в киоске мороженого на Соколе, из которого мороженщик доставал и предлагал вместо дефицитного фруктового какой-то жидкий кисель в сквасившемся бумажном стаканчике: уже никакими фокусами не удавалось вернуть это безобразие в прежнее, мороженное, состояние – а если засунешь в морозилку дома, то оно застывало в похабный подкрашенный и подслащенный лед.

На Девятьсот Пятого Года, в круглом светлом павильоне метро, по пути в редакцию газеты, уже на выходе с эскалатора прекрасно видны были на сером граните пола кошмарные кабаньи, черные, растоптанные, посекудно менявшие форму рельефные слякотные

следы, за турникетами начинались и вовсе топи, а на улице при выходе из павильона – так и вообще надо уже было просто выбирать: плюнуть на все, развернуться и покатить обратно – или следовать дурацкому примеру всех остальных женских сапожек и полу-, понуро пускавшихся вплавь. «Плывет красотка записная, своей тоски не объясняя... – мрачно цедила себе под нос Елена, с жалостью рассматривая и так уже превратившиеся в коричнево-пятнистые, экс-желтенькие шнурочки, выскакивавшие из-под дерматиновых отворотцев. – Конечно, где уж тут объяснить... В этом болоте».

Впрочем на второй день обнаружили, чуть правее, ополовиненные деревянные пивные ящики, выложенные кривой, длинной, шаткой хордой как понтонный мост (склизко прогибавшийся под каблуками) к суше: тоже весьма относительной – в том смысле, что мокрый снег с жидко замешанной миллионными ногами черной талой грязью хотя бы уже не захлестывал через щиколотку, сразу обдавая ступни сквозь капроновые колготки ледяной безнадежностью.

Уже на проходной газеты начинался хоровод невидимок: используя краткое, вялое, невыразительное выражение из трех цифр нужно было вызвонить по местному, растрескавшемуся, темно-зеленому, на стене зябнувшему телефону Анжелу или Клару – томно-официальная интонация голоса обеих была абсолютно не отличима, и Анжела всегда, судя по голосу, обижалась, когда Елена принимала ее за Клару; ситуация усугублялась еще и тем, что в реальной жизни ни Анжелу, ни Клару Елена ни разу, за все свои визиты в редакцию, так и не видела, так что выяснить, не одно ли и то же это лицо, просто с легким раздвоением личности, было невозможно. Когда же и та и другая уходили красть кораллы, и не отвечали, надо было (совершенно уже по другому местному номеру) позвонить попросту Кате, и та, без всяких обид и вопросов (хотя и тоже оставаясь невидимкой) выписывала пропуск, звонила вниз на вахту охраннику, и вохр негостеприимно, каждый раз, как будто впервые, как будто Елену до сих пор в глаза не видел, заново, с садистским удовольствием выяснял, почему же у Елены нет паспорта. «Может и правда склероз, чего уж тут...» – снисходительно оправдывала молодого дядьку Елена – и поскорее сувала ему под нос сомнительную, мятую, университетскую бумажку с ее именем, напечатанную на машинке.

Невидимки продолжали верховодить в редакционной жизни уже и когда Елена из не слишком шустрого лифта выходила на нужном этаже: в большой комнате, с десятком что ли столами, куда она (несмотря на впитавшийся во все стены стойкий запах внутриредакционных попок) любила заходить, потому что никто ее больше не спрашивал, кто она (сразу выучили, видимо, обладая лучшей, чем у охранника, памятью), – какой-то молодой человек, споря с коллегой, то и дело подобострастно обращаясь к кому-то третьему, отсутствующему, грозно прибавлял: «Не знаю, не знаю – вот Артурище придет и скажет как надо». В другой комнате, куда Елена, слоняясь по коридорам редакции заглянула, какая-то женщина (не Анжела ли?! Сменившая голос!) хвасталась другой: «На меня вчера Артурище та-а-а-ак взглянул!» – «Да он на всех так смотрит. Нашла чем обольщаться, – с явной ревностью возразила другая. – Меня вон он за бок обнял – вот так – на прошлой неделе – и я ничего! Не замуж же теперь за него выходить!» Елена, уже было подумавшая, в предыдущей комнате, что «Артурище» это какой-то начальник – тут начинала заподозривать, что это просто какой-то редакционный дон жуан. А через несколько дней близ кабинета главного редактора какой-то весельчак беззаботно ей мигнув в сторону приемной, сказал: «Вы наше Артурище видели уже?» Елена честно ответила, что нет, постеснявшись что-либо переспрашивать – и подумала: «А может они и вправду так своего главреда, по какой-то неясной причине, обзывают?!» А потом, в следующий ее визит, когда Елена, в скучающей прогулке по коридорам, разминулась в дверях информационной комнаты с каким-то выкатившимся клубком людей, другой обитатель комнаты ее с азартом переспросил (явно имея в виду кого-то сейчас ушедшего): «Ну?! Как вам наше Артурище?» И Елена, методом исключения лиц, вычислила, что тот, кого наделили этим звучным преувеличительным суффиксом, был в действительности крошечного роста молодым человеком, с гуталинными взъерошенными стриженными волосами, армянскими меховыми бровями и шерстяными руками, на которых, при закатанной выше локтя рубашке, смешно смотрелись блестящие, массивные, с железной оправой часы. При обожающем хихикании и женского, и мужского пола вокруг, маленький редакционный идол вымученно шутил что-то про масковый лай.

Дьюрьяка, которого попервоначально отправили в многотиражку ГУМа (в чем-то страшном сейчас, гигантском здании которого на всех прилавках царила пустыня Гоби, а угрюмые очереди стояли только в холодные женские нужники меж этажами), тут же, услышав, куда ездит Елена, обиженно заявил: «Что, это я – в этом ГУМе гнить что ли буду?» – и увязался в известную редакцию вместе с ней.

На редакционных планёрках, куда их обоих приглашали, Дьюрьяка, усевшись в дальнем конце многолюдного длиннющего стола, с умилительным усердием стенографировал в тетрадочке всю информационную абракадабру, которою участники через стол перебрасывались. К присутствию навязанных университетом «практикантов» все относились расслабленно – но явно начинали нервничать, как только Дьюрьяка или Елена заводили речи о том, можно ли предлагать свои темы для статей.

Будучи побойчее Елены, Дьюрьяка все же выпросил себе задание: отправили его на заседание какого-то умеренно перестроечного райкома КПСС на востоке Москвы – написать репортаж.

Через день, утром, Дьюрьяка, с абсолютно красными ушами и со скомканной газетой в руках, с гневом сообщил ей в коридоре редакции, что «немедленно же отсюда уходит», и что «ноги его в этом здании больше не будет»: и тут же показал измятый разворот внутри газеты, где его репортаж включили в состав большого текста, подписан который был совершенно другой фамилией – одной из улыбчивых аборигенок редакции.

– А ты чего-то дрругого от комсомольцев ожидала? Дьюрьяка твоей тоже, дуррачок доверррчивый... – картаво скучал Крутаков в трубке, когда Елена, с традиционным уже удобством (с журнальной банной полочкой перед собой) расположившись в горячей Ривкиной ванне, вымучивала для него новости (дней десять подряд уже с Крутаковым, из-за редакции, не видясь), и опять Крутаков говорил с ней как с маленькой, и от обиды, бросив трубку, она все-таки опрокинула случайно Ривкин черный телефон в воду, и еле успела (чуть черпнул только циферблатом) выудить телефон за хвост провода, до того как утопит весь, и потом феном просушивала коробившиеся старомодные букочки под цифрами на размокшей, темно-коричневой от воды, картонной подложке металлического диска.

Все-таки жалея распротиться с аттракционом под названием «редакция» – вот так вот, без всяких трофеев (в смысле без какой-либо, хотя бы смешной, взрослой истории, которую Крутакову можно было бы с гордостью пересказать), Елена хранила в кармане куртки забавнейший, сложенный вчетверо, документ, в газете ей, по просьбе университетской школы, опрометчиво выданный: на листке с редакционной шапкой на машинке напечатано было, что она «является внештатным корреспондентом и направляется освещать мероприятие». Никакой конкретики про «мероприятие», к счастью, не следовало. И Елена с нетерпением поджидала повода принести в редакцию собственную, никем не заказанную статью.

В конце января, когда уже начались занятия в школе, и Елена переехала (по большей части из-за лени ходить до школы дальшее расстояние) обратно к Анастасии Савельевне, – повод, наконец, предоставился.

Дьюрька, выясняя, где бы разузнать подробности о гибели на Лубянке своего деда («Где-где, Дьюрька! Только там, куда ты попадать точно не хочешь!» – издевалась над его наивностью Елена), прослышал про то, что в авиационном институте, совсем неподалеку от них, открывается учредительный съезд «Мемориала» – группы людей, которые сбором документов об убийствах и других преступлениях спецслужб сталинской поры как раз и занимаются.

– Это же самое важное событие современности! – ликовал Дьюрька, на ходу сильно, с серпообразной взлетающей амплитудой, размахивая школьной сумкой – провожая, чтоб потрепаться подольше, Елену домой. – Школу придется завтра прогулять!

Свой документик, выданный в совковой редакции, Дьюрька, после истории с воровством его репортажа, разодрал в клочки – и, непогожим утром мемориального прогула, очень об этом пожалел. В узком предбаннике дворца культуры авиационного института, – дворца (убогого, сильно вытянутого, в тоскливом провинциально-хрущёвском стиле, зданьца с трехэтажным фасадом и ярко-алым плакатом «Добро пожаловать» над длиннющим – так чтобы разом все курильщики спрятались от мокрого снега – козырьком подъезда), в кинозале которого, как со смехом Елена вспомнила – с год тому назад – на относительно широком экране при полном аншлаге (давка за билетами, истерика не попавших) она смотрела запретный,

запредельный, западный, откровением для всей Москвы казавшийся, старинный фильм «Help» («это не тот битл»), и Эмма Эрдман жгуче потом ей завидовала, – разложен оказался туристический маленький столик с надписью «Пресса», и Елене, как только она развернула редакционную филькину цидульку, без всяких вопросов выдали красивейший пропуск.

Дьюрьку же охранники пускать внутрь без пропуска не хотели. Дьюрька запаниковал было – но вдруг ринулся к другому столику – с табличкой «Регистрация участников»:

– Я – внук Беленкова-Переверзенко! – стукнул он, побордовев, по столу кулаком, испугав вежливую интеллигентную сухую даму в очках, записывавшую делегатов. – А меня пускать не хотят!

Кто такой Беленков-Переверзенко дама не знала. Но, выслушав, краткий, яростный, брызжущий рассказ Дьюрьки, со скорбным лицом закивала и моментально выписала Дьюрьке мандат участника учредительного съезда.

– Здоровско! Во здоровско! – любовался мандатом Дьюрька, влетая в двери, наперегонки, широкими, но круглявыми своими плечами отчаянно пихаясь с Еленой и ни секунды не держа курс прямо – весь как-то ходя ходуном от распирающих его эмоций. – Я же теперь голосовать могу! – ровно таким же голосом, как когда-то хвастался «красивыми ручками», фанфаронил Дьюрька, вертя у Елены перед носом бумажной финтифлюшкой. – От меня зависит будущее всей страны! – надувал щеки, и тут же краснел, лопался, и сам же над собой раскатисто хохотал.

Вдруг застыли оба как вкопанные: иллюзия, что явились, по мистическому закрутку пространства, на прогуливаемый урок географии, была полная – в фойе красовалась абсолютно точно такая же, огромная, как в географическом кабинете, карта «Союза Советских Социалистических Республик». Только вместо традиционных кишочков рельефа, туши и блеклой косметики автономных ССР и пунктиров железных дорог – каркали, харкали с карты непонятные и страшные слова: Карлаг, Иркутлаг, Берлаг, Воркутлаг, Карагандлаг – как проклятия старой карги, как кашель зэка с отбитыми легкими. Угличлаг, Холмогорлаг... – вурдалачьи аббревиатуры, надругательски уродовавшие древние имена городов и сел. Хабаровлаг, Воркутпечлаг, Ухтпечлаг, Волголаг – и еще сотня харкающих проклятий. Вот он,

архипелаг Гулаг. Дальше шли бесконечные (не было живого места на теле страны от всех этих язв) «тоны» – тюрьмы особого назначения, и политизоляторы. Некоторые названия сквозили даже вертухайским юмором: Алжир – Акмолинский лагерь жен изменников родины.

– Вот! Так же и мою бабушку швырнули в лагерь, когда деда расстреляли! Как жену врага народа! – скрежеща зубами, сообщил Дьюрька.

К Дьюрьке (спешно, дрожащими руками доставшему фотоаппарат из кобура – и быстро, как будто запретную карту сейчас скомкают, сорвут со стены, сожгут – фотографировавшему ее с двух краев) подшагал, справа, из толпы, вежливо накрываясь, как будто безостановочно кланяясь ему, темноглазый, коротко стриженный, чуть лопоухий молодой человек – стриженные волосы которого были до того густыми, что казались небольшой шапочкой, над лопоухими ушами надвинутой:

– Здравствуйте, меня зовут Дэвид, – объявил он на русском, с очень сильным акцентом, нарываясь на рифы согласных – а на гласных и вовсе взрываясь как на глубоководных минах. – Я корреспондент «Вашингтон пост»... Ви не возражаете?...

Но Дьюрька не только не возражал, а как будто всю жизнь и ждал возможности на весь мир крикнуть правду об убитом деде, которую боялись вымолвить его мать и бабушка:

– Когда деда убили на Лубянке, его дочь – моя мать – совсем маленькая была – пяти лет не было. А жену его – бабушку мою – запихнули моментально в лагерь. Так вы не представляете – родная сестра бабушки даже боялась взять к себе ребенка – отказалась! Струсил! Потому что шли расправы и с теми, кто давал приют «детям врагов народа»! – (американец, ссутулясь, достав шариковую ручку и пристроив блокнот на лацкан, – записывал, по-английски, едва успевая за Дьюрькиной бурливой речью.) – Мать сиротой осталась – пока ее не согласилась тайком взять двоюродная материна сестра. Вы не представляете, что это было! Животный страх! Всю жизнь! Когда бабушку выпустили из лагеря, мать с бабушкой тряслись сидели всю жизнь, языки прикусив! Даже мне ни слова не говорили! Боялись, что я сболтну лишнего! Они были уверены, что опять все вернется, что расправятся и со мной! Боялись, что в любой момент и их вот так же могут убить – без суда и следствия! Даже когда перестройка была

объявлена – все равно молчали, боялись! Полгода назад мне вот только про деда рассказали – под строжайшим запретом что-либо говорить в школе! Боятся все до сих пор! Животный страх в крови после всех этих лет ужаса!

Елена, оставив Дьюрьку давать интервью, пошла обследовать окрестности, торя путь в пестрой, удивительно живой, взбудораженной, счастливо-взволнованной какой-то толпе, – педантично заглядывая в каждую дверку с надписью «посторонним вход воспрещен». А когда вернулась – едва разыскала Дьюрьку.

– Пжлста, пжлста, пжлста – ну возьми у него автограф, для меня! – изнывал Дьюрька, кивая на какого-то старичка, в самом центре толпы. – Мне самому неловко – ты все-таки девочка, тебе удобнее... Пусть он вот на моем удостоверении участника мемориального съезда мне распишется!

Высокий, худой, курносый старичок, с чуть свернутым на правый бок носом, обескровленными сизо-серыми губами и с обильными мелкими возрастными пигментными бобами на опущенной по кромке белым одуванчиком обширнейшей лысине (ужé придававшей голове гигантский масштаб планеты, а еще и как будто надставленной, для дополнительного объема мозга, сверху на темечке куполком), нежным, нетвердым, срывающимся, но сварливым голоском сверлил мозг какому-то наглому, официозного вида журналисту с прической образцового милиционера:

– Репрессивные органы не могут сами себя реформировать! Так не было нигде и никогда, ни в одной стране мира! – худое лицо страстно говорившего старика выглядело так, как будто бы какое-то время назад вдруг резко сдулось, и висели вокруг губ и по обеим сторонам носа складки – и несимметрично свисали левая и правая бровь и верхние веки, по-слоновьи закрывая жгучие глаза, когда он судорожным движением снял – цепкой рукой – очки.

– А кто это? – тут же громко переспросила Елена.

– Ты что – тише! Ты что, не знаешь?! – зашипел Дьюрька. – Это же академик Сахаров! Который из ссылки недавно...

– Как? Это – Сахаров? – изумилась Елена, для которой звание «академик» должно было непременно сопровождаться отвратным откормленным пузом и гладкими сливочными толстыми щеками. – А я его только что в комнатке подсобной видела – он там каким-то двум

женщинам с кипятивником разъяснял, что дважды кипятить одну и ту же воду нельзя – что это вредно для здоровья!

– Ложь и жестокость – вот что насаждалось повсеместно, – продолжал срывающимся голосом изможденный старик, жестко дирижируя сам себе очками, зажатými в руке. – Единственное, что может исцелить страну – это ничем не прикрытая правда!

Рядом, справа, какая-то худенькая бровястая женщина (брови взламывали лоб посредине глубокой трагической вертикальной бороздой-морщиной), в очках со слоновье-толстой оправой и с пучком серебристо-сажевых седых волос сзади, откашлявшись, снисходительно посмеиваясь, поясняла тому же американскому корреспонденту, который десять минут назад брал интервью у Дьюрьки:

– Да что вы, милочка – что ж удивляться, что за его кандидатуру в Академии наук не проголосовали – там же сплошные прохвосты, приспособленцы и дармоеды сидят!

Дьюрька, и мать и отец у которого работали в Академии наук, приятно побордовел и шкодливо хихикнул.

Аншлаг в зале был еще хлеще, чем год назад на фильме «Хэлп»: давились в проходах. Дьюрька, однако, с невообразимым нахальством умудрился занять два места в одном из первых рядов. Президиум заседал – как будто специально замаскировавшись под неброское советское партсобраньеце – на фоне волнистых занавесочек, с традиционными графинчиками, гранеными стаканчиками – зато вот речи и из-за этого длиннющего стола президиума, и с кафедры, и из всех микрофонов в зале, лились невообразимые – и можно было гарантировать, что прямая трансляция из этого роскошного бетонного сарая, хотя бы на одном из телеканалов, в тот же день подняла бы страну на бархатную революцию. Самым чудесным было предложение считать советский режим чумой – и поставить мемориальные столбы жертвам, по всей стране – как ставили жертвам чумных эпидемий.

То Елене, то Дьюрьке, впрочем, поведение именитых заводил съезда (многие из которых, хоть и кричали о перестройке, однако оставались членами партии) казалось осторожничанием. Путались, сбивались – жертв каких лет в жертвы репрессий включать, а каких жертв оставлять за бортом? 1930-х? Виноват Сталин? А тогда как же с 1920-ми? И как-то слишком ласково подбивали клинья под Горби, и

какую-то чушь несли про сотрудничество с партийными органами и со спецслужбами – в расследовании их же преступлений.

Знаменитый номенклатурный историк с благородной ёжиковой проседью, член КПСС, попросил поднять руки жертв сталинских репрессий – Дьюрька, вертляво и весело было оглянувшись, окаменел: казалось, все пятьсот делегатов, позади них, выпустили, вдруг, вверх, руки – как мертвый лес живые ветви, – как убитые – вдруг восставшие, живыми и невредимыми, из сталинских колымских могильников – для свидетельства.

И тут же возмутился какой-то священник из зала:

– А меня как же? А с нами-то как же? Меня в Брежневское время посадили! На всех, кого репрессировали в Брежневское и Андроповское время, вам, значит, наплевать?!

Дьюрькиным мандатом, злясь и громко дерясь между собой, злоупотребляли, как могли: как только Дьюрька, кичась своим уникальным статусом делегата, голосовал за какую-то фразу в резолюции, которая Елене не нравилась, она тут же, через миг после этого, вырывала у него бумажку из рук – и голосовала (этой же, Дьюрькиной бумажкой) – против.

И как же тяжело оказалось околачиваться два дня, с утра до вечера, на людях! Осоловев от криков вокруг, Елена время от времени эвакуировалась – чтобы освежиться и хоть пять минут побыть в тишине и одиночестве – в туалет, где, возле умывальников, подолгу стояла перед большим затемненным зеркалом, умыв лицо холодной водой – и как будто отказываясь признавать, что вот эта худая девушка – с распущенной косой, с чуть завитыми волосами, которая сейчас дралась с Дьюрькой, решая очередной вселенски-важный вопрос – это именно она. И особенно трудным было признать своим вот этот вот ярко-малиновый джемпер, надетый, на отражении, с джинсами, – джемпер, присланный к новому году Анастасии Савельевне в подарок Анастасии-Савельевниным неудачливым воздыхателем из Латвии институтских времен – Лаурисом, о котором Елена знала только, что был он мощным, дородным, широкоплечим, и (как экспрессивно объясняла Анастасия Савельевна, всплескивая руками) «очень-очень белым», «у него белые волосы – и ресницы белые – и даже брови!»

– Ты с ним целовалась? Целовалась?! – допытывалась Елена.

– Ты что! С ума сошла! Конечно нет, – отфыркивалась Анастасия Савельевна. – Просто-напросто, когда мы на практике в институте были, в Елгаве, мы как-то с девчонками сидели на пляже, на речке – а там речки и озера всюду... А мы в железнодорожном вагончике жили, в депо нас поселили... Месяц, представляешь – в спальном вагоне, в поезде... А Лаурис из Риги туда приехал, у каких-то друзей гостил, и с ними тоже купаться пошел... Ну и вот, Лаурис увидел меня и влюбился – я же чернющая была, а там все местные – бледненькие, беленькие... Ну и вот он меня на свидание позвал...

– На свидание?! Ого! – ликовала Елена, будто уличив Анастасию Савельевну в том, что она бедного латыша поматросила и бросила.

– Ничего не «ого»! – смущалась Анастасия Савельевна. – А прихожу на свидание – и вижу, что Лаурис сидит на скамеечке и, пока ждал меня, свои ботиночки снял и аккуратненько на газетку поставил – а рядом поставил ноги... в носках. Я эти роскошные ботиночки новенькие на газетке как увидела – сразу как-то поняла – не жених... Мне это таким жлобством показалось! – простосердечно рубила рукой воздух Анастасия Савельевна.

– Ну подожди – и ты ушла сразу, что ли, увидев это? – допытывалась Елена.

– Ну, нет, не сразу, конечно, ушла... – застенчиво хохоча, рассказывала Анастасия Савельевна. – Мы погуляли по улице немножко... Лаурис мне коробку конфет подарил... «Конфеты» он почему-то произносил... А тогда в Риге прекрасные шоколадные конфеты были – «Рапсодия» назывались... Ну и вот... Я вечером «домой» в вагончик вернулась – и девчонкам со своего курса все конфеты раздала. А они на следующий день меня подзадоривать начали: «Ну сходи на свидание! Ну принеси еще конфет!»... Голодные же все были...

– Ну?! А ты? – любопытствовала Елена, крупница за крупницей вытребывая из Анастасии Савельевны детали. – Пошла еще раз на свидание? Увиделась с ним?

– Ох, так давно это было... Я помню, мы с девчонками там за черникой в лес пошли: присели на корточки, собираем, черники полно – и вот я протянула руку в траву к чернике – а оттуда змейки! Знаешь, маленькие такие – много-много! И главное – головы уже к нам

поднимают! И девчонки тоже увидели – мы как завизжим, как побежим оттуда, всю чернику бросив!

– Ты мне зубы-то не заговаривай! – хохотала Елена. – Говори прямо – ходила с ним еще раз на свидание или нет?

– Да что ты, в самом деле, Ленка... Да нет, не пошла я больше ни на какое свидание! А Лаурис ничего ведь про меня не знал – ни фамилии моей, ни где я живу. Я ему только сказала институт, где учусь. Я даже имя ему свое отказалась назвать – а он меня «Мариной» почему-то звал – и так смешно смеялся при этом. А через несколько дней мы из Елгавы уехали уже. И вот, возвращаюсь я в Москву, учебный год начался, вхожу в институт – и вдруг на ступеньках вижу – кого бы ты думала?! – Лауриса! Он, оказывается, приехал в Москву, решил жениться на мне – сумасшедший – после одного того свидания – и отправился разыскивать меня в институт, в деканат! А кого искать-то? «Марину»? И вот он стоял там на лестнице, и дежурил, меня ждал...

– Ну? Ну? И?

– Ну и попросил стать его женой. Я растерялась. Я конечно уже знала, что откажу – но не ловко его сразу прогнать, он же из-за меня в Москву прикатил. Лаурис попросил познакомить его с моей мамой, представить его ей – короче, решил чин-чином старомодно предложить руку и сердце...

– Ну? А ты? – допытывалась Елена.

– Ну что я... А я испугалась... Растерялась... Не знала, как сказать ему... И в назначенное время в назначенное место вечером – просто не пришла...

– А он?!

– А что он... Всё понял... Ну представь: когда я и на это уже свидание не явилась... Пропал... Уехал из Москвы.

– А как же вы потом... А как же он потом нашел тебя? Как же вы потом общаться снова начали?

– Ох, Ленка, всё-то тебе знать нужно... – смеялась Анастасия Савельевна. – Ну, в общем, бедный, бедный Лаурис... Остались друзьями... Лаурис так до сих пор и не женился... Такой смешной... Такой трогательный... Такой порядочный... Вот, видишь, какой он хороший – зная, что дочь у меня подросла – посылки с обновками шлет...

Слал Лаурис бывшей зазнобе не только одежду. Дважды в месяц умудрялся, с проводником в поезде Рига – Москва, передавать давно невиданное в голодной Москве богатство – сыр! – здоровенные шматки сыра. Как, на каких хуторах сыр в советской, вроде бы, тоже, Латвии все-таки уцелел – оставалось загадкой. Но Рига, где Елена никогда не была, из-за этих вот вкусных и красивых гостинцев, казалась абсолютной заграницей.

А иногда звонил рижский материн поклонник по межгороду – и задав Анастасии Савельевне вежливые вопросы «Как дела?», «Как здоровье?» и, наконец, «Когда же Анастасия Савельевна придет погостить в Ригу?» – долго-долго молчал и дышал в трубку – о чем Елена догадывалась по изнемогающим уже от жалости – и одновременно от нетерпеливого раздражения – глазам Анастасии Савельевны.

Джемпер был моднейшим, казался почти иностранным. На пузе над широкой моднейшей затягивающей резинкой, шла черная горизонтальная полоса – на которой резиновыми какими-то, огромными бело-дымчатыми буквами – шершавыми, как крошки ластика от карандаша – начертано было непонятное слово: сначала Анастасия Савельевна предположила, что это – на грузинском (по степени нечитабельности иероглифов). Но потом все-таки разобрали – что это просто изощренно-стилизованное слово «спорт» – латинскими буквами.

Чуть отпрянув от затемненного зеркала – из которого на нее сейчас за секунду выглянули и никогда не виданный белобрысый Лаурис в носках на газетке, и крупная дымчатая черника, и Елгавские змейки, и пляж на берегу реки Лиелупе с брызгающимися студентками – и проверив, высохли ли брызги воды на пузе, Елена, запихнув все эти видения в экран зеркала обратно, с аутической улыбкой вынырнула снова в зал мемориальского сборища: сабантуй свободы вот уже битых два часа все никак не мог решить жизненно важный вопрос: как называть жизнедеятельность Сталина – преступлениями против «человечества» – или преступлениями против «человечности». Битвы разгорались и в президиуме, и в обоих проходах зала. Дьюрьяка отчаянно сигнализировал своим мандатом за двоих – и причем, кажется, опять – и «за», и «против».

В левом проходе, ближе к сцене, в мигрирующих живых созвездиях, Елена вдруг увидела Благодина – одет он был в то же пальто, как когда он привел ее в квартиру к Дябелеву, выглядел так, как будто он только что сюда зашел, и сосредоточенно разговаривал с двумя (книжицей сбоку от него вставшими) молодыми людьми – а, заметив Елену, быстро, тихо и незаметно ей улыбнулся – со смехом в глазах. И тут же вернулся к разговору.

Но когда Елена пробилась к тому месту, где он стоял – Благодин будто растворился в воздухе: нигде его лица больше – ни в зале – ни в фойе в перерыве – видно не было.

Вот – Дьюрька, у которого Елена экспроприировала мандат, старается делать невозмутимое личико – но уже с красноречивым изгибом девчачьих выразительных губ, готовых расхохотаться: умилительно голосует правой ручкой, как на уроке, когда нужно отпроситься выйти вон – посреди леса поднятых мемориальных мандатов. А вот – Дьюрька, рослый, статный, с неровным пробором слева во взлохмаченных вихрах, в своем тоненьком детском синем свитерке с черными резиночками на рукавах, – около торжественной, опечатанной семью печатями, урны для голосования, опускает бюллетень, умильно вскинув бровки домиком, рука к руке со здоровенным лобастым хряком – актером Ульяновым в полосатом костюме («Пжлста, пжлста, ну будь другом, сфотографируй меня в тот момент когда он к урне подойдет! – тараторил он Елене. – Я матери фотографию покажу!») Как же смешно было, сидя в гостях у Дьюрьки, рассматривать сырые еще, только что молниеносно проявленные им и опечатанные мемориальные фотографии! К Дьюрькиной ярости, несмотря на то, что пообещал он журналисту «Вашингтон пост» пригласить его в гости – и устроить интервью и со своей репрессированной бабушкой, и с «дочерью врага народа» – матерью, однако мать Дьюрьки, Ирена Михайловна, закатила сыну скандал, наотрез запретила «приводить в дом иностранцев», испугалась до жути, заявила, что Дьюрька, вероятно, смерти им всем хочет – короче, оконфузила бедного Дьюрьку, которому пришлось, после звонка домой, матери, из телефонного автомата, с полпути заворачивать Дэвида обратно, густо краснеть, и объяснять, что родные в паранойе.

Что касается всех Дьюрькиных «родных» – то это было не вполне правдой: «баба Даша», как ее звал сам Дьюрька (имя ее прошло сквозь

странные метаморфозы советского времени – и из Деборы превратило ее в Дарью), – та самая, что оттрубила в лагерях, – ныне – тишайшая старушка со съемным слуховым аппаратиком в ушах – как раз в тот момент аппаратик проветривала, из уха вынула, и всей ссоры просто не расслышала, так что считаться проголосовавшей, ни за, ни против, не могла.

Зато, изнемогая от ужаса за сына, Дьюрькина мать набралась мужества пустить в гости (в их просторную квартиру на самом верхнем этаже в высотке, торчащей по адресу с довольно издевательским, учитывая историю семьи, адресом: на улице Свободы) Елену – чтоб взглянуть страху в глаза.

Оказалась Ирена Михайловна маленькой пожилой женщиной, чрезвычайно подвижной, шустрой, даже чуть нервически быстрой, и говорила с непрестанной сменой мимики на выразительном ярком моложавым лице, блестя черными глазами.

– Некоторые вот сейчас порочат Сталина. А Сталин, между прочим – мне, дочери врага народа, позволил получить высшее образование, выучиться, стать ученым! – заговорила чрезвычайно высоким, звонким, юношеским голоском Ирена Михайловна, улучив минутку, когда Дьюрька пошел на кухню ставить чайник. – Это всё благодаря Сталину! Я ему очень благодарна за это! Если б не он, я бы...

– Что вы такое говорите, Ирена Михайловна! – едва сдерживала эмоции Елена. – Сталин убил вашего отца! И чуть не убил вашу мать! И вас саму чуть не убил! Как вы можете такое произносить даже! Ведь это... Это предательство по отношению к вашим родителям!

– Вот ты говоришь, Лена, мой отец погиб... А кто знает – может быть, мой отец не хотел бы дожить до всей этой сегодняшней вакханальи!

Елена, трясась от негодования и ужаса, выдохнула и вдохнула – не зная как ответить этой так сильно раненной многолетним страхом женщине – и вдруг увидела красные как помидор уши входящего, из-за двойных деревянных дверей-раскладушки, бледного Дьюрьки: Елена давно уже вычислила, что когда Дьюрька смущался – то краснел начиная со щек – а уши оставались белыми, – а когда злился – тогда наоборот – краснел, начиная с ушей. А потом уже млечно-белые щеки покрывались бордовыми полосами.

В квартире было неуютно – как-то все нараспашку – книжные полки с довольно богатым, по советским меркам, классическим выбором – но книжки всё какие-то не приголубленные; большие пространства оттиска лица жильцов не носили – хотя все и было увешано и устелено типовыми советскими ковриками, покрывальцами и застилками – и главного неюта добавляли (в большом проходном кабинете в самом центре квартиры) коллекции синтетических полимеров – эти стеллажи кусочков разноцветного пластика с бирочками сразу превращали просторы во что-то нежилое, промышленное, безликое, не совсем человеческое.

– А мы, между прочим, дверь никогда не запираем – прямо как Сахаров! Я слышал, что Сахаров тоже никогда входную дверь не запирает! – бахвалился Дьюрька – к ужасу Ирины Михайловны, бежавшей поскорее запираться дверь.

И только в столовой весел на блёклых обоях слева от деревянных дверей размытый гуашевый Дьюрькин портрет – написанный кустарём – уличным художником: Дьюрькина шапка-ушанка, с одним вечно задранном ухом, румянец во всю щеку, и почему-то синеватый (видимо, позировал в морозный день), нос.

В Дьюрькиной комнате было повеселее – какие-то безделушки, туристические виды из цветных стекляшек в оправе, выцветшие вымпелы городов, на которых, как на килях кораблей, росли круглые ракушки значков, лохматые крошечные туристические куколочки в национальных костюмах, яркие флажки (Дьюрька тут же, хвастливо вертя в пухлявых руках маленький флажок из Вильнюса, – пояснил, что из каждой поездки в другие города обязательно привозит с собой «сувенирчик») – и полно читанных книжек – Дьюрька читал едва ли не больше Елены, и уж точно не менее жадно. Тут же выяснилось, правда, между делом, что Дьюрька поразительно, абсолютно, на оба уха, глух к поэзии.

– Ну хорошо – ну хоть это ты расслышишь? Сидит извозчик, как на троне, из ваты сделана броня, а борода, как на иконе, лежит монетами звеня... – наивно волокла для него Елена с книжных полок из его же гостиной (намеренно – что попроще) никем явно не читанные, со слепленными страничками, дефицитные маленькие томики – и не верила никак, что у Дьюрьки как будто специальный слуховой поэтический аппаратик выдернули из уха.

– Глупость какая-то, – хихикал Дьюрька, выхватывая из ее пальцев книжку, захлопывая переплет, – и вел Елену совсем-совсем к другим хинганам: по политэкономии, теоретической истории – об этом говорить Дьюрька мог без продыху битый час – стоя у своего окна, и невидящими пальцами вдохновенно откручивая парик из пакли вместе с головой симпатичному тряпичному розовощекому литовскому крестьянину с киркой, ростом с дюймовочку. Круги, спирали, витки – вся история у Дьюрьки удобно укладывалась в какую-то диванную пружинистую начинку. С неожиданными и необъяснимыми, впрочем, подлыми острыми кнопками в самом нежном месте на этой перине почивать собирающегося жильца. А тот или иной поэт интересовал Дьюрьку в разговоре начинал, исключительно если оказывалось, что книги его запрещены, что сидел он в лагере, или – лучше всего – расстрелян, или что вынужден был эмигрировать в советское время – словом, когда неосмотрительный хрупкий мечтатель случайно перешел в опасном месте большой, милый Дьюрькиному сердцу, шумный наезженный тракт общепризнанной истории – и, желательно, чтобы на этом историческом тракте данного беззащитного лирического пешехода еще и сбила подвода – вот тогда он становится для Дьюрьки героем, причем, опять же, хоть ты тресни: поэтические тексты засиявшего исторической мишурой раззябы-поэта – Дьюрька по-настоящему читать наотрез отказывался – искренне считая их просто побочным продуктом несчастной любви. Художественную прозу Дьюрька тоже читал с неохотцей, скукой – и только по школьной программе – и особенно его раздражало, когда «начиналась там всякая галиматья про любовь или про природу». Такие страницы он выпускал, не читая, будучи свято уверенным, что никакого отношения к действию это не имеет, а добавляется бессовестными авторами, чтобы повыделываться, или для накрутки страниц. И вообще рационально считал, что любую художественную книжку можно и должно кратко, обобщив сюжетную линию, изложить на одной страничке – и от этого текст только выиграет. Так, например, он свято верил, что «знать сюжет» – это уже все равно что прочитать книгу. А, соответственно, в стихах, где логического сюжета Дьюрькин ум уловить не мог, Дьюрька истово называл все слова «белибердой».

Любые обобщения Дьюрька считал не бедой ума, не убогой безликой примитивизацией (как в глубине души была уверена Елена),

а, напротив, высшей доблестью, и, говоря об истории, или об экономике, Дьюрька всегда старался подкинуть двум-трем бедненьким фактам лассо под ноги, затянуть их в петлю – связать в пучок – и навсегда заклеить им рот, как изолентой, штампом обобщения.

Причем, как быстро выяснилось, помимо трудов по экономике и политике, – в числе его настольных книг явно были и такие шедевры (добываемые на каких-то уличных развалах), относящиеся к запретной отечественной истории – которых Елена инстинктивно брезгливо сторонилась. А Дьюрька, чересчур доверчиво относившийся к любому печатному слову, явно принимал всё, что бы ни прочитал, слишком близко к сердцу.

– Во всем виноваты евреи, – заключал, например Дьюрька, после долгих неизящных, со взаимными переплётками и тычками, споров о причинах переворота 1917-го года. – Евреи ради своих денежных интересов разожгли революцию. А кто были главные сталинские палачи? Каганович, Берия! Все евреи! И вокруг Ленина все бандиты были евреи! Троцкий – еврей, Лейба Давидович Бронштейн! Зиновьев – еврей, Герш Аронович Апфельбаум! Каменев – еврей, Лейба Борухович Розенфельд! А самые опасные, лютые и беспринципные – это евреи-полукровки, как Ленин! Все евреи вообще жадные и непорядочные люди! – на голубом глазу припечатывал свой род Дьюрька (которому Ирена Михайловна только год назад раскрыла страшную тайну о его стопроцентно еврейском происхождении – а до этого евреев в семье испуганно и анонимно называли в третьем лице: «они»).

– Дьюрька, ну опять ты обобщаешь! – возмущалась Елена. – А ты, а твоя мама – разве вы жадные, не порядочные люди?

– Это – исключения! – задорно выворачивался Дьюрька.

– А нас вообще и в жизни, и в истории интересуют только исключения, Дьюрька! – горячилась Елена. – Всё остальное – массовка, общий знаменатель, который можно легко сократить, выбросить на помойку! Всё, что не является исключением – лично мне не интересно. Меня интересует только то, что не может быть предсказано статистикой. Гении – всегда исключение. И именно они нас интересуют. Все обобщения – это посредственность. Интересно только чудо – происходящее вопреки гугнивым обобщениям. Интересен только внезапный необъяснимый феномен.

– Это наивный, дилетантский, ненаучный подход, – надувал щеки Дьюрька. – Историю, как и любую науку, интересуют только правила, подтвержденные многократным повторением. А чудес не бывает. Всё это выдумки.

– Да? А Чернобыль? – дразнила его Елена. – Какая «многократно повторенная» статистика могла предсказать, что случится Чернобыль, и что Горби вынужден будет начать перестройку? А кто мог предсказать, что ты, секретарь комсомольской организации, станешь самым страстным антисоветчиком в школе?

Дьюрька злился, и талдычил что-то про цены на нефть.

Отец Дьюрьки, химик, известный советский специалист по синтетическим полимерам, доктор наук Алексей Алексеевич Григорьев, тем временем, без всяких правил и статистик, недавно бросил жену и ушел из семьи к какой-то молодой женщине – и Дьюрька, оскорбившись за материнскую честь, с ним почти не общался.

– Ушел к какой-то проститутке! – заперев дверь в свою комнату, тихо полыхал гневом Дьюрька. – А еще предлагает мне с этой своей гулящей девкой, которая увела его из семьи, познакомиться! Да хоть убей меня – никогда в жизни не пойду с ней встречаться! Это же все равно как если бы я плюнул в лицо собственной маме! – сжимал Дьюрька кулаки и скрежетал зубами.

И за эту вот его запальчивость, пылкость и вспыльчивость Дьюрьке, пожалуй, можно было простить даже и атрофию поэтического уха, и наивное увлечение всякими протоколами антисемитских мудрецов.

Дьюрькина семейная интрига, собственно, и стала причиной того, что мать Дьюрьки, мнения которой Дьюрька из какого-то скорее сентиментального (чем Аниного – покорного) чувства, боялся послушаться, так и не добилась, чтобы он прекратил с Еленой дружить: поскольку против дружбы Дьюрьки с Еленой шумно и скандально высказывалась «тетя Роза» – учительница немецкого Роза Семеновна, приходившаяся Дьюрьке тетей как раз по отцовской линии. И Дьюрькина мать, в пику Розе – все-таки, с существованием Елены смирилась.

Утром Елена повезла на Девятьсот Пятого Года, в редакцию, выстраданную, выплаканную за ночь статью про «Мемориал».

Разузнав на планёрке, никто ли, кроме нее, не проник на фантазмагорический сабантуй Сахаровских демократов, и радостно убедившись, что у нее в руках – эксклюзив, Елена осведомилась, кто здесь заведует политикой.

Зайдя в указанный ей небольшой кабинет и мгновенно вспомнив миниатюрное «Артурище», Елена еще раз убедилась в крепчайшей любви данной редакции к низкорослым мужчинам: бодро здоровающийся с ней за руку начальник отдела по имени Саша ростом оказался ей примерно по пояс, – крепыш, впрочем, вполне живой, симпатичный, с открытым приветливым лицом – и, почему-то, в высокой клетчатой кепке, – как будто зримо воплощая простонародную присказку про метр.

– Садитесь, садитесь... Молодец, молодец, что принесли статью... – приговаривал Саша, усаживаясь за стол, снимая кепку, кладя ее справа от дырокола, и шершавя рукописные странички. – Молодец... – расчищал он место на столе для локтей и для рукописи. – Всем стажёрам надо быть такими инициативными... Молодец... Вот сейчас пробегусь – и в номер... Молодец... Молодец... – повторял он, начиная уже читать первые строки, и – почему-то посекундно заметно теряя энтузиазм, и как-то подозрительно подвешивая свою оптимистическую интонацию в воздухе. – Ма...

И замолк.

Спустя минут семь чтения, он выдал такой звук, как будто у него резко заложило нос, и он решил его продуть, втягивая воздух в себя.

И тут же, беззвучно выдохнув, оторвав взгляд от рукописи, благодушно и открыто ей улыбнулся:

– Лена, выйдите, пожалуйста, из кабинета!

Елена со внутренним смехом, уже готовясь, при встрече, в лицах пересказывать всю эту пантомиму Крутакову, подумала: «Чудесно... За дверь меня еще никогда в жизни никто за мои убеждения не выгонял».

– Ну, пожалуйста – выйдите за дверь на секундочку! – дружелюбнейше добавил начальник отдела.

Елена, поднявшись, и раздумывая над вопросом, когда лучше вежливо проститься и пожелать ему и его родным здоровья – сейчас? – или когда уже выйдет за дверь – перед тем как ею хлопнуть? – быстро вышла из кабинета.

– Взгляните сейчас налево, – с улыбкой в голосе попросил ее вдогонку Саша. – Да нет, вот если вы на секундочку развернетесь, вот там, там – справа от двери табличка висит! Взгляните на нее, пожалуйста. Вы, видимо, просто не обратили внимания, когда сюда входили... Прочитайте, там же черным по белому написано: Отдел Коммунистического Воспитания Молодежи! – нервно смеясь, продекламировал Саша. – А вы мне что принесли?!

V

Но уж где уж было всеми этими анекдотами переплюнуть Крутакова!

Как только Елена, дернув его хорошенько за кожаный рукав в сквере на Пушкинской, подлетев к нему сзади и обрушившись на его локоть всей тяжестью, с размаху, и повиснув на нем, не без гордости заявила Крутакову, что была на «Мемориале», Крутаков тут же, с тоскою в голосе, нехотя рассказал, что «старрринный ддрруг» его – в числе основателей. Да еще и добавил кошмарных подробностей, про то, как, под давлением спецслужб и ЦК, наложили в штаны со страху учредители – дизайнеры, архитекторы, художники, театральные деятели и прочие сугубо творческие и сугубо системные союзы и индивиды, и как, по просьбе органов, пытались оттянуть мемориальский учредительный съезд, и как трусливо замыливала обещанную публикацию мемориального устава перестроечная, вроде бы, «Литературка», – и как Сахарову пришлось в последний момент на закрытых переговорах предъявить руководству страны ультиматум: если будете препятствовать – проведем съезд подпольно, на квартирах. И только тогда системная сволочь схлынула.

Неожиданным же благодарным слушателем не прошедшей цензуру статьи ее про «Мемориал» стала Анастасия Савельевна. Уже уходя с Дьюрькой на мемориальскую тусовку, Елена заметила, что у провожавшей ее Анастасии Савельевны – глаза на мокром месте: «Какая ты у меня взрослая! Какая красивая!» Купившись на материнскую сентиментальность, адресованную, скорее, тому, что Елена «как журналистка» шла на «серьезное» мероприятие, Елена,

вернувшись со встречи с Крутаковым, – осторожно матери текст прочла.

Мать разревелась: «А ведь я этого ничего не знала...»

На следующий же день Елена, встретившись с Крутаковым, заказала у него, по второму разу, специально для матери, простенькую, но душераздирающую Марченковскую «Живи как все» (которая, как Елена решила, для материной неподготовленности и эмоциональности, будет, для начала, в самый раз).

– Ты абсолютно уверена? – спросил Крутаков.

– Да, да, – заверила Елена.

И уже через несколько дней она принесла матери маленькую книжечку, заставившую Анастасию Савельевну не спать ночь.

И на утро Анастасия Савельевна опять ревела. И жалко ей было всех – и убитых в тюрьмах, и – еще больше – тех, кто сыто молчал о преступлениях на воле – прикрывая своим молчанием массовых убийц.

А еще через день произошел обратный кризис: когда Елена вышла утром, потягиваясь, на кухню, мать, сидя за разложенным красным столиком, уже не ревела, а беззвучно рыдала, вскочила, протянула Елене американскую книжечку, обернутую, для конспирации, в газету («Верни тому, кто тебе дал»), Елена вопросительно, протирая глаза, на нее посмотрела, книжку не беря, а мать, застыв в этой дурацкой позе, с вытянутой рукой, со свертком в кулаке, между холодильником и раковиной, с другой стороны стола, пошла повторять чудовищные, крайне противоречивые, вещи:

– Твоя статья, которую ты мне прочитала – ужасная... Ужасная! Как ты могла такое понести в редакцию?! Как тебе в голову такое даже пришло?!

– В смысле? Она, что, плохо написана? – изумилась, поначалу, Елена, чуть расстроившись, что Анастасия Савельевна, видимо, из-за желания ее поддержать, была прежде неискренна, и ее перехвалила.

– В том-то и дело, что написано прекрасно... – рыдала, уже в голос, мать, дрожащей рукой все тыча и тыча тамиздатовской книжкой в воздух. – Нельзя так писать! Нельзя! Ничего здесь нельзя вслух говорить! Я и здесь-то, дома боюсь, что кто-то услышит, – всхлипывала Анастасия Савельевна, – ...а ты в газету такое понесла!

Ты же ничего не понимаешь: всё же может вернуться – завтра! Ты, что, хочешь, чтобы тебя убили?!

– Мама, во-первых, времена изменились, – Елена, обойдя столик, обняла ее за плечи, пытаясь еще решить все миром. – Никто меня за это не убьет.

– Какие времена?! Марченко вон, уничтожили в тюрьме всего два года назад! – сорвалась Анастасия Савельевна уж и вовсе на истерику и притопнула в отчаянии с визгом ногой в смешной домашней туфельке на танкетке без задника – оступилась, промазала пяткой, туфля, завалившись боком, слетела, мать, оказавшись на распырках, на разных уровнях, в одной высокой туфле на левой, с каким-то автоматизмом, всхлипывая, стала удить правым мыском под табуреткой и неловко, от слез, застывших ей глаза, пытаться вдеть его в туфлю – и в конце концов, сбросила и вторую туфлю и – взглянув на свои босые ступни на линолеуме – почему-то разревелась еще громче. – Это ведь уже при Горбачеве было! Что изменилось?! Кто из них в чем покаялся?! Что изменилось?! Слова, разве что изменились... Но и слов может не стать – завтра же! И я такое уже видела на своем веку!

– ...Во-вторых... – как можно спокойнее старалась говорить Елена, сиюсь не поддаваться истерике Анастасии Савельевны. – ...ты же сама прекрасно поняла: как раз если мы будем молчать, бояться – тогда весь кошмар вернется. Именно всеобщее молчание позволило людоедской системе просуществовать так долго.

– Эта книга ужасная... Ужасная... Ужас, что он пережил... А в конце концов, ты же сама сказала – его убили... Они искалечили его так, что он не смог оправиться и умер... – ревела мать, путая все захлестнувшие ее эмоции в одну кучу, и опять уже подкручивая с боков намокшую от капавших слез газетную обертку. – Кто тебе дал эту книгу?! Я никому никогда не скажу ни слова, клянусь. Но не общайся с такими людьми!

Не выдержав концерта, Елена, осознав абсолютнейший собственный педагогический крах, и зарекшись с матерью о таких вещах говорить, опять тихо собрала манатки, и пошла жить к Ривке.

Милейшая, огромная, горбатая, медленная Ривка, как и всегда при появлениях Елена, сразу же засияла и ожила. Заедать счастье избавления от собственного одиночества Ривка почему-то решила

медом – тут же – откуда только прить взялась! – как молоденькая сбегала на опустевший базар и купила, с рук – втридорога – прошлогоднего меду, липового, кускового, в котором аж нож стоял, гуще сливочного масла, твердого, как замазка, и крошащегося, как кусок пчелиного воску. И Елена на секундочку даже корыстно пожалела, что не захватила в холодильнике у Анастасии Савельевны хотя бы маленького кусочка присланного Лаурисом рижского сыру. Сыр с медом... Мечта! Трехлетней зрелости брынза, из ледников в Ривкиной морозилке, оказалась, при экстренной разморозке кипятком, абсолютно несъедобной. А в окрестных магазинах было хоть шаром.

Откровения о репрессиях, услышанные Еленой от мемориальцев, и встреча с живыми жертвами советских лагерей, загадочным образом совпали – в ее главном, ночном, книжном, подлинном, осевом потоке времени – с чтением о репрессиях других: две тысячи лет тому назад, в Иерусалиме. Брюссельское Евангелие было прихвачено, разумеется, с собой к Ривке, и горе, горечь и радость концовки Евангелия от Матфея ночью были допиты все до остатка.

И та невинная кровь, пролитая в Иерусалиме, внятно перекликалась с невинной кровью внешнего, двадцатого века.

И снова – как и когда Елена читала, в расследовании Соколова, про расправу над царской семьей – теперь, когда она читала свидетельские показания столь же лично неизвестного ей, как Соколов, Матфея, ей всё казалось, что Иерусалимскую расправу можно предотвратить, что Узника можно спасти, что можно встать между Ним и палачами, можно произнести какие-то пронзительные слова – и палачи восплачут, покаются, и опустят руки и не совершат убийства, – хотя уже догадывалась, мучительно сбегая по строчкам Евангелия, как по ступенькам, всё вниз и вниз – что хэппи-энда не будет. По крайней мере – в земной жизни.

Вернувшиеся на другой день морозы, впрочем, разом встряхнули, как градусник, настроение, и зазвенело все внутри звонко. И как будто бы растворили в воздухе мед – и солнце было расплавленный рижский сыр. И даже к грубым серым громоздким кирпичам домов, мимо которых Елена брела, жмурясь от солнца (возвращаясь из школы к Ривке) пристала медовая солнечная патока – въелась в их щели, щедро намазала себя на кирпичные неровности: оранжевым торжеством, – и желтым, жарким, тонким слюдяным слоем залила окна. «Странно, –

думала Елена, переставляя как в каком-то танце замерзшие ноги, озираясь, как будто впервые этот город вокруг видела, – а ведь есть такие дни зимой, когда в воздухе царит цвет даже не весны: лета! Наплевать на морозы! Вот ведь он – такой заколдованный день, когда время года вдруг врывается из будущего – даже не следующее, кем-то предписанное, по порядку – а через один, в чехарду, кубарем! Без всяких правил! Лето! Жаркое лето! Оранжевый цвет ведь на этих серых домах – абсолютно летний! Не верь красному носу. Не верь околевшим ушам. Цыпкам на запястьях не верь». И тут же, сняв правую варежку, взглянула на цыпки – и подумала: «Какое счастье, что я родилась сейчас. Не десятью, и не двадцатью годами раньше. Я бы, конечно же, тут же умерла, если бы мне пришлось пройти через хоть какие-то физические лишения... Я тут-то, в своем мирном восемьдесят девятом, от минус десяти готова окочуриться. Какое счастье, что родилась вовремя. Как подгадала». И тут же – новым аккордом вспомнила все те черепа с дырками от пуль, фотографии которых были выставлены на «Мемориале», все те фотографии Акмолинской степи при минус сорока зимой, где гибли в советском концлагере женщины и дети, всех тех доходяг-скелетов с цингой с Колымы, внешне, на фотографиях, не отличимых от тех, кого заморили в гитлеровских лагерях.

«Неужели есть Бог? Если есть Бог – то почему Он допускает на земле совершаться злу? Если Бог есть – то почему Он не вмешивается – прямо и властно? Неужели есть Бог?» – Елена посмотрела опять на ослепительно залитые золотым медом окна домов – и вдруг почувствовала в себе странную – как будто мягко отвечавшую ей, не вторгавшуюся, но рядом как будто зависшую в воздухе реальность – мысль – как будто начался странный диалог, или, вернее даже – приглашение к диалогу – то ли в ответ на ее мысли – то ли ее мысли, одной ступенькой ниже, были уже как бы неосознанным ответом на чувствуемое ей тончайшее, без намека на принуждение, приглашение к диалогу.

«Неужели, и правда, есть Бог?» – улыбнулась она, все так же глядя на расплавляющийся под ее взглядом жаркий оранжевый отсвет на кирпичных домах. И внятно – как будто вдруг вся вделась в теплую варежку – со странной отчетливостью, почувствовала в себе приглашение попросить о каком-то знаке, чтобы осязать ответ. Доверяя

этому диалогу – и одновременно как будто краешком сознания все-таки пытаюсь анализировать, что происходит, и пытаюсь как бы со стороны, обычным своим рассудительным ходом осмыслить свои собственные мысли, Елена подумала: «Ведь если Бог есть – то Он, конечно же, меня сейчас слышит». И улыбнувшись теплу, которое ее обьяло, она подумала: «Странно. Но если так все прекрасно – если Бог действительно есть – значит, когда-нибудь я узнаю ответы на все вопросы. Значит – все осмысленно. Значит – нет ничего случайного. Зачем же мне тогда еще какие-то знаки?»

Медовый цвет странным образом перелился в житейскую мысль (хотя уже минут через пять она изумлялась, как вообще хоть что-то житейское могло нахлынуть в ту секунду) – совершив полный круг – и пластично застыл приятным воспоминанием о поджидающем ее у Ривки дома меде. «Хорошо хлебушка хотя бы с медом...» – подумала Елена. Взглянув без всякой надежды на стеклянные, с деревянными продольными реечками, двери булочной в соседнем с Ривкой доме (булочной и прежде-то всегда бедненькой, а уж в последние месяцы и подавно – абсолютно пустой, ни крошки хлеба после полудня, на громоздких выдвигаемых, чуть по диагонали наклоненных хлебных деревянных полках никогда не оставалось), Елена с глупейшей детальностью представила себе хрустящую, круглую, свежую паляницу, с треснувшей, чуть подгоревшей корочкой сверху, которую хорошо бы принести Ривке в дом – и вместе с ней, с бутербродами с хлебом и с медом, выпить сейчас горячего чая.

Елена вдруг – со странной солнечной отстраненностью от собственной мысли – подумала: «Ну, вот какой самый невероятный знак я прямо сейчас могу попросить? В этой булочной никогда, никогда в жизни, отродясь, сколько я в нее ни заходила, никогда, никогда не бывало паляницы. А сейчас даже промокших, вязких, невкусных сероватых батонов по тринадцать копеек – и тех нет. И вот, если можно... Нет, конечно, ни о каком знаке я не прошу... Глупость, ерунда... Нельзя же просить у Бога о хлебе для подтверждения Его существования. У Бога можно просить только о Боге. Ведь если Бог есть – то ничего другого, кроме Бога, не надо! Но если это можно, если можно просить о знаке, то пусть в этой булочной будет сейчас белая паляница... Если нет, если это просто моя блажь – то не надо – ничего страшного – если нет, то это ничего не значит... Я знаю, это конечно

глупость с моей стороны просить о такой ерунде...» – Елена потянула плоскую, чуть расслоившуюся, отполированную деревянную ручку дверцы булочной – вошла – и остановилась на пороге, глупо и счастливо улыбаясь: на абсолютно пустой этажерке выдвижных хлебных полок, посреди пустой булочной, лежала одна-единственная, круглая, пшеничная, белая, с коричневатой корочкой, паляница.

Крутаков, тем временем, впал внезапно в какую-то загадочнейшую хандру. Встречаться с ней отказывался, говорил, что дела – впрочем, когда бы она ему ни перезванивала – Крутаков всегда оказывался дома, а не бегал ни по каким делам – и, хотя и скучающим и унылым (даже чуть томным – как ей в какой-то момент показалось) голосом, но все-таки – с явной охотой, с ней (иногда, по часу) по телефону болтал.

– Никогда и ничего здесь ха-а-аррошего не будет... Я не доживу ни до каких серррьезных перрремен – это точно... – картаво грустил Крутаков в телефонную трубку. – Прра-а-аблема-то даже не только в рррепррресивном аппарррате. Главная пррра-а-аблема в том, что люди – искалеченные... Это уже – почти как психическая болезнь у всех – пррривычка и потррребность жить в несвободе, в рррабстве – во внутррреннем рррабстве, прррежде всего... Боюсь, как бы все не было напрррасным...

– Крутаков, ну что ты несешь – людей же менять можно... – возражала Елена, чуть качнувшись на и без того уже дряхлом, расшатанном Ривкином гостевом стуле – так, что лопатками удобно уперлась в газовую плиту, а ступни поставила на верхний ромб ножки стола, – телефон пристроив на живот, и усердно выедавая (громко возя чайной ложечкой по кругу) чуть подтаявшие остатки меда, переложенные Ривкой в литровую баночку – и чувствовала себя так же хорошо, как когда в детстве слушала какую-нибудь пластинку – а одновременно, для абсолютного счастья, обязательно разглядывала от этой пластинки яркий конверт; только сейчас вот определить затруднялась бы – кто пластинка, а кто от нее обложка – Крутаков, или мед?

Крутаков только чуть слышно со смешком выдыхал в трубку и – по убеждению Елены – тут же, с загадочной интонацией, произносил нечто, совсем к разговору не относящееся:

– Дурррочка ты пррросто молоденькая...

Елена обижалась, швыряла трубку, чуть не упав с разваливающегося Ривкиного стула. Впрочем, в тот же день, за полночь, взяв к себе телефон под одеяло и накрывшись с головой (чтоб не будить посапывавшую в соседней комнате Ривку), на ощупь накручивая дико звонко тренькавшие цифры, перезванивала Крутакову снова, как часы. За новой порцией бесед.

– Мы пррросто с тобой из ррразных эпох... – чуть более смешливым уже, чуть оттаявшим, голосом втемяшивал Крутаков.

– Не матерись, Крутаков, – шепотом отвечала Елена.

– Я не матеррился – не знаю, что тебе послышалось.

– Слово «эпох», Крутаков, произносят обычно люди, чтобы оправдать какую-нибудь гадость! – все так же таинственным шепотом возмущалась Елена, но тут же уже расходилась и забывала про святую тишину: – Или для какой-нибудь пошлятины! Ах, какой герой у нас – продукт своей эпохи! – нагловатым уже, громким, как сама чувствовала – но остановиться уже не могла – голосом, отповедовала ему Елена. – Нет никаких эпох! Есть только один конкретный человек – ты, я – и его выбор.

– Ха-а-рррашо, ха-а-арррашо, все это абсолютная пррравда, – картавил телефонограмму Крутаков (и тот факт, что звучит его голос в абсолютной темноте, у нее под сводами одеяла – добавлял для Елены какой-то удивительнейшей незримой торжественности их ночным спорам) —...но есть вещь, которрой ты не учитываешь: врремя, опыт – в том числе и негативный – черррез которрый человек, врррослея, пррроходит. Забудем пррро эпохи – назовем это прррросто-напрррросто: возррраст, врремя. Человек, которрый в два ррраза тебя старррше, никоим обррразом тебе своего опыта объяснить не может. Мы с тобой по опррределению немножно с ррразных планет.

– Что за ерунда, Крутаков?! – изумлялась Елена (вынырнув даже, от изумления, из-под одеяла глотнуть воздуха и вновь переходя на заговорщицкий шепот). – То, что ты прочитал в миллион раз больше книг, чем я – еще не дает тебе права сказать, что я чего-то не могу понять или почувствовать так же глубоко, как и ты. И одновременно ты легко можешь встретить какого-нибудь идиота, своего возраста, и даже старше, в соседнем подъезде, который так до смерти, до девяноста лет, ничего и не поймет – читай – ни читай, живи – ни живи. Нет таких категорий как возраст, не правда ли?

Довольно рассмеявшись, тихим своим особым смешком, в трубку, Крутаков, тем не менее, продолжал свои странные, абсолютно нелогичными ей казавшиеся, и никчемными, размышления:

– Ты вон даже не поверришь, если я скажу тебе, что есть вещи, которрры ты не понимаешь пррросто в силу своего возррраста. Молоденькая дурррочка не поймет, напррримеррр, что значит... Так, только не брррсайся опять трррубками! – спохватясь, смеялся Крутаков – услышав нехорошее, напряженное молчание в трубке. – Я же твой телефон у Ррривки не знаю.

– Например? Объясни мне, чего такого я не знаю, что ты не можешь мне объяснить, – напряженно переспрашивала Елена.

– Ты сама-то поняла, чего сказала? Как я могу объяснить тебе то, что объяснить не могу? – смеялся Крутаков. – Да нет, вообще, шутка ли сказать – между нами с тобой, к пррримеррру, ррразница – в полжизни, – каким-то даже удивившим Елену, вдруг странно удрученным голосом, продолжал Евгений.

– И что ты этим хочешь сказать? – с недобрым натягом, и с легкой угрозой уже в голосе, переспрашивала Елена, ожидая со стороны Крутакова очередные великовозрастные обзывательства.

– Ха-а-арррашо, ха-а-арррашо, можем сменить тему на чисто абстрррактную... – сдавался, со смехом, Крутаков.

В другой, впрочем, раз (днем, когда Ривка была еще на продлёнке, а Елена прогуляла последние уроки, – для беседы устроилась она в теплой, мятой пахшей, заросшей, захламленной огромными пыльными цветами Ривкиной кухне, уже не на непрочном стуле – а крепко установив телефон на холодильник, и, торчком, на холодильник обоими локтями облокотившись. Холодильник при этом чересчур близком рассмотрении выглядел так, словно выехал на встречную полосу и столкнулся как минимум с камазом – эмалировка взрывалась мелкими трещинами, и повсюду сверху и с боков торчали эмалированные заусенцы) Крутаковская хандра выстреливала посреди разговора в уже совсем комической казавшейся Елене форме:

– А ты знаешь, напррримеррр, что после тррридцати пяти лет в орррганизме человека уже начинается прррроцесс ррразрушения? – вдруг, на какой-то нежданной развилке разговора о стариках-диссидентах, заявлял Крутаков. – В курррсе, что, после тррридцати

пяти лет, фактически, человеческое тело начинает потихоньку умиррррать? Значит, когда мне будет тррриидцать пять...

– Неужели ты серьезно думаешь, Крутаков, что ты – есть это тело? – с ласковостью пятнадцатилетнего изувера осведомлялась Елена, одновременно случайно всаживая себе под ноготь эмалированную уколупу – ноготь сначала чуть розовел по кромке, потом синел – а потом, уже через миг становился в месте укола и вовсе фиолетовым.

– Нет. Но я уже к нему так пррри-и-вык! – с очаровательным жеманством тихо хохотал Крутаков.

И вот, дней через десять, с Крутакова схлынуло. Хандра рассеялась. Гуляли они по Рождественскому, по верхотуре хребта дырчато растаявшего сугроба, в который бульвар превратился; по проезжей части с обеих сторон лила бурливой пузырящейся черно-коричневой рекой, с горки, растаявшая грязь; а в ярко-голубых обваливающихся лужах проталин под ногами, поверх спрессованного ледника, отражались двухэтажные ампирные избы, бессовестно злоупотребляя и без того уже чересчур щедрым фокусом оттепели параллакса.

– Крутаков, а тебе не кажется, что все эти чудные домишки – с колоннами и треугольной крышей – это на самом деле просто окаменевшие деревенские дома? А колонны – это просто видоизмененные бревна!

– Конечно, а в начале девятнадцатого века Москва такой и была – частично окаменевшая дерррревенька. Ррржание лошадей, мокрррые, грррязные, от жижи снега, подолá...

– Ты, Крутаков, Честертон-то, пожалуйста, забери. И принеси мне вместо него... чего-нибудь... ну, знаешь... поинтереснее... Но об этом же!

– А Честеррртон-то тебе чем не угодил?! – смеялся Крутаков, расстегивая куртку, и подставляя пестроту свитера и полы куртки сильному, порывистому, но совсем теплomu, весной пахнущему ветру.

– Жовиальный, брутальный... В каждом слове чувствуется, как он любил выпить пива, и какой у него из-за этого был круглый живот. Какой же из него философ? И, знаешь ли, местами просто кажется, что как-то у него легкий недостаток ума: заявить, что Бог сотворил мир как приключенческий роман, в котором мы герои. Это Честертон просто

через Гулаг или через Освенцим не прошел – не развлекся. Надо же такую чушь написать. Варварское упрощение!

– Слушай, голубушка, пойдём-ка на тротуар, а? – провалившись мыском кроссовка в свежий глетчер возмутился Крутаков. – Не все же из присутствующих такие хитренькие как ты – в резиновых сапогах приперрреться! – и Крутаков опять смеялся над ее философствованиями – тем особенным своим тихим смехом, когда Елене казалось, что он хочет спрятать смешок.

Во время странной своей, безвылазной, пересидки дома, Крутаков зачем-то постригся: черные, лоснящиеся, с резким, свежим, жестким завитком на концах, густые волосы, плескались теперь чуть выше плеч – сделав его резко очерченное лицо физиономией совсем уж вызывающе смазливого красавчика.

– Ну и в честь чего ты под горшок обкарнался? – подсмеивалась над ним Елена.

– А вот в знак протеста против всей окружающей реальности! – радостно мотал головой, расплескивая локоны, Крутаков.

И Елена почему-то чуть смущалась в его смеющиеся черно-вишнёвые глаза смотреть.

Стихов ей своих Крутаков – сколько ни просила, почитать не давал.

– Не знаю, что-то есть в этом вульгарное: разгуливать с юной девушкой по бульварам и читать ей свои стишки, – дурашливо отшучивался опять, кокетливо зыря на нее, мотая опять головой Крутаков.

– А я и не прошу тебя декламировать мне вот здесь, – недоумевала Елена. – Просто принеси почитать!

– Да это все не важно, не важно сейчас, понимаешь, совершенно не это меня сейчас мучает и занимает... – весело смахивал наиболее летучий локон с лица Крутаков. – Я как бы в процессе создания чего-то большего, и сейчас давай тебе читать стихи, отвлекаться на твою реакцию, как будто на отблеск многих маленьких зеркалац – как бы тебе сказать... – это разбрасываться сейчас на нарциссические чувства от уже написанного... Стишки, рассказы – это, знаешь ли, всё как будто лодочки, спасательные шлюпки – но пока автор не написал настоящего романа,

который бы, как большой корабль, все эти лодки в открытом море на борту собирал, – так вот, пока этого надежного корабля нет, получается, что все эти спасательные шлюпки везут в никуда, обманывают – и в результате губят. Ну, вот написал я на днях гениальный рассказ – ну и что с того? Так, порадовался пять минут, перечитал, и в стол положил. Пока нет романа – все это бессмысленно, мелкие океанические брызги.

– Ну Женя... Ну пожаааалуйста... – куксилась Елена, ни слова из всех, на кончиках Крутаковских пальцев сотканых, витиеватых нитей внутренних объяснений, не понимая, и сильно подозревая, что убежден Крутаков, что стихов его и рассказов она просто не поймет. – Ну принеси мне... Я честное слово буду просто молчать и всё. Ни малейшей реакции... Никаких зеркалец... Вот честное слово...

– Мне кажется, что я нащупал сейчас кое-что, что мне нужно... – продолжал Крутаков переходя бульвар, увиливая от брызг проносившейся волги, и как будто слов Елены не слыша. – Мне, видишь ли, в прозе совсем не интересно выдумывать, выдаивать сюжет из пальца, писать о чем-то несуществующем – я убежден, что с таким богатством осмысленного вымысла, который дают судьбы людей вокруг – не может посоперничать фантазия ни одного писателя. Максимум, что можно изменить – это имена, ну и еще разве что кой-какие мелкие детали, чтоб подразнить современников загадками. Но, именно из-за того, что судьбы, типажи, сюжеты – которые я в своем будущем романе чувствую необходимыми – живы, реальны, узнаваемы – задача, как ни смешно, предельно усложняется. Мне вот кажется, что главное – надо найти, нащупать сейчас отстраненную канву – взглянуть как бы с дистанции будущего времени на все то, о чем я хочу написать – а потом вернуться из этой произвольной точки в будущем, и написать обо всем, уже как бы будучи обогащенным своей отстраненностью... А я почему-то этого будущего времени себе представить, прожить его, почувствовать его, вообразить себе это будущее – пока никак не могу... Меня это немного мучает... Не знаю, ясно ли я выразился?

Выражался Крутаков, конечно же, предельно ясно, но обида, что Крутаков не доверяет ей читать своих текстов, все равно горчила в горле.

Честертон, в следующую же прогулку, после краткого визита Крутакова в старинный домик с аркой в Кропоткинских переулках, был заменен на «Mere Christianity» Клайва Льюиса – книжку, тоже никогда не издававшуюся в Советском Союзе, и тоже вываленную на русском, в замызганных машинописных рукописях, в подручном переводе, сделанном какой-то «старрринной подррругой» Крутакова, – со смешными тяжеловесностями, – и, несмотря на то, что Клайв Льюис стилистически Честертону уступал (как можно было заключить даже из отрывочного перевода) – а все-таки был тоньше, ближе, трагичней, умнее.

Ривкин пыльный рай, тем временем, дал трещину.

– Девочка, я вот договорилась с одними людьми... Мне карпа обещали живого достать...

Елена непонимающе вскинулась – уж не думает ли Ривка завести дома, кроме кухонного грязного дендрариума, еще и аквариум?

– Я так хочу тебя чем-нибудь побаловать, раз ты у меня гостишь, – сладко пела Ривка. – Я уж разучилась готовить как следует... Некому! А себе самой готовить – грустно. Я вот и решила тебе приготовить то, что мне мама когда-то делала – фаршированную рыбку. Но только, знаешь, я никогда не умела рыбу убивать... Мне, почему-то, это тяжело... Но мне сказали способ – нужно в морозилку... А потом уже... Но я боюсь сама... Ты мне поможешь?

– Зачем же это делать, Ривка Марковна! – расплакалась вдруг, как полный морской воды, внезапно прорвавшийся целлофановый пакет, Елена. – Зачем же покупать живую рыбу и ее убивать?! Вам же самой это больно – зачем же над собственными чувствами так надругаться?! Вы, что, думаете, я после этого ее есть смогу?! Да я лучше с голоду умру!

У Ривки дрогнули губы:

– Ну, не знаю... Все так делают... Такой дефицит... Обещали достать... Я думала – я просто одна такая, что не могу живую рыбу убить... Но мне сказали...

Елена уже заткнула уши ладонями, чтобы не слушать дальнейших подробностей.

На следующий день, с ощущением, что добренькая, злая, филистерская жизнь, как будто бы ее отовсюду гонит, подпирает, –

Елена, громко поблагодарив Ривку за гостеприимство, перебралась обратно домой.

– А тебе уж тут обзвонились за последние дни! – настороженно сообщила с порога Анастасия Савельевна. – Два журналиста каких-то, один из них американец. Один фотограф. Какой-то еще режиссер – я, между прочим, такой фамилии не знаю, и очень сомневаюсь, что он... И какой-то юноша из «Юности», – скрупулезно перечисляла Анастасия Савельевна, облокотясь локтем на вертикаль зеркала и кистью той же руки ероша свои волосы. – И всё мужчины, мужчины... Кому ты там, на «Мемориале», телефон-то умудрилась раздать? – без всякой надежды на ответ интересовалась Анастасия Савельевна, пытаясь, кажется, по реакции дочери, понять, нет ли, среди звонивших, как раз поставщика опасной литературы. – Вон там у тебя на столе бумажка, я тебе всё записала, что они просили передать – и их телефоны.

Впрочем, как только Анастасия Савельевна увидела, что задумчивая, измученная дочь ругаться с ней ни за что прошлое не собирается – тут же сняла оборонительную стойку, забыла про все тревоги, забежала, вперед Елены, в ее комнату, – и плюхнулась, поджав под себя ногу без приглашения на «оттоманку» – и пошла рассказывать в лицах, как пришли к ней, внезапно, проверяющие, велели устроить зачетный урок, и, как, вызванная надзирательницей из вышестоящей инстанции, к доске, по списку, отвечать студентка «абсолютно плавала в вопросе – ну ничегошеньки не знала!»

– Я смотрю – девчонка аж дрожит вся... Волнуется... И мне пришлось немедленно же выйти к доске, – со слезам на глазах рассказывала Анастасия Савельевна, – и, делая вид, что я студентку эту допрашиваю с пристрастием, на самом деле за нее весь урок отвечать, подсказывать ей контекстом ответы. А эта дура, проверяющая, присланная, так ничего и не поняла. Я девочке четверку поставила. Всё обошлось, представляешь! Слава Богу!

– Горе ты мое, – обняла ее Елена. – На тебя даже сердиться ни за что невозможно. Иди отсюда, мне уроки делать надо.

И опять полетели ночи без сна, где осторожная мелодия последней электрички метро означала начало вечности – а станковый грохот первой, утренней – с мучительной неотвратимостью вновь начинал ей отсчитывать местное, земное время. И нужно было войти в

эти узкие ворота вместе с невмещающим ни в какие рамки грузом читаемого, чувствуемого, проживаемого, воображаемого, предчувствуемого – самого важного. Когда спустя некоторое время – через несколько месяцев – она оглядывалась на этот набитый до отказа отрезок жизни – именно эти бессонные ночи с книгами казались ей той кодирующей нотой, той зачаточной музыкальной темой, которые и задавали мелодию, шаг, ритм всей ее жизни.

Утром небо было такого мутного состава и цвета, словно туда вылили (взболтав закон притяжения, и опрокинув чашки) все настоявшиеся за ночь опивки от напитков, испитых горожанами накануне – кофе, чай, дешевые вина. Елена заставляла себя вставать, приходила в школу и, с блаженным недоумением, разглядывая метавшегося у доски с мелом физика Гария Ивановича (лысина которого, когда он долго не брил ее каемки, сзади, окружена оказывалась довольно причудливой формы мельчайшей седой порослью – как посеребренный лавровый венок; и Елена всегда про себя поэтому называла его: Гай Иванович), думала: «Ну и нафига мне в жизни сдался этот его второй закон термодинамики?! Я же Гаю Ивановичу своих интересов не навязываю!»

Сразу же после звонка на второй урок из школьного сортира отходил на свободу интереснейший караван. Нежелающие бездарно проматывать время еще и на остальных уроках тихо поджидали (закрывшись в первом отделении женского туалетного клуба), пока доорется, до полного хрипа и изнеможения, звонок на урок, и разойдутся по классам, цокая по паркету, учительницы, с классными журналами в руках наперевес, – и потом тихо, по одному, спускались по опустевшим лестницам на первый этаж – давая друг другу знаки «шубись» – если вдруг из-за поворота виднелась блеклая завучиха, или каштановый директрисин пучок. Раз встретилась в этой вокзальной комнате ожидания, с белым кафелем и раковинами, пышнотелая, с жирно подведенными черным карандашом глазами, с серебряными блестками на верхних веках, Руслана с косой, надвязанной пышным алым бантом – которая читала, кажется, тоже много – но всё как-то катастрофически не то: некрасиво наморщившись (была близорука, но очки носить стеснялась), Руслана раскрыла библиотечную, с белым бумажным карманчиком для абонемента, книгу и принялась с энтузиазмом зачитывать какие-то скабрзные пубертатные выдержки

из германского военного реалиста: «В школьной библиотеке такое выдают! По программе! Никто не читает просто! А я вот любопытствовала!»

А в другой раз встретила очаровательная льноволосая Света Спицина, из параллельного класса – с кривоватыми кроличьими зубами.

– Пошли ко мне в гости «A hard day's night» на видеке смотреть! Родичей нет.

Жила Света в одном из немецких домиков – с никогда не работающим, а уж тем более сейчас, зимой, фонтаном во дворе, с сахарной лепниной. И, к счастью, квартира оказалась снабжена второй, пожарной, входной (то есть, наоборот – выходной) дверью в кухне – выводящей на улицу с другой, внешней стороны здания, через черную лестницу: ей-то, этой черной лестницей, и пришлось воспользоваться, потому что как только Джон стал безобразничать в поезде – задираться к чудаковатому дедушке Пола и чморить случайного усатого пассажира («Give us a kiss!») – Света, по какому-то небесному наитию выглянувшая в окно, увидела входящих в подъезд, со стороны дворика, родителей.

Обычно же Елена, изучив расписание Анастасии Савельевны в институте, ровно по этому расписанию, после своих одного-двух первых уроков, возвращалась домой – быстро дочитать книгу, которую нужно было везти сдавать Крутакову; потом звонила ему (Крутакову же себе звонить Елена запретила – во избежание ненужных треволений Анастасии Савельевны: «Ну, то есть, можешь звонить, конечно, Женечка – но если подойдет мать – просто вешай сразу трубку») – и либо ехала на встречу с ним у быстро названной им станции метро, либо отправлялась, не спеша, на троллейбусе – мечтательно шляться одна в центре.

Невзирая на то, что слегка самовлюбленный, но влюбленный и в Бога, обыватель Честертон Еленой был в разговоре с Крутаковым, с фырканьем, забракован, – тем не менее, и Честертон, и мистически-точного Льюиса, сама-то Елена, с изумлением, моментально признала своими согражданами – в той единственной Державе, гражданство которой она так жарко почувствовала запечатленным на собственном сердце. Держава эта больше не казалась необитаемой. Невероятный, шокирующий своей ясностью, мгновенный внутренний резонанс,

внятность которого ни с чем не спутаешь – который Елена впервые ощутила чуть меньше года назад при появлении кудесника Склепа (как будто индикатор этого тайного подданства зазвенел в Склепе на каком-то телепатическом рентгене) – теперь, с той же внятностью, ощущался в некоторых книгах. И тайные сограждане ее в этой Державе – какими бы разными, с человеческими слабостями и странностями они ни были, как бы давно они ни умерли, тем не менее, были, конечно же, куда более реальными, живыми и реально присутствующими в ее ежесекундной жизни, чем призраки учителей в школе.

Не было больше иллюзии, что Вселенная исчерпывается миром неумных, ограниченных, зацикленных на материи людей. В мире шла война. И та невидимая Держава, к которой внутренне Елену влекло как домой, больше, чем к чему бы то ни было на свете, – явно засылала к ней гонцов – призывая саботировать власть оккупантов.

Перескочив порядок, и, почему-то, дочитав после Матфея, сразу Евангелие от Луки, и дважды увидев похожий призыв о молитве, Елена рассудительно подумала: «Если Христос просит меня молиться именно такими словами – значит в этой Его просьбе безусловно есть какой-то смысл» – и выучила записанную со слов Иисуса молитву «Отче наш». И теперь всегда начинала с нее день – даже когда поспать не удавалась, – и ею же день провожала.

Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя... – повторяла Елена, вдумываясь в слова. – Значит, Бог пока еще не царствует на земле сейчас, значит, не Божия воля действует на земле, когда маньяки, вроде Ленина и Сталина, убивают миллионы ни в чем не повинных людей. Значит, прав Клайв Льюис – что земля – в ее теперешнем состоянии – это как оккупированная врагом территория. Не в том только смысле, в каком Крутаков считает родную страну оккупированной врагом территорией, – а в глубоком более смысле, в метафизическом.

VI

Чем больше она читала Евангелие, тем больше, с родственным изумлением, понимала, что Бог, в сущности, заповедовал прогул земного урока. Христос прямо говорил, что все земные отличники и

подлизы – в Небесном Царстве расцениваются как двоичники. Мир, который рекламировал Христос, был удивителен и парадоксален: там не просто не надо было заботиться о завтрашнем дне – но и прямо запрещалось это делать. Искать же призывал Христос только Божьей правды и Бога, – парадоксальнейшей рифмой добавляя, что тогда и все необходимое в материальном преломлении, чудесным образом, «приложится». А вот если искать материального – то отнимется и то, и другое.

Христос удивительным образом освобождал человека от оков тупых традиций и семейных закабаленностей: есть только Бог – и ты; больше никого не слушай, – по сути, говорил Христос. Христос призывал не цацкаться с теми, кто Бога уперто отрицает, – а отрясать прах со своих ног – и идти благовествовать к тем, кто жаждет. Христос заповедовал возненавидеть всю свою старую жизнь – возненавидеть даже родителей: чтобы идти только за Богом.

Христос также запрещал что-либо в своей жизни «планировать» – вернее, просто объяснял весь идиотизм такого планирования: потому что завтра кирпич на голову может упасть – и где ты окажешься со всеми своими суетливыми корыстными планами?

И, наконец – самое главное: Христос запрещал чего-либо или кого-либо бояться. Не бойтесь даже убийц, – прямо говорил Христос, – потому что они ничего с вашей душой сделать не в силах – она в руках Божиих. А бойтесь только того, кто может отдалить вас от Бога – и уничтожить вашу душу.

И – уже между делом – Христос запрещал культ личности, запрещал поклонение каким либо вождям, запрещал поклонение вообще кому-либо или чему-либо, кроме Бога.

Христос также прямо запрещал быть рабом кому бы то ни было, кроме Бога, запрещал кому-либо, кроме Бога служить. И – с удивительнейшей, возносившей вверх мелодией, говорил, что Христовы ученики и Богу-то не рабы – а друзья и родные.

Душа танцевала.

Это дружественное разъяснение основ небесного бытия окончательно стирало в пыль государство, существовавшее на небезынтересной Елене территории с 1917-го года – в самой основе своей имевшее ровно противоположные, богоборческие принципы.

А также – как приятный подарок – Евангелие уничтожало всякую (и без того ненавистную Елене) тупейшую, обезличивающую все статистику и гугнивые социальные прогнозы, все эти ловко рассчитанные надои, удои, удавки, плодovitость брачующихся, поголовья овец и людей: потому как весь советский колхоз легко мог вдруг оказаться монахами и монахинями катакомбной церкви, а председатель колхоза – замаскированным настоятелем монастыря, и даже когда взбесившиеся бесы спецслужб срочно пускали всех насельников тайного монастыря в расход, расстреливали – то опять оказывались с носом – потому что таким образом отпускали святые души мучеников в Вечность, в их настоящую Семью, к Богу – который их ждет за накрытым столом в Своем Царстве, – а сами палачи обрекали себя на вечные муки в аду.

Елена уже даже подумывала, не поделиться ли с Анастасией Савельевной радостью: что врожденная абсолютная безалаберность той, абсолютное пренебрежение к деньгам и материальным вещам, и абсолютная неспособность ее о чем-либо материалистическом заботиться и о чем-либо материальном вообще долго думать – оказывается, свойство впрямую благословенное Богом, – но, потом, памятуя истерики Анастасии Савельевны из-за Марченко, решила все-таки материны нервы с Благой Вестью пока поберечь.

Удивительным оказалось то, что прочитанные главы Евангелия, как будто бы как какой-то магический кристалл, давали Елене возможность по-новому видеть не только мир вокруг, живопись, но и книги – читаемые, или давно прочитанные. И некоторые книги – в свете Евангелия вдруг блёкли, а некоторые – наоборот ярко и загадочно сиять начинали каким-то совсем новым, доселе ей невидимым, светом. Так, например, когда Елена взялась перечитывать уже три раза вдоль и поперек читанного «Гамлета», то вдруг обнаружилось, что до Евангелия, и Гамлета-то она читала как-то на плоскости, не замечая глубины, заложенной Шекспировским гением: и вдруг отдельные сцены ярко раскрылись по-новому – и пот, градом кативший с лица Гамлета во время поединка, вдруг задрожал внутренней рифмой с каплями пота на лице Спасителя в Гефсиманском саду – так похожими на кровь.

– Ты, подруга, просто слишком впечатлительная и увлекающаяся натура, – миролюбиво и сонно возразила Аня, когда, в день

глобального прогула (у Анастасии Савельевны была ранняя пара) Елена зашла в школу только на большой перемене – специально полюбоваться, как Аня живописно жрет на четвертом этаже, в туалете, золотое, в веснушках, яблоко голдэн.

Отжирала же Аня яблоки особым, специальным, ей одной присущим, безотходным способом, за что даже ее родная мать весело обзывала ее плодояжкой, – вместе с огрызком: начинала Аня с попки, держа яблоко за черенок, и подвесив перед собой как на яблоне; а, без остатка сожрав первым делом огрызок, и, следом, прикончив всю яблочную плоть по краям, обгрызала и жесткий черенок, за который яблоко держала. В результате, от яблока оставалась только расплюснутая и расщепленная на конце, в щеточку, зубочистка. Которой Аня тут же шутливо чистила свои крепкие крупные передние зубы, а затем, с сожалением, обжевав еще немножко, выбрасывала черенок в помойку. И это был отдельный, любимый, школьный аттракцион Елены – ради которого даже не полениться и зайти в ненавистное здание на полчаса было не жалко.

Зная, что Аня тоже любит Шекспира, Елена, разумеется, поспешила поделиться с ней своим открытием о многочисленных скрытых цитатах в «Гамлете» из Евангелия.

– Ясное дело: ты прочитала Евангелие – вот оно тебе теперь всюду и мерещится, – оптимистически подытожила Аня и предложила пойти все-таки, вместе с ней, на следующую геометрию и поиграть в точки.

А когда Елена, готовая уже было ради любимой подруги, от сердца оторвать на недельку самую интересную книжку, предложила Ане дать завтра почитать Евангелие, Аня вежливо сказала:

– Спасибо, но у меня сейчас уже есть книга, которую я читаю.

Вымыла руки в раковине, тщательно отряхнула, в раковину же, брызги. А потом, через паузу, с чуть набычившейся честностью добавила:

– Меня почему-то такие вещи никогда не интересовали...

– Аня, ну так может быть ты сначала прочитаешь – а потом уже будешь делать вывод, что тебя это не интересует? – возмущалась Елена.

Но вежливая и упрямая Аня была непрошибаема.

Хоть как-то сдвинуть Анечку с точки вечной мерзлоты, растопить ее обычную, как будто саму-себя-наказывающую, педантичную сдержанность, как ни странно, удавалось только в изобразительном искусстве.

Аня с трагической быстротой, теряла зрение – по законам какой-то страшной генетической центрифуги – и уже знала, что совсем скоро ей придется надевать очки не только на уроках, для чтения – но и носить их всегда – чтобы рассмотреть номер дома, пешеходный переход, людей. И, в обратной пропорциональности к этой скорости ухудшения зрения – в Анюте рождалась пронзительная страсть к художественным визуальным впечатлениям. Как будто жаждя успеть набрать как можно больше ярких зрительных образов, Анюта, как и Елена, не пропускала ни одной выставки, – которые привозились в последние месяцы из-за рубежа в изголодавшуюся по свободным новинкам Москву с помпой вселенского события – и которые, собственно, и становились чуть ли не единственным пока реальным воплощением «перестройки».

Когда Елена пыталась взглянуть в Анину внутреннюю жизнь, в этот не по дням а по часам закрывающийся кокон, в эту передвижную тюрьму из тумана близорукости – и видела Анечкины прекрасные, с размашистым абрисом, карие глаза – всегда смотревшие на мир с тем особым расслабленно-вопросительным выражением, присущим сильно близоруким людям, – сердце у Елены сжималось от жалости и нежности.

С кем, как не с Аней, можно было абсолютно случайно, не сговариваясь, столкнуться на выставке из собрания Тиссен-Борнемисца на Крымском валу, когда Аня, вместе с матерью (красивой еврейской женщиной с крупными чертами лица – и, тоже, в очень сильных очках – от одного вида стекла которых делалось дурно и муторно, и нехорошо, и свербило в переносице) осмотр заканчивала – а Елена только начинала. И Аня тут же, без своих обычных пугливых отговорок домашними делами, радостно соглашалась на приглашение Елены сходить с ней на эту же выставку (отстояв сорокаминутную очередь) в другой день, еще раз.

Подолгу застывая перед каким-нибудь негодным заграничным русским супрематизмом, или изверченным, перекрученным уродом Бэйкона, или морфиинистски-летающим из граната тигром Дали

(шедеврами абсолютно разных направлений живописи, по чистому недоразумению считавшихся до этого коммунистическими вождями чем-то чуждым советскому духу, и запретным, – а на самом-то деле являвшимися, как раз, как нельзя более органичным выражением коммунистического духа: разрушение мира, распад, примат пустой, расчлененной, разлагающейся формы, убийство содержания) Аня вглядывалась в формы и краски с такой трогательнейшей старательностью, так прилежно старалась найти какой-то позитивный, конструктивный смысл, так доверчиво надеялась, что это – не просто форма, а намек на смысл жизни, открывшийся художнику, – что у Елены просто щипало в глазах от умиления.

Как бы то ни было – выставки были узаконенным Аниными родителями «интеллигентным», «приличным» времяпрепровождением – Аня не считала это (как втайне считала любые творческие или духовные удовольствия или даже просто мечтательный отдых) непозволимым порочным развратом праздных людей, не соблюдающих установленное расписание. И, поехав вместе с Еленой на Крымский вал – в средоточие чувственных художественных наслаждений последних месяцев – в громоздкое, огромное некрасивое кубическое здание, загадочно поделенное между центральным домом художника и запертой на капитальный ремонт Третьяковкой, – нагулявшись вдосталь по закоулкам каких-нибудь гигантских глинистых пупырчатых полотен гения Шемякина, Аня соглашалась даже на развратнейший разврат: попить кофе в местном кафе (всего-то два часа очередь). Кофе Елена ненавидела, а Аня – с трудом терпела. Но в центральном доме художника, единственном месте в городе, кофе делали «по-восточному» – в жареном песке, засыпанном в поддоны на какую-то печку – в обжигающих песках Аравийской пустыни – в золоченых турках, всыпая, с верхом, в черную грязенькую массу, сахарной пудры – возя турку за медную ручку – и дожидаясь корочки; и выпить в крошечной чашечке за баснословные деньги эту (отрыжку немедленно вызывавшую) бурду, заедая крошечной же ракушечно-образной, влажной, отсыревшей, тарталеткой с луком, запеченным в майонезе – тоже было удовольствием скорее эстетическим. А по гастритным последствиям – уж точно не гастрономическим.

При всей любви Аня и к искусству, и к классической литературе, отношение у Аня, тем не менее, к любому творчеству,

как ни странно, было не как к чему-то, что может хоть как-то повлиять на ее жизнь (не говоря уж о том, чтобы эту жизнь перевернуть) – а какое-то кротко-обреченное, как к чему-то бесконечно далекому: «Надо же, вот, как красиво... Эх, живут же некоторые люди...» Как будто, приехав в далекую страну и гуляя по окрестностям, заметив чудесную усадьбу с великолепным, на солнце окнами сверкающим домом с белоснежными колоннами, Анюта, зайдя через буйный сад и заглянув в окно, увидела там богато накрытый стол, невиданные яства, и красивых, радостных людей, разговаривающих между собой как раз о том, о чем Анюте хотелось бы поговорить. И, вот, заметив Анюту, из дома уже выходят хозяйева, и радостно приглашают Анюту отобедать с ними, говоря, что только ее и ждали, и что для нее даже уже давно приготовлено кресло за столом – и даже тарелка и бокал. А Анюта, вместо того, чтобы зайти в дом, и поближе узнать хозяев, вдруг начинает извиняться, расшаркиваться, лепетать, что ей это «не по уровню», быстро пятится, а потом уже даже и бежит прочь. А хозяйева дома всё доверчиво, с недоумением, выйдя за порог, и разводя руками, зовут ее, вслед, обещая показать и сад, и поместье, и лесное озеро неподалеку, и всё приглашают, всё умоляют остаться, не стесняться и поверить, что она – желанная гостья. Но Аня, отвернувшись, и уже не оборачиваясь, чапает из таинственной усадьбы прочь: «Нет, нет, спасибо, мне это все не по уровню. И вообще – я сюда, на территорию вашей усадьбы, без приглашения зашла, это нарушение порядка, извините. Ухожу, ухожу...» Так же Аня отходила и от нравящихся картин – или тихо закрывала и откладывала на полку книгу, возвращаясь к своему строгому расписанию – нелюбимым, родителями навязанным, кружкам и секциям, ритуальным походам в ателье и чистку одежды, урокам по предметам, которыми она совершенно не интересовалась и не собиралась заниматься в жизни – расписанию, которое, втайне (по загадочной, приводившей Елену в ярость, абсолютно необъяснимой причине), любимая, лучшая, всех чудес достойная Аня считала единственной допустимой, достойной, – и в сущности, единственно реальной для себя формой жизни.

Взывая к Аниным жадным визуальным рецепторам (хоть и парадоксально теряющим чисто физическую силу), на уроке биологии, пока зоологичка Агрипина, ломая свою указку злыми маленькими руками, чуть не вгрызаясь в нее, пыжась от беспричинного гнева, так

что становилась удивительно похожа на маленького кряжистого французского бульдога на задних лапах в туфлях, рычащего с костью в зубах, – доканывала какого-то очередного мученика у доски, – Елена, громким нежнейшим шепотом вопрошала:

– Анюта, ну ты же не идиотка, чтобы верить в бредни Агрипины, что вся жизнь на земле зародилась сама собой из тепленькой лужицы! Ну включи же логику наконец! Ну думай независимо! Забудь про то, что несет Агрипина! Взгляни же просто на красоту вокруг! – страстно призывала Елена так, как будто находятся они не в гнусном охрянном классе, а – то в саванне, то в лесах Амазонии. – Взгляни же на шею жирафа, на хобот слона, на хвост павлина, на украшения на головах райских птиц, на розу, на шмеля, на человеческий глаз – на совершеннейшее крыло птицы, на себя, наконец, в зеркало посмотри! – ты что, серьезно считаешь, что все это могло само-собой подсосаться из лужицы, из неживой материи в живую, и развиваться само собой в результате эволюции?!

– Ну... За миллионы лет... Так могло быть... – с извиняющимся, бездумным выражением говорила Аня.

А когда Елена, горячась, и привлекая своим громким шепотом уже недобрые взгляды Агрипины, излагала Анюте свою метафизическую картину мира, Анюта, как-то неожиданно по-доброму, вздыхала:

– Э-эх... Охохонюшки... Хотела бы я в это во все верить... Хорошо бы, если бы все было так, как ты говоришь... Но вот только я боюсь, что на самом-то деле... – Анютина сливочная красиво-выпуклая кисть руки лежала, легонько чуть прихлопывая по парте (с мимическим выражением: лежала я тут, и буду лежать), и резко выступающая округлая косточка на сливочном запястье была как шляпка белого гриба-кокосовика, только вылезшего из земли – а чуть повыше шел густой ливень черных волосков на нескошенном лугу белого запястья.

– Что?! Что Аня «на самом деле»? – заводилась Елена. – Ну, раз не хочешь читать Евангелие – почитай хотя бы Платона – уж не считаешь же ты, что Платон был глупее основателей марксизма-ленинизма и материализма! Неужели ты всерьез считаешь, что твоя душа разрушима – и душа твоей мамы – и души твоих любимых художников и писателей – что вот все эти души, это богатство – смертно и

разрушимо, и что вся эта потрясающая, гениальная сложность души умрет со смертью тела?!

– Я бы очень, очень хотела верить тому, что ты говоришь, подруга... – искренне говорила Аня. – Но, к сожалению, я боюсь, что так и будет: умрем все просто и всё. И ничего после этого не будет.

Анюта никогда, ни при каких условиях, ни в какие политические споры не вступала («Ясное дело: генетический страх перед погромами!» – бессовестно и безапелляционно, с хихиканьем, комментировал эту характерную особенность Дьюрька), но всегда – когда они были вдали от Дьюрькиных ушей – кротко и старательно все фонтанирования Елены на политические темы, с вежливой внимательностью, выслушивала – с грустными тихими глазами – но без комментариев. А вот Анин день рождения стал для Елены некоторым откровением: Аня, шумных компаний стеснявшаяся, но все-таки себя зачем-то пересилившая, – зазвала в гости полкласса. Резвятник пятнадцати человек в крошечной гостиной (в темной, малогабаритной квартирке в блочном доме на Планерной) доставлял Анюте скорее неловкость – и Анюта, вместо того, чтобы в роли именинницы просто принимать поздравления, носилась все время с какими-то блюдами, розеточками, вазочками, с волшебными, лично приготовленными салатиками, всем всё что-то подкладывала, колгатилась, обо всех до слез трогательно заботилась – и, кажется, именно в этом находила отдушину, делающую для нее буйный собственный день рождения эмоционально переносимым. Анины родители тактично удалились в соседнюю комнату («чтобы дать детям поиграть») – и вдруг, когда Елена, очарованная Аниным оливье, влеклась за Анютой в кухню за добавкой, по благу, – Анин отчим, Аркадий Филиппович, человек с уютными, как будто в кресле развалившимися и отдыхающими чертами лица (и тоже в чудовищно сильных очках) – вежливо позвал Елену зайти к ним с Аниной матерью.

– Лена, я вот давно хотел с вами побеседовать, – обратился к ней Аркадий Филиппович, уютно, так же как и все черты его лица, усаживаясь в кресло – приятно поразив Елену обращением на «вы» (привычка институтского преподавателя). – Я вот слышал, что вы, некоторым образом, интересуетесь тем, что сейчас в стране

происходит в общественной сфере. Мы могли бы с вами эти темы подробнее обсудить – абсолютно конфиденциально, разумеется?

И по каким-то словами не выразимым, но четким и безошибочным флюидам, Елена сразу почувствовала, что никакой засады нет – и, вмиг переступив обычный некоторый эмоциональный порог, разговорилась, доверительно и подробно излагая свою позицию.

Минут через сорок разговора, Елена вышла из комнаты, чувствуя, что щеки ее разгораются от гордости – с ней, как со взрослой, делился мнениями поживший, в советское время виды выдавший, образованный, достойный, отказывавшийся вступить в партию даже ради карьеры, человек.

– Ну, мы примерно так же на все это смотрим. Спасибо, что поделились своими взглядами, – уютно подытожил Аркадий Филиппович. – Это всё, разумеется же, останется между нами.

И теперь Елена знала, что в Аниной семье у нее есть как минимум два безусловных, надежнейших, искреннейших секретных союзника – Анин отчим и Анина мать.

А в Аниной молчаливости на животрепещущие политические темы все больше проклевывалось хоть и кроткое, но безусловное и непререкаемое предпочтение (в бурно меняющейся политической ситуации) добра перед злом, истины – перед ложью. И Елена внятно видела в этом как будто заместительное эхо отсутствующих в Ане религиозных поисков.

С Дьюрькой же, инвалидом идеологического воспитания родителей из Академии наук – главного храма атеизма советской страны (где карьеры сделать, не присягнув религии богоборчества, было нельзя) – говорить на метафизические темы вообще было бесполезно. Боялся Дьюрька любых упоминаний о Боге – пуще, чем мать его боялась ругать Сталина и пускать иностранцев к себе в дом. И хотя в том, что касалось репрессий, Дьюрька этот семейный, наследственный страх переборол, и переступил принятые, вколачиваемые в мозги идеологические мифы, однако в том, что касалось материализма – тут в его мозгу торчали как будто бы глухие, замшелые, советские заслонки и занозы.

– Этого никто не создавал. Это все просто было. И возникло. И само собой, – бодро рапортовал Дьюрька. – А с человеком все понятно

– человека сделала палка-копалка – превратила из обезьяны в человека.

– Ну, давай, Дьюрька, в зоопарк с тобой как-нибудь вместе сходим, – хохотала Елена, – дадим обезьяне палку, ты войдешь к ней в клетку, и посмотрим, что обезьяна с тобой этой палкой сделает! И в кого она тебя через пять минут превратит.

При любых намеках на то, что существует что-то нематериальное, – Дьюрька краснел так, как будто бы при нем кто-то вдруг ненароком обнажился.

– Но ведь все главные вещи, Дьюрька, даже в видимом мире – нематериальны! Важно ведь вообще, в сущности, только то, чего нельзя пощупать руками! – пыталась нащупать хоть какое-то поле для диалога Елена. – Любовь, верность, храбрость, сила духа, творчество, противостояние злу – это ведь всё тоже нематериально и, по определению, принадлежит как бы немножко другому, невидимому для нас, пока, миру.

– Глупости это всё, – не утруждая ума, коротко резюмировал Дьюрька. – Хватит тут мракобесную религиозную пропаганду вести! – оглядывался по сторонам Дьюрька, как будто его сейчас мать или тетя Роза за шиворот схватит, за то, что он такие речи слушает – и залиvisto хихикал, бордовая еще больше.

– Ну хорошо – просто представь тогда такие вещи как бесконечность, вечность. Как ты думаешь, что за всем этим стоит?

– Зачем бесконечность? – искренне изумлялся Дьюрька. – У вселенной же есть конец, граница.

– А что там, дальше – за этой границей вселенной? Ты когда-нибудь задумывался? Что такое бесконечность?

Но Дьюрьке было как-то спокойней сводить мир к видимому зоопарку:

– Ничего там нету. А то, что есть – оно там все было всегда и ни из чего не возникло. Просто всегда – и всё. А жизнь вся... Ясное дело: борьба за существование, побеждает сильнейший, сильный ест слабого – вот всё таким образом и получилось всё, как есть сейчас. Все это естественно и натурально.

К излишне «натуралистическим» штучкам была у Дьюрьки вообще какая-то патологическая страсть: съездив, например, на каникулах на пару дней с матерью в Питер, вернувшись, самым

главным впечатлением называл визит в кунцкамеру, где извращенец Петр I собирал всяких двухголовых уродов, заспиртованных мутантов, и так далее.

– Я туда даже два раза ходил! – хвастался Дьюрька. – Еще там, знаете, что есть! Заспиртованный эмбрион... В банке!

– Дьюрька, иди отсюда! Не смей рассказывать гадости! Я только что бутерброд съела... – стонала Аня, когда Дьюрька делился счастьем, крутясь вокруг них в коридоре на перемене.

– А что? Все естественно! – хихикал Дьюрька.

Впрочем, бравируя показной «естественнонаучностью», и воспевая «естественный» отбор, на поверку впечатлительным Дьюрька оказался похлеще Ани и Елены: сходяв с двоюродным маленьким племянником в зоопарк, Дьюрька все не мог потом, недели две, прийти в себя, с отвращением вспоминая, как при нем, в клетке, сова спокойно взяла в лапу подложенную ей зрителями дохлую мышь и откусила ей голову.

– Фи-и-и-и.... – морщился Дьюрька. – Вы только представьте себе! Она ей откусила прямо голову... Ужасно... Ужасно... Как это все противно...

– Мышь-то уже дохлая была? – с садистским издевательским любопытством, видя корчи Дьюрьки, переспрашивала Аня. – Чего ты тогда волнуешься-то?

При Дьюрькином, сугубо практическом, складе ума было даже удивительным, что и он, время от времени, бегал на художественные выставки. Впрочем, преломление, в котором Дьюрька видел искусство, было ровно противоположным Анину набожно-преклоняющемуся, застенчивому: а именно – таким же, как и весь Дьюрька – практическим. Дьюрька любил все пестренькое и яркое, всякие «сувенирчики», всякие штучки и безделушки. И, по этому же принципу, нравились ему, например, пестренькие яркенькие картинки – даже на репродукциях. Однако, с лукавенькой хитрой улыбкой разглядывая живопись (с выражением покупателя, урвавшего дефицитный, необычный товар), Дьюрька до смешного был лишен дара вчувствования, интуиции, озарения – и даже и не подозревал, что единственный способ увидеть картину по-настоящему – это перестать скользить по плоскости и нырнуть вглубь – а для этого – полностью открыться, и вчувствоваться; и что степень эффекта и полноты

восприятия будут строго пропорциональны этой твоей зрительской уязвимости, незащитности, способности вчувствоваться и открыться – даже если тебя ожидает чья-то боль, которую ты почувствуешь как свою. И – что самое при этом комичное: Дьюрька даже не чувствовал себя, без всего этого, обделенным, абсолютно не понимал, что сам себя обворовывает – а наоборот, считал свой «метод» достоинством рассудительного, современного, человека.

Зорко зрячий, вроде бы, Дьюрька видел в живописи раз в тысячу меньше, чем медлительная, подслеповатая, благоговейно-застенчивая Аня. Читая все книги быстренько, бегленько, нахрапом, скользя по поверхности, – и считая самым главным быстренько все обобщить, сделать логические выводы – и (самое чудовищное, что может быть в искусстве) стараясь «раскусить принцип» – Дьюрька так же смотрел и картины.

– Ага, ну принцип понятен: Ван Гог все списал у японцев – и вообще всё его творчество – от несчастной любви – как всегда это и бывает, – быстренько выдавал вердикт Дьюрька, прочитав большой подвал о творчестве Ван Гога в прогрессивной советской газетке.

И хоть ты кол на голове теши – Дьюрька оставался в святом убеждении (после двусмысленных передергиваний в газетной статье), что у Ван Гога был первертный роман с Гогеном – и что ухо себе Ван Гон отрезал, когда «любовник»-Гоген его бросил.

И даже если бы сам Ван Гог, вот сию же секунду, явился перед Дьюрькой, с отрезанным ухом, завернутым в платок (кровавой жертвой споров с рассудительным Гогеном – в попытках защитить яростное, настоящее – с рискованным прорывом в запредельное измерение – искусство) – и объяснил бы Дьюрьке небесный смысл своих поспевших нив – все равно выбить из Дьюрькиной головы материалистическую идею, что любое искусство, любое творчество – это только побочный продукт материалистического существования человечества, и что любой творческий человек, любой художник – это, конечно, занятный – но все-таки выродок человеческого рода, с более или менее серьезными психическими отклонениями, – а умный, практический современный человек лишь снисходительно этих выродков терпит и изредка приходит их художества, как в кунсткамеру, позырять, – никакому ангелу было бы ни под силу.

И этот странный порок логики – а так же абсолютная поэтическая глухота – были в каком-то удивительном соответствии и с абсолютнейшей мистической, духовной глухотой Дьюрьки.

«Ну, что ж – у меня друзья – инвалиды. Мистически неполноценные. Как, бывают же у кого-то друзья хромые, увечные. Ну что ж делать? Не отречься же теперь от них. Зато очень, очень честные и добрые», – улыбалась Елена. И – загадочным образом – и в Дьюрькином напористом общественном правдоискательстве, и в Аниной непререкаемой, удивительной, исконной порядочности (будто ее, Анютину, душу, Бог, по большому еврейскому благу, и вправду вылепил вручную, по собственным, уникальным, лекалам) – Елена внятно чувствовала отблеск тех же самых метафизических исканий, что всецело захватывали ее собственную душу.

Дивясь забавностям друзей, и слегка изумляясь: как же это так – я с ними не могу поговорить о том самом главном, что есть в мире?! – Елена гуляла вечером в теплом тумане на Герцена, одна, и чувствовала, что этот оттепельный туман – как раз подходящая среда, в которой так удобно сейчас купаться мыслям.

«Как странно, – думала Елена, сворачивая в тумане в переулок, в котором когда-то гуляла, обнявшись с Цапелем, – как странно, что такие непохожие на меня люди – и такие разные между собой, – Аня и Дьюрька, – так часто меня и друг друга раздражающие, – мне, вот, почему-то оба так дороги».

«Как странно, – шептала она себе под нос тихо, взглянув на риф старинного дома в туманном море, – как странно, что люди строят себе дома. Дома – это ведь в сущности попытка ограничить вечность, приручить ее, сократить вечность до человечески вообразимых размеров и форм», – рассуждала Елена, идя в нереальном, тихом (так что слышно было, как капает с крыш) проулке – и соседние улицы и арки казались лишь зыбкой, туманной, приятно-плавно перетекающей из ее правой руки в левую, формой ее мыслей.

«Как странно – шла она дальше, свернув еще раз, направо, в закоулках собственных мыслей, – как странно что от вымершего, убитого, вырезанного, высланного племени, населявшего настоящую, больше не существующую Россию, – остались только вот эти их дома – как раковины каких-то сказочных вымерших морских существ, –

прекрасные, так выделяющиеся на фоне советского уродства. Такое странное, нерушимое – и неопровержимое послание из прошлого».

На Гоголевском голые кусты казались прялками с растяписто встрявшими кверху пальцами, которые весь этот чуть сиреневатый, чуть посеребрённый туман вокруг себя и напряли. Туман не давал никаких разгадок, а скорее загадки загадывал. Но так легко, в этой оттепельной канители бульваров и проулков, было взлететь в вожделенные небесные беседки – где ответы иногда перепадали, и где уже сами вопросы, какой-то невидимой, таинственной улыбкой приветствовались.

А вернувшись домой, к книгам – чувствуя привычный уже восторг перед грядущей бессонной чтецкой вечностью, Елена опять удивленно и рассеянно сказала себе: «Как странно – ведь вот она – я; вот оно – мое; а там – снаружи – во внешней жизни, в которую я погружаюсь утром, выходя из дома в школу – споря и воюя с Дьюрькой, нежно обихаживая Аню – да и, тем более, вон, на чудовищной – не понятно как выдержала – многоголосой попытке общественных сборищ, как «Мемориал» – везде ведь там, вовне, где есть наружный шум, ждущий от меня участия – хотя и говорю, и двигаюсь, и действую – там ведь все-таки не вполне я. Та, внешняя я – только краешком, разве что, похожа на меня. Но точно не вполне я. Как это все странно», – сказала себе она еще раз – и зевнув, даже читать не могла от усталости, и только еще раз, даже ночник выключить не умея найти уже сил, подумала: «А ведь почему-то какая-то странная загадка внутри все-таки тянет меня всю эту оживающую Москву видеть, заставляет ничего из живого, нового, не пропустить. И как странно – что эти два, казалось бы, никак не пересекающихся потока – внешний и внутренний – все-таки схлестываются – хотя и не смешиваются...» – и с опущенным парусом этой мысли тихо отплыла на легком смуглом паруснике по туманным волнам, лишь изредка оглядываясь на маяк ночника – к дальним, никакими условностями больше не ограниченным, берегам.

Несистемных, вернее – не вполне системных, не вполне подконтрольных публичных событий в Москве было мало – и на все, безусловно, хотелось успеть.

Какой-то, на Университетских горах (тайком суеверно переименованных Еленой, чтобы не прикладывать к ни в чем не

повинным возвышенностям упыриного имени), в университетском доме культуры выступал блистательный индийский гуру – умевший закладывать левую пятку через среднее плечо, как воротник, за правое ухо: престарелый, на толстую вареную индейку похожий, с сизой кожей, дядька. И Елена, поначалу подпав под обаяние, и зарисовывая даже асанны – чтоб на следующий день подразнить Дьюрку – выйдя, однако, из зала, почувствовала, что чары рассеиваются: ну и, что, собственно, что он в семьдесят лет умеет чесать правое ухо левой ногой? Что толку-то? Стоило на это всю жизнь угрохать?

Какая-то, в Политехническом музее, была незнакомого, доморощенного, философа лекция про православные обычаи – и бородатый лектор, христианства не исповедующий, удобненько сводивший все традиции к чисто гастрономическому рассказу – про то, от каких продуктов (и без того отсутствующих в магазинах), следует отказываться в пост, после лекции, всё мекал и никак не мог ответить Елене, зачем в пост отказываться от молока – если, в отличие от мяса, съедая кушания из молока, мы никого не убиваем, – а затем и вовсе сбежал за кулисы. А полоумная старушка в разваливающихся (пуще чем у Ани) сандаликах (особенно эффектно смотревшихся на схватившемся ледке), в девчачьем ситцевом платьице в мелкий фиолетовый цветочек и летнем светлом пальтишке привязалась к Елене с важным сообщением, что слово «цыгане» якобы – украинское, и произошло от украинского названия индийской реки: «це Ганг». И Елена решила на публичные лекции больше никогда не ходить.

Исключение делалось лишь для университетских лекций по архитектуре Питера – профессора Козаржевского, на историческом факультете. Ляля Беленькая, бывшая студентка Анастасии Савельевны, крутоскулая девица с блондинисто-сероватыми тонкими волосами, зажатými в тугий хвост, на четыре года Елену постарше, переведшаяся на исторический факультет МГУ, приходя к Елене в гости, шутливо преподавала ей английский язык – в качестве пособия используя тексты песен «Битлз». Мировоззрения Ляля Беленькая придерживалась довольно экзотического. Когда Елена, чуть стесняясь разницы в возрасте, но все-таки поддаваясь на соблазн обсудить с малознакомым умным человеком взрослые темы, толковала с Лялей про идеалистическую возможность менять людей к лучшему, Ляля Беленькая, со стальным, невозмутимым лицом, выдавала:

– Менять? Молода ты еще – романтика, сантименты. Изменить крыс и тараканов нельзя. Крыс надо – мышьяком. А тараканов – дустом. Единственный способ изменить страну.

– Фашистка! – простосердечно и без обиняков констатировала в дверях Анастасия Савельевна. – И кто ее такому научил? Точно не я! Может, на историческом факультете?!

Ляля-то Беленькая и подучила Елену, как без пропуска проходить в Университет на утренние лекции профессора Козаржевского – вместо, разумеется, занятий в школе. Доезжая до Университетских гор, и бегом, среди схожих, отвратительно уродливых новых корпусов, находя здание исторического факультета, Елена (как ее подучивала Ляля – «сделав уверенное лицо») шла, без всякого пропуска напролом, мимо охраны. А как только толстенная, ленивая, праздная вахтерша в тулупчике, которой бы только чужаков без студенческих билетов половить и на них поорать – встрепенувшись, вскакивала со своего стула и вставала у Елены на пути, Елена, невозмутимым тоном, чуть приглушив голос, доверительно ей сообщала:

– У меня встреча с Андреем Чеславовичем, – и не дожидаясь, пока вахтерша привинтит обратно отвисшую челюсть, быстрым шагом шла внутрь здания – слушать кустистыми бровями надставленного человека про архитектурные чудеса и страшную историческую начинку во дворце Белосельских-Белозерских, и про другого архитектора, который Расстрелян.

Москва, тем временем, оживала, оттаивала действительно даже быстрее, чем сдавалась, с переменными боями, зима. Вместо отсутствовавшего в стране неподцензурного, свободного телевидения – можно было просто доехать до Пушкинской площади и повертеться в сквере, противоположном Пушкину – в начале Тверского бульвара – меж удивительными, всегда всё народным телеграфом знавшими, приятно равнодушными, интеллигентными людьми, совершенно незнакомыми между собой, но безошибочно друг друга как-то по свечению лиц распознавающими и обсуждающими все животрепещущие новости.

Свой аттракцион был и на Старом Арбате: улица, начиная с угла Арбатской площади, с завидной регулярностью оказывалась вся уклеена листовками запрещенного «Демократического Союза», – и, с такой же завидной регулярностью появлялись из воздуха менты или

угрюмые люди в штатском – и листовки все яростно сдирали. Когда полицейский наряд уходил – через минуту же вновь появлялись буйные, быстрые, веселые, молодые демсоюзовцы – и весь Арбат теми же листовками уклеивали снова.

Конвейер работал бесперебойно – так что, все, кто хотел, легко мог осведомиться, что же в листовках, когда же и где следующий митинг, и кого же, на какие буквы, долой.

А порой – здесь же на углу Старого Арбата, увидеть можно было веселые картинки иного рода: странноватый, бритый идиотик в светло-розовом сарафане (из-под пальто смотревшемся так, словно он обронил фланелевые панталоны), выпрямься как истукан, и почему-то все время подпрыгивая (видимо – от холода – потому что был в шлепанцах), внушал среднего возраста лохматому демсоюзовцу, что «в христианстве нет самосовершенствования». Демсоюзовец слушал-слушал, слушал-слушал, а потом, спокойно возражал:

– Ща вот как получишь в бубен, если врать будешь!

В метро было по-прежнему угрюмо, не хорошо, лица сограждан, по выражению, трудно отличимы были от их же сумок, и от их башмаков; никто почему-то ни с кем не разговаривал, а только себя вез. А как только Елена из метро, со стороны «Московских новостей» поднималась – сразу охватывал, со всех сторон, оживленный говор – вроде бы случайных прохожих – которые, застыв, обретали, вдруг, в столь же случайных прохожих собеседников: о конце света, о Нострадамусе, о новых данных о репрессиях, дозволенных к обсуждению в «Московских новостях» – и постепенно, по мере продвижения Елены вдоль Страстного бульвара, эти две темы мешались, и Нострадамус плавно превращался в яркой молве в Пострадамуса.

Крутаков стрелки для передачи книг забивал теперь подальше от народного половодья – чаще на перепутье Страстного и Петровского. А когда запрудили Москву еще и протестные митинги и шествия – крестообразно расчерчивавшие весь центр, жестоко разгоняемые или – для разнообразия – полу-жестоко – Крутаков, все чаще, не сговариваясь, по какому-то загадочному закону притяжения в толпе, абсолютно случайно с Еленой на этих манифестациях сталкивался. Елена, хоть и с трудом перебарывала отвращение от толкучки, криков, массовки – но все же ни одного антикоммунистического митинга не

пропускала – стараясь, внутренне, чувствовать себя наблюдателем, – но, в глубине души зная, что пришла, чтобы на одного человека в протестной манифестации было больше.

– На Неждановой, ближе к Геррррена, водометы выстррроились, – мрачно сообщал Крутаков, внезапно возникая рядом с ней – и выволакивая за локоть из давки на Горького, в которой она уже начинала задыхаться.

– Ух ты! – не без восторга реагировала Елена. – Я никогда водометов не видела.

– И не желаю тебе, чтобы ты увидела их в действии. Не ори только – пойдем, покажу.

Или, когда в толпе вдруг заводилы начинали обсуждать планы, как обойти милицейское оцепление – Крутаков, зорко высмотрев рядышком внимательного мужичка в типической оплеванной серой или синей болоньевой курточке с нарочито убогенькой бурой нейлоновой авоськой, вдруг спокойным голосом предупреждал смельчаков:

– Господа, вы, что, не видите – багульник же с вами рядом расцвел буйным цветом?

Серого оплеванного мужичка-провокаatora, с позором, из круга выталкивали, – и очарованной Крутаковским поэтическим иносказанием Елене еще минуту требовалось, чтобы догадаться, что «багульник» – производная от «гэбульника».

Умел Крутаков еще и по физиогномическим признакам и фигурам определять, кто в данный момент рассекает и сдавливает группы демонстрантов – менты – или переодетые в милицейскую форму военные:

– Милиционеррры, видишь, вон, в основном пузатые и наглые. А перрреодетые военные – вон, гляди: не наглые, а угрррюмые – и подтянутые, – весело и наглядно объяснял ей – тыча пальцы в агрессивные чересчур модели – Крутаков.

Кожаная куртка Крутакова при этом приобретала в глазах Елены особую неотразимость – потому что она точно знала, что во внутренних карманах у него – парочка свернутых в трубочку экземпляров журнала «Посев»; и Елена страшно гордилась вышагивать в толпе рядом с этим игривым, картавым, смазливym, потрясающе взрослым раздолбаем со взошедшей пашней вороной

небритости над филигранной верхней губой, на подбородке, дугах щек и под скулами – и вертикальная разделительная бороздка на подбородке (из-за щетины выглядывающая как черный резкий штрих) как-то удивительно шла к его озорным, темно-вишневым глазам с хулиганисто-смазливо моргающими неприличной длины ресницами.

Иногда Крутаков, впрочем, безобразничал, и наглейше злоупотреблял своей ролью ее проводника на митингах: когда атмосфера неприятно сгущалась, и стенкой давить на демонстрантов, мрачно, на убой, начинали именно распознанные им военные в милицейской форме, Крутаков исхитрялся, усыпив и задурманив на секундочку внимание Елены, спрашивать, например «а в курсе ли она, что здесь вот, невдалеке, на Неждановой, за углом, стоит не снесенный, по невежеству, большевиками дом с надписью «В Боге моя надежда», развернутой аккурат против Кремля?» Елена, конечно, не верила, обзывала Крутакова вруном. Крутаков, воспользовавшись ее азартным интересом, хватал ее за руку и невообразимым молниеносным рывком выводил ее из подминавшей ее уже было давки – и вел предъявлять действительно существовавший четырехэтажный домик, с действительно существовавшим крамольным девизом на латыни, на скругленном эркере – ровно позади сталинской крысиной серятины-бурятины передних домов-оккупантов.

Или, в другой раз, заметив опасную ситуацию и видя, что менты избивают демонстрантов всего-то рядах в десяти от нее, Крутаков, невозмутимейшим жеманным голоском осведомлялся, видала ли она, в ближайшем переулке, уцелевшие палаты Савво-Сторожевского монастыря, – Елена, как раззяба, велась на его фокус, позволяла себя опять из толпы выгашить.

Раскусила Елена его отвратительно наглые финты после того, как на Маяке Крутаков, вдруг заморочив ей голову и отвлекая внимание рассказами о забавнейшем аттракционе, который есть на станции метро Маяковская («Монетку пятикопеечную можно с одного крррра платформрррры до ддррругого, по потолку аррррочному перрррекатить!») увел ее в метро – а когда, наигравшись, забыв про все гражданские мотивы, через полчаса она вышла на поверхность, то уцелевшие избитые демонстранты по закоулкам уже только рассказывали, как менты хватали и арестовали всех подряд.

– Дурррында, ну я же не хотел, чтобы ты в ментуррре сегодня ночевала, в свои пятнадцать лет! – нагло объяснил Крутаков, в ответ на ее слёзы и крик. – Я же вижу – всё, кирррдик, винтить начинают. Если б я один был – я бы остался: я, по крррайней меррре, знаю как себя вести, и я – мужчина, наконец, и взрррослый. Но я же все-таки в некоторрром ррроде за тебя отвечаю!

– Да?! И что конкретно ты за меня отвечаешь?! – всхлипывая, орала на него Елена и клялась, что больше вообще встречаться с ним в жизни никогда после этого не будет.

И вправду – не разговаривала аж дня два.

И в другой раз, на запрещенном митинге Демсоюза в сквере на Пушкинской, когда трое молоденьких ребят-демсоюзцев каким-то образом ухитрились залезть на крышу высокого двухэтажного старинного здания, смежного с Некрасовской библиотекой, и принялись восторженно прикреплять там, на квадратную кирпичную трубу, запрещенный бело-сине-красный флаг (в котором Елена с радостью опознала тот самый, антисоветский, символ, который несколько месяцев назад с любовью вышила мулине на лодыжке черных колготок), – а следом по пятам карабкались уже за ними по жестяной покато́й крыше менты, – Крутаков уже лишь поспешно закрыл ей ладонями уши, когда рядом какой-то юный кучерявый активист мечтательно и громко сказал: «Эх, как же их сейчас отп...»

VII

Если Крутаков, как будто нарочно, как будто чтобы ее позлить, преувеличивал степень ее беспомощности, то новые, случайные знакомцы Елены явно наоборот слегка преувеличивали ее возраст. Фотограф, мужчина Крутаковского возраста, с глазами стервятника, горделивой выправкой и едва намечающейся проплешиной на затылке, познакомившись с ней на «Мемориале» (предложил, если надо, предоставить фотографии мемориального съезда, и, гордо сообщив свое небезызвестное ей по газетам имя, спросил ее телефон) – названивал теперь ей через день и нагло предлагал совсем не фотографии, а поездку на дачу к какому-то другу – а Елена, стесняясь (по большей части, из-за того, что познакомились на правозащитном

съезде), не знала какими конкретно словами его послать куда подальше («интеллигентный ведь, вроде, человек, неловко как-то... он же ведь прямо-то мне на словах ничего неприличного, вроде, не предлагает...»). И по-Дьюрьковски бордовым цветом покрылась, увидев настырного фотографа раз на митинге – и тут же демонстративно взялась за Крутаковский рукав.

Молодой режиссер московского театра-студии, русобородый красавец с роскошной львистой шевелюрой, весь как-то очень старательно косивший под древнего русича-воина, увязавшись за ней, после первого мемориального дня, провожать домой, а по пути начав вдруг читать стихи раннего Пушкина, выдавая их за свои, тоже был теперь какой-то постоянной мукой: звонил он, правда, реже фотографа – с некой выдержкой – раз в неделю, и, вроде, говорил по телефону о чем-то, косвенно Елену интересовавшем, но все как-то не так говорил, все как-то мимо – а заканчивал столь же навязчивым: «Когда же мы встретимся?»

Субтильный юноша из «Юности» (ничего в этом журнале не публиковавший, а «стажировавшийся» там – и, по собственному небольшому опыту, Елена прекрасно знала, что за этим словом может стоять), на кулана носом похожий, казавшийся Елене чуть безобидней старших подвидов атакующих ее особей, выманил ее-таки как-то на встречу (возле здания редакции, для солидности) и нежненьким занудным голоском начал перечислять, загибая пальцы, какие дневники он ведет:

– Один – исторический... Другой – философский... Третий – личный, романтический... Четвертый – поэтический... Пятый...

Елена сбежала, не дожидаясь, пока у него кончатся пальцы – отговорившись жуткой мигренью – но от смиреннейших звонков его тоже теперь не знала как отделаться.

Другие...

Словом, теперь Елена немножко боялась подходить к телефону, жгуче жалея, что так доверчиво (по-дружески же! Любопытно же новых людей узнавать!) раздала свой телефон.

Все чаще теперь, и в метро, и на улицах ей требовалось с трудом отклеивать от себя склизкие взгляды мужчин: бессознательно вдруг резко выставив вперед подбородок, или, как-нибудь еще специально уродуя лицо, Елена демонстративно отворачивалась.

Крутаков же не только никогда (кроме той ночи, когда они оказались вдвоем в Юлиной квартире на Цветном) не пытался проводить Елену до дому, – но как-то раз даже вообще по-хамски не явился на встречу, забив ей стрелку (чтоб на какую-то вместе идти выставку) возле чудовищной грубой бетонной громады Дворца Молодежи на Фрунзенской. А когда Елена, кротко прождав его сорок пять минут, дико волнуясь, что с ним что-нибудь случилось, выпросив у дамы какой-то двушку, набрала Крутаковский номер, то услышала в трубке спокойный, ленивый, позевывающий голос Крутакова:

– А я тут из-за кое-каких срррочных дел опаздывал к тебе на встрррречу очень сильно... Понял, что все ррравно вовррремя уже не пррриеду... Рррешил: ты ведь меня не дождешься, наввррряка: не будешь же ты там мерррзнуть стоять... Ну вот я и рррешил вообще не ехать... – невозмутимо объяснил Крутаков.

И Елена даже и трубку-то не бросила – настолько от этого хамства обалдела.

Да и когда комплименты-то Крутаков Елене делал (про всякие щечки-ямочки) – произносилось это все таким издевательским наглым тоном, как ребенку – да и все его непрекращающееся веселое кокетство было настолько нарочитым, игривым, дурашливым, настолько демонстративным – что становилось еще обиднее.

Как-то, в одну из своих «ррра-а-адительских суббот» с Жирафом, Крутаков взял ее с собой – выгуливать по Москве сына.

– Ну, куда пойдём? – поинтересовался Крутаков почему-то у нее, а не у сонного, надувшего губы, сосредоточенно переставлявшего красные сапожки Жирафа.

Елена, стеснительно чуть помявшись, назвала заветное:

– А мы можем пойти гулять в Москву-Нагорную?

– Куда-куда?! – высмеял ее Крутаков. И всю дорогу к надгорным Солянским переулкам, дразнился.

Солянка в распутицу казалась страшной, неудобной; от вида бурых, мокрых, озябших домов и окаменевших сталагмитов придорожной грязи выворачивало солнечное сплетение. Навстречу ехала молодая мамаша, запряженная, в детские санки, откуда лился, на всю Ивановскую, гундосый, издевательский, грубо-нарочитый вой пятилетнего отпрыска в шапке-ушанке, норовившего достать лошадь копытом в валенке с галошем. Мамаша, в отместку с ненавистью

дергая санки, специально чтобы он свалился в грязный кювет, судя по гримасе, как будто бы пережевывала лицом весь бурый снег с песком под ногами. Война. Вот она – подлинная Великая Отечественная война.

– А ты замечала, – невзначай спросил Крутаков, бережно прибирая Жирафа за плечо – чтобы ненароком его не сбили с ног эти розвальни с бешеной лошастью и седаком, – ...что дети новоррожденные... Ну, младенцы... не такие, как этот... – кивнул он еще раз головой в сторону кой-как промчавшихся мимо санок, – ...а, новенькие, только что рродившиеся – ррревут, безо всяких видимых ррричин, так, как будто они все ужасы уже знают об этой жизни – и абсолютно в нее рррождаться не хотят? То есть – плач – это перрррое инстинктивное дело человека в этом миррре! А ты замечала – какие лица смешные и странные у младенцев: сморррщенные, как у старрричков? Как будто они старрричками уже были – и старрричками рродились!

– Что ты гадости говоришь, Крутаков! – фыркнула Елена. – Вон посмотри на Жирафа! Какой он тебе старичок!

– Ну, нееет! Жирррраф у меня – абсолютно перрррвозданный, новенький! – захохотал Крутаков, – Жиррраф точно никаким старрричком не был – это ты прррава!

– Фу, что ты вообще несешь, Крутаков... – возмущалась Елена. – Бог не использует вторсырье!

– А вот глядя на некоторррых ответственных рработников Советского Союза я бы так с уверрренностью не сказал! – довольно хохотал Крутаков.

– Ну, они к Богу вообще никакого отношения не имеют, – соглашалась Елена.

Заходить в такую погоду в тот тайный подвал, где она их с Жирафом впервые увидела – было бы страшно, – и Елена Крутакова даже не попросила показать ей еще раз лаз, который она, прошлым летом, даже и не нашла.

– Крутаков, ну ты разрешишь мне, наконец, почитать что-нибудь из своих стихов – или прозы? – осторожно затянула Елена, когда они уже поднялись в горку, до самого верху.

– Вот – моя инкунабула! – хулиганисто провозгласил Крутаков, развернув, за свиристящий синенький нейлоновый капюшон к себе

Жирафа, который ничего не понимая хлопал длинными черными ресницами и дул губы.

И всю оставшуюся дорогу вел себя Крутаков безобразно, безобразно: то и дело подчеркивая, что выгуливает целый детский сад.

Впрочем, было во всем этом, конечно, несомненное преимущество: именно из-за того, что никогда никаких липких взглядов от Крутакова ожидать было просто немыслимо, Крутакову Елена абсолютно доверяла – и почти обо всем могла рассказать.

И уж восторгу Елены не было предела, когда однажды часов в девять вечера Крутаков позвонил ей (дважды разъединив до этого телефонное соединение – давно уже предупрежденный, что если нарвется на Анастасию Савельевну, надо просто класть трубку) и попросил срочно выйти на улицу:

– Только побыстрррее... Я около твоего дома.

Зябко поёживаясь в незастегнутой кожаной курточке, Крутаков ждал ее за углом башни, ближе к шоссе.

– Вот диктофон с микррро-кассетой – мне надо к завтрррашнему утррру рррасшифррровать интерррвью, которррое я взял у одного человека... Это для западного журррнала. Вот эта кнопочка пуск, вот это – перрремонтка. Не затррри мне тут все только... – тоном, не терпящим возражений, принялся давать ей инструкции Крутаков, тыча в темноте в кнопочки жеманными своими наманикюренным пальцами – и особенно смешно смотрелся узенький, изящный, прям как у девушки, большой палец с довольно длинным-таки, узким, чуть заостренным ногтем. – Мне срррочно надо на встррречу с дррругим человеком ехать – он завтррра улетает из Москвы. Вот, возьми наушники и запасные батарррейки, на всякий случай. Звякни мне сррразу же, как только будет готово: вот по этому номеррру телефона... Ничего только по телефону не говори. Скажешь что угодно, о птичках: «пррривет, как дела, чего не спишь». Я сррразу заеду на обррратном пути. Только пиши поррразборррчивей, и все подррряд, – строго распорядился Крутаков.

– Женечка, а что значит – «расшифровать»? – быстро, с замиранием сердца переспросила Елена, укладывая диктофон в карман наспех накинутой желтой дутой куртки. – Там, что, что-то зашифровано?!

– Вот бестолочь то, а... А еще журррналисткой она хочет быть... – шутиливо застонал Крутаков – но ответа так и не дал – и усвистал куда-то в ночь, шумно хлопнув дверцей ожидавшей его грязной попутки.

Набожно, как пьесу, расписав по ролям интервью (с ремарками: «молчит», «смеется», «загадочно кашляет», «шуршит газетою»), – где роль Крутакова пометила инициалами Е. К., а роль его собеседника – загадочно кашляющего человека, ни разу не названного на кассете по имени – надписала, как «NN», – истратив всю, практически, тетрадку по алгебре (выдирала двойные клетчатые листочки, начиная из сердцевины – потом шла всё дальше, всё дальше – и в результате, без тени сожаления, дошла почти до краев), Елена оставила многоточия только в одном месте: где таинственный Крутаковский визави употребляет таинственное же слово на «ж», из пяти букв, означавшее нечто неприятное и ругательное, что из старинной антисоветской организации (судя по интервью, этим человеком и возглавляемой) пытается сделать советская пропаганда. Речь собеседника Крутакова была не просто литературной, а аристократической; местами проблескивал уютный, старорежимный эпитет «сермяжный» – обдававший сразу свежим запахом серого мякиша хлеба, мякиной, на которой не проведешь, верблюжьим армяком и заломленным картузом. По-бунински правильно использовал он и слово «отнюдь» – сопровождая его обязательной частичкой «нет», а не плебейски подвешивая над пропастью, как делали те из перестроечных публичных персонажей, кто пытался блеснуть мародерским, ворованным, органически чуждым им дореволюционным словарным запасом. Вопреки тому же модному поветрию, даже слова «однако», «увольте» и «позвольте» – сидели у него каждое на своем месте, – как вышколенный кучер, дворецкий и камердинер в старом дворянском поместье, и каждому он знал цену.

Допустить в самой дикой фантазии, что загадочный носитель строгого стиля позволит себе малейшую просторечную вольность, было невозможно. Что? Что же тогда делают для себя советские пропагандисты из этой антисоветской организации? Ж... жопел? Елена уже раз тридцать гоняла на этой крошечной крошке диктофон на перемотке.

В четыре утра, вызволив Крутакова, как было условлено, Елена, удостоверившись, что всхрапы в комнате Анастасии Савельевны еще

бодры, и, подложив, на всякий случай, на оттоманку скрученное покрывало под свое одеяло, как будто бы она там спит, – и выключив свет, – выскользнула за дверь.

Влажность, почти весеннее тепло (замершие, узловатыми тростями и палками прикинувшиеся деревья, были до того тихими, что понятно было, что это уже притворство – вот-вот вздохнут) и крупнистый свежий вытаявший мокрый асфальт под ногами придавали еще большего ликования и ощущения чуда всей этой ночной авантюре.

Бодрый, радостный, как будто и не было бессонной ночи, Крутаков, минут через двадцать, приехал – опять на какой-то подбитой попутке.

– Ну и почерррк у тебя... – лаконично высмеял он ее.

И тут же, на той же машине, умотал. Строго велел ей отправляться немедленно домой спать.

Школа (место коей во времени и пространстве Елена удобно сократила до любования Анютиными выкрутасами с яблоком на больших переменах – да и то не каждый, отнюдь не каждый день) – тем временем заготовила новую подлянку. Анастасию Савельевну вызвали на какое-то новаторское родительское собрание, объявив, что все родители класса обязаны прийти вместе с детьми – для коллективной промывки мозгов то ли первым, то ли вторым.

– Ну вот еще, тебя тащить. Нет, тебе ходить совсем не надо. Не знаю – что это они задумали... – артистично крася ресницы перед зеркалом и обмакивая друг в друга нижнюю и верхнюю губы с яркой помадой, Анастасия Савельевна, все еще сомневалась, идти ли, или отговориться работой. – Ладно уж, схожу на полчаса, узнаю, что там за новые вычурсы.

Вернулась Анастасия Савельевна в яростном настроении:

– Свиньи! Ленка, ты не представляешь, что они устроили! – не раздеваясь, прямо в пальто, Анастасия Савельевна хлопнулась на табурет в кухне, черную лаковую театральную сумочку бросив на сложенный обеденный столик. – Как на партийных собраниях в старые времена: устроили проработку детей в присутствии их родителей, а родителей заставляли каяться и ругаться на собственных детей при всех!

– Ма, да ты чего-то преувеличиваешь... – недоверчиво присела Елена напротив нее – считавшая, что в общем-то все гадости, на которые школьные крысы способны, она уже более-менее изучила.

– Какой там преувеличиваю! Позор! Это был такой позор – ты себе представить не можешь! И главное – многие родители в эту игру играть согласились! Я сидела глазам своим не верила! Омерзительно.

– Да ладно тебе. Не может быть! Кто же это из родителей? – Елена представила себе сразу Аниных родителей – и подумала: нет, не может быть. Никогда.

– О-мер-зительно! – все никак в себя не могла прийти и отдышаться Анастасия Савельевна. – Пакость какая! Сначала мать Антона Золы вышла на середину и начала поливать его, какой он бездарь, какой он плохой человек, как он дома пол не подметает, как он плохо учится. А потом родители Русланы Потаповой так орали на нее! Этот полковник, папаша ее! Так оскорблял ее при всех! Какая гнусь! Как они смеют! Ну и я, конечно встала и...

Елена уже смеялась, представляя, как Анастасия Савельевна в пух и прах разнесла там это сборище.

– Что ты смеешься? – оправдывалась Анастасия Савельевна, уже чуть-чуть приходя в себя и улыбаясь. – А что мне было – молчать, что ли?! Сидеть всю эту гнусь слушать! Я же преподаватель! У меня у самой сорок девчонок таких вот, бедовых! Но я никому никогда не позволю их так унижать! Руслана, вижу, ревет там вовсю. Этот папаша ее идиот и мамаша орут на нее. Ну я и подошла, эту несчастную Руслану обняла, и говорю: давайте я ее удочерю, если вы на нее столько помоев выливаете! Будет у меня прекрасная вторая любимая дочка. А им говорю: родители, не позорьтесь, вы что не понимаете, что вы сами себя этим унижаете! Как вам не стыдно! Так нет, Ленка, – смотрю: они не унимаются, орут, в том же духе: какая, мол, дочь у них скотина и проститутка, и в кого же она такая уродилась! Ну я, разумеется, просто встала и хлопнула дверью, ушла оттуда. И за мной, кажется, Анина мама тихонько вышла. Я уже ничего не замечала – ты знаешь, когда я разозлюсь, я...

Минут через пять, наливая себе уже крепкий чай, и всыпая три ложки сахару, Анастасия Савельевна как-то с подозрением, весело, наклонив голову набок, и играя покрашенными глазками, сообщила:

– Ленка, а между прочим, между нами девочками, Анна Павловна, ваша классная руководительница, встретив меня в коридоре, спросила здорова ли ты? Что-то, говорит, ее давно в школе не видно.

– Да? Ну и что ты ей сказала? – поперхнувшись чаем, переспросила Елена.

– Да вот, она мне пожаловалась, что у тебя там много пропусков... – с тем же хитреньким веселым подозрением в глазах продолжала Анастасия Савельевна.

Прогулами Анастасия Савельевна Елену никогда в жизни не попрекала – а, можно сказать, сама, с раннего детства Елены, и являлась автором этого жанра: начиная с волшебных весенних паломничеств в Ужарово, наслаждаться цветущей грушей, – и кончая походами вдвоем в кино на французские и итальянские кинокомедии (ходить на которые на утренние сеансы было, конечно же, гораздо приятнее – без толкучки). Сама Анастасия Савельевна вспоминала, с хохотом, как как-то раз пришла с маленькой Еленой на утренний сеанс японского фильма «Легенда о динозавре» – и билетерша сказала: «Мама, зачем же вы дочку на такой жуткий фильм привели». «А я, – вытирая слезы от хохота вспоминала всегда Анастасия Савельевна, – про себя думаю: эх, знала бы ты, что дочке-то уже восемь лет, и что она со мной еще и школу прогуливает». Записки в школу («извинительные») Анастасия Савельевна писала тоже не абы как, а с творческим, озорным духом: не просто там – «простуда», а «ОРЗ: у Елены был заложен нос так сильно, что я сама не узнавала ее голос», или «у нее из носа лило три дня», или «был жуткий понос». Или, когда в ранних классах Анастасия Савельевна видела, что Елене уж совсем не вмоготу со школьными гримзами (начиная с первого класса, с фашистки-учительницы, изводившей издевательскими криками левшу Бережного, Анастасия Савельевна вовремя смекнула, что у Елены от любых сильных переживаний подобного рода моментально подскакивает температура – и поэтому старалась ее беречь, подстраховывать – чтобы у дочери никогда не было ощущения, что из школьного ада нет выхода), Анастасия Савельевна вдруг весело спрашивала: «А не проболеть ли тебе недельку, а?» И тогда уже, чин чинном, вызывалась молодая врачиха с высоким пучком и приятными сладкими духами (признаки ОРЗ находившая всегда и у каждого

ребенка), и выписывалась справка с печатью. И Елена валялась в постели на взбитых пуховых подушках и читала.

Но сейчас Анастасия Савельевна, кажется, была ошарашена тотальными масштабами прогулов – да еще и тайком от нее.

– И что ты Анне Павловне ответила? – осторожно переспросила Елена, ставя чашку на блюдце, с цоканьем.

– Что-что! – расхохоталась Анастасия Савельевна с очаровательной широкой улыбкой. – Ответила, что у тебя очень слабое здоровье в последнее время!

И вот несмотря на эту, ни с одной матерью на земле не сравнимую, золотую душу Анастасии Савельевны, – не ругаться чуть ли не ежедневно, не задираться друг к другу – даже по мелочам – было почему-то все последние месяцы невозможно.

Елену почему-то до жути раздражала манера Анастасии Савельевны, купив у несчастных нищих бабок с рук у метро молодой укропчик (кажется, выращивали его на подоконниках, над батареей центрального отопления), обматывать пучки мокрыми салфетками и укладывать вниз, в поддон холодильника – так что казалось, что там вечно лежат какие-то забинтованные инвалиды.

Анастасию Савельевну же, в свою очередь, раздражала манера Елены выжирать сразу по пять штук мороженого, запивая горячим чаем; а также страсть Елены залезть в морозильник, и, перед тем как высыпать на сковородку замороженные венгерские овощи из квадратного пакетика, обязательно в этот ледяной пакетик засунуть нос и нюхать.

Однако за всеми этими внешними поводами всегда подспудно присутствовала главная причина: Анастасия Савельевна всегда теперь смотрела на Елену и с каким-то страхом («Что-то она еще в жизни вытворит!»), и, одновременно, с каким-то ожиданием, с надеждой даже: «Дочь посмеет сделать в жизни то, что не посмела сделать я» – и, в тот же самый момент сдабривалось это все невольным раздражением: «Как это она смеет делать, говорить то, что не посмела сделать и сказать я».

У Елены же к матери были свои, молчаливые, счеты – и за недореализованные артистические таланты Анастасии Савельевны, и за робость, и за... и за всю, словом, советскую власть.

Но опять и опять случалось что-то – от чего сердце ёкало – и Елена думала: «нет, все-таки нет лучше моей матери на целом свете».

И в начале апреля они вдвоем рыдали на кухне, когда по приказу из союзного центра дивизия Дзержинского и полк ВДВ расправились с мирной антикоммунистической демонстрацией в центре Тбилиси, требовавшей независимости Грузии, – был применен слезоточивый и нервно-паралитический газ, и военные преследовали демонстрантов и добивали саперными лопатками по подъездам, а Горбачев, как всегда, делал вид, что ни при чем.

«9 апреля, после избиения дубинками, упавших людей солдаты добивали насмерть саперными лопатками. Среди погибших много молодых людей, студентов. Трупы погибших находят в разных частях города. Есть пропавшие без вести. Комендантский час установлен с 23 часов вечера до 6 часов утра. Солдаты открывают огонь без предупреждения и не только в ночное время, но и днем», – читала Елена в «Экспресс-Хронике» раздобытой на Пушкине, репортаж очевидца из Тбилиси.

А когда Елена, не сказав, разумеется, матери, ни слова, вышла на запрещенный митинг протеста в центре Москвы, то, совершенно случайно, нос к носу столкнулась в толпе с Анастасией Савельевной.

Сразу после весенних каникул, чувствуя себя ну абсолютно не в силах больше жертвовать языческому идолищу школы ни крупицы своего драгоценного времени, Елена (из жалости к нервам Анастасии Савельевны) отправилась – во взрослую уже – поликлинику: решив получить законный проездной билет на прогул.

Раздумывая, как бы не соврать – но все-таки дать врачихе понять, что в школу ей ходить абсолютно противопоказано, Елена вошла в кабинет.

Врачиха, сама вся какая-то худенькая, дохленькая, с ромбиком на конце носа, с огромными, как у лемура, еще темнее чем у Елены, кругами под глазами, молодая женщина с довольно неровно стриженными, темными неаккуратными волосами, и с умными карими глазами, вопросительно на нее посмотрела – когда Елена, все еще в задумчивости, ни слова не говоря, присела на край стула.

– Чем могу...? Что у вас стряслось?

Елена, вкладывая в свой взгляд максимум искренности мысли о никчемности походов в школу, наконец, произнесла:

– Жуткая слабость: на уроках нет сил сидеть! – что было, в общем-то абсолютной правдой, особенно после недосыпов.

Врач, без тени дурусти, внимательно посмотрела на нее и попросила закатать рукав:

– Давайте померяем давление. Если у вас пониженное – я вам выпишу освобождение. Это, скорее всего – весеннее, дистония.

Елена, всерьез восприняв условия игры – все время: и пока закатывала рукав, и пока врач разворачивала шуршащий фальшивым манжетом сфигмоманометр, – и пока шершавый манжет этот выше локтя обоюдными усилиями прилаживали, – и пока врачиха пумпкала надувную резиновую грушу – а манжет жутко туго стягивал руку, – все это время, внутренним чудовищным усилием воли Елена целенаправленно понижала себе давление и таким же чудовищным усилием воли внутренне молча внушала врачихе, что в школу ходить – крайне опасно для здоровья.

– Да, давление у вас очень низкое, – изумленно сказала врач – и быстро вызволила ее руку из плена. – Знаете, что? Я дам вам освобождение сразу на три недели: чтобы вы не нервничали и не бегали ко мне каждую неделю отмечаться. Постарайтесь расслабиться, получше питайтесь. И – самое главное – как можно больше гуляйте на свежем воздухе.

Елена вышла из кабинета с ощущением чуда. Такого, чтоб давали освобождение на три недели разом – да еще и упрашивали побольше гулять – не бывало в поликлинике никогда. И все это – благодаря показаниям какого-то пофигометра!

Досыта высыпаясь – впервые за все последние несколько месяцев, – Елена много и с удовольствием летала во сне – разбегаясь по пыльной проселочной дороге посредине колосющегося поля – там, где дорога шла вниз, как будто в овражек – а с самой высокой точки, до этого обрыва не добегая, как раз можно было легко сняться ввысь. А один раз ей приснилась абсолютная глупость: что она – казачка, жена убитого большевиками мужчины, и вот, уже вскакивает на запряженного коня, и скачет в поле, вперед и вперед – мстить за убитого любимого. «Что за ерунда... – смахнула сон, пробудившись и улыбнувшись, Елена. – Никому я ни за что мстить не хочу. Не мое это совсем. А вот чувство ветра, когда несешься верхом – было приятно».

А раз увидела во сне вообще что-то невообразимое: что страстно целуется с Крутаковым в губы – и Крутаков, с губ, кормит ее буквицами каких-то странных, иностранных, удивительных, не известных ей, красивых алфавитов.

Утром, проснувшись часов в одиннадцать, она выходила на улицу – под теплое пасмурное перламутровое небо – и, улыбнувшись, блаженно и глубоко вздыхала, продлевая вздох ввысь, за самые облака – и вдруг обнаруживала, что солнце-то там, сверху, все-таки есть, что его просто с этого, местного, маленького кусочка земли сейчас не видно; осторожно опускала ресницы, чтоб не спугнуть игру; делала два шага вперед, изображая, что смотрит только себе под ноги, – и видела, как из-под прикрытых ресниц неба в ответ близоруко и аккуратно начинает сбрызгивать желтоватое серебро, солнечные намеки. И вот уже весь пустырь палисадника справа, густо засеянный разноцветными вспоротыми пластиковыми крышечками от винных бутылок, – заливала эта быстрая, тайная, приглушенная солнечная улыбка, – и, по мере доверчивого растворения взгляда Елены в мягких солнечных брызгах, высохшая глинобитность пустыря становилась светло-горчицной. А через секунду – как легко было поймать этот блаженный миг! – солнце уже быстро и шаловливо чиркало слева от нее по сухому асфальту апельсиновым мелом – и снова озорно пряталось: уже на весь день.

Только какая-то незримая малая птаха высоко-высоко, где-то на канареечном голем стволе тополя, безостановочно и звонко трескала: «Быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее!»

Отвоевав у учителей-хронофагов целые три недели жизни, она всласть шлялась с Крутаковым по бульварам – умолчав, разумеется, о ночном, сновиденческом с ним поцелуе, слегка сон для приличия модифицировав, и сказав лишь, что видела, как он кормит ее «с ложечки» неизвестными алфавитами.

– А тебе когда-нибудь снятся вещи сны? – переспрашивал, почему-то грустным опять каким-то голосом, Крутаков.

– Ага. Недавно совсем приснился!

Крутаков, забыв даже про грусть, заинтригованно и чернó на нее зыркнул.

– Сплю я, представляешь, Крутаков, и вижу во сне, что я просыпаюсь, встаю, иду на кухню, открываю дверцу холодильника, а

там на верхней полке лежит вареная куриная нога – я ее достаю и ем.

– Ну, и? – непонимающе требовал продолжения истории Крутаков.

– Ну и, представляешь – проснулась я, уже по-настоящему, встаю, иду на кухню, открываю холодильник – смотрю: а там – действительно – вареная куриная нога.

– Ну, и? – все еще непонимающе переспрашивал Крутаков.

– Ну что «и»? И я ее достала и съела.

Но выцыганить из Крутакова, почему он про вещие сны спросил, и какие сны сам он видит – было абсолютно невозможно. Жонглируя ее вниманием, он уже перебрасывал шар, картаво костерил каких-то соглашателей из бывших диссидентов, и хохотал над какой-то книжкой. И в дурашливой веселости Крутакова опять то и дело для нее различимы стали нотки странной его какой-то хандры.

– Крутаков, я уже три раза «Федона» из твоего Платона перечитывала... – пыталась растормошить его Елена. – Невероятно... Невероятно... Можно книжка еще у меня полежит немножко? Это же как будто какой-то провидческий танец теней, как будто Сократ был предвестником, добровольным мучеником, сыгравшим прелюдию на пороге новой эры, перед пришествием Христа. Это же – Евангельская история в языческом мире! А петух, даже петух там – с ума сойти! Даже петуха туда заранее провидчески втиснули! Как будто какой-то сборный пророческий конструктор...

Впрочем, случались в Крутаковском выборе для нее книг и осечки.

– Фу, Крутаков, забери эту ужасную блевотину, – на следующей прогулке протягивала Елена ему книжку Кортасара. – Пошлятина! Что за ширпотреб ты мне притащил!

В троллейбусе, когда Елена ехала как-то раз домой со встречи с Крутаковым, вдруг заговорил с ней (как бывает же, в старинных сказках, что вдруг заискивающе заговаривает с героиней яблонька, или печка) весь какой-то размягченный, руки расслабленно плеснувший себе на колени, светленький молодой человек, сидевший рядом с ней, справа, у окна, на ее же сидении:

– Я художник, на четвертом курсе Суриковского учусь. А вы?

– И что же вы рисуете? – не удержалась от вопроса Елена.

– Сейчас я пытаюсь нарисовать Бога, – мне приснилось недавно, что я вышел в открытый космос и вижу Бога.

– И как же Бог выглядел в вашем сне? – не удержалась опять от любопытства Елена.

И сильно об этом пожалела.

– Знаете... Трудно обрисовать... Это – такие легкие металлические конструкции, из алюминия или из какого-то другого авиационного металла. А у меня тут мастерская недалеко. Не хотите ли...?

Выйдя, молча, на одну остановку раньше своей, Елена вдруг осознала кратчайшую неопровержимую аксиому: что все неверующие мужчины – просто досадные недоумки.

У Крутакова же все рассуждения на метафизические темы приобретали какой-то внятно-литературный характер: к Богу Крутаков относился с уважением, как к гениальному автору (хотя и никак прямо не отвечал себе на вопрос, верит ли, вообще, в существование Бога), и пытался, как бы с сочувствующей литературной позиции автора, мир и расшифровать. И это безошибочное чутье Крутакова в литературе становилось словно протезом, заменяющим мистическое, шестое чувство.

– Прразумеется! – раскатывался Крутаков, как всегда появившись неожиданно, когда Елена заскучала было уже его ждать на Сретенском бульваре (час! целый ведь час с гаком не было! А ушел «ррровно на пять минут»!) с очередной встречи: с тем, самым секретным его «дррругом», даже и к дому-то которого, на Кировской, он ей не разрешал вместе с ним подходить. – Прразумеется, ты прррава! Ведь прроманов, в которррых автору всё пррро всех известно... – лихо, с ходу, чтобы она не успела начать ругаться, подхватил Крутаков оборванную нить разговора, забрезжившего перед его уходом, – ... прроманов, где авторрр незррримо как бы залезает всем в башку и контррролирррует, и прррописью пишет нам мысли всех перррсонажей – прроманов таких читать неуютно...

– Во-во! Как неуютно из-за этого читать отвратного Толстого!

– Ты классиков-то хоть в живых оставь! – расхохотался Крутаков, вдруг, на ходу, как-то глубоко, полной грудью, вздохнув, будто сбросив с себя какое-то таинственное напряжение, вытянув обе руки вверх, заломив их назад и до хруста потянувшись.

Невероятная теплынь варилась в воздухе уже с неделю: снега не было нигде, даже в потайных кюветах. Черная земля на бульваре пахла мокро и вкусно. Взбитое, теплое, туманообразное небо висело так низко, что задевало за башенки на крыше замкоподобного здания, которое прежде так Елене нравилось. А с изнанки этого сильно запотевшего неба солнце, вот уже минуту, пыталось протаять горячим золотым пяточком себе лузу – и тут вдруг (жаркого дыхания, видимо, еще не хватало) – раздумало, дыхнуло, с добродушным смешком: и на полнеба разлилась мутная золотая платина. И голые деревья с набухающими почками моментально обзавелись вытянутыми тенями вкуса сизого фруктового сахара.

– Нет-нет, правда: отвратная, холодная бородатая рыба – этот Толстой! – Елена искоса поглядывала на расстегнутую куртку Крутакова, пытаясь угадать, притащил ли он ей на этот раз, от своего загадочного друга, новых интересных книг – как в детстве, когда к ней приезжала в гости бабушка Глафира – Елена исподволь заглядывалась на ее старомодную черную сумку-сундучок с щелкающим железным замочком (Глафира всегда стеснительно ставила сумку почему-то в кухне под табуретку) – принесла ли ей Глафира гостинцев. – Ты вспомни, вспомни, Крутаков, хотя бы его рассказ про сливу! Это же – приговор Толстому на всю жизнь! Это же – наивысшее извращение сбрендившего с ума от гордыни человека, возомнившего себя Богом, и мучающего за это своих детей! Ты вспомни, вспомни – это же детская история – а этот гад, извращенец Толстой врет своим детям (ни секунды не сомневаюсь, что это он реальный случай со своими родными детьми описывал!), что тот, кто проглотил сливовую косточку – умрет! Жестокий, неумный, толстый, бородатый гад! Ты вспомни!

– Да помню, помню, – смеялся над ее запалом Крутаков.

– Вот и все романы у него такие же! С каким-то холодным привкусом, из-за которого мне их читать противно. В Толстом любви нет! Любовная гордыня, страсть, гигантское тщеславие, любовь к поучительству – это все есть. А любви настоящей – ну вот не чувствую я в нем, в его текстах! И Бога Толстой везде сам с себя рисует – представляет себе Бога в меру своей же собственной испорченности и извращенности. Вот и получается у него, исподволь, Бог холодным, жестоким, извращенным, карающим. У Толстого Бог – это не любовь, а холодный порядок, выполнение правил. И после этого все его

философские сю-сю-масю, – мимо, мимо! Толстой же так занят рисованием портрета Бога с себя, что даже совершенно не чувствует характера Христа! Ведь единственный способ вчувствоваться в характер Бога – это вчувствоваться в характер Христа, в лице которого Бог открывается! Это же надо просто чувствовать! А все эти ледяные толстовские умствования...

И Крутаков вновь смеялся над ней тем своим особым смехом, как будто скрывал смех, выдыхая через нос – и по тихому, сдерживаемому, беззвучному почти, хумканью этому Елена точно знала, что по крайней мере в эту секунду Крутаков принимает ее всерьез.

Как будто не глядя на нее – зная уже, что сейчас вызовет бурю эмоций – чуть отвернувшись в сторону, как будто не для нее, Крутаков вытащил из верхнего кармана куртки дореволюционный томик Вергилия, грязнющий, словно чаем облитый и в луже повалившийся, обтрепанный. И уже под ее восторженные ахи невозмутимо договорил:

– Верррнувшись к нашим баррранам: я бы сказал, что если бы я сочинял миррр, как книгу, то, ррразумеется, я пррредпочел бы в какой-то момент войти в действие лично, в виде лирррического геррроя – так ррроман был бы полнее! В этом смысле Евангелие очень логично! И вообще – могущественный царррь, стррранствующий инкогнито, в облачении нежного, беззащитного лирррического геррроя, по захваченному ррразбойниками царррству – с ррреальной угрррозой для собственной жизни – это, безусловно, один из самых прррекррраснейших сюжетов, которррый только можно было бы пррридумать для миррра, как для великой книги!

– Женечка... – вдруг быстро огляделась Елена. – Слушай, а ты не знаешь, случайно... Ну, просто, может быть, ты случайно знаешь... Где-то поблизости есть костел... Я почему-то не смогла его найти, когда в прошлом году здесь одна гуляла...

– Ррразумеется, знаю. Что за глупость: как это ты могла его не найти? Он же один в горрроде.

Свернув в Склепов переулок, они медленно пошли мимо волочащих нижние окна (как отвисшие челюсти, по тротуару, а то и ниже его уровня) старых домишек – а уклеенные объявлениями дряхлые дверцы, как уши, держащих нарасхлябень. И других – с ушами заткнутыми, и без объявлений вовсе, – с номеклатурно-бордовыми – или же серо-военными, густо, в много слоев, прямо по

догадалась, что именно этот загадочный зэк Темплеров здесь и живет неподалеку. – Заборрачивайте, заборрачивайте – напrrраво, девушка – а то вы снова костел прова-а-аррроните!

Низенькое светло-палевое здание, со стороны улицы, действительно, как будто бы маскировалось, испуганно сутулилось, было абсолютно нераспознаваемо. Пройдя по узкому проулочку вдоль невысокого железного забора, они зашли с другого конца здания – и, сквозь маленькие воротца, нырнули в просторный огороженный двор костела, фантастически выраставшего здесь, как будто в два раза – из-за классицистического пафаса что ли – а то – из-за двух угловатых колоколенок по краям, – и Елена зримо увидела, в такой свежей и яркой видеосъемке памяти, высоченную фигуру Склепа, восходящего под портик по ступенькам, и так ладно вписывающегося, в своем кожаном жюстокоре врзлёт, под треугольный фронтон с колоннами.

Войдя в костел, Елена быстро, не оглядываясь на Крутакова, прошла вперед, к левому ряду деревянных банкетов, к третьей от алтаря, и села, – с краешку. Тишина, отражающая шаги Крутакова, звучала так странно, словно в здании спрятаны были какие-то невидимые, запасные, огромные вертикальные просторы. Улыбнувшись – и – не зная про себя, в каких словах выразить благодарность – Елена закрыла глаза, и с той же внутренней улыбкой прочитала единственную известную ей молитву. Раскрыв глаза, боясь шевельнуться, она рассматривала близкий алтарь, сахарные, пухленькие, книзу расширяющиеся колонны, по обе стороны от себя, и чуть игрушечными, из-за скульптур, казавшиеся нефы. Услышав, скорее даже как-то почувствовав, что Крутаков, постояв какое-то время где-то сзади нее, напротив алтаря, между рядами скамей, – вышел из здания, – и поняв, что осталась в костеле одна, Елена тихо поднялась и вышла за ним на улицу.

Апрельская мутность неба, после приглушенного света внутри костела, даже казалась чересчур яркой. Где-то вверху, из скругленных полостей колоколен, гулко выпархивали, с гурканьем, голуби. Крутаков сидел, спиной к ней, на верхней ступеньке, под портиком – высоко поджав руками согнутые колени, как дворовый беспризорник. Когда она подошла к нему – так тихо, что он даже не услышал и не оглянулся – ей вдруг до жути, до головокружения в висках захотелось нагнуться и быстро закрыть ему уши ладонями – как он закрыл ей на

митинге, – взъерошить эти его чернящие, жесткие, так быстро опять отросшие волосы с кокетливым завитком на плечах, обнять его.

Она пересчитала взглядом ступеньки – отделяющие Крутакова и ее от земли – и беззвучно, про себя, заговорила скороговорку – хотя сколько их там, ступенек-то...

При вечном утре – вариант известен: холодные мочки – ведь признак ума стихи – как блевота кортáсара как кролики из толкового сна. Сложишь кубики в мессу вынешь гвоздь из стигмата и проснешься счастливым. До колик.

Глава 4

I

В эти-то разнеживающе теплые апрельские дни, ближе к полной свободе – к концу учебного года, – и произошла катастрофа: что-то дернуло Елену пойти, хоть разок еще, на занятия в позаброшенную уже совсем, скучную школу юного журналиста при университете. К ее удивлению, занятия вел совсем другой уже преподаватель: не фанат фонетики, а другой студент-старшекурсник, прежде по каким-то причинам манкировавший своими преподавательскими обязанностями. В отличие от предыдущего, уныло-хамелионистого, был этот новичок, Семен, скорее темперамента бойкого, балагуристо-компанейского, комсомольско-массовик-затейнического: за всего каких-нибудь пять минут с начала занятия, Семен агрессивно вывалил на притихших в засадах парт учеников армаду хохм и анекдотов, предложил (как важное журналистское задание) переделать «Курочку-рябу» на современный лад («Это про кооператоров, что ли, с золотым яйцом?»), – издевательски предположил Дьюрька, развалившийся на парте справа от Елены), затем Семен тут же изменил задание – потребовал приносить в письменной форме «открытия».

– Вааще, каждый день надо вести дневник открытий! Без открытий ко мне на урок в следующий раз не приходите! – брызгал идеями Семен – при этом на нижней, тонкой его, криво изогнутой в экспрессивной гримасе губе аж начинала блестеть еле заметная слюнька – от возбуждения и неподдельного креативного запала. – Заведите себе дневник открытий!

И тут же браво сменил идею на противоположную:

– Вааще, спрашивать у человека, есть ли у него дневник – это так же, как спрашивать у человека, трахается ли он! – полыхнул творческим запалом Семен, – чем вогнал в кармин и женскую, и мужскую дольки юно-журналистской аудитории.

Лицо Семена было ярко-соколиного покроя: сокольего разреза большие глаза, большой клюв-нос, с чуть загнутым книзу кончиком,

большой лоб, – и совсем почти не оставалось места в этой пропорции на маленький, съеденный какой-то, подбородок. Глаза, правда, были не-по-соколы карбидно-серыми; а лоб бороздили бодрые, подвижные, горизонтальные, глубокие мимические морщины. С обоих боков снабжен был лоб (словно чтоб компенсировать горизонталь морщин) высокими, удлиняющими его вверх ранними зальсынами, а коротко стриженные мутно-русоватого цвета волосы слегка посеребрены были молодой сединой.

Семен сверкал светлым карбидом очей, жестикулировал, носился по маленькой, в торфяник выкрашенной, вытянутой аудитории, так, что за него делалось даже как-то слегка неловко, и амикошонски-легко приземлялся задом в шерстяных синеньких брючках то и дело на чьи-нибудь письменные принадлежности на той или иной парте.

– А один чувак, немец, в ГДР, между прочим... – боевито продолжал Семен, вглядываясь в глаза попеременно каждому, и очень быстро, веерно, передвигаясь, – ...Вы знаете эту историю? Один чувак в ГДР зашел как-то раз в старый заброшенный подземный переход, пивка выпить – шел-шел по коридору, и неожиданно со своей бутылочкой пивка вышел с другой стороны Берлинской стены. Погулял-погулял по Западному Берлину, денег у него с собой не было – а пивка еще хотелось. А была у него с собой простая шариковая ручка. Он взял и продал ее. А в Западном Берлине точно такая же шариковая ручка стоили на марку дороже. И вот чувак на вырученные деньги купил пивка и пошел обратно по подземному коридору. А потом пристрастился и стал каждый день ходить туда-обратно – и шариковые ручки продавать. А через год он стал миллионером и остался в Западном Берлине. Вот они – темы! Вот они журналистские темы для вас! Они – везде!

Утомленный фиглярской резвостью преподавателя и малоправдоподобными голодранскими байками Дьюрьяка уже вытащил из своей школьной сумки, с которой таскался в университет, рукописный конспект (не его рукой – и каким-то мелким, вертлявым почерком выполненный) чьих-то лекций по кейнсианской экономике – и, уперев правую руку на локоть, накренив голову как дыню, уложив ее на подставленную правую ладонь, чуть высунув в левом уголке губ кончик языка от любопытства, принялся лекции тихонько перелистывать.

Бодренский бронетёмкин поносец Семена продолжался:

– А вы знаете историю: как чувак один в Америке, наш, из Советского Союза, пришел на завод Форд, а там стоял новенький шикарный автомобиль ценой миллион долларов, и рядом, на штырьке, золотая гладко отполированная круглая подставочка – под которой было написано, что если кто бросит монетку с такого-то расстояния и монетка не упадет с этой подставочки, а лежать останется на ней – тот получит от фирмы в подарок этот автомобиль. И вокруг автомобиля уже весь пол этими монетками, долларowymi, усыпан был! Потому что эта маленькая золотая подставочка так гладко отполирована была, что монетки все сразу соскальзывали. И этот наш чувак никуда из Америки не уехал, остался там, полгода где-то тренировался кидать монетки – а потом пришел на завод Форд, бросил монетку, и монетка осталась лежать на этой золотой подставочке! И этот шикарный завод Форд ему подарили. Чувак его продал и стал миллионером. Вот они! Вот они темы! А знаете, как один чувак случайно получил миллион от Кока-колы за скрытую рекламу?

Елена, в пол-уха слушая бред, в легкой тоске, чуть пододвинувшись к Дьюрьке, пыталась тоже разглядеть хоть что-нибудь в ужасном почерке экономических лекций, из-за его пухлявой, быстро вертящей страницы, левой руки.

И тут вдруг, ни с того ни с сего, после бодренного потока хохм и суперидей, Семен (Елена даже переспросила себя тут же, не ослышалась ли она) произнес слово Евангелие.

Елена стала удивленно прислушиваться: до сих пор никого, кроме Крутакова, кто бы запрещенное в Советском Союзе Евангелие, читал, она не видела.

Речь, впрочем, была странноватой:

– Круто, круто! В Евангелии вообще крутая сцена есть! Христос разговаривает с Понтием Пилатом, с главным тогдашним начальником. И Понтий Пилат ему задает вопросы – а Христос не отвечает ничего, а только говорит: «Ты сказал!» Ты, мол, сказал! – дополнял Семен фразу собственной мимикой, выразительно кривя нижнюю губку, по ролям, – кажется, с какой-то странной, бандюганской трактовкой. – «Ты сказал!» И всё! Представляете! Это ж как круто!

И тут же мысль Семена смыло абсолютно в другие меридианы.

В конце занятия Семен по-деловому, суетясь, сев за стол, и то и дело всплескивая исподлобья серыми глазами, заговорил:

– Ребят, я вас же тут никого не знаю! Дайте кто-нибудь бумажку! И ручку! Пусть каждый подойдет и запишет свое имя и номер телефона...

Подойдя к его столу, и записывая свой телефон, Елена быстро и тихо спросила, которое, из четырех, Евангелие ему нравится больше всего.

– Я не то чтобы всё прочитал, если честно... Частями... Крутая книга! – так же тихо, и разочаровывающе уклончиво, но ярко сверкнув на нее снизу, от стола, соколиным глазом, ответил Семен.

Елена, которая даже с ее медлительным, медитативным ритмом чтения Евангелия, за четыре месяца уже прочитала три Евангелия – вышла во двор университета в некоторой задумчивости: какими же тогда частями Семен Евангелие читал.

В тот день Дьюрька увязался ее провожать из университета домой – чтоб потрепаться подольше о выборах депутатов (в отличие от Елены, которая крайне скептически к этим декоративным затеям Горбачева относилась, Дьюрька верил каждому слову кандидатов-перестройщиков, особенно из «прозревших» бывших коммунистов, читал все их речи и даже ходил на их «встречи с избирателями») – и пихался и хохотал всю дорогу.

– Какая вонища! – Дьюрька смешно затыкал двумя пухлявыми длинными пальчиками нос, комментируя, конечно, не грядущий съезд депутатов, а чудовищный, вездесущий запах горящих помоек: по всему городу какие-то остолобы, как сговорившись, начали поджигать мусорные контейнеры одновременно.

На бешеной, мерседесовой, скорости носящиеся на фоне опухшей луны высокие синие облака тоже были явно с этими амбре жгомых помоек в створе. Не облака – дым. Видя, что на луне тоже случился пожар, в черных переулках низенькие дома с жестяной шапкой, будто надеясь защититься от неясных грядущих бедствий, на ветру чуть дрожали поперечными проводами, антеннами и громоотводами.

К следующему утру, впрочем, все развеялось.

А следующим же вечером Семен перезвонил ей – и, к ее удивлению, с ходу лихо и откровенно соврав, что «решил, почему-то, что она – староста группы», задиристо поинтересовался, придет ли она

на следующее занятие, и ожидается ли на следующем занятии «вааще народ – в связи с весной, и вааще...»

Народу на следующем занятии, и вправду, почти не было. Она с Дьюрькой, да еще тройка неприметных старательных завсегдаев.

– Ребятки, я вас отпускаю! – царственным тоном сообщил Семен. – Идите гуляйте, хорошо, весна...

А когда все уже вывалили в университетский двор, Семен, закурив, затормозив у крыльца, и чуть выждав, пока рассеются остальные, догнал Елену и, быстро и неловко бросая сигарету себе под ноги, предложил, чуть кривя нижнюю губу:

– Пошли гулять?

И Елена, чувствуя, как в гипнотическом замороке, как будто делает это не она, а кто-то другой за нее – обернувшись на миг на крыльцо, на которое только-только успел выйти из здания где-то замешкавшийся розовощекий, довольный, улыбающийся чему-то Дьюрька, вскидывающий свою грязно-розовую сумку на плечо, – вместо того, чтобы окликнуть его и позвать с собой, тут же отвернулась – и быстро вышла с Семеном за университетские ворота.

Оказался Семен ростом чуть ниже нее; шел он не то чуть прихрамывая – не то как-то холерически приштамповывая одной ногой, как будто нарочито демонстрируя: вот, я шагаю! Правой рукой, в локте согнутой, он при этом экспрессивно, как-то по-буратины, активно сучил в воздухе в такт ходьбе. И говорил с ней приглушенным, напористым, чуть нарочито подшипетывающим на шипящих и жужжущих согласных голосом, глядя то в асфальт, а то как-то воровато-быстро – с угла – резкими своими, крупно очерченными, глазами – на нее.

– Я считаю, ты не права! А как же – революционная романтика! – запалился Семен когда, ровно за поворотом на Герцена, они заговорили о политике. – «Нас водила молодость в сабельный поход!» Революционная романтика! Это ж круто! – и от задора едва видная блестящая слюнька вновь выступала на его нижней губе – выразительно выгнутой, в унисон цитатам.

Вечер был сухой, оранжевый. Из скверика консерватории доносились тихие смешки – а из открытых окон – дрожащие звуки скрипки. В Елене, с каждым шагом рядом с Семеном, бок о бок с мягким рукавом его матерчатой, блекло-синей курточки, укреплялось

странное чувство нереальности происходящего – которое в некоторые секунды оборачивалось чувством и вовсе кошмара: как вот, когда Семен массовые убийства бездумно называл «романтикой».

Зачем-то, на взрослом серьезе, стала она цитировать ему саморазоблачительного убийцу-Ленина, и рассказывать, как революционный поэт Демьян Бедный обливал бензином и поджигал труп только что расстрелянной при нем в Кремле Фанни Каплан, но потом, однако (поэт все-таки, едрёныть), Бедный упал на пол в коматозе.

– Я так много, как ты, не читал про это. Тебе виднее, – заключил Семен – и сменил тему.

Было ему (как он тут же с энтузиазмом доложил) двадцать четыре года, он успел побывать в армии, а после армии поступил на факультет журналистики университета (факультет, который Семен называл не иначе как «факом»: поступил на фак, пошел на фак, пришел домой с фака, и т. д.).

В арбатских переулках завел ее Семен к старинному домику с фривольными барельефами русских писателей, забавляющихся не то с музами, не то с девицами легкого поведения (домику, давно уже Крутаковым иронично, мельком, ей, на бегу, после какой-то его встречи поблизости, показанному), который Семен, видимо, оговорившись, а может по невежественности, с восторгом назвал не «доходным», а «публичным» домом. И самым симпатичным на барельефе, конечно же, был воротящий от всего этого писательского борделя нос Гоголь.

И тут же, позвонив кому-то из автомата, Семен пригласил ее в гости к друзьям, жившим здесь же, на Старом Арбате, – и с неким не очень понравившимся ей по интонации восторгом сообщил Елене, уже на лестнице, что муж в этой паре молодоженов, в гости к которой они идут – сын знаменитой актрисы. «Вот уж мельче чина в жизни нету, чем чин чьих-нибудь сыночков и дочек...» – молча затосковала Елена.

После неинтересных, молчаливых, унылых посиделок в богатой, нафаршированной видаком, музыкальным центром и заграничными шмотками квартире (молодая жена с симпатичной кукольной мордочкой, и вся гибкая, как танцовщица, и с милым разварным старомодным именем: Варвара – всё спрашивала, чем же их накормить – а блёклый, пухлый, рыхлый, с глазами пьяницы молодой муж всё

пытался вверх тормашками всунуть кассету в шарповский дабл – а потом, перевернув, зачем-то врубил на полную громкость диско – так что возможность разговоров отвяла), на пороге уже, провожая их, хозяйка квартиры с широчайшей улыбкой спросила:

– Так вы придете в субботу? У нас будет парти! Приходите оба!

И так бы и ушла Елена домой со странным, опустошительным чувством зря растраниженного вечера – растраниженного на не понятно откуда и зачем взявшегося человека.

– Стиль вааще не зависит от богатства, от количества денег! – все на той же, энтузиастской ноте, на которой говорил абсолютно обо всем, суча рукой в воздухе, родил Семен очередной свежайший трюизм, едва вышли из подъезда. – Вкус! Важен только вкус! Вот меня, например...

Долгий, жаркий вечер тянулся, с асфальтовым шарканьем, по переулкам. Перешли Новый Арбат. Нырнули в Молчановку. Дошаркали до Сытинского.

Елена уже уплывала от тяжести находиться вот уже часа три рядом с чужим человеком – и от странного напряжения, которое она при этом чувствовала, от необходимости как-то «вести себя».

– Вот меня, например, одевает моя мама – она архитектор... Моя мама вааще...

Елена уже выпускала вниманием, от усталости, целые гигантские планктоны его фраз, глаза на закатную сверкающую пунцовость верхних окон некрасивого высокого советского кирпичного дома.

– Когда моя мама ездит к моему батюшке... – договаривал Семен какой-то очередной анекдот из семейной жизни.

– А твой отец отдельно от вас живет? – рассеянно-бестактно спросила Елена.

– А я своего отца не знаю. Мать с ним рассталась до моего рождения. Я говорил о своем батюшке, о священнике, который меня крестил.

Елена как будто разом вынырнула из омуты сна на ходу:

– А когда ты крестился? Ты ходишь в церковь? – и в эту секунду все знакомство с Семеном, и вся эта прогулка – показались ей судьбой.

А на следующий день обиженный Дьюрька позвонил ей и заявил, что «в журналистике разочаровался», и в школу юного журналиста «где преподают такие пустоголовые идиоты, как Семен» ходить

больше никогда не будет – и переходит в университетскую же школу юного экономиста.

А еще через день Елене перезвонил (из телефонного автомата прямо от университета – что, почему-то, взволновало ее) Семен и позвал ее со своей университетской, четверокурсной, группой на выставку какого-то неизвестного скульптора, в маленьком выставочном зале почти на окраине.

Штук десять однокурсников Семена ждали опаздывающих, гуртом сидя на толстенной, вытянутой вдоль канавки из земли, теплой (с зачаточными одуванчиками под ней) отопительной трубе (зады у всех оказались тут же белыми). И Семен, скривив рот, курил, а потом, держа сигарету как флашток, каркающими какими-то криками ликовал по поводу «забугорных» черных очков на носике подоспевшей маленькой деловитой однокурсницы.

А в гостеприимно распахнувшем чуть позже двери перед ними скульпторе Елена тут же с ужасом опознала неприятного перестарка, который давеча нагло кадрился к ней и к Ане в очереди за кофе в центральном доме художника, во время одной из международных выставок (и не отлипал до той самой секунды, пока Анюта, с кроткой лингвистической точностью, не объяснила буквально «товарищу», куда ему нужно пройти).

И во время дурацкого, кружком, студенческого обсуждения работ скульптора (фигуры женщин, сплошняком обклеенные как будто их же густым подмышечным мехом), Семен, заискивающе глядя на скульптора, заявил, что его скульптуры хочется погладить как домашних зверьков. А Елена мстительно возразила, что эти меховые женщины скорее смахивают на эсхатологических персонажей Босха.

И в метро – в тот момент, когда поезд, на этой редкой ветке, вырвался ненадолго вверх, в солнечные, расплавленные от блистающего света, наземные колеи, Елена сидела на клеёчатом порезанном сидении напротив Семена, который то и дело вскакивал, хватался за вертикальную держалку, и, кривя губы и корча как-то специально складки вокруг носа и губ, и морщина лоб, пересказывал то одному, то другому однокурснику уже раз слышанные ею хохмы – неизменно при этом краем глаза посматривая – ровно на секунду – на нее.

И, глядя на яркие блики на сухопаром лице Семена (пинг-понг солнца меж вагонными стеклами) и тайком разглядывая эту экспрессивную, как будто бы он за что-то глубоко переживает, трагически-выразительную его мимику (ничем семантически в его фиглярской речи, увы, не подкрепляемую), Елена, вопреки всем явным противопоказаниям – по загадочной для нее же самой причине – чудовищно, несказанно, до спазмов в солнечном сплетении, волновалась, и почему-то все время внутренне как будто чего-то ожидала от него. От странного волнения Елена дышать не могла уже, – и когда двери вагона открылись – на ближайшей же, над землей еще, солнцем залитой платформе, – Елена быстро встала, и скороговоркой пробормотав Семену про забытые дела, выбежала из поезда раньше, чем он успел что-то спросить – и позже, чем он успел бы выйти вместе с ней.

А в субботу, когда Елена в непонятном нервическом состоянии ушла на весь день гулять одна – рассеянно припечатывать на асфальте толченую хну ольховых сережек – Анастасия Савельевна вечером с подозрением отчиталась:

– Звонил трижды какой-то нетрезвый мужчина, судя по звукам – с какой-то попойки. Но уверял, что он твой университетский преподаватель. Семеном Борисовичем представился. Уж не знаю, правда ли...

А на следующий день вполне трезвый, но слегка с хрипотцой мужчина, никак не представившийся, настырно спросил ее в телефонную трубку:

– Мы же были званы с тобой в гости! Куда же ты пропала? И ваще: какие загадочные исчезновения – выскочила из поезда... Мы все долго гадали, не обиделась ли ты на что-то... А на парти вчера Варвара и Дима очень расстраивались, что ты не пришла – спрашивали меня, что случилось? Они решили, что ты – моя девушка...

А на следующий день... На следующий день Елена уже не могла себе объяснить, что с ней происходит.

Связанная с Семеном как будто бы общей тайной (после того, как он упомянул о Евангелии и своем крещении), Елена все время ждала, что он ответит ей на какие-то самые потаенные, глубинные, метафизические вопросы, в ее душе жившие – и, то и дело, в разговорах с ним, произносила какие-то обрывочные (чудаковато,

наверняка, звучавшие) фразы – или даже, вернее, лишь начала фраз, запев фраз, – будто задавала музыкальную гармоническую загадку, как будто бы ждала, что он достроит мелодику, гармонию, достроит разрешение аккорда – предъявит ей неопровержимую правую часть разорванной секретной грамоты – как пароль.

Морок, волнение – единственное, что было результатом этой странной ее игры.

Семен вообще разговаривал по большей части как-то не смыслом, не диалогом, а какими-то блоками – вот блок баек про одно, вот блок хохм про другое.

– А что такое смирна? – задала ему Елена уже наивный, простенький какой-то, без всякой двойной подкладки, вопрос – набравшись смелости и сама позвонив ему по домашнему телефону (который Семен записал для нее, почему-то не через дефис, и не каждую цифру отдельно – а, соригинальничав – разделяя цифры запятыми). – Я у Матфея слово прочитала, и не могу найти в словаре. Ты не знаешь?

– Смирно? – переспросил Семен, искренне удивившись. – Смирно – да это же такая команда в армии! – бодро отрапортовал он – видимо, по мотивам недавно пройденных военных «сборов».

– Да не «о», а «а»! – кротко поправила Елена.

– Аааа... нет, тогда не знаю, сорри... – извинился Семен.

Каждый раз, оказываясь с Семеном в компании его друзей, Елена исподволь замечала, что ровесницы его, и даже его сокурсницы – студентки всего лет на пару его младше – относятся к нему с какой-то скептической усмешкой. Семен, впрочем, щедро отплачивал им тем же: через пару дней, вечером, после неудачного похода большой компанией на какой-то концерт (не досталось билетов), когда последняя его университетская подруга, со смешком простившись, ушла домой, и Семен снова остался один на один с Еленой, и поехал провожать ее домой, он тихим напористым голосом вдруг сказал:

– Для них ты – чучело гороховое какое-то. Ты такая юная. Они-то уже всего перевидали, для них уже даже аборт сделать – как чихнуть.

И то, что Семен может даже и выговорить-то такое – ранило Елену почему-то опять до невозможности дышать.

А в другой раз, после встречи с каким-то хлыщом, близким другом Семена, начинающим кинорежиссером, тоже сыном какого-то

«знаменитого» (абсолютно неизвестного и безынтересного Елене) родителя, Семен спокойно, как только тот ушел, пояснил, почему тот был хмур:

– Переживает он... Видишь как... Он привык, что ему каждая на шею бросается, на кого бы он ни посмотрел – ну как же! Богат, знаменитые родители, хорош собой. А тут ему недавно девушка одна понравилась – актриса молодая. А у него как раз жена на месяц в отпуск уехала. И он эту актрису уж и так и эдак к себе в гости заманивает – а она все отказывает. Вот он и в депрессии ходит.

И все эти омерзительные какие-то выкладки – то, что Семен спокойным, бытовым голосом об этом рассуждал, и то что из скривившихся его уст вылетали грубые расхожие словца да пошлые суждения, – ранило и резало ей душу почему-то невероятно.

И в разговорах с ним Елена все чаще немела, чувствовала странный столбняк, неспособность что-либо ему вообще высказать.

Да и действительно: что тут было сказать.

А за два дня до первого мая Семен вдруг позвонил и спросил, не хочет ли Елена сходить с ним вместе ночью на Пасху:

– Я иду в церковь рядом со своим домом. Служба закончится уже под утро. Тебе придется потом переночевать у меня: транспорт никакой работать не будет.

Анастасия Савельевна закатила Елене скандал со слезами:

– Если ты пойдешь к какому-то неизвестному мужчине, на ночь – то потом домой можешь не возвращаться! – кричала сквозь всхлипы она – что было довольно нелогичным: ведь «не возвращаться домой ночью» – это было как раз то, что Елена твердо намеревалась сделать.

– Мама, я иду не к нему домой, а в церковь! А у него дома я потом дождусь первого поезда метро. Я в церковь иду, в церковь! Ты не понимаешь, разве! – ликовала Елена.

– Тем более! – орала мать. – В церквях на Пасху – там же хватают дружинники... И в кутузку! Ты же потом ни в какой университет не поступишь! Ты из школы вылетишь!

– Мама, никого уже не хватают...

– На целую ночь, с мужиком... Ты хоть соображаешь, чем все это может кончиться?!

– Мам, ну ты хоть выбери что-нибудь одно – чего ты боишься: церкви? Или мальчика из университета, который у нас ведет занятия?

– Какой он тебе мальчик?! Взрослый мужик! С ума сошла!

...Сошла, пожалуй, немножко сошла с ума – и даже не немножко, а на всю голову! – по крайней мере, именно так, едва чуя асфальт под ногами, и взлетая почти, – ощущала себя Елена, идя в одиннадцать часов вечера, в субботу, двадцать девятого апреля, от метро Новослободская, и разыскивая дом Семена по подробнейшим, данным им по телефону приметам. Выплескивавшая через край радость расцвечивала как-то по особому и облезлую ручку искомой двери, и сам искомый восьмиэтажный дореволюционный дом, – и даже вечернему кобальту неба, вместо законной грузовиковой гари, придала удивительную, легкую, летнюю стереоскопичность и глубину – когда взявшись за ручку, перед тем, как войти в подъезд, Елена на секунду взглянула наверх. И дом – без изысков, с неостроумными завитыми барельефами между уменьшающимися кверху окнами – дом вдруг помнился именно таким, каким дом должен быть; и облезлая ручка была как раз надлежащей степени облезлости, и на ярко освещенной широкой лестнице звуки летали с этажа на этаж какой-то верной амплитудой, и широкая дверь в квартиру, с вывешенным, как в лотерее, номерком с ее бумажки с адресом, показалась вдруг такой, какой дверь должна быть, и звонок – даже жужжащий звонок – не резал слух, – и когда дверь отворялась – Елена вся сжалась: на миг подумав, что не туда попала.

Выглянувши, с кривой улыбкой, Семен, впусив ее, и выдав тапочки, тут же суетливо засеменял куда-то прочь по темному, чрезвычайно длинному коридору, зовя ее за собой.

– Подарок тебе! – дойдя до светящейся в самой дали черной коридорной перспективы дверцы кухни слева, и быстро схватив что-то с холодильника, Семен уже протягивал ей какой-то маленький пакетик.

– А я тебе ничего не... – Елена смущенно разглядывала упаковку кооперативного поп-корна, зачем-то припудренного сахарной пудрой.

– Но разговляться мы с тобой только после церкви будем! – сказал Семен, и тут же поп-корн у нее из растерянных пальцев изъяс – и положил, прихлопнув, обратно на холодильник.

– А ты, что, постился?! – с восторгом и изумлением переспросила Елена, все так и переминаясь на пороге, и краем глаза рассматривая продолговатую, пустоватую, большую, тускло крашенную кухню.

– Конечно нет, если честно! – важно протягивал Семен ей теперь уже какой-то серый платок. – Но так положено – есть после церкви только... Ты платок на голову никакой не взяла? На, возьми, мамин.

Мать Семена, как он немедленно рассказал, на Пасху уехала к их знакомому батюшке, куда-то в деревню. И то ли из-за того, что были они в квартире одни – а не в шумной компании, – то ли из-за предстоящего похода, – Семен казался притихшим. А когда спустились на улицу и, зайдя в какую-то подворотню, прошли черными задними дворами и выкатили вдруг на гладкие трамвайные рельсы – на двухколейную лунную дорожку с кулдыбистой брусчаткой, по которой уже шли, по двое, по трое, в том же, направлении, что и они, призрачные, кивающие друг другу горожанки в платках, – Семен так и вовсе зашагал с каким-то тихо-горделивым выражением на лице. Трамвайные пути вдруг раздвоилась, и на разбеге засеребрившейся прямо перед ними колеи Елена увидела узорчатые ворота и гулливерскую колокольню пунцовой церкви, стягивавшей к себе, со всех сторон, тонкие муравьиные стайки людей.

– А тебе идет! – чуть изогнув в обычной кривоватой улыбке книзу углы губ, Семен искоса глядел, как Елена наспех завязывала срывающимися пальцами платок на распущенных волосах («выгляжу, наверное, как Дуняша», – думала она) перед тем как войти через ворота в церковную оградку.

Войдя в церковь, Елена ощутила себя так, словно бы залезла внутрь яркого гигантского плода граната: крестовые своды кровли, будто в грановитой кремлевской палате, но еще и с низкими, нависающими арочными перемычками, заставляли чувствовать удивительную множественность, если не бесконечность числа взаимоперетекающих горниц внутри этой, снаружи казавшейся крошечной, церковки. Яркая шкатулочная роспись, мерцание, черный кант теней низких сводов по краям, шорохи подошв, шепоты, щепотки соли крестящихся, сполох ярких медных резных люстр в центре, похожих на висящие в воздухе огромные круглые храмы; звуки – высокие, затянутые вверх, а потом как с горки по аркам слетающие; выгнутые вверх, округлые впадины окон, во всю глубь старинной стены, и арки – все церковные звуки эти видимым образом, всей мимикой своей, выпевающие: Елена сразу всеми чувствами обнаружила себя внутри параллельного какого-то, внутреннего, никак

не связанного законами своего построения ни с чем внешним, пространства.

Семен, суется, и что-то неразличимое шепотом ей объясняя, про то, почему и где надо «занимать места», начал пробираться вперед, в народе, которого было битком.

Взглянув на яркую роспись над алтарем, Елена улыбнулась: справа и слева нависали – с восхитительной нелогичностью – не вовне, а внутрь вывернутые уголком эркеры, – и в угловатом темном просторе в подклете эркера внятно таился образ пещеры, кожу мурашками вздымающий.

– Нужно стоять сначала на одной ноге, а потом на другой – это я давно уже такой способ придумал, чтобы всю службу выстоять, – важно наставлял ее Семен, выбрав, наконец, место перед какой-то низенькой оградкой и застыв по правую руку от нее.

Слева от них, не шелохнувшись, стояла старушка в беретке, с вывернутыми крупными ноздрями. Справа – старушка в косынке с лицом, острым, как игла.

Священнического действия из-за голов было не разглядеть. Но вдруг, по звукам, Елене почудилось, что мельком проскакала тройка с бубенцами – и тут же разглядела (взмах крыла впереди) что это бубенцы на одежде священника, как пуговицы. Забряцала опять какая-то упряжь, сбруя – и тут же оказалась золоченой кадильницей, взлетающей – не успев доплеснуть до нее пахучего дыма, и тут же пропадающей, где-то в кулисах людей. Зазвенели где-то как будто бы монеты – тут же оказались и вправду монетками: мелочью в руках у Семена, которую он кому-то передавал «на две свечи».

Голоса священников становились то строже, а то светлее; и светлые контрапункты уже явно захватывали власть, овладевали симфонией, выправляли мелодию, заостряли ее куда-то вверх. И вся эта тоника явно шла к какому-то высокому разрешению. Потихоньку вся церковь и звуками, и жестами, стала напоминать сложнейший, гигантский, ядерный механизм – с золотыми часовыми приводами, взведенными на взрыв: и все эти загадочные, ритмичные передвижения спин и круглых плеч священнической братвы, – и чьи-то руки, спешно подправляющие золоченые цепочки-подвески красных лампад, – и золотоносная муравьиная цепочка ладоней, пересыпающих друг другу медяки, тут же переливаемые в незажженные, как хворост,

перелетающие с одного края церкви на другой, золотистые свечи, – и золотые цепочки кадила, колеблющиеся в просвете между одеждами – и кресты, налагаемые верующими на лбы, рамена и туки, – и заметное сгущение и заваривающееся целенаправленное движение в самой сердцевине храма... Кто-то даже выключил вдруг разом все электричество в церкви – как будто пытаясь в последний момент не дать произойти взрыву.

Но в полночь все-таки рвануло!

– Воистину воскресе! – тоненько заголосила бабушка со свекольным носом – в ответ на тихий, почти вопросительный, возглас священника, – дергая Елену за рукав и, между чьих-то локтей, просовывая ей живой огонь. Вся церковь вспыхнула, заголосила, запела, заликовала.

– Держи бумажку... Иначе свеча руки обожжет каплями, – давал ей Семен ценные рекомендации, все с таким же важным лицом стоя справа от нее – сам уже превратив круглую бумажку на своей свече в подобие юбки.

После полуночи народ схлынул, стало чуть посвободнее, и Елена, ничего по-прежнему, ни слова, не разбирая из службы – чувствовала только, что все больше wpłyвает мыслями внутрь этого чуть успокаивающегося мелодического ряда.

Каждая долька церкви, каждая разделенная крестовыми сводами и арками горница, освещена была теперь по-разному: на лаке иконы справа от ворот алтаря зиждилились светло-медовые столбы от лампад; вверху на ободке арки был жаркий мед от бокового ломления ламп (и цвета-то какие этим медом залиты всё были вкусные! – лиловый, ярко розовый, желтый, ярко зеленый, – вязевой травяной росписью по вишневому), а дальше, чуть назад, через два световых проема, полукруглая горница уходила в мельхиоровую лунь.

Стесняясь глазеть, Елена лишь изредка зарилась на сизую виноградную лозу на ребре арочной перемычки рядом.

И эта внутренняя сложность пространства церкви, как будто нарочно, выкроена была по мерке для того, чтобы, хотя бы временно, приютить нахлынувшую на нее сложность чувств и мыслей.

– Меняй ногу! – время от времени, как во сне, доносился до нее, справа, голос Семена. – Нужно стоять поочередно то на правой, то на левой!

Спереди вдруг у кого-то загорелся край желтого газового платка. Ахнули. Потушили. Засмеялись. Запахло палеными волосами. Женщина, спасенная из пожара, спустила платок, широко расправила каштановые густые волосы. Чья-то рука передала погорелице белую косынку. Женщина подвязала ее поперек волос. От свечного дыхания и почти четырехчасового стояния Елене сделалось дурно: и, видимо, некоторая опасного рода бледность стала заметна на ее лице даже несмотря на то, что персональный, светивший лицо, огарок, додержанной ею в пальцах до последней невозможности, догоревший до формы ее щепотки, давным-давно уже рассеянно уложен был ею в карман, – светлая, седенькая старушка в красном шерстяном платке, сидевшая до этого справа у стенки, вдруг подошла к ней:

– Дочк, иди посиди на моем стульчике... Я попою пойду, к ангелам поближе.

Спасительный парусиновый раскладной приют – низенький – так что все остальное в церкви с этой секунды происходит в облаках. Прохлада стены на ладонях. Хребет стены и спины. Тихо, терциями, плывущая вместе с музыкой свечная патока перед глазами. Семен, наклоняющийся к ней, и осоловело, с огромными глазами, объясняющий про двух батюшек, к которым ему надо подойти.

И – свежий воздух в церковном дворе, и звезды – шутивным небесным отражением – аккуратным пунктиром над трамвайными рельсами.

II

Из-за небывалой усталости Елена даже почти не чувствовала смущения, когда Семен повел ее на сонную, сомнамбулическую экскурсию по своей квартире («вот туалет, вот ванная, а вот моя комната... а вот комната моей мамы – я здесь тебе постелил, ты не возражаешь?...»)

Туалет и ванная оказались почему-то дико холодными – маленькими карцерами. В Семёновой комнате ей как-то тоже мельком почудилось что-то казарменное: вытянуто-узко-пенальная, темновато освещенная, с маленькой узкой кроватью в начале, вдоль стенки, справа, и окном в торце, пустоватая, со школярским каким-то

письменным столом – комната странным образом вызывала к жизни холодноватый образ послушничаящего перед матерью выросшего пай-мальчика – образ, вроде бы с Семеном никак не вязавшийся.

А вот комната, которая ей досталась, была, безусловно, лучшей в квартире – и единственная, обставленная если не с любовью, то с некоторым изяществом. Приятно граненые стены, верный какой-то изгиб геометрии – измеренный словно бы женской туфелькой, – и бодрствующий черный взгляд окна; стеллаж в изножье широкой низкой дамской софы, красивое стеганое покрывало, спадающее с софы краем на пол – рядом с разноперым углом маленького шерстистого ковра; и – иконка на стеллаже между книгами, форматом с книжную обложку.

– А это не иконка, – тут же поспешил объяснить Семен – застыв перед софой и неловким затянутым жестом подправляя покрывало – в ответ на немедленное любопытство Елены. – Это один мамин поклонник мою маму в виде Богородицы нарисовал... И меня, маленького, рядом с ней. Так что это, скорее, портрет.

Стены оказались до такой степени глухонемыми, что когда Семен, прикрыв к ней дверь, ушел к себе, Елене показалось, что она одна в квартире.

Елена медленно, не раздеваясь, залезла под покрывало, постеленное без всякого постельного белья.

Сон, на оказавшейся страшно жесткой чужой софе и чудовищно жесткой чужой маленькой черной квадратной подушке-думке, никак не шел. И то Елена, включив ночник, рассматривала резковатое лицо матери Семена, пытаясь представить себе, какая же она в жизни (неволью думая: «Почему же она Семена позволила забрать в армию перед университетом? Мать бы моя, если бы у нее был сын – горой бы за сына бы встала – все что угодно – институт с военной кафедрой, или достала бы любые справки, да и просто прятала бы – но не отдавать же родного сына на убой или заведомые унижения в советскую армию, тем более шесть лет назад, когда в Афганистан то и дело забривали, среди ночи даже вон к соседям приходили!»), а то вспоминала, как смешно Семен смотрелся в храме в старомодной жилетке под теплой шерстяной курткой – несмотря на жару, на летний совсем вечер, и угарь в храме.

И вот сон всколыхнул и поднял на волне – но такой прозрачной, сквозь которую все равно видны были все мысли: только летели они рядом как-то легче, без заземления, привыкая к новым просторам. Секундный сбой в навигации, заминка, неуверенность в парусах – и опять она оказалась выплеснута на жесткую чужую постель. И опять – уже выключив ночник, вглядываясь в предрассветную синеву непривычно сдвинутого относительно постели окна, вспоминала, как однажды, лет пяти, что ли, летним днем по дороге в Ужарово, когда сломался шедший до соседней деревни автобус, вышли с Анастасией Савельевной в Троицком, – на секундочку, случайно, из-за дикой жары, зашли в охрянную церковку (ах как прекрасно холодили стены, как давали отдохнуть от жары!), и Елена, вырвавшись от матери, бегала перед алтарем, и вдруг, от какого-то грозного бородатого дядьки, вполголоса разговаривавшего с приятелем, краем уха услышала оброненное выражение: «Глас Божий!». Шлепнувшись на приятно холодящий пол, и подняв, почему-то, именно в этот момент глаза кверху, Елена увидела крошечное круглое окошко в самом-самом центре купола, через которое врывалась густая жаркая лазурь летнего высокого неба. И Елена, слова «глас» в тот момент не зная, решила, что речь идет про «глаз» – и немедленно же приложила это определение к лазурному окошку. И почему-то навсегда эту секунду запомнила: бородатого дядьку, непонятные, подслушанные его слова, и себя в кружевном платье на холодных плитах церковного пола с закинутой головой, вглядывающейся в «глаз» неба в самом центре высокого купола.

Улыбнувшись, Елена подумала, что, пожалуй, будет хоть чуть-чуть удобней, если хотя бы часть покрывала она подобьет себе под голову вместо высокой пухлой подушки (на которой привыкла спать дома). Завозившись, пожертвовав верхней левой частью покрывала, примерившись, поняла что и этого недостаточно, и, решив превратить в подушку все покрывало целиком, угнездилась, наконец. Стало, действительно чуть удобнее. Но через минуту она стала зябнуть, вздернула покрывало опять на себя, завернулась в него целиком, клубком, и, в душной матерчатой темноте, вспомнила, как Анастасия Савельевна на Пасху ездила как-то раз вместе с ней на кладбище к Глафире и Матильде. Могилка Глафиры была с густым цветником и мраморным памятником, с фотографией Глафиры (как будто бы чуть

упрекающее, грустное лицо) на овальной выпуклой керамической плитке, а у Матильды на могилке стоял только старый чуть поржавевший крест, где имя ее было написано как «Матрёна». Убравшись на могилках, собрав прошлогодние листья, Анастасия Савельевна протерла ладошкой личико Глафиры на керамической фотографии, приложилась к ней, поцеловала, а потом, поставив зачем-то на обе могилки по хрустальной стопочке, быстро плеснула в обе водки из тайком принесенной крошечной бутылочки, а потом быстро-быстро покрошила на край могилки какую-то сладкую булку. «Птички склюют», – как будто бы извиняясь за собственные суеверия тут же, смущенно объяснила Анастасия Савельевна. Сколько себя Елена помнила, слово «Пасха» вроде бы в речи у людей вокруг не то чтобы жило, но изредка гостило – но ассоциировалось абсолютно у всех только с чем-то языческим, кладбищенским, мрачноватым, только с таким вот каким-то суеверным крошечком хлеба и рюмками на краю могилы – от которых в ледяную дрожь бросало. А спроси, что слово «Пасха» значит – никто и не знал, и не задумывался. Забавным было и то, что даже и коммунистические власти, так и не сумев, видимо, даже ценой многолетних физических расправ, окончательно изжить тягу порабощенного ими населения к «суевериям», кажется, не только подобным, чисто кладбищенским, языческим трактовкам праздника не препятствовали, но и активнейше их культивировали: как вспоминала сейчас Елена, тогда, с Анастасией Савельевной на кладбище видели они даже вереницу автобусов, специально снятых с маршрутов и перенаправленных в этот день: дружно везти всех трудящихся на кладбище. Лишь бы в церковь, не дай Бог, не пошли.

Ощувив – по звездистому цвету швейных прорех, – что во вне покрывала уже рассвело, Елена мигом выскочила из-под одеяла, как из могилы – с радостью, что не надо себя больше заставлять на этой жесткой постели спать, и быстро подошла к окну. Небо, на изумление, было уже не просто светлым, а чистейшим, теплым, розовым, цветным – с лазурными перьями, глубоким. Двор, видный отсюда, с высоты, из окна, казался если и колодцем, то каким-то дырявым колодцем, усеченным колодцем, из которого, если б налить, вода бы вытекла. Млея от обшарпанных стен и окон старых домов, видных и справа – и, на отдалении, через двор – прямо, – Елена неудобно, боком, присела на подоконник.

И когда – ровно через секунду – со всей возможной звонкостью, и с небесной мелодичностью, во все небо зазвонили колокола – где-то, совсем неподалеку! – Елене сначала показалось, что это какое-то продолжение ее мыслей, или что на самом-то деле она спит – что это невероятный, красочный сон, после пасхальной службы – сон, в котором вдруг начинает воспевать церковную песнь небо. Колокола звонили так, что зримо дрожал розовый перистый цвет неба, напитываемый звоном. Цвет растворял в себе звуки и нес звон по небу, уже окрасив его в свои оттенки. Звон был розовым. Елена, едва сдерживая слезы, невольно брызнувшие из глаз, судорожно дернула, чуть не вырвавшийся с корнем, вместе с гвоздями, шпингалет и растворила, стараясь не греметь слишком громко, ветхие оконные рамы. Сжиженный раствор цвета, звука и свежего заревого воздуха ворвался разом, окатил ее всю с ног до головы, заполнил всю комнату – взболтанный, настоявшийся, крепкий – будто только и ждал снаружи, в какой бы фужер окна разлиться.

Когда часа через четыре с лишком в комнату, постучавшись, зашел, живчиком, с вытаращенными со сна глазами, Семен и, воровато шмыгнув зрачком по постели, спросил, сладко ли ей спалось, и что ей снилось, Елена, молча сидя на подоконнике распахнутого окна, взглянув на него, сказала себе, что любит его.

– Утром звонили... – сглотнув какой-то комок в горле, с трудом проговорила она, не двигаясь никуда с подоконника, как будто всю жизнь теперь здесь намерена прожить. – Ты слышал?

– Да? Звонили? – сонно-бодро переспросил Семен, расправляя мятый ворот выправленной из брюк, мягкой на вид, серой фуфайки. – Когда?

– На рассвете...

– Так надо было тебе подойти, взять трубку. А я проспал не слышал. Ну ничего, перезвонят, если очень надо будет. Не переживай. Пойдем завтракать.

А на завтрак был анекдот про грузина: «Дядя Гиви, дядя Гиви, Христос Воскрес!» – «Я знаю...» И почему-то в роли грузина Елене представлялся сам рассказчик-Семен, важно вышагивающий по ветхому Тифлису в жилетке.

Вернувшись домой, Анастасии Савельевны Елена не застала. Спать, из-за взбудораженных чувств, не было никакой возможности.

На улице стояла жара. Но и гулять сил идти тоже не было. Читать не могло тем более. С глупейшей улыбкой, Елена слонялась по своей комнате: ей почему-то не терпелось дожидаться матери – и изумить ее – вместо продолжения вчерашнего скандала, поздравить с праздником. А когда Анастасия Савельевна вошла в квартиру – уже после полудня, задумчивая какая-то, – то сразу, по своему обыкновению, прошла в кухню, даже не снимая уличных туфель, и хлопнулась на табурет, разложив перед собой красный обеденный столик и взгромоздив на него хозяйственную сумку.

Расцеловав мать, Елена сунула было на радостях нос в сумку – нет ли чего там съестного – но Анастасия Савельевна тут же, с хитрецей в глазах, сверху сумку придержала правой рукой в ярких перстнях:

– Этот Семен Борисович хотя бы прилично себя вел?

– Безукоризненно! Безукоризненно, мам! – хлопнулась Елена на табурет напротив.

– А я у Глафирушки нашей и Матильды была на кладбище, – поджав губы отчиталась Анастасия Савельевна, стягивая с себя немножко туговатый ей в плечах белый летний плащик, и вздохнула. – Ленка... Наверняка ты не помнишь, маленькая была еще... А ведь Глафирушка же наша каждый раз весной к Пасхе пекла...

В памяти Елены мигом вспыхнуло белоснежное, сладкое – и, не успела Анастасия Савельевна договорить – как будто ребус вдруг сошелся: «Куличи! Ну конечно же куличи! Два кулича с грецкими орехами и цветными цукатами сверху в чрезвычайно густой, едва заглазуревшей сахарной глазури – стояли там, в Глафириной гостиной, под льняной салфеткой, когда я бегала из ванны кормить голубят на балкон!»

– С ума сошла, Ленка! – отбивалась от ее счастливых объятий Анастасия Савельевна, уже доставая из сумки и осторожно ставя на стол покупной, булочный, кулич.

Нет, конечно это было жалкое подобие: глазури не было – посыпан он был почему-то сахарной пудрой, да и тесто было белым, слишком плотным, а не ноздреватым масляно желтым – как вспомнилось тут же Елене из детства, из Глафириных, ванилью, гвоздикой и корицей благоухавших шедевров. Да и изюмин – когда они с Анастасией Савельевной тут же с чаем минут за пять умяли кулич

чуть не целиком – обнаружилось только две: сверху, для видимости – да и те черные, пригорелые.

– Мам, взгляни, как он называется! – хохотала Елена, мучительно пытаясь выковырять из зубов вязкую, как резина, изюмину и одновременно другой рукой вертя целлофановую обертку от чересчур быстро сожранного дефицита. – «Кекс Весенний»! Изделие из муки первого сорта!» – Советские пекари даже и куличом-то побоялись назвать! – языком выкорчевав наконец горькую изюмину, и проглотив ее, Елена вскочила и тут же, скомкав, бросила, баскетбольным броском, лицемерную обертку через голову Анастасии Савельевны в мусорное ведро, торчавшее, по изысканной бесхозяйственной причуде Анастасии Савельевны, не где-нибудь в скрытых потаенных потемках в уголку, как у других – а на самом что ни на есть завидном, видном месте – вверху, справа, у окна, на буфете, замаскированное под широкую фиолетовую пластмассовую вазу с нежным изгибом посредине, да еще и подбитое со всех боков – для пущей правдоподобности – уголками выпиравшей жатой цветной папиросной бумаги, которую Анастасия Савельевна, по загадочнейшей причине, вместо всех полагающихся канцелярских аксессуаров, получала, вот уже с полгода, из учительской в институте – так что каждый день выброс мусора превращался в какой-то цветистый жамканый карнавал.

– Вот смеешься ты, Ленка, а меня, между прочим, в Никольском чуть из школы не выгнали за куличи, – с упреком в глазах, ловко увернувшись от запущенного Еленой скомканного баскетбольного снаряда, Анастасия Савельевна, не поднимаясь с места, полезла левой рукой, на пол-оборота назад, в верхнюю буфетную полку, и, не глядя дернув маленький проржавевший никогда не запиравшийся ключик, распахнув голубую створку, так же не глядя нащупала и вытащила бело-голубую, чрезвычайно пузатую гжельскую сахарницу с как будто оттянутыми вверх ярко-синими очень острыми стрелистыми ушами двух ручечек по краям, и крайне любознательно же вздернувшись вверх темно-синим носиком крайне крошечной круглой крышечки (едва ложечка пролезала) в неровных, мутно-белых, выпуклых, ассиметричных, фаянсовых зарослях и с яркими синими пионами на фронтоне.

– Почему же ты мне никогда не рассказывала! – ахнула, вытаращив на нее глаза Елена.

– По кочану! – шпанисто усмехнулась Анастасия Савельевна, не смотря Елене в глаза. Всчерпнув чайной ложечкой сахару, Анастасия Савельевна занесла было ее над своей чашкой, но тут остановилась, вытряхнула сахар обратно, облизнула ложку, положила, опрокинув, на краешек блюда, и принялась нарочито сосредоточенно доедать теперь уже свою изюмину, вновь посматривая на куличовое блюдо. – Ко мне в Никольском однажды в гости пришла девочка, одноклассница, а бабушка Матильда же всегда у нас и куличи, и пасху делала – ну, знаешь, сладкий творог такой, пирамидкой. Матильда же не просто очень верующая была, а...

– Как?! Матильда была верующая?!

– А то нет... – ухмылялась Анастасия Савельевна – опять себе под нос, и все так же на Елену глаз не поднимая. – Можно я еще один кусочек съем? – спросила, наконец, кого-то в воздух, но явно не Елену, Анастасия Савельевна, сострадательно положила правую руку на живот, охнула, но, видимо, получив от какого-то небесного вечно благожелательного повара положительный ответ, немедленно зажевала еще один куличовый клинышек. – Глафирушка моя, мама, тоже верующей была всю жизнь...

– Как?! – Елена все больше и больше откидывалась назад на табуретке – как если бы тут прямо перед ней в сердце кухни выросло бы апельсиновое дерево, что ли, – и каждую секунду разрасталось все шире и шире. – Бабушка Глафира веровала в Бога?! Почему же ты мне никогда...?!

– Конечно верила! – Анастасия Савельевна до сих пор так и не смотрела Елене в глаза, взясь теперь уже с круглой чайной крышечкой, прижав ее указательным пальцем, и доливая себе крепкой, чуть не черной, заварки с крупными, кружившимися, разваренными чайинками. – Боялась говорить только об этом, всю жизнь – чтобы ни мне, ни тебе не навредить, чтобы неприятностей ни у кого из-за нее не было. Матильда-то другая по характеру была... Ух! Та еще, стервозина была. Матильда бы скрываться не стала. Чуть что не по ней – ка-а-ак скажет: «Я⁵звыи жь их в корень!» Ругательство у нее такое было, когда гневалась. Тот еще характерик был... – Анастасия Савельевна весело, и одновременно с раздражением взглянула наконец на Елену: –

Как же ты, все-таки, Ленка, похожа на Матильду! Ну надо же, как гены через два поколения передались! И внешностью, и характером... Стерва! Она поэтому и в Ужарово-то из Москвы переехала жить, одна. Видеть она всю эту советскую власть не могла – и молчать, когда видела все это вокруг, тоже не могла. Она же у нас дворянка была, ух, с норовом. Уехала. Зимы даже одна жила там – в этой ее комнатке с печкой, где ее лавзеровая веранда. Воду себе коромыслом из колодца носила. Руки у нее, как и у бабушки Глафиры, все от артрита переключенные уже были – чувствительные слишком, к холоду не приспособленные. И вот Матильда, упрямая как камень, одна, жила в этой своей комнатке, с иконой.

– Как?! У нее икона была?! Настоящая?!

– Настоящая, настоящая. Ну ты Ленка скажешь тоже! А то какая же?! Поддельная что ли?! Николая Чудотворца. Иконку ей Кирьяновна отдала тайком – это ж еще мать Кирьяновны из Ужаровской церкви иконку спасла, припрятала, когда большевики церковь в Ужарово разрушали и иконы жгли.

Чувствуя себя, как человек, всю жизнь умиравший от голода, вдруг обнаруживший, что у в буфете в сахарнице у него таилось алмазное сокровище – Елена уже только изумленно хлопала глазами, боясь спугнуть материны откровения.

– Ну и вот Матильда наша... Она же, почему, ты думаешь Матрёной-то на могилке написана? Она же, несмотря на то, что родители поляки были, католики, она в Минусинске крестилась в православие... Крещена с именем Матрёна!

– Как?!

– Как чердак.

– Как?! А я думала, это просто такое имя у нее как бы двойное... Ну как перевод, одно русское – другое польское! Крещена?! Как?!

– Как-как... Вот так! И второй такой рьяной православной не сыскать было. В Минусинске же у Матильды самый близкий друг – знаешь кто был? Никогда не догадаешься! Местный священник! Из главного Минусинского собора! Священник Петр Чистяков! Он какой-то очень умный, образованный и добрый был, как Матильда рассказывала. Петр Чистяков ее с первым мужем венчал – с поляком, тоже крестившимся в православие. И вот они с Матильдой даже православную воскресную школу там, неофициальную, для местных

бедных детей в Матильдином доме на набережной затеяли. И музыкальные фортепьянные четверги у нее в доме устраивали вместе, и философские беседы, вместе со священником Чистяковым, для местной интеллигенции.

Елена уже просто не верила своим ушам – ей хотелось ущипнуть себя, чтобы проверить – не является ли это все сном – и не заснула ли она, все-таки ненароком у Семена дома под колокольный звон: как будто бы Анастасия Савельевна всю жизнь изображала притырышную – и вдруг перестала.

– И когда революция случилась, и Матильду раскулачили, когда этот пропойца Севастьян дом-то большевикам отдал, – это же именно Петр Чистяков Матильду с Глафирой спас потом – деньги на дорогу дал, и сказал им пробираться в Крым, чтобы спастись, вместе с его надежными друзьями. Ну и вот потом Матильда всю жизнь, уже когда они в Москву из Крыма переехали, большевиков не просто ненавидела лютой ненавистью – она их презирала! Она просто делала вид, что советской власти не существует – и что она, Матильда, будет жить, как жила, ходить в церковь, молиться, печь куличи, угощать моих одноклассниц... А мама моя, Глафирушка, всегда дома за столом следила за Матильдой, и чуть что Матильда скажет про советскую власть, или про прежнюю жизнь, – Глафирушка моя сразу, как фурия: «Мама, перестань!» Очень мама боялась, что мы в школе что-нибудь сболтнем. И вот – пришла ко мне однажды в гости после Пасхи Люба Стрельцова, одноклассница – а у нас дома еще и куличи, и пасха остались – ну и Матильда давай ее угощать, конечно. А Люба Стрельцова жила не в бараках, как все из нашей школы, а в таком там доме хорошо, кирпичном, чуть подальше. И оказалось, что девочка-то эта из семьи... Ну, понимаешь... Энкавэдэшники...

– Ну? Ну?

– Баранки гну! И Люба-то в школе донесла про куличи. И был страшный скандал, разбирательство, меня чуть из школы не исключили... Мама моя плакала, на Матильду ругалась: «Ты, девочке жизнь сгубишь!» А Матильда все равно считала, что грех скрываться – только съехала от нас – комнатку себе маленькую снимала. А я к Матильде любила то и дело в гости бегать. А у нас же в бараке всегда шумно было – братья, соседи... Я так любила к Матильде приходить с книжечкой – сижу, читаю, а Матильда мне все про старую жизнь, про

Минусинск, про свой дом на берегу Енисея рассказывает... Матильда почему-то каялась и винила себя в том, что вообще революция произошла – говорила: вот, это я виновата во всем – это по моим грехам переворот в стране случился – потому что в грех впала с прохиндеем этим Севастьяном, роман закрутила, невенчанная с ним жила. На мужа-то, поляка, с которым Матильда венчана была, по законному православному обряду, похоронки еще не было, он без вести пропавшим считался, когда Севастьян появился. А еще Матильда, почему-то очень верила – какое-то у нее видение было – что есть какая-то икона в Польше, чудотворная, и что если она к ней когда-нибудь приложится, то советская власть кончится...

– Как? Как называется икона? – аж задрожала от нетерпения узнать рецепт Елена. – Ну пожалуйста! Вспомни!

– Да не помню я Ленка! Разве ж теперь уж упомнишь все эти Матильдины сказки, которые она мне там наговорила, пока я книжечку читала... Какое-то непроизносимое трудное сочетание каких-то согласных... Ну, знаешь, на польском... Чешуще-щебечущих каких-то.

– Мамочка! Ну вспомни! Это ведь очень важно! – умоляла Елена. – Мы ведь должны немедленно что-то предпринять, если ты вспомнишь!

Но Анастасия Савельевна уже только посмеивалась над суевериями дочери и Матильды.

– А еще я помню: когда мы-то с Глафирой-то уже в Москве давно жили, а Матильда – в Ужарово, от греха подальше, из Москвы переехала – и жила там одна, как в монастыре, богомолицей, – как-то раз весной, на Пасху, приехала она в Москву в гости к Вовке... Помнишь дядю Володю? Ты наверное, не помнишь уже...

– Мааа... Ну не склеротик же я! Конечно я помню дядю Володю! – застонала Елена – ненавидевшая эти материны вечные присказки: и тут же живо увидела перед собой полноватого русоволосого материного среднего брата – доброго чувствительного выпивоху. Рано, очень рано умершего.

– Матильда советскую власть просто не-за-ме-ча-ла... – сожрала, как-то сама того не заметив, Анастасия Савельевна, даже без спросу, самый последний кусочек кулича и, сдобно, вращая щеками, с озорным огоньком в глазах, выговорила: – Ну и вот Матильда приехала к Вовке в квартиру на день рождения. Матильда старая уже была! А

всё с таким же норомом: у нее всю жизнь оставалось самосознание – что она дворянка из древнего польского княжеского рода – а большевики – шваль подзаборная. А день рождения у Вовки в том году практически с Пасхой совпал, в апреле. Матильда сидит за столом... А ей же Глафира строго запрещала при детях о Боге говорить! А Матильде нашей всё трень трава! Матильда сидит и рассматривает чайный бокал – обычный советский фаянсовый чайный бокал – а на бокале написано: «ВСХВ». Это так ВДНХ прежде называлась, не Выставка Достижения Народного Хозяйства, а Всесоюзная Сельско-Хозяйственная Выставка. Матильда сидит и задумчиво эдак вслух зачитывает: «В, С, Х, В! Какие молодцы! Это кто ж тебе, Володюшка, догадался такой прекрасный подарок сделать – именной бокал с надписью?! Надо же, как же остроумно, – говорит, – бокал надписали! ВСХВ! “Владимир Савельевич – Христос Воскрес!”»

– Ну ты мне бы хоть крошечку куличика еще оставила! – счастливо смеялась Елена, уже натягивая в прихожей летнюю сиреневую куртку и быстро вылетая за дверь.

Болтаясь между прудами по вспыхнувшему клейкой листвой Стрешневскому парку, Елена, в лазоревом мареве собственных грез, уже не разбирала – где сверкающее, слепящее, послеполуденное золото одуванчиков – а где только что распустившееся, свежее, щекочущее нос, маем пахнущее, махровое солнце.

И произошедшее ночью – вся красота храма и ночной церковной божественной службы, и рассветные колокола, звонившие специально, как для глухих, в растворенное окно старого дома, и свалившееся на нее вдруг богатство откровений Анастасии Савельевны, заеденных куличом – за все это Елена чувствовала несказанную благодарность – благодарность такого рода, которая сама по себе отрывала ее от земли, позволяла парить в жарком воздухе, над одуванчиками, над солнцем.

Незаметно, в этом летающем, небесном чувстве благодарности появился земной, совсем земной образ Семена – и, не снижая оборотов восторга, Елена попробовала и Семена в это небесное свое чувство врисовать.

«Венчаться, венчаться – наверняка Семен предложит мне венчаться, – думала она, как о факте уже почти свершившимся и практически неизбежным. – Позвать ведь вдвоем, вместе молиться на пасхальной службе – это почти как предложить руку и сердце – даже

еще серьезнее!» – с некоторым умилением думала она. И вся ее предыдущая внутренняя к нему настороженность, все его слишком внешние для нее, слишком расхожие, слишком... хваткие, что ли, балагуристые слова и тиражные ужимки, и все это даже его подшепетывание и подхрамывание, и пошловатые реплики, и даже политическая неразборчивость – все это сейчас, в жару восторга было мигом растоплено, отброшено – и переплавлено в бездну возможности для жертвенной, снисходящей к недостаткам смешного Семена, любви.

Вечером на вытребованной у Анастасии Савельевны сильно гнутой – прямо по середине (какое счастье, что трещина не пришлась на лицо!) чайной фотографии, Елена рассматривала чуть курносое лицо гордой, красивой, рослой, худощавой, очень стройной и очень старой женщины в длинном тонком приталенном черном платье и строгом, по-деревенски подвязанном платке – под вековыми липами в Ужарово, на узенькой лавке без спинки, маленьким ножичком чистящей, зажав в артритных длинных бугристых пальчиках, крупные белые грибы. Матильда. Княжна Матильда. Пани Матильда. Дворянка, дочь ссыльных польских вольнодумцев, фабрикантша, сибирячка, крымчанка, московитка, простолюдинка, святая богомолица, отшельница, почти монашка.

С удивительным чувством, что подсматривает себя в старости, Елена с трудом отцепила взгляд от фотографии: «Нет, глупости, я умру молодой...»

III

В ближайшие же сутки, как-то исподволь, как-то помимо ее собственной воли, мысли о Семене превратились просто-таки в какой-то культ Семена: с кроткой улыбкой Елена вчитывалась в зачем-то Семеном выданный ей с собой, в придачу, томик «Винни-Пуха» – любимую книгу Семена, которую он благородно оторвал буквально от сердца – и, хотя ровно такая же книга пылилась у нее на антресолях, из-за переполненных стеллажей Анастасии Савельевны и ее собственных, сданная в архив, – Елена старательно пыталась найти в тексте то очарование, которое видел в нем Семен (верхом остроумия

казалась ему, например, в русском переложении, надпись НВ – «Незабвенному Винни» – «Эйч-Би! Это же сигареты Эйч-Би!» – ликовал Семен, сидя с Еленой рядом на софе своей матери в пасхальные послезавтрачные часы, и чуть заметная слюнька, как всегда в моменты восторга, появлялась на его нижней, скривившейся губе).

Мало того – Елена, не поленилась сбегать к Соколу и разыскать гонимых ментами боязливо мигрирующих майских бабок-торговок, и купила пучок редиски, а на Ривкином базаре – чудовищно жгучую азербайджанскую аджигу – и все это только потому, что Семен (с голодухи, видимо) обмолвился ей, что самое вкусное блюдо в мире – это редиска, намазанная сливочным маслом, с аджигой, – и, под ужасающею оханье Анастасии Савельевны, Елена храбро зажирала одну густо нааджиженную редиску за другой – и самоотверженно громко рыгала после этого. И любовные эти рыжки придавали в ее глазах еще большую значимость всему происходящему между ней и Семеном.

Не удовольствуясь чисто лингвистическими, или гастритными воздействиями отсутствующего, возлюбленного Семена, Елена, застыв перед зеркалом, пыталась экспрессивно скривить углы губ книзу, как это делал Семен – и чрезвычайно расстраивалась, что у нее не получается.

И вот, на следующее утро Семен позвонил.

– Мы званы к Варваре и Диме на фильм, – бодро сообщил Семен. – Я, правда, этот фильм уже смотрел три раза... Но Дима достал кассету на неделю – я с удовольствием посмотрю еще раз.

В вестибюле метро возле дома Семена, вроде бы с обычным чувством пройдя мимо калейдоскопных, в слегка галлюциногенной гамме, чем-то нездоровых советских цветковых витражей в мраморных саркофагах-столбах, мошенически подсвеченных изнутри электричеством, и уже собираясь встать на эскалатор, Елена с удивлением ощутила, что ноги не слушаются и невольно замедляют шаг. «Как мы встретимся? Как посмотрим друг на друга?» – волновалась она все больше – до того, что решила вернуться в покатую пещеру платформы, и дать себе отсрочку: два... нет – четыре поезда, как секундомер для успокоения нервов. «Что же я волнуюсь: ясно же, что вся прежняя дурацкая его внешняя маска отпадет сама собой –

ясно же, что теперь, Семен, конечно же, будет говорить со мной какими-то абсолютно другими, внутренними, словами – а не пересказывать чужие хохмы. Ясно же, что он чувствует, слышит внутренне, что я люблю его – а значит, он не будет стесняться и своих чувств», – сказала Елена себе наконец, – и побрела – почему-то как на казнь – на эскалатор: так не хотелось ехать ни к кому, так не хотелось никаких фильмов, ни в какие гости, никаких людей вокруг, кроме него. Но и его увидеть почему-то было до безумия страшно.

Ветхая дверь в подъезд, гулкая лестница, раструб двери его квартиры – все это с внятной нежностью воспоминания о празднике сказало ей «Здравствуй». Семен, дверь раскрывший, с кривой многозначительной усмешкой бросил: «Привет» – и ни температура, ни манера его разговора ни коим образом, в сравнении с прежними их встречами, не изменились.

Елена, же увидев его, почувствовав его рядом, мгновенно ощутила оторопь, мешавшую говорить вовсе, мешавшую смотреть на него, мешавшую поднимать глаза, мешавшую двигаться – передвигалась она как-то мешком, неловко, и сама это чувствовала, врезалась, когда выходили из квартиры, бедром в раму его двери, потом не расслышав его вопрос, ответила что-то наугад невпопад, и пока они дошли до метро, уже готова была разреветься.

Кой-как перетерпев, в грохочущем окопе метро, где отсутствие смысла можно списать на шум, – переход и переезд, – боясь случайно дотронуться до Семена, боясь, что поезд качнет слишком сильно – а взяться за поручень боясь тоже, стесняясь своих рук рядом с его руками – Елена не вполне была уверена уже, что достаточно адекватно снаружи выглядит, чтобы продолжать прогулку, а тем более позировать в гостях.

– Фильм замечательный! – явно не замечая всех этих ее мук, и довольствуясь просто ее молчаливым присутствием, разливался Семен в рекламе, как только они вышли на Арбатской и свернули в тихие, разукрашенные жарой, оранжевые переулки. – Замечательный! Я несколько раз смотрел! Но всё еще есть некоторые моменты, которые я не до конца понял!

Милое личико Вари и ее обращение с Еленой, как с девушкой Семена (как только «мальчики» вышли на балкон, азартно, со скандальными нотками, разговорившись, почему-то, о стрельбе из

спортивного оружия – Варвара, гладко зачесав руками волосы за уши с боков лица, и приветливо округлив глазки, принялась, заранее зачем-то, авансом, кивая, расспрашивать Елену, а что *они* с Семеном делают «на праздники»; а попытавшись светски разузнать у Елены про ее учебу в университете, эти же глазки жутко выкатила – уже не понарошку, – услышав от Елены про школу), грозили, по ощущениям Елены, и вовсе скорым обмороком.

Вы садитесь сюда. Нет, вы сюда. Нет, ну что вы, я и здесь отлично...

Впотьмах, с задвинутыми шторами, с многозначительными лицами, как будто ожидая сакрального действия, застыли, разгадав, наконец короткий, мучительный кроссворд размещения четырех человек на двух стульях, одном кресле, и совершенно негодно, со зрительской точки зрения, стоявшем диване, перед большим черным гробом телевизора; и Елена с Семеном очутились врозь; и пухлый Дима, изящным ленивым жестом вдвинул указательным пальцем кассету – и видеоманитофон столь же изящно ее выплюнул ему обратно. Ах да, не той опять. Как всегда. Ну ладно, Варя, не смейся надо мной, как всегда, при гостях, гадюка.

Щелкнуло. Забрестило. Молодой человек с чудовищными аденоидами или бельевой прищепкой на носу, да еще и, кажется, пожиравший в ходе озвучки орехи, теряя реплику, а потом, прожевавшись и спохватившись, надиктовывая ее уже в момент речи совершенно другого героя, то исчезая, а то всплывая в динамиках опять, где-то за кадром гундосо лабал русский перевод.

– Ой мне нужно в туалет! Остановите! Остановите! – тоненько, в ужасе от самое себя, кричала Варя на самом страшном моменте.

– Вот вечно ты, Варя... Остановим?

– Пусть идет, только быстро, – мужлански подыгрывая недовольству мужа, соглашался невидимый для Елены Семен, любезно усаженный Варварой позади нее, чтобы ей ничто не загоразивало экрана.

– Ой, а я не поняла – как это они узнали? – взвизгивала Варвара где-то сзади, в дверях, в момент ограбления, прибежав из туалета, и опять куда-то убегая, – Она, что, им сама...

– Вот Варя, сядь и сиди теперь тихо. Кино молча надо смотреть, – раздраженно поучал Варвару Семен.

– А что я не могу спросить, раз я не поняла? – тоненько, жалобно, не обидевшись, тянула Варвара, и, в статуэточно-перекрученной (левая нога кругообразно завита за правую, левая рука на приподнятом боку, правая рука шарит на темной полке в поисках пульта) миниатюре, на секунду возникала справа от Елены перед темно-коричневым шкафом с запертым забралом. – Давайте перекрутим!

– Нет, Варюша, ничего перекручивать не будем, – ласково и лениво, не оборачиваясь на нее из кресла, сообщил муж. – Меньше бегать надо... – и на всякий случай клал пульт видака себе под толстую ляжку.

– Не, я просто ненавижу вот, Варвара, когда ты с глупенькими вопросами: «ой, а как это!» Смотри и увидишь все сама. Не строй дуру-то! – повышал градус семейной драмы Семен, – хотя Елена ни дурой, ни глупенькой Варвару совсем не находила.

Чуть выждав, Семен начинал, впрочем, комментировать картину и сам:

– А! Понял! – сдержанно бурлил он где-то сзади в потемках, от восторга. – Я все никак не мог до этого понять, как же он в здание-то попал, если не на лифте! – А он вон откуда! Давайте устроим перекур – а то сейчас самое интересное начнется... Варвара, если ты будешь опять перебивать...!

– А я не поняла, Семен, – они, что, детей в детдоме правда подменили? И что никто-никто больше не узнает, какой младенец настоящий?! – виновато и звонко, как будто чуть утрируя степень непонимания, специально уже, чтобы на нее поругались, осведомлялась, о совершенно вроде второстепенной для сюжета детали, Варя, уже провожая их (спустя кошмарные, выматывающие для Елены четыре часа бандитской эпопеи, с сигаретными антрактами) на лестничной клетке.

– А ты на Дебору в юности, когда она танцует, немножко похожа, – тихо, остановившись на секунду, сказала Елена Варя на прощанье, когда Семен уже вошел в лифт.

– Ой, да что ты, она такая красавица, а я такая толстая! Ой спасибо тебе! – внезапно, растрогавшись, расцеловала ее Варвара.

Чуть затянуло облаками. Парило. И от того, что молочное небо висело ниже, еще большей душераздирающей нежностью веяло от низенького допотопного двухэтажного домика – старомосковской

сараяшки, с деревянной надстройкой – рядом с престижным многоэтажным желтоватым кирпичным типовым уродом, из которого они только что вышли. В перпендикулярном переулке, в криво огороженном палисаднике, что-то с кричащей венчальной красотой цвело.

– Тебе понравилось? Чего загрустила? Чего – плохо себя чувствуешь? – спохватился вдруг Семен, полдороги к метро буйно, по щепкам, разбиравший до этого мораль фильма («Видишь: главный герой – бандит и убийца, но порядочный, а второй тоже бандит и убийца, но непорядочный!») – Едем ко мне! Я сегодня друзей одних пригласил вечером. Мы с тобой будем принимать гостей!

Через сорок минут, с обморочным ужасом спрашивая себя: как это опять так получилось, что, вот, весь день уже вместе – а не говорят они с ним ни о чем серьезном, личном, – и есть ли вообще у него это серьезное и личное? И не являлась ли для него ночь в церкви просто таким же крутым культмассовым походом, как вот сегодня паломничество к арбатскому видаку, на фильм? – Елена сидела у окна, в торце стола, на кухне у Семена, а сам Семен, с затянутой подробностью разводя костер на плите под высоким дульчатым чайником, стоя к ней, то спиной, то боком, залихватски пересказывал когда-то читанный по программе в университете готический эпос – описывая действия Зигфрида по отношению к Брюнгильде своим излюбленным трескающим полуцензурным пошляцким советским словом, которое хуже и безвкусней, чем откровенный мат.

Пойдя на беспрецедентную жертву, Елена попробовала заговорить о любимой литературе – и, доверив ему, как нечто самое сокровенное и интимное – назвала имя лучшего писателя двадцатого века.

– Стилист, стилист... – бодренько отреагировал Семен. – Моя преподавательница на фэке недаром сказала нам как-то, что он – стилист. Я его раньше не читал. Но тут как-то взял, прочитал страничку – читать сложно – отложил и понял: «А! Действительно стилист!»

Говорить о философии Елена поостереглась – потому что и без того Семен уже, когда представлял ее прежде приятелям и приятельницам, глухо-испуганно предупреждал: «Она очень умная...» – причины чему Елена, как ни напрягала память, в их разговорах, с ее вечным молчаливым внутренним зажимом, не могла найти – и в конце

концов самокритично приписала это знаменитому эффекту «молчи, за умную сойдешь».

Выяснилось, между делом, – пока Семен, опершись на газовую плиту задом и стреляя в нее глазами, рисковал спалить штаны, – что на уроках физкультуры в университете он фехтует – сражается на затупленных шпагах – и какой-то больно саднящей диссонансной бутафорской грустью зазвучала в Елене эта гамлетова нота.

– Чего это они так рано? – востропнулся вдруг Семен, когда какими-то местными, натренированными локаторами уловил, что на лестничной клетке у входной двери кто-то возится.

Семен тапочко зашаркал в темные длинноты коридора. Было слышно, как он отпирает, с цепным звуком, дверь, впусив лестничную гулкость, – затем, пришибив гулкость домашней заглушкой, захлопывает. Спустя медленное какое-то, одиночное шарканье, Семен появился на пороге кухни с букетом черно-багряных тюльпанов с гигантскими роняемыми головами.

– Какой-то мамин поклонник... – тут же объяснил Семен с неловкой кривой улыбкой. – Я даже догадываюсь, кто это! Надо же... Положил рядом со входной дверью и убежал. Не знает, что мамы нет в городе. Смотри, что он рядом на половик положил...

Семен бросил на стол багровый тюльпановый лепесток: в его углублении – как на берестяной грамоте – было выцарапано чем-то острым: «Я вас люблю».

Когда пришли шумные гости, это багряное объяснение в любви – не ей – эти пылкие тюльпаны, пристроенные Семеном наспех в стеклянную полуторалитровую банку, так, что они распадались во все стороны и клевали перистыми носами стол, добавляли какой-то странной муки в и без того уже становившееся с каждой минутой все более и более безнадежным внутреннее отчаяние Елены. Чужая сумеречная кухня. Чернота за окном. Зачем я здесь?

– Не, я просто не знал сначала, ребят: когда обливаешься холодной водой после физических упражнений... – обычным бодрцом вещал Семен кому-то, в другой части тусклой кухни, гуманно спелёнутой и затянутой уже легкой мутью ее усталости, недоумения и душеразрывающей тоски – в физическом преломлении воплощавшейся чужими клубами сигаретного дыма, – ...тогда просто сжигаешь мускулы! Я этого не знал – и всегда после зарядки ледяной

водой обливался! И зря! – ликовал Семен. – Вот учтите это, это надо просто запомнить! Это надо знать каждому.

Курил Семен с такой же изломанной бывалой многозначительностью на лице, как будто случилась какая-то драма – будто говорит он не о мускулах (будучи сам щупленьким – так что Елену даже изумила такая его осведомленная зацикленность на физкультуре), а об индивидуальной эсхатологии, к примеру.

И опять над Семеном, как и прежде, как она замечала, подсмеивались, подтрунивали. И ей почему-то становилось его жалко.

Почему я не могу оторвать взгляда от его лица? Не красивого – это уж точно. С этим птичьим загнутым носом. Судорожного, резко гримасничающего, паясничающего. С этими фиглярскими складками вокруг криво изгибающегося рта. С этими огромными резкими бесстыдно глазающими сапфировыми глазами.

– Ребята, я подонок! – возликовал Семен, вскакивая со стула на крутом новом изломе разговора за дымовой завесой. – Я получил двадцать пять рублей семьдесят пять копеек гонорар! Написал заказную статью, воспевающую мощь советских воздушно-десантных войск! Могу дать почитать! Я – подонок! Но это же такой стёб! Двадцать пять рублей семьдесят пять копеек! Стебáлово!

«Что это я, в конце-то концов?! – взбунтовалась, наконец, внутренне Елена. – С какой стати у меня разрывается сердце от всего этого кошмара, от всей этой пошлятины? Ведь таких людей, как он, на улицах – миллион. И не придет же мне в голову страдать из-за их несоответствия моим – да, сладким, но явно не в кассу – грезам! Просто немедленно встать и уйти отсюда и забыть его!» – кричала уже внутренне Елена, и с ужасом чувствовала, что от переживаний ее уже колотит крупной дрожью.

– Да что с тобой, малыш? – обратился к ней вдруг, выплыв откуда-то из-за кулис дыма, наклонив к ней прокуренное лицо и полуобняв ее за плечи, держа при этом в правой руке еще и сигарету, Семен. – Тебе нехорошо?

Да не хорошо. Да знобит. Да плед. Да свитер. Да чай.

Выйдя через несколько минут, как ходячая мумия, в пледе из кухни – с таким, видимо, несчастным лицом, что никто из гоготающих за столом не осмелился спросить ее куда она (в туалет, в ванну, в коридор, в небо, куда угодно, прочь отсюда) – Елена, едва соображая

что она делает, почему она не уезжает домой, и почему шляется в потемках по чужой квартире, зашла в темную комнату матери Семена, подошла к тому самому окну, у которого дышала рдяным колокольным звоном на рассвете, знакомым жестом рванула шпингалет, и раскрыла чуть задребезжавшие створки. Темный, усаживающийся сам в себе в цвете, сине-коричневый квадрат распаханного окна, разряженный апельсиновыми всплесками окон домов напротив, обдал ее успокаивающим свежим теплым летним ночным воздухом. Моментально охолонув, сбросив волнение, вместе с пледом, – как только решила, что на посиделки на кухне ни за что не вернется, Елена принялась мирно рассматривать синие абрисы домов на фиолетово-черноватом панно неба – как будто бы обведены контуры крыш были яркой кисточкой – чуть контрастно светлее. Вот погасло – со скоростью падающей звезды – прямо напротив окно. Вот – с такой же неожиданностью в верхнем правом углу зажглось, как звезда, свежее, неведомое. Заметались тени, окно погасло. Долго в этом устоявшемся равновесии сокрестий звезд напротив ничего не менялась.

– А тебе все просили передать «до свидания»... – неожиданно подошел к ней в темноте, справа, Семен – как-то неправдоподобно быстро, по ее звездным меркам, выпроводивший гостей. – Видишь, мы вон там вот с тобой двором вон так ночью проходили...

Они оба тесно высунулись в окно. Левая рука Семена, легшая ей на талию – разумеется, просто чтобы лучше направить ее стан и правой рукой верно навести ее взгляд, и сверху показать их путь во мраке двора – чуть дрожала.

– Вон там слева мы вошли во двор – сориентировалась? И вот так насквозь вышли – воон туда! Видишь? – еле справлялся Семен с дрожью уже и правой, указующей, руки.

И когда он развернул Елену к себе и его дрожащие прокуренные губы впилась в ее, ей показалось, что сердце разорвется от счастья.

– Малыш... Малыш... – шептал Семен в темноте, и через два шага ласк (на третьем, оступившемся, шаге) они оказались на жестком ложе, где она проворочалась без сна всего пару дней назад. – Малыш, я хочу тебя всю... Хочу тебя всю, здесь и сейчас... Хочу тебя здесь и сейчас каждой клеточкой...

«Я никогда не в «здесь и сейчас». Как бы мне ему объяснить, чтоб не обидеть?», – зажмурил глаза, со странной, вдруг подступившей

веселой насмешливостью, подумала Елена.

Удивительным было то, что как только песочные часы их тел опрокинулись в горизонтальное положение, у Елены, как выстрел, возникло сильнейшее инстинктивное желание немедленно их вернуть обратно в вертикаль. А через концентрически сужающиеся круги ласк и мольб Семена о «здесь и сейчас», вдруг явственно проступило в ней инстинктивное чувство, что она не может и не должна доверить этому человеку свою любовь, что предаст он эту любовь за первым же углом. От поцелуев, впрочем, оторваться не было сил – и, казалось, она, тайком от самой себя, спрятавшись в темноту, все еще целовала того мужчину, которого вообразила себе день назад, того с кем мечталась ей запредельная, небесная, трансцендентная близость – уже зная, что на самом-то деле этого воображенного человека не существует, и что уж по крайней мере Семен – точно не он. Через полчаса любовных боев с весьма относительными позиционными успехами обоих, она все-таки перевернула часы, уселась на кровати, и заявила, и что поедет домой, что уже поздно, что ей правда пора, что ждет мать.

По какому-то странному, трагикомическому, уже заведенному, и все никак не могшему остановиться механизму этой теплой ночи, когда Семен вышел на улицу и проголосовал, ловя попутку, рядом немедленно же затормозил, с грохотом и ревом, камаз – и предложил-таки их довезти до Сокола. Трясаясь бок о бок с Семеном в чудовищно жарком коробе кабины, – Елена чувствовала себя так запредельно плохо, с таким необоримым солнцеворотом в солнечном сплетении, как будто кто-то (любимый Семен, скорее всего) умер только что на ее глазах – хотя вот же он – живехонек, бодр и травит байки с шофером, строя из себя бывалого автостопщика. Ни слова о любви, ни слова о каких-либо своих к ней чувствах Семен так и не сказал – и уж тем более никакого и намека не было на серьезность его к ней намерений, предложение руки и сердца. И когда дома Елена вспоминала свои мечты о венчании – у нее даже плакать не было сил от кошмарной, оскорбительной карикатурности произошедшего и несоответствия героя.

Ощущение чудовищного любовного похмелья и глубочайшего несчастья от случившегося, охомутавшее ее на следующий день, валило с ног, не давало жить, не давало дышать. От инстинктивной оторопи, отторжения и внутренней насмешливости, выведших ее

ночью, как на автопилоте, из тупика его постели, не оставалось и следа. Горе, горе, ощущалось всей душой, всем телом. Все люди ранили – потому что они – не он. Но и его услышать, увидеть было бы немислимо. Абсолютная интоксикация организма Семеном чувствовалась каждой клеточкой, здесь и сейчас.

И потому, когда Аня Ганина, в кратчайшем жарком пересменке между двумя государственными праздниками, позвонила и позвала вместе с ней посетить только что учрежденный (по большому благу, по распоряжению из Роно, в качестве перестроенного почина – как в «передовой» школе) новый предмет – компьютерную грамоту, Елена рассеянно согласилась – чтоб хоть чем-то отвлечься от тоски.

Компьютеров в школе не было – учителя о таком диве дивном и не слышали, а идти им с Аней пришлось, по выданному в учительской адресу, на какой-то дальний то ли завод – то ли секретный «почтовый ящик» – разобраться не было ни возможности, ни, в общем, желания.

В ярко освещенном ополовиненном маленьком классе, в два окна, с дырчатыми, ноздреватыми пенопластовыми плитами на стенах и грузными, размером в телевизор, мониторами в два ряда, задами друг к дружке, на столах, составленных в одну длинную линейку в центре, грустная женщина с рябым лицом читала вводную лекцию – о каких-то бесиках Фортран и Командорах нортоних. Класс весь насквозь пропахшим был запахами необычайными: подгорелыми проводами, плавленным пластиком, горелой изолентой. Рядом на полу чудовищно трещал какой-то огромный, разогретой пылью пахнувший, серый ящик с ячеистыми дырами. Женщина, лицо которой как-то было слегка стилистически похоже на рытвинки в облицовке класса, грустно рассказывала про вирусы и антивирусы, витающие где-то за границей, в диких капиталистических странах. «Ну как вирус может завестись в этой железяке?» – недоумевала Елена. Женщина все никак не могла прийти до сути – как же этими железяками орудовать? Заскучав, Елена потихоньку включила представляющуюся ей главной кнопочку в трещащем ящике, а потом в туполицем телевизоре. Забегали буквы, циферки. Елена, обрадовавшись, стала пробовать сразу все кнопочки клавиатуры, играя на них почти с фортепьянной быстротой и импровизацией. И особенно ей понравился эффект от кнопочки с надписью «ОК» – она сразу же как-то все приводила в действие, на экране все менялось, происходила какая-то явно химическая реакция

буковок и значков. В упоении, Елена уже долбила кнопочку «ОК» безостановочно – наслаждаясь калейдоскопом. Аня, сидевшая справа, безропотно сложив сливочные ручки на парте перед черным выключенным монитором, изредка заглядывая на экран перед Еленой, лишь сдержанно кхэкала.

– А теперь я объясню вам, – грустно сказала рябая женщина, застрявшая где-то у окна, – как включать компьютер. Там справа есть кнопочка... Только предупреждаю вас сразу: ни в коем случае не нажимайте на клавиатуре кнопочку «ОК»!

Анюта, кхэкнув уже в голос, перегнулась и, заглянув на экран Елены, увидела жалобные сигналы сбрендившего от ее экспериментаторских команд компьютера: весь монитор ЭВМ, сверху и донизу, в строчки, уписан был одним единственным словом: «ОКибка – ОКибка – ОКибка – ОКибка – ОКибка – ОКибка».

Когда перед выходными Семен (ей сначала показалось, что это глюк в трубке, что этого не может быть) позвонил, и, как ни в чем не бывало, пригласил ее смотреть очередной фильм к Варе и Диме, Елена, сама же удивляясь себе, поволоклась к нему – уже предчувствуя, что лучше не будет – а не имея почему-то возможности не досмотреть этот фильм под названием «Семен» до конца.

Траектория встречи была до смешного такой же, как в прошлый раз – и закончилась в том же жестком горизонтальном тупике – которым теперь только служила не кровать матери Семена, а узкая, и еще более неудобная, кровать Семена, в антураже его малопривлекательной блеклой комнаты.

Услышав «нет» (в обидный для него, видимо, момент) Семен неожиданно заговорил с ней резко и грубо, вышел в кухню, вернулся с зажженной сигаретой, нервно курия сел на стул, и пренебрежительно спросил:

– У тебя, что, такого ни с кем еще не было? – таким тоном, из которого следовало, что у Семена-то «такое» бывает чуть не каждый день.

Елена расплакалась.

Семен, через губу, грубо и пренебрежительно сцедил:

– Только давай без слёзков, – и, отойдя к окну и резко развернувшись к ней, сказал: – Значит, такие отношения не для нас. Будем гулять по улицам.

Абсолютно не понимая, почему он разговаривает с ней, как будто она провинилась, и почему он попрекает ее нежеланием быть с ним близкой до свадьбы – и – что самое страшное – слыша в его словах подтверждение интуитивным своим прежним ощущениям: что не просто не любит он ее – и не хочет быть всерьез вместе – а что вообще Семен как-то в такие выси не взлетает, – Елена, еле живая, ехала домой, с каждым мигмом чувствуя, что чем больше ступает по этим топям размышлений о том, «что он подумал», и «что он имел в виду», и «что он чувствует» – тем сильнее испытывает боль, и тем безвылазнее в эти иррациональные топи погружается.

Заявление его о «прогулках по улицам» – вроде бы говорило о том, что отношения он с ней прерывать не хочет. «Может быть, он меня как-то неправильно понял?» – мучилась Елена, – и, несмотря на всю внутреннюю оторопь от его чудовищных интонаций, все ждала, что вот-вот Семен перезвонит, произнесет какие-то важные слова о своих чувствах, и наваждение развеется. «Чем, ну чем я перед ним провинилась?! Зачем он так себя со мной вел?!» – и зашкаливающая, никогда до этого не испытанная степень боли – вопреки всем неприятным, но элементарным, сермяжным ответам, которые подсказывал про Семена разум, – заставляла Елену думать, что она-то действительно к Семену испытывает любовь.

В воскресенье, отправляясь на день рождения к Эмме Эрдман (не пойти было невозможно – потому что кого же тогда еще считать родной, почти как сестра, как не ту, с которой родилась в один месяц и сожрала не один килограмм сладких гигантских сосулук из сока надломанных ветвей американских кленов после оттепели – и сразу же резких заморозков – в детстве), Елена настолько боялась пропустить звонок Семена, что велела ничего не подозревавшей о ее внутренних трагедиях Анастасии Савельевне давать Эммин номер телефона, если кто-то ей позвонит.

У Эммы был раскрыт балкон. Томно тянуло жарким ветерком. Фата занавески ритмично раздувалась, как будто бы под нее залезал как минимум слон – и тут же безжизненно, вслед за исчезновением миража, опадала. В комнате было набито – друг у друга на головах, на тахте, на темно-коричневом старинном маленьком бюро, имевшем на двух ножках двух гарпий с гигантскими деревянными грудями (в тысяче выдвижных ящичков и ячеечек этого дамского бюро, родители

Эммы, как только его купили в комиссионке, обнаружили потайную, выстреливавшую, при нажатии рычажка, выдвижную микроскопическую полочку, с чьим-то золотым кольцом), на низком большом плоском деревянном старинном столике, на телевизоре – всего человек тридцать. Дарья Арзрумова, толстая, бедовая девица, которую Елене всегда было пронзительно жалко – с резкой челкой, с двойным подбородком, с безразмерным животом – и с необоримой жаждой покорять всех встречных молодых людей – дочь известного барда Сергея Арзрумова, играла на гитаре.

– Ха-вай на-жи-ву! – чарующе, с расстановкой, сощуриив мыльные бедовые глаза, выводила Арзрумова – перевыколпаковывая еврейские слова на русский лад под гитару и общую ржачку. – Ха-вай! На-жи-ву! Ха-вай наживу... венисмеха!

Эмма Эрдман перевелась по требованию родителей в литературный класс в довольно далеко расположенной школе, год назад – по каким-то блатным знакомствам Эмминой матери с тамошним начальством, – и с тех пор бедная Эмма из прежде безудержно веселой, ловкой, быстрой, обожавшей бегать наперегонки, лазать по деревьям и хохотать до упаду, упругой и прыгучей как каучуковый мячик, девочки-мальчишки с жесткой гигантской копной вьющихся, выбивающихся из всех приглаженных геометрий крупными завитками, медяно-рыжих густых волос, превратилась вдруг в медленную, смертельно бледную, вечно несчастную матрону, да еще и обзаведшуюся, как-то невзначай за последние месяцы гигантским, вызывающих размеров, сногшибательным женским бюстом.

«Надо же – Эмма Эрдман всегда была как Гаврош – а теперь такая красивая девушка!» – наивно, с любовью, комментировала Анастасия Савельевна, встречая Эмму на улицах.

Елена, однако, прекрасно знала, что пылкую, смешливую, шустрю Эмму, затыкавшую прежде шутками за пояс любого, превратил в несчастную замедленную флегму некий сердцеед из новой школы – белобрысое, низенькое, коротконогое существо, ухаживавшее за Эмминой одноклассницей, но приходившее иногда и к Эмме в гости – и, по наблюдениям Елены, скверно катавшееся в Эммином дворе на Эммином же скейтборде.

Сердцеед был сейчас в гостях, и в эту минуту ошивался с наглым видом у балкона – и, вот, изнагличавшись вконец, завидев Эмму,

рванул белую занавеску в сторону, водрузил на высокий порожек балкона согнутую в колене короткую кривоватую ногу-бутузку – и Эмма, выходя к балконной фракции гостей, поравнявшись с ним, не глядя на него, перешагивая через порожек, как-то по-особенному сжала губы и растопырила ноздри – и Елена знала, по повадкам Эммы, что та взволнована до предела. Здесь же, неподалеку (слева, в прекрасном старинном кресле с низкой посадкой и с плоскими, необычными, очень широкими отполированными темными деревянными подлокотниками – у круглого, как озеро, зеркала) была и его официальная дама сердца – и сердцеед теперь вот уже снувал между ней и кухней – за Эммой.

Елена забралась с ногами в угол дивана – надеясь схорониться за десятком, вихрем сменяющихся на краю дивана, спин.

– Ну, что? Пришла, рассыпалась клоками? – с вызывающей нежностью развернулась к ней тут же Дарья Арзрумова – с той надрывной, громкой зазывающей нежностью безнадёги, с которой обращалась к каждому без разбора, и к мальчикам и к девочкам, но Елену почему-то особенно полюбила – развернулась и схавала за руку: – Споем? Знаешь лучший старинный кулинарный рецепт? – отцепившись, вскинула вдруг как автомат на предплечье гитару: – Кулинарный рецепт: Отвари-и потихо-оньку калитку! – и тут же дернулась куда-то к круглой тумбочке: – Выпьём?! На брудершафт!

Отвалив потихоньку уже и с дивана, Елена эмигрировала в тихую кухню, из двери которой, сшибившись с ней в коридорчике, с недовольной и одновременно самоуверенно оскалившейся какой-то улыбкой с двумя островатыми верхними клыками, выпиравшими над общим рядом зубов, резко выкатился Эммин сердцеед.

– Ленка, я больше не могу никого из них видеть! Обрыдло это всё! – завидев Елену, как раненый зверь застонала Эмма, доставая для гостей из холодильника непечатую бутылку водки (демократичные родители закупили детям спиртного и свалили на дачу в Переделкино справлять шестнадцатилетие дочери взрослой компанией). – Шурочка, как дела, милая? Как я рада, что вы все пришли... – без всякого зазора сменив голосок, сладчайше запела Эмма кому-то за спиной Елены, заглядывающему в кухню – и Елена остолбенела от такой метаморфозы.

Эмма новую свою школу от души ненавидела – и с дрожью омерзения Елене рассказывала, отвернув лицо к окну (как только они вновь в кухне остались одни), как отец одной из ее одноклассниц, режиссер, устроил фальсификацию, и выпустил на ведущем телеканале «проблемный», «документальный» фильм про московских беспризорников – на самом деле заставив весь ее класс – детей из благополучнейших семей – позировать в чистой подворотне, корячась и разыгрывая из себя шайку курящих и пьющих подонков перед камерой.

Среди Эмминых одноклассников, в этом, вроде бы, литературном, номинально, классе, к литературе царило странное, вызывавшее у Елены недоуменную брезгливость, отношение – как к какому-то кичу. Классическими книгами не жили, не пытались их понять – из них вырывали расхожие хлесткие цитаты – и фехтовались друг с другом, кто наиболее ловко их переверт или кто наиболее неуместно вставит их в разговор. При этом повторять одни и те же, уже давно заезженные, цитаты могли до бесконечности, до оскомины. Даже Эмма могла, следуя школьной моде, как попка-дурак, с завидным постоянством, десятки раз за разговор повторить: «Когда дым рассеялся, Грушницкаго на площадке не было!» Причем, заигралась Эмма в эту игру уже так крепко, что использовала она эту цитату как-то вместо собственных мыслей – в зависимости от настроения заменяя ею то насмешку, то восклицание, а то вдруг искреннюю личную грусть.

В гостинной бросались цитатами помельче:

– Остапа несло! – наперегонки, соревнуясь, кто первый выболтнет, спешили крикнуть разом человек восемь из разных углов – как только вновь пришедший взлохмоченный Ванюша стал желать Эмме счастья, успехов в личной жизни, «а с кем – это ей уж самой решать».

Разглядывая опять Эмминых гостей, Елена не могла справиться со странным, интуитивным впечатлением, что большинство из них – резво острящих, соревнующихся между собой в тиражной развязности – никакого отношения к творчеству никогда иметь не будут – и через несколько лет – окончив любой «престижный» институт, куда их пристроят родители, – уныло подстёбывая над всем и вся, увянут в лучшем случае на какой-нибудь секретарской или корректорской

должности в каком-нибудь литературном отделе газеты или журнала – куда их в свою очередь тоже пристроят исключительно по большому благу.

Кривоногий сердцеед, не заметив, что голос его, от нарциссического запала, повышается, принялся хвастать в уголку, слева от темного инкрустированного круглого пуза бюро, тишайшей длинноволосой Нине Трофимовой, как запросто перепрыгивает с бордюра на бордюра на скейтборде.

– Я – дровичный изумруд! – кастрировав Пушкина, обстебала его Даша Арзрумова.

Как только Елена с Эммой вновь отдохновенно замерли, задами на подоконнике, на кухне вдвоем, Эмма вновь со стоном перешла на личности:

– Бырррр... Не могу видеть Арутюнову – ты видела ее ногти?! – стонала Эмма. – Обгрызанные все! Брррр... Что она ко мне лезет все время! – крыла она зеленолицую нервную Лику Арутюнову – единственную из всего класса, кто поступил в школу без блата, и единственную действительно по-серьезному читающую и даже пишущую стихи, немного резковатую и язвительную в общении девушку. На ногти которой действительно здоровее было бы не смотреть.

А через четверть часа, вернувшись в комнату, Елена забавлялась зрелищем зубоказательной, так что сверкали оба ряда, фирменной Эрдмановской улыбки, с которой Эмма любезничала на балконе с той самой Ликой.

Самое интересное, что со стороны Эммы это не было даже лицемерием – а было формой некоей превратно понятной, привитой родителями с младых не обкусанных ногтей, ложной светскостью: на всякий случай поддерживать чудесные отношения со всеми. И Эмма теперь катастрофически не умела решить, с кем она дружить хочет, а с кем нет – и звала на всякий случай в гости всех кого попало.

С выбором профессии была та же фальшивая улыбка: Эмма, в сказочных мечтах видевшая себя ветеринаром, или врачом на скорой помощи – обречена была родителями на «престижный» литературный институт.

Родители Эммы никакого прямого отношения к литературе не имели, но зато всегда чутко прислушивались к тому, что «престижно»,

а что нет, в расхожем мнении их окололитературных друзей. Крайне престижным считалось, к примеру, в глазах друзей, иметь сортир, совместный с ванной «на западный манер» – и Эрдманы, пустив все ресурсы семьи на ремонт, выделали-таки из хрущёбного туалета и ванны соответствовавшее кичу зальце – с зеркалом во всю верхнюю часть стены, стиральной машиной и махровым ковриком между унитазом и ванной – и теперь туда водили гостей на экскурсию. А Елене ужасно жаль почему-то было нежно-голубых псов, на редких, старых, клетчатых моющихся заграничных обоях в уютной, восемьдесят на восемьдесят, диогеновой кубьёкулке снесенного сортира. И уж по совсем загадочной причине вся семья Эммы считала крайне интеллигентным ломать язык: говорили все Эрдманы так, как будто бы обсасывают за обедом довольно большую баранью косточку, валяя ее языком то за щеку, то под нижнюю десну – и при этом воспроизводя параллельно с речью еще какие-то обеденные сытно мнямкающие звуки.

Но людьми Эрдманы были при этом добрыми и очень милыми. Однажды, несколько лет назад Эрдманы, из соображения престижа, решили купить пса экзотической, редкой в Москве породы – название которой Елена и произнести-то затруднялась – и, накопив астрономическую сумму денег, Эрдманы торжественно, всей семьей, поехали к именитому клубному заводчику. Когда Елена пришла вечером смотреть щенка, Эмма предъявила абсолютно больного, в зеленке, в язвах, температуращего пса: «Мы приехали, а эти сволочи не лечили его – они его просто отложили в сторону – и нам даже показывать его не хотели, сволочи – а он весь в язвах, и мы с родителями поняли, что если мы его не возьмем, то он просто умрет через несколько дней там. Мы отдали им все деньги, забрали его и уехали».

И буйный пес теперь бегал по квартире эдаким младшим Эрдманом.

И на чаше невидимых, но самых важных в жизни весов, для Елены это навсегда перевесило любые кичевые чудачества Эрдманов.

Эммин же знаменитый дедушка, Аарон Львович Эрдман (тихий, крайне скромный, маленький старый человек с красивыми, все понимающими глазами, доброй янтарной грустью светящимися), жил от ее родителей отдельно, а на общих праздниках умел – по фронтовой

закалке – хватануть любое количество водки, не пьянея, – и настолько был занят выпуском литературного журнала и перестроечной гражданской активностью, что на кич у него не оставалось ни времени, ни сил, ни желания.

Еще совсем недавно отец Эммы, которого Елена называла «дядя Коля» (так же как Эмма Анастасию Савельевну, следуя дворовой традиции, с детства по-родному называла «тетя Настя»), устраивал для Эммы шикарнейшие детские дни рождения – с выездом на дачу (чудесную, совсем не жлобскую, с легкой, настоящего старинного подмосковного раздолбайского покроя, столь любимого Еленой по Ужарово, большой верандой, с вереницей маленьких комнаток-распашонок) – с загадками, со смешным рисованием (один рисует голову, закрывает рисунок, второй дорисовывает туловище, закрывает рисунок, третий рисует ноги – дядя Коля открывает рисунок – и все упившиеся газировки карапузы покатываются от хохота), с шарадами (как-то раз дядя Коля придумал для шарад никому не понятное старомодное слово: «Ус»-«Пение» – и Елене, как самой рослой и взросло выглядящей из детской команды, доверили играть главную героиню в целом слове – одевшись в длинное взрослое платье до полу, сложив руки на груди, и закрыв глаза, лечь на лавку, а вокруг нее остальные что-то, непонятное никому, пели и сжимали руки теремком вверх – и никто из взрослой команды слово отгадать не смог).

Сегодня вместо шарад были Столичная и Каберне, и Елена, которая и так-то себя чувствовала в любой компании, где больше двух человек, несколько неуютно – а еще и до отвращения ненавидела даже запах алкоголя (тем более, когда он исходил из широко раззябанных ртов крепко выпивших), затосковала.

– Ленка, тебя к телефону... – сделав вдруг узкие, как у японца, глаза, сообщила тихо, на ухо, Эмма, втаскивая в комнатку, под одобрительный гвалт, еще пять бутылок красного.

К восторгу и ужасу Елены, звонил Семен.

– Я слышу ты там в веселой компании? – с каким-то, как ей показалось, шантажирующим упреком заметил Семен.

Елена, примостившись на высокой громоздкой прямоугольной тумбочке, в прихожей, – слева от стеллажа, забитого черненькими, чуть рифлеными, узкими ребрами Брокгауза и Ефрона, – опасливо глядя на гигантскую, арлекиновых цветов, китайскую фарфоровую

вазу, задрожавшую от ее посадки на другом краю тумбочки (эту высоченную напольную вазу, взгроможденную Эрдманами, зачем-то, сюда, наверх, в детстве Елена однажды уже разбила – играя с Эммой в прятки и пытаясь спрятаться в очень удобную и неожиданную для противника тумбочку – резко открыла раскладную лакированную часть, перестраивавшуюся, как оказалось, в стол – и ваза с округлым амфоровым грохотом рухнула на пол: дядя Коля, однако, ухитрился ее склеить), и как можно крепче, до боли в ладонях, стараясь зажать трубку, чтоб не врывались в нее визги и не весьма твердые реплики проходящих по коридору, – испугавшись, что Семен подумает, что она себе быстренько нашла вместо него кавалеров, начала оправдываться:

– Я просто у моей самой древнейшей подруги, у Эммы Эрдман, на дне ро...

– Эрдман? Это не внучка ли того самого Эрдмана... – встрепенувшимся каким-то – неприятно резанувшим слух Елены – вдруг взмывшим вверх, почти женским голосом, переспросил Семен.

– Да, Аарон Львович это ее дедушка...

– Я слышу, там даже и на гитаре играет кто-то? – не без язвительности спросил Семен.

Испугавшись, что Семен и правда вообразит, что у нее тут с кем-то, вместо него, может завязаться роман, Елена быстро, вдавливая трубку в подбородок, затараторила:

– Да нет, это просто Даша Арзрумова, она и играть-то не очень умеет, так тренькает немножко...

– Арзрумова? Это, что, дочь того самого Арзрумова?! – воспарившим взбудораженным голосом переспросил Семен. – А почему же ты меня туда не пригласила? Надо тебе было меня с собой взять! Я люблю такие гости!

– Я уже ухожу отсюда, – обреченно, вся сжавшись, проронила Елена.

– Ты уходишь? – переспросил Семен с каким-то подвывертом. – Замечательно! Приезжай тогда ко мне. Приедешь?

Зачем Семен ее к себе позвал – не для объяснения ли? – в свете предшествующих неприятностей – во весь путь в метро маячило для нее некоей дающей надежду шарадой.

На столе в его кухне с дурацким, перепиливающим душу, символизмом, облетали буроватые, со скрюченными лепестками,

тюльпаны – и совсем нечитабельно-скорченным валялся на столе, на отдалении от прочих, тот, с признанием, не дождавшимся адресата.

Посуленные Семеном давеча, в грубый момент, «прогулки по улицам», закончились, не начавшись, без всяких слов, в той же горизонтали, что и в прошлый раз. Только в этот раз трагикомизма добавила та мелочь, что, когда Семен, полагая, видимо, что не достаточно решительно действовал прежде, с армейской какой-то поспешностью принялся скидывать с себя одежду, – во входной двери, со счастливой пунктуальностью, засквозжил ключ.

– Мать приехала! – ужаснулся, вскакивая, Семен – и с такой же армейской быстротой надел на себя все обратно, и поскакал в коридор отпираться, прикрыв дверь в свою комнату.

– А я – Баба Яга, – любезно представилась Елене, через пять минут, небольшого роста эмансипированная коротко стриженная седая женщина с резкими чертами лица, на кухне – после того, как Семен неуверенным голосом сказал: «Мама, а это Лена».

На этом знакомство, о котором Елена несколько дней назад так много себе навоображала, закончилось: Семен, срочно сбегая из квартиры, повез ее в гости к какой-то Маше, на Савеловский.

Идя рядом с ним по улице, Елена чувствовала, что даже и радости-то в ней от его присутствия нет. Вспоминая свою молчаливую зажатость рядом с Цапелем, она даже и сопоставить-то те, прежние цветочки с нынешней необъяснимой мукой не могла. Вместо нежности, какую она когда-то испытывала к Цапелю, Семен, с удавьей простотой, вызывал в ней абсолютно парализующую, почти гипнотическую, страшную, задыхаться заставлявшую – и действительно ничем не объяснимую – зависимость. Скованно перешагивая через черные, вечерние, лужи, после только что прошедшего, во время бездарных упражнений у него дома, дождя, Елена пыталась поймать мгновение «здесь и сейчас» и уговаривала себя: «Вот – я иду рядом с человеком, которого люблю. Люблю до безумия, до того, что думать ни о чем другом, кроме него, кроме его жестов, кроме его интонаций – не могу. Мы идем в гости. Все ведь выглядит, по крайней мере сейчас, хорошо... – и тут же срывалась: – Но почему мне тогда хочется разрыдаться? И почему я даже не смею ничего прямо высказать ему в глаза?! А только тащусь за ним молча...»

– Раз тебя раздражает запах водки – выпей джину! – недоумевала крохотная, кудрявая, уже весьма набравшаяся и того и другого, крикливо-скандальная двадцатилетняя Маша посреди большой, прокуренной, полной хлама комнаты. – Семен, ну почему она не пьет?!

Размякший от изобилия напитков вокруг Семен назвал возраст Елены.

– Сёма, мля, какие мы с тобой старые! – истерично, с нетрезвыми слезами на щеках кричала Маша. – Вы останетесь у меня на ночь? Куда же вы?

И Елена вздохнула с облегчением, когда спустя поверхностную дегустацию Семеном заграничных питейных изысков, они оказались вновь на мокро темной улице, разводя подошвами бензинные тона единственного фонаря в луже.

Уже почти дойдя до метро, и надеясь успеть на последний поезд, Елена решила звякнуть Анастасии Савельевне – сообщить, что жива, и что скоро будет дома.

Семен, втиснувшись с ней в тускло-серебристый, половинчатый, стильным мокрым куревом разящий козырек таксофона, впервые обнимал ее на улице – до этого любые проявления ласки сводя к узко-напористым, целеустремленным битвам у себя в квартире, а вне дома, ни на улице, ни в гостях даже и за руку ее ни разу не взял.

– Малыш, когда же мы... – заговорил Семен, притягивая к себе Елену за талию дрожащими руками.

Двушка то ли проскочила, то ли застряла – потом все-таки с железно-утробным звуком звякнуло соединение: Елена чуть отпрянула от Семена, прижав трубку к уху. Анастасии-Савельевниного голоса Елена не слышала, но на всякий случай, полагая, из-за странностей связи публичных таксофонов, что ее-то, с этой стороны запутанных проводов, Анастасия Савельевна может слышать, сказала:

– Мама, не волнуйся, я...

Анастасия Савельевна повесила трубку.

– У тебя есть еще двушка? – расстроено спросила Елена Семена, задумчиво взвесив трубку на металлическом безмене рычага.

– Двухек больше нет... Что, мать повесила трубку?

Елена огорченно кивнула.

– Может быть, тогда нам надо вернуться и остаться на ночь у Маши? – шептал Семен, обдавая ее лицо можжевеловыми парами бифитра.

Елена задумчиво мотала головой.

– Малыш... Малыш... – шептал он со своим замшевым «ш» в конце, прижимая мокрые губы к ее губам. – Малыш... Когда же мы увидимся снова? Когда? Когда? Скажи мне: когда? – и руки Семена, притягивавшие ее за талию, шарившие под свитером по ее спине, все больше дрожали.

И Елена с какой-то горечью, с ужасом, с прежде уже охватывавшей ее в момент его ласк оторопью, думала: вот, вместо воображенного мною любимого, запредельно, трансцендентно духовно близкого со мной – какой-то мужчина с дрожащими от желания моего тела руками.

– Когда? Когда мы увидимся? – и по его голосу она точно знала, что имеет он в виду не свидание, где признается ей в любви – а совершенно прикладной интерес – который, если бы Семен любил бы ее, не имел бы столь болезненного для него значения.

– Когда, малыш? – напирал на нее, прижимая ее к кирпичной стенке, подпирившей с правого боку таксофон, Семен.

Елена, уже едва сдерживаясь, чтобы не заплакать, как почти ругательство, бросила:

– Завтра, Семен, завтра... – с интонацией «никогда».

– Зачем ты так жестоко говоришь со мной, малыш... – нес уже что-то несусветное, прижимаясь налитанными джином губами к ее губам Семен.

А на следующий день Елена с утра, вынув из розеток вилки от обоих телефонов дома, взяла ножницы и отрезала их. И легла умирать от горя. И Анастасия Савельевна только через два дня обнаружила перерезанные провода, и ей пришлось вызывать монтера-татарина Рому.

И Елена так и не узнала, звонил ли в эти дни Семен, чтобы попробовать добиться своего «завтра».

А починенные провода ничего доброго с собой не принесли. Классная руководительница Анна Павловна, как раз кстати, чтоб уж всё разом было плохо, теперь, когда весь мир с Еленой был в раздоре, позвонила и нажаловалась Анастасии Савельевне, что Елене, из-за

пропусков, грозит неаттестация в году. И Анастасия Савельевна, вдруг поняв, что Елена не просто «иногда» прогуливала, а и вообще на уроки заглянула в двух последних четвертях только пару-тройку раз, ужаснулась, почему-то, до смерти испугавшись всех эти аттестатов-неаттестатов, всей этой полутюремной советской бюрократии – и закатила истерику.

Елена же забастовала полностью, заявив, что в школу больше ходить вообще не будет, что все бессмысленно. Анастасия Савельевна, как идиотка, с абсолютно не своими, чьими-то, чужими, чуждыми, чудовищными пошляцкими репликами, кричала про то, что надо любить коллектив, что тогда дури в башке будет меньше – чем окончательно уничтожила все внутренние возможности для Елены рассказать ей о своем горе.

– Надо вставать рано, делать зарядку, обливаться холодной водой! – заходясь от спазматического ужаса от вида не встающей сутками с оттоманки дочери, орала Анастасия Савельевна. – Надо ходить в школу и участвовать в общественной жизни одноклассников!

Елена только молча дивилась, как с такой безмозглой бесчувственной дурой, как Анастасия Савельевна, она могла жить под одной крышей, доверять ей, любить ее.

Мать нарочно созвала даже и вечеринку – пригласив любимых студентов и студенток. И, изумляясь, глядя на лица счастливых, болтливых, визжащих, абсолютно влюбленных в Анастасию Савельевну девчонок и мальчишек – громко, сгрудившись гуртом на кухне, бесстыдно, как в бараке, поверявших Анастасии Савельевне и друг другу свои личные проблемы и с деревенским идиотизмом жаловавшихся на своих возлюбленных, – Елена, с еще большим омерзением, хлопнула дверью и ушла на улицу.

– Я не буду тебя кормить! Ты ведь в университет собралась?! – визгливо срывалась опять на следующий день в истерике Анастасия Савельевна. – Не будет тебе никакого университета! Я больше ни копейки тебе не дам! Вышвырнут тебя из школы – сама будешь виновата! Пойдешь работать, зарабатывать! И в университет никакой не поступишь! – ликовала мать.

Елена, на миг, как-то внутренне съежилась от перспективы искать какую-то нелюбимую работу – не по вдохновению, а для заработка, в чем втайне видела что-то крайне грешное, разрушительное для души.

Однако, переборов секундный страх, не сдавшись внутренне, выстояв эту какую-то звенящую секунду, этот момент истины – тут же успокоенно подумала: «Наплевать. Прекрасно. Пойду работать в любую типографию. Фальцовщицей. – (хотя, что такое фальцовщица весьма абстрактно себе представляла.) – А потом поступлю на рабочий факультет университета. Не смертельно».

Села. Тут же, решив, что важность момента все-таки требует встать, – встала, и, глядя во взбесившиеся глаза матери, спокойно сказала:

– Мне ни копейки от тебя не нужно. Прекрасная идея насчет работы. Я уйду от тебя. Уйду к Ривке. И буду зарабатывать сама. А в университет поступлю – хоть ты лопни от злости. Большой привет твоей покойной идиотке мамаше, сгубившей тебе жизнь. И не смей больше орать тут ходить. Я не желаю с тобой больше разговаривать. Это моя жизнь. И я сама буду решать, как мне жить дальше.

И дождавшись, как Анастасия Савельевна, захлебнувшаяся очередной, заготовленной уже было, но разом отмененной, руганью, выбежала из комнаты, Елена рухнула на оттоманку обратно.

Из-за внутреннего столбняка, ощущения вселенского горя из-за Семена, не было сил даже на то, чтобы немедленно встать, собрать вещи, и переехать к Ривке. И Елена решила отложить это до завтрашнего утра. И когда рядом с ней на письменном столе зазвонил телефон, Елена с ужасом, думая, что это – Семен, и на космической скорости прокручивая все варианты – что же ему сказать?! – и одновременно даже радуясь возможности испытать свою волю, встать, подойти к столу и размяться – с невообразимой быстротой бросилась на телефонный аппарат и схватила трубку.

– Кррра-а-асавица... Это я куда-то прррра-а-апал? Или это ты куда-то прррра-а-апала? – заграссировал, затанцевал вдруг – сводя с ума каким-то свежим, неожиданным, давно забытым, жеманным, человеческим, счастливым, умным, игривым тоном – голос Крутакова. – Я уже лет сто о тебе не слыхивал. Жива?

– Женечка... – обомлев, только и сказала Елена, как-то мигом выйдя из уничтожающих разум, волю, гордость, достоинство – рамок навязанной Семеном игры – и войдя, на волнах Крутаковской картавни, в прибой умной, тонкой, прекрасной жизни – с раздолбайскими прогулками, бульварами, книжками – жизни,

казавшейся теперь настолько нереально далекой, что до нее даже и внутренне она не смела дотронуться – после всего этого ада с Семеном.

– Женечка... – повторяла Елена, даже не зная что сказать.

А сама про себя зачарованно говорила только: «Как хорошо! Какое счастье! Не может же быть такого счастья – что он позвонил так вовремя...»

– А я, знаешь, сегодня вечеррром перрреезжаю к Юлѐ, на Цветной, – весело картавил Крутаков. – Вот, звоню тебе телефон на всякий случай туда дать. Юлѐ на все лето в Крррым с хиппанами какими-то шляться укатила. А я там сидеть ррработать буду.

Но тут, после мгновений радости, когда Елене казалось, что изувеченное сердце расправляется, вдруг через несколько секунд гипнотическая какая-то Семѐнова заслонка захлопнулась: «Я ведь даже Крутакову не смогу ничего рассказать о Семене – об этом моем кошмарном позоре. Как мне с этим теперь позором жить?! Что мне делать?! Я не могу больше жить... Нет сил жить... Да еще мать...»

– Беррри ррручку, записывай... – подгонял Крутаков.

Не слушая уже никакого града цифр, забарабанивших в трубку, Елена, как будто в секунде от гибели, с чувством, что перепрыгивает с рушащейся тающей льдины, на которой она пыталась балансировать, – на скалу – с которой еще не понятно – удастся ли перебраться на землю – выпалила:

– Через час на Пушкинской. Ты можешь приехать? – выпалила истошно, из последних сил закрывая какие-то внутренние уши сама же от себя и стараясь не думать, что и как Крутакову скажет – и сможет ли вообще пристойно выглядеть: выпалила просто с безумной, почти суеверной надеждой, что всё прежнее, Крутаковское, дружеское, счастливое, бульварное, легкое – вытащит ее из этого заживо сжирающего ее Семѐнова ада.

– Ну, вообще-то я тут кое-какие арррхивы еще собрррат с собой намеррревался... – удивился Крутаков. – Может быть вечеррром?... А...? Харррашо, давай встррретимся черррез час. В конце концов завтррра перрревезу всё, ничего стрррашного, – согласился он, не без заминки.

Встретиться они договорились в скверике, в начале Тверского. Но Елена, пошивавшись там, и поглазев у клумбы на раскрытые

багровые тюльпаны с черной присыпкой внутри, благоразумно решила бежать от этой флористики куда подальше, прогуляться – и, по какому-то вечному магнитному трюку в толпе, столкнулась с Крутаковым у дальнего перехода, напротив больших пыльных витрин «Наташи» и угрюмого руста сталинского углового дома.

Завидев черную как смоль, небритую щетину Крутакова, Елена твердо сказала себе: «Ни слова про весь этот кошмар. Буду казаться страшно загадочной. Просто...»

– Крррасавица, да ты, кажется, в кого-то влюбилась? – вместо здрасти, спросил, подходя к ней медленным шагом, засунув руки в карманы джинсов, с каким-то внятным состраданием на лице Крутаков.

– Нет, я просто... – из последних сил крепясь, произнесла Елена – и разрыдалась.

Крутаков, ни слова не говоря, уже ловил машину.

– Ррррхнулась совсем, посррреди улицы рррыдать... – мягко заметил он, усадив ее в остановившийся «Москвич». – Цветной, пожалуйста... Или, нет, пожалуй, со Срррретенки вам будет удобнее в перрреулок заехать... Вы уж извините нас за ка-анцерррт, – сувал он через плечо трояк водителю.

На кухне у Юли было подозрительно чисто – и рыдалось, конечно, значительно легче.

Не добредя до кресла, Елена опала на стул, в начале кухонного стола. Крутаков, с какой-то деловитостью, как будто не замечая ее заходящихся, доходящих до икоты всхлипов, с медитативной сосредоточенностью заваривал чай в глиняном заварочном чайнике.

– Сахаррр будешь? – зная, что вызовет улыбку сквозь слезы, нагло спросил Крутаков, иронично на нее зыркнув.

– Крутаков, я знаю, у тебя дела и всё такое... – на секунду как-то пришла в себя и начала вдруг оправдываться Елена. – Я сейчас... – и разрыдалась снова, уронив голову на ладони, а ладони – на колени, и вся сложившись пополам в спазме рыданий.

– Ха-арррашо, силу чувств я уже понял, – подсовывая ей чашку с крепчайшей заваркой под руку, почти пел Крутаков. – Теперррррр объясни мне, чем твой герррой прррровинился.

Захлебываясь, и слезами и чаем, а все-таки стараясь изобразить, что, как нормальная, чай пьет, и одновременно давясь словами и

чувствами, Елена выдавила из себя что-то про «форму» и «содержание» – и про то, что, оказывается, некоторых людей «содержание» не интересует.

– Бррред какой-то! Какая фoorрма, какое содеррржание?! Ничего не понимаю! – Крутаков взял от окна верхнюю здоровенную диванную подушку, кинул ее к газовой плите и уселся на нее по-турецки, прямо напротив Елены, со своей чашкой. – Скажи пррроце, пожалуйста. Самыми пррростыми словами.

– Я тебе и говорю просто... – разрыдалась Елена – которой и так уже казалось, по внутреннему напряжению, что вымолвила она Крутакову самое интимное.

– Давай начнем по порррядку. Кто он? Как его зовут?

Уронив опять голову, Елена разрыдалась с новой силой, и Крутаков, догадавшись по интенсивности всхлипываний, что анкетные вопросы не пройдут, сказал:

– Ха-аррашо, сколько ему лет?

– Двадцать четыре... – выплакала Елена, сморкаясь в подсунутый Крутаковым белый платок, который, уже после того, как она высморкалась, оказался Юлиным кухонным полотенцем.

– Ха-аррашо. Уже кое-что. Вы неплохо спррравляетесь со своей ррролью, Уотсон. А скажите мне, что он, сам, лично, говорррит вам о своих чувствах? Вот не ваши, Уотсон, догадки мне излагайте, а факты – что он вам говорррит о том, как к вам относится?

– Я не скажу тебе, Крутаков, что он говорит мне о своих чувствах! – на секунду, с какой-то яростной ясностью и безнадежностью подняв на него глаза, выговорила Елена – и опав опять лицом в ладони, зашла в такой слезной икающей буре, что Крутаков аж решился встать и налить ей воды из-под крана.

Глотнув залпом холодной воды, которая как-то гораздо больше, чем обычно пахла хлором, Елена в какой-то смертельной храбрости выговорила:

– Говорит, что каждый раз, когда он меня видит, ему хочется затащить меня в койку.

– Ну, что ж, очень достойное заявление в адрррес пятнадцатилетнего ррребенка. Мне все больше и больше нррравится этот очаррровательный, внушающий доверррие человек.

– Мне вот-вот будет шестнадцать, между прочим, Крутаков... – всхлипывала Елена.

– Я же и говорррю: младенец несоверрршеннолетний. А он – чудесный, милый, интеллигентный, судя по всему, достойнейший человек, ррраз такое выговорррит смог. Чем же тебя он тогда не устррраивает?

Все с такой же яростью взглянув на него, Елена выпалила:

– Я люблю его, Крутаков! Я жить без него не могу! Мне всё не мило без него – всё больно! Вот ты не поверишь, весна кругом, красиво – я вышла сегодня на улицу: мне ничего это не надо без него... А когда мы с ним встречаемся...

И тут вдруг из нее полились слова – Крутаков едва успевал задавать ехидные наводящие вопросы:

– А, понятно: не знал прррежде, что тебе нррравятся молодые люди, пишущие заказные статьи в советских газетах! В какой, кстати, газете? Как его фамилия?

– Какая разница, Крутаков... В «Московской правде».

– О! Чудеснейшее место! Достойнейшее!

– Семён сказал, что это – стёб... – рыдала она.

– Ах, так его зовут Семёном? Завтррра любопытствую, вот специально зайду в библиотеку возьму подшивку «Московской пррравды»! А как фамилия? Конечно – стёб! Он еще и очень честный, оказывается! У меня, знаешь ли, есть одна такая подррруга, у которррой брррат – сутенёррр. И когда ей прррямо в глаза говорррят: «твой брррат – сутенёррр» – она стрррашно обижается, и говорррит: «Ну что вы меня обижаете! Мой брррат не сутенёррр – он прррросто ррработает сутенёррром! У него ррработа такая! А так-то он сам-то не сутенёррр, а пррриличный человек!»

По необъяснимой причине ввязываясь в эту как-то исподволь закручиваемую Крутаковым викторину, и пытаясь Семена оправдать, она все больше и больше выговаривалась – и в какие-то секунды ей и самой уже становилось и смешно и дико, от того, что Семен мог ей понравиться – более того: в ужас бросало от мысли, что и вообще она близко к такому совку могла подойти.

– Ясно: значит тебе нррравятся подшепetyвающие и подхрррамывающие?! – резюмировал наконец Крутаков, когда, по его просьбе, она попыталась описать манеру Семена говорить и Семёновы

повадки – и не успевала Елена обиженно что-то возразить, как Крутаков дурашливо переспрашивал: – А ка-аррртавые тебе, ненаа-аррроком, случайно, не нррравятся? Я пррросто с каждой минутой вижу, что шансы мои в твоих глазах повышаются!

– Дурак ты, Крутаков... – смеялась уже Елена.

И тут вдруг, наконец, дошла до главного. Выслушав ее рассказ о Пасхе, Крутаков, вздохнув, и посерьезнев, сказал:

– Ка-а-аррроче: заманил тебя к алтарррю – а потом выяснилось, что он не то имел в виду. Плохо дело. И что ж ты теперррь собиррраешься делать?

– Я не буду никогда с ним больше встречаться, Крутаков, – выдохнула Елена. – Я просто... Я просто... – и разрыдалась вновь.

– Людям надо верррить, голубушка, – отповедовал Крутаков. – Надо ушами слушать, что тебе люди сами пррро себя говорррят! Люди очень часто пррро себя говорррят пррравду, как это ни смешно. Если человек тебе прррямо пррро себя говорррит, что он – подонок – надо ему веррррить!

Елена, не поднимая глаза, проговорила:

– Крутаков, если ты подозреваешь, что я чего-то не понимаю про то, кто он и какой он – то ты заблуждаешься. Я просто люблю его – я не знаю, что с этим делать. Я жить не могу, дышать не могу. Ничего делать не могу. Из комнаты своей выйти не могла несколько дней. Я читать не могу. Я всю жизнь готова ждать, чтобы он полюбил меня, чтобы он изменился.

– Видишь ли, да-а-арррагуша: люди не меняются. Из корррявого табурррета не сделаешь венский стул.

– Я люблю его! – опять сжав зубы, произнесла она. – Я никогда кроме него никого не люблю.

– Хааарррашо, давай поставим вопрррос по-дррругому: что бы ты, вот в идеале, от него хотела?

– Чтобы он любил меня... Чтобы он женился на мне...

– Чудесно! Это упрррощает задачу! Вот не смей больше сидеть дома кукситься: позвони ему, назначь ему встррречу, скажи, что хочешь с ним поговорррить, а когда встррретишься, прррямо так ему и скажи: я тебя люблю, я хочу быть твоей невестой перрред Богом, хочу обвенчаться с тобой в церррки, хочу, чтобы мы были верррны дррруг дррругу всю жизнь. Скажи вот ррровно то, что думаешь, ррровно то,

что ты мне сейчас объяснила. Всё рррешится очень быстррро – вот увидишь!

– Ничего не решится, Крутаков... Я люблю его... Я знаю, чувствую, что он не любит меня. Вернее, что вообще к нему такие категории, как «любит», не применимы.

– О, да! Насчет категоррий – это ты прррава! А тебе нужен вообще такой жених-то, к которррому никакие интерресные тебе категоррии не прррименимы, а? Вот по-взррослому-то подумав? Вот положи рруку на серрдце – судя по тому, что ты рррасказываешь – у вас катастррофически ррразнонапрравленные интерресы!

Уже без всхлипов, Елена встала, подошла к раковине и умылась холодной водой, обернулась к столу – и вытерлась тем же самым несчастным Юлиным полотенцем – только сейчас заметив, что в кухне-то уже совсем темно, что свет докатывает только из прихожей, и чувствуя, что даже и в темноте выглядит наверняка как малиновый распухший урод – и отчасти из-за этого, отчасти просто начав как-то немножко опять стесняться своих откровений, и всей этой мелодрамы, того, что плакала при Крутакове, отвернувшись, ушла в дальнюю половину кухни, к ночью залитому окну. Во всем Юлином доме, завернутый угол которого был виден по левую руку, с ржавой пожарной лестницей, свисающей, почему-то только до второго этажа, – подозрительно не было ни одного горящего окна.

И вдруг как-то неожиданно для себя, спиной к Крутакову стоя, издали, начала жалобно рассказывать про божественную цветовую алхимию колокольного звона в растворе окна Семена в пасхальное утро – когда жаркое золото звука отливало в рдяную зарю – и обратно.

– Знаешь, голубушка, – сказал Крутаков, не вставая со своей подушки, а только громко звякнув позади нее чайником о чашку. – Мне кажется, что пррроблема вообще упрррощается на глазах: ты не возлюбленного в нем искала, а идеального читателя, которррому бы ты рррасказала об этой крррасоте, и которрый бы тебя понял. Прррозу тебе поррра начинать писать, вот что я думаю после всех твоих кррра-а-асивых слёз.

Елена, все так же не поворачиваясь, заявила, что Крутаков ничего не понимает, и, всхлипнув опять, призналась, что больше всего на

Елену с рыданиями, не менее горячими, чем только что извергавшиеся на Цветном:

– Извини меня, я дура, дура! Да провались она пропадом эта школа! У тебя на сердце, наверное, печаль какая-то... А несла я какую-то чушь, самой теперь стыдно вспомнить! Я же не знаю, как тебе помочь – ты же мне не говоришь ничего!

На утро, впрочем, когда обе, мелиорировав остатки слез, сидели за завтраком, Анастасия Савельевна вновь смотрела гурзой, и осведомлялась, намерена ли Елена сходить в школу «хотя бы сегодня, для разнообразия досуга».

Притомившись от материнских всплесков, и не желая тратить времени на дальнейшие виражи, Елена, надев длинную джинсовую юбку, которую носила в школе вместо форменной, синей (так что мать, в общем-то давно эту ее джинсу автоматически считывала глазом, как школьную форму), сложила «школьный» белый пластиковый пакет (набив туда три нечитанных эмигрантских романа, выданных ей ночью Крутаковым), и даже пошла в школьном направлении – в самый последний момент, дойдя уже до школы, сделав ловкий финт на дорожной развилке и свернув в парк, неподалеку.

На узкой зеленой лавке без спинки так не удобно было сидеть – но все сразу забывалось, как только вплывала глазами в текст. Легкими трепетными кастаньетными жестами тревожилась перед глазами гипюровая занавесь зелени берез – вывязанная с такой удивительной детальностью, что, казалось, это небесный фон – изумрудный, – а мелкие вязки листьев, сквозь него просвечивающие – голубые. Да и вообще, казалось, что можно каждый листок рассмотреть в отдельности – вот только оторвать бы взгляд от книги дольше, чем на сотую долю секунды за раз – что, в свою очередь, было не очень реально. Две молодые женщины с беззвучными детьми в колясках, зайдя, как и она, в глушь рощицы, стоя и неслышно болтая друг с другом (из-за отсутствия звуков казалось что они утопи в этом легком, как море, как сбрасывающая с себя тяжесть чуть вертящаяся кисть, подрагивании вязи берез), кинув шерстяные мотки в коляски, вязали – тоже почему-то что-то изумрудное. И солнцем брызжущая аккуратная резная тень березовой ветки колебалась на страшно бледной почему-то ее руке, – сжимавшей книгу, как неудобный, тяжеловатый, веер, посередине.

Через три дня изумрудная анестезия выдохлась. В муках героев перелистываемых страниц стали мерещиться ее муки с Семеном, в нелепице коктейля лиц на улицах – его лицо. Всё, всё, даже самые жалкие его черты, даже его шаркающее «ш», даже его мелкие скверные зубы, зачерненные сигаретной сажей, даже металлический запах курева из его рта – вновь превратились в невидимые рифы в воздухе, ранящие ее, и одновременно манящие. Елена вновь заперлась от наваждения дома, закрыв дверь на задвижку, велев матери не стучаться и не пиликать на нервах – и вновь, без слез, без книг, без мыслей, легла умирать. Жало вошло в самую плоть сердца. Боль была нестерпимая. Спустя двое суток, когда она ничего уже даже и есть не могла, да с трудом и рукой пошевелить могла, Елена, ощутив под вечер, что хуже уже быть не может, решилась рискнуть испробовать Крутаковское противоядие.

– Алё, Семен, – выпалила она быстро в трубку, чтобы не успеть самой себя испугаться. – Мне нужно поговорить с тобой срочно...

– Как делишки? – непрокисшим, как будто в холодильнике пролежавшим все время с момента их первой в жизни встречи тоном осведомился Семен.

– Мне нужно срочно поговорить с тобой, – стараясь не вслушиваться и не вчувствоваться в говорящее чудовище на том конце трубки, выговорила Елена, по Крутаковскому букварю. – Можно я приеду завтра, когда ты свободен? На полчаса буквально?

– А я завтра не могу! Я на свадьбу к одним моим замечательным друзьям еду! – А ты не пропадай, звони...

Елена упала обратно на смертное ложе и, без единой попытки выжить, устала в скорлупу трещины в потолке. Боль, которая заполняла ее всю, вынести было уже не по человеческим силам. «Я больше не выдержу ни одного дня, – тихо сказала она вслух. – Если все не выяснится завтра – то я просто умру». И тут – что-то как будто сдвинулось внутри – и, так же лежа пластом под белым потолком – Елена вдруг в первый раз в жизни начала истошно, лично, молиться, с дикой, безумной, рыдающей, с краю жизни срывающейся, предельно конкретно и абсолютно персонально обращенной просьбой:

– Господи! Пожалуйста, сделай так, чтобы он перезвонил! Я не могу больше! Я не вынесу этого! Прости, у меня нет больше сил – я сломалась. Пожалуйста, сделай так, чтобы он перезвонил! Я не

выживу больше ни дня в этой боли. Разреши все так, как Тебе, Господи, угодно – но пусть он перезвонит сейчас и мы встретимся завтра. Я всё предаю Тебе, Господи.

Ей казалось, что даже белый потолок, подпираемый ее отчаянным, яростным взглядом и молитвенной просьбой, стал отодвигаться вверх.

Через секунду раздался звонок.

– Я подумал-подумал: а я ведь вовсе не хочу идти на свадьбу к этим своим друзьям! Да, в любое удобное для тебя время... – с ужасающей простотой вымолвил Семен ангелами навеянный ответ.

Елена, громко разрыдавшись, вынеслась из комнаты в ванну, сбив по пути мать, уронившую на пол тарелку с котлетами, которые, партизански приготовив, несла ей под дверь, чтобы попробовать соблазнить запахом поесть. Запершись в ванной, Елена рыдала, согнувшись над раковиной – словно ручьи слез могли стечь, чтобы не затопить весь дом, именно в раковину – и, время от времени восклоняла голову вверх – видя в зеркале свое абсолютно счастливое, хоть и зареванное, лицо – и счастье, которым светились абсолютно святыми казавшиеся сейчас (так, что она даже себя не узнавала в зеркале) яркие мокрые глаза – адресовано было не Семену.

– Ленка, у тебя, что, горе? Умоляю: открой дверь, отопри! Ну не молчи же! Нет в жизни никогда никаких безвыходных ситуаций! Что бы там у тебя ни стряслось! Умоляю: отопри дверь – умоляю тебя! Давай все обсудим, расскажи мне, что случилось! Мы что-нибудь вдвоем придумаем! – так испуганно, что даже на крик боялась перейти – причитала шепотом Анастасия Савельевна под дверью.

Когда Елена открыла дверь и со все еще струящимися потоками слез встала на порожке ванной, ей показалось, что мир, взмытый этими ее слезами, вмиг стал другим – и она – другая.

– Все теперь будет хорошо, мамочка, все теперь будет хорошо! У меня не горе, а счастье, мамочка! – плакала она захлеб, обняв мать, стоявшую, разведя руки, посреди разбросанных по паркету котлет, – и вот уже – влёт в комнату и подлёт к окну – за которым все вдруг стало невыносимо ярким, красивым до слез – если бы они еще в глазах оставались – ярким настолько, как будто мир создан в эту минуту.

Станным образом, Елена так доверилась чувству, что все решится наилучшим образом, что даже не отрепетировала никаких

слов – и все полчаса, которые строго отвела себе (пока Семен, паясничая на своей кухне, как обычно, пересказывал какие-то факультетские сплетни – даже не поинтересовавшись, что за разговор был у нее к нему – и радостно сообщал, что мать уехала в какие-то дальние гости), – она промолчала. Через полчаса Елена встала, и сказав: «Ну, мне пора теперь», – быстро прошагав по бесконечному коридору – и сбившись в закидках замка всего-то один раз, отперла дверь и вышла на широкую квадратную гулкую лестничную площадку со следами осыпавшегося мела по углам. Семен, поспевающий за ней, остановился, ухмыляясь в дверях – все еще расслабленно не понимая, что происходит.

Но как только Елена – молясь уже только о том, чтобы не навернуться тут при нем, когда будет спускаться с лестницы – взялась за край перил, Семен, кажется по какому-то захлопывающемуся полю вокруг нее, почувствовал, видимо, постфактум, что это – был последний ее приезд, что уходит она, чтобы никогда больше его не видеть, – и выбежал за ней на лестничную клетку:

– Малыш, малыш, – затрепетал Семен руками вокруг ее тела. – Я не хочу чтобы ты *так* уходила...

Умудрившись как-то на своих тапочках, шаг за шагом, полудовести-полудонести упирающуюся и отнекивавшуюся Елену до своей комнаты, Семен с энтузиазмом попытался взять реванш. Елена, оторопев и опять начисто потеряв возможность произнести какие-либо серьезные слова (и поняв, какую чудовищную ошибку совершила: не сказав все сразу, а понадеявшись на внутреннюю, предполагающую наличие этого внутреннего и в другом человеке, формулу «и так все понятно»), – повторяла его объятия каким-то грустным разбитым зеркалом. Грустнее всего было пытаться запечатлеть миг, когда настоящее становится прошлым. Опрокидывание песочных часов. Мгновенья врезаются в память. Как странно, – думала Елена, – вот почему нельзя этот миг, столь неприличное количество раз уже между нами отретпетированный, поставить на паузу – почему нельзя что-то изменить в этих его как будто бы на магнитофонную ленту записанных движениях – ведь скоро – совсем скоро – Семен, это его лицо с болезненно наморщившимися складками вокруг носа и рта – станет прошлым – именно потому что в настоящем он ничего не исправит, ничего важного не скажет, – как будто видя себя со стороны, как будто

выйдя, от ужаса, на секундочку из своего тела, думала Елена – чувствуя абсолютную беспомощность что-либо изменить.

И, не вытерпев (в тот момент когда Семен, которому явно казалось, что он в миге от достижения цели, начал настырничать в ласках и активно допытываться ответа почему же «нет»), Елена, ужасаясь звуку своих слов, ответила:

– Я люблю тебя, – будучи вполне уверенной, что этим все сказано – и что это – ответ.

– Так чего ж ты тогда? – отвратным залихватским голоском переспросил Семен.

Елена вскочила и отошла к окну.

Семен, поняв, что это окончательное «нет», закурил, и через минуту, стоя за невидимым, но не проходимым валом, воздухом возведенным вокруг нее, спокойно и цинично сказал:

– Что ж. Все равно, через два... максимум через три месяца, пришлось бы сказать: «Поиграли, ребятки, и хватит».

И причмокнув сигаретной затяжкой вышел из комнаты на кухню.

Елена – как ни говорила себе всего сутки назад, что «хуже быть не может» – однако к такому удару оказалась все-таки не готова.

В бурых сумерках комнаты она подошла к открытому окну – малопривлекательному, в сравнении с таким манким окном соседней комнаты. Все еще не веря, что такие страшные слова действительно были им произнесены – Елена наклонилась, перевесившись через подоконник, чтобы взглянуть в последний раз на его двор – в хороводе зажигающихся окон. И тут закружилась голова в полусуицидальном порыве, окно стало заманивать как дверь: «Все кончено, жизнь кончена», – густо нашептывал какой-то, не ее, голос. Елена резко отстранилась от подоконника и отошла к письменному столу Семена, на котором, как ей впотьмах увиделось, лежала, раскрытая где-то на середине, обшарпанная – видимо, библиотечная, – советская какая-то книжонка. Чтобы справиться с захлестнувшей вдруг опять запредельной, непереносимой болью, Елена автоматическим движением, безо всякого любопытства, наклонилась чтобы посмотреть, что за книга – и – глазам своим впотьме не поверила: книжка была раскрыта на странице, где черным по белому, крупно, так, чтобы даже в чернющей разобрать черноте, написан был заголовок главки: «Суровый, но необходимый урок».

Мигом придя в себя, улыбнувшись, даже рассмеявшись тихо, чувствуя, как будто бы чья-то заботливая рука вынимает жало из сердца, Елена вымолвила:

– Спасибо, Господи.

И быстро сказав Семену из черного коридора, что уезжает, вышла за дверь.

V

Доехав, в танцующем, поющем, состоянии до Цветного, она осознала сразу две земные, технические загвоздки: первая – что не знает Крутаковского телефона в Юлиной квартире, а вторая – что сейчас умрет от жажды, а даже копеечки на газировку из пасти автомата, сверкающего, справа от выхода, тремя очами, нету – последний пятак ухнут в метро.

Во рту все пересохло.

У метро было безлюдно.

Всё в том же доверчивом, радостном, по-детски открытом навстречу небу состоянии – зная прекрасно, что это уже баловство – за несколько шагов до автомата газировки она все-таки попросту попросила:

– Мне ужасно-ужасно хочется пить... После этого самого тяжелого дня в моей жизни... Я знаю, что это баловство, но можно – просто без сиропа – просто, как-нибудь, стакан водички...?

Дойдя до автомата с газировкой, она увидела с краю, на мойке, в хромированной пещерке, копейку.

Сглотнув комок подступивших слез благодарности – и вовсе уже погрузившись в ощущение чуда – безграничного, щедро подстраховавшего ее, подставившего ей ладони, когда она падала, – Елена с жадным наслаждением выпила пузырящийся стакан – в нос и глаза стреляющей – газировки, – дав себе зарок никогда больше по бытовым, прикладным поводам чуда не просить.

И в меркло-лиловых потемках помчалась через бульвар.

– Рррепин, ка-а-аррртина «Не ждали!» – Крутаков с издевательским недовольством на роже стоял, по-балетному, в дверях, правым, чуть поднятым вверх локтем опираясь на косяк двери – и не

намереваясь ее, кажется, впускать. – А позвонить не могла? Я пррработаю, между прррочим, сижу.

Но Елена, идя внутренне как будто по какому-то светящемуся коридору, где не было преград – видя дорогу как-то внутри, – уже без малейшего зазрения совести поднырнула под Крутаковский рукав – и впрыгнула, ворвалась в прихожую.

– Нет, вы только взгляните на нее! Человек, которррого она намеррревалась любить до гррроба, заявил ей, что он только поигррррать с ней хотел паррру месяцев, и жизнь ей сломать – а она пррадуется как прребенок! – хумкал Крутаков, который (во время ее пересказа, – прямо от двери, – слов Семена) войдя в Юлину громадную, освещенную только оранжевой настольной лампой комнату, и пробравшись мимо баррикад Юлиных высоких книжных стопок, разложенных на паркете, спешно и ловко теперь собирал на письменном столе, в противоположном краю комнаты, между двумя высокими окнами, какие-то бумаги и укладывал их в ящик слева.

– Мама, не волнуйся, я сегодня ночевать не приеду, – расслабленно отрапортовала Елена в без спросу схваченный (на самом порожке Юлиной комнаты, на протертом паркете зачем-то околачивавшийся) рыжий Юлин телефончик с длинным проводом.

Крутаков аж глаза выкатил:

– Кто тебе... пррррррешил?! Кто тебе сказал, что ты не пррриедешь?! – чуть приглушенным, но яростным голосом ругался Крутаков, уже делая шаг, через ближайшую к нему книжную сопку – затем через вторую, направляясь к ней – явно чтобы попытаться выхватить у нее из рук телефон.

– Не у Ривки, нет, – быстрее-быстрее говорила Елена, пятясь, весело отступая от Крутакова в другой угол, роняя по пути верхние альбомы с верхушек других гор. – Мамочка, не волнуйся, я просто у друга. Я только что рассталась с Семеном... Да, из-за него плакала. Все будет теперь хорошо. Я завтра утром приеду. У меня совсем не осталось ни копейки денег на обратную дорогу...

– Я довезу тебя на такси! – шипел Крутаков, сделав жуткие глаза, уже почти добравшись до нее, пытаясь перелезть через последний высоченный двойной книжный редут и дергая руку, чтобы выхватить трубку.

– Короче, целую, мамочка, – отпрыгнула она от него на безопасное расстояние, сшибив еще одно вертикальное домино из книг, и отвела от его рук телефон. – Не волнуйся, ложись спать.

Не дожидаясь, пока Крутаков придет в себя и начнет орать, Елена, бросив телефон на уцелевшую книжную гору, в два прыжка преодолев еще две книжные башни, сшибив одну из них, рухнула на Юлин широченный диван.

– Лежачего не бьют, Женька, – завидев рядом с диваном его заросшее лицо, с черными злющими глазами, приготовившимися к ругани, расхохоталась Елена, прикрывшись огромной, тут же слева с дивана схваченной, сиреневой подушкой, расшитой какими-то хиппанскими фенечками – бубенцами, колокольцами, зеркальцами, цветами, яркими кисточками. – Разбуди меня когда будем пить чай. Я сейчас умру если не засну на полчаса. Я не буду тебе мешать работать, честное слово!

Утром она проснулась первой, и, еще не разжимая век, моментально же восстановила события вечера и с блаженством почувствовала себя обитателем абсолютно нового мира, где чудеса подспевают вовремя, с педантической точностью, и небо отвечает на просьбы, и заботливо отводит от гибели.

Выбравшись по узкой дорожке-однолинейке между книг из смахивающей на огромный книжный склад Юлиной комнаты, Елена вышла в кухню. Крутаков дрых, на двух, в рядок уложенных, тех самых, прежде служивших ему на кухне креслами, подушках от дивана – видимо, слегка раздвинувшихся пока он спал, ибо джинсовый зад его почивал сейчас на паркете. Видимо, из-за рассветного холодка (окно здесь было нараспашку) дрых он на спине, вдоль кухни, головой к окну, крепко и зябко скрестив крест-накрест руки – без одеяла, и в Юлиной, кажется, желтой вязаной кофте (в рукавах она была ему страшно коротка, а пуговицы сошлись только две – на худом пузе) поверх черной хлопковой рубашки, в которой он вчера ее встретил вечером, и черные длинные волосы с блёстким лоском смешно и ярко расплескивались по малиновому набитому пуфу.

Как можно осторожнее отперев входную дверь – но так и не сумев придумать, как бы защелкнуть механизм замочка так, чтобы он захлопнулся, Елена, выходя из квартиры, просто прикрыла дверь за

собою, весело размышляя о том, что до дому придется ехать зайцем на троллейбусах.

В этот же день, по удивительному совпадению, разрешились сами собой и все проблемы со школой: та же самая Анна Павловна, что давеча звонила стращать Анастасию Савельевну «неаттестацией», позвонила теперь Елене, и самым что ни на есть дружелюбным тоном сообщила, что в рамках какого-то там очередного срочного перестроечного почина, министерское начальство распорядилось у них в школе ввести «профильный» переводной экзамен после девятого класса – профильным был немецкий – и именно от экзамена по немецкому теперь, а вовсе не от посещаемости в четвертях, зависел перевод в следующий класс.

– Приди на экзамен, а? Ну что тебе стоит? – дружески попросила Анна Павловна.

Более того: Анна Павловна рассмешила Елену новостью, что какое-то неведомое «начальство из вышестоящей инстанции» вмиг похерило, не только лично для Елены, но, заодно и для всего ее класса, еще и все занудные земные правила арифметики: и из девятого класса они теперь все прямым ходом переходили в одиннадцатый.

Улыбнувшись опять ангельской расторопности, Елена пообещала на экзамен прийти.

Немецкому их учили нудно, мертво: не смыслом, а «темами» (примерно, как Семен разговаривал). Зазубривать с младших классов обязывали «тему» про Гагарина – и Елена в холодном поту в страшном сне могла с непринужденностью эрудита из «клуба знатоков», блеснуть знаниями о том, что «*hundert acht Minuten dauerte der Flug*». Была «темка» и про Ленина: и все назубок знали, что «*Lenins Mutter sprach Französisch, Italienisch, Deutsch und Englisch*» – и невольно возникал вопрос: и кого это ее полиглотство спасло? (а сам-то упырь с дьявольской изворотливостью и вообще, как утверждалось, мог изъясняться, читать и писать на двухстах языках – и хотелось спросить: а, может, стоило ему, наоборот, немножко больной мозг расслабить?).

Сегодня же новой, прогрессивной, скрупулезно, с надрывом мимики, надиктовываемой Анной Павловной для зазубривания «темой», была, разумеется, «перестройка». И каждый, даже двоечник, в школе – разбуди его ночью – мог четко, как после одурманивания

граммофоном для зомби, выпалить, что «die Umgestaltung sind die zusammenhängenden Prozesse einer tiefgreifenden Demokratisierung der Gesellschaft».

Дьюрька, которому надоело быть попугаем, в сердцах недавно даже заявил Елене:

– Сильно подозреваю, что они нас специально немецкому учат так, чтобы мы никогда ни слова в человеческом разговоре сказать не смогли. Чтобы если мы действительно когда-нибудь в жизни встретим живого западного немца – и он нас спросит «как жизнь» – мы бы тут же начали рапортовать про Гагарина или перестройку.

Впрочем, сейчас, по телефону Анна Павловна – уже сверх всякой меры изумив Елену предупредительностью – клятвенно пообещала ей, что «побеседует» с ней на экзамене просто про ее планы на летние каникулы.

Москву тем временем штормило. И планы были самыми жаркими. До смерти перепугавшись массовых несанкционированных антикоммунистических выступлений в центре Москвы, Горбачев решил «канализировать» (по меткому ехидненькому выражению Дьюрьки) протесты – и, жестоко разгоняя митинги в центре, слить тихонько всех недовольных на окраину – в Лужники, на площадку рядом со стадионом. Задумка была, как сразу же выяснилась, дурацкая: один из первых же митингов во время первого, беспрецедентного, съезда народных депутатов – заполнил почти всю гигантскую (предоставленную властями, сдуру) асфальтированную Лужниковскую площадку – живым, забавным, думающим, пробудившимся людом – не желающим быть быдлом. Немедленно наложив в штаны, от такой массовости, еще больше – Кремль и спецслужбы сделали еще большую глупость: уже собравшихся, в загоне оцепления, велели не разгонять, а доступ к площадке перекрыли военными взводами. И Дьюрьке с Еленой в тот день пришлось пробиваться хитростью – когда, идя от метро, на дороге натолкнулись на военный патруль, преградивший им дорогу, Елена заявила:

– А мы здесь живем – воон в том доме! (и указала на большущий сталинский двор по правую руку). – Нас мама ждет – пропустите нас немедленно.

Дьюрька густо-прегусто, предательски, покраснел от смущения – но Елена, для пущей правдоподобности взяв его под руку, быстрее свернула с ним вместе в указанный двор, к счастью оказавшийся сквозным – и через пять минут они уже перебрались, обойдя конвой, через железнодорожную насыпь, на бурлившую людьми гигантскую площадь.

– Дурачки они там в Кремле, – чуть надувая щеки, комментировал Дьюрька, вышагивая внутри железяками разборного заборчика огороженной асфальтированной площади, широко расправив плечи, в своей белой футболочке с сеточкой, наподобие баскетбольной, на кармашке – выискивая в толпе, к какому бы депутату, приехавшему в Лужники прямо со съезда, подойти потрепаться. – Дурачки они, что сюда, на выселки, народ прогнали. Надеются, наверное, что вон, электрички здесь, выступления заглушать будут! – злорадно прокомментировал Дьюрька грохот медленно проехавшего поезда. – Но только если раньше разрозненные ручейки в центре Москвы протестовали – то теперь здесь миллион будет. А потом и к Кремлю двинет!

Съезд, в честность избрания депутатов на который Елена ни секунды, в отличие от Дьюрьки, не верила – тем не менее, стал, для любого не тупого москвича, и вправду, любимой игрушкой: перед телевизором сидели все, поголовно (сидели, разумеется, вперившись в экран, каждый у себя дома, и Дьюрька, и Елена – шатаясь каждый день потом в Лужники). Впервые, за все советское время, по ведущим, лживым насквозь, контролируемым из Кремля до малейшего пука, телеканалам страны зазвучала правда. И все это – благодаря тому, что чудом прорвавшийся в депутаты академик Сахаров (горячо ненавидимый доярками, кухарками, военными, гэбэшниками и просто молчаливыми идиотами, назначенными в «большинство» съезда) – вдохновеннейше хулиганил – и немедленно же докладывал о происходящем в городе и мире, используя прямую трансляцию съезда.

– Мне вчера позвонила девочка с этого митинга, она плакала, – медленно и лирично говорил Сахаров (и вакханалья массовки съезда, завидев у микрофона его долговязую, худую, нелепую какую-то фигуру – со снежным одуванчиком по краям лысины – сразу же, почуяв звериным чутьем по его интонации, что произнесет Сахаров нечто, от чего они начнут поджариваться, принималась его

«захлопывать», чтоб заглушить голос). – Она плакала после того... – продолжал Сахаров, косовато двигая ртом, и как будто бережно пробуя слова на ощупь, перед тем как их произнести, – ...что эти люди были окружены милицией. Я не сразу смог приехать в Лужники, я не очень хорошо себя чувствовал вчера, но все-таки я приехал. И я говорил с этими людьми – с теми которые там еще остались. Это был очень хороший содержательный разговор о проблемах съезда, о вообще о вещах, которые волнуют людей. Это – наша молодежь, наше будущее – эти люди! Люди, которые активно интересуются съездом, активно интересуются всем...

Телефон у Елены начинал немедленно разрываться:

– Ты слышишь?! Слышишь?! Он о нас говорит! – вопил, в заполошном восторге, звонивший Дьюрька, умудрившийся накануне с Сахаровым на митинге не только поговорить, но даже и заставил Елену сфотографировать себя несколько раз с Сахаровым в момент этих разговоров.

– Ну конечно, конечно я слышу, Дьюрька! – злилась Елена, что он мешает смотреть.

– Мы не можем окружать народ дивизией имени Дзержинского! – махал указательным пальцем на трибунке Сахаров.

– Слышишь?! Слышишь?! Мы с тобой дивизию Дзержинского вчера в Лужниках, оказывается, перехитрили! – торжествовал, хохоча, Дьюрька.

– Дьюрька, замолчи, дай дослушать, – все так же с трубкой у уха, втянув провод из кухни в комнату Анастасии Савельевны, застывала опять Елена у телевизора, и делала громкость побольше, помогая тихим, но яростным ноткам Сахарова.

– Мы не можем окружать народ дивизией имени Дзержинского! Той самой, которая была в Тбилиси, и которая сейчас показывает свою потенциальную силу. В данном случае – потенциальную – но мы знаем, что они делали там, в Тбилиси! – яростно продолжал Сахаров с трибуны – и камера выхватывала среди депутатов хорошо стоптанное, крепкое, сбитое, гэбэшное лицо с отсутствующими бровями, и с орангутанговыми губами, как будто ловящими теннисный мяч, недовольно от слов Сахарова гримасничавшее и трясущееся. Но Сахаров, тем временем, тихим голосом добивал уродов: – И девочки, мальчики, собравшиеся в Лужниках, получают вот такой вот урок

демократии! Мы этого не можем допустить! Я предлагаю на время съезда отменить действие антидемократических законов о митингах и демонстрациях! Никаких разрешений не должно быть! Мы этим тоже компрометируем съезд!

Дьюрьяка аж выл от восторга на том конце трубки.

Даже Крутаков, в обычное время ненавидевший смотреть ящик для идиотов, на две недели съезда перебрался обратно к родителям – потому что в Юлиной квартире телевизора не было («Пррропила на сэйшэне! – в шутку объяснял Крутаков).

А Елена, с какой-то замороженностью, как будто наблюдает кунцкамеру, не верила своим глазам, следя за хамством, с которым Горбачев (никто, партийный выдвигенец, карьерист, парвеню, вовремя почувствовавший конъюнктуру цивилизованных перемен во взрывающихся совковых неандертальских атомных джунглях) смел, восседая под пятнадцатиметровым белым идолицем-статуей Ленина (выставленном в алтарном овальном углублении советского капища – с усеченными колонками по краям и с кроваво красными кромками раздвинутого занавеса – в президиуме осовеченного гигантского зала Большого Кремлевского Дворца), – свысока обращаться к Сахарову, еще и указывать ему что-то, как не выучившему урок школьнику, отчитывать его – вместо того чтобы опуститься перед ним на колени и молить о прощении за все преступления своей партии перед лучшими людьми страны.

– Андрей Дмитриевич! Только я прошу... Я вижу всех вас – и кажда я даю слово – тахда брать! – со своим фрикативным «х-гэ» поучал Горбачов академика, семь лет выстрадавшего в ссылке – за право говорить правду.

– Ну, извините... – скромно и вежливо, развернувшись, отходил Сахаров от трибуны.

– Пожалуйста! – тыкал тут же, через секунду, опять ему рукой в трибунку, стоя как будто сверху над ним, из президиума, Горбачев. – Андрей, Дмитриевич, Андрей Дмитриевич, пожалуйста!

И на ладан дышащий академик, после мерзкой Горбачевской выволочки, придерживаясь рукой за трибунку, возвращался.

В разгар съезда, правда, Сахаров явно понял, что нельзя ждать милостей от такой природы – и стал, вопреки всем регламентам, просто таки выкрикивать правду в отбираемый у него микрофон –

вопреки вопящему, как взбесившийся зоопарк, захлопывающему его, улюлюкающему большинству съезда.

– Я имею на это право! Меня послал народ! – сжимал он худенькую руку в кулаке и потрясал ею.

И действительно – какое-то чудо истощного и бесстрашного говорения правды – на глазах у всего мира – после вечности лжи в стране – свершалось, благодаря ему – одному единственному из более двух тысяч сидевших в зале болванок (если не считать немногочисленных демократов из числа «прозревших» коммунистов – кумиров Дьюрьки – тоже приходивших каждый вечер в Лужники, избранных, в основном, в Москве и в Питере – но, на взгляд Елены, как-то осторожничавших, системничавших, все время как будто оглядывавшихся – как бы окончательно не испортить отношения с партийными паханами, и, на всякий случай, прячущих все-таки в кармане зачем-то партбилет).

– Андрей Дмитрич! Мы вам дадим слово в конце заседания следующего! Зачем сейчас... – возмущался из президиума на матерого волка с чуть подбитым глазом и припухшей челюстью похожий Лукьянов.

– Не давать ему! – кричали в голос какие-то подтягиватели в зале.

– А вот сейчас перерыв! – хитренько показывал Сахаров на часы. – Перерыв! Давайте я сейчас скажу! Я думаю, я много времени не займу!

– Сейчас дать? – смурым, с тяжестью на донце, голосом переспрашивал Лукьянов Горбачева. Сахаров, почти добравшийся уже до трибуны, поворачивался к Горбачеву. Двухтысячный зверинец тем временем, за спиной Сахарова, уже орал в неистовой ненависти. Горбачев с невнятным междометием озадаченно махал рукой в сторону трибуны и почесывал родимое пятно на лысине.

– Не давайте ему микрофон! – изрыгал еще кто-то из-зала.

Но Горбачев, поняв неотвратимое, делал кому-то уже психотерапевтические успокаивающие пассы рукой. Лукьянов, следуя ему, в свою очередь посылал тайные сигналы ладонью своей подконтрольной группе – в левой части зала.

Сахаров, тем временем, быстренько оккупировал микрофон:

– Я меньше всего желал оскорбить советскую армию. Я не оскорблял того солдата, который проливал в Афганистане кровь. Речь идет о том, что сама война в Афганистане была преступной. – (следовали звериные попытки заглушить речь хлопками из зала). – Преступной авантюрой, предпринятой неизвестно кем! Неизвестно кто несет ответственность за это огромное преступление нашей родины. И это преступление стоило жизни почти миллиону афганцев. Против которых, против целого народа, велась война на уничтожение. Миллион человек погиб. И это то, что на нас лежит страшным грехом, страшным упреком. Мы должны с себя снять именно этот позор, этот страшный позор, который лежит на нашем руководстве! Вопреки народу, вопреки армии руководство СССР совершило этот акт агрессии!

Зал бесновался. Сзади, из президиума раздавались заглушающие речь вяки регламентного звонка.

– Андрей Дмитриевич, Андрей Дмитриевич... – загробным голосом угрожающе повторял сзади него, из президиума, Лукьянов.

Но Сахаров, лишь на миг обернувшись в пол-оборота к президиуму, продемонстрировав асимметрично завившиеся вверх, как крылышки, левые краешки опушка его лысины, и болезненно сморгнув несшиеся у него из-за спины, из президиума, попреки, и тут же опять развернувшись к микрофону, продолжал:

– Я выступал против введения советских войск в Афганистан! И за это был сослан в Горький. Именно это послужило главной причиной...

Лукьянов, стоя, в сером своем костюме, с волчьей миной наклонился уже было угрожающе опять – но осекся.

– И я горжусь этим! – говорил Сахаров. – Горжусь этой ссылкой в Горький, как наградой, которую я получил.

Номенклатурная урла в зале орала уже в голос.

– Андрей Дмитриевич! – постарался опять перебить его сзади из президиума Лукьянов.

– Это первое, что я хотел сказать, – невозмутимо, хотя и слегка морщась от всех этих перебивающих шумов, продолжал Сахаров. – А второе – когда речь идет о возвращении советских военнопленных, находящихся в плену. Единственным способом решения этой проблемы являются прямые переговоры между советской стороной,

Кабульским правительством, и афганскими партизанами, которых необходимо признать воевавшей стороной – они защищали независимость своей родины, и это дает им право считаться защитниками своей родины... – (на этих словах даже считавшийся главным коммунистическим перестройщиком, насупленный Александр Яковлев, изредка маячивший в камере в президиуме, шандарахнул чем-то по столу и, в отчаянии откинулся на алую спинку своего стула). – И в ходе этого вопроса я упомянул о тех сообщениях иностранных, которые были мне известны по передачам иностранного радио, о фактах расстрелов... с целью – как написано в том письме, которое я получил – с целью избежать пленения! Это слово прямо... Исключения пленения... Это – проговор – тех кто мне писал! Это – проговор! Чисто стилистический! Просто переписанный с секретных приказов! Сейчас этот вопрос расследуется! И до того, как этот вопрос расследован, никто не имеет права бросить мне обвинение в том, что я сказал неправду! А факты я получаю все новые и новые...

Визжащий звон председательского звонка.

– Я не советскую армию оскорблял! Не советского солдата! – договаривал Сахаров. – А тех, кто дал этот преступный приказ послать советские войска в Афганистан.

Благодаря живой трансляции, съезд казался Елене каким-то огромным, чудовищным театром, где, в зале, слишком ярко были высвечены человеческие уродства советской расы.

Вот – молоденький военный курсант играет желваками с убийственной, тупой ненавистью в глазах, беззвучно выругиваясь на Сахарова с места, весь выпадая вперед всем своим корпусом на собственных, неслышных истории, репликах.

Вот – возмущается речам отщепенца-антисоветчика другой военный – с очень узким наморщенным лбом, с бровями в форме крыла летучей мыши, и с толстыми сочными губами, как замоченный в воде чернослив. И при этом – с прекрасной волнистой шевелюрой: выбрехивает тоже какие-то ненавидящие реплики.

Бровястый седой дородный председатель колхоза – делится негодованием с ведущей крупногрудой политработницей с брошью.

Оловянный взгляд еще одного военного, придерживающегося рукой за впереди стоящее кресло. Мясное лицо какой-то каревласой,

молчащей и явно думающей о надоях в московских спецмагазинах, на заднем плане.

А вот – жизнерадостные свиноматки в едва сходящихся на свинячих статях костюмчиках, желающие чересчур беспокоящего общественность академика с трибуны прочь.

– Крутаков, какой ужас... Это разве люди...? – тихо, смотря спектакль, набрав Крутаковский номер, спрашивала Елена. – Как страшно... Смотреть на лица страшно...

– А что ты хотела, голубушка! – рассудительно замечал Крутаков. – Результат ленинско-сталинской генетической селекции – налицо. Вот он – естественный подбор в действии! Они же не только интеллигенцию уничтожили в стране под корень – но даже и старое крепкое крестьянство, и честных рабочих, которые могли бы за себя постоять. Да и просто убивали ведь каждого, кто думать самостоятельно привык, – потому что самостоятельные личности – угроза для их режима. В живых ведь, по сути, остался только тот, что готов был заткнуться и прислуживать. Три поколения такой селекции – чего ты еще ждала от этих служивых! Вон, для них для всех Сахаров – выродок! Счастье, если сейчас начнется интеллектуальное пробуждение – но новая нация никакого отношения к прежней России, которая существовала до перелома, генетически уже иметь не будет...

В день закрытия съезда Елена договорилась встретиться с Аней Ганиной – поест мороженого у метро Сокол (какая-то появилась диковинка в маленьком, темном кооперативном кафе – «мягкое» мороженое – выжатое, как будто из какого-то здорового тюбика, и политое сверху приторным сиропом). Аня, съезд не смотревшая, а слушавшая только краткие боевые сводки от своих родителей, тактично спросила Елену, во сколько съезд закончится, прибавила к этому еще пятнадцать минут (чтобы Елене дойти от дома), и назначила время встречи.

Елена уже напяливала кроссовки, когда из не выключенного (просто на всякий случай) телевизора – вместо звуков закрытия съезда – засверлил опять всем депутатам советские мозги сварливый, нежный, голосок Сахарова, дорвавшегося в самую последнюю секунду до микрофона. Елена, с одним кроссовком в руках, ковыляя на втором, возвратилась в комнату Анастасии Савельевны. Анастасия Савельевна,

услышав нечто абсолютно незапланированное в трансляции, прибежала в комнату с миской салата в руках (зеленый лук, сметана) который делала в кухне.

– Ты уходишь? А поесть? – востропнулась она – увидев, что Елена куда-то собралась.

– Мам, тише, ну дай послушать же!

– Андрей Дмитриевич, вы пока присядьте...! Или постойте! – с колхозными развязными интонациями махал рукой Горбачев уже подошедшему к микрофону Сахарову.

– Какой хам... «постойте, присядьте». Кем он себя считает?! Как он смеет так с Сахаровым... – стонала Елена, бросив кроссовок на пол. – Хамло.

Анастасия Савельевна молча, с упреком на нее глянув, нервно месила сметану в миске вилкой, усевшись на диван.

Какая-то веселая сучка из общества театральных деятелей, решив попозировать каблучками да новым костюмчиком, выбежала к микрофону, оттеснив Сахарова, ябедничать, что Сахаров-де, выступал на съезде семь раз, а их председателю ни разу не дали слова.

– Не надо! Не надо! – унимал ее Горбачев.

– Я помочь вам хочу! – любовно льнула к Горбачеву через стол президиума активистка.

– Не надо! Вы мне не помогаете сейчас, а мешаете! – раздражался Горбачев – как будто в заведенном механизме добровольных помощниц и помощников что-то сбилось и пошло не по плану. – Вот не надо сейчас!

– Я семь раз не выступал! – отбивался от активничавшей дамочки Сахаров. – Я выступал пять минут при открытии съезда! Остальное – были реплики!

– Товарищи, я вношу предложение компромиссное – кто за то, чтобы дать депутату Сахарову пять минут для выступления – прошу поднять мандаты, – голосом опытного психотерапевта, делая успокаивающие ритмичные пассы в зал поднятой ладонью, заявил Горбачев – кажется, понявший, что если лишит Сахарова слова под завязку съезда – то это станет не только международным скандалом но и перечеркнет вообще весь этот съезд. – Пожалуйста, Андрей Дмитриевич: пять минут!

– Как получится, товарищи, – спокойно сказал Сахаров, и, нацепив на нос очки, отвернулся от Горбачева, придвинулся к микрофону.

Горбачев, заценив это «как получится» – усмехнулся, прикрыв губы мизинцем.

Зал заорал в недовольстве.

Горбачев с доброй улыбкой медведя гризли, завидевшего вкусного туриста на одинокой тропинке – сидел рядом со своим подельничком Лукьяновым: зачем-то на интимнейшей дистанции – как влюбленные, которым надо незаметно передавать друг другу под столом записки или обжиматься.

– Я должен сказать, что мое положение все-таки несколько исключительное, – скромно заметил Сахаров. – Я отдаю себе в этом отчет и чувствую на себе ответственность. И из-за этой ответственности я буду говорить – уж как я собрался говорить.

И, на этих словах, Сахаров, скрупулезно, по пунктам, стал предлагать государственный переворот.

Альтернативная резолюция съезда – которую он предлагал депутатам принять, отменяла вообще вмиг все тоталитарное устройство государства.

– Одна минута у вас осталась, – метрономом отсчитывал ему из-за спины Горбачев.

– Декрет о власти: первое – статья шестая конституции отменяется! – лихим тоном провозглашал с трибуны Сахаров. – Второе: принятие законов является исключительно прерогативой съезда народных депутатов!

Зазвенел председательский звоночек.

Сахаров, даже не оборачиваясь, и ни на секунду не прекращая речи, лишь на миг победоносно высоко поднял вверх правую свою, худую, длинную руку.

– Пропускаю пункт для быстроты! Пятое: избрание и отзыв высших должностных лиц... а также председателя КГБ СССР, председателя Комитета по телевидению и радиовещанию, главного редактора газеты «Известия» – исключительное право съезда. Поименованные выше лица подотчетны съезду и независимы от решений КПСС и ее органов. Шестое: кандида...

Речь Сахарова прервали тройным регламентным звонком.

– ...туры на пост... – храбро продолжал держаться Сахаров. – Пропускаю еще один пункт. Последн... Седьмой пункт! Функции КГБ ограничиваются задачами защиты международной безопасности страны. Я прошу создать редакционную комиссию и на чрезвычайном заседании съезда рассмотреть этот декрет! Я обращаюсь к гражданам СССР с просьбой поддержать декрет в индивидуальном порядке, подобно тому, как они это сделали при попытке скомпрометировать меня и отвлечь внимание от ответственности за афганскую войну. Опускаю аргументацию. Продолжаю.

Вместе со звонком раздался голос Горбачева из-за Сахаровской спины:

– Всё!

– Уже нет давно опасности военного нападения на СССР!

Аплодисменты в зале были таким странными, липли стеной – что Сахаров невольно остановился – и взглянул в зал: поддерживают? Или...? Сообразив, однако, что это его, как всегда, гонят с трибуны, Сахаров, яростным голосом, продолжал:

– У нас самая большая армия в мире! Больше чем у США и Китая вместе взятых! Я предлагаю создать комиссию для подготовки решения о сокращении сроков службы в армии ориентировочно в два раза для рядового и сержантского состава с соответствующим сокращением всех видов вооружения, но со значительно меньшим сокращением офицерского корпуса с перспективой перехода к профессиональной армии.

Раздались жиденькие, процентно несопоставимые со съездовским большинством, аплодисменты сторонников Сахарова.

– Такое решение имело бы огромное значение, международное значение для укрепления доверия и разоружения, включая полное запрещение ядерного оружия...

– Андрей Дмитриевич! – возмущался у него из-за спины (невидный в прямой трансляции) Горбачев.

Сахаров, даже не обернувшись, сделав какой-то особый мимический жест веком правого глаза – как слон, которому в глаз пыталась залететь мошка, и, отмахнувшись, по полукругу, лысой головой, продолжал:

– ...а также огромное экономическое и социальное значение.

Дочитав фразу, Сахаров все-таки обернулся на генсека.

– Всё! – выставил ему ладонь, как запретный буфер, Горбачев.
– Мое выступление имеет принципиально значение, я продолжаю, – быстро проговорил Сахаров и вернулся к микрофону.
– Национальные проблемы...
– Всё! – говорил Горбачев – и истошно звонил председательский звоночек.

– ...Мы получили в наследство от коммунизма национально конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления и имперской политики разделяй и властвуй...

В зале, выхваченный камерой, мелькнул носатый Ельцин – выступления абсолютно не слушающий и болтающий со смеющимся соседом.

– Жертвой этого наследия являются малые союзные республики...

В зале опять начали его захлопывать, прогоняя с трибуны.

– ...и малые национальные образования! – с триумфом, повысив голос, поднял Сахаров обе руки, поставив какое-то неожиданнейшее свободоносное ударение на этих, совершенно в общем-то невыразительных словах. Сморщившись, сжавшись в комок, и страшно разевая, как будто в смертельный бой рванул, рот, выразительно акцентируя каждое теперь уже свое слово пепельно-обескровленными губами, Сахаров явно готов был скорее умереть, чем заткнуться. Спадали совсем уже на кончик носа очки. – ...Входящие в состав союзных республик по принципу административного подчинения! Они на протяжении десятилетий подвергались национальному угнетению. Сейчас эти проблемы драматически выплеснулись на поверхность! Но не в меньшей степени жертвами явились большие народы...

Голос Сахарова стал куда-то уплывать.

– Микрофон, микрофон, – Горбачев завибрировал в воздухе расставленной ладонью – как будто танцует лезгинку, кажется, испугавшись, что академику сейчас, оскандалив съезд на весь мир, еще и микрофон отключат без его, Горбачевской, воли.

– В том числе русский народ! На плечи которого лег основной груз имперских амбиций и последствия авантюризма и догматизма во внешней и внутренней политике. Необходимы срочные меры. Я предлагаю обсудить переход к федеративной горизонтальной системе от национально-конституционного устройства. Эта система

предусматривает предоставление всем существующим национально-территориальным образованиям, вне зависимости от их размера и нынешнего статуса, равных политических, юридических и экономических прав!

– Все-таки заканчивайте, Андрей Дмитриевич! – примирительно-снисходительно проговорил из президиума Горбачев. – Два рехламента уже! Два рехламента!

Зазвенел еще раз звонок.

– Я опускаю все ограничения! – оговорился Сахаров. – Я пропускаю очень многое!

– Всё! – повторял Горбачев. – Всё! Ваше время истекло!

– Ну я заканчиваю уже! – нежнейшим, обрывающимся голосом говорил Сахаров.

– Два рехламента уже истекло! – не унимался со своими регламентами Горбачев. – Я прошу извинить меня. Всё!

– ...Я... внимание... – доносились, уже в отключенный (теперь уже по воле Горбачева) микрофон, жалобные, но дерзкие одновременно, отдельные реплики Сахарова. – Та резолюция, которая...

Камера официозной прямой трансляции по чьей-то команде намертво отвернулась от Сахарова в зал.

– Микрофон! – крикнул какой-то сторонник Сахарова из зала.

– Всё! Всё! – приканчивал Горбачев еще звучавшее – уже так, что не разобрать – где-то у президиума выступление Сахарова. – Всё, товарищ Сахаров!

– Я представляю... от группы депутатов... – доносились, при отключенном микрофоне, еще какие-то реплики надрывавшего свой тихий от природы голос Сахарова – но так ни разу и не сорвавшегося на крик.

– Товарищ Сахаров! Вы уважаете съезд – или нет?! – принялся разыгрывать традиционный партийный детский сад Горбачев.

– Я уважаю съезд, но я уважаю и тех, кто меня сейчас слушает! – на полном серьезе ответил, и не думая отходить от трибуны, Сахаров. – Я уважаю человечество, которое... – утоп его голос опять в шуме.

– Мну... Хорошо... – как с больным ребенком заговорил с ним Горбачев.

– ...обращения... депутатов... городов, – доносились обрывочные срывающиеся словечки Сахарова, лишённого электрической поддержки – но так и державшего свою оборону на трибунке.

– Всё! – хряпал голос Горбачева – вместе с председательским звоночком. – Всё! Всё!

Регламентный звонок противно дзинькал уже не переставая. Развалившиеся депутаты в первых рядах, на которых сбежала камера с опального зашикиваемого академика, зубоскалили.

Строптивый, скрипучий тембр голоса Сахарова еще слышался, но слов было уже абсолютно не разобрать.

– Прошу... Прошу завершать! – густо, самоуверенно выговаривал Горбачев в свой микрофон. – Прошу заканчивать. Хорошо! – отвечал он на какие-то неслышные реплики Сахарова. – Всё! Заберите свою речь пожалуйста!

Упырята в зале покатывались, потешаясь над расправой над капризным стариком.

– Заберите! – повторил Горбачев – который был теперь вновь подхвачен (на очищенном от академика месте в воздухе) камерой прямой трансляции: гордое, сытое, уверенно смотрящее вперед лицо. Улыбочка. Помахивание психотерапевтической ладонью. Знаки кому-то в зале.

Неожиданно все малочисленные сторонники Сахарова (в основном, депутаты, избранные в Москве и Питере), вслед за уходящим в зал, на свое место, прогнанным с трибуны академиком – встали, отвернулись от президиума, и, стоя, устроили Сахарову овации.

– Прошу садиться, – проговорил Горбачев. – Прошу садиться.

В зале возник какой-то конфуз.

– Включите... какой это? Третий микрофон. Что вы хотите? – спросил Горбачев у какого-то седого мужика с зачесом.

– Троицкий! – брякнул тот, тяжело ворочая, из-за какого-то дефекта, челюстью. – Я хочу выразить некоторое удивление по поводу того, что президиум почему-то делит нас, равноправных народных депутатов, на каких-то которым можно выступить по семь, по восемь раз! И почему мы должны слушать товарища Сахарова?! Почему мы должны, так сказать, ему внимать?! Почему товарищу Сахарову мы

разрешаем с трибуны этого съезда обращаться к народам Советского Союза?! Не больно ли много он берет на себя?! Всё у меня!

Бурные, продолжительные аплодисменты двух тысяч отморожков. Блеск зубов и тубетеек.

– Что и требовалось доказать... – то ли грустно, то ли смеясь, проговорил Горбачев, уже где-то за кадром.

И – весь зал уже, подавляющее большинство депутатов, стоя аплодирующих безвестному, но негодующему товарищу Троицкому.

– Прошу садиться, – сказал Горбачев, подергивая в такт словам головой, с длинным белым наушником в правом ухе – в которое ему не понятно кто и непонятно что говорил. – Дорогие товарищи, завершается съезд, тринадцать дней его работы! Я еще раз хочу вас поблагодарить, народных депутатов СССР, за тот охромный вклад, который вы внесли в его подготовку и проведение. Мы все с вами согласились с тем – и я в данном случае отвожу негативные суждения депутата Сахарова, направленные на то, чтобы принизить съезд, принизить его роль, и этапное значение в судьбе нашей страны...

Бурные аплодисменты.

– Позвольте вам, товарищи депутаты... – на мажорной ноте продолжал Горбачев, поблескивая очками и подергивая ухом с наушником, – ...пожелать больших успехов! Впереди у вас огромная работа. И мы уверены, что наш съезд возьмет на свои плечи заботу о том, чтобы дело, которое мы начали по обновлению нашего общества, в интересах народа, на принципах демократии и хгластности, в интересах гуманизации всего на... – прервался, нарвавшись на какой-то разрыв пустопорожней речи. Поднял голову, с видом «нашел!»: —... жизни нашего народа, будет по плечу... ему. Этому съезду. Этому корпусу депутатов. Желаю больших успехов, повестка дня исчерпана, первый съезд народных депутатов объявляется закрытым! – и вытащил из уха наушничек.

Аплодируя сама себе, президиумная дюжина встала навтытяжку, под Лениным, – а перед ними, в зале, встали, плечом к плечу, по-солдатски, все депутаты – и, под угрюмо-невнятно-угрожающую музыку советского, сталинского, гимна, сыгранную без слов, проводили первый съезд в последний путь.

Елена, от ярости, пока гнали с трибуны Сахарова, не заметившая, что съела, на нервной почве, весь подсунутый ей Анастасией

Савельевной салат, всунув матери в руку пустую миску – и зашнуровав правый кроссовок – опрометью бросилась на улицу, даже не считая ступенек скороговорками – потому что даже пропахать носом лестницу было не так страшно, как опоздать к педантичной Ане на сорок пять минут – а именно так она сейчас и опаздывала.

VI

За то время, которое ей хватило, чтобы добежать до метро, Елена (как умирающий, говорят, за секунду прокручивает, как ярчайший фильм, в памяти всю свою жизнь) успела вспомнить все свои прегрешения перед Аней, все свои опоздания к ней на встречи – и малые, и великие – и давние, и совсем-совсем свежие – и за каждое, за каждое из них она теперь мучительно каялась – думая: «Ах, если б не было всех тех моих, прежних, вольных опозданий, из баловства, из-за раздолбайства – Аня возможно бы мне простила сегодняшнее – чудовищное, беспрецедентнейшее по времени – но избежать которого действительно было никак нельзя!» Анюта относилась к минутам, как к угрюмым жестоким вертухаям с ружьями и с грубыми окриками, которых нельзя слушаться, и раз даже разругалась с Еленой, когда вежливо поинтересовавшись (после очередного опоздания Елены), почему Елена не носит наручные часы, получила ответ: «А потому что тогда, Анечка, можно всю жизнь угрохать только на то, чтобы смотреть на часы». Примерно такой же наглый ответ давался и на Анины недоуменные вопросы о том, почему Елена никогда не носит с собой зонт («Я пробовала, Анюта, честное слово! Но я каждый раз его где-нибудь забываю и теряю!») – «А что, подружка, нельзя напрячь мозги, и сосредоточится на том, чтобы не потерять зонт?» – «Анюта, а мозги не усохнут – если всю жизнь транжирить внимание не на что-то важное – а только на то, как бы никуда не опоздать, и как бы не забыть зонт?!»)

Те же – по жару – и по содержанию – дискуссии велись о стиле траты денег. У Елены было какое-то антично-округлое представление о деньгах, как о некоем целом, как о некоей неделимой единице: и поэтому либо деньги «есть» – либо денег нет – вроде как неразменный динарий: не может быть ни больше – ни меньше, просто есть и всё.

Анюта же снисходительно, по доброте душевной, пыталась научить Елену тому, как «считать» и «экономить» деньги: «Подруга, просто надо каждый день подсчитывать, сколько ты потратила. Допустим, мама дала тебе в начале недели рубль – вот ты знаешь, например, сколько от этого рубля осталось в пятницу?» К своему недоумению, Аня услышала честный ответ, что – и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье – и даже в начале следующей недели – у нее, Елены, полное ощущение, что у нее все еще рубль в кармане – до той самой секунды, пока она не полезет в карман и не обнаружит там ни копейки. «А что, сложно посчитать, каждый вечер, сколько ты потратила – и каждый день отнимать от рубля эту сумму?» – сердилась Анюта. Елене же казалось, что это какое-то кощунство – всю жизнь тратить на зонты, часы и подсчет денег – и радовалась, что кратчайшие неприятные моменты («ох, надо же – какой сюрприз – ни копейки не осталось!») – наступали внезапно, без всяких подготовительных, ежедневных, ежечасных, рекламируемых Аней бухгалтерских мук, – до этого же (то есть практически всегда) Елена пребывала в счастливейшем убеждении, что денег у нее хоть отбавляй – миллион. Кроме того – и пожалуй это было самым важным – Елена была убеждена, что нельзя все время подглядывать в собственный карман «сколько там денег?» – надо оставить возможность добрым ангелам смухлевать с деньгами и подбросить тебе тайком в карман, в отчаянную минуту, еще. И добрым ангелом этим, увы, становилась нередко Аня – когда вдруг обнаруживалось, что у Елены не хватает копейки на булочку.

Всю эту свою наглейшую безалаберность Елена вспомнила сейчас, за секунду до того, как подбежать к месту встречи – и готовилась к страшной расплате.

Аня, со строгой, гладкой, прической, вся зятая, собранная, – как назло – прямо под часами (починенными каким-то гадом, как нарочно – работающими теперь с космической точностью) – стояла у метро, с яростно-удивленно-рассредоточенным выражением лица, ясно говорившим о том, что – дожидаться-то Елену она дождетя – вот исключительно из ядерной закалки упрямства и порядочности – но уж даже слова ей не скажет – взглянет в глаза – и никогда, никогда в жизни больше словом с ней не перемолвится.

Увидев Елену, Аня молча высоко вкинула правую бровь – и было абсолютно ясно, что если Елена не предъявит ей алиби типа «мне на

голову упал метеорит» – Анюта немедленно же развернется и, в молчаливом педантичным ликовании, уйдет и прервет с ней всякие отношения.

– Анюта... Сахаров выступал... – решила Елена выпалить правду сразу, не придумывая никаких уважительных причин.

Аня, мигом проглотив готовившуюся гримасу смерти и опустив бровь, как не выстреливший пистолет, сказала:

– Подруга, пошли скорее. В кафе через час закрывают. Расскажи мне, пожалуйста, как это было?

– Анюта... – решила уж всю вину, до кучи, высказать Елена. – Я перед выходом из дома съела... Вот совершенно случайно, честное слово! Увлелась трансляцией просто! Короче, съела салат из зеленого лука.

Аня, на ходу, развернув к ней голову, пару раз резко, на пробу втянула ноздрями воздух и сдержанно сказала:

– А вот это – уже лишнее...

А тем же вечером, Елена с Дьюрькой, уже в Лужниках, узнали, что только у Сахарова, одного-единственного из всего съезда, хватило смелости не встать под советский, карательный, гимн. И Елена еще раз поразилась этой удивительной силе – которая совершается в немоги: когда один-единственный доходяга-старикашка, из-за силы духа, из-за того, что действует по правде, стал вдруг мощнее и важнее, чем вся государственная репрессивная машина, чем все многотысячные, многомиллионные, безмозглые – продажные, отзомбированные, или просто бессовестные – статисты, заживо вмурованные в режим.

А Дьюрька, здесь же, в Лужниках, безобразно поскандалил с Еленой из-за Ани – когда Елена обмолвилась ему про мороженое:

– Мороженое?! Без меня?!

Елена и раньше уже чувствовала, что Дьюрька, видя, с какой дрожащей, обожающей нежностью Елена к Ане относится, – уже жутко просто бесился от ревности: ну как же – Аня, бывшая его подруга детства, несостоявшаяся его шутовская невеста – а теперь проходит мимо него не иначе как с язвительными шуточками, – а Елена с ней – как с ближайшей подругой!

Но здесь – видать из-за мороженого (со стороны, в оглушительно базарящей толпе, ссора наверняка выглядела, как минимум, как спор

об основах государственного устройства) – Дьюрька уже просто не мог сдержать склочные, ревнивые нотки:

– Твоя Аня – трусиха! Ты видела хоть раз, чтобы она с нами на митинг сходила?! Аня так и будет жить всю жизнь в своей норке, никуда никогда нос высунуть не посмеет! Что бы в стране ни происходило!

– Не надо врать, Дьюрька – про «трусиху»! – разозлилась Елена. – Аня, между прочим, уже давно мужественнейше потребовала, чтобы ее даже в классном журнале еврейкой записали – в отличие от тебя, Дьюрька! Аня, к тому же, карьеру себе в комсомоле, как ты, никогда не делала!

– Я в комсомол пошел, потому что я хотел занимать активную позицию! – уже с раскаленно-малиновыми ушами и пошедшими бордовыми пятнами щеками кричал Дьюрька. – А Аня с ее молчанием – классическая питательная среда для любой диктатуры! Благодаря таким тихоням, как Аня, Гитлер когда-то к власти пришел! И Сталин благодаря таким молчащим тихоням репрессии осуществлял!

– Аня никогда в жизни ни под каким идеологическим соусом не сделает никакого непорядочного поступка – ты ее с трусами-то не равняй! – горячилась Елена, обидевшись за подругу. – Аню убить можешь – но она ничего против совести не сделает. Аня, между прочим, политинформации в младших классах, как ты Дьюрька, никогда не вела – про заговор американской военщины!

– Я так говорил, потому что я в это верил... Потому что мне так говорили! А как только я узнал правду, я... – разъяренно плевался Дьюрька.

– А вот Аня от природы – понимаешь, Дьюрька – от природы! – никогда ни в какое такое дерьмо не вляпается!

– Да?! А молчать Аня твоя будет, если убивать других будут! – бесился Дьюрька.

Близость набережной, жара, ясный летний солнечный вечер, сандали на ногах большинства «митингующих», приятные, осмысленные, хотя и горланящие лица вокруг, молодые ребята – вон, за Дьюрькиной спиной – делящиеся друг с другом бутербродами и наливающие всем желающим чай из термоса, какой-то невыездной русский грек, забавнейше объясняющий, со сказительными средиземноморскими красочными деталями мифа, поодаль, в толпе,

историю своего народа – все это придавало демократическому сабантую что-то невыразимо дачное, интеллигентское: как какой-то большой день рождения у не близких, но вполне симпатичных друзей, на лужайке в загородном доме – куда битком назвали зачастую смешных, одержимых своими идейками и наповал разящих крикливой детской искренностью, но бесконечно милых, вовсе не злобных, а наоборот каких-то даже альтруистичных, идеалистов – вечных студентов. И эта Дьюрькина маечка, наконец, воротничком которой он попыхивал, держа обеими руками за мятые уголки... И ругаться – в оцепенении, вдруг накатившем на Елену в центре этой жаркой асфальтовой лужайки (как накатывало часто, очень часто – вдруг, в разгар какого-нибудь бурного внешнего события, – или даже во время не очень интересовавшей ее, никак не затрагивавшей ее внутреннего мира беседы с друзьями, – когда она внезапно – от живого, жаркого образа, возникшего внутри – вдруг отчетливо начинала чувствовать две себя: одну – правдоподобно изображающую внешнюю жизнедеятельность и даже общительность, – и другую себя – настоящую – существующую всегда как бы в параллельном пространстве – доступ к которому никто из внешних людей не имеет) – не хотелось.

– А этого мы, Дьюрька, не знаем – как ты еще себя поведешь, если вокруг что-то действительно страшное происходить будет! – орала на Дьюрьку, тем не менее – наплевав на собственное мечтательно настроение, как бы слегка слушая себя со стороны – и даже дивясь собственному задору, Елена. – Заступишься ли ты за кого-то, кому будет угрожать реальная опасность? Никто этого не знает!

– Ну и иди к своей любимой Ане! Жуй мороженое с ней! – не на шутку уже оскорбился Дьюрька – и даже ушел продираться к слезшему с трибуны коротенькому популярному депутату из межрегиональной группы.

Через ровно пять минут, впрочем – опять уже, пихаясь и хохоча – они обсуждали реакцию массовки съезда на Сахаровский декрет о власти.

И Елена, уже в какой раз, подумала: «Как странно представить, какой припадок с Дьюрькой случился бы, прознай он, хоть намеком, про то, что произошло у меня с Семеном: ничего кроме глупого, детского, смешка от Дьюрьки я бы не услышала».

Рассказать о драме с Семеном безгрешной Анюте – значило бы рискнуть из подслеповатой любимой подруги сделать еще и глухую и немую. Более чем достаточно было того, что Ане, в отличие от Дьюрьки, Елена без ущерб, без риска себя ранить, могла, наворачивая сжиженное фиолетовое (из-за какого-то химического соуса) мороженое, рассказать какое-нибудь понравившееся, красивое место из книги, – и Аня чопорно, насупившись, ее выслушивала, а потом говорила: «Да, это красиво». И это уже, на внутренних весах Елены, было очень и очень много.

С Эммой Эрдман говорить по душам было в последнее время еще более рискованно – как-то раз, месяц, что ли, назад, столкнувшись с ней, когда выбегала на выставку – встречаться Семеном, Елена имела глупость обмолвиться, что ее пригласил на выставку ее университетский преподаватель; замученная, бледная Эмма с натужной веселостью сказала: «Ничего себе, Ленка! Знай наших!» – и после этого «знай наших» Елена до сих пор проклинала себя за это свое неосторожное откровение – и очень боялась, что Эмма что-то бестактно переспросит – и чувство было, как будто сама же себе харкнула в душу.

Лада, которую Елена встречала у подъезда регулярно, – томно, без спросу принималась рассказывать о каком-то фарцовщике, с которым у нее роман.

И любых личных разговоров Лады Елена боялась как порции отравы.

Словом, как-то так получилось, что из всех друзей, Крутаков стал-таки единственным, кому Елена душу изрыдать все-таки смогла. Несмотря на то, что рана в сердце была обезврежена, а жало извлечено – боль, подспудная, дававшая себя знать в самые неожиданные моменты, из-за самых глупых ассоциаций, все равно, где-то на донце сердца, до сих пор саднила. Крутаков (по ее внезапному заледеневшему молчанию в разговорах) прекрасно это чувствовал – и делал все, чтобы только Елену, во время их встреч, развлечь, сбить с этих подспудных, болью ее пронзающих, мыслей. Другом Крутаков оказался действительно потрясающим: хотя в прежние месяцы нет-нет да гащивала у него какая-то меланхолия – тут, как только он почувствовал, что Елене и вправду нужна его дружеская помощь, – ни от какой Крутаковской меланхолической хвори не осталось и следа.

В первый же день, как только Крутаков переехал обратно на Цветной, Крутаков не просто отправился с ней на весь день гулять – но и впервые в жизни шлялся с ней без всякой цели – ни к кому, ни к каким загадочным «старрринным дрррузьям» и «старррым подррругам» по секретным делам не заходя, а без умолку с ней болтая – спрашивая ее о Склепе, о их тогдашних походах, не давая умолкать ей, – а, как только Елена внезапно умолкала, Крутаков с веселым изобретательным остроумием, и редким нахальством, вызволял из нее такие подробности воспоминаний, о возможности вообще выговорить-то которые, во внешнем, физическом мире, она прежде и не мечтала.

– Ну? И чего ты замолчала? Что значит, что Склеп «молчал сидел»? Если он молчал – то для того, чтобы это молчание обррисовать, тебе, голубушка, молчать недостаточно! Что ты в эту секунду пррредставила? Что у тебя было перед глазами? – наглейше осведомлялся Крутаков, усевшись на ту самую скамейку с изогнутой, как музыкальный ключ, деревянной спинкой – в сквере Сретенского бульвара – где чуть больше года назад сидел, перед своим исчезновением, Склеп.

– Знаешь, Женьк, он молчал так – что это молчание было громче, чем если бы миллиард человек вместе заорали!

– Ха-а-аррашо, уже неплохо. Но – о чем он молчал? – игриво наклонив патлатую голову, накручивая на мизинец, как на бигуди, черный локон, переспрашивал, уставившись вишневой чернотой в ее глаза Крутаков.

– Не могу выразить это... Это невыразимо. Что-то загадочное, чудесное, чуточку сумасшедшее – и, одновременно, грозное – потому что ведь это была его последняя встреча с нами – и он наверняка, наверняка это предчувствовал. Не могу выразить!

– Не можешь выррразить – тогда пррридумай эквивалент. Символ. Метафорру.

– Ах, символ ты хочешь, Женька! – хохотала Елена. – Тогда... Он думал что-нибудь вроде того, что: «Никогда не пейте из общественных стаканов, не вытерев их предварительно носовым платком! Эмпатия ко злу недопустима! И даже в гостях у друзей не пейте из кружек иначе, чем повернув их ручкой на север – а сами себя – лицом на восток!»

Крутаков хохотал тоже, распрямив свой сверкнувший от солнца локон, и примирительно говорил, что «для перррвого рррасказа – сойдет».

– Вообще, знаешь, голубушка, о чем я сейчас подумал... – тянул он вдруг, посерьезнев. – Насчет «дематеррриализации» Склепа – не знаю, прррава ли ты... Но навскидку вот подумав: судя по всему, что ты о нем рррасказываешь, он не бррросил бы своих – он бы к вам верррнулся, даже после того, как его вытурррили из вашей школы... Если б мог... А значит...

В этот-то день и началась между ними эта, так захватившая ее игра в «рррасказы» – правила которой устанавливал Крутаков, устанавливал на бегу, на лету, на излетах бульваров, обмолвками, подхватами, – короче, жухал как мог – но остановиться и не играть с ним, от азарта, и жгучего наслаждения, было уже невозможно.

– Ну и чем уж так уж хоррроша твоя Аня? – как бы невзначай задирался Крутаков в другой день – валяясь с книжкой, на Юлином диване (даже без ругани вернувшись в ту же позу – из которой Елена его вытащила – поскребясь в дверь, зайдя опять без звонка, не предупредив заранее по телефону – потому что опять оказалась в центре без Юлиного телефонного номера). И одновременно – по своей страсти делать три дела сразу – читая, болтая с ней, Крутаков сейчас мельком косился еще и на какой-то холщевый мешочек, торчавший слева от дивана, на паркете, между двумя книжными колоннадами. – Как ты думаешь, ничего если мы это вскррроем – тут у ЮльЫ орррехи – жрррать охота, безумно... Недостаточно, голубушка, пррросто сказать, что человек – «хорррроший»...

– Ну как ты не понимаешь! – возмущалась Елена – аж спрыгнув от возмущения (ну и еще немножко – от любопытства в связи с анонсом орехов) с подоконника – второго относительно свободного, расчищенного места в комнате кроме дивана – поскольку письменный стол теперь и креслице рядом с ним, и левый подоконник, были завалены еще и Крутаковскими, привезенными им из дому книгами. – Как ты не понимаешь!

– Ррраскажи мне, чем она хоррроша! Я не вижу! – нагло переспрашивал Крутаков, увлеченно пытаясь длинным острым ногтем подцепить заштопанный намертво поперечный шов на холщевом мешке – судя по дальним наблюдениям Елены, кажется, почтовом.

– Ну ты издеваешься, что ли, Крутаков! – всерьез сердилась, от его подначивающих вопросов, Елена, одновременно неотрывно уставившись на мешочек тоже. – Как ты можешь не чувствовать, насколько она прекрасна, после всего того, что я тебе про нее рассказала?! Есть вещи – хорошие сами по себе! Даже если в данную секунду они никак не проявляются! Они – хороши по своей сущности!

– Ну чем, чем она хоррроша? Тем, что она тебя моррроженным корррмит? – уже откровенно дразнился Крутаков – пытаюсь узко заточенным острием ногтя на изящном, узеньком, как у девушки, большом пальце вспороть шов.

– Крутаков... Ну это же... Это же так же, как... – в бессильной ярости пыталась переспорить его Елена, усевшись обратно на подоконник. – Это же... Так же как... Как бутон крокуса – он прекрасен сам по себе! Тебе же не взбрдет в голову переспрашивать меня, чем хорош бутон крокуса! Я знаю, что когда бы этот бутон ни распустился – он будет прекрасен! Я просто чувствую, как Анина душа прекрасна – и всё! Я вижу, как прекрасна ее душа – так же как бутон крокуса!

– А вот прррро крррокус – это уже лучше... – нагло хохотал Крутаков. – Грррубовато, конечно – но все ррравно лучше. Да-а-аррагуша, ты не пррритацишь из кухни ножик – лень черррез дебррри прррыгать – тебе там быстрррее... – и только сейчас, отойдя от всполоха раздражения, отгорячившись, глядя в смеющиеся глаза Крутакова, Елена понимала, что задирался он сознательно – а теперь наслаждается тем, что она, разозлясь на него, выразила себя, наконец, до последнего крокуса. – Видишь ли, недостаточно пррро перррсонаж сказать, что он «хоррроший» – пррравда ведь? – невозмутимо продолжал Крутаков. – Ты ведь это понимаешь? А Дьюрррка? Дьюрррка у тебя – какой перррсонаж – положительный – или отрррицательный? – опять дразнился ей вслед Крутаков, когда Елена злобно уходила в кухню на поиски холодного оружия.

– Дьюррка? Не знаю пока... Уютный... – рассеянно отвечала Елена, медленно продираясь сквозь книжные лабиринты к дивану с тесаком. – И вообще, Крутаков, это все неправильно – невозможно оценивать героев внутри искусственно суженных рамок. Хорош герой или плох – вообще могут знать только ангелы, после того, как человек пришел на небо с земли. Мы ничего ни про кого не знаем, на самом

деле... Это устаревший примитивный подход к теме, к литературе вообще – пытаться сузить рамки земной жизнью!

– На-а-ахалка... – довольно хумкал Крутаков, аккуратно взрезая мешок бережно переданным ею ножом и тяжело роняя мешок обратно, вниз, возле себя, по левую руку, рядом с диваном, на паркет.

– Нет, ну то есть про некоторых гадов, конечно, все понятно заранее... – тут же смеясь, поправлялась она, с легкой обидой глядя на откровенно маленькую кучку миндаля в скорлупе, которую ей Крутаков, зачерпнув, в горсточке, передавал.

Из-за того, что Крутаков захватил крутейшую, удобнейшую, шикарнейшую, гигантскую хиппанскую подушку, подбитую под ним в изголовье, как гора, Елене пришлось довольствоваться сваленными в кучу, по правую руку от него, подушками простыми – обшитыми пестрыми ромбиками – кусками ситца. У Юли был какой-то явный талант – если не сказать неодолимая страсть – все обшивать – даже стены в комнате вокруг были обклеены не обоями, а светлой очень плотной льняной холщиной. Холст – светлый, тяжелый, отбеленный, заменял и занавески – одним куском – на каждое окно. Мешочек же с орехами, и вправду оказавшийся с сургучом, почтовым, выглядел сейчас неким приложением к этим стенам.

– Дррруг Юль! какой-то из Крррыма ей прррислал... – пояснял Крутаков, держа орех над книгой – составив джинсовые коленки перед собой домиком. – Вторрой мешок между прррочим. У Юль! выдерррки не хватило – выжрррала перррвый – и рррршила махнуть лично туда, где такое прррастет. Нифига не сезон пррррава сейчас пока еще, – деловито раздризгивал Крутаков ногтями верхнюю миндальную скорлупку – матовую, как будто присыпанную мельчайшим золотистым песком, с береговым рельефом в мелких продольных волнах – и под ней уже виднелась скорлупка настоящая – жесткая, гладкая, но в ноздреватых дырочках, выделанных как будто иглой.

Мешочек с сургучом, посылки из Крыма... Елена моментально вспомнила нестерпимый, удивительный, раздрававший переносицу и лоб, ярко-желтый айвовый запах – насквозь пропитывавший Крымские посылки, которые Глафира иногда (с проводником – так что приходилось ездить на вокзал) – получала из Крыма от троюродных родных, осевших, после бегства Матильды из Минусинска, в маленьком буйно-акациевом городке у самого Черного моря –

Кераимиде; и – мгновенно зримо очутилась в уже залитой запахом айвы Глафириной крошечной кухне в Замоскворечье: белый сервант справа – впереди крошечный столик, вдоль окон, с раскатанным тестом (Глафира, стоя боком к ней, граненой рюмочкой, выдавливает из теста кружочки на вареники с творогом), слева – холодильник, в уголке за ним раковина, а рядом, впритык к раковине – еще один сервант – где, в нижнем, захлопнутом белоснежными воротами этаже, хранятся – в колористическом разнообразии – словно драгоценности на цыганский лад – по-настоящему оценить которые можно только выставив сокровища на подоконник, на солнце, – преобразенные дары из Глафирино Ужаровского сада в прозрачных стекляночках – с обязательной вощёной бумажкой, перехваченной резинкой – а сверху, на бумажке, надпись, синим шариком: «крыжовник», «антоновка с черноплодкой», «лесная клубника», «черемуха», «малина». Елена, разглядывая кружева из теста, которые Глафира, весело вздернув их рукой вверх и взглянув в них на просвет, теперь заново раскатывала скалкой – чтобы вновь начать выдавливать опрокинутой граненой стопочкой кружки вареников, – стояла в дверях – и, чувствуя, как от незнакомого запаха уже начинает кружиться голова, потянулась и увидела сверху, на шоколадной обивке плоской полочки серванта, солнцем залакированные желтые, странные, нелепой, лепной формы благоуханные плоды – и тут же впила зубами – мгновенно задохнувшись от спазма вязкой душистой горечи, не дававшей теперь даже глотнуть. В недоумении, кусая еще и еще кусок, Елена услышала низкий, грудной, прокуренный смех Глафиры:

– Ну подожди же – дай сварю варенье! – худенькая Глафира, не успев даже вымыть руки от сыпкой муки, обтерев наскоро кухонным куском хлопка, висевшем у нее, спереди, за пояском халата, подскочила и гладила ее по голове. – Айву нельзя так есть...

В Крыму, некогда, после спасения Матильды из Минусинска (Матильда примеривалась-примеривалась к переполненным русскими беглецами, в Турцию и Грецию отходившим кораблям, – да так и не сумела решиться уехать на чужбину с родины), жизнь у Глафиры даже под большевиками была почти барская – свой большой двухэтажный деревянный дом, недалеко от моря. Жених Глафиры, Георгий, воевавший у Колчака, был убит в Екатеринбурге красными. А брат же его – редкостный хлыщ Савелий (как выяснилось – уже, увы, слишком

поздно – пройдоха, приспособленец, находивший, как подмахнуть, ради сохранения шкуры, любой власти – хоть зеленым, хоть Петлюре, хоть Ленинюре – тайком переметнувшийся к красным в Екатеринбурге – почуяв, что те успешно наступают, и вот-вот займут город – и, когда-таки красные банды город заняли – чуть ли не бывший виновным в расстреле собственного брата – как говорили потом уцелевшие земляки, – и как минимум не попытавшийся его защитить – как признавал и сам Савелий) проведая, что они в Кераимиде, примчался свататься к Глафире и, когда та, не зная еще всей этой истории, из ностальгии по прежней жизни (ну как же – земляк, родной брат расстрелянного жениха), согласилась, – устроился так, чтобы от большевистской власти получить в Кераимиде пост главного инженера (с высшим образованием в услужении у новой, незаконной власти людей тогда еще было мало). Дом содержался Савелием (из-за его связей) с богатым размахом, была прислуга – однако в первый же год замужества Глафира обнаружила, что всю женскую часть прислуги придется разжаловать – из-за того, что Савелий, одержимый патологической, болезненной манией, не давал ни одной из работавших у них девушек проходу. Осознала, в каком кабальном, унижительном браке оказалась, Глафира уже слишком поздно – после того, как родила первого сына – и, по какой-то глупой кротости, из-за ложного чувства «ответственности» перед жившей с ними матерью (которой ни слова про гнуса Савелия – тоже из-за какого-то идиотизма – не говорила), и из-за испуга за сына, на развод сразу не решилась. Будучи пойманым с поличным – на попытке прижать очередную девушку в углу – Савелий, как последний подонок, лил слезы, клялся, что это первый и последний раз, грозил, что покончит с собой, если Глафира от него уйдет, кричал, что Глафиру любит. В общем, вся эта погань продолжалась до начала второй мировой – когда – по какой-то неизвестной причине, к Савелию начали наезжать визитеры из Москвы – и усиленно приглашать переехать «с повышением» и «с улучшением жилищных условий» на работу в Москву. Будучи к тому же еще и законченным трусом, и зная о терроре в Москве, Савелий, всеми силами от переезда туда отбрехивался – до самой последней невозможности. И вот – эта невозможность настала. Переехать «приказало начальство». Предоставив, впрочем, в Москве жилье – квартиру одного из вышвырнутых – в неизвестном направлении – не

известно, не на тот свет ли – старых жильцов. Матильда, как будто почувствовав неладное, от переезда из Крыма в Москву наотрез отказалась – и прожила там, в результате, до окончания войны.

Когда грянула война Советского Союза со вчера еще любимым союзничком и поделничком по переделу Европы – Гитлером, стало ясно, что для Савелия, с его недюжинными инженерными талантами, присматривали место в инженерных войсках.

Савелий до смерти испугался за собственную задницу – и решил пустится в бега, пытаясь избежать отправки на фронт: выехал из квартиры и прятался – у кривой-косой страхолюдины-уборщицы (которую согласилась за год до этого – ввиду откровенной уродливости и мужиковатости той – нанять Глафира).

В позорном октябре 1941-го, когда немцы атаковали Москву с воздуха, и наступали с суши, а все партийное и советское начальство во главе со Сталиным браво паковало чемоданы, готовясь, как крысы, дать драпу из столицы, – в царившей вокруг поголовной панике, когда закрыли метро, и мародерствовали бандиты в закрытых магазинах, Глафира, с тремя маленькими детьми (меньшая, Настя, успевшая в Кераимиде только родиться, и тут же перевезенная в Москву – была посажена в коляску), вышла на Волоколамское шоссе и пошла куда глаза глядят – хоть в любую деревню – прятать детей от бомбежек. Обещав при этом Савелию немедленно прислать ему весточку, как устроится.

Приютили ее с детьми в деревне Клушино, под Москвой.

К несчастью Савелия, уборщица, приходившая с ключами в их квартиру проверять почту, знала, где прячутся от бомбежек Глафира с детьми – и когда Савелий пробрался тайком как-то в Клушино навестить Глафиру – уборщица уже успела там побывать: хлопнулась перед Глафирой на колени, и рассказала, что больше так не может, что уже второй аборт подпольный делает от ее кобеля-душегуба Савелия.

Когда Савелий вошел во двор – Глафира, не помня себя от горя и ярости, произнесла лишь:

– Да будь ты проклят...

И в эту секунду раздалась автоматная очередь: в деревню, в которой Глафира надеялась найти укрытие для детей, вошли наступающие немцы.

Савелий не успел толком спрятаться на заднем дворе, в сарае, как немцы ворвались в избу. Глафира кинулась к спящим в избе детям. Быстро обшарив сени и все комнаты, не найдя солдат в избе, и не тронув ни приютившую ее старуху, ни ее саму, ни детей, немцы вывалили во двор – и Глафира поняла, что через минуту Савелия убьют. Оставив дочку старухе, взяв двух маленьких сыновей за руки, Глафира побежала за немцами. Выйдя на задний двор – она увидела двух немцев, выволакивающих плачущего Савелия за ворот из сарая – и третьего немца, приставляющего к его лбу автомат.

Глафира, заголосила, бросилась к солдату, готовящемуся Савелия расстрелять, и, все так же, держа сыновей за руки, упала перед немцем на колени – немец опешил, Глафира, бросив сыновей, обхватив его сапоги, умоляла, оря благим матом, показывая на детей.

Как ни удивительно – немцы, потрясенные Глафириной храбростью, пожалели ее, и ушли, оставив Савелия в живых. Савелия только обыскали и швырнули обратно в сарай. И ночью ему пришлось пробираться в Москву – и идти записываться-таки на фронт.

К счастью, трусливый подонок Савелий умер раньше Глафиры – лет через пятнадцать после войны – на которой успел получить ордена за храбрость, взять Берлин, и обесчестить (как жизнерадостно зубоскалили однополчане) по дороге не один десяток немецких девушек, – умер к счастью: кроткая Глафира, душу и судьбу которой он и так уже успел изуродовать, и которая, конечно, никогда не решилась бы его, несмотря на все его подлости, «бросить» – так, благодаря его смерти, хоть немного успела прожить по-человечески.

– О чем задумалась? – явно испугавшись, что грустит Елена опять о Семене, переспросил Крутаков – все это время читавший, медленно, с угла, вертевший странички, и на нее даже и не смотревший – а тут вдруг вскинувшийся, с таким видом, как будто у него на кухне, по недозору, выкипает чайник.

– Да нет, ни о чем...

– Опять за свое?! – весело заругался Крутаков. – Ну не может человек думать ни о чем! Это пррротивно человеческой прррироде! Не прррава ли? – с неким самолюбованием – что изобрел новую философскую формулу – зыркал на нее, потягиваясь, Крутаков.

Миנדаль, так и не вскрытый, валялся у него на ужасно худом пузе – обтянутом черной футболкой, – голодную мечту набить которое

орехами Крутаков, по рассеянности, увлекшись книгой, уже и забыл.

– Вспоминала о том, что руки у моей Глафиры, у бабушки, всегда пахли теплым тестом... – задумчиво сказала Елена.

– Рррискни все-таки ррррассказать детали, доррррогуша?

– Извини, Женечка, мне больно о ее жизни рассказывать...

– Боль, да-а-арррагуша – это перрррвый прррризник того, что ррррассказать немедленно надо. Это как кариес в зубе – которррый нужно срррочно запломбиррровать. А ну колись, о чем ты думала?

Рассказав Крутакову невеселую военную историю, Елена слезла с дивана и, высыпав из горсти миндаль на Юлино покрывало, медленно потащила на поиски чего-нибудь, чем можно коцать орехи.

Почему-то в ванной, в баночке рядом с Юлиной старой зубной щеткой (похожей, по виду и цвету, больше на нагуталиненную щеточку для обуви) и какой-то кисточкой – обнаружился какой-то странный ржавый зажимчик – на взгляд Елены условно для миндаля подходивший.

Быстренько забрав с дивана свою кучку орехов, и усевшись на подоконнике, Елена засунула ноги, с краю, на книгами заваленное кресло – так что ступни пришлось всовывать под корешки книг – и ореховая работа сдвинулась с мертвой точки – миндаль зажимчиком кололся хоть и иногда слишком сильно (некоторые шершавые зернышки оказывались подавленными – с осколками скорлупы) – но довольно все-таки легко и быстро.

– Знаешь, Женька, какой ужас я тебе про Аню могу рассказать! – заговорила, с подоконника, Елена – просто чтобы привлечь внимание Крутакова – вновь утонувшего с головой в книжке. – Ты не поверишь, Жень! – быстро зажевывая заранее наколотый, и сложенный на коленке, миндаль за обе щеки, интриговала она.

Крутаков, как она и ожидала, моментально отложил книжку и выжидательно смотрел на нее теперь поверх домиком согнутых джинсовых коленок.

– Аня – она, представляешь! – никогда не читает лежа!

– А как же она читает?! Стоя, что ли? – изумился Крутаков, аж чуть присев на подушке, поближе к стенке – но тут же уже хватаясь за книжку опять.

– Аня всегда читает только за письменным столом – сидя! – ликовала, что ей удалось его изумить, Елена. – Верить или нет – но

Аня сама мне рассказывала! Крутаков, читать лежа – это ведь свойственно человеческой природе! Все остальное – человеческой природе противно, не правда ли, Крутаков? – передразнивала она Крутаковские же недавние словечки. – Я думаю, то недоразумение, что Аня не верит в Бога – это просто прямое следствие, того, что она никогда-никогда не позволяет себе читать по-настоящему, лежа!

– ХаррррЭ жррррать а-а-аррррехи! – возмутился вдруг Крутаков, отбросив книжку с колен и вскакивая с дивана. – Мне оставь хоть чуточку, а? Где это ты щелкунчика-то надыбала?!

VII

Крутаков ставил на кухне чайник. Елене показалось нечестным забираться в мешочек с орехами в его отсутствие – как будто за его спиной – и, исключительно по соображениям справедливости, чтобы как-нибудь развлечься без него, пока он будет заваривать чай, – аккуратно пробралась к замеченной ею уже четвертью часа раньше, задрапированной тоже холщёвой тканью, как и все стены, дверце в дальней стенке, неподалеку от изножья дивана, – желая проверить свою догадку (не раз себя уже спрашивала, во время болтовни – а куда же Крутаков днем складывает постельное белье – и вообще свою одежду?!) – что это стеной шкаф.

Дверь, однако, оказалась совсем не от шкафчика – и вела в пыльную, но очень светлую узенькую галерейку, с тремя узкими окнами, – которая, из-за захламленности, – вешалки, прямо на гвоздях в стене, Юлины платья на плечиках, чьи-то (Крутаковские?!) пиджаки, выцветший комод справа, к двери боком, – действительно больше всего напоминала гардеробную комнату, – но как только Елена в нее вступила, то моментально поняла, что это странный, не весть как отгороженный от Юлиной комнаты аппендикс, из-за зворотка дома, ведущий – в еще одну комнату (в конце галерейки налево), расположенную прямо за стенкой позади изголовья дивана, о существовании которой в квартире Елена до этой минуты и не подозревала.

Свет вливался в эту комнатку из галерейки; и, отгороженная от всего остального пространства белоснежными, закрепленными на

каких-то узких деревянных речных выгородках, листьями (на которых – акварелью, кажется – рельефно нарисованы были зеленые горы, фиолетовое солнце и желтая трава) – встречала – сразу справа от входа – детская кроватка – которую Юля, даже увезя восьмимесячного сына с собой скитаться по Крыму, – невзирая на замухренность всей остальной квартиры, оставила в идеальной прибранности.

Дальше – за горами – царила уже все та же чарующая, небрежная легкость разброса шмоток, – шмотки, впрочем, были иного рода – баночки с гуашью, глазки акварели, вперемешку с румянами и пудрой, мертвенно окаменевшие непромытые от краски кисточки, тушь для глаз, тюбики масла, разводки, скребки, шмотки клячки – все это в потертом как джинса низком комодике слева – в выдвинутых, как будто кто-то на пожаре спешил унести самые главные цвета карандашиков и тюбиков с краской – двух верхних ящичках. В конце же комнаты – во всю дальнюю, короткую стенку (с некоторым, тоже, как и детская кроватка, восклицательным знаком нарочитой чистоты вокруг) были – в несколько рядов поставленные, укутанные в чехлы – и голые – картины – на оргалите, на холсте на подрамниках, на кусках картона. Расчехлив несколько картин – Елена просто диву давалась: художник делал на картинах нечто прямо противоположное тому, что проделывает с реальностью фотография – внимание не фокусировалось, а рассеивалось – причем таким странным образом, что четкие, вроде бы, вырисованные до боли выпукло бытовые детали, как будто сдвигались фокусом на второй план, дефокусировались – а действительная, с натянутой энергетикой, фокусная точка – вслед за ищущим, недоумевающим, удивленным, взглядом зрителя – сдвигалась вдруг в самое вроде бы незначительное на картине место – через несколько секунд, по мере попытки взгляда выяснить причину этого – становившееся просто-таки зудевшей точкой притяжения. Вот – тарелка с недоеденным супом, с яйцом и фрикадельками – опрокинутая ложка рядом, на темном дубовом столе, – тут же, как столовый прибор – опрокинутая, мембраной вверх, телефонная трубка – с проводом-пружинкой, замотавшимся вокруг тарелки, уходящим куда-то налево, под стол – и странно многозначительный угол обшарпанвшейся побелки на стене – выступающий пустой угол – с энциклопедически подробной микроскопической географией трещин – который, через минуту разглядывания, зудел уже как какой-то нарыв –

не терпелось узнать, что же, с тем, кто ответил на телефонный звонок, произошло. А вот – абсолютно пустое огромное поле – по-видимому весеннее: из-под бурой, втопанной в грязь, недосгнившей травы – изумрудная, мягкая, сверкающая мокрая поросль, – кое-где сверкающие озерца уползшего восвояси наводнения – и – на самой середине поля (грязь – и сияние) – два белоснежных лохматых пса – припавших на передние лапы, выпятивших вверх зады – так, что понятно, что через миг они бросятся играть – и понятно также, что – через секунду! – произойдет с их белоснежной шерстью. А вот – бурый шнурок на асфальтовой дорожке, рядом с лужей, на переднем плане перед проходящими, нарисованными чрезвычайно четко, но чуть как будто локтем художника смытыми в самый последний момент, как будто в движении, красными туфлями. Все время все самое важное как бы оставалось за кадром – и притягивало, внутренне, невероятно – так что картина не кончалась, когда от нее отводился взгляд: в объеме ее – но в объеме внутреннем, где-то за рамками, все равно волей-неволей путешествовалось – хотелось понять, куда направлен внутренний взгляд художника – и – только и именно этот внутренний взгляд раскрывал выход во вне – за рамки. Присев рядом на полу, Елена осторожно выдвигала одну картину за другой. А вот – чья-то смазанная рука с кружкой чая, в мелкую, вертикальную, фиолетовую, расфокусирующую взгляд, вертикальную рябь – как расфокусируется взгляд любого, пьющего чай.

– Ну что, варрррваррра любопытная, я ведь не сомневался что ты сюда нос сунешь! – Крутаков, посмеиваясь, стоял над ней, с кружкой чая, отклячив мизинец на километр.

– Я не знала, что Юля такие потрясающие картины пишет... – еле дыша, проговорила, подняв на него глаза, Елена, совершенно опешив, от несовместимости образа носящейся веретенком, дурашливой Юли с косичками – и глубины работ.

– Это не Юлá, это ее мать покойная писала... Пошли, я чай заварррил. Юлá это все специально прррибррррала, никому не показывает, чтоб не вспоминать. Вообще вон, в кваррртирре после смерррти матеррри все изменила, перрррестррроила, перррреклеила. Отбиться от живописи пытается – вон, видишь – на мелкое декоррраторррство перррреклучилась... Стррранная такая самозащита... Пошли, задвинь это осторррожно только. Сильно

подозреваю, что у Юльи здесь – богатство на миллион – только она никогда, разумеется, продавать материнских картин не будет.

За чаем, который Крутаков милостиво разрешил ей пить не в кухне – а забравшись к стене, на подушках, рядом с ним на диване, – выяснилось, что мать Юли – художница из белютинцев, из тех самых легендарных учеников Элия Белютина, кто в юности плавал вместе с ним в полухиппанские раздолбайские многодневные живописные круизы по Волге, меж цветущих черемуховых берегов, на зафрахтованном пароходе, и пытался «нарисовать свое настроение цветом леса» (днями напролет работали – кораблик приставал к берегу, расплзались с этюдниками кто куда, творили на природе – а ночами плыли и распевали уркаганские песни), – затем, впрочем, быстро белютинское направление переросшая и выработавшая свой собственный стиль. Две ее ранние картины (Абрамцевского еще периода) выставлялись в Манеже, на той самой выставке, куда, с колхозными матюгами, заявился громить «формалистов», по науськиванию дворцового интригана Сулова, Хрущёв. После ареста картин на Манежной выставке (обе работы так никогда и не были ей возвращены), Юлина мать была немедленно исключена из Союза художников («за пропаганду буржуазной идеологии в советском искусстве») – и почему-то, хотя и чувствовала себя – по резко усилившемуся вниманию, и увеличившимся неофициальным заказам – героиней, – крайне эмоционально переживала травлю – а особенно предательство со стороны пары старых друзей, резко от нее, после Манежного скандала, дистанцировавшихся. Еще за несколько лет до Манежа, через пару месяцев после рождения Юли – решительно рассталась с ее отцом – тоже белютинцем, но как-то вдруг не выдержавшим соблазн променять талант и тусовки в Абрамцево на масленую, умащенную, почти чиновничью работу в Академии художеств, а время от времени, по личным, сверхсекретным заказам, еще и неофициально писавшим домашние, нигде никогда не выставлявшиеся, портреты членов семей кремлевских чиновников, в интерьерах их дач, с неоклассической символикой (Юля никогда не знала даже его имени – настолько отталкивающими для матери были воспоминания о своей ошибке). Мать тусовалась с диссидентами. Ей дали понять (через блатных знакомых), что у нее вот-вот начнутся из-за этого серьезные проблемы – и одновременно намекнули, что

выпустят на Запад, если она захочет эмигрировать – она отказалась. Расставаться с родным городом, с друзьями, при ее эмоциональности, было немыслимо – но жить в затхлом, как тюряга, государстве, и не мочь ничего изменить, и видеть, как принижено ведут себя люди вокруг – было еще больнее. А когда Юле было девятнадцать, и Юля была подающей надежды юной студенткой-художницей – мать, оставив ей некоторый долларовый капитал в коробке из-под зефира в шоколаде, куда клала выручку от неофициальной продажи картин (перепродававшихся кем-то за границу) – тихо, без видимых причин, умерла, выйдя в булочную и осев у прилавка – говорили, от сердца.

– Ну вот... И Юл'а... – прихлебывая, грустил Крутаков рядом с Еленой, подбивая под собой подушку. – Как бы тебе сказать... Пытается забыть... Ппррреборрроть прррриррроду, что ли... Вон – ррррюкзачок мне джинсовый, ррра-а-машками рррасшитый, из своих старрых джинсов скрроила – посмотрри в прррихожей висит – замечательный, только смотррреть без слёз нельзя, зная всю эту исторрию... Закидывается, чем ни попадя... Носится по стрране с безумцами какими-то... Десять лет, ка-а-аза, так пррра-а-аваландалась... Теперррь вон – ррродила – не известно от кого... Только чтоб никогда не позволять себе каррртины писать – потому что за этим боль утрраты матерри и какого-то оборррвавшегося матерриноного художественного полета звенит сррразу... Юл'а, видишь ли, какую-то дурррацкую, связывающую по рррукам и ногам, ответственность чувствует: и лучше матерриных боится каррртины сделать – и хуже матерриных тоже боится. Такая тюрррма. Да куда ж ей забыть – ты посмотрри – вся комната в альбомах, уже пол, по моему, пррррдавится скоррро от альбомов с живописью. У нее абсолютная идея фикс – и она все надеется от живописи сбежать! Теперррь, вон, пррррава, с этюдником в Кррым потащилась...

У обоих уже громко урчало в желудках от голода.

– За горррячими булочками? – весело вскочил Крутаков, напялил кроссовки и рванул в прихожую, обернувшись на нее уже из дверей комнаты. – Идешь или нет?

– Ночь же уже, дразнишь меня, небось, про булочки? – не поверила Елена, – впрочем, тут же, не без восторга, за ним рванула тоже – поверить в невозможное было гораздо приятнее, чем валяться голодной на диване и слушать иноязь желудка – и поскакала за

Крутаковым, почти даже не боясь навернуться, по неожиданно освещенным сегодня узким ступенькам – вниз – на черную, жаркую, душную улицу.

Спустившись вниз по переулку, с болтающимися, как старые котелки, на поперечных проводах – через один горящими – тусклыми фонарями, и замотав направо в перпендикулярную улочку, Крутаков, и вправду, подвел ее к булочной – из-за запертых дверей которой раздавался неприличный, пленяющий, приторно-жаркий пекомый аромат.

– Стой здесь и не поррртть мне оперррацию... – смеялся Крутаков, задвигая Елену за угол булочной. – А то они подумают, что ты – ррревизоррр из ОБХСС.

Сам же, подойдя к боковой, служебной двери пекарни, громко и нахально в нее забарабанил.

– Ррребята, мне как всегда, только в два ррраза больше, – уверенным тоном потребовал Крутаков, просовывая деньги, когда дверь отперли – и те, кто был внутри (выглянувшую голову Елена, боясь высовываться из-за очерченного Крутаковым угла, не рассмотрела), к ее удивлению, его явно поняли. Дверь (с таким же скрежетом всех подряд задвигаемых изнутри задвижек) закрылась – никакого движения не было минут пять – так что Елена подумала было уже, что его обворовали.

– Крутаков... – спросила Елена было.

Но дверь заскрежетала задвижками изнутри снова – Крутаков мотнул ей головой: прячься мол – и через миг уже завернул к ней за угол и сам, с двумя запотевшими изнутри, надышанными горячим тестом, целофановыми пакетами.

Свежевыпеченные круглые булочки, с крошечной капелькой красного повидла в центре – и все залитые по краям каким-то липким сладким сиропом (так что перемазанными моментально оказались сразу все пальцы), обжигали и руки, и губы.

– Ррра-а-азанчики! – гордо прокомментировал Крутаков – перед тем как жадно отправить первую булку в рот.

Внутри булочки казались чуть сыроватыми – но от этого были еще вкуснее.

Машин почти совсем не было. Зато, как только зашагали вниз, к Пушкинской, по обочине бульвара, откуда ни возьмись выползли два

красных майских жука – поливальные машины – с веселыми водителями, явно охотившимися за ночными пешеходами – от одного еще можно было сбежать, шарахнуться в переулок, но ехали они быстро, подобрались тихо, удало, один за другим – и окатили водой и Елену и Крутакова с ног до головы.

Фонари с витринной ловкостью выхватывали темное душное золото цветущих лип – цвет которых зримо переливался в запах – так что его можно было бы видеть даже и в темноте, да даже и с закрытыми глазами. Дешевенький, парфюмерный запах – но отчего-то такой трогательный и тревожащий.

На Горького из-за жары все еще висел бензиновый чад.

И только уже на тяжелогрузном Ленинградском шоссе, слева, в зарослях, у громоздкого забора военной какой-то инстанции – впервые за эту ночь повеяло прохладой – и чуть пробрало дрожью под промокшей майкой. Какие-то рослые девочка с мальчиком, бежавшие впереди них, оглядываясь, расклеивали на круглых слоновьих фонарных ногах, густо намазывая их из пластмассового, клистирного вида, флакончика, канцелярским клеем, листовки – на митинг. Когда они за час дошли до дома Елены, и Крутаков, распрощавшись с ней у подъезда клятвенно пообещал, что «обррратно возьмет тачку» (иначе бы ей было завидно его отпускать шляться по ночной Москве одного, без нее) – и Елена, в изнеможении от быстрой, летучей ходьбы рухнула спать, ей показалось, что лучше прогулки в жизни быть не может.

Но были, были прогулки и еще лучше.

Жарким днем, когда Крутакову срочно надо было занести какие-то книги некой, остающейся незримой, «подррруге» в высотку на Котельнической, и Елена, томясь от выхлопов машин, жаркого асфальта, ошивалась без него, бродя зигзагами, полчаса вокруг нежной, но грязной Яузской излучины, Крутаков, выйдя из подъезда и разыскав ее у мостика, завидя ее отсутствующее молчание, испугавшись, что на нее нахлынула опять тоска из-за Семена (что было неправдой: минут за десять до этого она, подойдя к чугунной Яузской изгородке, углядела, как солнце, манипулируя бурой, мутной настолько, что казавшейся сточной, волной, пытается приголубить грубые булыганы, которыми, в теневом срезе под мостиком, мощена речка – клеит на них движущиеся, дрожащие рельефные отражения – невесть откуда взявшиеся на бурой глыбе вдруг начинали тревожно

переплетаться и вибрировать оранжевые и розовые водоросли – и – тут же – уже другая картинка – рыболовные сети – и блестящая рыба чешуя; и тут же – уже вертикальный дым от костра; и тут же – явно войдя в ритм отражений – уже над мостком, над людьми, над машинами – вверх, к Яузским Воротам, с невыразимой плавностью и грацией полетел, раздувая воздушные жабры, солнцем наполненный целлофановый пакет. И Елена – застеснявшись Крутакову сразу об этом рассказать – теперь расстроилась и неловко молчала, не зная как реагировать на все его расспросы), быстро оглядываясь вокруг, чем бы ее развлечь, вдруг весело, припустив по мосточку через Яузу, на ходу осведомился:

– А ты знаешь, что черррез Большой Устьянский мост можно черррез Москву-ррреку на ту сторрррону снизу, вон по тем металлическим дугам, перррребррраться?

– Ух ты! – разумеется, сказала Елена – и побежала за ним.

– Только очень быстррро – пока стррражи беспоррррядка никакие не возбухли, – приговаривал Крутаков, зайдя под мост, ловчайше мигом сиганув через парапет и спрыгнув на крайнюю справа железную узкую изогнутую балку под мостом – под которой мутно плескалась водичка. – Иди за мной и повторррряй мои движения... – нахально инструктировал Крутаков ее, не поворачиваясь к ней, и быстро поднимаясь по выгибающейся вверх металлической дуге – резко восходящей к верхней горизонтальной конструкции. – Не грррохнись в ррреку, уж будь добррра...

Продвигаться вверх по дуге было не сложно – металлическая поверхность была не скользкая, а вся в здоровенных пупырчатых заклепках – как кожа железного бронтозавра – как будто специально для восхождения в кроссовках.

– Ну, и какова же твоя теодицея? – нагло спросил, обернувшись к ней Крутаков, когда уперся башкой в верхние металлические перекрытия – и дальше идти уже нужно было согнувшись. – Я так и не понял вчеррра, пррраво слово, что ты хотела сказать обрррразом Фрррранции, легшей под Гитлerrра. И обрррразом боррррцов Сопрррротивления. Как это может опрррравдать наличие зла в миррре – пррри Всемогущем Боге?

Видя уже, по его веселым глазам, что Крутаков наполовину дурачится, что перепугавшись, возомнив, что она как-то провалилась

опять в воздушную яму тоски, – он просто пытается привязать ее внимание ко всегда завлекавшим ее метафизическим штучкам, – все-таки, не повестись на эту уловку Елена не смогла.

– А чего тут оправдываться-то! Все элементарно... Я вообще не принимаю этого термина «теодицея», Крутаков!

Крутаков радостно выдул воздух ноздрями, сдерживая смех – и, присев на корточки, принялся продвигаться по металлической дуге вверх, во все сужавшемся зазоре:

– А вот этот подход: «все элементарррно» – мне нррравится! – произнес он, уже подшагивая впереди нее по-утиному.

– Нет, правда, – Елена присела тоже и двинулась за ним, поглядывая одним глазом в обрыв, на казавшуюся отсюда отнюдь не привлекательной для нырка воду. – Все ведь проще простого – забудь про Францию, мы ведь все можем увидеть, как это происходит, на примере переворота 1917-го года: представим себе, что, вот, в каком-то маленьком уголке огромной Вселенной, в крошечной провинции гигантского прекрасного Царства, происходит безмозглый мятеж – власть захватывает шайка головорезов! И с тех пор – много-много поколений – на этой территории верховодят адские, неправильные, вывернутые наизнанку, установленные этой шайкой законы – и зло для них добро, добро для них – зло.

Дуга, узкая клепанная металлическая балка, служившая им тропинкой, так резко смыкалась здесь с верхней конструкцией, – вверху, над сложной изнанкой которой, ехали над ними машины, – что дальше по все сужающемуся клюву, идти уже было, даже на корточках, все сложнее.

– Ну, так и почему же добрррый Царррь-то не вмешивается? – обернулся, дойдя до четвертого вертикального столбика, Крутаков и, кажется, притомившись брести на корячках, свесил ноги вниз и уселся на пупурчатой дуге. – Ррразве так трррудно мятежников-головорррезов пррристрррунить, и освободить невинных? С Ррроссией-то все понятно – царррь был убит, арррмия деморррализована, популяция наполовину зверррски убита – наполовину изуррродована унижениями. Но Бог ведь – это же тебе не Николай Ррроманов, Бог ведь – всевластен? Почему же Бог не вмешивается?

Далеко под ними, метрах в восьми внизу, буро-золотисто бежала река.

– Как будто ты не понимаешь, Крутаков, почему?! – Елена подумала-подумала – измерила на глазок уровень грязи на дуге – и, решив, что джинсы все равно уже придется вечером стирать, уселась тоже, справа от Крутакова. – Можно, конечно, расфигачить всю эту мятежную провинцию атомной бомбой – но тогда ведь и все люди погибнут. Если Царь вмешается – это будет означать конец света. А проблема-то еще и в том, что на захваченной врагом территории – в силу изменёнки, в силу того, что даже природа там мутировала – люди тоже мутантами уже немножко рождаются, – разглядывая как нарочно, как изобразительное пособие, выростающие в живописном отдалении перед ними, на правом берегу, Кремлевские стены, Елена пыталась болтать ногами как Крутаков, но придерживаясь, на всякий случай, за столбик. – Уже так много поколений в испорченном злом воздухе этой провинции выросло – что и людям-то зло уже привычным кажется, как бы неотъемлемой частью их мира. И сейчас на этой захваченной, запоганенной территории люди даже голосовать за зло готовы – это их выбор. Ну, примерно, как в совке – вон, на съезде депутатов... Мне кажется, что по каким-то изначальным причинам, в силу какой-то трагедии, в силу изначального неправильно выбора, который сделал человек, – Бог вмешивается в происходящее на земле исключительно только через людей, которые Бога принимают. Поэтому я тебе и говорила вчера о партизанах и о подпольном Сопротивлении. Бог как бы тайно поднимает своих сторонников на бунт против гнусного режима этого мира. Бог же тебе – это не Ленин и не Сталин. А – как раз ровно противоположный им по характеру. Бог, в отличие от этих вырожденков, не правит с помощью диктатуры. Рабы Богу не нужны – Ему нужны друзья, сделавшие свободный выбор. И, вот, единственный способ для Бога, как ты выразился: «пресечь» это – это вылечивать каждого человека от зла поодиночке, в индивидуальном порядке – чтобы каждый, кого спасти возможно, добровольно перешел на сторону Доброго Царя, и вернулся в Его Царство. Бог как бы отгородил зараженный грехом мир от всей остальной Вселенной, это эдакие падшие выселки, ну примерно как зона в «Сталкере». Бог карантинную зону вокруг падшего мира устроил, как бы говоря: Я предоставляю вам полную свободу; это кошмар, всё что вы собираетесь делать, и это мерзопакостно и отвратительно – то, как вы собираетесь жить – и плодом ваших гнусных дел является смерть – но

вы сами это выбрали, вы сами на это подписались. Люди своим же выбором как бы выгнали Бога из этой части Вселенной – как бы ограничили Божью власть на этой территории – ну вот точно как после 1917-го! И вот Бог говорит: Я предоставляю вам полную свободу. До тех пор, пока те, чьи души можно спасти, осознают весь этот ужас и вернутся добровольно в Божий мир.

– Ясно – то есть, у тебя земля – какой-то тюрррьмой, колонией для несоверрршеннодушных получается! – рассмеялся Крутаков. – «А почему нельзя то-то или то-то?!», – возмущенно спррррашивает вдрррруг кто-нибудь на небе, в ррраю. А ему вдрррруг ангелы пинка под зад: поживи-ка на земле! А потом, когда он умирррает на земле и, измученный, возвррращается на небо, они ему, грррустно так, говорррят: «Вот потому-то, бррратец, и нельзя! Понял теперррь?» Так, что ли? – и тут же, вытянувшись, выгнувшись назад – и уперев руки в верхние перемычки Крутаков быстро добавил: – Не серррдись только...

– В смысле? – не поняла Елена, думая, что его извинения относятся к реплике.

– Я не знаю, как перррейти снизу по этому мосту... Ни малейшей идеи не имею – можно ли по нему перррейти вообще – и перрреходил ли кто-нибудь когда-нибудь... – с виноватой рожей зыркал на нее Крутаков. – А вверррх лезть... – он поднял голову: – не хочу даже и пррробовать – ты изгвоздаешь всю свою крррасивенькую маечку.

Сверху, в неудобной грязюге над ними тащились страшноватого вида трубы и железяки – и темные пыльные зазоры над ними как-то совсем не ласкали взор.

Елена, затихнув, и мечтая только о том, чтобы Крутаков не потребовал немедленно же вставать и уходить с насиженного насеста, пока их не замели, разглядывала как-то особенно резко выделявшуюся отсюда над всем Кремлем длинношеюю белую колокольню Иоанна Лествичника, с блекловато отсверкивающим от солнца крестом – самую длинную во всем Кремле – прееупрямившую, в своей тяге к небу, даже кровавые пятиконечные звезды.

– Могу пррредложить тррривиальнейшую пррра-а-агулку по этому же мосту сверррху! – нагло уже, тихо хохоча, с самолюбованием на роже, зыркал на нее Крутаков. – Не серррдись только...

Но про прогулку по мосту, как-то, пройдя опять, вниз, гуськом по дуге, забыли.

– Если серрррьезно, – спрыгивая с берегового парапета, проговорил Крутаков, – мне кажется, что из всех читанных мною рррусских наррродных сказок, самая мудрррая, и содеррржающая какую-то крррупциу пррравды пррро миррроустррройство – это про то, как Елена-Пррремудрррая – или Елена Прррекрррасная – уж не помню, как там ее звали... Про то, как она освобождает случайно Кащея-Бессмерртного, который, в рррезультате, убивает ее возлюбленного. Читала когда-нибудь?

– Не-а...

– Ну как же! Наверррняка читала. Жуткая сказочка! Прррекрррасный богатырррь пррриводит к себе в замок царрревну-невесту, и по каким-то там делам отррравляется в дальние стррраны в поездку... А ее пррросит: ходи, говорррит, да-а-аррагая, по всем светелкам, по всем крррасным горррницам моего замка – но только, пожалуйста, говорррит, в чулан в подвале никогда не заходи. Но я, говорррит, да-а-арра-а-агая, настолько тебе доверрряю и люблю тебя, что даю я тебе ключи от всех комнат з́амка, в том числе и от этого прроклятого чулана. Ну и...

Елена заткнула уши ладонями:

– Какой кошмар, не рассказывай мне дальше, Женька!

– Нет уж ты дослушай, голубушка! Классику наррродную надо знать! – хохоча, насильно оттягивал ладони ее от ушей Крутаков, ведя ее с левого бока от берегового пролета моста, мимо пыльных тесных зарослей отцветших остролистных размахаек, вверх, против течения рельефа площади, как-то кубарем скатывавшейся вниз к реке. – И ррразумеется, как ты уже догадалась, царрревна эта не выдеррржала и, пока жених долго в отъезде был, заскучала – и от нечего делать чулан-то и отрррыла! А там – прррикованный цепями изможденный злой Кащей, которррого ее жених давно уже победил и обезврредил! И Кащей, завидя ее, наивную, стал жалобно так молить ее, чтобы она ему водицы хоть чашечку дала выпить. И эта дуррра – возьми да и пожалей его – ведрррко воды выпить пррринесла. Кащей водицей-то залился, моментально своей злой силы опять набрррался, цепи ррразорррвал, взлетел – и в мгновение ока жениха ее догнал и рррарррубил его на мелкие кусочки, и захватил все его царррство.

– Какой ужас... Не желаю этого слушать.

– Нет, но в конце все будет хорррошо! Минутку терррпения! – дурачился и оттягивал опять ее ладони от ушей Крутаков. – Не помню уже кто – она ли, или добрррый названный бррратец царрревича – находят кусочки царрревица в чистом поле, сбрррызгивают его сначала меррртвой водицей – тело по кусочкам срррастается – потом – живой водицей – он воскррресает – и тут уж царревич этого гада Кащея на этот ррраз уже не пощадил – порррубал на кусочки, сжег и прррах ррразвезл по степи.

Вертелись опять на руке, как прирученные браслеты, бульвары – и выстреливала рикошетом с плеча Сретенка – с которой, как всегда, так неожиданно было слиться в переулок к Юлиному дому.

Розанчик, отжертвованный, из канунных ночных запасов, Крутаковым ей к чаю, конечно же терял, в остывшей, обычной своей, булочной ипостаси, ровно половину своего очарования – но зато Крутаков, следуя какому-то четкому отмеренному чувству дружеского благородства, впрямую как-то связанному с ее драмой с Семеном, ни разу даже так и не попрекнул Елену тем, что она отрывает его от работы – и, в общем, как-то даже и отнесся как к само собой разумеющемуся, что завалилась она на Юлин диван, едва войдя в квартиру, – и захватив, между прочим, с помощью этой прыткости, наконец-то хиппанскую сиреневую мечту-подушицу – звякала бубенцами, бряцала колокольцами, и ждала, пока Крутаков заварит для нее чай, – но только по какой-то странной автоматической привычке Крутаков, едва приземлялся на диван и сам, как всегда, тут же хватал в руки книжку, как будто бы не умея, находясь дома, при этом не читать. И разговоры разговаривал опять в пол-уха – ббольшую часть времени не смотря на Елену: как в заочной игре.

– Ну ха-а-аррра-а-ашо, а неужели у тебя в классе нет какогонибудь – в кого бы ты могла влюбиться? Что вдррруг этот Семен, как пуп земли возник...? – лениво, хлебнув чаю и оставив кружку на столб из Юлиных книг на паркете слева от себя, перевертывая страницу, певуче, жеманно растягивая слова, интересовался Крутаков – и Елена даже удивлялась, заслышав опять из его уст имя Семена – так хорошо ей как-то было валяться сейчас и запивать подсохшую булку чаем – следя, как Крутаков, рядом с ней, на краю дивана, полусидя – полулежа, ворочаясь, пытается угнездиться поудобнее, восполнить

присвоенную Еленой гигантскую подушку, и подкладывает под спину, к стене, уже четвертую расшитую Юлей подушку мелкую. – Кто там у вас перрррвый кррррасавец в классе? В кого все девушки влюблены?

– Ох, лучше об этом не спрашивай! – стонала Елена. – Захар! Ужас!

– Отчего же ужас-то? – не отрываясь от листа, переспрашивал Крутаков. – Что, он тебе так уж не нррравится? Как он выглядит?

– Ой, да не важно как он выглядит! – Знаешь, эдакий... Со смазливymi умоляющими глазами Микки Рурка – но с бычьей при этом шеей, и весь в прыщах...

– У кого это ты на видаке Микки Рррурррка видывала?

– У друзей Семена... И с бритым таким фашистским загривком. Какая разница, как он выглядит! Все, все в него девочки в классе влюблены... Руслана так вообще страдает, плачет... И даже из десятого класса некоторые!

– А ты почему же не...? – лениво переспросил, перелистывая страницу, Крутаков.

– Дело в том, что он... Он... Я не могу тебе даже сказать этого, Крутаков!

– Отчего же ты мне не можешь этого сказать? – со смехом повернулся к ней заинтригованно Крутаков. – Что-то непррриличное? Голубой?!

– Да ну тебя, Крутаков, – покатывалась от хохота Елена.

– А что тогда? Почему ты не можешь сказать?! – допытывался Крутаков.

– Фу, потому что противно... Он... Лягушку однажды тяпкой убил! Бээээ... Сволочь... Когда мы в трудовом лагере в Новом Иерусалиме были... Знаешь, свеклу, молодые побеги, ухайдакивали. Мало того – он разбил этой лягушке голову, вынул из лягушки глаз – и подарил Ларисе Резаковой... Ужасно... А еще – плюс ко всему этому – говорят, что он из гэбэшной семьи...

– Ну, тебе, голубушка, хватило бы, как я понимаю, для вынесения вечного ему пррриговоррра, и убийства одной лягушки – никакой гэбэшной генеалогии больше не потррребовалось бы... – хохотал Крутаков. – Понятно, значит, в вашего перрррвого классного кррррасавца влюбить тебя не получится... – возвращался Крутаков взглядом опять к книге. – Ну, а кто там еще у тебя симпатичный есть – не может же

быть, что нет никаких интереснейших персонажей у тебя в классе?!

– Еще... – откусывала Елена от булки здоровенный шматок и, дожевывая кусочек, любезно, сквозь жеванный хлеб, переспрашивала: – Женечка, тебе оставить немножко булочки...?

– Да жрррри, уж жррри всю, тррроглодит, на мою шею навязалась, – косился на нее, правым глазом, Крутаков – и опять приклеивался взглядом к книжке.

– Еще... Еще, из действительно симпатичных... Есть Антон Зола...

– Ну, вот, замечательно – ррраскажи мне, какой он? – довольно кивал Крутаков, не отрывая взгляда от книги, и – так же вслепую – быстро вытягивая левую руку, и отхлебывая из кружки, и ставя кружку обратно.

– Антон... Антон... Он такой... Эдакий Хармс, по повадкам, знаешь...

– Нет, не знаю, пррраво слово! – дурачился Крутаков. – Что за срравнения: Харррмс, Микки Рррррк... Ты мне покажи, как они выглядят – учись выррражаться словами, голубушка. Вот опиши мне этого Антона так, чтобы я его увидел!

– Ну... – жуя, и припиваяючи чая, надолго затыкалась Елена.

– Ну это же так пррросто, пррраво слово! – возмущался Крутаков, переворачивая страницу. – Вот ты пррредставь себе, что ты рррасказ о нем пишешь – вот и рррасказывай, как будто ты пишешь рррасказ. Нарррисуй его, словами!

– Ну... – прихлебывала Елена – не зная, с чего начать – хотя образ Золы маячил, как назло, перед глазами – с дотошной яркостью.

– Пррросто пррредставь себе, на секундочку – что на всем белом свете – ты одна-единственная, кто видел его! И – пррредставь – что он – умеррр! – зыркал на нее угловыми краткими взглядами Крутаков. – И вот единственный способ его воскррресить – это чтобы ты рррасказала о том, какой он – в достаточной, для воскррресения, меррре ярррко!

– Ну, знаешь Антон Зола так смешно ходит... – решила, наконец, Елена – и начала с самой почему-то незначительной детали. – Антон длинный, и когда делает шаг, никогда не наступает на ступню целиком, сразу... А как будто посмеивается при ходьбе ступнями!

невозможно. Однако, как только размыкался взгляд – всякое чувство химии исчезало в ней, как будто и не бывало.

Несколько встревоженная, Елена решила проверить свою чайную, заварочную, колористическую догадку, перевернулась, переступила правой рукой через Крутакова, оперев ее с другой стороны под Крутаковским боком кулаком на диван, а другой рукой быстро отняла книжку от его глаз и пристально в них взглянула: заварки они были накрепчайшей, так что могла закружиться голова – не вишня даже сейчас, а южная черная черешня.

– Что такое? – изумленно переспросил Крутаков, моргая на нее черными, восхитительными, длиннющими ресницами. – Чего ты на меня так уставилась?

– Да нет, ничего... – с некоторым смущением, и с удивительным, на взлет идущим, замиранием в солнечном сплетении, но в то же время успокоенно – от Крутаковских слов – возвратила она Крутакову книжку и вернулась на свое место. – Просто проверить кое-что хотела... Вот ты говоришь: воскресить рассказами... А ты замечал, Крутаков, что есть мертвые люди, которые всё равно как будто живые. А некоторые – умерли – так уж насмерть. Короче – что есть живые мертвые и мертвые мертвые!

– Ага, я даже знаю идеальный язык общения меррртвых! – рассмеялся, черешневой чернотой зыркнув на нее, в упор, Крутаков.

– Какой? Какой? – теребила его за плечо Елена, хотя видела уже по его глазам, что он опять дразнится. – Ну Женька, ну скажи!

– Вот! – потрясал Крутаков захлопнувшейся книгой. – Вот он! Книги! Книги – идеальный язык, которрым с живыми могут говорррить меррртвые! Хотя, впрррочем, я все чаще и чаще задаю себе в последнее врремя вопрррос: а этот язык общения меррртвых – не есть ли единственный истинный язык живых? – хумкал еле слышным смешком, себе под нос Крутаков, отвернувшись от нее опять, и разыскивая сбежавшую из-под его маникюра, захлопнутую страницу. – Ну а Дьюрррька?! Пррро Дьюррку-то твоего я и запомятовал! – забыл вдруг опять на секундочку про книжку Крутаков. – Может быть тебе в Дьюрррьку влюбиться?! Чем он плох?

Елена, со смехом, моментально рассказала Крутакову, как Анастасия Савельевна, совсем недавно, случайно встретила их с Дьюррькой на узкой дорожке, ведущей между домами к их башне – в тот

момент, когда Дьюрька провожал ее после очередного Лужнецкого митинга: они обсуждали что-то, хохоча, и в хохоте, сшибаясь друг с другом локтями – не предвидя, конечно, что Анастасия Савельевна за ними издали наблюдает, – разлетались в разные стороны, и потом опять хохотали и сталкивались – и разлетались вновь. «Может быть, тебе за Дьюрьку выйти замуж? – с умилением, пронаблюдав эти траектории, поинтересовалась у нее дома Анастасия Савельевна. – Вы так друг другу подходите!» – «Ну как тебе не стыдно, мама! Что за пошлость?! Дьюрька же – мой друг!» – возмутилась в ответ Елена.

– Ясно: значит мне тоже не светит! – расхохотался Крутаков. И выронил из руки книгу на пол.

– Дурак ты, Крутаков... – смеясь, пихала его в плечо Елена. – А можно я чаю еще заварю, Женечка?

– А вот это – нетушки! Заваррриваю только я! – вскочил Крутаков. – А то я пить потом бурррдду, которрруую ты заваррришь, не смогу. Ты, вон, толком, лицо человека словами нарррисовать не можешь – какой уж тебе чай заварррривать...

– Ну Женя... – обиделась, не на шутку уже, Елена – и огрела его, запустив, вдогонку, подушкой.

VIII

Вытянувшись на диване, и глядя в потолок с пыльной фрутерианской лепниной, она думала о том, что, вот – странное дело – когда она лазила с Крутаковым сегодня на Устьинский мост, любуясь расхлябанной легкой мальчишеской ловкостью Крутакова, она этой легкой ловкости истошно завидовала: ей истошно хотелось быть такой же ловкой, как Крутаков, – а чувствовала себя рядом с ним немного угловатой, неповоротливой – слишком барышней, что ли, – и знала, что все это из-за того, что, несмотря на все свое к нему безграничное доверие, все-таки немного его стесняется, все-таки нет-нет да и думает, «а как я выгляжу со стороны? Не выгляжу ли я неловкой?» – и от этого как раз все неловкости моментально и совершая. Тому же самому дурацкому стеснению она приписывала сейчас и свои словесные проигрыши в очередном раунде рассказочной игры. А как вытравить из себя это стеснение – вот была загадка так загадка.

Была в их игре в рассказы и еще одна загадка: обнаружившаяся в ближайшие же дни. Как только она начинала Крутакову про кого-то красочно рассказывать, ей тут же (скажем, на следующий же день) вдруг начинало от этих рассказов казаться, что и герой их – не так-то уж безынтересен и непривлекателен (как, на сто процентов, убеждена была она до этого), и вдруг, с бухты барахты, неудержимо начинало вдруг хотеться увидеть этого героя – увидеть именно те его повадки, которые ей удалось Крутакову наиболее ярко обрисовать.

– Синдрром лупы! – раскатисто, хохоча, обозвал Крутаков это явление, как только Елена ему об этом рассказала.

Мало того: сам незванный-нежданный герой рассказов вдруг ни с того ни с сего моментально, с опереточной расторопностью, тут же ей, под каким-то явно выдуманым предлогом, звонил – до того бессловесно и никчемно пылившийся в каком-то свальном ящике внешней массовки. Так, как только они с Крутаковым, дурачась, поговорили об Антоне Золе – тот, легок на помине, в тот же вечер позвонил ей с дурацкими, и явно ни в малейшей степени его не интересовавшими, вопросами про экзамен по немецкому, который она только что сдала. А когда Елена, на ленивый и чересчур общий вопрос Крутакова («А не в школе – ну неужели никакие тебе ровесники не нравятся – ну кто-нибудь же должен же был тебе быть хотя бы пррросто интерресен, крррроме этого Семена, в последнее вррремя?»), смеясь, рассказала ему про какого-то носатого Артема, которого она встретила в начале июня неподалеку от главного здания университета, у посольства Китая, на протестном пикете – во время убийств на площади Тяньаньмэнь (студенческий митинг собрался поздно вечером, и, в темноте, Артем показался вполне даже симпатичным – если бы так громко не орал: «Ли Пэн, Сяопин – руки прочь от Китая!» – добросовестно орали, впрочем, все, не исключая саму Елену), а так же про группку ребят, с которой она потом, чтобы не страшно было одной возвращаться, ночью, через всю Москву дошла пешком до Пашкова дома, где царил рыхлый аромат разогретого за день дерна, и мокрого от поливалок асфальта, а в зарослях сирени на скате с удивительной силой пел соловей – так, что, казалось, слышно его аж на каждом краю затихшей Москвы – и кардиограмма этого крошечного, кое-как оперенного, сердца с крыльями, казалось, зримо расшифровывалась в какую-то небесную архитектуру – и когда Елена на секундочку

закрывала, отстав от компании, на ходу глаза, то ясно видела радужно-прозрачные, выстраиваемые, вырисовываемые трелями соловья кубоватые, ярусные, очень многоярусные, ажурно-готические, шатровые, и луковкой – терема – которыми – если бы вот простоять тут ночь – и зарисовать их в блокнот для этюдов – можно застроить город; и про каракулево-кучерявого, мажористо подстриженного с боков мальчика-студента с джинсовым рюкзаком, из этой же компании, которого, по стечению обстоятельств, звали тоже Женю, и у которого под глазами были интересные, сливочного оттенка мельчайшие пигментные крапинки, словно его рисовал Поль Синьяк или даже Жорж Сёра – и с которым так горько, идя по ночной Москве, было обсуждать гнусное предательство Горбачева, по сути откровенно благословившего массовые убийства в Пекине и расправы над манифестантами – потому что во время визита туда, совсем незадолго до трагедии, Горби брался с кровопийцами – а на пресс-конференции в Пекине демонстративно ушел от прямого журналистского вопроса об уличных протестах оппозиции, требующей реформ, – едва, едва Елена всю эту прогулку еще раз вспомнила, прокрутила перед мысленным взором, все это Крутакову поведала – как тот же студент-Женя немедленно же, позже вечером, позвонил ей: поедет ли она на сэйшэн в Апрелевку?

Был и другой звонок: не на шутку Елену встревоживший. Шляпный малец с кукольным лицом, панк, приятель Цапеля, шутливо кадрившийся к ней в вечер знакомства с Цапелем на Арбате – маленький симпатичный веселый человечек со спрятанным под шляпу седым чубом посреди черных волос, которого она с тех пор и слыхом не слыхивала, позвонил и, баритоном, бодро осведомившись как дела, и подробно раздекламировав панковские поэтические выкрутасы, как бы невзначай справился, в конце разговора, не видела ли она, случайно, в последнее время Цапеля. Выяснилось, что Цапеля никто не видел в Москве – ни на даче у его друга, где он часто найтовал, ни в студенческой тусовке, ни «на системе» (судя по временным описаниям шляпного сорванца) с момента их последнего с Еленой свидания. «Пропал, пропал куда-то, да... Мы сначала думали – мало ли что у чувака в жизни происходит... Мало ли почему он старых друзей видеть не хочет... А тут я решил: может быть вы слышали о нем что-нибудь... Мы же никто даже адреса его не знаем в

Подмосковье...» Елена, похолодев от ужаса, не зная, в курсе ли шляпный панк о ее былом страстном романе с Цапелем, и о том, как они расстались, – не понимая, как себя вести, и что теперь предпринять, примчалась на Цветной, рассказывать триллер Крутакову.

– Как это ужасно, Крутаков... Вот видишь человека – разговариваешь с ним, дурачишься, произносишь какие-то слова – и не знаешь, что это – ваша самая последняя встреча, что ты, может быть, последний человек в жизни, который видит его живым... Как страшно... Менты? Гопники в электричке? Да что угодно могло с ним случиться... Как страшно – вот если бы знать, что человек в эту секунду уйдет – и в его жизни произойдет какая-то трагедия, что это – такая страшная развилка в его жизни, развилка, которая, возможно, готовилась всей его предыдущей жизнью, всеми неправильными выборами, которые он делал – и на которые я повлиять никак не могла... Но можно ли было в этот момент произнести какие-то важные слова, сказать ему что-то – чрезвычайно важное – про жизнь, про ее смысл – положить что-то важное на чашу весов, чтобы на этой развилке он выбрал другую излучину...

– Ну, голубушка, насколько я понял из твоих обррразных недомолвок, он хотел, чтобы ты на чашу весов вовсе не слова, а нечто ддрругое положила, – хумкал себе под нос, не отрываясь от книжки, Крутаков. – А ты категорррически не желала этого...

– Дурак ты, Крутаков, я же не об этом...

Но Крутаков явно решил, что Цапель из плюскуамперфекта, – да тем более еще и взволновавший ее донельзя, по-человечески, своим исчезновением – достойнейший персонаж, чтобы отвести ее художественный взор от Семена, – и принялся раскручивать ее на воздушное, разговорное написание о Цапеле «рассказа».

И Елена, впервые чувствуя себя как бы над чьей-то судьбой – уже как будто свершившейся – просто потому что Цапель пропал, – не поддаться на эту уловку не могла.

– Я просто вот думаю: чем, чем я могла его изменить, пока мы встречались с ним... Весь его взгляд на жизнь... Вот, встречаются два человека – на миг, посреди Вечности и Бесконечности... Как изменить его? Как показать ему мир моими глазами... Какие можно было слова крикнуть? Как можно было сделать его другим – чтобы он с такой

логичностью не пришел вот к этому страшному мигу – когда он исчез – и даже его друзья – если действительно можно назвать их друзьями – в чем я, честно говоря, несколько сомневаюсь – не знают, где он, не знают даже его домашнего адреса – чтобы узнать, что с ним... Как, Крутаков, как можно было его изменить?

– Изменить, голубушка, никого, увы, нельзя, – скучающим голосом произносил Крутаков, параллельно увлеченно читая и жеманно супя губы, прямо как Жираф, – и резкую узористую выемку над его верхней губой все время почему-то ужасно хотелось измерить мизинцем. – Все люди – такие, каковы они есть. Манады. Это некий сверрршившийся факт. Прррросто некоторрррые – не вполне люди, а полу-люди, некоторрррые – четверрртушки от людей, некоторрррые – восьмушки, некоторрррые – одни-шестнадцатые людей – диверрртисмент такой! Ну а некоторрррые – ва-а-абще не люди. А так, человекообррразные. Это нужно пррринять, как факт. Вся жизнь – это прррросто пррроявление сущности человека. Таковой, какая она есть. Никого изменить нельзя!

– Ну что за вульгарный платонизм, фу, Крутаков... – стонала Елена. – Что ты несешь... – и одним залпом допивала чай, готовясь к новым раундам метафизической битвы.

Но Крутаков вдруг неожиданно примирительно говорил:

– А вот ты мне ррраскажи лучше, как он выглядел, этот Цапелль? – переворачивал страничку – и, быстро, краем глаза зыркал на нее – в знак интереса. – Обрррисуй его так, чтобы я его увидел! – и тут же снова нырял взглядом в книгу.

– Ну, он был очень красив, этот Цапелль... Очень, очень красив...

– Что за оценочные категорррии у тебя все врремя в ррррасказах?! «Крррасивый!», «крррасивая!», «ужасно!», «чудовищно!», «дивно!», «чудесно!» Замечала?! Дррругие эпитеты тебе для чего даны в ррречи, а? Что за детсадовские всплески, охи и ахи все врремя у тебя?!

Елена злилась – но все-таки старательно начинала рассказ – уже по третьему разу – заново. Удивительно, что все, не относившиеся к делу (то есть напрямую не относившиеся к Цапеллю детали – всё, что завлекло ее взор, слух, чувства – когда в жизни присутствовал Цапелль) – Крутаковым – к ее высочайшему наслаждению – не только не отбраковывалось, но и вдесятерне приветствовалось – и, как только

Елена их, эти вторичные, вроде бы, детали проговаривала – до крайнего предела точно подобрав им определения – вдруг, с феноменальной внезапностью, оказывалось – что они-то для нее и были главными – и ей как будто физически, ощутимее сразу становилось легче (ровно так же – как когда впервые вдруг решила нарисовать для Крутакова чудо звонящего окна в Семеновой квартире – и когда впервые чуть засвербило чувство выходящей из сердца занозы).

Крутаков лишь изредка, среди перелистывания страниц, довольно мугукал. А в конце концов, когда ей показалось, что уже к портрету Цапеля, по крайней мере, известному ей, ограниченному ее, человеческими рамками, добавить вправду нечего, Крутаков, с каким-то неожиданным вздохом облегчения, сказал:

– Да бррррсь ты волноваться за него так, прррраво слово... Сидит, небось, в своем этом... Где, ты говоррила, он живет? В Солнечногорррске? Ну вот – лежит, в этом пррреккрасном Солнечном Горрроде, небось, на диване, пиво пьет, телик смотррит, пузо отрррастил, рррастолстел донельзя – вот и показываться никому из дрррузей не хочет. Панк-рррасстррига... Знаешь, голубушка, какая у тебя главная пррра-а-аблема: ты всем склонна пррриписывать сложность, которраая есть в тебе...

Незаметно для нее самой, эта азартнейшая игра в рассказы превратилась в самую затягивающую, ежедневную страсть, делающую и без того слепяще яркую жизнь вокруг максимально многоцветной – и уж если несколько дней с Крутаковым Елена не виделась – то чувствовала, что уже сейчас просто лопнет от переполненности новыми впечатлениями, которые так не терпелось перелить в новые, вместе с Крутаковым вывязанные, истории. Аня, Дьюрька, Эмма Эрдман, Лада, и даже Антон Зола – хотя в земной жизни частенько и раздражали – но будучи выпущенными в вольный океан слова, становились как будто даже еще ярче, еще выпуклее – настоящими литературными героями, с характерами, со своими слабостями и смешными прибабасами – и, совершив благословеннейший полный круг, возвращались к ней снова, превращаясь вновь из литературных героев в живых друзей, вызывая в Елене даже еще большую нежность – и так сладко было думать, что сами-то они даже не подозревают о

кругосветном путешествии, которое, благодаря Крутаковской игре в рассказы, совершили.

Хотя Елена и возмущалась немножко наглостью Крутакова – когда он поминал Семена: возмущалась, потому что она-то сама была убеждена, что влюбленность в Семена давно уже вытравлена – а тем не менее, то и дело с недовольством замечала, что рана в сердце, Семеном нанесенная, хоть и почти зажила – а вот все-таки полностью о нем забывает она только в момент этой азартной игры с Крутаковым – или когда Крутаков развлекает ее будоражащими разговорами на таинственные, самые родные ей, самые близкие метафизические темы, – а как только остается наедине с собой, атавистичная боль снова начинает поскуливать. Да даже и когда она болтала с Крутаковым – как только он переставал тешить ее болтовней об умозрительных предметах, ее завлекавших – провалы случались: и со стеклянными глазами она могла минут десять говорить – автоматически, в беседе никак ни душой, ни сердцем, ни эмоциями не участвуя – пока Крутаков на этом ее не ловил, не встряхивал. И как ни злилась Елена на эту пронизательность Крутакова – однако иногда своей вдруг спохватывающейся бравадой метафизических провокаций и нерешаемых вопросов, с испугом за нее в глазах – Крутаков вытаскивал ее из этих провалов вовремя.

Как-то раз, на Пушкинской, в сквере перед кинотеатром, когда шли на очередной митинг (с Цветного, после волшебной прогулки вниз по бульварам), и Елена, разморенная жарой, залезла, на секунду, на скамейку у фонтана – Крутаков и вовсе рассмешил ее: рядом с ними по кромке фонтана мягко увиливал от мента какой-то смиреннейший худосочный антисоветчик – всего-то лишь не желавший снимать крошечный значок с бело-сине-красным самодельным флажком с лацкана рубашки, – и преследующий его, в танце по гранитной кромке, с изяществом слонопотама, мент в фуражке и легкой рубашечке на секунду встал на месте, устроив умопомрачительную солнечную запруду: бьющее им в лицо солнце вдруг превратилось в сияющий горящий вокруг него абрис.

– Взгляни! Взгляни! – вдруг оживился Крутаков. – Вот же – фальсификация, которррую устррроил твой Семен! Ты взгляни на этого мента – он же – крррасавец в лучах этого солнца сейчас! Чуть ли

не сам источником этого солнечного столпа кажется! А на самом деле – он прррросто-напрррросто солнце от тебя заслони́л!

Антисоветчик скрылся в толпе. Мент с фонтанчика сгинул. А от легкого дуновения ветерка, размешивавшего солнечные брызги, казалось, что в фонтан кто-то щедро вращающейся рукой с неба сыпет соль из огромной сверкающей солонки.

А на Тверском, когда начались уже обычные митинговые ролевые игры, и опять повязали каких-то дээсовцев, – на обочине, в толпе, дебелая девушка с черными кудрявыми волосами до попы, перехваченными на затылке резинкой, громко делилась с единомышленницами инструктажем, полученным от старших товарищей-революционеров:

– Валерия Ильинична мне сказала: «Если тебя заберут в отделение – ложись сразу на пол, кричи что есть силы и бей по полу ногами – они не посмеют с тобой ничего сделать, ты же девушка».

– Знаешь, Женечка... Я... вот честно тебе скажу – при всей моей искреннейшей симпатии к ним, и так далее... Они абсолютные герои, конечно... Но я, по-моему, совсем в уличные революционеры не гожусь... – стыдливо признавалась шепотом Крутакову Елена, с оторопью на откровенничавшую активистку посматривая.

– Да, голубушка... С трррррудом прррредставляю тебя на барррикадах! – насмешливо-тихо подтверждал Крутаков, невозмутимо забираясь на только что выставленное ментами наискосок тротуара железное ограждение. – Ты сррразу всех слезами от сочувствия зальешь – а потом брррезгливо попррросишь соды, чтобы пррротеррреть дррревко знамени!

Самой героини антисоветского народного сопротивления Новодворской (цитируемой дебелой девушкой), – несмотря на то, что бывала, уже с весны, практически на каждом митинге – Елена никогда увидеть не успевала: винтили Новодворскую, как докатывала эхом толпа, где-то, невидимо где, в первые же секунды ее появления в обозримом для ментов пространстве – и митинги вел то какой-то очень бледный красивый демсоюзовец с бронзовыми длинными локонами, а то (если винтили и его) – созвучная его фамилии своим именем красивая же молодая серьезная студентка, с косой.

И только по самиздату да по сорочьему устному телеграфу Елена узнавала потом о чудовищных, героических, смертельных, сухих

голодовках, которые каждый раз героиня народного протеста Новодворская объявляет, как только ее «захватывают в плен». И, каждый раз, сдавалась не она – а власти – потому что понимали, что она действительно не шутит – и действительно лучше умрет, чем позволит держать себя или своих единомышленников в несвободе.

И, стилистически, отшатываясь от таких вот уличных див – как обширная девушка в легком, пестром, чересчур обтягивающем платьеце, с азартом планирующая сучить в милиции ногами по полу – Елена все-таки каждый раз, с благодарностью, чувствовала, что именно та, безвестная ей лично, никогда не виданная ею, безвозрастная, говорят, и очень толстая, и очень умная, и чудовищно образованная, былинная богатырша Новодворская в чудовищных очках – без всяких словесных прикрас рискует жизнью и приносит себя в жертву, в том числе и за ее, Елены, личную свободу.

К секретничанию же Крутакова о его связях с антисоветской организацией (название которой – из-за западных эмигрантских корней – произнести публично было еще криминальнее и немыслимее, чем новодворский союз) Елена уже так привыкла, что никаких вопросов, из чувства такта, Евгению не задавала. Ни в одну взрослую компанию он ее с собою не брал – а однажды вечером, когда Елена, млея от цветных теней на Рождественском, и мечтая вытащить Крутакова погулять, зашла за ним, как всегда без звонка (всегда забывала сунуть в карман номер телефона), к Юле – Крутакова дома не оказалось, а на следующий день он невозмутимо доложил ей, что «уезжал пьянствовать к дrrррузьям», а когда Елена запросто, без всякой задней мысли, поинтересовалась «к каким?», Крутаков невежливо отповедал, что она «маленькая еще – знать».

Во искупление грубости, правда, Крутаков на очередной книге тут же ей, с обычной своей дурашливой рисковостью, надписал на фронтисписе свой тайный диссидентский псевдоним, смешно обыгрывающий картавость, взяв с нее клятву, что не покажет книжку ни единому человеку – а если кто случайно и увидит – то чтоб не проболталась, чей это подарок.

Вся эта конспирация, однако, безусловно, с лихвой искупалась феноменальной скоростью, с которой Крутаков, при первых признаках тоски на ее лице, доставал для нее, через каких-то невидимых друзей, не только книги, но и любые музыкальные кассеты – вскользь ею в

болтовне с ним совершенно случайно упомянутые, как предмет вожделения. Великодушнейше раздобыта им была даже кассета с античным (восьмидесятого, аж, года) альбомом модного, велеречивого, местами косящего под серебряный век, барда с мутными, метафизически-двусмысленными, топкими, болотистыми, текстами, с восточно-обкуренным креном и романтическим козловатым блеющим голоском – мимолетное увлечение которым Елены Крутаков картаво высмеивал и обзывал «дурррацким девичьим ка-а-апррризом», а самого барда кликал попсой и бессердечно указывал на безграмотности и эпигонство в его текстах.

А уж когда надыбал Крутаков, по ее же капризу – краденые, кажется, какие-то, неавторизованные, любительские – записи виолончельных сюит Баха – с западных камерных концертов Ростроповича (аллеманда и сарабанда, например, в одной из сюит были записаны явно прямо с микрофона на сцене в каком-то концертном зале, а другие части – чуть не кустарным, вынесенным микрофоном, судя по звуку, в совсем крошечном каком-то помещении. В нескольких сюитах некоторые музыкальные части и вообще отсутствовали, шли через одну. А в третьей сюите, судя по разному аудиофону и катастрофически разному качеству, каждая часть вообще записывалась в отдельности, в разных местах), Елене, забравшейся на Юлин подоконник с Юлиным же раздолбаным магнитофоном – и заткнувшей уши ярко-желтыми наушниками с узкими наконечниками (напоминавшими стетоскоп, которым, в плюс к пофигометру, вооружена была каряя врачиха, делавшая щедрую распродажную скидку на давление) – казалось, что мечтать в жизни после этого неслыханного счастья в общем-то больше почти и не о чем.

На другой стороне переулка солнце, отражаемое окнами Юлиного дома, клеило медовые римские цифры как попало, на блеклые трещины дома напротив, метя меж окон – но иногда мажа, и провоцируя тройной пинг-понг. А когда Елена раскрыла левую створку окна – с ее руки через весь переулок ярко перемахнула огромная жар-птица – и села на стену противоположного дома.

Запись начиналась с прелюдии второй сюиты – и Елена разом позабыла, что кроме нее еще есть кто-то в комнате, на свете. Виолончельная грусть разом заставила все звучать внутри – в диссонанс с солнечным жарким днем, игривые блики которого видела

перед собой за окном. Начался растерянный, умный и грустный диалог – и, неожиданно, Крутаков – находившийся от нее в нескольких метрах, валявшийся, почитывавший, как обычно, с чаем – был перенесен во внутреннее пространство – и у Елены почему-то сжалось от страха за него сердце и, вместе с ре-минорной раздумчивостью, обрывались теперь все ее внутренние струны – потому что разом как-то вдруг почувствовала, что вот эта вся Крутаковская о ней забота, весь этот Крутаковский испуг за нее, как только он видит первые признаки ее тоски, та поспешность, с которой Крутаков кидается ее утешать, подстраховывать и завивать диковинными виньетками ее внимание – являются только эхом его личного опыта, и означают ведь, на самом деле, что Крутаков сам разрушительное действие схожей какой-то (но совершенно из-за каких-то других, неведомых ей, причин возникшей) тоски испытал – и испытал сторицей – и оттого и пытается уберечь ее.

Еле выжив сарабанду второй сюиты, вновь и вновь ронявшую в ямы скорби, и перемахнув через переулок записи – пригелась на стенке сарабанды противоположного дома – третьей сюиты, не срывавшейся в безвыходную скорбь, но и не бывшей легковесной: виолончель, казалось, скребет по сусекам души – не осталось ли еще тоски? Бурре, красивый, как бурлеск солнца за окном, радовал тонким отзвуком, отражением темы. А когда добежала ушами до жиги – уже просто повторяла про себя: «Как красиво... Как хорошо, что Крутаков, в отличие от рассказов, в музыке не требует от меня пояснений... Этой трепетной дерзости – этой умной, кажущейся игривости звуков с мгновенным уходом после шуток, через шутки, в глубь, в суть, в серьез...»

А от прелюдии четвертой, ми-бемоль-мажорной, сюиты, говорившей на полном серьезе, с полным уважением и к себе, и к собеседнику, без единого смешка – уже даже не надо было жмуриться, чтобы перед глазами возникли иные картины, вовсе не совпадавшие с внешними – и почему-то, как некогда, зимой, в мороз, в памятный день, когда возвращалась из школы к Ривке, провидческим озарением, видела лето вокруг себя, – сейчас, в жару, до дрожи ясно, запрыгом не в будущее, а в прошлое, увиделась размазня снега в Замоскворечье, рисованном как будто размытой акварелью, по мокрому листу предвесенней оттепели, и Глафира – в блёкло-зеленом, буклевом

пальтишке с выпуклыми, как каштаны, пуговицами, несла скорченными артритом пальчиками салативо-зеленую матерчатую сеточку с молоком – и кто-то так ясно рисовал ее узловатые руки! Каких-то только домашних произведений искусства этими своими изуродованными – холодом, плохой едой, тяжелой работой, жуткой жизнью – пальчиками Глафира не создавала – все полочки, этажерочки у нее в квартире выложены были кружевами (вывязывала медным крючком, с очень приятным захватом) – и какими-то специальными хлопчатými салфетками – вышитыми мулине и гладью – и с кружевными ввязками. У раковины в кухне всегда лежал бедненький, но такой веселый еж – сшитый Глафирушкой из пластиковой сеточки из-под морковки – и отлично оттиравший кастрюльки от пригари. А пакет молока, который Глафира сейчас несла – неожиданно возникнув опять в воображении – непременно будет обрезан под «горшочек» для рассады – благоуханной помидорной рассады (семечки проращиваются в мокрой марлечке), которую Глафира весной повезет в Ужарово. Однажды, когда Глафира от них уходила – отсидев с Еленой день и дождавшись, пока Анастасия Савельевна вернется с работы – Елена, не желая отпускать Глафиру, взяла да и припрятала деньги, бронзоватый пяточок, который Глафира всегда выкладывала на липовую некрашеную струганную полочку в прихожей: чем старей Глафира становилась – тем пугливей, всегда боялась что-нибудь забыть – и к метро шла, зажимая пяточок в кулачке, или, если ударяли морозы – закладывая в варежки – ярко-малиновые, с очень длинной надвязкой на чувствительные запястья, ею же самую связанные, обшитые изнутри байкой. Увидев, что пяточка нет, Глафира вдруг расплакалась: «Совсем я раззява стала старая... Никуда не гожусь... Выронила, должно быть, где-то...» Елена, совсем не предвидевшая, и уж, разумеется, категорически не желавшая такого драматического оборота – краснея от стыда, не знала, как бы повернуть представление в желаемое русло – а именно, чтобы обожаемая бабушка реветь перестала и осталась с ней на весь вечер играть – и когда Елена пятак предъявила, и призналась, что просто не хотела ее отпускать, Глафира почему-то расплакалась еще больше. А потом на кухне за чаем с Анастасией Савельевной, когда обе думали, что Елена (тихо танцевавшая за дверью) их не слышит, Глафира хлопала Анастасии Савельевне: «Как я хочу дожить, пока она пойдет в школу... Как я хочу

дожить...» Хитростью, спрятанным пяточком удержать Глафиру не удалось: в то лето, в то последнее вольное лето перед тем, как Елене нужно было идти в школу, Глафира пропала, приезжать к ним перестала, и Анастасия Савельевна долго не говорила Елене причину. «Хворает». Глафира очень страдала. Врачи травили ей желудок боржоми, заявив, почему-то, что это ее вылечит – больше-то, при пустых прилавках, и прописать было нечего, – Анастасия Савельевна тоннами таскала, разыскивая по всей Москве, бесполезные батареи бутылок. Когда поставили диагноз «рак», Анастасия Савельевна запретила врачам говорить Глафире правду. Но та, разумеется, почувствовала, знала, что умирает. Анастасия Савельевна привезла Елену к ней в Замоскворечье прощаться, когда Глафира от боли временами уже впадала в забытие. И так страшно было войти (Анастасия Савельевна крепко держала Елену за руку) в затемненную, моментально ставшую как будто незнакомой, комнату, где справа лежала на диване укрытая одеяльцем худенькая совсем Глафира.

– Мама, ты спишь? Лена к тебе приехала... – Анастасия Савельевна произносила слова обрывающимся голосом, боясь разбудить Глафиру – и одновременно, боясь, что та не услышит, *не успеет* услышать Елену.

– Леночка... – Глафира совсем заплетающимся языком, в полузабытии, смогла произнести только одно слово.

Совсем недавно Анастасия Савельевна Елене рассказала, что Глафира, когда почувствовала, что смертельно больна и больше не встанет, просила ее зайти в церковь и купить ей нательный крестик (до этого, все годы советской власти, крест не носила – боясь, что если чужие заметят, то она навлечет неприятности на родных).

– А я постеснялась в церковь зайти крестик купить... Представляешь... Нас же всю жизнь везде учили, что это стыдно, что это страшно – за это с работы могли выгнать... До сих пор себе простить не могу... – вспоминала Анастасия Савельевна.

Перед самой смертью (как – опять же – только вот теперь – с девятилетней рассрочкой – рассказала Елене Анастасия Савельевна), Глафира чуть поднялась на постели и, видя, что Анастасия Савельевна рядом с ней сидит, Глафира, смотря на нее – но как бы и куда-то сквозь нее – отчетливым, светлым, радостным голосом, сказала:

– Мальчики поют!

Через минуту ее не стало.

Елена резко оглянулась с подоконника на Крутакова – не подсмотрел ли он всех ее мыслей: солнце, вторгавшееся в распахнутое ею окно, торило себе кривой неф в левой части комнаты – с золотым теснением воздуха из кружащихся взбитых пылинок, и до истомы красиво играло с угловатыми, темными, чайными, паркетными тенями книжных гор на полу, подергивая сами книги интересной золотой теплой поволокой – аж до самой двери в прихожую, – вырисовав, темно-сине-коричневым, даже ее собственный силуэт, захватывая по дороге, рядом с Еленой, справа, лишь краешек письменного стола и звенящее светом кольцо на колпачке перьевой ручки, которой обычно Крутаков творил – кажется из франтовства; угол жаркого солнечного столпа, решительно перестраивавшего всю комнату, до потолка, в вертикальной плоскости был скошен – так, что, казалось – не комната это уже – а ассиметричная чердачная мансарда, и искалось солнечных прорех в крыше; прорех, впрочем, никаких не было; правое окно отбрасывало более скромный солнечный коврик на паркет по параллельному краю комнаты (выхваченный ярким светом ромб дерюжки на стене казался этого же коврика загнувшимся на стенку краешком), а Крутаков восседал в обычной своей книжной позе на диване – казалось, в глубине чердака, вдали – в каком-то фиолетовом чердачном рассеянии, – и даже странно отсюда, из столпа света, казалось: как же Крутаков в такой темени там читает.

Вспомнив еще раз Глафиру, Елена подумала: «Какие же слова можно сказать несмышленому четырех, пяти, шестилетнему, семилетнему ребенку, когда знаешь, что скоро умрешь, что жизни тебе отпущено еще совсем немного? Как сделать так, чтобы ребенок навсегда запомнил твою душу? Ведь Глафира не писала ни книг, ни музыки. Что же за секрет был в ней?! Каков же ее язык «мертвых» – такой живой, на котором она так громко со мною теперь все время говорит?! Что же за тайна?! Чем Глафира могла навсегда гарантировать себе бессмертие в моей памяти? Вот этим вот ажуром кружев из теста для вареников, вырезаемым фужером – которые Глафира позволяла мне, встав на табуретку, вместе с собой делать на светлом деревянном столе у нее в кухне – этим волшебством – когда из легчайших кружев, поднимаемых мною и со смехом рассматриваемых на свет – Глафира, мучной скалкой, снова и снова раскатывала щедрую гладь – и снова и

снова можно было вырезать – казалось, до бесконечности – фужером новые кружкИ?»

Музыка, за последним виражом, вернулась восвояси – и Глафира вновь, отменяя суеверную веру в смерть на свете, сжимала в артритных кривеньких пальчиках сеточку с молоком – переходя дорогу, с акварельной размазней снега – к своему дому.

Когда Елена вернулась в комнату после короткого антракта, то увидела, что магнитофон с наушниками переложен Крутаковым с подоконника на диван, а сам Крутаков, за расчищенным письменным столом между окон, сидит и разбирает какие-то бумаги. Солнце пятилось, оглядываясь, по часовой стрелке – и правый солнечный неф скоился к центру комнаты и яркими брызгами взьерошивал теперь Крутаковскую смоляную шевелюру. Вся фигура Крутакова – вписанная, вместе со столом, аккуратно посредине, меж двух жарких, по разному разверзающихся, объемных воронок света – с гривастой башкой, чуть наклоненной вправо, выглядела сейчас как эскиз цветными карандашами – как упражнение в перспективе и цвете, и сужающийся потолок над ним казался отсюда, с дивана, фарфорового-голубым. Красноречивое молчание его спины могло означать как «выметайся, мне работать надо» – так и «вот, хорошо – ты развлекайся музыкой – а я займусь делом». И Елена предпочла считать пиктограмму во втором смысле: отклеиться от музыки действительно сейчас не было никакой возможности – и сарабанда четвертой сюиты, поддерживаемая уже хиппанской подушицей под спиной, движением протяжной музыкальной кисти клала слой краски за слоем в наушниках – и происходил бледно-лиловый восход над фиолетовым морем в не очень ласковую погоду, и горизонт делился на два – и эта надтреснутость почему-то не радовала, а ранила. И Крутаков, держа коробок в правой руке (всегда носил с собой спички – хотя и не курил: вместо фонарика, мизинчиковые батарейки к которому достать было ну совершенно нигде не возможно), угловато поставив локоть на стол, автоматически то выдвигал, то задвигал крошечный спичечный ящичек: и до жути раздражало почему-то, что этот звук, который видишь, невозможно услышать – тем временем, как прелюдия шестой сюиты перепиливала мозг эхом охоты – и, будто награда за все звуковые муки – небесным, зрительным, цветовым, и даже тактильным наслаждением была последняя аллеманда – вся бело-сиреневая, живая,

вся будто построенная на прекраснейших опечатках, ошибках, сбоях – со зримыми фальшивыми срывами струн – будто рыдающий художник сослепу от слёз брал все-таки кисть и краски, и бросал на холст ничем не сдерживаемые мазки, и движение его масляной кисти тут же становилось движением смычка – и струны звучно почти-почти рвались – еле выдерживая его взрыды сквозь светлые, застывшие ему взор, заполошные безудержные слезы, благодатно лишаящие его возможности пребывать в каком-либо человечески известном, выверенном, земным притяжением оговоренном, формате, – и гармония летела: свободно и с головокружительно живым, в воздухе достраиваемым, меняющимся – но в великолепной сути остающимся неизменным – совершенством.

И Елена до таких мозолей в голове наслушалась в тот день сюит – гоняя записи, по кругу – перематывая – и снова и снова слушая всё подряд – что углы музыки еще два дня потом выпирали из всех мыслей – так что даже думать было негде.

И даже трудно было поверить, что их создал (хотя слово «создал» никак сюда даже и не клеилось – вот уж где со всей очевидностью видно было, что сам человек такого создать не может – честней уж: записал, подслушал, услышал) тот же самый человек, что и обожаемые Анастасией Савельевной фуги – столь величественно строгие по форме – оказываясь внутри которых как будто взбегаешь по красивым витым ступенькам внутри великолепного, гигантского, светом заполненного здания, ими же, по мере твоего восхождения, и выстраиваемого.

«Как было бы прекрасно, – думала Елена, в следующий раз, разглядывая, с дивана, задумчивую Крутаковскую спину за столом (и сполна наслаждаясь доставшейся и в этот раз без битвы изумительной звякавшей, колоколисто брымкавшей подушкой – и, для прочистки мозгов от абсолютно не хотевшей удалиться с нажатием кнопки «stop» баховской в воздухе парящей музыкальной живописи, – вместо сюит слушая в наушниках уже заграничные «голоса»), – как было бы прекрасно, – думала она, жалея, что неловко как-то сейчас отвлекать этой мыслью Крутакова от работы, – как было бы прекрасно, если б – не важно в музыке ли, в живописи ли, в литературе ли – можно было б создать как бы сюитную фугу – с сюитной свободой, с летящим раздольем фантазии и как бы внешней независимостью частей друг от

друга – и одновременно с внутренней логикой фуги – так, чтобы в кажущихся абсолютно независимыми по сюжету друг от друга частях – на внутреннем уровне жила, звучала – пряталась – и снова узнаваемо выглядывала – главная музыкальная тема!»

«Свободу» все еще фаршировали помехами – хотя еще в конце прошлого года и было полуофициально, скривившимся ртом, объявлено что-то невнятное и ушло-скорбно-бюджетное, заставлявшее было подумать о прекращении, ввиду абсолютного изничтожения бюджета, транжиренья народных же денег на глушилки и на затруднение народу же доступа к радио-правде – короче, объявили, что глушить больше не будут – однако в действительности в Москве магнитные бури гэбэшних извилин все еще звенели (хотя и сильно слабее – как легкий насморк в сравнении со смертельной испанкой – так, декорация, а не препона), все еще производили в эфире, на частотах нездешних «голосов», звуковое, завывающее, как бы северное сияние. Сквозь которое весной, в хрустящем льдистыми лужами марте, Елена уже слушала на «Свободе» запрещенный советской цензурой Калединский «Стройбат» – весело, на бегу, распевая потом на улицах, на простенький мотивчик, передразнивая стариковскую Окуджавовскую интонацию (песенка которого как раз и была вводной темой к каждой части запрещенной повести, читавшейся в одно и то же время на заграничном радио, разнесенной в несколько дней): «Иду себе играю автоматом – как просто быть солдатом, солдатом» – а через два шага уже, поравнявшись с настоящими, реальными солдатами, запевала, своим уже натуральным тембром, лирично, задиристо, как серенаду, как будто себе под нос: «А если что не так – не наше дело: как говориться «Родина велела!» Как славно быть ни в чем не виноватым – совсем простым солдатом, солдатом...» Через все то же зудящее гэбэшное северное сияние в эфире приходилось слушать и такие экзотические диковинки, ни к чему в видимой жизни не применимые (и воспринимаемые как красивая игрушка) – как лекции Карла Поппера об открытом обществе; и, наконец – таким восхитительным резонансом узнавания встречаемые, обнимаемые всей душой, отрывки из Евангелия.

– Крутаков, можно я Юлины альбомы по искусству посмотрю? Неловко как-то, конечно, без нее... Можно? Я аккуратненько...

– Не-оррр-и, – прочитала она по губам обернувшегося, и со смехом ей показывавшего, чтобы сняла наушники, Крутакова, – и моментально, обидевшись, поняла, что и вправду орала – изо всех сил силиясь перекрыть звуки передачи «Свободы», и шумы заглушки в наушниках – как будто собственным голосом силилась помочь «Свободе» из этих шумов выпутаться.

И вновь, как в детстве, когда любила слушать пластинки, вертя от них красочный конверт в руках, или разглядывая в то же самое время картинки в книгах – на совершенно не совпадавшие темы, теперь Елена рыла траншеи в Юлиных несметных художественных запасах – забиралась опять на диван с добычей, и бодрый голос «Свободы» в наушниках парадоксально аккомпанировал никогда доселе невиданному волшебнику Одилону Рэдону – медитативному, глубинному, который, в отличие от модных пошляков-импрессионистов (да и вообще – единственный из всех художников, картины и репродукции которых Елена когда-либо видела в жизни), умудрялся зримо рисовать мысли персонажей, так что если на какой-нибудь из его цветных пастелей (цветовые аккорды которых Елена могла без зазрения совести приложить к себе, как странно подходивший, удивительно точно резонировавший во всем ее теле, во всех нервных окончаниях, колористический акупунктурный массаж) появлялась женщина под вуалью, то от нее шел такой свет, что зримо были видны, до дрожи, сила и сияние ее молитвы; а если женщина сидела в саду, то цветы, расплывавшиеся под расфокусированным осоловелым ее взглядом, или, скорее выплывавшие из – и от – ее взгляда – загустевающе фиолетовые, сангинные, апельсиновые, расплавленно-лиловые, горячечно-пёрпловые, и, потом – нежный пинк со сливочно белым, присыпанный фруктовым матовым туманом, – и тепло-сизые летающие арки, – были считываемыми мыслями героини картины и расшифровываемой, всю тканью души, магией.

Изучив выходные данные французского издательства, книжку выпустившего, Елена с жутким завистливым подозрением взглянула на спокойно вертевшего какие-то машинописные странички за столом Крутакова, ревниво подумав, что ведь перепало это богатство Юле наверняка через него.

В жадных ушах, на «Свободе» тем временем тоже произошло некое волшебство: Елена вдруг услышала знакомый, до радостного

всхлипа, адрес в Брюсселе: 206, Avenue de la Couronne, Bruxelles. Адрес был в буквальном смысле знаком как «Отче наш» – потому что с него начинался отжертвованный ей, взаймы, Крутаковым брюссельский Новый Завет – и сейчас на радио какие-то восхитительные милые люди сообщали ей, что можно по адресу этому прислать письмецо – и в ответ...

И в ответ – через умопомрачительно скорые три недели, Елена, визжа от счастья, получила из Брюсселя посылку – собственный, свеженький, с синей обложкой с золотым крестом, чистой тонкой бумагой на срезе пахнувший, экземпляр Евангелия. Дыры в лапах уполномоченных лиц, ответственных за поддержание идеальной духовной пустоты советской расы, были все очевиднее, прорехи становились все живительнее. В посылке из брюссельского издательства «Жизнь с Богом», кроме маленького, почти карманного Евангелия, была еще и огромная целиковая Библия – с тоже синей обложкой, но толстой, на картоне – с двумя чудесными белыми шелковыми закладками внутри – Книга размером почти могла посоперничать с Крутаковским старинным Остромировым Евангелием.

Ветхий Завет, в исторической его части, сразу произвел отталкивающее, тошнотное впечатление – гнуснейшая история жестокости, убийств, извращений, уродливого, богохульного представления о Боге, как о человекоподобном, жестоком тиране – даже хуже, чем человекоподобном – как о монстре, как об омерзительной вездесущей невидимой зверюге с ноздрями, зверюге, любящей кровь, любящей похотливо нюхать дым убитых и сожженных трупов животных. Словом, все прелести бесовских идолиц и сатанинских божков, которым, по милым традициям «великого» города Урр, и прочих не менее великих и славных городов и деревень, приносили в жертву детей, соседей и гостей – несчастные инвалиды язычества пытались перенести и на образ Бога. И какой же отрадой было дойти до Пророков – допетривших, что «заколающий вола – то же, что убивающий человека; приносящий агнца в жертву – то же, что душающий пса», и что никаких жертвоприношений Бог не хочет, что они отвратительны Ему – и что единственное, что Богу от человека нужно – это верность, вера, чистота помыслов и дел, чистое сердце и дела милосердия. Исая, в исступлении возопивший, по Божьей

просьбе – «крови тельцов и агнцев, и козлов не хочу! Что вы пришли топтать дворы Мои?! Не носите больше даров тщетных – всежжения жертв отвратительны для Меня!» – был, безусловно, приятнее всех. Было сразу понятно – почему Спаситель больше всего цитирует именно Исаяю – и именно Исаяю, видимо, больше всего любит. Да и вообще, поэтичный, с удивительными метафорами (пятьдесят восьмая и пятьдесят девятая главы так и вообще были ликующей поэмой), Исая, плюнувший на гнусь традиций, безусловно казался во всем Ветхом Завете самым близким к Завету Новому – как-то прорвавшийся за горизонт: вдохновенные проговорки, божественное бормотание – вкрапленные в ветхозаветный кровавый бред.

Впрочем и Исаяю, чтоб не умереть от ужаса, приходилось, читая, как бы переводить с земного на небесный язык – чуть прикрывая глаза на хищные интерпретации. И явно было, что Бог не использовал пророков как стенографистов, для буквально точного воспроизведения Своих слов – а давал им образы и мысли, всеми способами стараясь разъяснить «слушателю», что имеется в виду – оставляя тем не менее за пишущим полную свободу личности, в том числе и творческой. Однако некие гэбэшные глушилки падшего мира, несомненно, увы, портили прием Божественной волны: шифрограммы Царства доходили, на оккупированной врагом территории, даже до повстанцев и партизан с сильнейшими помехами в эфире, и свободу творчества каждая человеческая личность, ретранслирующая Божьи слова, увы, то и дело все-таки использовала для скатываний в варварское и жестокое язычество трактовок. Явно было, что Бог предоставляет авторам полную свободу – и не проводит предсвиточной цензуры – а как бы говорит: «Ну что ж с вами сделаешь – как поняли – так и поняли. Даже избранные люди имеют право говорить иногда чушь. На то они и люди. А жаждущий правды – сердцем уразумет, где, в записанном ими – Божьи слова, а где человечьи».

Вообще, жутко было следить за тем, как у людей, которых Господь избрал в свой удел и выводил из кошмарного, блевотного окружения – постепенно, очень постепенно, чрезвычайно медленно – как будто бы отваливался хвост язычества.

Вчитавшись, Елена начала различать в Ветхозаветной какофонии как бы четыре совершенно различных хора. Первый – простые люди, индивидуальности, личности – с которыми Бог начинал предельно

личный же диалог и, заручившись их согласием, буквально чуть не за руку выводил их из прежней жизни. Мотив отделения от всего родового, тупого, заезженного, от всего, что окружает – внутренне был крайне понятен и близок. Встань и выйди из того, что знаешь – в то, что Я скажу тебе: и Мое слово создаст тебе место, где жить: что могло быть величественней этого обетования!

Измумительным казалось то, что избранные, соглашавшиеся стать «игроками за Господа» – на земном игровом поле, посреди одержимого звериными и дьявольскими обычаями мира – оставались абсолютно свободными: Господь с каким-то удивительным, подчеркнутым уважением относился к их личностям, и оставлял за ними выбор – даже если в выборе этом они ошибались, или если даже совершали откровенный грех.

Вторым хором выводили петуха священники, пытавшиеся втащить в отношения с Богом все обычаи и традиции язычества, бывшие как бы выползнями из кошмарного жестокого мира кумиров, идолов, кровавых жертв. Священникам, похоже, всегда как-то немножко казалось, что Бога можно «добыть» путем определенной последовательности ритуальных действий – что циклическими хороводами, или курениями благовоний, Бога можно высечь из воздуха – как дикарь, быстро-быстро вертя ладонями палочку и камень, высекал огонь.

Было такое впечатление, что Бог, видя всю убогость изуродованного грехопадением человеческого материала, с которым Ему предстоит работать, как бы снисходил (зная идиотизм и слабости людей) – и, буквально зажав нос, чтоб не чувствовать зловония человеческих обычаев, временно попускал существовать отдельным из этих заскорузлых обрядов – как бы говоря: «Так и быть – вы выбираете язык общения со Мной, язык, понятный вам. Я не могу вам насильно навязывать свой разговорный язык – это бессмысленно: у вас настолько засорены мозги, что вы Моего языка не услышите и не поймете. О'к, вы выбираете морзянку, пароли, языковые символы – Я буду говорить с вами, используя их – только не говорите потом, что вы Меня не слышали!» И какой же бесконечно трогательной была игра с дерюжкой, которую один из Божьих собеседников выкладывал наружу за порог, прося знака: «Господи, пусть она от росы намокнет – а все остальное будет сухим!» А потом, когда исполнялось просимое, когда

эта, понятная человеку буква была вырисована, бедный собеседник все еще сомневался и робко переспрашивал: «Господи, можно я еще раз дерюжку выложу – но на этот раз пусть всё вокруг будет мокро от росы – а дерюжка будет сухой?»

Вне сомнения – то, что Бог временно попускал существовать в своем избранном народе таким блевотным мерзостям, как жертвоприношение животных – было абсолютно не потому, что Богу это нравилось, а тоже исключительно из милости Божьей, из снисхождения к человеческой убогости – когда Бог соглашался временно говорить с избранными людьми (вчерашними недоразвитыми язычниками) на понятном им языке. «Подрастете – поговорим по-серьезному» – как бы говорил Господь. Вне всяких сомнений, если бы у людей было в обычаях в хвалу Богу устраивать клумбы и сажать на них лилии – и если бы такой иероглиф был бы для их мозгов и сердец в тот момент понятен – Бог с гораздо большим удовольствием благословил бы этот обычай – вместо ритуальных убийств животных и зловонного сжигания трупов.

Третьим хором Ветхого Завета выступали те, кого условно говоря можно было назвать «политиками» – вожди, цари и прочие лишь условно вменяемые пациенты – этих уже так колбасило от участия во внешней политике, во внешней истории, что дойти мозгами и душой до тонкостей Божьих заповедей – куда уж там было: жизнь практически каждого из царей по глубинной сути неотличима была от дикарей-язычников и находилась от исполнения простых десяти заповедей на расстоянии большем, чем от земли до солнца. Оставалось (опять же – заткнув нос от зловония) радоваться только тому, что ведя омерзительный образ жизни, они хотя бы исповедовали (весьма номинально, чаще всего) Единого Бога, и не поклонялись лже-богам. Хотя и в этом извращались как могли – и блудник Соломон (под старость, судя по Ветхозаветному тексту, бывший, из-за гнусного разврата, в презрении даже у собственного летописца) впал в соблазн и начал поклоняться идолам девок, которых делал наложницами.

И наконец, четвертый – и самым близкий, самый понятный хор (и единственный по-настоящему божественно звучащий, в полную силу: поскольку уши воспевающих не были заткнуты внешней историей) составляли ветхозаветные бомжи – изгои общества, отщепенцы, оплеванные современниками – короче: пророки. Пророки, которые

чурались посредников, говорили с Богом только напрямую, и опирались в своих словах и действиях только на результаты этого прямого диалога. Пророки, которые пёрли против всех традиций. Пророки, которых никто не слушал даже из единоверцев. Пророки, роль которых, как Елена с удивлением – вопреки напрашивающемуся оттенку русского слова – увидела в тексте Книги, состояла не в том даже, чтобы изрекать «пророчества», в смысле предсказания о будущем (хотя и этого ангелы довели им щедрой ложкой) – но главное – в том, чтобы просто говорить (вернее – орать) правду – петь Богу, быть поэтом, глубоко, без страховки, чувствовать и болеть за происходящее вокруг – и обличать обезумевшее, развратившееся, забывшее Бога сообщество Божьих избранников.

– Ух, как удачно, Женечка, что я начала читать Библию с Евангелия, а не с Ветхого Завета – это же кошмар!

– Ну, что значит ка-а-ашмаррр? – хохотал Крутаков. – Это прррросто честный живой пррррравдивый ррррасказ о человеческой исторррии, без прррикрррас. – А ты хотела, что? Чтобы тебе ррррасказывали, что ддррревние евврреи амбрррозией питались и пылинки ддррруг с ддррруга сдували?

Евангелие – с воплощенными ветхозаветными пророчествами – хотя и композиционно, по времени земной истории, в Книге поставлено было в конце, за Ветхим Заветом, – но было, как раз наоборот, как будто бы экспозицией темы, вступительным ключом – к музыкальной фуге – но только, как и положено разгадке, поставленной, напечатанной, не в начале, а наоборот, в конце, после загадки.

Одновременно, зримо, до мурашек, в красках и всполохах, вспомнив почему-то ощущение взведенного тайного механизма в церкви, на Пасху, перед самой полночью, – Елена подумала о том, что ведь и все эти загадочные антисоветские встречи Крутакова, и запретные митинги в Москве, и вот эта вот присланная ей, лично ей! – и до нее чудом по почте дошедшая! – из Брюсселя-то! – взломав железный занавес! – Библия, – и зашикиваемые выступления Сахарова на съезде – косноязыкого, как Моисей, и исполняющего, за неимением других, в несчастной безбожной стране роль пророка, – и даже стук по асфальту касок шахтеров, бастующих по всей стране – звучный, требующий уважения к человеческой личности, стук, который, как

соловьиное пение в затихшей ночи, внятно слышен был, казалось, даже на Красной площади, – и даже держащая смертельные голодовки при арестах безвестная антисоветская дива Новодворская – все это вместе, без сомнения, по какому-то тайному музыкальному внутреннему созвучию – являлось единым механизмом простейшей правды, элементарнейшего добра – механизмом, взведенным до предела – и осталось только прочувствовать во внутренней же музыкальной логике, когда, как в церкви на Пасху, настанет полночь – и механизм рванет, высвободится.

На двух высоченных сторожевых башнях по обе стороны от дивана в темноте Юлиной комнаты дымились сигнальные костры кружек, и сторож недоуменно кричал с Сеира: сколько? Сколько ночи? И таким шоком бывало, когда Крутаков зажигал верхний свет, чтобы узнать, сколько же, на самом деле.

Но высказать все эти мысли и образы Крутакову, быстро шнуровавшему кроссовки, чтобы ее проводить (вернее выпроводить) к метро (все последние дни Крутаков все больше на нее почему-то раздражался – как ей казалось, из-за того, что она мешает ему работать) – было бы сейчас, конечно же, невозможным.

Резкость перехода из Юлиной комнаты, или из Юлиной теплой кухни, после скороговорочной пытки ступеней, в черную синь улицы – как нырок в бассейн – всегда поражала: вынырнешь на улице из жаркого подъезда – а внутри этого крепкого уличного воздуха оказывается не так даже еще и темно – и даже еще жарче, чем на кухне.

Иногда попевали даже на огарки заката на бульваре.

Глава 5

I

Как ни жаждалось ей удержать надрывную ноту дружеского сострадания Крутакова к ее мучительной ошибке с Семеном (уж больно много материальных привилегий это Крутаковское деятельное сочувствие давало – чтобы вот так вот сразу звук этот взять да оборвать), а скрыть от прохиндея этого тот факт, что совсем уже крепка внутри, и что мечтательная светлая замедленность шага и блаженная задумчивая отрешенность взгляда уж точно не Семену посвящаются, – конечно бы долго не удалось – даже если б она попыталась – из корыстных соображений (кассетки, прогулки, альбомчики) – слукавить.

Крутакова становилось все тяжелее вытаскивать на настоящие, счастливейшие, без сроков и направлений, заплетающиеся, прогулки – опять Крутаков как-то стал изнывать, подстанывать, что невозможно в ежедневном режиме живя с людьми творить, и что «либо тва-а-арррить – либо жить», и грозился, вот-вот, «поднять мосты в небо над крррепостью», и строго выговорил ей, когда она в очередной раз завалилась без звонка.

– Женечка, ты пойдешь со мной в кирху? – Елена стояла, не скидывая ни кроссовок ни куртки, в дверях комнаты – уже по первым тонам приема поняв, что ловить здесь сегодня абсолютно нечего – не будет ни рассказов, ни чаепитий – а только нагоняи.

Крутаков, который открыл ей дверь с таким видом, как будто она пришла не к нему – а к кому-то другому в этой же квартире (как будто его, Крутаковская, роль и вправду сводилась только к тому, чтобы отпереть – а уж что она теперь в этой квартире будет делать – не его забота) – не глядя на нее больше, пролез трудной кривой тропой между высокими островами книг – к письменному столу, и уселся с карандашом за бумаги: какие-то заметки от руки, целиком исписанные листы – Елена не подходила никогда ближе к столу, и не заглядывала: что там – в интереснейшие моменты, когда Крутаков при ней

работал, – хоть и стора от любопытства, но боясь оскорбить его навязчивой любознательностью и свято соблюдая Крутаковское табу на разглашение писательских тайн.

– Не киррррха, а кирррка. Нет такого ррусского слова киррррха... – возгласил, наконец, спиной, не оборачиваясь на нее, Крутаков, вписав одновременно несколько слов карандашом сбоку, на полях, перевернув лист перпендикулярно, обочиной вниз.

– Кирка – это садово-огородный инструмент! – обрадовалась Елена, что Крутаков хоть как-то на нее отреагировал. – Кирха – это же от немецкого! Говорить «Кирка» – это так же глупо, как вместо Хайдельберга произносить «Гейдельберг».

– Значит, кирррка от голландского... – отрезал Крутаков и быстро-быстро, целеустремленно намотав на левый мизинец черный локон, принялся правой рукой что-то вписывать уже над самой верхней строкой – создавая из обрисованного линией текста неровное облако.

Елена обиженно хлюпнула носом, оглянулась на входную дверь – как на поджидающую ее западню – потом опять сделала шаг внутрь комнаты, обрадовавшись, что нашла предлог Крутакова разговорить – и очень правдоподобно выпалила:

– Женечка, короче, я побежала... Я только не знаю как дверь захлопывать – вот ты будешь смеяться надо мной – каждый раз там эта кнопочка не срабатывает!

Будучи уверена, что Крутаков сейчас отцепит зад от стула, и проводит ее как минимум до двери, Елена выждала молча – с минуту.

– Ага... – сказал Крутаков, наконец, спиной. И взялся за новую страницу, начав быстро-быстро строчить.

В костел, на мессу, она шла уже второй раз – благо от Юлиного дома было всего ничего пешком. В первый раз, неделю назад, на мессе было красиво и людно – и месса шла на латыни. И хотя музыкально, эстетически все это торжество Елена переживала внутренне как какое-то важнейшее событие – а все равно, хотя и удивительно ладно было сидеть на банкетке и молиться, рядом с серьезными, красиво одетыми людьми, в основном иностранцами – и со всеми вместе вставать (в непонятные, вероятно – величественные моменты), было такое ощущение, как будто ее разделяет со всем этим действием какая-то пелена. И дело было, как Елена явственно чувствовала, не в иностранном языке. Без какого-либо отношения к внешним и

внутренним, уютным, стенам храма – как ей чувствовалось – была какая-то еще внутренняя комната – с плотными, невидимыми стенами – комната, в которой все присутствующие – кроме нее самой – находились – хотя и сидели с ней рядом, на таких же банкетках. И как в это внутренне незримое помещение войти – она не знала. Поджуживая Крутакова, Елена втайне надеялась, что если Крутаков пойдет с нею на мессу – то каким-то золотым ключиком внутреннюю таинственную комнату эту для нее распахнет.

На бульваре, идя в ногу с чуть припрыгивающими за ней в горку с обеих сторон дорожки молодыми, чересчур коротконогими еще, чтобы ее перегнать, черенками кленов, глубоко дыша, Елена пыталась войти в ритм блаженного медлительного одиночного плавания – которое было жанром, конечно же, совсем иным – чем до обиды ярко уже представлявшийся и сорвавшийся поход с Крутаковым. Уже подготовившись, как обычно, прогуляться ладонями по крышам крошечных старинных особнячков, и расфокусируя для этого внимание надлежащим образом – перенося центр тяжести взгляда прочь, с земных объектов – вверх, взмывая по особым, специально для этих разгонок изготовленным, трамвайным рельсам водосточных труб – Елена вдруг в один из (казалось бы, уже удачно стертых) движущихся по бульвару земных объектов до оскорбительности осязаемо врезалась.

Земной объект встряхнул яркой, медяно-рыжей вьющейся густой конской челкой, и оказался Эммой Эрдман, загулявшей, по бульварам, в чернейшей меланхолии.

– Всё говно! – с видом философа, объясняющего мир, с чувством сказала Эмма, отвечая на проходной, в общем-то вопрос Елены.

А Елена почувствовала себя так, словно ее на улице ограбили: мгновенно украли город, уже было раскрывавший ей навстречу привычные объятия – которые теперь, как она прекрасно знала по опыту (исключения, по загадочной причине, происходили только когда они гуляли вдвоем с Крутаковым), обернутся гадкими метаморфозами – и дома сделаются плоскими картинками (по которым не то что гулять – на которые смотреть-то тошно), и запахи пропадут – и оттенки сольются в один приблизительный – мстя за то, что изменила благотворной встрече с городом один на один.

Но Эмму, служившую невольным вором, невольной виновницей всех этих мгновенных, чудовищных, катастрофических разрушений, тем не менее, было истошно жалко.

За то время, которое Елена с Эммой не виделась, невзрачному кривоногому сердцееду удалось – своей неразборчивостью в чувствах (а скорее всего – этих чувств отсутствием), двусмысленной игрой с Эмминой одноклассницей (в которую, судя по словам Эммы, он не был влюблен тоже, но приметливо считал ту, из-за именитой семьи, для себя выгодной партией), и настойчивыми, но нерегулярными и ничего не обещающими фланирующими визитами к Эмме в гости (спускать которую со счетов он тоже явно не желал) – уездить Эмму почти до смерти.

И Елене, на ходу, все никак не удавалось, несмотря на красноречивые, взлетающие жесты руками, объяснить Эмме, что если мир из-за какой-то одной мелкой гадины вдруг кажется отвратительным, если какая-то мелкая гадина ухитрилась тебе вмиг отравить весь мир – то это повод не винить мир – а произвести простейшее арифметическое вычитание: мир – минус эта гадина.

– Да?! А что если эта гадина – это я?! – грустно хохотала Эмма Эрдман – сменив уже направление, и взбираясь вместе с Еленой на горку. – Я сама себе противна, я ничего не могу... Ничего не умею... Родители заели совсем... Раньше отец мне талдычил, что я бездарность, из-за того что я задачки по алгебре не могу решать... А теперь мать покою не дает, что я сочинения плохо пишу... Всё говно...

– Уверяю тебя: мир засверкает с новой силой, как только ты вышвырнешь из сердца эту гадину, которая отравляет тебе жизнь.

– Куда его вышвырнешь? Я вон, в конце мая, когда занятия еще были, проходила мимо него, когда он с Дуней разговаривал, – и так переживала, так волновалась, как я выгляжу – что упала в лужу!

Мертвый совсем какой-то – несмотря на холерические натужные всплески хохота – взгляд Эммы Эрдман потрясал: так не вязались убийственно-ипохондрические реплики с крепкой колоритной девицей на испанских каблучках с непослушными кренделями кричаще-рыжих длинных волос, торчащих во все стороны, и невероятным выставочным бюстом в декольтированной хлопчатой водолазке (сама-то Эмма изнутри, наоборот, разумеется, видела себя, как она неоднократно признавалась, никчемной уродиной) – и еще

невероятней было вспоминать мелкую неказистость белобрысого виновника страданий, который в жизни, кажется, имел только одну неподдельную страсть: найти сильную, престижную жену, желательно со связями, на которой бы прокатиться в жизни.

– А теперь родители вообще за можай загнали – ругаются, что я в какого-то беспородного втюрилась! – исподлобья, загнанно взглянула на Елену Эмма, словно прочитав ее мысли.

И уж совсем дико было вспоминать, как совсем недавно Эмма, сквозя вся пружинистой детской легкой жизнерадостностью, так любила бегать наперегонки – а теперь, вон, на ногах вместо этого как будто гири скорохода мук.

Выведав, куда Елена идет, Эмма Эрдман, впрочем, неожиданно как-то вся вспыхнула, воспряла:

– Я сама почему-то думала в церковь пойти... Но не знаю... Неловко... Мы, Эрдманы, все-таки из атеистического теста сделаны... Ленка, возьми меня с собой! – и тут же (как только свернули в моментально отозвавшийся сладким, хотя и стократно приглушенным, из-за компании, резонансом во всех чувствах Елены Склепов переулочек) Эмма, как будто застеснявшись себя, давась демонстративной циничной веселостью (на которую, правда, больно было смотреть) прицокнув языком, начала пересказывать анекдоты литературной школы, затесавшиеся еще с конца учебного года:

– Значит, вызвали нашего Ваню отвечать – Михаил Исаакович его спрашивает: «Какова идея пьесы Горького “На дне”?» А Ваня ни в зуб ногой! Не открывал даже книжку ни разу! Ему Лика с первой парты шепотом подсказывает: «Человек добр! Человек добр!» Ваня слышит, что ему кто-то подсказывает – оборачивается вопросительно. Лика видит, что ему сейчас парашу поставят. Она ему еще громче, шепотом: «Человек добр!», «Человек добр!» Ваня смутился на секундочку, сделал чуть удивленную морду, потом видит, что терять нечего – и громко так, не расслышав, Михаилу Исааковичу отвечает: «Человек – бобр!»

А Елена почему-то вспомнила, как в раннем детстве, лет в пять, Эмма Эрдман, гоготавшая обычно громче всех на игровой площадке, разбрасывая вокруг себя рыжий песок, вдруг, на другой день, забредя в песочницу, серьезно сказала: «Ленка, пойдем в другое место. Мне в

песочнице всегда грустно. Когда мы копаемся в песке, это мне напоминает о мертвых».

В костеле было нарядно – как в мае, – одежды священников цвели нежно и разноцветно – белоснежным и золотым по изумрудной зелени. Уютная корзиночка – обшитая изнутри, по-домашнему, материей – приятно переходила из рук в руки, звякая то в одном, то в другом месте банкеток, монетками – напоминая Елене почему-то очень какие-то съестно-приятные «короба», в которые собирали остатки хлеба, после чудесного приумножения хлебов Христом – и так вдруг захотелось чтобы корзинку удалось заполнить монетками до краев! Когда молодой человек с корзинкой дошел до их ряда, Эмма Эрдман торопливо, спеша как бы не унесли корзинку, начала выворачивать карманы джинсов.

– Эмма, это совсем не обязательно... – зашептала Елена, видя, что Эмма нервничает как на экзамене.

Эмма неловко и быстро достала из кармана десять копеек и, звякнув (из-за звяка сделав такое лицо, как будто она – пес, в ужасе прижавший к голове уши), монетку кинула.

Заслышав удивительное, загадочное и торжественное пение на латыни (все встали, и красиво и ладно запели в один голос), Эмма встала, и простояла с серьезным лицом – даже когда все уже сели.

И удивительным чистым звоном звенели где-то в алтаре дети колокольцами.

А внырнуть внутрь действия все равно все никак не удавалось.

На выходе из костела Елена взглянула на дощечку с годом строительства храма – и так гулко, явственно (с кратким, многозначительным «Именно!») услышала в лабиринтах памяти, как Склеп переводил с латыни:

– Лето. Именно! Господне.

Расставшись с Эммой у Кировской, Елена отправилась обратно по бульварам.

Небо не просто «испортилось» (как заметила, перед тем как спуститься в метро Эмма), а клубисто набухло, и, хотя, на Сретенском еще судорожно мелькали (на бешеной скорости) нереально ярко-голубые просветы между многоэтажными, глубокими, слоёными, взбитыми как торт наполеон вместе со всей своей начинкой, облаками (в глубине голубого экрана которых проплывали странно-

отстраненные, шизофреничено не имеющие к назревающей буре никакого отношения, благостные статуэтки неизвестных деятелей человечества, не без шика вылепленные из белого газового материала), когда Елена перебежала на Рождественский – всё уже застила огромная туча фиолетового шоколада. Небо над Пушкинской, как хорошо было видно отсюда, с горки, уже дергалось одним черно-лиловым штрихом дождя.

Влажный разряженный воздух пах счастьем.

Унюхав, что сейчас – еще несколько минут – и небо рухнет – Елена рискнула забежать вновь к Крутакову.

К ее удивлению, дверь так и не была заперта – а была только прикрыта, как она ее и оставила. Крутаков, не слыша ее, сидел и строчил за столом, быстро-быстро водя своей точёной кистью с узким запястьем – но не карандашом уже, а перьевой. «Начисто!» – с замиранием сердца подумала Елена. Клюв перьевой ручки двигался с еще большей, тройной скоростью – и, казалось, быстро и жадно склевывал крошки с листа. Лицо Крутакова чуть застил упавший справа локон.

Не выдержав нахлынувшего приступа шалости и любопытства, Елена, вопреки своему кодексу деликатности, воспользовавшись Крутаковским аутическим отсутствием внимания, подошла к столу вплотную, встала у Крутакова за плечом – заглянув в рукопись – и вытаращила глаза: Крутаков уписывал линейку не русскими буквами, а каким-то кодом – невиданными буквицами. «Что это? Что за шрифт, что за алфавит? Финикийский, эстрангела, клинопись – всё вперемешку – я такого языка не видела даже в Аниных задачниках по лингвистике!» – быстро подумала Елена. И тут же, невольно, сломав всю конспирацию – ахнула: «Не может быть! Эти ведь буквицы точно как в моем давнишнем сне про Крутакова, когда мы во сне целовались!»

Крутаков поднял глаза:

– Прррваливай отсюда! – и одновременно автоматическим каким-то быстрым ловким жестом, сверкнув бумагой в воздухе, как крылом дельтаплана, опрокинул верхний лист рукописи обратной стороной, закрыв стопку предыдущих и прижав сверху, как пресс-папье, тяжелой перьевой ручкой. – Чего пррриперррлась опять?! Договаррривались же, что ты...

Крутаков взглянул на распахнутое окно – кажется, пытаюсь определить который час.

В комнате разом потемнело, в виноградных тонах – как темнело, когда Анастасия Савельевна развешивала у себя на маленьком балкончике влажное выстиранное постельное белье, загородив весь белый свет.

В прихожей, из-за порыва сквозняка из кухни, с внятным звуком встал на крыло Юлин зонт, до этого кротко валявшийся в углу на паркете.

Крутаков, мотнув башкой, отбросив волосы с лица, поднял на нее еще раз глаза – от его ругани Елена как-то совсем растерялась, – еще раз взглянул в окно, вздохнул глубоко грозовой воздух – и вдруг рассмеялся, и с выражением школьника, который решил не делать урок, вдруг вскочил:

– Пошли, только скорррее... Я вчеррра только обнаррружил... А то каааак ливанёт сейчас...

На техническом, самом верхнем этаже Юлиного подъезда, в потолке был квадратный люк.

– Не заперррто! Задвижка только задвинута! – с ребячливым восторгом в глазах быстро сообщил Крутаков, берясь рукой за узкую железную вертикальную лестницу, с кручеными ступеньками, приваренную к краям люка. – Я вчеррра обнаррружил соверрршенно случайно! На звезды ночью смотреерел! – смеялся Крутаков с обычной своей, игривой какой-то самоиронией, к счастью Елены, уже позабыв, что намеревался на нее ругаться. – Лезь вперрред – я тебя снизу подстррраховывать буду.

Елена добралась вверх по неудобным (перекрученная, перегибавшая подошву железяка) ступенькам, – вскрыла люк, отодвинув неожиданно легко поддающуюся задвижку, заглянула вверх, внутрь – в черный колодец – взглянула опять вниз, и коротко сообщила зыркавшему снизу на нее из пыльной полутьмы, взлезшему на нижние ступеньки Крутакову:

– Ни за что...

– Да не бойся, я вчера уже лазил, говорррю же! – Крутаков, невозмутимо поднимался вслед за ней – не допуская, кажется, и мысли, что она струсит. – Ну хочешь – вот, каа-а-аррра-а-абок спичек возьми? Долезешь аккуррратно – там метррра два всего, и когда

уткнешься башкой в люк – прррросто открррой его вверррх рруками – он вообще не заперрт. Ни за какие только пррррровода по сторрронам не хватайся...

– Ни за что! Лезь первым. Я боюсь.

– Нет уж, внизу я тебя не оставлю по лестнице лезть, – хохотал Крутаков. – Я пррррекрррасно знаю, какие у тебя с лестницами напррряженные отношения. Лезь, перрррой. Если грррохнешься – то я, по крррайней меррре, подхватю тебя.

Елена всунула голову в жуткий, клаустрофобично жмуций в плечах, вертикальный черный коридор – и вынырнула вниз опять:

– Ни за что, Женька.

Крутаков, тихо хохоча, слез с лестницы, дал ей спрыгнуть на лестничную площадку, и быстро взобрался вверх – исчезнув в лазе.

Раздалось его веселое ворчание. И еще через секунду фиолетовым квадратом хлынул свет. А через миг – когда Крутаков заслонил собой верхний люк – вверху раздался хлопающий сполох сотни крыльев. Когда Елена долезла, вверх по колодезно узкой лестнице, Крутаков, сидя на корточках, ждал в приземистой маленькой квадратной будке.

– Ни шагу от меня! – с уморной строгостью предупредил Крутаков – и, распрямившись, шагнул наружу на крышу.

Мокрый грозовой воздух шибал в нос как газировка. Крутаков застыл на крошечной горизонтальной площадке – впереди, по краю крыши, где жесть кровли была как будто кем-то тцательно и долго жевана, шел низенький, по колено, в трех местах не понятно кем проваленный, заборчик. Черно́, штрихованно, от неба и до земли, было уже не только над Пушкинской, но и со стороны Кремля, и со стороны Котельнической. Над Каланчёвкой – когда Елена обернулась и привстав на цыпочках заглянула через двухскатую крышу и заграждавший ей задний обзор продолговатый каменный параллелепипед трубы – оставался последний – выглядящий ярко-светлым – в действительности пасмурно шоколадный – проблеск. Город отсюда, сверху, с набухшим грозой небом над ручными крышами, смотрелся как старая боевая карта с нанесенными жирными темными чернильными стрелками видами наступающих армий. Листы кровли на скате крыши, вертикально простеганные, как полозья, были темно-лиловы от грозowego отлива воздуха. Будка, из которой они только что вылезли, равномерно вращалась позади в кровлю – и казалась

какой-то суфлерской. А обезумевшая стая вспугнутых ими голубей на сверхзвуковой скорости выделяла феноменально сложные фигуры – выделяла слаженно, как будто какие-то заводилы внутри стаи незримо раздавали аккуратнейшие команды в воздухе – и вот вместо фронта разрозненных крыл – в меркло-фиолетовой акватории вдруг выросло единое, объемное, синхронно вытесанное голубиное небесное изваяние – плещущее, темно-лиловое, движущееся, переливающееся радостно-белесыми подкрыльями, видоизменяющееся, но ни на секунду не теряющее синхрона.

Вдруг, где-то над Котельнической, сверху донизу полоснуло: ртутно-золочёная кракелюра, как гигантская морщина, расколола чело неба, мгновенно состарив его – как искусственно имитировали старину, поддельвая трещины на картинах, в одном из альбомов, оставшемся лежать внизу, в Юлиной комнате.

Чуть с задержкой – и уже без всяких художественных причуд, с домашним удобством – на одну из соседних крыш – в Колокольниковом, кажется, переулке – рухнул комод – и по мере того, как выпадали, при мерных переворотах, из невидимого этого комода ящики – из каждого из них с грохотом раскатывались по кровлям вокруг бильярдные шары.

Голубиное стадо заметалось в воздухе в направлении суфлерской будки – вход в которую Елена с Крутаковым им загораживали. Самые лихие летели с испугу на бреющем, прямо в лицо – так что казалось: сейчас врежутся в прическу или в лоб – но в самую последнюю тысячную секунды брали чуть вверх – и ровно, с гладчайшей, филигранной, непогрешимой точностью, промахивали в миллиметре над головой, – а когда летели обратно – выравнивали крылья так идеально, и двигались на такой дикой реактивной скорости – на совершенно непонятном лётном законе – что казались абсолютно плоскими балансирующими дисками пластиковых детских летающих тарелок, которые зашвырнул Крутаков или она сама.

В восторге от этой голубиной жиги, Елена, раскинув руки ладонями кверху, шагнула к краю, к самому бордюру, так что Крутаков испуганно поймал ее за шкирцы майки.

– Если они случайно, по какой-то небесной причуде, выбрали твои ладони как посадочную полосу – даже если крыша вокруг горит – терпи, сгори – но не делай из ладоней капканов! Вот что Склеп

думал! – вскидывала она вверх, вслед за ринувшейся на очередной круг стаей, слова.

– Чего-чего? – не сразу понял Крутаков, оттаскивая ее от края и запихивая ее в суфлерское укрытие.

– Ну, ты спрашивал меня: о чем конкретно Склеп думал тогда, на скамейке, на Сретенском бульваре – вот я сейчас вдруг поняла! – серьезно, замороженно, почти не видя Крутакова перед собой, как будто взглядом все еще летала с голубями, выговорила Елена, присаживаясь рядом с Крутаковым на корточки в широкой части раструба будки. И еще минут с пять (хотя шваркали уже вовсю по небу вспышки – и Крутаков торопил ее спускаться вниз, говоря, что «нечего здесь с шаррровыми молниями игрррать») они оба смотрели, как голуби сперва вымостили собой – в тон затемненной грозой кровли – местечко перед входом в будку, а потом, взвесив, видимо, в уме: что страшнее – гроза – или какие-то двое двуногих на корточках – выстроившись, как гномы, в нетерпеливую толкучую очередь, и, сыграв в милую игру (как будто их с Крутаковым не видя), начали по двое, по трое, а потом уже и по пятеро, увалисто толкаясь бочкáми, внутрь, под кров, мимо них, упихиваться – и рассаживаться – молча, без гука, вспархивая – по деревянным планочкам вдоль крыши будки.

Когда они вернулись в Юлину комнату, крупными каплями, уже вовсю кипевшими на жестянке карниза, казалось, сейчас выбьет даже распахнутые стекла.

А Крутаков уже не отставал от нее с требованиями записывать все, что она «пррридумывает».

– Да ничего я не придумываю! – возмущалась Елена. – Я просто что-то слышу или вижу – и живу в этом.

– Дурррында! Ну обидно же будет, если ты все рррастеррряешь и забудешь! Записывай хотя бы свои лестничные скоррроговоррки – записывай хотя бы прррросто для сохррранности! Чтоб не забыть!

– Уверяю тебя, Женечка: внутри меня это всё как раз в максимальной сохранности! – смеялась Елена. – Я не в состоянии забыть ничего важного. Всё, что я в состоянии забыть – не имеет в жизни ну ровно никакого значения! Ну всякие там года битв, имена неинтересных мне людей, формулы, цифры, и прочая ерунда – я вообще всю эту фигню сразу позволяю себе забывать – чтоб не засорять мозги. А вот все важное – всегда в полной сохранности!

– Нааахалка... – не без удовольствия хумкал Евгений, но не сдавался. – Да-а-аррра-а-агуша, ты прррросто-напрррросто еще не понимаешь одну вещь – смысл надо аррртикулиррровать! Смысл нельзя консерррвиррровать внутррри! Иначе смысл начинает поррртиться! Смысл – это то, что по опррределению надо выррражать!

– Женечка, у меня в этом смысле совсем нет писательского тщеславия, гордыни – более того – есть жадность и собственничество: мне не хочется никому отдавать того, в чем мне самой приятно обитать. Я самодостаточна в этом.

– Горррдья тут соверррршенно ни прррри чем! – хохотал Крутаков. – Ты прррросто соверррршенно не понимаешь писательского механизма. Записывать на бумагу – видишь ли – это ведь эдакий обоюдоострррый прррроцесс: как только ты касаешься перрром бумаги – что-то такое включается – верррнее, ты как будто включаешься во что-то такое, что делает этот прррроцесс объемным и непррредсказуемым для тебя же самого. Ха-а-аррра-а-ашо: не хочешь записанного никому показывать – прррекрррасно – мне это тоже очень близко – но записывай сама для себя по крррайней меррре!

Елена уже изготовилась было выдвинуть ультиматум – что, мол, хорошо, она начнет записывать что-то на бумагу – но только если Крутаков позволит ей прочесть свои тексты – но потом сообразила, что разобрать ни единой буквы в них, из-за шифра, все равно не сможет – и стала уже прикидывать, как бы поточнее словесно обставить торг – но тут вдруг из кухни раздались выстрелы.

– Чайник! – взвыл Крутаков. И рванул спасать отстреливавшийся накипью от неизвестных нападающих выкипевший железный чайник (свистящую дульку от которого Юлины друзья еще весною украли на сувенир).

Ночью, упившись чаем с гарью, зажевывая гарь упоительно липкими горячими булками, принесенными Крутаковым из пекарни, Елена валялась, пузом кверху, на диване, разглядывая нелогично раскрашенную грязную лепнину на бордюрах потолка (абрикосы были синеватыми, а виноград наоборот каким-то абрикосовым – и поэтому Елена совсем не была уверена, не приложила ли к этой колористике руку Юля, в мгновения творческого отчаяния), изредка посматривая на черную спину Крутакова, молча изнывавшего, за письменным столом,

от каких-то нерешаемых, самому себе поставленных, запредельно сложных задач.

На смешно искажавшей и скруглявшей все пыльные углы (так, что громадная Юлина комната враз становилась меньше) старой люстре (медный круг, чуть наклоненный, в самом центре потолка), зажженной Крутаковым, не было плафонов – и из трех крошечных лампочек живы были только две – зато эти отражались, в гигантских своих тенях, справа, во всю стену, как канделябры – даже узенькие пластиковые крепления для ламп вызывали – в тенях – полную иллюзию подсвечников – и даже сбитый с прямой горизонтали круг смотрелся как жирандоль.

А когда Елена отрывала взор от антикварных теней и переносила вверх – то над каждой из ламп, на побелке – нет, как будто даже чуть не долетая до физической плоскости, чуть как бы в отрыве от нее, из-за яркого прямобойного света дрожали аккуратно скомканные, объемные, сияюще-белоснежные клочки невидимых бумаг – сгустки света – и каждый сгиб воздушной этой бумаги выделялся так рельефно, так ощутимо.

«Как странно, Господи – я ведь совсем не люблю драгоценностей, – подумала Елена. – Ни в кино, ни в витринах – не занимают вот ни на миг! Даже пошлые сверкающие комиссионные брюллики в ушах Ладиной матери вызывают скорее к ней жалость. И уж никогда б я не согласилась носить, как мать, моя собственная мать, на руках даже не такие уж и дорогие, но яркие перстеньки, перепавшие ей в наследство от Матильды. Но вот эти складки мятого света сейчас над головой, эта невидимая светящаяся бумага – почему-то наполняют всю душу звоном. Господи, какие земные драгоценности могут быть дороже?»

– Невозможно же так пррра-а-аботать! – возмутился вдруг Крутаков, обернувшись на нее – но весело уже как-то, не сердито, как днем. – Пррра-а-аваливай! Невозможно концентррриррроваться, когда кто-то кррроме меня в комнате! Пошли, я тебя пррра-а-аважу...

И опять, уже на узкой, вызывающей (из-за мелкого, чуть мерцающего света редких, чуть покачивающихся котелковых фонарных плафонов на проводах) какое-то марсианское, нереальное ощущение, улице, Елене ровно на секунду почудилось, что Крутаков даже немного и рад, что выкрала она его опять из загадочного и

мучительного – но, видимо, и блаженнейшего омута перьевой ручки и бумаги.

Вместо избитой дорожки, Крутаков резко вдруг завернул в арку (до смешного вонючую – несмотря на весь свой завлекательный, старинный вид) – и, зажав нос, бегом пробежал наискосок мокрый внутренний дворик – между двух коричневатых, клубком свернувшихся на ночь, домов. Убедившись, что Елена с восторгом, предвидя новое приключение, бежит за ним, Крутаков свернул налево и, уже за углом, прислонившись к оштукатуренной стене, случайно дернул за чересчур низко висевшую со второго этажа ржавую пожарную лестницу – нижняя часть лестницы рухнула вниз, обсыпав и его, и подбежавшую уже к нему Елену железной трухой. Мотая черной шевелюрой своей, с озорными разгоревшимися глазами, Крутаков в два счета перемахнул через старую черно-красную кирпичную раздолбанную стену в человеческий рост – с округлой выбоиной сверху (как будто пробитой кроссовками всех остальных, через нее перемахивавших) – и свесился, уже с той стороны стены, снисходительно глаза, как Елена, жалко карабкаясь и соскребывая себе о битые шершавые кирпичи ладони, пытается воспроизвести его подвиг. Не выдержав зрелища, Крутаков, нагло посмеиваясь, как последняя сволочь, легко перемахнул обратно.

– Все очень прррросто – вон видишь киррррич спрррава выпирррает – рррраз шаг – а вот здесь посррредине рррытвинка есть – два – а тррретьим шагом – вот так ррукой перрреноносишь центррр тяжести – тррри – и наступаешь мыском в верррхнюю выбоину! – Крутаков, еще раз блистательно на феноменальной скорости повторив трюк – уже опять наглейше стоял вверху, на ребре стены – и Елена шлепнулась со всего маху со стены, как куль, на шаге втором с половиной – на мокрую землю.

И Крутаков опять перепрыгивал к ней, и подсаживал ее вверх, и терпеливо ждал, пока она, извозившись вся с головы до ног, как кочегар, не умея как следует подтягиваться на руках, вскарабкается.

Уровень земли, за стеной, в смежном дворе, неожиданно оказался гораздо выше, чем в предыдущем – так что там стена едва доходила по пояс – к огромному облегчению Елены, боявшейся, что спрыгивать с той стороны потребуются с такими же исхищрениями.

– Не наступи только: спрррава, вон – прррровод электрррический оборррванный лежит, – быстро командовал Крутаков, уворачиваясь от хлестких, черных, свежих, влажных еще от грозы, мажущих по лицу гроздьями листьев американских кленов, и ведя ее еще через один проходной двор, где крыльцо одной из квартир было замечательным – раздолбанная личная каменная лестница в углу подходила прямо к входной двери.

А когда перебрались через простенький уже, обычный, металлический заборчик, в одном из следующих двориков, и оказались на большой довольно, пустой заасфальтированной площадке, Крутаков вдруг что-то быстро проверив во внутреннем кармане куртки, тихо сказал:

– Только не оррри здесь особенно... Чуть потише...

– А что это? – заинтригованно разглядывая огороженное забором здание, переспросила Елена.

Здание – во дворе которого они оказались – было похоже то ли на школу, то ли на закрытый почтовый ящик.

– А это ментуррра! – невозмутимо поведал Крутаков – и переложил какие-то свернутые бумажки из кармана куртки в карман джинсов, напялив на них пониже черную майку.

– Сдурел совсем, Женька?! – хохотала Елена.

– Ну да, эмвэдэшный институт спецсррредств. Не волнуйся – у них вохрррры только с той сторрроны – а они всегда спят или пьянствуют, – приговаривал Крутаков, ведя ее к противоположному краю заборчика. Через который, ну право же, уже вовсе легко и невесомо за секунду было перемахнуть вместе наружу.

II

Списав всё на жару, на лето, Анастасия Савельевна почти даже уже и не скандалила, когда Елена забывала ей позвонить и предупредить, что вернется совсем поздно – и картинные охи на утро «я все глаза проглядела, сидела на кухне тебя ждала, волновалась, а ты...» – не срабатывали: Елена-то, по молодецкому храпу ночью, встретившему ее дома, прекрасно знала, что мать просто-напросто опрометчиво заснула – и не заметила, во сколько именно дочь пришла.

Что за таинственные у дочери непоименованные друзья, с которыми она ночи напролет разгуливает – Анастасия Савельевна (видя, что дочь счастлива и спокойна) опять же, прикрывшись сама же от своего любопытства летом, как ширмой, не спрашивала – боясь нарушить хрупкое между ними каникульное перемирие.

И только изредка, поджав губы, Анастасия Савельевна сетовала, что Елена не ездит с ней в Ужарово.

А тут вдруг пришла в полдень на кухню да и выпалила:

– Архипыч умер. Съезди со мной на похороны в Ужарово, а?

Мужичок с хилой грудью («чахоточный», – говаривала всегда Анастасия Савельевна – хотя никакой чахотки у него не было), вечно кашляющий и сплевывающий харкоту так, что было слышно на все Ужарово, вечно носящий гимнастерку или темно-голубую косоворотку, которая велика ему была на два размера – тщедушный узенький маленький мужичок с ярко-голубыми близкопосаженными и так-то небольшими глазками, которые в добавок еще и всегда застила нетверезая слеза, короче, горький, запойный пьяница Архипыч был мужем деревенской Кирьяновны.

И вся деревня бывала оповещена Кирьяновной, когда у Архипыча бывала «пеньзия». Начиналось все с того, что Кирьяновна, в своем вечном переднике поверх неимоверно пестрого платья, встав, руки в боки, посередь деревни, пыталась Архипыча за пеньзией не пустить.

– Эвона чаво задумал! Дождись – Татьяна Никитишна, почтальонша, вон, поедет завтраче на вилисипите – и ты ехай с ний! С ний и вернёшьси! – тревожно горланила Кирьяновна, стараясь поймать первого встречного и отрядить Архипычу в провожатые.

Архипыч, закуривший было папиросу, в сердцах сплевывал ее на землю, растирал в траву каблуком, обиженно харкал, и дрожащим коричневым дымным голоском осведомлялся:

– Ты что ж?! А?! Мне не доверяешь?!

За пеньзией Архипыч ходил почему-то в далекое Крюково – за два леса: идти надо было сначала огромным ельником с оврагами (который славился боровиками), затем полем (где в августе бывали колосовики), рассеченным наискось пыльной глинистой проселочной дорогой, а затем буйным лесом с болотом с дальнего края (с худосочными, как сам Архипыч – но в отличие от него длинноногими – бледными болотными подберезовиками).

Архипыч, закурив новую, и, сердясь, смяв пачку и всунув ее худыми дрожащими пальцами в нагрудный карман гимнастерки, у сердца, гневно отвергнув всех провожатых, отваливал. А через часов пять у Кирьяновны начиналась вторая серия мытарств: неизвестность. Кирьяновна молча работала на огороде, обтирая руки о передник, выходила иногда на поляну перед избой – и, прикладывая грязную ладонь козырьком, смотрела в направлении елового бора. Неизвестность счастливо разрешалась на следующие сутки: становилось ясно, что Архипыч опять сгинул, запил. И тут уже Кирьяновна начинала голосить на всю деревню по полной:

– Кровопийца! Душегуб! Всю жисть мою истоптал! – Кирьяновна ходила вокруг деревни волчком, с фигурно заплетающимися, коротенькими в икрах, ножками, торчащими из-под платья – и возле каждого дома, где жили хоть сколько-нибудь значимые для Кирьяновны люди – затевала куплетное краткое изложение всей своей «жисти».

Как настоящая деревенская актриса, Кирьяновна всегда горести свои иллюстрировала вещественными доказательствами – и – дойдя уже до дома Глафиры (сделав по деревне круг и изрядно разгорячившись представлением) – Кирьяновна, останавливалась перед калиткой (спасовав, не решившись вот так вот сразу-че войти к городским) и кричала, как бы никому:

– Душегуб! Вязанку зеленую... Маменьки покойной подарок! Вязанку – в семнадцати местах ножом искромсал! Третьего месяца! В семнадцати местах – тута, тута, и вон тута...

Не выглянуть, и не любопытствовать на дыры в зеленой вязанке было, конечно же, после этой затравки невозможно.

Анастасия Савельевна, запихивая любопытную голову Елены обратно, и прикрывая калитку, сочувственно выходила за забор:

– Кирьяновна, да не переживай ты так – вернется Архипыч, ну ты же знаешь...

– В семнадцати местах... Маменькину... Покойницы подарок! Зеленую – с печки хватать – и давай ножом!

Елена, сквозь щели (широкие, надо сказать – для зрительского интереса как раз сделанные) в заборе, всё пыталась рассмотреть, что ж там за вязанка.

– Кирьяновна, дык ты не пускай его в избу, когда он пьян – запри дверь и все! – пыталась урезонить Кирьяновну Анастасия Савельевна.

– Вязанка-то хорошая – шерстяная, теплая... В семнадцати местах! Ножом! – крутило Кирьяновну уже безостановочно.

И тут Елене удавалось разглядеть, что никакой вязанки на руках у Кирьяновны нет – а просто растопырила Кирьяновна руки – пальцы торчком, как будто на них и вправду кофта натянута – и тычет по воздуху, считая дыры.

Иногда Архипыча не было и на третьи сутки. И тогда Кирьяновна, с заискивающим фальцетом, начинала топтаться у калитки с той стороны, тихонько взывая:

– Настююююш? А Настююш? – и тут же добавляла весомым баском, как будто пугаясь своей фамильярности: – Анастасия Савельевна? Можно?

– Кирьяновна, ну что ты топчешься там, как не родная, заходи конечно... – спохватывалась мать.

Кирьяновну сами деревенские пускали к себе в дома неохотно – по деревне шла слава, что она нечиста на руку, и что, бывало, посмотрит на лейку, или на канистру для керосина – похвалит – а через недельку хваленый предмет загадочно с участка исчезает – а потом лейку, совершенно случайно, потерпевшие обнаруживали у Кирьяновны в сарае, через много месяцев уже – зайдя к Кирьяновне с каким-то делом.

Но Глафира и Анастасия Савельевна, затыкая уши от сплетен, всегда радушно держали двери нараспашку:

– А чего у нас брать-то? – говорила всегда бабушка Глафира.

А когда Кирьяновна, загребущими своими глазами облюбовывала то кофточку, то Анастасии-Савельевнину рубашечку, а то вдруг завистливо тянула: «Грабельки-то у вас какие хорошие, Глафира Николаевна...» – бабушка всегда моментально радостно отзывалась:

– Да бери, Кирьяновна! Не жалко! – кажется, найдя единственный способ Кирьяновну от kleптомании излечить.

А вечный благословеннейший беспорядок, царивший в вещах и у Анастасии Савельевны, и у Глафиры – и вечная рассеянность обеих в бытовом смысле – просто не позволяли с точностью определить, слямзила ли-таки Кирьяновна очередную вещь (застенчиво

отказавшись, предварительно, принять ее в дар) или вещичка просто где-то затерялась.

При этом Кирьяновна была парадоксально щедра – и если сплетни были верны, и Кирьяновна где-то что-то и подворовывала, не в силах противостоять загадочной болезненной страсти – то уж возмещала точно сторицей.

– Настюююш... – опять тоненько, заискивающе затягивала Кирьяновна, входя в калитку (которую правильнее было бы назвать беседкой: изумительное, валкое, воздушно-шумное сооружение, руками Глафиры сбитое – из ветхих реечек – по которым вился цепкий роскошный ароматный хмель, густой, в грозу всегда грозивший всю беседку обвалить – и не любивший, когда его гладили против шерсти) со взяткой в руках: миской полных отборных бордовых ягод. – Настюююш... Я тебе... Я вам клубники принесла... Дочку угостить...

И хотя клубника у бабушки Глафиры была гораздо вкуснее – и нескольких, замечательных, специально для Елены высаженных сортов – а у Кирьяновны она была какая-то кислая, – но загадочной Кирьяновнин выговор: «клубнига» – придавал ягоде сразу что-то крупное и с клубнями – как картошка, что ли – которую Кирьяновна окучивала на таких же неинтересных, запредельно длинных грядках, как и клубнику – позади своего участка, на прихваченной, без спроса, земельке.

– Говори, чего случилось, Кирьяновна? – смеялась Анастасия Савельевна, завидев взятку.

– Архипыча-то всё так и нету-ти... – шепотом, оглядываясь, невесть на кого, за калитку, докладывала (хотя уж не ахти какой секрет это был – если б Архипыч появился – уже давно слышала бы вся деревня) Кирьяновна.

– Ох ты моя горемычная... – обнимала ее мать. – Ну, хочешь, у нас посиди чайку попей – подожди, чтоб не нервничать...

Кирьяновна, выпятив вперед черный подбородок, и закусив при этом обе губы внутрь так, как будто зубов в ее рту не было (хотя зубы были все в отборнейшем качестве – вся деревня завидовала – и, когда кусала кусман хлебу, – щелкали как камни), молча отирала огромное черное свое лицо, глубоко рифленое морщинами, с боков ладонями, а потом, правой рукой, большим и средним пальцами потирала уголки губ, изображая хитрость – одновременно беспокойными своими

глазами тикая как маятником из стороны в сторону, избегая смотреть Анастасии Савельевне в глаза:

– Настюююш... – еще больше приглушив шепот и еще более воровато оглядываясь на калитку говорила наконец Кирьяновна. – А вдруг ты с дочкой в сельпо пойдешь? Вдруг? Случайно? За конфетками? Так ты уж спроси там Лиду-то, продавщицу, про Архипыча... Мол: «Кирьяновна, скажи, наказала узнать, был ли, да куда пошел потом...»

Сельпо располагалось в деревеньке с трагическим для Кирьяновны названием Водопьяново. И извилистый путь Архипыча нередко, после стяжания пеньзии, пролегал именно через этот прохладный магазинчик, расположенный в железобетонной избе – где ему выдавали (несмотря на строжайшие «наказы» Кирьяновны продавщицам) – для разгона – четвертушку, а то и две. В магазинчик действительно иногда, раз в лето, завозили сгущено-молочную «Коровку», но чаще бывал лишь кисло-сладкий «Барбарис». В остальном же, если не считать водки и килек в томатном соусе, изба сельпо была идеально пуста.

И Анастасия Савельевна, вздохнув и рассмеявшись, всунув миску с клубникой обратно Кирьяновне, говорила:

– Схожу, схожу, ладно уж. Ох и хитрюга же ты, Кирьяновна... Мы как раз прогуляться хотели...

– Клубнигу-то возьмите! – умоляла, кланяясь до полу рукой Кирьяновна – будто испугавшись, что без взятки дело сорвется. – Обидите! Возьмите!

Иногда Архипыч пропадал по неделе. Бабушка Глафира, до смерти боявшаяся грозы (особенно если Анастасия Савельевна с Еленой оказывались в этот момент в Москве и Глафира дрейфила ночевать одна в пустом доме – да еще если во всей деревне из-за регулярно сгоравшей высоковольтной станции, выключали электричество), – пускала к себе иногда Кирьяновну переночевать – той соседским счастьем было изливать горе – вместо того, чтобы сходить одной с ума от волнения за Архипыча – а Глафира, ужасавшаяся грому и молнии, наконец-то могла спокойно, под разговоры, заснуть. Спокойствие, впрочем, иногда нарушалось ночью – когда либо Кирьяновна со своей раскладушки у печки, либо Глафира с лежанки, вдруг вскакивали, услышав, что кто-то в кроmeshной

темноте бродит у них под самым окном. Глафира в смертельном ужасе выглядывала краешком глаза из-за белой занавески. Проверяли засовы на терраске. Думали: «померещилось». Укладывались спать снова. И только-только сон возвращался – под окном кто-то опять начинал колобродить. В конце концов бедная перепуганная Глафирушка брала в руки, наизготовку, против бандитов, огромную скалку, а Кирьяновна, накинув, на ночную рубашку свою, драный дубленый полушубок, который почему-то носила даже летом, выходила, под прикрытием Глафириной скалки, на крыльцо, и страшным, низким – от ужаса – басом объявляла:

– Выходи! Кто здесь? Чичас ружо возьму!

Кто-то шарахал за кустами пионов и все стихало.

«Может, примерещилось», – говорила опять с надеждой Глафира – и опять обе укладывались спать. На утро, впрочем, обеих чуть кондратий не хватал опять от ужаса: под окном у Глафиры, в высоченных густых душистых бамбукообразных зарослях фиолетовой Недотроги, оказывалась вытоптанной тропинка.

А когда Кирьяновна возвращалась к себе домой, то находила Архипыча – дрыхнувшего с перепоею на полатах.

– Да Архипыч, небось, к вам и приходил! – смеялась, возвратившись из города и выслушивая от Глафиры ужасные грозовые истории, Анастасия Савельевна. – Вернулся, небось, ночью в избу – и разозлился, что Кирьяновна без него ночевать куда-то ушла!

Проспавшись, Архипыч в таких случаях бывал обычно на изумление мирен, вину свою (во всем, кроме ночного шпионенья под окнами) признавал сразу, не обинуясь, во всем просил прощенья, и жизнь Кирьяновны затягивалась снова счастливая и спокойная – аж до следующей Архипычевой пензии.

Чаще все-таки раздражался скандал: Архипыча, через пару дней после пропажи, находили деревенские – к какой-нибудь сосенке прильнувшим, за невозможностью уже передвигать ногами – или попросту в канаве. Иногда Архипыч оказывался весь в синяках – и не помнил, кто его избил, или с кем он подрался. Деревенские шли в Ужарово, к Кирьяновне, доносили координаты падения Архипыча; та, снарядив еще пару мужиков, бежала, стремглав, подобрав юбку, и тоненько голося, что есть мочи, как будто Архипыч как минимум умер – к лесу, к указанной просеке, канаве, оврагу, луже; Архипыча

приносили домой, клали отоспаться (потому как даже Кирьяновна видела, что в таком состоянии скандалить с ним бессмысленно). А уж на следующий день – посреди всей деревни – и так, чтоб ни у кого не осталось шансов не расслышать, Кирьяновна, выгнав метлой едва-едва пришедшего в себя Архипыча, орала, как резанная: «Иди туда, откель пришел! Не нужен мне такой муж!» Архипыч огрызался: тихо и, видимо, обидно. И тогда Кирьяновна начинала крыть его отборнейшими, непонятнейшими – видимо, архаичными – изысканнейшими ругательствами – ни разу не употребив матерного слова – но не умолкая при этом, безостановочно разнообразя свою речь, в течение как минимум получаса. И так странно – в эти моменты Кирьяновниного буйства – смотрелись рядом эти двое старых людей: огромная, хваткая баба Кирьяновна – и тщедушный старичок в штанцах, которые, были ему настолько велики, что стягивал он их военным ремнем – и все равно висели на заду как на худой кляче – мелкотравчатый старый мужичок, с узкой впалой грудной клеткой и глазами с голубой радужкой – настолько яркой, какая бывает только у слепых дворовых собак.

Раздавленный морально Архипыч, подтянув, быстрым жестом, штаны, понурясь, и косолато передвигая своими ногами-спичками в непомерно широких серых шароварах, уходил в направлении леса – и шел, как предполагала Кирьяновна, к двоюродной своей внучке – в Коврово, за тридевять земель.

Архипыч после таких сцен «развода», возвращался очень скоро – чаще трезвым, и вымаливал прощение. Но иногда в дупель пьяным и буйным: вот тогда и случались эксцессы с зеленой вѣзанкой. Воображение Елены почему-то потрясала рассказываемая Кирьяновной жуткая картина: хиленький Архипыч, врывающийся в ярости в избу к Кирьяновне – с ножом – и, даже в самом страшном исступлении опьянения, наносящий ножевые удары не по любимой Кирьяновне – а причиняющий какие-то символические раны ее шерстяной вѣзанке.

– Эх, свозила бы ты его в Москву, к врачу, Кирьяновна! – вздыхала Анастасия Савельевна, столкнувшись с ней, к вечеру ближе, после очередной бури, у колодца – волшебного, с ведром на цепи, которое нужно было бросать, как невод в раскрытую дверцу интереснейшего острокрышего двускатного деревянного домика из

посеревших досок. Внутри пахло холодом и чистой водой – и гулко огогокалось, если привстать на скользкую деревянную лавку и засунуть голову – да и материя, из которой колодец изнутри был сделан, казалось, давно уже пережила метаморфозу вещества, субстанции, перешла в какое-то совершенно новое, неведомое, неназываемое качество: не то брёвна, не то морские булыжники – а меж ними – малахит мха.

– И тоооо правда... – тянула Кирьяновна, с абсолютно остекленевшими глазами – так что понятно было, что никуда она, конечно, Архипыча не повезет – а неизменный, извечный, как само Ужарово, спектакль регулярно будет развлекать деревню и впредь.

Известно про Архипыча было, что и в трезвом виде был он хулиган.

Нюша-молочница, розовая мелколицая женщина, всегда подвязывавшая лицо чистой белой косынкой, единственная обладательница коровы в Ужарово, держала холодильный колодец – ровно на полпути от Кирьяновниной избы к своей. В этот старый, не очень глубокий, проросший куриной слепотой по донцу колодец Нюша на рассвете, сразу после дойки, приносила ведро парного молока – спускалась по деревянной лесенке, и разливала по разноцветным битончикам – которые желающие купить – на честное слово – свежего молока расставляли там (а некоторые ловко спускали и на веревочках), еще вечером, под крышечками. Разлив молоко по битонам, Нюша прикрывала колодец сверху досками – чтоб защитить от зноя. И так ярко сейчас вспомнилось, как Анастасия Савельевна, взяв с собой Елену (целое приключение – отодвигать доски, и, стоя на краю колодца, следить, как мать спускается вниз по лесенке), залезла в колодец – и, сняв на секундочку крышку, примотанную с одного края бечевкой, проверяет, успела ли Нюша налить молоко – и таким синим кажется сверху, с края лужайки, молоко в тени, в битончике, в глубине колодца. Расплата же происходила позже. И вот, как-то, после того, как Кирьяновна, из-за ерунды повздорила с толстой Шурой с другого края деревни, Шура приходя часов в девять утра к ледяному колодцу и спускаясь за своим битоном, и прикладываясь, для пробы, к молоку губами, стала раз за разом обнаруживать, что молоко-то у нее – уже скисшее. При этом все остальные деревенские – и даже Анастасия Савельевна, покупавшая молоко, чтобы делать Елене ряженку, – свои

порции продолжали нахваливать. Нюша всякие обвинения в нечистоплотности возмущенно отметала. И оскорбилась за свою честь, и за честь своей коровы, настолько, что подговорила мужа тайком, спрятавшись за сараем неподалеку, проследить – нет ли какой каверзы.

Через два дня выяснилась правда – над которой хохотало потом все Ужарово: Архипыч, спозаранку, пускал в Шурин битон с молоком лягушку – которую, прыгая, как сумасшедший, по мокрой от росы траве, отлавливал перед этим на поляне.

Ужаровский заводной механизм сейчас, при упоминании имени Архипыча, вмиг проиграл все свои зрелища, прыжки и трели.

– Не может быть! – ахнула Елена. – От чего же он умер?

– От старости наверное, – поджала губы Анастасия Савельевна. – Мне Нюша со станции позвонила. – Анастасия Савельевна вдруг рассмеялась: – Ты не представляешь, что этот старый идиот под конец жизни выкинул! Когда его в больницу в Коврово оформили, он, представляешь – и вправду потребовал, чтобы его в мужское отделение положили! Скандал был на всю больницу!

– А в какое же еще-то отделение? – расхохоталась Елена.

– Как? Ты не знаешь? – Анастасия Савельевна говорила то ли правда удивленным – то ли предвкушающим хохму тоном. – Архипыч же – женщина!

– Мам, да ты разыгрываешь меня?! – Елена, поперхнувшись ржаным сухарем, который успела уже обмакнуть в подсолнечное масло и посыпать солью, ожидала теперь всего чего угодно – что и Архипыч на самом деле не умер – а что все это какая-то шутка.

– Ленк, да ты, что – правда не догадывалась никогда, что ли?! – смеялась Анастасия Савельевна. – Я тебе раньше-то не говорила, потому что ты маленькая была. А потом – уж думала – ты сама догадываешься про него, но неприлично такие вещи обсуждать...

– Мам, какие вещи?! Ты разыгрываешь меня?

– Ленка, не падай только: Архипыч по паспорту – Пелагея Архиповна Пирогова.

– Мама, я тебе не верю! – в голос уже хохотала Елена. – Он же муж Кирьяновны! У них же даже дети взрослые!

– Сыновья эти – от первого брака Кирьяновны. А Архипыч... Как мне в деревне рассказывали – появился после войны, когда Кирьяновнин настоящий муж ушел на фронт и не вернулся. Ну и вот...

Как мне Ньюша деревенская рассказывала: мужиков, говорит, мало было после войны, всех поубивало. А у Кирьяновны-то, после гибели мужа, заскок, похоже, ум за разум, случился – вот она и стала вместо парня с девкой гулять. И вот она Архипыча-то домой привела и своей матери говорит: это Пашенька, Павел Архипыч, я его люблю, он будет жить со мной. А на самом-то деле, никакой это не Пашенька, а Палашенька...

– А как же он... Она... Как же ее хоронить будут?! Что же на могиле напишут?!

– По паспорту, наверное... – вздохнула Анастасия Савельевна. – Короче говоря: съездишь со мной в Ужарово завтра?

– Не поеду ни за что... Маааа... Ну ты же знаешь: я ненавижу похороны – тем более чужие...

– Тьфу ты, Ленка, типун тебе на язык! – рассердилась Анастасия Савельевна и ушла к себе в комнату.

В красках рассказав драму Архипыча Крутакову (пока медлительно чапали вдоль реки, по Кропоткинской набережной, по лилово-конопатову асфальту, под так и не решившимся на грозу легчайшим минутным грибным дождем – непонятно уж какие-такие грибы в Москве надеявшимся вырастить), Елена, безусловно, заработала себе очков в азартной рассказнической игре; свинство, однако, заключалось в том, что с каждым шагом вперед Крутаков жульнически отодвигал и планку «финиш» – так что никакого финиша фактически и не было – и чем лучше Елене удавалось вырисовывать внутренние картинки в словах – тем больше придинок рождалось в обросшей Крутаковской башке, которою он, блестя смоляным отливом локонов, размахивал, как дуралей, изображая, что стряхивает капли дождя.

Кропление было настолько солнечным и теплым, что даже бежать не хотелось: лень было даже изображать обычную игру в салочки с дождем. Липкое солнце в лужах – прилипающее даже к падающим каплям – немедленно же их зажигало сиянием, отчего казалось, что летят они снова вверх.

– Ррразнообррразь эпитеты, говорррю же тебе, – весело придирался Крутаков. – Что ты, пррраво слово, прррицепишься к любимым словечкам – и всюду их пихаешь?! Вот, гrrрробина, а! – застонал он тут же (пока Елена еще не успела выразить возмущения) –

взглянув через реку на почерневший, как дурной зуб, Дом на Набережной. – Видеть не могу! Снести, взорррвать, всё что угодно – но невозможно же, чтобы этот памятник ночным арррестам и воррронкá м здесь торрррчал!

– Да так пол-Москвы, если по этому принципу, снести придется! – мрачно заметила Елена. – По крайней мере – уродские угрюмые сталинские дома и высотки. Я – за.

– Я пррросто отказываюсь понимать, – взбрыкнул Крутаков головой, резко остановившись и вперившись в противоположный берег, – как люди могут жить в тех же домах и кварррртирррах?! В тех самых, где энкавэдэшники над жильцами массовые ррраспррравы устррраивали – откуда одного за дррругим, десятками увозили на Лубянку, на рррастрррелы?! Как можно жить буквально на кладбище?! В саррркофаге вот этом на наберррежной! Там же в стены стрррах, смеррртть и унижение впечатались! У людей, похоже, напрррочь отсутствует вообррражение и сенсоррры! Бесчувственные чурррбаны!

– Будем жить в куцах, Женька! Я за! – приплясывала и подсакивала от дождя Елена – как будто не в силах противостоять дождевому стилю – обязывающему соответствовать поведению отсакивающих от сияющей глади луж летучих капель.

– И крррроме того – все-таки выделяй в рррасказах важное! – внезапно продолжил капать на мозги Крутаков – в своей обычной манере – интонационно соединив несоединимые предложения, явно надеясь хитростью этой избежать всплеска ее обычного негодования на его рассказочные придирки.

Дошли до Кремля. Дождь – после жаркого антракта – чуть припустил – но тоже как-то смешно: ливень был дыряв и залит изнутри солнцем; угол игл (как будто в полете переменяв настроение) наклонялся вдруг параллельно земле, и летели эти блески золотого солнечного ливня сикось накось, разметываясь куда ни попадя, так легко, словно вне земного притяжения – а куда вздумается, меняя в воздухе направление.

– Это не то чтобы я был пррротив пррревалирррования побочных деталей! – возмутительный нравоучительный опять взяв тон говорил Крутаков, залезая на мокрый парапет набережной – и со смешной мордой делая несколько качающихся чарличаплиновских шагов, на каждом шаге пугая ее, что сейчас рухнет в реку —...А напррротив,

этим очень многое можно выррразить! Но, значит, находи какие-то оттеночные, темперрратурррные, замаскирррованные методы, чтобы самую важную, главную линию все-таки давать читателю... то есть – в данном случае – слушателю, чувствовать. Не обижайся вот опять сейчас только...

– Да нет ничего важного и не важного, в обычном понимании, Женька! – вприпрыжку уже, коняжками, скакала, вздымая кроссовками сверкающие брызги, и вертась, чтобы самой же их успеть рассмотреть, Елена. – Все, что у людей принято называть важным – это все такая е-рун-да и вранье! А все действительно важное растворено в неважном! Мы не знаем, на самом деле, пока мы живы, вообще, какие детали в нашей жизни были важными, главными, а какие неважными! И в рассказах, значит, должна быть такая же живая взвесь жизни – которой надо дышать – иначе бессмысленно – иначе дышать нечем, если все разложить на атомы.

Крутаков только довольно хумкал в нос, выдувая воздух в знак смеха – и ничего не говорил. И кажется, рад был опять, что вытащила она его из-за письменного стола, превращавшегося как будто в какое-то кабальное заточение, место добровольных пыток.

Высохло. Просияло еще ярче. Купиться на благонадежность, благонамеренную бережность дня было так нетрудно. А как только от бережных поднялись к Яузскому, жаркий город, развращенный тропическим ритмом, все-таки задал вновь грозу – и стрекало чудовищных крупных капель наотмашь било в пережат с молниями. Метнулись в телефонную будку – старую, к счастью, закрытую стекольными дольками сверху донизу, и даже без выбитых оконца, – в железную крышу которой и оконца тут же начал швыряться град – сколь буйно, столь и кратковременно, – а Крутаков, утрамбовывая себя в глубь будки, еще и сбил локтем с рычага телефонную трубку, и из трубки загудело, зарычало, зарыгало одновременно с громом – и нельзя было безостановочно не хохотать, – и через минуты три уже выглянуло, забыв выключить дождь, солнце, и будка превратилась снаружи в сверкающую хрустальную перголу, и хотя громыхало еще где-то по крышам, они вышли (не выдержав тяжелого запашка укрытия) наружу, и гроза отступала по мере их шагов вверх по бульвару, и вот уже только из треугольных льняно-золотых дыр в синем облаке даже не лил, а выпархивал прозрачный дождь, и вот –

утих вовсе, куда-то улепетнул, и вот уже сферично припекало щеку, и висела на бульварах светлая послегрозовая теплота, и с лип при малейшем дуновении ветерка лилось, хлестало цельной расплавленной лавой жидкое солнце.

И дома у Юли Крутаков заставил Елену отправиться в заросшую десятилетними отложениями грязи ванну и переодеться в его сухую футболку и в его старые джинсы, которые оказались ей как будто в упор и жутко жали ей в бедрах.

А когда начало темнеть, сидели на двух разложенных перед низким окном в кухне квадратных малиновых подушках от Юлиного безымянного и безвестного погибшего дивана – спинкой Елене служила газовая плитка, а Крутакову – холодильник. Крутаков зажег было верхнее электричество – но тут же потушил и хлопнулся обратно на подушку – и фокус этот вернул, мгновенно почерневшему было, небу внутренний дивный свет – и вечер пили не залпом, а растягивали его в слоеных сумерках кухни крошечными горячими глотками крепчайшего чая – и, поверх каурых шкурок домов в заднем дворе, на подстежке квадратно нарезанного, медленно напитываемого ночной синевой, немного опьяненного, разжиженного мутно-сизой дымкой городского дня неба, уже проклюнувшиеся, но еще не распустившиеся до конца первоцветы звезд светили тускло и розово.

III

А когда зашла она к Крутакову в другой раз, был он восхитительно щетинисто небрит, зол, сверкал черно глазами, и сердился все время, не известно за что, то ли на нее, то ли на себя, и твердил, что так невозможно, что он выключит телефон, что его все отрывают и не дают работать, и в конце концов заявил, что у него «стрррогий карррантин как минимум на неделю» – и Елена, отказавшись от чая, ушла гулять одна.

Брюссель одарил тем временем еще тремя посылками: с голодухи, получив русскую Библию, Елена тут же вдогонку послала письмо с просьбой прислать ей еще и Библию на немецком и на английском. А потом, чуть поколебавшись – из чистой жадности запросила еще и Библию на иврите – хотя на иврите не могла бы прочитать ни строчки

– и теперь все три Библии, с такой же волшебной исправностью, нагрянули по почте. И Елена чуть не упала в обморок от нахлынувших чувств, когда в иврите, по главам, нашла то самое место из пророка Исаяи, про Лето Господне, которое читал вслух в синагоге Спаситель: «Я вижу те же буквы, на том же языке, которые видел и произносил Христос!» – ликовала Елена – и только не знала, с кем поделиться своей радостью – с Анастасией Савельевной? С Крутаковым? С Аней?... Приходилось делить радость только с Виновником торжества.

А недели через две, когда она услаждая свое одиночество шлялась по городу одна, с беспокойным чувством, что вся красота вокруг – личностна, обращена к ней, и ждет от нее только внутреннего ответного знака, и что декорации это к какой-то важной, по-настоящему важной, запредельной, небесной, книге, которая пишется для нее и про нее – и нужно только дать согласие, чтобы в эту самую важную книгу войти, и всеми легкими, бронхами в этой книге вздохнуть – а как в эту книгу войти? – вот был вопрос вопросов! (и вся внешняя, видимая красота, так радующая сердце, хотя и отщелкивала новый и новый импульс этому тревожному, не прекращавшемуся в душе ни на миг, внутреннему поиску, – и была с ним в некоторой, отдаленной степени как-то связана – однако никакого ответа на главные внутренние вопросы не давала) – зашла, наконец, к Крутакову, дома оказалась неожиданно воротившаяся из Крыма Юля: как-то крайне неудобно разложив этюдник на трех ножках, между башнями книг, шваркала восковыми карандашами набросок на куске картона – на светло-синем фоне огромная сиреневатая миндальная ветка с цветами, – через каждые несколько секунд закусывая карандашами и судорожно грунтуя центр дальней стены какой-то вонючей дрянью из кастрюльки – явно намереваясь расписать холщину стены в комнате маслом. Юля тут же, добродушно вертя косичками, разъяснила, что ни на какое цветение миндаля она не попала («В феврале цветет, ну надо ж!») и даже орехов-то ей не досталось – а ветку миндаля, как она весело похвасталась, срисовывала теперь и вовсе с купленной в Грузии открытки – куда, оказывается, наскучив Крымом, как-то незаметно для себя весело слиняла вместе с хиппанской кочевой компанией. А Крутаков, восседавший на подоконнике распахнутого окна (так глубоко заехав на карниз задом, что за него страшно было, что вывалится наружу) смешно подстанывая, потирал виски и в мучении

закатывал глаза, и рассказывал, как накануне ночью «эта ка-а-аза свалилась внезапно на голову» – и как с ней вместе «пррришла немытая орррда», «устррроившая сэйшэн», и как злокозненная, с подлым характерцем соседка снизу Роза Семеновна (Елена даже ушам своим второй раз не поверила, услышав, что злую домовую фурию зовут точно так же, как и Дьюрькину тетку) «настучала в ментуррру и пррришла устррраивать скандал, крррича, что сейчас черррез десять минут прридет с понятыми, коли не ррразойдутся», и как «рррасходиться, ррразумеется, никто не собирррался», и как он, Крутаков, «в ожидании ментовского погрррома», вынужден был «кой-какие бумаги попррратать на черррдак с голубьями», и как те «всё загадили, ррразумеется».

– Как, впрррочем, и гости – ты посмотррри на кухню, что тва-а-арррится! – стонал Крутаков, закрывая глаза кончиками пальцев и берясь потом за лоб.

Бросив Юлю декораторствовать, пошли вдвоем с Крутаковым на встречу с Юлиными приятелями, уезжавшими в Питер, с которыми Крутакову нужно было передать какие-то бумаги. На жаркой, пьяной, пыльной площади, в сосисочной, поджидала хиппанская любовная пара, забавней которой Елена в жизни не видывала. Обоих – и ее, и его – звали «Ника» – ее Вероникой, а его Николаем; оба были до безумия, до ощущения миража, сделаны из одного и того же куска материала одним и тем же скульптором, причем не просто в один и тот же творческий период, а вообще в один присест – с вытянутыми, продолговатыми лицами, с одинаковыми, сливочными, зримо тянучими с боков, продолговатыми и плосковатыми носами – с создающими легкое чувство перпендикулярности на кончике узкими ноздрями; с одинаковыми спокойно-томными карими глазами, которыми они поводили интересно-медлительно; с длинными прямыми русыми волосами; с ярко-красными, гофрированно-сжато-выпуклыми губами; с вытянутыми, медлительными, продолговатыми пальцами, которыми они, стоя, плечом к плечу, за круглым столиком-стояком, вместе клевали из одной бумажной круглой тарелочки, отламывая микроскопические кусочки от одного ломтика белого хлеба (сосисок в грязной сосисочной, к счастью, не было – а хлеб, полагавшийся к сосискам бесплатно, толстая продавщица в белой чалме им спекульнула за копейку); оба, наконец, были в совершенно

одинаковых джинсах, чуть белесых на коленях, и в развязанных (скорее, чем «связанных») балахонных хлопчатых кольчугах. И в общем-то по-крупному Ника от Ники различались только наличием у него недлинной, роскошной, аккуратно подстриженной бороды – да и то, из-за размеренности и завораживающей томности их движений, это начинало быть заметно далеко не сразу.

Лебединый синхрон их движений как-то сразу ловил в плен – не дотрагиваясь друг до друга ни плечом (хотя зазор был миллиметровым), ни пальцами (проскальзывая над перстными движениями друг друга то перекрестно, то параллельно), они, тем не менее, умудрялись заполнять этот воздушный зазор такой расслабленной нежностью друг к другу, таким взаимоперетеканием линий и жестов – что становилось даже завидно.

Встав справа от Крутакова, с противоположной от них стороны стола – Елена не могла оторваться ни от зрелища этих странных лебединых их движений, ни от их бездонных расслабленных карих глаз, – выпуская из слуха трёп Крутакова – приятельский, плёвый, хотя видел он их, как и она, в первый раз в жизни.

Ника, стоящая прямо напротив Елены, катая мякишек (так, что двигались только большой и указательный – все остальное тело оставалось в полном пластическом расслаблянке) совершила медлительный отвлекающий маневр глаз на потолок (так что невозможно было не взглянуть – что же там такое?) – а затем с расслабленным видом заложила крошечный хлебный шарик в рот.

Ника, напротив Крутакова, плавно отщипывающий следующий комочек хлеба, тоже цедя его в пальцах, медленно, густо произнес своими красными выпуклыми губами:

– А вы-то чего ж? Может – с нами? Питер хлебосольный городишко, найдем где вписаться...

У Елены вдруг приятно-волнительно ёкнуло в солнечном сплетении: разом представилась забавная поездка со смешными этими ребятами, и живо вообразился Крутаков, обычный, веселый, дурашливый, выкорчеванный вагонной тряской из своих писательских забот, – и мигом жарко помыслилось, как желанно, завлекательно, невероятно было бы любое путешествие с ним.

– Женька, махнем? – весело подтолкнула она его локтем.

Крутаков же почему-то рассердился, и вел себя с этой секунды безобразнейше: ввернул, в болтовне с ними, обидное про нее слово «школьница», пробросил, как бы незаметно и невзначай, что в общем-то она случайно затесалась, потому что к Юле зашла – так что выходило вообще, как будто она скорее Юлина подруга, чем его – и, протрепавшись ни о чем еще минут десять, отдав Никам конверт, распрощался, вытащив Елену из забегаловки за рукав.

И уж конечно высказать после этого Крутакову, какое вдруг щемящее, неожиданное чувство бездомности, в связи с приездом Юли, на нее нахлынуло (так, что даже все вещи в Юлиной квартире сразу как будто-то бы изменили выражение лиц – вернее, просто смотрели теперь не на них с Крутаковым, а на Юлю – как пёс, которого, во время отъезда хозяина, они бы выгуливали, и который бы к ним ластился как к родным, и к которому они бы уже даже успели привязаться и его полюбить – а вдруг приезжает хозяин – и пёс, хоть и ластится к ним по-прежнему, а все-таки быстро дает понять, что в доме они только гости) – было бы абсолютно невозможно.

И какое-то особое, оскорбительно-болезненное впечатление произвела эта – положа-то на сердце руку, аляповатая – цветущая ветка, копируемая Юлей, и с чудовищной быстротой и вонью грунтуемая Юлей стена.

Крутаков, все еще сердясь почему-то на Елену не весть за что, говорил что-то про то, что придется ему «брррать тачку» чтобы перевозить все свое «книжное барррахло» обратно к родителям.

А Елена идя рядом с ним, и все время оступаясь с выбоин бордюра (так что Крутаков, отвратительно высмеивая ее, вытягивал ее за рукав из кювета), обиженно пыталась разгадать, что за странный взводной курок в нем срабатывает – уже не первый раз – что чем больше она ему доверяет, чем больше чувствует себя с ним подружески расслабленно и накоротке, чем больше перестает его стесняться (чего, несомненно, требовал хотя бы завышенный уровень художественных критериев, выдвигаемый им в их игре в рассказы) – тем сильнее и необъяснимее он вдруг на нее злится.

– Голубушка, да ты что ж старрриков-то обиррраешь?! Совесть-то имей! – сорвался на нее Крутаков, как будто только и ждал повода, уже доведя ее до метро – как только Елена похвасталась присланными из Брюсселя иноязыкими Библиями. – Это ж тебе не скатерррть-

самобррранка! Да они ж тебе на свои деньги там все это покупали – в дррругих издательствах! Ты, что, себе пррредставляешь, что там какое-то шикарррное богатое огрромное издательство, типа «Московского рррабочего» или «Молодой гварррдии»? Да там в этом издательстве «Жизнь с Богом» сидят два с половиной старррних альтрруиста-эмигррранта в Брррюсселе в полуторрра бедных комнатках, печатают рррелигиозные книжечки по-рррусски – специально чтобы в Ррроссию нелегально завозить – пррросто потому что здесь выжженная коммунистами пустыня в этом смысле. Конечно, рррастрррогались до слёз, небось, что какая-то юная идиотка из Москвы им пишет – и побежали инострранные Библии для тебя скупать по всем Брррюссельским книжным магазинам!

И больше всего насмеялся Крутаков над тем фактом, что оба письма с просьбой прислать иноязыкие Библии (как, впрочем, и первое – с запросом на Библию русскую) Елена написала в Брюссельское издательство «Жизнь с Богом» зачем-то не на русском, а на немецком – причем, действительно, наивно полагая, что издательство огромно, что в нем миллион человек – и втайне надеясь, что не выйдет конфуза, и никто не заметит ее жадности.

– Да-а-аррагуша: они по-рррусски лучше тебя говорррят – они же эмигррранты старрринной волны – зачем им твой немецкий?! – насмешничал Крутаков.

Надвигающаяся, как пустой гроыхающий военный холодный товарняк, школа портила настроение еще больше. Отвратительное, оскорбительное, бессмысленное, вредоносное рабство. «Сожрать еще почти год жизни собираются, сволочи!» – с мучением думала Елена. И как только живо представила себе весь языческий обряд «первого сентября» (военизированная «линейка» с гнусными командами «направо» в мегафон на спортивной площадке позади школы, марш строем, жуткая оглушающая бравурная музыка в динамиках, массовые жертвоприношения охапок цветов сначала гипсовому идолищу Ленина – сразу напротив входа в вестибюль – а потом – самым нелюбимым скандальным учителям – лицемерно задобрить, по наущению родителей, чтоб двоек не ставили, – и больше всех дорогих цветастых веников достанется конечно же стержовине Ленор Виссарионовне на шпильках со штрипками), Елена быстро сказала себе: «Лучше я стану дворником – чем еще раз ор этой дуры-полковничихи услышу!» – и в

школу первого сентября не пошла, неопределенно заявив Анастасии Савельевне, что проболел «немножко» – между тем уже затравленно (даже уже и от всех этих образов ощутив рвотный коловрат в солнечном сплетении) думая, как бы устроить так, чтобы не являться в ненавистную камору вовсе, и чтобы сдавать всю эту ненужную фигомотину экстерном, перед университетом.

Вечером, впрочем, позвонили, один за другой, Дьюрька и Аня. Аня, как всегда изображая легкую близорукость во всем, что казалось неуставных безобразий, вежливо (но все-таки добавив щепотку скептицизма в голос – чтобы уж не казаться самой себе идиоткой), осведомилась:

– Ну? Как твое здоровье, подруга?

Дьюрька же, без всяких обиняков, румяным жизнерадостным голосом заорал в трубку:

– Вылезай из окопа!

Дальше, впрочем, у обоих друзей реплика совпала дословно:

– Тут такое происходит!

Происходило же следующее: «сверху» школьному начальству приказали включаться в перестройку шахтерскими темпами – и немедленно предъявить демократизацию на-гора. В качестве затравки были установлены загадочные и обворожительно звучащие «Два Прочерка» – которые, в порядке перестроечного эксперимента, учащимся дозволялось иметь в аттестате: можно было выбрать самые гнусные и нежеланные уроки – и вклеить эти прочерки, как заглушку, на морды любезным преподавателям.

То, что появляется хотя бы подобие некоего выбора – и то, что теперь им предоставлено право как бы самим расставлять оценки учителям – и особо отличившихся училок вычеркивать из своей жизни за безмозглое поведение – несколько примирило Елену с существованием школы. Скоропостижная затяжная болезнь была тут же отменена, и на следующий же день она заявила в школу – составлять собственное расписание.

Соблазнительно, конечно же, очень соблазнительно было бы сразу же заявить, что отныне не будет в ее жизни больше ни кусочка Ленор Виссарионовны – и как козырями покрыть прочерками ведомые, вернее – выводимые ею – и алгебру и геометрию. Но тогда оба драгоценных прочерка приходились на физиономию всего-то лишь

одной-единственной полковничихи – а это уж было как-то больно жирно. К тому же, выпирал тогда из кармана жизни ужасный, ненужный, как старый разоренный завод, забитый железяками и электродами – под лысым кумполом: урок физики. Можно было конечно оставить в персональном расписании геометрию – задачи по которой всегда решались как-то с полпинка, ни времени ни сил не требовали, а легко чувствовались всегда каким-то внутренним пространством. А алгебру – с занудными формулами, которыми как будто нарочно старались забить все поры душ и мозгов старшеклассникам – выкорчевать сразу и под корень. Но тогда – с геометрией – опять выпирала, как ножницы, из кармана парикмахера, Ленор с белокурым шиньоном.

Пасьянс из двух прочерков катастрофически не сходился, прям как три карты.

Из-за нетерпеливости, для начала Елена решила ввести пока свой собственный, заместительный, новый школьный предмет: проводился он по четвергам, стартовал в одиннадцатом часу до полудня, шел в разгар алгебры, и назывался «блинчики и оладышки у Анастасии Савельевны». В факультативном разъяснении для посвященных, вернее для приглашенных (или навязавшихся) значилось также, что и блинчики, и оладышки заливаются горячим только что сваренным вареньем-пятиминуткой из замороженной Ужаровской черной смородины и черноплодки, а то и из свежих яблок. То есть, по сути, кухня Анастасией Савельевной превращалась в филиал Ужаровского сада – где Анастасия Савельевна нередко варивала летом варенье (с фиолетовыми или желто-яблочными пенками) прямо под ветвями яблонь – на большой керосинке – с той только разницей, что на приторный вар вместо ос (точивших ус, ворча сердито, кусая длинный штык) слетались сейчас одноклассники Елены. Расписание в этот день подстроено было удобнее. Первые два урока занимала компьютерная грамота – не ходить на которую было бы жалко: несмотря на то, что ящики с электронной начинкой все время сгорали, висли, свирещали, матерились, воняли, – словом вели себя как мальчишки-недоросли, – тем не менее, у Елены, каждый раз, когда она садилась за трещащий моргающий экран, было какое-то необъяснимое чувство, что из этого гадкого недоросля все-таки, когда он подрастет и поумнеет, может выйти толк. Потом, после этих двух уроков научной

фантастики, шел перерыв длиною в один урок: чтобы все успели добраться, из компьютерных вышек в закрытом учреждении, до школы. А потом наступала, визжа, самой себе на хвост алгебра скрещенная с геометрией – аж до пятого урока. Аромат пятиминутного Анастасии-Савельевниного варенья загадочным миражом распространялся – в перерыве, после компьютерных штудий, меж бредущей к школе унылой толпой, как какая-то внятно-манящая альтернатива бездарнейшему школьному времяпрепровождению.

Кто первым проболтался – Елена теперь уж и вспомнить не могла. Но факт тот, что даже от слов о свежем варенье, видимо, источался такой аромат, что противостоять было невозможно: даже Аню, педантичную и осторожную Аню, уговаривать два раза не пришлось.

– Э-эх! Тварь я, в конце концов, дрожащая – или...?! – сказала Аня – и впервые в жизни согласилась на наглейший прогул.

Чувствовала ли Анастасия Савельевна, что за словами Елены (о том, что у них в этот день – только два «важных» урока) скрывается некий подвох – установить уже тоже с точностью было невозможно. Ясно было одно: по счастливому стечению обстоятельств, в институтском расписании Анастасии Савельевны в этот день были только поздние пары – и, даже если и подозревала она что-то о массовых прогулах, спровоцированных дочерью в классе, – то вдохновенная перспектива умудриться, прямо перед уходом на работу, «накормить вареньем как можно больше ребят» сразу перевешивала для Анастасии Савельевны все прочие – в сущности побочные – обстоятельства.

Жаловал на оладышки долговязый Антон Зола – пожирая их со смешной выдвигной нижней челюстью – и с актерскими трюками – когда делал вид, что варенье сейчас выльется из зависшей в гоголевском троеперстии эрзац-галушки – и ловил и оладий, и каплю, чуть ли не носом, аккуратнейше всё, и заvertку и начинку, со свистом немедленно всасывая развесистыми губами. Однажды, с Золой, набился в гости даже любимчик Ленор – усатый, квадратный, к земле плотно прибитый Валя Хомяков – за столом всё хмыкавший: мол, «как хорошо тут у вас – не должно же быть в жизни так хорошо» – через десять минут встал, скрябнув табуретом по паркету, и громко сказал: «Спасибочки, я пошел на алгебру». Анастасия Савельевна, уже накидывавшая в прихожей пальтишко, либо не расслышала, либо

сделала таковой вид. Зола, поколебавшись, заглотив еще один оладий, смачно облизнул пальцы и, тихо спросив, можно ли ему прийти в следующий раз (словно боясь, что из-за сегодняшнего прогула второй части варенья, в следующий четверг в дом его не пустят), испуганно побежал хвостиком за Хомяковым. А Елена потом с неким внутренним смехом ждала, последует ли донос алгебраичке. Нет, доноса, кажется, не было – и за первую школьную четверть занятия оладьями успешно прошли многие соученики.

Мысленно отпущенный учителям Еленой испытательной срок, тем не менее, все больше становился мучением. Алгебра с геометрией (даже за вычетом четвергов), с трещащим огромным светильником дневного освещения, с троицей Ленин-Сталин-Маркс над доской, с Ленор – с грацией шестидесятилетней кокотки поправляющей шиньон, ищущей, на кого бы наорать, – с приниженно-молчащим классом, наконец, – все больше производили впечатление какого-то тяжелого, бушующего, откровенно-атакующего небытия.

Физик, уроки которого Елена попыталась вежливо манкировать, пожаловался директорше; Елене пришлось не раздумывая заявить, что один из прочерков она дарит ему, что физика ей неинтересна и в жизни ну вот совершенно не нужна – как ему, несчастному, вероятно, ну совершенно неинтересны книги, которые она читает. Физик оскорбился и попытался все-таки обременить ее своим присутствием насильно: заявив директорше, что даже если кто решился иметь прочерк по физике в аттестате – обязан отсидеть его уроки, потому как он-де, несет за жизни учеников уголовную ответственность, а неизвестно, где они будут вместо его уроков шлаться.

Оскорбившись, еще больше чем он, Елена начала демонстративно приносить с собой в его кабинет те две-три книги, которые в данный момент читала – и спокойно проводила как в читальне сорок пять минут – пока одноклассники корпели над контрольной.

– Могли бы хоть что-нибудь мне в контрольной написать! – с тихой яростью говорил физик, вырывая у нее из-под носа в конце урока идеально белый листок в бледно-лиловую клеточку – а другой рукой возмущенно шершавя чуть обросшую свою бритую серебристую лысину.

И в следующую контрольную она аккуратно исполняла его пожелание: брала розданный листок с печатью и выводила «Calvitium

non est vitium sed prudentiae indicium».

Самодостаточная лень зубрить навязанное, – блаженное защитное брезгливое отсутствие интереса к мусору средненьких людских «обязательных» знаний («тот-то в таком-то году вытворил то-то» – ну и что? – «а столько-то помноженное на столько-то и возведенное в такую-то степень дает столько-то!» – ну и что? А мне-то это зачем?!) и без того царили в ней – но сейчас отрывать время жизни на все эти концлагерно-счетоводческие пирушки под трещащими дневными светильниками становилось вовсе невмоготу.

Словом, прочерков на всех учителей не хватало. И оставалось только – прогуливая без всяких ограничений – надеяться, что прочерков нападает с неба еще.

С книгами, тем временем, как ни смешно, тоже наметился некий конфликт: даже лучшие романы казались ей энциклопедией мира, от которого так же подробно, по пунктам, ей хотелось отказаться. И даже в изысканнейших из эмигрантских романов текущего века, даже в лучших стихах, авторы выглядели, несмотря на свои формально артикулируемые убеждения и верования, бодрцами-язычниками (в лучшем случае – пантеистами), болезненно одержимыми всем внешним. И даже удивительно было следить, как у одного автора вдруг, вместо внутренних поисков, приобретал гипертрофированное коронованное значение глаз – как на распродажу выставленное чувство цвета или игра света и тени; другой вдруг становился до болезненности тактильным – творя себе из этого религию, и тело у него моментально становилось как будто бы злокачественной опухолью души; у другого вдруг вместо души отрастало огромное ухо – или еще чего похуже.

И, так же, как был глубоко ущербным каждый неверующий человек, так же и в каждом новом для нее здании книги, куда она попадала с первой же страницы, она сразу же тревожно оглядывалась и ощупывалась – пытаюсь понять, есть ли здесь хоть маленькая форточка в запредельное – и если форточки не оказывалось, то вскоре приходилось выноситься из книги вон из-за приступа удушья от застоявшегося там спертого земного воздуха.

Боль, которая при этом возникала, удивляла даже саму Елену: казалось бы – ну что переживать, если зрячие творцы, завязав глаза

своего духа платком, ведут в небытие тысячи эмоционально доверившихся им слепых? А резало все это душу почему-то взаправду.

Даже у жильцов серебряного века, даже у символистов, которые, в сравнении с черным ублюдским богоборчеством последовавших за ними десятилетий, казались прямо-то таки полу-небожителями, и которые вроде бы всегда одной щекой терлись об истончившуюся стенку, разделяющую земное и запредельное, – как обнаружилось (при наведении пристрастной встревоженной читательской лупы), рыльце тоже было в пушку. Чудовищная неразборчивость символистов в духовных связях просто-таки поражала: ни один из них, похоже, в пиитическом запале, не отдавал себе всерьез отчет, что *не всё* ангел, что с крыльями; и что даже не все ангелы-то – добры и чисты; и что «незримое», «духовное» и «бесплотное» (несомненно, реально существующее – и пытающееся активно влиять на людей) – далеко не всегда от Бога. Обнаружилось вдруг, что сам по себе акт признания наличия в мире не только материального, но и духовной невидимой реальности – ни от чего еще не спасает. Не очень белый Белый – с замороженной не правдивыми, намеренно белиберду несущими духами головой. Гнусенькая слащаво-болотистая попытка опившихся оккультизмом символистов смешать эрос и веру. Непорочная Дева, незаметно, по наветам сладеньких духов, массово низведенная духовидными пиитами в абсолютно полную противоположность – «Вечную Женственность». Блок – мистически изблудившийся до того, что Непорочную Деву сначала попытался низвести в Прекрасную Даму – а потом и вовсе (по мере своего логичного увязания в разбойном революционном соблазне) – в проститутку. Аскетичный мирской монах Соловьев – предпочетший заблаговременно умереть до всего этого безобразия – но тоже умудрявшийся впадать в какую-то странную модную прелесть, и в одержимом состоянии бегать за обманчивым, женообразным, нашептывающим соблазнительные посулы призраком по пустыне. Ну и больше всего потрясло конечно, что столь чувствительный, казалось бы, Блок – из-за всех этих сомнительных духовных связей, умудрился всех самых важных героев в своей жизни увидеть только со спины.

Казалось, еще до катастрофы октябрьского переворота, зло, пробуя силы, атаквало (как вирус в пробирке) души поэтов и писателей серебряного века – которые, вместо того, чтобы выработать

противоядие и использовать шанс спасти страну – выплеснули на публику весь этот кошмарный свальный космический оккультный блуд.

– Не понимаю: зачем ты идешь на конфликт, подруга, – примирительным (особенно в виду запаха бутерброда с неизвестно где раздобытым шпротным паштетом) тоном вопрошала Аня, аккуратно (как будто внутри – не бутерброд, а что-то крайне хрупкое) своими красивыми выпуклыми перламутровыми продолговатыми ноготками разворачивая фольгу с запечатанным, словно по каким-то космическим технологиям, матерью завтраком – на большой перемене, в белом сортирном безлюдии – пользуясь тем, что весь табун ускакал вниз в тошнотный буфет. – Чего бы тебе не сдать Гарию хоть одну контрольную? Я ведь тоже в физике не рублю ничего... Но сдай, чего ты? Сложно что ли? Уж меньше тройки он все равно тебе не поставит, даже если ты учить ничего не будешь...

– Аня, а кому нужно это рабское лицемерие? Кого это сделает счастливее? Его? Меня? – взводилась Елена, которой казалось, что Аня специально старается ее позлить – и нарочно несет эту чушь, а на самом деле так думать не может. И уже сердилась на себя, что специально зашла в школу на перемене повидать подругу.

– Счастливее, пожалуй... – аппетитно зажевывала Анюта самый краешек хлеба – с видимым спазмом в горле сглатывая слюну и плотоядно посматривая на яблоко. – ...счастливее, пожалуй, никого не сделает... – не выдержала, и отхватила прекрасными своими большими зубами половину бутерброда. И уже только чуть утолив голод, умиротворенно добавила: – Но шума, по крайней мере, не будет.

Безмолвно и напряженно борясь с унылыми, нелюбимыми, ничемными предметами в школе, Аня тем временем, по материнской традиции, собралась поступать в институт иностранных языков (шутила, что лингвистика, так же как и кровь, передается по материнской линии – отчим-то Анин как ни смешно, преподавал в институте физику) – и теперь, поступив на подготовительные курсы, зубрила по пятьдесят новых немецких слов каждый день.

– Об’ эр’ абэр ‘юбер ‘обэр аммергау... – как в бреду, с отчетливейшими твердыми приступами между звуками, и великолепным хох-дойчевским произношением, выдавала вдруг посреди разговора Анюта, когда они с Еленой под руку прогуливались

после завтрака по коридору (новые порядки превратили казарменно-длинный узкий коридор с окнами слева, с вытертым шарканьем подошв мелким паркетом, в хоровод какой-то – «Не бегать – ходить только по кругу и парами!») – и вот, все усердно пытались сделать невозможное и вписать круг в прямоугольник. Круг становился колбасой – и на пять пар впереди них под ручку гуляли дежурные по надзору за этажом белокудрая Ленор Виссарионовна и белокудрая же, но с натуральными кудрями, историчка Любовь Васильевна – первая с подозрением, завернув на новую колбасу, на Елену посматривала – видимо, пытаясь припомнить, была ли она сегодня до этого на геометрии.) – Одэр’ абер ‘юбер нидэр’ аммергау... – дозубривала Аня – и у Елены начинало барабанить от чужих скороговорок в голове.

Эталоном Ани, судя по восторженным рассказам, была нынче какая-то жилистая пожилая поджарая загорелая немка – лет семидесяти, что ли – которая («вышла на пенсию – представляешь! – а теперь путешествует по всему миру! В Италию ездит! Во Францию!»), летом приезжала в Москву («Вот, дама, наслаждается жизнью! Ходит по музеям, на концерты!»), и для которой мать Ани переводила. Особенно потрясло Аню, что, как немка радостно рассказала, у нее – «новый любовник», на двадцать лет ее младше. Скромнейшая Анюта, которая побоялась бы с молодым человеком даже взяться за руки, восторгалась этим конечно же не потому, что какую-либо подобную развязность могла (в страшном сне!) представить в своей собственной жизни – а как раз именно потому, что все это было из какой-то параллельной, невозможной жизни. Но в этом Ане почему-то чудился признак какой-то подлинной «западности», «свободы» и, главное (слово, которое Аня обожала – хотя и применяла с неоправданной щедростью и близорукостью почти ко всем, кто не ругается матом и думает хоть о чем-то кроме хавки): «интеллигентности».

К иностранному языку Аня (помимо фантастической одаренности, с детства культивируемой матерью по высшему гамбургскому счету) вообще относилась с каким-то затаенным трепетом: как к какому-то, хотя бы гипотетическому, пропуску в «западный», «нормальный» мир – и Аня явно заранее, авансом, в самых розовых мечтах, видела себя, благодаря иностранным языкам, вот такой же вот старушкой – «интеллигентной, подтянутой, вежливой, путешествующей по миру и ходящей по музеям и концертам».

На уроках немецкого горланистая, моложавая, маленькая Анна Павловна, лучшая преподавательница языка в школе, лишалась сразу дара и родной, и чужеродной речи, когда Анюта, по немецкому имевшая всегда пятерку с плюсом, во время контрольной работы вдруг нечаянно вываливала из левого, сердечного, синего карманчика жилетки от школьной формы невообразимо наглой длины шпору-гармошку.

– Ганина? Что это? – отказывалась верить своим глазам Анна Павловна, зная Анину исконную кротость и органическую неспособность нарушить правила. – Шпаргалка?!

– Нет, это – ключевые слова... – с великолепнейшим академизмом в голосе доводила до ее сведения Аня и, непринужденно собрав красивыми длинными ноготками своими гармошку, прятала ее снова в карман – без всяких дисциплинарных последствий – при затихшем восторге ученической группы.

Елена же к иностранным языкам относилась как к баловству, скорее: как к забавной игрушке-головоломке. «Когда мне будет что сказать – меня переведут», – со смехом думала она.

Если Анины чувства Елена намеренно чуть щадила и боялась разбить уютный кокон, в котором любимая подруга пребывала, то с Дьюрькой в эти дни ругались они вовсе всласть. Дьюрька внезапно решил поступать на экономический факультет («Мне мать сказала: «Выбирай любой факультет – но чтобы это был университет, ты должен сохранять семейные традиции!»), и теперь на смену прежде излюбленным его схемам (по мотивам отвергнутых, но не забытых штудий марксизма на обществоведении), о «неотвратимо сменяющихся друг друга более прогрессивных формациях», вступила услышанная от какого-то университетского преподавателя теория о воцарившемся на западе постиндустриальном обществе – и этой схемой Дьюрька со страстью пытался в мире объяснить теперь всё, включая личные отношения между людьми. И опять ему всё казалось, что он «схватил систему» и вот-вот всё объяснит – не укладывающиеся в систему частности пухлявой ручкой щедро отменяя (до такой степени, что в исторических спорах искренне путал, например, народников с народовольцами, а в историко-литературных – Горького с Островским, причем не всегда был уверен, с каким именно). И когда Елена говорила, что, на ее взгляд, вообще есть две истории человечества –

одна – внешняя, почти чисто зоологическая, с борьбой за территории, жрачку, за животную власть, за безграничное удовлетворение извращенных жестоких инстинктов, – а другая история мира – внутренняя, подлинная, видная только изредка на просвет, как раз и состоит из отмечаемых Дьюрькой частностей, исключений и чудес; и, что, как раз наоборот, всех и всё, кто и что ложится в систему, всех, кто участвует во внешней, общепринятой, зоологической, физиологической истории – можно спокойно вычеркнуть из внимания и сократить по общему незначительному знаменателю – как ничего, на самом-то деле, не значащее, – Дьюрька заливался кармином при абсолютно белых ушах – и орал про дилетантизм.

Словом, все вокруг, как нарочно, говорили о чем-то не о том, о не важном, вязком, раздражающем, внешнем, навязанном, пустом.

IV

Окаменелая пыль в тоннеле метро. Ураган на краю платформы при приближении поезда. И запасник тупой плоти, в два ряда на дерматиновых сидениях – с безверными, ничего не ищущими глазами.

Стетоскопом капюшона слушая пустынные переулки вокруг улицы Герцена дождливым вечером (по валику опавших листьев у обочин под ногами дождь шлепал, как по линолеуму, фальцетом отстукивал от лбов машин, и баском договаривал что-то из подворотен – и вдруг начинал шуметь по капюшону так, что ради слышимости капюшон приходилось менять на дождь), Елена с какой-то неутихающей тревогой будто пыталась найти во внешней топографии центра города схожую точку напряжения – которая срезонировала бы с ее внутренним поиском. Дни – впервые в жизни – казались пустыми, с утра и до вечера: не в том совсем смысле, чтобы ей было скучно (как могло быть скучно с собой? всегда наоборот с брезгливостью относилась к людям, способным сказать, что им «скучно» или «нечего делать») – а в том, что дни как будто бы ждали заполнения – вся прежняя жизнь была исчерпана до дна – и в ожидании будущего Елена не знала, что и предпринять, чтобы скорей прокрутить внешние стрелки часов вперед. Не зная, как бы приблизить грядущее – маясь – зашла вдруг в один из вечеров в маленькую ярко освещенную

парикмахерскую на Герцена – с ковром чужих каштановых волос на мраморном полу у входа – и постриглась, сделала, по рекомендации резвой двадцатилетней парикмахерши, прическу с великолепным модным ступенчатым названием «градуированное каре». Анастасия Савельевна, встретив дома рвано обстриженную незнакомую девушку с челкой, разрыдалась:

– Как тебя теперь из дому выпускать?! Всё мужики одни на уме, небось...

– Мама, о чем ты?! – хлопнула в ярости дверью в свою комнату Елена.

А за завтраком Анастасия Савельевна снова стонала и говорила, что это неприлично, что выглядит теперь Елена слишком взросло и вызывающе.

А Елене, спросони, наоборот, казалось, что обкорнали ее уродливо – и до слёз особенно жалко было, что позволила отстричь себе челку.

Крутаков, выкроивший, наконец-то, время из закрутившихся, пуще прежнего, с наступлением осени, таинственных своих диссидентских дел, назначил ей встречу на ветреном, малознакомом перекрестке. Новую взрослую прическу Крутаков, как нарочно, как будто бы не заметил – не сказал ни слова («Наверно, действительно, выгляжу как уродина», – быстро тоскливо подумала Елена), зато с отвратительным каким-то издевательством в голосе осведомился:

– Ну, как там наш крррасавец За-а-ахарррр поживает?

– Какой Захар... О чем-ты... Никакой он совсем не красавец, я же говорила тебе... – мрачно отбивалась от Крутаковских шуточек Елена, и когда произносила эти слова, почему-то у нее все время было дурацкое чувство, что за что-то она перед Крутаковым оправдывается. И высохшие кленовые листья были как пережжённая калька из-под Глафириных куличей. Прочие же валялись просто как скомканные черновики лета.

А на следующий день, вопреки строжайшим запретам (из-за нервозности матери), Крутаков зачем-то позвонил ей, даже не дождавшись окончания времени школьных занятий – около полудня (пару месяцев Елена еще потом думала, зачем же она ему вдруг срочно понадобилась? Расшифровка какого-нибудь интервью?) и, нарвавшись на Анастасию Савельевну, не повесил трубку (как предписывалось

категорическим инструктажем Елены) – а позвал Елену к телефону. Все это Елена, мирно прогуливая тот день дома, с книжкой, поняла, увы, уже позже, мгновенно – когда через растворенную дверь услышала из кухни напряженный голос Анастасии Савельевны:

– Нет, вы скажите, кто ее просит – и тогда я ее позову к телефону...

Схватив трубку своего, параллельного телефона, Елена с ужасом услышала раздраженную брань Крутакова:

– Какая вам разница? Если человек не представляется – значит он не хочет, чтоб знали его фамилию! Какая вам разница, как меня зовут? Ну придумаю я сейчас, положим, что зовут меня Серреем! И скажу, что я возлюбленный вашей дочерри! Ну а вам-то, что, теплее жить на свете от этого будет?

– Молодой человек! – кашлянув от неожиданности, напряженно повторила Анастасия Савельевна – и по интонации Елена услышала, что мать взбеленяется не меньше Крутакова. – Молодой человек, назовите, пожалуйста, свое имя – и я позову Елену к телефону.

– Мам, положи трубку, я уже подошла... – быстро сказала Елена, но Крутаков, на другом конце трещащего телефона, разозлившись, ее не услышал:

– Какая вам разница! – орал Крутаков, все еще обращаясь к Анастасии Савельевне. – Может, мы вообще с вашей дочкой уже давно венчаны тайно в деревне Ненаррадово! Вы думаете, вы всё можете выведать про жизнь своей дочерри?! Вы, что, думаете, что вы, вообще, знаете свою дочь?! Что за мещанство?!

Елена остолбенела. Никогда еще такого хамского разнузданного голоса Крутакова она не слыхивала. И одновременно осознавала, что мать в кухне, чуть дыша от неслыханных внезапных оскорблений, трубку всё не вешает.

– Крутаков! Ты что – пьян?! – тихо выговорила Елена. – Что ты несёшь?!

– А что она ко мне привязалась с именем?! – расслышал ее, наконец, Крутаков в трещащей трубке. – Мещанка!

– Крутаков, извинись немедленно перед моей матерью! – тихо свирепея, потребовала Елена, рассудительно полагавшая, что обзывать Анастасию Савельевну «мещанкой» – это исключительно ее личная прерогатива.

– А что она ко мне прррривязалась! – с той же крикливо-разозленной интонацией повторил Крутаков, как заведённый. – Мещанка! Дуррра! – выпалил Крутаков, как будто физически не мог прекратить этот кошмарный выплеск раздражения.

– Крутаков... – в ужасе произнесла Елена. – Повесь немедленно трубку... И не смей мне больше никогда в жизни звонить после этого.

Разумеется, и на завтра, и во все последующие дни, Елена не сомневалась, что вот-вот Крутаков перезвонит с какими-то запредельно-слёзными извинениями, скажет, что, к примеру, напился (хотя голос его пьяным ну совсем не звучал), что какое-то у него случилось горе, что был в какой-то невероятной скорби – и по-мальчишески разозлился и разорался поэтому из-за пустяка – но Крутаков не звонил.

В конце октября с Дьюрькой простояли час с зажженными свечами, в протестном оцеплении вокруг Лубянки, в вечерней темноте, отмечая день политзаключенного. Дьюрька отчаянно громко (то есть дико тихо, как ему явно казалось) прозревал:

– Смотри! Вот, видишь, справа дяденька усатый из «Мемориала»?! – хотя Елена и сама уже давно прекрасно замечала в цепочке, помимо живой молодежи, удивительный народец, виданный в начале года на «Мемориальском» съезде.

И когда здание КГБ было целиком окружено серьезными, скорбными людьми с поминальными свечами – казалось – крикни сейчас все разом, воструби в Иерихонскую трубу – и стены земного логова древнего змея рухнут немедленно, в ту же секунду. Но никто не вострубил, и не воскликнул. И Елена, обжигая парафиновыми слезами свечей пальцы, всё вертела головой направо и налево, всё выглядывала в цепочке Крутакова – «не может же быть, чтобы он не пришел сюда!» – в каком-то уже рассерженном ключе говорила себе Елена – но Крутакова нигде не было. И когда прокатил слух, что на Пушке избивают и задерживают тех, кто двинул отдельной колонной, под запрещенным бело-сине-красным флагом, у Елены опять ёкнуло сердце: «А вдруг Крутаков там, а вдруг с Крутаковым что-то случилось... Эх, надо было мне туда рвануть, а не здесь молча стоять!»

И, вообще, конечно, потребовалось еще несколько недель, чтобы, вслушиваясь в хамское телефонное молчание, Елена сжилась с горькой

мыслью: «Значит, я чего-то важного про Крутакова прежде не понимала».

Хотя валялась у нее уже стопка не отданных, просроченных (в их обычной круговерти обмена – на новые, нечитанные ею) Крутаковских книг, – лучше было бы, конечно, умереть, чем сделать первый шаг и позвонить самой.

А в ноябре случилось чудо. На вакантное место учительницы литературы, давно пустующее, опустошаемое регулярно родильной падучей (видимо, заразной – и имеющей рассадник именно в их школе – потому что эпидемия в кратчайшие сроки скосила уже трех косноязыких провинциалок подряд) пришла двадцатитрехлетняя девушка, Татьяна Евгеньевна, выпускница филологического факультета, ничем внешне, кроме тихой русской темно-русой миловидности, вроде бы, не примечательная, но которая с первого же урока надолго заставила Елену позабыть обо всех остальных проблемах.

Какая-то внятная тайна (которую сразу же, с первой секунды почувствовала внутренним резонансом Елена), заключалась даже не в том, как Татьяна говорила (а произносила она слова, чуть оплавляя гласные, чуть сдавливая их губами и делая их насыщенно-густыми – так что вместо слова «поэт» получалось у нее ярко-окрашенное какое-то, восхитительно-личное, сложное, незнакомое, будто только сейчас впервые услышанное, инопланетное какое-то слово «пуйт»), и даже не в том, как удивительно мягко она опускала глаза, как будто бы растворяя взгляд в окружающем воздухе (хотя на фоне прочих училок, таращащих глаза навывкате, это тоже было внове), и даже не в том, как вела урок (с удивительным, не подделанным уважением к каждому, с обращением на «вы», с сократовским диалогом – вместо дидактики, с приглашением делиться мнением и думать, думать – и уж точно без всякого навязывания своего мнения, и уж точно без предписываемой марксистко-ленинской классовой идеологии в литературных разборах) – а в чем-то, что скрывалось за всем этим – в чем-то незримом, но нераздельно с ней присутствовавшим.

Внешность Татьяны была действительно подчеркнута неброской: мягкие неяркие пушащиеся длинные волосы, плавной дугой спадающие до плеч, а дальше, округло загнутые назад и собранные на спине чуть вверх, волнообразной старинной подколкой. Растянутые

большие глаза, с очень высокими, в направлении висков, краями верхних век – и густо-густо природой заштрихованными, крутыми, под развернутым углом от линии глаз, выразительными бровями. Нос, который, при лепке, из откровенно курносого кто-то явно решил в последний момент переделать в римский – и чуть нажал указательным пальцем посредине. Чуть губошлепские губы. Не накрашенные. Чуть коснулась тушью ресниц – но никакой больше косметики. В очень мягких тонах выдержанная одежда. Манера эта опускать глаза. Татьяна как будто бы специально приглушала и без того неброскую, тихую, уездно-русскую свою красоту – как Камиль Писсаро намеренно приглушал гамму всех картин до оттенков самой-самой ранней весны – почти не заметной, предчувствуемой скорее в интонации, в свечении и теплении воздуха, в оттенках дорожек и кирпичных стен – чем в зримом цветении, – так, что даже когда и пытался уже написать лето или осень, то все равно уже не мог – все равно в них царила вечная неблесткая ранняя весна – и даже удивительно было видеть цветущие каштаны, или их же увядшие листья – все с тем же неизбывным ранне-весенним подтекстом всего растворенного в воздухе настроения.

Когда же поднимала Татьяна глаза – из этого своего ранне-весеннего настроения – то смотрела смело, прямо и ясно. И губошлепские губы – произносившие настоящие, не школьные, выстраданные, свои, фразы – складывались в мягкой улыбке – выжидательной, выглядывавшей как будто бы из другого мира.

И к концу первого же урока (который весь был потрачен на изумлявшее Елену своей реальностью – а также тем, что навык к этому включался в душе как бы сам собой – как что-то привнесенное в душу заранее – исследование души Татьяны внутренним эхолоотом) Елена всем сердцем вдруг явственно вновь, как и в свое время при появлении Склепа, почувствовала укол внятной ностальгии по невидимой Величайшей Державе, которая явно оставила ощутимо считываемый отпечаток на сетчатке этих тихих Татьянинных глаз. И именно в эту Державу больше всего, до стона, до готовности отказаться от всей видимой жизни, хотелось попасть. И именно то, что видела внутренне, внутренним взором Татьяна, и хотелось больше всего увидеть.

Своя. Ручной, небесной кройки. Настоящая. Как удивительно, как изумительно узнавать своих – вот так вот, по какой-то вибрации

воздуха вокруг. Как странно, и как прекрасно.

На правой лодыжке Татьяны, в меру незаметно, красовалась продранная (видимо, молнией от сапога зацепила) широченная дырка в темноватых капроновых колготках (Татьяна явно старалась перед уроком припрятать продранное место внутрь коричневой туфли-лодочки – но дырища все равно выскочила, от размашистых-таки ее довольно шагов, наружу). В другой день, на втором ее уроке, по той же самой дыре, также припрятанной – но мелькнувшей теперь, в конце урока, практически на том же самом месте – чуть поближе к пятке – стало ясно, во-первых, что дефицитные колготки у Татьяны в запасе – только одни, и во-вторых – что не вспоминала Татьяна о своем внешнем виде за прошедшее между этими днями время ни разу, – и Елена чуть было не рассмеялась такой внятной рифме со Склеповым драным рукавом: такой излишней, в общем-то, подсказке.

Между тем, по всем земным, поведенческим характеристикам, Татьяна казалась полной Склепа противоположностью: не то чтобы человеком скрытным – но сдержанным – как бы говорила всем своим видом: «Если вы меня прямо спросите – я вам прямо и честно и отвечу, а если не спросите – значит вам и не надо знать ответ»; и уж точно не стала бы эксцентрично, как Склеп, растрезвонивать на всю школу о создании «тайного» общества и выкуривать сволочей баллончиком дезодоранта.

Не зная, как подать Татьяне какой-то родственный знак, как подружиться с нею – ведь где там заметить глаза всех тридцати рассматривающих тебя охломонов – Елена написала кричаще провокативное, почти как рассказ – сочинение – на незначительную, собственно, по программе нужную тему – и вызывающе не имеющее к этой формальной теме никакого внутреннего отношения.

– Вы, Лена, начинаете свое сочинение в стиле Достоевского, – улыбнулась Татьяна, возвращая ей ненормативных восемь исписанных страничек. – С конфликтом в первой же фразе.

Елена чуть изумилась. Придя домой, прорыскала Анастасии-Савельевнины книжные полки – и – к сюрпризу своему – обнаружила с чудесной пунктуальностью вернувшегося на стеллаж, исчезнувшего прошлой осенью, в момент свиданий ее с Цапелем (вернее – ссуженного Анастасией Савельевной на почитку какой-то своей студентке) «Идиота». Засела за чтение, не спала ночь, пришла в школу – но так и не смогла выйти из сортирного клуба на четвертом этаже,

припав задом к подоконнику, стоя, прочитала все шесть уроков подряд – в результате прозевав, зачитавшись, даже урок литературы, исключительно ради которого в школу и припёрлась – едва не провела в школьном сортире продлённое время и остаток вечера – переведя дыхание только когда ее пришла выгонять нянечка с вонючей тряпкой.

Достоевский оказался цепким маньяком, болезнью, которую только впусти под кожу. Бросить, не дочитав, раз вчитавшись, вжившись, не было уже никаких сил. И несмотря на то, что писан роман был – с литературной точки зрения – отвратительнейшим стилем, вернее, без стиля вовсе – как будто весь текст был какой то сокращенной, адаптированной версией для убогого радиоспектакля, с третьесортными трюизмами, откровеннейшими, бессовестными словесными штампами – штампами этими, однако, как костыликами, уроду-Достоевскому удалось создать живейшие, живые образы – и, вот, князь Мышкин – гляди-ка! – был живой! И влюблялось в него с полувздоха, с нескольких страниц.

Заведение, в которое бегом направилась Елена прямо из школы было самым-таки парадоксальным: пошлейшая, захудалая, замухренная районная библиотека, где был затребован весь подержанный Достоевский, который там гнил.

И все выходные бедная Анастасия Савельевна слышала из комнаты Елены то несусветную ругань, а то вдруг, когда Елена, не выпуская отвратно размокше-рассохшуюся грязную публичную книжку из рук, завернув с гигиенической целью в белые листы бумаги как при карантине в госпитале, выходила на кухню – Анастасия Савельевна, как невольный подставной герой, оказывалась вовлечена в заочные, катастрофичные, так что каждый орал друг на друга в голос, споры Елены с автором.

Гнуснейшую, извращеннейшую, богохульную, мазохистскую идею, подспудно просматривавшуюся в текстах Достоевского то здесь, то там, что, мол, спастись можно, только погибнув – принять было категорически невозможно.

– Гадость! Какая гадость! – орала на мать Елена на кухне, к крайней растерянности той, – забыв уже даже и про чай. – Ведь когда Христос, чтобы обратить грешников, заверяет, что на небесах радуются о кающихся грешниках – Христос имеет в виду нечто совершенно противоположное тому, что пытается разыграть в своих

книгах Достоевский! Это ж надо было все так извратить с ног на голову! Достоевский пытается изобразить всё так, что сначала надо обязательно нагрешить, увязнуть в дерьме по уши, погибнуть – чтобы потом спастись! Плохой человек у него получается заведомо хорошим. А хороший – просто не существующим, не интересным! Гадость! Клевета! Извращение! Да, Христос говорил, что даже блудницы и разбойники могут, по милости Божией, спастись, если раскаются и отвратятся от прежней жизни. Христос даже сказал, что на небесах у ангелов радости больше об одном раскаявшемся и обратившемся грешнике, чем о ста праведниках! Но сказал-то это Христос, чтобы вдохновить грешников на раскаяние, чтобы грешники перестали грешить и обратились к Богу – вместо того, чтобы отчаиваться и грешить еще больше! Вот прямой смысл слов Христа! Какое же гнуснейшее извращение – пытаться переиначить смысл этих слов, как будто Христос хотел не грешников обратить, а, наоборот, мол, хотел вдохновить праведников грешить, соблазнить праведников начать совершать невероятные, как можно более страшные грехи – чтобы «через зло» спастись! Что за извращение! А Достоевский-то ведь бредит как раз об этом – что, мол, только блудницы и разбойники и спасутся! Метафизический извращенец! Мерзость какая! Клевета!

Анастасия Савельевна вздыхала – и по рассеянности насыпала Елене в чай – из занесенной (для своего чаю) ложки – сахар.

И следующее сочинение, которое Елена сдала Татьяне, было посвящено, разумеется, этой ее персональной с Достоевским руганью – на которую с невиннейшей витиеватостью свернула с заданной школярской темы.

А Татьяна, плюнув на школьную программу, притащила на ближайший урок книжечку Бахтина о Достоевском.

– Кто-нибудь читал уже Достоевского? – с азартом спросила она. – Вот я даю вам прочитать две странички из Бахтина – я знаю, это редкая книжка, вам тяжело, почти невозможно будет самим достать... Вот я даю вам прочитать совсем маленький отрывок, там отчеркнуто карандашом на полях... Мне так хочется, чтобы вы это поняли! Кто мне в конце урока скажет, что прочитал и понял – тому сразу ставлю пятерку! А мы с вами пока давайте поговорим, знаете ли, вот о чем...

Книжка пошла по рядам.

Зарабатывать пятерки у Татьяны оказалось крайне легко – надо было просто читать, вдумываться – и высказывать свое собственное мнение – даже если оно не совпадало ни с Татьяниным, ни тем более с проштампованным в учебниках, – собственно, сама отвратительнейшая, унижительная категория «школьные оценки» сущностно отменялась Татьяной – а предлагалось взамен просто естественно жить и думать и обмениваться мнениями, – но Елена тут же неприятно изумилась, увидев тупо-ленивую молчаливую реакцию одноклассников на такой поворот общения, которым подобные нежности были как-то непривычны, неуютны, и вообще до фени.

В самом начале декабря Елена вдруг услышала от персонажа самого неожиданного – смазливенького крошечного кудрявого мальчика Васи с крупной мушкой справа над губкой, как будто бы надрисованной коричневым карандашом, – что Татьяна, после какой-то беседы с ним и Ильей Влахернским из параллельного класса, «когда ну чисто случайно о чем-то таком зашла речь», согласилась отвести их на выходных в церковь, где у нее был друг-священник.

Известен малорослый мальчуган Вася был тем, что являлся счастливым обладателем хрестоматии по литературе для школ для детей с умственной отсталостью – где вся мировая художественная литература, включенная в программу советских школ, изложена была в сокращении, сжатынко, ясненько, без «излишеств», с адаптированностью к мозгам современных читателей – так, примерно, как хотелось бы видеть всю литературу Дьюрьке – и вся программа от первого до последнего класса школы, умещалась на двухстах страницах – вместе с подробными, по пунктам, шаблонами сочинений на требуемые советской школой и вузами темы – с «главной идеей» романов, «линией главного героя» и тем, что «автор хотел сказать», но не сказал, потому что не познал еще, в своих дремучих идеалистических веках, блаженств марксизма; обладание этой книжицей делало Васю почти что школьным королем – пятерки (у прежних, малограмотных, училок) были обеспечены, и многие, многие стояли в очередь на получение книжки для дебилов взаимы перед итоговыми сочинениями; но Вася был обычно непреклонен, и тем, кого в друзьях не числил, врал, что никакой книжки у него нет – боясь, что в какой-то момент учителя просекут, что за кладезь знаний у него, из которого он черпает – и отнимут.

Ни на какие вопросы «как было в церкви?» внятно Вася ответить не мог – как ни старался что-то дружелюбно и весело бубнить – и предложил Елене самой поговорить с Татьяной.

Моментально вспомнив, как быстро, с момента похода в костел, школьные власти расправились со Склепом, – Елена бросилась на поиски Татьяны: твердо решив, что уж в этот-то восточный экспресс, пусть хоть даже и в последний, через секунду отбывающий вагон, она вскочит.

Татьяны не было ни на четвертом, где она чаще всего – мигрируя с вместе с учениками, как будто во главе кочевого племени – иногда уже даже и после звонка на урок вынуждена была бродить в поисках свободного класса (в то время как даже у злосчастной Ленор был собственный кабинет) – ни на пятом, где Татьяне иногда разрешали притулиться в маленьком укороченном светлом классе за библиотекой, ни на третьем – в учительской, вызывавшей всегда у Елены некую неприятную кожную дрожь отвращения, от памятования тухлых мух, сожравших Склепа, – ни на первом, у кабинета директорши. Просто уже от отчаяния Елена заглянула на первом в буфет – вокруг которого как обычно стоял непроходимый, как стена, непереступаемый запах щей и еще какого-то варева, вынести который было выше сил – и вдруг увидела со спины тоненькую Татьяну, в длинном свитере, в мягко-коричневой юбке, чуть ниже колен, в исправных новых колготках и в коричневых лодочках – в очереди за буфетной стойкой, обитой алюминиевым кантом на углах.

Буфетчица тетя Кася щедрой поварёшкой расплескивала по стаканам отжатými тряпками густо пахнувший бочковой сладкий кофе с молоком, вернее с пенками.

Буфетчица тетя Груня (сама габаритами как буфет) выронив из черпачка тефтелю, которую тягала из цилиндрического алюминиевого чана – попыталась было прихватить ее своим здоровенным большим пальцем, но тефтеля сорвалась, мазнула по стойке – и скакнула вниз, на кафельный пол. Тетя Груня, за кулисами обеденной стойки, метко, опытным ударом пасанула тете Касе (чуть помоложе, разъеденными размерами куда ужимистей, всего лишь с тумбу) – гольфом, то есть мыском, по густо натертому жиром кафелю. Опа! Точное попадание. Под буфет. Шайба. Ничего, Кась, останется для продлёнки. Нет-нет! Достанем! Выудим. Оп-па! Уже. От-т-ана! Острием ручки поварёшки –

почти, почти незаметненько – как домкратом – из-под набежавшей на скалистый остров буфета слюны. Оба-на! И беглая тефтеля уже на тарелке. Татьяниной.

Елене немного поплохело, и она, держась за косяк двери, вытащила себя, перпендикулярно орущей толпе, из буфета – и вышла на улицу продышаться. Да-да, допускаю, что древние формалисты действительно уже всех поддоставали маниакальными омовениями горшков, чаш и скамей – но в данный момент я бы не отказалась от их зацикленности на личной гигиене. Зажать нос. Закрывать глаза. Я должна с ней поговорить немедленно же.

Войдя, со второго дубля, в буфет, Елена увидела Татьяну, сидящую за столиком, лицом к ней, с чуть распушёнными своими, плавно забранными волосами, прямо напротив двери. Кажется, был уже звонок на урок – так как в буфете было пустынно и тихо. Ярко слепил столовский свет. Татьяна, кротко отодвинув в дальний край тарелки бескровную хлебную тефтель из купленного неразменного «комплексного» обеда, святила глазами желтую отварную картошку.

Когда Елена подсела напротив и с ходу попросила Татьяну взять ее с собой в следующий раз в храм, Татьяна мягко и ясно посмотрела ей прямо в глаза и почему-то сказала:

– Вы должны понимать, что идти просто как на экскурсию, ради любопытства, – абсолютно бессмысленно для вас, и если вы...

И только когда Елена, не дав ей договорить, настойчиво, даже как-то требовательно повторила просьбу, Татьяна, ничуть не удивившись, но все так же странно-испытующим ясным взглядом на нее глядя, вымолвила:

– Ну, хорошо, Лена, если вы действительно настаиваете, пойдемте. Я могу просто проводить вас.

Татьяна незаметно для глаз склёвывает перстами колкие хлебные крошки, не убранные на сероватом столе с завтрака, прячет кисти рук под манжеты безразмерного, растянутого, блекло-мажентового свитера. Разжимает ладони – а там фимиам.

Встанем, пойдем отсюда.

Было пасмурно, мокро, не холодно, и не ветрено. Снег, только выпавший, грязно растаял, обременив собою то ли мрачные обочины неба, то ли угрюмые витрины луж, не затронув матерые копченые сугробы.

Встретились с Татьяной вечером на Пушкинской.

– Зовут священника Антонием, – торя опущенными глазами дорогу в толпе, говорила, чуть оплавляя гласные, Татьяна – идя рядом с Еленой, всем видом демонстрируя, что она и вправду – только провожатый, только показывает дорогу – и кажется, прилагая все силы, чтобы дурацкая школьная игра в учительницу и ученицу никоим образом здесь даже и не вспомнилась. – Батюшка Антоний совсем молодой, еще тридцати нет. С ним можно запросто говорить. Он выпускник филфака, стал священником совсем недавно, только в прошлом году. А до этого его с работы из московской школы выгнали. За то, что он детям о Христе рассказывал.

У Елены ёкнуло под ложечкой – от таких уж совсем буквальных сходств со Склепом, – и на секунду даже поверилось, что случится чудо – что придет она сейчас в нежданную-негаданную церковь – а там – Склеп, живой, выживший, с баллончиком, сменивший в священничестве имя на Антония. «Мало ли, перепутала Татьяна филфак с журфаком...» – в жутком, заполошном припадке ожидания невозможного подумала Елена. И она даже едва-едва удержалась, чтобы не спросить у Татьяны «а как священник выглядит?!»

– Я знаю, очень трудно найти в первый раз слова, – добавила, чуть погодя – все так же на Елену не глядя – Татьяна. – Лучше всего к батюшке Антонию подойти с каким-то конкретным вопросом, чтобы начать разговор. Можно спросить его, например... – и тут Татьяна впервые за всю эту прогулку вскинула на нее глаза – по-особенному, с ясным, упорным своим взглядом, – ...можно, например, спросить его, что делать, если человек верит в существование Бога, но не чувствует необходимости принять крещение...

Свернули в гигантскую сталинскую арку, не дойдя одного переулка до центрального телеграфа.

Абсолютно молча прошагали под горку – и когда справа показалась маленькая церковка цвета хурмы, с дальноркой колокольней – Елена глазам своим не поверила: столько раз ведь здесь везде хожено, вокруг, в переулках – а церкви этой она никогда до сих пор не видела – то ли не замечала.

Как только Елена вошла внутрь, ее неожиданно объяло чувство чудесного, мечтавшегося дома: тепло, живой свечной свет, и с какой-то уютной лаской, с поразительно родственной мимикой вечности

улыбавшееся ей навстречу внутреннее пространство. Пространство, населенное крайне густо: темные лики – и глаза. Везде! Из десятков окошек-икон, с явно вплотную примыкающей к ним, с той стороны, бесконечностью.

Живой свет казался светлее и ярче – и разом переносил в те закрома времен, где тяглы меряли лошадиными силами, а лампочки – количеством свечей.

Время, вообще, сразу осталось где-то позади, за порогом.

Ритм, как в улье, отмерялся действием с парафиновыми свечами: их выменивали, как у туземцев, за медяки, у старушки – пленницы угловатой деревянной старинной свечной конторки слева от входа, с бесконечным количеством ячеечек, – вырученные за безделушки свечки кому-то, впереди стоящим, все время передавали, или несли сами, пробиваясь в народе, зажигали их – и, наконец, свечи утопали в огне золотистых, на высокой ножке, дисков с шаткими наперстками – переполненными, так что некоторые, уже зажженные, лепили на скользкую покатую плоскость или клали незажженными рядышком.

Как и в другой церкви, на Пасху, ей показалось, что внутри – пространства гораздо больше, чем может уместиться в этих ужимистых архитектурных формах. Выгородки, низенькие, с отсверкивающими от свечей перильцами, делили и без того крошечные закутки с темными оконцами, справа и слева, перед иконами. Вопреки всем законам геометрии и алгебры, из-за того, что маленькое помещенье преломлялось на еще более микроскопические как бы горницы – места становилось гораздо больше.

Но нет, конечно не это – что-то еще, какое-то еще благословенное жульничество явно происходило с просторами. Темные окошки икон, вырастающих и в рядок, и одна над другой, форм самых разных, и их темнолицые обитатели, резко надставляли и горизонталь, и вертикаль. Что-то было еще...

– Нам надо будет занять очередь, – будто бы сказала Татьяна, кивнув головой направо, где, в начале узенького, заросшего иконами коридорчика, разделявшего дольки церкви, стоял, боком к ним, бородатый священник (на Склепа, конечно же, абсолютно не похожий), вокруг которого толпились человек пятьдесят.

Жаркий свет впереди, в самом дальнем помещении, притягивал как мед. Елена, уже почти не различая, что говорит Татьяна, прошла по расступавшемуся перед ней коридорчику вперед – в просторы перед центральным алтарем. Начиналась служба.

Набито народу оказалось здесь еще больше, чем в коридорчике. И только было Елена подумала, где бы ей встать, как вдруг – словно кто-то решал прямо перед ее шагами, по мере ее шагов, кроссворд: освободился в толпе проход слева, она шагнула туда, и потом сразу как-то неожиданно расчистилось место на узенькой банкетке, шедшей по периметру дальней от алтаря стены – и Елену буквально отнесло толпой на это сиденье – второе, с краю, от коридорчика. Не захотев, почему-то садиться, а просто встав вплотную к банкетке, Елена заметила, что обивка на банкетке – как в метро, дерматиновая – улыбнулась, и подумала, что здесь, в церкви, даже это не выглядит уродливо. Снизу, из-под банкетки, жарко припекало – прямо под сидением, видимо, пряталась труба отопления – и от этого жара на икрах было почему-то приятно – будто кто-то заботился высушить кроссовки и полы джинсов от внешней, уличной сырости.

Многоэтажный обитаемый иконостас впереди и вовсе уж беззаконно вытягивал вертикаль – в запредельных отдалениях потолка мнились высоты, никак не вмещавшиеся в габариты этой, низенькой, во внешнем измерении, половинки церкви.

Вдруг хор, чуть скрытый за росшими отдельно от иконостаса иконами, запел.

Одновременно – нет, пожалуй, на какую-то долю секунды позже – рядом с хором, перед ближайшей к алтарным воротам иконой, возник удивительный столп тихого, жаркого, не обжигающего света; хотя Елена стояла на отдалении – жаркий столп этот разом затянул в себя – и потянул вверх – невозможно было в точности объяснить, что происходит: должно быть, что-то случилось с потолком, потолок растаял, растопился этим столпом жаркого света – и, вопреки внешней уличной непогоде – разверзшиеся, навстречу этому взнимающемуся, высокому столпу, где-то уже над потолком, в небе, просторы, были так же наполнены светом и необжигающим теплом – и доверившись этому мгновенно унесенному ввысь движению, Елена вдруг заполнилась этим светом до краев – вмиг стала внутренне как будто больше себя самой,

и еще через миг – жаром и светом своей души соприкоснулась с Христом.

Через секунду (как ей показалось) она обнаружила себя стоящей возле банкетки, в слезах, горячо хлеставших из глаз, с такой силой, словно выходила вся боль, что накопилась за жизнь – и вся церковь выглядела уже мягко волнистой, за этой льющейся завесой.

Как будто вдруг четко разом осознав необходимые действия, Елена моментально отошла от банкетки – и, свернув в коридорчик, начала пробираться к священнику. Татьяна, как ни странно, шла уже прямо навстречу к ней – кажется, говоря, что подросла их очередь, и, кажется, объясняя, или спрашивая что-то еще – но Елена, для которой и слух, и все чувства до сих пор переполнены были реальностью только что свершившейся Встречи, не только не ответила ей ни слова, но и почти неприлично, по человеческим меркам, чуть отодвинувшись, прошла мимо, неся себя осторожно, чтоб не расплескать, как какой-то до краев наполненный свечением хрустальный сосуд, – дошла до имбирной бороды священника и истошно взмолилась:

– Креститься! Пожалуйста! Сейчас! Как можно скорее!

– Ну, прямо сейчас не получится... – улыбнулся священник.

– Как можно скорее! Пожалуйста! Я знаю, что я не достойна этого... И никогда наверняка не буду достойна этого чуда... Но пожалуйста! Как можно скорее!

– Что ж... Ощущение собственного недостойнства – это первый показатель готовности к крещению... – тихо произнес священник – и чуть подбадривающе обнял ее обеими руками за плечи. – До Святков дотерпите?

– А когда это?! – с ужасом переспросила Елена.

Елена боялась выйти из церкви – боялась, что вплеснувшийся в нее свет исчезнет, боялась даже резко шевелиться: досидела, на своем месте, на той самой банкетке, и до самого конца службы, и до самого последнего исповедующегося у священника человека – так что Татьяна, извинившись, уехала раньше нее, а Елену пришел вежливо выпроваживать церковный какой-то старожил, говоривший, что им в церкви пора мыть полы. В темень улицы выходила как в какой-то чуждый омут – и всё каждый шаг производила замеры: здесь ли чудо? Внутри ли? Не исчезло ли? И втайне была даже рада, что Татьяна не смогла ее дождаться: представить себе разговоры на посторонние, или

косвенно касающиеся главного, темы было нестерпимо – а облечь в слова главное, необлекаемое – непредставимо еще больше. Как это расскажешь? Какие образы в земном, известном мире найти, чтобы выразить то невыразимое, что случилось – что увидела ее душа, что увидели ее земные, казалось бы, глаза – так четко – или даже еще четче, чем всё, что убого называют «объективной реальностью»? Как расскажешь, что всё то, что клоунски кличут реальностью – яркое, пестрое, материальное – вдруг отступило, померкло – оказалось затемнено на миг явившейся реальностью подлинной, обычно скрытой, невидимой, проявляющейся в ежедневной жизни лишь намеками? А сейчас удивительная эта личная Встреча была до такой степени зрима, осязаема, ощутима всем ее существом – что сомневаться в эту секунду, скорее, ей приходилось в реальности всей предыдущей ее жизни. Встреча эта была важнее и больше любых слов, любых объяснений – важнее любых событий, которые до этого когда-либо с ней происходили – важнее всей ее жизни, важнее всего мира, важнее всего, что она знала или читала до сих пор. Ничего кроме этой Встречи было в мире не надо. Она в этот миг не просто верила в существование Христа – она знала это, она это видела, она с Христом лично встретилась, и это была Встреча лицом к лицу, душа к душе. Уж скорее усомнилась бы она сейчас в существовании всего мира, чем в существовании Христа.

Непредставимо было, как она войдет домой вот с этой новостью – в их с Анастасией Савельевной двухкомнатную квартирку, захламленную прежней жизнью. Как об этом чуде, об этой Встрече, сказать Анастасии Савельевне? Не сказать – больно – и сказать невозможно, невообразимо. Как? Какими словами?

Елена сознательно проехала на троллейбусе несколько лишних остановок, растягивая путешествие, так что возвращаться пришлось круголями.

Анастасия Савельевна смотрела юмористический какой-то вечер по телевидению – и только с некоторым подозрением взглянула на Елену, когда та, как будто заново, в первый раз в жизни пробуя речевой аппарат, рискнула:

– Мама, есть Бог, я это точно знаю теперь. Я видела...

– Где ты была-то? – добродушно-уютно переспросила Анастасия Савельевна, подперев бок кулачком.

– В церкви.

– Ты который час-то в курсе? – усмехнулась Анастасия Савельевна и ушла досматривать программу, оставив Елену в темной прихожей.

Первое, что потрясло Елену, когда она переступила порог своей – а вроде бы и не своей, чьей-то чужой комнаты (принадлежащей, похоже, какой-то девушке, которую она прежде, когда-то давным-давно, в прошлом, знала), были фотографии «Битлз», купленные с рук на Арбате года три назад, и в изобилии, закройщицкими булавками пришпиленные над простецким светлым липовым столом (Анастасии-Савельевниным бывшим студентом Платоном выструганным и сколоченным) – фотографии, к которым она, видимо, настолько привыкла, пригляделась, с давнишнего запоздало-битломанского детства, что уже не замечала. И наиболее удивительным оказалось то, что, изумившись, заметив вдруг этих фотографий существование – Елена даже не захотела трудиться их снимать: настолько незначительными и – в действительности-то несуществующими – все фантики из прежней жизни теперь казались.

В ближайшие же дни с миром происходило в точности то же самое, что когда-то, когда Ляля Беленькая взялась учить ее азам английского по композициям «Битлз», внезапно произошло с текстами их песен: как только Елена их поняла, они моментально потеряли все прежнее очарование и манкость – а вместо загадочных мелодий (под которые мечтать раньше можно было о чем угодно, заведомо преувеличивая возможный вложенный смысл английских слов) остались только три-четыре примитивных, повторяющихся, до оскорбительности материалистичных темы, в различнейших вариациях и перетасовках.

Мир лиял на глазах еще пуще песен.

Самой, пожалуй, гадкой, гаже сложно выдумать, темой внешнего мира были сорокапятiletние перестарки в метро рядом со своими женами, паскудно клеющиеся к ней грязными взглядами, – когда Елена возвращалась домой из церкви с поздних исповедей у батюшки Антония.

– Что ж – где восхождение, где вера – там и испытания, там и скорби! – успокаивал ее батюшка Антоний.

Был Антоний большеголов, глазасть да по внешним повадкам – как будто бы играл в светскость: то и дело сыпал стишками да прибаутками – а часто и вообще начинал вдруг разговаривать рифмовками собственного изобретения, которые изрекал жеманно, с шутливым придыханием.

Все это светское, впрочем, примерял всегда с какой-то легкой насмешливостью над самим собой.

– Йоги, осьминоги! Да что это вы, в самом деле, матушка, к бесам-то подались?! – отчитывал он вдруг громко, во всеуслышание, какую-то женщину в платочке (пришедшую, видимо, как становилось понятно, советоваться с ним о занятиях восточными нехристианскими практиками). – Грех-то какой! Бегите от этих многоножек и многоручек! Ноги в руки – и бегите! Крестом перекрестите – они и сами сгинут!

На вопросы встревоженных, введенных в смятение модными перестроечными телепрограммами прихожанок, «Как же быть с инопланетянами?», батюшка Антоний, чуть приглушив улыбку и выгнув высокой радугой брови над бледными веками, невозмутимо говорил:

– А пёндаля им!

А модные НЛО, «Неопознанные Летающие Объекты», называл не иначе как «Неопознанными Летающими Обьедками».

По церкви дико худенький Антоний не ходил – бегал, летал – смешно, как какая-то барышня на балу, подбирая подол рясы. И то и дело старался рассмешить чересчур окаменевших прихожан с прихожанками то прибауточками, а то намеренно утрированной этой своей манерностью, дивно смешно потрясая головой и бородой в такт вздохов и шуток.

Веровал, впрочем, Антоний крепко и истошно. И на исповедях, без тени уже жеманства, при дрожащем пламени свечи, в полутемном правом приделе церкви (в названии «придел» Елене всегда чудилось что-то запредельное), раздавал древние и действенные монашеские аркебузы и арбалеты против бесов. Антидоты и орудия, поражающие своей прямоотой, старомодностью и кажущейся простотой, зато бьющие врага наповал.

Говорил проповеди он обычно, низко опустив глаза, так что веки становились как две огромные круглые бледные луны, и весь как бы

уйдя в себя, прислушиваясь – и вынося на словесной волне самые прочувствованные из рождающихся фраз. И темой спонтанной проповеди могла, например, стать только что перенесенная им тяжелейшая простуда – из размышлений во время которой Антоний ненароком выводил целый философский феномен – с нежнейшим сочувствием и ободрением в адрес всех страждущих прихожан.

И кто, как не Антоний, мог за секунду развеять на исповеди страх от приснившегося накануне жуткого сна – осведомившись о логике «вражьих наветов» – и сломав всю их работу на корню.

– Спасайтесь! Спасайтесь! – чуть подергивая бородой, шатко летел Антоний, вальсируя, после службы по центральному проходу церкви, полной народом, словно по кораблю среди штормящего моря, – раздавая направо и налево благословения. – Спасайтесь! – и обязательно подбегал хоть на секунду сам, если видел, что Елена стоит в сторонке, не желая задерживать его.

По субботам, вечером, накануне литургии, очередь на исповедь к Антонию стояла такая, что уезжал он из церкви иногда за полночь – предварительно производя какие-то махинации – умудряясь пропускать вперед тех, кому сложнее или дальше было добираться до дому. Чтобы развеселить и ободрить ждущих, иногда по несколько часов, прихожан (прохладные приступочки под иконами, лавочки по полукруглым стенам, или стоймя, разминая ноги, замороженно ходя по мерклому храму со всегда светящимися внутренне иконами), Антоний устраивал и какой-то волшебный конвейер из маленьких подарков и конфет, которые ему по-матерински приносили горстями некоторые пожилые прихожанки: карманы у Антония были уже конфетами переполнены – и он, с благословениями, начинал передавать их молящимся – и тут же обязательно подоспевала какая-нибудь очередная старушка с карамельными подарками – Антоний моментально раздаривал и это – так что очередь к нему превращалась в какую-то безостановочную кругообращающуюся, никогда не иссякающую, кондитерскую фабрику.

И не просто заботился о каждом – нянчился.

В церковь Елена бежала каждый день, с регулярностью, которой школа могла уже лишь иззавидоваться – на вечерние богослужения.

А в воскресенье, за службой, как только диакон важно возглашал: «Елицы оглашеннии, изыдите! Елицы оглашеннии, изыдите! Да никто от оглашенных...», Елена кротко удалялась со своего места на банкетке перед главным алтарем – и хоронилась на всю оставшуюся часть литургии в самый секретный закуток дальнего левого придела, где стояла интереснейшая старинная металлическая бадья со святой водой – с очень низеньким крантиком. Ярко, в картинках, вспоминая при этом рассказ Татьяны про катехуменов – как в древних церквях при этом возгласе все, готовящиеся к крещению должны были выбегать прочь из церкви («Ну, сейчас-то, вы же понимаете, Лена, в церкви нет таких строгих порядков...») – Елена ощущала какую-то несказанную милость в том, что ей, по большому благу тяжкого века, перепало счастье присутствовать в этот момент в церкви, несмотря на некрещённость. Из всей церкви, кажется, была Елена только одной заполошно-оглашенной – кто пускался в подобные древние самоограничения.

В школе, тем временем, неожиданно обнаружился некто, кто был в гораздо более привилегированном, с катехуменской точки зрения, положении, чем она: Илья Влахернский, из параллельного класса (увязавшийся с Татьяной, сразу же как слышал про церковь), оказался тайно крещен бабкой в детстве. В первый раз, сообщение Татьяны – о том, что в воскресенье на службу с ними вместе придет еще и Влахернский, – Елена восприняла с некоторым холодком, если не с ужасом. Влахернский, каким она запомнила его из ранних классов, был бессмыслен, лохмат, огромен, грязен, буен, и безудержно агрессивен ко всем девочкам, которые попадались ему на пути. Учился он, до бегства Эммы Эрдман в другую школу, с Эммой в одном классе – и как-то раз, лет в десять, даже Елене довелось стать нечаянной жертвой бездумных его атак: зайдя к Эмме в класс поболтать на перемене, Елена оказалась запертой – со звонком на урок, медведеобразный, громадный Влахернский, с глупой мордой, разлаписто преградил ей дверь – и как ни пыталась она его смахнуть с пути, получалась только каша-мала, под дурацкий гогот тридцати чужих идиотов (недобрую половину Эмминого класса составляли дети военных и гэбэшников). Как только же, с некоторым опозданием,

вошла учительница – Влахернский подлейше улизнул на свое место – так что получилось, будто Елена просто по своей воле ошивалась в чужом классе, на чужом уроке, фланируя перед доской. Дальнейшая судьба, взросление и становление безмозглого отморозка, каковым, без сомнения, казался Влахернский, ее, разумеется, как-то ничуть не интересовали. Годы спустя, в злосчастном трудовом лагере в Новом Иерусалиме, во время массового уничтожения юных ростков свеклы таянками дармовых принудительных трудотрядов, было второе видение Влахернского в объективе ее случайного взгляда: ночь, дико длинный, промозглый, продуваемый фанерный барак, коридор которого вусмерть заляпан глиной с резиновых сапог, две двери – в противоположных, нереально удаленных друг от друга концах коридора, в одну из которых смотрит луна – и лунный луч нанизывает барак как шампур – а в луче ходит Влахернский, заложив себе под футболку футбольный мяч, и, беспокойно поигрывая на беременском животе сцепленными пальцами обеих рук, причитает: «Ой, мамочки, что ж теперь будет-то, а? Ой, мамочки...»

Но как-то, этой уже весной, Елена случайно увидела, как в холодном вестибюле школы, между раздевалками, Влахернский возвращает Свете Спицыной крысьего цвета том Гегеля – и удивилась, мельком, что Влахернский умеет читать. Впрочем, Гегель, с его одержимым обожествлением вполне сатанинской внешней истории человечества, в представлении Елены, никоим образом не противоречил ни агрессивному буйству Влахернского, ни его внезапной лагерной беременности, а, наоборот, был в общем-то в полном органическом соответствии со всем этим – и даже логически все это продолжал.

Так что теперь, когда Татьяна предупредила о появлении такого спутника в церкви, Елена уж не знала чего и ждать.

– Ты не помнишь, кстати, Илья, кто из философов сказал, что змей в Эдемском саду по сути просто прочитал Адаму и Еве краткий курс философии Гегеля? – не удержалась и съязвила Елена, когда косолапый, громадный, упитанный, широкоплечий Влахернский подошел к ней в воскресенье в церкви здороваться.

Влахернский, однако, в ответ задирился не стал – а угрюмо встал в очередь к отцу Антонию на исповедь (к некоторой зависти Елены – для которой исповеди были только исповедальными беседами, без

канонического разрешения, из-за некрещенности), у правого дальнего алтаря.

Выглядел Влахернский не просто притихшим – а каким-то внутренне глубоко сокрушенным. В разговорах, урывками, после службы, полупаузами прозвучало, что пережил он настоящее обращение, и, как Елена поняла опять же по полужвукам-полутонам – обращение это не было светлым, как у нее, а связано было, скорее, с каким-то трагическим событием и с его неотступным ощущением собственной вины – о деталях допытываться было, разумеется, невозможно.

Видя старушек, прикладывающихся ко всем подряд иконам, Влахернский еле слышно бунчал себе под нос:

– Я этого не признаю...

И никогда не крестился частя, гаком, хором, со всем храмом вместе – во все традиционные для богослужения моменты. А после долгих исповедей у батюшки Антония накладывал троеперстием крест на себя, как что-то действительно ощутимо тяжелое, как что-то, что он в физическом смысле взваливает на плечи.

Елене же все эти его придирки к традициям по мелочам казались такой ерундой: какая разница, если жива вера в сердце! «И иконы, и свечи, и поклоны, и накладывание креста – это ведь в сущности как внешние ступеньки лестницы, ведущие вверх – думала она, с умилением рассматривая сосредоточенные, счастливые, светящиеся, зажигающиеся лица молящихся, – ...и молитвенные ступеньки эти оправданы в той мере – и именно и только до тех пор – пока и если они помогают! И если кому-то эти внешние поддерживающие ступеньки нужны в большей степени – а кому-то в меньшей степени – стоит ли вообще об этом даже вслух и говорить! Церковь – это ведь в какой-то степени вообще – живая метафора! Живая, удивительная, жаркая метафора реального Царствия Божия!»

И горячо любила как-то сразу, всем сердцем, всю непосредственную, выразительную мимику веры в православном богослужении – одновременно вполне допуская, что у кого-то мимика веры иная – и вера Христова от этого иной, или менее верной не становится.

Но одновременно – так счастливо-важно, на вечернях, было вовремя кивнуть – в знак принятия Духа Святого – перед тем как в

тебя плеснут личную толику сладкого ладанного дыма.

Татьяна, так ненавязчиво, в пол-уха, в полслова (стоя всегда где-то рядом – но где-то и на уважительном отдалении), оплавающим гласные голосом раскрывавшая ей смысл церковных богослужебных символов, казалась какой-то синхронной переводчицей – и действительно: язык! Язык, которым выражают главное! Вот что такое богослужение! – блаженно вдруг поняла Елена. И раздача матовых дымных запахов тоже казалась как бы земным сурдопереводом благословения небесной веры.

Анастасия Савельевна (настороженно – даже почти враждебно – по совершенно непонятной причине относившаяся к походам Елены в церковь) оказалась первой, кто сообщил Елене о смерти Сахарова – и опять горько плакали на кухне вместе, как в момент убийств мирных демонстрантов в Тбилиси.

А на следующий день Ленор Виссарионовна бесновалась на геометрии из-за того, что Ольга Лаугард, в честь треснувших во всю мочь холодов, заявила в школу не в убогой форме, а в хорошеньких клетчатых брючках и слишком шедшей ей коротенькой приталенной зеленой вязаной кофточке с отворотом под горло.

– Лаугард! Ты что это тут вырядилась?! А?! А ну-ка встань! Ты куда пришла – в школу или на дискотеку?!

В вовсе недавнем прошлом – любимица математички, активистка и отличница Ольга Лаугард, собиравшаяся поступать на космонавтику, в последнее время как-то резко вышла у болезненно зацикленной на собственной крикливой одежде и внешности Ленор Виссарионовны из доверия – в связи с тем, что сделала себе шикарную химическую завивку, ходила с распущенными волосами и выглядела вызывающе хорошенькой – что Ленор Виссарионовну явно нервировало.

– А вы-то сами, Ленор Виссарионовна – вон, тоже в брюках! – изумилась Лаугард. – Я что, не человек? Мне холодно, что – я мерзнуть должна в форменной юбке, в минус восемнадцать?

– Что?! Дерзить учителю?! А ну встала! Пошла вон! Два в журнале! – фирменным своим скрипящим голоском заорала Ленор.

– Никуда я не пойду! – возмутилась Лаугард, никогда прежде в пререкания с Ленор не вступавшая – более того: называвшая ее всегда лучшим учителем в школе. – Я сюда учиться пришла, между прочим!

Школа это не ваша личная собственность! – и демонстративно разложила перед собой тетрадку.

– Ла-у-гард! – по слогам, с откровенно плотским каким-то наслаждением выкрикнула Ленор Виссарионовна. – А ну встать! Вон отсюда! Два в журнале! Я не буду продолжать урок, пока ты не выйдешь из класса! Мне что, директора позвать, чтобы тебя вывели?!

Униженная Лаугард, красная, с блестящими глазами, схватив в охапку вещи, вынеслась – промелькнув, еще раз, на прощанье, перед глазами всего класса, своими симпатичненькими шерстяными клетчатými брючками – чем вызвала у Ленор еще один спазм припадочного скрипучего крика.

Елена, выйдя демонстративно из класса вслед за этим левреточным лаем Ленор, твердо решила, что даже если прочерков будет – перебор, – то это все равно были ее последние гастроли на паскудном шоу математички.

А в субботу вечером бежала на исповедь под епитрахиль имбирной бороды батюшки Антония – каяться в праведном гневе; борода была из рода тех исконно русских редковатых бород, что всё никак не растут, но любовно, по волоску отращиваются, а потом вдруг пускают щедрые побеги в длину, но не в гущь – и на бороде, в самых ее истоках, искрились (батюшка Антоний только что вошел с улицы) бисеринки раздышанной изморози.

– Пра-а-асти, Господи! – манерно, чуть затаив в серьезнейшем на вид лице улыбку, сокрушенно и выразительно витийствовал (по какой-то восходящей амплитуде) своей большой бородатой головой батюшка Антоний, внимательно, прикрыв очень бледные веки, выслушав раскаяние Елены. – Пра-а-асти, Господи! – жеманно, уже с откровенно жужжащим юморком в голосе закатывал, со вздохом, Антоний глаза вверх, к темным сводам церкви. – Дай нам Бог не гневаться на старых стерв, а простить их, грешных, от всего сердца!

В воскресенье, после литургии, Елена, встретившись у центрального телеграфа с Дьюрькой, поехала прощаться с Сахаровым (так странно это противоестественное сочетание слов звучало для Елены – прощаться ведь можно только с душой, с живым – чего прощаться с телом? А все равно не поехать было невозможно). И какой-то душераздирающий кругленький студент-китаец в вагоне метро, мигрируя, качаясь на кривых полусогнутых, вдоль (а до

держалки ручка не доставала), все подходил к каждому пассажиру и, заглядывая по-собачьи в глаза, спрашивал:

– Фулюнзинская? Фулюнзинская?

– Ух ты! Больше народу чем на Сталинских похоронах, наверное! – громыхнул Дьюрька, увидев гигантскую очередь. Дьюрькина ушанка, которою он, завязав под подбородком, умудрился закрыть пол-лица, впервые вызвала у Елены жгучую зависть – от мороза, казалось, лопнут щеки.

Стояли насмерть: мороз, словно испытывающий народ на крепость, на вшивость, ударил под двадцать пять – но сотни тысяч человек, забив несколько километров (от Парка Культуры – и до самой Фрунзенской, до жуткого, уродливейшего, бетоннейшего, приплюснутого, вопиюще-советского здания Дворца Молодежи – будто специально созданного для похоронных церемоний) – отступить не собирались. Станным, совсем новым, чуть-чуть каким-то даже противоестественным казалось это чувство: вот, вокруг – люди совсем разные, по внешним признакам, по социальному статусу – вон – люди откровенно рабочего вида, вон те две – явно училки какие-то субтильно-чувствительные, вон группка друзей – «типичные ученые», как заметил обожающий всё и всех обобщать Дьюрька, – словом, пришли все, кого, вне зависимости от профессии, можно назвать интеллигенцией – рабочей, творческой, технической – интеллигенцией в настоящем, высоком смысле слова: те, кто живет не материальными, а духовными интересами – не спящие, не равнодушные. И было сразу как-то понятно: эти чувствительные, сочувственные люди, стоящие с покаянными (не за себя – а за бездушных уродов) плакатами: «Андрей Дмитриевич, простите нас» – это и есть настоящая страна, настоящий народ, нерв и жизнь, – а те свиноматки и дуболомы, которые всего несколько месяцев назад, под высокомерные смешки Горбачева, зашикивали, затопывали и захлопывали Сахаровские выступления на съезде – на самом деле – просто агрессивная плоть, жестоко противостоящая духу.

Какие-то две молодые женщины в очках, впереди них, чуть поодаль в очереди, рыдали. Молодой парень с грубым лицом-обвалом, стоявший прямо перед ними, рассказывал, что прилетел из Воркуты, и что как-то раз был у Сахарова дома, и что тот часами выслушивал их шахтерские проблемы. Грозно и одновременно растерянно, шахтер

говорил, что не верит в естественную смерть академика – что Сахаров сам ему рассказывал, как гэбэшники уже четыре года назад, в Горьком, в больнице, спровоцировали у него insult, насильственно впрыснув ему инъекцию психотропного вещества, когда он держал голодовку – и – кто знает, не сделали ли чего-либо подобного сейчас. Кто-то молодого человека затыкал. Кто-то ахал – и с ним соглашался. Кто-то просто молча вздыхал. Кто-то – теперь уже и позади них – всхлипывал. Часа через четыре пытки на морозе, впрочем, притихли все. А когда уже стемнело – а очередь все продвигалась еле-еле – и внезапно пошла по цепочке информация, что доступ к Сахарову перекрывают – народ вдруг зашумел так, что понятно стало, что сейчас все сто тысяч человек сначала пойдут штурмом на Дворец Молодежи, а потом на Кремль.

Вскоре параллельно очереди испуганно забежали милиционеры и закаркали в мегафоны:

– Дворец Молодежи закрыт не будет! Решение принято на высоком уровне. Доступ к гробу вам гарантирован! Доступ к гробу вам будет хоть всю ночь, без ограничений! Все успеете к гробу!

У входа в бетонное уродище – когда даже не верилось уже, что достояли – непереносимо тоскливо пахло раскиданными зачем-то по снегу, срубленными ветками ели. Внутри траурного зала, чудовищно по-советски убранного, с черными лентами на растяжках под куполом и на мраморных колоннах, и с бордовыми полотнищами, Дьюрька вдруг ожил из свежзамороженного анабиоза, затыкал пальцами:

– Смотри! Венки от ветеранов Афганистана! С ума сойти! Вон, видишь?

Смотря на заострившиеся черты лица мертвого Сахарова – Елена со столь же острым чувством вдруг еще раз поняла: тело пусто, не здесь, не в этом куске мертвой материи, тот, с кем пришли попрощаться.

– Овощи, – мрачно вдруг заметил Дьюрька – едва отойдя от гроба.

– Ты о ком? – испуганно озираясь на интеллигентные скорбные лица вокруг, переспросила Елена.

– Да обо всех в нашей школе! – рявкнул Дьюрька. – Никто ведь не пошел! Никого дальше своего носа ничего не волнует!

Придя после этого на следующий день к Татьяне на урок, Елена как-то вдруг тоже, в который раз, с брезгливостью изумилась зазомбированности большинства одноклассников: всей творческой

свободы, которую им предлагала Татьяна, всего творческого диалога и свободы самовыражения им было не нужно. Оказавшись развращенными, за девять лет бессмысленной казарменной муштры, до состояния полной творческой атрофии и апатии, безмозглую Ленор, унижавшую их рывками да гнусными оскорбительными замечаниями – они уважали и плебейски считали «сильной учительницей» – а Татьяну, тонкую, умную, классически образованную, которая предлагала им думать и развиваться свободно – за человека, похоже, не считали: кто-то сидел у нее на уроке кропал домашнее задание по алгебре, чтоб дома меньше потеть, кто-то играл в крестики-нолики, кто-то в носу ковырял, тупо уставившись в никуда, кто-то горланил, кто-то, сгрудившись втроем, хихикал над скабрзными анекдотами – поскольку двоек Татьяна не ставила, никого не «наказывала», ценила только искренний интерес, и ждала (как и Бог) только свободных шагов навстречу, никому не грозила, не завидовала, не унижала, не орала, не обзывала – и явно считала ниже своего и их человеческого достоинства кого-то «одергивать», «приструнивать».

– Друзья, повесьте на секундочку ваши уши на гвоздь внимания, как говаривал один литературный герой. Кстати, кто вспомнит – какой? – с милой губошлепской улыбкой взывала она лишь иногда.

Несмотря на все усилия Татьяны раскрепостить класс, кроме трех-четырех человек, участвовавших в разговоре с ней, остальные в каком-то крайнем отупении, в состоянии крайней поверхностности и автоматизма бытия, так, кажется, и не замечали и не чувствовали, что оказались вдруг рядом с чем-то необычным – рядом с чем-то, об отсутствии чего они потом всю жизнь в глубине сердца будут жалеть. Или не будут. И так и умрут.

А Хомяков так и вообще начал гугнить после одного из уроков Татьяны (за спиной у нее, разумеется, не в глаза), что Татьяна-мол, «преподают не по программе», и что как же, мол, он, Хомяков, в институт потом будет поступать. Хотя поступать он собирался в какой-то технический институт, для вступительного сочинения в любой из которых с лихвой хватило бы хрестоматии для дебилов, имевшейся у мальчика Васи. Но, конечно, «внепрограммный» репрессированный Бахтин был для усохшихся рабских мозгов оскорбителен. И опять замелькала возле кабинетов, где вела уроки Татьяна, бледная

валькирия из парткома, с усталыми впалыми глазами – и опять что-то вынюхивала, – и хотя Татьяна не казалась Елене эмоционально столь вселенски незащитной и ранимой, как Склеп – но у Елены замерло вновь сердце, и готовилась она уже к худшему, решив, что если выгонят с работы и Татьяну, то школу она бросит немедленно же, наплевав уже просто на любые последствия.

Но время менялось гораздо быстрее, чем успевало тикнуть в мозгу у надзирательниц концентрационного педагогического сараюшки. Берлинская стена, под напором миллионных протестов в Восточной Германии, дала брешь – гэдээровские коммунистические паханы, перепугавшись за свои жизни, вынуждены были открыть свободный выезд для всех своих взбунтовавшихся крепостных немцев: в Западный Берлин. В безвестном городе Тырговиште румынскими повстанцами был арестован пытавшийся сбежать (после устроенной им в столице чудовищной бойни, с веерным огнем по протестующим) коммунистический диктатор Чаушеску и расстрелян вместе с женой за преступления перед народом. Тень нового Нюрнберга – так недавно казавшегося несбыточной мечтой Дьюрьки – теперь и впрямь зависла над преступными коммунистическими режимами. И если до этого все Горбачевские вдохновенные враки (о «необратимых» переменах) для заслуженных монстров советского строя оставались только призывом к конспиративной примерке «человеческих лиц», – то тут их болезненно-материалистическое сознание получило материалистичный же шок. Валькирия, готовившаяся было сожрать Татьяну, куда-то рассосалась, уползла в засаду, обратно в учительское логово, в ожидании лучшего часа.

Милейшая директриса Лаура Владимировна с явным удовольствием высвобождалась с каждым днем все больше из-под контроля партийных вышибал заведения и расхрабрилась до того, что взялась лично вести модный (спущенный по приказу из мифологического Рано), новый предмет: «Этика и психология семейной жизни» – и это теперь считалось главным достижением и символом перестройки в школе.

– Слушайте меня сюда внимательно! – с комической непосредственностью сообщала на уроке классу Лаура Владимировна. – Я вам сейчас все расскажу про семейную жизнь: у меня было четыре мужа, с последним я развелась совсем недавно!

Елена ехала в метро в церковь и, стоя в торце вагона, прислонившись спиной к запаянной двери, думала о странности жизни, о странности людей: «Не может быть, чтоб они это все всерьез! – говорила себе она. – Они все просто притворяются, наверное!» – и, рассматривая пассажиров, пыталась угадать, кто из зомби не безнадёжен. Вон, у раскрывающейся двери, солдатик, мальчишка совсем еще – со страшно сбитыми до крови, бордовыми костяшками рук – и, увы, со знаком зверя – и во лбу, и на пуговицах шинели. Вон девушка с носом-картошкой, с шарфом, сшитым половинками, на голове: сосредоточенно выдавливает угрь на правой ноздре. Вон длинноволосый бомж с орлиным профилем читает... Позвольте, он же читает Евангелие!

Дико было слышать в хороводе взбудораженных правдой людей, непринужденно и увилисто фланирующих на Пушкине между ментами – в сквере в начале Тверского и на пяточке перед «Московскими новостями», – и с удивительной осмысленностью, вдохновением и дружелюбием меняющихся местами и информацией, как живые буквы в наборе гранок, возмещаая собой отсутствие свободы печати, парализованной лукавенькой, со звериным оскалом за улыбкой, Горбачевской «хласностью», – так дико было слышать, что опять, в самом центре Москвы, арестовали и швырнули в капэзэ распространителей самиздата. Глухота гонителей поражала: оглоушенные внешней, привычененькой, своей, рукотворной историей, основанной на насилии, на физической силе, они как будто и впрямь не могли распознать все больше и больше с трепетом чувствующегося в воздухе пульса вторгающейся в человеческую историю настоящей, параллельной, внутренней истории – духовной, основанной на правде: и как будто в самом воздухе зависла скорее даже изумленная, чем гневная фраза: «Что ж вы гоните? Тяжело вам, убогие, идти против рожна!»

Раз, перед вечерней в церкви, доехала Елена даже до митинга в растаявших, сырых, туманных Лужниках – антикоммунистические митинги, куда выходила вся живая, недремлющая Москва, безусловно, чувствовались какой-то неотъемлемой частью той же очистительной правды, которая звучит в церкви – просто иным ее преломлением – внезапным вторжением Божьего Духа в человеческую, жестокую и бессмысленную, зоологическую историю.

После митинга, однако, некстати увязался за ней какой-то юноша-анархист (что такое «анархист», она, к счастью, или к несчастью, представляла себе крайне смутно) – белокурый, худющий, бледный и почему-то со злющими глазами. Доехал с ней до Пушкинской и всё стоял рядом с ней, мялся с ноги на ногу, у «Московских новостей» – ожидая, что они куда-нибудь пойдут вместе. Елена решила испробовать старый метод «открытых дверей».

– Я в церковь сейчас иду, – запросто и откровенно призналась она ему. – Если хочешь – пойдём в церковь со мной.

И только успела произнести – изумилась той невероятной скорости, с которой анархиста, при упоминании церкви, бесследно сдуло куда-то с места.

Батюшка Антоний, чуть склонивший голову, при свете свечи, у аналая, после всенощный исповедующий прихожан, – в профиль, до изумления, до копийного сходства, похож был на героя картины Джорджоне «Три возраста», крайнего справа, олицетворяющего средний возраст – если только Джорджониевому герою отрастить бороду подлиннее. Так странно было, что батюшка Антоний как будто сошел с картины, высмотренной Еленой в Юлином альбоме, летом, на Цветном – цветным счастливым летом с Крутаковым, которое казалось теперь предисловием к теперешнему чуду. И, конечно, тосковала она по Крутакову и по красочным разговорам с ним иногда безумно – и думала, как бы она рассказала ему (не окажется Крутаков бессовестным хамом) о церкви, обо всем том, что с ней произошло – без него. Хотя понимала, что внутри, во внутреннем пространстве рассказывать проще – чем было бы выразить все в действительности. И даже ловила себя иногда на том, что случайно в разговорах с Дьюрькой, или с Аней, произносит Крутаковские выраженьица.

На столбах с обветренными губами висели, разметывались отрывными номерками телефонов по ветру, пораженческие объявления: «Меняю два талона на сахар на талон на водку».

А Анастасию Савельевну, с самого первого похода Елены в церковь, лихорадило от новости, что дочь вздумала поститься – при и так до жути пустых, не на шутку, по-военному, по-блокадному, прилавках магазинов – значит, даже и бульон из костей отменяется! – поститься аж до Рождества, которое Бог весть когда еще будет.

– Мам, ну ты же, когда была маленькой, выжила два года в эвакуации на картофельных очистках! – смеялась Елена. – А у меня даже целиковый картофель будет!

– С ума сошла! – Анастасия Савельевна в истерике хваталась за голову. – Ты что, в монахини решила постричься?!

– Это, кстати, вполне неплохая идея! – весело парировала Елена.

И Анастасия Савельевна как будто ревновала, что ли, дочь к церкви, словно почувствовав вдруг с неожиданной остротой, что дочь и вправду живет уже давно в параллельном для нее мире.

– Зачем я тебе растила только! – выдала как-то раз в сердцах Анастасия Савельевна, когда Елена опять пришла в субботу в полночь, после людной исповеди. – Чтобы ты теперь в церкви вечера пропадала?! – и в этих советских, дурацких репликах звучал какой-то страшный испуг: будто Елену кто-то неуклонно от нее уводит в другую, недоступную для Анастасии Савельевны жизнь. Хотя – казалось бы – чего проще: возьми да и переступи порог другой этой жизни тоже!

Утром Анастасия Савельевна спозаранку, как будто нарочно, включала на полную громкость радио – и пока Анастасия Савельевна возилась на кухне – там орала то «производственная гимнастика», а то «пионерская зорька».

– Мааа... Ну ты специально что ли...? – стонала Елена, выползая на кухню – с одной только целью: прихлопнуть ненавистную радиоточку.

Любые громкие звуки с утра, с недосыпу, всегда коробили – а сейчас это и вдвойне чувствовалось какой-то атакой внешнего бездумного мира.

– А что? – как будто бы искренне не понимала Анастасия Савельевна – но на самом-то деле уж точно было видно, что всё решила делать дочери наперекор – опять, чтоб показать ей контраст какой-то абстрактной, несуществующей, только что Анастасией Савельевной выдуманной «нормальной» жизни – и интересов Елены. – Я в бараке, между прочим, выросла! – вызывающе, с натянутой веселостью и деланным идиотизмом в голосе прибавляла Анастасия Савельевна – словно опять стараясь подражать (как же Елена ненавидела эти моменты!) каким-то среднестатистическим советским матронам. – У нас, между прочим, развлечений других, кроме радио,

никаких не было! Телевизора не было! Ничего не было! А радио включишь утром – и весело становится! Я люблю громкую музыку!

– Мааам! – кричала Елена, стучая кулаком по кнопкам радио. – Ты тридцать лет уже не в бараке! Очнись!

С дряхлой Ривкой в школе тоже было сплошное расстройство: забежав к ней как-то на второй этаж, к классам для малышни, Елена попыталась было рассказать, хоть в двух словах, о важных своих новостях – Ривка слушала молча, чуть-чуть повернув голову к Елене правым ухом, которое у нее слышало лучше, – потом взревел звонок на урок, и когда оторался, отвизжал – и отхлопали двери в кабинеты, – Ривка, уже в полной тишине растерянно сказала:

– Что-то я ничего не слышу, девочка... – Ривка выглядела и впрямь расстроенной, и впрямь ничего не слышащей. – Что-то я ничего не понимаю, что ты говоришь... Ты мне хоть скажи прямо: у тебя все в порядке?

Парадоксальным образом, Ривка, даже смотря каждый вечер телевизор, ну абсолютно не замечала, что в стране что-то изменилось: программу «Время» она на автоматизме включала просто потому, что в прежние годы это считалось «обязательным» – и не посмотреть обязательную идеологическую программу запуганная Ривка боялась – но ровно так же, на автоматизме, весь смысл просматриваемого официоза умело спускала мимо ушей в унитаз. Так что теперь, даже когда нет-нет да и стали проскальзывать даже и в официозе удивительнейшие новости – Ривка так же, автоматически от них защищалась и их не замечала. А уж расслышать что-либо про церковь от Елены оказалось и вовсе выше Ривкиных сил.

Абсолютно разъяренная от этих Ривкиных и Анастасии-Савельевниных проблем со слухом, взбегая по пустой лестнице на четвертый, на урок к Татьяне, Елена уже чуть не орала от отчаяния: «Страна оглушённых! Вернее даже – страна оглоушенных! Не путать с оглашенными! В данном случае – это антонимы!»

И пуще, чем прежде чувствовала, что обывательское «добренькое» никогда не бывает добрым по-настоящему – что «добренькое», обывательское, всегда чревато либо тем, что все незнакомое, чужое будет считать враждебным и ненавидеть, – либо тем, что (не важно уж из-за чего – из-за запуганности, забитости, благоприобретенной вдолбленной защитной глупости) не в состоянии

будет почувствовать ни чужой беды, ни несправедливости, творимой над кем-нибудь в твоей же стране неподалеку – и не в состоянии будет откликнуться адекватно – а просто закроется в своей ежедневной жизни, заткнет уши. Какой уж чужой – своей то, своей собственной боли – как репрессии над семьей – постарается не замечать, забыть об этом, и молчать, молчать, сделать вид, что ничего не было – как молчала всю жизнь Ривка.

Забавным при всем этом, конечно же, было зрелище вновьобращённого медвежатины Влахернского – косматого, громадного – бежавшего к ней теперь всегда, в школьных коридорах, едва заведя, на переменах, с такой мощью и скоростью, что казалось невероятным, что затормозит – и не растопчет всех попадающихся на пути. Два-три разговора по душам обнажили крайнюю ранимость и даже раненность какую-то Влахернского: на метафизические темы говорил он с Еленой захлеб и охотно – а вот как только разговор Елена осторожно пыталась перевести на обстоятельства его жизни – чтоб постараться незаметно выяснить, прочувствовать, чем же можно ему, психологически, помочь, – Влахернский взбрыкивал и заявлял:

– Мне об этом говорить не интересно! Что ты о какой-то ерунде у меня спрашиваешь! Какая разница!

Лицо Влахернского – кругленькое, с ровным длинным носом, с татарскими скулами и щеками, обрамленными немытыми прямыми мочалистыми лохмами, – то и дело принимало капризно-обиженное выражение: круглые маленькие алые губы скорбно-морщинисто поджимались, а круглый его, отдельным холмиком выступающий подбородок капризно скукоживался. И чем было этому насупившемуся, иногда ластящемуся, но иногда вдруг резко замыкающемуся в себе, и стоящему молча рядом, рядышком (только потому, кажется, что наедине с собой ему было тяжело) большому человечку помочь – так и оставалось загадкой. Ходил Влахернский всегда, в любую погоду в одном и том же темно-коричневом свитере с черным узором, надевая на него один и тот же не форменный, а черный какой-то, затертый до блеска пиджак (непонятно было, как Ленор Виссарионовна этот неформат терпит на своих уроках) – и ни то, ни другое, кажется, никогда не стирал и не чистил – поэтому слегка пах сушеным черносливом. Брюки Влахернский все же надевал школьные, синие – и были они не то что ему слегка коротки – а просто

чересчур натягивались как-то на полных его ляжках – потом чуть сужались к коленям, и резко уменьшались к голеним – а дальше мелькали на узеньких щиколотках светлые какие-нибудь – всегда не в тон – зеленые или белые носки – и замученные (с глубоким вырезом и ветхими, наметившимися на обоих больших пальцах ног будущими дырками) полукеды, так что вся грузная стать выглядела так, как если бы Влахернский, глядя сверху, сам, со строгим соблюдением законов опрокинутой перспективы, ее и нарисовал – с визуальным уменьшением и истончением по мере удаления, вниз, прочь от взгляда. При ходьбе Влахернский, явно нарочно, чуть сутулился и как-то внутрь сгибал большие свои плечи – и нарочито очень сильно косолапо ставил большие свои ступни в полукедах – явно чтоб ни в коем случае никто не подумал, что Влахернский хочет кому-нибудь понравиться.

Так же как и Елена, Влахернский, по благословению батюшки Антония, держал Рождественский пост. И из всех друзей только ему да еще Татьяне Евгеньевне Елена рассказала о том, что сразу же, как только начала поститься, поняла вдруг, что никогда больше не сможет есть мяса, никакой убитой плоти: разом вдруг ощутила как-то весь нахлынувший ужас падшего мира – с бойнями, с издевательствами над животными, с серийно уничтожаемыми коровами с красивыми грустными глазами и мокрым носом, с ежедневным Освенцимом, который падшие людоедо-человеки устраивают животным.

– Вы знаете, Лена, я тоже об этом много думаю... – призналась грустно Татьяна. – Мне рассказывали даже, что коровы, которых люди считают глупыми, так вот коровы, по удивительной необъяснимой интуиции, как мне рассказали, отказываются за два дня до бойни от всякой еды...

Анастасию же Савельевну решение Елены стать вегетарианкой бесило почему-то больше всего: дня не проходила, чтобы Анастасия Савельевна с деланно-идиотским видом не переспросила: «А что, вот даже, например, элементарного куриного бульончика ты тоже не хочешь?» – хотя никакой курицей в пустых магазинах и не пахло уже несколько месяцев.

А за два дня до нового года Анастасия Савельевна, все еще лелея мечту, что дочка сломается и откажется и от церковной «блажи» поста, и от вегетарианства, одним махом, – елейным голоском попросила

Елену съездить в восславленный соседской молвой только что открывшийся, безумно дорогой кооператив на улице Свободы, неподалеку от Дьюрькиного дома – купить два батона колбасы – салями и сервелат – для новогодней вечеринки, на которую Анастасия Савельевна назвала, как обычно, штук тридцать своих студенток и студентов (так что ясно было заранее, что каждому достанется не больше чем по кружку колбасы на нос – но хотя бы запахом колбасы Анастасия Савельевна изголодавшихся девчонок и мальчишек хотела, растратившись, побаловать).

Все было в снежных завалах, и даже автобус шел медленно, как будто то и дело оступаясь и подворачивая то одну, то другую ногу. Доехать до улицы Свободы оказалось делом двух, не меньше, часов. Когда Елена вошла в двери хвалёного кооперативного магазина, то поняла, что пытку Анастасия Савельевна выдумала для нее изысканнейшую, издевательскую: в стеклянных пузах прилавков действительно был сногшибательный, в сравнении с блокадно-выметенными полками всех государственных магазинов, выбор: аж три сорта колбасы. Но просто так подойти, купить и удрать отсюда поскорее было невозможно – перед новым годом съехалось сюда, казалось, пол-Москвы: большой довольно магазин было забит абсолютно, очередь змеилась и утрамбовывалась кишками – и самым оскорбительным – при разыгравшемся вегетарианском воображении Елены, запихнуть обратно которое уже было невозможно – был запах. Запах убитой копченой плоти. Которая совсем недавно была жива, которая была живым Божиим чудом, у которой была душа живая, которая была красива, у которой были глаза, чтобы смотреть на Божий свет и на мир – которая ласкалась к человеку – и которая ничем перед человеком не провинилась – чтобы он зверски ее убил – просто ради того чтобы забить пузо. Затыкая нос, Елена, со всей самоотверженностью и жертвенностью любящей дочери, врывается в магазин с улицы – осведомлялась, насколько продвинулась занятая ею очередь – и через сколько еще времени нужно ей войти в этот пыточный ад снова. Выходила на улицу, чуть не падала со скользкого каменного крыльца; утопая в сугробах, гуляла по периметру цоколей и козырьков пятиэтажек, с которых крупно и метко капало, дышала влажным воздухом, зябла, читала благоуханные молитвы, выданные батюшкой Антонием как шпаргалки для прогула мира – и через

полчаса входила в кооперативные падшие дебри вновь. И самым неприятным, пожалуй, оказалась фамилия продавца – на белой бирочке, на прилавке, большими печатными буквами: «кооператор Голгофкин, Иван Иванович».

VI

Ривка, Ривка, дорогая, любимая Ривка... всю забитость и глухоту можно было простить за роскошную крестильную рубашку, которую она Елене, сразу после нового года, на старинном Зингере сострочила. Купили огромный, чистый, очень широкий, белоснежный хлопчатый отрез, длиной больше трех метров, сложили, поперек, пополам, прорезали в центре сгиба только воротник – а сгиб моментально стал и плечами, и рукавами, – оставили махрянящиеся на краю отреза манжетки как есть – а под руками, по бокам отреза, застрочили – так что получились красивые размашистые крылья у платья до пола – как у Ангела-хранителя, с лилией в руках, на бумажной иконке, подаренной Елене батюшкой Антонием.

Ночь перед крещением Елена решила провести все-таки у Ривки: Анастасия Савельевна как взбесилась, все время находилась на грани истерики, все кричала что-то про монастырь, про безумие Елены, про морскую капусту, которую она жрет банками, про Матильдины гены, да про нормальную жизнь – и мир в душе под такой аккомпанемент был, конечно, недостижим.

Всю ночь Елена не сомкнула глаз. Фужерчики, рюмочки, кувшинцы в Ривкином прозрачном серванте – храбро вымытые накануне Ривкой – поблескивали в темноте загадочно-празднично – и действительно, что-то бессознательно праздничное было даже и в самой Ривке – какое-то странное, возвышенное, торжественное ожидание, с которым Ривка ее, вечером, до этого, слушала, грузно сидя на кухне, как горбатый седой куст на холме, меж грязным алоэ и душистой мятой, ни слова, разумеется, про крещение не понимая – но почему-то радуясь и умиленно приговаривая:

– Ты совсем у меня взрослая уже, девочка... Совсем взрослая...

Выбежала из дому затемно – все боялась, если хоть на секундочку закроет глаза – что проспит; наскоро, но набожно уложив в пакет

хлопчатое белоснежье и прихваченное из дому огромное махровое полотенце, по мокрому синему снегу переулками проскрипела к метро. В темной еще церкви оказалась первой – один на один с ворчливой, не проснувшейся сухой старушкой в заточении угловой деревянной свечной конторки – разворачивавшей свой товар. Из-за необычности утреннего антуража – гулкий пустой неосвященный храм, ругающаяся на нее, не понятно за что, старая женщина – вдруг на секунду показалось, что все это сон: но твердо выговорив «У меня сегодня крещение, батюшка Антоний обещал...» – вроде бы никакого изумления и препирательства от сновиденческой старухи не почувствовала. Так же, продолжая ругаться и ворчать, та выдала ей, в обмен на смятый фантик денег, крест – на приятной хлопковой витой бечевочке; и Елена, крепко зажав его в правом кулаке, как оружие, прошла вперед, к главному алтарю. Зачарованно простояв у полутемного алтаря с минуту – опять подумала: «Не может быть такого счастья – неужели сегодня, неужели сейчас! А вдруг я перепутала день?» – но тут где-то в отдалении посыпались радостные всквохи – старуха, выбежав из-за свечной стойки, кланялась и прикладывалась к руке ворвавшегося с улицы батюшки Антония – в черном пальто на подряснике – и всё разом в церкви изменилось – запылал свет в дальних приделах, и в сердце, вместо какой-то робкой неуверенности, затрепетал праздник.

– Ах, вы уже здесь! – вальсируя, на ходу отдавая своему юному оболтусу-службе какие-то распоряжения, быстро подбежал к ней Антоний. – Ну пойдёмте, пойдёмте!

Антоний разговаривал с ней на удивление без обычного своего шутливого манерничанья в голосе – а как с величайшей драгоценностью, с каким-то слышимым дрожащим уважением – как будто подчеркивая, что не его силой совершается крещальное чудо, и что он преклоняется перед Божиим Духом, который привел ее в Храм.

Через казавшиеся какими-то дачными, верандными, дверцы с оконцами и деревянными перемычками слева от алтаря, Антоний вывел ее во дворик – и впустил в церковное служебное низенькое здание: «трапезную». Где Елену, как родную, встретила колкими объятиями ярко наряженная, с печеньками и орехами в фольге на нитках-подвесках, небольшая, домашняя, ёлка – только без обязательной в каждом советском доме красной звезды на верхушке –

зато с удивительными, как будто слегка подкопченными, старинными казавшимися, как будто где-то в ящичке пролежали с дореволюционных времен, елочными игрушками – пастушки, овечки, пестрые жар-птицы (все их, по странному, фантастическому ощущению – Елена как будто бы с блаженством, чуть не с легким стоном – «ах, так это был не сон!» – вспоминала, узнавала – хотя никаких воспоминаний о них у нее быть не могло). Было удивительно тепло, почти жарко, и как-то солнечно. Хотя на оставленных, остановленных, укрощенных закрытой дверью, внешних декорациях улицы, как она, вроде бы, помнила, царила талая непогода. Антоний, запалив везде яркий электрический свет, уже проводил ее в следующую, большую комнату. Когда она опустилась на мягкий стульчик со спинкой, где Антоний попросил ее подождать «остальных» – пока Антоний, вместе со служкой, делали какие-то приготовления (устанавливали золотистую купель на середину, раскладывали иконы, покрывали аналой ярко-белой атласной дорожкой, раскрывали какие-то интересные благоуханные крошечные сундучки с акварельными кисточками) – у Елены еще более усилилось странное ощущение – что она все это вспоминает – все эти удивительные церковные вещи, как будто оживающие – как будто проявляющиеся сквозь прекрасный сон в явь.

В комнату вошли еще трое – три молодые женщины. Потом молодой парень. Потом еще один. И еще одна девушка, чуть повзрослее нее. Не в состоянии рассматривать их (будучи просто не в силах оторваться от внутренней солнечности), Елена только удивлялась, что присутствие чужих людей совсем не коробит, да и чужими они не чувствуются. Вон, сели все, улыбнувшись, так же как и она, на жердочки рядом, со своими кульками.

С помощью служки, Антоний облачился в белые богослужебные одежды – блестящие праздником. Дымным маятником закачалось кадило вокруг купели. В воздухе завис аромат чистых свежeverглаженных хлопчатых полотнищ – и почему-то карамели.

Вот, наконец, настоящее оглашение! Защищающая рука священника – слуги Божьего – от имени самого Христа берущего каждого оглашенного под защиту. Божье дуновение и молитвы, изгоняющие злых и нечистых духов, запрещающие им.

– Запрещает тебе, дьяволе, Господь пришедый в мир, и вселивыйся в человецех, да разрушит твое мучительство, и человеки

измет, Иже на древе сопротивныя силы победы, солнцу померкшу, и земли поколебавшейся, и гробом отверзающимся, и телесем святых восстающим: Иже разруши смертию смерть, и упраздни державу имущаго смерти, сиесть тебе, диавола. Запрещаю тебе Богом, показавшим древо живота, и уставившим херувимы, и пламенное оружие обращающееся стрещи то: запрещен буди. Оним убо тебе запрещаю, ходившим яко по суху на плещу морскую, и запретившим бури ветров: Егоже зрение сушит бездны, и прещение растаявает горы: Той бо и ныне запрещает тебе нами. Убойся, изыди, и отступи от создания сего, и да не возвратишия, ниже утаишия в нем, ниже да срящещи его, или действуещи, ни в нощи, ни во дни, или в часе, или в полудни: но отиди во свой тартар, даже до уготованного великаго дне суднаго. Убойся Бога, сидящаго на Херувимех и призирающаго бездны, Егоже трепещут Ангели, Архангели, Престоли, Господства, Начала, Власти, Силы, многоочитии Херувимы, и шестокрилатии Серафимы: Егоже трепещут небо и земля, море, и вся яже в них. Изыди, и отступи от запечатаннаго новоизбраннаго воина Христа Бога нашего. Оним бо тебе запрещаю, ходящим на крилу ветреннюю, творящим ангелы Своя огонь палящ: изыди, и отступи от создания сего со всею силою и ангелы твоими. Яко прославися имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Батюшка Антоний, читая запретительные молитвы, был серьезен и даже грозен – каким Елена его еще никогда не выдела.

И, наконец – когда оглашенные повернулись лицом на запад, священник начал произносить самые главные вопросы – повторяя каждый из них, как будто до последнего оставляя свободу выбора – трижды:

– Отрицаешься ли сатаны, и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его и всея гордыни его?

– Отрицаюсь.

– Отрицаешься ли сатаны, и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его и всея гордыни его?

– Отрицаюсь.

– Отрицаешься ли сатаны, и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его и всея гордыни его?

– Отрицаюсь.

– Отреклася ли еси сатаны?

- Отрекохся.
- Отреклася ли еси сатаны?
- Отрекохся.
- Отреклася ли еси сатаны?
- Отрекохся.

– И дуни, и плюни на него! – с восхитительным гневом в голосе порекомендовал батюшка Антоний – и все семеро оглашенных с удовольствием припечатали лукавого древним плевком через левое плечо.

И вот уже, развернувшись и стоя лицом на восток:

- Сочетаваешься ли Христу?
- Сочетаваюсь!
- Сочетаваешься ли Христу?
- Сочетаваюсь!
- Сочетаваешься ли Христу?
- Сочетаваюсь!
- Сочеталася ли еси Христу?
- Сочетахся.
- Сочеталася ли еси Христу?
- Сочетахся.
- Сочеталася ли еси Христу?
- Сочетахся.

И вот – уже можно было дать самый сладостный ответ на вопрос: «Веруешь ли Христу?»

– Верую Христу яко Царю и Богу! – и в этом ответе звенел явственный, первохристианский вызов всем земным властям и правителям: Христос есть единственный правитель, которого должно и можно признавать.

Удивительным было помазание елеем: Господь, через священника, как будто бы заново творил тело святым – таким, каково оно было в раю до грехопадения первого человека – уничтожая поврежденное грехом тело.

И вот уже три свечи, на восточном берегу купели (которую батюшка Антоний называл «Иорданом»), зажглись, чуть затрецав.

– Крещается раба Божия Елена – во имя Отца – Аминь! – батюшка Антоний, черпнув освященной воды из купели, щедро выплеснул Елене на голову. – И Сына – Аминь! – еще один всплеск – и еще одно

окачивание с головой. – И Святаго Духа – Аминь! – и в третий раз окатил водой.

И вот, во всей крещальной комнате, разлился удивительный, ни с чем не сравнимый, ангельский, небесный запах мира:

– Печать дара Духа Святаго! – возглашал Антоний, помазывая ее миром – крошечной кисточкой – лоб, очи, ноздри, и уста, уши, сердце, руки, ноги – как будто заново вырисовывая ее этой кисточкой в воздухе, словно запечатывая все органы чувств против греха, – и заново отверзая их, словно Христос – глухому, и немому, и слепому – разверзая чувства для святого, небесного видения, слышания и глаголения.

А когда чин крещения закончился, и в ноздрях все еще, запечатывая весь мир, удерживался запах мира, Антоний подошел к Елене и, указывая на махрящиеся манжеты длинных, вольно ниспадающих ниже запястья, почти до кончиков пальцев, широких ее белоснежных хлопковых рукавов (мануфактурный дефект края отреза, намеренно оставленный Ривкой как украшение), и на свободные крылья ее рукавов, с блаженной, святой, улыбкой, громко, так, чтобы все слышали, чуть смутив ее, добавил:

– Какое изящное решение! Ангельское оперение! Вы все сейчас безгрешны как ангелы! Берегите эту святость! Нет ничего более драгоценного!

Когда все они ангельской вереницей пролетели за Антонием, через дворик, и влетели, через ту же верандную деревянную дверцу, в храм, и Антоний повел Елену к алтарным иконам – «воцерковлять», Елена невольно ахнула: первая икона, к которой он ее подвел, была той самой, возле которой она увидела столб света – в тот самый первый свой приход сюда в храм – и оказалась иконой Спасителя.

Мир вокруг как будто крутили замедленным кадром: если до крещения время завивалось в завитки только когда Елена что-то из окружающей жизни переносила взглядом в вечность (всё, что выделял и освящал взгляд) – то теперь вечностью, казалось, стала каждая секунда. Выйдя из храма, она обнаружила, что легко может рассмотреть каждую снежную стружку, из тех, что кружась, медленно, сплошняком, летели, хлопались с неба: громадные, закрученные с боков – единственный продукт плотницкого кооператива наверху. В заснеженном скверике дети, сопя и накренившись, изо всех сил

упираясь в горизонталь соскальзывающими валенками, катили, с бочковЫм, мачтовым, корабельным звуком, гигантский угловатый снежный ком – в два раза больше себя в объеме – как сноп белого сена – оставляя на земле черные проплешины. Снежные жнецы. Каждую снежинку можно без труда поймать ресницами. Взмахнуть хлопковым опереньем, небесными манжетами. Замедление жизни подобно. Замедление и есть жизнь. Если кристаллики секунд затормозить еще хоть немножко, то можно будет разглядеть, как эти кристаллики сделаны в вечности, да и незаметно самой выскользнуть из мира – туда, где эти секунды делают вручную. Если прежде, когда фокусировалась на чем-то, могла рассмотреть (или даже выделать) во внешней реальности крупички вечности, граненные, бесконечно ёмкие (увеличивать и рассматривать которые, внутренним зрением, можно было до бесконечности), то сейчас все эти крупички стали единой Бесконечностью.

И бесконечностью, бесконечным наслаждением было брести по щиколотку в снегу по Брюсову – который Елена, вслед за Татьяной, иногда называла этим старым, дореволюционным названием – хотя и в имени «Нежданова» внятно звучала для Елены теперь нежданная, нечаянная радость.

Неснежное, нежно оранжевое свечение внутреннего пространства (как будто она все время пребывала в Божьей горсти, зачерпнувшей церковного жара и оттенка свечей) оказалось соединенным со столь же внутренними, никак с внешними температурными и световыми реалиями не совпадавшими – но уже не ее личными, а безграничными небесными просторами – в которых, неожиданно, она теперь могла внутренне же беспрепятственно перемещаться – идя в ту же самую секунду, как будто в другой, декоративной, в бесконечность раз менее значимой, внешней реальности, по заснеженной Неждановой – и удивляясь, что иногда все-таки еще касается подошвами мостовой. Вокруг нее, в этом внутреннем пространстве, ощутимо и неотступно присутствовала Божья улыбка – до предела личностная, бережная – говорившая с ней, без слов, как будто на каком-то божественном протоязыке – не звуками, а понятиями, сущностями – и она этот язык (бесконечно более богатый и ёмкий, чем тысячи земных языков), даже не успевая себе удивиться, понимала: восхитительный разговор, полнота диалога – в котором, если какой-то вопрос у нее вдруг

возникал – она просто молча задавала этот вопрос Богу – делала шаг – и ничего в мире не могло быть прекраснее, чем слышимый, принимаемый ею ответ. И потом – музыка тишины, описать которую не нашлось бы никаких слов – просто из-за отсутствия в земном, понятийном запаснике таких понятий – и дух захватывало от этого залога вечности, и от этого вкуса вечного Божественного общения, неопишуемого, ни с чем на земле не сравнимого – которое ждет впереди, которое уготовано – и дверь в которое лишь чуть-чуть сейчас приоткрылась – а уже чувствуешь себя как в раю.

Она боялась резко двинуться – внутренне или внешне – чтоб не спугнуть этот диалог – величайшую драгоценность. Впрочем, на все внешние звуки, которые могли бы помешать, заботливо нахлобучили заглушки снега. И даже внешний переулочек оказывался в миг прирученным до состояния вынужденной – в такт внутренним шагам – летучести, плавности, белоснежности и ангелоподобности.

Секунды можно было растягивать до бесконечности, как под гигантским, бесконечным увеличительным стеклом – и, хотя и раньше внутреннее время с внешним всегда было в неладах, однако теперь понять, на сколько именно растягивалось в переулочке время – окончательно стало невозможным – да понимать и заниматься всем этим скардным земным счетоводством и не хотелось, да и незачем было.

Что-то случилось и со зрением – сразу после крещения. Когда она добралась до дому (почти не замечая людей – все так же передвигаясь в личной какой-то, овално ее со всех сторон защищающей, пригоршне духа) и, услышав какой-то странный зов, открыла, на секундочку (как сама была уверена), Евангелие от Иоанна – то была поражена: каким ярким все вдруг стало в тексте! С глаз как будто пелена какая-то разом упала – она видела, именно видела теперь – причем без всякого труда со своей стороны – все происходящее в тексте! Не просто видела – а – раз! – и оказывалась внутри действия! Какой же зримой, бесконечно яркой оказалась вдруг сцена призыва Филиппа и Нафанаила! И так зримо пышал радостью Филипп: «Слушай! Нафанаил, побегли быстрее! Мы нашли Того, о Котором говорил Моисей и предсказывали пророки!» Сомнение, даже сарказм Нафанаила: может ли, мол, что доброе быть из этого занюханного Назарета? Бурлящий милейшим негодованием Филипп: «Да иди и сам посмотри!» И потом – всем

существом столь узнаваемая (по стольким чудесам в собственной жизни!) одна лишь фраза Спасителя: «Нафанаил, прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя!» – в миг перевернувшая всё для Нафанаила, мгновенно раскрывшая его сердце – потому что была неопровержимым, личным, ярчайшим доказательством того, что Иисус не только видел (физически в тот момент и в том месте явно отсутствуя), как подошел к Нафанаилу Филипп, когда Нафанаил прохлаждался в тенике под смоковницей (доказательство, произнести которое мог только Всевидящий Бог) – но и провидчески, духом, видел пред-избранного Нафанаила еще раньше.

Елена в изумлении зачарованно вращала страницы – и не было ничего слаще этого видимого, живого, всюду вдруг ожившего перед ее глазами, текста – хотя уж что бедней могло быть по изобразительным, чисто внешним, «литературным» средствам: ни тебе эпитетов, ни ярких описаний внешности – а всех, ведь, всех – парадоксальным образом было видно ярче яркого – и сама то и дело оказывалась внутри, в гуще событий! Всё Иоанново Евангелие было взмахом крыльев, из-под которых вырывается свет – дыхание воздуха.

Но и все остальные Евангелия – крылья которых так легко вспархивали с ладони – были исполнены внутреннего свечения. Удивительная, вдруг случившаяся корректировка зрения заставляла выхватывать то и дело фразы Христа – пронзавшие сердце гениальностью: как можно было с более гениальной научной метафоричностью доказать бессмертие души, личностное бессмертие людей – чем напомнив, что Бог назвал Себя «Бог Авраама, Исаака и Иакова»! Бог же не есть Бог мертвых, но живых! У Бога все живы! Гениальнее формулы придумать было невозможно! Всюду, всюду на метафорах Христа светилась, сияла роспись Гения. И вот она, истинная, Божественная мужественность: зная, что очень скоро Его ждет чудовищная мученическая смерть, рассуждать о красоте лилий.

– Это ты, что ж, теперь ходить в этой рубашке собираешься?! – Анастасия Савельевна, Бог весть из какого театра вернувшаяся, стояла в дверях ее комнаты и с бережным ужасом разворачивала и рассматривала крестильную рубашку, которую Елена оставила в пакете при входе. – Она ж до полу!

И Елена, оторвавшись от чтения, только сейчас заметила, что за окном – сверкающая ночь.

– Нет, мам, ходить в ней нельзя, – серьезно уведомила Анастасию Савельевну Елена, с нежностью взглянув еще раз на белоснежные махрящиеся манжеты. – Батюшка Антоний сказал, что в следующий раз ее можно будет надеть, когда только хоронить меня будут. На вход в жизнь – и на выход из жизни.

– Безумная! – разоралась мать, в ужасе, как обжегшись, бросив рубашку и ретируясь в свою комнату. – Кто в шестнадцать лет о смерти думает!

И остро разнесся по всей комнате божественный запах мира от рубахи. Которого Анастасия Савельевна, к удивлению Елены, даже не почувствовала.

В субботу вечером в церкви Елена, не успевая дивиться зрительным и прочим метаморфозам, происходящим с ней, и тому, что Евангельские тексты теперь наполнены внутренней подсветкой, – с еще большим изумлением увидела, что и Илья Влахернский весь сияет – прямо красавец! – весь светится! – сияние исходило даже от его, прежде лохматых, мочальных волос – и даже вся его одежда словно исполнилась новыми красками! В восторге, Елена приписала было все эти чудесные перемены в облике Влахернского фокусу, произошедшему с ее собственным зрением после крещения – однако, присмотревшись повнимательнее, поняла, что это просто Влахернский в кои-то веки волосы вымыл и свитер выстирал.

– А вот если бы мы жили во времена первых христиан – то вам бы, Лена, пришлось ждать крещения и ходить в катехуменах как минимум год, а то и два-три, а то и больше, – плавным голосом рассказывала Татьяна, что когда они, вместе с Влахернским, шли, часов в одиннадцать вечера, к метро, после исповеди.

Мороз грохнул так скоро после оттепели, так молниеносно температура рухнула с плюсовой до минус двадцати пяти, – что на Моссовете, с верхнего портика над третьим этажом, жестикулировали огромные, метровые сосульки – застывшие, в невиданных позах – поправ всякое земное притяжение, не вертикально, не вниз, а прямо на лету, на ветру, в экспрессивном движении – в бок – явным взмахом куда-то на восток.

– Какая вы молодец, Лена, что заметили... – почему-то растрогалась Татьяна. – А мы идем зачем-то под ноги смотрим!

Не заметить было, впрочем, трудно. Как трудно было почему-то, с подступившими слезами, не почувствовать странную внутреннюю связь этих застывших в кричащей немой мимике ледяных скульптур – с исчезнувшим из жизни, но все никак не уходящим из памяти Склепом – первым вестником Великого Царя в ее жизни: как будто это был именно Склепов прощальный взмах, как будто это были Склеповы руки, со всей выразительностью напоследок указывающие на восток – как тычет в небо Иоанн Креститель, на знаменитой картинке. И невозможно было, конечно же, не чувствовать сейчас, до слёз, не проливаемых только из нежелания, чтобы они заледеневали на лету и стукались оземь с хрустальным звоном, – что, ведь, и Татьяна, согласившись отвести ее в церковь, успела, успела-таки свершить свой маленький крестный подвиг в богоборческой стране – крестный по сути, но, к счастью, не по последствиям – и лишь чудом уцелела, не оказалась вышвырнутой с работы, лишенной возможности преподавать. Уцелела исключительно благодаря тому, что Господь успел крутануть стрелки вперед быстрее, чем успел клацнуть челюстью пустивший уже было на нее слюни дьявольский партийный и гэбэшный аппарат. Чтоб хоть кто-то из праведников дожил до рассвета.

– Крещение в первых христианских общинах вообще совершали только на Пасху! – невозмутимо продолжала Татьяна, чуть вытягивая губы – так, словно пыталась жарко надышать узор на невидимое стекло – и мягко жестикулировала, словно бы пальцами выводила буквы: выдувала – и потом дарила эту совершенную, в блестящем инее, незримую воздушную Рождественскую игрушку. – Так что вам, Лена, пришлось бы ждать как минимум до первого воскресенья после первого полнолуния после весеннего равноденствия.

– А как же Савл, апостол Павел, то есть... Крестился, и не ждал ничего! – недоумевал Влахернский. – И не было же никакого приготовления, достаточно было веры в Христа и покаяния! И тот, другой – не помню кто он там был? – в деяниях апостолов! – который, уверовав, закричал: так вот же вода – что мне мешает креститься немедленно! Веруешь – значит можно и должно креститься немедленно, ничего не откладывая!

Татьяна загадочно улыбалась, радуясь живой его реакции:

– Ну да, некоторых так до сих пор и крестят – экстренно, боясь что человек не доживет, если крещение откладывать – крестят немедленно же, «страха смертного ради». И даже по сокращенному чину – только исповедание веры и раскаяние! Знаете, в древних руководствах к крещению, сказано, что если нужно кого-то срочно крестить, а нет под рукой воды – то можно крестить даже и песком или землей – потому что там микроскопические частички воды всегда есть! Более того – если рядом нет священника – то в экстремальных условиях может крестить уверовавшего даже и мирянин, да даже и женщина! Так в советских лагерях многие тайно приняли крещение! После тысяча девятьсот семнадцатого года ведь для христиан опять вернулись времена жесточайших гонений, хуже чем при Диоклетиане: уж не до соблюдения формальных обрядов, если ты в тюрьме или в смертельной опасности. Веруешь в Христа – крестись прямо сейчас – потому что не известно, не убьют ли тебя через час. А в Гулаге, в лагерях на лесозаготовках, под страхом смерти, некоторые, знаете, как причащались? Клюкву и морошку тайком в кружке давили и, помолвившись, соком причащались. Никакого вина ведь не было! Конечно, вы правы, Илья – вера в Христа и раскаяние – это самое главное. Все остальные обряды возникли уже потом, в начале все было предельно просто! Вера в Христа и покаяние, готовность изменить жизнь – это единственное, что имеет значение. А между прочим, друзья мои! Вы знаете, что у первых христиан не было тайной исповеди?! Если кто-то совершал грех – то выходил на середину, перед всеми – и вслух каялся, называл свои грехи!

– Ужас какой, – угрюмо охнул Влахернский, косолапо скользя и опасно перебираясь подальше от козырька здания, чтоб не пришибло сосулькой.

– Зато представьте себя, как этот крошечный стыд помогал потом избавляться навсегда от грехов! – подсмеивалась Татьяна. – А вы знаете, что...

Анастасия Савельевна дома, тем временем, действительно словно белены обожралась: не проходило и четверти часа, чтобы она не пыталась вызвать Елену на скандал – причем, чем более мирно Елена на взбесившиеся выкрики Анастасии Савельевны реагировала, тем с большим ошалением Анастасия Савельевна вновь и вновь пыталась ее спровоцировать:

– Ну что ты всё ходишь тут со своей юродивой богомольной улыбочкой, а? Чему ты радуешься?! – с какой-то прямо-таки изумлявшей Елену злобенью кричала вдруг, ни с того ни с сего, Анастасия Савельевна, выбегая из кухни, слышав, что Елена вошла в дверь.

– Бесы ее крутят, – спокойно и кратко пояснял на исповеди батюшка Антоний, когда Елена ему тихонько жаловалась и спрашивала совета, что делать. – Надо ее в церковь вести. Но не насильно, ни в коем случае. Молитесь, молитесь за нее...

Вообще, стала вдруг Анастасия Савельевна капризной, как дитя – то кричала, скандалила, а то вдруг могла разреветься – то вдруг устраивала какие-то позорнейшие истеричные домашние спектакли. С криками носилась по квартире, вспоминала всю свою «несчастную» жизнь – в которой, по версии спектакля, повинна почему-то оказывалась Елена. И какую-то особенно нелепую и комичную роль в этих Анастасии-Савельевниных истеричных репликах, играл почему-то «веник», к которому, де, Елена «сто лет не притрагивалась» (хотя и сама Анастасия Савельевна, как прекрасно знала Елена, не слишком уже и могла вспомнить, в какой угол она этот веник много месяцев назад зашвырнула, с глаз долой).

Елена же (и это, пожалуй, было одним из самых изумительных, ощутимейших, последствий крещения – ярким действием благодати) вместо того, чтобы, как раньше, разозлиться на материны дурацкие выходки и выкрики – вдруг разом почувствовала, что она теперь в доме старшая, что Анастасия Савельевна и впрямь капризничает как ребенок, которого нужно пожалеть и успокоить – и ничего, кроме жалости, нежности и любви к Анастасии Савельевне в такие моменты в сердце Елены не возникало.

Вместо ответных хлопаний дверьми (которые, несомненно, в соответствии со всеми репризами, последовали бы со стороны Елены раньше), Елена молча, улыбаясь, подходила к матери и обнимала ее.

– Всё по церквям богомольствуешь! Когда ты последний раз пол подметала, я спрашиваю?! – вырывалась из ее объятий Анастасия Савельевна с неприятным, красным, взмокшим от скандально-театрального пота лицом – и притопывала ногой, для храбрости, чтоб себя еще подзавести на крик.

Елена, с радостной искренней улыбкой, бралась разыскивать баснословный веник – а разыскав, счастливо и легко, в танце, выметала пол – обогатив бюджет Анастасии Савельевны на двадцать копеек, выметенных из-под раздолбанного накренившегося ломберного столика в комнате Анастасии Савельевны.

Счастливая улыбка, не сходящая с лица Елены и осязаемая радость – во всем, что Елена делала, все-таки не давали Анастасии Савельевне спокойно жить – и как будто подзуживали на все новые и новые истерики. На которые Елена реагировала только одним способом – молилась, просила Господа прийти и освободить бедную Анастасию Савельевну от этой одержимости, – а потом подходила и, как будто бы по-матерински, крепко обнимала Анастасию Савельевну и ласково гладила ее по голове. Анастасия Савельевна бесилась еще больше, вырывалась, орала, крутилась на месте, притопывала – а Елена лишь искренне приговаривала:

– Бедненькая ты моя... Настенька... Маленькая ты моя... Как я тебя люблю...

Анастасия Савельевна, еще в большей ярости, кричала благим матом – уже явно не понимая сама, о чем, и зачем, и вообще уже кажется не понимая на каком она, бедная, свете – но орать упорно не переставала, придумывая все новые и новые поводы.

– Мам, если ты не успокоишься – я сейчас станцую комаринского! – смеялась Елена – и начинала и впрямь отплясывать.

И тут уж, на третьем витке склочного соло – абсолютно вышедшая из себя Анастасия Савельевна не выдерживала – и, сквозь слезы, начинала, смеяться тоже:

– Да что ты Ленка, с ума что ль, действительно спятила?! Ну заори же на меня! Ну рассердись на меня! Что ты с этой Божьей улыбочкой все ходишь!

Иногда танца не требовалось – хватало только истовой молитвы – и Елена сама поражалась этой странной силе, которая вдруг в миг утихомиривала Анастасию Савельевну – взбесившуюся и впадающую в истерики каждый день раз тридцать без всяких поводов. И эта странная внутренняя свечная оранжевая подсветка, все время в Елене, с крещения, присутствовавшая, в некоторые моменты зримо на Анастасию Савельевну действовала – чаще раздражала, иногда пугала, и всегда интриговала.

И хотя переступить порог церкви Анастасия Савельевна до сих пор панически истошно почему-то боялась (отговариваясь тем, что «с богомольцами юродивыми» ей «нечего вместе делать»), тем не менее, в воскресенье рано-рано утром, когда рассвета за окном еще и не мелькало, зная, что Елена уже не спит, и готовится вот-вот встать и ехать на Нежданову, на причастие, Анастасия Савельевна, притянутая ощущением чуда, заглядывала к Елене в комнату.

– Ну что, молишься, небось, лежишь, юродивая?! – раздраженным голосом, с вызовом, спрашивала Анастасия Савельевна – заходила и в темноте боязливо присаживалась рядышком на стул.

Елена молча, улыбаясь, выжидала – чувствуя, что на самом-то деле Анастасии Савельевне уже просто до безумия любопытно расспросить ее и Боге, и о церкви.

И Анастасия Савельевна заговаривала – но как-то боком, боязливо, на своем бытовом языке, переводя все мысли о вечности на странный язык обрывочных образов и попыток как-то осмыслить все странное и страшное, и прекрасное, что было в ее, Анастасии-Савельевниной, жизни – все, что ее пугало, и радовало, все что она понять и принять не могла – и ответы на что нигде, кроме как за гранью видимой жизни, найти было невозможно.

– А помнишь, как я конфеты от тебя в кухне прятала? – осторожно приговаривала Анастасия Савельевна, облокотившись локтем на спинку стула. – Помнишь, как мы играли, когда ты была маленькая? Помнишь, как я их в пакет с мукой зарыла – и как ты хохотала потом, когда нашла?

– Мугу, – улыбаясь в темноте, приговаривала Елена. – А помнишь, как ты их в холодный чайник один раз засунула, в целлофановом пакете? Ух, я визжала от восторга, когда после часа поисков крышку чайника догадалась снять!

– А помнишь, Вовку... Брата моего? Дядю Володю? Помнишь?

– Нет, мам, не помню! – дурачилась, улыбаясь, Елена.

– Ну как же ты не помнишь? – на полном серьезе расстраивалась Анастасия Савельевна. – Вовку-то моего! Выпивоху?! Тебе же уже лет восемь было, когда он умер... Добрый он был такой... Неужели не помнишь?!

– Мам, ну конечно я прекрасно помню дядю Володю, что за ерундовые вопросы! Помнишь, он однажды у кого-то маленький

автобус выпросил, и к нам в Ужарово приезжал – и меня за руль посадил... Мне года четыре было... До сих пор помню как я счастлива была!

– А знаешь, из-за чего он запил в молодости? – внезапно после паузы выдала Анастасия Савельевна. – Он же в Североморске служил в армии... Его туда забрали – он рослый, красивый, был в молодости – его во флот забрали служить, на пять лет – после войны же дело было... А обнаружилось вдруг, что его очень сильно укачивает на море – и его медкомиссия списала в береговую охрану в Североморске. И вот однажды Вовка увидел, как охранники специально натравили на матроса, который не выдержал пыточных условий службы и сбежал в тундру, собак, немецких овчарок, озверевших – и собаки этого матроса, по их команде, насмерть разорвали. А Вовка видел издали – стоял, рыдал, и сделать ничего не мог. И всю жизнь после этого от раны этой оправиться не мог. Пришел из армии сам не свой. Пил страшно. Забыть всё пытался... Но так и не смог... – Анастасия Савельевна быстро отвернулась и как-то вопросительно-жалобно, сторбившейся спиной, сказала: – Жизнь такая страшная, Ленка... Эти ведь... они же ведь... они же всех уничтожить в любой момент могут! Они же хуже зверей!

– Мам, хочешь, пойдём сегодня со мной на литургию? Поговоришь с батюшкой Антонием... – осторожно спрашивала Елена.

– Ещё чего не хватало! – вскакивала со стула Анастасия Савельевна. – Чего это я там, со старухами-богомолками, забыла? У меня дел полно! Что это я – юродствовать как ты буду?! – и выносилась из комнаты, нарочито гремела посудой на кухне.

VII

Хотя в воскресенье, как бы рано Елене ни приходилось вставать, внутри немедленно восходило собственное, личное солнце – и мгновенно заполняла сердце радость вечно живущего в ней теперь Божьего присутствия – однако, как только выходила на улицу и окуналась в стужу, или в темную ветреную мокрую промозглость, обступало вдруг на несколько минут (ровно на столько, сколько хватало дойти до метро) странное ощущение нереальности: «Куда я

пруть в такую рань? Зачем?!» – и дикостью казалась мысль, что в церкви в этот нереальный час есть какие-то люди; и вообще весь мир – холодный, мокрый, сугробный, неприветливый – казался на секундочку чушь, глупой шуткой, выдумкой, нереальным сном, режущим, колющим, неприятным, неудобным – и жутко соблазнительно было вернуться и закрыться с головой одеялом. Навсегда. Зато, когда поднималась из подземного перехода на Пушкинской, у «Армении» – ног уже не чуяла от счастья, неслась, по Горького, до уродской арки – вдруг знаменовавшей пролом в другое, старинное, измерение, и – вот уже – справа – на веселом домике (некогда стоявшем в первом ряду на главной улице города, пока не оккупировали город сталинские торжественно-крысиные монументальные некрополи душ убитых жильцов) – попирающая генералиссимусовскую крысятину, чудом уцелевшая, по неграмотности ленинских погромщиков, эмблема: «In Deo spes mea» – которую еще весной на митинге как-то раз показал ей Крутаков. А вот уже, справа, и серьезные кариатиды, через дом от церкви, на головах держащие дореволюционный подъезд. А вот и незыблемое, неотменное, практически на ощупь уже на пути в храм ожидаемое – и само собой разумеющееся – как сама собой разумеется при отражении в зеркале крошечная родинка на собственном лице – чудеснейшее овальное окошко на третьем этаже нежно-розового особнячка, прямо над кариатидами – выглядящее, как чуть вытянутый вверх земной шар с двумя меридианами. Елена специально шла не по мостовой, а по узкому тротуару справа – на секунду оттягивая тот миг, когда хурмовая краска церковки, исчезнув было, выскакивала вновь на излете изгиба улочки: и вот – уже сердце разрывалось от нежности – хибарка Господа моего.

В узком, черном еще, перешейке между центральным алтарем и дальними приделами крошечная старенькая матушка Елена в фиолетовой косынке, подтягиваясь на мысках, вычищала сморщенным пальчиком круглый, чересчур высокий для нее медно отблескивавший столик для свечей – молитвенно, словно и забыв о прикладной цели чистки – вода пальцем между зажженными кем-то уже свечами – словно пчелка, собирающая мед; и розоватый отблеск свечей застревал в ее морщинах, так что лицо уж светилось само по себе, как на картинах Караваджо.

У Взыскания погибших уже целиком полыхали взлетные огни – и поражали белизной лилии, неизвестно с каких небес нападавшие в вазу у подножья иконы среди зимы.

Удивительные звуки и отблески Божьего улья.

Полутона переходили в сверкание верхнего света, шепоты – в многоголосую сдержанную радость набившегося вокруг народа.

Когда священник возглашал в алтаре «Благословенно Царство», и диакон, воздевая сверкающий парчовый орарь как ангелово крыло, сочным баритоном воспевал на амвоне ектенью – до мурашек явственно чувствовалось, что высшее предназначение человека – это петь Богу.

Важно было, когда впервые открывались царские врата, оказаться прямо напротив – в узком центральном коридорчике – оттуда лазурный заалтарный образ казался совсем живым.

Сразу после этого Елена как-то неизменно оказывалась оттесненной на собственное, именное уже практически, местечко – второе с краю от коридорчика – на левой банкетке, напротив алтаря, и всегда заново ощупывала витую решеточку снизу, по грани банкетки, за которой жарко пряталась батарейка центрального отопления.

Слева, в толпе, как всегда невдалеке, но как всегда на дистанции, появлялась Татьяна – точнее, появлялась сначала ее милая лучистая губошлепская улыбка, ее мягко уложенные распушённые длинные волосы, разлетающиеся из-под теплого платка – сама же Татьяна, за улыбкой, тут же поворачивалась к алтарю, сосредоточившись на молитве.

Справа, в правом крыле перед алтарем косолапо топтался, сложив ручки замочком, угрюмо-радостный Влахернский – свято соблюдая несуществующую уже – но записавшуюся где-то в церковной памяти традицию: мужчинам молиться справа, женщинам – слева. «Сегрегация почти как в синагоге», – с улыбкой подумала Елена, когда Татьяна им впервые об этом рассказала.

Татьяна, молясь, кажется, сама того не замечая – чуть покачивалась – как будто чуть взлетая, чуть подвзбрасывая себя на мысках сапожек; а когда иерей возглашал: «Мир всем!» – Татьяна чуть заметно складывала ладошки – словно зримо зачерпывая горсточкой благословение. И всегда, чуть поклонившись, неслышно, одними губами, отвечала: «И духови твоему».

По коридорчику в веселой панике протискивалась между толпой чернявая еврейская красавица с тяжелой косой – припозднившаяся певчая, лет девятнадцати, про которую Татьяна шепотом говорила, что учится она в консерватории – и дальше, делая вид, что не видит строгих взглядов регентши – накидывая беленькую косынку – бежала, вся светясь улыбкой, крупно крестясь на ходу, к хору на правый клирос.

Записанные и накрепко запечатанные воском века – казалось бы убитые, уничтоженные, истертые из памяти изувеченной популяции – теперь нежно распаковывались, распечатывались, вслед за расплавляемым парафином свечей – и, читая лично ей адресованное послание, Бог знает сколько здесь хранившееся, Елена обнаруживала, что все эти старинные буквы, обретавшие воплощение в жестах, символах, звуках – живые.

Особым визуальным наслаждением было видеть детей – нарядно одетых – и на удивление не-по-советски счастливых и раскованных, ближе к концу службы выкатывавшихся изо всех уголков церкви и рассаживавшихся на приступках-ступеньках слева перед алтарем, рядом с бордовой ковровой дорожкой – уютно играющие и хохочущие под иконами ангелы, которых никто не одергивал и никто не прогонял.

Немного не хватало тех тайных вечереЙ, на которых первые христиане преломляли хлеб по домам в простоте сердца, радости, и братской любви – вечереЙ, о которых говорилось в деяниях апостолов и в письмах Павла – и которые Елена все время с такой визуальной яркостью держала во внутреннем воображении во время богослужений. И слушая ненавязчивые рассказы Татьяны об общинах первых христиан, Елена, опять же внутренним взором следуя за яркими образами веселой, любящей ранней братвы, преображенной прямой исторической близостью и несомненностью Воскресения Христова, – изумлялась, как же это непосредственный жар веры, и любви, и христианского братского общения превратился в ритуал – хоть и поразительно красивый – красивее, чем что-либо в материальном мире – возносивший в горнюю Державу. И когда после богослужений все, вместо того чтобы продолжить агапу – расходились по домам, зная лишь двоих – троих друзей в храме, – не оставаясь ни на совместную трапезу, ни на дружеские разговоры, как древняя братва

– казалось, что происходит что-то не вполне естественное: как будто обрывают фразу на полуслове.

Впрочем, даже незнакомые люди, с которыми молились рядом – чувствовались как собственная рука, или шея. И однажды, когда в булочной между Пушкинской и Маяковской Елена, позарившись на булку, встретила в толкучке бородатого высокого молодого человека из церкви, всегда стоявшего в правой части храма перед алтарем (у которого еще был брат, очень на него похожий, но не близнец – в церковь ходивший каждое воскресенье тоже – но стоявший всегда почему-то – для равновесия спасательной шхуны, видимо – в совершенно другом от брата конце храма) – и Елена и бородатый соучастник богослужений чуть поклонились друг другу – хотя никогда до этого не перемолвились в храме ни словом – казалось, что вся хмурая, кислая, продрогшая Москва вдруг озарилась неземным, высеченным этим кратким молчаливым приветствием, сиянием.

– Вам необычайно, Лена, повезло с вашей святой... – чуть приглушая улыбку говорила Татьяна, поправляя на плече громадную сумку (Бог ведь чем набитую – тетради? Хоругви?) – покачиваясь в самом центре вагона метро между Еленой и Влахернским и пересиливая, нажимом голоса, тоннельный шум. – ...Царица, обрела крест... Житие, безусловно, славное – но без мученичества... Редкий пример христианской святой в святцах без мученической кончины! Знаете, на именины ведь христианину принято желать подражания своему святому, имя которого носишь. Но учитывая, что моя святая – мученица Татьяна, мне этого желать никто не решается...

В школе, куда Елена заходила теперь с удивительным, от всего освобождающим ощущением «я вообще-то здесь пролётом» – явным продолжением благодати в сердце вдруг сверкнула жалость даже и к безобразной скандалистке Ленор Виссарионовне. Завидев в коридоре на четвертом белокурый шиньон алгебраички, Елена подумала: «Кто знает? Отчего у нее эта злоба, эти ревнивые завистливые припадки крикливости, и распущенность, и придирки ко всем, и желание каждого ученика унижить, и маниакальное желание молодиться и кокетничать в предпенсионном возрасте? Может, ей муж изменяет, или какое горе пережила в жизни... В конечном-то счете, все ее отвратительное поведение объясняется простым словом: она – несчастна. Счастливый, самодостаточный человек себя так вести не

будет. Ее можно только пожалеть из-за этого уродства души...»
Рассудив так, на уроки к истеричной каверзнице Елена, впрочем, все-таки ходить впредь поостереглась: чтобы не искушать Бога и не спугнуть благодать жалости, возникшей к моральной калеке на расстоянии. Жертв ее ора все-таки было жалче гораздо больше, чем ее.

– Поздравляю... – бесстрастным, чуть сонным, но подчеркнуто вежливым и дружелюбным тоном проговорила Анюта, когда Елена на переменке рассказала ей о крещении.

С веселеньким Дьюрькой говорить о чем-то серьезным, как Елена и предполагала, оказалось затеей абсолютно бессмысленной: залился хихиканьем, да покраснел пуще свеклы.

Раз, в воскресенье, во время пышной службы в церкви, Елене, взглянувшей на облачение священников, подумалось вдруг: а нужно ли, не грешно ли все это внешнее великолепие? И в тот же миг как будто ангел какой-то направил ее взгляд на церковный половик: бордовую ковровую дорожку с бордюриками с обеих сторон и витиеватыми цветками – до слез аккуратно от руки залатанную крупными тряпичными заплатками в двух местах. А в другой раз, на утренней службе – когда как будто вся церковь еще не проснулась – стояли все хмурые – и хмуростью этой как будто заражали друг друга и самую службу – Елене, толкаемой со всех сторон и пытающейся проникнуть через забитый коридорчик поближе к алтарю, и от этих недружественных каких-то толчков почувствовавшей было горечь, добрый ангел вдруг присоветовал поднять глаза кверху: и с удивительной персональной доверительностью Спаситель на крошечной иконке на арочной перемычке над коридором сообщил: «Азь есмь с вами!» – и все мелочи разом отступили, и вспыхнуло, запылало в сердце живое счастье – глядь – а и справа и слева зажглись, засветились, от той же вспышки, молитвенные лица – и впереди люди стали приветливо оборачиваться к ней и улыбаться – и священник воспел вдруг вдохновеннейшее: мир всем! И отныне Елена на каждой службе точно знала: Христос выполняет Свое обещание – вот Он, здесь, где-то между нами, где двое или трое собрались во Имя Его. И всегда пыталась увидеть Христа в церкви – и вдруг представляла себя, как изумится сейчас понурая, постная (в не лучшем смысле слова) часть молящихся, если несомненно присутствующий

Христос станет для них вдруг в эту минуту зрим – и заливалась улыбкой от реальности догадок.

В субботу вечером, после поздней исповеди у батюшки Антония, нужно было нести себя до дому аккуратно и бережно, как свечу на ветру, прикрывая ладонями от внешнего мира – чтобы до завтрашнего, воскресного причастия ангельская чистота уцелела, чтобы ничего не произошло в душе скверного. И как нарочно случались, одно за другим, искушения: то мент на Тверской подваливал требовать паспорт – и нагло предлагал пройти в отделение, не веря, что паспорта еще нету – то пьяница на троллейбусной остановке начинал изрыгать весь свой словарный запас родной речи – а то в метро липли взрослые дебилы с гнусными глазами – и не зная куда себя девать, притулившись, стоя, у двери вагона, Елена вся уходила внутрь, внушая миру что ее нет – незаметность и незримость, почти прозрачность. А вон та заклепка слева от шва посреди пола в центре вагона – как след от золотого каблучка – а вот справа – подальше – второй: разбег – и взлет. А то молодой человек, приструнив пристававшего к ней пьяницу, вызывался благородно проводить – начинал с интеллектуальных разговоров а заканчивал все той же примитивной схемой: «А когда же мы встретимся снова?»

Искушений было числом до трех (как замечал затем на исповедях батюшка Антоний) и если отражаемы были внутренней сосредоточенной молитвой – после этого – словно и вправду несли белоснежные ангелы в запряженной карете – и даже Анастасия Савельевна немела и не смела и слова задиристого сказать.

Раз, расплакавшись невольно на вечерней службе от божественной красоты Алемановской «Взбранной Воеводы», спросила потом Татьяну об этом гимне: и была потрясена невыразимой же божественной мудростью истории возникновения древнего текста. Застращенные царьградцы, замучавшиеся ждать морских набегов диких безмозглых и жестоких зверей-росичей – взмолившиеся, при очередной атаке злых нелюдей, всем городом, единогласно, Божьей Матери о защите – и защиту эту, божественный покров, тут же получившие – даже с прикладными военно-морскими последствиями: разметанными, загадочным дуновением, по морю, как скорлупки, жалкими суденышками, и обратившимися в бегство агрессорами – позже этим же росичам, но раскаявшимся и принявшим Божьего духа,

гимн по духовному наследству и передали. Удивительно было видеть, что, по сути, и каждый человек, и народ (народ не в пошло-внешне-историческом, а в Божьем понимании, в Божьих глазах, в Божьей, параллельной, внутренней, духовной истории) идентичен, на самом-то деле, не плоти, не генам, не национальности, не «корням», а исключительно тому духу, которого этот человек или народ по свободному выбору принимает.

Церковно-славянский язык – во время богослужений, и когда читала отжертвованный батюшкой Антонием молитвослов – как-то очень быстро, без напряжения, стал понятен: учить язык приятней всего оказалось как материнский – самым действенным, начисто отвергаемым советской языковедческой школой методом – без зубрежки и грамматики – а со слуха, и любовью ко смыслу, дивясь уюту и такой экспрессивной выразительности заковык знакомых форм: или объядохся, или опихся, или без ума смеяхся, или безгодно спях, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или неподобная глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленная согрешения...

Случались, впрочем, иногда и смешные промахи: так, прочитав в Евангелии вкрапленное в русский текст старое словечко «пажить», Елена была убеждена, что это нечто среднее между «пожитками» и «багажом», «нажитым» – и, когда Господь в Евангелии обещал: «и выйдете, и пажить найдете», она даже живо представляла себе сверкающую на солнце зеленую лужайку и гостеприимный старинный дом на пограничной полосе с Небесным Царством, куда приезжают земные гости и на траве беззаботно оставляют свои пожитки – а потом Господь как бы им говорит при пересечении границы Божьего мира: входите, беззаботно, с чистыми руками, без багажа, без пожитков – а когда вы пересечете границу, всё, что действительно ваше, внутреннее, чистое, духовное, и всё, что может находиться в Божьем свете – с вами будет. Не заботьтесь ни о чем – истинные, духовные пожитки с вами будут – вы их найдете уже по ту сторону, они никуда не пропадут, Я о них позабочусь.

И Татьяна долго блаженно над ней смеялась, когда вскрылся конфуз.

Вообще, обнаружилась странная, удивительнейшая особенность Евангелия: книга эта была живой, разговаривающей с тобой, – и если

было не ясно какое-то место или выражения, если возникал вопрос – надо просто было читать дальше, держа в сердце этот вопрос – и ответ на него тут же находился в тексте. Еще одно открытие, потрясшее Елену во время ночных, с субботы на воскресенье, перед причастием, чтений Евангелия, было то, что читать о событиях Страстной недели, предательстве и казни и Воскресении, нужно, начиная с Евангелия от Иоанна – точного, детального и личностного, как лирический репортаж – и дальше прочитывать соответствующие отрывки в остальных Евангелиях в обратном порядке: Лука, Марк, и только потом Матфей – и тогда отчет о голгофских событиях и предшествующем этому преступлении предателя и фарисеев-заговорщиков был виден – вот он, на ладони, выпукл, фактурно доказан и детально реконструирован – прямо как расследование гением-следователем Соколовым убийства царской семьи.

Вечерами на Неждановой, на яркой всеночной, Елена особенно любила миг, когда вдруг тушили весь свет – знаменуя ночь – и звонко щелкал выключатель маленького софита лампочки слева, у иконы – где худенькая строгая чтица начинала впрок, авансом на завтра – знаменуя рассвет – читать утренние молитвы.

– Приидите, поклонимся, Царёви нашему Богу!

Блаженство. Блаженство. Как еще можно было бы охарактеризовать миг, когда Елена, со слезами, слышала эти слова, вырывшиеся и из ее сердца, и крепко, – осенив себя крестом, – до полу кланялась несомненно Присутствующему – вот здесь же! – посреди нас двоих с чтицей! – как и обещал! – Господу – тут же вспархивавшей молитвенной голубицей ладони.

И вместе с чтицею так прекрасно – так что дух захватывало! – было, стоя возле банкетки, на своем месте, полыхающим залпом произносить сороковик!

Звуки молитв и псалмов чтица выговаривала внятно, но с особым, зримым, музыкальным наклоном – как будто выписывала их от руки, в одну нотную строку, синими чернилами, с сильным наклоном вправо. Девушка-чтица – легкая и бесплотно-сосредоточенная какая-то, в аккуратном платке, углом уложенным сзади на спине кофты, была взрослее Елены, и про нее Татьяна шепотом говорила, что собирается она в монастырь – ждет только чьего-то решения – и что даже

получила уже благословение батюшки Антония – и что поедет не куда-нибудь – а в сказочную Грецию!

– Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! – слитно, в одну строку, с внятным сказочно-греческим, монастырским наклоном, наполненно, молитвенно, не вычитывала, а как будто пела из сердца худенькая девушка, освещаемая крошечным, но ярким вспыхом лампочки, – и выговаривая вместе с ней слова, на самом взлете сороковика, краешком упраздненного, как ступени стартовавшей ракеты, земного сознания Елена вдруг с улыбкой вспоминала суеверные байки Влахернского: что, мол, «старцы», мол, «мирянам», мол, «не велят», мол, вычитывать больше ста молитв «Господи, помилуй!» подряд – потому что потом, мол, безвозвратно уходишь, мол, в небесную «безбашенность», мол.

Монастырь! Жить в монастырской республике, где все одного с тобой духа, где все схожих с тобой интересов, где не надо заботиться об одежде – ни о чем мирском! – где не надо приbedняться, прикидываться земной, притушивать собственных внутренних слов – боясь ослепить ненароком кого-нибудь земного – все это казалось Елене земным раем!

«Я не достойна... Я конечно же не достойна такого счастья... Но может быть через какое-то время...» – думала, выплывая из загадочно молчащего, подтаявшего, чуть туманного переулка на шумную Горького Елена – и боялась с батюшкой Антонием даже о монастыре и заговорить-то – считая это страшной дерзостью, по собственным немощам – как будто из детского сада сразу попроситься в университет.

Удивительно было, насколько материально, не фигурально, в буквальном смысле слова заложило уши, после крещения, против внешних резких звуков: они или не замечались, словно кто-то защищающе прикрывал внутренние уши крыльями – или слышались совсем по-другому, совсем другими ушами, чем в прежней жизни, – раз, Анастасия Савельевна, желая доказать, что она все-таки, как-никак, современная мать, а не какая-нибудь мракобеска, и все еще еженедельно доверчиво радуясь и дивясь, что по советскому телевидению вечером, почти ночью, в перестроечной программе начали гомеопатическими дозами гонять «запрещенную», западную, музыку, – прибежала звать Елену, завидев какой-то моднейший, особо

порадивший Анастасии-Савельевнино воображение клип; Елена, нехотя (но не желая искренне расстаравшуюся Анастасию Савельевну расстраивать – надеясь хоть чуть-чуть наладить с ней дружбу) войдя в Анастасии-Савельевнину комнату, изумилась: комариный писк из телевизора – а дальше скрежет и завывания, грозящие в буквальном, физическом смысле ранить – и разрушить внутренние дворцы и тончайшие настройки.

Как-то раз получила Елена впрочем по телевизору и внезапный привет от Крутакова – вернее, не от него самого, конечно: а была вдруг ни с того ни с сего показана по первому каналу программа о той самой антисоветской эмигрантской организации, с которой Крутаков сотрудничал – и Елена чуть не взвизгнула от восторга, когда увидела на советском экране лицо того самого, загадочного, Крутаковского друга, к дому которого Крутаков ей никогда не разрешал с ним во время прогулок подходить – Анатолия Темплера, отсидевшего пять лет в лагере и тюрьмах за правозащитную деятельность и публикации на Западе, и выпущенного по Горбачевской амнистии совсем недавно, одним из последних из всех политэков. Темплеров, мужчина лет сорока пяти, выглядел ужасающе худым – но с яростными, храбрыми, гневными красивыми глазами – на резком изрядно заросшем лице – заросшем крайне аккуратно, впрочем: коротко подстриженной седоватой бородой, усами – и густыми, буйными, чуть ниспадающими бровями. Хотя само по себе появление Темплера на советском телевидении было фактом, конечно, беспрецедентным, но пропагандистская передача эта построена была подлейшим образом: у Темплера вроде бы брали интервью – однако ровно никаких содержательных высказываний его в эфир не дали – так что получалось, что Темплеров, вроде, открывает рот и что-то говорит – но вместо его голоса идет закадровый текст, объявляющий Темплера чуть ли не главным врагом советского народа, а антисоветскую эмигрантскую организацию, которую он представляет, обвиняющий чуть ли не в фашизме – и, в общем, в резюме программы журналисты в штатском доходчиво объясняли телезрителям, что если б не такие враги режима и выродки, как Темплеров и его друзья за бугром, то всем бы в стране советской уже давно прекрасно жилось.

Анастасия Савельевна сидела рядом и причитала:

– Надо же! Вот так вот живешь – и ничего не знаешь... – сама, кажется, не зная, по какому именно поводу охает – то ли от жалости к антисоветским политзэкам – то ли от страха перед карабасом-барабасом, каким изобразили Темплерова.

А Елена из последних сил держалась, чтобы хвастливо не ляпнуть матери, что лично знает... знала... одного Темплеровского коллегу.

Батюшка Антоний тем временем изо всех-всех-всех сил блюл строгость одежды прихожанок: длинные юбки, закрытые, как у старообрядцев, платки, прячущие все волосы, и никакой косметики. Антониевы страсти по одежде Елену изумляли: зачем вообще так много значения придавать внешнему виду? – умиляли, но не раздражали – и воспринимались, с толикой любящей иронии, в общем-то, как некая игра. Сама Елена, если и грешила всю жизнь чем в одежде, так это наоборот некоторым по отношению к одежде небрежением: в одних и тех же джинсах и в крутой мальчишеской кофте, в которой внутренне чувствовала себя комфортно, могла проходить месяц – с краткими перерывами на перестир. Хиппанские же рваные джинсы искреннейше казались ей вполне приемлемой и неброской монашеской или аскетической тогой конца двадцатого века. И, наоборот, юбка, тем более – длинная – чувствовалась как что-то выпендрёжное, нарочитое, специально крикливо привлекающее внимание: «Ты в юбке сразу слишком взрослой выглядишь!» – охала всегда Анастасия Савельевна. И уж тем более – платок на голове! – и подавно чувствовался чем-то неестественным, крайне нескромным, и как будто оруще требовал внимания прохожих: вот, смотрите-ка, как я вырядилась, не как все! «Наверное батюшка Антоний в синагоге курсы по одежде проходил...» – нежно улыбалась Елена, вспоминая Склепов конфуз с носовым платком.

Если бы Господу было угодно – она бы, не задумываясь, без всякого сожаления, тут же выбросила бы вообще всю свою старую одежду – и начала бы ходить хоть в милотях! Только козлов было бы немножко жалко... Но ничего подобного лично ей Господь никогда не говорил. И вообще, неслучайным было то, что Спаситель никогда ни единого слова вообще про предпочтительный стиль одежды не сказал! И в общем-то, тема эта казалась какой-то явно отвлекающей от главного – но, чуть прикрыв глаза на странное, чуть непомерным казавшееся рвение батюшки Антония в костюмерном направлении,

Елена с радостью надевала в церковь ту же самую джинсовую «школьную» юбку, и повязывала платок – просто чтобы не огорчать батюшку Антония. А косметикой она и так не желала пользоваться – хоть под угрозой автомата: как-то раз, еще года два назад, эксперимента ради, попыталась накраситься Анастасии-Савельевниной тушью (маленькая черненькая узенькая картонная коробочка, в которую дамы, по правилам высокой отечественной косметологии, на ходу густо плевали, перед тем как растереть крошечной пластмассовой расчесочкой), – намазюкала левое веко, тушь с ресниц попала в глаз, и слезы текли потом целый день – так, что Елена даже было-че заподозрила, что близкие слезы Анастасии Савельевны – это не от природы, и не результат благородной чувствительной наследственности по женской линии – а результат использования ядовитой советской косметики.

Гораздо серьезнее был другой повод чуть прикрывать глаза на некоторые причуды батюшки Антония: его странноватое, с восторженным придыханием, отношение ко всяким «ратным подвигам», «военным походам», «завоеваниям» и прочим насильственным действиям государственной военной махины. Сам в армии никогда не служивший, молоденький батюшка Антоний разливался соловьем в иных своих проповедях о «былых» военных подвигах так, что в интонации его звучало чуть ли не сладострастие. И на это уже приходилось закрывать не только глаза, но и уши – внутренне, сердцем, пытаясь оправдать его всеми остальными, достойными чертами его характера. При этом, с вожделием проповедуя «праведные» войны, «сражения против врагов государства русского, за правду», Антоний был до странности индифферентен и холоден по отношению к мирным гражданским выступлениям против откровенно диктаторского государства и богоборческой партии, узурпировавшей в стране власть – эти темы Антоний, по непонятным причинам, вообще как нарочно абсолютно обходил в проповедях и разговорах стороной.

Сидя на скучнейшем уроке географии в школе, незаконно включив внутреннюю динамо-машину, разгоняя молитвенным взглядом облака за окном и, как в перевернутом колодце, вызволяя на секундочку, для взрыва счастья, на донце взболтанной зимней мглы неба, расплавленную гуашевую шашку солнца, Елена думала о том,

что так же, как вот реальна Божья благодать, которую она в себе чувствует – так же, как реально Божье добро и Божье присутствие, – так же, увы, реальна и персональна и крайне, увы, активна в мире противная Богу сила, по отношению к которой никакие ни умиление, ни всепрощенчество, ни компромиссность, ни примиренчество не допустимы. И так же, как чувствовалась, звенела, внутренним радаром угадывалась в некоторых в жизни ею встреченных людях и книгах Божья сила, Божье благословение, Божье прямое действие – так же, с такой же считываемой явностью, после крещения стало видно местами и действие противной Богу силы. Даже некоторые привычные, оскомину набившие с детства фразы – вдруг до ледяного ужаса открывались как откровенно-разоблачительные: самым, пожалуй, ужасным, было вдруг понять значение строчки из гимна компартии – «Интернационала» – «вставай, проклятьем заклейменный...» Кто это, «проклятьем заклейменный» – кто это, как не враг рода человеческого – семь десятков лет вершивший дьявольские свои дела в стране, которую ему удалось целиком захватить?

И неким ледяным адским холодком веяло от названия, придуманного коммунистами для неугасающей газовой горелки возле своего логова – Кремля: «вечный огонь».

И уж совсем жутко было вдруг наткнуться у дружищи Исайи на явное, буквально точное пророчество о незахороненном трупаке дьяволом одержимого упыря Ленина, выставленного на позорище под прозрачным колпаком: «Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: «тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал пустынею, и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой?» Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице; а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы, – ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле; ибо ты разорил землю твою, убил народ твой; вовеки не помянется племя злодеев».

И как бы ни было стилистически странным и шокирующим находиться в галдящей шумной взбудораженной гуще народа, в начале февраля Елена за шкурку заставила себя пойти вместе с Дьюрькой на протестный антикоммунистический митинг под самый бок Кремля, к гостинице «Москва».

– Миллион! Миллион! – подстанывал от восторга Дьюрька. – Миллион – не меньше! Я же говорил тебе! Говорил! – ликовал Дьюрька, привставая на мыски, а, не удовлетворившись шириной обзора – аж подпрыгивая – и гордо, носато (став вдруг неожиданно на секундочку носом похож на Ельцина) оглядывая целиком забитую гигантскую площадь – аж до здания факультета журналистики, как будто бы это лично он наколдовал. – Взгляни-ка! – и Дьюрька уже тащил ее к низенькому техническому парапету, надеясь на него взобраться – ровно напротив той будочки «Мосгорсправки», в которой года полтора назад они с Еленой надыбали телефон Кагановича.

К мокрой площади с давно просроченным именем «50-летия октября» протестующие стекались не только благополучной разрешенной властями разливанной рекой, но и многочисленными строптивыми свободолюбивыми речками – и из-под моста от Парка Культуры по набережным, и с Садового через все щели и ответвления, и переулками, и с Пушки, ото всюду! – и Дьюрьке всюду хотелось поспеть, со всеми пробежаться, со всеми попихаться, со всеми по дороге, на бегу, подискутировать, рассмотреть все водометы, запрятанные в проулках; и мелькал то и дело – уже не в одном – а в трех, пяти, десяти местах – запретный бело-сине-красный флаг; и везде, везде куда ни брось взгляд, были в смеющихся, радостных, возмущенных руках плакаты с перечеркнутой шестеркой – за отмену шестой статьи конституции, декларирующей диктатуру компартии – так что под конец, добравшись через сломленные, и не раз, по пути милицейские кордоны – с выставленными (не ясно: на фига), как нарочно шаткими, железными заборчиками поперек дорожек («Милиция – с народом! Зачем служить уродам?! – восторженно орали, все, вне зависимости от возраста, незнакомые, сцепившиеся цепочкой под руки и на таран идущие вне разрешенной шеренги демонстранты, когда за несколько рядов впереди менты хватили за руки за ноги и волокли в милицейский газик пожилого мужчину с плакатом – без нумерационных обиняков – «Долой КПСС!», или

резвого пацана с только что изничтоженным серыми слугами режима обрывком ватмана: Горбачев, в профиль, на фоне бордового вымпела какого-то с Лениным в звезде, по-ленински машущий рукой – и подпись – «Горбатого могила исправит!»; и протестующие сметали очередную заслонку) – до гостиницы «Москва», Дьюрька уже выл от восторга.

И особенного торжества добавляли Дьюрьке тяжелые военные машины, которыми трусливо перекрыли от народа вход на Красную площадь.

Слушая местами мямлящие обличительные выступления – из-за дурацкой акустики коклюшных электрических «матюгальников» и волнами завывающих динамиков наполовину зажевываемые – Елена, едва уже балансируя на парапете, в водовороте кипящей толпы (жаждущей на парапет взобраться тож), вися на Дьюрькиных восторженно подвизгивающих, круглявых, но все же крепких, широких, надежных плечах, думала о том, что ведь тот же покойный Сахаров, в одиночку противостоявший преступному режиму и боровшийся за права самых бесправных, нищих, обижаемых властью, униженных, «никому не нужных» людей – и жертвовавший своей жизнью и комфортом ради жизней, прав и человеческого достоинства других – тот же Сахаров ведь, хотя никогда и нигде публично не исповедовал себя христианином – на самом-то ведь деле, творил Божье дело: делал правду, и положил жизнь свою за друзей своих. А кто делает правду, тот праведен. И, наоборот, приговором любой диктатуре звонко звучала сейчас в памяти, перекрывая кошмарный митинговый шум, лапидарно чеканная формула возлюбленного братца Павла: «Где Дух Господень – там свобода!». Формула обоюдоострая, решающаяся предельно просто: где нет свободы – там нет Духа Господня!

На следующий же день в школе случилось маленькое чудо. То есть сначала – как и положено – пришло гнуснейшее искушение и испытание. В класс заявился военрук (тяжко закладывающий – и за это метко окрещенный учениками «Пол-Стаканычем», – и натаскивающий еженедельно, в принудительном режиме, мальчишек на уроках «начальной военной подготовки»: разбирать и собирать автомат калашникова, за время, пока у него в пальцах догорит спичка – и прочая мерзость) – и заявил, что настало время, и все оставшиеся до конца школы месяцы девочки обязаны будут проходить «военную

подготовку» тоже – иначе, без отметки за калашников, аттестата не дадут.

Быстро вспомнив, что прочерков в аттестате и без того уже намечается три – по физике, алгебре и геометрии – при допустимых двух, Елена пережила пол-минутную ломку, подумав, что жаль, всё же: три прочерка еще как-то, по волшебной алхимии, могут превратиться в два – а вот если будет четыре прочерка... будет уже явный перебор – аттестата не дадут точно – значит, вообще зря растраниженным временем окажутся все ее и так то через силу походы в школу в последний год... а как же университет?... – но ломку все-таки выдержала и, помолившись, твердо пошла на следующей же перемене к кабинету директрисы, на первый этаж: заготовив на ходу речь, что насилия не приемлет, что к советскому автомату калашникова вообще никогда в жизни не прикоснется, что она христианка – и, что, словом, официально отказывается от посещения «начальной военной подготовки», по идеологическим причинам.

Но не успела она пройти даже еще и кабинета медсестры (за которым, в самом углу, прятался зелененький, с цветочками на окнах, кабинет директрисин) – как сама директриса Лаура Владимировна – с пучком, с бигудюшными завлекалочками, выпущенными по краям – с лоснящимся красноватым маленьким носиком – выскочила ей навстречу.

– Лаура Владимировна, я хотела с вами срочно поговорить про уроки военной подготовки, – напряженно выговорила Елена, боясь, что директриса сейчас куда-нибудь улепетнет. – Я...

– Ой, какое совпадение! – радостно защебетала Лаура. – Какое совпадение! А я-то как раз вышла вам всем сказать: мне только что, минуту назад, позвонили из Роно, и дали команду отменить обязательность военной подготовки для девочек!

А еще через пару дней Дьюрька чуть не разнес школу вдребезги от радости: центральный комитет компартии, под давлением массовых гражданских уличных выступлений и протестов, из чувства самосохранения (видимо, всерьез испугавшись румынского финала в своей пьеске) проголосовал за отмену шестой статьи конституции – закрепляющей монополию коммунистов на власть.

Когда еще через день стройненькая Анна Павловна, классная руководительница, подошла в коридоре к Елене, и настороженным

шепотом попросила Елену срочно сделать себе паспорт, Елена, разумеется, чуть не послала ее куда подальше – идти получать советский паспорт Елена считала крайним оскорблением, и делать этого не собиралась ни в коем случае.

Мучительно наморщив носик – и напрягая все свои мощные, натруженные немецкоязычными упражнениями жилы на лебяжьей, вроде бы, шее, Анна Павловна проворно, как подружка, взяв Елену под руку и, едва дотянувшись, на мысочках (даже на каблучках казалась низенькой) к уху Елены, восторженно-заговорщицки продолжила:

– Дело в том, что намечается одно меро... Боюсь даже говорить! Тьфу-тьфу-тьфу! Может, еще ничего не состоится, знаешь же, как у нас могут – раз – и... Мероприятие! В котором тебе, я уверена, будет небезынтересно принять участие. Прошу тебя – сделай паспорт а? Не пожалеешь!

– Не вижу, какое такое могло бы быть... – с сарказмом медленно выговорила Елена —...«ме-ро-приятие», ради которого я бы согласилась расписаться в советском паспорте.

– Ну а ради того, чтобы выехать из страны, ты бы паспорт сделала? – совсем уж приглушив голос, в нос, с восторгом выпалила ей в ухо Анна Павловна.

Елена рассмеялась, считая это какой-то глупой шуткой, то ли провокацией.

И тут Анна Павловна принялась рассказывать сказку.

Сказка заключалась в том, что некий бескорыстный русофил, безвестный знаток русской дореволюционной литературы из Мюнхена, в миру – скромный учитель баварской гимназии, внезапно воспылал жаждой вызволить из-за корродирующего железного занавеса хотя бы маленькую кучку русских детей – и на свой страх и риск, сразу же после объявления о дыре в берлинской стене, рванул в неизвестную и пугающую Россию. С Россией – кроме классических литературных фантазмов – связей у безвестного русофила не было ну ровным счетом никаких – кроме какой-то когда-то где-то как-то случайно встреченной эмигрантки – двоюродной племянницы знаменитого латышского социал-демократа, убитого Сталиным в тридцатые годы – она-то, семейными байками, и рассказами про репрессии и заразила его интересом к современной истории – и привила крепкую антисоветскую прививку. Добившись – невесть как, дубовой

педантичной настойчивостью – в советском министерстве образования списка немецких школ в Москве, русофил обошел каждую – и – по непонятной причине (явно, по недоразумению какому-то) с первого взгляда влюбился в школу именно эту – а скорее всего – не в школу, а в элегантную, маленькую, говорливую Анну Павловну. Уехав немедленно восвояси, скромный учитель мюнхенской гимназии послал личное письмо Горбачеву (заручившись – как тараном против советской бюрократии – воззванием той самой двоюродно-внучатой родственницы знаменитого латышского репрессированного). И – к изумлению всех участников процесса – от растерянности, клешни государства моментально разжались: Горбачев дал личное распоряжение выпустить за границу для ознакомительной поездки в капиталистическую страну всех желающих школьников из указанной «западногерманским товарищем учителем» школы.

– Только умоляю... – страдальчески заныла Анна Павловна, – не болтайте с Дьюрькой об этом нигде пока! Ты же знаешь что везде у стен есть уши... Ты же знаешь, как просто все это у нас сорвать! Иди в паспортный стол потихоньку, сделай срочно паспорт! В МИД надо хоть какой-нибудь документ предъявить!

– А свидетельство о рождении не подойдет? – съязвила Елена.

Анна Павловна – со звуком «у-у-уй!...» – мученически скорчила личико, и, сморщив нос до формата игрушечного, – плюшевой лисички, – убежала в свой кабинет.

И, вот, следующий день был напрочь испорчен чудовищными, беспрецедентными по ругани, перепалками (хотя и тайными, вдали от школы) с Дьюрькой.

– Ты что, охренела?! – орал на нее Дьюрька. – Из-за какой-то бумажки такой шанс упустишь! Мы же вырвемся первыми из-за железного занавеса! Историческая поездка!

– Ага... Ноевы голубки... – мрачно, подытоживала Елена, крайне недовольная предоставившимся выбором.

– Какие голуби?! Ты что мне зубы заговариваешь! А ну пойдём вместе немедленно в милицию!

– Сейчас! Сейчас я прям тебе побежала в милицию! Убери от меня руки немедленно, никуда я не пойду! Умру лучше – чем в серпастом-молоткастом свою подпись поставлю! – отбивалась Елена.

И тут Дьюрька, с его непробиваемой веселостью, вдруг умудрился развернуть всю ситуацию так, что в начале следующей же недели Елена не просто нехотя потащилась, а и вправду, хохоча, побежала в паспортный стол:

– Не хочешь подпись свою ставить? – рассмеялся Дьюрька. – Превосходно! Так поставь чужую подпись тогда!

В выходные оба, хохоча до упаду, придумывали, за какого-то исторического деятеля расписаться. И вот, наконец, Елена сказала: «Всё! Придумала! Не скажу ни за что!»

Как же сложно было опознать себя на крупноформатной черно-белой фотографии для паспорта! Улыбчивая, почти хохочущая, с ямочками на щеках, с градуированным каре – и чуть завитой челкой, и верхними вздыбившимися к лицу прядями.

– Девушка, а посерьезней нельзя было? – безобразно издевательским тоном смазанным каким-то, заспанным голоском начал привередничать на приплюснутый арбуз похожий работник паспортного стола – маленького железобетонного домика на задворках хрущёб, в лысых, хотя и страшно густых и высоких зарослях кустов неведомо чего – замороженного, растаявшего – и замершего теперь в горьковатом тумане в откровенно пловецких каких-то жестах.

Дьюрька, увязавшийся за ней, прыснул и побордовел, как паспортная обложка.

– Вам когда, девушка, паспорт нужен? – с ленивой издевкой едва поднял веки арбуз: и в мутных глазах его появился какой-то невнятный намек.

– Завтра! – без запинки ответила Елена.

Веки взлетели вверх – арбуз вылупился – и не понимая, подстава это какая-то проверяющая – или несусветная наглость паспортруемой, заверещал:

– Вы сроки наши знаете?

– Не знаю, – честно отрезала Елена.

Арбуз еще раз глянул на нее, на Дьюрьку, испытующе, дугой, посмотрел на их руки – проверяя, видимо, не лезет ли кто из них в карман за взяткой при таких срочных запросах.

Нет, за взяткой никто не лез, и никто ему ничего не предлагал. Остановившись, видимо, в своем нехитром мозговом круговороте на

версии: «проверяют», милиционер, надувшись, обиженно сказал:

– Завтра – не получится. Зайдите послезавтра. С утра. Только у нас обед ранний, – опоздаете – пеняйте на себя. Выдача закончится.

И вот настал торжественный момент.

Дьюрька сидел справа от Елены, за тем же облупленным, громадными мебелированно-лакированными чешуями изборожденным, темно-коричневым столом, напротив арбуза, и, даже не хихикая, и не краснея, чуть приоткрыв рот от блаженного ожидания цирка, ждал, как она распишется.

Елена еще раз, чуть заметно улыбнувшись, вспомнила, как, года четыре, что ли, назад, увидев у кого-то на Арбате фотографию юного Пола Маккартни (двадцатилетней, примерно, давности), безумно в него влюбилась (примерно на два дня) – и ни на секунду не сомневалась в тот момент, что, как только вырастет немножко – обязательно выйдет за Пола Маккартни замуж – только Линду было немножко жалко. Улыбнулась – и, не задумываясь, расписалась в пододвинутой ей арбузом через стол книжечке паспорта: «McCartney». Красиво и внятно. У арбуза, налегшего с той стороны стола голубым пузом на столешницу, задрожала какая-то голубоватая же жилка под мешком у правого сощуренного глаза.

– Девушка?! – рявкнул он.

Елена, делая вид, что ну вот абсолютно не понимает, в чем дело, в чем претензии, схватилась за учетную книгу, где роспись надлежало поставить тоже. Арбуз вцепился в углы амбарной книги пухлыми пальцами и не выпускал.

– Девушка?! – растерянно – уже даже как-то обмягши – верещал он. – Это вы что ж это тут хулиганничаете? Вы что здесь написали под своей фотографией?!

– Ну что я могу поделать – раз у меня подпись такая? – отрезала Елена и рванула на себя амбарный фолиант.

Когда вышли из ворот маленького бетонного домика, ей казалось, что Дьюрька сейчас описается от смеха.

На следующий день оказалось опять не до смеху: Анна Павловна объявила, что МИД вызывает всех желающих поехать в Мюнхен – на идеологическое собеседование.

– Леночка, умоляю – не ходи туда, скажись больной – ну что тебе стоит? Ради всех нас – не срывай нам всем поездку! – стонала Анна

Павловна. – Я ведь знаю, что ты там скажешь... Я готова лично подтвердить им, что у тебя дичайший грипп с высокой температурой, срочно слегла, и так далее... Прошу, не ходи!

– Анна Павловна, зря стараетесь: я бы туда все равно не пошла, даже если бы вы на колени передо мной встали.

Дьюрька, хохотнув, в МИД все-таки пошел, заявив, что он, мол «стреляный воробей».

– Ну и ничего нового не было... – разочарованно отчитался Дьюрька, тут же, набрав Елене из телефонного автомата. – Помнишь, как Таня в райкоме нас накручивать пыталась?! Во! Слово в слово всё! У них, видать, одни методички: «Что вы скажете, когда иностранные дяденьки и тетеньки – которые все как один, на самом деле, замаскированные агенты капиталистических стран, – начнут вам задавать каверзные вопросы и клеветать на наш родной советский строй?» «Как честные граждане, которым родина сделала такое великое одолжение, что вас выпустила, вы обязана сказать, что у нас все прекрасно».

– Ну?! Ну?! И что ты им ответил, Дьюрька? – торопила его с рассказом Елена.

Дьюрька стыдливо хмыкнул:

– Я промолчал. Как партизан. Ради всех.

Все было решено. Было ясно, что даже если спецслужбы заартачатся, проверяя каждого в отдельности, личное распоряжение Горби вряд ли кто-то решится нарушить: вряд ли кто-то решится захлопнуть перед самым их носом шлагбаум.

Не ясным, лично Елене, оставалось только одно: вот, ей выдан небывалый, невероятный, билет в запредельное. Грешно ведь вернуться из этого запретного запределья пустопорожней – и не привезти с собой никакой эмигрантской антисоветской литературы, не выкинуть чего-нибудь эдакого. И – да, конечно Крутаков – хам, – но здесь ведь – особенные обстоятельства, и к тому же...

Мучилась-мучилась. И тем же вечером набрала его номер.

– Ничего стррранного... – возмутительно невозмутимым, спокойнейшим голосом (так, как будто это само собой разумеется, что она ему позвонила) произнес Крутаков – когда вместо заготовленной вступительной хладнокровной ругани, а может быть и меткого краткого плевка хаму этому в лицо, Елена, заслышав в трубке его обычное «Алё-алё?», почувствовала вдруг такую жгучую радость, что, забыв про необходимые выговоры, неожиданно для себя же, в первой же фразе, выпалила ему про то, что приняла крещение. – Ничего удивительного! Если мы и дальше с такими перрреррррывами будем общаться, то в следующий ррраз ты мне уже сообщишь, что вышла замуж и обвенчалась, а еще черррез ррраз – пррригласишь на крррестины ррребенка!

– Я, собственно, вообще бы тебе, Крутаков, никогда в жизни больше не позвонила, – собрав всю строгость в кулак, уведомила Елена. – У меня дело к тебе. Когда ты можешь встретиться?

Условились увидеться на Пушки. Елена сильно опоздала (Анастасия Савельевна глупейше, подвернув ногу, растянулась на кухне – запнувшись о неудобно себе же самой подставленный табурет – и потом сидела, как громадный младенец, на паркете, раскинув ноги, ощупывала ушиб на ляжке и плаксиво потирала полненькую коленку; а следом, встык, как нарочно – Анна Павловна позвонила – озабоченно-восторженно-говорливо сообщать технические детали отъезда, назначенного – с феноменальной скоростью – на конец февраля: поездом до Берлина, потом – граница, переход, прямо на станции, в ФРГ – и ночная электричка до Мюнхена), – и Крутаков, поджидавший у входа в кинотеатр «Россия» немедленно же, с возмутительной издевкой, заявил:

– Я прррям как влюбленный тебя тут на свиданье, на ступеньках кинотеатррра, ждал... Только что цветов, прррости, не купил... Гвозд́ик, знаешь, каких-нибудь ужасных...

Одет Крутаков и впрямь был как на свидание: в белой рубашке под курткой; рубашка эта, однако, заправлена в джинсы не была; и то, как она скругленной кройкой рубашечного низа торчала из-под распахнутой кожаной куртки, придавало вроде бы благонадежному верху что-то чрезвычайно хулиганское. Крутаков был брит – выскоблен дотошно – до степени свежей царапины на крутой подкрутке подбородка – и лицо его, без обычной черной щетины,

казалось бледноватым. И ни малейшей тени раскаяния в нахальных черешневых глазах и не ночевало.

Теплый грязноватый туман. Лиловые бензиновые проблески асфальта. Шли зачем-то по самой кромке обочины Страстного, в рядок со смердящими автомобилями. Несмотря на лучащуюся внутреннюю радость от того, что Крутаков рядом – от того, что слышит опять вот все эти его наглые картавые побасенки, по которым все эти месяцы так скучала – Елена все-таки боялась раскрываться – опасно как бы прощупывая свои ощущения: ведь не может же быть, что это тот же самый человек, который несколько месяцев назад выступал как отпетое хамло по телефону?!

– Не бррранись на меня! – расхохотался вдруг, после минуты ее напряженного молчания Крутаков. – Я, знаешь ли... Как-то... Вот ведь – взрррослый человек, всё понимаю, а...

– Но почему ты хотя бы не позвонил не извинился?! – почти выплакала вдруг Елена – хотя Крутаков надрыва этого в ней явно не почувствовал и громко расхохотался вновь:

– Я, знаешь ли, прррросто-напрррросто понял, что если я позвоню тебе с серррррезными объяснениями, то будет еще хуже!

И хотя все эти загадочные межстрочные извинения звучали крайне неудовлетворительно – а все-же как-то почувствовалось, что Крутаков – вот же он, прежний – совсем не тот, что был в тот роковой день в трубке, и даже явно от того безобразия отмежевывается – и, уже через минуту, настороженность Елены растаяла – и шагала она уже рядом с ним быстрым, легким, размашистым шагом – ему в ритм – счастливо, как раньше, с облегчением думая про себя: «Глупость... Какая-то чудовищная глупость произошла! Напился, наверное, где-нибудь в гостях – а стеснялся признаться... Нечего даже в этом больше и разбираться – забыли и всё!»

Крутаков, как оказалось, успел недавно смотаться в Таллинн – «наблюдательствовал» на какой-то неофициальной политической тусовке – и теперь, после того как Елена выпалила ему про предстоящую поездку в Мюнхен – рассказывал про прибалтийские приключения свои с загадочной хвастливостью. Например, как только Елена пыталась восторженно выведать подробности его встреч с местными лидерами сопротивления, Крутаков кокетливо картавил:

– Да какие там встрррречи – пррра-а-амёрррз до жути! Холодно было – ужас! В январрре же ездил! Не то что здесь вон сейчас ррра-а-астопило всё, за неделю!

Проговорился, впрочем, все-таки, что «дрррузья» «пррровезли» его потом по всей Прибалтике – и что был он и в Риге, и в Вильнюсе.

Посмеялись над уродской советской телепрограммой про Темплерова: в отличие от Елены, Крутаков оказался в полном восторге:

– Да ты что! Это же огррромное достижение! Сам факт, что они официально прррризнали наше существование! А ррругают – значит боятся! Это же прррросто истерррика у них была по телевизорру!

Когда дошли до перекрестка с Цветным, Елена вдруг замолчала – стараясь, самой себе даже не признаваться, какую волну нежности моментально вызвала в ней Сретенская горка с ласковым каким-то, вмиг подошвами кроссовок вспомнившимся, несерьезным, игривым, кривеньким подъемом прикровенных дореволюционных переулков – и внезапные летние воспоминания о Юлином доме; и вместо того, чтобы спросить – как хотелось – у Крутакова, «как там Юля?» – нарочно, чтобы Крутаков не прочитал ее мысли, наоборот, отвернулась направо и принялась изучать загадочный вид запертой зеленой виллы публичного туалета посередине бульвара – с гигантоманским отсверкивающим от фонаря новеньким амбарным замком на двери.

– Жень, ты познакомишь меня с этим своим Темплеровым? – резко вдруг, решившись, проговорила Елена уже на другой стороне бульвара, – несколько волнуясь, потому что прекрасно помнила весь многочисленный выводок благовидных и не очень поводов («мала еще», «мне стыдно к серрррезному человеку малолетку вести», «он сейчас занят серрррезной ррработой», «я сейчас занят» – и так далее), под которыми Крутаков прошлым летом регулярно, как только Елена выклянчивала у него знакомство с Темплеровым, ей отказывал. – Насколько я поняла, именно Темплеров ведь напрямую связан с эмигрантской частью организации? – быстро, по-деловому добавила Елена, не глядя в глаза Крутакову и не давая ему завести обычную шарманку про ее возраст. – Я хочу хоть чем-нибудь быть вам полезной, книг каких-нибудь привезти – что угодно – что вам может понадобиться – любые материалы. Нас ведь вряд ли будут сильно шмонать на таможне...

Крутаков вздохнул, остановился, уперев с обеих сторон ладони в виски, как будто от внезапной головной боли – и с каким-то ошеломившим Елену расстроенным видом, но все-таки чуть смеясь при этом, произнес:

– Так я и знал, что этим кончится... Все мои усилия – к едрррене фене...

– Что кончится...? – Елена затормозила, внезапно для себя с беззаботным любованием взглянув вновь на лихо выпущенную Крутаковскую рубашку – и невольно со внутренней улыбкой подумав: хорошо бы так как-нибудь раздолбайски попробовать одеваться! – Ты о чем?!

– Ты ведь теперррь наверррряка Темплерррову заявишь, что в орррганизацию хочешь вступить... – Крутаков резко повернулся к ней и чернó зыркнул. – Сколько я ни пытался тебя от этого отвадить...

– Ах ты... Какой же ты гад Крутаков! – Елена, прямо глядя в глаза Крутакову, замотала головой, отказываясь верить собственному слуху, – и побежала от Крутакова прочь вверх по Рождественскому, в чудовищной обиде отбиваясь от попыток Крутакова на узком горбатом тротуаре сзади дернуть ее за манжет куртки и остановить. – Да я вообще не желаю с тобой после этого... Так ты это специально меня... – отдергивала она то правую, то левую ладонь от откровенно смеющегося уже Крутакова. – Это ты специально мне врал бессовестно?! Каждый раз, когда я тебя просила к Темплерову меня отвести?!

– Боялся за тебя потому что! – нагло и тихо хохотал, на бегу, за спиной у нее Крутаков. – Что ты во что-нибудь вляпаешься, сдуррру!

– Да ты... Ты... – Елена вдруг выдохлась, остановилась, резко развернулась к Крутакову – чтобы заявить ему, что теперь уж точно никогда в жизни не будет с ним разговаривать – и, взглянув в чудовищной темноты и веселости огромные его глазищи – вдруг рассмеялась тоже. – Женька... Гад! Во-первых, за кого ты меня принимаешь – я никогда в жизни ни в одну политическую организацию не вступлю – путь даже в самую распрекрасную! Что я, свихнулась, что ли? А во-вторых...

– Это почему это? – с деланной обидой наглейше переспросил Крутаков – и крепко взяв ее под руку невозмутимо рванул по бульвару вперед – мимо манкой арки, которой так удобно было бы

проскользнуть, через сквозной двор, в переулок – и дальше, сквозными же, добежать, по горке набекрень, до Юлиного дома; мимо ампирных изб с мутными глазами; мимо низкорослой рощицы руста, пилястр и водосточных труб.

– Да потому что любая политическая организация, где больше двух человек – это уже легкая форма шизофрении! – ругалась на него Елена – специально выбирая выражения пообиднее – своего локтя, впрочем, из-под его руки не выдирая. – Нет, вернее, даже где больше одного человека – это уже шизофрения! Это надругательство над интеллектом и волей!

– Уху! – хумкал в нос, сдерживая смешок, Крутаков. – Соверррршенно веррррно! Так зачем же тебе к Темплеррррову?

– Я хочу просто помочь вам, чем могу! И... Неужели ты не понимаешь?! Мне любопытно просто! Ужасно хочется с Темплеровым познакомиться... Ну Жень... Ну пожалуйста...

– Ну так срррразу бы мне давно и сказала! – хохотал Крутаков – заворачивая в туманную подворотню и направляясь к телефонному козырьку: быстро выпустил ее руку и другим уже тоном scomандовал: – Прррра-а-аваливай домой тогда – у меня сейчас вррремени нет до метррро тебя прррровождать. Я созвонюсь с Темплерррровым, забегу к нему, быстррро поговорррю пррро тебя, чтобы не объяснять по телефону – а потом он сам тебе позвонит завтррра-послезавтррра.

Темплеров, на самом-то деле, позвонил не завтра, а едва Елена успела войти в прихожую: а еще точнее – пока еще расшнуровывала, подперев, как кариатида-пофигистка, стену, правый кроссовок – и, как в кошмарном сне или старинных русских пьесах – с зазором на звонок, Анастасия Савельевна медленно вышла из кухни к Елене с перевернутым лицом, – и низким предобморочным тембром произнесла:

– Анатолий Темплеров!

Голос Темплерова – глухой, тихий, с немного старомодным выговором, растяжный – но в то же время с внутренней напористой уверенной силой – Елена узнала сразу: по той кассете с интервью, которое, в прошлом году, как-то раз, весенней ночью, помогала Крутакову расшифровывать.

– Мне сказали, что вам небезынтересно было бы поговорить – так давайте встретимся, когда вам удобно? Завтра? В восемь вечера возле

первого вагона из центра, на Кировской? – не давал ей очухаться и застесняться Темплеров.

И только было Елена начала мучительно придумывать слова, чтобы узнаваемо обрисовать, как же она будет выглядеть, что на ней будет надето – Темплеров изумленно-успокоительно протянул:

– Ну что вы... К чему это... Я уверен, что мы друг друга непременно сразу узнаем...

Когда Елена, повесив трубку, увидела лицо Анастасии Савельевны, которая, ни жива ни мертва, ждала ее в прихожей, дрожащими руками все зачем-то не глядя перелистывая книжку московского телефонного справочника, первое, что промелькнуло у нее, было: «Какой же все-таки гад Крутаков – не мог разве предупредить Темплерова, чтоб он не представлялся матери?!» Впрочем, тут же мелкой меркантильной мысли своей устыдилась: «Ага, конечно – лагерник, выживший в советской тюрьме – будет еще тут в прятки играть со впечатлительными мамашами...»

Анастасия Савельевна же, как сумасшедшая теребившая справочник, выворачивая его уже за обложку наизнанку, вытаращенными глазами беспомощно-яростно смотрела на дочь – и ничего не говорила. За последний год-два пережила Анастасия Савельевна уже многое – роман Елены с панком, каких-то обрывавших телефон взрослых поклонников дочери фотографов-режиссеров-журналистов и прочую шваль, антисоветские книги, драму с Семеном, неявки дочери ночевать, и прогулки невесть с кем до рассвета – и, наконец, еще пуще напугавшее Анастасию Савельевну крещение – но звонок ээка, недавно объявленного по первому каналу телевидения главным врагом Советского Союза, – вежливейше, как будто человек, представившегося и попросившего ее дочь к телефону – добил Анастасию Савельевну.

Елена, улыбнувшись, прошла мимо Анастасии Савельевны в свою комнату, делая вид, что не замечает немого драмтеатра – и тут, уже вдогонку, разразился скандал:

– Я запрещаю тебе! – орала Анастасия Савельевна, бегая вокруг нее безумными кругами, мучая ни в чем не повинный справочник, как будто играет на аккордеоне. – Ты живешь со мной в одной квартире! Если ты не думаешь уже о себе, если ты уже плюнула на свою собственную судьбу – то ты обязана... Слышишь – обязана! –

взвизгнула Анастасия Савельевна, выронив от чувств телефонный справочник на пол, так что оторвалась и отлетела картонная обложка. – Обязана думать хотя бы обо мне! О моей жизни! Я боюсь! Ты не смеешь давать свой телефон таким опасным людям! Нас наверняка прослушивают! А если не прослушивали, то теперь, после этого звонка, точно будут! Ты не смеешь! Он только что из тюрьмы – и его наверняка готовят угрожать туда снова – судя по той телепрограмме! Ты не смеешь общаться с такими людьми, пока ты живешь вместе со мной! Я боюсь! Я запрещаю тебе, чтобы он сюда звонил! Не смей с ним общаться!

...Узнали они с Темплеровым друг друга в невероятной толкучке перрона Кировской действительно моментально: через миг после того, как Елена вышла из вагона, Темплеров шагнул к ней сам – был он точно единственным, из всей кишачей стоголавой толпы вокруг, на чьи глаза Елена сразу же обратила бы внимание – не будь даже у них назначена встреча, не будь даже у нее тех, мельком, воспоминаний о той программе с Темплеровым по телевизору. Удивительные, с яростным запалом, прямо в глаза смотрящие, медитативной силой исполненные глаза; чуть нависающие седоватые брови. Большой лоб с дважды нимбообразно изогнутыми над дугами бровей двумя глубокими морщинами.

– Ну что ж, пойдете ко мне... – никакой улыбки приличия или подобающей у людей для первой, почти случайной, встречи прежде незнакомых персон традиционной ужимки, имитирующей радость, – на лице у Темплерова не было – только лунное выжидательное телепатическое внимание в глазах – от которого Елене стало даже чуть неловко, будто просмотреть пытается он ее насквозь.

Выйдя из метро, Темплеров быстро и решительно, со странным сочетанием крепкого целеустремленного шага и шаткой изможденной фигурки (с фронтальной, что ли, какой-то выправкой: выпрямившись, выкатив грудную клетку вперед и браво пришибая подошвами, на место, встававшую было на дыбы землю) зашагал вверх по неуютному широтой и шумной бестолковостью своей Новокировскому проспекту. Аккуратная легкая курточка с карманчиками как у дошкольника. Высокий отворот красивого темного шерстяного свитера – подпирающий очень коротко и аккуратно подстриженную, зримо жесткую, непокорно вырывающуюся завитками во все стороны света,

с внятной проседью, бороду. Такие же непокорные, дыбом встающие, завивающиеся, густо замешанные, но тоже короткие седоватые вихры на лбу. Помимо собственной воли ухватывая, краем глаза, облик загадочнейшего Темплера, героя, на которого даже и взглянуть-то прямо было боязно, и даже несколько радуясь его невежливому молчанию – не сказал на протяжении вот уже минут пяти ни слова (но одновременно, именно по молчанию этому, понимая, что никаких политесов не будет – и помогать ей завести беседу Темплеров точно не намерен – то ли от неумения, то ли от нежелания), Елена холодела при мысли, как же она вот так вот сейчас запросто, с бухты-баряхты, выложит свое предложение перевезти через границу антисоветских книг из Германии, – как она все это посмеет высказать этому особенному, ни на кого не похожему человеку?! – и даже дикостью казалось (теперь, когда шагал этот человек-легенда, человек, выживший в лагере, не сломленный, даже не попросивший три года назад – по гнусному требованию, выдвинутому Горби к освобождаемым политзэкам – о «помиловании», победивший советскую карательную систему «всухую», и гордо вернувшийся с победой – шагал молча рядом) – почему он должен ей, школьнице, появившейся из ниоткуда, поверить?

Ни любезности, ни улыбок, ни какой-либо натужной вежливости – лишь ледяные рыцарские безукоризненные жесты Темплера – и корчи Елены от застенчивости.

В черном дворе, с выстроившимися перед подъездом двумя одинаковыми баклажановыми волгами – в которых, почему-то, не зажигая фар, не куря, не открывая стекол и не заводя мотор, маячили смурые фигуры водителей (Темплеров на машины даже и не взглянул, жестко прошагал мимо), – зашли в широкий подъезд серого кубоидного, углом развернувшегося, ранне-сталинского дома, тяжелого, чуть давящего, но без всех маниакальных излишеств позднейшего плебейско-имперского сталинского стиля.

В квартире, куда Темплеров, не без заминок и звяков роняемого на пол ключа, отпер дверь, было темновато; в прихожей и коридоре свет не горел вовсе; а во всех прочих намечающихся сферах свет теплился лишь ночниковый, или ламп для чтения; а невнятные самими собой занятые звуки в отдаленных ее пространствах тихо давали знать, что есть в квартире и еще кто-то. Блеснула с левого боку, как показалось

Елене, кухня. Довольно просторный коридор большой квартиры вел мимо распахнутых, но незримых из-за темноты и волнения Елены комнат. Комната Темплера оказалась в конце коридора слева.

Щелкнул выключатель – и зажегся маленький настольный канцелярского вида светильник – как почудилось Елене, тоже уцелевший в квартире чуть ли не со сталинских времен. Четырехметровые потолки, еще выше отодвинутые и закруженные расслоившимися сумеречными расселинами ночного света, добавляли ощущения, что зашли они в музейное какое-то пространство – в музей-квартиру какую-то, что ли! – выручая у ночи лишь совсем крошечное, ярко лучистое, с живой круглявостью обрисовывающее их самих и их собственные движения пространство вокруг лампы, в котором они оба уселись на темные жесткие стулья с чудовищно неудобным круглым сидением у приставленного к левой стенке письменного стола. Мебель в комнате была крайне аскетична и антично-советски тяжела. У стенки справа провисала железным гамаком узкая койка, кой-как застеленная, с наваленными поверх покрывала тяжелыми, развалившимися книгами – и беззастенчивой подушкой, которая белелась в изголовье.

Щеки Темплера – чудовищно худые, уходившие в минус рельефа, рифмовались не просто с худым, а с отсутствующе впалым животом – прильпнувшем, казалось, напрямик к позвоночнику, под обтягивающим свитером. Здесь, в комнате, когда Темплер оказался напротив нее, так близко, в рассеиваемой ночником тьме, стало очевидно то, что при встрече мельком могло проскользнуть под видом субъективных ощущений или имело шанс быть чуть скрыто курткой и тугим, тяжелой вязки свитером: изможден Темплер физически был до крайности – до стадии развоплощения. И, как и приличествовало духу, утратившему плотность, секундами, в темноте, над темным бутафорским свитером, над высоким его воротом, витали лишь яростные внимательные очи – единственный земной плотский орган чувств, который чистому интеллекту пристало иметь – очи жуткие и завораживающие. От пассионарного огня в этих бесплотных, въедающихся, почти не мигая, глазах духа – который с осязаемой экспансией пытался захватить собой всю комнату, воздух, стол, темноту стен, свет лампы – и – постепенно – и собеседника, – Елене, дух которой все-таки предпочитал оставаться в своих собственных, личных, суверенных границах, становилось слегка неловко – и она

опускала глаза, изучая паркет – и лишь изредка, робко довольно, на Темплерова поглядывая.

– Дык расскажите о себе, Лена... – с чуть мечтательным завывом, распевно, как будто стихи читает, тихо вымолвил Темплеров – медитативно покачиваясь от внимания, вперив в нее взгляд, – сидя в чудовищно неудобной, как ей казалось, позитуре – ни на что не опираясь, сложив ладони на колени и не облакачиваясь даже на спинку стула – и явно изготовился к изысканной над ней пытке расспросов: пытке непереносимой – так как от застенчивости выговорить ни слова в ответ было невозможно. Елена всерьез приготовилась было к обратному отсчету секунд до обморока – но вдруг – была сбита со счета неожиданным блаженным метрономом – слышала размеренные, цепкие – тонг-тонг-тонг-тонг – каблучные шажки по паркетной деке коридора – приближавшиеся – по звуку судячи – из невообразимых каких-то космически удаленных анфилад – и когда каблучки отговорили свое – в дверь быстро постучали косточками кулачка:

– Анатолий, пора ужинать, – бесстрастным голосом сообщила вошедшая в комнату красивая сухопарая очень прямо держащаяся невысокая пожилая женщина с абсолютным отсутствием каких-либо эмоций на лице – и, строго взглянув на Елену – видимо, как на возможный фактор, могущий от ужина сына отвлечь, – дама тут же, переведя взгляд на Темплерова, и обращаясь исключительно к нему, добавила: – Анатолий, твоя гостья будет ужинать?

В поезде Москва – Берлин, лежа на верхней полке и захватывая мизинцем сети защелкивающейся полочки (будто вырезанный фрагмент теннисной сетки, на какую-то спицу туго, с клацаньем застегивающейся), – и слегка ухмыляясь тому, что под защелком, в сѐти, немислимый, крикливый, кривляющийся Федя Чернецов умудрился-таки (перед тем как быть изгнану из купе) засунуть свою мыльницу – чтоб попытаться нагло застолбить территорию (Анюта всё телилась-телилась с выбором двух желательных «тихий» попутчиков – Дьюрьке отказать от места не смогла – вселился, растрёпанный, взбудораженный, потный – и с нежно-розовыми при этом щеками – вместе с кипой свежих, только что на вокзале купленных газет; хотя ясно уже было, что «тихо» с Дьюрькой не будет: бесцеремонно уселся, посреди разрухи втащенных всехошних сумок, за разворотом

«Известий» – и принялся громогласно комментировать новости и их мутный отлив в советской прессе; Анюта ждала, мялась-мялась, осторожничала-осторожничала – наметила уже было четвертой пассажиркой в купе, до комплекта, приемлемую Фросю Жмых, пошла было уговаривать ту обменяться – с кем бы то ни было – билетами, «чтобы не подселился никто чужой» – а когда начался, во всех купе, мухлѐж с обменом билетами, как черный рынок облигаций – в двери вдруг нагрянул только недавно переведшийся в их школу панкующий Чернецов с ваксой чернѐнными бакенбардами – чудовищнейший кошмар, который боязливую кроткую Анюту мог настигнуть – скинул свои рифлѐные резные казѐки, залез с ногами на нижнюю полку и, счастливо всхрюкивая, заорал, что ему здесь нравится, что у него все права на рудник, и что лучше он умрет, чем какой-нибудь Жмых такое прекрасное место «с девчонками рядом» уступит), Елена вспоминала это суховатое лицо матери Темплерова, ее строгий голос, ее педантичное цоканье по коридору – и тихонько, в темноте пустого купе, дверь которого Елена предусмотрительно захлопнула изнутри на задвижку, шептала себе под нос:

– Господи, как прекрасно Ты всё устроил... Как вовремя... Какое чудо, что двери Темплеровской квартиры раскрылись для меня только после крещения – как будто прежде я была к этому не готова... Как все мудро, вовремя, как будто по секундам было рассчитано в жизни...

В тот, впрочем, первый вечер у Темплерова, который Елена сейчас (брезгливо вытягивая Чернецовскую мыльницу из сетей), так ярко вспомнила – Елене, под взыскательным и напряженным взглядом матери Темплерова, было не до благодарностей.

– Анатолий, твоей гостье можно предложить с тобой поужинать? – повторила дама, переведя глаза – ровно на секунду – на Елену – и опять на Темплерова.

И Елена, вскочив, начала прощаться – не успев поздороваться – потому что даже смерть была бы лучше, чем вот сейчас вот капризно признаться политзэку, чудом выжившему после пыток голодом в карцере советской зоны, – что она – вегетарианка и не ест мяса. Убитую же плоть сожрать (в слове «ужин» авансом уже, конечно же, содержащуюся) – даже ради человеколюбия – непредставимо было тож.

– Да полно вам, Лена... Отужинайте с нами... – примирительно глухо произнес Темплеров – топя финалы фраз. – Вот уж никогда не думал, что едой можно кого-то так напугать... Разве ж уже строгий пост сейчас? – мирно изумился Темплеров.

И Елена тихо осела обратно на стул – и попросила чаю.

Метроном каблучков низких домашних туфель с красивым хлястиком на пятке зацокал в обратную сторону мнимой бесконечности внешних анфилад, а Темплеров (с неожиданной проворностью) подскочил к прикрытой его матерью мощной деревянной двери:

– Я всё мечтаю здесь в двери кормушку вырезать! – показал он пальцами на плоскости двери воображаемый квадрат чуть ниже уровня лица.

На недоуменный взгляд Елены Темплеров, опять обрисовав квадрат, с ужасающей веселостью, добавил:

– Кормушку, как в камере – чтобы ничто извне не отвлекало, не мешало бы работать, думать, – а еду получать через закрытую дверь в кормушку...

Елена обмерла от жуткой шутки – а Темплеров продолжал глухо веселиться:

– Помните, как у Бродского точно сказано...?

Елена мотнула головой – потому что от ужаса уже ничего, ровно ничего не помнила.

– Ну как же... – Темплеров подошел к кровати, сел на краешек, и каким-то привычным, отработанным жестом запустил руку по локоть под кровать.

Через долю секунды, без всякой заминки поиска, он извлек из богатой подкроватной библиотеки нужный белый ардисовский томик с синеватыми литерами и грамотным крылатым львом, в мягком (а честнее сказать – измятом, зачитанном чуть не до промокашечного состояния желтеющих, как будто с подпалиной, углов) переплете, и, вмиг (так же – без всякого зазора поиска, даже не глядя) найдя нужную страницу на ощупь, пальцами, по какому-то узнаваемо-аутентичному неповторимому штруделевидному зачиту угла листа (Елена моментально вспомнила собственный томик брюссельского Евангелия – подподушечную книжечку, вот так же, после всего-то нескольких месяцев чтения, уже перенявшую ее мимику, и с радостью,

родственно, загибающую ей уже при встрече, для пожатия, свои, евангельские пальчики тоненьких уголков любимых листиков) – принялся все так же завывно, нараспев, но очень тихо и глухо, и не очень внятно (явно торопясь догнать текст до единого смыслового образа, в мозгу-то его уже вечно существующего) зачитывать (даже не глядя в лист, из памяти, яростно смотря на Елену, непонятно для чего вообще книжку перед собой держа) необходимый стих – так что Елена угадывала слова скорее только по собственным воспоминаниям образов, которые Темплеров неразборчивыми земными звуками воскрешал.

Расслабленно прицелившись, Елена швырнула Чернецовскую мыльницу – катапультай болтающейся вслед вагонной качке руки – вниз, на противоположную нижнюю полку – мыльница шваркнула краем по дерматиновой обивке лежака – жихнула с грохотом на пол – и раскатилась, раскрывшись на половинки – как недоеденное панковское блюдо в уродской креманке – и Елена с внутренним смехом подумала про несуразного Чернецова, что ведь даже вещи человека ведут себя в его стиле.

Второй уже раз в темном купе ей показалось, что с соседней верхней полки раздаются какие-то подозрительные звуки – будто кто-то там возится! – хотя точно знала, что выставила за порог всю ораву, в другое купе – и возвела карантин защелкой – как только в гости без спросу приплелись Лаугард да Гюрджян с Руковой и Добровольской, да начали (совратив Дьюрьку и Аню) с визгами, не давая ни читать, ни думать – шумно играть в «картишки» – в дурачка да в Акулину.

Поезд прокатил, не останавливаясь (а только резко затормозив, дав очень тихий ход) какою-то станцию – с многоэтажным пристанционным зданием, залитым, почему-то, в поздний час, ярким электрическим светом – и по полу, по стенам черного купе медленно провезли косую ассиметричную светлую шотландку – посекудно отчикивая кусманы отреза ножницами противоположной стены.

Мать Темплерова, с сухопарой осанистой грациозностью вносящая для него еду на широкой тарелке – и – с любезной уже, но крайне быстротечной улыбкой ставящая для нее на край письменного стола стакан чаю, – все-таки живо шествовала сейчас мимо внутреннего взгляда Елены гораздо ярче, чем внешнее кино.

Сам же Темплеров, без всякой позы, по-солдатски просто, вдруг навтыяжку встал рядом со столом и сотворил крест, как будто даже и не замечая присутствия Елены, глядя прямо перед собой:

– Отче наш, Иже еси на небесех... – кратко, невнятно, из-за чудовищно быстрой, и заваливающейся-плывущей, дикции, – но все-таки так благословенно, на самом понятном в мире языке, принялся читать молитву Темплеров.

И Елена вдруг впервые с того момента, как переступила порог этого напугавшего ее поначалу человека, с дрогнувшим сердцем, оценила Божий этот дар – этого странного нового друга – неотмирного – до высот подвига которого даже и в самых благодатных молитвах долететь было невозможно – а вот вдруг раскрывшего для нее двери своего дома. И в этой молитве Темплерова было уже всё – и пять лет карцера, и тупая власть, пытавшаяся Темплерова сломать, и его твердая вера – прямая Божья поддержка в страшных испытаниях – и личные Божьи ответы и заветы – и ответные благодарные обещания Темплерова – о высотах которых можно было только с внутренними слезами догадываться. Но одно из обещаний – и его исполнение – было очевидно: вот так вот, просто, по-солдатски – встать, перед едой – и кто бы и что бы ни были рядом, вокруг, во внешней жизни – невзирая ни на что – вслух, не таясь, восславить Господа – и прочесть единственную молитву, данную нам лично самим Спасителем.

Вернувшись домой, Елена не могла заснуть всю ночь: как странно, как чудесно, что молиться перед едой, благодарить Бога за еду, научил меня даже не священник, меня крестивший – а вот этот тюремный монах, воин Христов, отчаянный бесстрашный антисоветчик, чуть не убитый кагэбэшниками, чуть не заморенный в лагере голодом! И как-то сразу пришло на сердце радостное – но и страшное – окончательное осознание того, что христианство – это вовсе не мление от внешних ритуалов, и не женские хороводы вокруг хорошенького жеманно-остроумного батюшки – и не тепличное массовое копирование приниженных «воцерковленных» походочек сгорбленных подбитых перепелочек, и не карнавал древнерусского стиля одежд, не красивенькая аккуратненькая картинка, – а христианство – это кровь и муки Христа, кровь и муки и позор и нищета и лишения мучеников Христовых, свидетелей веры. И что только благодаря им мы всё еще живы – и гнев Господень не

уничтожил землю, погрязшую во зле. И уж кто-кто, как не Темплеров, с которого в тюрьме при аресте надзиратели первым делом сорвали нательный крест (заявив, что это – «холодное оружие». «Оружие-то может оно и оружие – вы правы – но только не холодное уж точно», – снисходительно веселился арестант Темплеров с неуловимой для тюремщиков душой), у которого кагэбэшники отобрали Библию, и который в знак протеста объявил (в голодной-то зоне) голодовку и отказался выполнять любые лагерные распорядки, пока не вернут Божью Книгу – и за это безвылазно гнил в ледяном карцере, на полу, без единой теплой вещи, без одеяла, без подстилки, даже без нар большую часть времени, на убийственной пайке хлеба – кто, как не Темплеров, в голых тюремных стенах, в пыточных условиях, лишенный любых внешних атрибутов христианства, знал на собственном опыте, что значит Христова заповедь: поклоняться Богу «не здесь и не там – а в духе и истине»!

И умильные омилии батюшки Антония в единый миг оказались вдруг в сердце Елены уравновешенными – словно два крыла, вместо одного, появились, на которых лететь – этим подвигом воина Христова – лагерного доходяги.

И только немножко жаль было, что в том, что касалось цели ее прихода к Темплерову, обошлись с ней немного как с ребенком: на просьбу Елены доверить ей, на обратном пути из Западной Германии, перевезти для его антисоветской организации через границу каких-нибудь книг, Темплеров с протяжной рассудительностью в голосе ответил:

– Спасибо вам, Лена. Ну что вы... Вы же – юная девушка, совершенно незачем вам тяжести носить... Мне вовсе не хочется вас этим утруждать – для этого есть специальные люди... – (и словцо это, «специальные», Темплеров произнес с ярко-старомодной окраской: спец-яльные) —...И, как раз, по случайному совпадению, один из таких специальных людей довольно скоро приедет оттуда в Москву... – добавил Темплеров, ей прямо в глаза, чуть раскачиваясь, глядя. – А вот вы лучше запишите себе номер телефона во Франкфурте... – (Темплеров пододвинул к себе листочек бумажки – и, аккуратно, по сгибу, оторвав восьмушку, на вытянутом лепестке капиллярным фломастером начал кропать циферки – явно укрощая свой мелкий почерк до человечески-разборчивого воплощения) —...

позвоните оттуда, из Германии, спросите Глеба, у них есть каталог, они вам прочтут по телефону, вы выберете, что бы вам лично хотелось почитать – потом, по возвращении, скажите мне, и вам это всё привезут! – (У Елены аж мурашки пошли по коже – от таких волшебных, всеобъемлющих, вселенских библиотечных возможностей). – А если вам будет любопытно, – умиротворительно продолжал Темплеров, – дык заезжайте к ним во Франкфурт в гости... Выберите сами лично для себя книг, какие вам понравятся – просто для вашего личного пользования... Мы ведь, в огромной мере – организация просветительская... А то – так приходите запросто за книгами в гости по возвращении – если заехать к ним не удастся: Мюнхен ведь от Франкфурта далеко довольно...

Хоть и чувствовала Елена, что Темплеров (не исключено, что с Крутаковской подачи) подстраховал ее от возможных проблем на границе, как только мог – но поспорить с этим было... Да как тут поспоришь? А чудесный, длиннющий западно-германский номер, на длиннющем же белом лепестке, был упрятан ею, с – тем не менее – чудеснейшим чувством, в карман джинсов.

Утром, за завтраком, Елена, по-Темплеровски выпрямившись, встала возле их с Анастасией Савельевной красного раскладного столика и, с особенной бережностью перекрестившись, вслух прочитала «Отче наш». Анастасию Савельевну чуть кондратий не хватил:

– Юродивая! – заорала мать, выбегая из кухни, с какой-то физиологической истерикой, перекосившей лицо, схватив обеими руками свою тарелку. – Я с тобой за одним столом даже сидеть не хочу! Какое еще ты идиотство выдумаешь?! В психиатрическую лечебницу тебе провериться – не пора?!

Не без гордости вспомнив, что, по рассказам Крутакова, в юности Темплерова в советскую психушку пытались (за занятия философией) упрятать тоже – без всяких только, увы, фигур речи, – Елена спокойно и с аппетитом доела вкуснейшие Анастасии-Савельевнины синезеленые – от мгновенных метаморфоз крахмала – картофельные теруны.

прогулки, поевшись, предложил ей: «Пойдем, что ли, на метррро покатаемся?») – она бы, вероятно, так бы и уехала, избитая – прибрав книжечки: но в вагоне метро, где встали они вплотную к двери, под чудовищный завывающий шум тоннеля, начались взрослые какие-то рассказы – и поведал Крутаков ей, например, леденящую душу историю о маленькой симпатичной чернявой женщине, математике, коллеге Темплерова, которую, сразу после Темплеровского ареста, вызвали на допрос в КГБ и предложили дать против Темплерова показания, – когда же она наотрез отказалась, через несколько дней, в абсолютно пустом тихом переулке перед ее домом, поздно вечером, ее убил возникший откуда ни возьмись, на бешеной скорости, грузовик – сбил насмерть – то ли на тротуаре, то ли в шаге от тротуара: произошедшее увидел, по чистой случайности, ее сосед. В отличие от убийства Михоэлса, в этом случае расследование даже не пытались симитировать – а на похоронах ее замечены были угрюмые люди в штатском.

На следующий день Елена, встряв на Неждановой перед иконой «Взыскание погибших» – с интересными золотистыми вкладами манжет, с пестрыми разновеликими драгоценными камнями, вкрапленными в серебряную ризу, и с серебряными и золотыми нательными крестиками на цепочках, зацепленными за лучики нимба и блестящими на окладе («Благодарственные дары тех, чьи молитвы были исполнены»... – кротко пояснила как-то раз Татьяна) – под нежной улыбкой юной простоволосой Богородицы (которую Елена всегда, про себя, почему-то по-родственному называла «Матушка»), истошно, до слёз, молилась:

– Матушка всех жертв репрессий, Матушка всех тех, кого гэбэшники любых веков и тысячелетий убили – как Твоего Сына – в сатанинской их гордыне – или как эту несчастную женщину, о которой мне рассказал Крутаков! Матушка, ты усыновила всех жертв репрессий – из-за мученичества Твоего Сына, из-за того, что тогдашние гэбэшники в Иерусалиме вот так же гнусно убили Его! Матушка! Защити, измени и очисти мою многострадальную страну!

Слушая очередную проповедь батюшки Антония – о былых ратных подвигах, и том, как святые благословляли в древние времена благочестивых воинов защищать свою страну от губительного нашествия инородцев, Елена растерянно думала: «А как же про святую

защиту невинных незащитных людей от преступного режима в своей собственной стране? Как же про правозащитников? Как же про тех храбрецов, кто отваживается сопротивляться неправой власти и вступаться за уничтожаемых режимом невинных? Как же про вот сегодня, сейчас живущего – чудом выжившего православного исповедника Христова – Темплерова? Почему ж батюшка Антоний про это никогда ни слова не говорит? Как же можно считать себя православными христианами, храня молчание, когда рядом с тобой, в твоей собственной стране, уничтожают невинных?! Ведь смирение перед злом – это бунт против Бога! Это же соучастие во зле! Ведь даже апостол Павел прямо сказал: “Не участвуйте в делах тьмы – но и обличайте!”»

И, вернувшись к ласково улыбающемуся ей лику Богородицы, Елена с дрожью ужаса осознавала, что и на сталинских нелюдах, и на «узаконенных» убийцах всех последующих советских времен, которые от имени государства и спецслужб уничтожали и преследовали невинных, – и даже на нераскаявшихся потомках этих убийц и гонителей – до седьмого поколения лежит проклятие, и что из-за них проклятье лежит и на всей стране. И что до тех пор, пока дети и внуки убийц этих не покаются, не проклянут сатанинские дела советских государственных палачей, пока не ужаснутся, не отрекутся от нелюдей этих, пока не выкопают трупы досточтимых нелюдей из земли и не вышвырнут их на помойку – как в гениальном Абуладзевом фильме «Покаяние», – пока вся страна не восплачет, не ужаснется и не покается – за соучастие, за молчание, за любую степень духовного, профессионального или кровного родства с сатанинскими гэбэшными нелюдями и убийцами – в стране и вправду ничего всерьез не изменится. И что нераскаявшиеся дети, внуки, правнуки, прапраправнуки гэбэшных палачей прокляты будут – пока не отрекутся от дел своих предков – прокляты, не потому что проклинают их в праведных молитвах на небесах их жертвы и дети их жертв, и не потому, что Господь наш – Мститель, а потому – что в своей нераскаянности – они сами свое проклятье. И каких бы иллюзорных материальных удач ни урвали они себе – но счастья, Божьего благословения, не будет у них даже на этом свете, ни у них, ни у их детей и внуков – ни в одном из поколений – до раскаяния. А уж о посмертной их участи страшно и думать.

И каждый почти день – все дни до отъезда в Мюнхен, – до вечернего богослужения в церкви или сразу после – Елена ехала в гости к Темплеру – словно какой-нибудь монах-анахорет, пустынный, притекающий послушать откровений болтливых ангелов. Звонила ему только из уличных автоматов – и, как ни стыдно было – а все ж таки честно призналась Темплеру в излишней впечатлительности Анастасии Савельевны, и попросила временно не звонить ей домой – пока у Анастасии Савельевны не устоится в сознании еще и этот феномен жизни.

На звонок, дверь Темплерова всегда открывала Елене его строгая мать: и в ее тяжело произносимом греческом имени-отчестве – против всех географий – дважды аукалась для Елены Энеида. Сначала размеренно цокали за дверью, приближаясь из невообразимых анфилад, плоские каблучки – потом дважды стучал замок – и красивая сухая пожилая дама, держа створку двери полураспахнутой, всегда смотрела на Елену с неизменным легким недоумением.

– Анатолий, к тебе пришли! – сообщала она, наконец, куда-то в далекую темень коридора. И указывала Елене на возможные варианты сменной обуви – толпившейся, в линеечку, внизу, по левой стенке.

Женских мягких тапочек, слава Богу, в доме не держали как класс. Ближе всех жались к ногам на паркете, в темноте прихожей, плоские тускло-белые туфли на совсем невысоком каблуке, и без задника, – и еще салатово-голубоватые, тоже на микроскопически низком каблучке, с застежкой. В здешние туфли Елена влезала каждый раз с некоторым содроганием, так как были они почему-то всегда ледяными (как и диким холодом веяло всегда почему-то во всей прихожей) – и чудовищно жесткими. Да еще малы размера на два.

Белые, без задника были совсем узкими и дубово-твердыми – но зато, из-за отсутствия застежки, вроде не так ужасно выглядели втиснутые стопы с висящей пяткой. Салатово-голубоватые были чуть-чуть поразмятее (по шкале чудовищной жесткости), но застежка, застегнуть которую на голени не представлялось никакой физической возможности, все время при ходьбе подставляла, волочась, жуткие подножки.

Но даже ледяной этой жесткости Елена была благодарна гораздо больше, чем фальшивому плюшу. Мягкую, классическую, женскую домашнюю обувь ненавидела она с достопамятных времен – с той

самой, древней, принудительной поездки на дармовые свеклоуничтожительные работы в Новый Иерусалим. Анастасия Савельевна, которая сама-то дома обожала щеголять на танкетках да в сабо (а Елена всегда попросту шлялась в квартире в летних сандалях), тут вдруг, решила «побаловать» дочку обновкой – и приобрела ей где-то, для поездки в Новый Иерусалим («на людях будешь, все-таки – в палате-то там Аня, наверное, будет...») серебристые, мягчайшие плюшевые домашние туфли – красивейшие, на высокой, поднимающейся к пятке танкетке – это в барак-то! Эмма Эрдман, душа которой не вынесла избытка соседства полковничьих дочек – одноклассниц, сбежала из своего класса в палату к Ане и Елене; и Елена, с активнейшей авантюристической Эмминой помощью (и к крайнему смущению робкой Анюты), быстренько затусовали трехместную их палату под ночной квази литературный клуб: в темноте, часа в два ночи, приходили (вернее, в окно влезали) со всего лагеря элитарно-сегрегационно допущенные штучные молодые люди, которых Эмма с Еленой, посоветовавшись, постановляли считать «не вполне идиотами»: Вася, с черной мушкой над губкой, читавший всего Шекспира; Гоша, в профиль как две капли воды похожий на Бориса Беккера, умопомрачительно танцевавший в гладильной комнате днем верхний брэйк под «А-а-а-а-амадэус!» – ночами выразительно читавший на память монологи Жванецкого, – и готовившийся вот-вот станцевать, с матерью вместе, хаву-нагилу куда подальше, – и прочие хоть в каких-то интеллектуальных движениях мозгов замеченные типчики. Эмма же с Еленой, производя неизгладимое впечатление на нервных слушателей, в темноте, на два голоса, пересказывали на память жуткие рассказы Эдгара По. Отдельным пунктом программы было, разумеется, совместное пожирание присланных из дому консервов: тушёнка, кильки в томатном соусе, сюрреалистическое соло Гоши в кромешной темноте из дальнего угла: «Ой, включите свет! Я кажется ее глаз сейчас съел! Включите свет!» В ночь, когда случился очередной шмон – а именно – забарабанил вдруг в дверь противный довольно директор лагеря – женатый мужичина с бобровыми усами, имевший, кажется, какие-то сальные виды и на Эмму, и на Елену, – все незаконные завсегдатаи салона спрятались кто за тумбочку в дальний угол у окна (в окно было сигать поздно – выход из барака был слишком близок, незамеченными улизнуть бы все равно не удалось),

кто под панцирные кровати; директор колотился в дверь все настойчивее (клевета, что кто-то ему, мол, сообщил, что из палаты доносятся смешки мальчиков). Анюта с Еленой нырнули, в одежде, в постели; Эмма Эрдман, завернувшись в одеяло, имитируя, что она давно уже в пижаме и спит, пошла открывать дверь и делать изумленные глазки. Директор же, мельком в темноте осмотрев палату, наглейше забыл все свои лживые объяснения шмона, и, не зажигая света, хряпнувшись обширной довольно задницей в изножье на кровать Елены, принялся кокетливо с Эммой и Еленой болтать – как будто на дворе не три часа ночи. Ни зевки Эммы, ни вежливые покашливания с соседней койки Анюты, ни невежливые намеки Елены на не-пора-ли-тебе-выйти-вон – не помогали – и как скинуть гузна его с кровати было не ясно: пендаль влупить – вроде грубовато как-то. Когда беседы его сделались совсем уж какими-то двусмысленными – не выдержал Гоша, пригнувшись, прятаясь все это время в углу за тумбочкой:

– Валентин Матвеевич! – возопил вдруг Гоша, выпрямившись в темноте как призрак, во весть свой невеликий рост. – Да что ж это такое?! Спать уже хочется – а вы всё тут к девочкам кадритесь!

От шока, в стиле По, директор больше никогда по ночам скрестись в двери не осмеливался.

Неисправимо изгажена после его визита оказалась только одна материальная вещь. Когда Елена утром опустила ноги, жмурясь от недосыпа, пытаясь выудить из-под панцирной своей кровати шикарные, новенькие, плюшевые свои, на высокой платформе, домашние туфельки – и, наконец, нащупав, далеко-далеко, правый туфель, вдела мысок – более гадкого, материального олицетворения прошедшей ночи трудно было и придумать – кожи коснулось что-то склизкое, пакостное, холодное, – а, когда Елена с омерзением туфель подняла – оказалось, что еще и страшно вонючее. Чуть поглубже, у самой стенки под кроватью мирно спал (рядом со вскрытой банкой дефицитной печени трески и штопором), похрапывая, свернувшись калачиком, компактный Вася, – на которого директор сверху не вовремя – как раз в момент требующей астрономической точности церемонии вскрытия жестянки – репой своей сел, резко прогнув кровать и вызвав дрожь Васиной руки, с печенью трески, над туфлей.

Вот с тех самых пор Елена любые мягкие тапочки и ненавидела – как жуткие лживые вонючие капканы.

Дьюрька Григорьев, кстати, в ту, доисторическую Ново-Иерусалимскую поездку, как вспоминала сейчас Елена, лежа на верхней полке поезда Москва – Берлин, еще вообще на горизонте как взрослая личность не вЫрисовался – тусил, как хихикающая девчонка, со всякими подружками-девочками-тихонями – в дальней (ореолом ночных салунных интеллектуальных посиделок не затронутой и не освященной) палате, в противоположном конце длинющего барачного коридора – поигрывал в картишки, в самые глупые, причем, примитивные, карточные игры – и непритязательно-визгливо водился с теми, кого Эмма с Еленой и Аней на законнейших основаниях единодушно называли «малышней».

С этой-то малышкой Дьюрька и – что особенно смешило Елену – Аня, Аня, чурающаяся вообще любых шумных компаний – тоже! – где-то, в одном из дальних купе, сейчас и резались в детские визгливые карты.

Коленка неудобно втемяшивалась в стену, но сил перевернуться не было: в этой странной оживающей, экранной как будто, темноте, Елене казалось, что то нога, то рука, а то вся она целиком проваливается в какое-то изумительное, многогранное, объемное живое кино – границы купе размягчались, истаивали, утилизировались, упразднялись – и вот вся Елена оказывалась внутри галереи движущихся, говорящих картинок недавнего совсем своего прошлого – так, что даже когда наплыв очередных этих удивительных картинок на секунду прекращался – все еще казалось, что действие происходит где-то вот здесь же вот, на физически выстроенном впереди нее экране стены – неожиданно отвердевавшей и начинавшей саднить неудобно повернутую коленку: хотя за стенкой, на самом-то деле, вероятно, был не Новый Иерусалим, и не Темплеров, а ошивались ее же однокласснички – какая их порция и доза – неизвестно. Было там – по крайней мере, на фоне железнодорожного, ярко джазового какого-то пульса – тихо. Только сильно принимались скрипеть и ходить ходуном, в антрактах между кино (как только освобождались от звуков картинок ее уши), стенки купе – скроенные явно не по размеру незаконно врывающихся в них безмерных воздушных внутренних просторов – и теперь явно чувствующие себя на растопырках. И никаких знаков того, что проваливаниями своими сквозь стену Елена хоть кого-то в соседнем купе разбудила, не было.

Картинки последнего времени – со времен, пожалуй, Склепа – казались ей настолько живыми, что даже еще не застывшими, не закрепившимися –меняемыми: и когда она вспоминала – из-за выпрыгивающих через стену вдруг ярких живых кадров – бедного Цапеля, – а потом пустопорожного Семена – бессмысленную гадкую драму, не имевшую даже достойного актера – всё чудилось, что можно что-то сказать по-другому, что-то изменить – особенно в стыдные какие-то моменты: таковые жгуче хотелось либо переделать заново – либо сбежать из них навсегда.

Но одно было удивительно: теперь, когда крутилось заново, на ускоренной (дававшей, впрочем, внезапные фокусированные вспышки – как внезапные остановки на ярком полустанке пбезда) скорости, всё это недавнее совсем прошлое, Елена внятно видела в яркой ткани жизни этой звенящие подлинные ниточки и струнки Божьего призыва, к ней (даже в самых нелепых ситуациях, рукотворно ею же самой созданных), обращенного. И она даже рассмеялась, когда увидела вдруг – с благотворной дистанции – что шла она – словно дремучий древний человек какой-то! – сначала будто через античность: через детское какое-то восхищение античной красотой лица Цапеля, потом – через невнятное, но отчетливо тревожившее, поиском наполненное, увлечение философскими книгами, а дальше – подойдя вплотную к вере – чуть было не свернула в тупиковый аппендикс какой-то! – вместо Бога обоготворив вдруг приведшего ее на Пасху Семена, для которого, как ни горько было теперь это сознавать, похоже, ничего (кроме великолепного полузапретного внешнего обряда – которым, вдобавок, вполне можно было щегольнуть перед девушкой) происходящее не значило, и никакого влияния на его реальную жизнь (и уж точно на выстраивание отношений с Еленой) чванливое величание себя «верующим православным» не имело.

Вспомнила переживания свои из-за Семена, церковь, Пасху, окно его, колокольный пасхальный звон, и изумилась: «А вот послушалась бы Крутакова – и начала бы рассказ про Семена писать – в тот момент, когда еще по уши была в действии, в переживаниях – и получился бы рассказ не о том! Совсем не о том, что так явственно видно теперь – с горки крещения!»

Соблазны – и, напротив, внятные звуки Божьего зова – распознать сейчас, живые картинки эти заново разглядывая, было так легко! – и,

казалось: ну обойди же искушение, обойди лукавую имитационную ловушку – останови на секундочку время – выйди за рамки происходящего – представь себя – вот как сейчас! – в будущем – лежащей, в полной безопасности на верхней полке джазово скрежещущего поезда (вот, опять, с резким скрежетом, остановились!) – и не будет мук, и высвободится время для чего-то настоящего – только и ждущего верной от тебя воли! Но так трудно почему-то было избежать ошибок, находясь еще в потоке жизни! Да, могла пройти этот путь лучше – но прошла как прошла... А все-таки – вот он – с самого первого дня гастролей Склепа в их школе, с дрогнувшего сердца, с внятного резонанса начавшийся – прослеживался теперь в безумии жизни – когда глазела она во все глаза на близкое прошлое – Божий призыв, пробудивший нечто, как будто бы записанное в ее сердце раньше – словно бы свечу зажженную Божьи ангелы к манускрипту поднесли – так что Елена смогла прочитать в самой же себе, в сердце своем живыми словами записанное от вечности, самое важное, сокровенное, не от мира, а от Бога унаследованное – и потому откликнувшееся на призыв сразу же.

И как дивно было вспоминать опять благословенных Божиих герольдов – Склепа и Татьяну – доставивших ей личное приглашение в Божье Царство! Гонцов-то действительно засылали к ней одного за другим! «Да-а-а... Ангелам на небесах пришлось, наверное, потрудиться! – улыбаясь в темноте, подумала Елена. – Судя по сорванному с петель рукаву жюстокора Склепа – и дырам в капроновых колготах Татьяны – снаряжали на небесах посланников действительно экстренно: по принципу – «так, кто там у нас есть поблизости под рукой? Кого можно срочно послать?» Видимо, приглашение надлежало вручить действительно немедленно же, безотлагательно! Всеобщая мобилизация сынов и дочерей Царства!» И дыры в Склеповой и Татьяниной одежде до слёз виделись теперь так, как видятся они на небесах – как благословеннейшие наградные золотые доспехи и латы герольдов Великого Царя! Именно.

Ухнув вновь сквозь стену, Елена вдруг увидела двух с лишком метрового смолянб-волбсого Склепа – и миленькую Татьяну с неземной полуулыбкой – в удивительном, живом, вне времени и пространства сотканном воздушном храме – с атрибутами их исповедничества (как, по объяснениям Татьяны, рисовали вдревль, с

узнаваемыми атрибутами, святых и мучеников на иконах – или как запечатляли их скульптуры у католиков) – и у Склепа атрибутом этим, к тихому смеху Елены, оказался вытянутый в руке баллончик с дезодорантом «Интимный», а у Татьяны – все те же дырявые колготки. Все же ярчайшие моменты – все драгоценные камни пути, приведшего Елену к крещению, все личные ее, между ней и Богом остающиеся, чудеса, были в этом воздушном лучистом храме как изумительные, живые, в воздухе витающие видео-фрески – в действие которых можно в любой момент заново входить, как в вечности!

И теперь, к витающим в небе фрескам в храме этом прибавился еще и Темплеров – атрибутом коего был он сам, вернее – витающие в темноте его освещенной лишь настольной лампой комнаты глаза, с ужасающими черными кругами усталости и измождения: Елена, чуть подковыливая на неудобных туфлях, входила, вслед за его матерью, в его педантически чистую, аскетичную комнату, и робко садилась на самый краешек круглого каштанового стула. Темплеров отрывался от работы, беззвучно клал шариковую ручку на лист бумаги, разворачивался к ней и завывным, но крайне тихим голосом тянул (на ее вечные извинения):

– Да ну что вы...

Темплеров прямо и просто говорил о первоосновах: так, о бессмертии души Темплеров, с точность гениального математика, замечал:

– Дык это же очевидно: раз уж я попал во всю эту передрагу...!

А когда Елена, смущаясь, призналась – ему, члену заокеанской какой-то академии наук, автору блистательных (как уверял Крутаков) работ в таких неброских сферах высшей математики, как бесконечномерные топологические векторные пространства и их отражения, – что она-то «математику от всей души ненавидит» (имея в виду при этом, разумеется, туповатую скандальную Ленор), а, вспомнив, как тщетно Аня учила ее экономить деньги и считать мелочь в кармане – добавила еще и, с разыгравшейся честностью, что и вообще считать не умеет и не любит, – Темплеров, не моргнув глазом, радостно возразил:

– Дык и я считать не умею вовсе... Это же – другое!

И от этого загадочного и взлетающего «другое» вспыхивали вдруг в воображении какие-то запредельно интуитивные высоты – ни к

счетоводчеству, ни к Ленор с белокурым шиньоном, никакого отношения не имевшие даже отдаленного, – высоты трюков умозрения, в которых Темплеров был как дома.

Когда же Темплеров загорался вдруг каким-нибудь спорным вопросом, и из-за робости Елены разговор бесповоротно обращался в его монолог, математически строгое – и в то же время старорежимно богатое построение фраз Темплерова – вызывало заполошный восторг. Композиционная сложность и отдельных фраз, и целого, не дробимого (по единству родившей его мысли), законченного устного эссе, которое тут же, с ребячливой простотой, Темплеров выдавал – была такова, какая может быть присуща только письменной речи – когда, начиная первую фразу, Темплеров точно знал, на какой смысловой ноте закончит фразу седьмую, пятнадцатую, тридцать первую – линию речи Темплерова можно было продлить до бесконечности – и быть уверенным, что нигде фраза не провиснет, никуда не вкрадется пустота – и если и оборвется где фраза, то будет диктоваться это строгим, математически выверенным ритмичным стилем и лапидарностью мысли – а не скудостью оной, – и в то же время невероятно было слышать, что зазора между внутренним и внешним человеком, – как и между внутренней искрой мысли и устной речью (каковой зазор у Елены, по ее собственным ощущениям, был огромен – и который-то и мучал ее всегда невероятно) – у Темплерова будто бы и не было.

Дикция Темплерова, чуть плывущая от торопливости и избыточности подгоняющего изнутри слова́ смысла – тоже была своего рода жемчужиной, родившейся в герметическом заточении – и рассчитана была явно не на внешних людей, а на Единственного, запредельно понятливого Собеседника, доверительных разговоров с Которым надзиратели не могли предотвратить в карцере.

А когда Елена решалась хоть что-нибудь произнести в ответ – то до боли стыда, до ломоты в кистях рук, с ужасом слышала, как ее собственные слова получают какими-то калиброванными, форматными – не как внутри.

Уходя от Темплерова, Елена каждый раз некоторое время пребывала в мрачном настроении: ей казалось, что шестнадцатилетняя ее жизнь прожита зря – и казалось уже даже, на фоне Темплерова, что все время, всю жизнь свою, она только и делала, что адаптировала себя к окружающим идиотам, опрощая внутренние бесконечности до

житейски приемлемых ушами недалеких слушателей форм, – и, что, через силу играя в эти великодушные поддавки, настолько уже привыкла к априорной этой форе, к этому (льстящему собственному самолюбию) зазору – что настоящие мускулы духа, души и интеллекта атрофировались! И тут – когда казалось бы можно разговориться без мирских купюр – на нее нападали приступы придурковатой робости и клинической немоты.

Елена уже расплакаться была готова. Да еще и в один из вечеров увидела случайно на столе у Темплера его антисоветский «советский» паспорт – великолепно разодранный им – рваной колеей по жесткой обложке-то! как только умудрился?! и не известно еще при каких героических обстоятельствах! – ровно напололам! И все ее собственные церемонии с дезинфекцией герба преступников росписью Пола Маккартни – да и все ее нестрашное школьное диссидентствование – показались моментально Елене таким стыдным детским лепетом!

Жгучая боль, ощущаемая ею от всего этого, была примерно такой, как если бы вдруг отловила какого-нибудь живого носителя арамейского языка времен земной жизни Господа – и теперь была от того, что вместо того, чтобы всю жизнь изучать арамейский, когда и время было, и силы – зачем-то вместо этого жизнь потратила на изучение языка земного отребья. Даже друзья – на фоне сверкания Темплеровской интеллектуальной и духовной роскоши – казались страшно советскими!

Ан нет – приходила на следующий день в школу – видела Анюту, Дьюрьку – и с внутренними слезами благодарности Господу, с улыбкой, и со счастливым жаром в сердце, каялась в минутном своем снобизме: Дьюрькина неподражаемая вспыльчивость, Дьюрькино веселое дружеское целомудрие, Дьюрькина традиция краснеть, как томат, по любому поводу – и Анютина близорукая мечтательность, Анютин вкус к живописи, Анютина удивительная, чуткая безоговорочная заботливая любовь – все эти драгоценнейшие драгоценности, которые Елена так в друзьях любила! В конце концов Елена сказала себе, что друзья – разные, как звезды – но равно горячо любимые – должны как звезды и сиять – и что при приближении к любой из этих звезд возможна турбулентность – которая, однако, света их ничуть не умаляет.

По большому счету, в эти последние – перед отъездом в Мюнхен – десять дней – взрывающиеся от насыщенного, простого и сложного – бурного – и молитвенно-плавного – всё одновременно! – внутреннего счастья, даже бедная Анастасия Савельевна настроения всерьез подпортить не могла. Видя, как Анастасию Савельевну колбáсит от завтрачных, обеденных и ужиных молитв – чтобы не сводить совсем уж ее с ума, Елена, из соображений человеколюбия, начала молиться, перед тем как идти есть, в своей комнате, затворяя дверь – и только потом уже выходила в кухню – и ограничивалась тем, что кратко осеняла себя крестом.

Карикатура на гонения на ранних христиан продолжалась. Анастасия Савельевна с криками в истерике выносилась из кухни даже и от крестного знамения.

В следующий раз Елена попробовала другую методу: физически крестилась и молилась в комнате, а потом, выйдя в кухню, только внутренне творила крест – и молилась, внутренне прося Божьего благословения и помощи – и в том числе для Анастасии Савельевны – уже молча, за столом.

– Ууууу, юродивая! – немедленно же, опять схватив свою тарелку и выскакивая из кухни, разоралась Анастасия Савельевна. – Я же вижу, что ты, даже когда молчишь молишься! И эта улыбочка твоя счастливая, юродивая! Чему ты радуешься сидишь, а?! Уууууу... Юродивая! Видеть не могу! – и на полную громкость включила у себя в комнате, как какую-то известную, знакомую защитную бетонную стенку, дурацкий телевизор.

А Елена, быстро доев сырники с Ужаровским черносмородиновым вареньем вязкой долгой варки, дохлебав чай и выйдя в прихожую, натягивая кроссовки, с ужасом осознавала, что ведь выкрики все эти материны – не Анастасии-Савельевнины, не из сущности Анастасии Савельевны, не из Анастасии-Савельевниного сердца ведь – а что действительно въелся в несчастную Анастасию Савельевну, впитался в ее поры, коллективный советский бес – атаковавший на протяжении всей Анастасии-Савельевниной жизни не только ее, но и всю нацию – через глаза, уши, телевизор, радио, на работе, в школе, в детском саду – везде! – эдакий вездесущий демонический геноцид!

– Куда собралась? А?! – выскакивала вдруг из комнаты Анастасия Савельевна. – Я ведь так и чувствую, что ты с лагерником этим встречаешься!

И Елена, с удивлявшей ее саму любовью и соболезованием, блаженным беззлобием изнутри наполняясь – зримым, лучезарным действием благодати, после крещения, в общении с Анастасией Савельевной, Елену не покидавшим – от всего сердца обнимала мать.

– Не лезь ко мне со своими юродивыми объятями! – раздраженным, не своим голосом, в спазме какой-то испуганной злобы, даже тембр (прекрасный, бархатный – в обычной жизни, низкий тембр) уродовавшим, сдавливавшим, фальшивые нотки вызывавшим – вскрикивала Анастасия Савельевна. – Ты мне отвечай: куда собралась шляться опять?

– В церковь, мамуля, – целуя ее в щеку говорила Елена.

И, оставив растерянную, рассерженную, издерганную, испуганную, злобную, несчастную, Анастасию Савельевну в прихожей, тихо прикрыв за собой входную дверь, выходила вон.

Дойдя до грязно-серебристого телефонного козырька, быстро звонила Темплеру, испрашивала разрешения забежать к нему в гости – совсем не надолго, чтобы после этого как раз успеть к вечерней службе в церкви – внутренне сосредоточенно каясь за человеколюбивое вранье для спокойствия (хотя и крайне относительного) истерящей матери.

В церкви в эти дни она почему-то особенно явственно чувствовала минутами присутствие рядом бабушки Глафиры: войдя морозным ясным утром в храм – прогуляв, заявившись в будний день вместо школы, когда еще мало было народу, и свечи на сверкающих стойках только просыпались, жмурились, щелкали, – и пройдя перед центральным алтарем, Елена как-то разом почувствовала, что Глафира вот здесь, с ней, справа от нее стоит, улыбается ей, обнимает этой улыбкой.

А ночью после этого увидела Глафиру во сне:

– Леночка, скажи маме, что я видела ее прошлым летом, когда она стояла у калитки! – улыбаясь, попросила Глафира – и артритной своей перекрученной родной ладошкой погладила Елену по голове – тут же из сна куда-то рассеявшись – будто приходила исключительно только для того, чтобы это сказать.

А когда Елена матери это, слово в слово, как Глафира и просила, пересказала, – Анастасия Савельевна почему-то громко разрыдалась и, не сказав ни слова, ушла к себе в комнату. А Елена растерянно вспомнила сразу – так зримо – эту древнейшую, не известно на каких ключицах державшуюся, под буйной нахлобученной шапкой цветущего хмеля, косую калитку, крякавшую как утка – пять вертикальных, приколоченных с пробелами, широких, с острым верхом (как на сказочном тыне) дряхлых досок (изнутри – две необтесанные бревенчатые доски поперек – и две по диагонали) – давно изменившие свою привычную земную сущность на какую-то каменную, булыжно-валунную, ветрами и грозами шлифуемую ипостась – темно-мокро-серые, сплошь обросшие водорослями ветрбв – мхом.

Задумчиво пожирая, вечером, неосторожно предложенные ей Темплеровской матерью очень сухие, крошащиеся (причем, по преимуществу, прямо на его письменный стол) маленькие квадратные магазинные песочные рулеты с микроном повидла внутри (предложенные именно что неосторожно – потому что в задумчивости Елена, даже в гостях, невзирая на неоднократные Анастасии-Савельевнины, с самого детства, воспитательные беседы, могла крайне быстро с невольным, неосознанным, лунатическим аппетитом, уничтожить любые по количеству запасы угощения), неудобно притулив кружку на углу стола, и ёжась от прохлады, царившей в комнате, Елена рассредоточенно наблюдала, как сам Темплеров, в торце, поглощает, с видимым шейным спазмом при каждом глотке, еду с тарелки: кажется, совершенно не замечая ни вкуса едомого, ни вообще *что* конкретно он ест – лишь бы скорее с едой расправиться и вернуться к разговору.

Темплеров, как очень быстро выяснилось, оказался безумно, до романтического личного экстаза, влюблен в Россию: ту, которая существовала до большевистского переворота 1917-го – и рассказывать о той, несуществующей в материальном пространстве, России мог он без умолку – с такой яркостью и яростностью, словно сам там побывал.

Николая Второго Темплеров ласково называл «Государем» – и с удивительной приглушенной мелодичностью, вкрапливая – взамен забытых слов стиха – свои, чуть заметно раскачиваясь, в такт ветхим

виршам, в ярко-желтковом зареве настольной лампы, в полутьме комнаты, с той стороны письменного стола (только что, минуту назад прекратившего быть обеденным), и вперившись в Елену немигающими глазами, напевно поминал «эмалевый крестик в петлице».

Темплеров вообще оказался из тех, кто на циферблат смотрит в поисках поэзии, а в книжку заглядывает, чтобы справиться который час. Поэзии, к некоторому недоверчивому ужасу и разочарованию Елены, искал Темплеров также и в политике (в которой, на взгляд Елены, единственно важным, ценным и достойным было исключительно правозащитное, христианское преломление), и в еще более эфемерном, (ничего, кроме как игру разновеликих гордынь падшего мира, на ее-то простосердечный взгляд, не отражающем) предмете, как философия истории. Как ей казалось, подобное приложение гениального Темплеровского интеллекта – это все равно, что использовать изощреннейший телескоп для изучения и лечения прыщей на роже безнадежного, запойного пьянчуги, находящегося на последней стадии белой горячки. Внешняя, секулярная история человечества, скорее, в ее воображении, походила на прогрессирующую в своем безумии галерею гибельных примеров того, как делать не надо – и иллюстрировала маниакальную, самоуничтожающую тенденцию сознательно отпавшего от Бога мира. И, по сути дела, ей лично, история человечества была интересна только редчайшими и откровенными исключениями: или, попросту говоря – откровениями; феноменами, когда в ход (замешанной исключительно на похоти власти, гордыне, жестокости и прочих милых качествах, которые обычно ставятся людским стадом вождям в заслугу) блевотной человеческой драчки – вдруг вторгалась высшая сила, высшая Божья логика – абсурдная с точки зрения земной истории. Но феномены эти в каждом из случаев такого вторжения были неповторимы, единственны – и зачем же тогда тратить силы на какие-то рассуждения около, на попытки классификации, и построения систем? Чудо никогда нельзя вдолбить в систему, нельзя чудо подчинить, поработить себе и вызывать его потом по собственной воле! Чудо не приручается! А только чудо и интересно. И никакого отношения к звериной возне, зовущейся человеческой историей, Чудо не имеет – оно этой истории внеположенно – и мирская история только

и становится – ровно на миг! – интересна – в этих странных редчайших (и противных всякой земной геометрии) точках пересечения двух несоприкасающихся реальностей, когда Бог напрямую вторгается в дела мира сего, чтобы не перебили всех оставшихся в живых исповедников – и создает кратковременные защищенные деланки – чтобы праведники могли вздохнуть свежего воздуха, перевести дух – громко произнести Божье имя – и счастливо опять погибнуть – попав в кровавые зубы зверя человеческой истории.

Темплеров же со страстью исповедовал идею катехона – жестко государственническое и имперское его понимание – и несколько все же так влюблен был в земной звон и блеск славы Римской империи – хотя и уверял при этом, разумеется, что влюблен исключительно в просвещение и цивилизацию, мечом империй несомые – в противовес варварству. Для Елены же, если и могла попытаться оправдать империя Римская свое материалистическое, кичливо-языческое существование – то это только тем, что была поставщиком для апостолов более-менее сносных дорог – факт, который так же странно было бы ставить империи в заслугу, как заявлять, что за гениальный классический роман мы должны благодарить не автора, а вредителя, паразитирующего на листьях дуба и плодящего там наросты-галлы – пущенные москательщиком на чернила.

«Бог ведь никогда никого не спасает пачками – не спасает ни расами, ни классами, ни империями – да даже и по двое-то никогда не спасает: «один возьмется – другой останется!», спасение Божье всегда индивидуально, всегда обращено к конкретной личности. Кроме того, Спаситель несколько раз специально подчеркивает, что Божье Царство радикально противоположно всем царствам земным – у Бога нет ничего общего с земными царями, с их методами; земные цари, судя по явственным интонациям Христа, Ему глубоко противны! Так зачем вообще тогда про всю эту злобную звериную государственную тягомотину рассуждать? – огорчаясь, думала Елена. – Бог ведь даже и слезинку не роняет, когда рушатся империи – вся эта звенящая гордыню мишура князя мира сего. А наоборот, от гибели империй Бог еще и вздыхает с облегчением! Но Бог възрыдаёт горькими слезами над смертью каждого любимого Им человека – как рыдал Спаситель у гроба Лазаря, даже зная, что через несколько минут воскресит его». Но как только, горячась, Темплеру решалась что-то возразить – тут же

пугалась отработанных историсофских лабиринтов Темплеровских ответных изысков, и решала, что в общем-то спорить бесполезно. Кроме того, всегда с трепетом думала о том, что тюремным исповедничеством своим Темплеров, на жизнь вперед, заработал право на любые азартные игры ума – даже с проигрышами, и на любые, даже вредноватые, страсти интеллекта.

X

Чувствуя, что щека становится рельефно-малиново-махровой – но все-таки радуясь, что захватила с собой, впихнула в чересплечную большую нейлоновую сумку на молнии (в общем-то полупустую – вся имеющаяся в гардеробе любимая одежда, в основном, была на себе) забившее сумку до краев махровое большущее полотенце (половину которого теперь – из брезгливости – использовала вместо вагонных полотенец, а вторую – вместо наволочки: потому что иначе на перекрахмаленные, жесткие, как кусок пластмассы, все в крахмальных ошметках железнодорожные наволочки давно бы уже началась аллергия), Елена все никак не могла сосредоточиться ни на обступающей ее реальности купейной темноты – ни на благочестивой мысли, что надо бы проведать взашей выгнанных картежных дебоширов, – и всё крутились и крутились перед глазами волшебные эти, московские, последние перед отъездом дни – казавшиеся теперь отдельным, избыточным, к крещению придаренным, даром.

Из закров Темплера незаметно и естественно переключал, в бессрочное ее пользование, за рубежом изданный «Катехизис» (с великолепной мягкой шершавой обложкой, цвета и фактуры белогвардейской шинели), и красненький квадратный американский томик «Евхаристии» Шмемана. Кроме того, Темплеров пообещал «устроить» так, что, после ее возвращения из Мюнхена, ей будут класть в почтовый ящик в большом конверте парижскую «Русскую мысль».

Купаясь в роскоши – разбирая еще и Крутаковские подарки – требовавшие блаженного пословного перевода с английского – Елена не знала, за что взяться в первую очередь – и взялась, в результате, разумеется, за самое непонятное и сложное. Ночи – бессонные

благословенные чтецкие ночи, в которые высыпáлись с неба щедрейшие богатства – вернулись – в прежней насыщенности. Мир те, чтущий! Мир те, благовествующий! Обнаружилось вдруг, при первой же выборочной наугад выхватке из Крутаковской английской «Текстологии Нового Завета», что Апостол Петр – звался – до Господня призвания – никаким не обтекаемо-интернациональным Симоном, а еврейским забавным именем «Шимóн», а у Фомы – «Близнец» было вовсе не дополнительным прозвищем, а дословным переводом слова «Фома» с еврейского языка, а отвержая слух и речь прежде глухонемому, Христос говорил, оказывается, никакое не мягкое «еффафа», а жесткое заклинание на иврите: «Ипатах!» или на арамейском: «Итпетах!» – лишь потом, милым фусюканьем греческого койне, транслитерацией смешно переданное. А Нафанаил невзначай оказался Нетане́элем – с удивительным значением на библейском языке.

И везде, везде в тексте Евангелия (когда вчитывалась, со словарем, в «Текстологию») начинали блестеть такие яркие и неопровержимые знаки реальности той, аутентичной, маленькой, местечковой почти, еврейской жизни – непрестижной (а пуще сказать – ненавидимой) бунтующей все время, непокорной – хоть и числимой римлянами занюханной, провинции Римской империи – из которой-то мягкой местечковости и предпочел быть родом Спаситель мира. Полуграмотные еврей-рыбари рядом, призванные Им – хотя уж мог бы очаровать римских тонкообразованных вельмож! И лишь один «умеющий считать», встроенный в систему – и за это глубоко презираемый всеми нормальными богоизбранными еврейскими голодранцами – «мытарь» Матфей, побросавший, на радостях (еще бы – смыть такое презренное, как богатство и работу на Римские оккупационные власти, – пятно), монеты, и побежавший, хитон задрав, пыль сандалями вздыбливая, со всех ног, сердцем узнав голос Учителя, за Ним по дороге.

Жесткий каламбурчик Иоанна Крестителя (парня, с простым еврейским именем Йоханан – тоже преисполненным библейским смыслом) уж и вовсе развеселил! Выяснилось вдруг, примерно в полчетвертого утра, что когда Иоанн Креститель грозил нерадивым сородичам (Авраамовыми детьми себя нарекающим, и надеющимся быть спасенными просто по праву иудейской крови), что если они

будут зазнаваться, Бог «из камней может воздвигнуть детей Аврааму» – оказывается, в жизни-то, произнося это, еще и звучно и остроумнейше использовал игру ивритских или арамейских слов – где «камни» и «дети» – как сборные кубики, в которых всего на одну перестановку кубика разница – и превратить одно в другое действительно можно за секунду.

И уж в буйный восторг привело то, что обнаруженный в Египте, на базаре, усатым английским любителем древностей, крохотный, в девять на шесть сантиметров, клочок бумажки, разом перечеркнул умствования той части богоборцев-ученых, которым зачем-то до смерти, до зуда (как следовало из книги) хотелось отодвинуть датировку написания Евангелия от Иоанна куда-нибудь подальше, в какой-нибудь задний вагон второго века. Рассматривая Райлэндский лоскуток папируса, форма которого, на репродукции фотографии в книжке, была как нежная машущая читателю ручка – Елена вдруг увидела, что ручка-то эта прибита к кресту, пробита гвоздем, скорчена – и все равно машет в нежном любящем приветствии – как роспись Христа. И такими знаковыми казались обрывки слов, которые Христос (несомненно, намеренно – ведь властен же Бог – даже в этом падшем, враждебном Богу, украденном у Бога сатаной мире, – властен же Бог даже здесь устроить так, чтобы хотя бы слово Божие в письменах дошло до жаждущих именно в таком виде, как Богу угодно!) предусмотрел, небесным авансом, разместить на этом, в двадцатом веке, веке беспрецедентной войны против Бога, найденном рукописном клочке (обнаружение которого разом доказало, что Иоанново Евангелие было написано не позднее, чем в конце первого века – максимум – по самым натянуто-поздним оценкам, – а широко распространено было, в списках, в самых отдаленных от эпицентра Божественного взрыва местах, уже в начале второго века), чтобы еще раз тихо повторить обезумевшему, во всех первоосновах сомневающемуся, суицидальному богоборческому миру: «Всякий, кто от Истины, слушает гласа Моего». Фраза – как отметина на пробитой гвоздем ладони.

«Все правильно, все так и должно быть – если люди отказываются слышать Бога напрямую – Бог предлагает им разгадывать Себя как лингвистическую загадку...» – размышляла Елена. По ее-то личным ощущениям, счетоводческие споры о сроках написания Иоаннова

Евангелия, вообще были праздными: ровно потому, что подходили ученые к определению даты, как она видела из текста толстенной книги «Текстологии», с какими угодно ложными инструментами – но только не с единственно верным инструментом личного духа. Евангелие от Иоанна настолько светилось изнутри, освещенное, несомненно, глазами непосредственного свидетеля жизни Христа, настолько неподдельными были совершенно репортажные, максимально личные, детальнейшие подробности – кто куда пошел, кто кого встретил первым (которые не просто невозможно было бы подделать – а просто подделывать было бы незачем – потому что зачастую они ничего в содержательном смысле не добавляли – и даже выглядят, с точки зрения сюжетного содержания, излишними, избыточными – а просто являются отпечатком личных воспоминаний – причем воспоминаний крайне *свежих, недавних!*) – что Елена с улыбкой думала о том, что совершенно не удивится, если в тот миг, в который разрешатся все загадки (а миг такой, как она не сомневалась, настанет) выяснится вдруг, что четвертое Евангелие Иоанн вообще написал самым первым, сразу же после Голгофских событий – а остальные трое авторов составляли свои Евангелия, пользуясь едиными краткими записями деяний и изречений Христа – чтобы донести Благовестие до разных, удаленных друг от друга общин – вкрапывая в них рассказы других непосредственных свидетелей.

Корпя над выборочным переводом дальше, Елена посмеивалась над болтливом (и в прямом смысле «до смерти» любопытным) непоседливым эрудитом Плинием Старшим и его Младшим племянником – которые оба, заходясь от любви к истории внешней и активничая, умудрились, сами того не допетривая, случайно попасть в истинную, Божью историю – как муравьи в янтарь Вечности: Плиний Младший – тем, что в ничем не приметном 111 году кляузничал императору Траяну на христиан, собирающихся на совместную трапезу в «день солнечный», и спрашивал, как именно с ними расправляться, а Плиний Старший – тем, что задолго до этого, гляючи на общину неудачливых предтеч в Кумране, дал гениальнейшее, на все века вперед, определение монахам: «самый удивительный, вечный народ, в котором никто не рождается, но который вечно обновляется».

Выбрать монашеский путь? Быть иноком в миру, нести свою инаковость как крест? В эти дни Елена еще и еще раз, с волшебным

чувством, что все пути открыты, что нет ничего невозможного, думала о том, чего же хочет в жизни. И то – в сладких мечтах видела себя графом Тишендорфом, находящем в мусорном ведре египетского монастыря на выброс приготовленные древнейшие куски манускрипта Библии, то воображала себя Агнес Льюис, вовремя схоронившей мужа, и в дикой жаркой стране по буквам разбирающей древний язык на палимпсесте, а то – приклеивала себе бороду и пробиралась на Афон. А то – и вовсе видела себя ортодоксальной женой прекраснейшего, с черной густой бородой, яростного христианина – с восьмью детьми; при этом сама она в воображаемой идиллии одета была в длинную юбку до полу – а черно-бородатый мужик – выглядел почти как христианский хасид, причем, присмотревшись повнимательнее к этому образу в мечтах, Елена и сама над собой рассмеялась: потому как в черно-бородатом избраннике заметила вдруг Крутаковские хулиганские вишневые глазищи.

Расхохоталась и когда в Крутаковских машинописных страничках английского перевода православного Богослужения (пробежав все реплики – которые, после церковно-славянского, по ритму, внутренне узнавала уже на ощупь – без перевода, как стих, зная, что где должно быть по смыслу) обнаружила вдруг удивительную фразу: «Guard the doors!» – реплику священника, непонятно к кому обращенную. Начав вспоминать – что же произносится в этот момент богослужения на церковно-славянском? – Елена явственно услышала в памяти важным сочным баритоном выпеваемое: «Двери! Двери! Премудростию вонмем!» – и поняла вдруг, что совершенно неправильно эту фразу во время богослужений понимала: придавая, в воображении, что-то мистическое этому возгласу про «Двери!» – как некий вход в Божье Царство, в который войти можно Премудростию.

– Да, имеются в виду самые натуральные двери! – как-то счастливо, лучисто разулыбалась Татьяна – в мягкой шерстяной тускло-коричневато-малиновой кофточке, в длинной юбке, с классным журналом под мышкой, чуть заметно перекатываясь с невысокого каблучка на мысок, застыв посреди непереносимо визжащего коридора, когда Елена, после бессонной ночи, прибежала к ней, спрашивать про недоразумение. – Когда были жесточайшие гонения на ранних христиан – они вынуждены были запирали двери перед тем, как готовиться к Евхаристии – чтобы никто из внешних, никто из

язычников, никто из репрессивных представителей властей, не ворвался в помещение и не осквернил священное преломление хлеба.

И Елена опять изумлялась тому, что на текст православного богослужения, как на пластинку, записалась та древняя реальность! Guard the doors! Значит, по-русски должны были бы восклицать: «Заприте двери!» или «Проверьте, заперты ли двери!»

Анастасия Савельевна, в эти, самые последние дни перед отъездом Елены, расклеилась, ходила по квартире с двумя ледяными компрессами – на лбу и на затылке – смешно прижимая мокрые холщёвые полотенца руками и жалуясь на мигрень, подстанывая, что невозможно же же же, чтобы, же, с минус десяти, же, опять, же, все растаяло, и подскочило до плюс пяти – что кататься на этих горках и жутких перепадах давления – с ума можно сойти; и как-то, из-за здоровья, что ли – то ли из-за чего-то еще – вдруг размякла, ругаться сил лишилась, а только причитала:

– Не верится даже, что ты за границу едешь... В стране ведь как рабы все всю жизнь прожили... А ты мир увидишь...

Накануне отъезда Елена, после церкви, гуляла одна, на Пушкинской: в матовом, многослойном тумане – молочные реки, кисельные берега; кисель у обочины, молоко в воздухе – и размышляла о том, как же смешно: вот, года два назад, она бы, как и остальные в ее классе, визжала от восторга от возможности выехать в Западную Германию – и вообще – куда угодно, на запад, в не-советский мир. А сейчас – почти физически трудно оставлять Москву – из-за того, что есть теперь здесь чудо: церковь. Щурясь на красные, зеленые, оранжевые яркие гуашевые брызги светофоров – расплывшиеся, из-за водянистости живописной среды, Елена, без всякого светофора, наискосок, по киселю, перебежала от кинотеатра на правую сторону Страстного, и мерно, замедляя шаг, пошла, невпопад, в разреженной спешащей черной вечерней толпе. Не успела пройти и до конца бульвара – как, не веря глазам, углядела впереди, метрах в десяти, с точно таким же ритмом (и, видимо, с точно такой же скоростью – раз не натолкнулась на него раньше) бредущего Крутакова, держащего руки в карманах джинсов, и чуть нахохлившегося, зябко поднявшего хрупкие плечи в кожаной своей куртке. Окликнув его – как ей казалось – очень тихо, для окружающего уличного шума, – Елена застыла – и когда Крутаков обернулся, ей на секунду показалось, что рад он этой

безумной, опять не сговариваясь, встрече – так же заполошно, как и она ему. Но когда, не вынимая рук из карманов, подшагал Крутаков к ней, против течения, с ироничной усмешкой на губах – стало ясно, что был это мгновенный обман зрения, из-за озарений цветного тумана.

– Ну, что, да-а-а-рррагуша? – без всякого удивления на лице, мелодично заграссировал Крутаков – заросший опять, с длинной черной щетиной на щеках и подбородке, – весело и нагло, будто разговор они предыдущий закончили секунду назад. – Удалось Темплеррррову тебя обррратить в монарррхистки?

– Вот еще... – обиженно процедила Елена, машинально делая шаг вперед.

– Что ж так? – не сбавлял сарказма Крутаков, шагнув вперед тоже, но тут же встал справа от нее, заступорив толпу.

– Крутаков, ну почему ты вот как всегда... – в сердцах начала Елена – но не закончила фразу, а вместо этого расстроено, размахнув рукой, так что женщина какая-то в толпе сзади заругалась, сказала: – Да потому что все проблемы у богоизбранного еврейского народа начались, когда они начали ныть Богу: «Дай нам царя, как у всех других народов! Хотим царя!» Бог прямо им сказал, что монархия совершенно Ему не угодна, что требуя себе царя – они отвергают Бога, отвергают прямое Божье водительство и закабаляют себя в рабство земным властителям. А у христиан вообще может быть только Один Единственный Царь – Христос.

– Осталась, значит, – иронично выпрашивал Крутаков, не трогаясь с места и чуть уворачиваясь от налетающих на него прохожих, – пррри своих демокррратических убеждениях?

– А кто тебе сказал, что я демократка? – язвила Елена, не понимая, почему вдруг Крутаков к этой дурацкой теме привязался.

– А какова же тогда твоя политическая позиция? – наклонив голову, встряхивая, дуралейски, длиннющими смоляными волосами, зыркал ей в глаза Крутаков – явно издеваясь.

Елене уже плакать хотелось от дурашливого этого, насмешливого Крутаковского допроса.

– Я за пророческое правление, – обиженно выговорила она. – Причем пророком в идеале должен быть каждый. Каждый должен общаться с Богом напрямую... – и двинула вперед по бульвару.

– Вот найдешь себе какого-нибудь юного фррица в Мюнхене – всю дурррь-то политическую из башки выдует! – расхохотался наконец Крутаков, беря ее под руку. – Нет, хотя, в немца ты, пожалуй, не влюбишься... Тогда в кого же? В негррра там в Мюнхенского в какого-нибудь?!

Елена, резко выдернув из-под Крутаковской руки локоть, развернулась к нему, чувствуя, как пунцово вспыхнули щеки от авантюрнейшей идеи:

– Женька, а ты можешь приехать завтра на вокзал – проводить меня? – и, выговаривая это, уже представляла себе, в каком отпаде будут все мальчики, да и девочки из класса, и – вот тогда уж – совсем не важно про что – пусть хоть про монархию говорит с ней перед поездом Крутаков.

– Еще чего не хватало! – издевательски на нее глянув, засунул опять, ёжась и позевывая, Крутаков руки в карманы джинсов. – Чтоб я тебе там всех женихов ррра-а-аспугал?

В купе становилось жарко. Топили – по интуристской, видимо, разнарядке – вдвое ядрёнее – наплевав на потепление. Вспомнив, что на столике внизу должен все еще (если кто-нибудь перед уходом не спёр) стоять смешной стакан в тяжелом железном подстаканнике, в который Елена, давным давно – неведомо сколько часов назад, набрала воды – кипятка – из сифона у проводницы, и поставила остывать, – Елена присела на корточки, растянула руки между верхними полками, и аккуратно соскользнула вниз. Железнодорожный стакан, к ее изумлению, не только был тут как тут, на уголке свисающей вперед, ярко-белой в темноте, крахмальной, хлопчатой салфетке – но и оказался еще горячим. Улыбнувшись зримой сжиженности этой времени, Елена, поджав ноги, уселась к окну – и, с удовольствием прижавшись лбом к холоду стекла, со странным, волнующим чувством вспомнила опять, что поезд неумолимо приближается к ржавому железному занавесу, и что эту метко запущенную стрелу никто уже не остановит.

Небо над Белорусским вокзалом, когда они отъезжали, было цвета растаявшего эскимо в шоколаде, упавшего с палочки в лужу; и как только отъехали, Елена, усмехаясь забавной, никоим образом не касающейся ее, внутренне, суете вокруг, вот так же, как сейчас, хлопнулась у окна – напротив взъерошенного Феди Чернецова с

черными бакенбардами, не снимающего громадную свою, на альпинистский рюкзак похожую куртку с искусственным мехом на отвороте – и громогласно эпатирующего Анюту. И только в блеклом (как внутреннее, утреннее отражение окна) боковом ракурсе, видела, как Дьюрька, увлеченно декламировавший колонку из «Известий», вдруг судорожно вспомнил про хозяйственность и джентльменство, порывисто вскочил, откинул, скомкав, газету, и начал молниеносно разбираться с раскиданным жуткими бедствием всехошних сумок на полу; и чуть приветливее усмехнулась Анюте, взявшей с полки полотенце, чтобы выгнать Чернецова как муху – и тут же, покрутив полотенцем в воздухе, с безнадежным лицом отложившей его обратно. Все эти утренние отражения были как будто бы в стекле – черном уже, ночном, слоистом, двухрамном – до сих пор.

Елена взяла со скатерки железнодорожный сахар – с хрустом разломила пополам голубой бумажный пенальчик, с поездом на обложке: два продолговатых, особой, железнодорожной формы кусочка сахара разломились ровно в середине. Сахар в темноте купе выглядел тоже, как и салфетка, изумительно белым. Решив, что грызть сахар приятнее будет, все-таки, когда вода в стакане хоть немного еще остынет, и можно будет запивать, Елена выела из обеих половинок сахарную труху – и приросла опять лбом к холодному стеклу, вставляя бегущим, рядом с поездом, в темноте оврагов, электрическим высоковольтным столбам ладонь меж ребер – для верности – чтоб через несколько часов железный занавес и вправду перестал существовать.

Вдруг, с диким грохотом и хохотом, с третьей, багажной полки, выкатился на противоположную верхнюю спальную полку Чернецов:

– Хрюй! Круто! Ты меня так и не заметила! А я с фонариком, за сумками, под курткой от тебя прятался!

Обмерев на миг от неожиданности, Елена моментально щелкнула ночничком в изголовье полки. Чернецов, взъерошенный, кудлатый, кадыкастый, с горбатым огромным носом (горбинка в самом центре), с нелепыми своими нагуталиненными бакенбардами, восседал на верхней полке и сверлил Елену глазами. В правой руке у него была канцелярская тетрадка, а в левой и вправду фонарик – потухший.

– Батарейки кончились!

– А ну вали отсюда! – расхохоталась Елена.

– Хрюююй! – не унимался Чернецов, как-то по-панковски-умело громко всхрюкивая всей носоглоткой и носом. – Ништтяяк! Я дневник сегодня решил начать! Первый раз в жизни!

– Какой еще дневник... Федя, вали, мы же договорились, что ты местами со Жмых махнешься....

– Нет, Ленка, ты послушай, что я написал! – вдруг перейдя на доверительно-интимный говорок и, вентилируя просторы жаркого купе носками, свесив ножки с верхней полки, раскрыл тетрадь. – Сел в купе. Компания подобралась прекрасная... Аня, Лена...

– Федя! – не выдержала Елена. – Что за чушь ты мне тут...

– Хрюююй! – взвыл Чернецов. – Это не чушь! Я, может быть, свои чувства тебе доверяю – а ты обзываешься... Это же дневник... Я, может быть, никогда в жизни этого никому, кроме тебя, не прочитаю!

– Федя, я ненавижу дневники... – встав, уже решительно, поняв, что само по себе это представление не кончится, Елена дергала Чернецова за штанину, пытаясь свергнуть с полки вниз. – Самый гнусный жанр...

– Хрюююййй! – молил, чудовищно деланно-плаксивым голосом, Чернецов. – Ну дослуш-ай! Ай! Ай! Щас упаду! Не дерг-ай! Ай!

– Федя, читать чужие дневники – это дурной тон... Я затыкаю уши! – дергала уже за обе парчины Елена – примериваясь, как бы поскорее, как только его сдернет вниз, мгновенно открыть дверь и его вышвырнуть.

– Хрюй! – вздернул ноги на полку Чернецов. – Хрюй! Но это же я сам тебе читаю! Прощу тебя! Ну дослушай до конца! Я тут немножко же совсем написал! Вот! Слушай! Сели в поезд... А, это я уже читал! Аня, Лена... Вот, вот, самое главное!

– Заткнись немедленно! – Елена, завязав Анино, и без того безобразно помятое уже вагонное полотенце, сделав из него лассо, пыталась словить Чернецовскую увиливавшую ногу.

– Компания подобралась... Всё время думаю об Анне Павловне! – быстро читал с листа, тараторя, отбиваясь от нее и уползая дальше к окну, Чернецов. – Я подумал: а училка-то у нас, классная руководительница – ничего! А что? Анна Павловна – симпатичная женщина! Почему бы мне не влюбиться в нее! Надо за ней начать ухаживать!

– Федя, если ты не заткнешься, я... – вымахивала его полотенцем Елена, одновременно пытаясь зацепить его ногу.

– Вот! Вот! Последние слова! Дослушай! – орал Чернецов, забившись в самый-самый угол и перманентно делая ногами быстрые пассы, чтобы не попасться в лассо. – «Я сейчас лежу в темноте, под курткой, с фонариком. Спрятался под курткой на багажной полке. На верхней полке лежит Лена. Она меня не видит. Лена всех выгнала из купе. Сейчас заметит меня, и тоже...» Ай! Ай! Не надо! Ай! – с фиглярским грохотом Чернецов прыгнул на пол, изображая, что это Елена его скинула – и, панкуя уже без всякой совести, свернулся на ковровой дорожке калачом. – Ай! Не бей меня! Вот буду теперь тут лежать у твоих ног и страдать!

Елена быстро отщелкнула замочек двери.

– Буду лежать – и кусать тебя за ногу! – воскликнул вдруг Чернецов – и чуть было не впился через джинсы в ее лодыжку.

Вовремя отдернув ногу, выскочив из купе, в ярко освещенный коридор, думая о том, что еще миг – и пришлось бы, вероятно, делать прививки, Елена пыталась понять, как же Чернецов умудрился спрятаться – вроде, мотался туда-сюда, пока она выставляла картежников... Когда ж он успел?

Чернецов, тем временем, из купе и не думал выметаться: на безумной скорости залез еще раз, по раскладной лестнице, в изножье, на верхнюю полку, вытянул, с барабанным звуком – из своего бывшего укрытия – с багажной полки – зачехленную гитару, сиганул вниз и, усевшись у самого окна на нижней полке (напротив того места, где Елена всего пять минут назад так расслабленно сидела) экстренно принялся, речитативным перебором, тренькать – и вдруг трогательно запел:

– Я самый плохой! Я хуже тебя! Я самый ненужный! Я гадость! Я дрянь! Зато! Я! Умею! Летать!

Елена невольно улыбнулась: песня ее любимого панкующего философа, гениального барда-бессеребренника с оксюморонной фамилией Мамонов – единственного, кого из современных музыкантов еще можно было в последние годы без отвращения слушать.

– Яааа – сеееерый гооолубь! – вытягивал, подражая Мамонову, Чернецов, под гитару.

«Что ж, Чернецов уж точно не хуже других в классе – он, по крайней мере, только притворяется идиотом», – усмехнулась Елена. И тут же услышала сзади чей-то бубнивый, сонный, нарочито ворчливый голос:

– Что вы тут расшумелись вообще?! Спать не даете! Вы не одни в вагоне, между прочим!

Резко развернувшись, Елена увидела Александра Воздвиженского, который, покачиваясь, шел куда-то – видимо в туалет. Воздвиженского знала Елена с детства – был он в параллельном классе, из которого чуть позднее, в изнеможении от радостей общения, панически сбежала Эмма Эрдман. С Воздвиженским же, единственным из всего класса, Эмма Эрдман – в самом детстве – дружила – кажется, потому, что родители Эммы считали крайне интеллигентным поддерживать дружеские отношения с мальчиком, родители которого, когда он был маленьким, жили в ГДР. Много раз, в первом классе, Елена с удивлением наблюдала как Эмма Эрдман и Саша Воздвиженский возвращались зимой вместе из школы – в совершенно идентичных гэдээррошных красно-синих болоньевых куртках (у Эммы были какие-то родственники – потомки старых коммунистов – в ГДР тоже, присылали передачи с предметами первой необходимости, и теперь типовой гардероб был зеркален Воздвиженскому), в совершенно одинаковых сине-красных гэдээррошных болоньевых шапочках с опускающимися ушами (посмотреть-то на которые было страшно – не то что представить как они шваркают по ушам) – и с абсолютно одинаковыми гэдээррошными сине-красными гигантскими вертикальными ранцами за плечами. Ранец Эммы Эрдман, впрочем, Воздвиженский иногда таскал за ней к ее дому в руке – что, в первом классе, вызывало некоторую зависть Елены. Вообще, насколько Елена вспомнила – в первом классе (возможно именно из-за этой легкой зависти к извозу портфеля Эммы) Воздвиженский казался ей очень симпатичным. Но дружба между ним и Эммой, по загадочной причине, уже во втором классе оборвалась, к дому Эммы Эрдман Воздвиженский больше не приходил. А для Елены и вообще как-то быстро стёрся из поля зрения, задрапировавшись под школьную массовку – тем более в другом классе. Теперь же, перед отъездом, из массовки Воздвиженский вдруг возник – и не в самом привлекательном виде: на собрании, устроенном перед отъездом

Анной Павловной (как «ответственной» за выезд), в ее маленьком, тесненьком кабинетике, рассчитанном на одну только группу по немецкому, Воздвиженский взял слово – и чуть был всех этим словом не уморил от тоски и занудства – выдвигал какие-то бесконечные вопросы о курсах валют, о ценах на товары, о билетах, доставал из кармана калькулятор, что-то подсчитывал, выставлял Анне Павловне какие-то перекрестные цифры и требования. Воздвиженский носил очки в тонкой изящной металлической оправе, ходил в школу с дорогим академичным дипломатом на семи цифровых замках, был коротко и жестко стрижен, все время набучивал крайне пухлые свои губы – реагировал на все грубовато и занудно-рассудительно, с какой-то как будто опаской – и выглядел ровно так, как в представлении Елены должен выглядеть человек, которого не любят и не балуют дома, а муштруют с детства почему зря и натаскивают на карьеру. Все время всем предъявлял какие-то претензии, все время гугнил недовольно... И для Елены даже оставалось загадкой, как в первом классе школы Воздвиженский мог казаться ей очень миленьким.

Воздвиженский чуть смутился, из-за своего грубо-бубнивого голоса, посмотрел на нее вопросительно – кажется, не зная как себя вести: вроде знакомы – а вроде и не знакомы, – чуть поддернул носом, буча губы по кругу – но, тем не менее, все с таким-же жлобским бубнением опять повторил:

– Мы спим там уже, между прочим! – и полузлобно, чуть снижая злобный заряд, и делая вид, что это он так шутит – указал на соседнее купе – хотя сам он был вовсе не там, а здесь, и, судя по разговору, если и спал – то не совсем.

– Уже поздно – все спят, и тебе пора спать! – передразнил его вдруг Чернецов, запев и заиграв опять на гитаре, и изображая – теперь уже (по общей моде), зюсюкающий дефект дикции Цоя.

Иронично взглянув на хохолок свежестриженных волос на макушке Воздвиженского, на коровий зализ стоячих торчком спереди волос – слишком коротко стриженных, явно для стрижки не созданных (по ее детским воспоминаниям – чуть волнистых прежде от природы, когда их не обкарнывали) карих волос – Елена усмехнулась:

– А мы вот не спим. Заходи, к нам в купе в гости, Саш, почувствуй себя как дома.

Воздвиженский, шатнувшись при рывке поезда, все еще с недовольным лицом, неожиданно и вправду завернул в их купе – и тут же, у двери, сел на нижний лежак.

– Завтра в восемь утра начнется игра! – распелся Чернецов своим уже, сильным довольно, и красивым, голосом, выбирая проникновенные переборы мелодии на гитаре. – Завтра утром ты будешь жалеть, что не спал!

В полутемное купе, освещенное только одним прикрытым матовым ночником, где Елена села рядом с Воздвиженским, в незакрытую дверь на звуки гитары через несколько минут заглянул из яркого коридора Дьюрька:

– Ой, чего это у вас здесь, интересненькое? – не чинясь, с видимым любопытством на розовой, пышущей дорожным счастьем рожнице, проговорил он – и быстренько уселся на полку с Чернецовым, напротив Воздвиженского.

Затем заявила, за Дьюрькой зашедшая, его разыскивать, партнерша его по картишкам, одна из бывшей «малышней» – бойкая активистка Ольга Лаугард, с длинной, кудряшками, химической прической «Аврора» – и, заслышав музыку, протиснулась и уселась на один лежак с Еленой и Воздвиженским – слева от Елены, к окну.

Следующей заглянула растерявшая приятелей по картишкам Аня – зашла в купе и, окинув всех строгим взглядом, сказала:

– Таааак.... Все понятно... – и тут же развернулась и, с ругательным выражением спины, вышла куда-то в неизвестном направлении, – немедленно сменившись в дверном проеме вдохновенным заикой, себе на уме, Матвеем Кудрявицким с картофельным носом и вечной, громадной, гроздьями красовавшейся, лихорадкой на верхней губе – привлеченным игрой на гитаре. Кудрявицкий был крайне полезен на уроках у особо-вредоносных учителей, когда надо было потянуть время до звонка на перемену – чтобы не вызвали отвечать никем не выученный нудный урок. Когда дело было совсем швах, до звонка оставалось всего-то минут пять, и рука училки агрессивно тянулась к журналу, к давно не называемым фамилиям, в надежде успеть дозвониться до звонка в этот журнал колов, – и Кудрявицкий видел, что надо спасать друзей, он бросился на

амбразуру: тянул руку, вызывался отвечать – перебивать заикку бóльшая часть учителей все ж таки стеснялась, а пока выговаривал Кудрявицкий, склоняя инициальные согласные на все лады, первую фразу – гремел звонок. К Кудрявицкому даже специально обращались иногда за такого рода помощью – так что в общем-то заикание его в классе уважалось и считалось родом искусства, как встарь миннезингеры. Незабвенным, навеки, оставался специальный доклад «про снежного человека», по материалам научно-популярных журналов, который Кудрявицкий вызвался сделать злобной зоологичке – и в результате растянул доклад аж на два урока, спасая корешей, не делавших домашнее задание: «Снежный человек – он х... Х. Х. Х...» – «Хищный, Матвей?» – подсказывала проявляя сочувствие к заиканию, зоологичка. – «Нет, снежный человек – он х... Х... Х...» – «Хищник?» – не унималась зоологичка. – «Н-нет! Он... х... Х... Х... Х... Х...» – «Хороший?» – подсказывала зоологичка. – «Н-н-нет! Снежный человек – он – ха! Ха! Ха! Ха-грессивный!»

Был Кудрявицкий еще и знатным певуном – разумеется, при пении не заикаясь вообще – и также умел играть на гитаре.

– Хо-о-о-о! – выразил теперь Кудрявицкий, как мог, восторг от игры Чернецова – и втесался в оставшееся на нижнем лежаке место между Дьюрькой и Чернецовым.

– Над небом голубым есть город золотой... – затянул Чернецов, под романтический перебор.

– А чего это ты «над небом» поешь, а не «под небом»? – заартачилась, под левым боком от Елены, Лаугард – перебив подвывавших сокупейников.

Объяснили. Заспорили: украл ли Гребенщиков и переврал песню сознательно – или случайно недомолвил об истинном авторстве – и по такой же серийной случайности недомолвили об истинном авторстве и в недавнем модном фильме, куда чужую песню вставили.

– Нет: ну что значит «над» небом?! – не унималась практичная Лаугард (на космонавтику в авиационный институт поступать собиравшаяся), пока все остальные Чернецову подпевали. – Это же бессмыслица какая-то! Где – над небом?

Музыка действовала чуть разнеживающе. Хотя все время после крещения Елена избегала резких звуков – чувствуя, как будто они могут разбить что-то внутри – тут, Чернецовский нежный перебор, не

раня, словно бы ласково затягивал в странную, настолько нетипичную для Елены картинку – дурацкая какая-то компаща, не близкие друзья рядом (только вон Дьюрька один, грызет сухарь сидит), да и вообще слишком много людей вокруг – и подъездная какая-то забавно-стыдноватая романтика: треньканье на гитаре, полутьма, случайные мальчишки вокруг.

– Завтра в восемь утра начнется игра! – нежно пел Чернецов, буравя ее черными маленькими зрачками – заведя репертуар по второму кругу.

Наблюдая за всеми сквозь ставшую уже привычной с момента крещения, янтарно-жарко-золотистую, изнутри светящуюся, собственную, оберегающую ауру, Елена думала о том, что вот ни за какие коврижки во внешнюю эту, смешно-бестолковую, обывательскую жизнь, во всю эту «игру» не войдет. И одновременно чувствовала неизреченное счастье от того внутреннего, обогащавшего все внешние картинки богатства, делающего даже внешнюю ерунду – вот такие вот безнадежно земные нежные сценки – как будто бы более значимыми, наполняющего их смыслом, отсветом замедленной свершающейся вечности.

«Смешно... – обвела Елена глазами всех сидящих в купе, – ведь никто из них не знает об этом живом светящемся счастье, живущем во мне – да и вообще никто из них по большому-то счету ничего обо мне не знает – а ведь именно из-за этого внутреннего света я вижу сейчас и каждого из них как будто в небесной подсветке. Я бы даже не смогла сейчас никому из них этого объяснить – даже если бы сильно захотела!».

Взглянула на важно напыжившегося Воздвиженского, мягко подпиравшего ее под правым боком: надо же! и он даже Чернецову чуть подвывает!

Взглянула налево – на беспокойные руки Ольги Лаугард, хваткие, с узловатыми фалангами пальцев, вечно что-то или кого-то (или сами себя, как сейчас) цепляющие и теребящие, нервные – с нервно содранной кожей, до крови, в уголках коротких ногтей.

– Лаугард! Ты когда у меня спать ляжешь?! – расхохотавшись, и заранее окрасившись в свекольный колер, вспомнил вдруг Дьюрька крылатые, со времен Ново-Иерусалимского трудового лагеря, слова скучнейшей долговязой дылды и мямли – географа, который, ночью,

дежуря по бараку, увидев Лаугард, вышедшую в коридор, занудным голосом механического робота раздраженно, без всякой, разумеется, задней мысли, спросил: «Лаугард, ты когда у меня, наконец, спать ляжешь?!» – «Можно я все-таки не у вас, а у себя спать лягу, Мстислав Николаевич?» – громко, на весь барак, возразила бойкая Лаугард.

И Лаугард, слева от Елены, замахала на Дьюрьку рукой – вздернув в улыбке вверх куницы свои маленькие щечки – и в скулах ее тут же промелькнуло что-то скандинавское.

– А я помню, там еще коктейль с остроумным названием «Александр Третий», был помните? – улыбнулась Елена.

– Чего-чего? – смутился почему-то Воздвиженский, услышав свое имя «Александр» – и приняв, почему-то, это за насмешку.

– Захар, кажется, делал! С какими-то местными уголовниками! Трехлитровая банка березового сока, один пузырек «Тройного» одеколона, и одна бутылочка одеколона «Саша» – в общем, смешивали всё, что продавалось в сельпо – больше там ничего не было! «Александр – Третий» называлось! Как же блевотно от них воняло потом!

Воздвиженский дернул носом.

Зашла Аня, сказала, что пора бы уже и честь знать, и что ей «спать охота».

Кудрявицкий, моментально-хитро оценив положение, освободил для Ани место на нижней полке – а сам полез на верхнюю – и обездомевшей Анюте ничего не оставалось, как робко сесть напротив Елены, между Чернецовым и Дьюрькой.

Через минуту, впрочем, скинув чью-то (Дьюрькину) сумку с багажной полки на пол, Кудрявицкий собрался было сесть на ней как король на аменинах, в торце купе – перед самой дверью, на полу – но вместо этого вдруг, вызывающе обращаясь к Ане, Кудрявицкий, картинно заикаясь, уведомил:

– А ввввот м-м-м-мне, м-м-между прочим, не спасть, а ж. ж. ж. ж. рать ах-х-х-хота! Д-д-д-да-в-в-вайте пожрем, а? Ща я в-в-вернусь! – и выскочил из купе.

Все задвигались разом. Дьюрька, домучивший сухарь с изюмом, вдруг заверещал, опознав на полу личное имущество, бросился утешать свою сумку, проверять, нет ли на ней синяков, и через секунду вытащил чудом не помятый, чудом уцелевший красный виноград и

кучу булочек за одну копейку – выбросив тут же все это на стол, на белую скатёрку.

Елена вытащила несметные, постные запасы Анастасией Савельевной ей уложенной отварной картошки.

Лаугард, сходя в свое купе, выкатила на стол гигантское количество вареных яиц – которые тут же были сметены веером рук, «чтоб не раскатились».

Чернецов бросился куда-то – и вернулся со слямзенной у проводниц плетеной фруктовой корзиночкой – и мытыми, им самим из рюкзака вытащенными, замухренными маленькими киноварно-суриковыми яблочками с черными точками на бочкáх, которые были тут же уложены в корзинку вместе с Дьюрькиным виноградом.

Кудрявицкий вернулся из своего купе с целиковой, запеченной курицей – и шлепнул ее, на выцыганенное у проводниц блюдо.

Воздвиженский – мерным, важным шагом выйдя из купе тоже, с напыженным видом, обернувшись, уведомил Елену:

– Мое место, смотрите, никому не отдавайте!

«Тоже пошел в свое купе, наверное, за своей едой – принести угощения для всех», – удивленно подумала Елена. Но нет, – вернулся Воздвиженский с пустыми руками, и выяснилось, что ходил он в туалет.

Анюта с близоруким обреченным осуждением понаблюдав за общим оживляем, поохав и попричитав (для порядку), что поспать ей сегодня «видимо, не дадут», залезла и вытащила вечные, педантично-аккуратно в фольгу ее матерью упакованные многоэтажные бутерброды с черным хлебом, маслом и рыбным паштетом.

Под возобновившиеся гитарные рулады Чернецова, раскладывая еду на столике, заговорили о снах:

– А мне между прочим очень романтические сны иногда снятся! – с очаровательной невинностью выпалил Дьюрька – так что все захохотали.

– А у меня бывают сны... Но не каждый день, – деловито сообщила будущая космонавтка Лаугард. – Мне вчера вот например приснилось, что я на поезд опаздываю... Сплю я, значит, и...

Занимавшаяся в театральной студии районного дворца пионеров Лаугард, кажется, чересчур налегала там на пантомиму: все свои реплики Лаугард сопровождала гипертрофированно-доходчивыми

жестами, как образный сурдоперевод для глухонемых. Когда произносила «сплю», каждый раз показывала это слово, складывая ладошки вместе, укладывая их себе на левое плечо, – наклоняла на них голову – и всхрапывала. А когда говорила «бегу» – то и вправду как будто бежала со всей силы, работая согнутыми в кулачки руками, высовывая язык и тяжело дыша.

– А мне каждую ночь снится как минимум по четыре сна – причем на абсолютно разную тему и происходящие в совершенно разном антураже, – рассмеявшись, призналась Елена. – Представляете, как приходится ангелам в этом небесном кинематографе трудиться – и вообще какая потрясающая производительность труда – с учетом запредельно узкой зрительской аудитории!

– Что ты ерунду городишь! – со злостью какой-то забубнил справа Воздвиженский. – Этого не может быть! Так не бывает! Люди не видят по четыре сна каждую ночь! Люди вообще не видят каждую ночь снов.

– А я вижу. И вообще все нормальные люди, Саш, видят сны каждый день. Это ненормально – не видеть снов. Это психическое отклонение. Если ты не видишь снов – то есть если ты считаешь, что ты их не видишь – значит ты просто заставляешь себя их забыть.

– Почему, кто тебе сказал, что я не вижу?! – принялся, чуть в нос, оправдываться Воздвиженский. – Вижу иногда...

– Забавно, я иногда, когда просыпаюсь на несколько минут... – рассмеявшись, вспомнила вдруг Елена, – и решаю проспать какой-нибудь урок, например – и засыпаю дальше – то у меня иногда даже есть выбор, в какой из снов, которые я уже видела за ночь, соскользнуть – как-то по привкусу воздуха определить можно – и не съезжать например в какой-нибудь страшный сон, в его продолжение – а наоборот – въехать в продолжение прекрасного сна. И вообще я могу вспомнить все сны, какие я когда-либо видела в жизни – а по сну, по ощущению этого сна, могу вспомнить в картинках день, в который я его увидела.

– Что ты ерунду городишь... – недовольно бубнил Воздвиженский.

– А ты вот подсчитай, Саш – у тебя же всегда, наверняка, с собой калькулятор, – подсмеивалась над ним Елена, – сколько снов я уже за всю жизнь видела?

– Зависит от того, какого числа у тебя день рождения... – с раздражением сказал Воздвиженский.

Елена со смехом назвала требуемые им данные задачки.

– ...Или – сколько снов я увижу до двухтысячного года – если буду жива, конечно! Если жива не буду – тут задачка усложняется уже, не правда ли? – веселилась Елена, глядя на почему-то раздражающегося все больше и больше Воздвиженского, который вообще на все слова Елены реагировал с какой-то непонятной злостью – словно они ему категорически противопоказаны.

Воздвиженский действительно достал (к общему хохоту) калькулятор и принялся тыкать циферки длинными, молочной белизны, пальцами.

Но поезд разговора уже уехал вперед без него.

– Двухтысячный год! – мечтательно воскликнула Лаугард. – Обалдеть! Через десять лет. Представляете! Новое тысячелетие!

– Во-первых, не через десять, а через одиннадцать новое тысячелетие наступит... – загугнил Воздвиженский, все еще недовольно глядя в калькулятор, быстро – одним тычком пальца в переносицу – поправляя тонкие свои изящные очки, и как-то смешно, по кругу, подбучивая, по-особенному, пучком, крайне пухлые свои губы и одновременно, по полукругу, поддергивая носом.

– Ну это смотря какой год считать за точку отсчета – нулевой? Или первый? – заговорила, Лаугард, перегнувшись, через колени Елены, к Воздвиженскому, левой ладошкой демонстрируя листок бумаги, а правой – указательным – рисуя на ладони нолик и цифру 1.

Взглянув на Воздвиженского, Елена тихо заметила:

– В общем-то ты прав, потому что в календаре римского игумена нуля нет.

Хотя уверена была, что он не поймет, о чем она.

– А от чего вообще, от какой даты эра считается? – моментально откинулась обратно на свое место Лаугард, и – потянувшись теперь влево, к окну, – ровно на миг взглянула на темное свое отражение и обеими руками подвзбила с висков прическу – роскошные, чуть высветленные химической завивкой кудри, ниспадающие по бокам лица.

– Оль, ты что, правда, не знаешь? – рассмеялась Елена.

– Нет! А что, вы все знаете? – с игривым вызовом переспросила Лаугард, поглядывая опять на Воздвиженского – молчащего.

– Оля, ну ведь понятие «наша эра» в основном только большевики-богоборцы любили использовать, – в некоторой растерянности выговорила Елена – до сих пор так и не веря, что кроме нее никто этого не знает, и ответить Ольге не сможет. – Эдакая, знаешь ли, гордыня: эра, мол, эта – наша! Не чья-то другая – а наша! Весь мир же называет эти два тысячелетия по-другому. Для большевиков ведь вообще не понятно, от какой даты «наша эра» отсчитывается! Это же парадокс для них! Отсчитывать от отвергаемого! Удивительно, что они новую эру от дня рождения Маркса еще не постановили считать!

Кудрявицкий, наклонившись над столиком, нетерпеливыми, уже жирными руками ворочал, в духовке темно запечённую, курицу на тарелке – рассматривая, с какой стороны ее лучше начать на всех разделявать, – и курица, с выпотрошенными внутренностями – и с чешуйчатými задранными ногами выглядела крайне жалко. Яства уже не помещались на столе – раскладывали у себя на коленях.

– А от какой, от какой даты наша эра вообще-то считается? – не отставала от Елены Лаугард, цепко схватив ее за руку, повыше локтя, и сильно-сильно эту руку трясся. – Я не понимаю! Ну скажи мне!

– Оленька! Сейчас 1990-й год от Рождества Христова! – с улыбкой медленно выговорила Елена, с удовольствием наблюдая Ольгину практичную дотошность. – Весь мир так это и называет, кроме нашей несчастной страны.

– Как?! – Ольга, с потрясенными сияющими глазами, отцепив руку от Елены, дернула с угла за белую скатерть, так что корзинка с виноградом и яблочками, на треть свисавшая со столика, из-за тесноты, чуть не полетела на пол, а наклонившийся над столиком Кудрявицкий, с паникой на лице, растопырив жирные пальцы, как будто что-то ловил в воздухе, готовился и вправду ловить падающие со стола курицу, три булочки за одну копейку, все прочие не вмещавшиеся блюда. – Как?! – воскликнула Лаугард, дергая за скатерть еще раз. – Весь мир знает, о том, что Христос действительно родился 1990 лет назад – и весь мир именно от Рождения Христа ведет летоисчисление?! И только мы одни этого не знаем?!

Корзинка с виноградом и яблоками зависла в воздухе. Кудрявицкий, растопырив в полутьме непонятно что ловящие жирные

пальцы, так и замер, не решившись ничего ловить. Курица, отдавшая свою смерть, жалобно задирала вверх чешуйчатые мертвые ноги. Замедленный кадр съезжающей со стола, вместе с яствами, скатёрки, казалось, замрет навсегда. Но – нет, все снова ожило. Корзинка была подхвачена Дьюрькой. Булочки разобраны Чернецовым и подскочившим Воздвиженским.

Ольга, невидящими руками все еще крепко держалась за скатерку, зорко уставившись куда-то перед собой, но как будто ничего не замечая из окружающего. Но через несколько секунд и она, хоть и оставалась в лице какая-то необычная печать задумчивости – казалось, прочно вернулась в прежнюю, привычную реальность.

Елена, наблюдая за тем, как быстро Ольга возвратилась к обычным своим репликам, жестам, смешкам – как будто механический земной завод вновь завелся – думала о том, как непохоже было это секундное, отразившееся на лице нахрапистой, бойкой, практичной Ольги, озарение – на ту высшую тревогу, не оставлявшую ее саму так много месяцев перед обращением, заставлявшую ее каждый день напряженно искать, и уж тем более на ту личную Встречу, пережитую ею в первый вечер на Неждановой – после которой она и говорить-то с людьми долго толком не могла! А все-таки – вот так зримо для нее сейчас коснулось Ольги – на миг – крыло Божьего Ангела! По загадочной, не извинительной, не понятной для Елены причине, то ли не замеченного, то ли упущенного всеми остальными, вокруг присутствующими – слышавшими и видевшими глазами и ушами, вроде бы, все то же самое, что и она сама и Ольга – но ничего не услышавшими и не увидевшими – и не почувствовавшими мгновенного Божиего присутствия.

Была короткая станция – и Елена вышла из вагона – купить у бабушки в буром шерстяном платочке пирожков с луком (просто из какой-то несуществующей, замещенной ностальгии – вызванной рассказами Анастасии Савельевны – представляя себе, что вот – это ведь бы мог быть тот самый полустанок, где Глафира, впроголодь, с пухнувшими от голода ногами, выживала с тремя детьми – и посылала Вовку продавать огурцы на станцию); а потом догуляла по абсолютно пустому низкому лунно-электрическому перрону и взглянула в растерянную какую-то, неразговорчивую палевую мордочку поезда (думая о том, что этот-то, конечно, не ровня тому пых-пых паровозу, из

материнских рассказов, от которого дух захватывало даже на слух) – а Воздвиженский (когда Елена, переходя из вагона в вагон в тамбурах, заскочив, с помощью проводника, подавшего ей руку, в первый же попавшийся вагон, потому что поезд, под шумок ее мыслей, уже тронулся) закатил скандал, обзывая ее сумасшедшей, бубня, что могла в поезд войти не успеть.

А когда меняли колеса, Воздвиженский – как громкоговоритель разглагольствовал про миллиметры. И раздраженно бубнил, когда пришли пограничники, что Елена не там сидит, где нужно, и не так поставила сумку – а когда все вышли из вагона – что не там стоит, и вообще себя не так – слишком шумно и недостаточно серьезно – ведет – надо, мол, пришипиться.

Дьюрьку все это злило, кажется, еще больше чем саму Елену. А когда днем Воздвиженский, увидев, что Елена возится с выпавшим из хромированного колечка хлястиком сумки, – и грубо буркнув: «Дай сюда...» – за секунду этот хлястик починил – и Елена иронично-нарочито рассЫпалась в крайне гипертрофированных в адрес Воздвиженского похвалах, Дьюрька почему-то обиделся и вовсе:

– Что ты с ним вообще разговариваешь?! – шикнул он, как только они вдвоем оказались в коридоре. – Зануда какой-то.

Миграция по разным купе в светлое время суток приобрела какой-то глобальный и постоянный характер – к кочевой жизни прирастились: предприимчивый Кудрявицкий ходил и выменивал у всех какую-то еду на свои запасы. Картежное нашествие после полудня опять захлестнуло купе – и смыло Елену, решительно и окончательно, в другое, опустевшее купе – в другом конце вагона – где обитала Лаугард – но которое сейчас, из-за участия Лаугард и трех товаров в игралках, было блаженно пустым – и Елена, подложив в изголовье свое полотенце, валялась и читала.

Анна Павловна, с аккуратной короткой бигудёшной завивкой, в своем приталенном облегающем сером свитерке, горланисто-тревожно обходила все норы, никак не могла понять кто где, никак не могла никого сосчитать – и вместо искомых фигурантов списка, которых она недосчиталась при прошлой попытке – в каждом из вскрываемых купе, между совершенно чужими незнакомыми пассажирами, неизбежно натыкалась на Чернецова, который лез к ней с объятьями. Бакенбарды

Чернецов утром в сортире сбрил – и теперь считал, что он неотразим – и возмущался кратким Анны-Павловниным «вот балбес, иди отсюда».

Не выдерживая, моментами, купейной жары, Елена выходила размять ноги – по выбрыкивавшейся из-под них интуристовской, багровой показушной ковровой дорожке в коридоре – как в ведомственных санаториях – от одного вида которой становилось жарко и душно.

– Имейте в виду: во всех западногерманских супермаркетах на товарах есть электронные датчики – и если попытаться уйти, не заплатив, завоюет сигнализация! – нервно инструктировала учеников в одном из купе Анна Павловна.

– А-а-а-нна П-п-п-паллна! За-за-за-за кого Вы нас п.п.п.п. п... – оперно закатив глаза и выставив, в такт заиканию, руку, возмущался Кудрявицкий.

– Анночка Павловна! Хрюй! Я везде буду ходить только с вами! – падал перед ней на одно колено кудлатый Чернецов.

– Да уйди ты, Федя... – по-простому просила Анна Павловна и гибко выбиралась между учеников из купе наружу.

А Елена вспоминала, как на уроках немецкого живенькая, блюдущая идеальную фигурку и прическу сорокалетняя Анна Павловна любила гортанно, напрягая высокие жилы на шее, как будто продолжая упражнения, говаривать бессмысленную фразу: «До тридцати пяти лет человек выглядит так, как его создала природа – а после тридцати пяти так, как он сделал себя сам». «Темплеру бы она это сказала», – думала Елена.

А когда проходила Елена в обратную сторону, в купе с Аней и Жмых Анна Павловна делилась романтическими воспоминаниями о ГДР:

– Не забывайте: многие немцы говорят по-русски – хотя по внешнему виду их никак не скажешь. Я помню, мы сели как-то в ГДР в электричку – на вход в электричку давка, мы еле пролезли, заняли купе – а тут с платформы прямо в окно студенты стали залезать, чтобы без очереди пролезть. Я сижу и по-русски коллеге своей говорю: «Уууй! Эти немцы лезут как тараканы!» А напротив меня огромный негр-немец сидел, так он мне погрозил пальцем, и на чистейшем русском языке говорит: «Ай-яй-яй, как не хорошо!».

Только Елена совершила опять восхождение на ультрамонтанную верхнюю полку, прибежал вдруг, алее алого, Дьюрька:

– Мне с тобой срочно поговорить нужно! Вопрос жизни и смерти!

Елена, соскочив с высот, вышла в коридор.

– Нет, подожди, сейчас Анна Павловна пройдет... При ней не могу говорить! – буркнул Дьюрька. И как только Анна Павловна, вертляво и гибко заглядывая в купе, прошла по коридору, Дьюрька, прильнув к уху Елены, трагически сообщил:

– Мне кажется, что у меня очень воняют штаны! Как тебе кажется?

Елена, взглянув на Дьюрькины варёнки, ответила хохотом, а Дьюрька, еще больше покраснев, доверительно продолжал:

– Мне тетя джинсы сама выварила – это же не настоящие варёнки! Перед самым отъездом – купили советские джинсы на рынке и в какой-то дряни, с хлоркой кажется, выварили, для экономии! Я их вчера только в первый раз надел: мать говорит: «надень в поездку – новые!» Я надел, как дурак – а теперь чувствую: чем это так у нас в купе воняет! А это, оказывается, от моих штанов!

– Дьюрька, не придумывай, ничем от них не воняет!

– Воняет! Хлоркой воняет! Ты понюхай как следует!

– Ну нет уж, Дьюрька, нюхать портки твои я не буду, – расхохоталась Елена, – спасибо большое, конечно, за предложение! – Пойдем по поезду прогуляемся, а? Что-то мне надоело на одном месте!

– Это ты называешь: «На одном месте?» – кивнул Дьюрька на мечущийся за окном зимний гризайлевый подмалёвок.

– Дьюрька, если честно – то я просто потрясена, – заговорила серьезно Елена, как только они уселись оба в соседнем вагоне на откидные места, подальше от ушей одноклассников, – просто потрясена тем, как мало людей из двух классов решилось поехать! Пятнадцать – или сколько – даже меньше?

– Да ты что! Куча народу ведь жаждали поехать! Родители не пустили! Вон, Антона Золу мать не пустила – заявила, что она его так наказывает за недостаточно хорошие оценки и за то, что он дома не убирается.

– Фу! Рабство какое! Это все равно как сказать: я тебя наказываю за то, что я была рабой всю жизнь! Теперь и ты побудь рабом! Фу! Отвратительно. Неумно. Низко. Отыгрываться на сыне, унижать его, за

свои комплексы и несчастья в жизни. Антон же актером быть собирается – нафига ему эти «оценки» школьные? Бред... А все остальные? Почему остальные-то не поехали? Неужели так же?!

Дьюрька пожал плечами:

– А чего ты другого ждала?

– Честное слово: лучшее, что школа может сделать – это провалиться в тартарары, Дьюрька. Вот лучшее, что школа за все десять лет делает – это то, что она заканчивается через несколько месяцев. Разве что эта поездка... Да и то – это ведь не заслуга школы – а какой-то мюнхенский энтузиаст, дорвавшийся до Горбачева...

– Ну... Не скажи.... – с обычными компромиссными нотками затянул Дьюрька. – Все-таки что-то было в школе хорошее...

– И что же конкретно хорошего было? Чем, интересно, школа тебе будет полезна в твоей будущей профессии? В твоей этой кошмарной возлюбленной мировой рыночной экономике, которую ты собрался покорять?

– Ну... В конце концов – я вот тебя, и Аню тоже, именно благодаря школе узнал...

– Это примерно так же, как сказать, что советское государство «дало миру» столько писателей, поэтов и ученых – не беда, что одни сосланы, другие в тюрьге, третьи убиты – четвертые на положении невыездных рабов. Ты вспомни, как они Склепа уничтожили!

– Я честно говоря, вообще Склепа не очень запомнил... Какой-то безумный дядечка... Склеп же всего месяц у нас был, кажется?

– А Татьяна?! Она же тебе нравится! Сколько на нее уже кляузничали ходили – сколько на нее из-за всех углов шипят – за то, что слишком для них умна, слишком образованна «не по программе»! Разумеется, и ее в какой-то момент, всей стаей, вышвырнут – останутся только с братьями по разуму... Убитые, украденные десять лет жизни. Куда лучше было бы спокойно заниматься самообразованием и не тратить время на зазубривание гнусной ерунды – единственный смысл которой – это заставить тебя бездумно подчиняться системе, быть в стае, и делать то, что делать тебе противно и не нужно.

– Ну как же? А общение?!

– Дьюрька, ты вспомни – с первого класса – какого рода общение школа прививала! Ты вспомни нашу первую учительницу! Фашистку с

усами, которая орала на левшу Бережного и сделала его зайкой!

– Я что-то такого не очень припоминаю... А я ее любил очень: мне дома говорили про нее, что она строгая, но справедливая... Да-да, вообще-то, ты права, я сейчас вспоминаю: она чуть ли не указкой Бережному по этой его левой руке била... Но я как-то не очень в тот момент на это обращал внимание! У меня была своя программа: получать хорошие отметки – и я эту программу спокойненько себе выполнял.

– Ты послушай, Дьюрька, сам себя, что ты говоришь! Ты же сам упрекал Аню, что она тихоня, и даже неоправданно кричал, что такие тихони – питательная среда для любой диктатуры! А сам теперь по сути говоришь, что тебе вообще наплевать, когда рядом с тобой уничтожают, и унижают, и на всю жизнь уродуют других людей!

– Сейчас не наплевать. А тогда же я маленький был... Мне родители дома говорили, что надо уважать учителей, что надо учителей слушаться! Вот я и думал, что всё, что делают учителя – это так и надо, что так правильно.

– Вот! Вот, Дьюрька! Ты сам же расписался в том, как школа уродует, искажает мозги и психику и мораль – с самого раннего детства! А ты говоришь «общение»! «Было что-то хорошее!» Вот того, что ты сейчас произнес – уже достаточно, чтобы школа провалилась в тартарары – как той самой слезы ребенка, которой не стоит весь мир! А знаешь, какое самое гнусное для меня воплощение духа школы в гастрономическом смысле?! Булочки с арахисом, которые в школьном буфете продаются! Те, которые плоские – и какими-то солоно-сладкими соплями облиты, и подгорелые по краям всегда!

– А я как раз всегда эти булочки в буфете ем, ты чего?! Вкусненькие!

– Дьюрька, да про тебя давно известно, что чувственных, гастрономических рецепторов у тебя ровно два: «Вкусненько!» и «Фи, какая гадость!» Никаких полутонов! Всеядность еще никогда не была в числе доблестей!

Чувствуя, что еще минута – и они разругаются навеки, Елена вскочила и пошла по направлению к тамбуру.

Когда Елена вернулась к заветному пустому купе, дверь в купе была заперта изнутри, а вокруг чем-то страшно разило – но совсем не хлоркой, а чем-то грубо-парфюмерным, сладко-маторно-матово-

цветочно-фиолетовым. Невдалеке, пиная ковровую дорожку, гулял, с недовольным набученным лицом, смотря себе под ноги (с таким видом, словно дорожка чем-то провинилась), Воздвиженский.

– Да что это такое? – подергав дверь, втягивая воздух, спросила (почти саму себя, не ожидая, конечно же, ответа) Елена. – Чем это здесь так...?

– А там Лаугард – кш-ш-ш-ш-ш-ш! – неожиданно остроумно поднял Воздвиженский левую свою подмышку, а правой кистью, меткой пантомимой, (передразнивая заодно и манеру самой Лаугард каждое слово показывать), круговым движением изобразил работу пульверизатора.

Когда дверь раздвинулась – и парфюмерная волна чуть не сбила с ног, Елена, заглянув, – поинтересовалась источником (потому что запах показался ей слегка знакомым) – Лаугард, прикрыв от Воздвиженского дверь, ничуть не смутившись, предъявила баллончик.

Дезодорант «Интимный», вот что это оказалось такое.

К Берлину, из-за всех колес, шмонов, неправильных рельсов – неверных, как уравнение со все никак не сходящимся знаком «равно», – контролей и прочей крайне неинтересной игры в бег с препятствиями, подъехали уже только вечером, когда давно стемнело. Анна Павловна, тараторя что-то о часе отбытия запланированной электрички в Мюнхен, о минутной стыковке, страшно суетилась и молила всех «молчать, только молчать» – когда будут переходить границу; у Елены немножко кружилась голова от недосыпа прошлой ночью; было легкое ощущение нереальности происходящего – даже не столько от усталости – сколько от недостатка одиночества, и от несмаргиваемого, неотступного сюрреалистического присутствия вокруг лавины людей, причем не просто каких-то там чужих людей, которых можно не замечать – а беспрерывно требующих внимания одноклассников – которых, за последние два года вместе взятые, никогда так долго не видела, как сейчас – за два дня; а когда вошли в тоннельчик – похожий на кафельный московский переход под улицей – было так сутолочно – и количество ждущего очереди народа так прочно заставляло подумать, что здесь придется и заночевать – что Елена, на секундочку зажмурившись, тихо сказала: «Ипатах!» – разожмурилась – и увидела Анну Павловну в светлом плащике, отчаянно, как стрелочница, жестикулирующую от самой будочки

пограничного контроля – и еще через минуту – все было закончено. Выход за пределы границы социалистического лагеря показался легчайшим фокусом, с переходом под прикрытием каких-то светлых, прозрачных наперстков. Вынырнули – и оказались уже на воле – короткий, минутный переезд в дребезжащей какой-то тарантайке, похожей на трамвай – из которой вылились на западную уже платформу – чистенькую, необычно мягко-яркую, – где уже ждала их волшебная электричка на Мюнхен.

XII

Когда Елена раздвинула прозрачную дверцу со шторками и шагнула в первое же маленькое отдельное купе – шесть малиновых мягких плюшевых кресел, напротив друг друга, по три на каждой из сторон, – дорожное ощущение мигом пропало – казалось, что зашла она к каким-то милым людям в гости. Да и вообще – когда она изумленно-рассеянно пощупала мягчайший плюш кресел, пахший так, словно материю только сейчас сделали – и немедленно же плюхнулась, скинув кроссовки, в мягкое раздвигающееся кресло справа у самого окна, – с подлокотниками, и каким-то еще удобным подобием малиновой подушки под головой, – напало вдруг удивительное сновиденческое ощущение легкости: этого не может быть! Малиновая нежная обивка в публичном транспорте, после родной страны вездесущего дерматина, смотрелась такой волшебной-раздолбайской щегольской неправдоподобной непрактичной сумасшедшинкой – как если бы в феврале по талым сугробам перед Белорусским вокзалом прошвырнуться в белоснежных лодочках.

– За-за-задвигайте! Ра-ра-раскатывайте! За-за-задергивайте! – в панике вился прямо перед ней, ни на секунду почему-то не замирая, практичный Кудрявицкий в дутой своей, с рифленным узорчиком на плечах, курточке. – Вы-вы-выключайте! Свет потушим – за-за-запрем, за-за-задернем шторку, и сделаем вид, что у нас больше мест нет!

Растрепанная Лаугард металась почему-то – вместо того, чтобы сесть – по купе тоже и, вслед за идеями Кудрявицкого, задергивала темные шторки на раздвижной стеклянной дверце.

Из коридора ломилась толпа.

Зашел Воздвиженский – и, с таким видом, как будто это само собой разумеется, спокойно уселся в кресло рядом, – и, протерев очки замшей, принялся, без восторга, а с каким-то мещанским одобрением изучать подлокотники и обивку.

– За-за-заходи, только быстро! – вскричал Кудрявицкий, завидев Дьюрькину вспотевшую (улыбающуюся – как всегда невесть чему – жизни просто) довольную рожицу – кольшущуюся – из-за высокого роста – над интернациональной вваливающей в тамбур толпой. – Всё! – хлопнул, за вошедшим Дьюрькой, Кудрявицкий замочек. – Мест больше нет! Нас пятеро – а кресел всего шесть! Запираем!

– Нет-нет, Аня еще! – вскочила Елена и, дернув фрамугу окна, высунулась, пытаясь высмотреть Анюту. Но Ани видно не было – и Елена, решив, что Аня вошла через другой тамбур, сказала, что Кудрявицкий прав, что дверь надо запереть, а уж потом она Аню выручит из чужого купе, в которое та, наверное, попала.

– Ух ты! – мял Дьюрька обивку кресел, пробуя каждое – как будто это были какие-то конфеты-ассорти с разной начинкой.

– Э! Э! Мое-то кресло не трожь! – загундел Воздвиженский, принявшийся опять протирать очки. – Сядь вон на свое – его и трогай!

Дьюрька, переглянувшись с Еленой, изнемогающе-юморно закатил глаза к потолку – и, с блаженствующим стоном: «Как буржуи!» – шлепнулся, с размаху, напротив Елены, на противоположном кресле, у окна, и вытянул вдоль купе ноги в грязнящих башмаках.

Мимо, с невозмутимостью сновиденческого чуда, поплыл Западный Берлин: когда поезд переезжал по мосту, над чудесно сверкающей всеми цветами радуги – среди ночи-то! – жившей живой своей жизнью, улицей, – у Елены, прильнувшей к стеклу, замерло сердце от восторга этих огней – как будто бы это не громадные живые рекламные бегущие неоновые экраны – а зависевшие с нового года Рождественские елочные украшения! Невозможно было поверить в это чудо цветного света среди ночи – когда в Москве даже центральные улицы ночью все черны!

Пробежали, легко и с шутками, по коридору, веселые западно-германские пограничники:

– Paßkontrolle!

Отпирали дверцу, объяснялись, смеялись.

Как только выехали из Берлина, Елена бросилась на розыски Ани. Все купе были битком. Отовсюду сыпалась немецкая речь – и Ани нигде было не видно, как не было видно и остальных попутчиков из школы – Елена решила, что, из-за давки, никто, кроме них, больше в вагон не поместился – что влезли в вагон следующий. В конце уже самом вагона, когда Елена, извинившись, по быстрой привычке уже – на немецком, – рванула дверь самого последнего купе – Анюта обнаружилась: сидела она, неестественно ослабившись, рядом с Фросей Жмых – напротив Анны Павловны, а та в свою очередь – рядом с каким-то громадным незнакомым белобрысым пожилым немцем.

– О, подруга! – оживилась, увидев ее Аня. – Присоединяйся к нам – у нас места остались!

– Аня, выйди на минуточку, я кое-что тебе показать хотела! – не зная, как бы потактичней выманить ее из-под учительского пригляда, сказала Елена.

Анюта, недовольно, надувшись, вышла:

– Ну что тебе, подруга?

Елена задвинула дверь.

– Анюта, пошли в наше купе – мы тебе место заняли! Там Дьюрька, Кудрявицкий, Лаугард и Воздвиженский...

– Ну сейчас еще! – кивнула Аня, спокойно почесывая бок. – Знаю я вас, какой там сейчас гвалт начнется!

– Анюта, ну уж лучше, чем с учительницей нос к носу всю ночь спать!

– Ну неет... У нас тут хорошо, спокойно... Переселяйся лучше к нам!

– Да ну тебя! Зануда... Ну пошли, пожалуйста!

Изобиженная Анюта, развернувшись и ничего не сказав, вошла обратно, спокойненько, в купе.

Вернувшись к себе в купе, Елена застала стратега Кудрявицкого за разработкой утопического плана превращения сидячего купе в лежащую спальню:

– В-в-вот это ра-ра-раскатываем! А вот это – за-закатываем!

– А подлокотники-то не поднимаются! – с трагическим апломбом добавляла Лаугард, доламывавшая, и так и сяк, свой подлокотник. – Но сидя в креслах всю ночь спать – все равно еще хуже, конечно!

автоматически! Это вот не я его включила – видите, видите?! Аварийный что ли?

– А как мы, интересно, в туалет выходить будем? – смеялась, наблюдая за ее скачками, Елена.

– Оля, а ты мне, между прочим, сейчас прямо на руку наступила – и стоишь на ней, – философски-спокойным тоном скромно заметил, в мигающей полутьме, Дьюрька.

– Я ж тебе не на каблуках наступила, а босиком! – приструнивала его Лаугард. – Нет, не выключается! – хныкала она, после очередной эскапады аккордов на выключателях. – Все равно этот вот голубой, справа над дверью, не выключается!

– Завесьте его курткой какой-нибудь – хватит будить тут! Я заснул уже почти! – грубо буркал Воздвиженский, легший головой к двери и ногами к окну – и теперь, бурча, и поминутно этим фактом возмущаясь, вынужден был подгибать свои ноги – так как именно с его части самопальной «кровати» Елена восседала в своем неразложенном, вертикальном, кресле: Дьюрька, Кудрявицкий, и сама Лаугард, как и порекомендовала Ольга, легли, для компактности, «вальтом» – головами в противоположную от Воздвиженского сторону, к окну.

– Да?! «Завесьте»?! А я при свете спать не могу! – жаловалась Лаугард, укладываясь, впрочем, обратно на свое место – между Дьюрькой и Кудрявицким.

– Замотай голову курткой! Хватит бегать тут уже! – злился Воздвиженский. – Замолчите уже все! Спать!

Дьюрька, впотьмах, хохотнул.

Елена чуть вздернула шторку с угла своего окна и запоем хватала взглядом промелькивающие мимо, какими-то необычайно уютными казавшиеся полустанки – с мягко освещенными, сквозными стеклянными павильончиками.

– Закройте шторы уже – в глаза же фонари светят! – буркнул Воздвиженский.

– Замотай голову курткой – и порядок! – посмеиваясь, передразнила его Елена – но на всякий случай, из человеколюбия, внырнула головой за кулисы шторы.

Когда электричка, на следующем же из полустанков, затормозила, Елена все ж таки не выдержала:

– Западно-германская собака! – возопила она в восторге, увидев, как в лунном свете дама в красном плащике выгуливает, прямо по гладкому перрону, спаниеля, уже обнюхивающего, с подозрительным интересом, кубическую урну рядом с металлической лавкой.

– Где, где?! – моментально вскочил Дьюрька и прильнул к окну тоже, взметнув, со своей стороны, штору. – Ой! Она писает на урну!

– Хватит будить! – злобно заругался Воздвиженский, – у которого сна не было, впрочем, ни в одном грамме голоса.

Елена взглянула в направлении нескончаемого бубнежа.

– Ну ладно, спать – так спать! – в веселом каком-то хулиганском настроении (что частенько случалось с ней на вторые, хрустальные сутки после бессонной ночи – если не заснуть вовремя и во вторую ночь подряд) согласилась Елена, мстительно раздумывая, какую бы диверсию устроить, чтоб раз и навсегда отучить Воздвиженского гугнить на друзей: вскочив, разложив кресло и шатко сплавляясь, как на плотках, по другим, катучим, частям кресел, добралась до двери, бросила кроссовки (которые все это время держала высоко на весу как торт, за бант) в щель рядом с дверью, и вымеренно, чтобы не схлопнулись обратно кресла, улеглась, слева от Воздвиженского, к стенке.

Воздвиженский лежал на спине, недовольно подбучивая губы – и как только Елена угнездилась – порицающе на нее избока взглянул. Удивившись какой-то странной перемене в лице Воздвиженского, и тайком его рассматривая, Елена вдруг поняла, что на нем просто нет очков – снял и отложил куда-то – наверное, в кармашек висевшей слева от двери куртки, что ли. Взглянув еще раз на его лицо, чуть освещенное рассеянным светом, выскальзывающим из завешенного курткой Лаугард ночника с противоположной стороны дверцы, Елена подумала: «Забавно, а он ведь сейчас немного похож на Вергилия – на тот его скульптурный портрет в Неаполитанской усыпальнице, фотография которого – в дореволюционном томике, который я так до сих пор и не вернула Крутакову... Эти очень пухлые губы, этот чуть барашковый большой нос, Вергилиев подбородок, Вергилиев хороший лоб... Только волосы зря обкорнаны, локонов на лбу вольных не хватает до полного сходства! Забавно, а ведь он красив сейчас – когда не бубнит... Карие глаза с густыми ресницами... Только нос не отбит, в отличие от мраморного Вергилия», – и отвернулась к стенке.

Через минуту, впрочем, вскочила – и, наступая мысками на чьи-то руки и ноги, пробралась к голубому завешенному продолговатому светильнику рядом с дверью – светившему и впрямь отвратительно. Как ни странно – щелкнув пару раз не те клавиши – и вызвав стоны щурящихся друзей полыхнувшим верхним светом, и очередной фейерверк ругани Воздвиженского, – на третий раз выключить ночник она все-таки умудрилась.

Лаугард в темноте захлопала в ладоши.

Елена, крайне гордясь подвигом, улеглась опять к стенке.

Все на минуту утихло.

– Что вы там вошкаетесь?! – загугнил опять, со злобенью в голосе, Воздвиженский, когда то ли Дьюрька, то ли Лаугард решили перевернуться на другой бок – а поскольку лежали они башками в одном направлении (и лежали довольно плотно – Воздвиженский, шантажируя всех своим бубнежом, оккупировал добрую половину купе), делать это можно было только синхронно. – Лежите спокойно!

Елена перевернулась опять лицом к нему – сейчас, в темноте, при задернутых шторах виден был только контур лица Воздвиженского – и опять поразило ее сходство с тем самым мраморным Вергилием! «Надо же – какие дурацкие шутки природы – какое чудовищное несовпадение гугнивой занудной начинки – и этого вдохновенного профиля, одухотворенного лица, без очков так поражающего красотой, как будто бы даже с внутренним обещанием творчества! – размышляла Елена. – Неужели нет ничего в мире, что может заставить его измениться, очнуться? Неужели нет никакого средства, чтобы сбить его с гугнивой этой, за него кем-то проложенной дорожки?»

– Если ты еще раз ткнешь мне своим паршивым носком в нос, Дьюрька! Я тебя вышвырну из купе! – развопился, уже не на шутку, Воздвиженский, все так же лежа на спине.

Елена чуть передвинулась и положила голову на правое плечо Воздвиженского, а руку вытянула по направлению к левому его плечу, так что получилось, что как будто она его полубоит. Воздвиженский изумленно замолчал. Через пару минут, впрочем, словесный фонтан разверзся снова:

– Дьюрька, я серьезно! Хватит уже вертеться! Лег так лежи!

«Всё. Еще хоть слово – и он у зубного», – с хулиганской веселостью сказала себе Елена: передвинулась чуть повыше, улеглась

поудобнее к Воздвиженскому на грудь (при его гробовом изумленном молчании), и чуть сонно, но в некоем авантюристическом запале, стала теревить рукой уголок воротника его рубашки, выпущенного сверху из-под воротничка его свитера. От его мягкого, пушистого, длинноворсного пестрого свитера, щекотку которого она чувствовала теперь и левой щекой, и носом, и губами, пахло теплой шерстяной чистотой – как от молочного щенка.

– Что ты делаешь... с моим воротничком? – чрезвычайно тихим, почти неслышным, шепотом удивленно поинтересовался у нее, наконец, Воздвиженский, чуть развернув к ней лицо. И через миг – как будто это говорили два разных человека, опять разразился бунчащей руганью: – Дьюрка! Я сказал! Еще раз пнешь меня своей паршивой ногой – вылетишь из купе!

Елена переложила пальцы с воротничка Воздвиженского на его губы и, примерившись, чтобы не промазать в темноте, чуть приподнявшись на локте, предотвратила всякую физическую возможность дальнейшего гутнежа, залепив его удивительно молочные, мягкие губы поцелуем. А про себя, с какой-то поразившей ее саму яростью и ясностью, и беззаботной веселостью, подумала: «Моя месть миру. Моя против мира диверсия. Этого молочного щенка я миру не отдам. Нет уж, он не будет таким, каким его хочет сделать мир. Он будет таким, как я хочу!»

Нацеловавшись полночи, до полного изнеможения: целуясь уже как-то даже сквозь сон, Елена, чувствуя, что даже и сквозь сон сил даже и двинуться больше нету, мягко отвернулась от Воздвиженского к стенке – и провалилась в забытье. Впрочем, проснулась быстро – и не проснулась даже – а оказалась выдернутой из забытья странным, тревожным почему-то чувством, что поезд уже давным-давно никак не двигается с места. За окнами была все та же ночь. Но по коридору пробегали – мелькая силуэтами на занавеске дверцы – встревоженные какие-то люди.

Елена выбралась из чехарды курток и рук, нащупала с краю купе, под креслами, свои кроссовки, и взялась за дверцу.

– Куда ты? Где мы? – сонным шепотом поинтересовался Воздвиженский – и в этом шепоте тоже было что-то, Елену мучительно испугавшее.

В коридоре наткнулась на престарелую ярко покрашенную даму с прической болонки, сообщившую ей, трясая темными складками морщин:

– Шторм! Шторм!

Взглянув за окно, Елена, впрочем, никакого шторма не обнаружила – наоборот, ночной, деревенский, вид, расхоложенный остановкой поезда, будто застыл: деревья не колыхнулись, кусты, вымазанные лунной сажой, казалось, специально подчеркивают вертикальными ветвями неподвижность пейзажа.

В соседнем купе кто-то всхрапывал, с циклическим звуком: «Хруп-хруп-хруп-у-йййййй» – как будто сначала хрустко забираясь на самый верх сугроба – а потом по ледяной горке с него скатываясь. Все дверцы купе были наполовину открыты от жары, и нигде не спали горизонтально, пластом, как в их купе: все корчились в личных креслах, выкаченных до середины купе.

В сомнамбулическом тревожном состоянии Елена дошла до конца вагона. В крайнем купе, в чудовищном свете голубоватого ночника, Аня, оттесненная на одно кресло левее, с осоловелым обреченным видом то ли полу-открывала, то ли полу-закрывала глаза; Фрося Жмых, сидя по стойке смирно, храпела, округлив рот, как будто произносила очень маленькую букву «о» – а непонятно откуда взявшийся Чернецов, разогнавший всех с кресел напротив Анны Павловны, громко талдычил ей (в ужасе хлопающей веками, прикрывшись плащом, как щитом), в чудовищных деталях, про то, какие зарубежные рок-группы он любит. В тот момент, когда Чернецов вдруг, не скрывая чувств, запел – чтоб не быть голословным, – толстопузый немец, дрыхший слева от Анны Павловны, вздрогнул всем своим большим телом так, как будто его одновременно ткнули в оба бока – и отхлестали по висячим щекам.

Ничего не понимая, ни про какие штормы, Елена перешла в следующий вагон – и тут наткнулась на спешным шагом идущего проводника в фуражке и с рацией в руках:

– Небывалый ураган, – волнуясь, объяснил он ей, на ее расспросы, – такой силы, что рушатся деревья, рухнувшие стволы ломают железнодорожные пути, крушат дома, люди гибнут! Нам велено по рации остановиться и переждать – чтобы не въезжать в зону бедствия. Продолжать путь опасно для жизни.

Возвращаясь к купе, Елена почувствовала невыносимый коловрат в солнечном сплетении: «Что это было, с Воздвиженским?! Зачем я...?! Как я теперь в глаза ему посмотрю?! Как я в это купе даже войду-то сейчас?! Невозможно!»

Сил оставаться торчком в коридоре, однако, хватило ненадолго. Морщась от отвращения от себя самой, запихнув кроссовки под кресло, Елена мрачно залезла, переступив через заснувшего опять Воздвиженского, на планктонный лежак и вытянулась у стенки – и через секунду в темноте купе ее догнало чудовищным истощенным ужасом: «Железнодорожные пути вдребезги разносит, дома рушит, люди гибнут... Это я во всем виновата... Это из-за моего безмозглого греха! Я, наверное, умру немедленно же, сегодня же!» – сглатывая слёзы, лежала она лицом к стенке – и даже каяться толком не могла – а только в ощущении полного несчастья через несколько минут заснула от бессонной слабости.

В следующий раз проснулась уже от тактильного, сквозь веки проникавшего ощущения, что из-под штор заплескивает в купе блеклый рассветный свет. Электричка так и не трогалась с места. Всё также с ощущением чудовищной потравы греха во всем теле, во всей душе, во всем существе, она выбралась в коридор и, ковыляя на даже не завязанных со сна кроссовках, поплелась опять вдоль поезда. «Что это я, зачем я это сделала?!» – повторяла она себе опять и опять – и не могла поверить, что произошедшее ночью с Воздвиженским – это не кошмарный сон. Такое счастье разлито было везде еще вчера – в воздухе, в теле, в душе! – и такой яд травил это всё сейчас изнутри – до физически непереносимых в поддыхе спазмов горя. «Как я могла это сделать?! Еще вчера говорила с Ангелами Божьими! А сейчас даже человеком-то себя нормальным не чувствую! Как я могла... Как я могла разбить это все! Какой ужас!»

В Анином купе Чернецов, без всхрапов, спал, широко раскинув руки и как-то чуть мимо кресла присев, на согнутых в коленках ногах – в такой позе, как будто бы он поднимал с полу что-то страшно тяжелое и громоздкое – и так и заснул, бросив.

«Бедный, бедный я человек! – всхлипывала Елена, открывая изогнутую полукругом металлическую дверцу в уборную. – Кто избавит меня от сего идиотизма?!»

Опознать в зеркале над рукомойником себя было трудновато: синие круги под глазами – растерянными, в которых не было и миллиардной доли небесного света, к которому она уже привыкла, как к своему, с момента крещения. До отвращения, до тошноты не узнавая себя – ту, к которой она привыкла – Елена со стоном поправила на шее хлопковую церковную бечевочку с крестиком. Господи, огради меня, имярек овоща... Или сколько там еще прѳсеки босиком... Говорил тебе не лети на гвоздь сквозняком на извозчике... Сорняком не сорви меня, Господи, под воротником! – хотя никакой лестницы, которую нужно было преодолевать, под ногами не было, бормотала Елена странную молитвенную скороговорку.

Из всего купе проснулась только Лаугард – столкнулась с Еленой в коридоре – и, узнав об урагане, вздрогнула:

– Да ничего, доедем как-нибудь! Приключение!

Было почему-то очень жарко. Мучала жажда. Дойдя – через два вагона – до вагонного магазинчика у проводника, спросила нельзя ли взять где-нибудь питьевой воды – но воды питьевой не было – была только газированная, продававшаяся за деньги. Узнав, что Елена из Москвы, проводник даровал две пузатые зеленые бутылочки минеральной газированной воды с узкими горлышками – которая оказалась раз в сто газированнее, чем советская – стреляла в небо, раскатывалась пузырьками по пищеводу и прекрасно утоляла жажду, не имея – что было непривычно – никакого минерального привкуса, а бывшая просто чистой пресной газированной водой, какой в Москве не продавалось нигде, кроме как за копейку в автоматах.

Не успела она отойти от крошечного этого магазинчика, поезд тронулся – и когда, растягивая как можно дольше прогулку по поезду, она, с некоторым страхом, подошла к дверце, за которой ждала увидеть все ту же полутьму и тела, – оказалось, что все уже проснулись, кресла собраны, штора на окне минимализирована – и сидят все спутники трещат о натуральных катаклизмах.

Дьюрька с Лаугард с жадностью набросились на газировку.

– Дьюрька, не пускай в бутылку слюни! Я тоже, между прочим, может быть, пить хочу! – загундел, привычным голосом, Воздвиженский, выпучив глаза.

«Безнадежен», – с внутренним обморочным стыдом сказала себе Елена.

Ольга Лаугард, оказавшаяся наделенной каким-то непобедимым комическим обаянием и энтузиазмом, вскакивая то и дело из своего кресла, веселила всех пантомимными рассказами и не давала Елене – или кому бы то ни было другому, в ее присутствии – увилить от разговоров. При этом словесного обращения к собеседнику Ольге казалось недостаточным: как только она желала привлечь к себе внимание, или как только ей казалось, что ее недостаточно внимательно слушают, Ольга попросту тут же хватала собеседника цепкой рукой за локоть или запястье, и сильнейшим образом трясла.

– Я полечу в космос! – рапортовала Лаугард, романтично трактуя поступление свое в авиационный институт, неподалеку от школы. И то ли по-пионерски, то ли по-штурмански – тут же встав перед креслом, прикладывала наискосок ладошку к виску, словно прикрываясь от послеполуденного солнца – и из-под этого козырька мечтательно вскидывала глаза к небу.

Хотя, увы, ясно было, что и Лаугард (так же как и Кудрявицкий, так же, как и подавляющее большинство людей в школе) по родительскому совету выбрала доступный институт по «территориальному принципу» – и что просто не видела другой дороги, кроме проторенного миллионами сограждан зарабатывания инженерного рубля.

Влюблена же была Лаугард (из-за театральной студии во дворце пионеров) в театр, – однако о том, чтобы заниматься в жизни творческой профессией Ольга и не помышляла. Впрочем, в отличие от Анастасии Савельевны, никакой трагедии в этом Лаугард, как казалось, не чувствовала – и хорохорилась изо всех сил, нахваливая свой будущий институт, говоря, что лучше в мире места не найти (и ни к какой реальности отношения не имеющая легенда про будущий полет в космос в этом контексте даже выглядела как-то трогательно и душераздирающе) – а для театра оставляла место только вот в этих вот очаровательных бытовых пантомимных сценках.

Дьюрьяка глазел-глазел на экспрессию Лаугард, со своего места у окна – как-то странно, как внимательный пёс, наклоня то так, то так голову – а потом со всей своей простосердечностью восторженно заявил:

– Оля! Какие у тебя глаза интересные! Сначала коричневые – а потом зеленые!

Елена старалась не переставая улыбаться – скрывая внутреннюю катастрофу, – и смотрела как-то сквозь Воздвиженского, мимо него, по не касающейся касательной, никак не застревая взглядом на плоскости – хотя он-то виноват во внутренних ее муках ни в коей мере не был.

Когда же случайно встречалась с Воздвиженским глазами – и видела – посреди обычного гутнежа – растерянную влюбленность за его очками – становилось еще стыднее и страшнее: наваливалось вдруг какое-то чувство не просто несправимости, необратимости совершённого греха – но еще и чудовищной ответственности за Воздвиженского, которого она в это вовлекла.

«Чужой, чуждый, по всем индикаторам враждебный моему образу мыслей человек – зачем я?! Что я?! К чему это все?! Как я могла?! Что мне теперь с ним делать?! Какими словами мне ему платить алименты за весь этот мой бред ночной?!»

Быть на людях безоговорочно веселой было, конечно, разумнее – но как же больно веселость эта собственная ранила в контрасте со внутренним выворачивавшим душу несчастьем, о котором никто из приятелей и не догадывался! Физически же ощущение было такое, как будто ночью она сожрала стекловату – и теперь не может толком ни дышать, ни жить – и через несколько минут безусловно погибнет – но и эти несколько минут почему-то нужно провести в попытке иллюзии улыбки и заинтересованности человеческой болтовней.

– А у меня, между прочим, в роду – русские священники были! – ни с того ни с сего, залпом прикончив остатки газировки и хлопнув бутылку на разложенный крошечный откидной столик, похвастался Воздвиженский. – Воздвиженский же – священническая фамилия!

К ужасу Елены, Кудрявицкий ускакал с визитом вежливости к Анне Павловне, – а Лаугард, с видом лисы Алисы, предложив всем позавтракать уцелевшими в сумках московскими обедками, вприпрыжку побежала разведывать, нельзя ли еще у проводника добыть газировки, – а розовощекий Дьюрька, как нарочно, беззаботно вытащив из сумки зубную щетку и полупустой тюбик – отправился совершать утренний моцион в сортир. Выбегать из купе, стесняясь остаться с Воздвиженским наедине – было бы еще глупее, и Елена, с вымученной, пыточной, веселейшей в мире улыбкой, панорамным неуловимым взглядом обводя купе, переспросила его, в какой институт он собирается поступать.

Воздвиженский ответил – Елена, через секунду же забыв (нет-нет: ми-фи, или физтех? Или мехмат?) – переспросила вновь – Воздвиженский ответил еще раз – она через секунду же опять ругательную аббревиатуру забыла, как забывала любую неинтересную ей информацию – а переспрашивать в третий раз было неловко.

Сколько у Дьюрьки зубов, что он так долго их чистит? Плюньте в глаза Агрипине Арефьевне с ее популярной зоологией.

– А ты куда поступаешь? – любопытствовал в ответ Воздвиженский. – А-а-а, понятно. Понятненько. Ясненько.

О чем? О чем еще? О том, как Воздвиженский с Эммой Эрдман в первом классе, как два северных верблюда, плевались наперегонки, в длину, в парке, когда ударило минус двадцать пять по Цельсию – и плевки замерзали на лету на морозе и звонко падали оледень?

Елена вдруг, в истошном уже отчаянии, вспомнила, что в кармане джинсов лежит небо – хотя и не само небо, но хотя бы репродукция.

Достав измятую картинку – протянула Воздвиженскому.

Альтдорфер. Битва при Эссе. Кипучие, цветные, в воронку взваренные облака вокруг солнца. Что за эссе такое, и кто и нафига за него борется? – было Елене неизвестно. И тем загадочнее становилось название это – что ровно ничего, кроме небес, на картинке не было – и Елена заподозрила было уже запредельное остроумие и гениальность придумавшего это название художника: увидеть картину в Мюнхене хотелось уже конечно же нестерпимо. Хотя, разумеется, не исключала Елена и опечатку советской полиграфии в названии. А приобрела она картинку случайно – в подвальном военторге на Соколе – перед самым отъездом – завидев набор открыток «Старая пинакотекка Мюнхена». Альтдорферовское же небо было на задней глянцевой обложке – с интригующим пояснением: «Фрагмент», – которое, несомненно, заставляло жаждать продолжения, полноты картины. Небо Елена вырезала ножницами и положила в карман – все остальные открытки припрятав.

Воздвиженский, быстрым тычком пальца поправив очки на переносице, уставился в картинку.

А Елена, отвернувшись в окно, увидела отражение входящего Дьюрьки – и с внезапным выдохом облегчения подумала о том, что, вероятно, все-таки выживет, и о том, что сразу же по возвращении в Москву бросится на исповедь к батюшке Антонию, и о том, что ураган

– судя по всему – миновал, и о том, что через несколько часов увидит она загадочный Мюнхен – с картинкой-ребусом в пинакотеке, о которой так мечтала, – и о том, что в другом-то кармане джинсов – Темплеровской рукой вырисованный загадочный телефон эмигрантского издательства, – и о том, что, в конце-то концов... Ну, просто, всё с Воздвиженским будет как прежде, как до этой ночи – как будто ничего не случилось, – и остудила пылающий лоб стеклом.

Медленные луга за горбатым леском на холме распаханы были с параноидальной ровностью – ровнее, чем штопка на зеленой Кирьяновниной вязанке.

The e-mail has been sent
from lenaswann@hotmail.com to mobile.wisdom@outlook.com
at 00.16 on 19th of April 2014

P. S. Кстати, Аня, мне крайне не нравится твоя идея разбить книгу на два тома. Что за плебейское следование условностям фастфудового потребителя?! Но если делать смысловой водораздел и перелом – то где-то здесь.